

ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ АНДРЕЯ БОЛОТОВА



РУССКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СЕРИЯ



**ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АНДРЕЯ БОЛОВОТА**

РУССКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СЕРИЯ

Жизнеописания, воспоминания и дневники выдающихся русских людей – святых и подвижников, царей и правителей, воинов и героев, мыслителей, писателей, деятелей культуры и искусства, создавших Великую Россию.

Аксаков И. С.	Иларион митрополит	Погодин М. П.
Аксаков С. Т.	Ильин И. А.	Проханов А. А.
Александр III	Иоанн (Снычев)	Пушкин А. С.
Александр Невский	митрополит	Рахманинов С. В.
Алексей Михайлович	Иоанн Кронштадтский	Римский-Корсаков Н. А.
Андрей Боголюбский	Иосиф Волоцкий	Рокоссовский К. К.
Антоний (Храповицкий)	Кавелин К. Д.	Самарин Ю. Ф.
Баженов В. И.	Казаков М. Ф.	Семенов Тян-Шанский П. П.
Белов В. И.	Катков М. Н.	Серафим Саровский
Бердяев Н. А.	Киреевский И. В.	Скобелев М. Д.
Бологов А. Т.	Клыкков В. М.	Собинов Л. В.
Боровиковский В. Л.	Королев С. П.	Соловьев В. С.
Булгаков С. Н.	Кутузов М. И.	Солоневич И. Л.
Бунин И. А.	Ламанский В. И.	Солоухин В. А.
Васнецов В. М.	Левицкий Д. Г.	Сталин И. В.
Венецианов А. Г.	Леонтьев К. Н.	Суворин А. С.
Верещагин В. В.	Лермонтов М. Ю.	Суворов А. В.
Гиляров-Платонов Н. П.	Ломоносов М. В.	Суриков В. И.
Глазунов И. С.	Менделеев Д. И.	Татищев В. Н.
Глинка М. И.	Меньшиков М. О.	Тихомиров Л. А.
Гоголь Н. В.	Мещерский В. П.	Тютчев Ф. И.
Григорьев А. А.	Мусоргский М. П.	Хомяков А. С.
Данилевский Н. Я.	Нестеров М. В.	Чехов А. П.
Державин Г. Р.	Николай I	Чижевский А. Л.
Дмитрий Донской	Николай II	Шаяпин Ф. И.
Достоевский Ф. М.	Никон (Рождественский)	Шарапов С. Ф.
Екатерина II	Нил Сорский	Шафаревич И. Р.
Елизавета	Нилус С. А.	Шишков А. С.
Жуков Г. К.	Павел I	Шолохов М. А.
Жуковский В. А.	Петр I	Шубин Ф. И.
Иван Грозный	Победоносцев К. П.	

ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ

АНДРЕЯ БОЛОТОВА

ОПИСАННЫЕ САМИМ ИМ

ДЛЯ СВОИХ ПОТОМКОВ

Том 1

Москва
Институт русской цивилизации
2013

ББК 63.5
УДК 82-941
Б 79

Болотов А.Т.

Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков. В 3-х томах. Отв. ред. О. А. Платонов. М., 2013. – Том 1. – С. 1120.

В настоящем издании впервые после 1873 публикуется полный текст «Записок» великого русского ученого, мыслителя, писателя Андрея Тимофеевича Болотова (1738–1833), ставших самым знаменитым памятником русской мемуарной литературы.

В записках отражается вся глубина и полнота русской жизни екатерининской эпохи, когда многими соотечественниками владел пафос служения Отечеству. Чтение записок позволяет понять истоки русской культуры, национального характера, национального самосознания, на основе которых была построена Великая Россия.

Записки Болотова печатаются в нашем издании дословно без малейших пропусков или тем более искажений по каноническому тексту, принятому редакцией «Русской Старины», по мере возможности воспроизводя орфографию подлинника, с тем, однако, чтобы она, без всякой пользы для дела, не затрудняла бы чтение.

Издание осуществляется при финансовом содействии Алексея и Дмитрия Ананьевых

ISBN 978-5-4261-0043-5

© Институт русской цивилизации, 2013

ПРЕДИСЛОВИЕ

Записки Андрея Тимофеевича Болотова составляют одно из драгоценнейших достояний нашей исторической литературы. Обнимая внутренний быт русского общества за все XVIII столетие, а именно с царствования Петра Великого по 1793 год включительно – оне касаются самых разнообразных его сторон. Таким образом, в этом историко-литературном памятнике заключаются живейшие подробности о домашнем и общественном воспитании русских дворян прошлого века, их домашней же и общественной жизни, также о прохождении ими военной и гражданской службы; о жизни наших предков в деревне, в провинциальных городах и в столицах, о состоянии сельского хозяйства, о состоянии в том веке русской литературы, науки и книжной торговли; о военных действиях XVIII века – в особенности об участии России в войне с Фридрихом II и о войнах Екатерины II с турками, поляками и шведами. Вместе с сим записки представляют последовательный рассказ о разных распоряжениях правительств – *восьми* царствований, с Петра I по царствование Екатерины II включительно; здесь же находится довольно много подробностей о русском дворе эпохи Елисаветы, Петра III и Екатерины II; тут же разсеяно множество драгоценнейших подробностей для биографий государственных, военных и вообще общественных русских деятелей – за время преимущественно с 1740 по 1793 год включительно; наконец, почтенный автор этих записок, повествуя о дворянском сословии по преимуществу и подымаясь иногда в высшие слои его, не забывает и народ. Фигуры русского крестьянина, русского солдата, русского священника выпукло выделяются в полном жизни и правды – рассказе Болотова.

Лучшие стороны этого рассказа составляют необыкновенная искренность автора, любовь к правде и к дорогому отечеству. Болотов есть полный представитель лучших русских людей прошлого столетия. Большие природные дарования он развил упорным изучением наук и литературы как отечественной, так и иностранной, в особенности немецкой. Незави-

симо от этого, это был человек прекраснейших душевных качеств: в записках его как в зеркале – отражается его чистое, прекрасное сердце. Отсюда эта теплота рассказа, эта правдивость, этот добродушный юмор.

Обширную начитанностью Болотова объясняется замечательная легкость и живость изложения его рассказа. Местами он до того увлекателен, что невольно забываешь, что это пишет человек, родившийся в царствование Анны Иоанновны и первоначально обучавшийся чуть еще ни у дедушек – знаменитых российских педагогов: «Кутейкина», «Цыфиркина» и «Вральмана».

Вот главные факты жизни Болотова. Андрей Тимофеевич родился в Тульской губернии 7 октября 1738 г.; 10-ти лет он зачислен каптенармусом¹ в армейском полку, командуемом его отцом; на 12-м году Болотов теряет отца, а два года спустя умирает его мать. Четырнадцатилетний мальчик, по происхождению своему из дворян средней руки и при том весьма недостаточный, – начинает сам прокладывать себе дорогу. В 1755 году Болотов, волею неволею, вступает в действительную службу сержантом в Архангелогородской полк, девятнадцатилетним офицером принимает участие в кровавых битвах русских с пруссаками и затем, пробыв в действующих войсках с 1756 по 1762 год, он одним из первых спешит воспользоваться свободой, предоставленной российскому дворянству манифестом 18-го февраля 1762 года. Добродушный тихий нрав и любовь к умственным занятиям – чтению, письму, рисованию, а также к сельскому хозяйству влекли Болотова из среды военного мира. Он оставляет полк, радуется, что судьба спасла его от участия в событиях, сопровождавших вступление на престол Екатерины II, нимало не сожалеет о чинах и почестях, которыми готовы были его осыпать его друзья, сторонники новой государыни, если бы он принял участие в их действиях, – женится и окончательно поселяется в родовом своем сельце Дворянинове, Алексинского уезда Тульской губернии, где и проводит 70 лет в трудах ученых и литературных. Живя в уединении, Болотов, не упуская ни малейшей бытовой черты той жизни, которая его охватила, стал заносить в свою автобиографию все, что относилось до тогдашней как государственной, так и общественной жизни России, что, при установившихся его сношениях

¹ Каптенармус (франц. *capitaine d'armes*) – унтер-офицерское воинское звание, военный чин и должность в роте (батарея, эскадроне) русской армии ниже XIV класса в Табели о рангах, ведающего учетом и хранением имущества и выдачей провианта, а также оружием, снаряжением и одеждой.

с Н.И. Новиковым и другими образованнейшими общественными деятелями Москвы, а также и при его страсти к чтению книг, газет и журналов, представлялось делом довольно легким.

Болотов умер 3 октября 1833 года, 95 лет отроду.

Здесь-то, в деревне, в возрасте уже пожилым, Болотов начинает свой многотомный труд, ныне предлагаемый читателям, и пишет его с поразительным постоянством около тридцати лет. А именно, начав первый том в 1789 году, Болотов двадцать девятую его часть оканчивает в 1816 году¹.

* * *

Громадный труд Болотова есть, бесспорно, один из наиглавнейших материалов для истории русского общества восемнадцатого столетия. Внешняя сторона рукописи также небезынтересна. Она разбивается на *двадцать девять томиков*, в одинаковый малый, восьмидольный формат и почти одинакового объема: 400 с небольшим страниц в каждом томике. Все 29 частей писаны рукой Болотова почти без малейших помарок. Последнее обстоятельство объясняется *тем, что каждый томик* предварительно писался автором вчерне и затем им же самим переписывался. И как переписывался! Никакой искусный калиграф того времени не положил бы столько старания и труда при этом, какая употребил Болотов. Почерк его четок, ясен, красив, на каждой странице одинаковое число строк, чуть не

¹ Кроме записок, Болотов оставил несколько ученых и литературных трудов, из которых при жизни его были напечатаны: 1) «Детская философия, или Правоучительные разговоры между одною госпожею и ея детьми, сочиненные для поспешествования истинной пользе молодых людей», 2 части, Москва, 1776–1779; 2) «Экономический магазин, или Собрание всяких экономических известий, опытов, открытий, примечаний, наставлений, записок и советов, относящихся до земледелия, скотоводства, до садов и огородов, до лугов, лесов, прудов, разных продуктов, до деревенских строений, домашних лекарств, врачебных трав и до других всяких нужных и не бесполезных городским и деревенским жителям вещей, в пользу российских домостроителей», 40 частей, Москва, 1780–1789. Магазин этот издавался листами при «Московских Ведомостях»; 3) «Краткия, на опытах основанныя замечания о электрицизме и о способности электрических машин помоганию от разных болезней, с изображением и описанием наипростейшего рода машин и разных способов, употребляемых при врачевании ими болезней». Спб., 1803 г., с фигурами. Кроме того, Болотов был одним из усерднейших сотрудников «Трудов Вольнаго Экономическаго Общества» и, вследствие этого в первые десятки годов существования этого журнала он поместил в нем много своих статей по сельскому хозяйству. Познания Болотова в этой отрасли науки были громадны и это едва ли не самый замечательный русский агроном XVIII столетия.

Краткая биография А.Т. Болотова напечатана С.А. Масловым в «Земледельческом журнале» 1838 года, кн. 5. Г. Маслов отдал полную дань уважения достопамятному русскому агроному и помолу. – Прим. редакции «Русской Старины».

одинаковое число букв; каждое письмо к фантастическому приятелю (записки вместо глав разбиваются на письма) имеет особое заглавие; в первых томиках находятся фигурные буквы, затем виньетки и заставки, и все это рисовано пером самим автором довольно красиво и отчетливо. Смело можно сказать, что в нашей литературе исторических записок XVIII века нет другой такой рукописи, которая бы так была любопытна и с внешней своей стороны. Не довольствуясь мелкими рисунками, автор приложил несколько картинок, сделанных им водяными красками, а к первому тому приложил свой собственный портрет.

При всех этих и внутренних, и внешних достоинствах многолетнему и многотомному труду Болотова не посчастливилось в русской литературе.

Долго хранились записки его в неизвестности, в семейном архиве его потомков. В 1839 году в «Сыне Отечества» (кн. VIII и IX) появляются первые небольшие отрывки из записок Болотова – самым безцеремонным образом против подлинника *переделанные и исправленные*. В 1850 году записки эти начинают делаться известными русскому обществу в более обширных размерах.

В «Отечественных Записках» 1850 года, а именно в томах: LXIX, LXX, LXXI и LXXII помещены первые четыре части записок Болотова; в 1851 году в том же журнале (том: LXXIV, LXXV и LXXVI) напечатаны пятая и шестая части. Но любопытно обратить внимание на то, как напечатана эта пятая лишь доля автобиографии Болотова. Мы взяли на себя труд самым тщательным образом сличить текст печатный с подлинником и не нашли сряду десятка строк, которые не были бы исковерканы теми лицами, которые сообщили рукопись редакции. Не говоря уже о том, что весь строй рассказа Болотова, вся его форма *переделаны, слог исправлен*, большая часть его рассуждений, ярко рисующих нравственный облик рассказчика, выброшены, пострадала и фактическая сторона записок. В доказательство отметим особенно крупные сокращения, сделанные в подлиннике записок Болотова при напечатании первых шести его частей.

В I части, в 3-м письме в печати мы не находим, между прочим, предсказания, сделанного одним странником-монахом бабке Андрея Тимофеевича Болотова.

В 4-м письме в печати нет в высшей степени простодушного рассказа о первом дне рождения Андрея Тимофеевича и об обстоятельствах, сопроваждавших этот факт.

В 10-м письме в печати довольно большой пропуск тех страниц рукописи, на которых трактуется о некотором курляндском дворянине Корфе.

Во II части, в письме 15-м, находится довольно много пропусков в рассказе о сельском духовенстве, рассказе весьма невинного свойства, но довольно характеристичного для знакомства с положением в среде дворянских семей того времени, духовенства и для обрисовки отношений лиц этого сословия между собой. В 16-м письме той же части значительные выпуски подробностей, относящихся до злоупотреблений тогдашних воевод.

В 18-м письме сделан громадный пропуск в чрезвычайно характеристичной сцене из учебного быта Андрея Тимофеевича Болотова.

В письме 19-м опять большой пропуск в рассказе о тогдашних суевериях.

В 23-м письме выброшен довольно характеристичный рассказ из сельской жизни автора.

В III части записок встречается много пропусков, преимущественно тех мест, где автор позволяет себе характеризовать некоторых, более или менее высших, военных деятелей своего времени; такого рода пропуски особенно часты в письмах 27, 28 и 29-м.

Вообще всякого рода злоупотребления в тогдашней военной службе, откровенно и незлобно передаваемые Андреем Тимофеевичем в его записках, не были воспроизведены в печатном издании или правильнее сказать, *извлечении* из первых шести частей его записок. Равным образом, не переданы весьма интересные подробности русского солдатского быта прошлого столетия, о котором, кстати сказать, мы крайне мало знаем, и тем, казалось бы, следовало более дорожить теми данными, которые мы встречаем у наших правдивых и обстоятельных писателей, каков Болотов. Достоин замечания, что выпуски и искажения при печатании первых томов его труда коснулись даже тех мест его простодушного рассказа, в которых повествуется о его любовных шашнях. Такого рода пропуски в письме 34-м и др.

...как кажется, достаточно, чтобы иметь понятие о тех искажениях, которым подверглась почти каждая страница первых шести частей подлинных записок Болотова при напечатании их двадцать лет тому назад. Восемь лет спустя после первой попытки кое-что напечатать из записок

Болотова – сделана была вторая попытка в этом же роде: в 1858 году в «Библиотеке для Чтения» в т. СXLVIII, CL и CLII, и наконец, в том же журнале в 1860 году, в т. CLVIII напечатаны части 7, 8 и 9 записок; но и при этом – явилась лишь *выборка* отдельных эпизодов, причем, впрочем искажений собственно языка подлинника мало, но пропуски в печати против подлинной рукописи встречаются десятками страниц, и это в описании событий в высшей степени интересных в 1760–1762 годах.

Просвещенной любви к литературе отечественной истории – Павла Алексеевича и Владимира Алексеевича Болотовых, – родных правнуков Андрея Тимофеевича, – «Русская Старина» обязана тому, что получила возможность, с первого же своего выпуска, начать печатание драгоценных записок... в случае, если представится то удобным, «Русская Старина» не замедлит, начиная с одной из последующих частей записок Болотова, печатать их в этом же формате и тем же шрифтом совершенно *отдельными от журнала выпусками*, именно для того, чтобы этот драгоценный историко-литературный памятник скорее явился во всем своем объеме в свет, и в таком случае собственно при журнале, взамен автобиографии Болотова, явятся мемуары других русских общественных деятелей; собранием записок и воспоминаний которых редакция «Русской Старины» весьма богата. В заключение скажем, что записки Болотова являются в нашем издании без малейших пропусков или тем более искажений. Но печатая их *дословно*, мы не нашли нужным воспроизводить орфографию подлинника, так как она, без всякой пользы для дела, затрудняла бы чтение.

М. Семевский



ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ АНДРЕЯ БОЛОТОВА, ОПИСАННЫЕ САМИМ ИМ ДЛЯ СВОИХ ПОТОМКОВ

ЧАСТЬ I

ИСТОРИЯ МОИХ ПРЕДКОВ И ПЕРВЕЙШИХ ЛЕТ МОЕЙ ЖИЗНИ

XVI ст. – 1750 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Предуведомление

Не тщеславие, и не иные какие намерения побудили меня написать сию историю моей жизни; в ней нет никаких чрезвычайных и таких достопамятных и важных происшествий, которые бы достойны были переданы быть свету, а следующее обстоятельство было тому причиною.

Мне во всю жизнь мою досадно было, что предки мои были так нерадивы, что не оставили после себя ни малейших письменных о себе известий, и чрез то лишили нас, потомков своих, того приятного удовольствия, чтоб иметь о них, и о том как они жили, и что с ними в жизни их случалось и происходило хотя некоторое небольшое сведение и понятие. Я тысячу раз сожалел о том, и дорого бы заплатил за каждый лоскуток бумажки с такими известиями, если б только мог отыскать что-нибудь тому подобное. Я винил предков моих за таковое небрежение, и не хотя и сам сделать подобную их и непростительную погрешность и таковыя же жалобы навлечь со временем и на себя от моих потомков, разсудил употребить некоторыя праздныя и от прочих дел остающиеся часы, на описание всего того, что случилось со мною во все время продолжения моей жизни; равно как и

того, что мне о предках моих по преданиям от престарелых родственников моих, которых я застал при жизни, и по некоторым немногим запискам отца моего и дяди, дошедших до моих рук, было известно, дабы сохранить, по крайней мере, и сие небольшое от забвения всегдашняго, а о себе оставить потомкам моим незабвенную память.

При описании сем старался я не пропускать ни единого происшествия, до котораго достигала только моя память и не смотрел, хотя бы иныя были из них и самыя маловажныя, случившиися еще в нежнейшия лета моего младенчества. Сие последнее делал я наиболее для того, что напоминание и прочитывание происшествий, бывших во время младенчества и в нежныя лета нашего возраста, причиняет и самим нам некоторое приятное удовольствие. А как я писал сие не в том намерении, чтоб издать в свет посредством печати, а единственно для удовольствования любопытства моих детей, и тех из моих родственников и будущих потомков, которыя похотят обо мне иметь сведение, то и не заботился я о том, что сочинение сие будет несколько пространно и велико; а старался только, чтобы чего не было пропущено, почему в случае если кому из посторонних случится читать сие прямо набело писанное сочинение, то и прошу меня в том и в ошибках благосклонно извинить. Наконец, что принадлежит до расположения описания сего образом писем, то сие учинено для того, чтоб мне тем удобнее и вольнее было рассказывать иногда что-нибудь и смешное.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ФАМИЛИИ БОЛОТОВЫХ

Письмо 1-е

Любезный приятель!

Наконец решился я предпринять тот труд, который давно уже был у меня на уме и который вам с толикою нетерпеливостию видеть хотелось, а именно сочинить историю моей жизни или описать все то, что случилось со мною во все течение моей жизни; я посылаю к вам теперь начало сего труда, предприятаго не менее для удовольствования и вашего любопытства, сколько и для пользы и любопытнаго сведения обо мне, моим будущим потомкам. Если труд сей будет им угоден, то должны они благодарить несколько и вас за оный, ибо если б вы не побудили меня к тому,

то, может бы, не собрался я никогда к действительному приступлению к сему давно уже замышляемому делу. Вы уничтожили нерешимость мою и разсеяли те сумнительства, кои удерживали меня до сего от предприятия теперешняго и нашли способ удостоверить меня, что обстоятельство, что жизнь моя не такова славна, чтоб стоила описания, и что в течение оной не случилось со мною никаких чрезвычайных, редких и особливаго примечания достойных происшествий, нимало не мешает описать мне жизнь свою. Вы уговорили и уверили меня, что в происшествиях, бывших со мною и без того много кой-чего такого найдется, о чем можно писать и рассказывать и о чем как вам, так и потомкам моим можно будет не без удовольствия и любопытства читать и слушать. Но я не знаю, не ошибаетесь ли вы в том, любезный приятель! Я исполню ваше желание; но буде последующее описание жизни моей не будет для вас таково любопытно, весело и приятно, как вы себе воображаете, то вините уже сами себя, а не меня; ибо мне не достанется другого делать, как пересказывать вам только то, что действительно со мною случилось и вы сами того верно не похотели б, чтоб я для украшения моего сочинения, или для придания ему более приятности стал выдумывать небылицы, или затевать и прибавлять что-нибудь лишнее к бывшим действительно приключениям.

Теперь, прежде преступления к действительному началу моей истории, надобно вас попросить о двух вещах. Во-первых, чтоб вы дозволили мне начало учинить кратким описанием всего того, что известно мне о моих предках, дабы чрез то сохранить память об них моим потомкам, и чтоб не поскучали вы, если описание сие, следовательно, самое начало сочинения моего будет несколько сухо и скучновато. Во-вторых, чтоб не поскучали уже и тем, что я последующую затем историю мою начну с самага моего младенчества и буду рассказывать и все то, что помню еще я из случившагося со мною в сие нежнейшее и, можно сказать, наиприятнейшее для нас время жизни. Я располагаюсь делать сие для того, что напоминание сих происшествий производит самому мне некоторое увеселение, ибо человек, приводя себе на память все то, что случалось с ним в младенчестве и в малолетстве, власно¹ как возвращается на то время в тогдашний возраст и сладость тогдашней жизни, чувствует вновь и при самой своей старости. Сверх того, описание сих в самом деле хотя сущих

¹ Власно – точно, ровно.

безделиц, может быть, придаст сколько-нибудь и всему сочинению более приятности и сделает его для чтения не таковым скучным.

Итак, приступая теперь к самому делу, прежде всего скажу вам, любезный приятель, что я природы татарской! Вот какое странное начало, однако вы тому не удивитесь. Я говорю самую правду и нимало не стыжусь тем; ибо подобных мне между российскими дворянами очень много; некоторые и многия из них ныне гораздо меня знатнее и лучше, но со всем тем такой же природы как и я. Ибо сие ничто иное значит как то, что первые наши предки были татары и выехали в Россию из Золотой Орды, сего славного в древности восточного и великаго царства, владевшего некогда многия годы всем Российским государством.

Кто таков именно первый основатель нашей фамилии был? В которое время и при котором государе в Россию выехал и где сперва поселился – того всего я подлинно не знаю. Небрежение ли моих предков, невежество ли тогдашних времен, или иной какой случай, не могу вам верно сказать, лишил меня сего удовольствия; одним словом, родословная наша весьма мала, и порядочной мы и по сие время не имеем. Покойный дядя мой, родной брат отцу моему, оставил только мне небольшой реестр, или краткую поколенную роспись, нашим предкам, которых мог он собрать из книг и дел в разных приказах.

Помянутый дядя мой рассказывал мне, что он не мог далее дойти как до *Василья Романова сына*: а чей сын был Роман, того уже он не знает. Может быть, сей Роман был и первой тот, который выехал и принял святое крещение, что некоторым образом и вероятно по счислению лет: ибо я смечаясь находил, что жил он около времен царя Иоанна Васильевича или прежде за несколько времени. А в сие время, как известно, многия татарския фамилии к нам выехали и, в здешних местах поселившись, приобщены были к российскому дворянству и натурализованы. Какой он человек был, всего того не знаю, а сказывала мне одна только старушка, ближняя моя родственница, которую застал я еще в живых, что слыхала она от своего деда, что самые выезжие предки наши были знатной татарской и княжеской породы, да и здесь не служил никто из них низким чином, но бывали всегда чиновными людьми и хаживали с царями на войну. Правда ли все сие или нет, в том не ручаюсь, по крайней мере, то достоверно, что мы ныне наряду с прочими российскими дворянами и имеем все те же преимущества, какия они имеют.

У упомянутого Василия был один только сын Гаврило, прозвищем Горяин, а у сего Горяина было два сына: *Ерофей и Еремей*. О сем Еремее расскажу я вам после обстоятельнее, а что касается до Ерофея, то от него разделилась фамилия наша на четверо, ибо у него было четыре сына: *Осип, Кирила, Ерофей и Дорофей*; но поколение сих последних двух, уже давно, а третьяго недавно и при мне уже пресеклось. Я и мой двоюродный брат происходим от поколения Осипова, а дом за несколько лет умершаго соседа моего, после котораго находится ныне в живых одна только дочь, происходит от поколения Кирилова.

Ежели хотите далее знать, кто таковы обоих сих колен ближайшие к нам предки были, то вкратце теперь скажу, что от Кирилы был сын Матвей, от Матвея Никита, от Никиты же недавно умерший Матвей; а в разсуждении нашего поколения от Осипа был *Ларион*, от Лариона *Петр*, от Петра *Тимофей и Матвей*. Первый был отец мой, а последний моего двоюроднаго брата.

Из сего видите, что весь наш род очень невелик, и Провидению небес не угодно было сделать его многожизненным. Ныне вся наша фамилия состоит в четырех особах: двух старых, и двух молодых, и я с братом и обоими нашими сыновьями, составляем всю оную. О месте, где жили предки наши, мы подлиннаго знания не имеем. Сказывали только мне, что до сего жили они хотя в том же Каширском уезде, но верст с двадцать от нынешняго жилища, а именно на реке Безпуте. Но как бы то ни было, но то достоверно, что они не в тех местах жили, где ныне мы живем, ибо видно по книгам и письмам, что имели тут совсем другие люди жительство и владение. В одном принадлежащем нам теперь месте жил некой князь Шестунов, почему находящийся после сего места лес, и поныне еще называют Шестунихою. А в другом, а именно в пустоши Шаховой, жил князь Гундоров, в которых урочищах и самая места, где были их жительства, видны и поныне. Овинныя и погребныя ямы доказывают где их дворы стояли, а части оставшияся от плотин, где их пруды были. Через какой случай сии селения опустели, неизвестно, но чаятельно чрез свирепствующее в тогдашния времена моровое поветрие, а может быть, разорены они и во время войны татарской. Но как бы то ни было, но сии опустевшия места даны потом за службы нашим предкам, кои около сих мест имели уже поселение свое на речке Скниге и в другой, в близости того места бывшей деревни, носящей и поныне еще имя их фамилии. Кирила и Ерофей жили

уже в здешних местах и имели дачи и владение на реке Скниге, которыми владеем мы и поныне.

Что касается до истории и до дел наших предков, то равномерно имею я о том очень малое и недостаточное сведение. Невежество тогдашних времен было тому причиною, что они не старались оставить потомкам своим о том какого-нибудь сведения, хотя бы то было для нас ныне весьма приятно и я дорого бы заплатил, если бы мог только отыскать и достать какая-нибудь письменная об их породе, их жизни и приключениях известия. Итак, все известное об них состоит только в некоторых словесных преданиях, да и то очень несовершенных и темных. Знатных и отменно прославившихся людей не было между ими. Не хочу я тем хвастать, а неужгодно было также судьбе одарить их и знаменитыми достатками и преподать им случай по примеру прочих приобрести себе богатство, но они были дворяне недостаточные и незнаменитые. При случающихся войнах хаживали они на войну с царями нашими и важивали с собою по несколько человек собственных своих людей, по тогдашнему обыкновению. Когда же в новейшие времена введено в войске нашем регулярство, то служили они в полках офицерами. Однако выше штабскаго чина никого почти не было из старых.

Об одном только из наших старинных предков, а именно о *Еремее сыне Гаврилине*, а внуке *Василия Романовича*, передана мне повесть, которая по особенностям своей достойна внесена быть в сие описание, но как она довольно пространна, то дозволяйте мне, любезный приятель, рассказание оной отложить до последующаго за сим второго письма, а между тем будьте довольны сим первым и не взыщите, что наполнил его столь сухою материею, будущее, может быть, будет уже для вас любопытнее и не так скучно. Я окончу оное, сказав, что я есмь и прочее.

ИСТОРИЯ ЕРЕМЕЯ ГАВРИЛОВИЧА

Письмо 2-е

Любезный приятель!

Обещав вам в предыдущем моем письме рассказать вам повесть, преданную мне об одном из моих предков, хочу теперь обещание мое исполнить и надеюсь, что вы не поскучаете ея чтением, но будете ею довольны.

Предок сей, как прежде мною уже упомянуто, назывался *Еремеем*; он был *сын Гаврилы*, прозваннаго *Горяином*, и жил в упомянутой недалеко от нас находившейся и на речке *Гвоздевке* сидящей деревне, которая по нем стала называться *Болотово*, между тем как брат его родной Ерофей поселился на берегах реки *Скниги* и в самом том месте где мы ныне живем. У сего Еремея было два сына и две дочери. Одна из сих последних выдана была замуж за соседняго дворянина *Ладыженскаго*, а другая находилась в девках.

Как около тогдашняго времени случилось нашим государям иметь войну с крымскими татарами, и все дворянство по тогдашнему обыкновению имело в том участие, то принужден был и помянутый Еремей, оставив жену и дочь в девках, идти на оную с обоими своими сыновьями и лучшими людьми. Но сия война была ему крайне злополучна. При глазах его поражены были оба его сыновья и пали мертвы к ногам своего родителя. Сие так тронуло сего несчастнаго старика, что он в безпамятстве почти бросался на неприятелей, желая отомстить за смерть детей своих, но тем лишь только свое несчастье усугубил. Будучи отхвачен от своих, хотя и долго оборонялся он от окруживших его неприятелей, но наконец принужден был уступить силе и дать себя взять в плен и отвезть в жестокую неволю.

Как в сем плену препроводил он долгое время, и о нем в России никакого слуха и известия не было, то считали его все погибшим; жена и дочь были о лишении его неутешны, но небо в особливости излило гнев свой на сей несчастный дом и присовокупило новыя бедствия и напасти. Немногия годы спустя, ночным временем напали разбойники на дом сей госпожи; они ограбили оный весь и самое ее измучив, тираническим образом лишили жизни. Бедной дочери ея удалось уйти босиком и совсем почти обнаженною. К несчастью, уstraшенная боязнию, чтоб ее не нашли и не догнали, восприяла она бежать в ближнюю и самую ту деревню, где мы ныне обитаем и где тогда жили двоюродные ея братья Кирила и Ерофей, искать у них спасения и прибежища. Но когда разгневанное небо похочет кого гнать, то можно ли найти где спасения и укрытия от его гнева. Самый сей побег, свободивший ее от рук и варварства злодеев, обратился ей в вящее несчастье. Как случилось сие в зимнее время и в жесточайшие морозы, то она, бежав около трех верст до нашей деревни босая по снегу, отзнобила ноги и пришед в дом родственников своих, пала без памяти.

Страх, печаль, простуда и самая боль ног в короткое время низвели ее во гроб. А как за короткое пред тем время и замужняя ее сестра умерла бездетно, то пресеклось чрез то все их поколение, и имению их остались наследниками помянутыя ее родственники, то есть наши предки Кирила с своими братьями, в которое они поступили спокойно во владение.

Все думали тогда, что отца ее, настоящего владельца сего имения, не было в живых, ибо несколько уже лет прошло как он без вести пропал и не было о нем ни малейшаго слуха. Со всем тем он был жив в претерпевал все суровости плена; слишком двадцать лет принужден он был, удаленным от отечества, от дома и родных своих, стонать под игом жесточайшей неволи, быть рабом у многих переменных и немилосердных господ и отправлять все должности раба и невольника. Многожды покушался он уйтить, но все его покушения были тщетны и произвели только то, что содержать его стали жесточее, а для отвращения от побега, по варварскому своему обыновению, взрезали ему пяты и, насыпав рубленных лошадиных волос, застили онья в них, дабы не способен был к долговременной ходьбе.

Наконец судьба соединила его с одним земляком, таким же дворянином, каков был он и который был не только ему знаком, но и несколько сродни. Сей несчастный был фамилии Писаревых, и будучи взят тогда же в полон, претерпевал такую ж неволю и рабство. Хотя сей столько же мало мог подать ему помощи, сколько он ему, однако обоим им приносило соединение сие великую уже отраду. По крайней мере, могли они совокуплять все слезы и жалобы на суровость своего жребия и, напоминая свою родину, говорить друг с другом и утешать себя взаимно.

Несколько времени препроводили они вместе, служа одному татарскому господину. Наконец убежден был мой предок товарищем своим к испытанию еще раз своего счастья в побеге. Близость тогдашняго их пребывания от пределов и границ российских и явившийся удобный к тому случай подавал им к сему поводы, но и в сей раз не были они счастливее прежняго. Они ушли, но их догнали и наказали наижесточайшим образом.

Сие прогнало в них охоту к предприятию впредь тому подобнаго. Однако в самое то время, когда они всего меньше о том думали и когда лишились уже навек надежды видеть когда-нибудь любезное свое отечество, явился неожиданный и новый благоприятствующий им случай. Одна старушка, раба того ж господина, сжалилась на их несчастье. Благопри-

ятствуя им во всякое время, не могла она без соболезнования смотреть на раны, ими претерпеваемая. Она утешала их и говорила, что им никогда не уйтить, если непохотят они пользоваться ея помощью, при ея ж вспоможении они верно отечество свое увидеть могут. Легко можно заключить, что не надобно было им сие два раза предлагать. Они пали к ея ногам и просили, чтобы помогла, если только может. Татарка обещала им сие сделать и велела дожидаться, покуда найдет она к тому удобное время.

Через несколько дней она и исполнила свое обещание. «Добро!», – сказала она, пришед в один день с поспешностию к ним. «Мне надобно сдержать свое обещание, не могу более видеть ваших слез и горести, – добродушие и постоянство ваше меня тронуло – вот возьмите сие и, не теряя времени, бегите и будьте счастливы. Бог да поможет вам увидеть вашу землю и родных ваших». В самое то время отдала она им связку и напоминала, чтобы они в нужном случае хоть бы все кинули, но не бросали б, а берегли маленький узелок, завязанный в связке. Они не знали, что это значит, однако, поблагодаря старушку и простившись с ней, отправились того часа в путь свой.

Целую ночь бежали они неоглядкою в ту сторону, которую указала им старушка, и дошед до одного назначенного ею места, спрятались в камыш для отдохновения и препровождения в оном всего дня того.

Тут имели они время осмотреть все, что находилось в связке. Они увидели, что добросердечная старушка снабдила их всем нужным к продолжению пути их. Находилось тут несколько денег, и столько сестных припасов, что им можно было ими до пришествия в свое отечество пропитаться; но что привело их в великое удивление, то был помянутый узелок, о бережении котораго старушка неоднократное им делала подтверждение; в оном не нашли они ничего, кроме двух небольших пучков незнакомой им травы; хотя они и не знали, чтоб это значило, однако положили свято хранить старушкино завещание, и для лучшаго сохранения взяли оба по пучку, и спрятали в безопаснейшее место.

Но не успели они скарб свой, опять связавши, несколько отдохнуть, как услышали уже вдали крик и вопль татар, скачущих по пространным степям и друг другу голос подающих. Нетрудно было им заключить, что то была за ними погоня. Они ужаснулись от близости предстоящего им бедствия и пали ниц в густом камыше, прося Бога о помиловании их и о защищении от гонителей. Слух и топот от скачущих лошадей прибли-

жался от часу ближе, и страх их был неописанный, как татары, гнавшие за ними и их повсюду искавшие, прискакали к самому тому болоту и камышу и в оном повсюду искать их начали. Но небо похотело тогда конец положить их страданиям: татары не нашли их, хотя несколько раз и в такой близости от них ездили, что одному из них едва было головы лошадьми не раздавили. Они спаслись и, возблагодарив Бога, пролежали тут весь день и не прежде пошли в дальнейший путь как по наступлении опять ночи.

Сим образом, идучи всегда по ночам, препроводили они несколько суток в безпрестанном страхе и боязни, покуда не дошли благополучно до пределов российских и не достигли до любезного своего отечества. Тут отдохнули они по желанию и благословляли Бога, что вывел их благополучно наконец из долговременной и жестокой неволи и дал еще прежде смерти увидеть свое милое отечество.

Со всем тем место их родины отстояло оттуда еще далеко, и им предстоял путь гораздо дальнеший. Но как бы то ни было, но продолжали они оный охотно, питаюсь мирским подаянием, ибо собственного ничего более у себя не имели. Надежда вскоре увидеть свои дома и родных увеселяла их дух, и облегчала трудности путешествия. Но сколь мало знал мой предок, какия печальныя вести его там дожидаются, где он веселье найти надеялся!

По приближении к тем местам, где уже неподалеку их обоих жилищи были, распрощались они друг с другом наинежнейшим образом и каждый спешил к своему дому и обиталищу. С какими чувствами приближался наш старик к тем местам, где он рожден, воспитан и препроводил большую часть века своего, живучи в покое, и от коих толь долгое время был отлучен и не имел надежды никогда видеть, сие всякому себе вообразить, нежели мне описать удобнее. Трепетало сердце его и наполнялось наисладчайшею радостью, как начали уже появляться те места, которыя ему с малолетства были знакомы, и встречаться с ним все те положения мест, те речки, ручьи, вершины и бугорки, которых и названия не могло из памяти его истребить толь долговременное отсутствие. Переходя оныя, называл он каждый из них знакомым ему еще именем, и каждое приветствовал. Все они были ему милы и казались глазам его имеющими в себе нечто приятное и прелестное, а многия места не мог уже он и узнавать совсем, а особливо леса и рощи. Во время толь многих годов его отсутствия многия совсем иной вид восприяли. Там, где при отшествии его на войну были

леса, находил уже он пашни и поля, а где низкие кустарники и чепыжи были, там высокие и большие рощи и заказы стояли. Одним словом, все ему казалось ново, мило и приятно, но, не зная, что в доме его происходило и кого он найдет, находился он между страхом и надеждою.

Перед вечером было то, как наш старик, изнемогший от трудов и долговременного путешествия, в пыли, в поту, в разодранном рубище, с котомкою за плечами, и с посошком в руках добрел до своих полей и тех мест, откуда хотя вдаль, но мог даже он свое жилище видеть. Вострепетало сердце его при узрении сего селения, и вся душа взволновалась в нем. Он удвоил остатки своих сил и спешил добраться до одного знакомого ему еще бугорка, с которого можно было ему свой дом видеть и с которого, идучи на войну, он в последний раз с ним прощался, Он доходит туда. Но, увы! какое зрелище представляется его зрению! Нигде, нигде не видит он своего дома и хором, и глаза его тщетно ищут сего обиталища, которое ему до сего столь мило было, и которое он с толиким вожделением видеть желал. От сердца его власно как оторвалось тогда что-нибудь! Вся кровь взволновалась в нем при сем печальном предвозвестии и он едва было на самом том месте не упал, обезсилен. Однако некоторый остаток надежды подкреплял еще его. «Может быть, – говорил он сам себе, – жена моя перенесла хоромы в другое место; может быть, новый дом и на другом месте построила! Лет немало прошло с того времени, как я отлучился! Поспешу вон на этот пригорок!.. Оттуда уже явственнее все увижу и всю деревню обозрю!», – сказав сие и собрав остатки сил, поспешал сей, сединами покрытый муж, добраться до пригорка вожделенного. Ноги его едва служить ему могли, колени его согинались против хотения и никогда не был ему посошок его так нужен, как в то время. Наконец достигает он и до того пригорка и с страхом и надеждою восходит на него и обзрывает вновь всю деревню. Но, увы! он и тут ничего не видит. Он ищет темнеющими глазами своих хором, но и следа хором и дворянского дома не находит. Повсюду видны были только мужичьи хижины и дворы, а на месте где он жила, был уже огород и росли конопля. Он и места не узнал бы, если б некоторые деревья, оставшиеся от бывшего его и любезного ему садика, не делали его приметным. Одним словом, он не мог более никак сомневаться и все доказывало дома и жилища его совершенное уничтожение.

Тогда не могли уже ноги его более на себе держать. Колена его подломились и он, изнемогши, ринулся на том месте, где стоял, и слезы, как

град, покатались из очей его. Несколько минут сидел он тут, опершись на посошок и орошая оный слезами, и не был в силах встать и продолжать путь свой.

Наконец пришло ему в мысли, что, может быть, жена его умерла, и дочь вышла замуж, или и она еще жива, но живет с замужнею дочерью. Сия мысль ободрила его несколько и подала новый луч надежды и отрады... В сих помышлениях видит он вдали человека приближающегося к себе и возвращающегося в дом свой с поля с хлебопашенным своим орудием. «Подожду, – сказал он тогда, – сего земледельца я к себе, и услышу от него о судьбе моего дома и моих домашних. Нельзя ему не знать, что с ним и с живущими в нем учинилось и каким случаем он совсем уничтожился».

По приближении сего человека показались ему черты и признаки его лица знаемы. Старик то был сединами покрытый и хотя двадцатилетнее время много вид его переменяло, но он вскоре признал, что сей человек принадлежал прежде ему и был самый тот, который при отъезде его из дома был старостою. Обрадовался наш старик, узнав и увидев сего знакомого человека, однако имел столько терпения и духа, что не открыл тотчас о себе, но хотел видеть узнает ли он его, и пользуясь неузнанием, готовился распроедывать у него обо всем, и потому хотя с нетерпеливостью, но дожидался его к себе.

Земледелец поровнясь против его и видя дряхлаго и престарелаго человека, не иначе его счел как нищим, а будучи добросердечным человеком, не мог его пройтить мимо.

– Старинушка! – сказал он ему: Небось ты, бедненький, устал и сегодня еще не обедал?.. Добреди, дружок, до моего двора и переночуй у нас, мы тебя напоим и накормим.

– Спасибо, мой друг! – отвечив опечаленный старик и, сказав сие, начал собирать свои силы и вставать. Добродушный крестьянин, видя его дряхлость и изнеможение, подошел к нему и помогши подняться, не хотел его покинуть, но сам восхотел довести его до двора.

На дороге спрашивал он его, откуда и из каких мест он.

– Издалека, добрый человек! – отвечив наш старик. И более двадцати лет в здешних местах не бывал. И куда как у вас все места здесь переменялись! И не узнаешь уже их!.. Вот здесь, помнится мне, стояли хоромы и был дом господский, а теперь и следа его нет!

– Да, старинушка, тут был дом нашего прежняго боярина... Покойник-свет, дай Бог ему Царство Небесное! боярин был добрый и мы его очень любили.

– А ныне чьи же вы, добрый человек, – спросил его наш путешественник.

– Племянников его, старинушка, которые живут вон в этой деревне.

– Племянников его, – подхватил изумившийся старик, но разве не осталось у него детей? Мне помнится, что они у него были... Я как теперь их вижу.

– Так, старинушка! Дети были, но все на том свете!.. Сыновья его побиты на войне, сам он там же без вести пропал, а бедную боярыню нашу разбойники разбили и до смерти замучили. А из дочерей его одна была замужем и умерла, а другая ноги отзнобила, бежавши от разбойников, и от того также на том свете!.. И как никого не осталось, то так и перевелся этот домик и мы достались его племянникам.

Легко можно заключить, что немногие сии слова поразили несчастнаго старца, власно как громовым ударом. Не в силах он был выслушивать далее хотящаго говорить добросердечнаго крестьянина. Колени его подломились и он воскликнул только: «О, Боже милосердный!» – без памяти ринулся на землю и не в состоянии был говорить более; слезы как град покатались из очей его и вздохи последовали за стенаньями. Таковое явление удивило простодушнаго крестьянина. Он оробел, сочтя, что старик опасно занемог, и стоял над ним в изумлении.

– Что тебе, старинушка, сделалось? – сказал он потом, приметя, что он несколько опаматовался, – о чем ты, дружок, так плачешь и горюешь?

– О мой друг! есть о чем мне плакать и горевать, – отвечивал вздыхая и всхлипывая старик. – Куда мне теперь приклонить свою голову? Всего того уже нет, чем бы мог я веселиться – всей надежды я теперь лишился!

Слова сии невразумительны были для крестьянина, но он вскоре его вывел из сумления, сказав, чтоб он посмотрел пристальнее на него и не узнает ли он в нем своего прежняго боярина?

– Ах, батюшка, Еремей Гаврилович! – закричал, узнав его, крестьянин и упал к нему в ноги. – В живых ли тебя, государя нашего, видеть... Откуда ты это к нам взялся? Мы тебя, государь, давно уже поминаем и думали, что ты давно на том свете! Как это тебя Бог спас и на святую Русь вынес? И пожалуй, батюшка, поцеловать мне свою ручку.

Старик не мог тогда удержаться, чтоб не удвоить своих слез и чтоб не обнять своего старинного подданного; он облобызал его и, обмочив в купе лицо его слезами, изъявляя радость, что нашел хотя его еще в живых и его забывшаго.

Приключение сие в такое замешательство привело добросердечнаго сего крестьянина, что он не знал, что тогда ему с господином его делать: и в деревню бежать, и повозку для отвоза его к себе в дом привезть ему хотелось, но не хотелось и утружденнаго и крайне опечаленнаго старика оставить одного на поле, ненаходящагося в состоянии иттить далее. Он озирался кругом, не увидит ли кого иного, но, не видя никого, усердие превозмогло наконец. Он упросил его, чтоб он на минуту посидел и отдохнул на том месте, а сам бросился в деревню и, схватя первую телегу, попавшуюся ему в глаза, спешил обратно на помощь к своему господину.

Между тем как сие происходило и покуда они до деревни ехали, успел развестись о приключении этом слух по всей деревне. Семья того мужика разсыпалась по всем дворам, и встревожила всех жителей. Со всех сторон бежал и стекался народ и собирался ко двору того крестьянина, и множество было тогда сбжавшихся, как приехали они в деревню. Всякий спешил отчасти из усердия, отчасти из любопытства видеть прежняго своего господина, и многие от нетерпеливости бежали ему навстречу и, кланяясь, изъявляли свою радость. А не успел он приехать, как многие наперерыв бросались его вынимать и целовать у него руки. Сколь старик ни был печалию отягощен, но не мог чтоб не чувствовать тогда некоторой отрады. Он соединял тогда слезы горести с слезами радости и удовольствия и не оставил никого из всех, кого бы не облобызал он и не обмочил слезами. Все от мала до велика принуждены были к нему подходить и всех старался он приласкать, колико было ему тогда можно. Многих застал он еще живых, которых знал, но большая часть была незнакомых; отчасти родившихся после его, отчасти таких, коих оставил он еще в малолетстве, но все до одинаго были ему рады и не могли на него насмотреться.

Между тем как сие происходило, бегал хозяин почти без памяти взад и вперед, и суетился о скорейшем приуготовлении милому своему гостю ужина. Все, что достаток крестьянский лучшаго мог снискать, сносимо и приуготовляемо было бабами, понуждаемыми то и дело кропочущимся стариком хозяином, а по изготовлении, что могли в скорости успеть, приглашают они утружденнаго старца, сажают почти насильно есть не хотя-

щаго за стол, окружают оный толпами и просят, чтобы покушал и не прогневался на худую пищу.

Сколь мало и имел старик охоты к пище, но принужден был сделать им удовольствие, а между тем суетился уж сам хозяин о приуготовлении ему места для отдохновения. Хозяйки принуждены были сломя голову бегать и готовить все, что к тому было потребно. Уже все было готово и уже начали приглашать старика, чтоб он дал утружденным членам своим отдохновение, как появились его племянники и тогдашние владельцы его имения. Нечаянный и власно как нарочный случай доставил до них слух о возвращении их дяди из полону скорей, нежели мог кто думать. Один их человек, случившийся в самое то время тут в деревне, как его привезли, бросился опретью с известием о том к своим господам; а они не успели услышать и в том удостовериться, как бросились на лошадей и поскакали опретью к своему дяде, котораго с младенчества еще любили и почитали.

Свидание их с ним было нежно и таково, которое не может никак описано быть. Слезы с обеих сторон имели наивеличайшее участие в оном. Они не могли с ним довольно наговориться и не хотели никак допустить, чтоб он остался ночевать в крестьянском доме. Коляска по повелению их приехала вскоре за ними, и хотя утружденному и к трудам и худой постели привыкшему уже старцу приятнее бы было остаться и взять скорее покой тут, но не мог он отказать на усильныя просьбы и лишиться удовольствия семьи и домашних племянников своих, чтоб видеть себя еще в тот же вечер.

Тут принужден он был опять вновь плакать и непринужденно соответствовать тем, которыя его с радостными слезами встречали и были ему как отцу рады. Сие много помогло ему перенести с великодушием печаль, которую имел он о потереянии жены и обеих дочерей своих. Он благодарил Бога, что не всех еще родных лишился, но видит столь многих столько ж ему радующихся, как детей отцу своему.

На другой день извинялись племянники его пред ним в том, что во владение его имением вступили и что, не чая его быть в живых, перевезли дом и строение его в свое жилище и там двор его уничтожили. Но он никогда не почитал их в том виноватыми, но давно уже оправдал их в своем сердце и доволен был тем, что они крестьян его не разорили, но заставили себя также любить, как они его любили. Но как стали они с великою охо-

тою возвращать его имение и усиленно просить, чтоб он по-прежнему вступил во владение своей деревни и выбрал для жилища своего любое жило в их дворе, которое хотели они перевести и где прикажет он поставить, то он поступил далее и, будучи ласкою и приязнию их доволен, им сказал:

– Не хочу я сего и никак не соглашусь на вашу просьбу... век мой уже короток и жить мне на свете осталось уже недолго! К чему мне вступать в такая хлопоты и поднимать труды, силам моим несоразмерные!.. Проводив столько лет в неволе и в рабстве, позабыл уже я, как и управлять другими. Мне теперь всему учиться надобно. Но кому мне прочить и для кого трудиться?.. Кто остался у меня на свете, кроме вас, друзей моих?.. Всевышнему угодно было лишить меня жены и детей и дозволить вам заступить их место, будьте же вы оными в самом деле. Не хочу отнимать у вас то, что даровало вам небо, но не хочу и оставить вас и детей ваших. Сие утешение осталось мне в жизни. Хочу окончить жизнь мою у вас, не мешая нисколько вам в правлении моими деревнями; владейте ими, мои други, а меня кормите и пойте, покуда буду жить, и погребите кости мои, когда умру и переселюсь в вечность. А до тех пор, может, найдется праздный уголок в вашем доме, где б я мог изнемогшим членам моим давать отдохновение и приносить молитвы мои Господу. Может быть, не помешаю я вам нисколько и не наскучу.

Излишнее будет, если мне описывать теперь те чувства, какие имели тогда его племянники и мои предки; они были, неудобно изобразимы пером, и преисполнены наиневнейшею благодарностию. Они и подлинно соответствовали таковой поступке стариковой достойным образом и не только кормили, поили, покоили и одевали его до смерти, но не иначе почитали и любили его, как отца, и имели о нем попечение. Он прожил у них несколько лет в совершеннейшем спокойствии и окончил жизнь, благодаря Бога, что он при конце оной допустил его наслаждаться покоем и, лишив его родных, даровал других детей, от которых он не мог лучшей и совершеннее той любви и почтения требовать, какое они ему оказывали.

Вот, любезный приятель, повесть, которая передана мне помянутою старушкою, моею родственницею¹. Она, дожив до глубочайшей старости,

¹ Она называлась Варварою Матвеевною, бывшая замужем за Темирязовым, и дочь Матвея Кирилловича Болотова. – Прим. *Болотова*.

запомнила еще того честного старика, и была тогда ребенком, когда он возвратился и у них жил в доме, и рассказывала мне все сие происхождение неоднократно.

Теперь не знаю, не наскучил ли я вам, любезный приятель, своим болтанием; письмо мое слишком велико, но мне не хотелось прервать повесть, но как теперь она уже вся, то, окончив, остаюсь и прочая.

ИСТОРИЯ БЛИЖНИХ ПРЕДКОВ

Письмо 3-е

Любезный приятель!

И для прочтения сего письма нужно вам небольшое терпение, ибо и в оном не начну еще я рассказывать вам собственную мою историю, а наполню все оное кратким повествованием о прочих моих в ближайших предках, которое хотя и не таково любопытно будет как предследующее, но вы уже должны быть оным довольными, ибо мне не выдумать-стать любопытныя и такая истории, которья бы читать было приятно, если таковых в самом деле не происходило! Сего, я думаю, и сами вы не потребуете.

Итак, возвращаясь к моим предкам, скажу, что о прапрадеде моем, *Осипне Ерофеевиче Болотове*, не имею я почти никакого сведения. А то только знаю, что умер он в молодых летах и с вышеупомянутыми братьями его, Кирилом и Ерофеем, жил уже в одно время оставший после его сын, а мой прадед, Ларион Осипович, а их родной племянник.

О сем прадеде моем также ничего мне более неизвестно, кроме того, что он жил уже особо от дядей своих и на самом том месте, где ныне я живу; также, что был он великий делец по приказным делам, имел пословицу, *реку* и хаживал еще в бороде. Впрочем, сказывают, был он человек неуступчивый и не скоро себя давал в обиду. Почему и в тогдашнее еще время было между обоими нашими домами, то есть домом прадеда моего и *Кирила Ерофеевича* временем не очень согласно. Далее, имеем мы от сего прадеда моего и поныне еще одну антику, доказывающую вкус тогдашних времен и вкуче рачение его о церкви, ибо резныя и вызолоченныя царския двери в нашей приходской церкви в селе *Русятине* были его построения, как то из надписи на них и поныне еще видно.

Обоим сим старикам наследовали дети их. После Кирилы остался сын *Матвей*, а после Лариона, дед мой *Петр Ларионович*, а Матвеев двоюродный племянник, но с тою ж опять разницею, что дед мой остался после прадеда моего очень молод и еще в самом младенчестве, а Матвей Кирилович был уже на возрасте. Натура разделила оба сии дома чудным образом, снабдив их весьма разными свойствами. Потомки *Осиновы* были немногочисленны и недолговечны, но добродетельные и лучших свойств и качеств душевных, а потомки Кирилины гораздо долговечнее и многочисленнее, но при том далеко не таких свойств были. Одним словом, нравы обоих сих домов изстари были несогласны между собой. Наши предки были добродушны, откровеннее, чистосердечнее, дружелюбнее, а те скромнее, или, прямее сказать, лукавее и неприступнее, почему и самое господствующее иногда между ими согласие было только наружное и притворное, по которой причине нашим не без обид с той стороны иногда бывало.

Не успел дед мой *Петр Ларионович* придти в возраст, как началось в войске нашем регулярство, следовательно, и он служил уже в регулярных войсках и был офицером. Он женился на одной дворянской девушке фамилии *Бабиных*, и взял в приданое за нею две деревнишки, которые были хотя очень невелики, однако по тогдашним обстоятельствам очень важны, а особливо потому, что сам дед мой был человек небогатый. Все его имение состояло в нескольких крестьянах, живших в той деревне, где мы ныне живем, да в нескольких крестьянах, доставшихся на его долю из владения помянутого несчастного старика *Еремея Гавриловича*, в деревне *Болотове*, в которых обоих местах не думаю чтоб душ 50 за ним было. Из сих взятых за женою своею в приданое деревень одна была в Каширском уезде и называлась *Бурцово*, которая дошла до рук моих, и я ее перевел уже в другое и лучшее место; а другая в Епифанском уезде и называется и поныне *Бабинкою*, и которою я и по днес владею.

Бабка моя, а его жена называлась *Екатерина Григорьевна* и об ней слышал чудное повествование. Было их у отца три дочери, сия *Екатерина*, другая *Лукерья*, выданная за *Арсеньева*, а третья *Афимья*, бывшая в замужестве за *Тутолминым*, дедом нынешняго Архангелогородскаго наместника. Некогда, как бабка моя была еще в девках, случилось приттить к ним одному монаху, странствующему и собирающему милостыню из земли обетованной. Любопытству подвержены были люди во все времена. Бабка моя, бывшая тогда еще в девках, показывала ему руку и требовала

предсказания, ибо он угадывал многим и был хиромантик. Вопрос клонился более к тому, долго ли жить и быть-ли замужем? Старец, посмотрев, сказал ей удивительное предсказание, а именно. что ежели хочет она долго жить, то не ходила б замуж, буде же пойдет, то жизнь ея только пять лет продлится.

Последствие доказало, что предсказание сие было очень справедливо. Как он сказал, так и сделалось. Ее выдали еще в тот самый год замуж, и она жила с ним действительно пять лет и родила только двух сыновей, которых и остались живы. Один из них был *Тимофей* и самый тот, которому я рождением моим обязан, а другой *Матвей*, оставшийся после матери самым младенцем и еще у груди. Дед мой находился тогда в службе как она умерла, почему взяла дядю моего к себе тетка ея сестра *Лукерья Григорьевна*, бывшая уже замужем, и воспитала своею грудью. Изрядный пример бывшего между сестрами сими согласия и любви совершенной.

Жизнь деда моего продолжалась также недолго. Он дослужился майорского ранга и умер наконец в Риге, и погребен в церкви Алексея, человека Божия; дети его были тогда при нем и отец мой был уже записан в службу и едва ли уже не офицером. Как около сих времен отечество наше, под премудрым правлением славнейшаго в свете государя Петра Великаго, начало из прежняго невежества выходить и час от часу просвещаться, то и дед мой воспитал детей своих не по примеру предков, но гораздо лучше; он отдал их в Риге в немецкую школу, и выучил арифметике и немецкому языку, что после отцу моему служило в великую пользу.

По кончине отца своего продолжал отец мой военную службу. Брат его последовал ему в том же, да инако в тогдашния времена было и не можно, ибо все дворяне должны были служить, почему вступили в то же время и дети Матвея Кириловича в службу, которых было четверо: *Семен*, *Богдан*, *Никита* и *Еремей*. Они служили все в разных полках, а не вместе, и все подвержены были разным жребиям. Из помянутых четырех братьев, внучатных дядьев отцу моему, один только остался жив, а трое прочия лишились разными случаями жизни. И Никита был тот, которому судьба назначила прожить до глубокой старости и быть отцу моему, а потом и мне современником.

Что касается до моего отца, то служил он в гренадерском *Лессиевом* полку, который после переименован Белозерским, подпоручиком. Из сего полка, при случае сочинения третьяго гвардейскаго полка взят был тем же

чином в Измайловский полк, в котором служил он до 1740 года и почти до самого того времени, как я родился.

Во время сей своей службы бывал он во многих посылках и походах, а особливо в турецких с фельдмаршалом Минихом, и дослужился наконец в гвардии до капитанского чина. Один из славных наших Биронов любил его особливым образом, и он был у него в милости. Впрочем, служба его счастливо продолжалась. Он не навел себе никакого нареkania, был всеми любим и почитаем и не бывал никогда в штрафах и под судами.

Одну из его посылок почитаю я всех достопамятнее, ибо досталась мне от того вещь для меня весьма драгоценная. Не подумайте, чтоб он что-нибудь во время сей посылки нажил. Нет, любезный приятель! Отец мой не таков был сродства, чтоб неправедным образом что-нибудь себе наживать. Вся достопамятность состоит только в том, что я нашел один ордер, данный отцу моему от Петра Великого, сего славнаго и безпримернаго в свете монарха, подписанный собственною его рукою. Мой отец был в то время еще армейским подпоручиком и послан был из Риги от самого Государя, для отвоза жнецов немецких в наши степные места. И сие-то письмецо почитаю я тою драгоценною для меня вещью, хотя она в самом деле ничего не стоит.

Вся сия долговременная служба не принесла отцу моему много прибыли. Он принужден был жить одним почти жалованьем, ибо от малых своих деревень, полученных в наследие после отца своего, а моего деда, не мог он получать знатных доходов; а сверх того, не имел никогда и случая жить в них, а приезжал временно и на самое короткое время в деревню, следовательно, не имел способа о приведении оных в лучшее состояние стараться. Вся прибавка состояла только в том, что он взял за женою свою, а мою мать, небольшую деревнишку, или, прямее сказать, один только двор в Чернском уезде в приданое, да сделал основание маленькой деревеньки в Шацком уезде.

Мать моя была фамилии *Бакеевых*, внука живущаго неподалеку от нас одного каширскаго дворянина. Отец ее назывался *Степан Гаврилыч* и служил в Ингерманландском пехотном полку майором, а после в рижском гарнизоне полковником и прославился при одном случае, во время шведской войны, а именно при взятии четырех фрегатов, в которое морское сражение, будучи с полком своим на галерах, взял он шведскаго шутби-нахта в полон своими руками. За сие пожалована была ему от государя

Петра Великого золотая медаль с цепью и записано было имя его в журнале сего великого монарха.

Как был он завсегда в службе, то жила дочь его, которая называлась *Маврою*, с своей матерью у его отца *Гаврилы Прокофьевича Бакеева*, в деревне, который и выдал ее без отца за моего родителя. Приданое ее было по тогдашним временам очень невелико, но надежда та была, что она была одна у отца дочь, следовательно, всему имению наследница, что после и сделалось, ибо как дед мой Степан Гаврилович умер, то получил отец мой во владение свое то сельцо Калитино, где был их дом, да другую деревню *Тулеино*, лежащую поблизости к нашей деревне и весьма нам подручную.

Как деревни отца моего сим образом с одной стороны приумножались, так убавилось потом несколько их по другому случаю. Я уже упомянул, что у отца моего был родной брат *Матвей Петрович*. Сей жил с ним в одном доме и, будучи уже велик, женился на девушке из фамилии Резанцовых. Желание их было разделить между собою отцовское наследство, но сего учинить не можно было по тогдашним законам, известным у нас под именем пунктов, и по силе которых старший брат долженствовал быть один наследником. Но как в самое то время сии пункты отменены и дозволено было делиться, то отец мой первый подал о том челобитную и просил о разделе не для какой ссоры, а единственно для любви к брату и для убежания от несогласия, что и учинилось в самом деле.

Таким образом разделился дом наш надвое, и пошло особое поколение. Дядя мой построился шагов со сто от нас в особливом месте, а отец мой остался в старом доме. Деревня же и люди отцовские разделены были во всех местах пополам.

Детьми был отец мой не гораздо счастлив. Он имел хотя многих, но не имел того, чего желал, то есть живого сына. Из дочерей его осталось две живущих. Одну и старшую мою сестру звали Прасковьею, а другую Марфою. Но небо даровало ему наконец сына и, назначив меня жить, восхотело сделать ему при старости утешение.

Вот вам, любезный приятель, начало моей истории, или паче начало исполнения вашего желания. Довольны ли вы тем будете? – В сих письмах описал я все, что нашел упомянуть о происхождении нашей фамилии, о моих предках, и о бывших до меня происшествиях и обстоятельствах, а в будущем начну уже рассказывать собственную мою историю со дня моего рождения; а между тем остаюсь и прочая.

ИСТОРИЯ МОЕГО МЛАДЕНЧЕСТВА

Письмо 4-е

Любезный приятель!

Вот теперь дошел я и до собственной своей истории. Я начну оную с самого дня моего рождения, дня достопамятного в моей истории и означенного одним редким и примечания достойным происшествием; однако надобно примолвить, что не на небе и не во всем свете, а в господской только нашей вотчине, маленькой деревнишке Дворянинове или, лучше сказать, в одной спальне моей матери. Происшествием не столько удивительным, сколько странным и столь смешным, что оно заставило мать мою, в самые опасные минуты своих родов, и несмотря на всю свою болезнь, смеяться, и которое власно как служило некоторым предвозвестием тому, что я в течение жизни моей не столько печальных, горестных и скучных, сколько спокойных, веселых и радостных минут иметь буду!.. И буде это так, то я очень обязан за то моей бабушке-повитушке, которая ко всему тому подала повод и мать мою размешила.

«Как это так! – скажете вы. Конечно была она какая-нибудь проказа?» – Нет! право нет! любезный приятель! Она была старуха добрая; старуха богомольная, старуха честная; старуха большая; старуха толстая¹; одним словом, старуха всем хороша и я ее, будучи маленькой, очень любил и часто об ней плакивал, потому что она была моя мамка, а что она проказу делала, тому не она, а пол виноват. Ибо виновата ли она, что пол разохся и ея крест увяз в трешине? – «Как это?» – спросите вы. А вот каким образом.

Как случилось мне родиться ночью после полуночи, то не было никого в той комнате, кроме одной сей бабушки-старушки да моей матери. Мать моя сидела на постеле, а старушка молилась Богу и клала земные поклоны. Вы ведаете, как старухи обыкновенно молятся. Где-то руку заведет, где-то на плечо положит; где-то на другое, где-то нагнется, где-то наклонится; и где-то начнет подниматься с полу и где-то встанет²; одним словом, в одном поклоне более минуты пройдет. Но представьте себе, ка-

¹ Она называлась Соломониною и была мать прикащика моего Григория Фомина, у котораго был сын Абрам, бывший со мной в походе. – Прим. *Болотова*.

² Здесь «где-то» в смысле когда-то, в кою пору.

кой странный случай тогда сделался! В самую ту минуту, как назначено было мне свет увидеть, бабушка отправляла свой поклон и была нагнувшись, и в самый тот момент попади крест ея в щель на полу между разошедшихся досок и там перевернись ребром, что его ей вытащить никак было не можно. – Мать моя начала кричать и звать ее к себе, а она: «Постой, матушка, – говорит, – погоди немножко! Крест зацепил, не вытащить». – И между тем барахталась на полу головою и руками. Вытянуть его было не можно, перервать также – гайтан¹ не рвется, крепок; вздумала его скидывать с головы. Но что ж, еще того хуже сделала. Голова не прошла, а только увязла и привязалась к полу! – Что оставалось тогда делать, и не смешное ли приключение? Мать моя рассказывала потом часто, что она не могла от смеха удержаться, видя сию проказу и слыша усиленные ея просьбы, чтоб немного погодила, ибо в ея ли власти было погодить.

Ежели спросите, каким же образом она освободилась, то скажу, что на крик их проснулась и прибежала еще баба и гайтан принуждена была разрезать. И по счастью, поспела бабка к исправлению своей должности.

Вот вам, любезный приятель, первое смешное приключение, случившееся еще при самых моих родах. Но теперь возвращусь я к порядку моей истории.

Я родился в 1738 г. октября в 7 день, что случилось тогда в субботу. Место моего рождения есть самое то, где я ныне живу². Отца моего в то время не было дома, как я родился. Он находился в Нежине, одном украинском городке, где тогда полки по возвращении из турецкаго похода стояли³. Он был очень рад, получив известие сие чрез полтора месяца. Крестины мои отправлялись обыкновенным у нас в деревнях образом. У меня было два отца и две матери крестных, – все родственники и приятели моих родителей. Один из них был господин Раевский, по имени Иван Артемьевич, а другой – господин Ладыженский, по имени Иван Леонтьевич. Кумы же две старушки, наши родственницы и мне бабки: Арина Савична и Авдотья Борисовна, жена соседа нашего Матвея Кириловича Болотова.

О самом первом периоде моей жизни или о времени первого моего младенчества много говорить мне о себе нечего, ибо со мною не происхо-

¹ Гайтан – шнурок, на котором носят тельный крест.

² Сельцо Дворяниново Алексинского уезда Тульской губ.

³ Откуда и мать моя в преднедавнее время и беременная мною домой от него приехала. – Прим. Болотова.

дило ничего особенного, и сказать разве только то, что воспитывали меня с особливим старанием и берегли как порох в глазе, но тому и удивиться не можно. Мать моя была уже негораздо молода, и детей более родить уже не надеялась, а сына не одного еще живого не имела. Все бывшие до меня умирали в самом еще младенчестве, следовательно, имела она причину опасаться, чтоб и со мною того же не сделалось, а особенно потому, что я с самого младенчества подвержен был многим болезненным припадкам, почему легко можно заключить, что жизнь моя была обоим родителям моим гораздо нужна и драгоценна. Но могли ли бы они всеми трудами и всеми стараниями своими онаю сохранить, если б небо того не похотело? Но сие назначило меня к тому, чтоб жить, и потому сохранило от всех опасностей, которым мы в младенчестве своем ежеминутно бываем подвержены.

Года два после рождения моего жила мать моя со мною и с обеими моими сестрами дома, ибо родитель мой был в сие время во многих отлучках. В последующий 1739 год ходили они в последний турецкий поход⁴ где марта 5-го пожалован он был гвардии старшим капитаном, а августа 17 дня был он на случившемся в Молдавии на речке Шуланце сражении и при взятии города Хотина, где благополучно сохранился.

Как сей поход был последний в тогдашнюю турецкую войну, то возвратилась армия в Россию и отец мой прибыл зимою с гвардейским батальоном в Петербург, захав наперед в деревню и побыв в ней самое короткое время.

Не успел он в помянутый столичный город возвратиться, как объявлен был заключенный мир с турецким государством и отец мой отправлен был с объявлением о том в некоторые отдаленные провинции нашего государства, лежащая в сторону к Сибири. Сия посылка была ему не убыточна, ибо известно то обыкновение, что присылаемые с таким радостным известием получают от жителей тех мест многие подарки и приносы, и я имею и поныне некоторые, а особенно фарфоровые вещи, привезенные им из Соликамска, где ему тогда быть случилось.

Вскоре после возвращения отца моего оттуда, а именно октября 17 дня 1740 года воспоследовала кончина императрицы Анны Иоанновны. Я не

⁴ Русско-турецкая война 1735–1739 – война между Российской и Османской империями, вызванная возросшими противоречиями в связи с итогом войны за польское наследство, а также с непрекращавшимися набегами крымских татар на южнорусские земли. Помимо этого, война соответствовала долгосрочной стратегии России по обретению выхода к Черному морю.

буду упоминать о тех замешательствах, которые тогда при избрании наследников у нас в государстве происходили, ибо мне о том знать было не можно, к тому ж их весь свет довольно знает. При возшествии на престол императрицы Елисаветы Петровны находился отец мой уже в полевых полках, ибо его выпустили между тем из гвардии, пожаловали полковником и дали ему Архангелогородский пехотный полк.

Сия перемена привела обстоятельства наши в иное состояние; отец мой находился с того времени почти безпрестанно при полку, а и мы жили также по большей части при нем.

Таким образом начал мой отец мало-помалу приходить в честь. Он и действительно чрез хорошие свои поступки и умное поведение сделался известным. Одним словом, его почитали человеком должность свою довольно знающим, и заведенныя им в полку порядки доказывали его способность. Еще находясь в гвардии, нажил он себе многих хороших приятелей, а особливо жил в великой дружбе с одним придворным генералом, господином *Шепелевым*. Одним словом, все знатные были к нему благосклонны, а между оными и почитал его и сам командующий тогда армиею фельдмаршал *Лессий*¹.

Мы принуждены были следовать повсюду за отцом моим и я, размышляя о том часто, сам тому дивился, что с рождения моего никогда долгое время на одном месте не жывал. Не успел отец мой полк принять, как взял он нас к себе в полк, стоявший тогда неподалеку от Нарвы, в селении, называемом Наровск. Вскоре после того пошел он с полком в другое место и мы принуждены были следовать за ним, – а сим образом с места на место переходя, нигде он долгое время на одном месте не стоял, что причиною было, что и мы с ним всюду и всюду таскались.

Между тем бывали мы с матерью несколько раз и в доме нашем, а особливо как вскоре потом началась война с шведами, и отец мой, идучи в поход с полком своим на галерах, принужден был отпустить нас в деревню из Эстляндии. Мне шел тогда уже пятый год, а большой моей сестре семнадцатый, а другой тринадцатый, ибо первая родилась в 1725, другая в 1730 году. Я был самый меньшой и действительно последний.

¹ Лесси Петр Петрович – генерал-фельдмаршал и лифляндский генерал-губернатор. В 1740 году возведен в графское достоинство Св. Римской империи, на что последовала санкция русского престола.

Что касается до начала воспитания моего по отнятии от кормилицы, то было оно обыкновенное. Превеликая нега следует всегда за любовью, которую матери имеют к своим детям. Мать моя меня любила, и не оставляла всяким образом нежить, чрез что допустила вкорениться во мне многим худым привычкам. Упрямство было первое, которое тогда корень свой и пустило, умалчивая о прочих. Блаженны дети, о коих родители их в самом младенчестве о них пекутся, и о исправлении их нравов старание прилагают.

Что касается до того пункта времени, с котораго начал я сам себя познавать и сколько-нибудь помнить, то не могу оный в точности означить, а только то знаю, что до 1744 г. память моя была еще мала и беспорядочна. Я хотя и помню много кой-чего, бывшего до сего времени, но без всякой связи и все клочками, и только то, чему случилось тверже впечатлеться в мою память, как, например, памятью я, как сквозь сон, как мы с полком стояли в Наровске и как я ездил тут в салазках на козле для принимания будто от комисара жалованья, и получал по несколько копеек; также как мы с меньшою моею сестрою однажды в отсутствие родителя забралпсь в его комнату и возжелали посмотреть, как идут карманные часы его, но были столь неосторожны, что оныя, уронив, разбили на них стекло, и как сестра моя за то принуждена была терпеть наказание, да и меня едва было не высекли. Также памятно мне, как мы стояли в Эстляндском местечке Гапсале¹ в одном каменном доме, котораго образ и фигуру как теперь вижу, и как случилось мне тут быть в одной пустой немецкой кирке и видеть несогнвишее тело одного человека, погребеннаго лет за 100, и о котором говорили тогда, якоб он был проклят. Далее, как я тут зимою с родителями ездил по городу кой-куда в санях в гости, и сматривал на бывшую тогда на небе звезду с хвостом или комету и проч., но когда что было и что за чем следовало, того никак в памяти моей сообразить не могу.

Наконец, вскоре по возвращении полка нашего из шведскаго похода, и по заключении с короною шведскою мира, воспоследовала в государстве нашем вторичная всему народу перепись, или вторая ревизия². При сем

¹ Гапсаль — портовый город нынешней Эстонии, раньше Эстляндской губ.

² Ревизии (переписи) в России начались очень рано. Первая перепись, о которой дошли до нас сведения, была предпринята татарами в 1245 г., и затем переписи периодически повторялись, обнимая различные части территории страны. Переписи земель, имущества и населения производились с целью правильного распределения и взимания податей и налогов. Первая всеобщая перепись была

случае отца моего определили ревизовать Псковскую провинцию. Итак, принужден он был оставить полк и во Псков отправиться, куда к нему и мы из деревни приехали.

Но как с самага сего времени началась моя память и я уже помню все происходившее порядочно, а не так как прежде клочками, то, окончив опять мое письмо, сделаю чрез то некоторое отделение и, пожелав вам всех благ, остаюсь и прочая.

ПРИ РЕВИЗИИ ВО ПСКОВЕ

Письмо 5-е

Любезный приятель!

В последнем моем письме остановился я на том, что отец мой определен был ревизором во Псков, и что мы к нему туда из деревни приехали. Теперь, продолжая повествование мое скажу, что во время сего пребывания нашего во Пскове у ревизии, происходили с нами многия и разныя приключения. Не успели мы из деревни приехать, что случилось в 1744 году, как одним нечаянным случаем лишился было я моей матери. Она была очень слаба головою, особливо в случае угара, а тут в каменной нашей квартире так она однажды угорела, что упала без чувств и без памяти, и все почитали ее уже умершею. Плач, крик, стон и вопль поднялся тогда во всем нашем доме, особливо от сестер моих; ее вынесли и положили на снег, и к великому обрадованию нашему, хотя с великим трудом, но оттерли, наконец, снегом. Каков для меня был сей случай по тогдашнему малолетству, всякому легко вообразить себе можно.

Вскоре после того принужден я был переходить важную и опасную переправу человеческой жизни, то есть лежать в оспе. По счастью, была она хороша и я освободился от ея свирепства, с которым она так великое множество бедных детей пожирает. Товарищ ея корь не преминул также меня посетить, и я принужден был и его вытерпеть.

произведена при Петре (с 1719 по 1726 г.). Население, стараясь избежать податей и сборов, укрывало земли, имущество и «души». Вторая ревизия, о которой говорит Болотов, началась в 1743 г., а окончена в 1756 г. Целью ее было «пресечение донныне происходимым не порядкам и в платеже отбывательства, а паче, чтоб подушные деньги на содержание армии исправно доходили».

Не успел я сии болезни перенести, как начал мой отец помышлять об обучении меня грамоте. Мне шел уже тогда шестой год, следовательно, был я мальчик на смыслу и мог уже понимать буквы. 17-го числа июня, помянутаго 1744 года, был тот день, в который меня учить начали, и я должен был ходить в дом в одному старику малоросиянину и учиться со многими другими. С каким успехом я учился, того не могу вам сказать, ибо того не помню, слышал только после, что понятием моим были все довольны, как, напротив того, не довольны моим упрямством. Сие пристрастие в маленьком во мне было так велико, что великаго труда стоило его преодолевать; но таковы бывают почти все дети, которых в малолетстве нежат, отчего и произошло, что учение мое более года продолжалось. Из всего онаго помню я в особливости то, что первое обрадование родителям моим произвел я выучением почти наизусть одного Апостола из послания к Коринфянам, начинающагося сими словами: «Облецытеся убо яко избранныи Божия»¹ и проч., и прочтением пред ними и как сие случилось скоро после начатия учения моего, то родитель мой так был тем доволен, что пожаловал мне несколько денег на лакомство.

Между тем большая моя сестра была уже совершенная невеста, ей шел уже тогда 19-й или 20-й год, следовательно, и выдавать замуж ее было уже время. Родители мои начинали уже о том заботиться и не столько отец, сколько мать. Имея двух дочерей, а приданое за ними очень малое, не могла она, чтоб не беспокоиться, и тем не тревожить завсегда дух моего родителя. Сей имея надежду и упование на Бога, отзывался только тем, что когда Бог их дал, то не преминет и приставить их к месту, в которой надежде он и не обманулся, как то из нижеследующаго усмотрится.

Комиссию², которая поручена была отцу, моему отправлял он таким успехом и столь порядочно, что заслужил от всех похвалу и благодарение; сверх того, за хорошие свои поступки и благоразумное поведение сделался он любим и почитаем во всем городе и уезде. Все дворяне и лучшие в городе люди, в короткое время сделались ему друзьями, а сие самое служило ему основанием счастию сестры моей и важной пользе всей нашей фамилии.

Мы не успели полгода прожить в сем городе, как начали уже многие за сестру мою свататься; хороший ея нрав и несвоевольное, а порядочное

¹ Одно из посланий апостола Павла, известных нам по Библии.

² Собственно – поручение, наряд; в другом словоупотреблении (далее по тексту): затруднение, смущение.

воспитание, какое имела она в доме родителей моих, делали ее завидною невестою и она была во всем уезде знаема. В самое сие время случилось приехать в сей уезд одному тутошнему молодому и богатому дворянину, он выпросился из полка на короткое время, чтоб побывать в доме, в котором не был он почти ниоднажды после смерти отца своего. Не успел он приехать, как родственники начали его принуждать, чтоб он женился, и предлагали в невесты сестру мою. Они представляли ему, что хотя сестра моя не богата, но дочь хороших родителей и имеет нрав изрядный; а более всего хотелось им, чтоб она поправила его состояние и хозяйство, которое по молодости его и по долговременной отлучке, очень разстроено и упущено было. Таковыя представления убедили наконец сего молодого дворянина. Он согласился на их желание и начал искать случая видеть сестру мою. Он скоро его нашел, и она ему понравилась, и для того начал тотчас сватание, не требуя никакого приданого. Легко можно заключить, что таковое предложение не могло противно быть отцу моему. Он хотя и находил некоторыя затруднения в разсуждении низкаго чина, в котором сей молодой дворянин, служа в Рижском гарнизоне, находился, а паче того в разсуждении некоторых повествований о его тамошней жизни, однако первое почитал не за великую важность, а последнему верил и не верил, ибо знал, что никакое сватание без опорочиваньев не проходит; да хотя бы все сказанное и справедливо было, так можно было бы приписывать то молодости, почему и надеялся его исправить, переведя его в свой полк и имея всегда при себе, и для того без труда на требование его согласился.

Таким образом просватана, сговорена и выдана была сестра моя за муж. Свадьба была тут же в городе, где зять мой имел у себя небольшой каменный дом. Сие происходило в августе месяце 1744 года, и отец мой в своей надежде не обманулся. Он получил себе достойнаго зятя и был сим случаем очень доволен. Одним словом, сестра моя замужством своим была счастлива и получила мужа, который был не глуп, хорошаго нрава, имел чем жить, а что всего лучше, любил ее, как надобно, и она не могла ни в чем на него жаловаться. Мы дали за нею небольшое приданое, которое состояло только в нескольких семьях людей и в нескольких стах наличных денег, ибо деревень имел зять мой и своих довольно, почему не столько приданое, сколько человек ему был нужен. Он был из фамилии *Неклюдовых* и назывался *Васильем Савиновичем*.

Несколько месяцев спустя после свадьбы сестры моей сделалось было с нами весьма несчастное приключение. Мы лишились было совсем отца моего, при случае приключившемся ему жестокой и опасной горячке, которою занемог он мая 6 дня 1745 года и пролежал целых пять недель. Болезнь сия столь жестоко над ним свирепствовала, что никто уже не имел надежды о его исцелении, и его совсем отчаяли. Однако небо не восхотело еще его у нас отнять и ниспослало облегчение в самое то время, как соборovali его маслом и читали над ним Евангелие.

Легко можно заключить, в сколь великую печаль погружен был весь наш дом во время его болезни и сколь много, напротив того, обрадован, получив надежду о дальнейшем продолжении его жизни. Мать моя пролила великое множество слез, да ежели по справедливости разсудить, то и имела к тому причину: на руках у ней оставалась тогда другая дочь, почти невеста, и сын в таком возрасте, который был еще весьма нежен и требовал уже не женского, а мужского за собою смотра. Да и подлинно смерть его в тогдaшнее время произвела б во всех обстоятельствах наших великую отмену, а всего бы более лишился бы я чрез оную, ибо воспитание мое было бы уже, конечно, не таково, каково оно в самом деле было.

Мы прожили в сем городе почти два года, ибо прежде того отец мой не мог комиссии своей окончить, в которое время езжали мы несколько раз в деревню зятя моего, лежащую от города верст за восемьдесят. Впрочем, не имели никаких особливых приключений, кроме одного, собственно до меня принадлежащего; и как в том было несколько смешного, то расскажу оное теперь.

Купец, котораго в доме мы стояли, имел подле онаго сад и в нем сажелку¹. В сей сад хаживал я часто гулять, или прямее сказать, в гулящее время резвиться. Дети хозяина нашего делали мне в том компанию. Одним днем, как мы с ними в этом саду играли, пришли мы к помянутой сажелке, и я не знаю уже, для чего было в ней несколько досок по воде плавающих. На сих досках хотелось мне давно на сажелке поездить и сие происходило от некоего рода любопытства, ибо могу сказать, что любопытен был с самага младенчества. Учаясь в то время грамоте, наслышался я о фараоне, об море и кораблях на оных плавающих, почему я часто, будучи иногда один в саду, прихаживал к той сажелке, сравнивал ее с морем и представлял себе

¹ Искусственный пруд с напущенной в него рыбой.

в мыслях, как фараон в море погиб, и как по морю корабли плавают, и для того многажды хотел отведовать на доске поплавать, однако, по счастью, до того времени не отваживался, но помянутый случай был к тому наилучшим. Товарищам моим захотелось также предпринять сие морское путешествие и остановилось только затем, что никто не осмеливался учинить начало. Я, будучи объят предваренною к тому охотою, тотчас к тому вызвался, ибо хотя не меньше их трусил, однако как самолюбие действует в нас с самого ребячества, то захотелось мне пред ними выдаться, показать свою нетрусливость и для того тотчас им сказал: «Все вы братцы, трусы и прямые мужики, уж боитесь по воде ездить! Чего бояться! Посмотрите-ка, как я поеду!» И, тотчас взбежав на одну широкую доску, отсунулся от берега. Но не успел я на сажень отъехать, как все явление переменялось. Господин мореплаватель был неискусен и позабыл взять с собою весло. Товарищи мои кинули мне палку. Я нагнулся ее доставать и тем все дело испортил: доска моя подо мною закачалась, я не устоял и полетел в воду, и едва было не утонул по примеру фараона. К великому моему счастью, сажелка в том месте была не гораздо глубока, и я хотя чуть было не захлебнулся, но, вынырнув и стараясь стать, достал ногами до дна, и вода была мне только по шею. Не успело сего произойти, как товарищи мои подняли великое хохотание и начали осмехать худой успех моего предприятия, вместо того чтоб сделать мне какое вспоможение. Сие было причиною, что я сердился более на них, нежели помышлял об опасности, в которой находился. Ибо надобно знать, что сажелка была к тому берегу гораздо глубже, а сверх того, я так в тину увяз, что не мог ни одной ноги выдрать. И я не знаю, чтоб сделалось со мною, если б в самое то время не вошла вскоре за мною в сад старуха, моя мама, и, увидев меня, не бросилась в воду, и на руках меня не вынесла. Она встрянулась¹ меня и, услышав, что я в саду, шла искать равно как зная, что я подвергнусь опасности и что мне ея вспоможение будет надобно.

Чем происшествие сие кончилось, всякому нетрудно угадать. Скрыть сего никоим образом было не можно. Я весь обмок и обгрязнился и принужден был поневоле следовать за моею мамою, которая прямо повела меня к моей матери. Тут не помогли мне все оправдания, которых дорогою

¹ Встрянуться или встренуться — вспомнить, спохватиться (от встряхнуться, встрепенуться). Употребляется в костромском и тамбовском говоре.

я знатное число выдумал. Мне не поверили, что товарищи мои меня спихнули в воду, но находили более вероятности в их объявлении. Однако и они правы не остались, нас всех пересекли и мне запрещено было более ходить в сад играть с ними. По счастью, был отец мой в то время в уезде, а то досталось бы мне еще того больше.

Сие приключение хотя не инако, как безделкою почесть можно, однако в разсуждении меня почитаю я его довольно важным, ибо, во-первых, находился я в великой опасности, ибо так легко могло бы стать, чтоб я захлебнулся и утонул, особливо если б предпринял сие, когда-нибудь будучи один в саду, следовательно, Сам Бог хотел меня сохранить от сего бедствия; во-вторых, примечания достойно, что сей случай так меня настрашал, что с того времени завсегда уже я боялся по водам ездить, который страх не весь еще и поныне из меня истребился, ибо признаюсь, что и поныне несколько потрушиваю, когда случится зимою ехать по рекам, а особливо лед не гораздо крепок и надежен, что, может быть, имеет и свою пользу.

В другой раз нечаянным образом настрашан я был чрезвычайною пушечною пальбою, бывшею при случае некоего большого торжества, отправляемого моим родителем. Ибо он хотя и большую часть времени своего препровождал в уезде, где переезжая с места на место, переписывая всех жителей, однако нередко случалось, что он по несколько недель жил и в городе, и тогда, ежели случались какия-нибудь викториальные дни¹ и знаменитые господские праздники, то имел он обыкновение делать у себя обеды и сзывать к себе воеводу и всех лучших людей в городе, в особливости ж тамошняго архиерея, с которым жил он в особой приязни и дружестве; а потому нередко случалось и мне видеть сего первосвященника, равно как бывать у самого его вместе с отцом моим, при каковых случаях получал я обыкновенно от него себе в подарок какую-нибудь маленькую духовную книжку.

Наконец, в начале 1746 года окончил отец мой благополучно свою комиссию, и принужден был возвратиться к полку своему, который находился тогда в Эстляндии. Чего ради, отпустив мать мою с нами в свою деревню, в которой мы во все сие время, следовательно, давно уже не были, отправился сам к полку. И стоял с оным в сие лето на реке Зале близ

¹ От латинского «Victoria» (победа) – дни празднования побед.

Пернова, в Эстляндии, между которым временем перевел он зятя моего из Рижского гарнизона к себе в полк, и старанием своим произвел его в офицеры.

Сим окончу я мое теперешнее и довольно уже увеличившееся письмо, и уверив вас о неприменности моего к вам дружества и почтения, остаюсь и проч.

ДОМ УДРИХ И ЛАЙ МЫЗА

Письмо 6-е

Любезный приятель!

Проводив отца моего в путь и распрощавшись с сестрою, отправились мы с матерью моею в деревню. Путь сей был для нас не ближний, ибо деревня наша была еще сто двадцать верст за Москвою и нам надлежало долгое время ехать. Но как бы то ни было, но мы приехали туда благополучно и пробыли тут почти все лето. Поелику мне шел тогда еще восьмой год и я был сущий еще ребенок, то не могу я ничего о том сказать, что мы тогда дома делали и за чем наиболее приехали; а из всех бывших тогда с нами происшествий впечатлелось в память мою только то обстоятельство, что я, будучи в сей раз в деревне, доучивался русской грамоте и учил Псалтырь под присмотром моего дядьки.

Кроме сего, помню я из сего периода времени, что ездили мы в Калитино наше праздновать праздник. Это была приданая деревня моей матери, лежащая от нас верст с двенадцать, в том же уезде. Тут стояли тогда еще изрядные хоромцы, был господский дом и старинный сад, в котором было великое множество слив и превысоких груш, усыпанных плодами, и как осенью сентября 8 дня был тут храмовой праздник, то имела мать моя всегда обыкновение приехать в сие время в сей родительский ее дом и находящиеся в оном еще дедовския иконы почтить служением и окроплением святою водою, а всех тамошних соседей угощать праздничным пиршеством. Что ж касается до меня и до сестры моей, то наилучшее наше утешение составлял сад, наполненный тогда множеством плодов. В самое то время надлежало его обивать и наше наиприятнейшее упражнение было подбирать отрясенныя яблоки и груши, которых последних такое

было тогда множество, что я никогда с того времени их столько не видел.

Между тем как все сие происходило, и мы помянутым образом все лето жили дома, отец мой находился с полком в лагере. По наступлении ж осени назначено было полку сему зимовать в Эстляндии, и мы получили письма, чтобы нам туда приехать по первому зимнему пути.

Таким образом, не успела настать зима, как собравшись отправились мы из своей деревни и препроводив недели две в дороге, приехали благополучно сперва во Псков, а потом в деревню к сестре моей большой; ибо мы положили к ней захватить и пробывать у ней несколько дней для отдохновения.

Время сие, каково ни коротко было, однако со мною случилось опять происшествие, достойное замечания потому, что при случае сем подвержен я был опять немалой опасности. Хоромы у сестры моей были уже совсем не те, в каких мы прежде бывали, но совсем иныя. В небытность нашу перестроился зять мой и снабдил себя уже домиком получше прежнего. Итак, по любопытству моему надобно мне было все их исходить и все пересмотреть, что в них было. К сему избрал я ни то на другой, ни то на третий день нашего приезда, послеобеденное время, в которое все спали. Как у всех псковских помещиков обыкновение есть строить и располагать хоромы особым образом, и так, чтоб всегда было две половины, одна жилая, а другая для гостей чрез сени, порожня, и всегда чистая и прибранная, то расположены были хоромы и у зятя моего точно таким же образом. В сию-то гостиную и порожную половину забравшись один, начал я все пересматривать и перебирать что в ней было. Тут, к несчастью, попалось мне на глаза ружье, стоявшее в уголку за стульями, и как думать надобно, поставленное тут нарочно для того, чтоб никто его не трогал, ибо было заряжено для стрельяния по птицам. Но никто того не воображал себе, что я пойду сюда один и буду так любопытен, что похочу неотменно его и все устройство его замка видеть. Однако сие любопытство чуть было не лишило меня жизни. Каким образом сие произошло и что я с ним тут делал, того истинно уже не помню, а только то знаю, что оно вдруг в руках у меня выстрелило и я получил такой толчок, что я упал без памяти и без чувств на пол; ружье подле меня, а по всей горнице посыпалась дробь и куски большого зеркала, в которое прямо я выстрелил и разшиб его в несколько сот частей. Звук выстрела разбудил всех спящих и привлек мно-

жество людей ко мне. Меня нашли без памяти лежащего, и сколько сперва испужались, столько досадовали потом на мою резвость и дурачливость, которая верно бы также не прошла мне даром, если бы сестра, любившая меня чрезвычайно, не упростила мать мою сию вину мне отпустить и в доме ея меня за то не наказывать.

Погостив несколько дней у сестры и распрощавшись с нею, продолжали мы свой путь далее и приехали наконец к отцу моему благополучно.

Мы нашли его стоящего с полком на зимних квартирах в Эстляндии, и он имел квартиру на мызе¹ *Удрих*, и довольно покойную. Дом был хотя деревянный, но не тесный и обитый внутри ткаными гарусными обоями и прибранный, впрочем, изрядно. Полковая церковь поставлена была тут же на дворе в одной службе.

Как в сей раз увидел я еще впервые полковую жизнь, находясь в таких летах, что мог уже несколько помнить и чувствовать, то была она для меня поколику новая, потолику и приятная. Ежедневное биение зори в множество барабанов и всякий день двукратное игранье под окном полковой музыки, и множество офицеров, бывающих всегда у моего отца, и честь, повсюду ему воздаваемая, были для меня приятные и пленяющие предметы, которыми долгое время не мог я довольно налюбоваться, в особенности же приятно мне то, что все полковые офицеры, любя моего отца, ласкались и ко мне.

Приезд наш в сие место воспоследовал около начала 1747 года, который достопамятен для нашего дома тем, что в оный родители мои выдали и другую дочь, а мою сестру, замуж, и остался на руках у них один только я. Сие воспоследовало вскоре после приезда нашего к полку, а именно февраля 20 дня. Жених для ней нашелся в том же полку, в котором служил отец мой, и был тогда хотя не более как сержантом, однако не убогой дворянин, имевший жительство в *Кашинском* уезде. Его звали *Андреем Федоровым* сыном *Травиным*. И он был человек еще молодой и не имевший, также как и большой мой зять, ни отца ни матери. Некоторые офицеры нашего полка рекомендовали его моему отцу и сосватали сию свадьбу. А как он имел достаточек изрядный и не требовал многого за мою сестрою, а был доволен тем, что мы давали, то родители мои и не имели причины пропускать толь удобнаго случая к замужеству сестры моей и были тем до-

¹ Мызами называются в Лифляндии и Эстляндии такие селения, в которых есть дворянские дома.
—Прим. *Болотова*.

вольнее, что не принуждено было им за сею дочерью давать более того, сколько дали они за мою большую сестрою.

Таким образом, по милости Господней пристроены были обе мои сестры к месту, и небольшой недостаток родителей моих не претерпел от того знатного ущерба. Они лишились немногих только семейств людей, а из деревень ни одной не потеряли; а сверх того, и самага движимаго приданого дано было весьма умеренное количество. Времена были тогда совсем не такие, как ныне, и целыя тысячи не терялись при подобных тому случаях на сущие и ничего не значущие вздоры и безделки, служащие только обеим сторонам в отягощение, а нередко и в сущее разорение; почему и неудивительно, что все сборы и приуготовления к свадьбе происходили недолго, но все дело в немногия дни было окончано.

Из прочих приключений, происходивших во время пребывания нашего в сем месте, памятно мне только то, что я тут учился писать и что помогал мне в том маленький писарь по прозванью Красииков, умевший рисовать корабли; родившись в Кронштадте, насмотрелся он сим огромным зданиям и умел изображать их довольно хорошо пером на бумаге. Мне, по малолетству моему, казались они тогда изящными картинами, и я не мог ими довольно налюбоваться. Но каковую безделку сию корабли ни составляли, однако они вперили в меня первейшую склонность и охоту к рисованию и положили первое основание охоте к сему невинному и приятному художеству, которому я за безчисленное множество приятных минут в жизни моей обязан и которую имею и поныне.

Кроме сего помню я еще то, что мне случилось тут с сестрою моею крестить одного большого татарина, и как было сие зимою, то принуждено было производить сие действие на пруде, и он, вместо купели, должен был погружаться три раза в большую пролубь.

Еще памятно мне очень и то, что нашли тут каким-то образом в разрытом колодезе или роднике безчисленное множество маленьких лягушек, сбившихся в кучу и сидевших тут между камней. Мы все приходили сию редкость смотреть, и не могли довольно тому надивиться.

Кроме сих трех происшествий, не помню я ничего более, а только приходит мне в память, что пред окончанием зимы и на самой вербной неделе, переехали мы на другую мызу, которая называлась Лайшлос, по причине, что находился тут древний развалившийся замок; но того уже не знаю, далеко ли она от прежней отстояла или недалеко, и велено ли было тут

полк и штаб перевести, или зависело то от произволения моего отца; но только то знаю, что тут получили мы для квартирования дом уже гораздо просторнейший, так что не только могли мы поместиться в нем со всем нашим увеличившимся семейством, ибо около сего времени приехал к нам и большой зять с сестрою, но поставлена была тут же в особых комнатах и полковая церковь.

Не успели мы в сие место перебраться, как подвержен я был опять величайшей опасности в свете. Полку нашего адъютанту Мармылеву вздумалось как-то подарить меня маленькою лошадкою. Я, по ребячеству своему, был сему очень рад, но лошадка сия чуть было не лишила меня жизни. Случилось сие следующим образом: как до сего времени никогда я еще на лошадях не ездывал, то, получив тогда в собственность себе лошадь, получил я вкупе охоту и учиться на лошадях ездить. Меня посадили на оную и водили понемногу, а как несколько я к тому приобвык, то перестали придерживать и, может быть, по собственной моей просьбе дали волю самому править; но не успели сие сделать, как проклятая лошадь, почувствовав легкость всадника, а может быть, и неуменье управлять ею, недолго шла тихою ступою, но, выбравшись за хоромы, пошла час от часу скорее, а потом пустилась во всю прыть, так что ее уже и поймать и удержать не было способа. Я не вспомнил тогда сам себя и, ухватившись за гриву и за седло, кричал только во все горло, а она от того еще более разярилась и поскакала со мною во весь опор и, к вящему несчастью, вдоль по плотине превеликаго пруда, бывшего тут подле развалин замка. Люди хотя бежали за мною, но ни догнать, ни остановить ее не было способа, и я не знаю, чтоб со мною было и куда б она меня занесла, если не пришло мне в голову соскочить с оной. К сему побудило меня наиболее то, что скакала она со мною прямо к прудовому спуску, где, по случаю бывшей тогда половоди, вода ревела во весь спуск и производила шум превеликий. Мне казалось, что, испугавшись сего шума, она верно меня с себя собьет и низринет в бучило¹; итак, не допуская до того, разсудил я спрыгнуть с нея долой. Но в сем случае, бежав от волка, чуть было не попал я на медведя: прыжок мой был хотя довольно удачен, но размер взят был так худо, что я попал на самый край плотины, так что не могши никак удержаться, покатился кубарем под оный и не доставало очень малаго, что не попал в самое бучило. Одним словом, Сам Бог хотел меня спасти и я уже не знаю, каким образом

¹ Водоворот, омут, пучина.

и за что и как я ухватился и до тех пор удержался и не упал в воду, покуда не прибежали бегущие вслед за мною люди и меня оттуда не вытащили.

Родители мои перетревожены были чрезвычайно сим приключением, и лошадь моя сделалась им, а особливо матери моей так ненавистною, что велели ее тотчас отдать обратно, и о чем и сам я не тужил, ибо случай сей так меня настрашал, что я долгое время после того не мог отважиться сесть на лошадь: и почему знать, может быть, самый тот же случай положил некоторое основание и тому, что я во всю жизнь мою не был и не мог быть никак охотник до лошадей.

Вскоре после того случилась тут же надо мною другая напасть, однако не столь опасная, а более смешная. Наступал день Пасхи и Святая неделя. У отца моего обыкновение было, всегда, когда ни случалось ему в полку праздновать сей праздник, приказывать во время заутрени и обедни стрелять из пушек, в этом находил он особенное удовольствие, почему приказано было от него и в сей раз сделать все нужные к тому приготовления. Но для меня утеха сия была не весьма приятна, будучи в младенчестве стрельбою из пушек нечаянно настрашен, боялся я с того времени оной чрезвычайным образом. Было сие еще в то время, когда отец мой находился во Пскове для ревизии, и когда я был еще сущим ребенком. Ему случилось праздновать какой-то большой праздник и делать для всех лучших в том городе людей у себя пир. Что-то вздумалось ему придать пиру сему более пышности пушечною пальбою, и как было меньших пушек несколько у тамошняго воеводы, то выпросил он их на сей случай и приказал поставить на улице за воротами, чтоб стрелять из них во время питья здоровьев. Мы ничего о том не знали и не ведали, тем паче что и места сего, где оне поставлены, за строением из дома не видать было, а узнали уже во время самага обеда. Как мне до сего времени отроду моего пушек вблизи видать никогда еще не случалось, то весьма любопытен я был их видеть: почему не успел услышать, что пушки привезены и стоят на улице, как вмиг очутился я уже у ворот, чтоб видеть сии орудия. Но, к несчастию моему, так случись, что в самое то время, как только высунулся я из калитки на улицу, надобно было по данному сигналу начать стрелять, а что того еще вяще, то из самой той пушки, которая стояла подле той калитки и не далее от меня как на сажень. Громкость выстрела, учиненнаго ею и никогда мною в такой близости не слыханнаго, и самое зрелище необыкновенное для меня до того времени так, меня испугав, поразило,

что я вмиг очутился лежащим на земле без памяти. Весь скопившийся тут народ перетревожился сим зрелищем, ибо все подумали, что меня каким-нибудь образом убило выстрелом. Поднимается превеликий шум, делается в стрельбе остановка, бегут сказывать о сем в палаты; люди наши, занимавшиеся услугою при столе, перетревоживаются, отыскивают старуху, мою маму; сия без памяти бежит ко мне на улицу, а вскоре за ней приходит и сама моя мать, испужавшаяся до безконечности; она приметилла перешептывание и бегание людей и, догадываясь тотчас, что верно что-нибудь особенное произошло, допытывается у оных. Утаить долго было не можно. Сердце обмирает у ней как услышала, что со мною что-то сделалось, она позабывает всю благопристойность, вскакивает из-за стола, бежит без памяти сама на улицу, некоторые из гостей последуют за нею, и все встречают меня препровождаемого уже мамою за руку обратно в палаты и обгрязнившись об грязь при падении на улице, ибо со мною не сделалось ничего, кроме того, что я испугался до чрезвычайности. Я был еще и тогда побледневшим, как мертвый, и старался обеими руками затыкать уши, чтоб более стрельбы не слышать.

Испуганная до безконечности и нежно меня любящая мать, обрадовалась неописанно, увидев меня целым и здоровым. Стрелять велели тотчас перестать и меня повели, власно как в торжестве, в палаты, но там принужден я был от отца моего вытерпеть великую гонку за мою резвость и беганье на улицу и смех над собою за мою трусость. Он хотел было приказать продолжать стрелять и меня вести туда опять, чтоб приучить к стрельбе, однако гости упростили уже, чтоб сего не делать. Но старухе моей маме досталось довольно за то, что она упустила меня одного бегать на улицу.

Сим образом кончилось тогда сие происшествие, но последствием от того было то, что я несколько лет после того всякой стрельбы, а особливо пушечной смертельно боялся, хотя после, и по прошествии нескольких лет, страх сей не только миновался, но я до стрельбы сделался еще особенно охотником.

Но как в тогдашнее время как стояли мы в помянутой мызе Лайшлос, страх мой еще продолжался, то сердце у меня обмерло, как увидел я полковья пушки, устанавливаемая пред нашею квартирою. Оне казались мне ужасными громадами пред теми, которые настрашали меня во Пскове, и я не знал, что со мною тогда будет, когда из сих начнут стрелять; со всем тем боясь, чтоб опять не было мне за трусость мою от отца гонки,

скрывал я всю боязнь мою во глубине сердца и помышлял только о том, чем бы себе сколько-нибудь пособить; пособить было можно, и вот что я выдумал и сделал.

Церковь полковая поставлена у нас была в самом том же доме, где мы жили, ибо хоромы были преогромныя и покоев множество. Я распроведал, что стрелять станут в то время, когда запоют впервые «Христос воскрес» и станут входить с образами в церковь. Дождавшись сего времени разсудил за лучшее куда-нибудь уйти и скрыться, а чтоб удобнее сие сделать, то разсудил воспользоваться стеснением народным, когда выходить станут из церкви с образами. Сие и учинил я с таким искусством, что никто не ведал, как я скрылся и ушел. Далече бежать мне было некогда, но я ушел в отдаленнейшие покои того же дома, и в самой задней комнате нашедши кровать, лег на оную и укрылся подушками и одеялами так, что меня совсем было не видать, и пушечные выстрелы едва были слышны. От каждого выстрела трепетало у меня сердце, но, по счастью, было их немного и число оных было мне известно.

Между тем как я таким образом закутавшись лежал и трепещуци считал выстрелы, в церкви происходила уже тревога, родители мои меня встренулися и везде меня спрашивали и искали. Но как никто не мог ничего обо мне сказать, то пришли в недоумение и разослали повсюду людей меня искать.

Некоторые из них приходили в самую ту комнату, однако нисколько меня не приметили, и верно бы и никто не нашел, если б по окончании стрельбы я сам уже не вошел и не явился в церковь.

Тут начались тотчас спросы и расспросы, и как утаить истины не было способа, я принужден был признаться, то, посмеявшись тому, в наказание за мое плутовство, определено было во время обедни держать меня в церкви уже под честным арестом. Покойный родитель мой поставил меня уже пред собою на скамейку, и я во время стреляния из пушек, при чтании Евангелия хоть со всяким выстрелом приседал, но принужден был выдерживать все оное, не зажимая даже и уши. Не успела пройти Святая неделя, как старания отца моего обо мне стали простираться от часу далее. Ему не хотелось, чтоб я вырос у него неучью и болваном, и он судил, что уже время отнять меня из рук женских и учить чему-нибудь дальнейшему, кроме грамоты русской. Паче всего хотелось ему, чтоб я знал также немецкий язык, которым он сам умел говорить и коим он в жизнь свою очень много

пользовался, также и арифметики. Учителя немцы и французы не были еще тогда в нашем отечестве таковы многочисленны, как ныне, их было очень мало, а сверх того и достаток отца моего не так был велик, чтоб мог он, и особливо в тогдашнее время, нанимать и содержать у себя в доме учителя нарочнаго, в отдаче же в люди был я еще слишком мал; итак, другого не оставалось как искать какого-нибудь иного способа, и к удовольствию его таковой скоро и нашелся.

В полку его было не только офицеров, но и унтер-офицеров множество немцев; из сих последних вздумалось ему отыскать какого-нибудь поспособнее и приставить ко мне для научения немецкому языку. Но как большая часть сих немцев состояла из лифляндских и эстляндских дворян, и наиболее из небогатых, всего же меньше учившихся в молодости своей каким-нибудь наукам и разумеющих что-нибудь порядочное, то трудно было и между ими отыскать человека, и по долгом искании иного не оставалось, как взять прибежище и обратить внимание свое на одного унтер-офицера родом из Германии и приехавшаго за немногия годы до того из Любека для принятия нашей службы. Прозвище ему было Миллер, а впрочем, назван он уже был у нас в службе Яковом Яковлевичем, поелику у нас всем иностранцам дают тотчас имена и отечества. Богу известно, какого был он рода, но только то мне известно, что он никаким наукам не умел, кроме одной арифметики, которую знал твердо, да умел также читать и писать очень хорошо по-немецки, почему заключаю, что надобно быть ему какому-нибудь купеческому сыну и притом весьма небогатому, и воспитанному в простой городской школе и весьма просто и низко.

Но как говорится в пословице, что «на безлюдьи и сидни¹ в честь», то в недостатке лучшаго был отец мой и сему уже рад, ибо, для перваго случая довольно уже было и его знаний, потому что читать и писать мог и он уже меня научить, равно как и арифметике.

Таким образом, назначен был сей иностранец мне в учителя, взят в наш дом и я препоручен ему на руки. Для нас с ним отведен был особый уединенный покоец, и он начал меня учить всему, что знал, вдруг, то есть читать, писать по-немецки и самой арифметике понемногу.

Мне шел в сие время хотя девятый еще год, однако родители мои и сам учитель был понятием моим довольны. Я очень скоро научился читать, а

¹ Сидень — тот, кто много сидит; разбитый параличом.

и писать учиться мне немудрено было, но не столько я доволен был своим учителем. Человек он был особливаго характера, нрав имел строптивый и своенравный, не мог терпеть никаких шуток, сердился и досадовал на всех за сие, а сие и побуждало других еще более над ним смеяться, и тем паче, что и собою был он очень дурен и губаст. Со мною обходился он не так, как хорошему учителю должно, но так как от неуча и грубаго воспитания человека ожидать можно, и нередко принужден я был претерпевать от него лихо и проливать слезы.

Со всем тем и каков он ни был, но я за первое основание своего немецкаго языка и арифметики обязан сему иностранцу; он научил меня читать и писать, но говорить научить был не в состоянии, а мучил меня только вокабулами¹.

Мы простояли в сем месте недолго, ибо как скоро наступила весна и трава выросла, то велено было иттить полку нашему под Ригу, и там сие лето стоять лагерем. Итак, все наше стояние тут не продолжилось и трех месяцев. Богу известно, на что производимы были полкам такая марши и контрмарши, из одного места перебивка в другое. Но как бы то ни было, но мы принуждены были повелению сему повиноваться и в повеленное место в поход с полком в непродолжительном времени и выступить.

Во время сего летняго похода, который в первый еще раз мне случилось видеть, разстался я впервые и с моею матерью, ибо как отцу моему с собою ее взять и в лагере при себе держать не годилось, то отпустил он ее вместе с большою моею сестрою в деревню ея мужа во Псков, а меньшую мою сестру с мужем в их кашинскую деревню, меня же, как начавшаго уже учиться, взял с собою, и как с сего времени начинается новый период моей жизни, то я сим письмо сие и кончу, сказав вам, что я есмь и прочее.

В ЛАГЕРЕ И ВО ПСКОВЕ

Письмо 7-е

Любезный приятель!

Первое разставание с моею матерью и со всеми родными моими, с которыми от самага рождения жил я неразлучно, и притом в столь неж-

¹ Слова; здесь: списки слов для затверживания наизусть.

ных молодых летах, было мне как существу еще ребенку весьма горестно и чувствительно. – Было сие в Эстляндском городе Дерпте, или Юрьеве, ибо оттуда поехала мать моя во Псков, а я с покойным родителем моим в поход под Ригу. Не могу и поныне забыть того, в какой разстройке находился тогда дух мой, когда час разлуки нашей начал приближаться и какою грустью и тоскою преисполнилось сердце мое. Мне казалось, что все стихии тогда иной вид воспринимали и все переменялось в свете. Колико слез пролито было мною в сей день, колико вздохов испущено, и сколько раз оглядывался я назад, в ту сторону, в которую поехали мои родня! С каким вожделением желал я пробывать с ними хоть еще несколько минут вместе и видеть их еще однажды.

Таким образом вступив в новый род жизни, начал я час от часу далее и с множайшим прилежанием продолжать свою науку, и как я наиболее занят был оною, то и не мог я знать все, что тогда происходило, а помню только то, что лагерь назначен нам был несколько верст от Риги, что стояли мы тут все лето, жили в палатках, и что приехал к нам туда и большой мой зять из деревни.

Во все сие время продолжал я учиться и упражнялся более в писании. Походная жизнь и стояние в лагере было для меня совсем новое: частыя полковья строи, и смотры генеральские, и ежедневныя перемены и ученья и вся военная жизнь и происхождения были такими предметами, каких я до сего не видывал и которые меня и удивляли и веселили; почему она мне довольно и полюбилась. Между прочим, помню я еще и то, что однажды приехал смотреть наш полк и сам старик фельдмаршал Лессий, живший тогда в Риге, и что отец мой возил однажды меня с собою к нему в Ригу, ибо он его считал себе милостивцом и приятелем. Случай сей для меня, ничего подобного тому еще не видавшего, был весьма поразителен; как в городе Риге, так и в замке у фельдмаршала не мог я всему довольно насмотреться.

По наступлении осени велено было полку нашему иттить на зимняя квартиры в столичный наш город Петербург; и как маршрут назначен был чрез Псков, то отцу моему был наиудобнейший случай заехать к моему зятю и свидеться с своими родными. Тут имел я неописанное удовольствие увидеть опять мою мать и сестер, которых любил я чрезвычайно.

Отец мой пробыл в сей раз у зятя моего недолго, но отправился с полком своим в назначенный путь и взял с собою и мать мою.

Из приключений, случившихся со мною около сего времени, памятливы мне только два, из которых одно имело великое влияние во всю мою жизнь и чуть было не лишило меня жизни, а именно:

Родителю моему в бытность его у зятя в деревне вздумалось однажды с некоторыми приезжими гостями поехать с собаками на охоту. Он хотя и не был страстным охотником до сей толь многих людей с ума сводящей увечушей и разоряющей забавы, однако изредка, а особливо с приятелями, любил выезжать для компании в поле, и потому всегда бывали у него две или три борзых собаки. Точно так случилось и в сей раз. Съехалось к зятю моему множество соседственного дворянства, некоторые из них расхвастались своими собаками и что зверей много, и всем тем уговорили отца моего, чтоб выехать с ними в поле. Но сего еще было не довольно; но как и в тогдашнее время была такая же у многих глупость, какою заражены многие и ныне, то есть чтоб брать с собою на охоту маленьких детей, коих от младых когтей¹ приучать к сей вредной и разорительной охоте, то все гости убедили родителя моего, чтоб и меня взять с собою на охоту, на маленькой моей и смирной лошади, и тем паче, что я около сего времени умел уже сидеть на лошади и ездить, а охоты от рождения моего еще не видел; но что ж впоследствии?

Не успели мы въехать в лес и на одну вырубленную в оном обширную поляну, наполненную множеством высоких пней, каких везде в тамошней местности много и каковыя места называются там суками, как появился заяц и началась травля. Собаки полетели за оным и все охотники на лошадях своих поскакали во весь опор за оными. Лошадь моя какова ни была смирна, но, увидев таковую дружную скачку, сопровождаемую криком, вздумала для компании скакать вместе с ними и что ни есть поры мочи. Я ее держать и останавливать, ибо мне скакать нимало не хотелось, но не тут-то было. Силы мои были слишком слабы к удержанию сего животного. Она и не чувствовала всего моего тащения поводами, но ярилась еще более. Увидев сие и что лошадь взяла верх, и меня не слушается, обмер я, испужался, ибо как ни мал был, но заключал, что она меня собьет и я легко могу лишиться жизни. К вящему несчастью, я никогда еще добровольно не скакивал кроме того случая, о котором упоминал я прежде и при ко-

¹ «Коготь» употребляется и в значении «ногтя» у человека. Смысл этого выражения подобен современному — «с пеленок».

тором едва было я не лишился жизни, иному же лошадь мою остановить было некому, все без памяти поскакали вслед за зайцем, и я находился позади всех. В сей крайности находясь, другого я не нашел, как ухватиться обеими руками за холку лошади и прилечь к седлу, думая, что чрез то удержусь я лучше; но сие положение было для меня еще того труднее и опаснее. Меня зачало тресть и взметывать немилосердно, и я всякую минуту ждал, что полечу с лошади долой. До сего времени все еще я молчал, но как сделалось сие, то, отчаявшись в жизни, поднял я ужасный вопль: «Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай!» Но криком сим сделал себе еще того хуже; из господ охотников никто онаго не услышал и не оглянулся, а моя лошадь сочла, что я ее еще более понукаю, и начала скакать еще прытче прежняго. Тогда-то считал я уже погибель свою неизбежною и тем паче, что вскакала она в такое место, где пень на пне почти находится, и я того и смотрел и ждал, что она спотыкнется и меня и себя разобьет вдребезги. Что было тогда делать?.. удержать не было способа, ибо между тем как я лежал на седле, вырвались у меня и поводья и я не мог уже и достать оных. Крик и вопль мой был тщетен, никто меня не видел и не слышал, все уже из виду ускакали. Лошадь неслась во всю прыть и то и дело цепляла за пеня и каряги. В таковой крайности находясь другого не оставалось, как искать по-прежнему спасения своего в прыганье. По крайней, мере думал я, что тут нет никакой вершины и буерака и убится мне будет не можно. И так не долго думая и уллучив такое место, где пеня были пореже и не таковы часты, как в других местах, прыг я с дошади долой; но надобно было, чтоб и сие не к спасению моему, но к вящему еще приумножению моей опасности послужило. Разсудок мой был не так еще велик, чтоб взять предосторожность в разсуждении ног моих: одну из них я из стремя освободил, а о другой и позабыл вовсе, а она благополучно и просунулась сквозь стремя и я, упав на землю, повис одною ногою на стреме.

Всякому можно теперь разсудить, ни на единой ли волос или не на пядень ли я был от смерти? Упасть на всем скаку лошади между пенев и повиснуть на стреме! Долго ли было убить лошади меня ногою, либо раздребезжить о пеня и каряги. Однако ни того ни другого не воспоследовало. Но Провидению, бдевшему о целости моей жизни и назначившему мне жить многие годы на свете, угодно было распорядить инако, и сделать то, чтоб самый сей, по-видимому, бедственный и наипоопаснейший случай не только не послужил мне ни к малейшему вреду, но обратился еще мне в

существенную пользу. Лошади надобно было падение мое почувствовать, а в самое то ж время заступить ногою за повод, и от самага того тотчас остановиться, а самое сие и спасло меня от смерти. Я успел ногу свою из стремя высвободить и от лошади откатиться прочь; и как падение было не совершенное, то и не убился я нимало, но был цел и невредим; польза же произошла та, что сей случай и родителя моего и самого меня так настрашал, что он с сего времени не стал уже меня никогда брать с собою на охоту, а я никогда не помышлял уже и проситься, но получил к ней совершенное отвращение, что спасло меня от того, что я не мог в молодости своей к сей пагубной охоте пристраститься, но во всё продолжение жизни моей не находил в ней никакого удовольствия и не потерял на нее ни единого часа времени, но был всегдашним ее ненавистником.

Что касается до другого приключения, то оно не составляло никакой дальней важности, и я упомяну о нем только для того, чтоб изъяснить чрез то одну черту характера моего учителя. Было то уже на походе и в самом городе Пскове, куда мы из зятниной деревни приехали и нашли полк наш тут ожидающим. Во все продолжение сего похода отводима была обыкновенно, мне с учителем моим немцем особливая квартира, ибо как я учиться непрерывно у него продолжал, то, дабы нам никто в том не мешал, и приказано было квартирмейстеру назначать нам всегда особую избу. По обыкновению сему получили мы и в сем городе особый домик. Тут учась однажды после обеда, чем-то таким не угодил я своему учителю. Я уже сказывал, что человек он был мудренаго нрава и не угодить ему всего легче и скорее и всем было можно, и нередко за самую безделицу и ничего не стоящее дело не только сердился, бранился и ярился несколько часов сряду, но и бивал и секал меня немилосердным иногда образом, и чрез то произвел то, что я его не столько любил, сколько боялся и страшился.

Итак, не успел я ему не угодить и приметить, что начинает он сердиться, как вострепетал душою и сердцем, слезы покатались у меня из глаз, и я просил его, чтоб он отпустил мне мой проступок. Но не такого нрава и расположения был мой учитель, чтоб ему тронуться моими слезами и признанием, что я виноват; он възъярился еще более и, желая умышленно нанести мне более страха и боязни, схватил стоявшее тут у стены по случаю ружье, зарядил оное и сбирался выстрелить в окно на улицу, ведая что мне стрельба всего была страшнее. Я вострепетал, сие увидев, просил его, сколько мог, чтоб он сего не делал и меня не страшал, но как

увидел, что все мои просьбы были тщетны и он им только насмеялся и меня дразнил, то действие страха и боязни столь близкой стрельбы до того меня довело, что я вскочил, упал ему в ноги и со слезами просил лучше меня сколько угодно ему высечь, но только не стрелять. Но упрямец сего ни слезы, ни обнимания его ног, ни все жалостные умаливания не могли тронуть, но он выстрелил и находил удовольствие в том, что я на смерть перестрашался.

Но судьба не оставила его за такое жестокосердие без наказания: ружье, отдавши назад, произвело ему такой толчок в плечо, что он насилию на ногах устоял, и у него оно недели две болело. Однако и сего было еще не довольно, но скоро увидел он, что его и разорвало. Сие явление произвело тогда сущую комедию: учитель мой, приметив сие, столько ж испужался тогда, сколько сам я настрахан был до того времени. Ружье было хорошее и принадлежало квартирмейстеру. Он легко мог заключить, что как сие дело откроется и узнают все происходившее, то для него будет весьма трудно отвечать; он радовался хотя что отделался сам цел, и что ружье хотя разорвало, но не совсем испортило, а только в одном боку раздуло, и что можно еще было поврежденное место чем-нибудь замазать, и тем все дело на время скрыть, однако мнение, что я не премину обо всем том рассказать, устрашало его несказанным образом. Сие обстоятельство превратило его из прежняго лютаго зверя в наисмирнейшаго агнца. Низкость духа его была так велика, что он стал меня просить, чтоб я никому сего не сказывал, и всячески улещать, чтоб я ему сие угождение сделал, обещая сам мне то заменить и не наказывать меня за вины мои. Я сколько ни огорчен и ни раздосадован на него ни был, но чего не согласится ученик для учителя, и для учителя такового, сделать. Посмеявшись внутренно его трусости, и помучив несколько своим молчанием, согласился я наконец на его просьбу, и обоим нам удалось так хорошо скрыть сие дело, что никто не узнал истины, чем дело сие и кончилось.

Из дальнейших происшествий, бывших во время сего похода, ничего особливаго я не помню, кроме того, что мы шли чрез город Гдов и приехали в Петербург уже по-зазимью.

Вид сего нашего города и столицы был мне поразителен. Я никогда еще его до тогдашняго времени не видывал, а только слышался довольно, и потому нетерпеливо хотел видеть. Желание мое и удовлетворено было с избытком. Я при самом въезде растерял уже глаза на прекрасные

дома и раскрашенные повсюду заборы и решетки, и только что сидячи с покойною матерью в коляске восклицал:

– Ну! Петербург! прямо Петербург!

Когда ж увидел дворец и прочия огромныя здания, то не знал, как и изобразить свое удивление.

Квартиры для нашего полка назначены были тогда на Петербургской стороне и были довольно изрядныя. Нам случилось получить дом подле самой церкви Введения Богородицы, и мы были квартирою своей очень довольны.

Не успели мы по сим квартирам расположиться, как случилось в Петербурге нарочито великое наводнение. Явление сие было для меня также новое. Все улицы вокруг нашего дома поняты¹ были водою, и люди принуждены были ездить на лодках и на воротах. Но, по счастью, продолжалось сие наводнение недолго и не произвело никакого дальняго вреда.

Вскоре после нас приехала к нам старшая сестра с мужем... сей был тогда уже аудитором². Отцу моему хотя хотелось доставить и меньшому зятю офицерский чин, но тогда производство было очень туго, и сделать сие не таково было скоро. Но, по счастью, поспешествовал к тому особый и нечаянный случай. В полку нашем был тогда адъютантом алексинский дворянин Дмитрий Васильевич Арсеньев, самый тот, который после дослужился до генеральскаго чина. Высокий его рост и красивый стан полюбился при Дворе. Его взяли от нас из полку в лейб-компанию³ и как его место опросталось, то и произведен был на сию ваканцию мой старший, а на его место мой младший зять господин Травин в аудиторы. Что касается до меня, то как я был еще сущим ребенком, то по тогдашним временам ничего еще со мною учинить было не можно, а все что я помню, то родитель мой учинил только то, что взял меня однажды с собою во дворец, желая показать мне сие пышное императорское жилище.

¹ Залиты.

² Чиновник военного суда.

³ Лейб-компания – название это было присвоено указом 31 декабря 1741 г. гренадерской роте лейб-гвардии Преображенского полка за содействие, оказанное ею при вступлении на престол Елизаветы Петровны (25 ноября 1741 г.), которая сама была капитаном этой роты. Елизавета щедро наградила лейб-компанцев поместьями, деревнями (из имений арестованных лиц, например, Остермана и др.), не дворян возвела в потомственные дворяне, пожаловала большие денежные награды, присвоила им особую форму и герб с надписью «За ревность и верность». Петр III (указом от 21 марта 1762 г.) упразднил лейб-компанию. Екатерина II вновь приняла их на службу. При Елизавете в лейб-компанию зачисляли особо преданных людей.

Я не могу изобразить, с каким удивлением и подобострастием взирал на тогдашний огромный дом царей наших. Он был тогда хотя сущая малость против нынешнего и немногим чем лучше нынешних домов знатных бояр, но для меня казалось все велико и удивительно. В особенности же поразился я его внутренности, мне показался он сущим раем, и я не знал, на что смотреть и чему удивляться больше. Все казалось мне величественно и великолепно, а паче всего утешали меня зеркальные стены в галерее, на которых я не мог довольно налюбоваться. Впрочем, ходил я за отцом моим ни жив ни мертв от подобострастия и боялся прикоснуться самых стен сих священных чертогов наших монархов.

Со всем тем самую Императрицу сколько я ни желал, но не удалось мне тогда видеть. А отец мой представлял меня только гоф маршалу *Димитрию Андреевичу Шепелеву*, котораго считал он себе милостивцем и другом.

Другой же знакомец и приятель был у него гвардии Измайловскаго полку майор *Гаврило Андреевич Рахманов*. Сего я также видел, но как я был ребенком, то и не удостоен я от них никакого уважения.

Другое и также для меня удивительное зрелище составлял бывший, не помню в какой день, фейерверк, но как я все еще боялся стрельбы, то видел я его не совершенно, и только издали верхние огни и ракеты, которых я не могу изобразить как показались мне удивительными.

Впрочем, препровождал я время свое в продолжении моих наук и был безотлучно от учителя. Он жил у нас же в доме в особой пристройке и там сидели мы с ним от утра до вечера. Сколько мне помнится, то умел уже я около сего времени изряднехонько писать по-немецки, а впрочем, учил уже грамматику немецкую, но, судя по теперешнему знанию, все мое учение было пребеднейшее. Ибо как учитель мой сам не знал ни аза в глаза, о том, как учат люди по грамматике, то все учение его состояло в том, что выписывал он все слова и вокабулы и заставлял меня вытверживать их наизусть; до глаголов и до прочих частей нам с ним и дела не было, и потому можно сказать, что все учение его было прямо топорной работы, почему и неудивительно, что не было оттого и дальняго успеха, ибо память моя отягощаема была только множеством вокабул, но которых я столь же скоро опять по молодости своей позабывать мог, как и выучивался, пользы же от того было очень мало.

Пред приближением новаго года, вздумалось учителю моему сочинить поздравительное письмо родителю моему от имени моего с новым

годом, и заставить его меня переписать на белой бумаге с золотым обрезом. В работе сей упражнялся я несколько времени, ибо становил всякое слово с превеликою осторожностью и боязнию, чтоб не испортить. Бумага сия почитаема была власно как некакою святостию и я трепетал, писавши оную, и ныне весьма дорого б заплатил, если бы кто мог отыскать мне оную. Я надселся со смеха тогдашнему моему писанью, а не столько писанию сколько русскому переводу, который вздумалось учителю моему приобщить на другой странице и который, как теперь помню, был наиглупейший и вздорнейший и содержал такую нескладную галиматью, чтоб тому довольно нахохотаться было не можно. Но, к сожалению, время похитило у меня сию грамоту и монумент глупости моего учителя.

Кроме сего, продолжал я учиться арифметики, и около сего времени был уже далек в оной, ибо за понятием моим не было ни малейшей остановки. Я понимал все хорошо и довольно скоро, а недоставало только порядка в учении и хорошаго учителя.

Как в доказательство тому, так и в дальнейшее изображение страннаго характера моего учителя, расскажу я теперь один случай и происшествие со мною, бывшее около сего времени.

Однажды, обучая меня арифметики, вздумалось учителю моему мне сказать, что в последующий затем день задаст он мне такую задачу, над которою я довольно посижу и едва ли сделать буду в состоянии. Я каков ни мал был, но как сам о себе ведал, что арифметика была мне довольно знакома, то тронуло сие мое честолюбие, я любопытен был узнать, что за такая мудреная была та задача, о которой он с превеликою надменностию о своем знании говорил, и почему б такому сомневался он, что я ее не сделаю. Побуждаем сим любопытством просил я его, чтоб он мне сказал существо задачи, и по несчастию моему он сие и исполнил.

Задача в самом деле была для меня новая и такая, какой я до того времени не дельвал. Она принадлежала к фальшивым правилам и всем арифметистам довольно известная, а именно касающаяся до стада гусей и повстречавшемуся с ним одного гуся.

Не успел я услышать и узнать, в чем состояла задача, как не хотя поставить себя в стыде, начал я еще тогда же мысленно доискиваться, какому ж числу надлежало быть, если, положив оное еще раз да половину, да четверть того числа, да еще одного гуся, пришлось бы ровно сто. И как любопытство, так и желание до того добратся было так велико, что я, лег-

ши спать, до полуночи не спал, а все думал, и прежде не уснул, покуда не добрался, что число гусей было 36. Сей случай был первый, при котором разум мой оказал свою способность и принужден был действовать собою. Я несказанно обрадовался, добравшись до делаемого, и заснул в мечтательных воображениях от удивления и удовольствия, какое будет иметь мой учитель при скором моем решении его задачи, и с нетерпеливостью дожидался того времени, как мне она задана будет. Сколь я ни мал был, но разсудил, что дурно будет, если сделаю я ее слишком скоро, а потому и положил притвориться и наперед минуту другую цифров пописать, а потом уже сделать, что и исполнил я в самой точности.

Но что ж воспоследовало и сколь много обманулся я в моем чаянии и ожидании и сколь худо заплачено было за мое усердие и труды. Не успел я известное мне число на доске написать и задачу сделать, как вместо всех ожидаемых за то похвал, учитель мой вздурился. Обстоятельство, что он в ожидании своем обманулся и ему не удалось меня помучить, так его взбесило, что напал на меня, как лютей зверь, и насильно требовал, чтоб я признался, что я у него число сие, написанное на аспидной доске, повешенной на стене, подсмотрел, а не сам собою доискался. Я, ведая его бешеный нрав, вострепетал, сие увидев. Я клялся ему небом и землею, что того не ведал, что у него задача сия была написана на доске, и призывал всех святых в свидетели, что целую почти ночь не спал и доискался сам; но все мои клятвы и уверения были тщетны, он и слышать того не хотел, чтоб сие возможное было дело, и я принужден был терпеть от него целую пытку. Во веки не забуду сего случая и того, сколь чувствительно и несносно было мне тогда терпеть сию сущую пытку понапрасну. Немец мой сделался сущим тогда извергом. Он не только меня изсек немилосердным образом хворостинами по всему телу, без всякаго разбора, но грыз почти меня зубами и терзал, как лютей зверь, без всякаго человечества и милосердия. Он так разъярился, что пена стояла у него во рту, и до тех пор меня мучил, покуда выбился сам уже из сил, и запыхался так, что принужден был меня покинуть. Ни слезы, ни вопль, ни умаливания, ни целования рук его и ног, ни повторяемые клятвы не могли смягчить сего чудовища. К вящему моему несчастию, комнатка моя была в таком углу и отдалении, что никому крика и вопля моего было не слышно и никто не мог приттить и меня отнять у сего тирана. Вот какого имел я учителя.

Насытившись, сколько душе его было угодно и не добившись от меня всем сечением своим ничего, ибо мне в самом деле сказать было нечего, утолился он наконец сам от своей ярости и смотрел на меня, хлипующаго и сидящаго в наижалостнейшем состоянии. Слезы текли у меня из глаз ручьями, и горесть, которую я тогда чувствовал, была неописанна.

Но сколь удивление мое было чрезвычайно, как в самое сие время увидел я учителя моего, вставшаго подошедшаго ко мне, превратившагося из прежняго лютаго зверя в наикратчайшаго агнца и начавшаго нежно трепать меня по щеке и ласковейшим образом уговаривать, чтоб я перестал плакать:

– Ну! Ну! – говорил он. – Бог тебя простит! Перестань плакать, помиримся. Явление сие и таковыя неожиданныя слова еще более усугубили мою горесть и слезы:

– Не в чем меня, – отвечал я сквозь слезы, – ни Богу, ни вам прощать, я ничего не сделал, и вы Бога, сударь, не боитесь, что так меня измучили совсем напрасно; батюшка и матушка как изволят, а я упаду к ногам их и буду просить, чтоб они меня помиловали.

Сей ответ мой его еще более встревожил, ибо надобно знать, что таковое дружное и скорое превращение его было по причине: он приметил, что во время сечения и ярости своей, поступил он слишком неосторожно и розгами попал мне в лицо и произвел превеликой рубец на щеке и в самой близости подле глаза. Сего обстоятельства я и сам тогда еще не ведал, а он как ни зол был, однако легко мог предвидеть, что за сие будет ему от родителей моих превеликая гонка. Он раскаявался тогда, но уже было поздно, что поступил со мною так безчеловечно, и не знал, чем пособить сему злу и чем и как бы скрыть и утаить сие дело от узнания моих родителей. Самое сие и принудило его надеть на себя овечье платье, сделаться сущею лисицею и всячески стараться меня улещивать и уговорить, чтоб я сказал, что рубец сей получил не от сечения, а будто бы ходил в сад и выстегнул себе лицо нечаянно хворостиною. Но я не таков был глуп, чтоб тотчас на сие предложение и согласиться, но, узнавши сие обстоятельство, восторжествовал над моим мучителем: смеялся внутренно его трусости и малодушию и в некоторое отмщение за претерпенныя от него невинно побои помучил его часа три своею несговорчивостию и нехотением утаить сего дела от родителей, и довел его наконец до того, что он перетрусился впрах, не знал что делать, ласкал меня всем чем можно, надавал тысячу клятв и обещаний,

что вперед меня сечь не станет, насылил мне ягод и конфетов и всем тем и неотступными просьбами убедил меня наконец к тому, что я согласился, по крайней мере, не приносить родителям моим на него жалобы.

Сие слово я хотя и сдержал, однако дело сие не могло никак утаиться в доме. Сестра моя, любившая меня весьма горячо, заметив рубец, тотчас меня стала спрашивать, и я хотя и не хотел сказывать, но догадались и сами. Тотчас узнала и покойная моя мать и не только учителю моему дала превеликую за то гонку, но поссорилась за то почти с моим отцом; но сей, не узнав всей истины, не уважил сего дела по достоинству, и чрез самое то дал учителю моему поползновение и вперед предпринимать дела, тому подобныя. Говорил ли он от себя что-нибудь учителю, того уже я не знаю; но как бы то ни было, но тем история сия тогда кончилась, и учитель мой несколько времени был помирнее, однако не надолго, а скоро принялся опять за свое глупое ремесло, как о том упомянется впоследствии.

Из прочих приключений, случившихся со мною около сего времени, помню я только одно, и довольно странное и удивительное. Одному из самых передних верхних моих зубов во рту вздумалось что-то рость совсем превратным образом, а именно вверх, и не только прорезать собою верхнюю десну, но произвести рану на самой верхней губе изнутри и пройтись уже почти наполовину сквозь оную. Таковое странное и необыкновенное явление озаботило и смущало моих родителей, они не знали что со мною и с зубом сим делать и тем паче, что он рос кверху острым концом и мне много мешал уже и говорить. Они советовали уже со многими врачами, но для всех явление сие было новое и необыкновенное, и никто не отважился взять на себя комиссию его выдернуть. И я истинно не знаю, чтоб со мною впоследствии, если б не стал сей опасный зуб сам качаться и не раскачался в скором времени так, что полковому нашему лекарю никакого почти труда не стоило оный, пальцами повернув немного, выдернуть и чрез то избавить меня от опасности быть уродом.

Примечания достойно, что на сем месте не выросло уже у меня никогда зуба, а дабы число зубов не сделать у меня недостаточным, то произвела натура новый зуб, хотя подле того места, но в необыкновенном месте, а именно в небе, которым зубом я и поныне еще отличаюсь от всех прочих людей на свете, ибо во всю мою жизнь случилось мне видеть и найти у одного только человека, у котораго был зуб точно подобный моему, а именно у одного из господ Бакеевых, дальняго моего родственника с матерней

стороны; он назывался Сила Борисьевич, жил неподалеку от нас в деревне и об нем иметь я буду говорить впредь при другом случае. Впрочем, все родственники мои сначала боялись, чтоб сей удивительный зуб не стал мне мешать говорить, однако после оказалось, что он дальняго помешательства мне не делал, но я прожил с ним целый век и говорил, как надобно.

Между сими происшествиями прошел 1747-й год, который был достопамятен в жизни моей тем, что я в оный начал впервые учиться иностранным языкам и подвержен был два раза величайшей опасности, но от которых счастливо освободился; а как кстати и письмо сие довольно увеличилось, то, отложив дальнейшее повествование до последующаго, сие теперь окончу, сказав вам, что я емь и прочая.

В КУРЛЯНДИИ

Письмо 8-е

Любезный приятель!

Предследующее письмо пресек я окончанием 1747 года, а теперь, продолжая повествование мое, расскажу вам, что случилось со мною в наступивший после его новый и 1748 год, который не менее достопамятен был бывшими со мною разными приключениями.

Полк наш простоял в Петербурге недолго, ибо не успело наступившаго новаго года пройти одного месяца, как вдруг и совсем нечаянным образом сказан был нам опять поход и велено было немедленно итти в Курляндию. Причиною движению сему была горевшая около сего времени в Европе война¹ и намерение нашего двора отправить в Германию к Цесареве вспомогательный корпус. Неожиданность сия нас не менее удивила, сколько и поразстроила; но как бы то ни было, но мы должны были повиноваться и выступить в поход еще в начале февраля месяца.

Поход сей, продолжаемый зимним путем, был мне сколько приятен тем, что мы получали везде прекрасныя квартиры, ибо оныя отцу моему

¹ Речь идет о войне за австрийское наследство (1741- 48). Цесарева – Мария-Терезия – старшая дочь австрийского императора Карла VI, вступившая после его смерти во владение всеми землями австрийской монархии. Россия активно выступала на стороне Австрии (2 июня 1747), послав корпус на Рейн.

отводимы были обыкновенно на почтовых дворах¹, из коих в каждом находили особья и отменные от других украшения и убранства, сколько досаден тем, что учитель мой и во время самой дороги заставлял меня учить наизусть и твердить вокабулы и требовал, чтоб я из многих тысяч выученных наизусть слов не позабыл ни единого. Но как сие составляло сущую невозможность, то и принужден я был терпеть от него за то превеликое зло и лихо. Все обещания его меня не сечь были позабыты и я не редко принужден был страдать от сего жестокосердаго; но никогда он так много меня не секал, как при одном случае во время сего путешествия. Как теперь подумаю, то кажется, что он сущестительное находил увеселение и утешение в том, чтоб меня терзать и мучить. В сие время затеял он однажды все вокабулы, сколько я их в разныя времена ни выучил, прослушать, и, дав мне только сутки времени протвердить, наперед сказал, что он за каждое позабытое мною слово неотменно влепит мне по три удара розгою в спину. Я удостоверен был, что он сие действительно исполнит, и сие нагнало на меня такой страх и привело мысли мои в такую разстройку, что я множество и таких слов позабыл, которыя действительно помнил, а особливо тогда, когда он начал меня прослушивать и все забытыя слова считать и радоваться, что будет ему случай насытить свою лютость и хорошенько меня помучить. Розги приуготовлены уже были превеликия и лежали на столе, и сие зрелище привело меня в такую робость, что я и на самые известнейшие вопросы не мог ему ничего ответствовать. Наконец кончилось прослушивание и он насчитал всех позабытых слов более двух сот и с зверским хохотом возвещал мне, что я получу 600 ударов. Я обмер и испужался, увидев, что он действительно сие исполнить предпринял, и не знал, что делать. К несчастью, случилось сие в одном селе на особой и отдаленной квартире, в которой никого не было, кроме одной хозяйки; я упал ему в ноги и, облившись слезами, просил о помиловании; но все мои умаливания были тщетны, прощать не его было свойство, и я принужден был шествовать на двор, где вознамерился он произвесть надо мною сию экзекуцию и собственно для того, чтоб тем меньше можно было кому-нибудь мой вопль услышать. Тут, ущемив меня между ног, начал он меня тиранить и действительно считать все разы; я кричал, вопил, а наконец и вопить уже более не мог и уже не знал, чтоб со мною было если б не сжали-

¹ Почтовая станция, где менялись лошади.

лась со мною хозяйка и не избавила меня от сего мучителя. Уже насчитал он двести раз и начал считать третью сотню, и я уже осип от кричания, как выбежала на двор сия добросердечная женщина и, прибегши к нам, силою отняла меня от него и, оттолкнув его прочь, сказала:

– И что ты за лукавый! Ведь ты ребенка-то до смерти засечешь! И есть ли тебе Бог? – Бусурман проклятый!

Он было вздумал противиться и отнять меня у ней опять. Однако она так его от себя толкнула, что он чуть было не упал, и повела меня прямо со двора, чтоб весть к моей матери. Но самая сия выдумка усмирила моего мучителя, он побожился ей, что не станет более сечь и она послушалась и оставила.

Со всем тем как мне в сей раз было уже слишком несносно, то я не преминул уже форменно на него матери своей пожаловаться, и раз, сказав все, показать, сколь жестоко я изсечен, и сие так много воздействовало, что ему от родителей моих досталась не только превеликая гонка, но и формально запрещено впредь без их ведома меня наказывать. И с сего времени сделался учитель мой уже гораздо смирнее, и я не помню уже ни однажды, чтоб он меня так сильно секал.

Мы препроводили в сем походе не малое время, ибо надлежало проходить всю Ингрию¹, Эстляндию и Лифляндию, а полки, как известно, ходят не скоро, и при том все с разстахами, посему и не могли прежде в Курляндию приттить, как в марте месяце. Для стояния нашему полку назначено было местечко или городок Бовск с его окрестностями, куда пришед мы и расположились.

Местечко сие было изрядное, лежащее при реке Немонте² в том месте, где впадает в нее река Муха. Подле самага устья сей последней реки находился старинный каменный, но наполовину развалившийся замок с полверсты от нынешняго жила³. В нынешнем же городке были многие изрядные домики, и для отца моего отведена была изрядная квартира и учителю моему прямо насупротив у одного пекаря, куда я к нему и хаживал учиться.

¹ Ингерманландия, или Ижорская земля, – местность по берегам Невы и по побережью Финского залива, некогда сплошь населенная финскими народностями и входившая в состав Вотской, или Водской, пятины Новгорода. Присоединена к России в результате русско-шведской войны (1702–1704 гг.) Петром I и превращена вначале в Ингерманландскую губ., а с 1719 г. – в Петербургскую.

² Немонт (Неман) река балтийского бассейна. Муха – небольшой приток Немана.

³ Жилье, селенье, дом, изба.

Не успели мы тут расположиться и основать свое жилище, как наступила Святая неделя. Мы праздновали день Пасхи в поставленной в доме полковой церкви, и отец мой имел при сем случае ту досаду, что во время стрельбы из пушек оторвало одному канониру руку.

По наступлении весны выведен был весь полк в лагерь, но как расположен он был в близости подле самого города, то мы остались стоять на прежней своей квартире в городе.

Полк наш простоял в сем месте во все сие лето, и стоять было ему тут недурно. Отец мой, пользуясь знанием своим немецкаго языка, спознакомился тотчас с живущими тут поблизости дворянами, и, будучи всеми ими обласкан и всячиною обсылаем, имел нередко с ними свидания, езжая к ним в деревни и угощая сам у себя оных.

Из сих выездов его к соседственным дворянам памятен мне в особенности один, потому что и мне случилось при том быть, и произошло при случае сем нечто смешное и такое, из чего можно некоторым образом видеть образ жизни дворян курляндских.

Одному из них, верст пять от города живущему, вздумалось позвать отца моего с лучшими офицерами к себе обедать. Отец мой на то охотно и согласился и взял с собою моего старшаго зятя и человек трех из лучших капитанов, также и меня, туда и поехали. Мызник был нам очень рад, и по ласковому его приему думали все мы, что он угостит нас изящным образом. Но что ж впоследствии произошло?

Пришел двенадцатый час, подали по маленькой рюмочке водки и вместе с нею на тарелке по маленькому сухарику белого хлеба для закуски. Родитель мой тем был и доволен, ибо он не жаловал никогда пить много. Но господам нашим русакам гренадерским капитанам было сие уже первое не по нутру. Для них лучше б было по хорошей красауле¹ и для закуски чего-нибудь такого, чего б можно б было в полсыта наесться. Однако как приехали они все в первый раз к сему дворянину и при том не одни, а с своим полковником, то принуждены они были уже тем довольствоваться, ласкаясь, по крайней мере, тою надеждою, что скоро станут обедать и что за обедом наградят они уже сей недостаток. Выпивши по сей рюмочки, уселись они опять по своим местам и начали слушать неразумеемые никем из

¹ Красовуль, красоуля — монастырская чаша, стопа, ковш, братина. У Болотова допущена ошибка: вместо «о» стоит «а».

них немецкие разговоры у отца моего с хозяином. Сидят они и ждут обеда час, сидят и другой, но обеда по завете нет. Пробыло двенадцать, пробыло час за полдни, миновала уже и второго половина, но не слышно было, чтоб и тарелками гремели «Господи помилуй! – думают они, и шепчут между собою, – когда это обед будет?!.»

Однако нечего делать, принуждены сидеть и, зевая, дожидаться. Проходит наконец и вторая половина часа, бьет два часа за полдни, но на стол и собирать не помышляли. Тогда проняло уже их непутем¹: не привыкши никогда так долго говеть, бесились они и досадовали все на хозяина. Они моргали моему родителю, давая знать свое удивление и нетерпеливость, но сей, будучи весьма скромный человек, терпел хотя сам голод, но не хотел нарушить благопристойность, и просить хозяина о скорейшем их накормлении, а удивляясь не меньше сам тому, как и они, шепнул одному из них, что ежели им скучно, так вышли б они на двор или пошли в сад и погуляли, а между тем распроедали и о причине. Они сего только и дожидались, ибо, наскучив статуями сидеть, почти уже дремали.

Итак, покинув отца моего с мызником в разговорах, вышли мы все на двор, и тогда-то бы послушать надобно было всех их благословений мызнику. Всяк наперерыв старался его ругать и бранить, и всякий ругал за то, что морит голодом, но ругательства и брани ему не такая пошла, как узнали причину. Все они до того думали, что, конечно, он позабыл, что звал нас в сей день обедать, и заключали, что верно он тогда только велел готовить кушать, как мы приехали. Однако было совсем не то; а вышло наконец, что он нимало не позабыл и нас к себе ждал, а затем только на стол не собирает, что жаренаго нет и что не возвратился еще с поля егерь, посланный стрелять дичь всякую.

– И! дьявол бы тебя проклятого взял! – закричали они все, сие услышав. И со своею дичью. Неужели нет у тебя никакого куска зажарить, и стоит-ли того, чтоб для этого одного нас так долго морить?

Однако как они ни сердились и ни бранились, но принуждены были еще с целый час поговеть для двух маленьких куличков, которых и обоих для одного человека было мало. Но зато и дали же они ему, возвращаясь назад, изрядное благословение, и всю дорогу о том продосадовали и прохотали.

¹ Собственно – безпутно; здесь: сильно, нехорошо, дурно.

Между тем как мы сим образом тут стояли, продолжал я по-прежнему учиться немецкому языку и арифметики, и как я был уже несколько постарее и попонятнее, то ученье мне было уже не таково скучно; и тем паче, что и учитель был уже смирнее, сверх того и труды мои услаждаемы были частыми отпусканиями меня гулять, да и сверх того особыми удовольствиями, ибо, во-первых, угодно было родителю моему в сию весну записать меня в военную службу и поместить в полк свой в число солдат, а чрез месяц произвести в капралы¹. Определение в службу малолетних было тогда не таково легко, как ныне, и родителю моему самага сего бездельнаго дела не можно б было сделать, если б на тот раз не находились мы за границей и вне своего отечества, ибо Курляндия и тогда нам не принадлежала. Сверх того, помогло к тому много и то, что имел он фельдмаршала себе приятелем.

Но как бы то ни было, но для меня имя солдата обращалось в превеликое удовольствие, а как сделали мне маленькой мундир и нашили капральской позумент, то я уже не знал от радости, что делать. Вступив сим образом в военную службу, был я хотя по десятому году, но начал помышлять уже о военном и в праздное время и утешать себя такими забавами, которыя к тому были приличны. Я спознакомился со многими мещанскими детьми сего местечка, уговорил и набрал из них целое капральство и человек до 30-ти выбрал из них ефрейторов² и барабанщиков, снабдил их всех деревянными ружьями, а барабанщиков – маленькими барабанами. И потом, научившись сам я бить в барабан и метать ружьем артикул³, переучил и их всех тому же, и наилучшая моя забава состояла в том, чтоб с ними порядочно маршировать и екзерцироваться ружьями; но не могу и поныне надивиться тому, как я мог тогда довести их себе до совершеннаго послушания и до того, что я мог с ними делать, что хотел. Всякой раз когда надобно мне было их собрать, так нужно было только послать ефрейтора, как все безотговорочно являлись. Обыкновенное наше учение было в праздничные и воскресные дни; тут собравшись, маршировали мы порядочно взводами чрез весь город. Выхаживали в поле и делали разныя екзерции, а нередко прохаживали до выше помянутаго стариннаго замка, и разделясь надвое, некоторыя приступали к оному, а другие, засев в оном

¹ Тогдашний унтер-офицерский чин.

² Низший военный чин между рядовым и унтер-офицером.

³ Собственно — отдел, глава; затем — воинский устав; здесь: ружейные приемы.

и вскарабкавшись на стены и в проломы, оборонялись. Но дивиться надобно было, как не случилось нам тут никогда друг друга перебить. Вокруг всего сего наполовину разваливавшегося замка лежало еще множество чугунных пушек с отрубленными ушами и между ими и мусором валялось множество больших и малых ядер, а всего более пушечных картечей. Я не понимаю и дивлюсь еще и поныне, каким образом они уцелели тут от древности и не растасканы были поселянами. Но как бы то ни было, но всякий раз как мы к сим развалинам ни прихаживали, наилучшее наше утешение состояло в том, чтоб собирать и выкапывать из мусора сии ядры и картечи и ими швыряться при делаемых нами приступах и оборонах. И Сам Бог нас охранял, что мы никому из нас не проломили ими голову.

Из сих детских игрушек явствует, что я с малолетства имел великую склонность к военному делу, и может быть, вышел бы из меня и воин, если бы судьбе угодно было расположить обстоятельства мои иначе, но Провидение назначило меня не к тому, чтоб мне быть генералом, а совсем к иному. Но я возвращусь к истории.

Препровождая в таковых воинских игрушках нередко свое время, угодил я тем весьма моему родителю и сделал то, что он хотя и скуп был на раздачу чинов, а особливо мне, однако по неотступной просьбе офицеров, которых все меня любили, произвел меня в подпрапорщики, а потом в каптенармусы и дал мне другой позумент.

Сие было опять мне причиною к великой радости. Я начинал уже мечтать о себе, что я уже нечто составляю, и как чин мой ни мал был, но я гордился уже оным. Я приумножил еще боле мою военную команду и, перенимая все, как маленькая обезьяна, у старых, восхотел завести и такую строгую дисциплину, какая наблюдалась в полках, и не только учить их екзерциции, но и ослушных наказывать по-военному, не предвидя того, что самое сие в состоянии было всем нашим забавам конец положить и все дело испортить.

Один негодный мальчишка был тому причиною. Будучи несколько раз бранен за ослушание команды и за неприход в повеленное время и не хотя исправиться, побудил он нас всех сделать общий совет, чем бы нам его за то наказать. И все мы были так глупы, что осудили по общему приговору высечь его пред фронтом порядочным образом батожьями¹. Сие

¹ Бадаг, бадег, бадажок (более старинное – батог) – хлыст, хворостина, розги; множественное число – батоги и батожья.

и учинили мы во всей форме, и бедняка сего, разложив, порядочно выпороли. Но бездельник сей и разрушил все наши забавы и утешенья. Он расплакался и разжаловался матери, сия разжаловалась своему мужу и подожгла иттить просить. И так дошла просьба о том моему родителю, и следствием от того было то, что все общество наше было разрушено, корпус кассирован, а мне учинена превеликая гонка.

Однако забавам сим и без того не можно б было долго продолжиться, ибо покойный родитель мой, видя меня час от часу возрастающего и приметив, что способности во мне ко всему от часу оказывались более, давно уже помышлял о дальнейшем поспешествовании моим наукам. О тогдашнем моем учении мог он уже сам усмотреть, что изо всего онаго мало прока выйдет. Ибо я хотя и знал несколько тысяч немецких слов, но говорить был вовсе не в состоянии, ибо учитель мой вовсе не так меня учил, как надобно, или, прямее сказать, не умел как учить, и я думаю, что хотя б я проучился у него еще три года, но и тогда говорить бы был не в состоянии, а особливо потому, что я, живучи дома, имел всегда случай говорить по-русски. По всем сим обстоятельствам и хотелось родителю моему уже давно отдать меня куда-нибудь в лучшую школу или к лучшему учителю, и как он узнал, что у одного соседственного курляндскаго дворянина содержался в доме для обучения детей учитель, то, сведя с ним знакомство, и отдал меня к сему учителю.

И как с сего времени начинается новый период моей жизни и начало самага учения, то я предоставляю говорить о том в предбудущем письме, а сие сим кончу и остаюсь ваш и прочая.

В МЫЗЕ ПАЦ

Письмо 9-е

Любезный приятель!

Тот курляндский дворянин, к которому в дом меня отдали учиться, назывался господином *Нетельгорстом*, и жил от местечка Бовска верст с шестнадцать, или около двадцати, на самой польской границе. Он был не убогой человек, имел в мызе Пац изрядный у себя дом и подле его прекрасный регулярный сад, украшенный множеством статуй. Сам он был

уже старик, и старик угрюмый и несговорчивый, но жену имел молодую, боярыню бойкую и прекрасную. Она была ему уже вторая жена, а от первой имел он двух сыновей, уже довольно взрослых. Одного из них звали Ернстом, и который ныне заступил место отца своего и владеет сею мызою, а другого Оттою или Отоном. Сей находится ныне в Дерпте, комендантом или плац-майором¹. От помянутой же второй жены имел он только одну дочь, и ту еще маленькую. Сыновья же его были несравненно меня больше, и такими, каких ныне у нас более уже никто не учит. Но у курляндцев такого глупаго обыкновения не было, чтоб оставлять детей полубученными и сущими еще ребятками пускать в службу, – но они и тогда еще продолжали учиться, хотя б большого время было и женить. Для обучения их содержал сей дворянин не такого француза-ветра, какия бывают у нас, а порядочнаго и ученаго человека родом из Саксонии и прозванием Чааха. У сего не столько учились, сколько студировали они философию на латинском языке, ибо языкам и прочим прелиминарным² наукам они давно уже выучились.

Учитель сей был весьма степенный и важный и порядочной жизни человек, он студировал в Лейпцигской академии или университете, и кроме прочих наук умел довольно изрядно рисовать. Для спокойнейшаго учения сделан был для него на дворе и окошками в сад особый домик, где он и жил с сыновьями господина Нетельгорста.

Сему-то человеку поручен я был на руки, с тем чтоб меня не только доучивать по-немецки, но начать учить и по-французски, также и рисовать. А господин Нетельгорст был столько к отцу моему благосклонен, что взялся содержать меня при своем столе беззаплатно. Меня привез туда сам покойный родитель и оставил меня тут, прислав мне только одного моего прежняго дядьку для одевания меня и раздевания. Мне отвели место в том же маленьком домике, где жили сыновья господина Нетельгорста.

Таким образом, вступил я совсем для меня в новый род жизни. До сего времени никогда еще не отлучаем я был из дому моих родителей, и это случилось еще в первый раз. Но отлучение сие и отдавание меня в чужой дом, а особливо такой, каков был сей, послужило мне в безконечную поль-

¹ Плац-майор – собственно, помощник коменданта.

² Собственно – предварительным; здесь: общеобразовательным.

зу, так что я и поныне еще благословляю священный для меня прах моего родителя за то, что он сие сделал, ибо тут не только в полгода я гораздо множайшему, а немецкому языку столько научился, сколько не выучил во все время у прежняго учителя, но и вся моя натура и все поведение совсем переменялось и в меня впечатлелось столько начатков к хорошему, что плоды проистекли из того на всю жизнь мою.

Обстоятельство, что во всем этом доме не умел никто по-русски говорить ни единого слова, весьма много поспешествовало к тому, что я весьма скоро начал уже порядочно говорить по-немецки и научился сопрягать слова нечувствительно. Ибо как дядьку моего видел я только по утрам и по вечерам, а все прочее время принужден был препровождать и говорить с немцами, то самая неволя заставила меня перенимать и учиться с ними говорить их языком. За тихое мое поведение, переимчивость и охоту к наукам меня скоро как учитель, так и все полюбили. А хозяева сего дома содержали меня не иначе, как своего сына, и не только ласкали невозможнейшим образом, но и старались поправлять мои поступки и поведение, однако не строгостию и не браньми, а все ласкою и благоприятием. Во все время моего у них пребывания не слышал я от них ни единого бранного слова, а ласки их и попечение обо мне было так велико, что я и поныне еще благословляю прах их, и за все их благодеяния чувствую благодарность. Сам учитель мой так меня любил и столько понятием моим был доволен, что я ни однажды не только не терпел от него таких пыток, как от прежняго, но и легкаго сечения, и сколько помню, то однажды только погрозился и хотел было меня высечь розгами, да и то за какую-то непростительную шалость, так что я сам себя признавал того достойным. Что касается до моих соучеников, то как они были меня старше, то и не можно было мне иметь с ними компанию детскую и резвиться. Они содержаны были очень строго и в совершенном повиновении у родителей, не смели предпринимать ничего худого, воспитываны были очень хорошо, были хорошаго поведения и имели охоту к наукам; а сие много помогло к тому, что я и от них не мог перенимать ничего худого, а напротив того, перенимал все хорошее, и нечувствительно получил склонность как к наукам, так и к рисованию.

Словом, жить мне было тут так хорошо, весело и приятно, что я не только тогда очень скоро позабыл дом родителей моих, но и поныне напоминая тогдашний период жизни, чувствую в душе моей некое удовольствие и почитаю оный наилучшим и приятнейшим временем моего мла-

денчества. Мы учивались всякий день до обеда и после обеда, и я учился когда читать, когда по-французски, когда писать и рисовать, а между прочим получил начальныя понятия и о географии. Каждый час приносил мне пользы, и не только учебный, но и всего прочаго времени. Обедать и ужинать хаживали мы обыкновенно в большия хоромы к старику, а после обеда важивал меня нередко учитель с собою гулять по саду, а в иное праздное время, а особливо по вечерам, бывали мы в хоромах и я принужден был вести себя кротко, благочинно и порядочно. В праздники же и в воскресные дни нередко отпускали меня к моим родителям в местечко Бовск, а иногда старик сам меня туда важивал; а иногда приезжал и покойный родитель к нам.

В сем-то месте и в сие-то время впечатлелись в меня первейшия склонности к наукам, искусствам и художествам, продолжавшия потом во всю мою жизнь и производившия мне толь безчисленные и приятные часы и минуты в жизни. Всему хорошему, что есть во мне, начало положилось тут, а сверх того, имел я и ту пользу, что живучи в таком порядочном доме, имел я первый случай узнать и получить понятие о жизни немецких дворян и полюбить оную.

Я жил и учился тут во все то время, покуда полк наш стоял в Курляндии, что продолжилось более года. В сие время нередко видался я с моими родителями; они жили сначала все в том же местечке, куда приехала потом и большая моя сестра с мужем. Для сего свидания обыкновенно ездил я к родителям моим с моим дядькою, летом верхом или в одноколке, а зимою в пошевенках¹, и пробыв у них воскресенье, возвращался обратно к понедельнику на свою мызу.

Самые сии недалние, но частые переезды и путешествия и подали случай к некоторым особливым и хотя неважным, однако таким со мною около сего времени приключениям, которыя так впечатлелись в мою память, что я и поныне их забыть не могу, и к коим наиболее характер дядьки моего был поводом.

Сим дядькою у меня был один из служителей нашего дома по имени *Артамон*. Он был сын старухи, бывшей у покойной родительницы моей еще нянею, и человек не глупый, умеющий грамоте, ходивший за мною до

¹ Сани, снабженные особым приспособлением, сделанным из четырехгранных брусков треугольником, назначение котораго – не дать саням перевернуться (севрус, рбзвальни, рбспуски, пошевни).

вольно изрядно, но подверженный той проклятой слабости, которой так многие наши рабы подвержены бывают: то есть любил иногда испивать. Другой порок в нем был тот, что он чрезвычайно любил курить табак; в прочем же был лучший у нас слуга и любил меня как должно; что ж касается до меня, то я любил его чрезвычайно, но это и не удивительно, потому что он всегда за мною ходил, а тогда и жил только один со мною в чужих людях. Одно из вышеупомянутых приключений было следующее.

Некогда, побывав у родителей моих, случилось мне с ним из Бовска поехать обратно на мызу в одноколке. Было то летом, и не рано, а часа за полтора или за два до вечера. Одноколка была у нас с ним легонькая, мызничья, в одну лошадь, и я обыкновенно сиживал в ней, а он у меня позади и правил. Сим образом бывало мы с ним одни и едем, и дорогою обыкновенно о чем-нибудь разговариваем. Он читывал довольно наших церковных книг и часто рассказывал мне все, что знал о сотворении мира, о потопе и о прочем, относящемся до библейской истории, которая была ему нарочито сведома. И я могу то в похвалу ему сказать, что первейшими понятиями о создании мира, а отчасти и о законе обязан я ему, а потому и слушивал я всегда его с удовольствием, и мне с ним помянутым образом ездить никогда было не скучно.

Но в сей раз случилось совсем тому противное. Пред самым отъездом, какому-то приятелю захотелось его поподчивать и вкатить в него рюмки две-три лишних. Мы не знаем того, не ведаем, и ни мне и никому иному и в ум не приходило заприметить, что дядька мой был и в то уже время на девятом взводе, как я садился в одноколку. Но не успел я с ним выехать, как его так начало разнимать, что я, каков ни мал был, но мог уже приметить, что дядька мой пьян. Вскоре после выезда надлежало нам переезжать реку Муху и спускаться подле развалин замка, под гору; уже и тут он меня напужал, будучи не в состоянии довольно сильно держать лошадь, которая чуть было нас с ним не опрокинула. Однако как бы то ни было, но мы реку благополучно переехали и поднялись на гору. Тут, к несчастью моему, случись корчма; дядька мой не успел ее увидеть, как захотелось ему выпить винца еще. Он стал меня уговаривать, чтоб я подержал на минуту лошадь, а он пойдет на часок в корчму и раскурит свою трубку. Я хотя и догадывался, что у него не трубка на уме и хотя старался его уговаривать, чтоб не ходил, однако просьбы мои остались тщетны. Он пошел себе в корчму и я принужден был нехотя стоять и его дожидаться. Что он там делал, того

уже не знаю, но после нескольких минут возвратился с трубкою во рту, но при том гораздо уже пред прежним пьянее, и так, что почти на ногах стоять не мог. Обмер я, испужался, сие увидев, и не знал, что мне с ним делать; ехать еще было очень далеко, я легко мог заключить, что править лошадию был он совсем не в состоянии. Назад возвращаться было также уже версты три и притом переезжать опять реку и страшную гору. Сверх того, не хотелось мне и на гнев привести моих родителей, и дядьку своего наказанию подвергнуть. Сколько мне ни горестно и ни досадно на него было, однако при всем том было его жаль. В сей крайности находясь, решился наконец я посадить его с собою в одноколку и, предавшись в волю судьбы, продолжать путь далее и править уже лошадию самому. Время тогда было хорошее, дорога гладкая и мне довольно знакомая, а и вечер еще был не слишком близок, и так, думал я, поеду себе потихоньку, авось-либо как-нибудь доеду и его доведу. Но тут великаго труда мне стоило преклонить его к тому, чтоб он сел рядом со мною. Пьяные обыкновенно много о себе и о силе своей думают, и так насилу-насилу я его уговорил и посадил с собою, но что ж впоследствии последовало?

Не успели мы еще версты отъехать, как дядьку моего уже не путем и так розняло, что он не в состоянии был и одного слова порядочно выговорить, а более мычал, нежели говорил. От вихлянья и качанья его во все стороны я приходил ежеминутно в страх и трепет, того и смотрел, что он у меня полетит чрез голову из одноколки. Я поддерживал его сколько было силы, но как выбился из сил, а притом заметил, что он дремлет, то уговорил его, чтоб он к одному углу прилег и себе заснул. Он тому и рад был, а мне хотя и тесно было уже сидеть, но я также рад был уже тому, что он заснул и захрапел, как боров, и я не имел нужды его держать.

Сим образом продолжая путь потихоньку, доехали мы с ним благополучно до одного большого и густого леса, который находился уже неподалеку от нашей мызы, простирался версты на три длиною и сквозь который надлежало нам необходимо проехать, и притом узкою, дурною и колеистою дорогою! До сего места ехали мы все-таки хорошо, дорога была гладкая, лошадь смиренная, ехали мы все полями и лугами и притом днем и еще засветло; но как пред въездом в сей лес уже начало смеркаться, то стал я уже и заботиться о том, как бы скорее проехать лес, а притом гораздо уже и потрушивать. Густота высокога леса темноту вечернюю умножала еще больше и нагоняла на меня тем паче ужас, что мне никогда еще не случалось

лось бывать одному в таком лесу, и еще одному, ибо дядька мой что был, что нет все равно, он храпел только и спал наиспокойнейшим образом, как убитый. К вящему несчастью, пришло мне на память, что я слышал, что в сем лесу водилось множество волков. Сие еще меня пуще смутило и озаботило; я не знал, что делать, и разсудил испытать, не могу ли я разбудить моего спутника; но он так крепко почивал, что все кликанья, трясенья и толканья ни малаго не производили действия: он вовсе их не чувствовал и только что сопел. Тогда перетрусился я еще того больше, ибо до того все-таки надеялся, что его разбужу и мне с ним с несонным не таково страшно будет ехать.

Между тем ночь приближалась уже скорыми шагами. Сумерки уже оканчивались и становилось уже совсем темно, а мы еще и половины леса не проехали, а только добрались до самой его густоты и дурнейшего места. Тут восхотелось мне еще раз испытать его побудить, я собрал все свои силы сколько их ни было, и не пронявшись трясением и толканием, начал его приподнимать, но самым тем все дело еще хуже испортил. Несчастье мое хотело, чтоб в самое то время, когда я с ним сим образом возился, вошло одно колесо одноколки моей в преглубокую колею, и одноколку мою от того в ту сторону, где он сидел, так качнуло, что он полетел, как чурбан, чрез колесо и прямо в грязь. Не могу вспомнить, как я тогда испужался, и надивиться тому, как он и меня с собою не утащил. Но как бы то ни было, но я остался почти висящим на одноколке и столько еще имел памяти, чтоб остановить лошадь. По особливому счастью, сия была весьма мирная скотина и тотчас велению моему повиновалась. Я сошел тогда с одноколки, старался еще всячески разбудить моего товарища и спутника, но он так был пьян и так спал крепко, что и самое падение не могло его растрогать. Он лежал себе в грязи, как на мягкой постели, и ни о чем не помышлял, только всхрапывал. Тогда потребен был для меня хороший совет: но, к несчастью, мне дать было его некому, а сам я был еще слишком к тому мал, чтоб мог придумать, что бы мне в таком случае сделать было лучше. Правда, мне и пришло было на мысль, чтоб, оставя его тут, сесть опять в одноколку и ехать одному до мызы, и оттуда прислать за ним, чтоб и лучшее было средство. Но статочное дело, чтоб я мог тогда на сие отважиться и решиться. Любовь к дядьке моему не так была мала, чтоб я мог оставить его одного, и в таком состоянии в лесу: я не инако заключил, что его съедят тут волки и потому тотчас сию мысль откинул, а приступил к

делу самому детскому, совсем невозможному и силы мои превосходящему, а именно: я начал его совсем безчувственного тащить ближе к отъехавшей на несколько шагов одноколке и возмечтал себе, что я могу его как-нибудь поднять и положить в оную. Но всякому можно разсудить, в силах ли я был сие сделать и не тщетно ли мое было предприятие. Но как бы то ни было, однако я приступил к сему делу, и не зная даже, страх ли, или самая крайность нужды, силы мои столько подкрепила, что я хотя с превеликим трудом, однако кое-как дотащил его до одноколки и, приподняв верхнюю половину тела, прислонил уже к оной. Легко можно разсудить, что сей необъятный для меня труд меня крайне изнурил, я запыхался насмерть и, сделав сие, принужден был отдыхать и собирать вновь силы, чтоб докончить желаемое предприятие. Но я сколько бы ни старался, но верно бы его не исполнил, ибо на одноколку поднять не было уже никакой для меня возможности, и я истинно не знаю, чем бы кончился мой тщетный труд, если б в самое то время, как только начал я с дядькою моим вновь ворочаться, новый нечаянный случай всего намерения моего не разрушил и смятения моего и страха еще больше не умножил. Откуда ни возьмись и порхни из-за куста какая-то большая птица, и думать надобно, что сова: лошадь моя, стоявшая до того как вкопанная, какова была ни смирна, но нечаемым шумом и шорохом сим так была испужана, что вдруг шархнула и что ни есть мочи с одноколкою поскакала и оставила меня одного с упавшим опять в грязь и спящим моим дядькою.

Теперь вообрази себе всяк, каково было мне тогда, будучи десятилетним ребенком, остаться одному посреди большого густого и в самом деле страшного леса, и притом еще ночью, и с одним только опьянившимся до безчувства человеком! Состояние, в котором я тогда находился, было действительно таково, что я его изобразить никак не в состоянии. Внезапность и неожиданность сего происшествия так меня поразила, что я лишился и последняго ума и разсудка. Когда действовала до сего во мне единая боязнь, так постигло меня тогда уже совершенное отчаяние. В единый миг вообразилась мне тогда вся великость опасности, в которой я тогда находился, я не инако полагал, что меня съедят тут волки и что я за верное в ту ночь погибнуть буду должен: вообрази же теперь всяк, каково ребенку быть в таких помышлениях и готовиться к смерти! Боязнь моя превратилась в сущее отчаяние, я так оробел и в такое пришел малодушие, что залился слезами, поднял превеликий вопль и крик, бегал и метался,

как сумасшедший и не знал, что делать. Несколько раз предпринимал я бежать вслед за ушедшею моею лошадыю, и несколько раз, будучи не в состоянии ее догнать, опять назад возвращался. Не успею отбежать несколько сажен и забежать за кусты, почувствовать, что я один, как страх так меня обьмет, что я опрометью побегу назад к моему безчувственному спутнику. Сей сколь ни слабую составлял мне тогда подпору и сколь нимало мне мог служить защитою и обороною, но я в отчаянии своем рад уже был тому, что хоть он со мною остался. Надежда, что авось-либо он как-нибудь проснется и сколько-нибудь опаматывается, подкрепляла меня в моем страхе и отчаянии.

Я позабыл уже тогда всю мою на него досаду, прилеплялся в нему как к единой моей защите и обороне, будил, просил, умолял, обливал его слезами, и всем тем добился только до того, что он однажды промычал, но сие в состоянии уже было меня неведомо как обрадовать, и подействовало столько, что я пришел сколько-нибудь опять в разумок, и мог уже рассудить, что я криком и воплем своим ничего себе не помогу, а в состоянии только буду скорее волков к себе приманить. Сия мысль столько подействовала, что я тотчас плакать и шуметь перестал, а вытащив кое-как дядьку моего из грязи на травку, сел подле него и, прижавшись к нему наиплотнейшим образом, сидел молча ни жив ни мертв, дожидаясь его пробуждения или того, что судьбе со мной учинить будет угодно.

Но сия и жалилась, наконец, над моим состоянием. Приведя меня нечаянностью в отчаянный страх и действительную опасность, восхотела она таковою же нечаянностью и освободить меня из онаго. Одному мужику, принадлежащему господину Нетельгорсту и работавшему во весь тот день у нас на мызе, власно как нарочно велено было не прежде домой ехать, как по окончании одного порученнаго ему дела, и за самым тем замешкаться до самой ночи. Он возвращался тогда в свою деревню, и как ему сквозь самый сей лес ехать было надобно, то не успел он к нему подъехать, как повстречался с моею лошадыю и пустою одноколкою. Хотя был он латыш, однако легко мог заключить, что это не даровое, и что лошадь людей, конечно, выпрокинула и сбила; а как случилось к тому так, что ему и самая лошадь и одноколка, как принадлежащая господину его, была знакома, а и то было ведомо, что я на ней ездил, то легко он мог догадаться, что ехал на ней я. А поелику сему добросердечному крестьянину было и то известно, сколь любили меня господа его, то все сие так его встревожило,

что он бросился тотчас и перехватил мою лошадь, привязал к своей телеге, поскакал по дороге к нам и чтоб ему нас не проехать, стал то и дело аукать и кричать, чтоб мы услышали.

Слух кричанья сего весьма скоро и достиг до нас, и тут я уже не знаю, как изобразить мне ту радость, которую почувствовал я, сей крик и называние самого моего имени услышав. Я думаю, что если бы был то глас и самого ангела, то не больше бы ему обрадовался. С превеликим восхищением вскочил я и, забыв всю горесть, побежал навстречу добродушному мужичку, меня призывающему и ведущему за телегою своею мою лошадь с одноколкою, и не знал, как возблагодарить ему за его одолжение. Он удивился, нашед меня одного в лесу, а того больше еще, как я довел его до моего спутника и показал ему онаго. С негодованием и бранью поднял он его и, бросив в свою телегу, был столь добродушен, что сам сел со мною в одноколку, а телегу привязал сзади и довел меня до мызы.

Сим образом кончилось сие происшествие, и дядьке моему надлежало бы получить за то најесточайшее наказание; но как, проспавшись, стал он у всех валяться в ногах и просить, чтоб его тут наказали, а родителю моему сего не сказывали, а особливо, валяясь у ног, просил о том меня, то и отделался он небольшим за то наказанием от мызника.

В другой раз самый тот же мой дядька и на таком же путешествии, но уже и не пьяный, да и днем, стравил было меня действительно волками. Было сие следующим образом.

Однажды случилось нам с ним ехать, но не летом, а зимою, в санях из помянутой мызы Пац в местечко Бовск, к моему родителю. Обыкновенно езжали мы с ним в пошевенках: я, окутавшись, в них сиживал, а он у меня правливал. В сей раз поехали мы поутру и спешили поспеть к обеду. Но не успели мы вышеупомянутый большой лес проехать, как увидел дядька мой в стороне небольшую деревеньку, отстоящую от дороги не более как сажень на 100. Вид оной возбудил в нем охоту раскурить трубку его с табаком, до чего был он, как я уже упоминал, превеликий охотник. Но как огнива с ним не случилось, то захотелось ему сбежать в сию деревню и раскурить там оную. «Постойте, батюшка, здесь, – говорит он мне, – а я на минуточку сбегаю в сию деревушку и раскурю трубку». Мне и не весьма хотелось его отпустить от себя и остаться одному, однако он убедил и уластил меня своими просьбами: и день-то теперь, и бояться нечего, и жило близко, и опасности никакой быть не может, и лошадь он завернет

и она уйтить не может», коротко, он столько мне наговорил и так меня улестил, что я и склонился на его просьбу и сбегать туда дозволил. Но надобно же было как нарочно случиться так, что не успел он уйтить у меня из глаз и вбежать в деревню, как где ни возьмись не один, а целое стадо волков, и не далее от меня впереди как сажень на тридцать. Я обмер, испужался, их увидев, ибо такого большого стада волков не случалось мне никогда видывать, и как считал я себя уже погибшим, то кровь леденела от ужаса в моих жилах, и я не знал что мне делать, и сидел ни жив ни мертв, прижавшись в уголок моих санок. Однако страх мой был по-пустому. У волков и на уме не было на меня нападать, но они около сего времени ходили и шли вереницею один за одним, вслед за волчицею. Было их волков с двадцать, однако все они, перешед дорогу, прошли спокойнейшим образом далее в лес. А между тем прибежал и мой дядька и насмерть испужался, как услышал, что без него со мною случилось. Тут пошли опять просьбы и умаливания, чтоб я и о сем приключении отцу моему не сказывал, и как страх мой был кратковременный, то я наконец, любя и жалея его, на то и склонился.

Из прочих происшествий, бывших в течение сего 1748 года, памятно мне только то, что однажды приезжали мы с стариком господином Нетельгорстом к покойному родителю моему в какой-то большой праздник обедать и что я при сем случае наделал смех и проказу. Так случилось, что, приехав в Бовск довольно еще рано, не застали мы покойнаго родителя моего дома, который в самое то время находился еще в лагере для слушания обедни и молебна и оттуда еще не возвратился. Как лагерь нашего полку не далее отстоял от города, как на версту, то приди старику моему охота ехать туда отчасти, чтоб посмотреть лагерь, а отчасти, чтоб видеть нашу Божественную службу, которой он никогда еще не видывал, почему и велел он кучеру туда ехать. Но что ж воспоследовало? Не успели мы подъехать к шатру, в котором поставлена была церковь, как вдруг увидел я разстановленных подле нея моих злодеев пушек и канониров подле них с курящимися фитилями. Я и не знал о том, не ведал, что в тот день производится будет толь страшная для меня пальба из пушек, почему неожиданное сие зрелище так меня поразило, что я побледнел и вся кровь во мне взволновалась от ужаса. И как мы остановились подле самых пушек и я со всякою минутою ожидал стрелянья, то что ж я сделал?.. Так и не долго думая, сиг из кареты в опущенное с моей стороны окно и дай Бог ноги!

Побежал куды зря, и на прорез сквозь весь лагерь и даже за обоз и до тех пор неоглядкою как стрела летел, покуда только бежать мог и покуда не остановило меня болото, в которое вбежал я по кочкам по колено.

Между тем как я сим образом без памяти бежал, происходила у церкви сушая комедия. Так случилось, что сначала и бегства моего никто не приметил. Старик мызник в самое то время выходил из кареты и был ко мне спиною, следовательно ему видеть было не можно; а лакей, которой один только у нас позади и был, упражнялся тогда в придерживании старика, своего господина, и помогании выходить ему из кареты, а потому за ним и ему приметить бегства моего было не можно. Кучер наш и фореитор, вылупя глаза, смотрели на церковь и на пушки, а всех прочих случившихся тут людей глаза обращены были на выходящего из кареты мызника, и всем и не ума было взглянуть, что делалось позади кареты и в той стороне, куда я восприял бегство; к тому ж, как тут в близости стояли ящики и солдатския палатки, то я в один миг за них забежал и от глаз их скрылся. Словом, так случилось ненароком, что бегство мое было совсем не приметно.

Но теперь вообрази себе всяк, в какое изумление пришел наш лакей, когда, выпустя мызника, хотел помогать из кареты выходить мне и вдруг увидел, что в карете никого нет! Он глядь туда, глядь в другую сторону, глядит позади кареты, обегая кругом, но столько же видит. «Господи помилуй! – говорит он. – Да где ж маленькой боярин, куда он девался?» – кричит, зовет меня по имени, но никто ему не отвечает! «Батюшки мои! – говорит он, продолжая бегать кругом кареты и соваться как угорелая кошка. – Да где ж это он?» Спрашивает у кучера, спрашивает у фореитора, но те говорят, что не знают и что не видал никто меня, и хотят с каретою отъезжать, но слуга кричит: «Стойте и погоди» и продолжает искать меня далее. Между тем старик, не оглянувшись, отошел несколько шагов от нас и подходит уже к самой церкви и к тесноте народной. Но тут вздумалось ему оглянуться назад, дабы меня взять за руку и провесть: но как изумился он, когда позади себя ни меня, ни своего лакея не увидел. Он остановился и стал нас поджидать, но как увидел, что оба мы не показываемся еще и в ограду церковную, которая была по обыкновению плетневая и превысокая, то удивление его умножалось с каждою минутою и, наконец, придя в нетерпеливость, принудило его иттить назад и нас кликать. Но сколь изумился он, когда увидел лакея своего помянутым образом бегающего только около кареты и меня ищущаго.

– Что вы там стали, – закричал он на него, – и что нейдете?

– Да чего, сударь, иттить, я не найду молодого боярина.

– Как это не найдешь, он тут был, дурак! и со мною сидел в карете.

– Я сам знаю, что он тут был и с вами приехал, но, воля ваша, его нет и я не нашел его ни в карете, ни за каретою.

– Врешь ты, дурак, как это не найтить, куда ему деться? Он был в карете как я выходил, разве ты не видал, как он вышел и не ушел ли вперед?

– Какое, сударь, в карете, в ней-то его и не было, как вы выходить изволили; тому-то я и дивлюсь и не понимаю куда он делся.

– Что ты врешь! как это! он был со мною, нельзя статься... куда ему деться?

– Да воля ваша, а его не было, и я готов присягнуть в том, что его в карете не было а вы одни вышли.

– Господи помилуй! Что это? Либо ты пьян, либо я себя не помню. Я, кажется, сам с себя не сколок, и знаю всего уже вернее, что он остался в карете, как я пошел из оной.

– Ну! что ни извольте говорить, а его не было, и дверцы другия заперты, как были, и никто их ни растворял, а в те, в которыя вы вышли, я готов умереть в том, что он не выходил.

Таковыя уверения смутили моего старика и привели его в такое изумление, что он не знал, что думать и заключить; в самое то время закричали из церкви, чтоб начинали стрелять. И тотчас из пушки бух! Лошади в карете шарахнулись и начали прыгать. Кучер силится держать, кричит форейтору, тот не удержит. Из пушки еще раз бух! Лошади давай беситься, закусили удила и понесли карету куда зря; народ бросился за нею, поднялся крик и вопль: лакей бежит за нею, мызник за ним; один кричит: «Стой! Стой!» другой: «Держи! Держи!» мызник охает: «Эх! разобьет и исковеркает карету. Экое горе! Экая беда!» Шум увеличивается и распространяется до церкви, весь народ перетревоживается и бежит к церкви; один говорит то, другой другое, а все не знают истинной причины. За народом выходит и покойный родитель мой со всеми офицерами, спрашивает: «Что такое? Не убило-ли опять канонира?» – никто не знает и не отвечает. Наконец усматривает моего мызника:

– Ба, ба, ба! Господин Нетельгорст! Откуда это вы взялись и давно ль приехали сюда, к нам?

– Сей только час, господин полковник. Но чего, сударь, лошади мои перепугались вашей стрельбы, и помчали теперь и коверкают карету, и я думаю, что всю ее вдребезги расщелкают.

– Но мальчишка-то мой уж не в ней ли? – спросил, встревожившийся отец мой.

– Нет! Нет, ваше высокоблагородие, в ней-то его нет но... но... но...

– Что но?!.. – подхватил испугавшийся мой родитель и не дал ему далее выговорить. – Уж не убили ли его, господин Нетельгорст? Да где ж он, я не вижу его, а вы хотели привезти его с собою.

– Я привез его, господин полковник, но такая диковинка! Истинно не знаю сам, что сказать...

Легко можно всякому себе вообразить, что слова сии еще пуще родителя моего смутили и встревожили, его с ног до головы как морозом подрало.

– Батюшка ты мой! – возопил он. – Сказывайте, ради Бога, скорей, что с ним сделалось и где ж он, когда вы его привезли? Конечно, он там же, в карете, и вы мне только не сказываете. Государи мои, – обратясь он к офицерам закричал, бегите ради Бога и велите как-нибудь остановить и удержать, и спасайте мне ребенка, у меня он один только и есть! Ах, господин Нетельгорст, что вы со мною сделали? Ну-ка его убьют!..

– Нет! Нет! господин полковник, этому быть не можно, право не можно, не извольте тревожиться, его ей-ей нет там.

– Но где ж он?

На сей вопрос паки¹ не знал старичок мой, что сказать, и опять замялся и остановился; но как начал покойный родитель мой уже не путным делом приставать, то принужден он был наконец сказать:

– Чего, господин полковник, он приехал со мною до самого сего места благополучно, но между тем как я выходил из кареты, он, оставшись в ней, такая диковина, в одну минуту сгиб у нас и пропал, и мы оба с слугою не знаем, не ведаем, куда он делся: выходить не выходил, а в карете уж его, и за каретою нигде не нашли, и нигде его нет, сколько ни искали.

Сии слова не уменьшили, а умножили еще смущение моего родителя и его недоверчивость.

¹ Опять, снова.

– Умилосердитесь – сказал он. – Господин Нетельгорст! Можно ли сему поверить? Куда ему деться, если б он привезен сюда был? Нет, нет, а конечно, есть что-нибудь иное?

Но как он начал клясться и божиться, что говорит правду, а и пришедший слуга подтверждал то же, то не только родитель мой, но и все офицеры впали в великое недоумение, не знали, что обо мне заключить, и, разослав повсюду солдат и людей меня искать и спрашивать, сами только сему странному случаю дивились.

Что касается до меня, то я между тем как у них все сие тут подле церкви происходило, стоял по колена в болоте и считал только пушечные выстрелы, и как стрельба пресеклась, то, выдравшись из грязи, пошел себе как ни в чем не бывало, прямо чрез обозы и чрез лагерь к церкви. Тут увидел я уже многих людей, бегающих и ищущих меня и обрадовавшихся, когда меня увидели. Они взяли молодца под руки и привели к родителю моему, которой нечаянному явлению моему так обрадовался, что, вместо брани за мою трусость, расцеловал меня и в глаза и в щеки. Не могу вспомнить, какой смех тогда у всех поднялся и как начали иные хвалить мое проворство, когда узнали, каким образом я скрылся и как в окно из кареты выскочил; однако после не прошло без хорошей мне за то гонки.

Сим образом кончилось тогда сие происшествие, а как вскоре после меня привели и карету с лошадьми, ничем почти не поврежденную, то поехали мы все в Бовск и, погостив у покойнаго родителя, возвратились в свою мызу.

Несколько времени спустя случилось мне опять быть в Бовске. В сие время приехал какой-то генерал для смотра полку нашего, и был покойным отцом моим угощаем. Я при сем случае пожалован был сим генералом в сержанты¹, ибо сам покойный родитель мой не хотел никак на то согласиться, чтоб меня произвесть в сей чин, совестясь, чтоб его тем не упрекали. Но как сему гостю я отменно полюбился за то, что, будучи ребенком, умел порядочно бить в два барабана вместо литавр при игрании на трубах, то взяв сие в предлог, сделал он сие учтивство в знак благодарности за угощение хозяину.

Я не могу довольно изобразить, как обрадован я был сим происшествием и как мил мне был третий позумент, нашитый на обшлага мои. Я

¹ Сержант – старший унтер-офицер, фельдфебель. Дворянских детей записывали сержантами для скорейшего получения офицерских чинов.

думал тогда о себе, что я превеликий человек и стал действительно оттого учиться ревностнее и прилежнее. А как между сим кончился и 1748 год, то окончу и я свое письмо, сказав вам, что я есмь и прочее.

ПОХОД В ПЕТЕРБУРГ

Письмо 10-е

Любезный приятель!

Из бывших в начале 1749 года происшествий не помню я никакого такого, которое бы стоило повествования; а то только памятно мне, что пред окончанием зимы, неизвестно для каких причин, штаб нашего полку из местечка Бовска выведен и родителю моему отведена была квартира на одной, за несколько верст от Бовска лежащей, дворянской небольшой мызе, называемой Клейн Мемельгоф, и что он под конец зимы стоял уже в оной и я к нему уже туда принужден был ездить. Также памятно мне то, что сия мыза принадлежала одному несчастному курляндскому дворянину *Корфу*, заколотому незадолго до того на поединке другим дворянином по имени *Шепингом* и что поединок сей, происходивший во время стояния нашего в Бовске, был столь славен, и мы так наслышались об обстоятельствах онаго, что оныя даже и теперь мне памятны; и как оне не недостойны замечания, то и перескажу я оныя.

У помянутаго Шепинга была жена молодая и красавица; но сколь хороша была она, столь дурен, мал и невзрачен был помянутый муж ея. Что касается до Корфа, то жил он у него в недалеком соседстве и был холостой, малой молодой, высокий и взрачный¹ собою, прекрасный, ловкий, но и азартный. С Шепингом были они знакомы и друзья, но говорили тогда, якобы Корф влюбился в его жену и та будто бы ему несколько и ответствовала, но имея мужа строгаго и весьма проворнаго, принуждена была скрывать тайное свое с Корфом согласие; однако как они ни таились, но от мужа не могло сие сокрыться: он узнал и, приревновав к жене, стал ее содержать строже. Самое сие, как говорили тогда, было истинною причиною сей дуели, а наружным поводом и предлогом к тому была небольшая оби-

¹ Видный, казистый, красивый; в настоящее время осталось с отрицанием – невзрачный.

да, оказанная Корфом Шепингу. Сей Корф, надеясь на взрачность, силу и на уменье свое стрелять и драться на шпагах, искал сам случая поссориться с Шепингом, ибо не сомневался в том, что он его либо застрелит, либо заколет, и чрез то может со временем получить жену его за себя. Как вознамерился, так и сделал. Бывши однажды на охоте, заехал он умышленно в одну деревню, принадлежащую Шепингу и под предлогом спрашивания у мужика его пить, велел искать силою пива и нацедить, а между тем умышленно выпустить всю бочку у хозяина. Мужик принес жалобу о том своему господину. Сему показалось сие слишком обидно; он послал с выговором о том к Корфу и с требованием, чтоб он мужика удовлетворил. Сей того только и ждал и, сочтя требование его для себя слишком грубым и обидным, предложил ему, для удовлетворения мнимой обиды, поединок, ведая, что Шепингу, по тамошнему обыкновению нельзя будет отказать, в чем и не обманулся. Шепинг хотя и не хотел, но принужден был на то согласиться и назначить к тому день и место.

Поелику поединки в Курляндии были тогда в великом обыкновении и равно как позволенными, то оба они не имели причины таиться, но оба положили сделать его публичным; а потому не успели они об оном условиться, как вся Курляндия об оном свела, и все начали говорить об оном и с нетерпеливостью ожидать, чем дело сие кончится. До нас самих дошла тотчас о том молва, почему самому и помню я, что тогда о сем деле говорили и рассуждали. Все винили Корфа и сожалели Шепинга, почитая за верное, что сей последний лишится жизни, ибо никак не думали, чтоб он мог одолеть Корфа, который был самый величень¹ и сущий головорез и притом славный стрелок из пистолета. Но не только прочия, но и сам Шепинг заключал самое то же, и потому готовился к поединку сему, как на известную смерть, и никак не думал остаться в живых. Почему, отправляясь с секундантами своими на оный, не только распрощался навек с своими родственниками, но повез с собою даже и гроб для себя. Что ж касается до Корфа, то ехал он с превеликою пышностью и в несумненной надежде победить, почему самому и не внимал никаким уговариваниям друзей своих, старающихся примирить его с Шепингом полюбовно и без драки. Всем нам известен был не только день, но и час, в который они драться станут и который, против чаяния всех, сделался бедственным Корфу. Не-

¹ Великан.

счастье его состояло в том, что Шепинг не согласился драться на пистолетах, а предложил, не устрашаясь величины Корфовой, шпаги. Сие он всего меньше ожидал; но как выбор оружия зависел от вызванного на поединок, то нельзя было ему уже того и переменить. Кроме сего сделал Корф и другую погрешность, состоящую в том, что он пошел на Шепинга с излишним и непомерным азартом, а особливо как его сначала он поранил и просить стал, чтоб перестать и помириться. Ибо как для него слишком было обидно и несносно быть от малорослаго Шепинга побежденным, то закричал: «Нет, каналья, либо ты умри, либо я», пустился он на него с толикою яростию, что сам почти набежал на шпагу своего противника и в тот же миг испустил дух свой, будучи им проколот насквозь.

Сим образом кончилось тогда сие славное дело, и все были рады, что Корф лишился жизни, ибо он надоел уже многим своим нахальством и озорничеством. Мы, стоявши потом в самом его доме, видели многия пули, сидящая в стенах, которых разстрелял он накануне того дня, стреляя все по зажженной свече и стараясь пулею только с ней снять, и огня не потушить. Однако не так сделалось, как он думал, а так, как угодно было Провидению, восхотевшему наказать сего высокомернаго человека.

Между тем как покойный родитель мой в сем месте стоял, я жил в помянутой мызе Пац и продолжал учиться по-прежнему; однако, к сожалению, недолго удалось мне сим прекрасным и полезным для меня случаем пользоваться. Не успела весна вскрыться и наступить лето, как полку нашему сказан был поход и велено было иттить в Финляндию. И как отцу моему одного меня и в таких летах и в такой отдаленности оставить было никак не можно, то принужден был нехотя взять меня с собою.

Таким образом, принужден я был оставить то место, которое сделалось мне так мило и приятно, что я и поныне еще напоминаю оно с некаким удовольствием. Сам старик мызник, жена и дети его провожали меня как родного, а учитель столь меня полюбил, что у него слезы даже на глазах навернулись, когда он со мною прощаться начал. Отец мой, приехавший сам за мною, был столько тронут всем явлением сим, что не мог довольно слов найти ко возблагодарению им за все ласки и благопрятствы, оказанные ими ко мне, и одолжение, ему сделанное.

Польза, полученная мною во время пребывания моего на сей мызе, состояла наиболее в том, что я научился порядочно говорить по-немецки, что для покойнаго родителя моего всего было приятнее. Он, любя сей

язык, не мог довольно тем навеселиться и радовался, по крайней мере, тому, что он успел сие сделать; а сверх того, и то служило ему к великому удовольствию, что я и французскому языку сделал уже хорошее начало, также получил охоту к рисованию, а что всего лучше, во всех поступках и поведеньях моих несравненно пред прежним поправился, и из прежняго пререзваго баловня сделался постоянным мальчиком, обещающим собою многое.

Шествие наше или поход простирался самым же тем путем, которым мы шли в Курляндию, а именно чрез Ригу, Дерпт, Нарву и в Петербург. Во время сего путешествия не помню я ничего особливаго и достойнаго, кроме того, что по приходе к пограничному городу Риге, полку нашему велено было иттить чрез город церемониею, и я в первый раз отроду был в строю и в сержантском мундире и с маленьким ружьишком вел свой взвод. Боже мой! какое было для меня тогда удовольствие! Мне казалось, что на меня весь народ тогда смотрит, как и действительно видел я очень многих на меня указывающих и говорящих: «Ах, какой маленький сержант!» – в тогдашния времена и действительно было сие в диковинку и в великую редкость.

Мы дошли до Нарвы благополучно; но тут у покойнаго родителя моего произошла какая-то ссора с нарвским комендантом Штейном, за шествие чрез город церемониею: немец комендант вздумал было строить капризы и требовал чего-то многаго, а родителю моему не хотелось удовлетворить излишняго его честолюбия. Тот запер ворота и не пускал чрез крепость, а сей, почтя за обиду, вошел в письменная команде представления, и так произошла у них вражда; но чем дело сие кончилось и кто из них остался прав, кто виноват – не знаю, а известно мне, что было только много переписки и что мы вскоре после того пришли в Петербург.

В сем столичном городе стоял полк в сей раз недолго, ибо ему назначено было иттить к Выборгу, и так простоял он тут только несколько дней. Но в нашем доме и с семейством произошла в немногия сии дни великая перемена. Родитель мой решился мать мою с меньшою замужем сестрою, которая была с нами, отпустить из сего места в деревню за Москву с тем, чтоб она заехала в деревню к сестре моей, где она еще не бывала, а более для того, что она была беременна и почти на сносах, а меня расположился оставить в Петербурге и отдать в какой-нибудь пансион учиться французскому языку. Он имел у себя близкаго родственника, живущаго тогда в

Петербурге и служившаго в конной гвардии ротмистром. Был то господин Арсеньев, по имени Тарас Иванович.

Он был двоюродной брат отцу моему и в малолетстве своем живал у него и воспитывался. Они любили друг друга очень, и потому вознамерился он поручить ему меня на руки. При вспоможении его тотчас был приискан пансион и учитель, и тотчас с ним обо всем нужном условлено и договорено. Наилучшим пансионом почитался тогда в Петербурге тот, который содержал у себя кадетский учитель старик Ферре, живший подле самага кадетскаго корпуса и в зданиях, принадлежащих к оному; в сей-то пансион меня и отдали.

Легко можно вообразить себе, что как я тогда принужден был разлучиться вдруг и с отцом и матерью и в первый раз остаться одним и находиться от обоих их в удалении, то сей пункт времени был для меня весьма тягостен и что прощание с моими родителями было весьма трогательно и плачевно. Меня отвезли на Василевской остров, а в тот же час и родитель мой с моею матерью, которая с сего времени его уже более и не видала, ибо судьбе было угодно, чтобы прощание их друг с другом было в сей раз последнее. Какое счастье для смертных, что они не знают ничего из будущаго! Какими слезами не преисполнено б было сие разставание, если б было известно, что оно последнее в жизни!

Поелику жизнь моя с сего времени получила новой образ и вид, то окончу я сим и письмо мое, сказав вам, что я навсегда пребуду ваш... и прочее.

ЖИЗНЬ В ПАНСИОНЕ

Письмо 11-е

Любезный приятель!

Итак, по отъезде матери моей в деревню, а родителя с полком – в Финляндию, остался я один в Петербурге, посреди людей, совсем мне незнакомых и власно как в лесу. Не могу никак забыть того дня, в который привезли меня в дом к учителю и оставили одного. Мне казалось, что я находился совсем в ином свете и дышал другим воздухом; все было для меня тут диво, все ново, и все необыкновенно. Я принужден был начать

вести совсем новаго рода жизнь и совсем для меня необыкновенную. Не мог я уже ласкаться, чтоб мог пользоваться тою негою, какую наслаждался в родительском доме. Маленькая постелька и сундучок с платьем составлял весь мой багаж, а дядька мой *Артамон* был один только мой знакомый. Прочия же все были незнакомы, и я долженствовал со всеми ознакамливаться и спознаваться, а особливо с теми, которыя тут также по примеру моему жили. Учеников было тогда у учителя моего человек с двенадцать или с пятнадцать; некоторыя были на его содержании, а другия прихаживали только всякой день учиться, а обедать и ночевать хаживали домой. Из числа первых и знаменитейший из всех был некто господин Нелюбохтин, сын одного полковника гарнизоннаго, да двое господ Голубцовых, которыя были дети одного сенатскаго секретаря. Сии жили вместе со мною и каждому из нас отведена была особливая конторочка в том же покое, где мы учились, досками отгороженная. Мне, как новичку и притом полковничьему сыну, отведена была наилучшенькая вместе с господином Нелюбохтиным, который был мальчик нарочито уже взрослый и притом тихаго и хорошаго характера, и потому я скоро с ним спознакомился и сдружился. Голубцовы были также меня старее, ибо мне было только 10 лет отроду, однако уже не таковы, как Нелюбохтин. Одного из них звали Александром, а другого позабыл. Я познакомился скоро и с ними, ибо были они не из числа дурных детей. Что ж касается до приходящих к нам учиться, то были они разные и между прочими одна нарочитаго уже возраста девушка, дочь какой-то майорши; по прошествии долгаго времени позабыл я, как ее звали, только то помню, что она при мне недолго училась, а и прочия из приходящих часто переменялись и то прибывали, то убывали. Как мне никто из них не был слишком короток, то и не помню я из них почти ни одного, что и не удивительно по моему возрасту.

Учитель мой был человек старый, тихий и весьма добрый; он и жена его, такая же старушка, любили меня отменно от прочих. Он сам нас мало учивал, потому что по обязанности своей должен был всякий день ходить в классы в кадетский корпус, и учить кадетов, и так, доставалось ему самому нас учить двенадцатый час, да в вечер еще один час. Прочее время учил нас старший из его сыновей, которых было у него двое. Одного звали Александром, и он был нарочито уже велик и мог уже по нужде обучать и был малый изрядный, а другой еще маленькой, по имени Фридрих, и малой огненный, резвый и дурной. За резвость и бешенство его мы все не любили.

Что касается до содержания и стола для нас, то был он обыкновенно пансионный, то есть, очень-очень умеренный; наилучший и приятнейший кусок составляли булки, приносимыя к нам по утрам, и которыми нас каждого оделяли. Сии были, по счастью, отменно хороши, и хлебник, пекущий оныя, умел их так хорошо печь, что мне хороший вкус их и поныне еще памятен. Обеды же были очень-очень тощи и в самые скоромные дни, а в постные и того хуже. Но привычка чего не может сделать! – сколько сначала ни были мне такие тощие обеды маловкусны, однако я наконец привык и довольно бывал сыт, а особливо когда поутру либо лишнюю булочку, либо скоромный прекрасный кренделек купишь и съешь, которыя так нам казались вкусными, что подберешь и крошечки. Нередко же случалось, что иногда и ложка другая третья хороших щей с говядиною, варимых для себя слугою моим, помогали обеду, и которыя нередко казались мне вкуснее и сытнее всего обеда.

Как я ученью французскаго языка начало сделал еще в Курляндии, и тут стоило только продолжать оный, то успех учения моего был весьма хороший. Я столь был понятен и прилежен, что менее нежели в полгода обогнал всех моих сотоварищей и сделался первенствующим в школе, и каков был ни мал, но мог всем указывать и за всеми поправлять. Учение наше состояло наиболее в переводах с русскаго на французский язык Езоповых басней и газет русских; и метода сия не дурна, мы чрез самое то спознакомливались от часу больше с французским языком, а переводя газеты, и с политическим и историческим штилем и с званиями государств и городов в свете.

Как обещано было, чтоб выучить меня и географии, то чрез несколько времени принял учитель наш или пригласил какого-то немца, чтоб приходил к нам и учил нас часа два после обеда сей науки. Для меня была она в особливости приятна и любопытна. Я пожирал так сказать все говоренныя учителем слова, и мне не было нужды два раза пересказывать. Европейская карта, которую он одну нам только и трактовал, впечатлелась так твердо в уме моем, что я мог всю ее пересказать по пальцам; но жаль, что учение сие недолго продолжалось: не знаю и не помню, что тому причиною было, что он ходил к нам не очень долго, посему и учение было весьма слабое и короткое. Со всем тем получил я чрез сей случай нарочитое о географии понятие, но что более моей удобопонятности, охоте и

любопытству приписывать должно; а судя по учению, то оно не принесло б мне дальней пользы, так как прочим пользовало оно очень мало.

Что принадлежит до истории, то сей науке в пансионе нашем не было обыкновения учить. Но сие едва было и не лучше, нежели учить таким образом, как учат ныне (1789 г.) в пансионах, где теряется только на то время, а пользы никакой не производится, ибо заставляють детей учить обе сии науки наизусть на французском языке, и они ничего не понимают.

Но недостаток сей наградил я некоторым образом собственным своим любопытством и чрезвычайною охотою к чтанию книг, полученною около сего времени. За охоту к тому обязан я книге «Похождения Телемака»¹. Не могу довольно изобразить, сколь великую произвела она мне пользу! Учитель наш заставлявал меня иногда читать ее у себя в спальне для науки, но я ее мало разумел по-французски, а, по крайней мере, узнал, что она такое, и достав не помню от кого-то русскую, не мог довольно ей начитать-ся. Сладкий пиитический слог пленил мое сердце и мысли и влил в меня вкус к сочинениям сего рода, и вперил любопытство к чтению и узнанию дальнейшего. Я получил чрез нее понятие о мифологии², о древних войнах и обыкновениях, о троянской войне, и мне она так полюбилась, что у меня старинныя брони, латы, шлемы, щиты и прочее мечталось безпрерывно в голове, к чему много помогали и картинки, в книге находившияся. Словом, книга сия служила первым камнем, положенным в фундаменте всей моей будущей учености, и куда жаль, что у нас в России было тогда еще так мало русских книг, что в домах нигде не было не только библиотек, но ни малейших собраний, а у французских учителей того меньше. Литература у нас тогда только что начиналась, следовательно, не можно было мне, будучи ребенком, нигде получить книг для чтения.

Но ни одним сим я, живучи в сем пансионе, воспользовался: я уже упоминал прежде, что я с самага малолетства получил великую склонность к рисованию и маранью красками. Еще в то время, как я учился писать по-русски, то писаришка, учитель мой, вперил в меня первую

¹ «Похождения Телемака, сына Улисса» сочинено Фенелоном, знаменитым французским писателем (1651–1715), – учителем детей короля французского, бывшего потом архиепископом Камбрейским и князем Римской империи, переведено в 1734 г. Напечатано при Императорской Академии наук в Санкт-Петербурге в 1747 г. «Похождения Телемака...» – главное его произведение, в котором Фенелон отдал дань своему увлечению классицизмом, взяв у Гомера не только сюжет, но и целые эпизоды. «Похождения...» полны намеков на современный автору строй.

² Мифологии.

охоту рисованием своим кораблей, церквей, колоколен и прочаго; дядька мой также умел гваздать¹ колокольни и чернецов, и я насмотрелся у него. Охота сия возросла еще того более в Курляндии, когда учитель мой Чаах научил меня держать кисть в руках и безделицы ими мазать красками. Словом, склонность моя к сему искусству была так велика, что в то время, когда ехали мы из Курляндии в Петербург, почитал я наивеличайшим благополучием в свете, когда мог я иметь котел с кранами вокруг, такой, чтоб из каждого крана текла мне из него разная краска и какой бы я отвернул, такая бы и потекла. Но тут жил я, окружен будучи вокруг рисовальными мастерами и имел наивожделеннейший случай насмотреться, как они рисуют и как составляют разныя краски, и получить ближайшее понятие о сем искусстве; меня оно столь прельщало, что я досадовал, для чего меня не учат и писал к родителю моему, чтоб он сделал милость, и велел меня учить. Он и сделал мне сие удовольствие: живущий с нами об стену рисовальной мастер Дангауер нанят и приговорен был меня учить, и так начал я к нему ходить и по несколько часов учиться. Но какая досада была для меня, что учить меня начали не так, как мне хотелось, красками, а карандашом и рисовать все фигуры. В этом прошло все время, и мне не удалось поучиться рисовать красками и любимые свои ландшафты, которыхя мне всего были милее, но по крайней мере имел я тут случай насмотреться и узнать многое. Сам учитель рисовал очень хорошо, и наиболее яйца гусиные красками, я же научился у него изрядно рисовать карандашами.

Между тем как я сим образом живучи тут, учился французскому языку, географии и рисованию, не оставляя я в праздное время, а особливо в праздники ходить к дяде моему господину Арсеньеву. Благоприятством и ласками его и тетки, жены его, был я очень доволен, они принимали меня всегда как близкаго родственника и любили меня очень за тихое и скромное мое поведение. Они имели у себя другаго племянника, жившаго в кадетском корпусе и записаннаго в оном. Он был и мне внучатный брат, звали его Тимофеем Ивановичем *Тутолминым* и он самой тот, которой ныне заместником в городе Архангельском. Судьбе угодно было произвесть его далеко предо мною, но тогда имел я преимущество пред ним и дядя любил меня более нежели его, ибо он был резов и вертоголовой. Мы всегда почти бывали с ним вместе у дяди и всегда ночевывали, ибо ходить должно было чрез весь Петербург, и были друзья между собою.

¹ Марать, мазать, пачкать.

В сих происшествиях кончился 1749 и начался 1750 год. Бываемыя около сего времени и в другие торжественные дни увеселения, а особливо иллюминации из разных фонарей, прельщали меня до бесконечности, для меня были они новым зрелищем, и я не мог их довольно насмотреться. Ко всему любопытному был я с малолетства склонен. Таким же образом утешали меня чрезвычайно кадетские строи и их ученья, бывшая летом: всегда, когда они ни бывали хаживали мы смотреть, ибо парадное место было подле самых нас.

Пред приближением Масленицы восхотелось родителю моему меня видеть. Он прислал за мною повозку и лошадей и просил учителя, что он недели на две меня к нему отпустил. Учитель не только на то охотно согласился, но поступил еще далее и отпустил со мною и старшаго своего сына. – Итак, ездили мы к моему родителю в полк и гостили у него недели две. Он стоял тогда с полком между Выборгом и Петербургом, на винтерквартирах¹ и имел квартиру свою в селе, называемом Красным; хоромцы были самая маленькия, но в этакой стране, какова Финляндия, и требовать было лучше не можно. Родитель мой был нам очень рад и о успехе учения моего изъявил свое удовольствие. Все время нашего пребывания у него препроводили мы весело и приятно: он брал нас с собою, когда случалось ездить ему куда в гости. Все полковые офицеры ласкались ко мне наперерыв и все хвалили за мою прилежность и охоту к учению; в сие-то время выпросил я у родителя моего прежде упомянутое дозволение учиться рисовать: он охотно на то согласился и велел купить для меня рисовальную книгу и все нужное.

Здоровье родителя моего начало около сего времени гораздо слабеть; он уже давно жаловался ногами, но в сие время чувствовал и во всем себе слабость. Как теперь помню, однажды идучи вместе с нами к церкви, которая была неподалеку от хором, обратившись он к идущим позадь его офицерам, сказал: «Нет, государи мои, недолго уже мне жить, чувствую одышку и отменную слабость во всем моем теле, которая меня очень устрашает». Все утешали его, говоря, что леты его еще не так велики, чтоб скорой смерти опасаться было можно; однако он оставался при своем мнении.

Другое, что мне из сего периода времени памятно, было то, что родитель мой, издевками своими вогнал меня однажды в превеликия слезы.

¹ Зимние квартиры.

Идучи однажды в баню, угодно ему было взять меня с собою. Не успели мы раздеться, как вздумалось ему надо мною пошутить: «Ну! брат Андрюша, – сказал он мне, – ты у меня теперь уже жених, и пора уже тебя женить».

Меня сие так поразило, что слезы у меня как град покатались, ибо природная застенчивость моя против женского пола была так велика, что я не мог разсудить, что это была одна шутка; и можно ли быть правде, когда я тогда не более как по одиннадцатому году был, женют-ли кого в такая лета!

Погостивши у родителя моего недели две-три, и на первой недели Великого поста исповедовавшись и причастившись, возвратился я опять в Петербург и стал продолжать свои науки и жить по-прежнему у моего учителя. С сего времени, сколько я помню, упражнялся я в переводе какой-то французской книжки. Мне и поныне жаль, что у меня пропал сей перевод. Без всякаго сомнения, был он весьма еще не совершен и недостаточен. Некто господин Барыков нашего полку выпросил у меня его прочесть и увез.

Сим образом продолжал я тут жить и учиться во весь остаток зимы, во всю весну и лето; а между тем родитель мой перешел с полком своим в самый город Выборг, ибо полку его велено стоять тут во все лето лагерем. Желал бы он охотно, чтоб я прожил у учителя моего еще год, но усиливающаяся его слабость и болезненное состояние принудили его прервать, против хотения своего, мое учение и взять меня к себе из Петербурга. Он прислал за мною нарочных лошадей, и я принужден был оставить Петербург и все свои науки, и к нему в Выборг ехать.

Сим окончу я сие письмо, предоставляя в последующем рассказать дальнейшее, что со мною случилось; а между тем, при уверении о моей непременно дружбе, остаюсь и прочее.

В ВЫБОРГЕ

Письмо 12-е

Любезный приятель!

Таким образом, не продолжалось учение мое в Петербурге более одного года, и заплачено за меня с небольшим только 100 рублей. Но сии 100

рублей принесли мне великую пользу. Леты мои, сколь ни были еще нежны и малы, однако я тут многому набрался не столько учася, сколько наглядкою. Что ж принадлежит до французского языка, то оному, судя по летам моим, я довольно выучился и не только мог говорить, но и переводить по нужде. Напротив того, немецкий язык я совсем почти позабыл, ибо как во всей нашей школе ни один человек не разумел и не говорил по-немецки, то, не имея случая целый год ни с кем ни единого слова промолвить, и разучился я оному так, что не умел и пикнуть. Вот что делает отвычка и неупотребление! Однако читать и писать и разуметь я все-таки еще мог.

По приезде моем в Выборг, нашел я родителя моего стоящего на маленькой квартирке, по ту сторону города и подле самага поля по конец всего форштата, где неподалеку стоял и полк его лагерем. Он лежал уже в постели и врачуем был полковым нашим лекарем. Большой мой зять находился тогда в отпуску, а меньшой был в полку, однако стоял на другой квартире.

Родитель мой не преминул меня проэкзаменовать во всех моих знаниях. Он доволен был, что я по-французски сколько-нибудь научился, любовался моими рисунками, а паче всего мило ему было, что я имел уже некоторое понятие о географии. Он сам любил и знал сию науку, и не мог довольному знанию моему нарадоваться, а не менее и я рад был, что нашел у него целый атлас с ландкартами¹ и мог любопытство свое по желанию удовлетворить. Одно только родителю моему было не весьма приятно, что я за французским языком совсем немецкий позабыл. Чтоб пособить сему сколько-нибудь, то заставил он прежняго учителя моего Миллера, который у него в доме жил, по несколько часов в день возобновлять мне язык сей. Я принужден был ходить к нему в сарай, где он имел свое жилище и там препровождать с ним по несколько часов в чтанье и говоренье; однако хоть продолжалось сие более месяца, но пользы от него я получил мало, ибо он совсем неспособен был к учению.

Сию скуку заменял я в праздное время другими и приятнейшими для меня упражнениями. Я узнал, что у родителя моего был целый ящик с книгами; я добрался до онаго как до некоего сокровища, но, к несчастью, не нашел я в них для себя годных, кроме двух, а именно: Курасова сокра-

¹ Географические карты.

щения истории и истории принца Евгения¹. Не могу, однако, довольно изобразить, сколько сии немногия книги принесли мне пользы и удовольствия. Первую я несколько раз прочитал и получил чрез нее первейшее понятие об истории, а вторую не мог довольно начитать: она мне очень понравилась и я получил чрез нее понятие о нынешних войнах, об осадах крепостей и о многом, до новой истории относящемся. Пуще всего было мне приятно и полезно, что в книге сей находились планы баталиям и крепостям. Я скоро научился их разбирать и получил такую охоту к военному делу, что у меня одни только крепости, батареи, траншеи, ретраншементы и прочия укрепления на уме были. Нередко просиживал я по несколько часов, читая сию для меня милую книгу и рассматривая чертежи и рисунки. И чтение сие подало однажды повод к особливому происшествию: как однажды я ее сим образом читал, то вздумалось родителю моему, лежащему в комнаточке, отгороженной от того покоя, где я читал, спросить меня что я делаю: «Читаю, батюшка, книгу», – сказал я. – «А какую, мой друг?» – «Принца Евгения». – «О мой друг! – сказал родитель мой, сие услышав, – книгу сию читать тебе еще рано». – «Но почему же? – спросил я, – я ее довольно понимаю и разумею и мне она очень понравилась». – «Ну, хорошо, мой друг, – сказал родитель мой, – ежели так, то пожалуй себе читай»; а услышав, что я ее уже в другой раз читаю, а Кураса три раза прочел, похвалил меня за охоту мою к чтению и за мое любопытство особое.

Другое и весьма приятное для меня упражнение было в хождении смотреть, как артиллеристы учились стрелять из пушек в цель. Учебная батарея их была подле самой нашей квартиры, и как я около сего времени давно уже перестал бояться стрельбы, но паче получил к ней особливую охоту и склонность, то не пропуская я ни единого случая, чтоб не быть на

¹ Курас Гильмер – немецкий историк. Его книга по всеобщей истории, представляющая собою рассказы по истории «от сотворения мира», была переведена на русский язык несколько раз. Болотов читал: «Введение в генеральную историю», «изданное на немецком языке от Гильмера Кураса, на российский язык переведено канцелярии Академии Наук секретарем Сергеем Волчковым 1747 года». Книга эта была очень популярной в середине XVIII в.

«История принца Евгения» (неизвестного нам автора) посвящена описанию жизни и походов известного австрийского полководца принца Евгения Савойского (1663–1736). Поссорившись с Людовиком XIV, он покинул Францию и поступил на австрийскую службу. Участвовал в войнах с Францией, Турцией и Польшей. Он был талантливым полководцем, образованным человеком, имел богатейшую библиотеку. Его биография чрезвычайно интересна и богата. Все это объясняет увлечение Болотова «Историей принца Евгения», тем более что он был идеалом в военных кругах того времени.

батареи, когда стреляли, и нередко имел удовольствие сам зажигать нацеленные пушки. Но никогда я сам собою так доволен не был, как при одном случае. Артиллеристам сим вздумалось однажды, не знаю для чего, кинуть из мортиры одну начиненную бомбу, с тем чтоб ее разорвало на воздухе. Как офицер артиллерийский был мне уже знаком, то выпросил я позволение, что мне ее бросить, то есть зажечь мортиру. Сперва не хотели было мне на то позволить, боясь, чтоб меня не оглушило; однако я убедил их моею просьбою и удовольствие мое было неописанное, когда увидел я брошенную мною бомбу, кверху разрывающуюся; день был тогда прекрасный, бомба разселась в самой высоте и произвела наиприятнейшее зрелище своим сперва маленьким, и на облачко похожим дымом, а потом своим громом.

Другое, но еще вящее удовольствие имел я при следующем случае. Известное то дело, что полки во всякое лето не только учатся, но наконец все солдаты стреляют и в цель – пулями в нарисованных на щитах людей; каждый солдат должен выстрелить три раза, и всякий раз записывается, кто и во что попал. Сей обряд должен был производиться около сего времени и наш полк. Я, как сержант, находившийся в действительной службе, должен был находиться также в строю. Правда, никто бы не взыскал, если б я и не был, но мне самому того хотелось, ружье было у меня маленькое и по моей силе, и мне восхотелось также с прочими стрелять. Сие было в первый раз отроду, что я стрелял из ружья моего пулею, и какое неописанное удовольствие мое было, когда из всех трех пуль не потерял я ни одной, но всеми попал в щит и одною прямо в сердце, что почиталось за превеликую редкость. Похвалы загрели мне отвсюду, и я не вспомнил сам себя от радости; хотя дело само по себе не составляло никакой важности, но для ребенка все было мило и приятно.

Далее, нередко хаживал я в самую крепость и город Выборг; многие из офицеров наших имели там свои квартиры, и как они все меня любили, то хаживал я к ним иногда в гости. При сем случае имел я довольное время насмотреться сего города и крепости, построенными почти на одном камне. Он разделяется на две части; одну и большую часть составляет старинная крепость, наполненная довольно изрядным немецким каменным строением и имеющая внутри себя несколько кирок и церквей. Одна наизнаменительнейшая из них превращена была в нашу церковь и была соборная. Другую часть составляла новая пристройка, которой укрепления

и тогда не совсем еще были отделаны, ибо как кряж, на котором вся сия и нарочитаго пространства часть города была построена, составлял единый и цельный дикий камень, и как рвов около укреплений копать было никак не можно, то принуждено было дикий камень сверлить и порохом рвать. На сию работу, производимую с великим трудом, не однажды я сматривал и видел, как рвало камень и бросало на воздух; чтоб не могли они кого убить, то назначалось к тому особое время, и по данному сигналу, все удалялись прочь и под защиты, а тогда вдруг все сверлы и запылялись. Боже мой! какое начиналось тогда тресканье и лопатня и какое летание на воздух привеликих глыб каменных! Но, по счастью, летали они недалеко в стороны и городским жителям не было от них ни малейшей опасности.

Сия новая и недостроенная еще часть города отделена была от старого города нарочитой ширины морским рукавом или узким заливом, простирающимся внутрь земли на знатное расстояние. Для коммуникации между обеими частями сделан был чрез рукав сей предлинный мост, а против середины онаго, на случившемся природном посреди рукава каменном острове, воздвигнута была превысочайшая башня, окруженная внизу весьма крепкими укреплениями и снабженная множеством пушек. Некоторые из них и самая величайшая были на самой башне и могли очищать все окрестности города: все сие укрепление называется Шлоссом или замком.

В сих-то и подобных сему упражнениях препровождал я свое тогдашнее время, и оно было мне приятно и весело. Но, увы! приятное сие время недолго продолжалось. Судьбе угодно было положить предел дням моего родителя и произвести чрез то во всех обстоятельствах моих великую и весьма важную перемену.

Лета родителя моего были хотя весьма еще не многочисленны, но болезнь, чувствуемая им за несколько уже лет до того в ногах, а потом и во всем теле, свела его во гроб и лишила его той жизни, которая для меня весьма еще была нужна и надобна, ибо я был сущий еще ребенок. Недели за две до кончины его, болезнь так усилилась, что все старания полкового нашего искуснаго лекаря не могли подать ему нисколько облегчения, но он, напротив того, со всяким днем приходил в вящую слабость. Тогда не только все окружающие его, но и сам родитель мой предвидел, что конец его жизни приближается. Он требовал сам, чтоб приготовили его

к кончине по долгу христианскому; и так исповедали его и приобщили Святых Таин, а потом особоровали елеем.

При производстве сих церковных обрядов, сердце мое поражено было наивеличайшею тоскою. Вместо прежних удовольствий текли из глаз моих слезы; меня хотя старались все утешать и льстили надеждою, что авось-либо родителю моему полегчает и он от болезни своей свободится, но изображающаяся на лицах у всех печаль и господствующее во всем доме уныние и печальное молчание не то мне предвозвещало. Я ходил по-всю голову и утирал только текущая из глаз слезы.

Поелику родитель мой был до самого конца своей жизни в совершенной памяти и разсудке, то и не упустил он сделать все, что должно. Он написал духовную и поручил попечение обо мне и о моей матери наилучшему своему другу, Ивану Михайловичу *Дурнову*, одному соседственному по деревням нашим дворянину; но сия духовная осталась потом без всякаго действия. Потом распрощался он со всеми нами и домашними. Все домашния обмывали руки его своими слезами и наполняли воздух своими рыданиями. Что касается до прощания со мною, то было наитрогательнейшее и для меня наипечальнейшее.

Он подозвал меня к себе и, собрав последния свои силы, обняв меня, залился слезами и прерывающим голосом, сколько помню, говорил следующие слова:

– Смерть моя, мой друг, приближается, – вижу я сам уже, что мне умереть... Небу не угодно было, чтоб дни мои до того времени продлились, чтоб мог я иметь удовольствие видеть тебя в совершенном возрасте... Я оставляю тебя ребенком и сиротою»... слезы покатались у него при сем слове и тяжкий вздох излетел на небо. – Но что делать, – продолжал он, держав меня за руку, стоящаго почти вне себя, – угодно так Всемогущему Богу. Его святая воля и буди! Он будет тебе вместо меня отцом. Я поручаю тебя Его покровительству и не сомневаюсь, что Он милостию Своею тебя не оставит... Но слушай, мой друг, и не позабывай никогда последняго приказания отца твоего... Помни, что он приказывал тебе сие при последнем своем издыхании... Старайся во всю жизнь твою и всего паче бояться, любить и почитать сего Всемогущаго Бога и Творца нашего и во всем на него полагаться. Никогда ты в том не раскаешься, Он во всех нуждах будет твоим покровителем и помощником. Будь к Нему прибежен с самых

теперешних твоих лет, и всегда возлагай надежду и упование свое на Него. Ты счастлив будешь, ежели сие исполнишь...

Слабость воспрепятствовала ему далее говорить; однако он, отдохнув несколько и собравшись с духом, продолжал тако:

– Не грусти обо мне и не плачь, ты остаешься теперь с матерью; люби ее и почитай, покуда жизнь ея продлится, она тебя родила и воспитала и проливала о тебе много слез, ты должен утешать ее при старости своим поведением; живи, мой друг, порядочно и постоянно. Будешь хорошо жить, и тебе самому хорошо будет, а худо себя поведешь, будет и тебе худо. Помни это твердо и никогда не позабывай. Люби и почитай обеих своих сестер и их мужей, они о тебе оба будут теперь попечителями и тебя не оставят; а паче всего еще напоминаю тебе, люби и почитай Бога, Его милость и покровительство тебе всего нужнее, молись к Нему всегда и проси, чтоб Он к тебе был милостив и не лишил тебя любви Своей. Я поручаю тебя Ему, и Его святое благословение и вкупе мое грешное буди над тобою!

Сказав сие, не мог он более от удручавшей болезни и горести говорить, но, поцеловав меня и смочив щеки мои своими слезами, приказал мне вытти вон и затворить в комнатке двери; я обливался тогда слезами, но принужден был повиноваться его повелению.

Сие было в последний раз, что я его видел, ибо с сего времени не велел он пускать никого к себе, кроме отца своего духовнаго, да и начал почти с самага сего часа страдать в смерти. В сем страдании препроводил он не более одних суток, и наконец, 26 сентября был тот несчастный для нас день, в которой затворил он навеки свои очи и переселился в вечность.

Самую кончину его мне не удалось видеть, воспоследовала она поутру очень рано и покуда я еще спал. Не успел я проснуться, как необыкновенная тишина в доме, ладонный запах и слезы у всех на глазах меня поразили. Сердце у меня затрепетало, я спешил спрашивать у всех: жив-ли батюшка? и не скончался-ли? Но никто не хотел мне ответствовать, наконец принуждены были мне сказать, что его уже нет на свете. Я завыл тогда и зарыдал, облившись слезами, но множество офицеров и зять мой, вошедши в самое то время, не дали мне более надрывать; они велели меня силою отвезть на квартиру зятя моего и там оставить, приказав не выпускать никуда со двора. Тут принужден я был пробить до самага того времени, как изготовилось все нужное к печальной церемонии его погребения.

Попечение о сем и все нужные к тому распоряжения воспринял на себя полку нашего подполковник, господин Шредер. Человек сей был весьма хороший и благоразумный. Он любил покойного родителя моего и потому восхотел ему отдать последний долг сей. Но сего еще не довольно, но он восхотел и далее воспринять на себя труд и постараться о том, чтоб во время сутормы и перваго замешательства в доме, не могло ничего распродать из пожитков отца моего, оставшихся после онаго. Тотчас было все собрано и на первый случай опечатано, а потом при присутствии зятя моего все порядочно переписано. Но все иждивение отца моего не составляло дальней важности, ибо как жил он одним только почти жалованьем, и тогдашния времена не такая были, чтоб можно было полковникам от полку наживаться, то неоткуда взяться было сокровищам. И денег наличных отыскалось очень мало, да и те состояли в небольшом только количестве червонцев, которыя покойный родитель мой берег для всякаго случая, и число оных было так невелико, что едва стало их на погребение.

Поелику кончина отца моего воспоследовала при полку и в городе, почти иностранном, где два генерала имели тогда свое пребывание, то все обстоятельства требовать, чтоб сделали погребение ему порядочное и с достодолжною по чину его церемониею. Таковое погребение по многокоштности¹ своей хотя и несоразмерно было с нашим достатком и оставшим капиталом, но нечего было делать. Зять мой, г. Травин, тогдашний мой опекун и попечитель, принужден был на все согласиться и давать деньги на закупку всего нужнаго и на прочия издержки при сем печальном обряде.

Погребение и в самом деле произведено было с пышною церемониею; весь полк был в параде, а знатный детамент последовал за гробницею отца моего от самой квартиры до соборной церкви, где назначено было его положить. Гроб обит был сукном, украшен золотым галуном и позлащенными скобами. Он везен был цугом, покрытым черным сукном; несколько сот аршин крепку и других черных материй употреблено было на обвязку офицерских шляп, рук и шпаг, покрытие барабанов и на тысячу других излишностей, затеваемых теми, кому чужих денег не жаль, и которыя готовы сорить ими на что ни вздумается. Я одет был в глубочайший траур и должен был иттить за гробницею. По обеим сторонам меня шли помя-

¹ Кошт – расходы.

нутыя генералы: один из них был генерал-поручик Салтыков, по имени Иван Алексеевич, а другой генерал-майор Михаил Семенович Хрущов; оба они восхотели сами честь сделать родителю моему и препроводить тело его до церкви, несмотря хотя разстояние было нарочито велико и шествие простиралось более версты. Полк поставлен был в два ряда по улице подле собора, и по приближении тела отдана была оному всем полком последняя честь, с барабанным глухим тоном и печальною музыкою. В церковь внесли оное на себе некоторые офицеры полку нашего, отменно любившие отца моего и обливающиеся слезами; слезы сии не одни, а весьма многие проливали. Покойный родитель мой любим был так всем полком, что не осталось солдата, который бы не плакал или, по крайней мере, не тужил и не сожалел об оном. По внесении в церковь поставили меня с правой стороны подле гроба, где принужден я был стоять во все продолжение обедни и отпевания. Легко можно всякому себе вообразить, каковы были для меня сии минуты и в каком состоянии я тогда находился! Я походил более на истукана, нежели на печального ребенка. Взоры мои устремлены были непрерывно на лежащее тело моего родителя, которое я тогда впервые еще увидел безодушевленное; я воображал себе, что вижу оное в последний раз в моей жизни и что скоро оное погребут и заруют в землю; и мысль сия поражала сердце мое наивеличайшею грустию и тоскою и выгоняла новыя слезы из глаз моих, от которых во всю обедню лицо мое не обсыхало.

Как пришло время уже опускать гробницу в землю, то велели мне в последний раз облобызать тело произведшаго меня на свет и проститься с оным. Я учинил сие и смочил руки родителя моего слезами, и имею по крайней мере ныне то удовольствие, что слезы мои погребены вместе с ним в землю и составляли единую малую мзду за все труды и старания, употребленные им на мое воспитание. Меня оттащили от гроба силою и спрятали в тесноту народа, дабы я не видел дальнейшего происхождения. Чрез несколько минут после того услышал только я звук пальбы пушечной и треск беглаго ружейнаго огня, производимаго полком нашим, что доказало мне, что тело опущено уже было в гробницу и предано земле. Могила выкопана была внутри самой сей соборной церкви, подле самаго второго средняго столба, в левой стороне находящагося. Сие обстоятельство замечаю я для того, чтоб в случае, если судьбе будет угодно завести в сей город кого-нибудь из детей или потомков моих, могли бы они безоши-

бочно отыскать то место, где покоятся кости и прах сего их предка, достойного того, чтоб оросили они оное своими слезами.

По окончании сей печальной церемонии и по распущении полка в свой лагерь, приглашены были все штаб- и обер-офицеры, как нашего, так и других полков, присутствующие при погребении, на погребальный обед. Для сего отыскан был наипросторнейший дом в самом городе и все трактованы были столом, а потом по обыкновению одарены были золотыми кольцами.

Сим кончилась вся сия печальная церемония, которая хотя и стоила нам весьма многого, но, по крайней мере, имею я то удовольствие, что никто еще из предков и сородичев моих не удостоился погребен быть с толикою честью и славою, как покойный родитель мой, который по справедливости и достоин был оказания ему таковой почести.


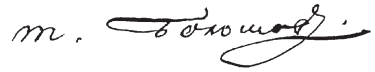
Можно без любославия, но безпристрастно сказать, что из всех тогдашняго времени полковников, а особливо стариков, был он едва ли не самолучший. По крайней мере все почитали его наипорядочнейшим, степеннейшим и важнейшим. Везде, где ни случалось ему с полком своим быть, приобретал он почтение и любовь. Никогда не случалось ему от главных командиров получать за что-нибудь выговоры и репреманты. Он всегда исправно наблюдал свою должность и знал свое дело. Во все продолжение военной своей службы, в которой он родился, воспитан, препроводил всю свою жизнь и умер, имел он время всему относящемуся до военной службы научиться и узнать оную из основания, почему и не удивительно, что он был во всем исправен. Полк его был в тогдашнее время из наилучших и исправнейших. Правда, хотя и не было в нем такой чистоты и щегольства, какия заводимы были уже в некоторых других полках молодыми полковниками, но зато солдаты были родителем моим довольны, и все его не иначе как своим отцом почитали. Любовь их сохранил он многие годы и по своей кончине. Не однажды и многие годы спустя, имел я удовольствие слышать от всех старых и при нем служивших солдат наилестнейшие об нем отзывы. Всякий не иначе говорил об нем, как с искренним сожалением, и отзывался, что это был не полковник, а отец наш.

Службу свою продолжал он с самага малолетства, сперва в пехотных полках, потом, как начали составлять Измайловский гвардейский полк, то взят был в оный, в котором дослужился до капитанов и был в походах с Минихом, против турок и на приступе очаковском; а как выпустили его

в сей полк в полковники, то ходил он во время шведской войны с Кейтом на галерах.

Что касается до наружного его образа и личных его свойств и характера, то был он роста высокого и собою плотен, лицом был смугловат и кругл, волосы имел черные, глаза большия темно-карие и наполненные некоею благоприятностию, привлекающею к нему с первого взгляда любовь ото всех. Вид имел он осанистый, был собою взрачен и мог одним своим видом привлекать к себе почтение; голос имел важный и степенный, но в произношении слов немного картав, однако так, что почти было неприметно.

Что принадлежит до душевных его свойств, то разум имел он острый и довольно просвещенный. Говорил весьма хорошо по-немецки, которому языку обучен он был еще в малолетстве, знал арифметику и географию и мог переводить с немецкаго языка довольно изрядно. Мне достались некоторые остатки трудов его, состоящих в переводе Лифляндской экономии и сего же княжества истории, но были то единые отрывки. По-русски писал он свободно, скоро и мелко; в письме его была та особливость, что он литеру Д псывал превратным и следующим об-

 разом. Имя же свое подписывал  он наиболее сим образом:

Что касается до расположения его души, то было оно наичестнейшее в свете. Он не любил никакой неправды и не терпел обманов. Обхождение его было откровенно и дружественно; всякое лукавство и притворство было от него удалено; он не разумел нынешней зловердной политики, не умел притворно льстить, хвастаться, гнущся и согибаться наподобие змеи, и потом жалить и язвить, или, по примеру кошек, спереди ласкаться и виться около души, а позади вредить и царапать, но он обходился со всяким просто, чистосердечно и говорил прямо то, что у него на сердце. Он не любил дальних церемониалов и ненавидел всякое коварство, шильничество и мытарство, а буде случалось, что кто предпринимал что-нибудь против его чести, достоинства и справедливости, то был неуступчив, но любил защищать свою честь и правду. Сие заводило его иногда в некоторые небольшие ссоры с таковыми бездельниками и негодными людьми, несмотря хотя бы были они и выше его чином. Однако неприятелей и врагов не имел он у себя никаких важных, но умел поступками своими их злобу преодолевать и заставлял иметь к себе почтение. По причине любле-

ния справедливости и всегдашняго хорошаго поведения, кроткаго, тихаго и миролюбиваго своего нрава, был он всеми добрыми и честными людьми любим, а бездельники и негодные люди редко таких людей любят.

Права был он не угрюмаго и не слишком веселаго. Он любил с людьми обходиться, но компании его были всегда небольшие и степенныя; частых банкетов и пиршеств он не заводил, может быть, не позволял ему того и достаток, но за столом его всегда бывало по несколько человек посторонних ибо угостить он всякаго любил и был гостеприимчив. В особенности же любил он обходиться с немцами, а особливо разумнейшими из оных, ибо любил с ними говорить и разсуждать по-немецки, да можно сказать, что и они его за то отменно любили.

К закону имел он должное почтение и, не будучи ханжею и суевером, был довольно набожен и прибежен к церкви. Он имел о украшении оной особое попечение и, будучи охотником до музыки, завел в полку прекрасный хор певчих.

Что принадлежит до склонностей его, то имел он небольшую склонность к псовой охоте, однако умеренную и весьма благоразумную. Он не держивал у себя никогда более двух или трех борзых собак и езживал в поле более для компании с другими и то весьма редко. Любимая его собака в мою бытность называлась Дегерби, прозванная по одному шведскому местечку, где он ее достал, будучи в походе на галерах. К лошадям имел он также, но небольшую охоту. Любимая его лошадь, на которой он всегда ездил, называлась Шелма, и была небольшая, лифляндской породы, и карая шерстью. До игры карточной и азартной не был он охотник, но в ломбер по самой маленькой цене игрывал охотно. К музыке он имел особливую охоту, и игрывал сам довольно хорошо на флейтузе. Старанием его была у нас полковая музыка очень изрядная, и он умножил ее другим хором, составив оный из маленьких солдатских детей, которыхя вкупе были и певчими, а прочими певчими были у нас писаря, которых всех вывел он в люди, пережаловав чинами. Впрочем, любя играть на флейтузе, произвел он целый хор из флейтузов с фаготами. Сею музыкаю он увеселял архиереев и, по тихости оной, называл ее монашескою.

К щегольству и пышности не имел он ни малейшей склонности и на убиране волос не терял многога времени, как тогда и не было еще сие в дальней моде. Наилучшая уборка волос состояла в завивании на верху головы маленькой плетенки и в плетении ея в косы, а пукольки тогда были

развевающиеся и завиваемые на конце тупенькими щипцами. Платье любил он хотя чистое и опрятное, но не пышное и не богатое, а хотел, чтоб было оно хорошо, но ему спокойно и тепло. Кроме обыкновенных мундиров, не было у него никакого иного, но тогда и не было обыкновения носить штатское. Самым экипажем он никогда не щеголял, и как карет тогда еще не было в дальнем употреблении, а особливо в полках, то довольствовался он небольшою четверместною колясочкою, да и то сделанною в полку своими мастерскими, ибо он, любя мастерства и художества, завел их в полку своем всякаго рода.

Впрочем, был он весьма воздержнаго жития. Компании бывали у него хотя нередко, но никогда не помню я, чтоб видел его подгулявшим, несмотря в какой бы ему компании быть ни случилось; а таковую ж воздержность наблюдал он и в прочем; всяких дебошей был он чужд и мне неизвестно ни одного порока, которому бы он был в особенности подвержен. Не было в нем ни запальчивости, ни дальней склонности к гневу, лютости и жестокости; люди и домашния его не могли приносить в том на него жалобу и не стонали от жестокости, как у прочих. Ему нетрудно было всякому угодить, а потому они его и любили. Наилучший и вернейший у него слуга был Андрей, по прозвищу Клест, отец нынешняго ткача моего Федора, который вкупе был у него и ключником, и казначеем и славным поваром; другой повар назывался Дрозд, а камердинером был у него и любимый слуга Косой, бывший у меня после того садовником, помогавший мне разводить сады мои. С сим служителем своим, которому, кроме вина, мог он все вверивать, нередко ссоривался он за то, что доставал хищническим образом из погребца его глоток себе вина. Он узнавал тотчас по глазам, как скоро хоть несколько он выпил, и любимая его проба и обличение состояла в том, что он заставлял пройтись его в комнате по одной дощечке, так как покойной король прусский делывал то после с одним своим слугою.

С покойною родительницею моею жил он во всю свою жизнь согласно и мирно, несмотря хотя была она не совсем согласнаго с ним нрава; она нередко надоедала и наскучивала ему своими доуками, жалобами и излишним говореньем, но он наиболее отходил от нея и отделялся молчанием. Со всем тем любили они друг друга чистосердечно и жили, как надлежит верным и честным супругам.

Что принадлежит до нас, детей его, то любил он нас потолику, сколько отцу детей своих любить должно, но без дальняго чадолюбия и неги. Он

сохранил от всех детей своих к себе любовь, однако и страх и почтение. Самые зятя мои его побаивались и не смели ничего предпринять худого и безразсуднаго; тотчас бывала за то им гонка. Покуда сестры мои были еще в девках, то не имел он о пристроении их к месту дальняго попечения, и таких забот, какими иные мучатся, но возлагал упование свое на Бога, говоря, что Он ему их дал, Он постарается уже и пристроить их к месту и всякую наделить ея долею. Упование сие и не было тщетно, он и видел надежду свою совершившеюся. Что касается до меня, то по малолетству моему не можно еще ему было ничего со мною учинить, в тогдашния времена не таково легко или паче вовсе невозможно было производить с малолетними детьми таких игрушек и переворотов, какия производятся ныне с оными, к стыду наших времен и к удивлению потомков; однако если б жизнь его продлилась долее, то не оставил бы он, конечно, постараться как об обучении моем множайшим наукам, так и о скорейшем доставлении офицерскаго чина. Полковником он уже давно, и ему чрез год досталось бы по линии в генерал-майоры и тогда бы мог он взять меня к себе в адъютанты; но небу было сие не угодно. Вот слабья и немногия черты характера моего покойнаго родителя. Отпустите лобезный приятель, что я, изображая, касался иногда самых мелочей и безделок. Я делал сие не без причины. Письма сии назначиваются мною не для одних вас, но вкупе и для детей моих и потомков; мне хотелось сохранить и для них память как о себе, так и о моих предках; а как для нас, потомков, мила и любопытна и самая малейшая черта из жизни наших предков, то и разсудил я заметить все, что я мог только помнить.

Сим окончу я теперешнее мое длинное письмо, а в последующих разскажу вам, как я, оставшись один и сиротою, начал далее жить и горе мыкать; а между тем, уверив вас о непременнои моего дружества, остаюсь ваш и прочая.

Конец
первой части



ЧАСТЬ II

ИСТОРИЯ МОЕГО МАЛОЛЕТСТВА

1750–1755

ОТЪЕЗД ИЗ ПОЛКА

Письмо 13-е

Любезный приятель!

Смерть отца произвела во всех обстоятельствах, относящихся до нашего дома, а особливо до меня, великую перемену. Я остался от него малолетен, на чужой стороне, один и без всякаго почти покровительства и защиты. Мать моя находилась в сие время в деревне за Москвою и в великой от нас отдаленности. Большой мой зять был в отпуску и был также в псковских своих деревнях, а при полку находился только меньшей мой зять, г. Травин; но сей не весьма обстоятелен, а более ветрен и ненадежен. Однако для меня было уже великим счастием, что он случился на ту пору при полку. Без него и того бы еще хуже было, и я, будучи ребенком, не знал бы что делать и что начать с собою и с оставшим после отца моего стяжанием. А тот, каков он ни был, но все уже мог сколько-нибудь обо мне и о прочем приложить труды и постараться.

Наиглавнейший был тогда вопрос, что со мною делать? Обстоятельство, что я не только записан был в службу, но и действительно в оной счислялся сержантом, наводило не только на зятя моего, но и на всех знакомцев отца моего, которыя наиболее к нашему дому были привязаны, великое сумнение и заботу. Остаться при полку и нести действительную службу, по молодости и по летам моим, было мне никак не можно, а из полку в дом к матери моей, и на долгое время, отпустить никто не мог, и не отваживался. Отпуски в дома были как-то около сего времени очень тути,

так что сами генералы не могли отваживаться отпускать на несколько месяцев. К тому ж хотя бы я и отпущен был, но как можно было мне одному и в такой дальний путь, а притом с таким тяжелым и большим обозом, отправиться, каков был наш? Но как время не терпело и чем-нибудь вопрос сей решить было надобно, то все наши друзья и знакомыя за необходимое считали, чтоб зятю моему постараться как-нибудь о том, чтоб отпустили и его, и чтоб он взял на себя труд и отвез меня со всеми оставшими пожитками к моей матери. Но тут было опять некоторое сомнение: просить сего увольнения надлежало от тогдашняго нашего дивизионнаго командира генерала-поручика Салтыкова. Но всем известно было, что он имел с покойным родителем моим, незадолго до его кончины, некоторую суспичию¹. Не могу знать, о чем и за что она была, но только мне памятно, что все обвиняли более сего генерала, нежели моего родителя в сем деле. Но как бы то ни было, но все опасались, чтоб сей генерал, котораго характер не принадлежал к числу изящных, не стал мстить и не сделал в деле нашем остановки.

Но, по счастью, мы в сем пункте обманулись. С смертью отца моего пресеклась и вся злоба на него сего гордаго генерала. Как пришли мы к нему с моим зятем и я, по совету его, поверг себя к его ногам, то принял он нас довольно благоприятно. Может быть, польстило сие его гордости и высокомерию, а статья может, что и сиротство мое и малолетство его тронуло. Но как бы то ни было, но он, выслушав нашу просьбу, сказал нам, что он весьма охотно б исполнил все нами требуемое, но строгия запрещения от главной команды ему то возбраняют; словом, что он ни меня, ни зятя надолго отпустить никак не может, а отпустит нас на 29 дней в Петербург, а там просили б мы о должайшем отпуске главную команду.

Обстоятельства наши были таковы, что мы и сему уже были рады, ибо не сомневались почти, что в Петербурге некоторыя приятели отца моего помогут нам сделать то, чтоб нас отпустили на должайшее время. В сей надежде отблагодарили мы господина Салтыкова и, получив от него пашпорты, начали спешить собираться в путь свой и готовить все нужное к отъезду.

В сих сборах и приуготовлениях прошло несколько времени. Пожитков отца моего было хотя не слишком много, но набралось всякой рухляди

¹ Латинское — столкновение.

столько, что потребно было несколько повозок и более лошадей, нежели сколько у нас тогда было. Необстоятельность и ветреность зятя моего и излишняя его уже поспешность, а особливо обстоятельство, что у нас после погребения не осталось ничего наличных денег и не было чем не только в деревню, но и до Петербурга доехать, было причиною, что многия вещи были тогда разбросаны, а другия за безценок распроданы, ибо денег получить инако было неоткуда, и не можно. Все наилучшее отца моего платье, полковничий его золотой шарф и весьма многия другия вещи превращены были в деньги и выручена на том довольная сумма. Но ни которой вещи так мне не жаль, как настольных часов, бывших у отца моего. Они были особливаго устройства, очень невелики и уютны и представляли собою небольшой продолговатый пьедестал, наверху котораго лежал бронзовый и вызолоченный мопсик, гамкающий при всяком ударении часов и представляющий весьма хорошую и смешную фигуру. Вещица сия была такова, что мне и поныне ее жаль, и тем паче, что мне подобной ей уже нигде с того времени видеть не случилось. Но зятю моему что-то вздумалось и ее сжить с рук, хотя не было уже никакой дальней нужды и можно было и без продажи сих часов обойтись. Он продал их нашему подполковнику и за весьма умеренную цену.

Сим образом снабдив себя довольным и множайшим числом денег, нежели сколько нам было надобно, начал мой зять крутить и юрить¹ нашим отъездом. Тотчас куплены были лошади и повозки недостающия и тотчас все нужное к отъезду изготовлено, а чего не можно было с собою взять отчасти разбросано, отчасти раздарено кому ни попало.

Наконец, собравшись совсем и распрощавшись со всеми нашими знакомцами, отправились мы в путь свой. Было сие уже около половины октября месяца, и в Петербург доехали мы очень скоро, хотя обоз наш и состоял во многих повозках.

По приезде нашем в сей столичный город, наипервейшее дело наше было отыскать всех приятелей и друзей отца моего. Их было тут немного. Дяди моего, прежде упоминаемаго, конной гвардии ротмистра г. Арсеньева, на тот раз в Петербурге не случилось. Он находился в отпуску; следовательно, его вспоможением не могли мы воспользоваться. Другой знакомец и, можно сказать, друг отца моего был тогда в Измайловском полку

¹ Метаться, суетиться.

майором, по имени Гаврила Андреевич Рахманов; мы его тотчас отыскиали и имели удовольствие видеть, что он с пролитием слез услышал от нас известие о кончине родителя моего и охотно хотел употребить все, что состояло в его силах к вспоможению нашему. Однако человек сей был хотя и генерал, но не из сильных и не могущих ничего дальняго сделать. Все, что он для пользы нашей сделать мог, состояло почти в одном только, что он отвез нас и представил к третьему и наизнаменнейшему отцу моего знакомцу и другу, обер-гофмаршалу Дмитрию Андреевичу Шепелеву, на котораго мы и полагали наивеличайшую свою надежду.

Сей любезный и орденами обвешенный старичок принял нас отменно ласково и не мог довольно о родителе моем натужиться. Он любил его как друга и, услышав о кончине его, не однажды утирал глаза свои, орошаемые слезами, а меня несколько раз удостоил своими облобызаниями. С превеликою охотою брался он употребить все, что только ему можно было, к услугам нашим. Но жаль, что он, будучи придворный человек и притом отправляя такую должность, которая с прочими не имела дальней связи, не в силах также был произвести что-нибудь важное. Однако нам не можно было на него никак жаловаться. Он учинил все, что только мог, к споспешствованию нашего намерения и, может быть, учинил бы и больше, если б мы ему дали волю и сами с своей стороны ему препон в том не полагали.

Еще в самый тот же день, как мы у него в первый раз с господином Рахмановым были, не преминул он обо мне с ним говорить и рассуждать, что б можно было им обоим учинить в мою пользу. Оба сии почтенные старички, и вкупе друзья между собою и приятели отцу моему, долго о сем деле думали, говорили и рассуждали. Обоим им усердно хотелось оказать мне существительную услугу, извлечь меня из полку и проложить мне удобнейший путь к дальнейшему счастью, нежели какое мог я наитить, служа в полевых полках и в таком низком чине. Но малолетство мое делало им в том превеликое помешательство. Обстоятельства тогдашних времен были совсем не таковы, как нынешния (1789 г.). В тогдашния времена и не производили с малолетними детьми таких кукольных комедий и сущих детских игрушек, как ныне; тогда трудно было и самим наизнатнейшим людям что-нибудь особое в пользу их сделать. В нынешния времена таковым людям, как они, не великаго б труда стоило, при помощи приятелей своих, доставить мне офицерский чин; но в тогдашния и помыслить о том было не можно. Единое средство для доставления мне

офицерского чина находил господин Шепелев то, чтоб перевести меня из полевых пехотных полков в украинския ландмилиции¹. Поелику корпус сей достоинством своим был ниже полевых полков, то каким-то образом была возможность выпустить меня туда в офицеры, и господин Шепелев брался сие уже сделать, если мы на то будем согласны и на то решимся. Если ж нет, то находил он другое для меня выгодное место и говорил, не соглашусь ли я переменить мою военную службу на придворную. В сем случае хотел он определить меня ко двору в пажи, что ему всего легче учинить было можно, потому что он был над ними главным командиром. Что ж касается до господина Рахманова, то он со своей стороны предлагал, что буде не будем мы согласны на то, то не хочу ли я перейти в гвардию, и буде хочу, то в сем случае берет он на себя сделать то, что примут меня в нее капралом. Более сего сделать было не можно, ибо в тогдашнее время унтер-офицерские и сержантские чины в гвардии были великой важности, и ими так не швырялись как ныне.

Как все сии предложения были совсем для нас неожиданья и такія, о которых надлежало подумать, то и не знали мы, что сказать и на что решиться. Старикам нетрудно было приметить наше нестроение и нерешимость, и они охотно нас в том извиняли. Но как приходило время господину Шепелеву уже со двора ехать, то, обратясь он к зятю моему, сказал:

– Ну, дорогой мой (такая у него была пословица), подумайте ж о сем хорошенько и побывайте у меня опять и скажите, что для вас лучше.

Сим кончилось тогда первое наше свидание. Оба старика поехали тогда вместе во дворец, а мы возвратились в свою квартиру, бывшую в Ямской слободе у одного каретника.

Пришедши туда, начал меня зять мой спрашивать, как я думаю, принимать ли сии предложения или нет, и буде принимать, то которое кажется для меня лучше, и куда бы я хотел охотнее: в ландмилицию ли, ко двору или в гвардию. Но чего можно было тогда от меня, толь мало еще смысла-

¹ Ландмилиция – род территориального войска, существовавшего с 1713 по 1775 г. Ландмилиция представляла собою крестьян-солдат, «сидевших на земле» по границам России и несших военнопограничную службу. Первая ландмилиция была учреждена на южных границах («белгородская черта») для защиты их от набегов крымских татар. До 1722 г. она была пешею, а с этого года, когда к ней были приписаны и однодворцы, она стала конною. В 1731 г. она получила название «украинской», в отличие от вновь организованной «закамской». В 1770–1775 гг. она слита с полевыми полками. Болотов имеет в виду украинскую ландмилицию, реорганизованную в 1736 г. в Украинский ландмилиционный корпус. В эти войска шли не совсем охотно и поэтому в них легко было поступить.

щаго, ожидать? У меня все мысли заняты были тем, как бы скорей домой и к моей матери приехать, а предложения сии все были не по моему вкусу, ибо в случае принятия первого надлежало в превеликую отдаленность и Бог знает куда в Украину ехать и там быть одному без всяких родных и знакомых; а в случае принятия последних надлежало также одному и без всяких родных в Петербурге оставаться, и буде определиться в гвардию, то нести еще службу капральскую, к которой я нимало еще не был способным. Словом, мне никуда не хотелось, но что в разсуждении меня и неудивительно, ибо я был ребенок, а надлежало хорошенько о том подумать моему зятю, что для меня было полезнее, и на том решиться.

Но у него не то на уме было. Он помышлял только о том, как бы скорее из Петербурга вырваться, ибо ему еще более моего хотелось в свою деревню, в которую он был намерен заехать. Итак, он тому и рад был, что мне никуда не хотелось. Вследствие чего, с общего согласия, положили мы от всех сих предложений учтивым образом отказаться, а просить господина Шепелева, чтоб он сделал милость и исходатайствовал нам отпуск в деревню от тогдашняго главного войск финляндских командира, Александра Борисовича Бутурлина.

Как положено было, так и сделано. Зять мой, будучи весьма скоропешнаго нрава, не долго думал, но наутро ж, взяв меня с собою, поехал к г. Шепелеву.

– Ну, что мои дорогие! – сказал сей почтенный старичок, нас завидя, – думали ли вы, и решились ли на чем-нибудь?

– Думали, ваше высокопревосходительство. Но одно обстоятельство мешает нам теперь и не допускает нас совершенно решиться ни на которое из милостивых ваших предложений.

– А какое? – спросил скоро Шепелев моего зятя.

– После покойнаго тестя моего, – отвечивал он, – осталась еще жена, а моя теща, а сему ребенку мать; без ея воли и соизволения не отваживаюсь я поступить ни на что, ибо не знаю, будет ли ей то угодно или нет. Мы теперь едем к ней со всем оставшим после покойника экипажем, и не угодно ли будет вашему высокопревосходительству, чтоб я отобрал наперед у тещи моей согласие, и тогда бы уже милостию своею не оставили.

– Хорошо, хорошо, дорогой мой! – сказал на сие г. Шепелев. – И это дело. Вправду, как еще матери будет угодно и куда она лучше захочет. Поезжай же, мой друг, и отвези к ней сего сироту; пускай он с нею повида-

ется, а от меня скажи ей, что я охотно ей желаю услужить и буде решится она на том, чтоб определить его в пажы, то уверь ее, что я буду ему вместо отца, и тогда привози ж ты мне его скорее опять назад, так дело тотчас будет кончено.

Зять мой поблагодарил его за милостивое обещание и притом стал просить, не можно ли ему между тем сделать нам милость и исходатайствовать нам от господина Бутурлина отпуск, ибо мы отпущены только до Петербурга и то на самое короткое время.

– О, что касается до этого, – сказал г. Шепелев, – то это тотчас будет сделано. Мне Александр Борисович приятель, и я его сегодня ж увижу во дворце и попрошу. Напиши, мой дорогой, записку, куда и насколько вам надобно и дай мне с собою.

Зять мой хотел было выйтить вон и искать чернил и бумаги, но он его остановил:

– Куда тебе, – говорил он, – далече ходить, вот сядь здесь: вот чернилы, перо и бумага.

Зять мой исполнил тотчас его приказание и, написав в записке, что оба мы желаем отпущены быть на год, ему подал, а он, не посмотрев ея, положил в карман и, сказав нам, чтоб мы наутро у него побывали, поехал во дворец.

В последующий день не преминули мы повеленное исполнить и к нему явиться рано. Он встретил нас изъявлением сожаления своего, что не мог всего желаемого нами исполнить.

– Что делать, дорогие мои! – сказал он нам, – не отпускают никак на год и говорят, что сего сделать понынешним обстоятельствам никак не можно. А все, что я мог сделать, то Александр Борисьевич отпускает нас до мая месяца, да и то говорит, что только для меня это делает, а то бы ни для кого не отпустил. Явись к нему, дорогой мой, сегодня же и скажи, что я тебя прислал; я просил, чтоб он не задержал вас.

В недостатке лучшаго, благодарили мы г. Шепелева и за сию милость, и, раскланявшись с ним, поехали прямо искать г. Бутурлина. Он, услышав, что мы присланы от Дмитрия Андреевича, тотчас вспомнил и призвав тогда же правителя своей канцелярии, приказал заготовить для нас пашпорты и обязать наистрожайшими реверсами¹, чтоб мы к сроку при

¹ От немецкого «*revers*» – обязательство, поручительство

полку явились. Однако сие дело в канцелярии его не так скоро произведено, как было приказано и мы надеялись. Зять мой принужден был дня три затем хлопотать и мы насилу-насилу добились своих пашпортов.

Не успели мы пашпорты получить в руки, как зять мой закутил и заюрил нашим отъездом, так что мы в тот же еще день ввечеру выехали из Петербурга; но, правду сказать, для дороговизны корма и жить в нем более без дела было убыточно.

Сим образом кончилось тогдашнее наше в сем столичном городе пребывание. Теперь одному Богу известно, лучше ли или хуже мы сделали, что не приняли ни одного из деланных нам предложений. Из всех оных определение в пажи казалось бы всех прочих для меня было выгоднее: я был бы при дворе, мог бы всему насмотреться; но что всего лучше, мог бы продолжать свои науки, ибо известно, что пажей и языкам и всему учат, а, сверх всего того, может быть, мог бы скорее и в люди выйтить. Однако и то еще сказать можно, что, может быть, я бы тут, по известной резвости и безпутству пажей, избаловался и сделался негодяем. Самая льстящая более всего надежда, что находиться б я стал под покровительством г. Шепелева, была обманчива, ибо после услышали мы, что сей почтенный старичок в тот же еще год умер, а вскоре за ним переселился в вечность и г. Рахманов; следовательно, и в гвардейской службе была б мне не находка. Я мог бы закоснеть в оной в низких чинах и потерял бы более, нежели нашел. Словом, судьбы Господни неисповедимы, и, может быть, самой судьбе угодно было отвлечь меня от сих обеих служб и вести совсем иным путем и дорогою.

Сим кончу я сие мое письмо и, сказав вам, что я есмь навсегда вам верный друг, остаюсь и прочая.

ЕЗДА

Письмо 14-е

Любезный приятель!

Теперешнее мое письмо к вам наполню я описанием путешествия нашего в деревню. О, сколько нужды и беспокойства претерпели мы во время сей дороги! Обоз был у нас превеликий и тяжелый, а выехали мы из

Петербурга в самую глубокую осень, которая, к несчастью нашему, была в тот год мочливая и грязная. Не успели мы выехать из Петербурга и пуститься по мостовым, как и начало то то, то другое ломаться и портиться и то за тем, то за другим делаться остановка. Никому так все сие досадно не было, как моему зятю. Он горел, как на огне, от желания скорее домой приехать, и потому всякая малейшая остановка приводила его в сердце и в досаду. Он бранился, дрался, сердился, кричал и тем пуще приводил всех в замешательство. К вящему несчастью, как он нас вытурил почти в сумерки, то принуждены мы были все тридцать верст до первой станции ехать в самую темнейшую осеннюю и притом дождливую и ненастную ночь. Не осталось почти ни на ком ни единой нитки сухой; все перемокли и перезябли. Не прежде, как в самую полночь приехали мы на станцию. Тут досада еще увеличилась: стояла в сем месте какая-то застава и пьяный часовой сей заздорил о чем-то с людьми нашими и чуть было с караульными не сцепилась превеликая драка. Тревога ужасная. Не только я, но и сам зять мой насмерть перепугался. Он выскочил из коляски, в которой со мною ехал, побежал туда сам и насилу-насилу укротил весь шум, там бывший. Грязь была почти по колени в том селении, где мы тогда были. Темно так, что хоть глаз выколи. Приехали мы не в голос¹ и уже за полночь; надобно было искать квартиры; никто не пускает – везде было занято. Горе на нас превеликое, а на меня всех больше. Наконец какими-то судьбами сыскали нам избенку. Мы рады уже были и последней лачужке, только б было в ней тепло. Все обезпокоились и перезябли до бесконечности. По счастью, попалась нам избушка теплая; мы вошли в нее как в рай, хотя была она весьма-весьма плоховесовата² и походила более на чухонский рей³, нежели на русскую избу. Не успели мы несколько обогреться, как голод принуждал нас помышлять об ужине, есть нам всем, а особливо мне, ужасно как хотелось. Обед был у нас самый легкий. Зять, от ветрености и излишней поспешности своей не дал мне порядочно и пообедать, а что того хуже, то за сборами и укладыванием всего скоро-наскоро не успели мы никакою провизиею запастись на дорогу. Спрашиваем у хозяина, нет ли у него чего варенаго, и не надеемся ничего найти, ибо было уже за

¹ Запоздало, некстати; здесь: некстати, не вовремя.

² Плоховесоватый – очень плохой, никуда негодный.

³ Рей – рига, овин. Чухонский (от чухонец) – презрительное название пригородных петербургских финнов.

полночь. Но как обрадовались мы, услышав, что у него есть щи и еще целый говяжий язык, вареный в оных и горячий. «Давай, братец, скорей!», – закричали мы. Этот язык памятен мне был во всю мою жизнь. Ни то он действительно был хорош, ни то нам с голода так показалось, но я не помню, чтоб я в жизнь мою едал так сладко, как в сие время; словом, он показался нам неоцененным, и мы заплатили за него охотно, чего ни потребовал с нас хозяин.

Ночевав в сем месте, продолжали мы далее свой путь и тащились кое-как по прескверной и дурной дороге. Несколько дней принуждены мы были препроводить в сем скучном путешествии, куда доехали до Новагорода. В продолжение онаго, не помню я ничего, чтоб особливаго со мной случилось, кроме двух вещей. Первое было то, что я дорожную скуку прогонял, наиболее лакомясь вареным имбирем¹. Целая банка была у меня онаго, оставшаяся еще от покойнаго родителя. Лекаря выписывали для лечения им его, но ничего не истратили. Я поприбрал ее к себе, и она пригодилась мне тогда очень кстати. Я то и дело доставал по кусочку и его понемногу от скуки жустарил², ибо был с самага малолетства великий охотник до лакомства. Другое происшествие было то, что я у карманных часов своих, доставшихся мне после родителя, перервал пружину. Догадало меня дорогою их заводить; но я не знал, что для сего надобно останавливаться и что скорей можно испортить часы, ежели заводить их едучи: пружина того момента может лопнуть, как тогда со мною случилось.

Наконец, кое-как и всеми неправдами доехали мы до Новагорода. Зятю моему таковое медленное и скучное путешествие до безконечности надоело. Не помогала ему уже и его трубка, которую он из рта не выпускал. Он проклинал и дорогу и все; но пособить было нечем. Наконец, натура, власно как для приумножения его досады, произвела в погоде великую перемену. Сделался мороз, но не столь сильный, чтоб вся грязь могла от него замерзнуть и поднять тяжелыя повозки. Выпал маленький снежок, и путь сделался еще того хуже. Не можно было ни на санях, ни на колесах ехать. Боже мой, как сие вздурило моего зятя! Он рвался досадою и только что всех ругал и бранил; никто не смел к нему приступить и промолвить

¹ Имбирь – растение (*Amomum ingiber* или *Lingiber officinale*). Особенно популярен его пряный корень. В XVIII и XIX вв. пользовались имбирем как приправой: из него готовили варенье, пиво, «водицу имбирную».

² Жустать, жустерить – есть, жевать, уписывать, уплетать, лакомо пережевывать.

одного слова. Наконец, от превеликой досады и от неукротимаго желания скорее домой приехать что же он сделал? Таки бросил совсем обоз, сказав людям: «Чорт вас побери, как хотите себе поезжайте!»

Послал сам в ямскую и, наняв две тройки лошадей с легкими на санях кибитками, и в одну сев сам, а в другую посадив меня, поскакал наперед в деревню. Мне сего хотя и не хотелось, но я принужден был безпрекословно повиноваться его воле и насилу успел упросить его взять хоть на несколько часов терпения и распорядить, кому весь обоз везать и кому и как препроводить оный до его кашинской деревни, которая нашим людям была неизвестна.

По сделании всех нужных распоряжений и снабдив обозных деньгами, пустились мы с ним в путь и не ехали, а летели. Отроду моего еще я так скоро не ездил. Меня в кибитке моей метало только из стороны в сторону, и я принужден был лежать, закусыв губы и почти сам себя не помнил. Каких страхов не набрался я в сем путешествии! Не было у нас разбора, хороша ли дорога или дурна, светло ли или темно, опасно ли или неопасно, а только и знай, что скачи и гони, покуда в лошадях есть моча и сила. Однажды он меня чистехонько было утопил. Было сие неподалеку от Новагорода и в первую еще ночь как мы поехали. Зять мой, ехавший наперед, прискакал к одной нарочитой величины реке. В летнее время хаживал чрез нее плот, и тогда она только что застыла, и ни одна еще душа не отваживалась переходить чрез оную: столь тонок и опасен был еще лед. Ямщик было остановился и пошел стучать по льду и пробовать. Но ста- точное ли дело, чтоб ему дать много затем гузать!¹

– Ступай! – кричал только зять из кибитки. – Чего смотреть? Видишь лед, чего бояться?

Ямщик принужден был повиноваться его воле и, приударив лошадей, пустился чрез реку. Я обмер тогда и испужался, услышав, как под ним трещал лед, и увидев, что весь он гнулся под ним люлькою и вода из полыньи, которая подле самого того места была, где они ехали, лилась целою рекою на лед, и я истинно не знаю, как они переехали и припряжная лошадь не попала в полынью. Но страх мой еще увеличился, когда, переехав, начали они кричать, чтоб ехали и мы и держались более влево, также, чтоб погоняли сильнее лошадей. Боже мой! какая напади на меня робость и малоду-

¹ Гузать, пятиться, робеть, мешкать, медлить, возиться.

шие, но чему и дивиться не можно: я как-то от природы или паче от самага малолетства был весьма труслив к воде, а тогда, видя такую опасность, как можно было не вструситься? Но все мои просьбы и умоления, чтоб не ехать, не помогли. Зять мой, только и знал, что кричал, чтоб мы ехали, чтоб на меня не смотрели и что мне не оставаться ж за рекою. Что было тогда делать? Я видел сам необходимость, принуждающую нас ехать, и принужден было наконец согласиться. Въезжая на реку, отчаял я совсем свою жизнь и только и знал, что крестился и просил Бога, чтоб нас помиловал. Не успели мы поровняться против полыньи, как вода еще более из нея полилась, и взлилось ее столько на лед, что достала она до нижних наклесток¹ саней. Увидев сие и услышав в самое то время превеликий треск от льда, не вспомнил я сам себя от страха, ибо не иначе считал, что мы погружаемся уже ко дну, и только без памяти кричал: «Ах! Ах!» Но судьбе угодно было сохранить мою жизнь. Лошади выдернули нас из сей действительной опасности, и мы переехали благополучно.

Колико велик был мой страх и ужас, толико неописанна была радость, которую чувствовал я по выезде на берег. Я обеими почти руками крестился и благодарил Бога, что перенес он нас чрез реку сию. Мы в тот же еще день слышали, что некто, ехавший вскоре после нас в самом сем месте, проломился и утонул. Вот сколь велика была опасность, которая нам тем более еще казалась, что было тогда темно и на берегах не было ни живой души, которая б могла нам помочь, если б мы проломились.

Вскоре после того доехали мы до другой и гораздо величайшей реки, а именно Мсты, под селом Бронницею. Сия также только что стала и никто еще не отваживался по льду ехать. Тут зять мой, каков ни был отважен, но пуститься не отважился, но дождался, покуда жители села Бронниц покладили по льду чрез всю реку доски и нас с повозками на себе перевезли по оным, но за что и заплатить мы принуждены были им очень дорого. Я и при сем случае набрался неведомо сколько страху.

В продолжение путешествия нашего, не помню я ничего особливаго, а только памятно мне, что ехали мы очень скоро и почти денно и ночью, и что, по счастью нашему, не сделалось никакой оттепели, но морозы продолжались; выпало еще довольно количество снега, и зима стала совершенная.

¹ Наклесток, наклестка — перекладина в санях.

Доехав до Твери, своротили мы с большой дороги влево на Кашин, и ехали наиболее все лесами и узкими дорогами. Как стали подъезжать уже близко к зятниной деревне и оставалось ехать только верст с тридцать, то нетерпеливость его быть скорее дома была так велика, что он не захотел ночевать с нами, но, наняв свежих лошадей и оставив меня одного, пустился в ночь, и я приехал уже на другой день по его приезде.

Сестра встретила меня, обливаясь слезами отчасти о кончине нашего родителя, отчасти от удовольствия, что меня видит. Все ласки, какая только могут быть, изъясляла она мне и старалась угостить меня наивозможнейшим образом. Я не бывал еще до того никогда в их деревне. Они имели тут село, называемое *Веденским*, и в нем домик довольно изрядный. Несколько им же принадлежащих деревень окружали оное. У сестры моей было тогда две маленьких дочери, рожденных ею в одно время, одну звали Надеждою, а другую Любовью, и она жила тут хорошею экономкою и порядочно.

Я принужден был прожить в деревне у них более недели и до самых тех пор, покуда наш обоз из Новагорода притащился, но дни сии препровождены были мною без скуки. Сестра ласкалась ко мне до бесконечности и употребляла все, что могло служить только к моему утешению. Лакомства и закуски не сходили почти со стола, а и обо всем прочем было не позабыто. Словом, я так был доволен, что согласился бы прожить у них и долго.

Но как обоз уже пришел, то надлежало помышлять об отъезде. Я думал, что зять мой поедет со мною и довезет меня до моей матери; однако в том обманулся, но ему не захотелось так скоро разстаться с своим домом. Сестра моя сколько ни просила и ни умоляла его, чтоб он поехал со мною, однако он никак не согласился, а решился на том, чтоб мне тогда ехать одному с обозом, а сам хотел приехать к нам в деревню после и с сестрою моею и пробывать у нас несколько времени.

Таким образом принужден я был достальное путешествие предпринять один, и сей случай был первый еще в моей жизни, что я один и в довольно дальнюю дорогу пустился, ибо от зятя до нас было еще верст более 300. Сестра напекла и наготовила мне всего и всего на дорогу и проводила меня со слезами от себя.

Во время путешествия сего не случилось со мною ничего особенного, кроме того, что в первые дни езды моей принужден я был чрезвычайно

мучиться от чирьев. Сей болезни подвержен я был с малолетства и довольно часто, но такой беды никогда со мной не бывало, как тогда. Легко ли, семьдесят больших и малых чирьев было тогда вдруг на моем теле? Причиною тому была невинным образом сестра моя. Ей неведомо как хотелось с дороги меня вымыть и выпарить, но, к несчастью моему, в бане у них печь тогда обвалилась и была не исправлена; итак, вздумалось ей уговорить меня дать себя выпарить в печи. Я долго не соглашался никак на сей особливный род паренья, который был мне неизвестен, но принужден был наконец ее послушаться, и вместо здоровья получил вышеупомянутое множество чирьев.

По счастью, прошли они у меня скоро, так что я только дня три ими мучился. Мы приехали в Москву благополучно, и как мне в сем городе жить долго было незачем, то я на другой же день пустился опять в путь и, наконец, приехал в деревню свою благополучно.

Свидание с покойною родительницею моею было трогательно и плачевно. Она хотя и знала уже о кончине моего родителя, но смочила меня всего слезами, как я приехал. Но скоро заступила место печали радость; она не могла на меня довольно насмотреться и изъявляла ко мне все ласки, какая только оказать ей было можно.

Сим образом окончил я мое длинное путешествие, а как с того времени принужден я был паки вести новый род жизни, то окончу сим и теперешнее письмо мое, сказав вам, что я есмь ваш и проч.

В ДЕРЕВНЕ ДВОРЯНИНОВЕ

Письмо 15-е

Любезный приятель!

Жизнь, которую я по приезде моем в деревню принужден был вести, была совсем отменна от той, какую я вел до того времени. До того жил я все с мужчинами и посреди всегдашняго многочисленности, а тут должен был жить с одними женщинами и наиболее старушками, и дни свои препроводить в совершенном почти уединении. Родительница моя была человек уже не молодой; но не столько удручала ее старость, сколько слабое состояние и частые болезненные припадки, от которых не сходила она почти с

постели, но большую часть времени своего препровождала на оной. Сверх того, как она была госпожа не светская, а более старинного века, и притом набожная и благочестивая, а притом и достаток наш был так не велик, что не позволял ей жить никак открытым образом, хотя б она и хотела, то и препровождала она в деревне жизнь совсем почти уединенную. Никто почти из лучшеньких соседей наших к ней и она ни к кому не езжала. Но, правду сказать, и околоток наш был тогда так пуст, что никого из хороших и богатых соседей в близости к нам и не было. Тогдашняя времена были не таковы, как нынешняя. Такого великаго множества дворянских домов повсюду с живущими в них хозяевами, как ныне, тогда нигде не было. Все дворянство находилось тогда в военной службе, и в деревнях живали одни только престарелые старики, немогущие более нести службу или за болезнями и дряхлостью, по какому-нибудь особливому случаю отставленные, и всех таких было немного. В других домах живали также одне только старушки с женами служащих в войске дворян, и вели также уединенную жизнь. Итак, и знакомиться было не с кем. В самом нашем селении были хотя три господских дома, но один из них стоял пуст, потому что все хозяева были в службе, а в другом хотя и жил тогда отставной от службы мой дядя, родной брат покойному родителю моему, и сей дядя хотя и всех к нам был ближе и только чрез сад: но я не знаю уже за что и чтоб тому была истинная причина, что родительница моя никак не могла терпеть онаго и во весь век свой была с ним несогласна. Правду сказать, что и характеры их были весьма между собою несогласны. Родительница моя была женщина хотя добросердечная, но нравная и неуступчивая; а дядя был человек чрезвычайно скупой и завистливый, и любил отменно жить в уединении и хозяйничать. Словом, они оба не могли терпеть друг друга, а маленькия и ничего незначащия по соседству распри и мнимыя обиды поддерживали их несогласие; а люди и служители, находящие некоторое удовольствие в том, что господа между собою ссорятся, старались всегда с обеих сторон поддувать огонь вражды между обоими домами. Но все сие причиною тому было, что они между собою не знали и друг к другу не ходили, а при таковых обстоятельствах не можно было и мне ходить к моему дяде. Я один только раз, и то с приезда, получил дозволение к нему сходить, да и то на одну только минуту. Единое знакомство и кой-когда свидание имела мать моя с немногими своими, с отцовской стороны, родственниками, которыхья все были наибодеишие дворяне и простейшие

старички, жившие от нас верст за 10 и за 15. Кроме сих, составлял весьма важную особу поп наш приходский, и ея отец духовный. Сия духовная особа была совсем отменного характера, нежели прочия деревенские попы и имела великия пред ними преимущества. *Отец Илларион* (так его называли) был не только умнее сотни других попов, но и вел себя степенно, важно, осанисто и так, что не можно было не иметь к нему почтения. При всем том был он превеликий рассказ¹ и говорил сладко, так что не устанешь, бывало, слушать предлинныя его повествования о его приказных делах² и хлопотах, в каких препровождал он целый свой век, по причине вечной и непримиримой ссоры и вражды со своим товарищем, другим попом, котораго звали *Иваном*. Чудное поистине было дело! Целый свой век старались они друг друга погубить, но никто не мог ничего другому сделать и вся польза от их вечной тяжбы была та, что они оба обеднели, ибо обоих их в консистории только обирали, а без того были б они оба богатые люди, ибо приход был хороший.

Сия-то духовная и престарелая уже особа играла в тогдашнее время знаменитую в доме нашем ролю. Отчасти остроюю своего разума, отчасти хитростию, а более всего пользуясь отменною родительницы моей склонностию к набожному житию, умел отец Илларион так вкрасться в мать мою, что она воздавала ему превеликое почтение, не оставляла его во всех его нуждах, старалась во всем ему угождать, и он был у ней наилучшим советником и наставником во всех случающихся делах. Он хаживал к нам всех прочих чаще, и сколько для служения заутреней и молебнов, которыя бывали у нас очень часто, но и так, захаживая из прихода, и сиживал иногда по несколько часов, рассказывая свои повести и тяжбы. Словом, он обладал почти нравом и душевным расположением моей матери, и я и поныне не могу еще позабыть одной хитрости, употребленной им во время тогдашняго моего пребывания в доме для поддержания своего владычества. Некогда случилось, что родительница моя не знаю чем, неисполнением ли какой-нибудь его просьбы или иным чем его поразсердила. Он, будучи таков же внутренно зол и любомстителен, колико наружно благочестив и набожен, сокрыл тогда досаду свою во глубине своего сердца; но как несколько времени потом случилось родительнице моей прихворнуть и она

¹ Вместо «рассказчик».

² Относящийся к приказу – правительственному месту, казенной канцелярии: здесь, видимо, имеется в виду консистория.

вздумала исповедаться, как то нередко она делывала, то что ж он сделал? Он, зная коротко расположение ея нрава и великую привязанность ея ко всему суеверному, вздумал ей при сем случае мстить свою мнимую обиду, но чем же? Так называемым связанием на духу, о важности котораго постарался он уже издавна вперить в нее страшныя мысли. Мать моя сочла сие неведомо за что, и сие связание нагнало на нее такой страх и ужас, что она считала себя не иначе как погибшею, ежели паки разрешена не будет. Несколько недель препроводила она в превеликом смущении и впала было от того в сущую меланхолию, и тем паче, что поп перестал вовсе к нам ходить и открыто уже изъявил всю свою злобу, скрывавшуюся до того в его сердце. Нечего было делать, принуждены были засылать к попу и ходить за ним и уговаривать. Он спесивится и гордится, и насилиу его как-то уговорили и довели до того, что он мать мою разрешил. Вот каковы были тогда времена и обстоятельства!

Но я удалился уже от порядка моего повествования. Теперь, возвращаясь, скажу, что мать моя приездом моим чрезвычайно была обрадована, и как она меня уже давно не видала, и я между тем несколько поболее вырос, а притом, понаучившись кой-чему, сделался пред прежним и поумнее, то не могла она на меня довольно насмотреться и мною налюбоваться. Желала б она охотно узнать, чему и чему я выучился в Петербурге; но как она ни об иностранных языках, ни о науках никакого сведения не имела, то не могла в том себя удовольствовать. Недостаток сей я старался заменить показанием искусства своего в рисовании. На другой же день приезда своего, разобравшись с своими красками, нарисовал я ей на целом листе Бову-королевича или древняго рыцаря на коне, в полном его вооружении и воинских доспехах. Рисунок сей был хотя весьма и весьма посредствен, или, лучше сказать, ни к чему не годился, потому что для вящего оказания своего искусства делал его от руки, но для старушки моей был он в превеличайшую диковинку. Всем-то был он показываем, всем-то расхваливан, всякое мое слово замечаяемо, подтверждаемо, и я от всех осыпаем был похвалами и ласками. Но не одним сим угодил я моей родительнице; но чтоб доказать, что я не люблю праздности и не хочу забыть того, что я учил, разобрал я и все мои французския и немецкия учебныя книги, и по несколько часов в день стал препровождать в читании и выписывании кой-чего из оных для тверждения того, что я выучил. Сие было для матери моей всего приятнее, она то и дело сама твердила мне, чтоб я

старался выученного не позабыть и была прилежностью моею весьма довольна. Но бедное было сие учение самого себя, а особливо в таких летах, в каких был я, и притом при неимении никаких исторических иностранных книг, которыхя б я читать мог и каковое б чтение могло мне всего более пользоваться.

Сим образом, разделяя время свое между чтанием, писанием и рисованием, а временем и гулянием, начал я жить при родительнице моей. Все сии учебныя и увеселительныя работы производил я при глазах моей матери, на большом и предлинном дубовом столе, стоящем у нас в переднем углу той комнаты, где мать моя жила и почивала. Что касается до моей спальни, то была она в маленьком чуланчике, отгороженном досками от комнатки, бывшей подле спальни матери моей; в сих обеих комнатах состояли все наши жилые покои. Происходило сие не от того, чтоб хоромы наши были маленькия: оне были превеликия, но обыкновение тогдашних времен приносило то с собою, что состояли оне по большей части в пустых и нежилых покаях. Например, было в них двое превеликих сеней, из которых передняя так была велика, что я чрез несколько лет после того сделал из них две прекрасныя комнаты; а и задняя сени уместили б в себе также покойца два; но вместо того были передняя совсем пусты, а и в задних был только один ход наверх, занимающий место целой комнаты. Из сеней сих был вход в переднюю, или понынешнему, залу. Пространная комната сия была от начала построения хором холодная, и все украшение ея состояло в образах простых и в кивотах¹, коими весь передний угол и целая стена была наполнена, ибо обыкновения, чтобы комнаты подштукатуривать и обоями обивать, не было тогда и в завете. Мебели же все состояли в лавках кругом стен и в длинном столе, поставленном в переднем углу и ковром покрытом. Как окошки были небольшие, а стены и потолок от долговременности даже потемнел и сделался кофейнаго цвета, а дубовый стычной² пол еще того был темнее, то царствовала в сей комнате сущая темнота, и в ней никто и никогда не жывал, а наполнялась она единожды в год народом, то есть в Святую неделю, когда с образами приходили и в ней молебен служивали. За сею следовала другая угольная и самая та комната, которая была у матери моей и гостиною, и столовою, и спальнею и жилою;

¹ Киот – поставец, шкаф для икон.

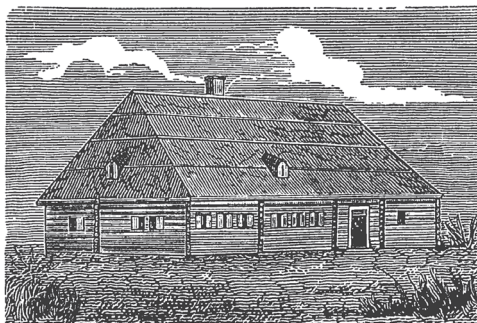
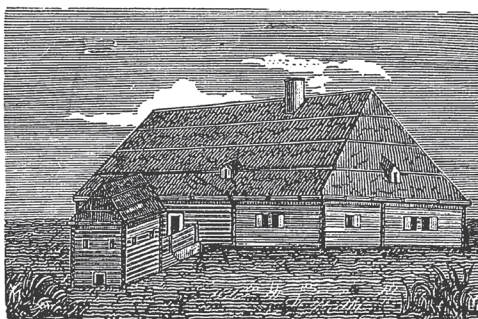
² Стычной – наставной, от стыкать – соединять концами. Очевидно, нечто напоминающее паркет.

три маленьких окна с одной и одно двойное с другой стороны впускали в нее свет, и превеликая, складенная из узорчатых разноцветных кафлей печь снабжала теплом оную. Печь сия расположена была особым и таким образом, как в людях не водится: нескоро можно было найти и добраться, откуда она топилась; надлежало лезть наперед за печь, а там поворачивать направо и искать устья, ибо оно сделано было от стены и совсем в темноте. Тапливали ее обыкновенно дворовыя бабы поочередно и таскивали всякий день превеликия ноши хвороста и с ним залезши к устью, прятались и завешивались там, власно как в конуре. Со всем тем печь сия была тепла и неугарна, да и самая комната довольно светла и весела.

Что касается до украшений сей важнейшей в доме комнаты, то оныя состояли также только в одних образах, разставленных в переднем углу. Внизу сделан был маленький угольничек, и тут пред киотом со крестом, с мощами, горела неугасимая лампада, а вверху сделана была предлинная полка, и на ней наставлен целый ряд образов разных. Стены в комнате сей были также ничем не обиты, но стычной дубовый пол от частаго мытья несколько побелее. Что касается до потолка, то он был неровный, но чрез доску одна ниже, а другая выше, и от долговременности весьма изрядно закоптевшим.

Что принадлежит до мёбелей, то нынешних соф, канапе, кресел, тамбуров, комодов, ломберных и других разноманерных столиков и прочаго тому подобнаго не было тогда еще в обыкновении. Гладенькия и чистенькия лавочки кругом стен и много-много полдюжинки старинных стульцев должны были ответствовать вместо всех кресел и канапе, а длинный дубовый стол и какой-нибудь маленький складной вместо всех столиков. Итак, в переднем углу стоял вышеупомянутый длинный стол, в другом была матери моей кровать, в третьем, прежде упоминаемая печь и подле нея широкая скамья, а в четвертом стоял на лавках трех денег нестоящий и так почерневший шкафчик, что надлежало разве скоблить ножом, чтоб узнать что он был некогда крашен красками. Вот изображение наилучшей и первой комнаты.

Вправо и сбоку подле нея находился другой теплой покой или преждеупоминаемая комнатка. Она составляла вкупе девичью, и лакейскую, и детскую, и была самая та, в которой я родился. Незадолго до моего приезда перегороджена она была надвое досками, и сия отгородка была тогда моею спальнею и комнатою.



Наконец, кроме сих трех комнат было еще два покойца холодных, чрез сени и в сторону к саду. Но оба они были нежилые, а служили кладовыми. Один занят был мелочными съестными припасами, а другой – сундуками и был темный.

Вот все расположение старинных хором наших, в которых жилали наши предки и в коих я родился, женился и жил сам потом несколько лет, покуда отстроил себе новые и лучшие. Для любопытства потомков моих не за излишнее почел я изобразить оныя как спереди, так и сзади, в перспективическом¹ виде и вкупе с бывшею подле них черною горницею, которая служила тогда и кухнею, и приспешною² и людскою.

Каковы были хоромы, таково было и место, на котором оне стояли. Неизвестно уже мне, кто из предков моих выбрал впервые оно, только то знаю, что оно было худшее из всей усадьбы, а наилучшие места заняты были огородами и скотными дворами; но сему и дивиться не можно: в старину было у нас и обыкновение такое, чтоб дома нарочно прятать и становить их в таких местах, чтоб из них никуда вдаль было не видно, а все зрение простиралось на одни только житни, конюшни, скотные дворы и сараи. А точно в таком месте поставлены были и наши хоромы.



¹ В виде плана.

² Приспех, приспешка – стряпня, варка; приспешник – собственно, помощник, повар, пекарь, вообще слуга, лакей.

Но вот я, опять заговорившись о побочном, удалился от продолжения истории моей. Теперь, возвращаясь к оной, скажу, что, несколько дней спустя после моего приезда, наступил наш храмовой праздник святого Николая. Мать моя имела обыкновение оный колико можно лучше праздновать. Она пригласила к себе к оному всех своих родных и знакомых, каких только она имела. Они приехали все к ней, и я имел тут случай всех их узнать и со всеми ими познакомиться.

Но о! какое это прекрасное общество и какая милая и любезная компания! Первую особу составлял один высокорослый старичек по имени *Яков Васильевич Писарев*. Он был матери моей двоюродный брат и человек недалней бойкости. Он служил в войске низким чином, и поелику он не умел и грамоте, то и отставлен таковым же. Жил он от нас верст десять, имел самый малый достаток, и мать моя, сколько по родству, столько и за то любила, что он был веселаго и шутливаго нрава и в компании не скучен. А впрочем, ничего дальняго от него требовать было не можно. Жена его была старушка самая шлюшечка¹ и человек препростой, но дочь имел он преизрядную и предорогую девицу²; ее звали *Агафьею Яковлевною*, и она была совершенная уже невеста. Мать моя, по любви своей к ним и по бедности их, взяла ее жить к себе, и она у нас жила, как я приехал, и делала нам компанию. Но сыном, котораго он имел, был он не таков счастлив: была самая неугомонная, ветреная и такая голова, что нередко он его на цепь приковывал.

Другую особу составлял также весьма небогатый дворянин и матери моей родственник же, но не столь близкий, по имени *Сила Борисьевич Бакеев*. Он жил верст 15 от нас, и в самой той деревне, где мать моя родилась и воспитана, ибо она была фамилии Бакеевых. Он служил также в гвардии и отставлен офицерским чином. Мать моя его не только любила, но и почитала, потому что он был всех прочих умнее и притом знаток по гражданским делам, и мог в нужных случаях подавать советы. Словом, он во всем тогдашнем нашем обществе почитался философом и наиразумнейшим человеком, хотя в самом деле был он весьма и весьма посредственного знания. Жена его была старушка смиреннькая и простенькая.

¹ Шлюха, шлюшка — женщина-неряха, одетая кое-как, небрежно.

² Выдающуюся и весьма уважаемую.

Третью особу составлял также весьма бедный дворянин по имени *Максим Иванович Картин*. Мать моя в особенности была дружна с его женой, которая была родная сестра вышеупомянутому г. *Бакееву*, и называли ее *Федосьею Борисовною*. Она и достойна была ея любви, ибо была всех прочих госпож и умнее и бойчее, и мать мою сама любила. Что касается до ея мужа, то был он наипростейший старичок и сущая курочка. Он служил в гвардии солдатом и отставлен капралом и помнил еще самую старинную службу. Мать моя любила его за простосердечие и тихий нрав, и была тем довольна, что они к ней часто приезжали и у нея по несколько дней от скуки гащивали.

В сих-то трех семействах состояли тогда почти все наши гости. Старинныя, странныя и простыя их одеяния и уборы, в каких они к нам приехали, показались мне сначала весьма странны и удивительны. Я, привыкнувши быть посреди светских людей, не мог довольно надивиться долгополым их кафтанам, ужасной величины обшлагам и всему прочему. Они показались мне сущими почти шутами. Однако, как увидел после, что они были не без разума, а что одна бедность тому причиною, что они так были одеты, а паче всего, что они все были по мне, и я во многих вещах был всех их знающее и умнее, и, сверх того, как они все ко мне ласкались и осыпали меня похвалами, то и я их всех полюбил и всегда был очень рад, когда они к нам приезжали.

Тогдашний праздник празднован был точно так, как праздновали праздники в деревнях наши старики и предки: за обедами и за ужинами гуляли чарочки, рюмки и стаканы, а нередко гуляли они по рукам и в прочее время; старички наши вставали оттого из-за стола подгулявши; и они праздновали у нас дня с три и более. Мать моя любила гостей угащивать, и все гости во все сие время были веселы и довольны. По утрам бывали у нас обыкновенно праздничные завтраки; там обеды и за ними подчивание; там закуски и заедки; после того чай, а там ужины. Спали все на земле по-валкою, а поутру, проснувшись, принимались опять за еду и прочее тому подобное.

Недели две спустя по отъезде сих гостей и к самому Рождеству приехали к нам другие и гораздо приятнейшие гости, а именно зять мой, г. *Травин*, с моею сестрою. Они сдержали свое обещание, и мать моя была им чрезвычайно рада. Как зять мой никогда еще в доме у нас не бывал, то заботилась мать моя, как бы его лучше угостить и всем удовольствовать,

и тем паче, что известно ей было, что он был человек нравный и горячий. Все, что только можно было выдумать, употреблено было к его угощению, и сколько казалось, то был он всеми угощениями ея и ласками доволен.

Как наступило Рождество и Святки, то не приминула мать моя созвать опять всех своих родных и знакомых. Число их приумножила еще одна милая, разумная и почтенная старушка по имени *Матрена Ивановна Аникеева*, родная сестра дяди моего, *Тараса Ивановича Арсеньева*, которому поручен я был в Петербурге. Разумную и веселую старушку сию мы чрезвычайно любили; но она того и стоила. Она жила от нас верст 40 и приехала сама, как скоро услышала, что к нам приехал зять наш. Итак, компания и общество было у нас превеликое и приятное. Зятю моему оказывали они все отменное почтение, и как он любил повеселиться, то заводимы были всякия святочные игры и деревенския увеселения, и он гостями нашими был доволен.

Они для удовольствия зятя моего прогостили у нас несколько дней сряду. В течение оных мать моя не однажды предпринимала как с зятем моим, так и со всеми ими общий совет, что бы лучше и выгоднее со мною делать и начинать. Отпущен я был, как упомянуто, до мая месяца; следовательно, если ничего не сделать, то по первому летнему пути надобно будет меня отправлять к полку. Но как можно было мне, столь малолетнему, нести службу? Зять мой рассказывал всем деланныя нам предложения, но ни матери моей и никому из всех не были они угодны. Все говорили, что хорошо бы, если б только я не таков мал был; что ж касается до матери моей, то ей и слышать не хотелось, чтобы отлучить тогда меня от себя, а она желала, чтоб мне получить каким-нибудь образом отсрочку и, когда не надолго, так по крайней мере на год, дабы я сколько-нибудь повозмужать мог.

Долго о сем говорено было и советовано, но наконец всех мнения согласны были на том, чтоб нам заблаговременно послать в Петербург человека с челобитною в самую Военную коллегию и, прописав в ней мое малолетство и начатое учение наукам, просить у ней мне для окончания наук на своем коште¹ увольнения до совершеннаго возраста. Госпожа Аникеева советовала нам поручить старание о том ея брату, о котором сказывали, что он поехал недавно опять в Петербург, и уверила, что он помочь нам в

¹ На своем иждивении.

том может. Мы и сами на него более всех надеялись, ибо уверены были о его к нам благорасположении и любви.

Решившись на сем и назначив для исправления сей важной комиссии дядьку моего, Артамона, как умнейшаго из всех наших служителей, также проводив наших гостей, не стал и сам зять мой долее у нас медлить, но, распрощавшись с нами, поехал обратно домой. Мать моя провожала их, а особливо сестру мою, со слезами, ровно как предчувствуя, что она ее в последний раз видит, ибо с того времени не удалось уже ни зятю, ни сестре быть у нас в доме при жизни нашей родительницы.

Сим кончился тогдашний 1750 год, который, для множества случившихся в оный перемен, был довольно достопамятен в моей истории, а всходствие сего окончу я теперешнее мое письмо, сказав вам, что я есмь и прочее.

УВОЛЬНЕНИЕ ОТ СЛУЖБЫ, ДЛЯ ОКОНЧАНИЯ НАУК

Письмо 16-е

Любезный приятель!

Проводив моего зятя и отпраздновав Святки, начали мы спешить отпращанием комиссионера нашего в Петербург. По собрании его в сей дальний путь, снабдили мы его челобитною и кой к кому нужными письмами. В особенности же просили мы о неоставлении его и вспоможении нам дядю моего, господина Арсеньева. Ему же поручили возможнейшим образом об отпуске меня стараться, а буде дело не пойдет на лад, то спешил бы он к нам возвратиться, дабы нам заблаговременно о том знать и в полк ехать собратиться успеть было можно.

По отъезде его начали мы по-прежнему препровождать в уединении своем тихую и спокойную жизнь. Я продолжал свои прежния упражнения, и как тогда было зимнее и холодное время и мне не можно было никуда ходить, бегать и резвиться, то тем охотнее сидел я на одном месте и что-нибудь делал. Наизнатнейшую часть тогдашних моих упражнений составляло рисование, яко работа гораздо приятнейшая и веселейшая, нежели скучное чтение учебных книг и выписывание и твержение. Я, как

теперь помню, нарисовал целый фронт стоящих в ружье солдат и перед ними офицера с распущенным знаменем и барабанщика с барабаном; и как все сии фигуры нарочито были велики, то, вырезав всех их, прилепил фронтом на стене подле самого того места, где сидел я. Боже мой! Какая это была диковинка для моей старушки! Она расхвалила их до бесконечности. Другое дело, в котором я тогда чаще упражнялся, состояло в учении географии. Атлас с ландкартами был у меня изрядный, а между книгами, оставшими после родителя моего, нашел я изрядную и полную немецкую географию, по которой можно было мне продолжать сию науку. Я и действительно много из ней в сие время научился; я приискивал на ландкартах описанные города, выписывал их в особливый тетрадки, переводя с немецкого все, что об них упоминалось в географии. Относительно же до языков, то твердил я только грамматики и выписывал из них слова.

Между сими упражнениями наступила Масленица. Мать моя приказала для увеселения моего сделать на дворе гору, на которой можно было мне кататься. Для меня непротивна была сия забава, и я воспользовался довольно сим дозволением. Вышеупомянутыя старички и старушки опять нас в сию неделю посетили, и я очень был рад их приезду.

С наступлением Великаго поста начались у нас богомолния и ежедневная служба. Я принужден был наблюдать всю строгость поста и потом исповедывался и приобщался Святых Таин в нашей приходской церкви.

Около половины сего поста начали мы ожидать и возвращения слуги нашего, Артамона, из Петербурга. По счету нашему казалось, что было ему довольно времени доехать туда, там пробить несколько времени и надлежало уже назад возвратиться. Однако он не ехал, и мы не имели об нем ни слуха, ни духа, ни послушания. Тогдашния времена были не таковы, как нынешния, и почты были весьма неисправны. Не можно было чрез них ничего писать, да и получать нам в деревне письма было неспособно. Чем ближе стала приближаться весна и половодье, тем увеличивалось наше ожидание; но как он все еще не ехал, то начинало сие мать мою уже несколько и озабочивать и обезпокоивать. Она приказала ему как можно стараться возвратиться тогдашним зимним путем, и потому и ожидала его при окончании онаго. Уже настала пятая и шестая неделя, уже начал снег таять и сходить, уже разлились реки и сделалась совершенная половодь, но Артамона нашего все еще не было. Мать моя сколь часто ни высылала смотреть, не едет ли ея Артамон, но все спрашивания и высылания ея

были тщетны. Его не было и в завете, и мы все только и знали, что твердили: «Господи помилуй! что это такое, что он не едет. Не сделалось ли чего с ним?» и так далее. Наконец сошла уже и полая вода и весна начинала открываться и украшать землю своею зеленью, приближалась уже Святая неделя; но об Артамоне нашем не было ни слуху, ни духу, ни послушания. Мать мою сие озабочивало уже до чрезвычайности. Она во все сие время горела, как на огне, и была на каторге. По свойственному всем старушкам малодушию, насчитала она ему уже тысячу смертей: и убит-то он на дороге разбойниками, и утоп-то в реках, и занемог-то и лежит болен, и умер, и так далее. Не однажды было то, что проливала о нем и слезы, а беспокойство и сомнение были так велики, что она почти с ума сходила. Все красноречие отца Иллариона нимало ея не подкрепляло. Она в превеликой горести и печали своей не внимала никаким представлениям и была совершенно неутешною.

Но, правду сказать, и было о чем ей тужить и горевать. Со вскрытием весны приближался и срок мой, и был так уже недалек, что надлежало меня в скорости и отправлять, а у нас не сделано было к тому никаких приуготовлений: к тому ж и не было еще слуги, с которым бы мне ехать, ибо у нас на одного его была и надежда, и Богу известно, что с ним сделалось.

Наконец наступила уже и Страстная суббота. Поелику приходская церковь была от нас не близко, версты две и притом за рекою, то издревле было у наших предков обыкновение ездить к церкви накануне еще праздника и ночь сию ночевать там у попов, дабы избежать беспокойства ехать ночью и поспевать к заутрени. Мы поехали туда не с радостными сердцами, и самый праздник терял все свои для нас прелестности. Мы взяли квартиру себе в доме отца Иллариона, и мать моя не преминула еще и в сей вечер поплакать и погоревать.

В таковом же беспокойствии душевном были мы и во все продолжение служения на праздник заутрени. По окончании оной возвратились мы на свою квартиру и легли уснуть еще несколько, до обедни. Но не успели мы заснуть, как прибежали к нам нас будить и сообщили нам радостное известие, что *Артамон* наш приехал. Боже мой! какая началась у всех у нас тогда радость и каких благодарения Богу! Я от роду моего не помню, чтоб когда-нибудь просыпался я с такою радостью и восхищением сердечным, как в тогдашнее утро. Я бежал к матери моей, а она меня искала и от

радости плакала: «Ну, слава Богу!» повторяла она 100 раз и не могла порядочно ни о чем приезжаго расспрашивать. Наша радость и удовольствие увеличились еще больше, когда услышали от него, что езда его была не по-пустому, что комиссию, порученную ему, исправил он с вождеденнейшим успехом, что по долговременным хлопотам и многим трудам удалось ему, наконец, Военную коллегию упросить, чтоб меня для окончания наук отпустили до шестнадцатилетняго возраста, и что, наконец, привез он с собою и указ, данный мне о том.

Таковым неожиданным успехом мать моя довольно заплачена была за все свои горести и печали. Она рада была до бесконечности, что я на столько времени был уволен, и не знала, как и чем возблагодарить слугу за его труды и старание.

Сие происшествие сделало нам всю Святую неделю вдвое радостнейшею и веселейшею. Вышеупомянутыя старички, родственники наши, не преминули к родительнице моей съехаться я разделить с нею ея радость; что касается до меня, то была неделя сия в особливости мне весела. Катание красных яиц и качание на качелях, а притом и возможность ходить уже всюду и всюду и предпринимать с ребятишками разныя игры и резвости, меня до крайности утешало и веселило. Петербургский мой дядя, г. Арсеньев, помогший много нам в сем деле, хотя и писал к матери моей, что как я отпущен для окончания наук, то не держала б она меня при себе, но чем скорее, тем лучше присылала б к нему, и что он место для продолжения наук мне сыщет. Однако мать моя никак не хотела меня прежде от себя отпустить, как на предбудущую зиму, и как я к деревенской жизни уже по привык, то намерение ея было мне в особливости приятно.

Не успели первыя чувствования радости пройти и мы несколько недель препроводить в совершенном спокойствии и тишине, как новая буря встревожила покой всего нашего дома и погрузила опять мать мою в новую бездну горестей и печалей. Некто из соседей наших воздвиг оную на нас и подал повод матери моей пролить тысячи токов слез по сему делу. Он подал на нас исковую челобитную и отыскивал одну беглую свою бабу, живущую у нас в Шацкой нашей и отдаленнейшей из всех деревне, и бывшую уже многие годы замужем за одним мужиком нашим. Обстоятельства сего мать моя не знала до самага того времени, как подана сия челобитная; ибо как произошло сие в такое время, когда родители мои находились при полку, и мужик женился сам собою и за многие уже годы

в деревне же сей родителям моим никогда бывать не случалось, то и не знали они о том ничего и не ведали. Но соседу нашему было все сие известно, и покуда родитель мой был жив, то не отваживался он тогда просить; но как он скончался, мать же моя была слаба, а я мал и безгласен, то и вздумал он сими обстоятельствами воспользоваться и напасть на нас наисуровейшим образом.

Матери моей тем несноснее было сие дело, что человек сей был родителем моим до безконечности одолжен. Рода был он подьяческаго и каким-то образом попал в такую беду, что надлежало его кнутом высечь и сослать на каторгу, что и учинено б было тогда, если б родителю моему не удалось каким-то образом от того его избавить. Итак, не смея при жизни его, от зазирания совести, ничего предпринимать, вздумал тогда, в благодарность за таковое благодеяние, напасть на оставшую его беззащитную вдову и на осиротевшаго и малолетнаго сына и стараться безсовестнейшим образом разорить их до основания.

Неблагодарнаго и гнуснаго человека сего звали Васильем Василевичем Кирьяковым. Он имел тогда в самой близости от нас небольшую деревеньку, купленную им каким-то образом, и участие в самих наших дачах. Будучи весь почти свой век подьячим, знал он все приказныя дела из основания и ставкавшись с воеводою нашего города подал на нас самую ябедническую челобитную и искал на нас превеликаго иска.

Не могу вспомнить с спокойным духом того случая, как приехала к нам из города посылка с призывом матери моей к ответу в город. Неожиданность и нечаянность таковаго происшества поразила ее власно как громовым ударом. Она не знала, что́ делать и что́ начать при деле толико ей необыкновенном, и погрузилась не только в превеликую горесть, но и самое малодушие.

Находясь в наивеличайшем нестроении призвала она нашего Артамона и требовала его совета. Но сей хотя и разумел довольно грамоту, но, не упражнявшись никогда в таких делах сего не знал и сам, что присоветовать. Не к кому было тогда иному взять прибежища, как к отцу Иллариону. Тотчас отправлен был к нему нарочной. Поп пришел, подкрепил сколько-нибудь мать мою, сказав, что посылка сия не составляет еще дальней важности, что надобно дожидаться второй и третьей, а между тем послать в город человека и стараться списать челобитную, чтоб узнать все дело обстоятельнее. Как он посоветовал, так было и сделано; Артамон наш

на другой же день поехал в Каширу и чрез несколько дней привез нам челобитную.

Тогда созван был матерью моею общественный совет. Отец Илларион, вышеупомянутый родственник ея, Сила Борисьевич Бакеев, яко человек знающий довольно законы, и Артамон, произведенный тогда в стряпчие и поверенные, были членами сего совета; все они читали и рассматривали челобитную и рассуждали об оной очень долго. Наконец все единогласно сказали, что дело наше дурно, что челобитчик имеет с своей стороны требование справедливейшее и что нам ничем себя оправдать и просьбу его оспорить не можно, и что ежели допустить до суда, то мы верно потеряем и принуждены будем заплатить ему весь его страшный иск.

Таковое изречение сего совета не служило матери моей к отраде, но повергло ее еще в вящую печаль. Наконец, при вопрошении, что ж бы при таковых обстоятельствах делать и чем себе сколько-нибудь помочь, все единогласно говорили, что другого не остается, как стараться дело сие сколько-нибудь продлить, а между тем испытать, не можно ли соперника нашего преклонить к любовному в сем деле с нами примирению, и не удастся ли убедить его взять сколько-нибудь с нас меньше, нежели сколько он требовал.

Между тем как сие тут происходило, соперник наш работал в Кашире и старался кутить и юрить сим делом. Не только воевода, но и все подьячие были ему друзья и братья. Всех он закупил и задобрил, и все держали его сторону; он тотчас выпросил другую за нами, а вскоре потом и третью посылку.

Таковая поспешность и недавание нам покоя привела мать мою еще в пущую разстройку. Надлежало что-нибудь делать, и, буде мириться, то к сопернику кого-нибудь засылать; но она не знала, к кому в сем случае и прибежище взять. О! сколько слез пролито было по сему делу и сколько вздохов испущено на небо! Наконец, присоветовали ей самой ехать в Каширу и просить воеводу, чтоб взял сколько-нибудь терпение. Что было делать! Она хотя слаба была здоровьем, но, несмотря на всю слабость, принуждена была туда со мною ехать. Мы заезжали по дороге к советнику нашему, г. Бакееву. Тут начались опять советы, но, к несчастию, дело было так дурно, что все законы были против нас, и ничего присоветовать было не можно. По крайней мере, упросили мы его, чтоб он поехал с нами. Воевода, державший почти въявь сторону нашего соперника, принял нас

весьма гордо и несговорчиво. Матери моей было сие несносно, однако она принуждена была повиноваться времени. Некоторыя подарки, отосланные к сему градоначальнику, сделали его несколько благосклоннейшим. Он обещал не только продлить дело, что ему всего легче учинить было можно, но и постараться преклонить соперника нашего к миру. Но сие не так могло скоро сделаться, как мы думали и уповали. Мы принуждены были прожить в Кашире более недели. В сие время, к превеликому огорчению нашему, узнали мы, что соперник наш еще кичился и гордился и об мире слышать не хотел, или, по крайней мере, хотел, чтоб мы заплатили ему огромную сумму. Подозревали, что сам воевода вместе с ним шилничал и его наущал, дабы ему самому тем более от нас и от него поживиться было можно. Сказали матери моей, что есть некто из живущих неподалеку от Каширы дворян, по имени Иван Алексеевич Ильин, человек сопернику нашему знакомый, но весьма добрый и хороший, и советовали съездить к нему и упросить его, чтоб он вступил в посредники и миротворители. Дворянин сей был нам совсем незнаком; но что делать! Мать моя, утесняема будучи крайностью, принуждена была к нему со мною ехать.

Г. Ильин принял нас нарочито холодно; однако, по умолению матери моей, обещался вступить в посредство и уговаривать нашего соперника. Однако как все сие не могло скоро совершиться, то мы принуждены были, ничего не сделав, возвратиться в деревню, и оставили только стараться и хлопотать по сему делу нашего повереннаго.

Горестное сие для нас дело продлилось большую половину лета и почти по самую осень. Сколько это было взад и вперед посылок и переездов и сколько пролито слез! Но наконец кончилось действительно миротворением. Соперника нашего кое-как уговорили помириться, и мы принуждены были согласиться отдать ему не только его беглую жонку, но вкупе с ея мужем и со всеми детьми и двором, в котором она жила, и перевезть его на своем коште в его деревню, а сверх того, заплатить ему еще 800 рублей деньгами. Убыток сей был для нас хотя весьма чувствителен, а особливо потому, что толикаго числа денег мать моя в наличности не имела, но принуждена была для выручения оных распродать и последние пожитки и вещи отца моего, а некоторое количество еще и призанять; но мать моя, сколько ей все сие несносно было, рада была, по крайней мере, тому, что от врага своего избавилась. Для заключения сего мира принуждена была еще раз со мною в Каширу ездить и еще раз мучиться. Но как бы то ни было, но

дело сие наконец кончено, и мы, удовольствовав своего злодея, возвратились в деревню и начали жить по-прежнему, в тишине и спокойствии.

Теперь, не ходя далее, надобно мне заметить, что сопернику нашему не пошли впрок наши деньги и люди. На него самого случились вскоре потом какия-то напасти, а что всего паче, то судьба поразила его тяжкою и долговременною болезнию, и он в достальные годы своей жизни влачил дни свои в жалком состоянии. Наконец, не имея детей мужескаго пола, лишился он и своей деревнишки. Она перешла из рук в руки, и досталась ныне г. Огаркову, а его имя и память погибли совсем с шумом из пределов наших.

Между тем как все сие происходило, продолжал я прежния мои упражнения. Однако с наступления лета прилежность моя была далеко уже не такова велика, как прежде. Частыя выхождения в сады, на двор, в рощи и на пруды, отвлекали меня от учения, а сообщество с одними только ребятами поразвратило гораздо прежнее мое постоянство и благонравие. Они приучили меня ко всяким играм, беганию и резвостям, из которых были инья нимало с прежним моим характером несообразныя и подвергающия меня иногда самым опасностям. Все сии безпутныя упражнения скоро я так полюбил, что за ними мало-помалу начал отставать от своих прежних дел и занимался ими большую часть времени.

Сие не могло укрыться от глаз моей родительницы. Она любила меня хотя чрезвычайно и охотно позволяла мне иногда погулять и порезвиться, однако неумеренность в том и теряние на то слишком много времени, было ей весьма неприятно и подавало нередко повод ей к неудовольствиям и досадам на меня. Скоро исчезли уже все прежния мне похвалы и всем моим делам одобрения, но она начала меня уже и побранивать и неволею заставлять сидеть и учиться. Нередко стало случаться, что она, поставив меня в ногах у своей кровати, предпринимала меня всячески тазать¹ и продолжала иногда тазанье таковое с целый час времени. Все сие, а особливо тазания ея, были мне весьма неприятны. Я хотел бы лучше высечен быть розгами, нежели выслушивать таковыя ея предики² и нравоучения; но что было делать, я принужден был повиноваться ея воле и переносил гнев ея терпеливо, ибо признаться надобно, что сколько я ее любил, столько ж и

¹ Журить, бранить, бить, таскать за виски.

² Наставления, выговоры.

боялся. Человек была она очень нравный, могла легко подвигнута быть на гнев, и в сем случае должны были все молчать и повиноваться ей воле.

Со всем тем все ее тазания не великое производили во мне действие. Привыкнувши однажды к резвостям и получивши в них вкус, не так легко мог я отстать от оных. Я продолжал оныя, но старался более уже утаивать и скрывать от матери мои шалости. Но много и скрыть было не можно, как, например, однажды, как не лежала она в своей постеле, а была в моей комнатке и молилась Богу, играл и резвился я на ее постеле с любимую ее кошкою. Тут пришло мне в голову спрятать ее под одеяло, чтоб повеселиться ей под ним ворчаньем, а потом предпринял я еще того глупейшее дело: я, схватя претолстую палку и хотя ее тем испугать, ударил по одеялу. Но несчастье мое хотело, чтоб я ударом сим ошибся; вместо того, чтоб по намерению моему ударить подле самой ее и в пустое место, попади я прямо в нее по самой голове оной. Бедная кошка подняла преужасный крик и чрез минуту от того околела. Господи помилуй! Какая поднялась тогда на меня гроза и буря от моей матушки. Мне кошки сей было хотя столько ж жаль, сколько ей, ибо любил и я ее не меньше, как и она, и дело сие произошло хотя от нечаянности, и я сам по кошке плакал, но статочное ли дело, чтоб принять что-нибудь в уважение. Я принужден был с битый час вытерпливать ее брани и тазания и пребыть дня с три под ее гневом.

В другой раз довел я резвостями своими ее до того, что чуть было она меня совсем не высекла. Но, правду сказать, было и за что. Находился у нас в доме взятый на воспитание один солдатский сын, пребеглая и пребойкая особа. Он был наилучший мой в резвостях сотоварищ и всему злу заводчик и производитель. Вышедши однажды за ворота на улицу, увидел я сего вертопрашного малаго, стоящего подле пруда, на самом краю возвышенного и крутого берега и ко мне спиною. И тогда приди мне что-то в голову подкрасться к нему и столкнуть его с берега в воду. Хотелось мне его только обмочить и посмеяться, ибо ведал, что он, по умению своему плавать, утонуть никак не мог; но что ж воспоследовало? Не успел я к нему подкрасться и, собрав все силы, толкнуть, как проклятый он, по проворству своему, отвернулся, а я с размаха полетел с берега сам в воду. Не умея совсем плавать, и по глубине сего места в пруде чистехонько мог бы я тогда утонуть, ибо я весь окупнулся, и поплыла только моя шляпа, если б сама судьба не захотела и на сей раз спасти жизнь мою, и власно как

нарочно сделала то, что на самый тот раз случилось в самой близости от того места несколько баб, моющих на примостке платье. Оне, увидев сие, бросились и вытащили меня из воды.

Не успел я от страха и испуга, учиненнаго сим падением, опаматоваться и придти в себя, как напало на меня превеликое горе. Вода текла с меня ручьями, не осталось ни одной сухой нитки на всем моем платье. Что было делать? Как иттить в таком наряде домой и показаться к моей матери? Чего и чего не должен я ожидать за сие от ея строптиваго нрава? Наконец присоветовали мне бабы послать скорее за другим и сухим платьем и переодеться и чрез самое скрыть происшествие сие от моей родительницы. Совет был благ. Я его тотчас исполнил; но мне не удалось воспользоваться его плодами. Мать моя прежде о том сведала, нежели я думал и ожидал. Бездельница, одна маленькая девчонка, случившаяся тогда на улице, как я упал в воду, увидев сие, благим матом¹ побежала в хоромы и рассказала все дело находящимся там женщинам и старушкам. Мать моя вслушалась нечаянно в разговор их и принудила запирающихся их в том пересказать себе все девчонкою им сказанное, и услышав, что я упал в пруд, обмерла и испужалась, ибо сочла меня уже погибшим и утонувшим. В отчаянии, не знала она что делать и, неудовольствуясь тем, что отправила не только послов одного за другим, для точнейшаго обо мне распроедования, встала сама с постели и хотела идти на пруд, но, по счастью, вышедшую ее уже из хором первые посланные останавливают и, обрадовав уведомлением, что я жив, рассказывают в подробности все происшествие. Тогда страх и отчаяние ея переменялись в превеликий на меня гнев и досаду. Она положила неотменно меня за сие высечь и велела принести и приготовить хорошия уже розги.

Вскоре потом привели и меня, раба Божия, к ней. Я обмер и испужался, как услышал, что мать моя обо всем уже ведала, и заверное полагал, что меня высекут.

– Поди-ка сюда! поди дружок! – закричала мать моя, меня завидев; но я, не дав ей более говорить, повалился ей прямо в ноги и говорил только: Виноват, матушка! что хотите, со мной делайте, случилось сие нечаянно, и я сам тому не рад.

Она, не внимая моим словам, схватила уже розги и хотела сечь, но я,

¹ Во всю прыть, изо всех сил. У нас осталось «кричать благим матом».

схватив ея руку, целовал оную и обливал слезами, прося об отпущении вины моей и о помиловании, заклиная себя, что впредь того делать не стану. Все сие умягчило наконец гнев ея. Она не стала меня сечь, но предиду принужден я был вытерпеть преужасную, а сверх того не дозволено мне было несколько дней сходить с места, и я должен был безпрестанно учиться, покуда, наконец, сжалилась она надо мною, и дозволила сама опять выходить на двор, взяв только с меня клятву, чтоб я все таковыя безпутства оставил.

Несколько недель после того случилась со мною третья бедушка, но от которой, против чаяния моего, я удачно отделался. Был у меня нарочно сделан маленький и преострый топорик. Им рубливал и тесывал я, во время резвостей моих, что ни попало. Ходючи однажды с ним и вышед на улицу, увидел я, что плотники у нас рубили сруб на избу. Легкомыслие мое внушило мне охоту пойти к ним и помогать им рубить своим топориком. Но как сидели они на срубе высоко и мне к ним взлезть было не можно, то, увидев лежащий подле сруба на земле один обрубок от бревна, начал я над ним по-своему плотничать. Несколько минут рубил я все хорошо и порядочно, но один удар топором был весьма неудачен. Топор каким-то образом с конца обрубка, который я сглаживал, соскользнулся и попал мне прямо в правую ногу, в самое то место, где пускают обыкновенно кровь из ноги. Весь узг¹ топора ушел у меня в башмак и произвел рану в полвершка величиною, и я истинно не знаю, как не пересек я жилы и не испортил тем совсем ноги. Но видно, что судьба хотела меня и в сем случае спасти: удар пришелся вдоль по жилам и между оных и не повредил ни жилы, ни кости. Но мое великое счастье было то, что рубил я в сей раз одною, а не обеими руками и не вразмах.

Но как бы то ни было, но, учинив сие, обер я и испужался. По счастью, не видал сего никто; плотники сидели на срубе и продолжали свою работу. Я, приметив сие, положил возможным образом стараться скрыть сие дело и как можно не допустить до сведения моей матери. Чего ради, удержавшись от крика и вопля, схватил я с находившейся подле самага того места дороги несколько густой грязи и замазав ею все просеченное на башмаке место, побежал в хоромы. Но кровь, сияющаяся из раны, на половине дороги отбила всю мою замазку. Я, приметив сие, пу-

¹ Угол, нижний конец топора.

стился прямо мимо хорм на огород. Тут, не будучи никем видим, залепил и умазал я вновь свой башмак, как хотел, землею, и как увидел, что кровь не стала более отбивать землю, то пошел в хоромы, сел за свои книги и не сходил до самага вечера уже с места. До сего времени ни одна жадная душа не ведала о сем происшествии; но как наступил вечер и надобно было мне раздеваться, то по необходимости должен я был открыться моему камердинеру. Был тогда оным у меня малый, по имени Дмитрий, и самый тот, который ныне у нас портным. Я взял с него клятву, чтоб он никому не сказывал, и рассказал потом свое несчастье. Тогда оба мы начали заботиться о том, как нам скинуть башмак и чулок с ноги. Мы не инако думали, что нога моя опухла. Однако, сколь велико удивление мое было, когда, при скидывании башмака и чулка, не чувствовал я почти никакой боли. А того еще больше удивился я, когда увидел, что рана моя была хотя превеликая, но вся наполнена власно как новым телом. Сколь я тогда еще ни мал был, но, увидев такое странное явление, заключал, что, конечно, произвела сие действие земля и грязь, которою я без всякаго умысла рану свою замазывал, и после открылось, что я в мнении своем нимало не обманулся; ибо, как заметив сие тогда ж, начал я в последующее время пробовать лечить всякия свежия раны землею, то увидел и чрез безчисленные опыты над собою и над другими удостоверился, что земля залечивает все свежия раны лучше и скорее всех пластырей на свете, а нужно только, чтоб она была не сухая, а смоченная и смятая наподобие теста.

На другой день, вставши и надев башмак, хотя и чувствовал я небольшую боль, принуждавшую меня несколько хромать, однако боль сия была так мала, что хромание мое было почти вовсе неприметно. Однако, боясь, чтоб каким-нибудь образом мать моя онаго не приметила, решился я весь тот день сидеть и, не сходя с места, упражняться в чтании и писании. Сначала было матери моей сие совсем неприметно; но как я таким же образом и весь последующий, а там и третий день сидел безпрестанно за книгами, то показалось матери моей сие странно и удивительно.

– Что ты, Андрюшенька, – говорила она мне, – вдруг таков прилежен стал и который уже день никуда не выйдешь погулять-себе?

– Не хочется что-то, матушка, – ответствовал я, – а к тому ж давно не твердил своих наук и боюсь, чтоб не позабыть оных.

– Это очень хорошо, дитя мое, – сказала она на сие, – однако все погулять бы сколько-нибудь можно.

Что было тогда делать? Я принужден был встать и идти в сады. Но, по счастью, рана моя в сии три дня совсем почти зажила, и я мог уже ходить тогда не хромаючи.

Сим образом кончилось тогда сие происшествие, и родительница моя не узнала об оном по свою кончину.

Что касается до прочих, в сие лето бывших, происшествий, то помню я только два, некотораго замечания достойных. Первое состояло в том, что мать моя однажды ездила со мною для богомолья за Серпухов к Рышковской Богородице, в котором путешествии сопутствовал и отец Илларион верхом на своем коне. А второе гораздо было важнее и состояло в том, что родительница моя нечаянным образом вывихнула у себя ногу в самой нижней щиколке, и так, что ее исправить было никак не можно.

Случилось сие при особливом случае. Каким-то образом и не помню уже зачем, вздумалось живущему подле нас дяде моему родному удостоить нас своим посещением. Мать моя на самую ту пору сошла только с своей кровати и хотела войти в мою спальню. Но лишь только переступила она одною ногою чрез порог, как прибежали к ней без души сказать, что идет Матвей Петрович и уже входит в хоромы. Неожиданность такого известия и обстоятельство, что была она совсем не одета, так ее потревожили, что она второпях как-то вдруг и скоро обернулась назад, спеша придти скорее на кровать, и в самую сию несчастную секунду повредила себе ногу.

Как сначала боль была невелика и сносна, то думали, что сие пройдет само собою. Однако в мнении сем все обманулись, боль начала со дня на день увеличиваться и мать мою беспокоивать от часу больше. Принуждены были ее править, но как и сие не помогало, то лечить всем, что кто знал; но сколько ни лечили, но не произвели никакой пользы; а окончилось сие тем, что родительнице моей не можно уже было по самую кончину свою одевать на ту ногу башмак, но она принуждена была приказать шить из войлока некоторый род просторной туфли, и в оной уже хаживала, когда ей с постели своей сходить надлежало.

Между всеми сими происшествиями прошло, наконец, лето. Наступила осень и приближалась зима. Матери моей сколько ни не хотелось, по болезни своей, меня от себя отлучить, однако она заключала, что я, живучи при ней, совсем изшалюсь и избалуясь и не только не выучу ничего вновь, но и все выученное позабуду, имела столько духу, что решилась отправить

меня в Петербург, как скоро зимний путь настанет, и потому заблаговременно уже делала все нужные к тому приготовления. Сопутниками мне назначены были дядька мой, Артамон, и еще один молодой малый по имени Яков. Лошадей же велено было нанять из Москвы до Петербурга.

Как скоро зимний путь настал, то родительница моя не стала медлить ни одного дня, но, собрав меня совсем и снабдив всем нужным на дорогу и для петербургского житья, собрала всех своих родственников и, предав покровительству небес, меня в путь мой отпустила.

Разставание у нас с нею было наинежнейшее. Она обливала меня слезами и целовала в лоб, глаза, щеки и губы; я плакал не меньше оной и целовал у нея обе руки. Все бывшие при том присоединяли слезы свои к нашим, ибо никто не мог утерпеть, чтобы не плакать; наконец, благословив меня образом и надавав тысячу благословений и еще раз меня расцеловав и обмочив своими слезами, простилась она и отпустила. Увы! сие было в последний раз, что она меня, а я ее видел. Минута сия толико мне памятна, что и поныне наживейшим образом впечатлен в уме моем ея образ и тогдашнее разставанье.

Сим окончу я мое теперешнее письмо, а в последующем расскажу о своем путешествии и петербургскую жизнь: я есмь и прочее.

ПРИЕЗД В ПЕТЕРБУРГ

Письмо 17-е

Любезный приятель!

Приступая к описанию путешествия моего и петербургской жизни, о первом скажу, что мне все оное почти двумя словами описать можно. Мы приехали в Москву благополучно; а тут, отпустив своих лошадей в деревню, а сами наняв ямских, пустились далее, и как дорога была хорошая и можно было верст по 80 на день ехать, то доехали мы до Петербурга скоро и благополучно. Не было с нами во всю дорогу ни одного такого приключения, которое бы достойно замечено быть, а старанием дядьки моего был и я всем доволен.

Что принадлежит до второй, то есть до петербургской жизни, то найдется многое кой-что, о чем пересказать вам можно.

Как мы адресованы были к дяде моему, Тарасу Ивановичу Арсеньеву, служившему еще и тогда ротмистром в конной гвардии и жившему сего полку в светлицах, то и приехали мы прямо к нему. Дядя мой меня уже давно дожидался, ибо писал уже несколько раз к матери моей чтоб меня присылала и что у него есть уже место на примете, где б мне учиться.

– Насилу-насилу прислала тебя мать! – сказал он меня увидев. – Давно бы, мой друг, пора! Небось ты, живучи с целый год в деревне, все выученное позабыл.

– Никак, дядюшка! – отвечивал я, – а я все старался твердить.

– Уж знаем мы! – сказал он на сие, – каково бывает ваше тверженье. Но, добро, добро, хорошо, что невестка тебя прислала.

Сказав сие, приказал он выбираться из повозок и мне одеться получше, ибо я был в дорожном платье.

На другой день повез он меня с собою в коляске в тот знакомый ему дом, в котором надлежало мне учиться и где им приговорен уже был учитель. Дом сей отстоял от нас не близко и гораздо более версты и принадлежал одному при строениях дворцовых определенному старичку генералу по имени *Якову Андреевичу Маслову*, самому тому, который, в последующия времена будучи генерал-аншефом¹, постригся в монахи и несколько лет препроводил в духовном чине и был сперва иеромонахом, потом игуменом, а наконец, архимандритом. Дяде моему знаком был сей человек потому, что был он сосед ему по деревням, а сверх того, и любил его. В доме у него жил тогда учитель-француз для обучения детей генеральских; и с сим-то учителем, с дозволения господина Маслова, условился дядя мой, чтоб ему меня учить, и мне бы всякий день поутру и после обеда приходиться в сей дом для учения. Я представлен был и учителю, и господину Маслову; дело было в единый миг кончено и положено, чтобы я в последующий же день учинил начало.

Между тем как мы туда ездили, дядьке моему поручено было сыскать для другого моего слуги какое-нибудь место и работу, чтоб не было нужды кормить его по-пустому. Дядька мой и нашел ему работу на канатном дворе столь выгодную, что он не только мог сам себя пропитать, но выручаемых денег довольно оставалось и на заплату за меня учителю моему: итак,

¹ En chef. В XVIII в. генерал-аншеф сперва означал главнокомандующего; позже этот чин означал полного генерала.

оно мне ничего почти не стоило. Дядя был сим очень доволен и приказал в тот же день отправить его на фабрику.

Дом, в котором жил дядя мой, был хотя нарочито велик, но ему ассигнована была только одна половина онаго, а в другой жил другой офицер. Половина сия содержала в себе только четыре просторныя комнаты. Первая составляла переднюю или залу, отправляющая также должность столовой, вторая дяди моего спальню, и оба сии покоя были обиты обоями и порядочно убраны; а из других двух задних одна была детскою, а другая и лакейскою и девичьею. Мне ассигновано было место спать в зале, где подле печки поставлена была моя кровать.

Дядя мой, будучи порядочный и степенный человек, жил, как говорится в пословице, ни шатко, ни валко, ни на сторону. Мотать он не мотал, жил не слишком роскошно, и в доме у него все было хорошо и порядочно. Он имел у себя молодую тогда и вторую жену и маленького на руках еще сына. Катерина Петровна – так звали его жену – была боярыня молодая и модная и великая щеголиха. Он любил ее чрезвычайно; однако она должна была во всем повиноваться его воле и ничего лишняго не затевать. Несколько человек отборных друзей, живущих таким же образом, как он, составляли наиболее их компанию и делили с ними свое время. В особенности же дружен с ним был тогдашней конной гвардии секретарь, Дмитрий Михайлович Буткевич. Поелику и у сего офицера была также жена и притом таких же почти лет и свойств, как моя тетка, то обе сии дамы связаны были неразрывною любовью и езжали очень часто друг к другу. Во время сих съездов препровождали оне время свое наиболее в игрании в карты, ибо тогда зло сие начало входить уже в обыкновение, равно как и вся светская нынешняя жизнь уже получала свое основание и начало. Все что хорошею жизнью ныне называется, тогда только что заводилось, равно как входил в народе и тонкий вкус во всем. Самая нежная любовь, толико подкрепляемая нежными и любовными и в порядочных стихах сочиненными песенками, тогда получала первое только над молодыми людьми свое господствие, и помянутых песенок было не только еще очень мало, но оне были в превеликую еще диковинку, и буде где какая проявится, то молодыми боярынями и девушками с языка была неспускаема.

Со всем тем карточная игра не была еще в таком ужасном употреблении, как ныне, и не сиживали за картами и до обеда и после обеда и во всю почти ночь не вставаючи. Нынешних вистов тогда еще не было, а ломбер и

тресет¹ были тогда наилучшие игры, да и в те игравали только по вечерам. В прочее ж время упражнялись в разных и важных разговорах. В сих разговорах обыкновение тогда было упражняться в особенности за ужинами и за обедами. По целому иногда часу и более сидели они наевшись и ничего иного не делая, кроме что упражняясь в разговорах.

Для меня сей род жизни был совсем нов и необыкновенен, но я принужден был с оным сообразоваться и могу сказать, что привык к нему очень скоро. Я вел себя тут очень степенно, а, правду сказать, причиною тому было то, что, с одной стороны, боялся я очень дяди, оговаривающего меня тотчас, как скоро я что-нибудь непристойное дельвал, а с другой не было в доме никакого мне сверстника, с которым бы мне можно было резвиться; итак, поневоле должен я был быть тихим, кротким и степенным. Днем хаживал я обыкновенно в дом к господину Маслову учиться, а ввечеру препровождать время свое не в людской и не с людьми, а в спальне дяди моего, со всеми гостями и, сидючи за стулом, смотреть, как они игравали, и слушать их разговоры. Но никогда разговоры их не были мне так скучны, как за ужином: нередко случалось, что, уставши днем от ходьбы, а вечером от стояния смерть спать хочется; но я принужден был вместе с прочими часа два просидеть за ужином и слушать разговоры, ибо, к несчастью, кровать моя стояла в сей комнате и мне выйтить и лечь было не можно.

Сим образом, и не бранью и не жестокостью, а все ласками и оговариваниями, в короткое время дядя так меня вышколил, что я стал совсем другой ребенок и во всем моем поведении так переменялся, что скоро как дядя, так и тетка, а не менее и приезжавшие к нам гости начали меня удостоивать своими похвалами и делать мне более уважения, нежели прежде. Оно приобщали меня даже к своим увеселениям, научили меня играть в тресет и я должен был иногда делать компанию боярыням. Когда же ознакомился уже более, то случалось, что когда заводили они танцы, то и я должен был танцевать вместе с ними, или, по крайней мере, в контратанцах помогать делать фигуру. Случалось ли когда выезжать им целою компаниею гулять, например в летнее время на Каменный остров, или в иное место, то бирали меня с собою и т. д.

¹ Ломбер (L'homme) – в настоящее время забытая карточная игра между тремя игроками; двое играют против третьего. Возникла в XIV в. в Испании. В России была распространена во второй половине XVIII в. От этой игры получил название ломберный, то есть карточный, с сукном, стол. Тресет – тоже забытая карточная игра.

Все сие было для меня приятно, и я скоро получил вкус в жизни сего рода, и могу сказать, что как дом господина Маслова был мне училищем для наук, так дом дяди моего был для меня училищем светской жизни и хорошему поведению. С сей стороны я много обязан сему любившему меня родственнику, а не менее и тетке, его жене. Она не менее старалась меня исправлять, как и он, и я попечением и старанием ея обо мне был очень доволен и имел к ней искреннее почтение, и потому охотно исполнял поручаемыя ею мне комиссии. Она, узнав, что я умею рисовать, заставляла меня иногда делать для себя некоторыя рисунки; но ничем я ей так не угодил, как разрисованием одного ларчика: я употребил к тому все мое искусство, и она была работою моею очень довольна.

Не менее также доволен я был одним, бывающим почти всякий день у дяди моего, гостем. Был он того ж полка офицер по фамилии Лихарев, но находился под каким-то следствием, и потому хаживал обыкновенно все в тулупе. Поелику был он человек весьма разумный и в компании веселый и шутливый, то любил его мой дядя, и он хаживал к нам почти всякий вечер. Сей человек, узнав, что я имею склонность к наукам и чтитию книг, отменно меня за то полюбил и нередко разговаривал со мною о разных материях. Он принес ко мне однажды рукописную книгу и, отдавая для прочтения, сказал, что он обо всем будет меня спрашивать и чтоб я читал со вниманием. Но таковое напоминание было для меня не нужно. Книга сия была для меня очень любопытна, и как я сего рода книг никогда еще не читывал, то в немногия дни промолол я ее всю, а не удовольствуясь одним разом, прочел и в другой раз и мог ему пересказать все по пальцам. Г. Лихарев удивился, услышав о том, что я ее в такое короткое время прочел уже два раза, и был охотою и вниманием моим так доволен, что подарил меня сею книгою. Я обрадовался тому до чрезвычайности и не знал, как возблагодарить ему за оную. Составляла она перевод одного французскаго и прямо можно сказать любовнаго романа под заглавием «Эпаменонд и Целериана» и произвела во мне то действие, что я получил понятие о любовной страсти, но со стороны весьма нежной и прямо романтической, что после послужило мне в немалую пользу.

Сим образом препровождал я жизнь в доме у моего дяди и столь порядочно, что не помню, чтоб я однажды сделал какую шалость и подал повод дяде моему бранить меня за то. Словом, весь дом был мною доволен, и все любили меня и хвалили.

Но теперь время рассказать мне вам и о доме г. Маслова и о том, как я учился в оном. Отстоял он от нас, как выше упомянуто, не близко, ибо находился неподалеку от церкви Сергия Чудотворца и за Литейным двором и ходить мне было в оный нарочито далеко, однако, по ребячеству своему, я скоро к тому привык; иногда хаживал я туда один, а иногда провожал меня дядька, и путь сей, а особливо в летнее время, был мне очень приятен, а нередко и сокращал я оный, купив на дороге себе изюма и лакомясь им по яголке. Лавочник, сидящий на дороге в лавочке, уже так к тому привык, что отвешивал обыкновенные мои четверть фунта заблаговременно и меня только завидев: изюм был тогда в Петербурге очень дешев, и на порцию мою в день исходило только три денежки, ибо фунт продавался по 6 копеек.

Дом у господина Маслова был хотя превеликий, но как он имел четырех сыновей, из коих старший, по имени Михаил, был уже капитаном, а средний, по имени Степан, гвардии сержантом, и оба они были большие, то целая половина дома содержала в себе комнаты, в которых жили его дети, так что нам с обоими его младшими детьми, Иваном и Андреем, не оставалось во всей сей половине места для учения, и мы принуждены были учиться у самого генерала в передспальне. Оба мои товарища были несколько меня постарее, и оба были очень резвы и к учению тупы, а особливо меньшей самый. Что ж касается до другого, то был он хотя пылкаго и горячаго темперамента и малый весьма ветреный и бойкий, но к учению был также неприлежен.

С обоими ими свел я скоро дружбу и знакомство. Для нас поставлялся обыкновенно ломберный столик посреди передспальни, и тут должны мы были сидеть и учиться, наблюдая возможнейшую тишину и благопристойность.

Что принадлежит до учителя нашего, то был он родом француз и человек еще очень нестарый. Звали его г. Лапис и наивеличайший недостаток его состоял в том, что он не умел ни одного слова по-русски, а столь же малое понятие имел он и о немецком языке. Сие обстоятельство причиною тому было, что и в сей раз немецкий мой язык принужден был спать, и я чем далее, тем более позабывал оный. Но тогдашнее учение мое и французскому языку было самое бедное и весьма-весьма недостаточное. Великое счастье было еще то, что я сколько-нибудь умел уже по-французски, а то истинно не знаю, как бы он стал меня учить, не умея по-русски ничего рас-

толковать и изъяснить. Не понимаю я и поныне, как таковыя учителя учат детей в домах многих господ, а особливо сначала и покуда ученики ничего еще не знают. Господин Лапис был хотя и ученый человек, что можно было заключить по безпрестанному его чтанию французских книг, но и тот не знал, что ему с нами делать и как учить. Он мучил нас только списыванием статей из большого французского словаря, изданного французскою академиею, и в котором находились только о каждом французском слове изъяснение и толкование на французском же языке; следовательно, были на большую часть нам невразумительны. Сии статьи, и по большей части такая, до которых нам ни малейшей не было нужды, должны мы были списывать, а потом вытверживать наизусть без малейшей для нас пользы. Тогда принуждены мы были повиноваться воле учителя нашего, и все то делать, что он приказывал. Но ныне надседаюсь я со смеха, вспомнив сей род учения, и как бездельники французы не учат, а мучат наших детей сущими пустяками и безделицами, стараясь чем-нибудь да провести время.

Словом, если б не пользовало нас то, что мы, как с учителем, так и между собою говорили всякий день по-французски и чрез то не твердили язык сей от часу больше, то не знаю, какую б пользу мог я получить от тогдашняго учения. Не упражнялся я ни в чтении книг, ни в переводах, которыя б всего нужнее мне были, а особливо с русскаго на французский. Учитель наш не в состоянии был помогать нам в сем случае, да и вообще не прилагал он дальняго об нас старания, а только и все его дело было, что заставлял нас писать и учить наизусть. Прочее ж время упражнялся он все в чтении.

Таким образом не получил бы я в сем месте дальней пользы, если б не случилось одного побочнаго обстоятельства, которое нечаянно послужило мне в особливую пользу и подало повод выучиться целой иной науке, которой я вовсе не учен был. – Как оба сотоварищи мои записаны были в артиллерию и были сержантами в оной, то восхотелось старику генералу выучить их арифметике и геометрии как таким наукам, которыя были им необходимо надобны. Приговорен был для сего один артиллерийский капрал, и положено, чтоб ходить ему в дом сей после обеда в каждый день и учить детей генеральских. Что касается до третьяго и середняго сына, то сей упражнялся тогда в черчении фортификации, в своих комнатах, и для обучения его жил тут в доме инженерный кондуктор¹ г. Пучков.

¹ Воспитанник инженерного училища.

По особливому счастью моему, оба товарища мои были крайне безтолковы и непонятны, и учитель бился с ними как с крайними невежами. Он принужден был всякую вещицу им раза по три и по четыре перетолковывать и насильно вбивать в голову. Как сидели они со мной за одним столиком и я все сие видел и слышал, то смешное из сего вышло: их учили, но они не выучились, а меня хотя не учили, но я выучился совершенно. Помогла к тому много собственная моя охота, ибо мне науки сии так полюбились, что я, приходя ввечеру домой, все то записывал, что я днем слышал. Я достал себе циркуль, рейсфедер и транспортир и без всякаго указательства начертил и написал себе всю полную геометрию и понял ее довольно совершенно. Хотелось было мне таким же образом получить понятие и о фортификации, которой учился средний генеральский сын, Степан; но как мы в покои его редко хаживали и при нас учитель ему ничего не толковал, то и не можно было мне в желании моем иметь дальняго успеха. Однако я старался колико можно ходить туда чаще и сматривать, как они чертят планы, и получил по крайней мере о сих довольно понятие.

Сим образом продолжал я учение мое не только всю зиму, но и половину тогдашняго лета, и к жизни сего рода так уже привык, что она мне сделалась весела и приятна. Но спокойствие моего духа нарушено было в июне получением нечаяннаго известия из Москвы, что родительница моя в деревне скончалась. Первое известие о сем печальном приключении сообщил мне мой дядька, оно поразило меня как громовым ударом. Однажды после обеда, пошед меня провожать в школу, стал он мне говорить на дороге, что есть из Москвы письмо, что матушка моя очень больна. Сердце мое затрепеталось при сем слове и пронзилось, власно как ножом.

– Ах, Артамонушка, голубчик! – подхватил я скоро его слово. – Уж не скончалась ли она? Скажи мне, ради Бога!

Тогда сказал он мне, что еще апреля 23-го числа был тот несчастный день, в который преселилась она в вечность. Боже мой, какую горестию и печалью поразилось тогда мое сердце! Я стенал, рыдал и плакал и с целую четверть часа не мог сойти с места. Казалось, что все стихии для меня переменились. Все уговаривания дядьки моего не помогали; но наконец принужден я был дать себя уговорить продолжать путь свой далее. Однако худое ученье было уже в тот день; я и там несколько раз принимался плакать.

Таким образом, лишился я и моей родительницы и остался совершенным уже сиротою на четырнадцатом году моего возраста. Я узнал после, что она с самага моего отъезда начала час от часу слабеть более и, наконец, по вскрытии весны, сама заметила уже приближающуюся свою кончину и приготовилась к оной по христианскому долгу. Она скончалась в совершенной памяти и погребена была в приходской нашей церкви, под самым правым клиросом¹. Дядя мой примирился с нею пред ея кончиною и имел попечение о ея погребении, а окончив сию печальную церемонию, взял на себя попечение о нашем доме и управление деревнями до моего приезда.

Происшествие сие произвело паки во всех моих обстоятельствах великую перемену. Я сделался тогда совершенным властелином над всем нашим имением и деревнями, но властелином весьма еще к правлению оными неспособным.

Что со мною случилось далее, о том расскажу вам, любезный приятель, в последующем письме, а сие окончив, сим остаюсь и прочее.

ЗАМЫСЛЫ О ПОЕЗДКЕ В ДЕРЕВНЮ

Письмо 18-е

Любезный приятель!

Теперешнее письмо расположился я наполнить почти сущими пустяками и безделками и рассказать вам в оном нечто смешное. Но наперед расскажу вам несколько и дела. Известие о кончине матери моей произвело во мне великую перемену. Мне казалось, что тогда могу уже я делать что хочу и быть поступков своих совершенным господином. К дяде моему я хотя прежняго высокопочитания не потерял, однако рассуждал, что с таким подобострастием его бояться как прежде мне уже не годилось и было бы излишним. Голова моя стала наполняться тогда уже иными замыслами, и охота жить долее в Петербурге и по-прежнему учиться мало-помалу исчезать стала. Дядька мой поддувал² меня ежедневно. Он то и дело мне напоминал, что теперь помышлять мне надобно уже и о доме, что там все без меня разорится, а особливо если я скоро домой не приеду и так далее.

¹ Клирос – церковнославянское слово, обозначающее место в церкви для певчих.

² В смысле подговаривал.

В самом же деле ему самому нетерпеливо хотелось скорей домой ехать, он имел там жену и детей, да и, впрочем, не думал, чтоб ему там худо было. Он не сомневался, что при тогдашних обстоятельствах будет он при мне первым человеком, и потому иметь иногда случай ловить в мутной воде рыбу. Но как бы то ни было, но мне представления его были непротивны, и мы начали совокупно оба стараться искать удобнаго средства к нашему отъезду и к скорейшему освобождению себя из-под власти дядиной. Однако все наши замыслы долго уничтожаемы были твердым предприятием дяди моего удержать меня в Петербурге по крайней мере до зимы, дабы мне сколько-нибудь понаучиться более было можно. Все первыя представления мои об отпуске меня домой были отвергнуты, и я нехотя принужден был продолжать науки и ходить по-прежнему в дом к господину Маслову.

Со всем тем как дожидаться до зимы казалось нам слишком долго, то дядька мой не преминул выдумывать возможнейшия средства к сокращению сего термина¹ и убедил меня, наконец, употребить самый бездельнический обман против моего дяди. Он присоветовал мне отписать тайным образом к большей моей сестре во Псков и, уведомив ее о кончине матери нашей, просить, чтоб она прислала за мною лошадей и коляску, а между тем и около того времени, как быть коляске, всклепать² на генерала Маслова, что он хочет ехать в Москву и взять с собою детей и учителя. И как ему не трудно было меня ко всему уговорить, то постарался он найтить и случай к пересылке письма во Псков. Я исполнил по его хотению и, отправив письмо, стал с спокойнейшим духом ходить для продолжения наук своих.

И тогда-то случилось со мною то смешное происшествие, о котором обещал я вам рассказать. Состояло оно в том, что меня недуманно-негаданно в доме у господина Маслова высекли. Это, скажите вы, не смешное, а печальное. Но постойте, любезный приятель! дайте мне выговорить. Секли меня больно, да и очень больно, и досталось и рукам и голове, и кафтану, и плечам. Но что ж далее? а вот то далее, что вы не угадаете, что я тогда во время сечения сего делал. Что иное делать, скажете вы, как плакать или кричать. Но того-то и не бывало, но я вместо того со смеха надседался и чем более меня секли, тем более я смеялся. Что за ди-

¹ Срока.

² Наговорить; этого же корня современное поклеп – напраслина, оговор, клевета.

ковинка, скажете вы: это ненатурально. Я не знаю, натурально ли сие или не натурально было, и вы называйте как хотите, а сие в самом деле было и я расскажу вам теперь сию странную комедию.

Однажды сидели мы с товарищами моими и учились. Вы знаете, что языкам по большей части учатся тихомолкою, а особливо когда затверживают что-нибудь наизусть, а тогда в самом том мы и упражнялись. Учитель наш, задав нам уроки, сел подле окошка и читал французскую книгу. Изрядная хворостина лежала подле него, которую для всякаго случая, а особливо для резвых моих товарищей, носил он всегда с собою и нередко случалось, что он их за шуменье и резвости по рукам ею стегивал. Обстоятельство, чтоб нам не шуметь, а сидеть тихо, а особливо когда генерал, отец их, бывал дома и в послеобеденное время, в побочной подле нас своей спальне отдыхал, было нам накрепко запрещено, и в такое время должны были мы сидеть весьма тихо и вслух ничего не говорить.

Тогда случай был точно такой. Дело было вскоре после обеда и генерал только что заснул в спальне и, к несчастью, нам особливо еще подтвердил, чтоб мы не шумели. Мы и сидели несколько времени как в воду опущенные. Но вдруг нелегкая догадай одного и резвейшаго из моих товарищей, посмотреть из-подо лба, что учитель наш делает, а увидев, что он углубился в чтение книги, захотелось ему над ним пошутить. Он, оборотя голову свою к нему и вытянув губы, ну ими играть пальцем и тем дразнить учителя. Сие брату его так смешно показалось, что он тотчас закуркал, ибо вслух смеяться и хохотать было ему не можно. Говорят, что всякое запрещенное нам охотнее делать хочется, и сие подлинно справедливо, а особливо было сие при тогдашнем случае. И я не знаю, что тогда на нас на всех особое нашло. Кажется, все сие и негораздо смешно было. Или хотя б немного тому и посмеяться, но после и перестать бы можно было, но мы власно тогда как весь свой разумок потеряли. Оба мои товарищи, надрываясь, смеялись и до слез куркали. Я совсем не зная, чему они смеются, но, увидев их надрывающихся со смеху, последовал их примеру и хохотал, не ведая сам чему. Сперва смеялись и куркали мы все еще тихо и умеренно, но мало-помалу начал наш смех громче становиться. Учитель наш, услышав то, и боясь, чтоб мы не разбудили генерала, кричал нам: «He! Messieurs que faites vous». «Эй, господа, что это вы делаете?» Но мы того не слушали. Он спрашивал, чему мы смеемся, но ни один из нас не мог ему за смехом ответить. Наконец, приступил он к одному

из моих товарищей и с сердцем уже требовал, чтоб он сказал, чему мы смеемся. Сей, встав перед ним и куркая с полчаса, хотел было выговорить слово, но вместо того вслух и во все горло захохотал и слюнями всего его забрызгал.

Нам чрез то власно как сигнал был дан. Терпя, терпя, захохотали тогда и мы во все горло; ибо нам сие еще того смешнее показалось. И тогда загорелся огонь и поломя. Учитель наш вздурился, сие увидев. Сперва уговаривал он нас ласкою и убеждал резонами; но увидя, что мы только пуще смеялись, принялся за насильные средства, и тут началась истинная комедия. Он, схватя розгу, ну нас ею по рукам стегать, но мы пуще, не успеет кого ударить, как тот только «ха! ха! ха!» и нас подожжет тем только больше. Не пронявшись тем, ну нас по головам розгою. Но мы пуще; он нас сечет, а мы «ха! ха! ха!» и от смеха только плачем. – Взбесился тогда наш учитель и по горнице вспрыгался. Розгу свою он об нас всю уже изломал. Побежал за другою, но, по несчастию, другой не находил. Сие показалось нам еще того смешнее: когда человек примется хорошенько смеяться, тогда ему все смешно кажется. Мы опять за то же да за то. Учитель нас бранит, ругает, бесится, а мы хохочем; наконец, нечем ему уже нас пронять. Совался, бегал, искал, шарил, но не нашед ничего, чем бы нас ударить, ну в нас швырком книгами; но сие пуще только наш смех умножило. Одну, бросив неосторожно, разодрал, у другой перегнул и испортил доску, третья, отскочив от нас, попала в чернильницу и, проливши чернила, замарала стол и наши бумаги. Боже мой, что тогда поднялось! Мы не в состоянии уже тогда были нимало умеривать свой смех и не хотали, но ревели уже во все горло, все сие увидев. И я не знаю, чем бы кончилась сия комедия, если б шумом и хохотанием своим мы наконец генерала не разбудили. Он кликнул камердинера своего, и мы, услышав сие, начали переставать смеяться. Потом вышел он к нам, и учитель приносил ему на нас жалобы и был так взбешен, что не хотел более жить ни одного дня тут в доме. Мы просили прощения и признавались, что такой беды над нами никогда не бывало и что на нас нашла такая шаль, которой мы сами были не рады.

Да и в самом деле я не помню, чтоб во всю жизнь мою когда-нибудь подобный сему другой случай со мною был. И чудныя поистине со мною происшествия в сем доме были! – В другой раз и гораздо сего прежде, я целый день, сам истинно не зная о чем, проплакал. Но сие было некоторый

род предошущения душевнаго, ибо около самага того времени скончалась в деревне моя родительница.

Вот вам, любезный приятель, истинная пустошь, о которой и упоминать по справедливости труда не стоило б; если б вы не любили смешного, а всходствие того расскажу вам теперь и другое, бывшее со мною в сие же лето в Петербурге происшествие, которое, может быть, также вас усмехнуться заставит.

За короткое уже время до отбытия моего от сего учителя, попался было я, любезный приятель, в превеликия хлопоты. Молодца совсем было под караул подтяпали, и быть было мне в хорошем месте, а именно в госпоже Съезжей или где-нибудь еще хуже. Однако не думайте, пожалуйста, чтоб то за какую-нибудь великую продерзость было. Лета мое не были еще такая, чтоб я мог на зло что-нибудь отважиться, а всему была причиною милая и дорогая незрелость разума и одна только неосторожность.

Было сие уже под осень и в начале сентября. Вам известно, что пятое число сего месяца было в тогдашнее время отменное, ибо в сей день было тезоименитство царствовавшей тогда государыни Елисаветы Петровны и празднован был оный с великим великолепием, и потому деланы были к торжеству сему заблаговременно некоторыя приуготовления. Как г. Маслов был генерал от строения, то и провели мы, что пред Летним дворцом будет в сей день огромная и великолепная иллюминация. Будучи ребенком, можно ли пропустить, чтоб на оной не быть и не посмотреть редкаго такого и приятнаго зрелища? Я испросил дозволение на то от дяди и получил оное.

Иллюминация была в самом деле достойная зрения, и я глаза свои растерял, смотря и любуясь на оную. Она сделана была из разноцветных фонарей, которыя толикими-же разными огнями быть казались. По обоим краям представлено было два храма, а посредине в превеликом возвышении превеликая картина, изображающая родосскаго колосса, стоящаго ногами своими на двух краях гавани, простирающейся в прощпективическом виде от онаго до самых храмов и прикасающейся другими концами к оным. Сей род иллюминации был мне хотя уже известен, однако такой огромной и великолепной я не видывал и потому смотрел на оную с великим восхищением.

Впрочем, надобно вам сказать, что я ходил смотреть сию иллюминацию не один; но один живущий в доме у генерала Маслова его племянник,

г. Торопов, летами меня несколько постарее, и был моим товарищем и предводителем. Дядька мой, Артамон, также за нами следовал. Насмотревшись довольно на иллюминацию, повел меня г. Торопов на крыльцо самого дворца и продрался со мною до самых стеклянных дверей залы, в которой продолжался тогда бал и гремела огромная музыка. Тут представилось зрению моему новое, никогда мною невиданное и не менее прелестное зрелище. Вся зала наполнена была придворными, знатными господами и госпожами; все они были в наилучших убранствах и упражнялись в танцовании. Безчисленное множество свеч, горящих в люстрах и в простенках освещали сию залу. Зрелище толико великолепное: безчисленное множество брильянтов, блистающих на головах у дам придворных, сладкое согласие музыки и все прочие предметы приводили все чувства мои в восхищение. Я не мог всему сему довольно насмотреться, и мне казалось, что в месте сем был сущий тогда рай. Г. Торопов, дав мне зрением сим довольно навеселиться, захотел потом сделать мне еще одно удовольствие и показать мне дворцовый сад, наполненный тогда великим множеством гуляющего народа... Но как было тогда очень темно, то товарищ мой, будучи в артиллерийской службе, достал тотчас несколько факел; артиллеристы не запрещали ему брать из валяющихся пред иллюминацией множества оных. Итак, зяжегши по факелу, пошли мы гулять по саду по примеру прочих, а принуждены были только оставить нашего лакея, то есть моего дядьку, котораго туда с нами не пропустили. Там гуляли мы несколько времени благополучно, и я не мог довольно налюбоваться, видя весь сад наполненный людьми и народом и во многих местах иллюминированный множеством плошек. Но, возвратившись оттуда, не нашли мы Артамона моего на том месте, где его оставили: он не исполнил нашего приказания и, отлучась от того места, замешался между народом. Итак, принуждены мы были искать его между оным. Однако как мы ни старались, но отыскать его не могли, а чуть было и друг друга не потеряли. Наконец положили мы дожидаться, покуда большая часть народа разойдется, надеясь тогда лучше найтить онаго, но сия надежда нас обманула. Мы промедлили чрез то только за полночь, и хотя весь народ уже разошелся, котораго было около дворца превеликое множество, но дядьки моего нигде не было.

Горе тогда напало на меня превеликое. Я почитал его не инако как погибшим и едва только не плакал. Но товарищ мой уговаривал меня и не

сомневался в том, что он ушел домой. В сем мнении он и не обманулся, ибо дядька мой, к несчастью нашему, пред самым только тем временем, как нам выходить из сада, отвернулся на несколько минут в сторону и тотчас потом к дверям сада возвратился и, думая, что мы еще в саду, дожидался очень долго; нам же и не ума было опять приттить ко входу. Наконец, увидел он, что было уже поздно и весь народ из сада вышел, а мы нейдем, заключил, что мы верно вышли и, конечно, ушли домой. Итак, поискав нас немного между народом в темноте, бросился он домой; но, не нашед нас там, пришел в превеликое замешательство и побежал опять искать нас, и таким образом пробегал и проискал нас почти до света.

Между тем грусть и тоска переела почти насквозь мое сердце. Я за стыдом только не плакал и, горюя, не знал, как нам домой одним и такую даль иттить и притом в такую темноту и глухую полночь, ибо разстояние от дворца до нас было превеликое. Но товарищ мой был меня смелее и говорил мне: «Как, братец, тебе не стыдно? чего бояться? Дорогу я знаю, а и в темноте мы не заблудимся, зажжем себе по факеле и пойдем».

Я дал себя ему уговорить. Итак, запаслись мы довольным числом факел и, зажегши две, отправились в свой путь.

Несколько улиц прошли мы с ним благополучно и без всякаго помешательства; факалы наши горели изрядно, и мы, по ребячеству своему, тем веселились. Мы играли ими, вертя кругом и отбрасывая отрывающиеся куски обгорелой факалы; но самыя сии игрушки довели было нас до беды. Не успели мы несколько улиц пройтить и были уже недалече от дома генеральскаго, идучи без всякой опасности, как вдруг превеликий мужичина схватил обоих нас сзади и во все горло заревел: «О! о! попалися! Што за люди? зачем ходите с огнем? Што за игра оным?»

Мы оцепенели тогда оба и не знали со страха, что делать, ибо нам и в голову никакой опасности не входило и мы почитали себя уже почти дома, а того, что с голым огнем в самую полночь по улицам ходить и по-нашему огонек расшвыривать было очень худо и неловко, того ни одному из нас и на мысль не приходило. Со всем тем, товарищ мой не так оробел, как я, и имел еще столько смелости, что с важным видом спрашивал схватившаго нас мужичину, чтоб он за человек был, и говорил ему, чтоб он шел прочь и оставил нас с покоем, а в противном случае он факалою его в рожу съездит. Но храбрость сия недолго продолжалась. Мужичина не успел сего услышать, как еще меньше утивства употреблять с нами начал.

– А, вот я те покажу, што я за человек! – заревел он опять. – Пойдем-ка в будку-та со мной – упрыгаешься! И в самое то время выхватил из рук у него факолу и потащил обоих нас в свою караульню. Тогда легко могли мы заключить, что это был караульщик у рогатки, и что дело доходит до худого. Я трепетал тогда от страха и умолял его всячески. – «Голубчик ты мой! – говорил я ему. – Мы право не знали, что с огнем ходить не велено; пожалуй, отпусти». – «О, о, не знали! – ответствовал бородач. – Вот я вас прочучу; у меня будете знать; а то вы очень бодры. Пойдем-ка сюда».

Товарищ мой, видя, что он начинает нас вправду тащить, забыл тогда более хоробриться и говорил ему уже посмирнее: «Слушай, брат, не заводи шума; мы дети генеральския и дом наш вот на этой улице; не трогай нас и покинь». – «Эк-на! велика мне нужда, што ты сын енеральской, хошь бы фелмаршалской был! пошел-ка, слышь, пошел!..» А увидев, что он начал у него из руки вырваться, закричал: «Постой! не уйдешь-ста» и тянул его уже непорядочным образом. Со всем тем был он мертвецки пьян и не мог удержать г. Торопова: он вырвался у него и дал тягу. Я старался вырваться также, но, по несчастью моему, попался я ему в правую руку, а притом и не имел столько силы. А как товарищ мой вырвался, то он, взбесясь еще пуще, схватил меня уже обеими руками. Я обер тогда и испужался и считал уже себя совсем погибшим. Я умолял его всеми святыми, но ничто не помогало: филистянин мой потрясал только бороною и рыгал из себя и отдувался. Наконец, видя такую беду, начал и я напрягать все мои силы и из рук у него рваться. Но не было никакой возможности из когтей его освободиться, и я не знаю, что бы со мною он сделал, если б нечаянный случай мне не помог. Мужик, видя, что я и руками и ногамн упираюсь и нейду к нему в караульню, разсудил, что ему одному со мною не сладить и стал будить своего товарища и кричал во все горло: «Ванька, а Ванька! Вставай, брат!»

Но любезный его Ванька не лучше его был, но, знать, еще побольше накушавшись, почивал себе, как надобно, и только что-то промурчал. Тогда осердился мой враг и кричал: «Экой чорт! Слышишь, пошел сюда!»

Но как Ванька ему ничего более не отвечал, то, по счастью моему, вздумалось ему пойтить его разбудить. Но он не успел одною рукою меня освободить, чтоб растворить двери в будку как рванулся я у него изо всей мочи и, вырвавшись, давай Бог ноги – и он до тех пор меня и видел. Но тут-то бы, любезный приятель, посмотреть, в каком неопisanном бежал я страхе! Поверите ли, без смеха и теперь не могу вспомнить тогдашней

моей трусости. Я бежал без ума, без памяти и призывал всех святых себе на помощь, а особливо святого Сергия, мимо которого церкви мне бежать случилось. «Батюшка ты мой Сергий чудотворец, – говорил я тогда, – избавь ты меня от врага окаянного! Целых два молебна тебе отслужу и грибенную свечу поставлю, сохрани только и помилуй!» Сим образом, сам не зная что говорил, продолжал я неоглядкою бежать и, сколько помнится, начал уже третий молебен сулить, как, нечаянно оглянувшись, позади себя в некотором разстоянии идущаго с фонарем человека увидел. Мне в первом ужасе он не инако, как караульщиком показался, и малодушие мое было столь велико, что я чуть было не упал на месте, но, опаматовавшись, увидел, что то был посторонний. Итак, отдохнул я несколько от своего страха и достиг потом благополучно до генеральскаго дома, откуда я уже не пошел один домой, но ночевал тут с г. Тороповым, несмотря, чтоб обо мне дядя мой ни подумал. Сей и в самом деле был в сумнении, чтоб со мною чего не сделалось, и послал несколько людей меня искать; поутру же, как я пришел, дал мне изрядную погонку.

Вот вам, дубезный приятель, мое приключение. Более сего не случилось со мною ничего, в особенности примечания достойнаго, чего ради, возвратясь опять к делу, расскажу вам остальное о тогдашнем моем пребывании в Петербурге.

Между тем как все сие происходило и я вышеупомянутым образом ходил по-прежнему учиться всякий день к г. Маслову, считали мы с дядькою почти все дни и минуты и горели нетерпеливостию дожидаться скорее лошадей из Пскова от сестры моей. Уже наступил сентябрь месяц, и нам казалось, что уже время бы им быть, но как оне не ехали, то сие начинало уже нас и озабочивать. Со всем тем как мы ласкали себя все еще верною надеждою, что оне будут, то усугубил я мои просьбы и представления, что мне необходимо надобно скорей домой ехать и просил дядю об отпущении меня, упоминая между тем и о генерале Маслове, а именно будто во всем доме его говорят, что он скоро в Москву поедет. Сии просьбы и представления довели, наконец, дядю моего до того, что он, наскучивши оными, начал уже почти на то соглашаться.

В самое сие время, к великому обрадованию нашему, приехала за нами и столь давно ожидаемая коляска. Сестра моя, получив мое письмо и возжелав с великою нетерпеливостию меня у себя видеть, с охотою исполнила мою просьбу. При отправлении оной писала она к дяде, благодарила

за содержание меня у себя и просила о скорейшем меня отпущении. Сие показалось ему очень странно и удивительно, и он догадывался, что это делалось по моим проискам; однако я в том запирался, да и сестра, по счастию моему, не упомянула о том ни единым словом.

При таких обстоятельствах вымышленное нами отбытие генерала в Москву имело желаемое действие. Дяде моему было сие хоть невероятно, однако он казался тому верить, и, не хотя при том отослать сестриных людей назад порожних, решился наконец меня от себя отпустить. О, какая была для меня тогда радость! Я вспрыгался, услышав о том от дяди, и побежал сообщать дядьке моему сие известие. Но радость сия, по справедливости, была ребяческая и основанная на глупости.

По изготовлении всего к отъезду, поехали мы с дядею моим к генералу для объяснения ему, что мне необходимо надлежало в дом отправиться и чтоб принести ему за оказанное им нам благодеяние должное благодарение. Вы не поверите, любезный приятель, сколько мучит меня и поныне совесть при воспоминании сего случая. Я обманул тогда родственника, старающегося тогда обо мне как о сыне и желающего употребить все возможное в мою пользу. Но тогда казалось мне все сие безделицею, и я безчувственно смотрел на тот стыд, который дядя мой принужден был вытерпеть в бытность свою у генерала, и чего оба мы с дядькою не могли предвидеть, ибо дядя мой тотчас в разговорах упомянул, что берет меня от учителя более для того, что его превосходительство намерен вскоре отправиться в Москву. Сие привело генерала в немалое удивление, и он не мог от смеха удержаться; дядя же мой краснел и не знал, что сказать, когда услышал, что того никогда и на уме у генерала не бывало. Как бы то ни было, но дяде казалось уже неприлично переменить свое намерение, почему, поблагодарив и распрощавшись, поехали мы назад в квартиру, где принужден я был вытерпеть от дяди моего превеличайшую гонку. Но я достоин был розог, а дядька мой плетей, и я тужу и поныне, что он меня за то хорошенько не высек.

Таким образом отбыл я и от сего последняго моего учителя; ибо после него уже я не имел никакого и окончил свое учение слишком рановременно. В немецком языке, живучи и в сей раз в Петербурге, я ничего не поправился, но паче еще больше позабыл из онаго, а и французский не совершенно выучил. Самую геометрию, к которой я великую охоту получил, не мог я, за отбытием моим, окончить. Итак, видите из сего, любезный приятель,

что я формальным образом весьма немногому в малолетстве учен был и что сие небольшое учение весьма бы не в состоянии было приобрести мне потом имя ученаго человека, если б после того не способствовала много к тому врожденная во мне склонность к наукам и некоторыя другия обстоятельства. Ибо хотя бы положить, что я помянутым обоим языкам, также арифметике и геометрии и совершенно был выучен, но все сие единственным преддверием к прямым наукам почестся может; и те крайне обманываются, которыя в том всю уже ученость полагают, и знающаго по-немецки и по-французски уже ученым человеком называют, хотя такой человек весьма еще отдален от того, чтоб мог по справедливости носить имя ученаго человека.

Вскоре после того, распрощавшись с дядею моим и принеся ему за все милости его достодолжное благодарение, отправился я из Петербурга и поехал к сестре моей. А как сим кончилась вся моя подвластная жизнь, то окончу и я сие письмо, сказав вам, что я есмь и проч.

ЕЗДА ВО ПСКОВ И ПРИБЫТИЕ В ДЕРЕВНЮ ОПАНКИНО

Письмо 19-е

Любезный приятель!

Таким образом, сделавшись над поступками своими совершенным властелином и отправившись в путь, продолжал я путешествие свое не без скуки, а особливо по причине тогдашней осенней погоды и наступающей уже стужи, ибо было сие уже в начале октября месяца. Привыкнув уже некоторым образом к многолюдству, скучно мне было тогда одному, и потому препровождал я время свое в распевании и тананакании¹ любовных песенок, выученных и затверженных мною в Петербурге и в чтении печатной трагедии «Артистона»², которая, не помню по какому случаю, мне досталась и была первая, которую я в жизнь мою читывал; впрочем,

¹ Мурлыкать, напевать про себя.

² «Артистона» – одна из первых после «Хорева» трагедий знаменитого писателя XVIII в. А. П. Сумарокова (1718–1777). Появилась в 1750 г. и была разыграна в Петербурге в кадетском корпусе и затем во дворце кадетами – любителями драматического искусства.

ехал я с наполненною самолюбием головою. Я уже упоминал, что, живучи в Петербурге, навык я несколько светскому обхождению и лишился многих деревенских грубостей. Сие исправление было мне ведомо, но я увеличивал оное уже слишком много в моих мыслях и почитал себя уже совершенно светским и обхождение знающим человеком и думал тем удивить весь сестрин околоток. Однако в самом деле я слишком много обманывался и был еще не что иное, как застенчивый и стыдливый ребенок, имеющий о светском обхождении первейшия только понятия. Но как бы то ни было, но чрез несколько дней приехал я благополучно в Новгород, а оттуда во Псков, а потом, 12-го октября, и в дом к моему зятю, г. Неклюдову, отстоящему от Пскова верст за 80.

Хотя приезда моего тут и ожидали и он был не нечаянный, однако радость была не меньше, как и при неожиданном: сестра и зять мой приняли меня чрезвычайно приятно, а особливо первая была очень рада. Я могу сказать, что сия сестра любила меня во всю жизнь очень горячо и по смерти моей матери была мне вместо оной. Она, увидев меня тогда впервые по кончине наших родителей, не могла без слез меня встретить. Мужем ея, а моим зятем, был я не менее доволен. Он был совсем отменнаго сложения, нежели меньший мой зять и, имея несравненно лучший нрав, почитался всеми тихим, смиренным, добронравным и дружелюбным человеком. Он, любя сестру мою и живучи с нею в совершеннейшем согласии, принимал и меня всегда так, как надобно толь близкаго родственника.

Я нашел их прямо благополучную деревенскую жизнь препровождающих. Все у них было хорошо и все порядочно. Домик изрядный, соседство довольное и их любящее, достаток хороший, всем они были довольны и всем изобильны. Одною только им недоставало, а именно детей. Все бывшие до того помирали в самом еще младенчестве, и судьбе не угодно было утешить их сим даром. Правда, в тогдашнее время был у них один мальчик, но сестра моя никак не думала, чтоб и сей остался в живых. Она родила его за несколько времени пред моим приездом и его звали Михаилом.

По свойственному всем женщинам суевию, чего и чего она не делала для мнимаго сохранения детей в живых: и образа-то по мерке с рожденнаго писывала, и четыре-то рождества на одной иконе изображала, и крестить-то заставляла первых встретившихся и прочее тому подобное, но все не помогало. Наконец сказали ей, что надобно в отцы и матери

крестных таких людей сыскать, которые бы точно таких имен были, как отец и мать родные, и точно тех ангелов. Сие постаралась она сделать при крещении сего сына и потому крестили его один из их лакеев, который по случаю имел точное имя зятя моего, а в кумы насилу отыскивали одну маленькую крестьянскую девчонку. Вот до каких глупостей доводит нас иногда суеверие и какими вздорами хотим мы власно как насильно приневолить Творца сделать то, что нам хочется! Со всем тем мальчик сей остался жив и сделался потом единым их наследником – обстоятельство, происшедшее верно не от того, а от воли небес, но могущее многих женщин утвердить в сем суеверии.

Не успел я, приехавши к ним, еще осмотреться, как принужден был вместе с ними готовиться к одному знаменитому торжеству. Случилось так, что чрез день после того была сестра моя именинницею. Зять мой, будучи по тамошнему месту небогий дворянин, имел обыкновение все такая дни праздновать отличным образом, и потому застал я их делающих к тому все нужные приуготовления. Как мне сказали, что у них в сей день множество гостей будет, то, мечтая в уме своем, что мне при сем случае можно будет себя показать, велел и я разбираться и приготовил для себя наилучшее мое платье. Дядя приказал сшить мне оное пред самым почти моим отъездом, и оно было тогда самое модное и довольно богатое. О! если б ныне убрать кого-нибудь в таковое, каким-бы шутком он нам показался! Было оно синее, суконное, с белыми большими разрезными обшлагами и белым суконным же камзолом и исподним платьем. Пуговицы повсюду гладкия, золотыя, а петли по всем местам обшиты широкими золотыми битными балетами. Зять и сестра расхвалили оное впрах, и последняя была в особливости рада, что ей не стыдно будет показать меня гостям своим.

Торжество было и в самом деле нарочито великое. Сколько ни было в ближнем соседстве дворян, все присутствовали на оном, и пробыли не только весь день, но и другого половину. Наизнаменитейший из всех гостей был некто г. *Сумороцкий, по имени Петр Михайлович*. Господин сей был богатый дворянин по городу Пскову и имел полковничий чин. Настоящий его дом был неподалеку от города, а тут имел он другой, куда пред недавним временем он на осень приехал. Зять мой имел к нему особое почтение и считал его себе хорошим другом, чего он по разуму и добродушию своему был и достоин; впрочем, был он человек ласковый,

благоприятный и в компаниях веселый. Он был тогда у нас с женою своею, также боярынею весьма разумною и почтения достойною и меньшою своею дочерью, которая одна при нем тогда и была, девочкою моих почти лет, весьма разумною и воспитанною весьма порядочно.

Другим гостем был самый ближайший сосед зятя моего, по фамилии также *Сумороцкий*, а по имени *Василий Степанович*, дворянин не весьма богатый, мужичоночка маленький, тоненький, черненький, с навислыми над глазами превеликими бровями, и имеющий жену претолстую и предородную и превеликое семейство, состоящее из одних дочерей, из коих иные были уже нарочито велики, а иные еще малы. С ним было тогда три. Впрочем же, был он человек ласковый и предобрый.

Третий гость был некто г. *Брылкин*, дворянин, имеющий довольно достаток и имеющий жену, боярыню бойкую, и небольшую еще дочь. Сам же был он из простаков, любивший отменно курить табак и выпить иногда лишнюю рюмку вина; впрочем, в обхождении довольно изрядный и ласковый.

Кроме сих трех фамилий, которыя были мне всех прочих памятнее, было еще несколько других, но которых я уже и позабыл. Зять мой и сестра старались всех их угостить наивозможнейшим образом. Все они ласкались ко мне, как к новоприезжему, и всякий рекомендовал себя в любовь и знакомство. Но ничьими ласками я так доволен не был, как г. Сумороцкаго П. М. Он тотчас ко мне адресовался, сказав мне, что он весьма знаком был моему родителю и считал его себе другом; просил, чтоб я его любил...; потом расспрашивал о Петербурге и о том, где я, у кого и долго ли и чему учился, и был всеми моими ответами доволен; словом, я имел счастье как ему, так и всем гостям полюбовиться; а сверх того, и для сестры моей, которую они все любили, изъясняли они мне наперерыв друг пред другом свои ласки.

Обед был подлинно праздничный, и хоть бы и не в деревне, и продолжался несколько часов. Псковские дворяне любили тогда быть веселы и заставляли в компаниях нередко разносить рюмки. Понабравшись немного за столом, захотелось им после онаго повеселиться еще далее. У г. Сумороцкаго была своя музыка; зять мой постарался о том, чтоб он привез ее с собою. Музыки не были тогда такие огромныя, как ныне; ежели скрипички две-три и умели играть польские и миноветы и контратанцы, так и довольно. Немногия сии инструменты можно было возить с собою в

колясках, а музыкантам отправлять должность лакеев. Такого рода музыка была и у г. Сумороцкаго; ее заставили тотчас после обеда играть, и господа затеяли деревенские танцы. Я, увидев сие, трепетал, чтоб не заставили меня открывать бал, и чего я опасался, то и сделалось. Как из всех я был моложе, то хотели, чтоб я начал танцы. К вящему моему нестроению, не было никаких иных мне сверстников и товарищей, а я еще в первый день сестре проболтался, что я танцевать умею. Горе на меня тогда было превеликое. Танцевать я в Петербурге хотя и танцывал, но, не учась никогда порядочно сему искусству, не имел о порядочном танцевании ни малейшаго еще понятия, а тут надлежало танцевать одному, пред всем обществом и власно как на театре, и притом еще миноват. Как можно было на сие отважиться и пуститься, а особливо в таком обществе, которому светское обхождение не менее было знакомо, как и петербургским жителям? Все мое высокое мнение о себе исчезло в единый миг, как скоро я всех наших гостей увидел; но сего было еще не довольно. Я одурачил даже себя пред всеми гостями, начав сперва отнекиваться от танцов и извиняться неумением, а потом так зартачившись, что не могли произвесть ничего все просьбы и убеждения моей сестры и зятя, и доведя наконец до того, что г. Сумороцкий заставил дочь свою подойти ко мне и звать танцевать с собою.

Я сгорел тогда от стыда, а особливо увидя, как послушлива была дочь г. Сумороцкаго. Одного шепнутаго отцом ей слова довольно было к тому, чтоб ей пойтить, а меня не могли убедить все просьбы и ласковыя угваривания. Нечего тогда мне было делать, я принужден был иттить и, не помня сам себя, танцевать миноват первый. Со всем тем меня похвалили, а сие меня так ободрило, что я с того часа сделался смелее и во весь день и вечер протанцевал со всеми барышнями без всякаго приневоливания; ибо могу сказать, что сие упражнение было мне всегда приятно, и я во всю мою жизнь был охотник до танцов.

Между тем как мы сим образом упражнялись в танцах, боярыни занимались карточною игрою. Любимая у всех и лучшая игра была тут памфел. Что ж касается до господ, то сии упражнялись, держа в руках то и дело подносимыя рюмки, в разговорах, а как подгуляли, то захотели и они танцами повеселиться. Музыка должна была играть то, что им было угодно, и по большей части русския плясовыя песни, дабы под них плясать было можно. Не успели сего начать, как принуждены были и боярыни покинуть

свои карты и делать им компанию. К музыке присовокуплены были потом и девки с своими песнями; а на смену им, наконец, созваны умеющие песни петь лакеи; и так, попеременно, то те, то другие утешали подгулявших господ до самого ужина. Но никто из гостей так мне в сей вечер не надоел, как помянутый господин Брылкин. Человек он был самый неуклюжий, но плутистый. Во весь вечер все сватал мне и рекомендовал невест и советовал жениться у них во Псковщине; а как ничем меня, как застенчиваго ребенка, так скоро в стыд и смущение привести было не можно, как сим пунктом, то надоел он мне как горькая редька, и я принужден был от него даже бегать и скрываться.

Гости все у нас ночевали и на другой день обедали, и не прежде разъехались, как уже перед вечером. Для меня торжества сего рода были до того времени совсем необыкновенны, ибо в наших местах подобных тому я никогда еще не видал, и они мне понравились.

Через день после того званы мы на такой же обед к маленькому г. Сумороцкому, живущему от зятя моего версты только четыре. Я охотно поехал туда вместе с сестрою и зятем. Тут были все те же гости, которые были у нас, и была опять музыка и танцование; а чрез несколько дней после того звал нас всех г. Брылкин, и как он жил несколько подалее, то мы не только у него обедали, но также и ночевали. А не успело несколько дней пройти, как приехали звать также от старика г. Сумороцкаго. Сей хотел также всех соседей угостить, и, можно сказать, что удовольствовал всех до избытка.

В сих торжествах, съездах и увеселениях, нечувствительно протекло недели две времени. Я столько занят был оными, что и не видал, как оне прошли. Наконец вспомнил я, что мне время помышлять уже и об отъезде в дом. Но не успел я упомянуть о сем, как сестра мне и говорить не дала: «И, статочное ли дело, братец! Чтоб я тебя прежде зимы домой отпустила! И не говори-таки мне о том». А зять подхватил: «Поживи, братец, у нас и повеселись с нами; что тебе одному дома делать, а у нас не скучно. Вот на сих днях начнется у нас звериная ловля тенетами; ты не видывал оной и тебе забава сия полюбится. Мы условились уже, чтоб съезжаться нам послезавтрева для начала. Ну, как не быть тебе с нами? Пожалуй, сударь, погости у нас. Мы тебе очень рады, а и все соседи наши тебя полюбили».

Что мне тогда было делать и как можно было не согласиться? Помянутое увеселение в самом деле началось вскоре и мне столько понравилось, что я никогда не скучал езжать с ними вместе на сию охоту. Производит-

ся она там особливим образом. Поелику места там наиболее лесистыя, то охотники выбирают некоторую часть леса, о которой надеются, что в ней зверей довольно, окидывают оную с одной стороны премножеством тенет полуциркулем или дугою, а потом главный ловчий набирает колико можно более людей и ребяташек с трещотками и обстанавливает ими все прочия стороны назначенной части леса, становя их не на далекое друг от друга расстояние и так, чтоб все они с тенетами составили превеликий и обширный круг и захватили множества леса. Все сие производит он с превеликим молчанием и без всякаго шума, и всякому человеку дает наставление, в которую сторону ему потом иттить, сам же становится посредине оных. Между тем другой разстанавливает таким же образом господ за тенетами внутри охваченнаго круга и сажен на пять от тенет, а сажен на 20 друг от друга. Каждаго становит он лицом к тенетам и для каждаго выбирает такое место, чтоб он сзади прикрыт был каким-нибудь кустарником.

Потом дает каждому наставление, что ему делать, а именно – чтоб стоять тихо и смирно и отнюдь не шуметь и, увидев зверя, прежде не кричать, покуда он его не пробежит уже мимо и между им и тенетами находиться будет. По учинении сего всего, подает главный ловчий сигнал, и тогда вдруг все разстановленные с трещотками люди поднимают превеликий вопль и крик и трещат в свои трещотки и, выпугивая зверей из всех кустов и трущоб, мало-помалу начинают иттить в сторону к тенетам и между собою сближаться так, чтоб всем им вдруг притттить к тенетам. Звери, услышав вдруг такой крик и шум, натурально перетревоживаются и бегут в ту сторону, где нет крика, не зная, что там дожидаются их тенеты и самые ловцы. Они бегут без всякаго опасения и столь спокойно, что иногда меньше нежели на сажень пробегают мимо стоящих за кустами охотников; но тогда сии вдруг на них ахают и кричат и тем так их перепугивают, что они без памяти бросаются прямо в тенета и запутываются в оных. Тут прибегают к ним охотник и берет его либо живьем, либо прикалывает.

Мне случалось самому стаивать сим образом позади тенет, и нередко иметь удовольствие видеть пробегающих мимо себя зайцев и вгонять их в тенета. С каким удовольствием слушаешь, бывало, начавшийся вдали и вдруг и в разных сторонах, и час от часу ближе приближающийся крик и трещание трещоток! Вся величина обхваченнаго круга и части леса делается тогда ощутительна для всякаго. Но каким нежным трепетом начинает

у каждого трепетать сердце, когда трещотки начнут приближаться и приходит время зверям бежать! Стоишь, бывало, ни кукнешь и, сжав сердце, смотришь на бегущих иногда подле самого тебя зверей, и, завидев тенета, употребляющих иногда всякия хитрости к спасению себя от них. И какое удовольствие бывало тогда, как вдруг криком испугаешь зверя и вгонишь в тенета! Никогда не случалось того, чтоб мы, выехав на сию ловлю, не наловили и не привезли с собою к боярыням множества зверей. Сим съезжались обыкновенно к вечеру в тот дом, который случался ближе к тем местам, где у нас производилась ловля, и тогда тут и препровождали мы тот вечер в разных увеселениях в ужинывали.

В сих и подобных сему и безпрерывных увеселениях прошла у нас приметно вся достальная осень; а что было далее, упомяну в письме последующем, сказав вам между-тем, что я есмь и прочая.

В ОПАНКИНЕ

Письмо 20-е

Любезный приятель!

Наконец наступили морозы и выпал снежок. Как сие, так и отъезд г. Сумороцкаго из тамошних пределов в настоящее свое жилище прервал несколько наши прежния увеселения. Однако вместо того начались у нас новыя упражнения и забавы. Зять мой был превеликий охотник до рыбной ловли. Наилучшую из всего года рыбную ловлю производили у него по первому и самому еще тонкому льду; и сего времени дожидался уже он с великою нетерпеливостию. Верст за 20 от него находилось одно нарочитой величины озеро. Было оно хотя не в его дачах, однако он имел дозволение ловить в оном рыбу. Не успело озеро сие замерзнуть и лед так толст сделаться, что мог поднимать человека, как зять мой со мною тотчас туда на несколько дней отправился. Невод у него был превеликий и сажень в триста. Мне отроду не случалось видать ловление рыбы такую большою снастью, и потому зрелище сие было для меня и ново, и любопытно, и увеселительно. Великое множество людей упражнялось в сей работе. Тоня захвачена была превеличайшая. Иные прорубали большия и малыя пролубли, иные пропускали шесты и протягивали под льдом веревки, иные

тянули оные воротами¹, ибо по величине невода иначе было не можно. Я хотя набрался сначала, ездючи с зятем в маленьких санях по тонкому и трещащему еще льду, множества страха, но заплачен был с лихвою за то неописанным удовольствием при смотреии того, как рыба бежит и от невода себя спасти старается. Прорубили для сего маленькую пролубочку за несколько десятков сажен впереди от главной и той пролуби, в которую надлежало вытаскивать невод. На сию пролубку положили меня и, приказав мне смотреть в нее в воду, покрыли меня епанчою². И что же я тогда увидел? Безчисленное множество больших и средних и малых рыб бежало тогда взапуски одна пред другою, стараясь уйтить от влекомаго невода. Мне их всех видеть и в точности рассмотреть было можно. Темнота, производимая сверху епанчею, делала то, что в воде было так светло, как в горнице, и можно было все до самага дна видеть и малейшую рыбку рассмотреть. Зрелище таковое меня поразило. Я смотрел с восхищением на все в воде происходящее и не мог разновидности, скорости и проворству рыб в беганьи надивиться; и как оне все бежали от невода и некоторые только им навстречу, то сожалел я, что все оне уйдут и не попадут в невод. Однако меня уверили о противном, сказав, что впереди закинуты сети и другие невода и что рыбе никуда уйтить не можно. А сие и совершилось действительно. Я во всю жизнь мою, ни прежде, ни после, не видывал в куче такого великаго множества живых рыб, какое вытаснено было тогда сим неводом. Всю корму на лед вытащить не было никакой возможности: и невод бы прорвался и лед обломился бы от тягости. Принуждены были так из кормы и черпать ее черпалками и сыпать в подвозимья сани. Несколько десятков возов насыпали и нагрузили оною, и досталось довольно ея и господину и на часть ловцам и рыболовам.

Я впрах иззяб, смотря и любуясь сим новым и невиданным никогда мною зрелищем, и как нам притом есть хотелось, то вышли мы с зятем на ближний берег. Тут дожидались уже нас раскладенные многие огни и повар, приуготовляющий нам из пойманных рыб обед. Во всю жизнь мою не едал я рыбу с таким аппетитом, как проголодавшись тогда, ибо обедали мы уже перед вечером; в особливости же вкусны для меня были превеликие в пол-аршина окуни, прямо из воды распластанные и по усыпанию солью на угольях печеные. Словом, удовольствие наше было совершенное.

¹ Вал на оси, вращаемый за рукоятки.

² Широкий безрукавный плащ, бурка.

Неподалеку от сего места жил один богатый псковской дворянин по имени Иван Иванович Темашов. Как зятю моему был он знакомец и друг, то расположились мы ехать к нему ночевать и привезть с собою целый воз наилучшей рыбы в гостинец. Господин Темашов, бывший тогда всю осень не очень здоровым, был нам чрезвычайно рад. Он расположился тотчас сделать для нас торжество, и на другой день к обеду съехалось к нему все ближнее дворянство, и в том числе некоторые и из наших, ближе к нему живущих. У г. Темашова было превеликое семейство, состоящее из одних дочерей, а поелику была также и музыка, то после обеда завели и танцы, и мы прогостили у него сутки двое и были угощением его очень довольны. Между тем готовили на озере другия тони. Мы заезжали на оное в самое то время, когда вытаскивать было надобно, и имели удовольствие видеть еще множайшее количество рыб пойманных, так что мы возвратились к сестре моей с богатою добычею. Рыбы не только на весь пост довольно было всему двору, но и великое множество оной еще и продано и раздарено соседям.

Вскоре по возвращении из сего краткаго путешествия выпал большой снег и сделалась совершенная зима. Дядька мой отдуху мне не давал, чтоб я поспешал домой ехать; но мне уже не таково усиленно туда ехать хотелось. Я привык к тутошним увеселениям и забавам, и мне жить у сестры было нимало не скучно; со всем тем не преминул я однажды упомянуть, что мне время бы и домой ехать. Но сестра и зять мой, привыкнувши ко мне и будучи сообществом моим довольны, не только старались отъезд мой еще оттянуть, но и уговаривать всячески, чтоб я прожил у них всю зиму и дождался весны и лета. Они употребили все, что можно было к преклонению меня к сему их желанию: они представляли мне, что и ехать зимою холодно, и жить мне в деревне зиму одному будет скучно, и делать мне там вовсе нечего и так далее. Словом, они насажали мне столько резов и присовокупили к тому столько ласк и убедительных просьб, что я, наконец, согласился и дал им слово пробыть у них до весны, чем сестра моя чрезвычайно была обрадована и меня впрах за то разцеловала.

Таким образом расположившись остаться у них до весны, начал я препровождать зиму в разных упражнениях. Как в сие время съезды и свидания с соседями и деревенския увеселения хотя и продолжались, но не так часто, как прежде, то я прочее время делил наиболее с зятем и сотовариществовал ему во всех его упражнениях. Зять мой хотя не имел склон-

ности к наукам и в молодости своей, кроме грамоты, ничему учен не был, но зато имел он природную склонность и охоту ко всяким мастерствам, рукоделиям и художествам, и потому имел в доме у себя разных мастеровых и художников. Были у него столяры и токари, был изрядный резчик, кузнец, слесарь, седельник, несколько человек ткачей, портных, сапожников и других подобных тому мастеровых и рукодельных людей. Словом, он любил, чтоб у него все люди были в упражнении и непраздно хлеб ели, а нередко и сам кое в чем из мелочей упражнялся и что-нибудь шишлял¹, мастерил и делал. У него были целые ящики всякаго рода собственных своих инструментов и часто случалось, что он по несколько часов просиживал, либо обтачивая что-нибудь, либо согбая и прочее тому подобное; в особливости же был он великий мастер делать из игол рыболовные крючки с зазубрями, которые были ему и надобны по причине, что он превеликий охотник был до ужения удами рыбы.

Как зять мой, по сей склонности и охоте своей к художествам, имел обыкновение почти всякий день ходить и осматривать упражнения и работы своих мастеровых, то хаживал и я вместе с оным. Сии частыя посещения оных не только меня увеселяли, но послужили мне в особливую и такую пользу, какой я нимало не ожидал. Я не только узнал все сии до того мною невиданныя работы и мастерства и не только получил о них понятие, но нечувствительным образом к некоторым из них получил и сам склонность и охоту; в особливости же полюбилось мне токарное и резное художества. Случилось, власно как нарочно для моей пользы, так, что у зятя моего в доме делали богатый в церковь иконостас, украшенный многою резьбою, и употреблены были к тому не только свои, но и многие нанятые посторонние и хорошие мастера. Я не мог довольно налюбоваться проворством их работы и хаживал почти всякий день смотреть оную; временно бирал я и сам их долоты и на негодных дощечках испытывал подражать их искусству. Таковую же охоту произвело во мне к себе и токарное художество. У зятя моего хотя простой, но изрядный токарь. Он утешал меня нередко, вытачивая мне разныя безделушки и, производя работу сию при мне, вперил в меня и в самого охоту к сему ремеслу. Я выпрашивал у него иногда долоты и резцы, и при руководстве его испытывал и сам точить, и в короткое время научился и сам кое-что вытачивать.

¹ Шишать, шить, шишкать, шишлять – копаться, возиться.

Но ни которая работа и мастерство так мне не полюбилась, как одна особливая, производимая одним посторонним человеком, случившимся тогда, не помню по какому случаю, у моего зятя. Сей человек дельвал из простой бересты табакерки, стаканчики кружечки и круглыя стамушки¹ с таким искусством и умел так хорошо наружность оных украшать особливаго рода чеканною работою, что я довольно надивиться не мог, как и все тогда сей работе его дивились и ее хвалили. Мне она так по курьезности своей полюбилась, что я возгорел желанием оной сам научиться. Мы уговорили с зятем мастера, чтоб он нам открыл свое мастерство, и он на то согласился.

Производится оно особливым образом: всякая такая посудинка делается толщиною в три бересты, две полагаются поперечно, а третья и средняя стоймя, для отвращения, чтоб те не коробились. Для внутренней употребляется береста цельная и не разрезная, судя по величине судна какое делать предпринимается, и потому сколь толсту и широку быть ему надобно, выбирается такой величины и толстоты обрубок сырого березоваго дерева, имеющаго на себе гладкую и хорошую бересту. Сия береста с него не сдирается, но снимается цельною трубкою, что не инако произвести можно, как выкалыванием изнутри обрубка всего дерева так, чтоб береста одна осталась целою. Целость внутренности надобна для того, чтоб не могло ничего вытекать из судна жидкое. Для верхней же оболочки выбирается береста самая лучшая и гладкая и вычеканивается разными узорами. Сия чеканная работа производится маленькими жимолостными палочками, у коих на концах вырезаны разныя фигуры, как, например: полуциркули, треугольнички, звездки и прочия тому подобныя и расположенныя так, чтоб при наставлении палочки на бересту и при ударении в другой конец ея молотком, выпечатывалась на бересте довольно возвышенная фигурка. Разнообразных таковых и маленьких и больших палочек наделано превеликое множество, дабы тем лучше можно было употреблять разныя фигуры, и ими выводить разныя коймы и разводы; наконец все достальное пустое место между фигур и разводов натывается тремя вместе связанными иголками, и как сие накалывание производится сплошь и очень часто, то сие самое и придает вид чеканной работы. По изготовлении сей верхней бересты вкладываются все три вместе и сшиваются очень искусно самыми

¹ Посуда для дегтя.

тонкими расколотыми и оскобленными сосновыми корешками, в особенности же обрезы и края берест обшиваются сплошь оными и так искусно, что за ними оных вовсе не видать; а похожим на сие образом делаются и крышки. Что ж касается до донышков, то оныя делаются из тонких липовых дощечек и вставляются в разваренные в горячей воде края суднышка, дабы тем крепче оне сидели.

Удобопонятность и любопытство мое помогло мне перенять искусство сие очень скоро, так что я чрез короткое время мог всякия безделушки делать из бересты ничем не хуже мастера, и многия вещицы и фигуры еще сам выдумал и присовокупил от себя, чем учитель мой был так доволен, что подарил меня всеми своими чеканами и инструментами, что служило к великому моему удовольствию и привело меня в состояние предпринимать дело сие всегда, когда мне было угодно и оным на досуге забавляться.

Кроме сего, получил я тут начальный вкус и охоту к музыке. Столяр зятя моего умел брянчать на гусях, но гусях такого рода, каких я нигде после уже не видал. Они были только девятиструнные, маленькия и особливо сложения; и хотя по гусям была и игра, то есть весьма-весьма посредственная, однако она мне понравилась, и тем паче, что казалось мне нетрудно ее перенять было. Я и действительно ее перенял и учитель мой был так удобопонятием моим доволен, что сделал для меня новенькия и с лучшими украшениями гусельки, нежели каковы его были.

Вот в чем и в каких упражнениях препровождал я праздничное и досужное зимнее время. По особливому распоряжению судеб и неожиданному стечению обстоятельств, случилось так, что дом зятя моего сделался для меня таким же училищем рукоделий и художеств, каким был Петербург для наук; и я могу сказать, что сколь нимало было все то, что я занимствовал тут из художеств, но и сие небольшое послужило мне потом в великую пользу, а заохотило упражняться в том далее и приводить знания мои в лучшее совершенство.

Кроме сего, любопытное для меня зрелище тут было трепание и приуготовление льна на продажу. Известно, что псковские дворяне наилучшие свои доходы получают от продажи своих льнов, которыхя они доставляют наиболее в Нарву для отпуска за море. Поелику зять мой имел изрядныя деревни, и льну не только сам множество сеял, но и скупал оный у своих и у соседственных крестьян, то в сие осеннее время лен сей у него наемные

мастера трепали, перечищали и в те опрятные и прекрасные тюки вязали, в коих он отвозится в Нарву и отправляется за море. Белизна и чистота сего длиннаго и хорошаго льна, разбор онаго на разныя руки и искусство вязания в бунты¹ и тюки достойно, по справедливости, любопытнаго зрениа, и мы хаживали всякий день смотреть оное².

Наконец, наилучшее из всех и приятнейшее для меня упражнение доставила мне одна книга, которую нашел я у моего зятя. Было то описание Квинтом Курцием жизни Александра Македонскаго. Я не мог устать ее читаючи и прочел ее раза три на досуге между прочих дел, и получил многия понятия чрез то о войнах древних греков и тогдашних временах³.

Между сими разными упражнениями и не видали мы, как прошел весь Филиппов пост и наступили Святки с Новым годом (1753).

По наступлении сих, возобновились опять наши съезды и компании, то в том доме, то в другом, и везде, где ни случалось быть собраниям, препровождаемы были вечера в разных святочных играх, пении песен, загадываниях, играциях в фанты, плясании и тому подобном. К тому присовокупляемы были маленькия зрелища, обыкновенныя в тамошних пределах. Наряжаются люди иные журавлями, другие – козою с разными украшениями и погремушками; таковую козу с превеликою свитою водят по всем дворам, заставляют ее прыгать и скакать и припевают песни: зрелище хотя самое вздорное и глупое, но для тамошних деревенских жителей довольно смешное и приятное.

¹ Бунт по-немецки – связка, кипа, тюк. Лен бунтовой – то есть продающийся бунтами.

² Вывоз русских льна и пеньки за границу начинает составлять большую статью в торговле с XVI в., в связи с развитием мореплавания. Области, наиболее культивировавшими лен, были Псковская и Новгородская, где техника первичной обработки льна достигла высоких форм. Правительство заботилось о культуре и вывозе льна. Иван Грозный поддерживал льноводство, Петр I издал специальный указ об усилении производства льна для нужд флота (паруса), армии (одежда) и вывоза. В середине XVIII в. наблюдается большой рост вывоза льна и пеньки в связи с общим ростом русского экспорта. Повышение производительности мелкого и среднего помещичьего хозяйства в связи с переходом на оброк, появлением свободных рабочих – определило и рост торговли и внешнюю политику России (стремление к расширению рынков сбыта). Вывоз льна и пеньки и их поставка государству часто отдавались на откуп.

³ Квинт Курций Руф – римский историк, живший в I в. нашей эры. Известен книгой об Александре Македонском («De rebus gestis Alexandri Magni»), котораго он слишком переоценивает. Его сочинение, скорее литературное, чем историческое, страдает ошибками в хронологии, географии, но блестяще по языку, описаниям и характеристикам. «История об Александре Македонском» переводилась и переиздавалась на русском языке много раз (впервые в 1711 г.). Она читалась и в школе. Болотов увлекся книгой Квинта Курция как любитель истории и литературы.

Съезды сии продолжились гораздо и за Святки и почти до самой Масленицы, а тут начались увеселения масленичные; с Великим же постом принялись мы за богомолье, а потом за мастерство и рукоделия и за прежняя наши упражнения; и в том и не видали, как прошел и он.

Наконец наступила Святая неделя, и стала приближаться весна. Праздники сии препроводить принуждены мы были одни, потому что случившаяся в самое то время половодь и разлитие рек воспрепятствовали нам видаться с нашими соседями. Мы старались уже недостаток сей наградить домашними и Святой неделе свойственными увеселениями.

Одно только обстоятельство было для меня весьма досадно, а именно, что церковники поют в сих местах «Христос воскресе» и прочее совсем на иной и весьма дурной голос и как-то не ловко, так что праздник сей и служба мне и в половину не таков был весел, как в других местах.

По слитии полой воды и вскоре после Святой недели подвержен я был нечаянно одной великой опасности. Собрались мы однажды ехать в гости к ближнему соседу и мне приди охота ехать верхом, а что того хуже, на зятнином стоялом жеребце, о котором уверяли меня, что он пресмирная скотина. Но оттого ли, что он во всю зиму стоял и тогда впервые на воле себя увидел, или оттого, что я был слишком легок и малосилен к удержанию его, или так уже мое несчастье хотело, что не успел я на нем из деревни выехать, как он и взял волю и усилился так, что я никак уже с ним сладить не мог. Он закусил удила и понес меня изо всей силы. Сестра, ехавшая позади меня с зятем в коляске, обмерла и испужалась, как сие увидела. Она подняла ужасный вопль; но сие еще пуще жеребца моего подстрекнуло. Я сам ни жив, ни мертв был от страха, но по крайней мере имел столько понятия и разсудка, что не выпустил повода из рук и держался на нем коливо можно крепче коленами. Но все бы не помогло, и он сбил бы меня с себя, если б, по особливому моему счастью, не случилось скакать ему сим образом по прямой и огражденной с обеих сторон пряслами¹ перспективной дороге, ведущей прямо к зятниной мельнице, построенной на реке и довольно хорошей. Сие обстоятельство причиною тому было, что лошадь не могла никуда свернуть в сторону, но принуждена была скакать прямо к мельнице, а тут я имел столько духа, что управлял ее прямо на узкий и с обеих сторон перилами огражденный отлогий помост, по которому въезжали в верхний

¹ Прысло – собственно звено изгороди, от кола до кола, от столба до столба; здесь: жердь.

этаж мельницы, так что она, вскакав на сей помост, остановилась сама как в стойле и не могла ни направо, ни налево повернуться; а тогда подбежали тотчас случившиеся на мельнице люди и ее схватили.

Сим образом кончилась сия комедия, наведшая на всех на нас пре-великий страх и ужас, и я не имел более никакого вреда, кроме одного испуга. Кроме сего случая, не помню я, чтоб иное что дурное в тогдашнее мое пребывание случилось со мною.

По наступлении весны начал я мало-помалу готовиться к отъезду, или паче сестра собирать меня в мое дальнейшее путешествие; однако то за тем, то за сим отъезд мой не так скоро воспоследовал, как мы думали, но я про-жил у сестры моей не только всю весну, но захватил и частичку лета.

Сие достальное время препроводил я наиболее в надворных увеселе-ниях и забавах. Не успела весна вскрыться и снег сойтить, как выпросил я у зятя моего дозволение съездить с охотниками его в лес и испытать новья его тенета, вывезенныя только в ту зиму. Зять мой, будучи тогда сам не очень здоров, охотно мне то позволил. Ловля наша была нарочито удачна: мы поймали несколько зайцев; но я без умысла навлек на себя при сем случае от зятя моего досаду. Догадало меня перваго зайца, котораго самому мне удалось вогнать в тенеты, взять живьем. Мне не захотелось его как-то в ту минуту приколоть, и я думал, что сделаю домашним на-шим тем более удовольствия, что привезу его живого; но вместо того зятю моему было сие крайне досадно. Он говорил, что я тем испортил его все тенеты, ибо у них ни под каким видом перваго зайца живьем не берут, но новья тенета стараются скорее обагрять звериною кровью.

«Ну! не знал же я того, – сказал я, – и на что ж вы меня в сем случае не предостерегли и наперед того не сказали?»

В другой раз подговорили меня стрелки и охотники его идти в лес стрелять дичину. Но сие препровождение времени мне как-то не полюби-лось – может быть, оттого, что охота наша была не слишком удачна. Мы с утра до вечера проходили по лесам, измучились и устали впрах и не наш-ли ни одного тетерева и ни одной птички, и нам принуждено б было с пу-стыми руками идти домой, если б наконец не наткнулся сам на меня один заяц. Мне дано было уже от охотников наставление, как его стрелять, буде случится увидеть, и я столь исправно исполнил оное, что положил его тот-час на месте. Сие меня несколько обрадовало; однако сие было в первый и в последний раз в моей жизни, что я застрелил дикаго зверя, ибо как мне

сим образом по лесам ходить показалось слишком скучно, то я с того времени никогда более с ружьем стрелять не хаживал.

Напротив того, лучшее и приятнейшее упражнение находил я в рыбной ловле. Зять мой был превеличайший охотник до оной, а особливо до ловления удами. К сей, можно сказать, был он совершенно страстен, и я не видывал никого, кто б мог иметь столько терпения и самопроизвольно переносить столько беспокойства и трудов, сколько он. Целыя ночи напролет просиживал он на маленьком челночке посреди реки и по нескольку иногда часов дожидался, покуда язь или иная какая-нибудь большая рыба придет и хватит его уду. Один только небольшой малый сотовариществовал ему обыкновенно в сих ночных его путешествиях и переездах на челночке своем с места на место по реке но и сей сидел и ходил по берегу и приутоплял ему обчищенные шепталцы¹ раков, которыми он вместо червей свою рыбу лавливал. Сперва расхваливая всячески сию ночную ловлю, старался он и меня к тому же заохотить, однако я не мог никак найти в том вкус и иметь столько терпения, а для меня приятнее было ловить днем маленьких то и дело хватающих рыбок. Да и в самом деле, что за удовольствие просидеть всю ночь одному на воде, а потом весь день спать и не пользоваться приятною внешнею погодою, а что всего досаднее, дожидаться иногда с целый час, покуда клюнет уду рыба. Волён Бог и с его большою рыбою и с довольным количеством оной, какое иногда он по утрам принашивал с собою! Однако случалось нередко, что возвращался он и с пустыми почти руками, и тогда ложился он уже с досады скорее спать и спал до самага обеда, а потом принимался опять за то ж до самага вечера. Словом, мы в сие время его почти и не видали.

Между тем как он сим образом занимался своим ужением, представляя о домашней экономии хлопотать и заботиться одной моей сестре, упражнялся по большей части я в том же, но иным только образом. Зять мой снабдил меня крючками и удами и всеми прочими мелкими рыболовными снастями, которыя у него, как у отменнаго охотника, были самыя щегольския. Имел я также свой собственный и прекрасный челночок, поднимающий только одного человека, и чрезвычайно легкий. Ребятишек для услуг моих мог я брать сколько хотел, и с ними всюду ходить. Река Лжа, на которой сидело его селение, была самая прекрасная и весь-

¹ Измененное «щупальцы» – клешни.

ма рыбная. Она была нарочито широка и, обтекая селение, производила течением своим превеликий полуциркуль, простирающийся до самой его прекрасной мельницы. Итак, наилучшее утешение мое было развезжать и разгуливать по сей части реки на моем челночке и, приставая в заводях и в других местах, уживать рыбу. Однако все сие ужение не так много меня утешало, как ловление щук иным образом и так называемую «дорогою». Делается нарочитой величины и толстоты железный крюк с зазубрею, и приковывается тупым концом к небольшой продолговатой и жолубком несколько выгнутой бляшке, сделанной из желтой меди; а в том месте, где край бляшки соединяется с крюком, привязывается маленький лоскуток аленькаго суконца, а к другому концу бляхи прикрепляется предлинный и крепкий шнур, взмотанный на вертящуюся шпулю так, как бывают у плотников шнуры их. Вот инструмент, которым производится сия ловля. Надобно ехать на челноке вверх реки и, пустив крюк в воду, спустить весь шнур, а потом другой конец онаго ухватить крепко в зубы и так плыть. Во время сего плавания на челноке, крюк, будучи тащим шнуром, в воде вертится и представляет точно бегущую скоро в воде плотичку или рыбку. Щука, завидев ее и сочтя ее рыбкою, хватает на бегу, но сама попадает тотчас на крюк, от чего рыболов чувствует в самый тот момент в зубах у себя маленький удар. Сие доказывает ему, что на крючок его попала рыба, и тогда останавливается он, начинает свой шнур взматывать на шпулю и притаскивает щуку к самому челночку и тут ее бережно сачком подхватывает и вытаскивает вон. Сим образом лавливал я часто и нередко приваживал с собою по нескольку щук.

В сих и подобных сему упражнениях протекло у нас нечувствительно время; но наконец настало и то, в которое мне домой ехать надлежало. Зять и сестра снабдили меня своими лошадьми и повозками и дали мне двух человек для препровождения меня в дом. Они отпустили меня не иначе, как с крайним сожалением. Они так ко мне привыкли, что им не хотелось со мною уже разстаться. Сестре моей отъезд мой стоил многих слез; она любила меня чрезвычайно и снабдила меня на дорогу и деньгами и всем нужным. Я и сам плакал, разставаясь с нею, ибо к местам их так привык и всеми ласками их был так доволен, и пребывание у них было мне так приятно и весело, что пределы их мне навсегда сделались милы и любезны и я поныне не могу вспомнить оныя и тогдашнюю жизнь без некотораго удовольствия.

Таким образом, распрощавшись с зятем и сестрою, отправился я в свой путь, который был хотя длинен и продлился недели две, однако был для меня довольно весел. Время было тогда наилучшее в году, жары еще не наступили, леса и поля покрыты зеленью, трава повсюду под ногами. Мы ехали себе как хотели, не имели нужды слишком поспешать, становились кормить лошадей и ночевать наиболее на полях и под лесочками, и приехали наконец благополучно в Москву, а потом и в мою деревню, и я не помню, чтоб со мною во время путешествия сего что-нибудь особенное случилось.

Сим окончу я, любезный приятель, теперешнее мое письмо, а в будущем расскажу вам о том, как я жил в деревне и в чем препровождал свое время; а между тем уверив вас, что я есмь навсегда вас почитающий друг, остаюсь и прочее.

В ДВОРЯНИНОВО

Письмо 21-е

Любезный приятель!

Теперь опишу я вам такой период времени, который был весьма критическим в моей жизни. Приехал я тогда жить в деревню, будучи уже никому не подвластным, а совершенным властелином над всем своим поведением и поступками, а вкупе и имением, доставшимся мне после покойных моих родителей; никому не обязан я был давать во всех моих делах отчеты, следовательно, мог делать и предпринимать все, что мне было угодно. Мальчик был я уже на возрасте и довольно высокого роста, мне шел тогда 15-й уже год и приближался к окончанию. Ребятки таких лет уже что-нибудь смыслят и, живучи на воле, легко могут иметь ко всему худому поползновение. Коль легко мог бы я в сей период времени испортиться, избаловаться и сделаться на всю жизнь мою шалуном и негодяем, если б не бдело надо мною Провидение и безконечная благодать Создателя моего не сохранила меня от всех зол и пороков, в которых я всего легче мог погрузиться, расположив все случаи и обстоятельства малолетства моего так, что мне самая врожденная в меня склонность и охоты служили мне великою преградой к тому, а вкупе и поспешествованием к по-

сеянию в сердце моем первейших семян благочестия того, которое после в продолжение жизни моей мне толико полезно было и толь много помогало в искании истинного благополучия и в снискивании безчисленных наиприятнейших минут в жизни. Не могу и поныне вспомнить милостей, оказанных тогда мне небесами, не чувствував глубочайшей к ним за то благодарности и не воздав хвалы имени безконечного моего производителя. Поистине могу сказать, что Он был тогда моим отцом и матерью, и толикое имел обо мне попечение, какого не в состоянии были бы иметь и самые мои родители. Но я удалился уже от моего повествования, и теперь время уже возвратиться к оному.

По приезде моем в дом наипервейшая минуты моего пребывания в оном были горестны и печальны. Напоминание о смерти моей родительницы и воззрение на все те места, где она живала, где стояла ее кровать и все прочее, приводило сердце мое в некое горестное движение и вынуждало слезы из очей моих. Сбежавшиеся дворовые люди и женщины, спешающие наперерыв друг пред другом целовать у меня руку и поздравить с приездом, помешали мне упражняться далее в моих печальных размышлениях. Я должен был со всеми говорить и приветствиям их соответствовать моими ласками.

Не успели из повозок выбраться и я несколько поосмотреться, как за первый себе долг почел я сходить к живущему подле меня дяде моему, *Матвею Петровичу Болотову*, и поблагодарить его как за воспрятые труды при погребении моей родительницы, так и за попечение о доме и деревнях моих во время моего отсутствия, а притом просить о содержании меня в своей любви и милости. Дядя мой принял меня весьма благосклонно и, позабыв всю вражду, бывшую между ним и покойною моею родительницею, ласкал меня всячески и просил, чтоб я его не обегал, но видался с ним чаще. Словом, приемом его был я весьма доволен, и как он был один у меня ближний родственник, то обещав ему то, и действительно вознамерился ходить к нему чаще и о приобретении его к себе дружбы и благоприятства прилагать старание.

Он был тогда уже вдов и жил один с детьми своими. По отменной своей скупости препровождал он жизнь прямо уединенную; ни с кем не имел он короткаго и дружескаго знакомства, и не езжал никуда почти со двора, а потому и к нему никто почти не ездил. Словом, он одичал почти в деревне, не изнашивал в несколько лет одного кафтана, а ходил в наипростейшем

деревенском платье, жил не только весьма, но и слишком уже умеренно и воздержно. От излишней склонности к собиранию себе достатка отнимал он, так сказать, у самого себя лучший кусок от рта и превращал в деньги. Столы были у него весьма-весьма умеренны и плохи, а сходственно с тем и все прочее в доме, как то: уборы, посуда, эжипажи и прочее пахло единою неумеренною скупостью, к которой сделал он привычку еще в службе, в которой препроводил он многие годы и отставлен секунд-майором. Со всем тем, будучи несколько учен в малолетстве, был он весьма неглуп, имел хорошее понятие о математических науках, был хороший арифметик, знал геометрию и фортификацию, и был превеликий чтец и охотник писать, а наконец, живучи в деревне, сделался и великим юристом: все наши гражданские законы были ему ведомы, и все указы мог он пересчитывать по пальцам. Но все сии хорошие качества помрачаемы были вышеупомянутою его чрезмерною склонностью к сребролюбию и скупости, которая нередко доводила его до дел невеликой похвалы достойных, как, например, к ябедническим предприятиям, к ссорам с соседями, к зависти, недоброхотству, неуступчивости и прочему тому подобному.

Вот какого характера с человеком должен я был тогда иметь дело и всегдашнее обхождение, и я не знаю, молодость ли моя или старание во всем к нраву и характеру его приноравливаться, или всегдашнее почтение, оказываемое мною ему и уважение его старости причиною тому было, что он чрез короткое время меня очень полюбил, и старался, во всем, в чем ему только можно было, быть мне полезным. Почему и не видал я от него никогда никакого зла и худа и был поступками его против меня весьма доволен.

Что касается до детей его, то имел он двух сыновей: меньшого звали Гавриилом, и сей был тогда еще сущим ребенком и у него фаворитом, ибо он любил его чрезвычайно, а старшаго звали Михаилом. Сей был только одним годом меня моложе, следовательно, мне сверстник. Но разница между мною и им была чрезвычайная; я, живучи, так сказать, в свете и скитаясь по людям, сколько-нибудь понаблужившись и много кое-чего знал, а он, родившись и воспитан будучи в таком совершенном уединении, не имел ни о чем сведения и понятия и был не только деревенским простым, но и совсем одичалым ребенком. Отец его хотя и старался его кое-чему из того учить, что он сам знал, но какого успеха можно было ожидать от учения такового, когда ребенок не столько помышлял об оном, сколько о

бегании и резвостях с ребятами и не был от того никакою строгостию воздерживаем? Ибо дядя мой имел за собою тот порок, что давал детям своим слишком много воли, не употреблял против них ни малейшей строгости, а оттого и воспитание их было очень дурно; а ко всему тому и было сотоварищество с его старшим сыном мне не столько выгодно, сколько вредно, как о том упомянется ниже обстоятельнее, а теперь возвращусь я к порядку моего повествования.

Побывав сим образом у дяди и сведя с ним первое знакомство, начал я осматриваться в моем доме и располагать, где и как мне и в которых комнатах жить и каких людей избрать для своих прислуг и как распорядить мое домоводство, ибо я положил намерение никуда уже до наступления срока моего не ехать, но прожить все оставшее время в доме.

Сперва расположился было я жить в самых тех комнатах, где жила покойная родительница, но не мог и одних суток вынести; печальные напоминания, величина и пустота дома и всех комнат нагнали на меня некоторый род уныния и ужаса и совершенно меня оттуда выгнали. Я решился поприбрать для себя ту пустую и нежилую комнату, которая была у нас чрез сени в сторону к саду, и заключал, что по одиночеству моему довольно будет на первый случай и одного сего покоя и, по крайней мере, до зимы. Обстоятельство, что имела она одно окошко на двор, а другое в сад, мне в особенности нравилось. Итак, велел я оную опростать, вымыть и прибрать и основал первое мое жилище в оной. Для прислуги своей взял я к себе прежнего моего камердинера, Дмитрия, и нескольких других мальчишек. Дядька мой жил в черной горнице и был моим советником, секретарем и всем, чем назвать изволишь. Жена его отправляла должность поварихи, каковую несла она и при жизни родительницы, а мать его, одну престарелую старушку, бывшую еще у покойной моей родительницы няней, выписал я из другой деревни, где она жила, и велел ей жить при себе вместо домосодержательницы, ибо мне казалось, что весьма нужно иметь в доме старого человека, которая могла бы присматривать за бельем и за прочим и наблюдать во всем порядок.

Что касается до протчаго домосодержательства и деревенской экономии, то удивления достойно, что я тогда не сделал в оной ни малейших перемен и не произвел ничего нового. Был у нас тогда в доме старик, по имени Григорий Грибан, служивший еще при покойном родителе моем кучером, и он управлял тогда домом и деревнями. Я оставил его продолжать

по-прежнему свое дело и, либо по молодости своей и по надежданию на свои силы и знание, либо по действительному еще незнанию всех деревенских обыкновений, и работ, не мешался сам, а особливо сначала, ни во что, но дал всему прежнее свое течение, и потому все строения, сады, пруды и прочия вещи в доме остались на прежних местах и в прежнем состоянии. Я, власно как из некотораго рода почтения к старине и ко всему сделанному покойною родительницею моею, не смел и не отваживался желать никакой перемены и сие простиралось даже до того, что я в самых комнатах хором не имел отваги ничего дальняго переменить и сделать их для себя покойнейшими; а все, что я сделал, состояло только в том, что я прежнюю комнату, где была моя спальня, разгородил и, сделав чрез то просторнейшею, обратил ее к зиме в мою жилую комнату и вкупе в спальню, а большую угольную, где живала покойная родительница, сделал гостиною, и все сие поприбрал несколько получше. Мне вздумалось ее выбелить и по примеру зятниных хором все стены расписать красками. Но дьявольская была между ими разница. У того дом отделан был порядочно и все стены обиты были холстом и по оному расписаны были масляными красками, а я залепил только у своих тряпичками пазы, а потом, выбелив все известью, размазал по ней масляными красками и таким десенем, какой мне казался лучше. Я разделил нарисованными столбами стены на несколько отделений и между каждым отделением намазал изображения в полный человеческий рост людей, где солдата, где гренадера, где генерала и так далее. Но как о малеваньи масляными красками не имел я и понятия, а видел только однажды, как расписывали ими кареты и коляски в Петербурге, и притом и мазал я красками сими по извести, то легко можно всякому разсудить, сколь глупа и несовершенна была тогдашняя моя работа; но мне казалась она тогда преузорочною. Но ныне не могу я без смеха вспомнить оную, также и того, с каким рвением и усердием я тогда трудился и работал производя оную. Помянутая и почти от меня неотходившая старушка няня, которую и я привык называть тем же званием, была единою у меня в сем случае советницею и одобрительницею. Бывало, мажу, мажу и, устав стоячи, отбегаю прочь, и говорю: «Посмотри-ка, нянюшка, хорошо ли?» – «Хорошо батюшка!» – отвечает она мне; а я, тем поострясь, пушусь опять мазать и не столько загваздаю стены, сколько замаруюсь и загваздаюсь сам. Но какая до того нужда! Было бы только исполнено желание и размазаны стены.

Сию работу произвел я еще в то же лето, как приехал. Какова дурна она ни была, но удивила всех простаков деревенских жителей и вперила им об искусстве моем и дарованиях весьма выгодная для меня и хорошия мнения, а самому мне была она не без пользы: она заняла много времени и вместе с прочим рисованием и чтанием книг помогла мне препроводить первое время моей деревенской жизни с удовольствием и без скуки, а без того стало-было оно мне весьма и скучно становиться. Привыкнув до того непрерывно быть между людей и всегда в обществе, а тогда принужден будучи жить один без всякаго сотоварищества, долго не мог я никак к тому привыкнуть. К вящему несчастью, не было никого и в ближнем соседстве, с кем бы я мог иметь знакомство и компанию. Самые прежде упоминаемые родственники моей матери, все почти во время пребывания моего в Петербурге и у сестры, померли. Господина Писарева и Картина не было уже на свете, остался один г. Бакеев; но и тот жил тогда в степной своей деревне. Но хотя б старики сии и живы были, но какую компанию могли бы они иметь с ребенком? Итак, был только один мой дядя, к которому имел я свой частейший выход; но и сей мучил меня наиболее только рассказываниями своими о приказных и ябеднических делах, которыя мне в голову не лезли. Я уже рад-рад бывал, когда приходило ему в мысль рассказывать про свою военную службу и бывшия с ним во время оной происшествия; например: как бывал он в миниховских походах против турков; как определен был для строения усть-самарскаго ретраншаментя; как он его строил; как приезжал Миних смотреть оный и с ним говаривал, и прочее тому подобное; все сие умел он как-то хорошо и складно рассказывать, и я слушивал его с удовольствием; но наконец и сии повествования, от частаго повторения, мне прискучили. Что ж касается до его сына, то он долго не мог со мною свыкнуться и сдружиться.

Что касается до бывавших у меня гостей, то всего чаще хаживали ко мне попы как свои приходские, так и посторонние. Отец Илларион не преминал ко мне с братом своим, дьяконом, на другой еще день моего приезда явиться. К сей духовной особе привык я уже с малолетства иметь почтение, и как он того был по справедливости и достоин, то продолжал я оное и принимал его всегда с уважением. Он хаживал ко мне нередко, обедывал со мною и просиживал по несколько часов, разговаривая о разных материях. Мне никогда собеседования и разговоры его не были скучны, но, напротив того, могу я ему ту честь отдать, что он давал мне в тогдашнее

время весьма хорошие советы и наставления: как мне жить, и вести себя порядочно, и заслуживать себе хорошую славу, и я могу сказать, что я с сей стороны ему много обязан. Что касается до дьякона, его брата, то был он его простее, но человек весьма добрый, и я любил его за его веселый и шуточный нрав. Кроме сих хаживали ко мне и многие другие попы; но из тех не находил я никого достойного и такого человека, с которым можно было поговорить.

Разрисовавши или, лучше сказать, распестривши свою комнату, рассудил я ее и прибрать получше. В другой нашей деревне, неподалеку от сей, а именно Калитине, стояли еще у нас старинные матушкины хоромцы, самые те, в которых она воспитывалась и в коих жил ее дед, а мой прадед, *Гаврила Прокофьевич Бакеев*. Как хоромы сии были уже ветхи и мне советовали их продать одному тамошнему соседу, то поехал я туда для забранья бывших в оных еще мебелией. Состояли они в нескольких картинах, изображающих святых, нескольких изрядного письма образах, столах, стульях и некоторых других вещах. Покойная мать моя не трогала в них оныя, ибо любила сию деревню и езжала в нее часто. Наилучшую картину составлял образ Сосца Богородицы, которая и поныне еще у меня цела. Я забрал все оныя оттуда и убрал ими мою разрисованную комнату, сломав прежния полки и уголки.

В сию бытность мою в *Калитине* возобновил я знакомство с одною живущею тут старушкою фамилии Бакеевых, а по имени *Марфою Маркеловною*, и бывшею матери моей недалнею родственницею. Старушка была мне очень рада; но я был более еще рад, что нашел у ней сына одинаких почти со мною лет и имевшаго также некоторую охоту к рисованию. Я познакомился тотчас с ним и рад был, что нашел хоть одного себе товарища. Его звали *Дмитрием Максимовичем*, и он самый тот, который живет и поныне в Калитине.

Как скоро поспела совсем моя комната, то сделал я в ней некоторый род новоселья и позвал к себе на обед дядю, вышеупомянутую старушку с сыном, попов и еще кое-кого из знакомых и старался угостить всех. Они все были довольны моим угощением и хвалили мою работу, хотя она всего меньше похвалы была достойна, но правду сказать, и они знатоки были весьма-весьма посредственные.

Сим образом мало-помалу начал я привыкать к деревенской уединенной жизни. В летнее время была она мне все еще сноснее; не успел я при-

ехать, как начали поспевать ягоды за ягодами, плоды за плодами. Хождение по садам, соби́рание оных, заготовле́ние впрок и самое варе́ние оных в меду занимало и увеселяло меня ежедневно, и я не видал, как проходило время; но как начала приближаться осень и длинные скучные вечера, то сделалась она мне чувствительнее, и я со скуки бы пропал, если б не помогла мне склонность моя к наукам и охота к чтанию книг.

Несчастье мое только было, что книг для сего чтения взять было негде. В тогдашнее время таких книжных лавок, как ныне, в Москве не было, почему хотя б я хотел себе и купить, но было негде. У дяди моего чтоб книги были, того и требовать и ожидать было не можно; однако против всякаго чаяния узнал я, что у него есть одна большая духовная книга, известная под названием «Камень Веры». Он хранил ее как некое сокровище и не давал никому в руки. В недостатке лучших и множайших, рад я был уже и той, и дядя столь меня любил, что ссудил меня оною для прочтения. Я прочитал ее в короткое время с начала до конца и получил чрез нее столь многия понятия о догматах нашей веры, что я сделался почти полубогословом и мог удивлять наших деревенских попов своими рассказами и разсуждениями, почерпнутыми из сей книги. Дядя мой весьма доволен был моею охотою к чтению и как он, так и отец Илларион, не могли довольно надивиться моему понятию и остроте разума. Последний, узнав мою превеликую охоту к чтению, постарался достать мне таким же образом для прочтения жития святых, описанныя в «Четьих-Минеях». Боже мой! какая была для меня радость, когда получил я первую часть сей огромной книги. Как она была наиболее историческая, следовательно для чтения веселее и приятнее, то я из рук ее почти не выпускал, покуда прочел всю оную, а таким же образом поступил и с прочими. Чтение сие было мне сколько увеселительно, столько ж и полезно. Оно посеяло в сердце моем первыя семена любви и почтения к Богу и уважения к христианскому закону, и я, прочитав книгу сию, сделался гораздо набожнее против прежняго. А знания мои столько распространялись, что вскоре начали обо мне везде говорить с великою похвалою, деревенские же попы почитали меня уже науученейшим человеком; но что и неудивительно, потому что они сами ничего не знали и не в состоянии были судить о том, что бело, что черно; я же всякий раз, когда ни случалось мне их видать, замучивал их вопросами и нарочно старался приводить их в нестроение и замешательство, дабы они обо мне и о знаниях моих получили высокое мнение.

Однако чтение было не одно, в чем я упражнялся в осеннее и в зимнее потом время. У дяди моего нашел я также и несколько математических книг печатных и скорописных, а особливо была у него прекрасная геометрия и фортификация, писанная и черченая самим им в молодости, когда он учился наукам сим у Ганнибала. Я вострепетал, увидев оныя, и до тех пор не дал отдыха дяде моему, покуда не отдал он мне их для списания и счерчения, ибо к наукам сим имел я особливую склонность. Не успел я оныя получить, как тотчас начал списывать и все фигуры, разбирая, счерчивать и чрез самое то учиться сим наукам. Дядя мой обещал мне в нужных случаях помогать и то мне изъяснять, чего я сам понять и разобрать не мог; но до сего не доходила почти никогда надобность: удобопонятие мое было не так мало, чтоб нужны мне были указания. Я мог разбирать все сам, и старание мое об изучении сих наук было столь велико, что я чрез год сделался в них еще знающее, нежели каков сам мой дядя был. Я написал и начертил книги, которыя и поныне еще у меня целы, и украсил их возможнейшими, хотя совсем излишними и такими украшениями, которыя изъясляют очевидно тогдашний мой ребяческой и весьма еще неосновательной вкус.

Третье упражнение мое состояло в писании. С самага малолетства имел я уже к тому некоторую охоту, и всегда, бывало, что-нибудь марал и списывал; а тогда склонность сия возрасла уже до знатнаго градуса и сделала меня на весь мой век охотником до писания. Я находил как-то особливое удовольствие в сей работе, и она была мне не только не трудна, но еще увеселительна. Наилучшее мое писание было в зимнее время по утрам, в которыя вставал я очень рано и за несколько еще часов до света. Но что ж я списывал? Не имея ничего лучшаго, списал я целаго «Телемака» с печатнаго, которую книгу удалось мне негде достать. Я велел ее переплесть, и переплет был хотя самый скверный, в досках, и по манеру церковных книг с застезками, однако я не мог ею довольно налюбоваться, и книга сия была мне так мила, что я взял ее с собою, когда поехал на службу; но, к сожалению моему, пропала она у меня с некоторыми другими книгами.

Вот в каких упражнениях препроводил я все глубокое и скучное осеннее время и первую половину зимы. Правда, меня людцы мои хотя и старались приучить к псовой охоте и, с перевозимья достав где-то несколько борзых собак, уговорили меня выехать верхом для ловления зайцев по пороше, однако мне охота сия никак не полюбилась. Я иззяб впрах, ездючи

верхом по снегу по полям, разклял сам себя, что поехал и, возвратясь домой, раскланялся с сею охотою и приказал, чтоб собак более не было и на дворе моем, но чтоб отдали их тем, от кого взяли. Маленький чижечек, сидящий у меня в клетке с колесом, которую я сам сделал, и гремящим позвонком, делал мне тысячу раз более удовольствия, нежели все борзые собаки в свете. Я любовался всякий день, смотря, как он по колесу бегал и, вертя оное, гремел колокольчиком. Однако не могу сказать, чтоб я и к маленьким птичкам имел страстную охоту: у меня их хоть и было несколько, однако я не был к ним охотником.

Между сими разными упражнениями окончился 1753-й год и начался четвертый, который был последний, который мне дома жить оставалось.

Сим окончу и я мое теперешнее письмо, сказав вам, что я есмь и прочая.

САМООБУЧЕНИЕ

Письмо 22-е

Любезный приятель!

Каким образом препроводил я первую половину зимы, так точно препроводена и вторая. Списывание книг и тетрадей, писание и черчение геометрии и чтение «Четких-Миней» и даже списывание из них наилучших и любопытнейших житиев некоторых святых в особую и нарочно сделанную для того книгу составляло наиглавнейшее мое упражнение. Книга сия и поныне еще у меня цела, и я храню ее для достопамятности, чтоб видеть, как я тогда писал. Трудолюбие мое и охота к писанию была так велика, что я просиживал иногда целые почти ночи за письмом, и старушка няня, делающая мне всегда одна почти компанию и уставающая от сидения в уголке подле печи за своим гребнем, нередко принуждена бывала мне напоминать, что время уже ужинать и что давно уже за полночь. Когда же дни стали становиться более, то к сим упражнениям присовокуплял я и рисование. Я нашел у дяди моего десятка два печатных и разрисованных картинок, изображавших страдания Христовы. Немецкие сии и изрядные эстампы¹ прибиты были у него гвоздиками к стене под самым почти по-

¹ Эстамп – резная или травленная на меди или стали и отпечатанная на бумаге картина.

толком рядышком, и от долготы времени и от мух так потемнели, что почти ничего не видать было, что на них написано и изображено. Я досадовал, что были они в таком небрежении, и мне захотелось их все для себя срисовать. Я выпросил их у дяди и трудился над срисовыванием оных весь почти Великий пост и имел потом великое удовольствие видеть спальню мою украшенную ими. Склонность и охота моя к рисованию была так велика, что я и летом большую часть времени препровождал в оном и нарисовал несколько сот картин для украшения моей залы. Во всех картушах географического атласа моего не осталось ни единого человеческого изображения и фигуры, которую б я не нарисовал в увеличенном виде на особливом листе бумаги и не поместил наряду с прочими. Самая сия украшаемая картинами зала составляла в летнее время и рисовальную мою комнату, и весь стол в оной уложен был раковинами с красками. Но признаться надобно, что все сие безчисленное множество картин не стоило и одной хорошей, а составляло не что иное, как единое гвазданье.

Кроме сего, было у меня сим летом и другое дело и упражнение. Прочертив зимою всю геометрию, чертил я около сего времени фортификацию. Наука сия, научающая строить, оборонять и брать крепости и города, в особливости мне полюбилась и была для меня очень весела. Склонность моя к ней так была велика, что я, не довольствуясь одним черчением, захотел видеть и в самой практике и натуре все крепостныя здания и военные укрепления. Я сделал себе маленькую сажень и фут и, выбрав в саду ровенькое место, предпринял построить в миниатюре маленькую земляную регулярную крепостцу. И о! сколько трудов, хлопот, гвазданья, маранья, скобленья и резанья не было при сей работе. Я располагал и отделявал все по увеличенному масштабу и не прежде как чрез несколько недель имел удовольствие видеть крепость мою, отделанною и окруженною рвом, покрытым путем и полисадником, и могу сказать, что чрез сию игрушку получил я многия такая понятия, которых не имел прежде.

Вот в каких делах и упражнениях упражнялся я в течение сего года. Из них хотя большая часть составляла не что иное, как детские игрушки, однако по крайней мере произошла от них та польза, что я не был никогда в праздности, но занят был большую часть времени делами; следовательно, и оставалось его тем меньше на резвости и другия свойственныя моему возрасту увеселения. Ибо надобно знать, что сколь я помянутым образом ни был трудолюбив и к наукам прилежен и рачителен и сколь ни вел себя

тихо, скромно и постоянно, однако не должно себе воображать, чтоб я был и совершенным уже философом и чтоб не было во мне ничего уже ребяческого; но вопреки тому, при всех моих хороших и похвальных упражнениях, не проходило без того, чтоб временем иногда, а особливо вечером и на досуге, не порезвиться и чего-нибудь глупаго и непохвального не сделать.

Ко всем сим резвостям и глупым упражнениям приучил меня наиболее мой двоюродной брат, то есть старший сын дяди моего. Я уже упоминал, что он был совсем противнаго со мною сложения, и вместо наук и трудолюбия имел только склонность к одним резвостям. Самое сие причиною было, что он весьма долго со мною коротко не познакомился и не сдружился, ибо как он услышал, что я все сижу за делами, и либо книгу читаю, либо пишу, либо рисую, то и бегал он от меня как от огня и не сводил со мною никак короткаго знакомства.

Сим образом прошло у нас все первое лето жительства моего в деревне, и все наше свидание бывало только тогда, когда-либо я приду к дяде, либо он ко мне, но и тут, бывало, он только что покажется и повернется, а так опять и след его уже простыл. Наконец нечаянный случай, и не прежде как по наступлении уже первой зимы, нас с ним сдружил и познакомил. Случилось как-то мне увидеть, что ребятки на дворе играли в так называемую килку. Мне игра сия полюбилась чрезвычайно, и более потому, что она имела некоторое подобие войны. Все играющие разделялись на две партии, и одна партия старалась килку, или маленький и кругленький отрубочек от деревяннаго кола, гнать в одну сторону и догонять до конца двора или до уреченнаго какого-нибудь места, а другая партия старалась ей в том воспрепятствовать и гнать килку в другую сторону двора и также до какого-нибудь уреченнаго места, и которой партии удастся прежде до своего желанія достигнуть, та и выигрывает. Чтоб удобнее можно было сию килку гнать, то каждый человек имеет палку с кочерешкою на конце, дабы сею кочерешкою можно ему было килку и совать и по земле гнать, а ежели случится на просторе, то и ударять, чтоб летела далее и могли ее подхватить и гнать далее его товарищи. Словом, игра сия самая задорная, наполненная огня, рвенія, усердія и играющие должны употреблять наибольшее проворство и скоропоспешнейшее беганіе за килкою для успеванія скорей ее ударить и прогнать, и притом наблюдается в ней некоторый порядок. Люди разстанавливаются сперва вдоль по всему двору в два ряда и человек против человека, а потом один из победителей, по-

ложив килку на какую-нибудь чурку, ударяет по ней изо всей мочи свою кочерешкою и так, чтоб полетела она несколько вверх и упала сверху посреди обоих рядов, и тогда ближние люди бросаются к ней и начинают свое дело, то есть гнать в ту сторону, куда кому надобно.

Впрочем, была игра сия у нас в деревне в таком тогда обыкновении, что в зимнее досужное вечернее время игрывали в нее не только ребятишки, но и самые старые и взрослые люди вместе с ними. Всякий выбирал другого такого ж себе в соперники, и все не меньше бегали и проворили, как и ребятишки, и веселились до крайности, когда случится победить и заставить себя побежденному перенести за плечами чрез весь двор или от одного уреченного места до другого.

Все сии обстоятельства и возбудили во мне желание испытать поиграть вместе с ними, и как она мне чрез то еще больше полюбилась, то, приметя единую ту опасность, сопряженную с сею игрою, что деревянная палка, попав в человека, может зашибить, велел я вместо оной сшить кожаный мяч и употреблять при игре сей, а людей собрать как можно более, дабы она была тем веселее.

Сделав сию перемену, не успели мы начать играть, как, поглядим, катит на двор наш Михайло Матвеевич с целою толпою своих прислужников и ребятишек. В другое время звать бы его не дозволялся, а тут прилетел сам, как сокол ясной. «Братец! мне сказали, что вы здесь играете сами, не позволите ли и мне с вами поиграть?» – «Очень хорошо, братец, сколько угодно».

Мы проиграли тогда целый вечер вместе и нарезвились и навеселились досыта. Братцу моему сие так понравилось, что он обещал и наутрие придти, если у нас игра будет. Я принужден был, для приласкания его к себе, и на другой день то же затеять, и с того времени перестал мой братец меня дичиться, но стал ходить ко мне часто, а все более для того, чтоб ему тут вольнее было резвиться, нежели дома.

Но ведал бы я, то лучше б никогда ходить его к себе не заохочивал, ибо скоро дошло до того, что он стал мне уже и мешать в моих упражнениях. Часто случалось, что иногда делаешь что-нибудь нужное и спешишь скорей кончить, а не успеет он приттить, как покидай все дело, и в удовольствии его ступай с ним либо в килку играть, либо на крестьянских лошадях кататься, либо иное что глупое и ребяческое делать. К вящему несчастью, не успел он начать ко мне ходить, как и сам отец его стал его к

тому поощрять и побуждать ходить ко мне чаще, ибо он, ведая мои хорошие упражнения, ласкался надеждою, что от меня и к сыну его что-нибудь пристанет и что и он что-нибудь у меня переймет и к чему-нибудь приохотится. Но у нашего молодца всего меньше на уме было, чтоб перенимать что-нибудь. Книги для нас хоть бы не были на свете, писание ненавистно, а рисование в голову лезть не хотело, а весь ум в разум наш помышлял об одних только резвостях и вся голова набита была одними пустяками и глупостями.

Таким образом, приманив к себе братца, скоро и не рад я тому уже был; но как дело сие было уже невозвратно и отучить ходить к себе было труднее, то принужден уже я был кое-как с ним перебиваться; иногда отговаривался уже недосугами, иногда всклепанною на себя головною болезнию, иногда стужею и тому подобным, но сие все мало помогало. Пристанет бывало так, что никак не отделаешься, и поневоле почти делаешь то, чего бы и не хотелось. Например, как пришло Рождество и наступили Святки, то у меня и на уме не было заводить игрищи; но по его усиленной и неотступной просьбе должен я был велеть собирать и делать сии наиглупейшия деревенския игралищи, в коих не только не было ни малейшаго вкуса, но кои, по сквернословию, употребляемому на них играющими, были гнусны, отвратительны и презрения достойны. Но братец мой восхищался оными и находил неведомо сколько удовольствия.

По приближении Масляницы приказал я, не столько для себя, сколько для него, сделать на дворе гору и себе собственные маленькия салазочки. Но он мало на ней катывался, а для него приятнее было ходить вниз под гору и чрез реку в деревню, и там с маленькаго бугорка кататься вместе с крестьянами и крестьянскими бабами и ребятишками, – а для чего? Для того, что у нас на дворе наблюдалась сколько-нибудь благопристойность и порядок, а там была сущая беспорядица, всякая нелепица и вздор; например, катывались не столько на салазках, сколько навалившись по несколько человек друг на друга на дровнях или на лубках, и притом не столько днем, сколько ночью. А, как это для братца моего было утешно и весело, он уговорил и меня сделать ему однажды компанию и сходить туда же; но для меня катанье сего рода никак не полюбилось, но показалось слишком беспорядочно, глупо и подло. К тому ж, как я тут едва было очень больно не зашибся, то в другой раз не заманил он меня уже никак туда, а для меня милее было кататься на своей горе и порядочно на своих

весьма ловких салазках, без шума, без крика и без всяких нелепостей и вздора, и к каковому катанию я так тогда привык, что любил упражнение сие во все течение моей жизни.

Во время продолжения Великого поста, при частых его меня посещениях, старался было я брата моего приучить сколько-нибудь к рисованию, в котором я тогда наиболее упражнялся, и тем паче что и сам дядя меня о том просил. Но статочное ли дело, чтоб нам послушаться и чтоб приняться за какое-нибудь дельцо. Нет! для нас все они были скучны и неприятны и всякое заставляло тотчас зевать. «А лучше сходим-ка, братец, на гумно и посмотрим, как у вас молотят». Я сперва не знал, что это значит, и согласился охотно с ним туда иттить; но что ж вышло, наконец, и зачем предпринимаема была сия ходьба на гумно?.. Надобно тайком увести крестьянских тут находящихся лошадей с санями, надобно на них насажаться с ребятишками, надобно скакать, что есть поры-мочи, по улицам, по рощам и по дорогам, и во все горло орать самая глупейшая и вздорнейшая крестьянская песни, и потом где-нибудь извалиться, полететь стремглав, перегваздаться и перемараться всем в снегу, и всему тому похохотать; не все ли глупое, нелепое и вздорное? Но со всем тем братцу моему было все сие крайне мило и утешно. Он рад бы хоть всякий бы день сие повторять, однако скоро я и от сей забавы отказался. Однажды, извалившись и едва не переломив руки, откланялся я ей и оставил ее одному своему братцу.

Пред наступлением Святой недели увидев братец мой, что я не всегда и не на все его предложения и затеи соглашаюсь, а привыкнув в доме у меня с множайшею вольностию резвиться, нежели дома, где иногда отец на него покрикивал, вздумал приискать себе еще товарища, с которым бы ему более можно было резвиться, и уговорил меня, чтоб я выпросил у одного нашего соседа и дальняго родственника, по имени Степана Петровича Челищева, одного из его сыновей и взял его погостить к себе. Он уверял меня, что он одного, по имени Михайлу, знает, что он летами почти нам ровесник, что мальчик весьма хороший и что нам с ним будет нескучно. «И, братец! – сказал я, сие услышав. – Что ты мне сего давно не скажешь? Я бы давно его к себе взял. Пускай бы он у меня жил и делал мне компанию».

Словом, братец мой так меня им прельстил, что я на другой же день к Степану Петровичу для испрошения его к себе поехал. Дворянин сей

был весьма небогатый человек, жил от нас верст за десять, имел многих сыновей, и наслышавшись довольно о моей постоянной и хорошей жизни и поведении, с великою охотою согласился отпустить ко мне своего сына и позволить держать его у себя столько, сколько мне угодно будет. Обращаясь сему, взял я его тогда же с собою и, привезя домой, послал тотчас за братцем и, показывая ему его, сказал: «Вот тебе и Михайла Степанович; такой ли надобен?..»

Он обрадовался ему чрезвычайно и тотчас возобновил с ним прежнее свое знакомство и свел дружбу.

Сотовариществом сего мальчика, а особливо в первые дни, покуда он еще не оборкался, а все несколько дичился, и покуда продолжался еще пост, был я весьма доволен. Он показался мне довольно смирным и хотя ничего совсем незнающим, но имеющим несколько любопытства. Когда я работывал, то он сиживал подле меня, сматривал мою работу и расспрашивал то о том, то о другом. Все сие ласкало меня надеждою, что авось-либо удастся мне что-нибудь нужное и хорошее вперить в сего мальчика и приучить его со временем к какому-нибудь упражнению, и я мечтал уже неведомо что об нем. Но сколь сильно обманулся я во всех моих мнениях и надеждах! Святая неделя показала мне совсем иное.

Не успела сия настать, как начались у нас с братцем моим ежедневныя свидания и все неделе сей свойственныя увеселения. Мы были почти неразлучны между собою и он почти не выходил от меня. Катание яиц, которых было у меня превеликое множество, составляло наше первое упражнение. Я снабдил довольном количеством оных и моего сотоварища и гостя. Брат мой был чрезвычайным охотником до сего катания, и притом очень вздорлив и неугомонен. Челищев был ничем не лучше, а еще не хуже ли онаго. Всякий день начались у них с ним за яйца крики, споры, ссоры и вражда, и очень часто дохаживало даже и до стрельянья друг в друга яйцами и катками, и я принужден был их унимать, мирить и возстановлять прежнее согласие. Сие явление было первое, показавшее мне уже отчасти истинный характер моего гостя, а чем далее, тем более усматривал я, что в заключениях моих об нем весьма обманулся.

Другое увеселение наше составляло качание на качелях. У меня сделаны были оне на дворе прекрасныя. Братец мой с г. Челищевым не сходили почти с оных. У него была с ним всякий день по несколько раз и ссора и мир, и опять дружба, и как оба они были ребята очень несмирные, то про-

исходила у них и на качелях всякая всячина. Однажды чуть было братец мой не ушиб до смерти моего гостя, вскинув его с ребятами так высоко, что он соскочил с доски и повис на веревках. Я обмер и спужался, увидев сие издали, и наконец безпутных их резвости мне так надоели, что я велел закинуть веревки и запретил, чтоб никто без меня не качался.

Не в одном сем упражнялись мы в Святую неделю; но как она была в тот год поздно, и не только не было нигде уже снега, но и обсохло, то не оставили мы ни одной почти игры, в которую б не играли и не резвились. И в мяч-то, и в городки, и в килку, и в веревку, и в стрякотки-блякотки, и в ладышки и во вся и вся! Всем сим играм наиглавнейший заводчик и за-тейщик был брат мой, а г. Челищев был ему споспешник и сотоварищ.

В сие-то время имел я случай узнать короче моего гостя и удостовериться в том, что он был пререзвая особа, не имеющая в голове своей ничего добраго. Склонность его к резвостям, бешенству, ко всяким шалостям и ко всему, что только безпутством названо быть может, была так велика, что он далеко в том превосходил и самого моего брата, а сверх того, и ум его был не из самых лучших. Все сие заставляло меня уже некоторым образом и раскаяваться в том, что я его к себе взял. Однако, как при всем том был он веселаго нрава, а что всего лучше – не только переносил всякия делаемя с ним шутки, но и охотно еще и сам давал над собою шутить, то сие было причиною тому, что я его удержал при себе; а сверх того, имел я от него и ту выгоду, что брат мне не делал уже столько в делах и упражнениях моих помешательства, как прежде, и я всякий почти раз, когда он ко мне прихаживал, адресовал уже его к моему Михайле Степановичу, дабы он с ним шел и что хотел, то и делал, а меня бы оставил при моем деле и с покоем.

Однако нельзя было, чтоб временем и я не делал им компании. Лета мои требовали того, чтоб иногда и мне порезвиться. И каких-каких проказ не делали мы иногда над нашим гостем и сотоварищем, а особливо брат мой. Однажды он чистехонько было его уморил. Была у меня какая-то настойка с ягодами и вином. Поутру в тот день пивали у меня ее, и так случилось, что ягоды, напоенные еще вином и спиртом, поставлены были в чаше в передней комнате. Брат мой, пришедши после обеда ко мне, как-то их увидел и, отведав их, узнал, что оне довольно еще были сладки; тотчас приди ему в голову подшутить над г. Челищевым. Он зазвал его туда и, ведая, что нужно было только о чем-нибудь заспорить, как ко всему его убедить и преклонить можно, отыскал какую-то нарочитой величины чашу

и спросил его, мог ли б он, например, съесть чашку сию, вверх, сих ягод. «А для чего не съесть?» – ответствовал Челищев, отведав наперед ягоды и нашед их довольно вкусными. «Пустяки!» – сказал на то брат. Можно ли тебе съесть? Ты и третьей доли не съешь!» – «Коли так, то сей же час изволь», – ответствовал г. Челищев, и тотчас насыпав чашку вверх, и начал убирать. Я сидел тогда в другой горнице и рисовал, и ничего не знаю и не ведаю, что у них тут происходило. Но не успело пройти с полчаса, как ягоды и разобрали нашего Михайлу Степановича. Он начал шуметь и бурлить, как сумасшедший, и всех нас бранить и ругать немилосердным образом. Я удивился, сие увидев, и не понимал, что б это значило и что б такое поделалось над моим гостем. Но как он час от часу более бурлить и барабошить стал и, схватя палку, за людьми гоняться, то начал я уже и потрушивать и иного не заключал, что он с ума сошел и взбесился.

– Батюшки мои! что это с ним сделалось? – говорил я только всем и горевал, не зная, что мне с ним делать и начать.

Словом, я бы впрах настращался и перетрусился, если бы в самое то время не вошел в комнату мою мой брат, ходивший между тем домой, и увидев проказы г. Челищева не покатылся бы со смеха. Меня сие удивило еще больше.

– Чему, братец, смеяться? – говорю я ему. – Человек с ума сошел и взбесился, и я не знаю, что с ним делать?

Но он, услышав сие, захохотал еще пуще и катается-таки со смеха!

– Господи, помилуй! – говорил я тогда, удивляясь от часу больше и не понимая, что б это все значило. – Или все люди ныне с ума сошли? Да скажи, братец, ради Христа, чему такому ты смеешься и что в том смешного, что человек взбесился?

Брат мой хотел было сказать слово, но от смеха никак не мог; наконец, насилу-насилу и кое-как промолвил:

– Какое с ума сошел? Это не что иное, как ягоды!

– Какия ягоды? – спросил я.

И тогда рассказал он мне всю историю и уверял, что он не что иное, как пьян. Тогда исчез весь мой страх, и мы совокупно начали над ним шутить и хохотать. Но смехи и хохотанье наше скоро переменялось в действительный страх и опасение. Г. Челищев, побурлив-побурлив, начал наконец пошатываться, глаза у него переменялись и сделались страшные, язык начал с нуждою ворочаться и едва произносил слова: «Ох, тошно! ох,

смерть моя!»), а немного погодя не мог он более стоять на ногах, повалился, где стоял, на пол. Глаза подкатились у него под лоб, изо рта начала бить клубом пена, и он сделался без ума, без памяти и лишился почти чувств всех; мы оба с братом обмерли и спужались, все сие увидев, и не знали, что с ним начать и делать. Я только что твердил брату:

– Бога ты, сударь, не боишься! Как тебе, брат, не стыдно! Какую сделал с ним проказу! Нелегкая тебя догадала кормить его там ягодами! Что ты изволишь тогда делать, если он умрет? Я прямо ведь на тебя скажу, и ты как хочешь, так и ответствуй!

Брат мой стоял ни жив ни мертв, не говоря ни слова, а только что бледнел и краснел. Тотчас послали мы за дядькой моим, Артамоном; спрашиваем у него, чем сотоварищу нашему пособить? Дядька мой сам не знает. Наконец присоветовали нам лить на него воду. Мы тотчас сие сделали: всего его замочили, но пользы от того не было. Горе на нас превеликое! Боимся, чтоб действительно не умер. Напоследок присоветовали нам влить в него ложку конопляного масла; насилу разжали ему рот и влили оное: и оттого ли, или не оттого, ему стошнило и его вырвало. Сие сделало ему некоторое облегчение, он уснул, и к великому нашему удовольствию, к вечеру проспался и оправился.

В другой раз заспорили мы также с ним, что не можно никак голому человеку пробежать сквозь превеликую и широкую кулигу крапивы, которую нашли мы, гуляючи в одном месте подле пруда.

– Для чего не пробежать? – сказал он. – Великая эта диковинка! Тут не будет и десяти сажень!

Мы оспаривали его, что не можно, а он утверждал, что можно, и говорил брату моему:

– Коли не веришь, давай об заклад – об гривне, я сам пробегу.

Я моргнул брату моему, чтоб он бился, ибо признаюсь, что в этом грехе был и я соучастником, и он не успел с ним ударить по рукам, как г. Челищев в один миг сорвал с себя все платье долой и пустился и, пробежав, закричал:

– Великая диковинка! Ежели хотите, я и назад пробегу.

– Ну, ну! братец, уж так и быть! То будет и честь, и слава молодцу.

Он исполнил и сие. Но какое же мучение и страдание принужден был он вытерпеть! Сгоряча он не слышал и не чувствовал ничего. Но как крапива была превысокая и густая, и обстрекала его всего с головы до ног,

то не успело минут двух пройтись, как взбеленился наш мальи́й и даже взвыл от превеликой боли и мученья, так что мы сколько хохотали сперва, столько и сжалились над ним и обещанную гривну с охотою ему дали.

Несколько времени спустя после того проломили было мы ему чисто голову, играючи в килку, которая случилась на ту пору деревянная. Резвому братцу моему вздумалось с умысла ударить ее так, чтоб она ему по спине попала; но килка была так неосторожна, что попала ему прямо в голову. Г. Челищев не мог даже устоять на ногах оттого и насилу очнулся, и голова у него очень долго болела.

Наконец, однажды, тот же братец мой совершенно было утопил его на пруде. Было то при случае купанья. До сего купанья были мы превеликие охотники, и братец мой так меня к сему приучил, что в жары мы с ним по нескольку раз купывались, и однажды, как теперь помню, дошло до того, что мы целых семь раз в один день купались. Как г. Челищев всегда бывал с нами и не весьма еще плавать умел, то резвому братцу моему вздумалось однажды вместе с ним голым поплавать по пруду в камяге, которая была у меня на пруде. Не успел он отъехать на средину, как, желая постращать г. Челищева, стал он камягу качать то в ту, то в другую сторону, и веселиться тем, что тот кричал и боялся; но однажды качнул так неосторожно, что и сам полетел в воду, и его выпрокинул, и тогда чуть было он не захлебнулся совсем. Насилу-насилу я уже подплыл и его с глубокого места стянул за собою на мелкое.

Вот какия разныя проказы мы с ним делали; но конца бы не было, если бы все оныя и все наши резвости пересказывать, а довольно и сих для доказательства вам, что все мы были молодцы изрядные. Чем прекратя, остаюсь и прочая.

В ДЕРЕВНЕ

Письмо 23-е

Любезный приятель!

В тепершнем моем письме опишу я вам достальное мое пребывание в деревне. Из обоих предследующих писем могли вы усмотреть, что сколько жизнь моя в сей раз в деревне ни была хороша и порядочна, однако было в

ней нечто и дурное, и видели причину, подавшую к тому повод. Ежели по справедливости судить, то сие небольшое дурное было, в разсуждении лет моих, несколько для меня и извинительно. Мне шел хотя шестнадцатый год, но какия это еще лета и можно ли требовать и ожидать в них совершенной зрелости разума и дальняго постоянства? Далее, ежели принять в разсуждение, что все сие дурное состояло в единых только детских резвостях и что я, живучи на совершенной воле и совершенным властелином над всеми своими делами и поступками, весьма легко мог бы посягнуть на что-нибудь дальнейшее и худшее, то великое для меня было еще счастье, что я от всего того избавился и сохранил себя в сие столь критическое время моей жизни в совершенной непорочности. Привычка ко всегдашним и непрерывным упражнениям, частое и многое чтение духовных книг, нередкия свидания и разговоры с попами и другими духовными людьми о вещах до закона и веры касающихся, а наконец и самое списывание житиев святых, упражнявшее мысли мои хорошими и набожными помышлениями, поспешствовало много к тому, что я не погрузился в какия-нибудь такия пороки, какия не редко таковому возрасту бывают свойственны, в каком я тогда находился; а лучше сказать, не что иное, как самое Провидение и особливая милость небес меня от того сохранила.

Возвращаясь теперь к повествованию моему, скажу, что из прочих происшествий, случившихся со мною в тогдашнее пребывание мое в деревне, не помню я никаких таких, которыя б достойны были в особливости замечены быть, кроме следующих трех, не составляющих дальней важности.

Первое было то, что я однажды насмерть перепуган был ужами. Сих ядовитых гадин было как-то в нашей деревне превеликое множество в тогдашнее время. Наилучшее их жилище было под плотиною в том хворосте, которым пруды изстари были запружены. Тут имели они свои норы и лазей, из которых, вылезая в жаркое время, леживали они против солнца целыми кучами, свившись друг с другом. Кроме сего, ползывали они везде и везде и живали даже в самых лучших избах. Поелику гадины сии не напрасливы и очень смирны, ежели кто их не трогает и не раздражает, то люди наши так к ним привыкли, что никак их не боялись. Нередко, как рассказывали мне, случалось, что они вспалзывали на самую кровать спящих людей, однако нимало их не вредили, хотя насмерть перепугивали при просыпании и узрении оных. А однажды, как уверяли меня, случилось в доме нашем весьма странное и удивительное приключение.

Одна женщина, посадив маленьких детей своих на землю в сенях, дала им горшок молока для хлебания. Во время хлебания сего где ни возьмись превеликий уж и, приползя к ребятишкам, всунул голову свою чрез край в горшок. Повсюду есть молва, что ужи великие охотники до молока, и что будто нередко высасывают из коров все молоко, но чему, однако, трудно поверить. Но как бы то ни было, но маленькие ребятишки ужа сего не только нимало не испужались, но били его еще по голове своими ложками, не давая есть молока. В самое то время вошла в сени опять их мать и обмерла и спужалась, увидев сие зрелище. Она не знала что делать, но уж не успел ее увидеть как пополз прочь и ушел в свою нору.

Вот история, о которой уверяли меня, что она случилась некогда в нашем доме, однако я худо тому верю и почитаю более народною басенкою.

Что касается до моего с ними происшествия, то случилось оно во время купания в пруде. Я выше упоминал уже, что у меня была на сем пруде камяга или наипростейшая выдолбленная из одного дерева лодка. Я достал ее для разъезжания по пруду и увеселения себя на оной плаванием по привычке, учиненной к тому еще во Псковщине; когда же научился я при частом купаньи плавать и нырять, то наилучшее было у нас обыкновение, съехавши на камяге сей на самое глубокое в пруду место, прыгать с нея в воду и, опустясь на дно, выскакивать опять на поверхность воды и влезать опять в лодку. Но что ж случилось со мною однажды при таком прыжке в воду? Не успел я дойти до дна и ногами своими коснуться до земли, чтоб дать ими толчок об оную для скорейшаго возвращения на поверхность воды, как почувствовал я под ногами нечто чрезвычайно и как лед холодное; но каким неописанным ужасом поразило сердце мое, когда, вынырнувши из воды, увидел я, что вслед за мною вынырнуло из воды и два превеликих ужа, и один не более как на аршин, а другой аршина на два от меня. Я оцепенел весь тогда от ужаса и не зная уже не ведая, каким образом догреб я до лодки и ускользнул в оную, а того меньше, как меня сии ужи не ужалили: видно, самой судьбе угодно было меня спасти от оных, ибо оба они, вынырнув и подняв головы с превеликим шипением, яко знаком их раздражения, поплыли прочь и чрез весь почти пруд к берегу. – С того времени полно мне не только прыгать по-прежнему с лодки в воду, но я перестал и купаться в сем пруде.

В другой раз и вскоре после того, идучи мимо плотины, увидел я нескольких ребятишек на плотине, мечущих камушками и палочками в ле-

жащего посреди дороги на плотине превеликого ужа и раздражающего онаго. Я закричал на них, чтоб они перестали, что хотя они и учинили, но уж был уже раздражен и погнался вслед за одним из них, побегшим прямо в ту сторону, где я стоял. Боже мой! как я тогда испужался, а особливо увидев в первый раз отроду, как ужи раздраженные ползают. Они, извиваясь кольцом, не ползают, а даже сигают, и очень скоро и далеко. Мне не инако казалось, что он не только мальчишку, но и самого меня ужалит, и я побежал тогда такую опрометью прочь, что сам себя не вспомнил.

Оба сии случаи так меня настращали, что я всем людям и крестьянам накрепко приказал с того времени бить ужей везде, где они их ни завидят. Я не знаю, от того ли или нет, но с того времени количество их знатно уменьшилось и дошло до того, что ныне в целый год редко кому удастся и одного ужа увидеть.

Другое приключение было смешное, но наведшее на меня также некоторое опасение. Состояло оно в том, что я от одной глупой привычки чуть было лунатиком не сделался. В комнате той, в которой я спал, была кирпичная голландская печь, но имеющая пред самым устьем своим приступок, на котором сидеть было можно. На сем приступке стоячи и растворив дверцы, чтоб шел дух, повадился я, ложась спать и раздевшись уже совсем, в одной рубахе греться. Зимняя стужа подала мне к тому первый повод: нагревшись бывало досыта и ложусь я прямо в постелю. Но что ж меня от сей довольно долго продолжавшейся и ежедневно повторяемой привычки отучило? – Однажды нагревшись сим образом, лег я по обыкновению спать и заснул скоро, но в самую полночь пробудившись, вдруг увидел себя стоящего на помянутом приступке у печки и греющегося. «Господи помилуй! – перекрестясь, сказал я тогда сам себе. – Каким это образом я сюда зашел?» Ужас превеликий напал тогда на меня; я раскликал и перебудил всех спящих со мною людей, и с того времени полно мне по вечерам у печки моей над душком греться; и вот какое действие может производить привычка в человеке.

Третье приключение было странное и для меня тогда весьма удивительное. Некогда в летнее время перед вечером вздумалось мне выйтить одному в нижний свой сад прогуляться. Сад сей удален был несколько от всего двора и был на косогоре к реке и к вершине. Не успел я приттить в оный и взойтить на самую средину онаго и самое то место где ныне пред хоромами моими пониже цветника стоят стриженные пирамидами елки,

как услышал я вдруг голос, кличущий меня по имени и по отчеству, и голос довольно громкий и как бы из близости происходящий. Я тотчас ответствовал «ась», но на мое «ась» не последовало никакого ответа. Сие меня удивило. Я тотчас закричал: «Кто меня кликал?», но и на сие столь мало ответа получил, как и на первое. Я повторил еще раз, но не тут-то было. Я смотреть в ту, я смотреть в другую сторону, но никого не вижу; кричал еще: «Кто меня кликал? Кому надобен?», но не было ни от кого ни слуха ни духа ни послушания, но господствовала повсюду тишина и совершенное молчание. «Господи помилуй! – говорил я тогда, удивляюсь. – Что за диковинка? Кто это меня кликал?», но все мое удивление было тщетно. Не удовлетворяясь кричаньем, стал я бегать по всему саду, перешарил все его углы и закоулки, а особенно в той стороне, откуда мне голос слышался, смотрел в вершине, за вершину в рощу, в чужой сад, кричал еще несколько раз: «Кто меня кликал?» Но нигде не было и следов человеческих и никто мне не ответствовал. Ужас тогда напал на меня. Я побежал опретью домой и тут созвав всех людей, спрашивал, не был ли кто в нижнем саду или не шел ли мимо и не кликал ли меня, но все клялись и божились, что никогда в саду и подле сада в то время не было и никто меня не кликал. Словом, я не мог никак отыскать и не знаю и поныне, как это случилось и кто меня тогда кликал, а то только знаю, что голос был подобный во всем человеческому и произносим был не далече от меня.

Кроме сих трех происшествий, не помню я никаких иных. Что ж принадлежит до моих выездов со двора, то во все мое тогдашнее полугодовое жительство в деревне были они очень редки. У самой вышеупомянутой старушки, госпожи Бакеевой, у которой был сын, умеющий рисовать, бывал я очень редко и более потому, что она сына своего ко мне никогда почти одного не отпускала, а сие было причиною, что я не мог сотовариществом его пользоваться. Кроме сей, была тогда еще одна старушка, по имени *Варвара Матвеевна Темирязева*, к которой я временно ездил. Она происходила из нашей фамилии и была сестра родственнику моему, *Никите Матвеевичу Болотову*, имевшему третий дом в нашей деревне, но бывшему тогда на службе и служившаго в Киевском полку полковником. Старушка сия была всех старее в нашем роде и самая та, которая запомнила еще того *Еремея Гавриловича*, котораго историю сообщил я в начале первой части моей истории и от которой я ее слышал. К сей старушке ездил я также временно и любил слушать от нея разныя

повествования о старине. Также случалось мне однажды ездить с дядею моим и к тому Ивану Михайловичу Дурнову, который был отцу моему наилучший друг и которого в духовной своей сделал он душеприкащиком. Однако я нашел его добреньким, но ничего почти не значащим старичком. Он принял меня ласково, но был очень удален, чтоб входить в какия-нибудь до меня относящиеся обстоятельства.

Кроме сих, была еще одна очень почтенная старушка, жившая в *Калитине*, по имени *Авдотья Игнатьевна Пущина*, бывшая покойному родителю моему в некотором свойстве и имевшая двух детей: одного сына на возрасте и дочь, превеликую красавицу. Сию единственно за красоту взял за себя некто превеликий богач г. Докторов, а как он, прижив одного сына, скоро умер, то прельстился красотой ея один из князей Долгоруковых, по имени Иван Алексеевич, и на ней женился, и так она вошла в родню знатную и большую. Что же принадлежит до ея сына, то с ним случился особый казус. Вздумалось ему однажды застрелить прилетевшую на двор ворону; он, прицелившись с крыльца, хлоп; но на ружье схватило только с полки, а оно как-то не разрядилось; он как то восхотел продуть в дуло ружья для узнания заряжено ли оно, но не успел он начать дуть, как ружье разрядилось и всем зарядом выстрелило ему прямо в рот и тем умервило его в ту ж минуту. Приключение сие тогда во всех наших окрестностях было очень громко, и все сожалели о нем и тем паче, что он у матери был один только сын и смертью его весь их род пресекался. У сей старушки я также несколько раз бывал.

А всего чаще ездил я к церкви; в сей не пропускал я почти ни одного праздника и воскресенья, чтоб не быть у обедни. Езживал же я всюду наиболее верхом, ибо езда на дрожках была тогда еще не в обыкновении и никто еще не знал сего удобнаго и дешеваго экипажа.

К выездам же моим со двора можно присовокупить и то, что в летнее время нередко ездил я в поля увеселяться ястребиною ловлею перепелок. Старик прикащик мой был до оной охотник и кармливал меня всегда перепелками, и я ездил с ним иногда для смотра. Сия ловля птиц была для меня довольно утешна, однако я и до нея не сделался охотником; важнейшия упражнения не допускали меня до того.

Итак, наичастейший выезд и выход мой был к моему дяде. В последнее лето я так к нему, а он ко мне привык, что мы видались всякий божий день, и он не считал меня уже гостем. Обыкновенно хаживал я к нему по-

сле обеда часу в четвертом или в пятом, и как он обедал очень рано, а в сие время имел обыкновение полудновать, то унимал¹ он меня всегда вместе с собою полудничать. Полуднованья сия были почти точно такие ж, как обеды, и состояли обыкновенно из трех или четырех блюд. Первое из оных было с куском ржавой ветчины или с окрошкою; второе с наипростейшими и, что всего страннее, без соли вареными зелеными или капустными щами. Бережливость дяди моего простиралась даже до того, что он не вверял солистряпчим, но салывал щи сам на столе; а третье составлял горшок либо с гречневою, либо со пшенною густою кашею, приправляемою на столе коровьим топленным маслом, ибо сливочного и соленого тогда и в завете нигде не важивалось. Итак, столы сии были хотя не очень сладкие, и у меня дома готавливали гораздо лучшее кушанье, но привычка чего не делает, я понемногу привык, и полдничанья сии были для меня наконец очень вкусны и, сколько думаю, оттого, что едал тут в компании, а не так, как один дома.

Сколь редки выезды мои были со двора, столь редки были и приезды ко мне гостей, ибо кому было ко мне, как к настоящему еще ребенку, ездить? Наилучшие и частейшие мои гости были наши приходские и соседственные попы и некоторые из живущих на заводах немцев. Сей род людей был у нас в соседстве совсем особый. Они носили только на себе имя немцев, были собственно мастеровые при прежде бывших тут железных заводах и живали прежде весьма хорошо; но тогда единую тень прежней жизни имели и питались более винною продажею и корчемством². Из них были некоторые изрядные и неглупые люди, и я всегда посещением их бывал доволен.

В таковых-то упражнениях и сим образом и препровождал я свои тогдашние дни. Жизнь моя была хотя прямо уединенная и от сообщения с прочим светом совсем удаленная, но я так к ней привык, что она сделалась мне весьма и так приятна, что я и поныне не могу вспомнить ее без чувствования некоего особого удовольствия.

Наконец, стала наступать уже осень а с нею приближаться то время, в которое надлежало мне явиться к полку своему. Уже надобно было помышлять и об отъезде своем на службу и понемногу к тому готовиться. Отпущен я был глухо – до 16-летнего возраста, без точного означения

¹ Уговаривал.

² От корчма (от корец – ковш) – кабак, заезжий и постоянный двор со спиртными напитками.

года, месяца и числа, в которое мне явиться к полку надлежало. И так, хотя помянутыя шестнадцать лет имели совершиться октября 7-го дня сего года, однако думал я, что мне прежде нельзя ехать, как по первому зимнему пути и что не великая будет важность, ежели несколько и просрочу. Мнение, что в полку точнаго дня моего рождения неизвестно, утверждало меня в сей надежде.

Но чем ближе сие время приближалось, тем более начал я озабочиваться тем, что в течение сих полутора годов, которых я прожил в деревне, оба мои выученные иностранные языки, то есть немецкий и французский, были мною опять совершенно почти забыты. Обстоятельство, что я с самага отъезда моего из Петербурга не имел ни единого случая с кем бы мог хоть единое слово промолвить по-французски, а в говорении немецким языком не имел даже с самага отъезда из Бовска и почти целых шесть лет ни малейшаго упражнения, было тому причиною, что я при окончании сего года не умел обоими сими языками ни одного слова пикнуть. Вот что может произвесть отвычка и долговременное неупражнение в разговорах. Но что касается до разумения сих языков, то я не совсем онаго лишился: я умел ими писать и читать и разумел много из читаемаго, и мое несчастье было, что я не имел никаких у себя немецких и французских такого рода книг, которых бы я мог читать с любопытством, например исторических или романов. Чрез сие чтение мог бы я не только оба сии языки не позабыть, но привести их еще в лучшее совершенство, ибо известно, что ни чрез что не можно им так научиться, как чрез любопытное чтение. Но тогда таковых книг и в России у нас было мало, а мне и подавно взять было негде: вся моя иностранная библиотека состояла только в нескольких учебных книгах, а именно в двух лексиконах, двух грамматиках и немецкой географии; а все сии удобны ли к такому чтению и не скорее ли наскучить, нежели заохотить могут? Точно так случилось и со мною. Я хотя кой-когда и брал их в руки, но другия и любопытнейшия упражнения вырывали у меня оныя опять из рук и заставляли лежать их с покоем.

Таким образом, забвение сих языков меня очень озабочивало. Я встрянул, но уже поздно, что то дурно, ибо не сомневался, что по приезде к полку велено будет меня экзаменовать, ибо я с тем условием и отпущен был, чтоб сии языки и геометрию и фортификацию выучить. Что касается до сих последних наук, то в разсуждении сих надеялся я на себя и не боялся экзамена, но языки меня крайне смущали.

Во время самага сего нестроения случилось мне однажды быть в гостях у праздника, у одной своей родственницы, вышеупомянутой старушки госпожи Темирязевой. Тут нашел я приехавшаго также в гости одного старичка, знающаго немецкий язык и некоторыя другия науки. Какой собственно был он человек, того не могу теперь сказать; по прошествии многих с того времени лет позабыл я сие совершенно, а только то отчасти помню, что он рассказывал о себе, якобы был он дворянской породы, находился множество лет где-то в полону и, возвратясь оттуда и не имея нигде пристанища, проживал в дворянских домах и учивал детей их наукам. Старичок сей показался мне очень разумен, а что всего для меня было приятнее, был великий читатель книг. Он разговаривал со мною о книгах и о других разных вещах, рекомендовал мне в особливости одну вновь вышедшую тогда книгу – «Аргениду». Сию книгу превозносил он безчисленными похвалами и говорил, что в ней все можно найтить – и политику, и нравоучение и приятность, и все, и все¹. Потом говорили мы с ним и по-немецки. Забвение мое сего языка оказалось при сем случае наияснейшим образом. Сродники мои, приметив сие, советовали мне взять сего старичка к себе и постараться хотя в малое достальное время, которое мне дома жить еще осталось, под смотрением его, подтвердить иностранные языки. Предложением сим я очень был доволен, а по счастью, и старичок не имел тогда нигде места и охотно на то склонился. Итак, согласились мы в том, и он обещал чрез несколько дней приттить ко мне жить, что и действительно исполнил.

Таким образом получил я себе товарища и учителя. Он прожил у меня несколько месяцев и до самага моего из деревни отъезда; однако пользы от него не получил я ни малейшей. Языки забыты были не так мало, чтоб их в столь короткое время опять вытвердить можно было, а к тому же учитель мой и сам ими не многим чем лучше моего говорил, или, лучше сказать, также позабыл. Для меня полезнее бы был какой-нибудь природный немец или француз, с которым бы я непрерывно говорить мог, а сему учителю разговоры на иностранных языках были столько ж отяготительны, сколько и мне. Одну арифметику знал он в совершенстве, и в том состояло наилучшее его качество. Еще-ж хвастал он, что разумеет хиромантию и

¹ «Аргенида» («Argenis») повесть Иоанна Барклея, перевод с латинского, с примечаниями В. К. Тредиаковского, выдающегося ученого и поэта XVIII в.

может по рукам узнавать все будущее. Но после оказалось, что он едва-ли и о сей науке имел какое-нибудь сведение.

Но как бы все сие ни было, однако учил он меня, или по крайней мере, делал ту славу. В самом же деле нужна ему была чарка вина; ибо надобно сказать, что до вина был он смертельный охотник, а что того еще хуже, то пьяный был весьма неугомонен. У меня мог он им довольствоваться сколько душа его хотела, и я в первыя недели не жалел для него сего на-питка. Однако скоро узнал, что в разсуждении сего пункта надлежало брать иныя меры и осторожность. Однажды, будучи пьяный, перепугал он нас немилосердным образом. Он требовал более вина, а как ему не стали давать, то сделался он власно как бешеный, поднял великий вопль, кричал на нас слово и дело, грозил свозить нас всех в тайную и прочий такой вздор¹. По младоумию своему перестращался я тогда ужасным образом но после узнал, что сей порок был в нем обыкновенный и что за самое сие никто не имел охоты держать его у себя в доме. Сим кончу я сие письмо и, сказав вам, что я есмь и прочая.

СБОРЫ К ВОЗВРАЩЕНИЮ В ПОЛК

Письмо 24-е

Любезный приятель!

Ну, теперь расскажу вам о моих сборах и об отъезде моем на службу, и тем всю историю о моем малолетстве кончу. Ежели наскучил я вам оною, то вините сами себя, а не меня, ибо я рассказыванием всего и всего исполнял ваше хотение.

¹ Выражение «слово и дело» было знаком раскрытия государственных преступлений, начиная с конца XVII в. Сказать на кого-нибудь «слово и дело» – значило обвинить его в «дерзновении против Бога и Церкви» («по первому пункту») и «в оскорблении при знании намерений против государя и государства» («по второму пункту»). Государственными преступлениями при Петре ведал Преображенский приказ, а с 1731 г. особая Тайная канцелярия. Желание правительства приобрести более тайных агентов привело к злоупотреблениям формулой «слово и дело», к интригам и ложным доносам (ложные доносы карались весьма мягкими наказаниями). Слова «слово и дело» вызывали ужас, потому что по государственным делам применялись жестокие пытки. Тайная канцелярия уничтожена Петром III в 1762 г., а выражение «слово и дело» объявлено ничего не значащим и запрещено к употреблению. Впоследствии функции Тайной канцелярии перешли к другим учреждениям (Третьему отделению и проч.), а формула «слово и дело» была заменена. См. также историю с графом Гревеном, рассказанную Болотовым.

Между тем как все преждеупоминаемое происходило безпокоился я час от часу больше приближающимся моим сроком. Многие советовали мне просить еще об отсрочке, и более для того, чтоб я успел сколько-нибудь протвердить забытые мною языки, а сверх того, говорили, что и лета и возраст мой все еще мал и неспособен к действительному несению военной службы. В числе сих подавателей совета был и самый мой дядя. Для меня не могло ничего приятнее быть сего предложения. Я к деревенской жизни так уже привык и дом мой сделался мне так мил и приятен, что я желал бы в нем прожить еще несколько лет или, лучше сказать, никогда не выезжать из онаго. Итак, с радостью согласился я на оное предложение, и, по общему согласию, отправлен был тотчас дядька мой, Артамон, в Москву, просить о том в пребывающей во всякое время тут военной конторе.

Преждеупоминаемая и живущая в Калитине родственница моя, госпожа Пушина, имея знатную родню, обещала мне вспомоществовать в том своею просьбою и писать к некоторым ей знакомым генералам. Она и действительно послала с человеком к нескольким из них просительныя письма, и по сему обстоятельству мы почти не сомневались в получении желаемого.

Я дожидался известиев из Москвы с крайнею нетерпеливостию. Однако дядька мой чрез несколько недель прислал ко мне печальное уведомление, что все труды и старания его были бесплодны и что и самыя просьбы генералов, родственников помянутой старушки не могли произвести никакого действия, а военная контора наотрез отказала, объявив, что она мне отсрочить никак не смеет, а если я хочу, то просил бы я о том в Петербурге в самой Военной коллегии, от которой я отпущен был.

Сие неожиданное известие привело меня в великую разстройку мыслей. Понадеявшись на вышеупомянутыя письма и просьбы, не стал было я слишком и поспешать моими сборами; но тогда увидел, что не можно было мне уже никак ласкаться надеждою получить отсрочку, и что необходимо надобно было уже к полку ехать.

При таких обстоятельствах другого не оставалось, как начинать собираться уже правским делом и все нужное к отъезду моему готовить и поспешать всем тем наипаче, что зима уже наступала. Но бедные были сии сборы и весьма недостаточные. Надобно было новое белье, надобно было дорожное и носильное платье, надобен был запас и харчевое и, наконец, надобны были деньги! Но кому было обо всем том постараться? Не

было у меня ни матери, ни тетки, никакой такой вблизи родственницы, которая бы мне во всем том сколько-нибудь помочь или по крайней мере присоветовать могла. А как и от дяди я всего меньше того ожидать мог, то и принужден был уже сам кое-как себя собирать и все нужное готовить. В разсуждении белья возложил я комиссию на Алену, жену дядьки моего, как женщину, живавшую при моей родительнице и дело сие сколько-нибудь смыслящую. Но как она давно уже от того отстала, то хотя она и употребила все, что могла, однако все сшито и приготовлено было не людскому, а прямо по-деревенскому, и все принуждено было после перешивать и переставлять. Для заготовления дорожнаго и носильнаго платья созвал я всех портных, сколько у меня ни было их между крестьянами, насажал их целый стол и надавал им сам разныя работы. Но чего можно было ожидать от глупых и неумеющих мужиков, да и от самого такого распорядителя, каков был я, всего меньше дело сие смыслящаго? Правда, из портных моих был один старик, разумеющий сколько-нибудь портное художество; но что все его уменье, когда моего знания недоставало? Почему и неудивительно, что все сшито было на чортов клин, все скверно, все дурно и многое слишком уже бедно и подло. Когда вспомню, какая шуба сшита мне тогда была на дорогу, то стыдно мне даже и поныне, что я не умел велеть сшить для себя лучшей и пристойнейшей. Что принадлежит до запаса, то старание о сем возложил я на моего возвратившагося из Москвы дядьку. И в оном не было у нас недостатка. Наконец, потребны были деньги, и вопрос, где их взять, составлял великую важность. Доходы с деревень были тогда чрезвычайно малы, и мне с нуждою доставало их на мое содержание, а о приумножении оных я нимало не старался, но, как прежде упоминал, оставил все на прежнем основании и порядке. Итак, что прикащик сам собою мог приобрести и доставить, тем я был и доволен. Но, по счастью, в тот год хлеб родился хороший, я велел сколько можно наготовить и намолотить его более и отвезть в Москву на продажу и выручил на том довольное количество денег.

Сим образом мало-помалу я собрался. Между тем некоторыя, и в том числе наиболее мой учитель, советовал мне ехать не в полк, а в Петербург и просить неотменно об отсрочке. По хиромантической своей науке уверял он меня и заклинался тяжкими клятвами, что езда моя не продлится более двух месяцев и что я, конечно, получу желаемое. Для лучшаго уверения меня в том, нарисовал он обе мои руки и описал все линии, и каких

благополучий не предсказывал он мне тогда! Но после того, как я сам сию науку узнал и помянутыя рисунки разсматривал, то нашел, что он и сам ни об одной линии прямо не знал, что она значила. Но как бы то ни было, однако тогда не смел я не верить его уверениям, но паче, желая сам того, что он предсказывал, был так глуп, что поверил тому без всякаго сомнения, а особливо всему, касающемуся до скорого возвращения в дом свой, и в сходствие того и сбирался из дома не так, как бы надлежало, отъезжая на службу и на неизвестное число лет от дома, но так как бы только на несколько недель отлучаясь.

Наконец, собравшись совсем и дождавшись совершеннаго зимняго пути, препоручил я смотрение над домом и деревнями своему прикащику, а главное попечение и надзирание над всем – моему дяде и, распрощавшись со всеми моими родственниками и знакомцами, разстался я с любезным моим Дворяниновым и отправился в путь свой в исходе 1754 года.

По приезде моем в Москву услышал я, что находился в ней полку нашего офицер, присланный для приема аммуниции. Мне неотменно захотелось его видеть и расспросить обо всех до полку нашего касающихся обстоятельствах. Дядька мой тотчас отыскал его квартиру и обрадовал меня, сказав, что то наш довольно знакомый человек, и именно Осип Максимович Колобов. Сего офицера в малолетстве своем любил я более всех прочих, да и сам он был ко мне тогда чрезвычайно ласков. Я полетел к нему, как скоро услышал, и он не менее обрадовался, меня увидев, и принял меня очень ласково и благоприятно. Тут уведомил он меня о многих нужных обстоятельствах, а особливо о месте, где тогда наш полк находился, о новом нашем полковнике, о его свойствах и характере, об офицерах, котория есть еще старые в полку, равно как и о новых, а наконец кончил тем, что пора уже мне в полк ехать и что там давно уже меня дожидаются. Я не преминул посоветоваться с ним о предпринимаемом мною намерении ехать в Петербург и просить об отсрочке; но господин Колобов не приговаривал мне туда забиваться, представляя мне, что он имеет причину сомневаться в том, чтоб мне еще отсрочили, а советовал лучше ехать прямо к полку, в Лифляндию.

Совет сей, сколько ни был благоразумен и основателен, однако мне тогда не полюбился, потому что он не согласен был с моими желаниями, и потому я его не принял, а положил следовать прежнему своему намерению – ехать в Петербург.

Но как для некоторых надобностей, а особливо для отдачи камердинера моего, Дмитрия, учиться в портные, надлежало мне пробить дня с три в Москве, то употребил я сие время на осмотрение соборов и других достопамятностей в сем столичном старинном городе, который мне до того видеть не случалось, ибо я хотя и бывал в Москве, но все еще будучи ребенком, а тогда был уже я поболее в разуме и более имел любопытства. Дядька мой предводительствовал мне всюду. Он водил меня по всем соборам, рассказывал, что знал, заставлял прикладываться к мощам и показывал все примечания достойное. Потом ходили мы по всему Кремлевскому дворцу, а наконец захотелось мне взойти на самый верх Ивановской колокольни. Дядька мой и в том удовольствие мне сделал, и это было в первый и в последний раз; что я был на Иване Великом. Но, о! сколь многого страха набрался я, всходя на оный! По причине случившагося тогда ветра, казалось мне, что вся колокольня сия шатается и готовится упасть вместе с нами. Но как взошел на самый верх, то за претерпенный страх довольно заплачен был неописанным удовольствием, которое имел я при воззрении с высоты на все пространство Москвы, в особенности же не мог я надивиться тому, сколь малы казались нам оттуда люди, ходившие по земле и по городу.

Осмотрев все нужное и исправив все наши нужды, отправились мы далее в свой путь. Я поехал хотя по намерению моему в Петербург и совета г. Колобова не послушал, однако он не выходил у меня из головы и памяти, и потому, отъехав несколько от Москвы, начал я еще раз с дядькой моим о том говорить и советоваться. Сей прежний мой наставник и надзиратель хотя сам не меньше моего имел охоту и желание скорее возвратиться в дом, однако признавался, что представления г. Колобова справедливы и основательны, и что он сам об успехе нашей езды сомневается и худую надежду имеет, а особливо наслышавшись от многих в Москве, что отпускаи вовсе уничтожены и не велено более никого и ни под каким видом отпускать.

Не успел я сего услышать, а притом от некоторых проезжающих из Петербурга получить в том подтверждение, как начал колебаться мыслими и сам в себе думать, что вся хиромантическая наука моего учителя легко может быть и обманчива и что я весьма глупо сделаю, если, положась на одну ее, по пустякам забьюсь в Петербург и потеряю только время и понесу напрасные убытки, а ничего там не сделаю, но принужден буду не-

сколько сот верст излишних ехать. В помышлениях таковых занимался я во всю дорогу от Москвы до Твери, и несколько раз раскаявался уже в том, что не взял с собою всего своего обоза и запаса; но как были еще с нами деревенские подвозчики с кормом до Твери, то радовался я, что пособить тому еще некоторым образом можно. Почему, приехав в Тверь, начал я опять советовать с моим дядькою:

– Что, Артамон, – говорил я ему, – уж ехать ли нам в Петербург? Уж не ехать ли прямо к полку?

– Чуть ли не так, батюшка! – отвечал он мне. – А то забьемся мы в превеликую даль, а выйдет дело по-пустому.

– Но как же мы, – сказал я ему, – обоза-то и запаса с собой не взяли?

– Это ничто, сударь, – отвечал он, – этому пособить еще можно. Ехать нам в полк чрез Псков; извольте заехать к сестрице, а между тем извольте с мужиками отписать домой, чтоб запас и коляску везли за нами вслед к сестрице, где мы их и дождемся.

– И быть так! – сказала я и тотчас по совету его все и сделал.

Я отписал к дяде о перемене своего намерения и просил о скорейшем отправлении вслед за мною моего обоза.

Таким образом, переменив намерение свое, продолжали мы далее свой путь чрез Торжок, Вышний Волочек и далее петербургскою дорогою; и не доезжая за несколько верст до Новагорода, поворотили влево чрез озеро Ильмень, дабы нам, не захватывая Новагорода, выехать прямо на псковскую дорогу и чрез то несколько десятков верст выкинуть. В сей раз случилось мне впервые с примечанием чрез сие славное наше озеро ехать. Переезд чрез него в сем месте был верст на 40, и я, едуци чрез него, трепетал от страха, чтоб не проломиться. Однако лед был довольно уже толст, и опасаться сего было не можно. По приезде на средину, не мог я довольно надивиться той превеликой трещине, которая вдоль всего сего озера простиралась. Она была шириною тогда более аршина, и мы принуждены были переезжать через нее по сделанному мосточку. Нам сказывали, что делается она от прибыли воды в озере и бывает временем шире, другим уже, а когда более воды убудет, то вовсе сходится. Если ж случится знатная убыль, то в сем месте обламываются самые края трещины превеликими льдинами и становятся стоймя, и тогда делается вдоль всего озера, власно как ледяная стена, и что для проезда принуждены бывают прорубать сквозь нее ворота.

Переехав сие озеро благополучно, продолжали мы далее свой путь и чрез несколько дней, без всяких особливых приключений, доехали до Пскова, а потом и до деревни моего зятя, которая мне так была еще мила, что я, подъезжая к оной, не мог порадоваться духом и насытиться зрением на все знакомыя мне места и виды.

К превеликому моему удовольствию, застал я не только сестру, но и самого зятя дома. Он находился тогда в отпуску от полку на несколько месяцев, и мое удовольствие усугубилось, когда я услышал, что и ему в деревне жить оставалось уже короткое время и также скоро к полку ехать надобно было. Он предлагал мне, чтоб я у него до того времени прожил, и чтоб вместе с ним к полку отправился. Предложение таковое не могло иначе быть, как весьма для меня приятно. Говорится в пословице: «К этакому празднику люди пешком ходят», а мне для чего было не согласиться? Мне прожить у него и без того несколько времени было надобно для ожидания моего запаса, а сверх того, не лучше ли было со всех сторон ехать к полку вместе с зятем и под его руководством явиться, нежели одному? Словом, я был очень рад сему случаю и с превеликою охотою дал на то мое слово.

Радость, которую чувствовала моя сестра при моем приезде, усугубилась еще, когда услышала она, что я проживу у них до самага отъезда в полк ея мужа. Она не могла и в сей раз без слез меня встретить; но слезы сии были более слезами удовольствия. Она осыпала меня своими ласками и приветствиями, расспрашивала обо всем, как я жил дома, что делал, все ли был здоров, кто жив из наших родственников, и прочее тому подобное. Но не успело дней двух пройтись и первая радость миноваться, как услышал я от нея нечто странное и неожиданное:

– Ахти, братец! – сказала она мне однажды, как мы с нею одни были, – как много ты в сие время переменялся, совсем-таки не таков стал, как был прежде!

– А что сестрица? – подхватил я, ее спрашивая, – лучше что ли, или хуже?

– Что, голубчик-братец, – отвечала она, – мне льстить тебе не годится. Ты прежде был несравненно лучше.

– А чем таким? – спросил я скоро, смутясь несколько от таковых слов ея.

– Всем, таки-всем, братец, и поступками, и поведением, и обхождением своим. Все было в тебе гораздо лучше, как ты у нас жил. А ныне весьма многое нахожу я в тебе неловкое и не весьма хорошее. Ты власно как со-всем одичал, живучи в деревне, и к тебе очень много деревенской грубости пристало. Словом, совсем ты стал не тот, как был прежде.

Пилюля сия сколь ни горька для меня была, но я принужден был ее проглотить и не изъявить притом ни малейшаго неудовольствия и досады и с спокойным видом сестре сказал:

– Чему дивиться, сестрица! Целых полтора года жил я в деревне в совершенной глуши, никуда почти не выезжая, не имея ни с кем обхождения, кроме дядюшки; а вы знаете сами, каков наш дядюшка, у него пере-нять многого нечего.

– То-то и дело, – сказала на сие сестра, – ведала б я, тебя отсюда, мой друг, не отпускала, а то жаль мне весьма, что произошла с тобою такая великая перемена. Ты не поверишь, братец, что мне теперь ажно стыдно показать тебя нашим соседям.

– Не вправду ли, сестрица, – спросил я ее, приходя час от часу более в стыд и удивление – я так много переменялся?

– Ей-ей! – ответствовала она, – тебе самому это не приметно, а нам со стороны очень видно. Вот и платьице на тебе какое смешное, неловкое и непристойное. Кто тебя надоумил велеть такое сшить?

– Кому, матушка, надоумить? – сказал я. – Вы знаете, что у нас нико-го родных нет, а сам принужден был себя собирать, и как успелось, так и сшилось.

– Ах, голубчик ты мой! – сказала она, меня поцеловав. – Жаль мне тебя, но, добро, мы постараемся всему тому сколько-нибудь уже помочь; небось и белье-то твое не лучше? вели-ка ты мне его показать.

– О, сударыня! – ответствовал я поцеловав у ней руку. – Об этом вы уже и не спрашивайте; я сам уже приметил, что оно не совсем хорошо, и великая б ваша милость была, если б изволили приказать его пересмо-треть и переправить, а притом, голубушка-сестрица, оговаривайте и само-го меня, матушка, и сказывайте мне, что дурного во мне приметите; я готов слушаться и постараюсь как можно себя поправить.

Сестра весьма довольна была сим моим отзывом и обещала охотно сие делать. Что ж касается до моего белья и платья, то какое в тот же еще день началось резанье, поронье и кромсанье!

Все ее женщины и девки и все ее портные принуждены были заняться работою и препроводить в том несколько времени. Многое было совсем вновь сшито, иное переправлено, а многое совсем уничтожено или отдано людям и, по счастью, было ко всему тому довольно времени и досуга.

Я прожил у них тогда недель пять или шесть времени, ибо столько оставалось жить моему зятю. Сие время препроводили мы довольно весело. Соседи их были все в домах своих, и съезды продолжались у них по-прежнему очень частые. Сверх того, без меня получила сестра моя себе еще новую соседку. Одна гораздо пожилая девушка, по имени *Василиса Ивановна Ладыженская*, приехала жить в свою деревню, лежащую от дома сестры моей только за версту. По причине толь близкого соседства, а более по согласию нравов, свела она скоро столь тесную дружбу с моею сестрою, что оне были почти неразлучны, и госпожа Ладыженская живала по несколько недель сряду у сестры моей. Она была и в самое то время тут, как я приехал, и как век свой жила она с своим братом в Петербурге, то знала совершенно светское обхождение; будучи ж притом очень разумная и ласковая особа, приобрела тотчас от всех к себе почтение.

Сей госпоже не менее я обязан был за тогдашнее меня исправление, как и сестре своей. Сия открылась ей в своей обо мне заботе, и она обещалась ей в том помочь и с своей стороны, и как она с самага начала ко мне приласкалась чрезвычайно, да и я получил к ней почтение, то в весьма короткое время ласковыми оговариваниями своими и советами она так меня вышколила, что я совсем переменялся и не походил более на прежняго деревенскаго пентюха, каковым я приехал.

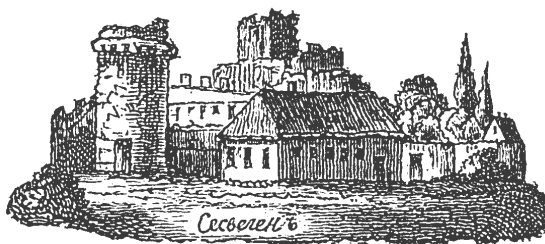
Между тем как все сие происходило, привезли из деревни и мою провизию и летний экипаж, а вместе с ним и одного еще мальчишку по имени *Абрама*, котораго разсудилось мне взять третьяго с собою на службу, ибо, кроме его, было со мною только двое прежних моих слуг, а именно *Артамон и Яков*.

Наконец, в исходе зимы отправились мы с зятем моим в наш полк, который стоял тогда на винтер-квартирах в Лифляндии за несколько миль от Риги и от зятя моего не слишком далеко. Сестра провожала нас несколько десятков верст, и как проводы сии, так и разставанье не могло без слез обойтись: она смочила обоих нас своими слезами и, простившись, возвратилась в дом свой.

Мы препроводили в пути своем немного времени и чрез несколько дней прибыли благополучно в мызу Сесвеген, где стоял тогда штаб полка нашего и полковник и около котораго места расположен был весь полк на винтер-квартирах. И сие было в начале месяца марта 1755 года.

И как с самым сим пунктом времени все малолетство мое кончилось, и я, вступя в действительную государеву службу, принужден был вести жизнь совсем иного рода, то самым сим окончу и я историю моего малолетства, представляя о прочем и дальнейшем продолжении моей жизни рассказать вам, любезный приятель, впредь, уверив вас между тем, что я был, есмь и пребуду навсегда вашим и проч.

Конец второй части



ЧАСТЬ III

ИСТОРИЯ МОЕЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

1755–1757

ПОЛКОВОЕ НАЧАЛЬСТВО И ШТАБ

Письмо 25-е

Любезный приятель!

В предследующих моих письмах описал я вам мое малолетство и рассказал все, что со мною во время онаго происходило; а теперь приступлю к описанию действительной моей военной службы, ибо хотя я был уже и давно в оной, но до сего времени лишь только счислялся в оной, службы же никакой еще не нес, а настоящую службу начал только нести с того пункта времени, как мы с зятем моим, господином Неклюдовым, к полку из отпусков наших приехали. Расскажу вам, любезный приятель, все, что со мною во время службы сей случилось, и хотя была она не слишком долговременна и во все продолжение оной не было со мною никаких важных и чрезвычайных происшествий, однако ласкаюсь надеждою, что вам описание оной не скучно будет и что вы с таким же любопытством читать оное станете, как и историю моего малолетства.

Я остановился на том, что мы приехали в Лифляндию и в мызу Сесвеген, где тогда стоял штаб нашего полку на винтер-квартирах. Сей пункт времени составлял важную эпоху в моей жизни, с онаго начиналась для меня жизнь совсем новаго рода. До сего жил я на совершенной воле и был властелином над всеми своими делами и поступками, а тут вдруг все сие кончилось, и я принужден был готовиться жить в повиновении у многих. Я приехал тогда в полк, равно как в лес дремучий, ибо хотя в нем почти родился и вырос, однако как минувшие три или четыре года в оном не был,

то в сие время все в нем переменялось и было для меня дико. Сверх того, и между самими прежними и тогдашними обстоятельствами была превеликая и бесконечная разница. Тогда был я в нем под хорошею опекою, и меня не почитали сержантом, а сыном полковничьим, и потому все офицеры да и самые штабы¹ меня любили и ко мне ласкались. Отец мой был моею защитою и покровителем, а в сей раз был не что иное, как простой и молоденький сержантик, следовательно, представлял фигуру весьма малую и неважную, и ничем не лучше был сержантов прочих, которых почти все около сего времени были такие же дворяне, как и я, ничем меня не хуже. Все штабы и большая часть офицеров были уже не те, которых при мне были. Полковник был у нас новый, природою швейцар и не умеющий по-русски ни единого слова. Он прозывался Планта де-Вильденберг, и был человек немолодых лет, но, по счастью, человек тихий и самый добрый. Подполковника тогда при полку у нас не было, а премьер-майором был некто князь Тугучев, человек тоже смиренный и добродетельный; а секунд-майором некто из природных немцев, все мне совсем незнакомыя люди.

Я трепетал тогда от страха и сердце во мне замирало, как надлежало нам с зятем иттить к полковнику явиться. Природная моя застенчивость и соединявшаяся с нею деревенская дикость была тому причиною, а паче всего страшился и мучился я совестью, что позабыл немецкий и французский языки, которыми, как не сомневался я, что станет полковник со мною говорить; и потому казался он мне тогда пуще нежели медведем и я с трепетом приближался к его квартире, которая была в нарочито изрядном деревянном доме, построенном подле развалин одного старинного каменного замка.

Зять мой должен был быть моим предводителем, и я на него, как на каменную стену надеялся. Он и в самом деле был тогда единым моим защитником и покровителем и, по особливому счастью моему, был он не только знаком уже полковнику, но считал себя у него и в милости.

Он не позабыл привезть с собою кое-что из деревенских вещей в гостинцы как для полковника, так и для живущаго при нем подпоручика г. Зеллера.

Сия особа была тогда знаменитая в полку нашем и до офицера сего была тогда всякому нужна, ибо надобно знать, что сей человек был тогда

¹ Штаб-офицеры.

всего правления полком наисильнейшею пружиною. Он служил при полковнике вместо переводчика, а в самом деле соединен был с ним некоторым теснейшим союзом. Он был муж или, паче сказать, носил только имя мужа полковничьей метресы, или любовницы, на которой женил он его на ней, произведя из сержантов в офицеры. Госпожа сия известна и славна была у нас тогда в полку под именем *Мартыновны* и могла с мужем своим делать в полку что хотела, а потом был и он великой важности, и тем паче, что был он весьма бойкая и разумная особа и полковник любил его за его достоинство и во всем на него полагался и ему верил.

Зятю моему еще в прежнюю свою при полку бытность посчастливилось приобрести дружбу от сего офицера и благоволение к себе от его супруги, а чрез них и от полковника; достаток его помог ему в том весьма много, и ежели признаться, то как полковник, так и любимец его с женою любили зятя моего наиболее за его богатство и за то, что он не упускал при всяком случае им кой-чем служить и всячески подольщаться. Он и в последнем своем отпуске был и всю зиму дома прожил не иначе, как по милости Мартыновны, ибо она убедила полковника, без ведома главной команды и самому собою, отпустить его на несколько месяцев в деревню.

Все сие было причиною, что полковник моего зятя, а по нем и меня принял весьма ласково и приятно. Он, услышав, что я сын его предместника, и видя меня еще очень молода, по природному своему добросердечию получил ко мне некоторый род сожаления, и я могу сказать, что он во всякое время был ко мне благосклонен. Как сказали ему, что я отпущен был для обучения наук и языков, то не преминул он тотчас со мною говорить по-немецки. Я ни жив тогда, ни мертв был, однако отвечал на его вопросы сколько тогда был в силах. Что я много позабыл, того нельзя было ему не приметить, однако он не оказал нимало неудовольствия, но паче изъявлял сожаление свое, опасаясь, чтоб не велено было меня от главной команды экзаменовать порядочным образом. При вопросе, чему я еще выучился, представил я ему свои геометрические и фортификационные книги. Он хотя не разумел ничего по-русски, однако рассматривал оныя с прилежанием, и, сколько можно было приметить, был очень доволен чистотою черченных фигур и моих рисунков, и хвалил меня за мою прилежность. Тогда отлегло у меня несколько на сердце и я перестал то бледнеть, то краснеть, как прежде.

Полковник оставил нас у себя обедать, и зять мой просил его о содержании меня в своей милости. Он не только сие обещал, но учинил того же часа первый опыт своей ко мне благосклонности, дозволив мне жить при моем зяте, а не являться для несения должности в роту, что учинить потому было и пособно, что зять мой был тогда полковым квартирмейстером.

Таким образом, велено было меня счислять при квартирмейстерских делах, и я отправился с зятем моим на отведенную ему квартиру. Обстоятельством сим и милостию, оказанною мне в сем случае полковником, был я крайне доволен: ибо чрез то избежал я опять несения сержантской своей и многотрудной должности, не был принужден ехать в роту стоять в каком-нибудь латышском рею, жить с солдатами вместе и угождать во всем своенравию своего капитана; но, живучи при зяте моем в совершенной праздности, имел время исподоволь привыкать к полковой жизни и со всеми ознакомливаться.

Квартира отведена была зятю моему на одном так называемом лифляндском подмызке, или небольшом дворянском праздном домике, отлежащем от штаба верст за 15. Лифляндские дворяне для освобождения домов своих от постоя имеют обыкновение строить в отсутственных своих деревнях такие маленькие домики, для постоя офицерам и снабжать их всем нужным. Нам достался тогда преизрядный домик, имеющий покойца четыре, и довольно хорошо прибранных, так что мы могли без всякой нужды поместиться и квартирою своею были весьма довольны. Как сей подмызок назывался, того за долгопрошедшим временем не могу я никак вспомнить, а то только памятно мне, что лежал он на горе и на весьма прекрасном положении места.

Прибыв туда и расположившись, зять мой за первый долг себе почел побывать и у всех прочих наших штаб-офицеров. Сие учинил он, не упуская времени, и брал меня всюду с собою. Поелику был он, по причине хорошаго своего характера, ими всеми любим, то приняты мы были и от них весьма приятно и благосклонно.

Таким образом, начал я жить в полку, не имея причины ни на что жаловаться. Два только обстоятельства тревожили покой мой и приводили меня в смущение: первое было то, что в полку считали меня уже давно и почти с целый год в просрочке, а во-вторых, опасались мы, чтоб не велено было от командующаго генералитета, к которому тотчас о прибытии моем рапортовано, меня в науках моих экзаменовать, и чтоб не потребовали

меня для сего в Ригу, где тогда командующий нами генералитет находился.

Что касается до первого обстоятельства, то почитая себя совсем невинным, не имел я причины опасаться никаких худых следствий. Произошло сие от следующего, совсем мною непредвиденного обстоятельства. В истории моего малолетства упоминал уже я, что отпущен я от Военной коллегии был не на срочное время, а глухо¹ до шестнадцатилетняго возраста, почему и жил я в доме своем, не опасаясь ничего, покуда мне 16 лет и действительно исполнилось. Но того нимало я не знал, что в полку считали меня целым годом старше, ибо по малолетству своему я того и не ведал, что покойный родитель мой, записывая меня в военную службу, для малаго моего тогдашняго возраста, принужден был прибавить один год к настоящим моим летам, а я, не ведая того, при просьбе своей в Военную коллегию показал действительные свои лета, и потому так и отпущен был; а как сия, давая в полк о сем знать, упомянула только глухо, что я отпущен до шестнадцатилетняго возраста, то от самого сего и произошло, что в полку считали меня тогда уже семнадцатилетним, следовательно, целый год в просрочке, а как утаить сего было не можно, то, к несчастью, о неявлении моем к полку тогда же к команде было и рапортовано. Все сие не так бы нас еще тревожило и смущало, если б не присоединилось к тому другого и весьма досаднаго обстоятельства, а именно: за несколько времени пред приездом моим в полк велено было прислать в главную команду в Петербург обыкновенные к произвождению о всех чинах списки. Поелику при дворе помышляли тогда о приумножении армии из опасения, чтоб не дошло скоро дело до войны, и главным нашим командиром *графом Шуваловым* сочиняемы были новыя диспозиции² и распоряжения в армии, то хотел он сделать в полках дивизии своей генеральное и большое произвождение, и для самого того требовал помянутыя списки. – Я был тогда по старшинству первый сержант по полку нашему, и не молод и по всей дивизии и потому никто не сомневался, чтоб при первом и тогда уже с часа на час ожидаемом произвождении не досталось мне в офицеры, если б не соединялось к тому того сомнительнаго обстоятельства, что я в помянутых списках по необходимости показан в отсутствии и в просрочке, из

¹ В смысле – «вплоть до».

² Распоряжение военного начальства о том, как войскам расположиться и как действовать; боевое расписание, распорядок.

чего некоторые опасались худых для меня следствий. Обстоятельство сие меня весьма тревожило и смущало. Я опасался, чтоб не нажить мне от того какой-нибудь беды; но как сему пособить было уже не можно, то полагался я на власть Божескую и ожидал счастья и несчастья своего от времени.

Что касается до второго обстоятельства, то есть до столь страшнаго для меня экзамена, то оно почти с ума меня сводило. Я трепетал от единого воспоминания о том, и все разговоры о сем предмете пронзали сердце мое, как стрелою; недели две или более я с каждым часом того и смотрел, что пришлют за мною и велят ехать в Ригу, и тогда как и с чем мне показаться? Мы не один раз говорили уже о том с зятем, и он, видя мое смущение, по любви своей ко мне хотел уже сам, выпросившись, ехать со мною, и там стараться уж чрез подарки сделать то, чтоб экзамен был не слишком строгий. Но, по счастью и к неопisanному моему обрадованию, избавились мы от всех сих хлопот и опасений. Командующему генералитету видно не до таких мелочей было тогда дело, почему в полученном от них ответе не упоминалось ни одним словом об экзамене; и я имел удовольствие видеть сию бурю благополучно прошедшею.

Со всем тем не преминал я между тем о твержении немецкаго и французскаго языка по возможности моей прилагать старание и не упускал ни одного случая говорить с немцами. По особливому счастью и имел я к тому ежедневно случай, и можно ли думать, что всему нынешнему моему и довольно совершенному знанию немецкаго языка первейшим основателем был мальчишка лет шести или семи. Однако сие действительно так было. Случись как нарочно для моего научения, в подмызке том, где мы стояли, юнкер. Сим званием называются в Лифляндии обыкновенно у дворян их прикащики, управляющие их домами и отсутственными деревнями; в должность сию выбирают они обыкновенно немцев, и людей довольно разумных и знающих, а притом хорошаго поведения и порядочно живущих. Таков точно был юнкер и на нашем подмызке. Он жил в особливых маленьких хоромцах, на том же дворе построенных, где мы жили, и имел у себя жену и маленькаго вышеупомянутаго сына. Мальчишка сей в праздное время бегивал и игрывал всякий день по двору. И как у всех у нашей братьи, не умеющих или довольно позабывших языки, весьма дорог первый приступ к говоренью и мы по большей части оттого долго и не учиваемся говорить, что не имеем отваги говорить, со взрослыми и посторонними, и стыдимся, то самый сей случай был и со мною. Для меня была

тогда превеликая беда начать говорить с каким-нибудь взрослым немцем, и мне казалось, что я говорю все не так и потому стыдился. Но тут пришло мне как-то в голову, поговорить по-немецки с сим мальчиком; мысль, что он меня не осудит, побудила меня к тому. Итак, познакомился я с сим мальчиком, который очень рад был, узнав, что я говорю по-немецки, и охотно заговаривал со мною всякий день. Я примечал и перенимал у него все присловия немецкаго языка и нечувствительно стал смелее; а как я к нему всячески ласкался и для вящаго заохочивания приходил почаще ко мне кармливал его своими закусками и лакомствами, которыми снабдила меня с избытком сестра при отъезде, и он все то рассказывал своей матери, то сие побудило ее велеть ему пригласить меня к себе на чашку кофея. Я охотно на то согласился, а самый сей случай и познакомил меня, как с юнкером, так и его женою. Они, узнав, что я говорю по-немецки, просили меня, чтоб я ходил к ним чаще, а я тому и рад был, и с ними-то имел я случай говорить ежедневно по-немецки и мало-помалу привыкать к сему языку.

Кроме сего, обязан я много первым возобновлением сего забытаго языка и полку нашего секунд-майору, коего немецкую фамилию к великой досаде моей не могу вспомнить, а помню только то, что начиналась она с литеры Л***. Майору сему случилось иметь квартиру свою неподалеку от нас и ближе всех прочих офицеров, а сие обстоятельство и было причиною, что он ездил очень часто в гости к моему зятю и просиживал у него по целому иногда дню. Обыкновенно приезжал вместе с ним и еще один офицер по фамилии Гринев; оба они говорили по-немецки и по-французски: тот потому, что был природный немец и притом ученый человек, а сей по причине, что воспитан в кадетском корпусе. При таковых частых свиданиях, в которыхья время свое наиболее препровождали они в игрании с зятем моим в ломбер, сделался и я обоим им знаком, и они оба меня полюбили, в особливости же сделался ко мне господин майор весьма благосклонным. Всем господам иностранным можно то в похвалу сказать, что они отменную склонность имеют к тем из нашего народа, которыхья их языку учатся или иныя какия науки знают. По самой сей причине любил меня и господин Л*** и, видя мою охоту к обучению языков, не только при всяком случае меня к тому более поощрять старался, разговаривая со мною то на французском, то на немецком языке, но ссужал меня и французскими и немецкими книгами, до которых сам он был охотник, для чтения; но сожаления было достойно, что все оне по бóльшей части важныя

и не слишком сообразовались с тогдашними моими понятиями и языков сих знанием. Но как бы то ни было, но я, пользуясь обоими сими случаями, начал мало-помалу опять познавать и твердить ученые, но совсем почти забытые языки, и как слов довольно мне было известно и доставало одного упражнения в разговорах, то имел в том такой успех, что чрез короткое время удивился сам полковник наш, услышав меня говорящего по-немецки гораздо лучше прежнего, и был тем весьма доволен.

Сим образом препроводили мы достальную часть зимы. По наступлении дня святыя Пасхи ездили мы с зятем в штаб для празднования сего праздника, ибо там находилась наша полковая церковь. Для помещения оной не нашлось другого места, как в одном большом сарае. Но где б она ни была, но праздник сей везде был хорош и радостен. Мы обедали в сей день опять у полковника и возвратились домой уже с крайнею нуждою, ибо в самое то время разрывался зимний путь и начиналось половодье.

Вскоре после сего прислано было повеление, чтоб полку нашему, по вскрытии весны, тотчас иттить в Эстляндию и в наступающее лето лагерем стоять при Ревеле. Богу известно, на что предпринимаемы были тогда полкам такая марши и контрамарши, ибо в самое то время тем полкам, которыя были при Ревеле, велено иттить к Риге. Может быть, нужно сие было для содержания полков в непрерывном движении и к приучиванию их к походу. Но как бы то ни было, но как скоро весна вскрылась, то весь наш полк собрался в штаб и на лугу подле самой мызы Сесвеген расположился лагерем.

При сем случае увидел я впервые весь наш полк в собрании, и как мы тут более недели, приуготовляясь в поход, простояли, то имел я случай познакомиться со всеми господами офицерами, равно как и своими сверстниками сержантами. Удовольствие мое было превеликое, когда увидел я столь давно невиданный уже лагерь, а того величайшее, как увидел всех господ офицеров ко мне благоприятствующих. Многие из них были еще старые и служившие при отце моем. Сии, памятуя милости родителя моего и будучи им очень довольны, за долг себе почитали оказывать сыну его всякаго рода ласки и благосклонности. Из сих в особенности доволен я был господами капитанами *Афанасьем Ивановичем Зиловым* и *Иваном Никитичем Гневушевым*: оба они были наилучшие, степеннейшие и разумнейшие из всего полку капитаны и оба друзья покойнаго моего родителя. Не менее доволен я был и прежде упоминаемым мною подпоручиком госпо-

дином *Колобовым*, возвратившимся между тем из Москвы. Он оказывал мне возможнейшее благоприятство и хвалил меня, что я послушался его совету и к полку поехал прямо. Прежний мой учитель Миллер был тогда уже также офицером и оказывал ко мне всякое благоприятство. Из прочих же, которые после меня определились в полк и были мне незнакомы, некоторые по дружбе и знакомству с зятем моим, а другие сами собою также меня полюбили и обходились со мною не так, как с унтер-офицером, но как с равным себе сотоварищем. Из сих особливую склонность и любовь ко мне получил поручик князь *Мышецкий*, человек любимый всем полком за его веселый нрав.

Что касается до моих сверстников и сотоварищей господ сержантов, то с ними свел я скоро дружбу и знакомство. Они, будучи по большей части люди молодые и также дворяне, старались сами со мною сдружиться и познакомиться. Между ними наиболее свел я дружбу с г. Головачевым, г. Суминым и г. Бакеевым, из коих последний был не только мой сосед по деревням, но и родственник, ибо был сын того дяди моего, Силы Борисевича Бакеева, о котором упоминал я довольно в истории моего малолетства. Одним словом, весь полк меня любил и не только офицеры и унтер-офицеры, но и самые старые солдаты, помня отца моего милости, оказывали ко мне благосклонность и любовь, и я истинно не знаю, за что оказывана была мне таковая от всех любовь и благосклонность. Кажется, ни я того искал, ни я того домогался, но вел себя просто, никому не льстил, обходился со всеми дружелюбно, ласково и прямодушно, без всякой лести и коварства. Сие разве помогало к тому несколько, однако наиболее приписую то особливой к себе милости небес, и Божескому обо мне попечению.

Сим окончу я к вам сие письмо, а в последующем рассказу о походе нашем, сказав между тем что я есмь и проч.

ПОХОД В РЕВЕЛЬ

Письмо 26-е

Любезный приятель!

Как весь полк собрался и все нужное к походу было приготовлено, то выступили мы наконец в назначенный поход и шли чрез местечко Валки

и мимо Фелина, пробираясь прямо к Ревелю. И как расстояние от зимних наших квартир до сего главного эстляндского города было немало, и нам надлежало проходить всю почти Лифляндию и половину Эстляндии, мы же шли не скоро, но с обыкновенными растагами или дневаньями, то и препроводили мы на сем походе более месяца.

Во все продолжение сего первого похода моей службы не имел я ни малейшаго почти труда и беспокойства. Я продолжал числиться при квартирмисских делах и ехал с зятем своим всегда наперед для занимания под полк обыкновенного походного лагеря. У меня была собственная моя коляска, трое людей, а сверх того, верховая лошадь, почему и не имел я ни в чем и никакой нужды и не нес никакой должности, а ехал себе в прохвал в своей коляске, между тем как прочия трудились и несли службу.

Во весь почти сей поход до самага Фелина не помню я ничего, чтоб со мною особливаго случилось, кроме одной безделицы, о которой и упоминать почти не стоит. Было то в местечке Валках. По известной вам уже охоте моей ко всяким лакомствам, будучи в сем изрядном городке, закупил я себе всякой всячины на дорогу, и, между прочим, целый фунт леденцу-сахару. Сей спрятал я в запас подалее в свою шкатулку, которая была еще покойнаго моего родителя и наполнил им целый ящичек; но что ж случилось?.. Покуда были у меня еще ягоды и другия лакомства, до тех пор оставлял я сахар мой в покое, но как те все уже изошли, то пошел я в шкатулку доставать оный в намерении отделить от него некоторую часть для жустаренья дорогою. Вынимаю один, вынимаю другой ящик, а потом и исподний, в котором был он у меня спрятан; но какое удивление меня поразило, когда, раскрыв его, милаго моего сахару, на который у меня было столько надежды, не увидел я ни малейшаго кусочка, а на дне только ящика несколько кофейной и липкой жидкости. Словом, сахар мой благополучно весь растаял и я не понимал, отчего и как это сделалось. Думать надобно, что произошло сие от сырой и мокрой погоды, бывшей пред тем за короткое время и продолжавшейся несколько дней сряду. Но как бы то ни было, но сахара моего как не бывало и лакомиться мне более было нечем. Какое было на меня тогда горе: сколько туженья и гореванья. Но я далеко еще не знал всего своего несчастья. Погляжу: растаявший мой сахар вытек почти весь вон и разлился по всему дну моей шкатулки и перемарал собою много нужных бумаг и других вещей; ни до которой дотронуться было не можно, все перегваздалось сахарною липкостью и многия принуждено было со-

всем бросить. Я вздурился, все сие увидев, и проклинал и сахар и охоту мою покупать и прятать оный. Но всем тем пособить было уже нечем

Еще помню я, что во время сего путешествия имел я однажды удовольствие при ловлении рыбы кокулями в реке Аа, которую нам проезжать надлежало. Мне сей род ловления рыбы до того вовсе был неизвестен, и как я не знал, что кокули были кем-то в реку кинуты, то удивление мое было чрезвычайное, когда увидел я превеликих рыб, всплывающих на самую поверхность воды, делающих по оной круги и каприоли и, наконец, как стрела к берегу стремящихся и там сделавшихся столь смиренными и кроткими, что их с берега руками доставать и ловить было можно. Зрелище сие было для меня совсем ново и поразительно, и я не мог понимать, отчего это так происходило, покуда мне не рассказали всего дела.

Наконец настало время, что и службу государеву служить и что-нибудь исправлять надлежало. Случилось сие при одном особливом случае и мой первый шаг в оную был странностию своею довольно достопамятен и служил мне власно как некаким предвозвестием, что служба сия будет для меня не слишком удачна и мне выгодна и что не получу я от нея дальней пользы; но я приступлю к рассказанию самага дела.

Недоходя до Ревеля верст за полтораста, отправлен был зять мой от полку наперед в Ревель для истребования от генералитета места для настоящего нашего летнего лагеря, и по принятии онаго для сделания в оном нужных приготовлений. Я поехал с ним туда же, но не успели мы верст с 80 от полку вперед отъехать, как от встретившихся с нами и из Ревеля едущих офицеров получили мы достоверное известие, что полку нашему назначено в то лето лагерем стоять не в Ревеле, а при *Рогервике*. Зять мой, услышав сие, не знал, что делать и куда с командою своею следовать; а как из самага того места, где мы тогда находились, надлежало в Рогервик сворачивать, то пришел он от того в пущее недоумение. В Ревель иттить для того он опасался, чтоб как самого себя, так и весь полк не забить попустому так далеко в сторону, ибо в сем случае надлежало около 200 верст сделать крюку, а в Рогервик без повеления следовать также не осмеливался, да и в самом деле было не можно. По коротком размышлении, а особливо не зная, не получил ли между тем и самый полк предварительнаго о том повеления, рассудил он отправить назад к полку нарочнаго человека курьером и испросить повеления, а самому, между тем останувшись на том месте, дожждаться возвращения онаго. В сию посылку некого ему было по-

слать, кроме меня, и так не приказывал, а просил он меня принять на себя сия комиссию и постараться исправить оную колико можно скорее, на что я и принужден был согласиться.

Таким образом, севши на лошадку, поехал я обратно к полку. И сия была первая служба в моей жизни, которая в самом деле была хотя очень не важна, однако в разсуждении тогдашних моих молодых и почти детских еще лет и совершенной моей еще необыкновенности к отправлению таковых должностей, также и в разсуждении того обстоятельства, что мне в сей путь надлежало отправиться одному, и верст с 80 ехать верхом и притом денно и ночью с великим поспешением, была довольно знаменита, почему и не удивительно, что случилось тогда со мною одно смешное приключение, приличное ребяческим еще моим летам, произведшее весьма досадныя для меня следствия. Оно было следующее.

Отправившись в свой путь уже после обеда, ехал я весь остаток того дня благополучно. Погода была тогда самая приятная, вешняя, дорога большая и знакомая, и местоположения прекрасныя и веселыя. Лес тогда только что оделся и повсюду была приятная зелень. Словом, я и не видал, как целый день, распевая разныя песенки, проехал. Наконец начало время уже и к ночи приближаться. Я находился тогда посреди большого леса, но котораго величина неизвестна мне была, потому что я, едучи прежде чрез оный, спал в своей коляске. Сия неизвестность побуждала меня спешить оный проехать скорей и прежде еще наступления ночи. Я начал свою лошадь потуривать и то и дело погонять, смотря между тем всякую минуту вперед, не скоро ли лес окончится и не увижу ли поля. Однако лес мой не оканчивался, а становился час от часу гуще и глуше. Покуда я ничего не думал, до тех пор ехал я все изрядно. Но как солнце стало уже к захождению приближаться и становиться на дворе от часу темнее, а конца леса не было и в завете, но он еще глуше и уединеннее становился, то малопомалу начал находить на меня страх и ужас. Я старался всеми образами выгонять из головы моей мысли, наводящия на меня ужас: но чем более я их выгонять старался, тем усильнее лезли оне мне в голову. К вящему несчастию, пришло мне тогда на память, что зять мой в разговорах упоминал как-то о сем лесе, а именно, что он чрезвычайно велик и простирается в длину более нежели верст на тридцать. Не успел я сего вспомнить, как замерло во мне сердце и напала на меня вдруг чрезвычайная робость. При помышлении, что мне сим страшным и глухим лесом не менее как верст

с двадцать еще ехать надлежало, трепет проникал все мои кости, а голова наполнялась всеми страшными мыслями, какая только быть может. В лесу сем, по удаленности его от всех селений, господствовала тогда глушь и совершеннейшее безмолвие. Единья только птички кое-где перепархивали, но и те, с окончанием дня удаляясь на покой, утихали. Я находился тогда в отдалении от всех смертных и один посреди сей страшной и уединенной пустыни, обитаемой едиными только птицами и дикими зверями, и мысль сия заставляла хладеть всю кровь мою и трепетать сердце.

При таковых обстоятельствах, начал я от часу более колотить шпорами бока моей лошади и стегать ее то и дело плетью. Но не успел я еще несколько верст отъехать, как день окончился уже совершенно и наступила ночь. Тогда не было уже время более медлить или жалеть своей лошади. Страх мой увеличивался ежеминутно и мне начали воображаться тысячи опасностей. Я поскакал во всю пору и, вспомнив, что в таких случаях не велят назад оглядываться, смотрел только вперед и творил молитву. Но самое сие запрещение и правило, чтоб не оглядываться никак назад, ввергнуло меня еще в пущий страх и боязнь. Не смея никак голову и в сторону обратить, казалось мне, что позади меня и Бог знает что делалось. Самое тихое шумение древесных ветвей и малейший треск, произведенный какою-нибудь птицею или зверем, представлялся мне неведомо каким страшным звуком, поражающим сердце мое неописанным ужасом. Наконец послышанный мною и нарочито внятный и несколько странный шум, произведенный, может быть, летанием совы или иной какой ночной птицы, привел мысли мои в совершенную уже разстройку: мне вообразилось, что нечто за мною гонится. Мысль о леших, о которых слышал я во время моего младенчества, вселилась мне тотчас в голову. Я почел, что это не кто иной, как леший, и лишившись всего разсудка, поднял ужасный вопль и приударился еще пуще скакать. О, коль чудны действия страха! Мне в безпамятстве казалось тогда, что я слышу действительно топот и шум гонящегося за мною чудовища и вижу хватающегося его за зад моей лошади; хотя в самом деле ничего того не бывало, но вместо рук хватающегося лешаго, била по бедрам моей лошади наполовину отвязавшаяся и на портупее висевшая моя шпага, чего в торопях и не смея назад оглянуться, не мог я никак разобрать и догадаться.

Сие усугубило мой страх и безпамятство. Я, лишившись всего здравого разсудка, вопил что ни есть мочи, призывал всех святых на помощь,

махал кругом себя плетью, единою слабою своею защитою, и скакал, сколько было поры в моем иноходце. И могу заподлинно сказать, что подобнаго сему страху я во всю жизнь мою не видал. Я не помнил сам себя и не знаю, что бы сделалось со мною наконец, если б продлилось сие долее. Я либо, обезпамятев и обезсилев, совсем свалился б с лошади, либо лошадь подо мною упала бы и издохла, если б нечаянный случай вдруг не прекратил всего моего страха и ужаса и не вывел меня из сего смутнаго состояния.

Одна корчма, или по-нашему постоялый двор, которую я, едучи туда, и не видал, проехав мимо ее спящий, представилась вдруг мне посреди леса стоящею и в самое такое время, когда я в наивеличайшем страхе и отчаянии находился. Никакая радость не могла тогда сравниться с моею. Я почитал сию корчму местом моего спасения, и вскакав прямо в стадол, не имел сил сойти с лошади. Руки мои окрепли от крепкаго держания лошади за холку во время скакания, а ноги не могли двигаться от непрерывнаго биения ими по брюху лошади. Чухна корчмарь, случившийся тогда в стадоле или сарае, удивился и не знал, что думать, увидев человека без памяти и побледневшаго, как мертвец, к нему прискакавшаго. Он спрашивал меня по-чухонски о причине моего страха, но я не только не разумел его слов, но едва в состоянии был сказать ему по-немецки, чтоб снял он меня с лошади и отвел в корчму, а лошадь бы мою разседлал в дал ей корму. По счастью моему, чухна сей разумел по-немецки и исполнил по моей просьбе.

Собравшись с духом и опамятовавшись, согласился я на предложение корчмаря, чтоб съесть кусок масла с хлебом, который он мне из сожаления к моей молодости предлагал. Он спрашивал меня, не велю ли я подать себе молока, и, не дожидаясь ответа, принес мне целое судно онаго, а вместе с сим и кружку пива, и уверял меня, что пиво очень хорошо. Я благодарил сего добросердечнаго человека, и сказывал, что я пива не пью и что ласкою его доволен. Он и подлинно тем жалким состоянием, в котором он меня видел, так был тронут, что суетился и прислуживал мне как бы мой слуга, и уговаривал, чтоб я ничего не опасался и лег бы отдохнуть, сказывая притом, что он уже лошадь мою напоит и снабдит кормом, и сожалел, что я измучил ее чрезвычайным образом.

Я и в самом деле имел тогда нужду в покое. Зять мой хотя и подтверждал мне, чтоб я ехал и ночью, да я и сам знал, что мне спешить надлежало,

однако не отваживался я пуститься опять в лес и один ночью; сверх того, и лошадь моя более служить была не в состоянии, но требовала хорошаго отдохновения. Таким образом, растянулся я на длинном корчмарском столе и, положив в головы седло, проспал всю ночь как убитый. Сие случилось впервые еще от роду, что я имел столь худую или, лучше сказать, никакой постели.

Наутрие проснувшись, стыдился я своей слабости и спешил идти сам седлать свою лошадь. Но добросердечный и услужливый корчмарь избавил меня от сей работы, оседлав оную еще прежде моего выхода. Я поблагодарил его за всю его ко мне приязнь и ласку, и отправившись далее в свой путь, приехал около половины дня в стан нашего полковника, не имея на дороге более никаких приключений.

Полковник удивился нечаянному моему приезду, и известие, привезенное ему мною, было ему крайне неприятно. Стояние в Рогервике было гораздо хуже, нежели при Ревеле, и никакой полк охотно туда не хаживал, ибо никому не хотелось иметь дело с одними каторжными, которых там в тогдaшнее время в великом множестве содержались. Со всем тем долго не знал он сам, что приказать моему зятю. Но как собственнаго повеления о следовании в Рогервик в полк было еще не прислано, то велел он мне поспешать опять и как возможно скорей обратно к моему зятю с приказанием, чтоб он по-прежнему продолжал свой путь и ехал прямо в Ревель.

Итак, отдохнув несколько часов при полку, пустился я обратно и прибыл к зятю моему на другой день, к вечеру, благополучно.

Сим образом окончил я порученную мне первую комиссию, которая кроме вышеписаннаго приключения стоила мне очень дорого, и вплела меня в другия, совсем неожиданная напасти. Иноходца моего я так отделал, что при обратном путешествии с трудом я его догнал до станции моего зятя, а не успел к нему приехать, как пав, он околел. Это было первое несчастье в моей службе, и я очень сожалел о сей лучшей и любимой своей лошади, а особливо, что тогда остался только с двумя, и что третью необходимо мне иметь было надобно.

К вящему несчастью моему, где ни возьмись тогда чухна мужик, продающий тут же в корчме лошадь. Нас тотчас о том уведомили, и мы, осмотрев, положили ее купить. Корчмарь помог нам того ж часа договориться о цене, и ручался в том, что она была не краденая. Лошадь сия была посредственная. Мы заплатили за нее 12 рублей и нимало не зная, что проклятая

скотина сия навлечет на нас колты и хлопоты, отправились немедленно в путь свой и приехали в Ревель.

Сим кончу я сие письмо и, сказав вам, что я есмь навсегда ваш верный друг, остаюсь и проч.

РЕВЕЛЬ И РОГЕРВИК¹

Письмо 27-е

Любезный приятель!

В теперешнем письме опишу я вам наигорестнейший и смутнейший период времени из всей моей военной службы, и несчастье, претерпенное мною при самом начале оной. Провидению Божескому угодно было наслатъ на меня оное, власно как нарочно для того, чтоб лишить меня надежды на всякую постороннюю помощь и предоставить одному себе иметь обо мне попечение. Сие вижу я ныне довольно явственно; но тогда предусмотреть сего был я далеко не в состоянии, и потому почитал тогда сие несчастье не иначе как гневом раздраженных небес и для себя злом весьма великим, хотя в самом деле составляло оно совсем тому противное. Однако, прежде повествования об оном, расскажу вам наперед достальную историю о купленной моей лошади.

Окаянная сия скотина, любезный приятель, в самом деле была краденая и совсем тому чухне не принадлежащая, который нам ее продал. Мы, не зная того, не ведая, положились на поручительство хозяина той корчмы, в которой зять тогда стоял; но сей корчмарь был, конечно, либо подкуплен, либо и сам еще сообщником вору, и потому нетрудно было им нас обмануть. А легко статься может, что она была и не краденая, но все то дело, о котором я теперь расскажу, основалось на мошенническом комплоте или заговоре между чухнами. Но как бы то ни было, но мы принуждены были ответственать за нее так, как за краденую, и что того еще хуже, за украденую самими нами. Вы удивляетесь сему, но вы удивитесь еще более, когда услышите все дело.

Еще во время самага продолжения путешествия нашего от вышеупомянутой корчмы до Ревеля, заметили наши люди, что один чухна следу-

¹ Рогервик — залив, в западной части Финского залива.

ет повсюду по стопам нашим и власно как нечто за нами примечает. Мы удивились, сие услышав, однако не могли понять, что бы тому была за причина, и нимало не помышляли о том, что то был прямой хозяин нашей купленной лошади. Сей проклятый мужик не давал тому ни малаго вида, но не говоря ничего, следовал за нами назиркою до самага Ревеля.

По прибытии нашем к сему главному эстляндскому городу остановились мы, не въезжая в оный, в одной корчме, на большой дороге находившейся, и зять мой готовился ехать к командующему тогда стоящими тут полками, генерал-поручику барону *Матвею Григорьевичу Ливену*. Но он не успел еще собраться, как увидели мы некоторых из наших людей, бегущих без памяти к нам из города, с неожиданым и крайне досадным для нас известием, что помянутый шедший за нами чухна, следуя за ними в то время, как повели они в форштат поить лошадей, пред самую генеральскую квартиру закричал караул, и стал отнимать купленную нашу лошадь, называя ее своею, и что наши гранодеры, не давая ему оной, сделали драку и за то, по приказанию самага генерала, забраны все и с лошадьми под караул.

Встреча сия была для нас очень неприятна. Я оробел, сие услышав, и боялся, чтоб мне за то какой беды не было. Самому зятю моему навредило сие сомнение, и для того поспешал он скорей иттить к генералу. Но, пришед туда, нашел дело еще в худших обстоятельствах: мужик имел между тем время нажаловаться на нас генералу и обвинял нас тем, чего у нас и на уме никогда не бывало, а именно, что лошадь сию не кто иной, как мы сами у него украли. А генерал, будучи природный эстлянец и великий всем чухнам защитник и покровитель, пылая тогда гневом и яростию, и в бешенстве своем клялся, что он разжалует меня за то без суда вечно в солдаты. Зять мой ужаснулся, услышав о сем в канцелярии генеральской, куда он прежде зашел, и не знал, что делать и как защитить меня от предстоящего мне толь великаго и напраснаго бедствия. Он хотя и рассказывал в канцелярии порядок всего дела и о нашей невинности, однако его уверяли, что генерал по горячности своей ничего того не примет и что я, конечно, потерплю несчастье, если не предпримется какое-нибудь другое средство.

Находясь в таковых замешательствах и дурных обстоятельствах, не знал мой зять, что ему тогда предпринять было наиполезнее. Наконец, по великодушию своему и по особливой любви ко мне, другого средства не

нашел, кроме того, чтоб снять всю сию беду на себя и сказать, что помянутая окаянная лошадь его, а не моя, дабы спасти чрез то меня от напасти, ибо он надеялся, что с ним не поступит генерал столь строго, как со мною.

Приняв сие намерение, пошел он к генералу, который не успел его увидеть, как оборвался на него, как на человека, величайшее преступление учинившаго, и пылал огнем и пламенем. Зять мой приносил ему оправдание, изъяснял свою невинность и в доказательство оной слался на того корчмаря, у котораго в корчме лошадь была куплена, и на всю свою команду, прося, чтоб приказано было исследовать. Но генерал, так как было уже предсказываемо, не принимал никаких оправданий. А ревность и усердие его к эстляндскому народу простиралась так далеко, что он в запальчивости своей выговорил при всех бывших при том многих чиновников такие слова, которые всего меньше пристойны были российскому генералу. «Я сударь, – сказал он моему зятю, – лучше одному чухне поверю, нежели всем офицерам полку вашего, а не только твоей команде и корчмарю, котораго ты, может быть, закупил». Услышав такие слова, не осталось более ничего говорить моему зятю; он замолчал и дожидался, какое решение учинит он сему делу.

Сие решение и не преминуло тотчас воспоследовать и было самое премудрое и достойное такого разсудительнаго генерала. Не принимая никаких оправданий и не хотя слышать о просимом исследовании сего дела и сыскании продавца, в котором нам корчмарь ручался, приказал он зятю моему не только мужику лошадь отдать, но сверх того заплатить еще за каждый день по рублю, сколько тот мужик проходил и проискал своей лошади. Но и сим еще неудовольствуясь, и сам истинно не зная за что, велел послать в полк ордер, что зятя моего без очереди послать на целый месяц на караул, позабыв, что он был полковым квартирмейстром и что квартирмейстры на караул не ходят и ни с кем не чередуются.

Вот сколь правосуден был тогдашний наш генерал, и вот какое окончание получило сие дело, угрожавшее мне толь великою напастью! Я могу сказать, что я много обязан был в сем случае моему зятю, ибо без него, конечно бы, мне быть в солдатах. Одолжение, оказанное им мне в сем смутном и опасном для меня деле, мне так чувствительно, что я и поныне благословляю прах сего родственника моего, любившаго меня во всю жизнь свою нелицемерно и прямо родственною любовью.

Таким образом, езда от корчмы до Ревеля на помянутой лошадке стала мне очень дорого, ибо я принужден был не только отдать лошадь, но прибавить еще восемь рублей к ней в приданое, ибо столько дней по объявлению того бездельника было его прогулу, которыхы деньги, легко статься может, разделил он вместе с корчмарем и чухною, продавшим нам лошадь; ибо все обстоятельства сего дела заставляють подозревать, не было у них у всех умышленного в том заговора, и не хотели ль они со вредом нашим воспользоваться слабостию и известным им к себе усердием и любовию генерала Ливена. Что ж касается до учиненнаго сим приказания в разсуждении наказания моего зятя, которое поистине было странное и смешное, то оно поднято было всеми нашими полковыми начальниками и офицерами на смех и никто не помышлял о исполнении онаго, но всякой только ругал его за обиду, учиненную им всему полку вышеупомянутым премудрым отзывом, что он лучше поверит одному чухне, нежели всего полку офицерам.

Вот первая напасть, претерпенная мною во время моей военной службы. Но она далеко еще не составляла того несчастья, о котором упоминал я при начале письма сего и которое теперь вследствие повествования моего рассказывать стану.

Между тем как вышеупомянутыя происшествия с зятем моим происходили в городе, находился я в корчме, где мы остановились, и дожидался возвращения его с великою нетерпеливостию, объят будучи страхом и трепетом, ибо слух о угрозах генеральских написать меня в солдаты достиг уже и до нашей корчмы и привел меня в неописанное изумление и трусость. Наконец, увидел я и едущаго из города моего зятя. Сердце во мне затрепетало, как я его издалека еще увидел. Он вошел ко мне в корчму с весьма смущенным и печальным видом, и чрез то привел меня в такое замешательство, что я не смел начать речь и его о том деле спрашивать.

Со всем тем печаль и смущение зятя моего происходило совсем от другой и мне неизвестной еще причины. Он привез из города другое и для меня печальнейшее известие. Будучи в канцелярии генеральской, услышал он, что произвождение офицерское по нашей дивизии из Петербурга было уже прислано. Нетерпеливость заставила его любопытствовать и узнать о пожалованных полку нашего офицерах; а более всего хотелось ему узнать мою судьбину, и пожалован ли я вместе с прочими. Он выпросил список произвождения на минуту и искал моего имени, но с каким сожа-

лением и досадою увидел он следующие слова, написанныя против моего имени в списке: «За просрочку и неявление и поныне к полку – обойден». Слова сии поразили моего зятя, но сожаление его еще усугубилось, когда он узнал, что мне следовало пожалованному быть чрез чин прямо в подпоручики, и что многие сержанты нашего полку и гораздо меня младшие получили сии ранги.

Печалюсь искренно о сем для меня великом несчастьи, не мог зять мой долго выговорить ни единого слова и сообщить мне такое печальное известие; наконец, не мог более удержаться и сказал мне:

– Хорошо вы с дядюшкою-то своим наделали в деревне?

– А что такое? – подхватил я, испужавшись.

– А то, что товарищи твои все пережалованы, а ты обойден, а надлежало бы также и тебе в подпоручики.

Слова сии поразили меня, власно как громовым ударом, я онемел и не в состоянии был ни единого слова промолвить, слезы только покатались из глаз моих и капали на землю. Скольکو зятю происшествие сие было ни досадно, однако, приведен он был в жалость моим состоянием. Оно и в самом деле было сожаления достойно. Я стоял опустья руки и глаза книзу, погруженным в глубочайшее уныние, как окаменелый. Сие продлилось несколько времени, да и потом не помнил, что говорил и что делал. Самый свет казался мне померкшим в глазах моих, и состояние, в каком я тогда находился, не может никак описано быть, а довольно оно было нажалостнейшее в свете.

Досадное приключение сие было действительно наипечальнейшее во всей моей жизни. Лишение самых родителей не было для меня таково горестно и мучительно, как сие досадное обойдение. Там действовала одна только печаль, а тут с оною вместе досада, раскаяние, завидование благополучию моих товарищей, стыд и многия другия пристрастия совокуплялись и попеременно дух и сердце мое терзали и мучили. К вящему усугублению моей горести, не было ничего и ни малейшаго средства, чем бы меня утешить было можно. Зятю моему сколь ни горестно было смотреть на мое жалкое состояние и сколь ни желал он меня чем-нибудь утешить, но не находил ничего к тому удобнаго, но принужден был еще видеть, что самыя утешения его растравляли еще более мою печаль и увеличивали горесть; одним словом, я был совсем безутешен, лишился сна и пищи и, кроме вздохов, слез, уныния и печали, ничего от меня было не слышно.

Такое мучительное состояние продлилось несколько дней сряду и перевернуло меня так, что я походил тогда на лежавшего несколько недель в горячке и выздоравливающего от нея человека. Какое безчисленное множество вздохов испущено было тогда к небесам из моего сердца и koliko слез пролито было в сии печальные и горестны дни!

Между тем прибыл к Ревелю и полк наш. Известие о приближении онаго возобновило или паче увеличило еще всю жестокость печали моей. Я желал бы тогда скрыться неведомо куда и не смел воображать себе той печальной минуты, когда в полку о том узнают, и я увижу всех сверстников моих, ликовствующих в радости. Мне казалось, что я пред ними и перед всем полком буду власно как оплеванным, и не знал как мне без крайняго стыда кому показаться будет можно. Одна мысль, что все люди как люди, а я один как оглашенный тогда был, и власно как преступник, наказанный за какое-нибудь злодеяние, поражала меня до безконечности и обливала сердце мое охладевшею кровию. Но, по счастью, велено было зятю моему следовать тотчас опять вперед к Рогервику для занятия там летняго лагеря, и сим образом избавился я на несколько времени столь горестнаго для меня обстоятельства.

Во всю сию дорогу не преставал я воздыхать и тужить о своем несчастьи и не видал почти всех мест, мимо которых мы ехали. Для меня весь свет был тогда противен, и я не смотрел ни на что, столь сильно тревожили меня горестныя помышления! Наконец прибыли мы в Рогервик, в сие скучное и с тогдашним моим состоянием весьма сходственное место, и заняли отведенный для полку нашего подле самага сего местечка лагерь, а вскоре после нас пришед и полк и вступил в оный.

Горесть и печаль моя несколько поуменьшилась, как я увидел, что весь полк сожалел о моем несчастьи. Кого я ни увижу и с кем ни сойдуся, всяк тужил о моем несчастьи и старался по-возможности своей меня утешить. В особливости же изъявлял сожаление свое обо мне полковник и другие штабы и прочия знакомыя и меня отменно любившие офицеры. Самые сверстники мои, на которых не было уже тогда тех проклятых лык¹ или позументов, которыя я еще на себе иметь и носить был должен, и коих я тогда принужден был почитать весьма уже пред собою увышенными и на

¹ Лыко – здесь в смысле нашивок, отметок чина на рубашке, форме (с пренебрежительным оттенком).

коих не мог взирать без некоего неудобоизобразимаго чувства сердечнаго, изъявляли друг пред другом свое обо мне сожаление и, вместо чаемаго осмеяния меня, всячески утешать старались. Они обходились со мною по-прежнему, как с ровным своим братом, и сие более всего послужило к скорейшему моему успокоению и облегчению моей горести.

Я жил по-прежнему при моем зяте, и никто того для горестных моих обстоятельств и не взыскивал. Сам господин Хомяков, по имени Василий Василевич, капитан той роты, в которой я считался, не делал в том никакой претензии и не требовал меня в роту для отправления моей сержантской должности. И так жил я тогда при полку действительным волонтером, не имея за собою никакого дела. Но сие меня не весьма утешало, и я согласился бы охотнее нести действительную службу, если б стыд мне в том не препятствовал.

В сих обстоятельствах препроводил я тут более месяца, в которое время как полковник, так и прочия господа офицеры не преставали обо мне напоминать, и о изыскании средств к поправлению моего несчастья всячески стараться и между собою предпринимать советы. Многие из них нередко собирались к моему зятю и совокупно о лучших мерах разсуждали. Обстоятельства мои по справедливости были более сожаления достойны, нежели я об них сперва думал. Я хотя остался тогда по-прежнему старшим сержантом, и не только по полку, но и по всей тогда армии, и не можно было сомневаться, что при первом производстве мне в офицеры достанется; но такого покоса¹ трудно было опять дожидаться, каково минувшее произвождение было. Произвождение сие было тогда так велико, что подобнаго ему никогда не бывало и едва ли когда-нибудь будет. В сей раз по причине приумножения войск и сделании новаго штата, по которому прибавлено в каждом полку вновь множество офицеров, произведено было ужасное множество людей. Самое сие и причиною тому было, что многим сержантам доставалось тогда вместо прапорщиков прямо в подпоручики, чего никогда еще до сего времени не бывало. Но по самому тому не можно было никак надеяться, чтоб в скором времени могло воследовать опять произвождение, ибо все полки были уже с излишком укомплектованы офицерами, и потому все доброжелательствующие мне советовали не оставлять дела сего втуне. Но хотя и не было ни малейшаго луча надеж-

¹ В смысле – массового производства, удачи.

ды, однако не худо бы, говорили все, хотя наудачу, отведать употребить о произведении меня просьбу; в противном же случае отстану я от других гораздо далеко и догнать их буду не в состоянии.

Сей был общий совет всех наших друзей и знакомых. Но со всем тем сие скорее сказать, нежели сделать было можно. Просьбу употребить надлежало в Петербурге, ибо тут никто из генералов пожаловать меня в офицеры был не в состоянии; но и в Петербург надлежало кому-нибудь ехать, ибо на отсутственную и заочную просьбу не можно было никак надеяться и положиться.

Самое сие обстоятельство и производило наиболее затруднение. Сперва советовали все взять хлопоты и старание о сем на себя моему зятю. Сей, по любви своей ко мне, охотно на то и согласился. Но как в самое то время, как только что хотел он проситься об увольнении себя в Петербург, занемог он нечаянно наихлещайшею лихорадкою, то не знали тогда, что делать: ибо одному мне ехать никто советовать не отваживался, потому что никто не чаял, чтоб я по молодости и по незнанию своему мог что-нибудь успеть в таком деле, которое гораздо сильнейшаго старания требовало, нежели каково могло быть мое собственное. Но как зятю моему не легчало и час от часу еще тяжелее становилось, и как он увидел себя, наконец, принужденным лежать в постели, а время со всяким днем уходило, то другого средства не оставалось, как ехать наудачу мне одному и самому о себе стараться.

Не успел я на сие решиться и намерения своего объявить, как тотчас написали мне челобитную, а для лучшаго в предприятии моем успеха обещали все офицеры дать мне свидетельство и аттестат от себя в том, что я офицером быть достоин. При сем-то случае мог я наияснейшим образом видеть, сколь много доброжелательствовали мне все полку нашего офицеры; к кому я ни приносил для подписки моего аттестата, как всякой говорил: *«Обеими руками, готов братец; дай Бог тебе всякое благополучие и получить все желаемое»*. Из всего нашего полку один только нашелся таковой, который не хотел мне сделать сего одолжения и отказал в сей просьбе. Это был господин Колемин, бывший нашего ж полку капитан, а тогда произведенный к нам в секунд-майоры. Сей человек был один из старых офицеров, и имевший с покойным родителем моим, не знаю по какому-то делу, небольшую суспицию и на него досаду. И как злоба его не преставала действовать, и он был человек весьма дурных свойств и качеств и за то, а

особливо за надменность свою и гордость всем полком ненавидим, то хотел он по негодному своему характеру мстить при сем случае мне за досаду, причиненную ему отцом моим, хотя сей нимало был тому не виноват, а раздражил его по должности. Признаюсь, что сие было мне тогда досадно, и не только мне, но всего полку офицерам. Сии не успели от меня о том услышать, как ругали его немилосердным образом, а человек с двадцать собравшись пошли нарочно к нему его уговаривать и, буде надобно, употребить просьбу. Но все старания были тщетны, он остался непоколебим в своем намерении и упорностию свою только более досадил всем просившим. Всего смешнее при том было то, что он в отговорку предлагал одну только мою молодость, почему все присоветовали оставить его с покоем, говоря, что и без него дело сделано быть может и что подписка его не так важна, чтоб без нея не можно было обойтись.

Теперь оставалось мне только исходатайствовать позволение съездить на несколько времени в Петербург, ибо и сие сопряжено было с некоторыми затруднениями. Полковник не в состоянии был сего сделать. Он с радостью готов бы был меня на несколько месяцев отпустить, но власть его так была ограничена, что он не мог отпустить меня и до Ревеля; к тому ж и челобитной моей должно было итти по команде, то есть сперва от полку представленной быть командующему нами генералу-майору, а от сего представлена быть к генералу-поручику, а от него далее в Петербург *к главнокомандующему, генерал-аншефу графу Петру Ивановичу Шувалову*, от которого надлежало уже последовать резолюции. Сим окончу я мое письмо и, сказав вам, что я есмь... и прочая.

ПОЕЗДКА В ПЕТЕРБУРГ

Письмо 28-е

Любезный приятель!

Описав вам в предследующем письме мое несчастье, в которое невинным, с своей стороны, образом попал я по ненарочному случаю и от единого только прибавления отцом моим мне одного года, но о чем не имел я ни малейшаго сведения, расскажу я вам теперь о петербургской своей и достопамятной поездке, предприятою для поправления онаго. Езда сия

была наиболее по тому достойна особливаго примечания, что предпринята была мною прямо наудачу и без малейшаго луча надежды к получению какого-нибудь успеха в предпринимаемой просьбе, а что того еще паче, без всякой надежды на постороннюю какую-нибудь помощь, ходатайство и заступление, а с единым только упованием на Бога и на его милость и вспоможение, ибо, кроме Его, не было у меня никого могущаго мне подать помощь.

Какой успех имела сия поездка и что со мною случилось в Петербурге, это узнаете вы из последствия, а теперь дозвольте мне восприть паки нить повествования, прерванную последним письмом, и начать рассказывать вам все происшествия по порядку.

Таким образом, решившись ехать в Петербург и испросив благословение Божеское, приступил я к сему важному делу. Я, взяв от полковника потребныя к тому письма, поехал прежде всего к нашему генерал-майору. Это был самый первый еще случай, что я должен был сам о себе стараться. Командовавший нашим и другим стоявшим в Рогервике ж пехотным полком генерал-майор был тогда некто природный француз по фамилии де Бодан, старичок весьма добренький. Он стоял несколько только верст от нашего лагеря, и потому мне из лагеря к нему ездить было недалеко. Я подал ему представление, данное мне от полку с запечатанною при оном моею челобитною, и сей добросердечный человек, как в отпуске меня до Ревеля, так и в представлении своем к генералу-поручику не сделал мне никаких затруднений и остановок, и я получил дни в два свое отправление.

Поблагодарив его и возвратившись в лагерь, начал я собираться в дальнее свое путешествие, и как я расположился ехать туда налегке, и только в кибитке, запряженной тремя лошадьми и с двумя из своих людей, а прочее все с мальчишкою оставить в лагере при моем зяте, то сборы мои недолго продолжались; на другой же день было все к отъезду моему уже готово, и тогда, распрощавшись с зятем и со всеми моими знакомыми, отправился я в свой путь к Ревелю. Все знакомцы в приятели мои провожали меня пожеланиями всех на свете мне благ и счастливаго путешествия, ибо, кроме сего, сделать им было нечего. По особливому распоряжению судеб так случилось, что из всех их ни у кого не было ни одного знакомаго и такого человека в Петербурге, к которому бы меня сколько-нибудь рекомендовать или на первый случай адресовать было можно, и я, прямо

можно сказать, пустился в сей путь, будучи совершенно оставлен от всего света, и должен был всего ожидать от единого милосердия Божеского.

По приезде моем в Ревель крайне опасался я, чтоб не сделалось мне тут каких-нибудь затруднений. Генерал-поручик наш был самый тот господин Ливен, о котором я упоминал вам прежде и которого я как огня боялся. Поступками и характером своим настрашал он меня так в прежнюю нашу бытность в Ревеле, что я страшился его как лютаго зверя, не знал, как к нему показаться, и не ожидал от него ничего доброго, а паче боялся, чтоб он мне какого зла не сделал. Обстоятельство сие приводило в такую разстройку мои мысли, что я, идучи на его квартиру и встречаясь с ходящим по улицам народом, завидовал последнейшим из онаго людям, что они с спокойным духом отправляют свои дела, а я принужден был не только ехать в такой дальний путь, но иметь тысячу еще опасений, чтоб несчастье свое чем-нибудь еще не усугубить и не претерпеть чего еще худшаго.

Не инако как с трепетом и с хладеющею кровию приблизился я к дому сего грозного генерала. Провидению угодно было вложить в меня мысль, что иттить не прямо к генералу, а зайттить наперед в его канцелярию и спросить, когда и как бы мне пред него предстать было лучше. И коль блаженна была для меня мысль сия! С каким смущением и горестию вошел я в оную, с таким обрадованием вышел я, напротив того, из одной. По особливому счастью и против всякаго чаяния, нашед я тут в самых правителях его канцелярии себе милостивцев и ходатаев. Они, помня еще бывшее со мною несчастное приключение с купленною у чухни лошадей, получили ко мне столько сожаления и сделались столь благосклонными, что не только пошли сами докладывать обо мне генералу, но преклонили его уже предварительно к исполнению моей просьбы и отпущению меня в Петербург. Я не могу изобразить, сколь оттого обрадовался я, услышав от них о том уведомление. Со всем тем хотел он меня сам видеть. Сие обстоятельство смутило меня опять несколько. Я трепетал, как повели меня к нему в спальню, ибо одно мнение о суровых его прежних поступках приводило меня в страх и ужас. Он принял от меня гордым образом пакет, в котором запечатана была моя челобитная и представление от генерала де-Бодана, и, раздрав оный, начал тотчас читать оную.

Я стоял тогда перед ним, как окаменелый, и не смел ни единым членом тронуться. Чтение сие продолжалось нарочито долго; но едва он только

челобитную мою прочел и из оной увидел, что я прошу о произведении меня в офицеры, отчасти по моей невинности, а отчасти за обучение на своем коште наук и языков, как захотелось ему меня освидетельствовать и посмотреть, подлинно ли я оба языка знаю, и для того начал он со мною тотчас говорить по-немецки. Я всего меньше сие предвидел и нимало к тому не приготовился, и потому, оробев еще больше прежняго, не знаю истинно, что и как я ему отвечивал. Он спросил меня еще по-французски, но я отвечивал ему еще того хуже и совсем от робости спутался. Тогда усмехнулся он и презрительным образом сказал мне: «Хорошо, я тебя отпущу: только не знаю, зачем ты едешь. Это чудо будет, когда тебя пожалуют». Слова сии поразили меня еще того больше и привели в такое смятение, что я едва в состоянии был выговорить несколько слов в изъявление моей благодарности за его к себе милость. Он приказал написать обо мне представление и дать отпуск на 29 дней. Не успел он сего выговорить, как сделавшийся покровителем моим главный правитель его канцелярии, подхватив меня, повел в канцелярию и тотчас велел представление и паспорт мне написать. Усердие его ко мне было так велико, что он не дал писцам покоя, и как скоро оные написали, то понес для подписания генералу и, тотчас возвратившись, мне сказал: *«Все мой друг теперь готово, ступай себе с Божескою помощию, и дай Бог тебе всякое благополучие, а на давшиния слова, пожалуй, не смотри»*. Слова сии были власно как неким целительным бальзамом для пораженного моего сердца, ибо, признаюсь, что предсказание генеральское было для меня не весьма приятно, но привело меня в великое смущение; однако как я положился уже однажды на власть Божескую, то тем себя и подкрепил и утешил. Итак, получив запечатанный пакет к главному нашему командиру, графу Шувалову, и себе паспорт, и принеся тысячу благодарений добродушному моему ходатаю и покровителю, отправился я в тот же день из Ревеля и пустился в путь свой.

Было то в исходе июня месяца, как я из Ревеля поехал, и хотя время наступало тогда самое жаркое, однако дорогу имел я наиприятнейшую. Путь, как известно, от Ревеля к Нарве лежит по большей части подле самага морского берега, и потому морская влажность и от воды холод умерял в сих местах чрезвычайный зной, от жаров бываемый. Во время сего путешествия имел я еще первый случай досыта насмотреться на море, сие неизмеримое скопище вод! Зрелище сие было для меня совсем ново, и я не

мог им довольно налюбоваться; в особенности же не мог я без особенного ужаса и удивления смотреть на тамошние берега морские, подле которых я ехал. Они и подлинно в состоянии навевать на всякого страх и ужас, кто их не видывал. Natura оградила с сей стороны море толь высоким оплотом или, паче сказать, преогромною и страшною каменною стеною, что вся ярость морских огромных волн и валов не могла ей ничего сделать. Собственно берег, где вода прикасается до земли, был низок и ровен. Но сия равнина, поросшая высоким и дремучим лесом, не простиралась более как сажен на 20 или на 30, а там возвышалась вдруг такая крутая и утесистая каменная гора, что подобна была действительной стене. Наверху простираются опять ровныя и приятнейшия места, и по самому берегу идет гладкая и ровная большая проезжая дорога. Любопытство мое при смотреии на столь удивительное дело рук Божеских было так велико, что я на каждой почти версте останавливался, выходил и хаживал на самый край сего крутого берега, смотреть вниз на глубину презельную. Она и подлинно была чрезвычайная, и так велика, что стоящия внизу огромныя деревья казались сверху не инако, как небольшими деревцами, а крутизна так утесиста и чрезвычайна, что без опасения обморока долго смотреть никак было не можно. Довольно, что для усмотрения самых ближних под горою стоящих дерев, не инако как надобно было на край берега лечь и спустить голову, а без того их видеть было не можно. Но зрелище, какое представлялось тогда очам, и достойно было того, чтоб предпринимать труд таковой.

Взор на море, которое чем далее от берега, тем час от часу более возвышается и, наконец, не инако как пологою и прекрасною синею горою быть казалось, представлял мне также наиприятнейшее зрелище. Я не мог устать, смотря на него и на плавающия вдаль и парусами своими белеющия суда и корабли. Из них иныя шли в ту, а иныя в другую сторону, и одни ближе, а другия едва видимы были. С другой стороны увеселяли зрение мое прекрасныя рощи и луга, правый бок дороги украшающия. Инде простирались они прямою чертою на дальнее разстояние, а в иных местах извивались изгибами, кои не инако как разными фигурами быть казались. Вдавшияся в них и прислоняющия сии изгибы прекрасныя травяныя и цветами испещренныя лужайки, придавали местам сим еще вящее украшение. О, сколько раз принуждены мы были останавливаться, не вытерпев видя или растущия на лугах и поспевшия тогда ягоды, или в рощах,

подле самой дороги великое множество и наипрекраснейших грибов. Всякий раз приезжали мы на ночлег обремененными обоими сими натуральными продуктами, что по тогдашнему постному времени нам особое удовольствие причиняло, и путь наш тем веселейшим и приятнейшим делало. Словом, мы и не видали, как доехали до Нарвы, а потом и далее.

Но я удалился уже от главного предмета. Какова дорога сия ни велика была и сколь много ни утешались мы разными предметами, однако помышления о предмете моего путешествия не выходили у меня из памяти. Во всю дорогу помышлял я о Петербурге и о неизвестных тамошних обстоятельствах. Я, как выше уже упомянуто, ехал туда наудачу и не имел ни малейшего вида льстительной надежды. Надевание на самого себя было у меня худое, а найду ли кого-нибудь себе доброжелательствующих и таких, которые бы восхотели сколько-нибудь поспешествовать моему делу, было мне неизвестно. К вящему несчастью, не имел я с собою ни к кому и ни от кого ни единой строчки и рекомендации и не знал, где мне пристать и к кому приклонить мою голову. Один Бог был тогда всею моею надеждою и упованием.

Наконец в начале июля доехали мы благополучно до Петербурга. Это было в пятый раз в моей жизни, что я в сей столичный город приехал; но прежние мои приезды и пребывания в оном были весьма отличны пред теперешним: тогда находился я под каким-нибудь покровительством, а ныне ни под каким. Не имея никого знакомых, к кому бы пристать было можно, принуждены мы были нанять для себя какую-нибудь хижинку. Мы и нашли небольшую, в Морской, и наняли не за большую цену. Мое первое старание было узнать, нет ли в Петербурге моего прежнего благодетеля и дяди, господина Арсеньева, дабы под его руководством и предводительством можно мне было приступить к делу; но к великому моему огорчению, узнал я, что он находился тогда в Москве. Что ж касается до господина Рахманова и до Шепелева, то сии давно уже были в царстве мертвых; следовательно, и с сей стороны не мог я ласкаться ни малейшею надеждою.

При таких обстоятельствах другого не оставалось, как иттить самому собою и ожидать всего от единого вспоможения Божеского. Я распровадал о жилище графа Шувалова и приближался к нему с ощущением некоего внутреннего ужасения. «О дом! – говорил я сам себе, взирая на огромные и великолепные палаты сего знатного и столь сильного тогда вельможи.

От тебя произошло мое злополучие. Исправишь ли ты оное или нет? И с печалию ли или радостью буду я от тебя возвращаться?» Я знал, что мне надлежало пакет мой подать в его канцелярию, и для того спрашивал я, где она находилась. Мне сказали, чтоб я шел в дом к его любимцу, где тогда находилась графская канцелярия, и указали улицу, в которую мне идти надлежало. Это был господин *Яковлев*, тогдашний генеральс-адъютант и ближайший фаворит графа Шувалова. Я наслышался уже прежде об нем довольно и знал, что он находился в великой силе у графа и управлял всеми делами в его военной канцелярии. По пришествии к нему на двор указали мне канцелярию, но оттуда послали меня к нему в хоромы и велели подать самому ему пакет мой в руки.

Теперь расскажу я одно смешное приключение, которое со мною в самое сие время случилось. Переходя двор и всходя на крыльцо хором, в которых жил господин *Яковлев*, вынул я свой пакет из кармана и развернул из обертки, чтоб его приготовить ближе. Но каким внезапным ужасом поражен я тогда стал, как, взглянув на него, увидел, что он распечатался? Я остолбенел на том месте, где стоял, и не знал, что делать. Горе и робость напала на меня превеличайшая, и я предвозвещал себе от того напасть неведомо какую. «Ах, какая беда! – твердил я только себе несколько раз. – Что мне теперь делать?» И ужас мой был так велик, что сердце от трепетания хотело власно как выскочить.

По коротком размышлении разсудил я, что так пакет мой подавать никоим образом было не можно, и что другого не оставалось, как оный искусненно и неприметно припечатать. По счастью моему, распечатался он очень разумно и так, что пособить тому было можно, ибо самая печать была совсем цела, а отодралась только одна четвертинка бумаги, да и то подле самой печати. Каким это образом и отчего так сделалось, истинно сам не знаю: кажется, во всю дорогу был он у меня в сундуке, и я берег его как глаза. Но как бы то ни было, но он распечатался и бумажка отодралась себе благополучно, и подавать так было не можно. Горе на меня превеликое; однако я скоро догадался, что нужно только было таким же сургучом и однажды только в то место капнуть, как все зло могло тем исправлено быть. Обрадовался я сему вымыслу; но тотчас напало на меня другое горе. Я не знал, где взять мне сургуча такого же хорошаго и где сыскать огня в тогдашнем и весьма коротком случае, ибо мне велено было спешить и заставать, куда не уйдет господин *Яковлев* к обедне. В канцелярию гене-

ральскую иттить я не отваживался, там не было у меня ни одного человека знакомого, к тому ж казалось и неприлично припечатывать пакет в канцелярии. Итак, другого не оставалось, как бежать благим матом на гостинный двор, купить такого же хорошаго аглицкаго сургучу, каким был пакет мой запечатан, а оттуда пробежать прямо на мою квартиру и там припечатать.

Как вздумано, так скоро сие было и сделано и не помню, чтоб когда-нибудь во всю жизнь мою скорей тогдашняго я бегивал. Самый купец удивился чрезвычайной моей поспешности, и был слишком добродушен и честен, что не взял с меня тройной цены за сию палку сургуча, за которую я в состоянии был тогда заплатить чего бы он ни потребовал, ибо не до торговли было тогда дело. Прибежавши на квартиру, кричал я, не входя еще в горницу, людям, чтоб бежали скорее за огнем. Но чем я более спешил, тем медленнее и хуже происходило дело. На ту беду не случись у нас ни одного огарочка свечки, а лучинки и подавно взять было негде. Наконец нашли какой-то осколочек и принесли ко мне не столько горящий, сколько курящийся. Я хватал скорей сургуч; но не новое ли горе? Не нахожу его в карманах! Я в тот, я в другой, я в третий, но не тут-то было! «Господи, помилуй! куда это он у меня делся!» Но сколько я ни говорил: «Господи помилуй» и сколько ни шарил по всем карманам, но сургуча моего нигде не было. Вздурился тогда я от горя и досады, и сам себя не вспомнил. Наконец видя неминуемую, схватил уже я шляпу и хотел бежать опять в ряды, покупать новый, как слуга мой остановил меня, говоря: «Постойте, сударь! не провалился ли он сквозь карманы? Мне помнится, что в одном была дырочка». Как он сказал, так и в самом деле было, и мы нашли проклятый сей сургуч в кафтаных фалдах. Рад я неведомо как был сему случаю; но горе мое еще не окончилось. Проклятый осколочек или лучинка, между тем как мы суетились и сургуча искали, погасла и надымила всю мою горницу. Покуда пошли опять ее зажигать, покуда дули, покуда принесли, прошло опять несколько минут, из коих каждая мне целым часом казалась. Наконец принесли мне огонь, и я спешил дрожащими руками скорей припечатывать. Но не новая ли опять беда? Проклятая лучина задымила мой сургуч, и он, почернев, сделался хуже еще простого. К вящему несчастию и досаде капнул я еще им мимо печати на конверт. «О беды по бедам! – вскричал я тогда. – Что мне теперь делать?» Но некогда было уже мне разбирать, худо ли или хорошо я припечатал. Я пустился уже на отвагу и, схватя шляпу, опрометью побежал опять на двор к господину Яковлеву.

По счастью, застал я его еще дома и часовой, стоящий у дверей, обрадовал меня, сказав, что не выходил он еще из спальни. Итак, имел я время собраться несколько с духом и отдохнуть от своего бега. Пошел в зал, нашел я его весь набитый народом. Я увидел тут множество всякаго рода людей. Были тут и знатные особы, и низкаго состояния люди, и все с некоторым родом подобострастия дожидаящиеся выхода в зал любимца графскаго для принятия прошений и выслушивания просьб. Мое удивление еще увеличилось, когда увидел я, что самые генералы в лентах и кавалериях приехавшие при мне, не осмеливались прямо и без спроса входить в его предспальню, но с некоторым уничижением у стоящих подле дверей лакеев спрашивали, можно ли им войти и не помешают ли Михайле Александровичу, так называлась тогда сия столь знаменитая особа, имеющая хотя, впрочем, больше подполковничьяго чина. Но не чин тогда был важен, а власть его и сила, которая простиралась даже до того, что все, кому бы ни хотелось о чем просить графа, должныствовали наперед просить сего любимца и чрез него получать свое желаемое, по которому обстоятельству и бывало у него всякий день по множеству народа.

Сим окончу я мое теперешнее письмо, оставив вас верно весьма любопытными узнать, что последует далее и остаюсь и прочее.

ПРЕБЫВАНИЕ В ПЕТЕРБУРГЕ

Письмо 29-е

Любезный приятель!

Последнее мое письмо к вам прервал я тем, что находился я, со множеством других всякаго рода людей, в зале у господина Яковлева и дождался с нетерпеливостию выхода сего графскаго любимца. Мы прождали его еще с добрую четверть часа, но, наконец, распахнулись двери и графский фаворит вышел в зал в препровождении многих знаменитых людей и по большей части таких, кои чинами своими были гораздо его выше. Не успел он показаться, как все сделали ему поклон не с меньшим подобострастием, как бы то и перед самим графом учинили. Я стоял тогда посреди залы на самом проходе, дабы не пропустить случая и успеть подать ему пакет свой, и по природной своей несмелости суетился уже в

мыслях, как мне приступить к своему делу. Но по счастью так случилось, что он, окинув всех глазами, на первого меня смотреть начал. То ли, что он меня впервые тут видел, или иное что было тому причиною – не знаю, но по крайней мере я счел, что тогда было самое наиспособнейшее время к поданию ему пакета. Я подступил к нему с трепещущими ногами и, подавая письмо, тряся, чтоб не узнал он, что оно было припечатано. Но, по счастью, так случилось, что он и не взглянул на печать толь много раз проклинаямую, но, приняв с величавою осанкою у меня из рук, раздернул пополам конверт и бросил на пол. Рад я был неведомо как сему случаю и смотрел не спуская глаз на его, читавшаго в то время представление генеральское. Сердце во мне трепетало и обливалося кровью, и я стоял как осужденный, ожидающий приговора к животу или смерти. От бывших тут я уже слышался о великой его силе и знал, что не графу, а ему меня пожаловать или осудить надобно было, и потому с окончанием чтения ожидал я решительной своей судьбины. Прочитав представление, взглянул он на меня и окинул еще раз с головы до ног меня глазами, но, тотчас опять развернув мою челобитную, стал продолжать чтение.

Все стояли тогда в глубочайшем молчании и взглядывали на меня, видя господина Яковлева, читающего бумаги мои с величайшим вниманием. Я стоял тогда вне себя и не знал, что заключить из его поступок, и худое или доброе предвозвещать себе из его взглядов и прилежного чтения, по крайней мере не имел я много причин ласкаться доброю надеждою. Будучи один, незнающ, необыкновенен, а притом без малейшей подпоры и рекомендации, имел я более резона ожидать худого, нежели добраго. Вся моя надежда, как я уже упоминал, была на одного Бога, а потому Он один и был тогда у меня на уме, и я просил Его мысленно о вспоможении. Но самое сие мне всего более и помогло. Сие великое Существо в таких случаях нам охотнее и помогает, когда Ему одному помогать надобно и когда мы всей человеческой помощи лишались. Но мог ли я тогда сим образом рассуждать и мог ли хотя мало предвидеть, что тогда имело воследовать?.. Поистине, дело превзошло всякое чаяние, ибо можно ли было приттить мне тому в голову, что я в самом том человеке, котораго к упрощению надлежало бы мне иметь и употребить многих и сильных ходатаев, и о неимении которых я толь много горевал, найду наилучшаго о себе старателя и покровителя. Одним словом, господин Яковлев сделался в один момент моим милостивцем, и не прочтя до половины моей челобитной,

спросил меня: *«Не Тимофея ли Петровича ты сын?»* – «Его, милостивый государь», – ответствовал я ему. «О!» – сказал он тогда: – *«Батюшка твой был мне милостивец, и я никогда не забуду его к себе приятства»*.

Сказав сие, стал он продолжать читать мою челобитную. Но сих многих слов довольно уже было к пременению всего моего внутреннего состояния. Как солнце, выходя из-за тучи, освещает вдруг весь горизонт и прогоняет тьму, так слова сии прогнали тогда весь мрак моего сомнения и осветили лучом приятнейшей надежды всю мою душу. Одним словом, я не сомневался уже почти тогда о получении всего мною желаемого, и чаянию моему соответствовало последствие.

Господин Яковлев, прочтя челобитную, сказал мне: *«Хорошо, мой друг, ходи только к обедне, и чтоб я тебя всякий день здесь видел»*. Я не знал, что б такое слова сии значили, а более изъяснить их недопустили его прочия просители, приступившие к нему толпами. Однако, заключил я, что чему-нибудь доброму, а тут быть надобно и дожидался уже с спокойнейшим духом отъезда его к обедне.

Не успели мы, проводя его, выттить, как целая толпа сержантов обступила меня кругом и начала вопросами мучить. Иной спрашивал, кто я таков; другой – откуда приехал; третий – которого полку; четвертый – кто был мой батюшка, и почему его Михаил Александрович знает, и так далее. «Государи мои, – ответствовал я тогда им, – я истинно и сам иного не знаю, о чем вы спрашиваете, как и в самом деле, я не только тогда не знал, но и поныне не знаю, каким образом он был родителю моему знаком и какия от него милости видел. Наконец, услышавши от меня о причине моего приезда, и о всех обстоятельствах, сказали они почти все в одно слово. «Дай Бог тебе, братец, благополучие и получить милость Божескую; авось-либо и нам при тебе не худо будет, и ты разрешишь, может быть, нашу судьбину!» Я удивился и не понимал, что они говорили; просил их об изъяснении и, наконец, услышал, что они, подобные мне несчастные люди, обойденные в минувшее произвождение; что их более тридцати человек и что они более месяца здесь живут, но ни того, ни сего получить не могут. «Ты не поверишь, братец, – говорили они, – что мы уже бы рады были, если б нам отказали, а то истинно уже стены все в канцелярии обтерли, а толку никакого нет. Только и добра, что ходи к обедне и молись Богу. Иной, братец, у нас уже раза два в Невский пешком встряхивал, а иные ходили, ходили да и ходить перестали».

Для меня все сие было чудно и непонятно, и я просил их рассказать мне о том обстоятельнее. Они и исполнили мое желание и из слов их узнал я следующее. Господин Яковлев старался оказать себя тогда наипобожнейшим человеком. Он не пропускал ни одной обедни и маливался в церквах наиприлежнейшим образом; а как он притом был весьма забавный человек, то не знаю, что вздумалось ему с помянутыми из разных полков для таковой же просьбы съехавшимися сержантами вести шутку. Между тем покуда дела их производились в канцелярии, играл он всеми ими невинным образом. Он заставлял их всякий день ходить к обедне, и сим образом приучал к богомолью. А как они принуждены были ходить в самую ту церковь, в которую и он езживал, то не упускал он примечать за ними, кто из них был богомольнее и смиреннее и кто вертопрашнее прочих. Наутрие, как они прихаживали к нему, и когда было ему досужно, забавлялся он с ними иногда шуточными разговорами и тут бывали обыкновенно иным похвалы, а другим выговоры и осмеяния. Кто более всех учинил проступок, тому определялось наказание. Иной должен был за то иттить пешком молиться в Невский монастырь, а другой – класть определенное число поклонов или стоять в церкви перед ним и молиться наиприлежнейшим образом. Сим и другим подобным сему образом забавлялся тогда графский любимец сими молодцами, и любил особливо тех, которые лучше прочих соответствовали его желаниям. Но как состояли они по большей части из таких же молодых людей, как я, а притом неодинаковых свойств и характеров, то наскучила им скоро сия игрушка. Многие из них начали неприметно удаляться и перестали к нему показываться на глаза, а бродили только в канцелярию, но чрез самое то сами себе хуже сделали. Господин Явовлев, за великим множеством дел, которыми он обременен был, не видя их, позабывал о производстве их дела, а потому так долго принуждены они были решения онаго дожидаться и жить в Петербурге по-пустому.

Обстоятельство сие, каково ни было натурально, но, судя об оном с другой стороны, можно некоторым образом сказать, что, может быть, помянутая медленность в производстве оных происходила и не по слепому случаю, а имело в том соучастие и невидимое смотрение Божеское и святой Его обо мне Промысл. Всем им давно бы надлежало произведенными быть в офицеры и тем паче, что за многих были самые ходатаи и просители, и давно даны были обещания все сделать. Но господина Яковлева,

власно как нечто невидимое отводило от исполнения, и он власно как нарочно дожидался меня, чтоб в список их поместить и мое имя и тем удобнее доставить мне чин офицерский, а без того было б ему гораздо труднее и, может быть, совсем невозможно, для одного меня заводить новое произведение. Словом, судьбы и Промысл Господни неисповедимы и нами непроницаемы.

Но как бы то ни было, но я вышеупомянутым образом включен был в сообщество оных обойденных и чинов себе толь долго добивающихся сержантов, и господин Яковлев для самага того и приказал мне всякий день к себе приходить, чтоб, увидев меня, чаще вспоминать о нашем деле и тем скорее поспешить производством онаго. Сколь молод я тогда ни был, однако мог заключить, что мне необходимо надобно было все его приказания наиточнейшим образом исполнять стараться, чего ради не медля ничего более, пошел я тотчас в ту церковь, где он находился. Я стал в таком месте, где б мог он меня совершенно видеть, и, притворясь будто я его совсем не вижу, молился наиприлежнейшим образом, что мне было и нетрудно, потому что не в похвальбу себе сказать, смаленьку был к Богу прилежен, а тогда и подавно должно было поблагодарить Бога за милостивое Его обо мне попечение. Сие возымело хорошее действие. Господин Яковлев примечал все мои движения до наималейшаго, и видя, что моление мое было непритворное, был поведением моим очень доволен. Самое сие и произвело выгоды для меня следствия, ибо как я поутру на другой день пришед к нему всех прежде и в зале его любое место себе занял, а на меня смотря пришло и несколько человек моих товарищей, и он, имея по счастью нашему тогда досуг и вышел к нам еще в шлафроке¹, по обыкновению своему, с нами забавлялся, то похвалил он меня публично перед всеми и говорил, что я хотя и моложе всех, однако прилежнее всех молился Богу, и стыдил тем прочих моих сотоварищей. Потом спрашивал меня о моей матери, о полку, также и о том, где я учился, и как он говорил со мною ласково и приятно, то и я не имел причины робеть и отвечивал ему так, что он был ответами моими доволен. Со всем тем о настоящем моем деле и о произведении не упоминал он ни единым словом. Сие меня уже некоторым образом и безпокоило, а к несчастию, народ, начавший час от часу в зале набираться, прогнал его во внутренние покои, где он обыкновенно одевался.

¹ Халате.

Со всем тем проводив его к обедне, не упустили мы зайти в канцелярию и справиться, нет ли каких вновь приказаний. Тут, к крайнему моему удовольствию, услышал я, что господин Яковлев еще вчера челобитную мою в канцелярию отдал и притом наистрожайше приказал спешить как возможно скорее нашим делом и готовить список для нашего произведения. «Вот, братец, – закричали тогда мои товарищи, – не правду ли мы говорили, что подле тебя и нам хорошо будет. Такого приказания не было еще ни однажды. Ей! ей! Сам Христос тебя к нам послал».

Радость, чувствуемую от сего, не почитаю я за нужное описывать подробно; довольно, она была чрезвычайна и столь же велика, сколь велика была сперва печаль моя. Со всем тем дело наше продлилось более недели, но тому причиною был не господин уже Яковлев, а нечто другое. Списки наши успели чрез три дня, ибо господин Яковлев, видая меня всякий день у себя поутру, ежедневно об них вновь подтверждал и приказывал; а остановку и медленность произвело то обстоятельство, что тогда самого графа Шувалова не случилось в Петербурге. Поелику императорский двор был тогда в Царском Селе, то и граф около сего времени находился там же, следовательно, за отсутствием его и произведение наше подписать было некому. Со всем тем при тогдашних обстоятельствах и поелику была уже безсомненная надежда, мог уже я без скуки возвращения графского в Петербург дожидаться, и не тужил бы, хотя бы сие и несколько недель продолжалось. Я свел между тем лучшее знакомство с моими товарищами, и мы хаживали с ними вместе всякий день в церковь и к графскому любимцу. Он так ревностно за меня вступился, что желая скорей меня отправить, одним днем, как списки наши были уже готовы, публично изъявил свое сожаление о том, что граф долго не едет, и почти просьбою просил, чтоб я на несколько дней взял терпение.

Таким образом, продолжал я жить в Петербурге, питаясь сладчайшею надеждою. Мне не досадны уже были тогда мои позументы, но я часто сам себе говаривал: «уже скоро, скоро вы с обшлагов моих полетите». Со всем тем препровождал я время свое не совсем праздно, но как все послеобеденное время делать мне было нечего, то хаживал я по городу и осматривал места, кои мне видеть еще не случалось. Мой первый выход был в Академию, куда влекла меня охота моя к книгам; могу сказать, что я с малолетства получил к ним превеликую склонность. Почему, едучи еще в Петербург, за непременно дело положил я, чтоб побывать в Академии и

купить себе каких-нибудь книжек, которые в одной ней тогда и продавались. В особенности же хотелось мне достать «Аргениду», о которой де-лаемая мне еще в деревне старичком моим учителем превеликая похвала не выходила у меня из памяти. Я тотчас ее первую и купил; но как в самое то время увидел я впервые и «Жилблаза»¹, которая книга тогда только что вышла и мне ее расхвалили, то не разстался я и с нею.

Обеим сим книгам был я так рад, как нашед превеликую находку. Досадно мне было только то, что обе оне были без переплета, и это были первыя книги, которые купил я в тетрадах и кои принужден был впервые учиться складывать и сшивать в тетрадку, дабы мне их читать было можно. Но работа сия была мне не столько скучна, сколько увеселительна, хотя и препроводил я в том много времени.

Кроме сего не оставил я исполнить еще один долг и побывать у одного моего родственника. Это был наш деревенский сосед и однофамилец, по имени *Никита Матвеевич Болотов*. Он служил тогда в Троицком пехотном полку полковником и доводился мне дед, потому, что отцу моему был он внучатный дядя. При приезде моем в Петербург я не знал, что сей полк, следовательно, и он, находился в Петербурге, а потому и не взял моего к нему прибежища. А тогда хотя мне в вспоможении его и не было нужды, однако за должность я себе почитал побывать у него, как скоро об нем услышал. Он стоял тогда с полком своим лагерем на Выборгской стороне и был мне почти вовсе не знаком, потому что я его видал только в младенчестве, да и то не более двух раз.

Он принял меня приятно и сходственно с своим характером, который имел в себе некоторыя особливости. Он был человек немолодых лет и из числа старинных, а не новомодных людей. Жития был честнаго, но весьма строптиваго. Нрав имел горячий, вспыльчивый и во всех своих делах наблюдал такую единоравность, что почитаем был от всех не только весьма строгим, но притом своенравным и упрямым человеком. Но что всего хуже,

¹ «Жиль Блаз де Сантиллан» – сатирический «плутовской» роман знаменитого французского писателя Ален-Рене Лесажа (1668–1747). «Жиль Блаз» был одним из первых реалистических романов, явившихся на смену претенциозной, чувствительной литературе XVII – нач. XVIII в.; он дал бытовой материал, сатирическое его освещение, новые темы и типы (низшие слои общества). «Жиль Блаз» – история приключений испанского крестьянина среди подонков общества, авантюристов. Болотов читал «Жиль Блаза», по-видимому, в немецком переводе, так как первые русские переводы романов Лесажа появляются с 1763 г. («Жиль Блаз из Сантилланы», «Хромоногий бес», «Гусман д'Альфараши», «Бакалавр Саламанкский»), – а покупка Болотовым «Жиль Блаза» относится к 1755 г.

то дух его заражен был непроницаемым лукавством, для которой причины ни с одним человеком не обходился он поверенно, но всегда содержал себя в некотором удалении. Сей порядок умел он прикрывать наилучшим покрывалом, обходясь с незнакомыми и посторонними людьми с необыкновенною ласкою и униженностью, и потому с первого вида казался всякому ангелом, а не человеком. Но противное тому оказывалось, когда доходило кому иметь с ним дело ближе, или кто, по несчастию, попадался ему в команду. Одним словом, для вышеупомянутых причин не имел он в свете ни одного не только верного друга, но ниже хорошаго приятеля, и тому единственно сам был причиною. Ибо, как он и с наилучшими приятелями и родственниками своими обходился всегда с лукавством и никогда не доходило до откровенности и дружеской поверенности, и он наиболее не то говаривал, что думал; то и они, не могли получить и найти в нем то, что в обхождении и дружестве приятным почитается, мало-помалу от него отставали. Сим образом обходился он и с покойным моим родителем, и они хотя и были между собою приятели, но приятство их далеко было удалено от прямого дружества. Почему не знаю и я, помог ли бы он мне, если б я и взял мое к нему прибежище.

Таким образом, принял он меня с оказанием возможнейшей наружной ласки и расспрашивал о причине моего в Петербург приезда. Я рассказал ему все, и в каких обстоятельствах находилось тогда мое дело, и ожидал, не назовется ли он сам съездить к г. Яковлеву и о скорейшем поспешествовании моему делу употребит просьбу, хотя мне в том и не было уже нужды. Однако он далеко от того удален был, но паче боясь, чтоб я его о том просить не стал, старался речь свою скорее преклонить на дружую материю. Он велел послать к себе своего сына, который несколькими годами был меня моложе и учился тогда по-немецки и по-французски и был предорогой¹ мальчик. Он заставил его при мне говорить с слугою и сотоварищем своим в науках, по имени Маркелом, по-немецки, и я признаюсь, что я пристыжен был тогда чрезвычайным образом. Я видел, что он говорил гораздо лучше меня, и завидовал ему в сем совершенстве.

Потом приказал он водить мимо своей ставки взводы обучающихся солдат и показывал мне, власно как величаясь исправностию оных. Со всем тем показались мне офицеры паче мертвыми, нежели живыми, ибо

¹ В смысле — премилый, очаровательный.

они, водя своих солдат мимо его, трепетали, так сказать, его взгляда. Тогда подумал я сам в себе, сколь великая разность находилась между его полком и нашим, где о таких строгостях никто не ведал и где полковника своего все любили, и не страшились как лютаго зверя, а потому и не желал я быть в полку у него, несмотря хотя был он мой недалекий родственник и хотя б меня к тому приглашать стал. Но, по счастью, у него того и на уме не было, но он просил только меня при отходе, чтоб я не уезжал из Петербурга, не побывавши у него еще раз.

Наконец приехал граф из Царскаго Села и решил нашу судьбину. Радость, которую я чувствовал при перемене моего состояния, была тем чувствительнее и больше, чем нечаянное получил я оную. Одним днем, не зная нимало о воследовавшем еще накануне того дня приезде графском и пришед очень рано на двор к г. Яковлеву, не успел войтить в канцелярию, как бросились на меня канцелярские служители и начали щипать и сдирать с обшлагов моих позументы. Я выразумел уже, что сие значит, и, будучи вдруг поражен неописанною радостью, с охотою уступал им сии лыки. Они поздравляли меня с получением чина и сказывали, что Михайло Александрович, еще вчера, как скоро граф приехал, возил к нему наше произвождение и граф безпрекословно подписал оное, и что, словом, я теперь не сержант, а господин подпоручик.

Вот сколь велико усердие к нам было г. Яковлева и сколь много старался он о скорейшем окончании нашего дела. Мы, собравшись все, пошли тотчас к нему приносить наше благодарение, и признательность моя была так велика, что если б можно было, то расцеловал бы я у него тогда все руки и пальцы. Он поздравлял нас с получением чинов офицерских, и товарищам моим публично сказал, что они благодарить должны много и меня, ибо если б не для меня он поспешил, то бы им долго еще ждать припуждено было, а иным и вовсе было бы отказано; а мне сказал он краткое нравоучение, чтоб я жил и вел себя порядочно и заслуживал бы себе такую же честь и доброе имя, как отец мой.

Таким образом пожалован я был в офицеры, и минувшее несчастье исправлено было наисовершеннейшим образом, ибо велено было отдать мне и старшинство мое и считаться вместе с прочими с апреля 25-го числа, чрез что и не потерял я ничего пред прочими моими полковыми сотоварищами. Со всем тем, радость и удовольствие мое нарушаемо и тревожно было еще одним обстоятельством. Всех нас произвели, но по местам

еще не распределили. К несчастью, все полки нашей дивизии в последнее производство укомплектованы были офицерами и мест порожних было очень мало, почему куда нас девать и определить не знали. К вящей моей досаде, в нашем Архангелогородском полку не было ни одной подпоручичьей вакансии и сие меня наиболее смущало, ибо в другой полк мне неведомо как не хотелось. Сверх того, и в других полках было только несколько адъютантских вакансий, а сей чин меня уже сам собою устрашать был в состоянии. Я говорил о том кой с кем в канцелярии, но все уверяли меня, что пособить тому никоим образом было не можно и что остается мне только два средства: либо иттить в другой полк в адъютанты, или ежели хочу неотменно в свой, то служить несколько времени сверх комплекта и без жалованья, да и сие разве только по моей просьбе г. Яковлев сделать может. Обрадовался я, сие услышав, и, желая неотменно в свой, не тужил о жалованье и пошел немедленно просить о том моего милостивца, в коем я тогда уже не сомневался. Он и действительно и слова не сказал сие сделать, но апробировав сам мои причины, для коих я в своем полку быть желал, велел тотчас по просьбе моей исполнить, уверяя при том, что мне не долго без жалованья послужить достанется, и что я при первом случае в комплект помещен буду, и что он о сем не приминет постараться.

Таким образом определен я был в свой полк сверх комплекта и чрез несколько дней получил совершенное свое отправление. Радость о толь благополучном успехе и окончании всех моих намерений была неопи-санная, и новый мой чин прельщал меня до бесконечности. Признаться надлежит, что первая сия степень для нас особливою важности, человек тогда власно как переродится и получает совсем новое существо; а точно то было тогда и со мною. Мне казалось, что я совсем тогда иной сделался, и я не мог на себя и на золотой свой темляк и на офицерскую шляпу до-вольно насмотреться, в особенности же смешон я тогда был, как пошел прощаться с моим дедом. Не успел я приттить к лагерю, как первый ча-совой, увидев меня, тотчас мне, как офицеру, ружьем своим честь отдал. Я восхищен был до бесконечности сим зрелищем и был учтивством его тем более доволен, что досадовал до того на гвардейских часовых, мимо которых мне иттить случилось, что они мне чести не отдавали. Я не знал, что у них сего нет в обыкновении, а приписывая то единой их грубости и неучтивству, говорил тогда сам себе: «Скоты вы самые и, конечно, слепы, что не видите, что офицер идет». Но армейские солдаты зато наблюдали

лучше свою должность, и я так много тем прельщался, что нарочно пошел до ставки полковничьей перед фрунтом, чтоб все ротные часовые также бы меня почтили и для лучшего побуждения выстанавливал нарочно свой темляк, чтоб они видели и знали, что я офицер и человек патентованный.

Распрощавшись с своим дедом, который о благополучии моем оказывал всякую наружную радость, а потом с господином Яковлевым, и принеся сему последнему за все его милости тысячу благодарений, отправился я наконец в исходе июля месяца из Петербурга к полку своему, благословляя сей столичный город за все добро, полученное в оном.

Легко можно всякому вообразить, что сие обратное путешествие было для меня еще несравненно веселее и приятнее, нежели прежнее. Дух мой не озабочиван уже тогда был сомнением, не удручаем печалью, но вместо оной всеми чувствами моими обладала радость и удовольствие. Погода случилась и в сей раз весьма благоприятная и как мы не имели причины слишком поспешать, то ехали мы себе в прохвал¹, становились кормить дошадей и ночевать в любых местах на лугах и при водах, а приехав в Нарву, запаслись на дорогу тамошнею славною просольною ряпухою², которая рыба в особливости была вкусна жареная на угольях. Я объедался оною на каждом ночлеге, и она была мне тем вкуснее, что я сам поджаривал ее на раскладываемых нами огоньках и угольях. Наивысшее же удовольствие производили мне в сем путешествии обе мои новыя книги. Я изобразить не могу, с какою жадностью и крайним удовольствием читал я дорогою моего «Жилблаза». Такогого рода критических и сатирических веселых книг не случалось мне читать еще отроду, и я не мог устать читая сию книгу и в несколько дней всю ее промолот. По окончании оной принялся я за свою «Аргениду». Сия производила мне не меньшее удовольствие. Пиитический и героический слог, каковым писана была сия книга, был мне в особливости мил и приятен, а описываемыя приключения крайне любопытны и увеселительны. Я читал также и ее, не выпуская почти из рук, и могу сказать, что чтение сих обеих книг так занимало мое внимание, что я в сей раз и не видал почти тех мест, мимо которых мы ехали, и все путешествие мое делало толь приятным и веселым, что я не помню, чтоб когда-нибудь в иное время препровождал путешествие с столь многим удовольствием, как тогдашнее. Словом, я и не видал, как переехали мы

¹ От прохвала – прохлада, лень; в прохвал – прохлаждаясь.

² Название рыбы.

все немалое расстояние от Петербурга до Ревеля и до Рогервика, куда мы чрез несколько дней благополучно приехали.

Сим образом кончилась поездка моя в Петербург, предпринятая хотя наудачу и без всякой надежды, но имевшая успех наивожделеннейший. Сей успех по истине превзошел все мое чаяние со ожиданием, и все вышеупомянутыя происшествия подтвердили истину той пословицы, что «когда Бог пристанет, так и пастыря приставит». Сие сбылось действительно тогда со мною, и я не мог довольно возблагодарить за то моего безконечного Создателя.

Сим окончу я мое теперешнее письмо, а в последующем начну рассказывать вам о том, как я начал жить офицером; а между тем остаюсь и пр.

РОГЕРВИК

Письмо 30-е

Любезный приятель!

Ну, теперь начну я вам описывать настоящую мою службу, ибо до сего времени была она еще ни то ни сё, и я жил при полку совершенным волонтером и не нес никакой должности; однако и тут не тотчас она началась, как я к полку приехал, но я все-таки имел несколько времени для отдохновения.

По возвращении моем в Рогервик к полку нашему, нашел я зятя моего от болезни своей почти исцелившегося. Он приездом и успехом езды моей чрезвычайно был обрадован, а не менее того оказывали радость и прочия господа офицеры, а особливо благоприятствующие мне и живущие в дружбе с моим зятем. Все поздравляли меня с моим благополучием, приходя нарочно за тем к моему зятю, что подало повод к многократным попойкам и угощениям, приличным сему случаю. Один только господин Колемин стыдился тогда смотреть на меня и все офицеры поднимали его почти въявь на смех.

Сам старичок наш, полковник, был весьма рад, что удалось мне получить желаемое. Он поздравлял меня от искренняго сердца, как я к нему явился, и желая и с своей стороны оказать мне какое-нибудь благодеяние и в уважение, что я определен был сверх комплекта и принужден был

жить без жалованья, не велел меня до времени посылать ни на караул, ни в команды, а дозволил жить по-прежнему с моим зятем, в чем никто не имел на меня претензии. Итак, хотя меня и причислили в первую на десять¹ роту, однако я не нес до самого окончания того лета никакой должности, но жил вместе с зятем моим в построенной им между тем для себя изрядной горенке, совершенным волонтером, не ходя никогда на караул, равно как и в бываемые строи и полковые ученья, но которые, впрочем, тогда почти все уже миновались, и я застал только один инспекторский смотр, бывший полку нашему.

Живучи в такой праздности, имел я довольно свободного времени ходить к прочим товарищам своим офицерам и сводить с ними теснейшую дружбу и знакомство. Все они меня, и как старые, так и молодые, отменно в короткое время полюбили, и всеми ими был я совершенно доволен. Сам майор наш, господин Колемин, старался оказывать мне всякую ласку и благоприятство, не то угрызаем будучи совестью и стараясь тем загладить прежний свой против меня проступок, не то видя, что я, не памятуя зла, оказывал к нему всегда достойное почтение. Самыя привезенныя мною книги помогли мне приобрести от некоторых охотников до чтения особое благоприятство. Они во все достальное лето принуждены были переходить из рук в руки, и все читавшие их не могли довольно их расхвалить и меня возблагодарить за то, что я привез к ним такое приятное упражнение.

Впрочем, не помню я ничего особенного, что б со мною в достальную часть сего лета случилось, кроме одного досадного случая с моим дядькою и лучшим слугою. Он раздосадовал меня так, что, наконец, я с ним побранился и принужден был поднять на него свои руки. Причиною и поводом к тому было следующее: уже за несколько времени приметил я, что сей мой прежний «гофмейстер» бывал уже слишком часто пьяным. Во время пребывания моего в Петербурге досаждал он мне в особенности сим проклятым своим пороком, но со всем тем не мог я понимать, откуда он брал деньги и на какие избытки пил. Когда же по приезде своем к полку продолжал он ремесло сие еще больше прежняго, то сие подало повод к тому, что я стал присматривать за ним прилежнее, и открыл за ним такое дело, какого я никогда от него не ожидал. Однажды встрянувшись его и

¹ Одиннадцатая.

пошедши сам его отыскивать, нашел я молодца в людской палатке спящего и мертво пьяна. Из досады и любопытства восхотелось мне тогда его обыскать и посмотреть, сколько было у него в карманах денег. Но в какое удивление пришел я, когда, обыскивая карманы, вместо денег нашел в них ключ, и ключ точно такой, какой имел я от своей шкатулки. Вздурился я тогда и закричал: «А-а! вот где деньги-то ажно берутся!» Я побежал тотчас к своей шкатулке и, примерив ключ, нашел, что он еще лучше моего одну отмыкает. Тогда нетрудно было мне заключить и удостовериться в том, что деньги на пропой тасканы были из моей шкатулки, и открытие таковой непростительной шалости было мне тем досаднее, чем меньше я того надеялся, ибо могу сказать, что я почитал его вернейшим у себя человеком, любил его более всех прочих и во всем ему верил. Но к чему не может человека довести проклятое пьянство! Со всем тем преступление сие казалось мне непростительным, а особливо в такое время, когда в деньгах самому мне была нужда, и взятая из дома казна начала гораздо уже истощаться.

Не могу довольно изобразить, в какое смятение привел я сего бездельника, когда, дав ему проспаться, показал ему найденный ключ, и спросил, что бы это значило и не знает ли он сей вещи? Нечего ему было тогда уже говорить и делать. Он не отважился запираяться, но, упав к ногам моим, признался во всей своей вине, сказывая, что ключ сей прибрал он в Петербурге и что не однажды уже посещал мою шкатулу. Итак, впервые и в последние побранились мы тогда с сим человеком, и я, наказав его по достоинству, предпринял не только быть впредь гораздо уже от него осторожнее, но поелику в исправлении его имел я весьма худую надежду, то положил при первом случае его от себя отдалить и сослать в деревню.

Препроводив достальную часть лета в сем лагере и по приближении осени получили мы повеление, чтоб полку нашему расположиться по винтер-квартирам. Оныя ассигнованы нам были в эстляндских деревнях, неподалеку от Рогервика, и как квартирам, каковы бы оне ни были, обыкновенно все бывают рады, то нимало немедля полк туда и выступил.

Обстоятельство сие подало повод к великой перемене и в моих обстоятельствах. До того времени жил я, как выше упомянуто, вместе с моим зятем, что было и можно, потому что он имел горницу в самом лагере; но тогда зятю моему надлежало ехать уже вместе с полковым штабом и стоять неподалеку от полковника, а роте нашей иттить совсем в иную сто-

рону и в таких местах расположиться по квартирам, которые отдалены были от штаба не менее 80 верст; то мне, как офицеру должностующему уже помышлять о действительной службе, неприлично уже было ехать и по-прежнему жить вместе с зятем, но я принужден был наконец с ним разстаться и отправиться с ротою жить самим собою. Перемена сия была мне хотя весьма чувствительна, но как переменить того было не можно, то принужден я был повиноваться времени и случаю и быть тем довольным.

Таким образом, распрощавшись, пошли мы по разным дорогам. Роты нашей командиром был тогда поручик князь Мышецкий, самый тот, о котором я упоминал уже прежде сего. Сей человек полюбил меня отменно пред прочими и для самага того и определил меня в его роту. Пришедши на квартиры, нашли мы их не в весьма хорошем состоянии. Самому ротному командиру отведен был самый бедный и пустой подмызок, а мне приходилось стоять не иначе как в рею чухонском. Сии реи составляют у тамошняго беднейшаго и гнуснейшаго в свете народа, вкупе и избы их и овины. Они и живут в них, и сушат свой хлеб и кормят свою скотину, а что того еще хуже, из тех же корыт, из которых сами едят свою пудру или месиво. К вящему безпокойству, нет в них ни единаго окошка, ни единаго стола и ни единой лавки, но дневной свет принужден проходить сквозь нерастворяющуюся, а задвигающуюся широкою, но низкую дверь, и освещать сию тюрьму, стоя во весь день настежь; самая печь сделана у них не по-людскому, но в одном против дверей угле в вырытой яме. Я ужаснулся, как увидел отведенную себе квартиру и не понимал, как мне в такой тюрьме и пропасти жить и препровождать целую зиму. Но по счастью, избавился я от сего безпокойства: князь, узнав сие, ни под каким видом не хотел допустить, чтоб я стоял в оной, но просил меня стать жить с ним вместе, на что я с великою радостью и согласился.

Таким образом, нажил я себе новаго компаньона или товарища, и мы расположились в квартире своей порядочно. Князь уступил мне маленькую каморку, где я имел свой стол и окошко, а сам определил для себя переднюю и большую горницу; третья ж и холодная коморочка составляла общую нашу кладовую, а чрез сени в другой половине были наши люди и ротная канцелярия.

Стояние наше в сем месте было хорошо и худо. В тепле и в свете недостатка мы не имели, напротив того, в потребной для нас провизии и в съестных припасах претерпевали иногда оскудение, ибо по бедности и

суровости тамошних крестьян не можно было ничего доставать купить у них ни за какие деньги, а от всех городов находились мы в далеком расстоянии.

Самое сие и побудило меня спешить отправлением человека в свою деревню для привоза ко мне денег и всякой съестной провизии или запаса, ибо прежний и бывший со мною уже весь изошел, и как сей случай был наиудобнейший для сжития с рук прежняго моего дядьки, то и отправил я его немедленно домой, снабдив письмами, содержащими в себе между прочим и судьбу сего человека; ибо как он за воровство свое казался мне недовольно еще наказанным, а пить никак не переставал, но и после того времени, несмотря на все заклинания, несколько раз бывал пьяным, то писал я к прикащику своему, чтоб его уже ко мне назад не посылать, а употребить во всю домашнюю работу наряду с прочими дворовыми людьми, а ко мне прислать уже другого человека. Сим образом принужден я был наказать сего изшалившегося человека; но, признаюсь, что при подписывании сего письма, смущала меня несколько совесть. Я вспомнил всю прежнюю его службу и обо мне в малолетстве попечение, и мне казалось что я наказываю его уже слишком строго. Но, по счастью, того и не совершилось, что я об нем писал и приказывал, ибо дядя мой, к которому я также о том писал, разсудил употребить сего человека на лучшее и полезнейшее для меня дело, нежели пахание земли и молотьбу хлеба. Он отправил его в Москву и велел по вотчинной коллегии хлопотать и справить за меня все мое недвижимое имение и деревни, что он, прожив там целое лето, и исправил и тем довольно заслужил вину свою. Но как бы то ни было, но бедняк сей, котораго судьба не допустила меня более с того времени видеть, не зная ничего, что об нем было писано, поехал домой с превеликою радостью и благодарил еще меня за увольнение от себя, ибо он надеялся, что жить будет дома в покое и освобожден будет от всякой работы.

Что касается до препровождения нашего времени, то было оно не гораздо весело. В таких пустых и скучных местах увеселение находить было трудно или совсем не можно; один только товарищ мой прогонял скуку мою своим веселым и шутивым нравом. Но наконец и к тому я привык, и шутки его сделались мне столько же нечувствительны, сколько прежде были для меня забавны и увеселительны. Я сделался в короткое время к ним совсем равнодушен. Сверх того, сотоварищ мой имел в некотором случае и характер особый и не самовыгодный. Он подвержен был не-

которым порокам, и наиглавнейший из них состоял в том, что любил он слишком водку. А как сего добра в Эстляндии много и везде купить достать можно, то и не переживалась она у него никогда и стояла обыкновенно в шкафе или в бутылке под кроватью его и под головами. Сперва, не зная сего за ним порока, удивился я, сидючи в своей коморке, и то и дело слыша «бур, бур, бур»; я не знал, что бы это значило, но наконец увидел, что он, лежучи на постели, то и дело посещал свою водку. Частое, хотя и не всегдашнее, повторение сей привычки делало его совсем развращенным, и он тогда более скучен, нежели весел был. Кроме сего подвержен он был чрезвычайной лени, которая простиралась даже до того, что иногда по целой неделе он не умывался и не чесал себе голову, а чтоб не одевшись и без самага исподняго платья целый день в одном тулупе проходить или большую часть онаго проваляться на постеле, это за ним очень часто вживалось. Со всем тем и на все сии пороки несмотря, был он самый честный, разумный, предобрый и в обхождении своем приятный, ласковый и любительный человек, а за то и любим он был генерально всем полком.

Таков-то был мой товарищ, с которым определено мне было жить целую зиму. Признаюсь, что сначала он мне скоро наскучил. Однако к чему не можно привыкнуть? Я привык и он сделался мне не только сносен, но как он мне ничего худого не делал, а напротив того, оказывал всякую ласку и благоприятство, то могу сказать, что я был еще им и его дружеством доволен и не имел причины на сообщество с ним жаловаться.

Вскоре после нашего приезда почли мы себе за долг побывать у нашего мызника или господина, кому принадлежала наша деревнишка, и стараться, буде можно, свести с ним знакомство, и чрез то получить случай к выезду и к лучшему препровождению времени. Но как мы нашли его знатным эстляндским дворянином, живущим в огромном каменном замке и надутым гордостью, то скоро лишились надежды, и побывав у него однажды, не имели охоты в другой раз к нему ехать. Итак, единый выезд наш был к господину Л***, нашему секунд-майору, самому тому, о котором упоминал я уже прежде сего, и который, по счастью, имел тогда квартиру свою верст за 15 от нас, так что нам к нему нередко ездить было можно. Но и того лишились мы спустя несколько времени, ибо он, к сожалению моему, переведен был из нашего полку в другой и от нас уехал. Кроме же его, по несчастию нашему, никому из офицеров близко нас стоять тогда не случилось.

Но как выезды и к самому сему майору не слишком были часты, то праздная офицерская жизнь в полках, а особливо в зимнее время, всего более мне наскучила. Я с самого ребячества, а особливо живучи в деревне, сделал привычку не сидеть никогда без дела, но во всякое время в чем-нибудь упражняться, а тут делать мне совсем было нечего и оттого чувствовал я более скуки. Наконец, для прогнания оной вздумал я учиться что-нибудь переводить, и для того выпросил у г. Л*** немецкий Гибнеров географический и газетный словарь, и стал переводить из него лучшенькия и любопытнейшия статьи. Сие упражнение помогло мне много прогонять мою скуку. Я собрал их целую книжку, и сия книжка была первым плодом трудов моих, но, к сожалению, пропала она у меня после с другими книгами.

Несколько недель спустя после нашего приезда принужден я был переходить тот порог, который переступают почти все молодые люди тогдашняго моего возраста, и нередко спотыкаясь погибают, а именно – слечь и вытерпеть жестокую горячку. Это было в первый раз на моей памяти, что я был болен, кроме обыкновенных во время младенчества болезней. Болезнь моя продлилась хотя недолго и не более двух недель, но доводила меня до крайности. Одним словом, все почти сумневались о моей жизни и не чаяли мне выздороветь. При сем-то случае узнал я доброе сердце моего товарища, который один был тогда и моим надзирателем и лекарем, ибо в штаб за лекарем посылать было не только что далеко, но за реками, тогда только замерзать начинающимся, было и не можно, а сверх и зятя моего при полку тогда не было: он отпросился на самое короткое время в свою деревню и был тогда дома; итак, все попечение обо мне имел тогда один мой товарищ. Он и подлинно ходил тогда за мною как за родным своим братом, не отлучался ни на минуту от меня и не оказывал никакой от того скуки и неудовольствия.

Самая водка его стояла во все сие время под кроватью с покоем и без всякаго к ней прикосновения. Единое только смешное обстоятельство было ему крайне досадно, а именно: во время болезни моей вспомнился мне как-то медовый квас, какой пивал я в рядах, в Петербурге, и как в горячке у больных бывают иногда странные прихоти, то захотелось и мне онаго. Но где было взять в чухнах меду? Товарищ мой с ног сбил солдат и лошадей, посылая всюду искать онаго, но нигде не находили и ни за какия деньги не можно было достать ни одного золотника онаго, толь велика

была пустота сих мест и мизерность тамошних жителей; в города же посылать было тогда за распутицею не можно, да и очень далеко. Товарищ мой в то время, когда я занемог, по случаю, что у нас весь на ту пору изошел чай, с величайшею нуждою достал и онаго несколько золотников, и за ним принужден он был посылать верст за 40 к приятелю нашему, господину *Головачеву*, и посланные чуть было не перетопли. Со всем тем не давал я ему ни на минуту покою: «давай мне меду», да и только всего! Долго он от меня кое-как отделялся, но наконец не знал уже, что делать. По счастью, скоро я потом стал выздоравливать и избавил его от своей доуки. Крепость натуры и молодость моя преодолели болезнь, или паче сказать, Богу не угодно было лишить меня жизни.

Кроме сей имел я еще другую и того страннейшую прихоть. Как мне уже немного полегчило, то приди ко мне превеликий аппетит к водке. Мне мечталось, что она имеет в себе неописанныя приятности, и напоминание, как офицеры в походе пивали ее из погребцов, побуждало меня желать и требовать сего напитка; однако князь меня уже в сем случае не послушался и наотрез отказал.

Не успел я от болезни своей освободиться, как получил радостное известие, что наконец сделалась в полку нашем вакансия и меня в комплект причислили. Мне сие тем было приятнее, что без жалованья жить мне уже и гораздо скучилось. Денежек не было у меня давно уже ни полушки и я в ожидании привоза из деревни пробавлялся уже кое-как, занимая и живу-чи почти совсем на коште моего товарища.

Сим окончу я сие письмо, и остаюсь и прочее.

В РОГЕРВИКЕ

Письмо 31-е

Любезный приятель!

Теперь начну я вам рассказывать действительную уже мою офицерскую службу, ибо не прошло после того времени, как причислили меня в комплект, одной недели, как полку нашему досталось иттить в Рогервик на караул, и я командирован был вместе с прочими офицерами и должен был служить первую службу. Таким образом, отправились мы стеречь и

караулить каторжных, и принуждены были там промучиться с целый почти месяц. По счастью, досталось мне при всем карауле править адъютантскую должность, которая была хотя и довольно трудна, однако выгоднее всех прочих. По крайней мере, не был я принужден водить каторжных всякий день на мулю и зябнуть там под дождем, снегом и ветром, ибо тогда осень была наиглубочайшая и время самое дурное, но жил все в тепле и в караульне на гауптвахте. К вящему удовольствию моему, случился тут командиром у меня быть другого полку капитан, человек весьма хороший, ласковый и дружелюбный. Мы тотчас с ним познакомились, и он меня полюбил чрезвычайно, и никак того допустить не хотел, чтоб мне готовили особое кушанье, но я неотменно должен был пить и есть с ним вместе и довольствоваться его коштом, что по тогдашнему моему оскудению в деньгах было мне и непротивно. Звали его Кирилою Алексеевичем Колюбакиным, и я ласки и дружбу его никогда не позабуду.

Два только обстоятельства мне досаждали и сначала меня весьма обеспокоивали. Первое было то, что я должен был в каждое утро и в каждый вечер ходить в острог и во всех казармах перекликать по списку всех каторжных поимянно. Сие составляло в самом деле комиссию весьма скучную и я долго не мог к сему привыкнуть, но наконец и сие мне сделалось сносно. Я затвердил их списки почти наизусть и любовался еще согласием их странных имен, оканчивающихся по большей части на «енко», как, например: Ванко, Терещенко, Осип Григоренко и так далее. Другое обстоятельство было то, что сии злодеи стравили было меня вшами. Не успело несколько дней пройти, как проявилось на мне такое множество вшей, что все платье мое наполнено было ими, так что они мне покоя уже не давали. «Господи помилуй! – говорю я. – Откуда такая пропасть взялась? Никогда со мною этакой беды не бывало?» Терплю я день, терплю другой, терплю и третий, но наконец не стало уже мочи более; количество вшей на мне не только не уменьшалось, но со всяким днем увеличивалось еще более. «Что за диковинка!» – говорю я и бранюсь на слугу своего, что не может он однажды хорошенько всех их выбрать и перебить. «Что, сударь! – отвечивал он мне. – Я и сам не надивлюсь вшам этим. Кажется, выберешь все платье чисто-начисто, а на завтра опять столько ж, и дьявол их знает, откуда они берутся». Сим образом не знали б мы долго, что с ними делать, если б не избавил нас от сего зла один тутошний житель, пришедший по случаю к нам в караульню. Он, увидев нас суетящихся о

сем деле и недоумевающих, захохотал и сказал мне: «Э, барин! Вы, конечно, еще не знаете, откуда эти вши берутся? Это, сударь, вам каторжные подрадели!» – «Как каторжные?» – спросил я, удивившись, сего человека. «Вы, конечно, – отвечивал он, – от них не остерегаетесь в то время, как вы их перекликаете и стоите под их койками?» – «Ну, что ж?! – спросил я, еще больше удивившись. – Я, конечно, стою под их койками, ибо весь потолок ими в казармах увешан». – «Ну, сударь! так оттуда-то они их на вас и спускают». – «Что ты говоришь? не правду ли?» «Конечно так, и это у них давнишнее обыкновение», – сказал он. – «Ах проклятые, – закричал я, – дам же им за это хорошую баню!» – «Нет, сударь, – отвечивал мне он, – а извольте ходить перекликать лучше в епанче и с шляпою с распущенными полями, а то все вы от них не избавитесь; в шляпе же и синей епанче скорей можно выбрать». Обрадовался я чрезвычайно, узнав сие бездельничество и поблагодарив сего человека за совет; в тот же день, употребив более осторожности, поймал одного бездельника, мечущаго на меня вши, и велел дать ему за то слишком более 100 ударов, ибо бить их состояло в моей власти. После ж того не только стал ходить в казармы их в епанче и шляпою с распущенными полями, но и становится для переключки их в такое место, где б надо мною не было висящих их постелей и коек, и чрез самое то от сего зла избавился.

Впрочем, как мы пробьли тут целый почти месяц, то имел я случай узнать Рогервик в подробности. Он составлял в мою бытность изрядное местечко, имеющее в себе несколько сот домов и одну церковь. По большей части жили в нем промышленники, ставящие каторжным потребные к содержанию их припасы. Звание свое получил он от острова *Рогера*, лежащаго на море против самаго сего места, а *Виком* называется тот уезд или берег, где оный был построен. Построению онаго и содержанию каторжных в сем месте было известное и великое намерение императора Петра Великаго, чтоб построить тут гавань, а со временем на острове Рогере – город. И подлинно, если б намерение сие могло б совершиться, то была бы тут гавань, не имеющая себе почти подобной. Но жаль, что непреоборимыя препятствия делали тому помешательство, и не подавали надежды, чтоб когда-нибудь могла она быть сделана. Работа каторжных состояла в ломании в тутошнем каменистом берегу камней, в ношении их на море и кидании в воду, дабы сделать от берега до острова каменную широкую плотину, которую они назвали «мулею». Но сего-то самаго сделать было и

не можно, ибо как скоро от берега поудалились, то пришла не только превеликая и более нежели на 30 сажен простирающаяся глубина, но и дно морское было так гладко и каменисто, что не можно было никак утвердить основания. Не успеет подняться большая буря, как в один час разрушит и снесет все то, что лет в пять накидано было. Уже были опускаемы тарасы и деланы разныя другия выдумки, но ничто не помогало, но все остановилось в одной поре. Со всем тем сделано было уже тогда сей «мули» более 200 сажен.

Каторжных водили на работу окруженных со всех сторон непрерывным рядом солдат с заряженными ружьями. А чтоб они во время работы не ушли, то из того же камня сделана при начале мули маленькая, по не отделанная еще крепостца, в которую впустив разстанавливаются кругом по валу очень часто часовые, а в нужных местах бекеты и команды. И сии-то бедные люди мучатся еще более, нежели каторжные. Те, по крайней мере, работая во время стужи, тем греются, а сии должны стоять на ветре, дожде, снеге и морозе без всякой защиты и одним своим плащом прикрыты быть, а сверх того, ежеминутно опасаться, чтоб не ушел кто из злодеев.

Собственное жилище их построено в самом местечке и состоит в превеликом и толстом остроге, посреди котораго построена превеликая и огромная связь, разделенная внутри на разныя казармы или светлицы. Сии набиты были полны сими злодеями, которых в мою бытность было около тысячи; некоторыя жили внизу на нарах нижних или верхних, но большая часть спала на привешенных к потолку койках. Честное или злодейское сие собрание состоит из людей всякаго рода, звания и чина. Были тут знатные, были дворяне, были купцы, мастеровые, духовные и всякаго рода подлость, почему нет такого художества и ремесла, котораго бы тут наилучших мастеров не было и которое бы не отправлялось. Большая часть из них рукоделиями своими питаются и наживают великия деньги, а не менее того наживались, богателись определенные к ним командиры. Впрочем, кроме русских были тут люди и других народов, были французы, немцы, татары, черемисы и тому подобные. Те, которыя имели более достатка, пользовались и тут некоторыми множайшими пред другими выгодами: они имели на нарах собственные свои отгородки и изрядныя коморочки, и по благосклонности командиров не хаживали никогда на работу. Видел я тут также и славнаго *Андреюшку*, который некогда под именем «Христа» играл в Москве странную ролю и вскружил у многих

господ совершенно их голову; мужичонка пакостной и ни к чему годный и ему вместе с апостолами его доставались всего чаще от солдат толчки и побои. Все без изъятия они закованы в кандалах, по примеру прочих, и многие имеют двойные и тройные железа, для безопасности, чтоб не могли уйтить с работы.

Смотрение и караул за ними бывает наистрожайший, но иначе с сими злодеями и обойтится не можно. Выдумки, хитрости и пронырства их так велики, что, на все строгости несмотря, находят они средства уходить как из острога, так и во время работы и чрез то приводить караульных в несчастье. Почему стояние тут на карауле соединено с чрезвычайною опасностью, и редкий месяц проходит без проказы. Однако мы свой месяц отстояли благополучно и ничего худого не воспоследовало.

Но я уже отяготил вас, любезный приятель, повествованием о сих злодеях, из которых каждый сослан сюда верно не за пустое, а за великия злодеяния, и теперь время уже рассказать вам что-нибудь повеселее и смешное.

Возвращаясь в свои квартиры, имел я себе попутчика и в дороге товарища, а именно самого того г. Колюбакина, с которым мы стояли вместе в карауле, ибо как ему в полк свой мимо самой почти нашей квартиры ехать надлежало, то согласились мы ехать вместе. Подъезжая к нашей квартире, вздумалось нам с ним порезвиться и с князем моим сыграть небольшую комедию. Князя моего он столько ж коротко знал, сколько и я, и почитал его себе хорошим приятелем. Долго мы думали, чем бы над ним подшутить, и наконец, решились написать фальшивый от полку в нашу роту приказ и оным нарядить его в команду, ведая, что сие наиболее его вздурут и тронет. Не успели мы вздумать, как тотчас сие и сделали. Мы остановились в последней кормче и сочинили сообща приказ, предписав князю наистрожайшим образом в оном, чтоб он по получении неотменно чрез час из квартиры выехал и явился б в штаб для отправления его в команду, о которой по прибытии объявится. Наступившая ночь поспешествовала нашему умыслу: мы послали к нему приказ сей с незнакомым ему солдатом, и настроив онаго, что ему делать и говорить, велели, подав, подтвердить приказание, сами ж следовали за ним и, пришедши пешком, стали смотреть все происхождение сквозь окошко. Князь лежал тогда, растянувшись на постеле, и находился в спокойнейшем состоянии, как вошел к нему солдат и приказ подал. Не успел он его прочесть, как началась наша комедия: ни

с другого слова, вскоча, матерном он и полковника и всю полковую канцелярию. – Это было первое явление. Потом подскочил он к солдату, взял его за шивороток и закричал: «Да не с ума ли они все там сошли? Давно ль я был в команде?» – «Я, сударь, не знаю, – отвечивал солдат, но мне что велено, то я и донес». – «Донес! – подхватил князь. – Так поди ж ты назад и скажи им всем, и полковнику-та и адъютанту: с ума-де вы спятили все! – вот-де что князь велел вам сказать. Не еду я – болен я! Вот какая беда! Поезжай им вправду через час, а куда – нелегкая знает!» – «Мне велено, ваше благородие, – сказал тогда солдат, – вам доложить, чтоб вы ни под каким видом не отговаривались». – «О такой сякой! – завопил тогда князь и, бросившись опять на солдата, затопал ногами. Еще и ты стал мне досаж-дать. Поди! Слышишь ли и скажи, что я тебе велел, и плюнь им в глаза». Сказав сие, вытолкал он его вон. Мы со смеху надседались, все сие видя и слыша, и насилу могли утерпеть, чтоб не захохотать во все горло. Князь, прогнав солдата, начал опять читать приказ и вновь бранить и проклинать и полковника, и канцелярию, и все команды в свете, потом стал он шагать взад и вперед по горнице и сам с собою говорить: «Ну что ты изволишь?! Как не поедешь? Как сделаешь послушание? И чем отговоришься? Но о! чтоб вам все черти на шею, проклятые! Изволь, поезжай у них ночью и ломай себе голову». Мы велели тогда опять войтить солдату и спросить, что ж приказать изволит. Не успел он войтить, как князь опять на него оборвался и, говоря ему: «Да поди ж ты, проклятый, от меня прочь», толкал опять его в двери, и потом кричал слуге и велел лошадей готовить. В самое сие время вошли мы как бы тогда только с дороги и будто не зная ничего, спрашивали, что он так сердит и что за бумагу в руках держит. «Да как, братцы, не сердиться, – отвечал он в превеличайшей будучи досаде, – в последней команде был я, а теперь, нелегкая их побери, опять посылают. Поеду! разругаю! разбраню и полковника и весь причет его». Тогда не могли мы более утерпеть, но захохотали во все горло и тем комедию сию кончили. Князь догадался, что это мы его обманули, и, обрадовавшись, начал сам хохотать вместе с нами, хваля и браня нас за нашу выдумку.

Несколько дней после того сделалась было у меня с князем другая шутка, которая на шутку худо походила, а именно: я чуть было наповал не застрелил моего товарища. Сие случилось следующим образом: однажды сказали мне, что на дворе сидит у нас великое множество ворон и галок. По молодости моей захотелось мне выстрелить по ним из ружья и застре-

лить нескольких, хотя не было мне в них ни малейшей нужды. Ружье у нас стояло всегда в горнице, в углу подле дверей, для подобных сему случаев. Итак, схватил я его и стал смотреть, заряжено ли оно или нет, а увидев, что было оно не заряжено, кричал, чтоб скорее сыскали порох и дробь, а сам между тем выбежал на двор, чтоб посмотреть на птиц и приметить, где они сидели. Князь мой лежал тогда, растянувшись на постели; но не успел я выттить, как, вскочив с оной и сыскав порох и дробь, зарядил того момента ружье превеликим зарядом и поставив по-прежнему в угол, лег опять на постелю. Я всего того, будучи на дворе, не знал и не видал, и потому, вошед в горницу и увидев ружье на прежнем месте, а и князя по-прежнему лежащего на кровати, нимало не сомневался, что оно еще не заряжено; а потому ни с другого слова схватил ружье, хотел посмотреть, есть ли в кремне огонь, и как я за минуту до того вскрывал только полку, да и в дуло ружья дул, то и не ума мне было раскрыть вторично полку, но я взведя-таки курок, для узнания, хорош ли в кремне огонь, спустил его благополучно. На ту беду не догадалось ружье и осекнуться, но выпалило изрядным образом, и, что всего хуже, в самого князя.

Какой ужас меня тогда поразил, того изобразить я не в состоянии; довольно я оцепенел и не вспомнил сам себя, а особливо увидя князя с превеликим воплем с кровати вскочившаго и не меньше моего испугавшагося. Дробь, отскочив от стены, прыгала тогда по полу и я не понимал, как все это сделалось, ибо знал, что ружье было не заряжено. Долго не могли мы промолвить ни единого слова, наконец князь мой захохотал во все горло и сказал: «Тьфу какой! Застрелил было меня чистехонько». Тогда опаматовался я и обрадовался несказанно, что вреда ему никакого не сделалось. Дроби некоторая часть в него хотя и попала, но, по счастью, не трафила ни одна дробишка в лицо и руки, а только в тулуп, и потому оный не прошибла; большая же часть пролетела на вершок выше его и попала в стену. Радуюсь неведомо как, что избавился от такого нечаянного несчастья и беды, не верил долго я его уверениям, что он не ранен, а наконец, благодарили мы оба Бога и дивились нечаянности сего случая. Он сказывал мне, что он ружье без меня зарядил, а я не понимал, как мог он так скоро успеть, ибо отсутствие мое и двух минут не продолжалось; одним словом, мы оба были виноваты. Я – тем, что не посмотрел на полку, он – тем, что мне не сказал; а с другой стороны, оба и правы: я – тем, что верно знал, что ружье не заряжено, и потому не имел причины ничего опасаться, а он тем,

что мне сказать не имел времени, ибо все сие окончилось меньше, нежели в одну минуту. К тому ж, хотя и видел он, что я ружье держу прямо на него дулом, и около замка шишляю, но ему думалось, что я оправляю кремень или полку; со всем тем беда была от меня очень недалече, и Сам Бог похотел меня от нея помиловать и избавить, ибо надобно знать, что расстояние между мною и князем было только чрез горницу и очень недалече. Итак, если б ружье было на палец ниже наклонено, то бы попало ему всем рядом прямо в лицо и совсем бы его изуродовало или бы еще до смерти убило, в которых случаях весьма изрядно б заплатил я ему за его обо мне во время болезни моей дружеское попечение. С того времени полно мне стрелять по воронам, я оставил сию охоту другим, и приключение сие не могло долго у меня из головы выгттить, хотя и кончилось единым смехом.

Вскоре после того отшутил и он мне сию шутку, но только не таким, а смешным образом, и напугал меня насмерть. Я уже выше упоминал, что он охотник был до излишней рюмки водки, однако сие с ним не всегда равно было, но пристрастие сие действовало иногда более, а иногда менее. Одним словом, он пивал более запоем, и когда случится сие, то уже несколько дней сряду бывал он мне худым и скучным компаньоном. Такое несчастье случилось со мною несколько дней после упомянутого происшествия. Принесло к нам несколько человек гостей из стоящих ближе прочих к нам знакомых офицеров, и как в полках за лучшее препровождение времени считается брать почаще и носить кругом рюмки, то были они князю моему добрые товарищи. Одним словом, в оба те дни, которья они у нас пробыли, не помнили они, дни ли были или ночи, и гуляли так хорошо, как лучше требовать не можно. Наконец, к великому удовольствию моему, уехали они, однако скука моя чрез то не окончилась. Князь был тем еще недоволен, но, получив повод продолжал и без них один потягивать, и сие продолжалось до того, покуда показались ему в глазах мальчики. Тогда поверил я тому, что человек действительно до сей крайности допиться может. Но сие удостоверение стоило мне дорого, потому что я насмерть перетрусился и перепугался. На третий или на четвертый день случилось мне войти в его горницу, где он один пьяный расхаживал. Но каково было мое удивление, как он вдруг тогда закричал: «Вон они! вон они!» и того момента, вскоча со стула, на который было присел, бросился в угол к печи. Остановил я его и с удивлением спрашивал, что это такое и кого он видит? Но он, не ответствуя мне, рвался только у меня из рук и, указывая

рукою за печь, кричал безпрестанно: «Вон они!.. Эж их сколько!.. Вот ужо я вас!.. Чего вам хочется!..» Тогда оцепенел я сие услышав и, будучи с ним один, не знал, что начать и делать. Мужичина был он хотя тонкий, но превеликий и сильный, и будучи притом несколько кос, имел и в добрую пору лицо не весьма приятное, а тогда, сделавшись от пьянства совсем развращенным, казался еще гораздо страшнейшим. Нетрудно мне было заключить, что он выпился с ума и что ему кажутся в глазах мальчишки и черти, о коих я слышал прежде, да и от самого его, что сие с ним уже не впервые, а случалось и прежде. Но как бы то ни было, но на меня напал тогда страх и чрезвычайная робость: я боялся и от него иттить и при нем остаться. Я силился его держать, сколько мне можно было, но как, наконец, силы мои ослабели, и я не мог уже никак с ним сладить, он же безпрестанно рвался, кричал, говорил нелепую, указывал, грозил, скрежетал зубами, а притом глаза и весь взор его сделался дик и страшен, то начал я кричать и звать людей на вспоможение. Но сих, к несчастию, не случись тогда ни одного во всем доме нашем – все они ушли убирать и поить лошадей, ибо сие было почти уже в сумерки. Но наконец прибежали они, и тогда, оставив я все церемонии, велел его силою положить на постель и лежать принудить. Он сопротивлялся было несколько и начал барахтаться; однако, как силы его были в изнеможении, то нетрудно было нам с ним сладить. Однако всю почти ночь принуждены мы были его караулить, и я всю ее не мог заснуть крепко ни на минуту, ибо мне то и казалось, что он опять вскочит и либо над собою, либо над нами что-нибудь худое сделает.

Но, по счастью, не было от него никакого более беспорядка. Сон овладел вскоре после того всеми его чувствами, и он, заснув, проспал целыя почти сутки, как убитый.

Между тем постарался я прибрать у него остальные все напитки и замкнул их на свой ключ. Князь, проспавшись, был в наижалостнейшем состоянии. Не евши и не спавши целые трои сутки, сделался он таким развращенным и столь ослабевшим, что я сам над ним сжалился и дал ему несколько вина, чтоб опохмелиться. Он признавался в своем беспорядке, досадовал сам на себя и на негодную свою привычку и, будучи притом добросовестнейший человек, приносил мне тысячу извинений и просил, чтоб я впредь до такой крайности его не допускал, но отнимал бы и уносил от него все напитки, а буде бы стал он слишком барабошить, то без дальних околичностей велел бы его связать и положить насильно спать, уве-

ря, что он за то не только не будет сердиться, но станет благодарить сам. Однако я могу сказать, что нам не доходила до того никогда надобность. Он сам был с того времени гораздо воздержнее и осторожнее, и я в таком состоянии никогда уже более его не видал.

Сим кончу я сие письмо, сказав, что я, напоминая сие, благодарю и поныне небеса, что они в жизнь мою сохранили меня от сего порока, Между тем уверив вас в моей дружбе, остаюсь и проч.

ЭКЗЕРЦИРОВАНИЕ

Письмо 32-е

Любезный приятель!

Несколько дней спустя после упомянутого в последнем письме странного происшествия с князем, моим товарищем, получил я от полка повеление, чтоб я, приняв команду, следовал в Ревель для принятия на полк провианта. Сия была моя вторая служба, и как дело сие было немудреное, то исправил я сию комиссию как должно и езда взад и вперед в Ревель сопряжена была тем с меньшею скукою, что мне самому в Ревеле побывать была собственная нужда; ибо, кроме прочих покупок, надлежало мне и порядочно еще обмундироваться, а деньги тогда у меня уже были, ибо я взял вперед за целую треть первого государева жалованья.

В бытность мою в Ревеле не случилось со мною ничего особливаго. Покуда команда моя принимала провиант, упражнялся я в закупании для себя разных вещей, заказал себе шить новый мундир и исправлял прочее, что было надобно. В сие время, между прочим, не позабыл я и о удовольствовании своего пристрастия или, паче сказать, охоты и склонности к книгам, которая час от часу увеличивалась во мне более. Еще с самага приезда моего в сей город не упустил я тотчас спросить, нет ли в нем книжной лавки, и как мне сказали, что есть, то при первом случае полетел я как на крылах искать оной. И в какой радости был я, увидев превеликую лавку, наполненную всю переплетенными книгами, но, к сожалению моему, не русскими, а все иностранными. Со всем тем жадность моя к книгам была так велика, что я готов бы был все их закупить, если б то было возможно. Но как казна моя была умеренна, то удовольствовался

я употребив на покупку книг не более трех или четырех рублей. Книги, купленные мною при сем случае, были немецкия и состояли в нескольких романах, кроме одной, в которой вмещались хиромантическая и другия подобныя тому любопытныя науки. Сию увидев, не хотел я ни под каким видом с нею разстаться и готов бы дать за нее, чего бы лавочник с меня ни потребовал, столь много и высоко почитал я тогда сию науку и, купив ее, мнил, что я приобрел себе великое сокровище.

По возвращении на квартиру, первое мое дело было читать сию книгу и учиться по ней хиромантии. Я так ее полюбил, что положил неотменно перевести ее на русский язык, что тогда же почти и начал. Я трудился в том почти всю достальную часть зимы, и мне было не скучно, потому что имел новое и приятное препровождение времени. Каков был сей мой перевод, того подлинно не могу теперь сказать, для того что несколько лет спустя после того, узнав пустоту и неосновательность сей науки, рад я был, что один приятель почти неволею у меня его отнял, а помню только то, что книжка сия была изрядная, наполненная множеством рук и других рисунков.

Между тем как все сие происходило, окончился 1755 год, в начале же последующаго обрадован я был уведомлением о приезде в полк моего зятя. Он привез вместе с собою и сестру мою, что наиболее и было причиною моей радости. Я поехал тотчас к ним, и свидание с сестрою не прошло у нас без слез. Она поздравляла меня офицером и радовалась моему благополучию. С того времени ездая к ним нередко и жила у них иногда по неделе и больше. Они стояли также на небольшом подмызке, лежащем неподалеку от большой мызы Ало, в которой стоял тогда наш штаб и полковник, и хотя место сие от квартиры моей было неблизко и мне всякий раз верст более 80 переезжать надлежало, но как сестра меня любила чрезвычайно и я был у нея всегда наиприятнейшим гостем, то путешествия сии не были мне никогда скучны, и я ездая в сей путь всегда с удовольствием. Сверх того, имел я в дороге и особливое упражнение, которое сокращало мне путь и вкупе меня много увеселяло, как упомяну я о том вскоре.

Некогда в бытность мою сим образом у зятя, имел я особливое и чрезвычайное удовольствие видеть гокус-покусное, или фиглярное, искусство. Не видав никогда до сего времени сего мастерства, не мог я оному довольно насмотреться; оно показалось мне очень чудно и непонятно, а

любопытство мое узнать, как сие делается, было так велико, что не давало мне покоя до тех пор, покуда я не нашел средства не только узнать, но и сам оному выучиться. Один унтер-офицер полка нашего, бывший тогда в команде у моего зятя, веселил нас показыванием сих хитростей. Он научился тому, не знаю по какому-то случаю, у одного жида и весьма долго не соглашался никак открыть мне все свои тайности, сколько я ни убеждал его о том моими просьбами. Однако, наконец, как обещал я ему постараться доставить ему сержантский чин, то удовольствовал он мое желание. Не могу изобразить, какое удовольствие имел я тогда, как увидел и узнал, что все мнимые мною непостижимости составляли сущия безделицы и зависели единственно от некотораго проворства рук и от фальшивых инструментов, так всему тому и научиться не великаго труда стоило. Я и в самом деле в самое короткое время все перенял и был тем так доволен, что о исполнении обещания своего всячески начал стараться и, при вспоможении зятя моего, действительно упросил полковника, чтоб бедняка сего пожаловать в сержанты, котораго чина он поведением и исправностью своей был и достоин. Таким образом, от самой безделицы сделался он счастлив.

В благодарность за сие, сделал он мне еще одну и, по тогдашнему времени, весьма приятную для меня услугу. Имел он у себя список с трагедии «Хорева». Сию трагедию знал он всю наизусть, и не знаю по какому случаю, умел так хорошо ее декламировать, как лучший актер. Таковыми декламированиями некоторых мест из оной увеселял он нередко и зятя, и сестру мою, и меня. Мне все сие было в диковину, и как я никогда еще театральных представлений не видывал, то мне сие полюбилось так, что захотелось самому выучиться прокрикивать стихи и таким же образом с жестами делать декламации. Я стал просить у него трагедию сию списать, но он так был учтив, что оную мне подарил, а, сверх того, узнав, для чего она мне была надобна, поучил несколько и декламированию, и всем тем удовольствовал меня чрезвычайно. Трагедия сия навела на меня множество хлопот, ибо как мне она полюбилась до бесконечности, то захотелось мне ее таким же образом выучить наизусть для декламирования, и в семто твержении оной упражнялся я обыкновенно дорогою в переездах моих из квартиры до сестры моей и оттуда обратно.

Кроме сих обоих происшествий, памятно мне еще третье, и довольно смешное, случившееся с зятем моим во время такового же пребывания

моего однажды у него. Были мы с ним в один день ввечеру одни дома, ибо сестра моя ездила с другою офицерскою женою куда-то в гости и еще не бывала обратно. Я ушел от зятя в другую половину его хоромец, которая была чрез сени, и по обыкновению своему занимался с вышеупомянутым сержантом, учась у него декламировать и прочему, а зять мой сидел один в большой своей комнате, в тулупе и колпаке, за столом и, наклонившись, нечто мастерил и делал, ибо и он любил также всегда в чем-нибудь упражняться. Две свечи стояли пред ним, и тогда вдруг видит он нечто странное и необыкновенное. В комнате у него начало мало-помалу светлее становиться. Сперва было ему сие не гораздо чувствительно, но как чрез минуту свет сей увеличился даже до того, что в горнице его так светло сделалось, как бы от пяти или от шести свеч, то удивился он сей чрезвычайности и не знал, что бы это значило. Он глядит в ту, глядит в другую, глядит в третью сторону, глядит вперед и назад и вокруг себя, но ничего не видит. «Господи помилуй! – говорит он сам себе и крестится. – Что это за диковинка!» Робость и некоторый род ужаса нападает на него. Он вскакивает с своего места, осматривается вокруг, еще раз глядит по всем углам и на потолок горницы, не горит ли где чего, но ничего не видит, а свет увеличивается еще больше, и что того удивительнее – разливается власно как от него самого. Чудится он сему и не постигает. Второпях бежит к дверям своей спальни, которая была в комнатке, смотреть, нет ли там чего, но видит, что там и свечи нет и как ночь темно. Но какой ужас и удивление поражает его, когда, переступив в оную чрез порог, видит вдруг и всю ее освещенную и освещенную от себя. – «Христос с нами! – крестясь обеими руками говорит он: что это такое, уж не чудо ли со мною какое делается? Уж не явление ли какое? Куда ни пойду, от меня сияет и светит?» Не понимает он сего и чудится, и робеет. Наконец, бежит к санным дверям, растворяет оныя, кличет меня по имени, кричит людей, зовет скорей к себе и повторяет крик столь уразисто, что мы, бросив все, бежим к нему в горницу. Но какое удивление меня поразило, как я взглянул на него! «Батюшка ты мой! – завопил я. – Что это такое с тобою?» – «Чего, братец, и сам я уже не знаю!» – отвечает он. – «Да чего не знать! – кричу я, – у вас голова горит», и бегу к нему сдергивать с него колпак его, горящий светлейшим пламенем. В самый тот момент затрещали у него на голове волосы, ибо дошло уже и до оных; он хватает себя за голову, обжигает руки, срывает колпак, бросает на пол и, крестясь, говорит: «Фу! какая пропасть! Как это

он, проклятый, меня перестрашал и как это не приди мне в голову, что он горит!» – «Да как, разве вы это не знали?» – спросил я с удивлением и за-тапывая колпак ногами. – «Чего, братец! Мне и в мысль сего не пришло, а вижу только свет от себя и удивляюсь: поверишь ли, братец, вообразись мне, уже не чудо ли и не явление ли какое со мною делается. То-то я вас и кликал!» Услышав сие, покатился я со смеху. Он сам последовал мне в том же, и мы посмеялись и прохохотали тому весь вечер. Проклятая кисточка на колпаке, загоревшаяся от свечи в то время, как он сидел, нагнувшись, произвела весь сей пожар и наделала нам неведомо сколько смеха. Сестра надрывалась от смеха и хохотала, как, приехав, услышала о сей проказе, и не могла надивиться, как не мог он догадаться по дыму и запаху, но случившийся на ту пору у зятя престокий насморк, для которого он в гости не поехал, был тому причиною,

Но я, рассказывая вам сии мелочи, удалился уже от нити моего повествования. Теперь, возвращаясь к оному, скажу, что в начале сего года имел я и другое удовольствие. Люди приехали ко мне из деревни и привезли ко мне и запаса и денег довольно количество, которым последним наиболее я был рад, потому что претерпевал в них давно уже опять недостаток. Вместо дядьки моего оставил я у себя тогда другого человека, по имени Ермака, отца нынешняго моего садовника *Бабая*, но который не многим чем лучше был прежняго, ибо, по несчастию, был такой же пьяница, как тот, а только рукоеслом сапожник.

С приближением весны и наступлением Великаго поста, получили мы себе новое упражнение. Загорающаяся уже около сего времени в Европе славная Семилетняя война побудила и наш двор для всякого непредвидимого случая, велеть укомплектовать всю армию и все полки рекрутами. Набор оных происходил с великим поспешением внутри государства, и около сего времени пригнаты они были к нам. Мы получили в роту свою сих новых и стриженных солдат более сорока человек, и их надлежало нам к весне выучить всей военной экзерциции. Князь поручил сию комиссию мне, которую я охотно на себя и принял, ибо могу сказать, что до всякого рода военной экзерциции был я чрезвычайный охотник; к тому же был тогда и наивожделеннейший случай показать мне в том свою способность. Во всей армии переменена была тогда вдруг вся экзерциция. Граф *Чернышов*, бывший тогда полковником в Санкт-петербургском полку, выдумал сию новую и прославил тем свой полк во всей России. Поелику экзерци-

ция сия была апробована императрицею, то к нам во все полки присланы были превеликия печатныя диспозиции или описания как экзерциции, так и всем прочим маневрам, и братья были со всех рот в штаб нарочные для обучения флигельманы.

Таковая новость была мне чрезвычайно приятна. Я, прочитав сию диспозицию несколько раз, понял ее совершенно; но досадно мне было то, что не присланы были еще к нам планы маневрам. Но как мне чертить и рисовать не учиться было стать, то старался я уже сам оныя по единому описанию сделать, и, начертив довольно изрядныя, украсил я их разноцветными картушами. Сим прославился я несколько в полку своем: всяк хотел их видеть и знать, как маневры должны производимы быть в действо, ибо многие из одного описания без планов разобрать и понять, никак были не в состоянии.

Что касается до обучения солдат, то не одних рекрутов, но и всех старых солдат должно было совсем вновь переучивать, ибо вся экзерциция была от прежней отменная. Я прилагал о том неусыпное старание. Рота наша должна была еженедельно к квартире нашей собираться, и тут учил я ее почти денно и ночью. По счастью, удалось мне найти средство обучать их без употребления строгости и всяких побой. Я вперил в каждого солдата охоту и желание скорее выучиться и искусством своим превзойти своих товарищей. Одним словом, они учились играючи, и я, обходясь с ними ласково и дружелюбно, разделяя сам с ними труды и уговариваниями своими довел их до того, что они учились без роптания, но охотно и сами старались о том, чтоб скорее выучиться. Для скорейшаго достижения до того, установили они сами между собою, не давать тому прежде обедать, кто не промечет без ошибки артикула. И для меня было весело смотреть, когда они, сварив себе каши и поставив котел, не прежде за оный садились, как став наперед кругом онаго и не прометав ружьем самопроизвольно всего артикула. Сим средством обучил я всю свою роту в самое короткое время и довольно совершенно. Солдаты были мною чрезвычайно довольны, ни один из них не мог жаловаться, чтоб он слишком убит, или изувечен был, ни один из них у меня не ушел и не отправлен был в лазарет, или прямо на тот свет; напротив того, имел я то удовольствие и награду за труды мои, что при выступлении в лагерь получил от полковника публичную похвалу, ибо как он стал все роты пересматривать и нашел, что наша рота была обучена всех прочих лучше, то был так тем доволен, что рас-

хвалил нас с князем, отдал во весь полк о том приказ и велел всем прочим ротам брать нашу себе в образец и столь же хорошо обучиться прилагать старание. Сие было хотя прочим ротным командирам не весьма приятно, но они причиною тому были сами; некоторые из них, хотя не меньше нашего об обучении своих рот старались, но будучи уже слишком строги, только что дрались, но тем не только что солдат с пути сбивали, но многих принудили бежать или иттить за увечьем в лазарет. Другие не разумели сами хорошенько сей новой экзерциции, а потому не могли и об обучении солдат с успехом стараться.

Но я возвращусь несколько назад. Таким образом в сих упражнениях препроводили мы достальную часть зимы и начало весны и имели довольно дела. Князь по возможности своей помогал мне в моих стараниях, и я командиром сим был крайне доволен. Он обходился со мною не так, как с подчиненным, но как с равным себе товарищем или, лучше сказать, другом, и ничего без моего совета почти не делал. Я сам его любил и почитал, и старался во всем соответствовать его ко мне дружбе и ласкам; словом, мы жили довольно спокойно и весело. Одна только Святая неделя была обоим нам скучна, ибо как случилась она в самый разрыв воды, то за половодью и за реками не можно было не только в штаб, но и никуда ехать, и мы принуждены были сидеть дома и в день Пасхи сами отправлять заутреню и часы. Князь был у меня вместо попа, а мы с ротным писарем отправляли дьячковскую должность, и по своему уменью распевали себе как надобно. По счастью, имели мы у себя канон Пасхи, и это был один только раз в моей жизни, что я в сей великий и радостный праздник не был ни у заутрени, ни у обедни.

Вскоре после того, как реки несколько послили, писал ко мне зять мой, что сестра моя отправляется в деревню, и чтоб я приехал с нею проститься.

Желание видеть в последний раз сестру мою принудило меня, несмотря на всю распутицу, ехать в штаб. Но как тогда ни на санях, ни на телеге ехать было не можно, то поехал я верхом, взяв слугу с собою. О езде сей я для того упоминаю, что она едва было не сделалась мне пагубна, и я во время оной находился в смертельной опасности и чуть было; не лишился жизни. Сие случилось следующим нечаянным образом.

Едучи туда, принужден я был переезжать более шести рек, из которых инья были довольно велики и быстры. Некоторые переправлялся я

на плотях, а чрез иныя не инако, как в брод переезжать принуждено мне было. Между сими находилась одна, которая была довольной и сажен до 20 простирающейся ширины. Однако нас уверили, что она не глубока и что нам вброд переехать ее можно было. Со всем тем послал я наперед слугу своего проведать; но как она в самом деле нашлась неглубока и воды в ней только по брюхо лошади было, то переехал я ее благополучно и доехал до сестры своей без всякаго препятствия. Препроводив у нея несколько дней, распрощался я с нею и поехал обратно на квартиру; и как дорога и реки были мне уже знакомы, то и ехал я себе спокойно и без всякой опасности. Наконец, приехал я к вышеупомянутой реке и, нимало не осмотрясь, пустился на лошади чрез оную. Но в какой ужас я пришел, как, отъехав несколько сажен, увидел, что вода была гораздо быстрее против прежняго, да и весьма была глубже. Как в первый раз мы переезжали, то была она и в самом глубоком месте только лошади по брюхо, а в сей раз мы еще и до половины с мелкой стороны не доехали, как стала она уже гораздо выше брюха, и мои ноги уже все в воде были, а лошадь едва могла иттить и противиться быстрому стремительству воды. Обмер я тогда, испужался, и тогда только, а не прежде, вздумали мы с слугою своим догадаться, что вода в реке в сии дни весьма много прибыла, чего мы, въезжая в нее, нимало и не приметили. Но что было тогда уже делать? Назад возвращаться было уже некогда. Мы переехали уже более половины, и оставалось нам сажен 8 только ехать. Стоять и размышлять за ужасною быстриною было также некогда. Итак, думая, что по крайней мере глубже уже не будет, как мы тогда были, положили ехать далее. Однако мы с слугою своим очень изрядно обманулись. Вода прибыла без нас более полутора аршина, и потому не успели мы еще с сажень отъехать, как лошадь моя вдруг оплыла, и я окунулся почти весь в воду. Тогда не вспомнил я сам себя и, призывая всех святых на помощь, понуждал только лошадь скорее плыть; но течение и быстрина к сему берегу, где реки самое стремя находилось, было так велико, что моя лошадь не в состоянии была оной противиться, и ее понесло тотчас книзу. Легко можно вообразить, в каком смертельном страхе я тогда находился. Я видел всю опасность тогдашняго случая и, отчаявшись жизни, поднял великий вопль. Но что мог оный мне помочь? Место сие было самое пустое, и жилья близко никакого не было, следовательно, и помочь некому. Я просил только помощи от слуги и без памяти кричал: «Ах, Яков! ах Яковушка, голубчик! Ахти! что делать? Ах,

смерть наша!», но моего Якова самого несло таким же образом за мною, и он сам находился не в меньшей опасности, и только мне твердил, чтоб я держался за холку и за гриву лошади крепче. К вящему несчастью, видели мы, что и берега были в том месте, куда нас несло, столь круты, что хотя бы приплыли мы и к берегу, так взъехать и пристать было бы не можно.

Долго мы сим образом, отчаявшись в жизни своей, плыли, и нас снесло вниз более 100 сажен. Лошадь моя несколько раз принуждена была окунаться, и я с нею; но, по счастью, она была сильна и, противясь сколько можно стремлению воды, старалась приплывать к берегу. Два раза приближались мы к оному, но ни однажды не могла она за глубиною и крутизною берега выдраться, но принуждена была пускаться опять плыть вниз по воде. Сие пуще еще приводило нас в ужас, и я не знаю, что бы с нами впоследствии, если б Сам Бог не восхотел избавить нас от смерти и потопления, ибо, наконец, усмотрели мы небольшой кустарник на берегу и держались сколько можно, чтоб нам его не проплыть. По счастью, успел я за него ухватиться, и чрез самое то помог лошади утвердиться на ногах в том месте, где, по счастью, берег был положе других мест, да и глубина не столь велика. Таким образом выдралась она кое-как на берег и вывезла меня с собою, а за мною выехал наконец и слуга мой.

Сим образом освободившись от смертельной опасности, имели мы причину тогда радоваться и приносить Богу тысячу усерднейших благодарений. Могу сказать, что радость при таких случаях бывает столь велика, что ее изобразить не можно, и о величине оной может только тот прямо судить, кто сам бывал в подобных сему опасных обстоятельствах.

Не успели мы собраться с духом, как началось у нас тужение о том, что мы все обмокли и не осталось на нас ни одной почти сухой нитки. Вода с обоих нас текла тогда ручьями; но, по счастью, была тогда погода теплая и день красный. Итак, надеялись мы, что не озябнем до приезда до ближней корчмы, и стали поспешать к оной. Но не все наше горе еще миновалось. Не успели мы несколько отъехать, как слуга мой вспомнил, что у нас в тороках был сахар. Сестра, отпуская меня, надавала мне множество всяких вещей, и между прочим, отпустила со мною целую голову сахару. «И, барин! – закричал тогда слуга мой. – Ведь сахар-то у нас небось весь подмок». – «Небось что подмок, – отвечал я, – посмотрим-ка!» Как мы думали, так и сделалось. На сахаре нашем бумага уже скорчилась, и он, будучи долгое время в воде, имел время намокнуть изрядным об-

разом. Одним словом, из него текло изрядным ручейком. Что нам тогда было с ним делать? мы развернули его из бумаги, но голова и коническаго своего вида уже не имела, но на половину уж растаяла. «Бедненькая! – говорил я тогда смеючись и с горя. – Что нам с тобою начать и что делать? Ешь, Яков, сколько можешь, – говорил я слуге, – и подай мне несколько».

Но я не мог его много съесть. Яков мой также поел, поел, но скоро сказал, что более не хочет и что ему уже тошниться начинает. Со всем тем мокраго сахара еще много было. Но что нам с ним было делать? спрятать его было не можно, положить не во что. Наконец, снял я с слуги шляпу и положил в нее, чтоб по крайней мере довести нам ее до корчмы, где мы ее корчмарю отдать хотели, но не успели мы отъехать и несколько сажен, как навстречу нам один чухна. Рады мы неведомо как были его увидев, думая отдать сахар наш ему и тем освободиться от бремя, которое нам обращалось уже в тягость, но которое, однако, бросить нам жалко было. Но тут началась истинная комедия и заставила нас хохотать и смеяться. Мы – отдавать чухне сахар, но чухна от нас пятится и не берет. – Мы ему толковать, что это сахар, сахар, что это хорошо, чтоб он отнес своим детям, но чухна слов наших не понимает, а сахара отроду не видывал и не знает. Горе нас и смех тогда пронимал. Я говорю чухне по-немецки и твержу: «Цукер, цукер», но он и того не понимает, но смотрит на нас только изподлобья и от нас пятится. Досадно мне наконец стало, я начал его принуждать силою и ему грозить, ежели он не возьмет, но чухна от нас бежать. Что нам было тогда с таким глупцом делать? Насилу-насилу уговорили мы его, чтоб он остановился. Тогда показывали мы ему своим примером, что это есть можно и что хорошо и сладко, и кое-как уговорили, чтоб он отведал и немного съел. Тогда, разчухав, узнал он, что мы его не обманываем, и взял сахар не только от нас безпрекословно, но по чухонскому манеру благодарил нас еще, говоря: «Атью мала сакса», и я надеюсь, что детям своим принес он домой великую радость. Что касается до нас, то мы, разставшись с ним, продолжали путь и, доехав до корчмы, принуждены были тут ночевать, чтоб пересушить все свое платье, наутрие ж возвратились мы в квартиру свою благополучно.

Сие было последнее приключение во время стояния нашего на сих квартирах, ибо вскоре после того выступили мы в поход, как о том в последующем письме будет упомянуто, а между тем остаюсь и прочая.

ЛАГЕРЬ ПРИ РИГЕ

Письмо 33-е

Любезный приятель!

В теперешнем письме опишу я вам таким же образом наше летнее или лагерное житье, как в предследующем письме описал вам наше зимнее стояние на квартирах. Не успела весна вскрыться, как прислано было в полк наш повеление, чтоб ему иттить в Лифляндию и стоять сие лето лагерем поблизости главного лифляндскаго города Риги. По причине приближающейся, и в Европе уже начавшейся войны велено было к сему пограничному городу нашему собраться не одному, а многим полкам; и почти всей армии, и слухи уже носились тогда, что нам иттить на помощь к цесареве и воевать против короля прусскаго, но достоверно того мы еще не знали. Итак, хотя расстояние от Ревеля до Риги было и немалое и путь нам предлежал неблизкий, но мы радовались по крайней мере тому, что нам не стоять при Рогервике и не иметь опять дела с каторжными.

С квартир своих выступили мы, по обыкновению, в половине мая месяца и все роты собрались и соединились уже на пути вместе, и тут тотчас учинен был всем им тот смотр, о котором упоминал я в предследующем письме и который мне толико был лестен. Поелику для сего смотра и свидетельствования всех рот стояли мы тут дня три, то имел я в сие время случай еще спознакомиться со многими новыми офицерами, прибывшими к полку в минувшую зиму, в особливости же свел я отменную дружбу с одним поручиком, по имени Михайлом Емельяновичем господином *Непейцыным*. Сей человек получил ко мне с первого свидания отменную склонность, и как он был весьма хороших свойств, то полюбил и я его, и могу сказать, что мы во все продолжение службы нашей были между собою друзьями.

Поход наш простирался чрез город Пернов, который мне давно хотелось видеть, однако я не нашел в нем ничего в особливости примечания достойнаго. Городок он небольшой немецкий, лежащий на берегу Балтийскаго моря, и довольно изрядный, но несравненно меньше и хуже Ревеля. Впрочем, во время продолжения сего похода не было с нами ничего особливаго. Мы шли без дальняго поспешения и как тогда было наиприятнейшее вешнее время, то иттить нам было довольно весело. Таковыя пере-

ходы из одного места в другое в мирное время в самом деле не только не трудны, но и увеселительны, а особливо для офицеров. Переходы делаются всякий день небольшие, два дни идут, а третий берется на отдохновение; места под лагери занимаются хорошия и обыкновенно на лугах, снабженные всеми выгодами; полк ведут одни только дежурные и немногия офицеры, прочия же все совершенно свободны и могут ехать, где хотят и на чем кому угодно, то есть верхом ли или в своих колясках и кибитках. Но в сих последних езжали мы только по ночам, да и то ленясь вставать рано и в то время, когда отправляются обозы, но досыпая в оных до света. Впрочем же, у всякаго офицера была верховая лошадь, и на них ехали мы по произволению, где хотели, и обыкновенно компаниями по несколько человек вместе. Тут разговоры, смехи, шутки и издевки составляли наше дорожное упражнение и сокращали нам короткия наши путешествия. Как скоро попадется нам какая корчма на дороге, которыми, как известно, во всей Эстляндии и Финляндии все дороги, так сказать, унизаны, то заезжаем для отдохновения в оную, находим тут другую компанию офицеров, пьющих либо чай, либо завтракающих, либо играющих в карты и курящих табак. Мы сообщаемся с оными и либо также предпринимаем что-нибудь делать, либо посмеявшись и побыв с ними вместе, продолжаем далее свое путешествие, ищем в корчмах иной компании, приобщаемся к оной и, согласясь, едем вместе и забавляемся совокупно. Между тем повозки наши продолжают путь с обозами и, приехав гораздо прежде нас, разбивают нам палатки, варят есть, и мы, приехав, находим уже обеды готовые, едим и после обеда отдыхаем, а там посещаем друг друга в палатках и занимаемся разными упражнениями, покуда, наконец, ночь не развеет нас опять по нашим повозкам и палаткам. В самое и такое время, когда случалось быть дежурным и вести полк, ехать при оном было не скучно, солдаты обыкновенно идут почти играючи, и воздух гремит от распеваемых ими в разных местах громких песен. Словом, в походе таком не можно никогда почти ощущать скуки, а таким точно образом шли и мы тогда, и весь сей поход окончили и препроводили с удовольствием. Одно только обстоятельство причинило нам некоторую досаду, и было то во время отдохновения нашего при Пернове. Обе наши гренадерския роты были как-то неукмплектованы рекрутами, и надлежало их укомплектовать из наших мушкатерских рот, и выбрать к тому наилучших и виднейших людей из всей роты. Сей-то выбор производим был в помянутое время и произвел

всем нам великое неудовольствие. Нельзя довольно изобразить, как досадно ротному командиру, когда отнимают у него лучших людей из роты. Мне отнимание сие в особенности и наиболее потому было досадно, что я столько трудов прилагал к обучению оных. Признаюсь, что мне оных так было жаль, что всячески упрашивал адъютанта и других, от кого тогда сей выбор зависел, чтоб не брали у меня тех, которые в особенности были мне надобны, и давал обещание им сам за то служить, власно так, как бы солдаты были мои подданные. И могу сказать, что по сим просьбам моим рота наша отделилась счастливее прочих.

Наконец, чрез несколько недель, пришли мы в назначенное нам для лагеря место. Оно лежало верст за 20 от Риги и неподалеку от реки Двины при мызе Пребстингоф. Поелику тогда все полки стояли неподалеку друг от друга и город Рига наполнен был генералами, то всякий полк старался перещеголять других как экзерцициею, так порядком и украшениями своего лагеря. Мы должны были последовать им в том и, расположивши лагерь свой напорядочнейшим образом, во всей форме старались также украсить оный по возможности. Наилучшее украшение состояло тогда в пирамидах и в убирании так называемых ротных улиц. Всякий ротный командир старался перещеголять в том других и украшал улицу роты своей колько можно, усыпая ее разными песками и выкладывая дерном разные фигуры и украшения. Легко можно заключить, что я был в сем случае не из последних. Я хотя и не был еще ротным командиром, но как князь, по известным своим порокам и безопасности, во всем на меня положился и ротою не столько он, сколько я правил, то, пользуясь искусством своим в рисование, употребил все, что мог, к лучшему украшению нашей ротной улицы, и могу сказать, что была она всех лучше и составляла сущий цветник, расположенный со вкусом и украшенный так, что всякому в глаза метался и побудил многих перенимать у меня.

Но как все сии украшения не могли нас защищать от суровости ветров и стужи, и в палатках целое лето жить было несколько жутко и скучновато, то второе наше попечение было, чтоб как-нибудь обострожитья. Всякий офицер, который сколько-нибудь был в достатке, старался сгородить себе какую-нибудь избушку, а солдаты начали копать и делать себе землянки. И так, не успело несколько недель пройти, как позади полку явилась вдруг уже изрядная деревенька. Я имел у себя также изрядную светличку, которую солдаты нашей роты в одну неделю для меня построи-

ли, ибо надобно знать, что хотя бы я мог стоять опять вместе с князем, или, того лучше, с моим зятем, но как мне не хотелось служить никому в отягощение, а хотелось всего паче иметь совершенную свободу упражняться в том, в чем мне хочется, чтоб не мог я иметь никакого в том помещательства, то и решился стоять один и вести собственное свое хозяйство. Светличка у меня была такая хорошенькая: два было в ней окошечка с бумажными рамами, а каравать, небольшой складной столик, скамеечка и складное стульцо составляли мои мебели. Я мог в ней себе сидеть и читать и писать спокойно.

Сим образом стояли мы тут все лето и все его препроводили в непрерывных учениях и экзерцициях; ибо как вся армия готовилась к походу, то все генералы старались о приведении ее в лучшее состояние, и потому стали делать у нас то и дело смотры, и мы должны были иметь частые строи и всегда к ним готовиться. Для меня все было сие наилучшее увеселение, ибо был столь страстен к экзерцициям, что ружье у меня почти из рук не выходило, и в левом плече от ударов ружьем было всегда синее пятно. Но сие и приобрело мне ту честь, что я почитался тогда в полку наилучшим знатоком и экзерцицимейстером, а притом и исправнейшим офицером. Почему, при случающихся полковых учениях и при делании маневров или эволюций, и поручалось мне всегда важнейшее место и нужнейшая комиссия. Все тогдашние резервы бывали тогда обыкновенно под моею командою. Сам полковник был мною очень доволен и советывал всегда со мною как, что, и какую, например, эволюцию сходственно с диспозициею делать. А как между тем и планы были к нам новым майором привезены, то принужден я был оные им толковать и рассказывать, как что надобно. Один только помянутой новый майор шел несколько против меня и не хотел учиться у подкомандующаго офицера. Но скоро при одном случае принужден был и сей со стыдом в незнании своем признаться, и победа сия была для меня тогда очень важная, а именно.

Случилось однажды быть полковому учению, и господа наши штабы положили в тот день делать батальон-каре новым манером. Не успели они начать, как я, увидев, что они не то делают, что надобно, подошел к помянутому майору и говорил, что совсем не так надобно. Но сей высокомысленный человек не только не хотел меня слушать, но дал на меня еще окрик и велел иттить в свое место и делать то, что велят, а он уже и без меня знает, что делать. Досадно мне тогда сие было и я раскаявался, что

сие сделал. Однако скоро имел удовольствие видеть высокоумие его низложенным; ибо он со всем своим мнимым умением так полк спутал, что вместо желаемого батальон-каре вылился настоящий хаос и вышло ни то, ни се и такая путаница, что полчаса требовалось к тому, чтоб полк опять в порядок поставить. Все офицеры, слышавшие мое представление, смеялись тогда нашему майору. Он сам стыдился своим незнанием и неумением и признавался, что не так сделал, и как он был человек не гораздо мудреный, то и высокоумие его не далеко простиралось. Одним словом, он до того дошел, что приехал ко мне, извинялся, что меня не послушал, и просил, чтоб я взял на себя комиссию полк разчесть и сказать каждому взводу, куда которому иттить и что делать. Я склонился охотно на сие предложение, и по моему указанию полк помянутой батальон-каре так хорошо сделал, как бы давно оный умел. Сам майор любовался тогда тем, и с того времени были мы с ним хорошими друзьями.

Итак, при помощи моей, довели господа штабы полк наш до нарочитаго и такого совершенства, что при всех делаемых генералами смотрах приобретал он себе немалую похвалу и благодарность.

Сим образом препровождал я свое время, отчасти занимаясь учением солдат, а отчасти своими книгами, о которых никак я не позабывал, но большую часть празднаго своего времени упражнялся либо в чтении оных, либо в переводе чего-нибудь. Один роман, купленной мною в Ревеле, называемый «Пикартус» и похожий несколько на «Жилблаза», прельстил меня так, что я начал его испытывать переводить, и упражнялся в том в праздные часы. Однако за всем тем не оставляя я посещать и сотоварищей моих, офицеров, а особливо наиболее меня любящих и таких, которые не в одном гуляньи и делании пуншей упражнялись, но были порядочнаго и хорошаго поведения, а нередко имел удовольствие видеть их и у себя, приходящих ко мне для препровождения времени. Словом, мы жили и препроводили все лето довольно весело.

Пред окончанием лета случилось было со мною одно нечаянное и досадное приключение, от котораго я чудным и удивительным образом избавился, а именно: для приумножения армии набирали тогда вновь четыре гренадерских полка, под именем перваго, втораго, третьяго и четвертаго, и для укомплектования оных выбрали из всех прочих пехотных полков самых лучших людей и офицеров. Нашему полку досталось комплектовать второу гренадерский полк, почему мы хотя и не хотели, но принуждены

были разстаться с самыми лучшими людьми. Из самой нашей роты взято было человек шесть самых проворнейших. Но сие хотя мне и досадно было, но не таково, как последующее обстоятельство, что с ними надлежало в тот же полк отправить и четырех человек самых лучших офицеров. Капитан назначен был к тому г. Хомяков; но не успели его назначить, как требовал он у полковника, чтоб в числе прочих трех отправить и меня с ним.

Сердце у меня замерло, как я о том услышал. Полки сии были хотя славныя и для многих лестныя, но мне и слышать о том не хотелось, чтоб с своим полком разстаться, и я чувствовал в себе некое непреоборимое нехотение иттить в гренадерский полк, как меня оным ни прельщали и ни уговаривали. Самое сие было причиною, что я бросился тотчас к полковнику, стоявшему тогда в помянутой мызе Пребстингоф, и просил его всеми образами, чтоб меня не отправлять. По счастью, полковнику самому не хотелось со мною разстаться; итак, хотя присланным для сего выбора и дано было великое полномочие и дозволено выбирать и требовать, кого хотят, однако кое-как и всеми неправдами меня в полку удержали. Я обрадовался тому чрезвычайно и не мог с покоем дожидаться, покуда они уехали.

Но радость моя недолго продлилась. Не успел г. Хомяков в новый полк прибыть, как граф Чернышов, бывший уже тогда генерал-майором и имевший о формировании сих полков попечение, спрашивал его, нет ли еще в нашем полку хороших и исправных офицеров. Г. Хомяков ни с другого слова сказал ему обо мне и расхвалил так, что граф тотчас послал к нам в полк ордер и велел меня прислать и выключить из полку немедленно. Мы о сем не прежде узнали, как по получении ордера. И ведомость сия была мне наипротивнейшая в свете, я проклинал тогда всю мою охоту к экзерциции и охоту к военному искусству и раскаявался уже в том, что так много успел в оном. Полковник сам тужил обо мне чрезвычайным образом, но говорил, что теперь уже он не в силах меня удержать, и послал ко мне самому с адъютантом тот ордер. Итак, казалось, что судьба моя была неизбежная и что мне никому уже помочь было не можно.

Но где не можно было человекам, там возможно было Божескому обо мне Промыслу и святому его Провидению. Некто иной, как он избавил меня от сей напасти, нечаянность случившагося со мною тогда приключения довольно сие и доказывает. Я в самый тот день, как приттить сему ор-

деру, поутру занемог, власно как нарочно, прежесточайшею лихорадкою, и адъютант с оным пришел ко мне в самое то время, как она наисвирепейшим образом меня трепала. Сперва подумали все, что я нарочно больным сказался, однако скоро от лекаря узнали о непритворности моей болезни. Признаюсь, что я в сей раз весьма рад был сей лихорадке и ласкался надеждою, что она меня избавит от гренадерскаго полка, что воспоследовало и в самом деле. Полковник представил графу Чернышову, что я болен, и хотя от сего вторичным ордером приказано было всем полком меня осмотреть; но как нашлось, что я действительно болен, то и оставлен я был с покоем и не стали меня более требовать.

Не успела сия буря миновать, как вскоре потом я, при помощи лекаря, от болезни своей и освободился, так что я не более двух недель был болен, и, власно как нарочно для того, чтоб чрез то избежать от гренадерскаго полка. Я удивлялся тогда сам нечаянному сему случаю; но после имел великую причину заключать, что в происшествии сем имел великое соучастие в Божеский Промысл, восхотевший чрез то не только избавить меня от великой опасности, но которую тогда предвидеть я был далеко не в состоянии, но, сверх того, удержав меня в сем полку, преподать после случай быть в Кёнигсберге, где пребывание мое было мне толико полезно и выгодно; ибо надобно знать, что в бывшую потом прусскую войну помянутому второму гренадерскому полку досталось на баталии стоять в таком опасном месте, что все почти офицеры были в нем побиты, и дошло даже до того, что всем полком командовал поручик. Итак, если б переведен я был тогда в сей полк, то не только б весьма легко мог бы и я в числе убитых быть, но и не попал бы никак и в Кёнигсберг после.

Из прочих приключений, случившихся со мною во время стояния в сем месте лагерем, памятны мне только три, из которых одно меня настрашало, другое удивило, а третье огорчило и досадило. Для любопытства расскажу я все оныя.

Первое и настрашавшее приключение было следующее. Пред наступлением осени прислан был в наш полк один артиллерийский офицер для освидетельствования наших пушек и всех, как патронных, так и гранатных ящиков. Свидетельству сему надлежало производиму быть чрез стрельяние из пушек, кидание из мортирец маленьких бомб и самых ручных гранат, дабы видеть, в хорошем ли состоянии в них трубки. Мне, как великому охотнику до стрельбы, восхотелось быть при сем свидетелстве;

но сколь раскаявался я в своем любопытстве, когда помянутый офицер, в то время, как дошло дело до пробования ручных чугунных гранат, стал предлагать мне, яко лучшему из всего полку офицеру, чтоб я взял из рук его гранату и, зажегши, кинул. Я оцепенел при сем предложении, и нечаянность сия так меня поразила, что я не знал, что делать. Отказаться от сего было дурно и постыдно, а принять на себя сию комиссию казалось весьма опасно и бедственно, ибо неизвестно было, хороша ли была в гранате трубка и не испортилась ли от долговременного лежания. Я боялся, чтоб не разорвало ее, проклятую, у меня в руках и меня не убило; и потому немного и усомнился взять оную у него из рук; но как он стал меня далее убеждать, уверяя, что при том никакой опасности нет, то за стыд принужден был у него ее принять и, скрепя уже сердце, зажечь и бросить. Не могу изобразить, с каким ужасом размахивал и с каким напряжением всех сил бросал я сию окаянную гранату, стараясь отшвырнуть ее koliko можно далее, дабы она по разорвании и там не могла черепами своими достать до того места, где мы стояли. Но сколь стыдился я потом сам в себе, когда увидел, что все дело сие кончилось шуткою и смехом, и что весь мой страх был по-пустому; ибо офицер употребил против нас обман и заставил меня бросать гранату пустую и с одною только трубкою, без пороха, который, жалея гранаты, он наперед высыпал. По счастью, никто страха и боязни моей не приметил, но все почли меня еще довольно отважным.

Другое и удивившее меня приключение составляет хотя сущую и такую безделицу, о которой не стоит почти и упоминать, но для меня безделица сия была так поразительна, что я ее во всю мою жизнь не могу никак позабыть: как и теперь дивлюсь еще и не понимаю, как это могло тогда случиться. Некогда посреди бела дня сидел я один в моей светличке за столиком своим под окном, и не помню на что, на распростертом на столе листе белой бумаги скоблил ножом кусок мела. Уже наскоблено было у меня онаго довольно изрядная кучка, как вдруг увидел я, что от сильного напряжения ножом отломился от куска мела моего нарочитой величины кусочек и отвалился на скобленный на мел. В самой тот момент нечто понудило меня отвернуться и посмотреть зачем-то в окно; но как обратил я зрение свое опять на мел, хотел отломившийся кусок отложить прочь, дабы он с наскобленною мелочью не мешался, но глядь – куска моего тут уже не было! – Подумав сперва, что он замешался в мелочи, начал я его искать в оной, но как не нашел, то искал я его вокруг большого куска, и

дивился, куда он у меня делся; но мое удивление увеличилось еще более, когда не нашел я его нигде: ни на бумаге, ни на столе, ни в руках моего тулупа, в котором я сидел, ни под столом, ни на полу и словом, нигде во всей моей светличке. «Господи помилуй! – думал и говорил я несколько раз. – Куда это он у меня в один миг подевался, и так сказать, вдруг из глаз пропал? Никуда я не только не вставал, но и рук со стола не поднимал и смахнуть мне его было некуда и некогда». Но сколько я ни твердил: «Господи помилуй! и что за диковинка!», но кусок мой сгиб да пропал, и я, сколько все места ни перешаривал, но не мог его никак отыскать. Чудно мне сие весьма было и я начал уже сомневаться в том, подлинно ли он был и отломился, но отлом и негладкость того места на большом куске, где он отломился, ясно доказывали мне, что я в том не обманулся и что кусочку сему величиною с ружейный кремь быть надобно было, каковым я его и видел. Но все мое удивление было тщетно, ибо сколько я сему странному случаю ни дивился и сколько я и все люди мои онаго для единой курьезности ни искали, но не могли никак найти и принуждены были так сие дело оставить, почему самому и сделалось оно мне так памятно, что я его никогда позабыть не мог, и как и поныне не знаю, куда он тогда делся.

Третье и огорчившее меня приключение было уже гораздо поважнее обоих предследующих и состояло в том, что новому моему слуге, присланному ко мне из деревни, наскучилось жить при мне, может быть, для того, что я с ним не дрался. Он вздумал от меня удалиться, пропив наперед с себя платье и весь скарб. Потеряние сего человека было мне более досадно, нежели горестно, ибо если б он имел хотя малейшую причину к побегу, то и говорить бы нечего было, но он не видал от меня ни единого щелчка во всю его при мне бытность, да и жил более в табуне. Со всем тем, не мог я с того времени получить об нем никакого известия и не знаю, в Польшу ли он ушел, или в какое иное место.

Пред приближением осени произошли у нас в полку некоторыя перемены: несколько человек офицеров отправлены были в Польшу для заготовления провианта, а другие пошли в отставку. Между сими последними находился и поручик мой, вышеупомянутый князь Мышецкий. Он во все сие лето не правил почти ротою и не нес службы, отчасти за слабым своим здоровьем, а наиболее по известному за ним пороку, в который он погрузился опять слишком много. Итак, разстались мы тут с сим моим прежним

товарищем, и я получил себе нового командира, поручика Коржавина, по имени Ивана Федоровича.

Наконец наступила глубокая осень и месяц октябрь, и нам в лагере стоять долее было не можно. Но как к военному походу в Пруссию на будущее лето деланы были уже тайные приготовления, то не распустили наши полки вдаль по зимним квартирам, но расположили все полки поблизости Риги, по так называемым кантонир-квартирам, или временным, стесненным, в которых мы вскоре и выступили.

Сим окончу я, любезный приятель, теперешнее письмо, а в последующем продолжу повествование мое далее, а между тем остаюсь и прочее.



НА КАНТОНИР-КВАРТИРАХ

Письмо 34-е

Любезный приятель!

Предследующее письмо окончил я тем, что мы вступили с полком на кантонир-квартиры, а в теперешнем расскажу вам, где и каково нам было стоять на оных. Сии квартиры ассигнованы были полку нашему неподалеку от того места, где мы стояли лагерем, а именно за восемь только миль от Риги, в сунцальском, линбургском и леневальдском кирхшпилях. Штаб наш расположился на мызе Кастран, а мне, по несчастию, досталось стоять у латыша, или лифляндскаго крестьянина, ибо новый мой командир, г. *Коржавин*, был мне хотя также изрядный приятель, а сверх того, по деревням сосед моему меньшому зятю, однако дружба его не простиралась так далеко, чтоб пригласил он меня стать на той же мызе, где стоял он сам, а может быть я и сам с ним вместе стать не согласился бы. Таким образом, принужден я был довольствоваться латышскою избою, которая хотя выбрана была и самая лучшая из всех квартир, отведенных под нашу

роту, однако все была негораздо хороша, хотя уже и гораздо превосходнее всякаго чухонскаго рья. Приехавши в оную и осмотрев сие назначенное мне для зимы обиталище, горевал я и не знал, как мне быть, ибо это было в первый еще раз, что мне в черной и дымной избе жить досталось; однако не преминул я искать возможных способов, чем бы хотя несколько пособить своему горю. По счастью, подле сей избы нашел я небольшой приделок сбоку, в котором у латыша покладена была всякая рухлядь и который служил ему вместо клетки. Обрадовался я сему убежищу и положил основать свое жилище в оном. Я велел его очистить, но не знал, как пособить тому, чтоб мне было в нем не холодно, ибо, к несчастью, был он холодный, да и ходили в него с надворья, а что всего пуще, и потолка в нем не было. Наконец вздумал я уговорить латыша, чтоб он прорубил в него из избы двери, также бы в стене и окно красное, в которое я тотчас сделал обыкновенную нашу бумажную оконницу, и как все сие сделано было, то захотелось мне каморку мою убрать получше. Я перегородил ее полами от моей палатки, также обвешал ими и стены, а чтоб не сыпалось на меня с кровли, то сделал из рогож некоторый род потолка. Отделавши сим образом мою комнату, начал я провождать в ней свое жилище, но могу сказать, что не без скуки: с одной стороны темнота, а с другой холод надоедал мне, и иногда гораздо. Но, по счастью, зима тогда еще не наступила, и осеннее время было еще довольно теплое.

Несколько дней препроводил я в сей моей мурье в совершенном уединении и в превеликой скуке, которую наиболее чувствовал оттого, что не имел никакого упражнения. Малое число книг, которое имел я, были все уже перечитаны, а писать или переводить, к чему я мало-помалу получал уже охоту, за холодом было не можно. По счастью, услышал скоро я, что жил неподалеку от той деревнишки, или паче, единичнаго двора, где я стоял, один мызник, с которым положил я как можно скорее познакомиться, дабы хотя чрез то получить случай к разбиванию своей скуки. Я тотчас к нему поехал, и мызник был рад, а особливо узнав, что я умею говорить по-немецки, ибо в минувший год, обходясь и разговаривая часто с теми из офицеров нашего полку, которыхы были немцы, и кои все были мне приятели, немецкий свой язык уже так понатвердил, что болтал им уже изрядно. Он изъявлял свое сожаление, что я имею столь худую квартиру, и извинялся, что пособить тому он не в состоянии. В самом деле, был он человек небогатый, и у самого его была только небольшая двоенка. Со всем тем

был он изрядный и приятный человек, и я дружелюбием его был доволен. Мы свели с ним тотчас дружбу, и он просил меня, чтоб я ездил к нему как можно чаще. Я сие и не упустил делать, а особливо в разсуждении, что и близкое разстояние моего жилища от него много тому способствовало. Всякий раз, как я к нему ни приезжал, угощал он меня как хорошаго своего приятеля, а поступкам своего мужа соответствовала и хозяйка, которая также была человек изрядный. Когда приезжал я к ним после обеда, то выговаривали они мне, для чего не приехал я к ним к обеду, и просили, чтоб я вперед приезжал поранее, говоря, что хотя они люди небогатые, однако не надеются, чтоб я за их столом был голоден. Таковыя и подобные сему поступки заставляли меня от часу более иметь к ним почтения, и я признаюсь, что я завидовал благополучному и порядочному житию сей четы добродетельной. Оба они были люди очень еще нестарые, но в доме у них хотя не видно было ничего великолепнаго, но все было так чисто и прибрано, и притом наблюдался во всем такой хороший порядок, что я не мог довольно надивиться, как они с таким малым достатком и так хорошо и порядочно жить могут. Стол их был также небогатый и состоял обыкновенно из нескольких немногих и простых кушаньев, но все они были так вкусны и хороши, что ни в которое время не вставал я голодным.

Таким образом, знакомство с г. *Миллером* (так назывался сей лифляндский дворянин) уменьшило гораздо мою скуку. Я ездил к нему очень часто и препровождал у него иногда по целому дню, а что более меня веселило, то нашел я у них маленькое собрание немецких книг; он охотник был до них, а потому и разговоры наши касались более до оных. Он хвалил мне те, которыя читывал, особливо Клевеланда, а из тех, которыя имел, давал мне любую читать для препровождения на квартире времени, и сие было для меня всего лучше. Словом, соседством сего дворянина был я очень доволен, и как дружбу его приобрело мне, знание мое немецкаго языка, то тут впервые увидел я, сколь он нам нужен и полезен.

Не успело несколько недель пройти после приезда моего на сию квартиру, и только что я стал обживаться и привыкать к оной, как вдруг принужден я был ее переменить и ехать на другую. Поручика моего выбрали полковым казначеем и взяли в штаб, а я должен был принять команду над ротой, следовательно, и переехать на его квартиру. Сия перемена была непротивна, ибо сколько я и ни привык к прежней моей квартире и сколько знакомством г. Миллера был ни доволен, однако рубашка к телу

ближе и холод у меня никогда не выходил из головы, новая же квартира была несравненно превосходнее и лучше прежней.

Таким образом отправился я тотчас туда и застал г. Коржавина дождающегося меня, дабы сдать мне с рук на руки роту. Признаюсь, что сие обстоятельство льстило тогда моему честолюбию. Командование тогда в первый раз целою ротою и мысль, что я тогда властно равен был со всеми капитанами и что был такой же, как и они, ротный командир, которых, как известно, в полках, по полковнике, наиважнейшие люди, веселила меня чрезвычайным образом, и я не мог долго довольно навеселиться, видев под окошком у себя фронт, слышав биющую у себя зорю и раздавая ежечасно разные приказы и повеления. Молодость моя была всему тому причиною.

Теперь опишу я новую свою квартиру. Она была на мызе Кальтебрун, называемой инако и Гнедин, и на такой, где жил и сам мызник, однако не в его хоромах, а в срубленных особливых подле хором низеньких светличках, которых были уже довольно хороши для квартиры ротному командиру.

Г. Коржавин, при отъезде своем, не преминул рекомендовать меня, яко своего преемника, господину мызнику. Мы пошли с ним к нему, и я имел уже на уме стараться познакомиться и свести дружбу и с сим так, как с моим прежним соседом, однако мало надежды имел получить успех вожделенный. Г. Коржавин сделал мне об нем такое описание, которое было весьма невыгодно. Он изображал мне его дряхлым, угрюмым и суровым стариком и сказывал, что он во все время своего тут стояния не видал от него ничего добраго. Я нашел его действительно стариком, у котораго почти уже зуб во рту не было, а жену его так толсту, что я подобной ей женщины отроду не видывал. Все сие не предвозвещало мне ничего добраго, но со всем тем приняли они меня довольно приятно. Правду сказать, инако им принять и нельзя было. Они все поневоле принуждены были льстить господам ротным командирам, от которых иногда им много зла происходит, а сверх того, по-видимому, приятно было им, что я умел говорить по-немецки, следовательно, как я их, так и они меня могли разуместь наилучшим образом.

Проводив моего поручика, вступил я тотчас в новую мою должность. Мое первое старание было ввести в роте некоторыя новые порядки, которых я почитал за полезные, а другие, которых, по мнению моему, казались излишними и ненадобными и служили только к отягощению солдат, оставить. Наибольшее мое попечение было о том, чтоб воздержать солдат от

шалостей и своевольств, обыкновенно военным людям свойственным. И для того велел я собрать к себе всю роту под видом некоторой ротной надобности, а в самом деле, чтоб поговорить со всеми подчиненными своими полюбовную речь. Я сказал им прямо, что если они хотят мною довольными быть, и чтоб я с ними не дрался, то б не делали никаких шалостей, воровства в своевольства, в противном случае никакая вина прощена не будет. Напротив того, обещал им, что когда увижу от них в сем случае послушание, что, по всей возможности моей, буду и об них стараться, и без нужды их трудить и беспокоить не стану.

Сим и подобным сему образом удалось мне получить мое желание и все то, чего прочия ротные командиры со всею своею строгостию получить не могли. Ибо не успел я немногих первых слушников наижесточайшим образом наказать, а сверх того, приказать, всех таковых без очереди на караул и в другия места посылать, как тотчас тишина и спокойствие возобновились, и я во всю зиму не слыхал ни от одного обывателя жалобы на моих солдат, напротив того, и самим солдатам сие напоследок слюбилось. Обыватели и хозяева их, не видя ничего от постояльцев своих противнаго, сделались сами к ним доброхотными и, по возможности своей, им во всем услуживали, а сие произвело наконец то, что солдаты сами меня за то благодарить стали.

Кроме удовольствия, которое я натурально оттого чувствовать был должен, имел я еще и другия оттого пользы. Ибо, во-первых, сам полковник был командою моею очень доволен и однажды сам мне выговорил, что удивляется тому, что от всех рот обезпокоивается он почти ежедневно жалобами, то от командиров на обывателей, то от обывателей на солдат и командиров, а моей роты власно как бы в полку не было, ибо он ни однажды еще не слыхал ни одной жалобы ни от меня, ни от обывателей, где стоят мои солдаты, и, приписывая мне то в особливую похвалу, желал, чтоб он столь же мало мог обезпокоиван быть и прочими.

Во-вторых, сам мой мызник был тем чрезвычайно доволен; который не успел услышать о моем новом распоряжении и о наказании без всякой просьбы виноватых, как получил обо мне хорошее мнение и тотчас стал стараться об оказывании мне всякаго благоприятства и дружелюбия. Сие послужило мне поводом к сведению и с сим стариком хорошаго дружества. Мы тотчас с ним познакомились, и я не знаю, тихость ли моего нрава и поведения, или то, что я никогда не наскучивал препровождать время с

ним в разговорах, или иные какие обстоятельства были причиною тому, что он в короткое время меня очень полюбил и дружбу свою распространил даже до таких пределов, что я того никогда бы думать и ожидать не мог, а именно: как я однажды у него вечером сидел и, по обыкновению, с ними ужинал, без чего они меня никак не отпускали, то спросил он меня, доволен ли я своею квартирою? Я отвечал ему, что по сие время не имею причины ни на что жаловаться. «А мне, – отвечал он на то, кажется, напротив того, что она для вас безпокойна, и я желал бы для вас, г. подпоручик, сыскать какое-нибудь лучшее и спокойнейшее место, но не знаю, могу ли я вам тем угодить, что думаю. У меня есть чрез сени другая половина моих хором. Она стоит порожняя и никто в ней не живет. Мы согласились с женою ее для вас очистить и прибрать, и ежели вам угодно, то просим вас в нее из теперешней вашей квартиры перейти, где, надеемся, что вы получите лучшее спокойствие, потому что она бывает очень тепла и спокойна». Я удивился сему нечаянному предложению и не успел еще начать приносить им свои благодарения, как жена его подхватила речь и начала говорить следующее: «А я, г. подпоручик, с своей стороны, желала бы, чтоб вы мне сделали одолжение и не погнушались бы столом моим. Вы стоите одни и не имеете повара. На что ж вам и безпокоиться и убытчиться тем, чтоб для вас одних варили? Вы можете, если угодно, завсегда с нами обедать и ужинать и мы надеемся, что вы не будете никогда голодны». Новое сие предложение усугубило мое удивление. Я приносил им мое благодарение и, для благопристойности, отговаривался от того, говоря, что я их тем обезпокою и изубытчу. «О, нет, г. подпоручик! – пресекали они мою речь. – Какое это для нас безпокойство и что за убыток?! Мы, напротив того, будем тому рады. Стол у нас хотя небогатый, но, благодарить Бога, у нас семья, и нам для вас лишних блюд готовить не для чего. Пожалуйте, не отговаривайтесь и сделайте нам всем это удовольствие».

Легко можно заключить, что я не имел причины приносить дальних отговорок, а особливо узнав уже, что были они добрые и прямочистосердечные люди и что мне все сие не причинит никакого безпокойства. Итак, по коротким извинениям, согласился я на их просьбу. Не успел я дать им в том мое слово, как обрадовались они тому очевидно и власно как бы какой находке, а добросердечный старик, приметив, что я все еще тем совещусь, восхотел оказать мне еще новый опыт своего ко мне благоприятства и тем умножить еще более мое удивление. «Постойте, г. подпоручик?» – сказал

он мне, потрепав дружеским образом меня по плечу. – Когда на то пошло, так прошу и мне сделать такое ж удовольствие, как и жене моей. Она взялась попечение иметь о том, чтоб вы не были голодны, а я хочу взять на себя довольствоваться лошадёй ваших». – «О, государь мой! – прервал я ему речь, будучи тронут таким неожиданным опытом дружества. – Этого уж слишком много! И я, конечно, не допущу вас до такого убытка!» – «Пожалуйста, государь мой! – подхватил тогда сей добродушный старичок. – Не говорите мне о убытках. Что это за убыток для меня? Вы имеете только три лошади, и оне, конечно, меня не объедят. Бог даровал нам в нынешний год довольно овса и сена и они мне не столь дорого будут стоить, чтоб я убыток сей предпочел тому удовольствию, которое я буду иметь, сделав услугу такому человеку, котораго люблю и почитаю и который по истине того и достоин».

Я благодарил его за такое хорошее обо мне мнение и хотел было далее еще отговариваться, но г. *Розентраух* (так назывался сей честный старина), не слушая, превозносил меня только похвалами. Он называл меня тихим, постоянным, разумным и таким человеком, какого он редко из молодых видывал, и повторял много раз, что он мною и всеми моими поступками очень доволен. Одним словом, он заставил тогда меня самого себя, как красную девку стыдиться, толь похвалы его были простосердечны и не лукавы. Наконец, имея при всей своей старости в себе еще остаток веселого нрава, захотел окончить все сие небольшою, но весьма благоразумною издевкою. – «Поверьте, г. подпоручик! – сказал он мне улыбнувшись. – Я, живши на свете около осьмидесяти лет, имел довольно времени и случаев на людей насмотреться и узнавать, кто какого сложения и качеств, и я вам признаюсь, что мы прежде не то об вас думали, покуда вас не видали, и безпокоились тем, что будет к нам стоять молодой и холостой человек, каковым вас нам описывали. Но как скоро я вас увидел и имел честь узнать, как все безпокойство мое миновалось. Поверь, государь мой! – продолжал он говорить, потрепав меня по плечу. – Видна всякая птица по полету, и скоро узнать можно, кто к чему склонен. А в вас не нахожу я ничего такого, что бы могло подать причину опасаться от вас чего-нибудь худого и благоразумию противнаго. Нет, нет, г. подпоручик! я вижу, что вы честный и такой человек, который знает, что есть честь, здравый разум и добродетель в свете, и готов за вас везде божиться, что вы одарены изящнейшим характером». Я не знал тогда в скорости, что ему на сие ответить, но

добронравный старик избавил меня от сей комиссии, сказав: «Ну, хорошо, г. подпоручик! Дело сделано и говорить более не о чем. Я не приму никаких отговорок, и вы пожалуйста покушайте. Мы за разговорами позабыли есть, и вы будете у меня голодны!»

Сим окончился тогдашний наш разговор. Легко можно заключить, что я, простившись с сими честными стариками, с удовольствием пошел на свою квартиру. Со всем тем не мог чтоб не помыслить о последних его обо мне словах, которые, как мне казалось, заключали в себе некую тайну. Но я легко мог догадаться, к чему они клонились и какая бы та причина была, для которой меня он опасался. Все дело состояло в том, что у него было пять дочерей, которые все были уже взрослые и совершенные девицы. Почему толь близкое соседство молодого и холостого человека могло, может быть, наводить старикам довольное уже опасение и беспокойство. Но г. Розенштраух правду говорил, что я лишил скоро его сего беспокойства, ибо во все мои с ним свидания не мог он приметить во мне ни малейшаго вида волокиты, и потому с надежностью мог заключить, что я не принадлежу к числу тех молодых и ветреных людей, которые в мои лета за наилучшее упражнение себе почитают волокиту за прекрасным полом, но, напротив того, что имею совсем друга склонности, как то и в самом деле было. Ибо признаюсь, что я мало обезпокоиван был известною и обыкновенною молодым людям страстию, но, напротив того, с самага младенчества и как сам себя запомню, имел столь великий род застенчивости и был так стыдлив в обхождении с женским полом, что я не только чтоб сводить близкое знакомство или говорить, шутить и играть с ними, но и пристально смотреть на них стыдился. Мне казалось все дурно и стыдно, и одним словом, я был сам не свой, когда случалось мне бывать в компании с молодыми девицами, а той компании не было для меня тяжелее, когда принуждено было разговаривать с оными. Коротко, я бегивал их как огня и доходил иногда почти до дурачества. Дурно ли сие или хорошо было, того уже я не знаю, а только то мне известно, что сия стыдливость называется философами предохранительною добродетелью, приносила мне в жизнь мою тысячу польз и выгод, и, одним словом, спасла меня от многих пороков и, может быть, от множества несчастных и противных приключений и я имел причину более довольным быть, нежели досадовать на то, что таков стыдлив был смолоду.

Таким образом, все обхождение мое с дочерьюми сего мызника было сходственно с вышеписанным изображением моего нрава. Я обходился

с ними очень удаленно и не только никогда не изъявлял желания ознакомиться с ними ближе, и не только не начинал никогда заводить с ними шутки и разговоры, но и говаривал с ними только тогда, когда они меня о чем-нибудь спрашивали и мне, по необходимости, уже отвечать им надлежало. А наиглавнейшие мои разговоры и препровождение времени было с стариком, который при всей своей старости был наиприятнейший и разумный человек, и я не наскучивал с ним говорить по несколько часов сряду. Сие всего более старику во мне и полюбилось и для самага того и получил он ко мне в короткое время столь великое дружество, что оказал вышеупомянутыя опыты оной без всякаго моего в том домогательства и старания.

Таким образом, размышлял о последних его словах и, находя тому причину, усматривал я, что в них не одни только похвалы моему поведению, но вкупе и некоторый род предварительной загадки заключался, и что слова сии клонились и к тому, чтоб я и впредь таким же образом себя вел и не принудил бы их в принятом обо мне хорошем мнении обмануться и в оказанном мне дружелюбии и услугах раскаяваться. Я дивился тогда благоразумию моего старика и, усмехнувшись, сам себе говорил: «Пожалуй, старичок дорогой, не безпокойся! Не на такую птицу ты напал, которая бы твой милый покой нарушать и тебя тем огорчить похотела, чего ты опасешься. Мы сами от того, как от огня бегаем! Куда нам затевать излишнее!»

Со всем тем размышление сие произвело тот плод, что я положил с того времени впредь, о соблюдении поступок и поведения моего в надлежащих пределах благопристойности и благоразумия, особливое и возможнейшее прилагать старание. Я рассуждал о будущем моем житье и о гораздо ближайшем к ним соседстве. А приходило мне также и то в голову, что я ежедневно буду находиться с ними, и иметь случай их видеть и говорить, следовательно, и гораздо ближе ознакомиться с ними. Самое сие меня несколько и тревожило. – Я слышал, что можно и против воли своей влюбиться, а дочери г. Розенштрауха не таковы были дурны, чтоб не могли никому вперить к себе любовнаго пламени. Некоторые из них были довольно хороши, и хотя ни одну из них не можно было почесть красавицею, но все до одной были разумныя и очень хорошо воспитанныя девушки; самое сие меня некоторым образом и устрашало и озабочивало. Я боялся, чтоб и против хотения и желания своего не попасться в какия-нибудь сети. А особливо опасался я одной из средних, которую звали *Елеонорою*,

и которая превосходила всех своих сестер и красотой, и разумом, и приятностью своих поступков и обхождения.

Со всем тем возлагал я великую надежду на свою застенчивость и не смелость, о которой думал, что она не допустит меня никогда до близкого и короткого с ними обхождения, которое, как известно, обыкновенно питает и возжигает любовь, когда бы она, например, и зачалась. Сверх того, положил я иметь всегдашнюю осторожность и примечать за действиями своего сердца, также убегать всеми образами без нужды с ними свиданий, а особливо случаев быть и говорить с ними наедине.

Все сие мне очень много и помогло, но со всем тем не знаю я, было ль бы сие одно в состоянии сохранить меня от искушения, если б не соединились к тому, по счастью, и другия обстоятельства, а именно: во-первых, не имел я во все время стояния моего тут ни единого случая, чтоб быть мне не только с одною из дочерей г. Розенштрауха, но и со всеми ими одному без их отца и матери вместе, потому что сии очень мало, а старик по старости своей и вовсе никуда не выезжал и не выходил. Во-вторых, обхождение в доме не было никогда так вольно, чтоб можно было мне ходить по произволению своему по всем комнатам, но я довольствовался всегда сидением с стариками в одной; в той же побочной комнате, где жили его дочери, никогда нога моя не бывала. В-третьих, ко мне в половину оне очень редко и то разве все вместе с отцом или матерью иногда на часок прихаживали; а когда я к ним приходил, то было сие обыкновенно либо к обеду, либо к ужину, и тогда сиживал я неотлучно от старика моего. В-четвертых, и что наиважнейшим обстоятельством почесть можно, не было с обеих сторон ни малаго о том старания, чтоб сводить ближайшее знакомство. Дочерям Розенштрауха можно было ту честь приписать, что все оне были девушки не ветренья, но постоянныя, и во всех своих поведениях наблюдали кротость и благопристойность, почему и со мною, когда мы уже более знакомы стали, обходились оне хотя ласково и приятно, однако никогда не делала ни одна из них ниже малейшаго вида, какой-нибудь непозволительной девушки поступки. Один только случай помню я, который некоторым образом окритиковать, однако опять и безпристрастным почесть можно, а именно.

Случилось однажды, что старик после обеда лег спать, а я сидел со старухой и дочерьми, но и ее не знаю зачем-то из горницы позвали. Тогда, выходя, она говорила дочерям, чтоб они между тем говорили со мною, чтоб было мне не скучно. Так случилось, что ближе всех ко мне была тог-

да вышеупомянутая дочь ея, фрелина Нора, так называли ее полуименем. Она, подошедши ко мне, стала подле окошка и, разговаривая со мною не помню о чем, стала колоть булавкою бумажку, которою случилось залеплена быть разбитая за день пред тем окончина. Меня догадало спросить ее, что это она делает и на что прокалывает окончину? «А вот, господин подпоручик, – сказала она мне, извольте-ка посмотреть: что это такое и хорошо ли?» Я встал посмотреть, но в какое удивление пришел, увидев, что она наколола связанное вензелем мое имя и фамилию. Я застыдился тогда и, притворясь, сказал, что я не разберу, что это такое». – «Нельзя этому стать! – ответствовала она мне. – Что вы не разобрали, чье это имя?» Я не знал, что ей тогда на сие ответить; но, по счастью, вошла тогда опять ея мать и разговор наш прекратила. Со всем тем каково сие и невинно, может быть, было, однако я несколько дней стыдился взглянуть на нее. Вот сколь стыдливость моя была велика!

Но я возвращусь к продолжению порядка моей истории, от которого я нечувствительно удалился. Таким образом, дня два после бывшего у нас с господином Розенштраухом приятного разговора, перешел я в новоотведенную мне квартиру и нашел ее гораздо спокойнейшею пред прежним жилищем. Я имел для себя изрядно убранную, просторную и теплую комнату, а для людей моих была особливая комната тут же. Но что для меня всего было приятнее, то отделялась сия половина от прочих хором сеньми, имеющими на двор особливой выход, а внутри себя небольшую кухню, из которой обыкновенно покои тапливались. Итак, посредством сих не было с прочими покоями и другою половиною хором никакого сообщения, а ежели надлежало ходить к мызнику, то принуждено было обходить двором под окнами с одного крыльца на другое.

Сим кончу я теперешнее письмо и, сказав вам, что я есмь и прочая.

В МЫЗЕ КАЛЬТЕБРУН

Письмо 35-е

Любезный приятель!

Таким образом, по особливому счастью получив весьма спокойную и едва ли не выгоднейшую квартиру пред всеми прочими ротными коман-

дирами, простоял я на ней всю тогдашнюю зиму, не имея ни малейшей ни в чем нужды и недостатка. Жить было светло, тепло и покойно; стол был у меня готовый; лошади ели не мое, а что всего было лучше, то и в приятном обхождении не имел недостатка и скуки никогда не чувствовал. Всем сим обязан я был, с одной стороны, дружбе г. Розенштрауха, а с другой – порядочному своему поведению, а более всего знанию немецкого языка.

Теперь опишу я вам, любезный приятель, подробнее мою жизнь и все мои в сем месте упражнения. Поутру, встав и напившись чаю, отправлял я, когда случались, кой-какия ротные дела и раздавал потребныя приказания. Исправив все, что касалось до моей должности, садился я за свой столик, принимался за перо и бумагу и начинал свою работу. Она состояла в продолжении того перевода одного немецкого романа, о котором упоминал я уже прежде и который начал в бытность еще в лагере под Ригию. Книга сия имела собственный титул – «Малослыханная и бедственная жизнь и похождения Якова Пакартуса, бывшего потом милордом в Англии». По неимению лучших полюбилась она мне более для того, что была веселее прочих, и походила несколько на Жилбаза или Робинзона Круза. Я и тогда перевел уже ея несколько, а тут, продолжая с таким успехом, трудился над переводом и переписыванием онаго набело, что получил две нарочитой величины книжки; однако окончить мне ее за потеряннем самага оригинала не удалось. Как приходило время обеда, то, накинув кафтан, хаживал я в половину моего хозяина обедать с ними, ибо г. Розенштраух неотменно того требовал. Равно как и лошади мои на другой же день должны были быть на его же содержании и конюшне, и люди мои только их чистили.

Обедывало нас всегда изрядная семейка, и всегда человек восемь. Поелику г. Розенштраух был не весьма достаточный и богатый дворянин, то хотя стол его и не был наполнен множеством кушаньев, но завсегда господствовала в нем обыкновенная немецкая умеренность, однако могу сказать, что я никогда голоден не был, но паче всегда был доволен, чему много поспешествовало и хорошее приуготовление кушаньев. Дочери его должны были поденно хозяйничать и над приуготовлением яств смотреть и стараться сами, что и делать им потому было способно, что, по обыкновению лифляндскому, кухня находилась внутри хором и подле их спальни. Одно только обстоятельство мне несколько сначала досаждало, а именно, что у них не только на столе, но и во всем доме не было ни капли квасу, а

пили все пиво. Всякий раз пред моею тарелкою поставлялась онаго пре-великая серебряная стопа, и оное хоть не кушай. Долго не мог я никак к сему напитку привыкнуть. Было оно хотя легкое и хорошее лифляндское пиво, но как я никогда онаго не пивал, то не шло оно мне в душу. Однако чего привычка не может сделать? Мало-помалу привык и я к оному, и оно сделалось мне наконец вкуснее самага квасу, так что я пил его в жажду и без всякаго принуждения. Но удивительнее всего то, что было оно ни как не пьяно, также что тогда я его пил охотно, но после опять перестал и так отвык, что и ныне в рот не беру, кроме самага легкаго и сладкаго полпива.

После обеда редко я у них долго сиживал. Старик имел обыкновение спать, а я спешил упражняться опять в моем читании и писании и от них ухаживал, разве только когда прашивали они, чтоб я подождал кофе или остался б посидеть с ними хоть полчаса для препровождения им времени. Таким образом, все послеобеднешнее время провождал я в обыкновенных своих домашних упражнениях и делах и всегда чем-нибудь бывал занят. Что ж касается до вечеров, а особливо в глубокую осень и в зимнее время, когда бывали они длинные и скучные, то должен я был делать старику моему удовольствие и, приходя к нему, препровождать оные с ним вместе. Думать бы надобно, что мне все сие не инако как скоро могло прискучить, однако было тому противное, но я охотно к ним хаживал и делил с стариками без скуки свое время. Ибо кроме того, что я всегда любил обходиться с разумными стариками, и самое препровождение времени было у нас переменное. Но в чем же оныя состояли? Мы упражнялись с ним отчасти в разговорах; г. Розенштраух рассказывал мне свое жительство, и что с ним в жизнь его случилось, и что он на веку своем видел. И как он несколько десятков лет служил в королевской шведской службе и находился во всех походах и на многих баталиях во время войны шведской с императором Петром Великим, и, будучи уже ротмистром, взят был после полтавской баталии нашими войсками в полон, а потом вместе с прочими пленными послан был в нашу Сибирь и там более 10 лет препроводил, да и в прочем многия перемены в счастии и несчастии, как там, так и в прочую свою жизнь видел, то и было всегда довольно материи ему к рассказыванию, а мне к любопытному слушанию и расспрашиванию. В особенности же приятно было слушать, когда он рассказывал о своем пребывании в Сибири и о том, как они там сперва терпели всякую нужду, как потом стали заводить разныя рукоделия и мастерства и ими питаться, как они делывали карты и

прочее тому подобное. Когда же нам наскучивалось говорить, то садились мы за ломбер. Сию игру любил он и старуха чрезвычайно, и мы игравали в нее каждый вечер, а наконец, так привыкли, что наилучшее наше в том было упражнение и увеселение. В особенности же была тем чрезвычайно довольна старуха, имевшая особливо приятный и веселый нрав. Выигрыш и проигрыш был у нас взаимный и неубыточный, к тому ж и играли мы не на призы, а становя только по денежке ставку, а кто сдает – по копейке. Итак, во всю зиму не остался у нас никто ни в проигрыше, ни в выигрыше, хотя мы, бывало, всегда часу до двенадцатаго сидим, и накричимся и нахочемся довольно. Дочери их сиживали вместе с нами, но обыкновенно упражнялись в каких-нибудь рукоделиях.

Сим образом жили мы как одна семья и как родные, и мне было довольно весело. Кроме сего, имел я часто увеселение, бывая на стеклянных заводах и сматривая, как делают бутылки и другую стеклянную посуду. Они находились от нас версты только две и принадлежали моему хозяину. По сей причине бывал я часто на них и, не видавши никогда, не мог довольно надивиться скорости мастеров и всему производству сего дела. Особенно удивляло меня, что из простой золы, да из песку и соли, могла делаться такая жидкая и потом столь твердая и прозрачная материя, каково стекло в бутылках. Иногда выпрашивал я сам у мастеров железную трубку, которою достают они стеклянное тесто из печи, и отведывал сам делать бутылки; и как сделать ее очень немудрено, то и дельвал совершенныя бутылки, но только не так скоро, как они, и мне для сделания одной надобно было более времени, нежели им для сделания трех. Познакомившиеся со мною мастера не отпускали меня никогда с завода праздным и не снабдив множеством разных стеклянных безделушек, как например, стеклянных родов хлопательных сосулек и других тому подобных вещиц.

Кроме всех сих упражнений, не было также по молодости моей недостатка и в других, кои паче резвостями, нежели порядочными упражнениями почесть можно. Между прочим, имел я чрезвычайную охоту к пороху и к деланию всяких фейерверочных фигурок. Но одна таковая игрушка потрясла было мне превеликими бедами, а именно: будучи недоволен обыкновенными шлагами или обыкновенными нынешними гренадерскими гранатами, захотелось мне сделать шлагу побольше гораздо обыкновенной и тем удивить девушек, которыя любливали смотреть та-

кия вещи. Целую неделю делал я ее сам, и как пороху хотелось мне положить в нее целый фунт, то и была она величиною более головы человеческой. Сделавши и изготовив совсем, предложил я девицам, не изволят ли посмотреть, как будут кидать особливаго рода шлагу. Оне рады были тому, как обыкновенно, и охотно согласились выйти на крыльцо вместе с старухою, своею матерью. Время было тогда уже ночное, ибо я нарочно кидывал шлагы ночью, чтоб им виднее был огонь и искры от трубки. Чтob далее кинуть, то велел я шлагу мою привязать на веревочку, и как зажгут, то бы размахать ее хорошенько и как возможно далее кинуть. Я определил к тому двух человек: слугу своего Якова, чтоб кидать, а зажигать велел живущему при мне солдату. В первый раз зажгли и кинули ее порядочно, но как трубка была старая, то не выгорела она вся и не дошед до пороха потухла. Досадно мне сие тогда было чрезвычайно, однако я пошел и, вынувши трубку, ее опять набил мякотью и велел ее в другой раз бросить. Но удача была и в сей раз не лучше прежняго. Я позабыл хорошенько ее внутри вычистить и оттого, засорившись углем, не могла и в сей раз она вся выгореть и потухла.

Тогда разсердился я еще пуще прежняго и хотел было иттить в третий раз набивать, как пришли сказывать, что ужин уже на столе поставлен. Итак, принужден я был иттить на ужин; однако, досадуя на окаянную трубку, велел я ее людям без себя и покуда мы ужинаем, хорошенько вычистить внутри, набить, зная, что им уже это не в первое, и они как набивать знали. Но что ж сделалось? Сии молодцы, набивая оную, не пожалели своей силы, но колотя взапуски друг перед другом, раскололи трубку. Встужились они о том и, не хотя умножить мою досаду, согласились между собою мне о том не сказывать, но вколотили трубку в шлагу, как надобно, нимало не разсудя, что из того может произойти опасность. И как я после ужина спросил, готова ли шлага и хорошо ли набита трубка? «Готова, сударь!» – сказали они. «Ну! ступайте ж бросать», – сказал я. Но что ж воспоследовало?

Не успел солдат зажечь, и слуга мой шлагу еще из рук не выпустил, как ее с превеликим громом в руках у него разорвало. Фрелины закричали, испужавшись от нечаяннаго и жестокаго удара, а я также обмер и испужался, но совсем от другой причины. Нечаянное и скоропостижное разорвание предвестило мне тотчас беду, которую я наделал, а при свете осветившаго огня, что и слуга и солдат мой повалились на землю. Я не

иное что заключил тогда, что убило их обоих до смерти, и для того без памяти бросился к ним, крича: «Ах, убило, убило их бедных!» Со всем тем опаматовался я, увидев, что они оба живы. Солдат тотчас встал и говорил, что его только опалило и оглушило, а слуга мой заревел, минуту спустя, белугою. Мы бросились смотреть, что с ним сделалось, и увидели, что ему руку, в которой он держал шлагу, ужасно повредила она, отворотив совсем большой палец, и что кровь лилась из нея ручьями. Тогда игрушка моя превратилась в трагедию: все тужили и сожалели о сем приключении и не знали, что делать. На его руку страшно было взглянуть: вся она была опалена и окровавлена; платье на нем также горело, и я не помню, чтоб когда-нибудь находился я в таком нестроении, как в тогдашнее время. Но, по счастью, это было в полку и недалеко от лазарета. Я отправил его наутрие в оный и писал к лекарю, который мне хороший приятель был, чтоб он помог ему, и старанием его был он недель в шесть совсем вылечен и сделан опять с рукою. Со всем тем память о сем несчастном приключении долго у меня из головы не выходила, и я благодарил Бога, что оно так окончилось, ибо легко могло стать, чтоб убило сим образом солдата совсем до смерти, и я бы оттого мог попасть в несчастье. С того времени бросил я сию утеху и перестал шлагы делать. В другой раз, в сию же зиму подвержен я был от подобной же сему игрушки, или, паче сказать, от любопытства сам великой опасности. Не знаю чья-то случилась у меня быть тогда немецкая книга. Я, читая ее, нашел, что можно сделать такой порошок, который сам и не будучи ни в чем хлопнет, ежели подержать его на конце ножика над зажженной свечкою, и что вся хитрость состоит в том, чтоб взять одну часть соли, называемой салтартари, которая продается в аптеках, да две части серы, да четыре селитры и, все сие смешав, стереть мелко. Как я ко всем таким вещам был охотник, то захотелось мне нетерпеливо сие испытать, и для того при случившейся первой оказии в Ригу, велел я себе купить помянутых материалов, и когда их привезли, то того ж часа оный белый порошок я и сделал. Изготовивши совсем, захотелось мне действие его попробовать; я велел подать свечу и, насыпав на конец ножа, как было написано, стал жечь оный на огне. Но порошок мой не хотел хлопать, а только шипел, загоревшись. Я его жечь так, я его иначе, но не мог ничего добиться. Досадно мне неведомо как сие было, и я заключал, что либо в книге соврано, либо я не так его сделал, либо упомянуто было не все об оном. В сих размышлениях вздумалось мне,

что, конечно, его надобно наперед стопить вместе, а потом уже истолочь и жечь. Не успел я сего вздумать, как велел малому разложить огонек в кухне, которая у нас в сенях была особливая, и, насыпавши порошок с чайную ложку в небольшую медную чашечку, поставил оную на таган и стал смотреть, что с ним будет. Долго чашечка моя стояла, но порошок мой и не помышлял топиться. Наконец наскучил уже я и говорил малому: «Пропади он совсем! Брось его тут! Пускай себе стоит на огне, а мы пойдем в горницу». Но нетерпеливость и любопытство мое скоро меня назад из оной выгнало. Побыв немного, пошел я с малым опять смотреть свой порошок, и увидел, что он совсем почти растопился, и что ему уже немного дотапливаться осталось. Но как огонь почти погас, то велел я малому поддуть, а сам, наклонившись, смотрел в чашечку. Но что ж впоследствии последовало? Не успел малый мой раза два дунуть в огонь, как сделался вдруг такой удар, как бы разорвало железную гранату или, по крайней мере, шлагу, и мимо самой головы моей не знаю что свиснуло и зацепило за верх колпака моего. Легко можно заключить, что мы оба не только дрогнули, но от такого нечаянного громкого и жестокого удара испужались крайне. У обоих у нас звенело только в ушах; однако, как обоим нам никакого вреда не учинилось, то обрадовался я чрезвычайно хорошему действию моего порошка и дивился, как могло от толь малаго количества онаго так сильно хлопнуть.

Между тем взглянул малый мой на чашечку и, не увидев ея, закричал: «Ба! Да где ж, сударь, чашечка-то?» – «Как где? – отвечал я ему удивившись. – Она там, я ея не брал». – «Да нет, сударь, ея здесь», – повторил он. – «Ну, сказал я тогда: так это, конечно, она у меня мимо головы свиснула!» Сие, в самом деле так было, но мы второпях того и не заметили. Тогда начали мы ее искать по кухне, но как я удивился, нашед ея не только проломленною, но и исковерканною всю об стену каменную, в которую она попала! Удар, произведенный ею, был столь силен, что она сделала в стене даже изрядную ямку. Тогда, увидев сие, подумал я сам в себе: «Ну, хороша бы была игрушка, когда бы она мне в лоб свиснула или в голову попала!» Сердце во мне даже содрогнулось, как я подумал, сколь я близок был к смерти, и благодарил внутренно Бога, что избавил Он меня очевидно от сей нечаянной и великой опасности.

Мы находились еще в удивлении, разсматривая изломанную чашечку, как весь дом встревожился и к нам бежали люди спрашивать, что такое

сделалось. Удар наш слышан был во всем доме, и я перепугал всех живущих. Но никого мне так не жаль было, как любезного моего старика, ибо как случилось сие вскоре после обеда. то он в самое сие время спал и на смерть перепугался. Я просил его о извинении и лгал ему, что я, не зная того, что он спал, выстрелил по вороне из ружья, ибо самой правды мне ему для того сказать тогда не хотелось, что получил бы от него за то опять дружеския тазанья, какия я от него уже слышал за прежнюю мою игрушку. Но после он узнал и дивился сам действию порошка моего, ибо я, узнав короче его свойства и как лучше с ним обходиться, не преминул несколько раз хлопать им при моих хозяевах и тем удивлять и веселить оных. Сим образом кончилось сие приключение, которое едва было не лишило меня жизни, ибо чашечка не более как на вершок от головы моей пролетела. Со всем тем узнал чрез то я, как надобно обходиться с помянутым порошком и открыл, каким образом надобно его жечь, чтоб он хлопал, а вреда никакого причинить бы не мог, а именно: его надобно на широкий конец ножа или, того лучше, на укрепленный в палочку клочок листового железа или жести так положить, чтоб он до краев никак не касался, а лежал бы в середине онаго. Ибо вся важность состоит в том, чтоб пламя свечи до него никак не достигло и он не мог бы от него загореться, ибо в сем случае он только зашипит; а надобно над огнем держать его с терпением до тех пор, покуда он совершенно растает и начнет кипеть, ибо в самое сие время он сам собою и без всякаго зажигания хлопнет.

Из сего всякий легко усмотреть может, что вся опасность, которой я был подвержен, произошла единственно от незнания самого сего обстоятельства, или паче оттого, что г. сочинитель помянутой немецкой книги поленился присовокупить к описанию своему несколько слов и не досказал того, как его жечь и что притом в особенности наблюдать надобно. Погрешность весьма обыкновенная иностранным писателям, и за которую их никак похвалить не можно.

Впрочем, как порошка сего нет нужды класть на нож более количества против грецкой горошины, ибо и оттого делается удар, как из маленького пистолета, то не может произойти от него никакого вреда и опасности. Я много раз после того это дельвал, и всегда только игрушкою сею веселился. Но какую проказу я после того сим порошком сделал, о том упомяну ниже в своем месте, а теперь, сим окончив сие письмо, остаюсь и прочее.

ПРИУГОТОВЛЕНИЕ К ПОХОДУ

Письмо 36-е

Любезный приятель!

В теперешнем письме расскажу вам достальное наше стояние в сих кантонир-квартирах и что случилось со мною в достальную часть зимы. В описанных в предследующем письме и подобных тому других упражнениях окончился 1756-й и наступил новый 1757 год, который в особливости достопамятен был в моей жизни, а не менее во всем свете, бывшими в течение онаго многими весьма знаменитыми происшествиями.

В начале сего года встревожен был наш покой одним нечаянным и печальным известием. У г. Розенштрауха, моего хозяина, было, кроме вышеупомянутых пяти дочерей, еще два сына, которья оба служили в нашей службе и находились тогда в Курляндии, где их кирасирскому полку тогда стоять случилось. Об одном из сих сыновей получено было тогда известие, что он, будучи болен горячкою с пятнами, умер. Я удивился, увидев вдруг поутру в один день вошедшаго ко мне их пастора. По коротком извинении сказал он мне: «Помогите мне, государь мой, утешить печальную фамилию. Я нарочно зашел наперед к вам, чтоб просить вас, чтоб вы при том были, как я сообщать буду г. Розенштрауху печальнейшее известие». Потом рассказал он все дело обстоятельно, и я с охотою согласился, сколько можно, ему в сем случае помогать.

Теперь не берусь я описывать то печальное зрелище, которое представлялось тогда нам, как мы довели речь и наконец известие объявили. Бедный старик ахнул, услышав сие, и едва мог перенести удар, толь мало им ожидаемый. Что касается до матери, то сия упала того часа в обморок, и мы с пастором принуждены были употребить довольно труда к приведению ее опять в память. Плач и рыдание слышно было во всем доме, а особливо между сестрами. Единаго только вытъя, как обыкновения только нам свойственного, я тут не слышал, а впрочем, все, что только можно себе жалкаго вообразить, видимо было тогда в сем доме и несколько дней сряду, в полном совершенстве; пастор истощил все свое красноречие к утешению стариков, в печаль погруженных, но принужден был плакать вместе с ними. Лишение взрослого уже и великия надежды о себе подававшего сына было им несносно и единое напоминание о нем возобновляло всю

горесть и печаль, чувствуемую ими. Я сам, привыкнув уже к ним, как к родным, брал участие в их печали и хотя никогда не знал покойника, однако искренно сожалел о его смерти и употреблял все, что мог к облегчению печали стариков и к утешению их в сем горестном случае.

Не успела их печаль несколько миновать, и возобновиться опять прежнее спокойствие в доме, как вдруг занемог я наижесточайшим образом. Меня схватило так, что я принужден был того часа слечь в постелю и не инако думать, что придет ко мне опять горячка. И тогда имел я случай насмотреться, сколь много меня мои хозяева любили. Они встужились и взгоревались все, власно так, как бы занемог их ближний родственник. Они пришли тотчас все ко мне и только что твердили: «О, бедный г. подпоручик! что вам это сделалось и куда как нам вас жаль!» Но сожаление их при одних словах не осталось, но они употребляли все, что только могло служить к облегчению или лучшему спокойствию больного. И постеля моя казалась им черства, и одеяло холодно, и чай мой худ: все надобно было им для меня переменить, и все, чего бы я ни похотел и о чем бы ни заикнулся, готово было для меня. Они просили, чтоб я только Бога ради сказывал, а служанка их не должна была почти вон выходить, дабы я тем меньше мог дожидаться требуемого. Одним словом, они ходили за мною как бы лучшие мои родственники и не имели до тех пор покоя, покуда я не выздоровел, что, по счастью моему, скоро воспоследовало, но и за сие обязан я был старанию мызницы: она вздумала меня сама лечить и уговорила принять не знаю какой-то серый порошок, уверяя, что он мне, конечно, поможет, что и в самом деле так сделалось. Не успел я оный и совсем не противный порошок принять, как тотчас мне полегчело, и я дня в три оправился совсем от болезни. Таким образом, болезнь моя не продолжилась более недели, и мы стали по-прежнему препровождать свое время.

Удовольствие мое вскоре после сего умножилось еще приездом в полк опять сестры моей. Зять мой отпросился у полковника еще из лагеря домой и, всю осень и половину зимы препроводив в деревне, возвратился тогда в полк и привез опять с собою сестру мою. Он пожалован был между тем уже капитаном. И как он жил и от штаба и от меня только верст за восемь, то сие было причиною, что я часто к ним ездил и дня по два иногда у них гащивал. Сестра моя навезла с собою мне всякой всячины, а особливо из сластей и деревенских конфетов, которыми я в особливости и тем паче был доволен, что мог ими иногда моих хозяев угощать и подчивать,

когда они ко мне прихаживали и тем сколько-нибудь соответствовать их ласкам и благоприятию.

Несколько дней спустя после того обрадован я был еще одним случаем, а именно приездом из деревни людей моих с запасом. Они привезли мне всякой походной провизии и некоторое количество денег, которыми я в особенности был доволен, ибо хотя я и никак не мотал, но жил наивоздержнейшим образом, однако одного офицерскаго жалованья было слишком мало к тому, чтоб можно было содержать себя порядочным образом; сверх того, нужны были тогда деньги и для предстоящаго похода.

Между тем как все сие происходило, слухи о приближающейся и предстоящей с пруссаками войне час от часу умножались и распространялись более. Уже деланы были из-под руки многия великия приуготовления, и от генералов в полки, а от полку ко всем ротным командирам присылаемы были то и дело секретные ордера, чтоб иметь все в готовности к походу и чтоб солдат колико можно более обучать военной экзерциции, а тягости и обозы все исправить, дабы по первому повелению можно было выступить в поход. Сие было причиною, что, чем ближе время к весне приближалось, тем более получал и я себе упражнения. В каждую неделю собираема была у меня рота и обучаема пальбе и экзерциции, а в прочие дни обучались солдаты по квартирам своим. Для самага-ж того принуждены бывали мы все, ротные командиры, несколько раз съезжаться в штаб и к полковнику и вместе с оным советоваться и трактовать о разных полковых надобностях.

По наступлении Великаго поста принужден я был отказаться от стола моего мызника. Мне не хотелось во время онаго есть мясо, и для того велел я для себя особое кушанье готовить. Сестра снабдила меня всем, что принадлежало к постной провизии, а сверх того, привезли мне и из деревни много кое-чего такого, чем в сие время питаться было можно. Со всем тем дружная перемена пищи произвела во мне жестокую лихорадку. Тогда хозяевам моим была обо мне новая забота. «Вот, – говорили они, пришедши тотчас меня навестить, – не правду ли мы говорили, чтоб вы опасались лихорадки. Мы не смели тогда вам прекословить, ведая что того закон ваш требует, однако, когда уже дело сделалось и зло воспоследовало, так ему помогать надобно. Благодарить Бога, что болезнь сия известная, и потому не дивитесь тому, сказала прежняя моя врачевница, что я от вас теперь требовать стану; прежде не хотела я, чтоб вы постились и говели, а теперь

неотменно того требую, чтоб вы целые три дня ничего не кушали». – «Для чего это так?» – спросил я, удивившись». – «Для того, – отвечала она, – что это наинадежнейшее и лучшее лекарство от лихорадки, происшедшей от испорченного желудка, какова теперь ваша».

Предписание сие хотя казалось мне строго, однако, убежден будучи ея уверениями и доказательствами, согласился я тому следовать, а чрез самое то и действительно тотчас от лихорадки своей избавился и был с того времени в разсуждение постных пищей гораздо осторожнее и берегся как можно от грибов, от которых она мне наиболее сделалась, да и хозяйка моя, которой приносил я тысячу благодарений за ея попечение обо мне и вспоможение, старалась отыскивать у себя в доме все, что только можно было мне употреблять с меньшею опасностью в пищу.

Вскоре после того по одному нечаянному случаю принужден я был разстаться с сестрою моею. Нашему полковнику, который был зятю моему всегдашний милостивец и покровитель, случилось на несколько недель отлучиться. Он, отъезжая, поручил команду над полком новому нашему и недавно только приехавшему подполковнику, господину Ступишину. Сей старый и не гораздо хороших свойств человек, не знаю за что-то не поладил с моим зятем. Говорили тогда, будто причиною тому была досада, для чего зять мой, будучи человек достаточный, по приезде своем из деревни ничем его не обослал. Но как бы то ни было, но подполковник на него сердился и изыскивал способов сделать ему какой-нибудь вред. К несчастью, скоро и явился в тому желаемый им случай. От полку нашего велено было командировать надежного офицера в Польшу для некоторых дел, и как комиссию сия была не гораздо выгодна и всякий от нея уклониться желал, то и назначил к тому моего зятя, несмотря, что он был ротный командир, следовательно, и в команду ему иттить не надлежало б. Все старания, употребленные зятем моим к отвращению того, были тщетны, но он принужден был чрез три дня выехать.

Нечаянное сие отправление, а особливо в чужое государство, где наших никого еще не было, причинило сестре моей печаль чрезвычайную. Мне дали о сем тотчас знать, и я, прискакав, нашел ее утопающею в слезах и оплакивающую судьбину своего мужа, которую она почитала уже наперед пагубною и в том не сомневалась. Она любила очень своего мужа, и как не надеялась более его видеть, то горесть ея была неописанна, и я не в состоянии был ее ничем утешить. Таким образом, проводили мы зятя мое-

го в путь, обмочив его нашими слезами, а на другой день принужден был и я расстаться с моею сестрою, ибо как ей одной при полку делать было уже нечего, то поехала и она с горестию обратно в свою деревню. При сем случае довольно испытал я, сколь горестно разставаться с близкими родными при таких обстоятельствах, когда неизвестно, велит ли Бог вперед когда-нибудь еще видеться. Оба мы тогда отправлялись и готовились иттить на войну, и мысль о том, что легко, может быть, оба на ней погибнем, была сестре моей несносна и пронзала сердце ея неописанною печалию. Она простилась со мною, облив меня также слезами, как и своего мужа, и я до тех пор не мог плачущих глаз своих совратить с той страны, куда она поехала, покуда повозки ея были видны и леса не закрыли их от моих взоров.

Таким образом, оставшись один и власно как осиротев, возвратился я на свою квартиру. Тут пред наступлением Святой недели и в самую Великую среду, появилась ко мне опять госпожа лихорадка. Досадно было мне это, однако я ласкался надеждою, что она минует, ибо сперва показалась она очень слабою, почему не уважая оную, поехал я в штаб для присутствия при службе Божественной в день св. Пасхи. Однако я в надежде своей обманулся. Лихорадка моя час от часу не уменьшалась, а становилась сильнее, и в Великую пятницу трепала меня уже хорошим мастерством. Горе на меня было тогда превеликое. Я видел, что мне необходимо надобно будет приниматься за прежнее мое лекарство, ибо знал, что надобно ее заранее захватывать, и чем скорее, тем лучше. Но дни приходили не такие, которые бы к говенью были приличны. Со всем тем как она в Великую субботу меня опять и еще гораздо сильнее бить стала, то некогда было более разбирать праздники. Одним словом, я положил не только все три первые дня Святой недели не есть, но ниже разгавливаться, и действительно сие исполнил. Заутреню и обедню простоял я, за слабостию своею, с превеличайшею нуждою и, возвратившись домой с тощим желудком, продолжал строгое говенье как в тот, так и последующий день, и сие было в первый раз отроду, что я такой великий праздник принужден был препроводить не евши и не пивши. Но до чего не доводит нужда и обстоятельства! Я рад, по крайней мере, был тому, что лихорадка моя чрез то стала очевидно уменьшаться и проходить. Наконец, к вечеру уже третьяго дня, то есть во вторник, заехало ко мне несколько человек наших офицеров, моих приятелей, и требовали ужинать. Я сказывал им, что у меня ничего варенаго и готовленнаго нет и что я уже целые три дня ничего не ем;

но они говорили, чтоб я велел им сделать хотя яичницу. Сие тотчас было исполнено, и тогда не мог я более утерпеть, чтоб не есть с ними вместе. Яичница сия показалась мне тогда так вкусна, что вкуснее того не едал я во всю жизнь мою: толь сильно пронял меня голод. Со всем тем сие мне не причинило уже вреда, ибо лихорадка в самые сии три дня уже миновалась, и с того времени не был я очень долго болен. Вот сколь хорошее лекарство есть голод от лихорадки!

Теперь приближаюсь я к описанию нашего похода и последующей войны, или, по крайней мере, той части оной, которую мне самому видеть случилось. Могу сказать, что я доволен ныне тем, что я догадался тогда вести походу нашему короткий журнал и записку, почему и описать его, при вспоможении памяти своей, могу я обстоятельно. Напоминание прежних с нами приключений, а особливо военных походов, не знаю как-то причиняет нам особое после увеселение, и мы не знаю как веселимся, читая оное и напоминая тогдашния происшествия.

Таким образом, не успело двух недель пройти после Святой недели и весна только что вскрыться, как получен был в полк секретный ордер, чтоб ему немедленно выступить из своих кантонир-квартир и иттить в Ригу, как назначенное для генерального рандеву место. Это было 17-го апреля, как получено было первое о том повеление, которое тотчас сообщено было от полка всем ротным командирам.

Нашим ротам велено было собраться в мызу Кастран, где тогда наш штаб квартировал, к 24-му числу помянутого месяца. Итак, накануне сего дня распрощался я с моими хозяевами, принося им тысячу благодарений за все их оказанныя ко мне ласки, приятство и благодеяния. Они так ко мне чрез зиму привыкли и столь много меня любили, что провожали меня как бы родного и самага ближняго своего свойственника. Они снабдили меня всем, что мне надобно было к походу, и не было никого в доме, кто бы, провожая нас, не плакал. Толь чувствительный опыт дружества трогал меня чрезвычайным образом. Я обнял любезнаго моего старика и не мог сам от слез удержаться. Представление, что я его никогда более не увижу и что прощаюсь с ним и вижу его в последний раз, вогнало в глаза мои слезы. «Прости, любезный господин подпоручик! – говорил он мне сквозь слезы. – Небо даруй вам всякое благополучие и сохрани вас от всех военных опасностей. Ежели увидите моего сына, то прошу ему сказать о нас и рекомендую его вам в дружбу. Вспомните также когда-нибудь и обо мне,

престарелом человеке, и будьте уверены, что я вас и в отсутствии всегда любить и почитать буду и имя ваше по гроб не позабуду».

Прощание с старухой и ее дочерьми было не менее трогательно. Оне все почти навзрыд плакали и желали мне всех благополучий в свете. При отъезде моем вышли оне все на крыльцо и до тех пор кричали мне: «Прости, прости, господин подпоручик!», покуда можно было мне их голос слышать, а им меня видеть.

Таким образом, разстался я с сим честным и добродетельным семейством, от котораго я столь много добра и благоприятства видел, что и поныне преисполнено сердце мое искреннею к сему дому благодарностию, и я не сомневаюсь, что если б ныне случилось мне быть в местах тамошних и видеть то место, где покоятся прахи сих милых стариков, то оросил бы оно своими слезами.

Я прибыл с ротой моею в штаб поутру в последующий день, а к вечеру мало-помалу собрались и все прочия роты, кроме тех, которые стояли на тракте, куда нам иттить надлежало и коим велено было там полку дожидаться. Все мы расположились за версту от мызы Кастран лагерем и ночевали. Поутру же в последующий день отпущены были наши обозы в путь, а около десятаго часа, по отслужении молебна и по испрошении у Бога милости и покровительства, отправились и мы с пехотою и пошли на войну. Сие было 25 числа апреля.

В сей день ночевали мы при корчме Варвар, а наутрие, соединившись с прочими ротами, пошли далее к Риге и ночевали при Смизнис мельнице, где в последующий день дневали. В сем месте случилось мне в первый раз от роду видеть масляную мельницу и то, как масло бьют водою, что довольно было куриозно и стоило того, чтоб посмотреть. Наутрие же, то есть 28 апреля, прибыли мы наконец под Ригу.

Мы нашли уже тут великое множество военного народа. Все поля представились нам усеянными людьми и все белелись от установленных повсюду полков и их белых палаток. Все полки прибыли уже тогда в сие сборное место, и солдаты повсюду взад и вперед ходили. Везде видимо было поспешение и повсюду необходимое в сих случаях замешательство. Инде¹ везли пушки и другие артиллерийские снаряды, в других местах шли команды и полки, а инде был крик и шум от идущих обозов и тя-

¹ Инде – в роли союзн. слова; при сопоставлении, перечислении – в одном, в другом месте; то..., то; так что, что даже.

гостей. Бегание пеших и скакание на лошадях представлялось повсюду зрению; а слух поражал ржанием коней, и звуком труб, и биением барабанов. Одним словом, все находилось в превеликом движении и не что иное, как предстоящий и начинающийся уже поход предсказывало. И как сей случай первый еще в моей жизни был, что я толикое множество военного народа и столько лагерей и полков вдруг и в одном месте увидел, то зрелище сие было для меня очень поразительно, и сердце во мне ровно как поднималось и прыгало при взирании на все сии военные ополчения.

Мы заняли было сперва лагерь под свой полк, версты за три не доходя Риги, и надеялись, что мы простоим тут по крайней мере несколько дней; но надежда нас обманула. Мы не успели расположиться, как принуждены были в тот же еще день опять выходить из своего лагеря, и нам велено было, не знаю для чего, подвинуться ближе к городу и стать лагерем подле самага форштата¹.

Тут прислано было тотчас к нам повеление, чтоб мы все ненужные вещи оставляли и колико можно повозки наши облегчали; в противном случае, если усмотрено будет что-либо лишнее, то отнимется и сожжется. Толь строгое и на первой встрече данное повеление наделало между офицерами во всей армии великую тревогу. У всех у нас много было излишних или по крайней мере таких вещей, без которых нам можно было обойтись и кои повозки наши отягощали. Мы, привыкнув уже к обыкновенным в мирное время прохладным походам, думали, что и тогда дозволено нам будет возить с собою всякую всячину, и потому об оставлении оных на квартирах или в других надежных местах, нимало прежде не помышляли; следовательно, тогда не знали, что с ними делать и куда с ними деваться. К вящему несчастью, турили нас тем и понуждали чрезвычайным образом; при таких обстоятельствах горе на нас на всех было превеликое: мы, сошедшись, жаловались друг другу и требовали совета, но все наши жалобы были по-пустому; всякому самому добрый совет был тогда нужен, но подать его было некому, а вообще все только роптали на наших начальников и главных командиров, и бранили их за то, что не остерегли они нас в том заблаговременно, а сказали тогда, когда нам с своими излишними вещами деваться было некуда и когда разве только их бросать принуждено было. Все почитали сие уже первым безпорядком и говорили, что ежели

¹ Окраина города, пригород.

и впредь все такие будут порядки, то толк не велик будет. Однако все таковыя наши роптания не помогли нам ни на волос, а требовалось скорого только исполнения того, что приказано.

При таких замешательствах рад я уже и тому был, что нашелся один добрый человек, который хотел отослать мои вещи вместе с своими на одну знакомую ему мызу, где, говорил он, они пропасть не могут. Это был поручик г. Вульф нашего полку и мне хороший приятель. Я с радостью согласился на его предложение. И как мы не знали, долго ли наш поход продолжится и все еще ласкались надеждою, что к зиме опять воротимся, то без дальняго размышления связал я изрядную кипу всякой всячины и отдал ему. Одним словом, одних моих вещей набралось с целый почти воз, однако оне все благополучно пропали. Но мне ничего так не жаль, как некоторых книг: их одних наклал я целый ящик и коих было более трех десятков, ибо я оставил при себе одне только самонужнейшия; кроме сего, было и других вещей более нежели рублей на тридцать. Кому оне все достались и кто ими завладел, того не знаю я и поныне, ибо в походе потерял я и записку о той мызе, а приятель мой г. Вульф переведен был вскоре в другой полк, и я его с того времени не видал и не знаю, жив ли он или нет. Сие случилось со мною, а какое великое множество распропало тогда разных вещей у других, того исчислить не можно. Многие принуждены были действительно их кидать, ибо не знали, куда с ними деваться.

Теперь следовало бы мне вам, любезный приятель, рассказывать далее, долго ли мы в сем месте стояли и что последовало далее; но как письмо мое уже велико, а с сего пункта времени начнется уже описание похода всей армии и нашей войны, то отложил я сие до письма последующаго, а между тем уверив вас о неперменной моей дружбе, остаюсь и прочее.

Конец
третьей части



ЧАСТЬ IV

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ МОЕЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ И ПРУССКИЕ ПОХОДЫ 1757

НАЧАЛО ПОХОДА

Письмо 37-е

Любезный приятель!

Предпринимая теперь описывать нашу прусскую войну или ту часть оной, которую мне самому видеть случилось, не за излишнее почитаю предпослать наперед краткое историческое о том объяснение, что собственно подало повод к тому, что и мы вплелись в сию славную в Европе и так называемую *Семилетнюю войну*¹, которая была столь пагубна чело-

Семилетняя война (1756–1763) – крупный военный конфликт XVIII в., один из самых масштабных конфликтов Нового времени. Семилетняя война шла как в Европе, так и за океаном: в Северной Америке, в странах Карибского бассейна, Индии, на Филиппинах. В войне приняли участие все европейские великие державы того времени, а также большинство средних и мелких государств Европы, некоторые индейские племена. Войну считают колониальной, так как в ней столкнулись колониальные интересы Великобритании, Франции и Испании, а также первой окопной – из-за применения в войне большого количества редутов и других быстро возводимых укреплений – и первой артиллерийской войной: число пушек в ней с 1756 г. – 2 на 1000 штыков, с 1759 г. – 3–4 пушки на 1000 штыков и 5–6 пушек в 1761 г.

Основное противостояние в Европе происходило между Австрией и Пруссией из-за Силезии, потерянной Австрией в предыдущих Силезских войнах. Поэтому Семилетнюю войну называют также третьей Силезской войной. Первая (1740–1742) и вторая (1744–1748) Силезские войны являются составной частью Войны за австрийское наследство. В шведской историографии война известна как «Померанская война», в Канаде – как «Завоевательная война» и в Индии как «Третья Карнатская война». Североамериканский театр войны называют франко-индейской войной.

веческому роду и на которой погибло со всех сторон толь великое множество народа.

Пролитию толь многой крови человеческой был наиболее и едва ли не первую и наиглавнейшею причиною умерший за несколько лет до сего король прусский, Фридрих II, дядя ныне владеющего короля пруссакаго. Будучи рожден с отменными качествами и дарованиями, воспитан в строгости у отца, его не любившаго, и совращен в молодости еще своей учителями и друзьями не весьма хороших характеров, с пути истинных добродетелей, препроводив все молодая своя лета почти в неволе, не успел он лишиться отца своего и в 1740 году вступить по нем на престол прусский, как, нашед у себя прекрасное и многочисленное войско, великое множество наличных денег и все государство свое в цветущем и весьма хорошем состоянии, восхотел воспользоваться сделавшимися тогда по причине смерти императора Карла VI во всей Европе замешательствами и отнять наглым почти и несправедливейшим образом от цесарской державы смежную к себе и весьма знаменитую провинцию, Шлезию¹. Он напал наискоропостижнейшим образом тогда на сию провинцию и, будучи весьма расторопным, хитрым, к войне отменно способным и в оной счастливым государем, утеснил оставшую после помянутого императора дочь Марию-Терезию и с своей стороны так, что сия утесненная и гонимая тогда почти целою Европою государыня, для спасения своего и удержания при себе достальных наследственных земель после отца своего и самой императорской короны, принуждена была поневоле уступить ему помянутую провинцию.

Но как лишение оной для цесарскаго двора слишком было чувствительно, и помянутая государыня не могла никак забыть обиды, чрез то ей причиненной, не успела тогдашняя война окончиться, и сия славная и счастливо все напасти преодолевшая государыня утвердиться на царском престоле, как начала она помышлять о возвращении себе помянутой провинции и делать к тому издалека сокровнейшия приуготовления.

Так как Англия заключила соглашение с Пруссией, а Россия тяготела к Франции экономически и по личным симпатиям Елизаветы (проявление правительственной политики, боязнь захвата Пруссией остзейских провинций и ее влияния в Польше), то Россия оказалась противостоящей Пруссии. К России примыкали Австрия, Саксония и Швеция, сталкивающиеся в своих границах с Пруссией.

Обозначение «Семилетняя» война получила в 80-х годах XVIII в., до того о ней говорили как о «недавней войне».

¹ Силезию.

При помощи министров своих нашла она средство преклонить на свою сторону многих и сильных европейских государей и приобрести в них себе сильных союзников. Самые те, которые до того с нею воевали и ей недоброхотствовали, сделались ей друзьями и помощниками. Заключены были тайные союзы с саксонским курфюрстом, бывшим тогда вкупе и королем польским, также с королем французским и с самою Швециею; а употреблены были все удобьвозможные способы к заключению такового ж союза и с Россиею и к преклонению и ее к тому, чтоб и она вплелась в сие замышляемое и до нея нимало не касающееся дело. Происки и хитрости тогдашняго саксонскаго министра Бриля, который наиболее всем сим делом тогда проворил, и имели в том успех вождеденный. Владеющей тогда Россиею императрице Елисавете Петровне, которая, как носилась тогда молва, имела и без того уже некоторую личную на короля прусскаго досаду, и ненавидела онаго, внушено было столько худого о короле сем и насажено столько опасностей, предстоящих якобы России от сего прославившагося и столь усилившагося государя, что и не удивительно, что происками цесарских, французских и саксонских министров доведена была наконец и она до того, что решилась заключить такой же союз и помогать цесаревне в замышляемом ею деле всеми силами своего государства. И как все сие производимо было втайне и весьма сокровенным образом, то может бы дело сие и возымело успех вождеденный, и король прусский не только б лишился опять Шлезии, но и усмирен был по желанию всех вообще союзников, если б не воспрепятствовало всему тому одно бездельное обстоятельство и не сделало во всем великой перемены и помешательства.

Корыстолюбие и измена одного бездельника секретаришки, чрез котораго производились все дела помянутым саксонским министром графом Брилем, была всему тому причиною, и не только разрушила великия намерения столь многих государей, но возжгла и огонь войны, погубившей безчисленное множество народа и причинившей множайшему количеству смертных неописанныя разорения, несчастья и напасти. Сей бездельник, погибнувший потом сам без вести и слуха, подкуплен будучи королем прусским, уведомлял его еженедельно обо всем, что ни происходило секретно в кабинете Брилевом, и сообщал ему даже самыя копии с сокровеннейших переписок между дворами. А чрез сие средство и узнал король прежде времени о том, сколь страшная воздвигается на него буря,

и будучи весьма хитр и во всех своих делах и предприятиях весьма скор и крайне расторопен, нашел способ предупредить удар, ему угрожающий, и положить всем предприятиям противников своих возможнейшую преграду. Он, не дав времени союзникам сделать последния военныя приуготовления, и пользуясь тем временем, покуда они еще не совсем собрались, вошел вдруг и без всякаго объявления войны с 60 000 человек своего войска в Саксонское курфирство, овладел всем оным в один миг, принудил все саксонское и к войне неприготовившееся еще войско отдаться ему в плен, а самого короля удалиться в его Польшу, а оставшую королеву в Дрездене толико утеснил и огорчил, что она вскоре после того лишилась жизни. Все старания цесарскаго двора к отвращению сих наглостей и самое сражение цесарских войск с прусскими, бывшее на границах Богемии, было безуспешно и не могло короля прусскаго остановить в быстрых его предприятиях и счастливых успехах.

Все сие случилось в конце минувшаго 1756 года, и самое сие зажгло огонь войны во всей Европе и подало повод к началу сей войны страшной. Во все новейшия времена не бывало еще никогда столь страшнаго вооружения и толиких ополчений, какия производились везде в начале сего 1757 года. Целых девять армий выступило весною сего года в разных местах в поле, и король прусский окружаем был со всех сторон неприятелями. С одной стороны готовились нападать на него французы, со стороны от Ганновера, с другой – так называемыя имперския войска, со стороны Саксонии, с третьей – цесарцы, со стороны Богемии и Шлезии, с четвертой – шведы, со стороны Померании, а с пятой – велено было иттить и атаковать его нашим войскам, со стороны Пруссии. А король прусский готовился между тем не только защищать и оборонять землю свою повсюду, но иттить еще сам и разорять Богемию.

Сия-то причина была тогдашнему сборищу всех наших войск к Риге, о котором упоминал я в моем последнем письме к вам; а теперь, возвращаясь к прерванной тогда материи, скажу, что между тем как мы помянутым тогда образом стояли лагерем подле самаго форштадта города Риги и с своими излишними пожитками не знали, что делать и их разбрасывали, деланы были со всеми полками великия распоряжения. Все они разделены были на разныя дивизии и бригады, из которых к каждой определены были особливые генералы командирами. Каждая бригада составляема была из трех полков и командовал ею обыкновенно какой-нибудь генерал-майор

или бригадир. Наш Архангелогородский полк достался в бригаду вместе с третьим гренадерским и Ростовским полком, и в бригадные командиры получили мы себе генерал-майора Вильбоа.

Как намерение наших главных командиров было перевести нас, koliko можно, скорей за Двину, то велено было нам к последующему дню готовиться иттить церемониею чрез город Ригу и переходить по сделанному мосту через реку Двину в отведенные на той стороне лагеря, ибо в тот день, в который мы пришли, переходила другая бригада, состоявшая из Бутырскаго, Белозерскаго и Апшеронскаго полку. Итак, наутрие, то есть 29-го апреля, отправив наперед обозы, перешла и наша бригада и стала версты за три от города лагерем.

Перехождение чрез Двину армии, помянутым образом побригадно, было по справедливости зрения достойно, ибо назначенный тогда для предводительства армиею генерал-фельдмаршал Степан Федорович Апраксин хотел в самое то время видеть все полки, ему в команду порученные и с ним в поход против неприятеля отправляющиеся, и для того при самом восходе на мост разбиты были два великолепные шатра, из которых в одном находился всегда помянутый главный полководец сам, со всем прочим генералитетом и знатными чиновными людьми, а другой наполнен был великим множеством дам и знатных господ, хотящих также видеть редкую сию церемонию. Все городские валы поблизости сего места, также дома, кровли и окошки усыпаны были народом обоего пола.

Что касается до полков, то все они должны были иттить наилучшим порядком и церемониею и быть в наилучшем убранстве. На всех солдатах воткнуты были в шляпы зеленяя древесныя ветви, власно как для предвозвестия будущих побед, которыя они одержут над неприятелем. Прежде всего маршировали всех полков той бригады собранные фурьеры¹ с распущенными своими значками при предводительстве своих квартирмистров. Сей нежный строй с разноцветными своими маленькими знаменами составлял первое великолепие всего шествия. Потом шел штат², и ведены были заводныя лошади командующаго тою бригадою генерала. Ничто так не умножало великолепия, как прекрасныя попоны, которыми сии лошади были покрыты. Во всей армии у генералов поделаны оне были тогда оди-

¹ Название унтер-офицеров, исполнявших обязанности ротных и эскадронных квартирьеров. Они носили значок и даже в пехоте ехали верхом.

² Вероятно, штаб, то есть офицеры штаба армии.

накия, и хотя небогатая, но великолепный вид представляющая. Оне сделаны были из вощанки, но расписаны и размалеваны разными красками, отчего издали казались быть шелковыми. По бокам на оных изображены были золотом вензелью имена и гербы того генерала, что все производило некакой величественный и пышный вид. За сими лошадьми везены были пушки с их ящиками и снарядами, а там следовал сам генерал верхом в провожании своего штата. За оным же следовали полки его бригады обыкновенною церемониею, с распущенными знаменами, с барабанным боем и играющею военною музыкою. Все офицеры и самыя знамена должны были салютовать, проходя мимо генерал-фельдмаршала, при котором случае всякий старался как возможно лучше исправлять свою должность. Чистота и опрятность в одеждах и убранствах солдат, зеленые на шляпах их ветви, а того паче кожаные и наподобие древних шишаков сделанные и некоторый род плюмажей, на себе имеющие каскеты на всех гренадерах, придавали особливую красу войску и умножали великолепие.

Не можно довольно изобразить, какия разныя чувства впечатлевало зрение шествия сего, не только в кого иного, но в самих нас, имевших в том соучастие. Мысли, что идем на войну и отправляемся из отечества в страны чуждыя, отдаленныя и вражеския; идем терпеть нужды, проливать кровь и умирать за отечество; воображение, что из всех шествовавших тогда столь многих людей весьма многие назад не возвратятся, но положат свои головы на войне и в походах и в последния тогда расстаются с странами, где родились и воспитаны; неизвестность, кто и кто подвергнется сему несчастному жребию и кому судьба назначила не возвращаться, и прочия тому подобныя помышления приводили дух в некоторое уныние и разстроивали всю душу. Напротив того, с другой стороны, всеобщее предубеждение о храбрости и непобедимости наших войск, льстящая надежда, что неприятелю никак против нас устоять не можно, мечтательное воображение, что мы по множеству нашему замечем³ его даже шапками, и безсомненная надеянность, что мы его победим, сокрушим и возвратимся с славою, покрытыя лаврами, ободряла паки унылое сердце и оное, власно как оживотворив, наполняла огнем военной ревности, толь много помогающей нам охотно и без скуки переносить все военные труды и безпокойства.

¹ Забросаем.

Но я удалился уже от моей материи; теперь возвращаюсь к оной и скажу, что в помянутом новом лагере версты три за Ригою стоял наш полк более недели, в которое время переправлялись за Двину прочия полки, и деланы были к походу все нужные распоряжения. Вся армия разделена была на три дивизии или части, из которых первую командовал сам фельдмаршал, вторую, в которой мы находились, генерал-аншеф Василий Абрамович Лопухин, а третьей генерал-аншеф Вилим Вилимович Фермор. План намерения состоял в том, чтоб обеим первым дивизиям иттить разными дорогами чрез Курляндию в Польшу или паче сказать в Самогитию или Жмудию¹, и потом, соединившись вместе и дождавшись идущих прямо из Смоленска кавалерийских полков и легких войск, вступить в Пруссию, а третьей бы дивизии под командою Фермора иттить вправо, прямо к первой прусской пограничной крепости Мемелю и, при вспоможении отправленного туда же морем флота, осадить сей город.

По изготовлении всего нужнаго к походу, воспоследовал наконец, мая 3-го дня, торжественный выезд генерал-фельдмаршала из Риги. От грома пушек, гремящих тогда со стен городских, стенала только река, и выезд сего полководца был самый пышный и великолепный. Наша бригада случилась тогда стоять на самой дороге, где ему ехать надлежало, чего ради выведены мы были в строй и должны были ему отдавать честь с преклонением знамен как главному повелителю. Ужасная свита всякаго рода военных людей окружала его едущаго. Зрелище сие представлялось нам тогда еще впервые и было для нас поразительно, ибо пышность сего шествия была так велика. что иной государь не выезжает на войну с таковою. Но, о! когда б возвращение сего генерала в сей город соответствовало сему величественному выезду!..

По отъезде его далее к Митаве, куда отправилась тогда первая дивизия армии, остались мы еще на несколько дней в прежнем своем лагере под Ригою, ибо нашей дивизии надлежало после всех выступить и иттить чрез Бовск в Литву. В сие время привезены были к нам в полки новыя и славныя секретныя шуваловския гаубицы. Мы удивились, увидев сии огнестрельныя орудия, и не могли довольно начудиться, для чего дулы

¹ Самогития – земля самогитов, или самаитов, – народности литовского племени. Жмудская земля – одна из областей Литвы, населенная народностью литовского племени – жмудью. Самогиты и жмудь – родственные народности и жившие смешанно на территории уездов Росиенского, Тельшевского и Шавльского бывшей Ковенской губ.

прикрыты были у них медною сковородою и замкнуты и запечатаны. И как всякая скрываемая вещь возбуждает наиболее любопытство, то родилось и в нас во всех неописанное любопытство знать сию тайну; однако она хранилась так строго, что к сим пушкам и близко никого не допускали, но всегда стоял подле ея особливый часовой, а для стрельбы определен был в каждый полк особливый артиллерийский офицер с особою канонерскою командою, которым, под смертною казнию, запрещено было об них сказывать. Итак, не можно было никак узнать ни малейшаго обстоятельства.

Между тем как мы сим образом отдыхали, имели мы время несколько раз для исправления нужд своих ездить в город. Рига была тогда уже пуста и никого в ней из военных не было; на берегу реки поставлены были бекеты и не велено было за Двину перепускать ни единого солдата. Я не преминул также вместе с прочими отпроситься и побывать в городе. Но зачем бы думали вы, любезный приятель? Дивлюсь поистине и поныне тогдашнему моему разсудку. Вместо того, чтоб размышлять о предстоящих походных трудностях, и вместо того, чтоб запастись чем-нибудь нужным и необходимым в такой дальний и неизвестный путь, помышлял я только об одних книгах и об удовольствовании одного моего давнишняго желания. Еще будучи на прежней моей, осенью, квартире у латыша, слышался я от господина Миллера об одной немецкой книге, которую он расхвалил мне неведомо как, и мне хотелось ее иметь, чего бы то ни стоило. Почему, не успел я войтить в город, как первое мое дело было бежать к г. Фрелиху, тамошнему книгопродавцу и спрашивать, есть ли у него «Английский философ, или Клевеланд?» Ибо так называлась сия книга, и как услышал, что есть, то, обрадовавшись чрезвычайно, я тотчас ее себе купил и велел переплесть в наилучший пергаментный белый переплет. Боже мой! с какою радостью и удовольствием возвращался я тогда из города в свой лагерь. Я думал, что я нашел тогда превеличайшее сокровище и нетерпеливо ждал, чтоб ее скорей переплели и совсем изготовили. Вот сколь сильныя действия производят в нас долговременныя желания. Я думал тогда о книге сей и Бог знает, хотя в самом деле она не что иное, как роман, и того далеко не стоила, чтоб ее с таким усердием добиваться и покупать в такое время, когда всем нам не до того было.

Кроме сего, имел я в сие время и другое еще упражнение. Всем полкам велено было тогда отличить себя от прочих, отменными на шляпах

солдат кисточками, или жесткими и нарочитой величины репейками. Они деланы были из разноцветных гарусов и две из них пришивались к обоим задним углам шляпы, а третья стоямя, сбоку, поверх банта. Не могу изобразить, сколько хлопот и сует наделала нам сия безделка и сколько изрезали и искромсали мы разных стамедов, ибо как столько гарусов набрать было негде, то покупали мы стамеды и оные распускали и раздергивали. Каждый полковник старался перещеголять в том другого; и в нашем полку принужден был я выдумывать, и, наделав множество разноманерных и разноцветных, представить полковнику на выбор, который и апробовал ту, которая самому мне казалась лучше прочих.

Сим окончу я сие мое письмо и, сказав вам, что я емь ваш друг, остаюсь и прочая.

ПОХОД ЛИТВОЮ

Письмо 38-е

Любезный приятель!

Между тем как мы упомянутым образом упражнялись в приуготовлениях к походу и время свое препровождали в церемониях и убранствах, неприятели наши работали совсем иначе и были далеко не таковы медлительны. Правду сказать, выступили и мы довольно рано в поход; но король прусский предупредил нас далеко в том. Он, видя делаемая со всех сторон толь страшная против себя вооружения, простирающаяся даже до того, что всех разных войск, ополчающихся против него, было до 700 тысяч, и чувствуя, что он был слишком против их слаб, ибо не имел и со всеми союзниками своими, ганноверцами, более 260 тысяч человек войска, старался наградить то своею поспешностью и проворством, чего не доставало ему в силах. И ведая, что ни которая из неприятельских ему держав не могла открыть кампанию рано, рассудил воспользоваться сим случаем и, собрав колико можно более силы, напасть скоропостижно на сильнейшую из всех и к нему ближайшую, то есть цесареву римскую, ибо надеялся, что в случае, ежели удастся ему с самага начала ее победить и нанести ей удар решительный, то тем не только сделает ей великое помешательство, но разрушит намерения и других держав, ей союзных.

Самое сие и причиною было, что он выступил в поле в сей год чрезвычайно еще рано и с армиею, состоящею более, нежели из 100 тысяч, пошел с разных сторон в цесарския земли тремя колоннами. Сам он, предводительствуя первою, вошел из Саксонии прямо в Богемию, а славный его фельдмаршал граф Шверин, предводительствуя второю, пошел чрез Шлезию, а третью предводительствовал принц Бевернский и пошел в цесарския земли со стороны Лузации.

Для каковых причин спешил король дать решительную баталию, таковыя же причины побуждали цесареву последовать системе, совсем тому противоположной. Она разсудила действовать оборонительным только образом, покуда союзники ея в состоянии будут выступить в поле, ибо предвидела, что тогда король прусский принужден будет разделить свои силы на разные корпуса, а потому и дожидалась она только сего выгоднаго пункта времени для начатия своих военных действий, а до того времени помышляла она только о прикрытии своих земель от нападения неприятеля.

Всходствие сей системы и разделил командующий войсками ея, генерал Броун, армию свою на разные корпуса и, поручив оные в команду герцогу Аренсбергскому, графу Кенигсэку и графу Сербелони, разставил оные в разных местах по границам, а сам с остальною армиею стал против короля. Сим распоряжением надеялся он прикрыть Богемию, и как все оные корпуса были многочисленны и могли скоро соединены быть вместе, то и думал, что они могут повсюду воспрепятствовать пруссакам войти в границы цесарския.

Однако воспоследовало не то, а совсем тому противное. Проворство, хитрость и расторопность короля и искусство его генералов разрушили все намерения и надежды цесарцев. Ничто не могло устоять против оных. Цесарцы сколько ни старались пруссакам препятствовать, но они превозмогли все противопологаемые препоны, – вломились в пределы цесарские, и принудили не только прочих полководцев цесарских отступить, но и самого Бруна ретироваться под самую пушки столичнаго богемскаго города Праги, и по соединении всех своих корпусов стать тут в укрепленном ретраншаментом и множеством батарей лагере, куда вскоре и сам король прибыл.

Не успел сей дойти до Праги и соединиться со всеми своими отдельными корпусами, как нимало не медля и не взирая на все выгодное местоположение, занятое цесарцами, и самые их окопы и батареи, которы-

ми они окружены были, решился их атаковать, говоря отсоветовавшим то своим генералам, что надобно ковать железо, покуда оно горячо. А самое сие и подало повод к той прагской баталии, которая была наиславнейшая во всю войну сию и производилась апреля 25-го, то есть в самый еще тот день, в который мы с полком своим выступили с своих квартир, и войска наши начали собираться к Риге.

Помянутая баталия была страшная и кровопролитнейшая. Со стороны прусской дралось 80, а со стороны цесарцев – 75 тысяч человек. Прусскими войсками командовал сам король с славнейшими своими генералами: графом Швериным, Кейтом и многими другими, а цесарцами – принц Карл Лотарингский и генерал Броун.

Король не послушал фельдмаршала своего Шверина и атаковал цесарцев совсем инако, нежели как советовал ему сей искусный генерал и сямый фундатор прусской армии, но оттого самого совсем было разбит был. Все войска его обратились уже в бегство, и цесарцы получили б верно совершенную победу, если б особливый случай и неустрашимая храбрость самого помянутого фельдмаршала Шверина не произвела перемены и не прекратила всего дела. Сей, видя совершенное уже войск своих разбитие, схватил сам знамя и, закричав: «Трусые и бездельники все, кто за мною не последует!», бросился сам против неприятеля. Войско, увидев сие, пустилось за ним, толпится и выходит из дефилей. Шверин пал мертв со знаменем в руках, но самая смерть его возбудила отвагу и храбрость в войске прусском. Оно возобновляет сражение, стремится на неприятеля, опровергает онаго и одерживает наконец совершенную победу.

Правое крыло цесарцев принуждено было ретироваться в другое место, а левое войтить и запереться в Праге. 5 000 человек цесарцев легло на месте, 10 000 взято в плен вместе с 240 орудиями артиллерии, а 48 000 со множеством принцев и генералов блокированы в Праге. Однако и прусскому королю победа сия стала не дешево. Он потерял на сражении сем 10 000 человек войска; но урон его чувствительнее был еще ему смертию графа Шверина, котораго ему так жаль было, что он, пришед после баталии видеть еще раз тело его, покрытое кровию, смотрел долгое время на него с молчалием и с катящимися из глаз слезами, и наконец, воскликнул: *«Это не подданный, а отец, котораго я лишился!»*

Многие генералы, как его, так и цесарские, оказали на сем сражении чудеса храбрости. В особливости же прославились тем с прусской сторо-

ны принц Гейнрих, брат королевский и генерал Цитен, а с цесарской – генерал Броун, который принужден был также умереть от ран, полученных им на сей битве.

Вот такая дела и страшная кровопролития происходили уже в то время в Европе, как мы собирались иттить на войну. Но я возвращусь теперь к нам и буду продолжать свою повесть.

Седьмое число мая был, наконец, тот день, в который и наш полк, по примеру прочих, принужден был выступить в поход, и как до неприятельской земли было еще очень далеко, а при шествии Курляндию не было никакой опасности, то, для лучшей способности в походе, шли полки наши поодиночке друг за другом. Мы пошли тотчас влево и, перешед рыбачью слободу, вступили позади оной в бывший Псковского полку лагерь, где в тот день и ночевали. В последующий день (8-го) перешли мы только две мили, а в третий (9-го), приближаясь к курляндским границам, начинали уже отчасти чувствовать военные трудности. Перехода нашего хотя также не более двух миль или 14 верст было, и мы вышли хотя и поутру, но Со всем тем, за теснотою дороги, за превеликими останковками и по невычке еще к таким походам, не могли мы в назначенный лагерь прежде приттить, как около полуночи, а обозы наши пришли уже поутру, и для того принуждены мы были в сем месте последующий день (10-го) дневать и дать и людям, и лошадям отдых.

Лагерь для нас назначен был в сем месте посреди соснового бора, и мы впервые еще стояли в таком неспособном и дурном месте, и принуждены были еще, сверх того, всю ночь препроводить без наших повозок и палаток и терпеть стужу, ибо ночи были тогда еще холодны. Мы расклали себе огоньки посреди бора и прогрелись около них, почти всю ночь не евши и не спавши, предвещая себе, что сие и впредь часто будет случаться с нами. Генералы, командовавшие нашими бригадами, кляли и ругали наши обозы. И тяжелы-то они им казались, и от них-то была вся остановка, и для того повторено было приказание, чтоб уменьшены были тягости и чтоб неотменно по два офицера было в одной повозке. Легко можно заключить, что приказание сие было нам весьма нерадостно. Мы взгоревались тогда все и тужили друг об друге, ибо никому не хотелось разстаться с своею повозкою. Но, по счастью, не все то исполняется, что приказывается. С некоторыми из офицеров учинено было то действительно, и бедняки сии принуждены были разбросать опять несколько вещей и кинуть свои по-

возки; но большая часть, и в том числе и я, под разными предлогами удержали свои повозки, к чему и полковые наши командиры, не принуждая слишком строго нас, много способствовали.

Наутрие, 11-го, выступили мы опять в поход и продолжали шествие свое Курляндиею порядочнейшим образом и по-бригадно следующим порядком: сперва шла бригада генерал-майора Вильбоа, состоящая из третьяго гренадерского, нашего Архангелогородского и Ростовского полков. Там следовала бригада генерал-майора князя Василия Михайловича Долгорукова, состоящая из кирасирского Наследника полку да из пехотных Низовского, Бутырского и Выборгского полков, а напоследок бригада бригадира Нумерса, состоящая из Псковского, Апшеронского и Белозерского полков. Мы, перешед мили пол-третьи, ночевали при мызе Экау, где находился разоренный каменный замок и мельница.

На другой день, 12-го, ввечеру, прибыли мы наконец к местечку Бовску и расположились по сю сторону онаго для того, что чрез реку Немонт перейти было не можно, и надлежало делать наперед понтонный мост. К утру, 13-го, он у нас и поспел тотчас, и мне в первый раз случилось тут видеть сей походный и летучий мост. Понтоны сделаны у нас были жестяные и выкрашены красною краскою, и как они, сверх того, все были ровны, то весь мост представлял наипрекраснейшую фигуру, и я не мог довольно зрением на него налюбоваться. В сей день перебиралась вся наша дивизия по оному и проходила чрез местечко без всякой церемонии. Вид сего курляндского городка, в котором я с младенчества жил, и напоминание всех мест, которыя я тогда видывал, наводил мне приятное увеселение, и я не мог на них довольно насмотреться. Мы, перешед оное и переправясь чрез другую реку – Муху – вброд, стали неподалеку от онаго лагерем, в виду вся дивизия.

В сем месте стояли мы двои сутки, 14 и 15, в которое время были мы не без дела. Нам велено было учиться экзерциции и пальбе, и командующие генералы смотрели наше искусство, из которых щедрый наш главный командир Лопухин подарил наших солдат несколькими червонцами. Напротив того, бригадным нашим командиром господином Вильбоем, были мы не так довольны. Строгость и надменность его была нам не очень приятна.

Поутру в третий день, 16-го, выступили мы опять в поход, и вступили наконец в Польское королевство. Мы не могли преминовать, чтоб при

сем выходе из своего отечества и знакомых земель несколько раз на него назад не оглянуться и со вздохом не сказать: «Прости, милое и дорогое отечество!.. Велит ли Бог нам опять тебя видеть и когда-то это будет?» Некакия особливья и трогательныя чувства разливались тогда по всем частям нашего тела и выгоняли против хотения слезы из глаз наших. Мы хотя старались оныя скрывать, однако оне были у весьма многих довольно приметными. Мы ночевали тогда, прошед немного первое польское или паче литовское местечко, называемое Женсмен.

Как, 17-го, за обозами сделалась опять небольшая остановка, а к тому ж достальныя бригады не бывали, то положено было в сем месте передневать и сождаться с прочими. Поелику же наивеличайшую остановку и препятствие делала нам артиллерия, которой мы целый парк при дивизии своей имели, то отправлена она была сего числа наперед.

В следующий за сим день, 18-го, случился тогда праздник, Троицын день. И как главный наш командир был человек крайне набожный и богомольный, то не прежде мы выступили в поход, как отслушав в поставленных полковых церквах обедню, и потому прибыли в назначенный лагерь при другом местечке – Линкове – уже на разсвете последующаго дня, 19-го. Однако принуждены были в тот же день иттить далее до третьяго местечка, называемаго Клавана; но в сем месте мы уже дневали 20-го.

21-го, после полудня, пошла наша бригада опять в поход и шла до деревни Павикшни, куда как пехота, так и обозы пришли уже в полночь.

В сем месте сделалась в обстоятельствах моих перемена. До сего времени был я все еще ротным командиром и правил ротую, что для меня было весьма и выгодно, ибо великая разница быть простым офицером и начальником роты, а особливо в походе. Но тут занемог вдруг наш полковой квартирмейстер, господин Штейн, и надлежало выбрать для отправления должности его другого искуснаго и способнаго офицера. Во всем полку иного не нашли к тому способнаго, кроме меня. Я хотя и старался от того отбыть, но мне не помогло ничто, и я должен был, сдав роту свою другому прикомандированному поручику и приняв фурыеров в свою команду, ехать наперед для занимания лагерей. Перемена сия была мне досадна и нет. Я избавился чрез то неописаннаго того отягощения и скуки, которую имел до того, едучи всегда при роте своей верхом и на всякой версте останавливаясь. Нельзя изобразить, сколь досадна и отяготительна была, по непривычке, всем нам таковая медлительность и на всяком почти

шагу остановка в походе. С утра до вечера, бывало, мы идем, но не более перейдем, как верст 10 или 15, а во все сие время не можно было никому от своего места при роте ни на один шаг отлучиться. Нередко случалось, что переломит пополам спину от непрерывнаго сиденья на лошади, и устанешь так, что животу своему не рад. Мне много помогала еще новокупленная моя книга. Она бывала у меня всегда в кармане, и как скоро закричат, что «стой!», то принимался я за нее и продолжал чтение. По счастью, была очень любопытна, и я не мог уставать ее читаючи. При помянутой же со мною перемене лишился я всех сих отягощений, и мне в особенности было приятно то, что я мог чрез то иметь для себя всегда более времени и покоя, ибо как переходы были очень малые, то будучи на свободе, недолго нам было переехать верст 15 или 12, и тогда по разбитии лагеря не оставалось нам ничего делать, и мы, дожидаясь своих полков могли, сколько хотели, себе спать и отдыхать. Одним словом, мы имели столько свободного времени, что дошло скоро до того, что мне праздность сия уже и наскучила. И как я не привык без дела быть, то, прочитав книги свои и полюбив оныя очень, вздумал на досуге «Клевеланда» моего переводить и препровождать в том все праздное свое время. Упражнение сие произвело мне сугубую пользу, ибо, во-первых, занимаясь тем, не чувствовал я нисколько скуки; во-вторых, избежал чрез то необходимости делать сотоварищам моим, двум другим бригады нашей квартирмейстером, компанию, и ездить с ними в местечки и деревни, и там препровождать время в питье, гулянье, а нередко и в других шалостях непозволительных. Сотоварищами сими были у меня г. Кульбарс и г. Похвиснев. Первый был третьего гренадерскаго полка и служил вместо обер-квартирмейстера; а второй – Ростовскаго полку, и молодец нарочито ветреный. Кроме того, отправляя сию должность, имели мы и ту выгоду, что, приезжая в местечки всегда прежде полков, могли все нужное для своей провизии доставать и купить по вольной цене, а не втридорога, так как покупали мы до того времени, ибо не успевала дивизия куда приттить, как в один час все было выкуплено и ничего достать было уже не можно. Но я возвращусь к продолжению описания нашего похода.

22-го мая пришла наша дивизия до местечка, называемаго Новое Место, и, передневав (23-го) тут, продолжала (25-го) поход свой до местечка Крекенау. В сем месте принуждены мы были опять стоять двое суток, 26 и 27, ибо как заготовлен был провиант, то должны были мы оный прини-

мать и печь себе хлебы. При сем случае в первый раз случилось еще нам печь хлебы сии в земляных печах и растворять квашни в ямах: зрелище до того невиданное и по новости своей любопытное. Мы, увидев помянутыя ямки и в них в рогожах и в мешках растворяемое тесто, а для печения хлебов другия, выкопанныя на-подобие нор, дивились и не хотели верить, чтоб могло выйтить что хорошее; но удивление наше увеличилось, когда увидели после хлебы и сухари столь хорошие и вкусные, что таковых мы до того времени еще не едали.

Что касается до меня, то случилось тут со мною одно смешное приключение. Как я был в сие время в совершенной праздности, то сидел я одним днем в своей офицерской палатке на земле и занимался обыкновенно моим упражнением, то есть переводил на коленях своего «Клеветанда». Углубившись в сие дело, не знал я того и не ведал, что взошла и висела уже над нами страшная громовая туча, а услышал только, что вдруг зашумела и завизжала превеличайшая буря с вихрем и начала рвать наши палатки. Я начал кричать, чтоб бежали люди и скорее колодили колушки покрепче в землю, однако некому, да и некогда было меня слушать! Палатку мою, ни с другого слова, вихрь подхватя всю ударил об землю и прихлопнул ею меня совсем, с бумагою и чернилами моими к земле. Что было тогда делать? Я кричал что есть мочи, но за превеликим шумом, молниею и громом никому было не слышно, а выдраться самому никакого не было способа: так хорошо запутало меня палаточными полами. Одним словом, я едва было тогда не задохся, ибо принужден был сим образом под палаткою лежать более получаса и покуда все, схоронившиеся от дождя кой-куда люди, несчастье мое увидели и, прибежав, меня из тюрьмы освободили. Но каким же уродом я оттуда вышел! Я был весь не только дождем обмочен, но и перемаран чернилами, и рад был уже тому, что освободился. 28 числа сего месяца начался опять поход нашей дивизии и продолжался до местечка Сербелишки, а на другой день, 29, после сего дошли мы, наконец, до знаменитаго польскаго, однако, негораздо большого местечка, называемаго Кейданы. В сем месте в последующий за сим день, 30, сошлись мы с первою дивизиею, которою предводительствовал сам фельдмаршал, вместе. Ибо он, идучи из Митавы другою дорогою через Янышки, Машкутек, Шлав, Радзивилки и Шадов, прибыл также к Кейданам. Однако обе сии дивизии вместе тогда еще не соединялись, но стояли лагерями порознь.

При Кейданах (1) стояли мы целых пять дней, отчасти для приема провианта, который был также тут заготовлен, и печения из него хлебов, отчасти дожидаясь (2) достальных бригад, поотставших несколько от прочих. Однако 3-го числа июня выступил наш фельдмаршал с своею дивизиею далее к Ковно, и на другой день (4-го) после того последовали и мы за ним с нашею дивизиею, которая, дошед до местечка Бобти, ночевала. Наша же бригада оставалась в сей раз назади, но прибыла к сему местечку уже 5-го числа.

Наконец. 6 числа прибыли мы к местечку или, паче сказать, довольно знаменитому и славному городку Ковнам. Мы нашли уже тут великое собрание полков, ибо, как не доходя до местечка, надобно было перебираться чрез реку *Вилию*, которая нарочито была велика, а мостов было еще не сделано, то становились приходящие полки подле сей реки и дожидались изготовления оных.

7-го числа переправились мы чрез помянутую реку Вилию и, прошед Ковны, стали подле сего местечка лагерем. Тут стояли мы немалое время, ибо как чрез помянутую реку переправляться надлежало всей армии по одному только узкому понтонному мосту, к тому ж город сей назначен был генеральным рандеву или сборным местом, то и требовалось к тому не малое время.

Впрочем, как стояние в сем месте было достопамятно некоторыми случившимися со мною происшествиями, то, отложив повествование об них до последующаго письма, теперешнее сим кончу, сказав вам между тем что я есмь и проч.



СТОЯНИЕ В КОВНАХ

Письмо 39-е

Любезный приятель!

Теперь расскажу вам те приключения, которые случились со мною во время стояния нашего в упомянутом польском городке Ковнах.

Первое произошло еще в самый первый день нашего туда пришествия и состояло в маленьком несчастьи, которое навлек я сам на себя своею дуростию, а именно: я прежде уже упоминал, что я отправлял тогда должность квартирмисскую и ездил всегда наперед для занятия лагеря. Выходя сего поехали мы и тогда наперед, как бригада наша находилась еще за рекою Вилиею. Приехав в местечко Ковны, квартирмистр Ростовскаго полку, г. Похвиснев, будучи молодец ветреный и гуляка, не знаю зачем отстал от нас в местечке, а с ним остались вместе и его фурьеры. Мы, приехав с г. Кульбарсом на то место, где за местечком назначено было быть нашему лагерю, не имели времени долго мешкать, потому что полковые наши обозы начали в то время уже перебираться чрез реку, как мы поехали, и для того спешили скорее разбить лагерь. Но горе на меня тогда напало, что не было ростовскаго квартирмистра, без котораго мне лагеря под свой полк разбивать было не можно, потому что бригада наша становилась всегда таким порядком, чтоб на правом фланге стоять гренадерскому, на левом – нашему, а в середине Ростовскому полку, следовательно, без занятия средняго лагеря мне крайний занимать было не можно. Долго дожидался я сего господина, но он немного там позагулялся и не ехал. Досадно мне сие неведомо как было, и я делал ему за то изрядное благословение. Наконец стали уже показываться наши обозы, а лагери наших обоих полков мы и не начинали еще разбивать. Что мне тогда было делать? Другого не оставалось как отмерить на Ростовский полк известную нам дистанцию, а там взять прямую линию с гренадерским полком и разбивать свой. Но как, отмерив



пропорцию сию, пришед я на то место, где нашему полку стоять приходилось, то увидел, что была тут только что вспаханная и еще незаскороженная пашня и не только простая, но разодранная из луга. Одним словом, на всем месте была глыба на глыбе и дернина на дернине. Досадно мне сие чрезвычайно было, ибо такого скверного места не доставалось нам никогда под лагерь во весь поход наш; напротив того видел я, что место, где отмерил я для Ростовского полку, состояло из наипрекраснейшего и ровного луга. Завистно мне было сие и досадно, а более потому, что мы знали, что тут простоим немалое время. В сих обстоятельствах будучи и видя, что ростовский квартирмейстер с фурыерами своими все еще не ехал, захотелось мне услужить полку своему и под каким-нибудь предлогом занять луг для себя, а ростовцев спровадить на пашню, и чрез то избавить свой полк от крайняго безпокойства. И для того, подумав немного и вымыслив уже наперед отговорки и оправдания, пошел я к гренадерскому квартирмейстеру требовать совета; но сей не сказал мне ни того, ни сего. Итак, не получив от него ни приказания, ни запрещения, пустился я на отвагу и разбил лагерь свой подле его полку. Но дабы проступок свой чем-нибудь прикрыть, то разбил подле себя на пашне лагерь и Ростовскому полку. Фурыеры мои и не хотели было для чужого полку трудиться, но я их принудил и велел еще с лучшим и особливым прилежанием все места назначивать, дабы тем порядочнее разбить оный. Не успел я сего сделать, как пришли уже в самом деле и ростовския и нашего полку обозы, и я тотчас велел свои становить на места и занимать скорее лагерь. Ростовские, не видя своих фурыеров, подняли было с нашими спор, для чего становимся мы на их место, однако я их кое-чем умаслил и уговорил становиться в отведенном мною для них лагере. Не успели обозы установиться, как пришла и пехота. Квартирмейстер ростовский не прежде встрянулся из Ковен ехать, как увидя уже идущую пехоту и едва успел к нам без памяти прискакать с своими фурыерами. Ему некогда было тогда разбирать способность места; однако увидев, что место его под наш полк уже занято, прискакал ко мне и говорит: «Эх, братец! я позамешкался в местечке, а ты у меня место занял и не там стал». – «Вольно тебе было не ехать! – ответствен я. – Ведь обозам моим тебя не дожидаться было, и мне не оставалось иного делать!» – «Ну, быть тому так. – говорил он. – Да, эх, какая беда, мне теперь уже не успеть разбить лагерь, полки уже идут!» – «Поезжай! поезжай! – говорю я. – Я уже и для вашего полка разбил своими фурыерами». Он благода-

рил меня еще за то и поскакал полку навстречу, а фурьерам велел иттить на место. Но сии бездельники, пришедши туда, увидели скоро весь мой умысел и для чего все это было сделано, и досадовали чрезвычайно, что им стоять на пашне. Они при сем одном не остались, но со злобы на меня взяли нарочно и перетыкали все тычки и искривляли умышленно линию и фронт так, что и палатки стали очень криво и дурно. Я всего того не знаю и не ведаю и, радуясь своей удаче и обману, поехал, и встретив свой полк, привел на место. Но что ж впоследствии? Радость моя продлилась недолго, но обратилась скоро в печаль, и сия игрушка довела было меня до несчастья. Не успели полки стать в лагерь, как приехал из местечка наш генерал-майор *Вильбоа*, котораго ставка поставлена была у нас на правом фланге. Он не успел подъехать к лагерю, как искривленный Ростовскаго полку фронт тотчас ему в глаза кинулся. Будучи чрезвычайно горячаго и вспыльчиваго нрава, разсердился он тогда чрезмерным образом и поскакал прямо к сему фронту. Но досада его еще более увеличилась, когда он, думая найти там наш, увидел вдруг Ростовский, его любимый полк, который он, будучи до сего в нем полковником, особливим образом защищал и любил. Он поднял тогда превеликий шум и крик и метал вокруг себя огнем и пламенем. – «Кто это? кто? кто это сделал? кто так сделал? кто становил лагерь? для чего худо? для чего криво? для чего не в том месте?» – кричал и вопил он. – «Поддай его сюда!»

Квартермистр ростовский, ведая его вспыльчивость, не смел ему уже тогда показать глаз своих; но, по несчастию, вышло несколько офицеров, кои не меньше прочих были недовольны местом и нажаловались ему, обвиняя прямо меня одного.

Я находился тогда в полку своем и ничего того не знал, не ведал; но скоро увидел я бегающих по всему лагерю и меня к генералу спрашивающих. «Ну! – говорил я тогда сам себе. – Доходит до меня дело! Как-то я отделаюсь и что-то мне будет: генерал – человек бешеный, чтоб не сделал он чего со мною!» Как я думал, так и сделалось. Генерал не успел меня увидеть, как в превеликой запальчивости оборвался на меня и смешал с грязью. Я начал было приносить ему оправдания, но статочное ли дело, чтоб их ему выслушивать! Не оправдания слушать, но наказать меня у него на уме было. «Оборви его! – кричал только он, – оборви адъютант, вот уж я его проучу!» Адъютант тотчас сошел с лошади и стал снимать шпагу. Что мне тогда было делать? Я видел, что плетью обуха не перебьешь, стоял, онемевши, и давал

ему безпрекословно снимать оную. После чего поехал генерал, не слушая ничего более, прочь, а я принужден был иттить в свою палатку.

Слух о моем несчастьи пронесся тотчас по всему лагерю, и всем было это непонятно, за что бы такое меня арестовали. И как весь полк меня любил и был мною доволен, то не было никого, кто бы обо мне не жалел и меня о причине того не спрашивал. Палатка моя наполнилась тотчас офицерами, пришедшими навещать несчастного, и я, горя и смеючись, говорил тогда им: «Вот это за вас я за всех, господа, стражду! Вас я пожалел и на пашню не поставил; но оттого сам теперь терплю беду». Они очень довольны были моим усердием, и потому стали еще более обо мне сожалеть, говоря, что я невинно стражду. Наконец, услышав о том, зашел ко мне сам полковник наш и спрашивал меня обо всем происхождении. Я рассказал ему все подробно и, наконец, смеючись, говорил: «Воля ваша, господин полковник! Вы должны меня теперь защитить – я не для себя, а для всего вашего полку это делал, а мне все бы равно, на пашне ли или на лугу стоять!» – «Конечно, я и не премину стараться, – отвечал он, – и много тобою в сем случае доволен. Однако, возьмите на часок терпение. Надобно дать время остынуть гневу генеральскому, а то я надеюсь на себя, что все дело будет заглажено».

И в самом деле, не успело часов двух пройти, как прибежал за мной ординарец, чтоб я шел немедленно к генералу в ставку. Я нашел там своего полковника, и генерал был уже как овечка смирен и спрашивал меня обо всем происхождении. «Ваше превосходительство, – говорил я ему тогда смело, – не изволили меня давеча выслушать, я совсем в этом деле не виноват; квартирмистр ростовский остался в Ковнах, и я не знаю зачем там промедлил, даже до того времени, как полки пришли уже в город. Я, будучи здесь, дожидался его более двух часов, чтоб он занял свой лагерь, но не мог никаким образом дожждаться. Наконец обозы уже пришли и требовали от меня места. Я не знал, что тогда делать, и думая, что хуже будет, ежели ваше превосходительство застанете обозы в беспорядке и в замешательстве толпящиеся, другого не нашел, как занимать место под свой полк подле гренадерского». – «О! так это так-то было? – прервал мою речь генерал. – Да что же тот молодец там делал и зачем в Ковнах праздновал?» – «Всего того не знаю, ваше превосходительство, – отвечал я, – только здесь ни его, ни одного из его фурьеров не было, и я, увидав уже и их обозы пришедшие, принужден был и для их полку после сам разбивать лагерь».

– «Да что ж он криво разбит?» – спросил генерал. «Тому уже не я виноват, – отвечал я, – мне не учиться разбивать лагеря, и я разбил его хорошо, но они сами нарочно и умышленно все перекивили и тычки мои перетыкали, чтоб привести только тем в гнев меня у вашего превосходительства». – «Вот смотри, какая бездельники! – закричал тогда генерал. – Поэтому не ты, мой друг, виноват, а всему причиною Похвиснев; но я ужо проучу сего молодца! Адъютант! вручи шпагу господину подпоручику, а вместо того поди арестуй Похвиснева и вели его посадить на палочной». Потом, обратясь ко мне, говорил: «Прости ты меня, мой друг! Мне не так все было сказано, и я всего того не ведал». Бог тебя простит, думал я тогда сам в себе, а между тем давай Бог от него скорей ноги.

Сим образом кончилось сие несчастное приключение, которое одно только сего рода во всю мою службу и было. Все офицеры рады были моему освобождению и хвалили меня, что я хорошо отделался. Со всем тем боялся я, чтоб генерал не проведал истинной причины; но, по счастью, скоро после того выбыли мы из-под его команды и определены были в другую дивизию, да и настоящий наш квартирмейстер, господин *Штейн*, от болезни своей свободился и вступил опять в свою должность. Итак, возвратился я в роту и не ездил более занимать лагерей.

Другое приключение было смешного рода и состояло в том, что я нарочно и незнаючи напился пьян и впервые еще от роду. Произошло сие следующим образом. Еще задолго прежде пришествия в Ковны, слышались мы довольно, что в Ковнах продаются славные польския меды, называемыя липецы. Любопытство узнать, что это за напиток, было в нас превеликое, и для того не успели мы приттить в Ковны и расположиться лагерями, как спешил всякий отпроситься в сей город для исправления себя покупкою нужных вещей. В числе сих был и я не из последних. Пришед в город, первое мое попечение было сыскать, где продают липец. Мне указали трактир или винный погреб, куда пришед, спросил я тотчас онаго. Спросили меня, сколько прикажу я? «Штоф!» – сказал я, ибо думал, что он такой же слабый, как и прочия польския меды, которыя иногда в жажду пить можно и до которых мы, идучи Польшею, сделались уже охотники. Хозяин удивился, видя меня одного, а спрашивающаго целый штоф меда! Однако, не сказав ничего, пошел и принес мне оный; а я не меньше удивился, что он со штофом поставил мне на стол маленькую рюмку, а не стакан. «Что это такое! – думал я сам в себе. – Кто это видал, чтоб мед рюмка-

ми и такими маленькими пить?» Однако разсудил опять, что, может быть, тут и обыкновение такое, и видя хозяина, одетого порядочно в немецкое платье, для благопристойности посовестился спросить, что тому была за причина, и постыдился попросить стакана. Итак, налил я тотчас рюмку и выпил. Мед показался мне самым нектаром: чист, вкусен, сладок, приятен, а и к тому ж показался мне и совсем не крепок, а слаб. Почему и дивился я еще тому и говорил сам себе: «Вот, говорили, что липец очень крепок, а вместо того, его без нужды пить можно». Итак, погодя немного, выпил я его еще рюмку, а спустя еще несколько времени, еще одну. Но как в сей раз показался он мне несколько крепче, то не стал я его более тогда пить, а думал пойтить наперед кой-что искупить и поискать кого-нибудь из знакомых, и зайти сюда после и достальное выпить. Расположившись сим образом, говорю я хозяину: не сделает ли он мне дружбы и не поставит ли этот мед в шкаф, и не побережет ли несколько часов, покуда я приду с приятелями и не разопью достальное. «Боже мой! – сказал хозяин. – Для чего не побережь! Извольте, сударь, мед ваш будет цел, а только извольте за него заплатить». – «Конечно, мой друг, – сказал я, – это разумеется само собою; сколько ж тебе за него надобно?» – «Червонец, только!» – сказал с хладнокровием хозяин. Слово сие меня поразило. «Вот-те на! – думал я сам себе. – Хорош медок!» Признаюсь, что мне уже и очень жаль было, что я не спросил наперед, чего он стоит; но как отдавать назад казалось мне уже совестно и дурно, то хотя с превеликим нехотением и досадою на самого себя, но полез я в кошелек, заплатил, сколько он требовал, и пошел со двора, браня сам себя за неосторожность, а мед за его дороговизну; но комедия сим еще не кончилась.

Не успел я с полчаса по городу походить как встретился со мною нашего полку адъютант и, обрадовавшись, меня увидев, говорил мне, что он меня давно ищет, и чтоб я шел как можно скорее в лагерь к полковнику для некоторой нужды. Я было стал звать его с собою в трактир, но он отговорился недосугом и советовал мне опять, чтоб и я не медлил ни минуты. Таким образом, не имея времени заходить за моим лищем, побежал я в лагерь, который не далее был от местечка, как за версту. Тут не успел я приттить к полковнику и, исправив то дело, зачем он меня призывал, возвратиться в мою палатку, как вдруг отнялись у меня обе мои руки и ноги. Странно мне сие и удивительно показалось. Я не понимал, что это значило, и, испужавшись, только и говорил: «Господи помилуй! Что это

такое! Что это с моими руками и ногами сделалось: боли кажется никакой не чувствую, а совсем ими почти не владею». Словом, я сделался таким калекою, что принужден был лечь на землю и валялся, как расслабленный, не понимая, чтоб тому было причиною, ибо как я был, впрочем, во всем уме и памяти, то мне и в мысли не входило, чтоб действие сие произвел мой медок, сладенький и дешевый. Зашедшие ко мне офицеры растолковали мне наконец сию тайну. Они спросили меня, не пил ли я липцу, и как я им сказал, что три рюмочки выпил, то захохотали они и сказали: «Ну, братец! так это он действует, и с тобою еще не то будет». Предвещание их и сбылось. В самом деле, не успело пройти с полчаса после того времени, как сладенький мой и прекрасный медок так меня рознял, что я сделался мертвецки пьян и без ума почти и без памяти валялся, как обрубок, по траве, перед палаткою, и только и дела, что смеялся и хохотал во все горло, ибо мне каждая вещица казалась смешною. И тогда-то в первый раз узнал я, каков бываю я пьяный, но благодарить Бога, что по сие время случилось сие со мною только два раза в жизни. В таковом состоянии препроводил я весь остаток дня, не знал, где найти себе места; но наутрие, проспавшись, проклинал я этот окаянный мед и с его хозяином и не только не пошел допивать его в город, но не хотел об нем и слышать и оставил спокойно стоять его в шкафу у хозяина.

Но я возвращусь к описанию нашего похода. Вся армия, переправившись через реку Вилию, или Вильню, поставлена была лагерем вокруг Ковен. Городок сей лежит в наипрекраснейшем положении места. Немалая река Немонт протекает между высоких гор широкою долиною. Ковны сидят на самом берегу оной и имеют в себе довольно каменного строения, церквей и других домов прекрасных, из которых в наилучшем стоял тогда наш фельдмаршал; а прочия заняты были его свитою и иностранными волонтерами и другими знатнейшими генералами. Весь город наполнился тогда народом и кипел военными людьми. Подле самых стен окружает сей город другая и вышеупомянутая река Вильна, впадающая в Немонт, так что город на самом узгу построен. Полки расположены были по берегам обеих сих рек лагерями и делали тогда наипрекраснейший вид.

Вскоре после прибытия нашего в сие место приехал к армии и генерал-аншеф Броун; также соединились с нею и войска наши, шедшие прямо из Смоленска и из Стародуба и состоящая по большей части из конницы и легких войск. Таким образом собралась в сем месте вся наша армия вме-

сте, кроме дивизии генерала Фермора, которая, как выше упомянуто, пошла осаждать Мемель.

Не успел весь генералитет съехаться и собраться, как делан был тут два раза военный консилиум, или совет, и трактовано было на них о дальнейших предприятиях и о том, где и как вступить в прусские границы; после чего сделано было во всей армии другое распоряжение между полками. Наш полк достался уже в иную и ту дивизию, которою командовал генерал-аншеф Броун; а бригадою нашею, сделанною из нашего да из Нарвского и Выборгского полку, стал предводительствовать уже г. бригадир Берх.

Между тем как мы сим образом и с толикою медленностию тащились из Риги до Ковен и, тут со всех сторон понемногу собираясь, время свое не столько в деле, сколько в праздности и в пустых излишностях препровождали, в Богемии и в других местах продолжал гореть огонь военного пламени наижесточайшим образом. Помянутая прежде сего и столь страшная баталия у цесарцев с пруссаками под Прагою, сколь ни была кровопролитна, и хотя на оной в несколько часов перебито и переуродовано было с обеих сторон более 30 тысяч человек, однако она не переменила нисколько положения дел, не уменьшила лютоści войны и не произвела никакой еще надежды к миру. Баталия сия в особливости достопамятна тем, что хотя все думали и ожидали, что возымеет она великия последствия, однако сего не было, и она их не имела. Все думали, что победивший тогда цесарцев король прусский, погнавшись за ушедшими цесарцами вслед и, догнав, всех их истребит, а запершихся в Праге принудит огнем и голодом отдаться в полон, и многие бились даже об заклад, что король не преминет сего сделать и надеялись, что он овладеет всею Богемиею прежде, нежели цесарцы успеют еще опомниться: однако все в том обманулись.

Король сколько ни употреблял своего искусства к тому, чтоб воспользоваться коликo можно более сею победою, однако не имел в том дальней удачи. Для истребления ушедших цесарцев, хотя и отправил он в погоню герцога Бевернского с 20-ю тысячами человек своего войска, но все старания сего герцога были безуспешны и он не мог никак воспрепятствовать им соединиться с другим цесарским корпусом, стоявшим неподалеку от Колина. Сии войска, будучи подкреплены и умножены другими, пришедшими из Моравии и из Венгрии, составили в короткое время вновь довольно великую армию и для командования оною прислан был Даун,

генерал, который один только мог дарованиями своими сколько-нибудь равняться королевским и в состоянии был ему противоборствовать.

Сам же король разсудил остаться на месте баталии для окружения и взятия города Праги и всех в нем засевших цесарцев. Он послал тотчас в него требовать сдачи; но удивился, услышав, что находится в оном сам принц Барг Лотарингский с целою армиею цесарскаго войска, ибо число оных простиралось до 40 000 человек. Несмотря на то, окружил король со всех сторон сей великий город и, наделав повсюду батарей, стал утешать оный наижесточайшим образом. Одних бомб и каленых ядер кинуто было в него до 170 000 и 900 зданий разрушено и повреждено было оными. Однако всеми сими усилиями не мог король ничего важнаго сделать, и ниже овладеть малейшими укреплениями сего города. Принц Карл противился наупорнейшим образом и опровергал все его на себя посягания. Сама натура помогала ему в том несколько. Преужасныя громовыя тучи и проливные дожди произвели, что река Мульда выступила из берегов, разорвала прусские понтонные мосты и доставила их цесарцам в руки, произведя чрез то в прусском войске великую разстройку.

При сих обстоятельствах и видя, что вся его стрельба неприятелям мало вреда делала, решился король выморить цесарцев голодом и принудить к сдаче, и как в городе начинал уже появляться недостаток в съестных припасах, то и имел бы, может быть, успех в том вожденный, если б не помещали ему в том другия обстоятельства, а именно то, что генерал Даун с 60-ю тысячами человек цесарскаго войска начал подвигаться к городу для освобождения онаго от осады и что герцог Бевернский, будучи слишком слаб для удержания его, принужден был назад податься. Король, услышав о сем, оставил Кейта продолжать осаду, а сам, оторвав сколько можно было войска и соединившись с герцогом Бевернским, с 23-мя батальонами пехоты и 30-ю эскадронами конницы пошел против Дауна, чтоб с ним сразиться.

К предприятию сему побудило короля, во-первых, то, что известно ему было, что Дауну от цесаревы приказано было отважиться на все для освобождения принца Карла и для недопущения до того, чтоб король взял в Праге целую армию в полон. Во-вторых, видел он, что, не сразившись с ним и его не победив, не можно было ему никак овладеть Прагою; а в-третьих, и всего паче, знал он, что от победы над Дауном произойти могут весьма важныя и выгодныя для его следствия. Он надеялся верно, что, выигравши сие сражение, получит он, во-первых, великий и совер-

шенный уже верх над цесарцами; во-вторых, всех ополчающихся против его имперских князей, коих напугал уже он посланными от себя 500 человек гусар в недра Германии для воспрепятствования соединению их войск и достигшими даже до Нюрнберга и Регенсбурга, и кои доведены были уже до того, что начали колебаться и помышлять об оставлении цесарской стороны принудить просить себя о заключении с ними нейтралитета; в-третьих, надеялся он, что разстроит тем и самый план французов, и, может быть, остановит все военные их операции в Германии, ибо сии имели уже между тем время не только выступить в поле, но перейти Рейн и, соединившись с корпусом цесарцев, войти в Вестфалию, где принц Субиз, предводительствуя ими и цесарцами, менее нежели в неделю взял город Везель и отнял у пруссаков все Клевское Гельдернское княжество и прогнал их до самой ганноверской армии, которая, под командою герцога Кумберландскаго, взялась с сей стороны защищать земли прусскаго владения; но приехавшим к армии французским маршалом Детреем была также уже разбита при Гастенбеке и потеряла самый город Ганновер. В-четвертых, надеялся он, что чрез то и самые шведы, угрожающие его нападением на Померанию, сделаются миролюбивее и осторожнее; а в-пятых, уповал он, что чрез то и самый наш двор преклонится на иныя мысли, ибо король и мог бы уже тогда разделить армию свою всюду и всюду, и не только выставить и против нас множайшую силу, но подоспеть на вспоможение и утесненному герцогу Кумберландскому.

Сии-то причины и льстительныя надежды убедили короля спешить скорее итти против цесарцев и дать баталию с Дауном. Многие, разумеющие военное искусство, обвиняют в сем случае короля великою погрешностью и говорят, что мог бы он стать с армиею своею в выгодном и таком месте, где бы он, и не давая баталии, мог воспрепятствовать Дауну продаться до Праги, и что мог бы он чрез то взять сей город, который не мог более уже как несколько дней держаться. Но король, привыкший к скоропостижности и жадничая уже слишком победы, восхотел сам атаковать и тем испортил все дело.

Даун, избрав весьма выгодное положение места, ожидал спокойно нападения от короля прусскаго. Сей не успел притти, как тотчас и напал на него и 7 июня, в два часа по-полудни, началась баталия. Левое крыло армии прусской приближается к атакованию праваго цесарскаго. В единственный миг крыло сие атакуется спереди и сбоку, и устремление жестокое

пруссаков опровергает конницу цесарскую. Граф Сербелони, будучи хотя ранен, но с саблею в руках устремляется против пруссаков, возобновляет сражение и получает опять верх над ними. Пехота дралась между тем с ужасным кровопролитием; шесть раз разстроиваны и прогоняемы были батальоны Фридериховы, и шесть раз возвращались они опять нападать на цесарцев с толикою же неустрашимостью. Даун и король прусский находятся повсюду сами! Принц Карл Лобкович, князь Эстергази и граф Одонель отправляют должностных и командиров, и самых рядовых солдат. С прусской же стороны оба брата королевские, принц Гейнрих и Фердинанд помогают ему и разделяют с ним труды и опасности. Около семи часов вечера ослабевают обе армии от трудов тяжких, и власно как с общего согласия берут на полчаса отдохновение. Фридрих предпринимает употребить последнее усилие и поправить погрешность, учиненную генералом его, Манштейном, чрез начатие там сражения, где от короля ему запрещено было. Он собирает наилучшие свои войска для нападения еще раз на храбрые батальоны цесарские, толико раз их прогонявшие, и идет предводительствовать сам оными. Он останавливает бегущих единым словом: «Или хотите вы жить вечно» и возвращает иттить насмерть! А Даун между тем приказывает коннице своей на левом крыле устремиться на неприятеля и атаковать его сбоку. Сие движение и храбрый отпор его пехоты решили, наконец, судьбу сего страшного дня и доставило ему совершенную победу. Пруссаки потеряли на сем достопамятном сражении до 8000 человек наилучшей своей пехоты и до 12000 ранеными и разбежавшимися. Король ретируется в довольном беспорядке. Все его пышные и великолепные замыслы и льстительныя надежды разрушаются. Он возвращается в тот же вечер к армии, оставленной под Прагою, и через день повелевает оставить осаду, и с стыдом и уроном выходит потом совсем из Богемии; цесарцы получают в добычу 22 знамя и 45 пушек со множеством снарядов. Сии трофеи служат им доказательством их победы, которая не более стоит им 5000 человек, коими покупают они себе великия выгоды и спасают целых 40000 от плена, со множеством принцев и генералов.

Не можно изобразить, сколь много обрадован был цесарский двор известием о сей решительной, славной и во всех обстоятельствах великую перемену произведшей победе. Даун первый имел ту славу, что разбил короля на баталии формальной и порядочной, и император с цесаревою были им так довольны, что поехали сами к его жене сообщать ей сие радостное известие.

Впрочем, известно, что цесарева при самом сем случае учредила свой военный орден, дав ему свое имя Марии-Терезии. Она оказала генералу Дауну то отменное преимущество, что дозволила самому ему учинить произвождение в ея армиях. Сей знак почтения и доверенности был для фельдмаршала сего тем лестнее, что преподавал ему случай изъявить опыты дружбы самым соперникам своим в чести. Выбор, учиненный им в сем произвождении, покрыл его иного рода славою и честию. Которая, не будучи хотя столь громкою, как полученная чрез победу, однако не менее достойна великих похвал. Но я возвращусь к нашей армии и продолжению моей повести.

Из всего вышеписанного легко можно усмотреть, что славная сия баталия при Колине происходила в Богемии, в самый тот день, в который пришли мы с армиею в помянутое польское местечко Ковны. Цесарцы не преминули тотчас отправить к нам курьера с уведомлением о своей победе; но мы не прежде известие о том получили, как 16-го июня.

Легко можно заключить, что известие сие было для всех нас весьма приятно, ибо как цесарцы были наши союзники и мы за них сами воевать шли и в короле прусском имели общего неприятеля, то и произвело оное во всей нашей армии такую же почти радость, как бы победа сия одержана была над ним собственными нашими войсками. Фельдмаршал не преминул тотчас во всей армии оную обнародовать, и тотчас сообщены были во все полки копии с полученной цесарской реляции. После чего собраны были со всех полков и все полковые священники в главную квартиру, где, при гrome пушек, принесено было Всевышнему торжественное благодарение. Все генералы обедали в тот день у фельдмаршала, и пушки принуждены были работать во весь тот день и оглушать громом своим ковенских жителей.

После чего не стали мы уже более тут медлить, но в тот же еще день отданы были приказы, чтоб мы в поход далее иттить готовились. Но я отложу повествование о дальнейшем нашем походе до последующаго письма, а между тем остаюсь и проч.



ПОХОД К ПРУССИИ

Письмо 40-е

Любезный приятель!

Итак, не успели мы получить вышеупомянутого радостного известия, как полководцы наши не восхотели долее медлить в Ковнах, но стали поспешать походом, и для того на другой же день после того, то есть 17-го июня, велено уже было некоторым бригадам выходить в поход и по-немногу перебираться за реку Немонт, чрез которую сделан был также изрядный мост на понтонах. В следующий затем день продолжала армия перебираться, и в сей день выехал и сам генерал-фельдмаршал из Ковен; но вся армия не могла никак перебраться прежде 21 числа, в который день перешел наконец и наш полк вместе с прочими.



Выступление сие из Ковен памятно мне в особенности и поныне по причине одного печального приключения, случившагося в самый тот час, как мы выступили. Я имел в полку нашем одного весьма хорошаго приятеля, который, сверх того, мне и несколько сродни, а притом близкий сосед по моим деревням был. Он служил уже поручиком и назывался Федор Семенович Селиверстов. Поелику характера он был весьма хорошаго, то и жили мы с ним всегда в дружбе и любили взаимно друг друга. Сей человек занемог во время нашего похода Польшею и далеко не доходя еще до Ковен. И как все те по справедливости названы могут быть несчастными людьми, которым случится занемочь в походах, потому что редким из них, а особливо страждущим тяжкими болезнями, удастся выздоравливать, то таковому ж несчастному жребию подвержен был и г. Селиверстов. Его хотя и лечил наш полковой лекарь, но может ли порядочное лечение произвимо быть в походе, когда больной вместо нужнаго ему покоя всякий день подвергается новым безпокойствам и когда самому врачу некогда о самом себе помыслить, а потому и его хотя и привезли в Ковны живого,

но болезнь его уже столько усилилась, что он находился уже при краю жизни. А по сей причине, хотя в Ковнах мы и имели недели две спокойное стояние, но ему не помогали уже никакие лекарства. Но сего было еще не довольно; но несчастный его рок хотел, чтоб он в самую ту минуту лишился жизни, когда мы вступили только в поход и кибитку с ним тронули только с места. Не могу изобразить, сколь сильно поразился я и другие его приятели, когда, отыскав насилу нас, прибежали нам сказать, что он переселился в вечность. Взгоревались мы и не знали, что нам с ним тогда делать. Весь полк находился тогда уже в движении со всеми своими обозами, и сии понуждаемы были с великим поспешением переправляться за реку. Мы доложили о том полковнику и просились, чтоб уволить нас хотя на несколько часов для погребения его тела. Но обстоятельство сие было так трудно, что принуждено было докладывать о том нашему бригадному командиру, ибо от него накрепко запрещено было не отлучаться от своих мест никому; но и тот не более нас отпустил, как на один час времени и приказал нам там его погресть, где мы найдем повозку его на дороге. Что было тогда нам делать? Мы принуждены были повиноваться строгому повелению нашего начальника и, позабыв о всех обрядах и погребательных церемониях, не столько погресть, как вырывши в случившемся подле дороги лесочке небольшую ямку, засыпать его песком, ибо в скорости и за великим поспешением шествия и бывшей между всеми обозами превеликой сумятице и самага попа отыскать было никак не можно. Итак, слезы наши, которыми оросили мы бездушный труп нашего друга, и вздохи, возсылаемые к небесам, служили ему вместо всех церемоний и погребательных обрядов. Не могу вспомнить, коликою жалостию поражены были тогда наши сердца, когда песок закрывал труп его; в последния от глаз наших. Мы воображали себе, что весьма легко статья может, что и мы подвержены будем таковому же несчастному жребию, и говорили взаимно друг другу: «Почему знать! Может быть, и нам также на походе случится умереть! Может быть, и нас таким же образом или еще хуже сего заруют в песок, и никто из родных наших не будет знать, где наша и могила!»

Таким же образом и в сие же время лишился жизни и прежний мой учитель, г. Миллер. Жестокая болезнь похитила его от света вместе со многими другими. От сего человека хотя и много видел я в малолетстве худа, но все оное давно уже позабыл, и он, будучи офицером, так уже меня

любил, что я считал его себе другом, а потому не мог, чтоб и его бездушный труп не оросить слезами дружества. Сей умер хотя еще в лагере и накануне нашего выхода, но поелику был иностранец, то и ему не лучшее было погребение. Таким же образом и он зарыт был, без дальних церемоний, в яму. Но мне время уже оставить сии печальные предметы и возвратиться к нашему походу.

Как, перешед реку Немонт, принуждено было нам переходить весьма крутыя и неспособныя горы, то, передневав на берегу оной 22 число, велено было взять нам на трое суток провианта и иттить наперед, оставя обозы, чрез горы перебираться по своей воле. Сие случилось еще впервые с нами, что мы принуждены были разставаться с нашими обозами и запастись также для себя сестною провизиею, что для нас по необыкновению было довольно дико. Мы перешли в тот день (23-го) всею армиею до деревни Гоги, сидящей на берегу Немонта, и думали, что обозы наши долго не будут; однако они, против чаяния нашего, перебрались еще в тот же день чрез горы и прибыли к нам ввечеру. Единая была нам трудность только та, что лошадей для корма принуждены мы были переправлять вплавь чрез реку Немонт и с немалою опасностию.

Последующий день (24-го) стояли мы тут и отдыхали, а 25 числа выступили опять в поход, оставя обозы позади. Однако они обошли нас на дороге, и мы ночевали в сей день при местечке Прени. Наутрие же (26-го), продолжая поход, прибыли мы к местечку Барбарिशкам и разложились по лагерем позади онаго, в котором и сам фельдмаршал стал в своих великолепных шатрах, которыя мы до сего еще и не видывали, и потому не могли пышности и красивости их и величине всего фельдмаршалскаго стана довольно насмотреться. Весь оный, по множеству разноцветных палаток и шатров, представлял вид некакого маленькаго походнаго городка, посреди котораго возвышались гордые, огромные шатры с позлащенными своими шишками. Один, и величайший из них, стоял впереди и служил вместо залы; другой, стоявший позади сего, был поменьше и служил вместо предспальни, а позади сего стояла уже круглая калмыцкая кибитка, служащая фельдмаршалу почивальною; множество маленьких и сплюсненных между собою палаток окружали сии шатры с трех сторон, и в них живали штат и прочия низкие чины, находившиеся при фельдмаршале.

В сем месте стояли мы опять более недели, отчасти для приближающегося праздника Петра и Павла, отчасти для того, что с сего места надлежало уже поворачивать вправо для вхождения в Пруссию, а у нас не все еще было изготовлено. Также хотелось нашему генерал-фельдмаршалу сделать генеральный смотр всему своему войску, или паче научиться становить оное в ордер баталии. И для того (28-го), накануне Петрова дня, выведена была вся армия, на находящееся неподалеку от нашего лагеря весьма чистое и пространное поле и построена порядочным образом в ордер баталии в две линии. По приезде генерал-фельдмаршала отдана была ему впервые еще всею армиею честь, и он объехал всю ее кругом и любовался зрелищем на толь многочисленное множество народа, в его повелениях находящегося. Многочисленная свита, состоящая из разных чиновных людей, в его шатре находившихся, из множества генералов и иностранных волонтеров, последовала за оным, а несколько десятков чугуевских казаков, гусар, кирасир и других конных войск эскортировали сие шествие и придавали ему еще более великолепия. Что ж касается до бригадных командиров, то всякий из них дожидался приезда фельдмаршала пред фронтом своей бригады, и по приближении скакал к нему и отдавал ему честь шпагою, приказав между тем производить гром в барабаны, играть во всех полках музыке и везде преклонять знамена, как скоро фельдмаршал против них поровняется. Все сие увеличивало пышность сего зрелища, которое для самих нас было еще ново, ибо тогда впервые еще увидели мы всю армию в строю, и вид сей был для глаз наших поразителен.

По совершении всего объезда и осмотра всех полков, назначенных тогда для шествия в неприятельскую землю, отслужен был молебен для испрошения от Бога начинаемому нами делу благословения, а потом началась пальба следующим образом: по выстреле, в первый раз, поставленной на правом фланге сигнальной пушки, началась производиться пушечная пальба из всех полковых пушек в обоих линиях, по одному картузу. По данному вторично сигналу стреляла вся армия по-плутоножно, а по третьему – учинен был всею армиею из пушек и мелкаго ружья генеральный залп, который выстрел наделал уже довольно грома и был столько же нов и поразителен для нашего слуха, сколько вид всей армии для нашего зрения. После чего учинена была первую линиею и конницею примерная атака и мы, побегавши несколько по полю, разстреляв несколько пудов

пороху по-пустому, довольно поизмученные, распущены были наконец в лагери.

Наутрие праздновали мы праздник Петра и Павла с обыкновенною церковною церемониею и бывшим парадом, в который день получил я особливую радость чрез приезд в полк зятя моего, г. Неклюдова. Он командирован был, как прежде уже упомянуто, еще из наших кантонир-квартир в Польшу для заготовления и покупки провианта, и находился в польских именитых городах – Вильне и Гродне, и, наконец, по исправлении своей комиссии, отпущен был и прибыл в свой полк. Посылка сия была ему далеко не такова выгодна и прибыточна, как многим другим, бываемым при таких делах и наживающих себе целыя тысячи. Зять мой не такого был характера и расположения, чтоб ему что-нибудь неправильно наживать и предпринимать для того какия-нибудь мошенничества и присяге и должности противныя дела, почему от комиссии сей не нажил он ни копейки, но, напротив того, в посылке сей претерпел немалый убыток, ибо у него померли от болезней все почти бывшие с ним и весьма хорошие люди, и он выехал с одним только старичишком, и терпел такую нужду в людях, что принужден был уже я сколько-нибудь помогать ему своими, покуда мог он получить деньщиков себе.

На другой день после Петрова дня (30-го) прискакал к нам от генерала Фермора майор Романиус с радостным известием, что толь страшная нам прусская пограничная крепость Мемель, которую пошел он осаждать, взята была наконец им, по продолжавшейся несколько дней осаде, 24-го числа сего месяца на капитуляцию, и притом с столь, хорошим успехом, что с нашей стороны во всю осаду убито было только 3 да ранено 17 человек. Радость о сей первой, полученной над неприятелем выгоде, была во всей армии неописанная, и, казалось, что она много уменьшила тот страх, который имели мы от пруссаков, ибо храбрость оных превозносима была тогда до небес, и описываема была нам уже слишком величайшею, почему и знали мы довольно, что идем против храбраго и сильного неприятеля, котораго не иначе как опасаться было надобно, хотя в самом деле силы его далеко были не таковы страшны.

В последующий день, что учинить 1-го числа июля, было у нас во всей армии торжество и молебствие о сем счастливом происшествии, и земля только стонала от звука пушек, гремящих подле фельдмаршальской

ставки, ибо мы порох по-пустому терять превеликие были охотники. Он сделал для всего генералитета великолепный обед, и мы все не могли довольно навеселиться зрением на неприятельския знамена, которыя взяты были в Мемеле, и, по привезении к фельдмаршалу, поставлены пред его ставкою. Но торжество сие едва было не нарушилось печальным происшествием. В то самое время, как оно отправлялось, сделался в местечке Барбаришках превеликий пожар, и ветер нес огонь прямо на стоявшую поблизости местечка нашу артиллерию, почему сделалась тогда превеликая тревога, и спешили как можно скорее отвезти ящики пороховые; однако пожар скоро потушили, и вреда никакого не последовало.

Таким образом стояли мы в сем лагере по 6-е число июля, и целых почти 10 дней, а в помянутой день выступил фельдмаршал с первою дивизиею в дальнейший поход и, поворотя вправо, пошел прямо к прусским границам, а в последующий день (7-го) выступили и мы с прочими и, продолжая поход свой даже до самага вечера, ночевали при деревне Гутше, где лагерь всей армии поставлен был уже по плану и порядочным образом, а не так, как прежде, побригадно, и где одна бригада, где другая; ибо чем ближе стали мы приближаться к неприятельской земле, тем более стали брать и осторожности, а сверх того, надобно было еще и поучиться становиться совокупно.

В последующий день (8-го), и уже гораздо за полдень, выступили мы опять в поход и, продолжая оный до самой полуночи, пришли ночевать в занятый лагерь при местечке Людвине.

В сем месте стояли мы опять целых четыре дня (9, 10, 11 и 12), в которое время ничего достопамятного не случилось, кроме того, что 12-го числа после обеда была чрезвычайно жестокая гроза с бурей и градом. У многих офицеров сорвало тогда палатки, однако моя удержалась. Град был столь крупен, что почти весь в орех величиною, а многия градины более грецкого ореха были.

13-го числа выступили мы опять в поход и принуждены были обходить превеликий лес и терпеть в воде недостаток. Мы ночевали при одном польском маленьком местечке, котораго звание я позабыл, а поутру (14-го), взяв с собою воду, маршировали до другого польскаго местечка, котораго звания я не мог тогда узнать, и тут опять в пустом местечке ночевали.

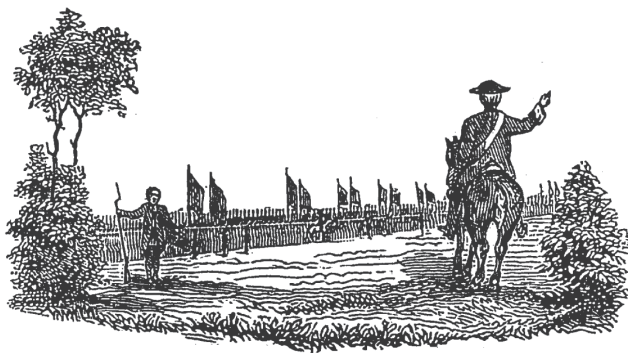
Наконец, 15-го числа пришли мы к польскому местечку Вербалову, которое было самое почти последнее до прусской земли. И как мы сим образом к неприятельской земле совсем почти уже приблизились, то поставлен был лагерь всей армии опять вместе, и батальон-кареем; также употребляемы были уже предосторожности. Перед фрунтом закинута была у нас рогатка, власно так как бы пруссаки были турки и татары, были у нас уже на носу и могли нас всех перерубить и искрошить в мелкие части, если б не взяли сей смешной предосторожности, хотя они были от нас и весьма еще далеко. Но сего было еще не довольно; но за рогатку сии на всякую ночь выводились еще превеликие бекеты, при пушках и гаубицах. Ничто нам так не досадно было, как сии проклятые бекеты, в которых принуждены были мы ночевать в ружье и без палаток, которая предосторожность была совсем еще не нужна и служила только к приучению нас к военным трудам, а того более к напрасному отягощению.

В сем месте и, не входя еще в прусския границы, стояла армия опять целую неделю, отчасти дожидаясь назади еще идущей нашей кавалерии, отчасти брав время для разведывания о неприятеле и о местах, куда нам иттить надлежало. В которое время, на другой день прибыл к нам действительно генерал-майор граф Петр Александрович Румянцев со всею кавалериею и кирасирскими полками, с которыми он из России шел чрез Польшу совсем иною дорогою.

В последующий день, то есть 17-го июля, пойман был уже прусский шпион, разъезжавший под видом польскаго шляхтича, с собаками. Я думаю, он хохотал, увидев нашу трусость и излишния предосторожности. Его поймали наши казаки и провезли мимо нас к фельдмаршалу. Говорили тогда, будто бы он был прусский поручик с двумя солдатами. Чрез сие узнали мы, что и неприятель, с своей стороны, был не без дела, но брал равномерно некоторыя, однако существительнейшия предосторожности.

18-го числа сделано было в армии нашей опять новое распоряжение между полками. некоторыя полки назначены были в авангардный корпус, которому бы иттить всегда наперед, и команда над ним поручена была генерал-поручику Ливену, который у нас в армии почитался искуснейшим и разумнейшим генералом, а другие полки переведены были из бригады в бригаду. От нас отняли тогда также Нарвский и Выборгский полки, а на место их определили в бригаду Белозерский и Бутырский. Богу известно, на что происходила тогда такая тасовка.

Сим кончился тогда весь наш поход чрез Польшу и дружескими землями, и как с сего времени начался в неприятельской, то дозвольте мне, любезный приятель, сим письмо сие кончить и сказать вам, что я есмь и проч.



ВСТУПЛЕНИЕ В ПРУССИЮ И ТРЕВОГА

Письмо 41-е

Любезный приятель!

Пересказав вам в предсудующих письмах всю историю нашего медленного и многотрудного похода чрез Польшу, приступлю теперь к описанию похода нашего Пруссиею, или самых наших военных подвигов. Расскажу вам, любезный приятель, как мы в неприятельскую землю вступили, как оною шли, как с партиями неприятельскими вели так называемую малую войну, а потом как и со всею их армиею дрались порядочным образом. Однако, прежде самага приступления к сему описанию, не за излишнее почел я предпослать несколько слов об обстоятельствах, касающихся до наших неприятелей.



Как король прусский прежде упомянутым образом, ласкаясь надеждою победить цесарцев, всю свою силу употребил наиболее против оных, то относительно до прочих мест и земель своего владения и не оставалось ему другого, как прикрывать их небольшими только отделенными корпусами. Из всех оных, ни которая ему столько сумнения не наводила, как Пруссия. Отдаленность сего королевства от тех мест, где он сам обретался, и смутная обстоятельства, в которых находился он, будучи побежден цесарцами при Колине, препологали ему препоны отправиться туда самому для защищения онаго от войск наших, приближающихся к оному и готовящихся войтить в оное. Чего ради, против хотения своего, принужден он был вверить защищение и охранение онаго старику, своему фельдмаршалу Левальду, дав ему столько войска, сколько ему оторвать только было можно, и число котораго не простиралось даже и до 40 тысяч человек. С сею небольшою, однако из лучших старых полков состоящею армиею, расположился фельдмаршал Левальд по возможности прикрывать Кёнигсберг, яко столицу сего государства, и для удобнейшаго примечания движения наших войск, выступил еще в апреле из Кёнигсберга, и поставил армию свою лагерем между Тильзитом и Мемелем, а свою главную квартиру учредил в Инстербурге. Тут велел он всех конных и пеших жителей обучать ежедневно действовать оружием, и валы и рвы городские оправить, и первые установить пушками; а потом протянул из войск кордон от жмудских границ до самага Мемеля.

В сих распоряжениях состояли его первыя приуготовления; но как скоро услышал он, что мы со всею армиею приближаемся к Пруссии со стороны Польши, то сие побудило его все войска свои соединить и собрать к Инстербургу, а Мемель, по отдаленности его, оставить на произвол судьбы, ибо оный от осады свободять без обнажения внутренности государства было ему никак не можно. Однако отправил он в ту сторону корпус войска, под командою генерал-майора Каница, для удержания войск наших от дальнейшего проникания в Пруссию со стороны от Мемеля.

В сем положении дожидался он приближения наших войск; но не успели мы приблизиться вышеупомянутым образом к самым границам, как он, чувствуя себя слишком слабым для удержания стремительства многочисленной нашей армии, и боясь утеснен быть с двух сторон, то есть нами спереди, а корпусом генерала Фермора, взявшим уже Мемель, с бока, заблагодарасудил податься со всею армиею своею еще далее назад и

перенести главную свою квартиру из Инстербурга в Велаву, куда возвращен был потом и корпус генерала Каница, который слаб был к удержанию шествия Ферморова. Однако Инстербурга и всей реки Прегеля совсем он не обнажил, а оставил тут славного полковника Малаховского с гусарами и другими легкими войсками для примечания движения наших войск и обезпокоивания нас по возможности в походе.

В сих-то обстоятельствах находилась Пруссия в то время, когда мы пришли к ее границам и готовились со всею армиею войти в оную.

Первое вшествие наших передовых войск воспоследовало не прежде, как 20 числа июля, ибо в сей день отправлен был наконец наш авангард под командою генерала Ливена из Вербалова и вступил в неприятельскую землю. Он, дошед до первого прусского местечка, называемаго Столупенен, отправил тотчас от себя для поисков и проведывания о неприятеле партию, состоящую в 300 человеках Нарвского и Рязанского гренадерских конных полков, да 180 чугуевских казаков, под командою рязанского драгунского полка майора Де-ла-Рюа. Но первый сей шаг был для нас весьма неудачен. Нашу партию, к стыду и безславию нашему, неприятели разбили и сего, может бы, и не произошло, если б отправлен был с оною не француз, а россиянин; но его превосходительству, г. Ливену (не любившему всех россиян и дающему всякому чухне предо всеми ими преимущество, ибо он был самый тот, который прежде сего был в Ревеле и о котором упоминал я впереди), заблагоразсудилось вверить столь важную комиссию господину французцу, оправдавшему весьма худо его выбор.

Сей негодный офицер не успел отъехать от Столупян мили три вперед, как, не видя нигде неприятеля, наиглупейшим образом возмечтал себе, что его нет нигде и близко, и потому, расположась в деревне Кумелен, начал себе гулять и пить, и не только сам, но дал волю в таковом же пьянстве и в других роскошах упражняться и всем своим драгунам, власно так, как бы были они в какой-нибудь дружеской земле и не имели причины ничего опасаться. Однако все они весьма в том обманулись. Вышеупомянутый храбрый прусский полковник Малаховский не успел узнать о вшествии наших войск, как в единый миг очутился уже тут со множеством черных и своих желтых гусар. Неожидаемый слух, что прусские гусары показались уже за деревнею, перетревожил наших пьянствующих и рассеявшихся по деревне и привел их всех в превеликое замешательство. Но покуда они сбегались и собирались, покуда второпях строились за деревнею, как вся

неприятельская партия была уже перед ними. Наши казаки сделали себе честь и ударили с обоих флангов на неприятеля с превеликим и обыкновенным своим криком; но как нашли они тут не татар, а порядочных и храбрых гусаров, то сии оборотили их скоро назад, учинив по ним хороший залп из своих карабинов. Первая сия неудачная попытка драгун наших, которья и без того не очень храбры, так устрашила, что они, увидев, что неприятель скакал сам атаковать их с саблями в руках, так оттого испугались, что, не учиня ни одного выстрела, дрогнули и обратились в бегство. Тогда неприятели сели у них на плечах и гнали их чрез деревню Микулену более двух миль, рубя и коля оных и забирая в полон. Наконец подоспел к нашим сикурс и остановил неприятеля от дальнейшей погони.

В сей первой и неудачной для нас стычке побито было наших драгун более 40 человек, также несколько казаков, а 26 человек взято в полон. С неприятельской же стороны, буде верить их реляциям, не потеряно ни одного человека, да и ранено только 3 да убита 1 лошадь.

Слух о сем несчастном приключении распространился тотчас у нас по всему лагерю. Все были крайне недовольны нашими драгунами, а г. майора ругали и бранили все без всякаго милосердия. Он и получил за то достойное наказание. Его разжаловали в солдаты и, сковав, велели судить, а вахмистра его команды, Дрябова, который оказал довольно храбрости и старался команду на побеге остановить и делал по возможности неприятелю отпор, пожаловали в поручики.

Но хорошо, когда бы тем все дело кончилось и вся проступка наша могла быть тем заглажена! Но не то, однако, воспоследовало. Помянутый случай, хотя с наружнаго вида и кажется ничего не значащим – ибо таких маленьких стычек в войнах бывает безчисленное множество, и они никогда не решают главнаго дела, и по большей части обращаются только обоим сторонам во вред и в отягощение – однако о сей стычке сказать того не можно, но она в особливости достопамятна тем, что произвела великия и страшныя последствия, обратившыя в несчастье многим тысячам народа. Ибо, во-первых, сделав во всем нашем войске великое о храбрости пруссаков впечатление, умножила тем в сердцах множайших воинов чувствуемую и без того великую от пруссаков робость, трусость и боязнь; во-вторых, вперила в неприятелей наших весьма невыгодное об нас и о храбрости нашей мнение, и ободрила их чрезвычайным образом; в-третьих, и что всего важнее и достопамятнее, подала к тому повод, что не только не-

приятельския войска, но самые прусские обыватели возмечтали себе, что все мы хуже старых баб и ни к чему не годимся. Почему ополчились уже на нас и самые их мужики, и начали стараться причинять нам повсюду вред и беспокойство, и к особливому несчастью оказали тому первый опыт в помянутой деревне Микулине; ибо, как наши, будучи гонимы пруссаками, чрез селение сие скакали, то жители тутошние, думая, что пруссаки их уже всех нас завоевали, от легкомыслия вздумали и сами помогать гусарам нас побивать, и стреляли по нашим из своих домов и окон, а сие и подало повод к тому, что как о сем донесено было нашему фельдмаршалу, то он, будучи разогорчен и раздосадован всем тем, дал то злосчастное повеление, чтоб впредь, ежели где подобное тому случится и обыватели поднимут на нас руку, – не щадить бы и самих жителей и разорять селения таковыя. Но таковое несчастное повеление не успело излететь из его уст, как тотчас нашими казаками, калмыками и другими легкими войсками употреблено было во зло. Они, будучи разсылаемы всюду и всюду для разведывания о неприятеле, не стали уже щадить ни правых, ни виноватых, но во многих местах, от жадности к прибыткам, начали производить великия разорения, и жителей не только из селений разгонять, но оных мучить, бить, грабить, дома их опустошать, а инде и сожигать и такая делать злодейства, безчеловечия и беспорядки, какия одним только варварам приличны, и кои не только влияли во всех прусских жителей величайшую к нам ненависть и злобу, но и покрыли нас стыдом и безславием передо всем светом, ибо слух о сих разорениях и варварствах разсеялся тотчас повсюду, и везде стали почитать нас сущими варварами. Но сего было еще не довольно; но как разлакомившихся тем наших казаков после и унять уже не было способа, то учиненныя ими разорения самим нам обратились после в существенный вред, и сделали то, что все предпринимаемая в сие лето и толь многочисленныя труды приобрели нам только единое безславление, а пользы не принесли ни малейшей.

Вот что может произвесть погрешность одного человека! Но я удался уже от материи, и теперь время возвратиться к продолжению моей повести.

Наконец, 22-го июля выступила и вся армия в поход и вступила в королевство Прусское. Вход в неприятельскую землю производил во всех нас некое особое чувство. «Благослови, Господи», – говорили мы тогда между собою, имея под нами землю наших неприятелей. – «Теперь

дошли мы наконец до прусской земли! Кому-то Бог велит благополучно из нея вытти, и кому-то назначено положить в ней свою голову!» Мы нашли места сего королевства совсем отменными от польских. Тут господствовал уже во всем иной порядок и учреждение: деревни были чистыя, расположены и построены изрядным образом, дороги повсюду хорошия, и в низких местах повсюду мощенныя, а инде возвышенныя родом плотин и усаженныя деревьями. Одним словом, на все без особливаго удовольствия смотреть было не можно. Сверх того, как тогда не делано еще было никакого разорения, то все жители находились в своих домах и, не боясь нимало нас, стояли все пред своими домами, а бабы и девки наполняли ушаты свежей воды и поили солдат, мимо идущих. Одним словом, казалось тогда, что мы не в неприятельскую, а в дружескую вошли землю.

Первая наша станция в Пруссии была при помянутом прусском первом местечке или маленьком городке Столупенен. Мы шли туда хотя двумя дорогами, однако обе дивизии рядом, почему и стали лагерем в одну линию по обеим сторонам сего местечка, имея оное перед собою.

Не успели мы (23-го) притти в сие место и расположиться тут дневать, как в последующий день сделалась у нас во всей армии первая тревога. В самый полдень это было, как забили у нас в полках везде в барабаны, и весь народ встревожился чрезвычайным образом. Всякий бросал все, в чем упражнялся, одевался, хватал оружие и бежал перед фрунт, куда все полки были выводимы. Генералы разъезжали взад и вперед перед полками, а адъютанты и ординарцы то и дело что в ту, то в другую сторону скакали, и пыль стояла от них только столбом. Мы, не зная, для чего все сие делалось, и не имея о всех вышеупомянутых до прусской армии относящихся обстоятельствах, и о том, сколь она от нас далеко, ни малейшаго сведения, не иное что заключали, как то, что, конечно, вся неприятельская армия шла нас атаковать и была уже очень близко; почему признаться надобно, что первый сей случай и приближение мнимой баталии наводило на всех на нас некоторый род робости, а особливо потому, что никто еще не видал никогда неприятеля и на сражениях быть не случался. Нашему полку трафилось тогда стоять на самом почти правом фланге, и потому немного погодя подхватили с нашего и с некоторых других полков по несколько сот человек, при одном полковнике послали вправо за деревню с превеликою поспешностью. Нам казалось тогда, что тут-то, конечно, неприятель, и нам первым будет с ним драться, и как мне самому случилось

быть в этой команде, то могу сказать, что я насмотрелся тут, коим образом не только такие молодые люди, каков был, например, я, но и самые старые солдаты оказывали робость, и так, что мы, офицеры, принуждены были их ободрять и побуждать к неустрашимости. Я не могу и поныне без смеха вспомнить, какую я играл тогда ролю. У самого меня на сердце было и так и смяк, и я думаю, всякому можно б было из лица моего приметить, что оно было не на месте и что я сам сильно робел и трусил; однако со всем тем старался всеми образами то скрывать и, принимая на себя вид геройства и неустрашимости, уговаривал и увещевал всячески солдат своих, чтоб они не робели и не трусили, и дрались бы с неприятелем храбро. Словом, я читал им целыя предики во всю дорогу, но ноги у самого едва иттить за ними успевали. Чего не делает новость случая и непривычка? Но что ж из всего того наконец вышло?

Мы, вышедши за деревню, которая называлась Петринатшен и лежала почти пред нашим фрунтом, не увидели никого перед собою, а одно только чистое поле и в некотором отдалении лес. Однако, как все к тому клонилось, чтоб прикрыть сию деревню и правый фланг нашей армии, и мы заключали, что неприятель, конечно, находится в лесу, то построились мы порядочным образом, приготовили ружья и патроны и стали дожидаться неприятеля. Но долго бы нам его дожидаться было, ибо неприятеля не было тут и духу и мы, простояв там до самого вечера, все глаза просмотрели. Наконец наступила уже ночь, и нас свели с сего места; но вместо того, чтоб отпустить в лагерь, отвели нас несколько назад и поставили опять на чистом поле для прикрытия праваго фланга армии, где принуждены мы были простоять всю последующую ночь, которая нам весьма солонна и первая была, которую я весьма безпокойно препроводил, ибо не успело смеркнуться, как надвинула преужасная туча и сделалась такая преужасная гроза, с превеликим дождем и бурей, что я редко такую в жизнь мою видывал. Почему легко «можно заключить, каково нам было препроводить всю ночь не только без палаток, но и без епанеч, под дождем и бурей, и что всего досаднее, попустому и без всякой нужды. Довольно, мы, оставя тогда все чины, хоронились под ящики и пушки и нам делали в том компанию и самые штабы. Со всем тем нас до самого света не распустили, и сие, может быть, произошло от того, что об нас совсем позабыли, ибо опасности никакой не было, и мы не могли после узнать, отчего бы произошла вся сия тревога и замешательство, а думать надобно, что показались

где-нибудь гусаришки неприятельские, посланные для подсматривания, а наши полководцы, может быть, думали, что и вся уже прусская армия идет нас разбивать и выгонять из королевства, ибо для маленькой партии не стоило бы того труда, чтоб всю армию тревожить и беспокоить.

Поутру, то есть 24-го июля, выступили мы со всею армиею далее в поход и шли полторы мили до одного пруссаго села, и расположились тут по горам и весьма неровным местам лагерем, и опять в сем месте дневали. Тут видели мы впервые еще жалостныя следствия войны кровавой. Во всем селе не было ни одного человека, и все жители, разбежавшись, скрылись в лесах, оставив дома и все имение свое на расхищение неприятелю. Село сие в самом деле было уже нашими разорено наиужаснейшим образом. Не было ни одного дома почти целого, в котором бы чего изрубленного, перебитого и переколотаго не было, не осталось ни одного окошка и ни одной печи целой, власно так, как бы и самыя сия бездушныя вещи были неприятели и нам злодействовали. Что ж касается до прочих крестьянских пожитков, которых они с собою забрать не успели, то не было их и следов уже, а одни только перья и пух разсыпаны были на полу в избах, ибо и с наволоками постель их нашим разстаться не хотелось; но как перья никому были не надобны, то и валялись они везде по полам изб и комнат, и сие было общественно везде, где ни случалось быть таковым разорениям.

Зрелище таковое нас поражало и производило некоторое сожаление о самых неприятелях наших. Во всей армии говорили тогда, якобы причину к таковому опустошению подали сами прусские жители; что всем им манифестами от нашего фельдмаршала публиковано было, что они оставлены будут с покоем, если только сами не станут предпринимать никаких неприятельских действий, но что они слушались более своих войск, кои им велели при всяком случае нас тревожить и причинять нам всякий вред, а потому и стреливали самые мужики из лесов и из-за кустов по нашим солдатам, а особливо после последняго и удачнаго для них шармицеля. Далее говорили, якобы от нашего фельдмаршала посылан был нарочной к прусскому главному командиру с требованием, чтоб такия наглости и беспокойства делать мужикам запрещено было и что в противном случае учинено им будет за то достойное наказание. Но как от неприятелей запрещения сего сделано не было, то будто самое сие и подвигло нашего полководца наказывать их самому и стараться зло сие отвратить помянутыми опустошениями. Справедлива ли сия молва была или нет, того под-

линно не знаю; а известно только то, что зло тем не уменьшено, а только еще более увеличено было.

26-го числа выступили мы опять в поход и дошли в сей день до прусскаго знаменитаго и тутошняго околотка столичнаго городка Гумбинн и, став подле онаго лагерем, отдыхали тут целых два дня, в которое время приводимы были к присяге все гумбинские жители. Который прекрасный городок, будучи и неукреплен и оставлен от своих без всякаго прикрытия, покорился нам без прекословия и прислал к фельдмаршалу предварительно своих магистратских членов с прошением, чтоб принять их в свое покровительство, а то же сделали и некоторыя другие ближние городки и местечки.

Как идучи от сего места далее вперед к городу Инстербургу, надлежало армии в одном месте проходить весьма узкую дефилию сквозь густой и большой лес и между гор, а получено известие, что сей узкий проход занят был неприятельскими гусарами, то 27-го числа ввечеру, после пробития уже зари, отправлена была для осмотра и очищения сего узкаго прохода от армии знатная партия, состоящая в 300 человек гусар, 300 чугуевских казаков и 500 человек донских казаков под командою генерал-квартирмейстера фон-Штофельна да гусарскаго полковника Стоянова; а в подкрепление их велено было иттить бригадиру Демику с несколькими эскадронами кирасиров и других кавалерийских полков.

Сия партия, приблизившись на разсвете другого дня к помянутому лесу, нашла действительно немалое число неприятельских гусар под командою вышеупомянутаго полковника Малаховскаго, и потому тотчас с ними и сразилась, и сие маленькое сражение было первое порядочное у нас с пруссаками. Пруссаки в своих реляциях писали, что с помянутым полковником было будто с небольшим 100 человек гусар, и что он в ночь под сие число, отправившись из Гервишкеменя для рекогносцирования положения нашей армии, подъехал к нам меньше, нежели на полмили, и что будто туман и темнота принудили его возвратиться назад к своему посту, захваченному между рекою Писсою и Пичинским лесом, и что тут напали на него наши, гораздо с превосходнейшею силою, отчего и дошло до жестокой перестрелки, продолжавшейся целых два часа; но будто наконец он наших прогнал, но как-де они ретировались в лес, то далее гнать было не можно. К сему, по обыкновению своему, наибезстыднейшим и безсовестнейшим образом хвастать и лгать, присовокупляют они, что будто мы, кроме многих раненых и одного взятаго ими в полон гусара, потеряли бо-

лее 50 человек побитыми, а у них якобы побито и переранено было только несколько человек. Однако это совсем неправда и ложь их видна из самой их реляции, хотя они и старались прикрыть ее уверением о справедливости своих объявлений, и выхваляя особенно храбрость наших гусар и казаков. А в самом деле, как нам, почти самовидцам довольно было известно, полковник Стоянов атаковал их с своими гусарами и казаками так храбро, что они по продолжавшемся двухчасовом сражении и перестрелке принуждены были обратиться в бегство, и наша партия, не дождавшись еще своего сикурса, не только их из помянутого дефиле выбила, но и гнала их более мили и даже за Инстербург, побив около 50 человек гусар с одним офицером и взяв в полон 1 гусара, 1 егеря и 2 вооруженных мужиков. С нашей же стороны убит 1 гусарский поручик да 5 человек гусар; да ранено 1 казацкий хорунжий, 1 казак и несколько человек гусар.

Известие о получении сей первой небольшой над неприятелем выгоды ободрило много всю нашу армию. Все вообще радовались тому, что и пруссаки умеют бегать и что мянувший наш проступок был довольно заглажен. Далее расхвляем был генерал Штофельн за благоразумное распоряжение, а полковник Стоянов – за неустрашимую храбрость; а говорили также, что при сражении сем находились и некоторые из господ наших волонтеров, а именно: молодой граф Апраксин, граф Брюс, князь Репнин и барон Лопиталь, племянник французскаго посланника.

Между тем как сие у нас впереди происходило, стояли мы с армиею спокойно при Гумбинах и отдыхали, что мне в особенности памятно потому, что я весь сей день упражнялся в переводе своей книги.

Таким образом, овладев вышеупомянутым тесным проходом, 29 числа выступила наша армия в поход, оставив в Гумбинах Низовский пехотный полк с больными, и, перешед речку Нарп и дошед до упомянутого леса и деревни Станаитшен, расположилась лагерем.

Не успели мы к сему месту приттить, как от отправленного наперед авангарда получено известие, что неприятельская армия якобы вся строится за лесом в ордер баталии, и как сие сочтено было, что она хочет дать баталию или не допускать нас всю силою проходить сквозь помянутый тесный и длинный лес, то как скоро смерклось, ударен был генеральный марш и вся армия, оставив все обозы и для прикрытия оных несколько полков, пошла с артиллериею, в ночь чрез помянутый лес. Мы с полком своим оставались тогда в арьергарде с обозом и с нетерпеливостию ожида-

ли, что впереди с армиею воспоследует и не произойдет ли главной баталии или какого-нибудь важного сражения. Однако поутру услышали, что она прошла помянутый лес благополучно и без всякого помешательства и что, кроме бывшей в лесу у наших казаков с прусскими подъезжавшими для рекогносцирования армии нашей гусарами небольшой стычки и в которой сии последние опять с уроном прогнаны, ничего не воспоследовало. Хотя пруссаки в объявлениях своих и о сем третьем случае, хвастая немилосердно, лгут, говоря, что они наших прогнали и урон имели небольшой, но можно ли тому стать, когда была тут вся армия, а их тут только человек с двести с помянутым полковником Малаховским подъезжало.

Армия наша, прошед лес, не нашла пред собою не только всей неприятельской главной армии, но и никаких уже войск прусских, и тогда узнали, что вся молва об армии прусской была совсем несправедлива. А то хотя была и правда, что неприятельская пехота усмотрена была около тех мест строившеюся, но после узнали, что то был только небольшой detachment, состоящий из некоторого количества прусской конницы и пехоты, который под командою генерал-майора Платена отправлен был от армии их вперед для примечания движения наших войск и для прикрытия Инстербурга, почему и стоял он до сего времени при сем городе. Но, узнав о близком уже приближении нашей армии и почитая себя слишком слабым для удержания оной, собирался тогда отступать далее назад за Инстербург и разорял мосты при сем городе чрез речки Аалруп и Инстер, а нашим передовым войскам показалось, что уже и вся неприятельская армия строилась в ордер баталии и готовилась к сражению, хотя она была еще от нас за несколько верст разстоянием, и у ней и в уме и в помышлении еще того не было. А у нас-то трусости и боязни и Бог знает сколько было! Из чего означается само собою, что предводители наши имели о неприятеле и положении его армии весьма худое и недостаточное сведение.

Итак, поутру велено было и нам с обозами и арьергардом к армии следовать, и мы, прибыв к оной уже ночью, нашли ее стоящею версты за три от города Инстербурга в виду онаго и нас целый день на жару без палаток ожидавшеюся.

На сем переходе случилось мне еще в первый раз увидеть неприятеля, однако не живого, а убитаго. В помянутом лесу то было, как сказали нам, что в стороне под кустом онаго лежит тело. Все мы с превеликим любопытством поскакали оное смотреть. Но какое же жалкое зрелище представи-

лось очам нашим! Человек сей был превеликаго роста и с большими усами; лежал совсем обнаженный навзничь и от жара весь раздувшийся и отекший, как от водяной болезни; черви кипели у него под всею отдувшеюся кожею, так что без ужаса и внутренняго содрогания смотреть на него было не можно. Мы и подлинно принуждены были скоро отворотить наш взор и, вздохнув, ехать прочь, говоря друг другу: «Вот сим-то образом, может быть, случится где-нибудь и нам лежать под кустиком и преданным быть в жертву стихиям, зверям, птицам, червям и насекомым!» Но письмо мое уже велико. Время мне оное окончить и сказать вам, что я есмь и прочая.



ПОХОД ПРУССИЕЮ

Письмо 42-е

Любезный приятель!

Последнее мое письмо к вам кончил я пришествием нашим к Инстербургу. Теперь, продолжая повествование свое далее, скажу, что не успели мы в сие место приттить, как услышали, что наши уже овладели сим городом: ибо как пруссаками оставлена была в нем только небольшая команда, то наши донские казаки тотчас ее выгнали, напротив того, мы ввели в сей весьма малоукрепленный городок Невский пехотный полк для гарнизона.



В последующий день, то есть 31-го июля, подвинулись мы к городу ближе и стали в разбитый между Инстербургом и другим, напротив его за рекою лежащим, городком Георгенбургом лагерь, и стояли тут как сей, так и последующие оба дня, то есть 1-е и 2-е числа августа.

В сие время происходил дележ первой полученной в городе от неприятеля добычи, состоящей в превеликом магазине соли, которой так было довольно, что всем чинам, в армии находящимся, и служивым и неслуживым, досталось по два фунта на человека, а сверх того, еще множество осталось для запаса. Также найден был в городе цейхгауз со множеством старой прусской аммуниции, которая роздана была вся нашим калмыкам, а в Георгенбурге найдено было несколько сот четвертей ячменя и овса.

В последующий день, то есть 4 августа, прибыли к армии и достальные наши, идущая из России легкая казачья и калмыцкая войска, также и несколько полков драгунских под командою генерал-аншефа Сибильскаго, также генерал-поручика Зыбина и Костюрина. Итак, недоставало тогда одной дивизии генерала Фермора, которая по взятии Мемеля шла также соединиться с нами.

Помянутый генерал-аншеф Сибильский принят был пред недавним только временем в нашу службу из польской, и принят по славе, носившейся об нем, что он был храбрый и искусный генерал. Почему по приближении к прусским границам и отправлен он был навстречу помянутым легким войскам, и ему велено было войтить с ними в Пруссию в другом месте и далее в левую от нас сторону, и расположить шествие свое чрез Голдап и Олецко и занять тамошние округи. Сей генерал, вошед в Пруссию, крайне удивился, увидев делаемая казаками повсюду разорения, пожоги и грабительства, и с досадою принужден был быть свидетелем всех жестокостей и варварств, оказываемых нашими казаками и калмыками против всех военных правил.

О сих разорениях, к вечному стыду нашему, писали тогда пруссаки в своих реляциях, что как скоро вошли они в Пруссию чрез Олецко, то тотчас, как сей город, так и Голдап со множеством деревень разграбили дочиста, а деревни Монетен, Гарцикен, Данилен и Фридрихсгофен совсем обратили в пепел, умертвив притом и великое множество людей. Далее, что во всех тамошних местах не видно было ничего, кроме огня и дыма; что над женским полом оказываемы были наивеличайшия своевольства и оскорбления; что из сожженной деревни Монетен ушли было все женщи-

ны на озеро, но и там от калмыков в камыше не отсиделись; что пастора Гофмана в Шарейкене измучили они до полусмерти, допытываясь денег, хотя он им давно уже все, что имел из пожитков своих, отдал и так далее.

Таковыя поступки наших казаков и калмыков поистине приносили нам мало чести, ибо все европейские народы, услышав о таковых варварствах, стали и обо всей нашей армии думать, что она таковая же.

Что принадлежит до сих калмыков, то сии легкия наши войска имели мы тогда впервые еще случай увидеть и порядочно рассмотреть. Они нам показались весьма странны, а особливо, когда они разъезжали мимо нас полунагими и продавали плетеня свои плети, которыя они превеликие мастера делать. Платье на них было по большей части легкое, красное суконное, но они его никогда порядочно не надевали. На любимое их обыкновение – есть падаль лошадиную и варение лошадиного стерва в котлах, не могли мы смотреть без отвращения. А видели мы также и их богослужение, производимое в круглом особом шатре. Несколько человек их духовных сидело, поджав по-татарски под себя ноги вокруг шатра, подле пол, и всякой из них бормотал, читая книжку, и в том едином состояло у них все богослужение. Впрочем, думали мы сперва о храбрости их весьма много; но после оказалось, что если б их и вовсе не было, так все равно, ибо они наделали нам только безславию, а пользы принесли очень мало. Но я возвращусь к продолжению моего повествования.

Третье число августа определено было единственно для переправы чрез реку Инстер, текущую между Инстербургом и Георгенбургом. Сия река была хотя небольшая, но принуждено было делать мост, и перебраться чрез ее не скоро было можно. Итак, поставлен был лагерь по ту сторону оной, подле замка Георгенбурга.

В последующий день (4-го) перебирались чрез реку наши новопришедшия легкия войска и, проходя армию, становились впереди у оной, ибо им назначено было быть всегда впереди, составлять так называемую летучую армию и очищать нам путь от неприятеля. Для сего, и поджидая ферморской дивизии, принуждена была армия в сем лагере дневать, отправив только вперед авангардный корпус.

Во время сего дневания имели мы время побывать в городе Инстербурге и искупить себе все нужное. Но мы не застали уже почти ничего, все было давно уже выкуплено, и ни за какия деньги ничего достать было не можно. Городок сей хотя не гораздо велик, но довольно хорош. Строе-

ние в нем каменное, высокое и довольно прибористое. Он сидит на самом берегу речки Ангерпа, которая тут, соединившись с речкою Инстером и некоторыми другими, начинает уже называться Прегелем и течет к Кёнигсбергу. И как армия наша расположилась иттить по ту сторону Прегеля, то и надобно ей было с сего места поворотить влево.

Поутру 5-го числа велено было иттить в поход, но прежде выступления в оный имел я случай видеть жалкое и такое зрелище, о котором Россия во время благополучнаго и мирнаго владения Елисаветы совсем почти позабыла, и мне еще никогда видеть не случилось, а именно: смертную казнь виновных преступников. Мы удивились, вставши поутру и увидев пред самым нашим полком поставленную виселицу, и не знали, что бы это значило. Но скоро узнали тому причину. Наш полк вывели перед фронт и окружили им оную, и мы увидели несколько человек прусских мужиков, скованных подле оной. Преступление оных состояло в том, что они злодейски стреляли из-за кустов по нашим солдатам и нескольких из них побили. И как беспокойства сии умножились, то и определено было, для устрашения прочих, нескольких, пойманных из них, казнить смертию. Итак, повесили тогда при нас двух, а одиннадцати человекам, коих преступление не так было велико, отрублены были у рук пальцы, и они пущены были опять на волю. Могу сказать, что я не мог без отвращения смотреть на сие кровопролитие и не могу оное без внутренняго содрогания сердца и поныне вспомнить.

Употребление сего жестокаго средства хотя и произвело ту пользу, что с того времени мужики прусские стали меньше злодействовать, но, напротив того, подало повод пруссакам в писаниях своих еще более обвинять нас жестокостями, и даже многое прилыгать и затевать на нас то, чего, может быть, никогда не бывало. как о том упомянется ниже.

По окончании сей экзекуции и выступив в поход, продолжали мы путь свой по правой стороне реки Прегеля, вниз оной, но перешли в тот день не более шести верст и стали лагерем подле деревни Стеркенимкен, в две линии; авангард же поставлен был за несколько верст впереди при деревне Лейсенимкене, а далее вперед очищали наши легкия войска места, поставленные при Залау.

В сем месте стояли мы целых три дня, ибо армия неприятельская была от нас уже не слишком далеко, а передовыя его войска, под командою генерал-поручика графа Дона, нарочито близко, который с 6-ю батальо-

нами пехоты и 15-ю эскадронами конницы подвинулся от армии несколько миль вперед и стал при Таплакене в весьма выгодном месте, укрепив свой лагерь ретраншаментом и батареями; впереди же его находились их гусары и прочие легкия войска, а сие и подало скоро случай у них с нашими казаками к стычке, ибо как из помянутаго лагеря отправлены были наши казаки и калмыки для поиска над неприятелем, то наехали они скоро на прусских гусар, стоявших при Норкитене и осмелившихся учинить на них нападение. Но в сей раз опять удача была им весьма дурная. Они были казаками нашими разбиты, прогнаны и потеряли более 100 человек. О сем происшествии пруссаки признаются сами, что они побеждены, хотя и стараются неудачу свою прикрыть кой-какими видами, говоря, например, что один их гусарский офицер, стоявший при Гашдорфе, будучи приведен в жалость бегущими прусскими поселянами и вопиющими, что у них все отнимают и грабят, и будучи дезертирами уверен, что наших было только с небольшим 100 человек, последовал движениям своей храбрости и чувствам, производимым в нем видом ограбленных людей, – решился с 200 гусаров податься далее вперед до Норкитена, дабы отбить у казаков отогнанный скот. Но тут вдруг окружен он был 3000 казаков, а 300 человек ударили со стороны от Плибишкена ему еще во фланг, почему и принужден он был ретироваться назад; но в сей ретираде, при прохождении многих дефилей и будучи принужден непрерывно сражаться, убит был и сам, потеряв до 58-ми человек из своей команды. Однако сие неправда, побито их более, а с нашей стороны убит только был один казак, упавший с споткнувшейся лошади.

6-го числа августа соединился наконец в сем лагере с нами и корпус генерал-аншефа Фермора, бывший под Мемелем. И как тогда вся наша армия совокупилась уже вместе, то при сем случае не неприлично будет упомянуть о том, сколь она была велика и какия предводительствовали и командовали ею генералы.

Итак, что касается до количества войск, то кавалерийских полков числялось всех 19. Сия конница состояла из 5 полков кирасирских, 3 драгунских, 5 гусарских и из 6 конных-гренадерских, к чему присовокуплялось еще 14 000 казаков, 2000 казанских татар и 1000 калмыков. Пехота же состояла из 28 мушкетерских и 3 гренадерских полков. Так, что вся армия считалась простирающеюся до 134 000 человек, а именно: 19 000 конницы, 99 000 пехоты и 16 000 иррегулярнаго войска.

Что ж касается до находившагося при оной генералитета, то полководцы и предводители наши состояли в следующих особах: 1) генерал-фельдмаршале Апраксине, яко главном командире; 2) генерал-аншефах: Георге Ливене, Лопухине, Броуне, Ферморе и Сибильском. Первый из сих, то есть Ливен, войсками не командовал, а находился при свите фельдмаршальской, и придан был ему для совета и власно как в дядьки; странный поистине пример! Но как бы то ни было, но он имел во всех операциях военных великое соучастие; но мы не покрылись бы толиким стыдом пред всем светом, если б не было при нас сей умницы и сего мнимаго философа; 3) генерал-поручиках: Матвее Ливене, Иване Салтыкове, князе Александре Голицыне, Зыбине и Вильгельме Ливене; 4) генерал-майорах: Баумане, Шилинге, Олице, Загряжском, князе Любомирском, графе Румянцеве, графе Чернышове, князе Долгорукове, Мантейфеле, Панине, Фасте, Хомякове и князе Волконском; 5) генерал-квартирмистрах: Вильбоэ и Штофельне; 6) генерал-квартирмистрах-лейтенантах: Веймарне и Шпрингере; и 7) бригадирах: Демику, Тизенгаузене, Дице, Трейдене, Племянникове и Гартвихе.

Вот сколь великою считалась наша армия по росписаниям и бумагам; но в самом деле была она тогда далеко не такова велика, ибо многие полки не имели своего полного числа, а сверх того, из всех находилось множество людей и в разных раскомандировках и отлучках; итак, налицо едва ли было и две трети или половина помянутаго числа.

Итак, не успела вышеупомянутым образом вся армия соединиться вместе, как на другой же день (7-го) после того учинен был во всей оной новой между полками разбор и новое распоряжение, и по сему разбору нашему полку досталось в авангардный корпус под команду генерала Ливена. Сей корпус составлен тогда был из пяти полков пехотных, которые отобраны были все малолюднейшие, да трех полков гренадерских драгунских, четырех полков гусарских и нескольких тысяч казаков и калмык. Мы выступили с сим корпусом прежде армии, и еще 8-го числа к вечеру, в поход и, перешед верст с восемь, ночью стали в занятый для всей армии лагерь при одном прусском местечке, Лейсенинкене, в который прибыла 9-го числа и вся армия. В сей день происходила перестрелка у наших гусар и казаков с неприятельскими передовыми партиями, засевшими в весьма выгодном месте версты с три впереди от нашего лагеря, а особливо была сильная пальба около вечера; но как смерклось, то утихла, и наши, прогнав неприятеля, возвратились в лагерь, и это была уже четвертая стыч-

ка с неприятелем. 10-го числа определено было всей армии тут дневать и упражняться в печении хлебов; но только что разсвело, как слышна была уже опять пальба из мелкаго ружья, также и несколько пушечных выстрелов. Мы так уже к сим перестрелкам привыкли, что нимало в лагере тем не беспокоились, но спокойно себе в палатках наших поваливались, ибо уверены были, что происходит сие между передовыми войсками и что они одни могут управиться и до нас не дойдет никак дело. Однако в сей раз потревожили и нас несколько, как с поспешностию схватили у нас из авангарда по 200 человек с полку и отправили при нескольких пушках к тому месту, где перестрелка происходила. Причиною тому было то, что наши казаки, перестреливаясь с отводными неприятельскими караулами, наехали на прусский гренадерский батальон, стоявший при деревне Коленене и прогнаны были им пушками. Однако между нашею пехотою и их до дела не доходило, и наши возвратились под вечер опять в лагерь, а напротив того, наши казаки, наехав в лежащей против нашего полка недалеко деревне несколько человек прусских гусар и претерпев от них некоторый урон, так озлобились, что, окружив оную, сожгли всю деревню до основания вместе со всеми в ней находившимися. Казаки наши в сей день были под предводительством полковников их, Дьячкова и Серебрякова, и сражение было столь жаркое, что пруссаки ретировались с потерей около 100 человек побитыми и шестерых человек, взятых в плен.

11-е число стояла армия в сем месте еще неподвижно, и во весь день шел превеликий дождь, а под вечер слышна была опять вдали стрельба, и продолжалась до ночи. Сия была уже шестая стычка и состояла в том, что легкия наши войска наехали при деревне Илишкене на несколько рот прусской ландмилиции и, их разбив, прогнали.

12-го числа стояла армия еще все в том же месте и выбирала лучшее место, где бы ей чрез реку Прегель переправиться было можно; ибо хотя намерение ея и было иттить далее вдоль, подле реки Прегеля, но как узнали, что все места и дефилеи захвачены тут были пруссаками и нужнейшия места укреплены шанцами и батареями, то разсудили, оставя сей путь, повернуть влево и, перешед Прегель, обойти дурныя сии места тою стороною, а чрез самое то выманить и неприятеля из его укреплений. Что и впоследствии действительно, ибо самое то побудило и фельдмаршала Левальда выттить из своего укрепленнаго лагеря и, переправясь также чрез Прегель при Таплакене, иттить навстречу к нам. И хотя мы тогда о подлинном положении

прусской армии и не знали, однако все заключали, что необходимо скоро дойдет дело до баталии, ибо все к тому уже клонилось.

Между тем как все сие происходило и мы в сем лагере дня три стояли, случились со мною некоторыя приключения, о которых мне вам рассказать надобно. Первое имело проистечение свое от одной сделанной мною сущей резвости или игрушки, которою мне на досуге вздумалось позабавиться, и которая едва было мне не накутила беды, а именно: в один день, как слуга мой ходил в мой походный сундук для вынимания белья, то попадись мне на глаза спрятанный в нем превеликий стеклянный рог с тем белым хлопательным порошком, о котором упоминал я выше сего и котораго наделал я себе довольное количество во время стояния своего на мызе Кальтебрун. Не успел я его увидеть, как родилось во мне желание попробовать сжечь его в большом количестве и посмотреть, сколь громко он хлопнет. Сие было давно уже у меня на уме, но до того времени не было удобнаго к тому случая, и я про него все позабывал. Но тогда захотелось мне уже того нетерпеливо, и для того, вынувши его, положил я его на свой походный столик и пошел искать места, где б мне оное удобнее в действо произвести. Так случилось, что день тогда был наипрекраснейший, и время самое полуденное и жаркое. Солдаты, поварив каши и пообедав, леглись тогда все спать; но огни на огнищах еще курились. Я, прохаживаясь позади обозов и посматривая на сии куревы, по счастью, увидел в одном месте на огоньке стоящий таган и подле его лежащую сковороду. На что было сего лучше? Я положил на нее насыпать порошок и поставить на таган, и не успел сего вздумать, как тотчас и произвел в действо. Я сбегал в один миг за своим порошком, насыпал его на сковороду с хорошую столовую ложку и, поправив огонь, поставил оную на таган. Но как легко мог я заключить, что он хлопнет сильно и что сковороду с огня сбросит, то чтоб не подвергнуть себя опасности, пошел я в свою палатку, из которой, по счастью, место сие было видно, и легши в оной на кровать, опустил в ту сторону полу и смотрел с нетерпеливостию, что воспоследует. Долго не было ничего, и я думал, что огонь мал и от того порошок не скоро тает. Однако я обманулся. Он растаял себе благополучно и вдруг произвел точно такой удар, как бы разорвало превеликую бомбу. Не ожидая столь сильнаго и все чаяние мое превосходящаго удара, обмер я тогда, испужался, ибо тогда только, а не прежде, пришло мне в голову, что игрушка моя легко может потресть и бедами. «Ахти! – говорил я тогда сам себе: – Что это я наделал

и напроказил. Уж не сделалось бы тревоги и не было бы мне от того беды какой? Удар слишком силен и громок, не услышал бы его сам фельдмаршал. Ведь он недалеко отсюда стоит, и это я позабыл совсем!» Мысль сия привела меня тотчас в превеликую робость, но которая еще того более увеличилась, как чрез минуту увидел я, что от того действительно не только наш, но другие близ нас стоящие полки чрезвычайно перетревожились. Все солдаты поскакали из сна, и началось превеликое беганье и спрашивание: где? что? из чего! и отчего так хлопнуло? – Каждый спрашивал другого, а тот третьяго и вранью не было и конца тогда. Иной говорил, что выстрелило из пушки; другие спорили, что разорвало бомбу; третьи говорили, не разорвало ли где патроннаго ящика или казны пороховой! Четвертые сами не знали, на что подумать и как судить. Но все вообще и с разных сторон бежали к тому месту, где удар был слышан и где в единый миг собралось множество народа, но который только взад и вперед толпился и, не видя ничего, не знал как судить, и чему удар приписывать.

Для меня, лежащаго тогда в палатке и видевшаго все сие зрелище, сие было весьма и весьма неприятно. «Ну, вот так», – говорил я сам себе, – не угадал ли я, что наделал проказ. Чай самая нелегкая догадала меня затевать сию потеху? Ну, как узнают все дело?! Ну, если кто-нибудь видел меня в то время, как я был у огонька?! Ну, если догадаются, что всему тому был я причиною?» Не успел я сего еще вымолвить, как новый слух поразил сердце мое, власно как громовую стрелою! Прискакало от фельдмаршала несколько, один за одним, ординарцев, и все кричали и спрашивали: «Кто это? Кто и для чего выстрелил из пушки!» Обмер я тогда и спужался, как сие услышал. Я уже думал, что неведомо что будет, и оттого так оробел, что не знал, что делать; если б можно было, то ушел бы куда-нибудь и спрятался так, чтоб никак не нашли; но как уйтить и деваться было некуда, то другого не нашел, как спрятаться на постели под одеялом и притвориться спящим. Однако не сон тогда был у меня на уме, но я ждал каждую минуту, что меня, пришед, возьмут и поведут. к фельдмаршалу, ибо я второпях уже за верное полагал, что меня и видели, и все дело узнали, и оттого, трепеща как от лихорадки, только то и делал, что просил мысленно Бога, чтоб Он меня помиловал и от сей беды избавил. Но по особливому счастью так случилось, что меня никто у огонька не видал, и никому того на ум не приходило, чтоб то произошло от меня, а все только твердили и, дивясь, сами сказывали присланным от фельдмаршала, что хлопнуло тут,

но что такое и из чего, того никто не видал и не знает, ибо не видно было ни огня, ни дыма, и что они все сами тому довольно надивиться не могут. А таким образом дело сие и кончилось, и осталось на том, что никто не знает и не узнал и после, ибо самому мне открывать и шуткою своею хвататься не было резона, но я пролежал на постели своей и не кукнул до тех пор, покуда все угомонились, да и тогда сказывающим мне уверял, что я так крепко спал, что ничего не слышал.

Но как письмо мое уже велико, то, окончив оное и отложив прочее до будущаго, остаюсь и проч.



ПОХОД ПРУССИЕЮ К ПРЕГЕЛЮ

Письмо 43-е

Любезный приятель!

Не успело описанное в последнем моем письме приключение окончиться и я – порадоваться тому, что все прошло и кончилось благополучно, как новая печаль готовилась уже поразить мое сердце. Со мною случилось в самом том же месте и другое приключение, но которое, однако, было для меня несчастнее и на шутку уже не походило, а именно: меня обокрали, и учинили сие в самую ту же еще ночь, которая, к несчастью, случилась очень темная и в которую я уже непритворно, но в самом деле так крепко спал, что и не слышал как



из поголовья у меня вытащили мою шкатулку и, разломав ее за палаткою, вынули из нея все деньги. Дело сие спроворено было так искусно и мастерски, что я, вставши поутру, нашел шкатулку свою уже разломанною в некотором разстоянии от палатки, и только что руками розно! Долго не мог я, на все свои старания несмотря, проведать, кто это так спроворил; но после узнал, что то был один новоопределенный солдат в нашу роту, который был преестественный мошенник и за то из гренадерской роты выпихнут, хотя был превеликий мужичина. Я лишился при сем случае рублей 20 и одной золотой медали, которую мне пуце всего жаль было, потому что она дана была деду моему, господину Бакееву, от императора Петра Великаго, за то, что он своими руками взял в полон шведскаго шутбинахта во время взятия четырех фрегатов. Я хотя более всего о возвращении оной старался, но бездельник промотал ее за самую безделицу в другой полк, и так не мог я ее уже никак отыскать и возвратить. Далее памятно мне было сие место и потому, что я послан был из онаго для фуражирования, ибо как около сего времени сена были везде спрятаны и в селения сложены, мы же находились уже близко подле неприятеля, и нам полевым кормом довольствоваться всех лошадей своих не было способа, то принуждены мы были кормить оных сеном, доставая его в близлежащих селениях, и посылать за ним всякий день команды с офицерами. Сии команды были для нас самая опаснейшая, и всякий благодарил Бога, когда хорошо с рук сойдет. Причина тому была та, что наших солдат, а особливо неслуживых людей, как например, погонщиков, деньщиков и слуг офицерских, никоим образом удержать было не можно. Не успеешь приехать в деревню, как разсыплются они по ней, и вместо того чтоб сено скорее в тюки навивать, начнут искать и шарить по всем местам добра и пожитков, и никого сыскать не можешь, почему того и смотришь, что наскачут неприятельские гусары и изрубят в разсеянии и беспорядке находящихся. Однако я команду свою отправил благополучно. Деревня сия была хотя очень близка к неприятелю, однако самое сие и было поводом к предприниманию наивящих осторожностей. По счастью, нашли мы превеликие сараи, набитые сеном, и я, не распуская людей, велел как возможно скорее при себе навивать тюки и везти к армии, и хорошо сделал, что так поспешил, ибо не успели мы уехать, как в самом деле прискакали уже прусские гусары, но никого более в деревне уже не застали, а за нами гнаться не отваживались.

Впрочем, что касается до сего фуражирования, то всякому, не видавшему онаго никогда, покажется оно весьма удивительно, и он не поверит, чтоб такое великое множество сена можно было увезть на одной лошади, а что того еще удивительнее – верхом; ибо надобно знать, что для скорейшаго и удобнейшаго привоза сена фуражируется всегда верхами, и из сена связывается два превеликие тюка или кипы, из которых каждая почти с маленькой воз будет, и оба сии тюка на веревках перекидываются по седлу чрез лошадь поперек, а человек садится между ними и едет, власно как на возу сена, ибо сии тюки тащатся почти по самой земле, и лошади за ними совсем почти не видно. Мы сами удивились сначала, сие увидев, и люди наши не знали, как сено сим образом связывается; однако нужда научила и их скоро сему искусству.

Кроме сего памятно мне сие место и тем, что мы тут впервые увидели и узнали картофель, о котором огородном продукте мы до того и понятия не имели. Во всех ближних к нашему лагерю деревнях насыяны и насажены были его превеликие огороды, и как он около сего времени начал поспевать и годился уже к употреблению в пищу, то солдаты наши скоро о нем пронюхали, и в один миг очутился он во всех котлах варимый. Со всем тем по необыкновенности сей пищи не прошло без того, чтоб не сделаться от нея в армии болезней и наиболее жестоких поносов, и армия наша за узнание сего плода принуждена была заплатить несколькимистами человек, умерших от сих болезней. Что касается до того, довольны ли мы, Впрочем, во время сего похода, Пруссиею были, то могу сказать, что по прибытии к армии легких наших войск не только не претерпевали мы ни в чем недостатка, но имели еще во всем изобилие, а особливо в мясе. Скота и крупнаго и мелкаго, и всякаго рода дворовых птиц и живности, а особливо гусей, было преужасное множество, и всегда достать их можно было за весьма дешевую цену. Самых баранов покупали мы иногда только по десяти, а гуся не более как по пяти и по четыре копейки. Все сие продавали нам наши казаки и калмыки, ибо они, разсеаясь повсюду, опустошали немилосердным образом все кругом лежащая селения. И как жители спасали только крупный скот свой, а прочее все оставляя, разбегались в леса и там скрывались, то изобильныя прусския деревни наполнены были повсюду несчетным множеством мелкаго скота и всякаго рода птиц, и нашим казакам, калмыкам, да и самым драгунам и гусарам, было чем везде и

довольно поживиться. Один только недостаток сделался нам скоро в соли и в хлебе, однако и тому помогать находили средства.

Но сколь сие с одной стороны было хорошо, столько с другой худо. За все сие довольствие и кратковременное изобилие, принуждены мы были заплатить весьма дорого, не только претерпенным после самими нами во всем великом оскудении, но и вечным безславием, какое получили мы чрез то во всем свете. Ибо как все сие сопряжено было с конечным разорением невинных прусских сельских жителей, то сие и подало повод пруссакам к приношению всему свету превеликих и едва ли несправедливых на нас жалоб, что легко можно усмотреть из того, что писали они о том в своих реляциях.

«В сию осень, – говорят они, – никто не сеял здесь озимых хлебов. – Неприятель, по недостатку корма для своего многочисленного обоза и конницы, фуражирует везде с превеличайшим беспорядком и вычищает все селения дочиста. – Корпусу генерала Фермора, должно то сказать в похвалу, что он хранил наивозможнейший еще порядок, и при всем грабительстве не производил, по крайней мере, никаких жестокостей и безчеловечий: почему большая часть жителей в тех местах оставалась в своих домах, и приходящего раз двадцать в одно место неприятеля по возможности своей довольствовались. Но главная армия, напротив того, наполнила всю страну жестокостями и безчеловечиями. Все поселяне бегут прочь и спасаются от нея по лесам и в местах непроходимых. Многим обывателям из единого только легкомыслия и дурости, и за то только, что он множайшего дать не может, или не может ничего самому ему неизвестного сказать, обрубаются нос и уши; отнимается у него весь скот и продается потом в неприятельской армии за самый безценнок, потому что, как сами они говорят, казаку-де надобно самому себе доставать деньги и пропитание. А от самого того и делаются такие наглости и дела, которыми сама натура мерзит. Многих людей удавливают петлями, у других взрезывают у полуживых утробы и исторгают сердца из груди, у третьих похищают детей, и производят злейшия еще и такие безчеловечия, которыя никакими словами изобразить не можно. Ограбленный и всего стяжания своего лишившийся поселянин приводится тем до лютоги и ярости чрезвычайной. Он выпрашивает, где только может, вместо милостыни себе ружьишко, пороху и свинцу и старается защитить и оборонить ими последния свои вещи, кои ему удалось спасти в лесах от расхищения. А сим образом и перестреляно

уже ими более двух сот казаков, въезжающих и в самые леса и старающихся и там производить свои злодейства».

Вот что писали об нас пруссаки, и поручиться нельзя, чтоб калмыками нашими и казаками и действительно не делано было кой-где, особливо по сторонам, таковых безчеловечий.

Что ж касается до прочих разорений, то им были мы сами очевидными свидетелями. Из всех попадающихся нам на глаза деревень не нахаживали мы ни одной с людьми, но все были пустыя и разграбленныя начисто. Во всех их не только не оставалось ни единого дома целого, но самыя сокрытыя, и хворостом и навозом заваленныя, ямы со спрятанными в них пожитками не утаивались от солдат наших. Они отыскивали и оныя все и расхищали и последнее. Что же касается до полей их и посеянных хлебов, то все они в тех местах, где шла армия, были в наижалостнейшем состоянии; ибо как армия, а особливо начав ближе сближаться с неприятелем, шла по большей части фронтом и не дорогою, а прямо по полям и как ни попало, то не до того было, чтоб разбирать хлеб ли тут или что иное, а все топталось и смешивалось с грязью. Самыя вершины и буераки принуждены мы были переезжать не дорогами, а прямо, как ни попало. И, о! сколько происходило у нас при таких случаях ломки и валянья! Сколько раз летал иной воз стремглав с горы, и сколько лошадей уходило по уши в тину, и сколь досадны бывали нам сии маленькия переправы! Я и поныне не могу еще надивиться тому, как успевали мы изломанныя повозки свои починивать и к продолжению похода делать опять способными. Но я удалился уже от главного предмета, и теперь время уже возвратиться к описанию продолжения похода. Таким образом стояла наша армия в помянутом месте до 12-го числа августа. Но в сей день определено было в том месте, где чрез реку намерение принято было перебираться, сделать из половины армейских и тяжелых обозов вагенбург, дабы его оставить на сей стороне, а с армиею перейти на другую, и неприятеля стараться принудить к баталии. И для того приказано было сего же еще числа выступить половине обозам и иттить к реке, а для прикрытия помянутого вагенбурга следовать с ними ж нашему, да Апшеронскому, да Архангелогородскому драгунскому, но спешенному полку; почему пошли мы еще того ж вечера, и как разстояние до реки было только версты три, то мы пришли туда еще благовременно и успели при деревне Симоникшене сделать порядочной вагенбург. Сие легкое полевое и из одних только повозок составленное укрепление,

случилось нам тут впервые еще видеть и делать. Все повозки поставляемы были в один ряд и таким образом, чтоб передняя колеса одной смыкались с задними колесами другой, и сделалось бы чрез то такое сплетение из повозок, чрез которое на лошади никак переехать было не можно, а сверх того, можно б было из-за сей повозочной ограды по нужде обороняться и против пеших. Таковым неразрывным сцеплением повозок окружено было нарочито пространное место, наподобие некакой крепости или города, и оный бы мог служить убежищем для всех, кои с армиею иттить не могли. Между тем покуда мы сей вагенбург делали, другие упражнялись уже в делании мостов чрез реку Прегель, которая к утру последующаго дня и поспели, и было их два деревянных и три понтонных.

В последующий день, то есть августа 13-го, выступила и прибыла к сему месту и вся армия и расположилась кругом вышеупомянутой деревни лагерем, а обозы разобраны были опять по полкам, ибо оставление вагенбурга на сей стороне опять отложено было, и так ночевали мы тут все вместе.

14-го числа, то есть накануне Успеньева дня, после полудни велено было перебираться нашему авангардному корпусу за реку Прегель по мостам, и мы, переправясь чрез оную, спешили занять один узкий проход, бывший за рекою на горе. Ибо надобно знать, что за рекою был сперва ровный луг, простирающийся версты на две, а там вдруг пришла крутая и высокая гора, а наверху оной было опять ровное место, простирающееся на полверсты или на версту, а там пришел прегустой и превеликий лес, за которым опять было пространное поле, окруженное лесами. Но прохода на сие поле сквозь лес не было, а надлежало иттить одним только узким и на четверть версты в ширину простирающимся промежутком, который находился в левой руке между помянутым лесом и одним преужасным и крутым буераком, сквозь который текла небольшая речка и с той стороны впадала в Прегель. Сию-то узкую дефилию надлежало нам занять, и к тому назначен был наш корпус. Мы, пришед туда, принуждены были за теснотою места стать ребром, то есть вдоль сего узкаго прохода, и для того стали мы лицом к концу леса, а позади обозов наших был вышеупомянутый крутой буерак. Армия же осталась дневать в прежнем своем лагере за рекой.

В последующий день, для торжествования праздника Успения Богородицы, поставлены были у нас в полках церкви и отправлялась Боже-

ственная служба, а между тем перебиралась на сию сторону реки и вторая дивизия и становилась подле нас, занимая от часу более вправо находящееся между лесом и горою пустое место, где для всей армии назначен был лагерь. Главная же армия с кавалериею осталась еще на той стороне реки и, взяв провианта на трое суток, отпустила только свои обозы, кои остановились на назначенных местах под прикрытием второй дивизии и нашего авангардного корпуса.

Как помянутою второю дивизиею командовал генерал-аншеф Лопухин, то прибыл он накануне сего дня вместе с нами и стал в шатре своем насупротив самага полку нашего подле леса. Поелику генерал сей был весьма набожный и притом крайне добродетельный и хороший человек, то отправлялось у него с вечера всенощное бдение, а в сей день он исповедывался и причащался, власно как предчувствуя, что жизнь его продлится недолго и что оставалось ему немногия дни жить уже на свете. Но колико сей генерал любим и почитаем был всеми войсками, толико нелюбим и презираем был другой, бывший тогда с нами драгунский генерал-майор Хомяков, славный единственно тем, что был превеликий охотник до тростей, и возивший с собою их до несколько сот, и наделавший тогда нам множество смеха. Старичишка сего, которому приличнее было б по дряхлости его сидеть дома за печью, нежели быть в походе, догадала нелегкая избрать место под шатер свой позади наших обозов и на берегу самага бугра; но место сие было так неловко и было столько обезпокоивано большими нашими и с картофеля объевшимися солдатами, что бедный старик не рад был животу своему, что тут расположился, и видя, что все его палки и трости не помогают, принужден был бежать и переносить шатер свой в другое место.

Не успели мы в помянутый день отслушать обедню, как услышали в главной квартире за рекою три выстрела из вестовой пушки. Мы знали уже, что сие означало сигнал тревоги: почему бросились все тотчас к оружию, и все полки тотчас и с великим поспешением выведены были перед фронт, где и дожидались мы повеления. Вскоре после того услышали мы вдали еще несколько пушечных выстрелов. Но не успело сего воследовать, как линул на нас пресильный и преужасный дождь и, продолжавшись целый час, всех нас перемочил. После сего слышали мы хотя еще пушечную стрельбу, однако ничего не последовало и нас опять распустили. Причиною же тревоги сей было то, что от неприятеля подсылан был в сей день

для рекогносцирования нашей армии генерал-майор Руш с 1200 гусаров и пятью эскадронами конницы драгунской при подкреплении довольнонаго числа пехоты под командою генерала Каница – который отряд, наехав на наш казацкий лагерь, побил из них человек с двадцать, а сие самое и побудило фельдмаршала послать на сикурс к ним несколько сот гусар и драгун, которыя и принудили неприятеля ретироваться, отбив у него опять назад отхваченный им табун казацких лошадей. При которой стычке паки с обеих сторон было несколько человек побито и переранено.

Последующаго за сим, то есть 16 числа, перебралась наконец и достальная армия и главная квартира из-за реки и стала в назначенный лагерь, и полководец наш, господин Апраксин обедал в сей день у стоящаго пред нами генерала Лопухина. Стан же для себя избрал посреди армии позади вышеупомянутаго большого леса.

Как сим образом мы час от часу ближе к неприятелю подвигались, то не прошел и сей день спокойно. Вечеру слышна была опять за рекою Прегелем стрельба и порядочный залп, также и несколько пушечных выстрелов. Причиною тому было, что появились было за рекою в близости от лагеря опять неприятели и стреляли по нашим казакам и калмыкам; однако сии принудили их ретироваться в лес, убив у них 4 гусар и взяв одного в полон.



Говорили тогда, что калмыки наши оказали при сем случае довольно хорошие знаки своего проворства и свойственной таким легким народам храбрости: 7 человек из них – усмотря человек 20 прусских гусар, удалившихся от прочих, переплыв нагие и без седел, с одними только дротиками чрез Прегель – ударили с такою жестокостию на них, что, обративши их в бегство, гнали до самого их стана и, как вышеупомянуто, трех убили, а одного в полон взяли. Но сие было почти и первое и последнее хорошее их действие, ибо кроме сего, не случилось мне слышать, чтоб они что-нибудь отличное сделали.

Сим образом происходила у нас почти всякий день маленькая война, но скоро засим последовала и важнейшая, как о том упомяну я в будущем письме, а между тем есмь и прочая.

ПЕРВАЯ ТРЕВОГА

Письмо 44-е

Любезный приятель!

Теперь приблизился уже я к важнейшему пункту времени, из всей тогдашней нашей кампании, или до прямых военных действий против неприятеля; ибо упомянутое до сего состояло по большей части только в единых стычках или маленьких и неважных сражениях, кои, как известно, не бывают никогда решительны, а обращаются только обыкновенно обеим армиям в безпокойство, отягощение и в пустую растерю людей; или, короче сказать, теперь по порядку пришлось мне вам рассказывать о нашей апраксинской баталии, о которой наслышались вы довольно, но подлинных при том бывших происшествий верно не знаете. Но можно ли вам и знать, когда вы сами при том не были, а по одним слухам подлинно все знать никоим образом не можно. Собственные примеры мне сие довольно доказали.



Со всем тем, не дожидайте того, чтоб я вам сообщил в подробности все при том бывшия обстоятельства. Но я наперед вам признаюсь, что мне самому в подробности оныя не известны, несмотря на то, хотя я действительно сам при том был и все своими глазами видел. Да и можно ли такому маленькому человеку, каков я тогда был, знать все подробности, происходившия в армии, в такое время, когда все находилось в превеликом замешательстве, и когда мне, бывшему тогда по случаю ротным командиром, от места и от роты своей ни на шаг отлучиться было никуда не можно? Итак, иное ли что остается, как сообщить то, что мне можно было самому видеть и что дошло до моего сведения. Армию в походе не иначе, как с великим и многонародным городом сравнить можно, в котором человеку, находящемуся в одном углу, конечно, всего того в подробности знать не можно, что на другом краю делается и происходит, и я не надеюсь, чтобы кто-нибудь, не выключая и самих предводителей, мог все подробности при баталии в самой точности знать. Общее смятение и замешательство, шум, вопль, пыль, густота дыма, а паче всего повсеместная опасность и тысяча других обстоятельств тому препятствовать могут. При таких обстоятельствах, иное ли что остается, как сообщить вам только то, что случай допустил мне самому видеть или о чем с достоверностию мог я тогда слышать.

Но как сия баталия была только одна, которую мне самому видеть случилось, то в награждение недостатка, впрочем, постараюсь, по крайней мере, изобразить все виденное мною живейшим и подробнейшим образом, дабы вы могли все виденныя мною происшествия вообразить себе наисовершеннейшим образом и получить об них такое понятие, как бы вы сами оное видели.

Но прежде приступления к собственному повествованию о баталии, хотелось бы мне вам изобразить наперед всю тогдашнюю позицию, или положение нашей армии, ибо без того не можете вы никак вообразить себе прямого состояния тогдашняго замешательства и получить прямое понятие о той опасности, в которой мы тогда находились. И чтоб мне лучше в том успеть, то вознамерился я не только все известное мне подробно описать, но нужное изъяснить и планами и рисунками. Итак, расскажу вам наперед, каким образом расположена была наша армия в последнем своем лагере пред баталиею. Я не знаю, какое сделать решение, в выгодном ли она стояла месте или в невыгодном, и должно ли хвалить или хулить наших полководцев, что они ее так расположили.

Итак, вообразите себе наперед, любезный приятель, высокое ровное место, неподалеку от берега одной негораздо большой реки, протекающей сквозь широкую, глубокую и ровную долину. Помянутое лежащее на горе, у подошвы которой начиналась помянутая долина, высокое и ровное место было не столько широко, сколько, длинно; было оно, сколько мне помнится, в ширину не более полуверсты, а в длину версты на полторы или на две, ибо с двух сторон окружал сие место большой, частый и густой лес, простирающийся в ширину, или поперек, на версту или более, а с третьей стороны пересекал оное превеликий и преглубокий буерак, с протекающею оным небольшою речкою, впадающею в вышеупомянутую реку Прегель. Таким образом окружено было сие место почти со всех сторон непреборимыми оградами, и выход из него был только в двух местах, а именно по краям онаго, где на одном краю была между лесом небольшая прогалина, а на другом между лесом и помянутым буераком также небольшое пустое пространство, простирающееся в ширину с небольшим на четверть или на полверсты.

На сем-то прекрасном месте расположена была наша армия лагерем, и, по-видимому, казалось, что нельзя было выгоднее быть сей позиции, потому что она стояла, власно как нарочно натурою в сделанном укреплении, и со всех сторон прикрыта была вожденнейшими оградами, ибо впереди у себя имела она помянутый густой, высокий и непроходимый почти лес, прикрывающий фронт ея наилучшим почти образом. Правое крыло прикрыто было тем же лесом; левое помянутым непроходимым и крутым буераком, и с одного только тыла было открытое место, но и то, для помянутой глубокой долины и реки Прегеля, было неприступно, так что ни с которой стороны не могла опасаться неприятельского нападения. Самая узкая, находящаяся на левом крыле подле буерака дефиля, которою одною был из сего места свободный проход на пространное, позади леса находящееся Эгерсдорфское поле, застановлена была многими полками, прикрыта войсками и батареями, а сверх того, имела еще впереди у себя небольшой ручеек с лощинкою, который, вытекая из Эгерсдорфского поля, впадал в помянутый большой буерак. Находящаяся же на правом крыле между лесами узкая прогалина, власно как нарочно перерыта была издавна несколькими небольшими рвами, которыя сгодились нам очень кстати. Одним словом, все обстоятельства согласовались между собою наилучшим образом, и нельзя было удобнее сего места быть для прикры-

тия лагеря во время ожидаемой баталии и требовалось только одно искусство генералов, чтобы сим местом надлежащим образом уметь воспользоваться. Но имели ли наши полководцы к тому потребное искусство или нет, то усмотрите из последствия, а я между тем для лучшего усмотрения представлю вам все помянутое положение места рисунком¹.

Вот вам план и описание всему положению того места, на котором происходило славное наше военное действие. Вообразите его себе хорошенько, дабы вам тем лучше можно было усмотреть все описанныя ниже сего происшествия, к которым наконец теперь я и приступаю.

В последнем моем письме окончил я сию материю тем, что армия переправилась вся чрез реку Прегель и стала на вышеизображенном месте лагерем, и описание мое продолжалось до 16-го августа. 17-го числа поутру было все в армии еще спокойно. По розданным приказам знали мы, что и сей день простоим на сем месте, почему послано было опять фуражировать, а сверх того, велено было еще принимать провиант более, нежели на полмесяца, и мы приняли его уже сентября по 5-е число. Одним словом, о неприятеле не было еще ни слуху, ни духу, ни послушания, и хотя все мы имели довольно причины заключать, что ему уже недалеко быть надобно и что скоро дойдет до настоящего с ним дела, однако, не ведая ничего точнаго, не имели причины беспокоиться страхом и воображением себе смертоноснаго сражения. Коротко, мы так были спокойны, как бы находились еще верст за 100 от неприятеля, и не думая ни о чем пили себе и ели и веселились, забавляясь разными походными препровождениями времени.

Пред полуднем наконец услышали мы вдали три пушечных выстрела, а немного погодя, еще два. Мы сочли их неприятельскими и говорили еще между собою, что таковых громких по сие время еще не слышали, и заключали, что не близко ли уже неприятель; но как в армии никакого шума не делалось и все по-прежнему было спокойно, то сочли мы сии выстрелы нашими и заключили, что, конечно, где-нибудь вдали стреляют наши по неприятельским партиям, почему, привыкнув уже к таковым слухам, перестали тотчас о том и думать. Но не успело пройти с час времени, как увидели, что мы обманулись и что, конечно, что-нибудь важное было. В

¹ Рисунок сей смотри позади книги. – Прим. *Болотова*. Рисунка этого, однако, ни в книге рукописной, ни «позади ея» не оказывается. – Прим. редакции «*Русской Старины*».

армии нашей сделалась превеликая тревога. Началось ужасное скакание и гоньба адъютантов и ординарцев, кричавших, чтоб выходили в строй и выводили бы полки перед фрунт.

В одну минуту исчезло тогда прежнее спокойствие и началось военное замешательство. Всякий, бросая все, в чем упражнялся, хватал оружие, одевался в военный снаряд и бежал становиться в свой ряд и место определенное. Повсюду слышан был тихий шум, бегание и понуждение от начальников. Все наше военное ополчение власно как оживотворилось и в один миг были уже все полки пред своими станами и стояли во фрунте, ожидая повеления, куда иттить и что делать. Нельзя довольно изобразить, сколь чувствительна была всем сия первая почти и прямая тревога. Всякий, не инако помышляя, что неприятель уже наступает и, конечно, уже не в дальнем разстоянии, не мог иного заключить, как что чрез минуту поведут его становить в ордер баталии и что, наконец, приближается тот час, в который принужден он будет позабывать и сам себя и все на свете и готовиться к смерти. Обстоятельство, что вся армия состояла почти все из таких людей, которыя неприятеля еще в глаза не видали, умножало в каждом его робость и внутреннее волнение крови и содрогание членов. Говорится и о простой пословице, что первую песенку зардевшись спеть, а тут дело несколько поважнее песни было. Однако все сие недолго продолжалось и нас власно как хотели только попугать; ибо не успели полки стать во фрунт и построиться, как присланы были опять вестники с повелением, чтоб солдат распустить опять по палаткам и впредь слушать уже сигнала из трех пушек.

Сие успокоило опять всех нас: мы сочли, что, конечно, что-нибудь провралось и не прямо донесено фельдмаршалу и, разошедшись по своим палаткам, принялись опять за свои упражнения. Кто играл в карты, кто пел, кто смеялся, кто шутил и так далее. Но не успело пройти с час времени, и так, как в часу четвертом пополудни услышали мы уже подлинный сигнал к тревоге. В главной квартире у фельдмаршала выстрелено было три раза из вестовой пушки, и сие было знаком тому, чтобы полки опять во фрунт выводили. Мы тотчас сие учинили и уже меньше боялись, нежели прежде, думая, что опять нас распустят. Но сей день на то начался, чтоб нам обманываться в своем ожидании; ибо вскоре увидели мы, что дело обращалось понемногу в важность. К нам приехали предводители наших бригад, и вдруг повели полки с распущенными знаменами вон из

лагеря. Тогда-то началось у многих трепетание сердца и жалкое прощание с остающимися в лагере своими знакомцами. Но, по счастью, некогда было им долго в том упражняться, нас увели с великим поспешением и вывели за лес на чистое и пространное Эгерсдорфское поле.

Но сколь сильно мы опять тут обманулись! Мы думали, что выйдем уже прямо к неприятелю и не только его увидим, но тотчас начнем с ним дело; во вместо того мы на всем поле и не увидели и не заметили ни одного человека и удивились тому чрезвычайно. Несмотря на то, становили все выведенные наши полки в порядок и построили их версты за две от лагеря в две линии, между обеими находящимися посреди сего поля деревьями, в ордер баталии и разочли как надобно. Но не успели сего окончить, как не сделав ничего, а только сожегши одну деревню, повели нас обратно назад в лагерь, и мы проходили и простояли часа три только по-пустому, ибо неприятеля не было еще и в завете, а сказывали только, будто бы он находился за лежащим впереди у нас лесом и будто бы также строился в ордер баталии, почему и нашу не всю армию выводили, а только один наш авангардный корпус да дивизию графа Фермора, и сие, может быть, для того, чтоб ему доказать, что мы очень осторожны. Но о, когда б таковы осторожны мы всегда были!

Таким образом окончился и сей день без всяких важных происшествий, и мы по необыкновенности своей не знали, что б это значило, что нас выводили. Мне случилось быть с семи выходящими на брань, и мы, по справедливости говоря, шли довольно отважно и без всякой трусости. Нетерпеливость у всех написана была на лице, и всякий усердно желал увидеть скорее неприятеля и исправлял свое ружье для исправнейшаго по нем стреляния. Но сколько мы ни смотрели и сколько ни усердствовали учинить ему храбрую встречу, однако его не было, и мы не могли увидеть ни единого человека, хотя пространное и на несколько верст простирающееся поле нам все было видно. Возвращаясь в лагерь, не знали мы, радоваться тому или печалиться? Однако тужить о том дальней причины не имели. Кому жизнь не мила и кто мог уверен быть в том, что он будет цел и сохранится жив от баталии? Я только имел причину возвращением сим доволен быть; но для чего, онаго вы, конечно, не угадаете. – «Для трусости!», – скажете вы. Нет, я истинно не только не трусил, но еще более спокоен был, нежели сам думал. А вот для чего: со мною сделалось одно смешное и неожиданное приключение. Когда мы на поле в ордер-баталии

стояли и, дожидаясь неприятеля из леса, оправляли свои ружья, то хотел и я посмотреть, есть ли у ружья моего на полке порох, ибо заряжено оно у меня давно уже было. Но не проказа ли сущая тогда сотворись? Погляжу, ан у ружья моего совсем и курка нет!.. Боже мой! как я тогда смутился и в какое пришел замешательство! С одной стороны, не понимал я, куда он девался; с другой – досадовал, что мне в случае нужды не только стрелять, но и обороняться будет нечем, а с третьей, – и что всего паче, боялся, чтоб того кто-нибудь не увидел и не стал бы смеяться. Но как бы то ни было, но курка моего не было: отвернись проклятый шурупчик, который, думать надобно, накануне того дня как ружье чистили некрепко был привинчен, и пропади вместе и с курком. А к вящему несчастью, и искать его способа не было. Я не только чтоб искать, но боялся и сказывать о том наилучшим своим приятелям, но внутренно только досадовал и сам себе смеялся, говоря: «Изрядный, право, я воин! да и курок-то, проклятый, нашел время пропасть. Тут-то его нелегкое и снесло долой, когда он всего был надобнее!» Но, по счастью, всех хлопот я избавился: дело прошло без драки, а безкурочного моего ружья никто не приметил. Мы возвратились благополучно, а к утруму поспел к ружью моему другой курок. Эту честь могу я отдать исправности полковых слесарей. Истинно чрез час приделали они к нему совсем новый и я не стыдился уже показаться перед фрунтом, а потерянный оставил спокойно лежать на полях Эгерсдорфских.

Сим окончу я сие мое письмо и, уверив вас о моей дружбе, остаюсь и пр.



ВТОРАЯ ТРЕВОГА

Письмо 45-е

Любезный приятель!

В последнем моем письме отписал я вам первое наше приуготовление к баталии, а тепер опишу второе. Не мутите вы ею! Какова она ни была, но довольно двое суток прошло в одних приуготовлениях к оной! Надобно уже ей, конечно, быть чрезвычайной. Она чрезвычайна и была, любезный приятель, как вы то сами из описания оной после сами и увидите, но я, оставя посторонности, приступлю к делу.

Ночь под восьмое на десять число августа препровождали мы в прежнем лагере благополучно и в вожделеннейшем спокойствии. Все было тихо и смирно, и никто не помышлял о неприятеле. Что будет в последующий день, того никто не ведал и утро не оказывало нам ничего чрезвычайнаго. Поутру били не генеральный марш, а зорю, а сие и доказывало уже нам, что и сей день в поход мы не пойдем, а будем стоять на том же месте. Сия тишина и спокойствие продолжалось даже до двенадцатаго часа и мы, думая, что и во весь день ничего не будет, расположились уже препровождать его в разных увеселениях, как вдруг нечаянный пушечный выстрел нарушил наше спокойствие и обратил к себе наше внимание. Сие случилось, как тепер помню, в то самое время, как мы с товарищем моим сели обедать, ибо надобно знать, что незадолго до сего времени сдружился я особливим образом с капитаном соседственной со мною второй на десять роты, Алексеем Дмитриевичем Вельяминовым, человеком светским, весьма разумным, меня отменно любящим, и притом земляком, ибо он был чернской помещик, в котором уезде имел и я одну деревнишку. Любя меня, давно уже старался он меня убедить к тому, чтоб нам есть вместе; а как он имел у себя повара и едал хорошо, то наконец я охотно на то и согласился, и с того времени во все достальное время сего



похода жили мы с ним как родные братья и не только едали вместе, но и спали в одной палатке. С сим то моим другом и компаньоном не успели мы тогда сесть обедать, как услышали помянутый выстрел, и мы говорили еще тогда: «Ахти! не тревога ли уже опять. – Не дадут нам и пообедать!» Но со всем тем первым сим еще сигналом не гораздо мы еще встревожились и продолжали обедать; но не успели мы приняться за ложки, как последовал другой, а вскоре после того и третий выстрел. Тогда некогда было долго думать, ложки попадали у нас из рук, и мы, бросив есть, спешили скорее одеваться, и хвататься за оружие, и надевать на себя наши знаки и шарфы. Шум и смятение по всему лагерю был уже слышан. Повсюду началось беганье, крик и понуждение. Иной стоял уже в своем месте перед фрунтом, другой бежал туда становиться, третий хватался еще за оружие и надевал на себя военные снаряды; иной отлучался куда-нибудь, бежал еще опрометью, не одетый, в палатку, и спешил одеваться и поспеть иттить вместе умирать с своими товарищами. Голос и крик начальников и полководцев, скачущих и разъезжающих перед полками, повсюду был слышан и возбуждал храбрость и мужество в сердцах воинов. Земля стонала от тяжести огнестрельных орудий, везомых множеством лошадей, и эхо раздавалось только по стоящему против нас лесу, от крика погонщиков и фурлейтов, понуждающих коней везти скорей пагубные орудия, приготовленные для поражения неприятеля. Одним словом, все находилось в движении и представляло для глаз воина приятное зрелище.

Не успели мы с полками выттить перед фрунт и построиться, как увидели уже главных наших полководцев, едущих с великою свитою мимо полков наших. Нельзя было великолепнее быть свиты нашего главного предводителя. Окружен будучи великим множеством других высоких и нижних начальников, генералов и офицеров, с великою пышностью ехал он предводительствовать армиею и распоряжать судьбинами столь многих тысяч народа. Гордый и драгоценный и богатым убранством украшенный конь, прыгая, играл ногами, везя на себе сего военначальника. Множество других коней под богатыми попонами следовали за ним заводными. Наконец, целыя толпы гусар и чугуевских казаков прикрывали сие пышное и великолепное шествие. Они назначены были телохранителями нашего предводителя и следовали за ним повсюду.

Вскоре после сего повели наши полки с распущенными знаменами опять на то же место, куда накануне сего дня мы выходили; но выводили

уже не одну первую дивизию и наш авангардный корпус, но всю армию. Сие могли мы потому заключить, что как полку нашему случилось стоять в самом тесном месте и проходе, то все полки, и конные и пешие, с знаменами и орудиями своими принуждены были итти мимо нас и проходить сею тесною дефилеєю на пространное Эгерсдорфское поле. Там строены они уже были порядочным образом в две линии в ордер баталии, а нас повели уже после всех, ибо мы назначены были прикрывать левое крыло обеих линий и нас поставили поперек обеих линий. Какое зрелище представилось нам вдруг, когда мы, из тесноты лагеря выдравшись, вышли на пригорок, с котораго вся окрестность поля была видима! Целая половина онаго, лежащая к нам и к лесу, покрыта была многочисленным народом. Фрунты обеих линий были между собою на знатное расстояние и в длину простирались так далеко, что конца оным не можно было никак видеть. Одни только знамена развевали и разноцветностию своею пестрелись, и украшали тем наиболее прекрасное сие зрелище. Вся пустота между обеими линиями наполнена была множеством народа. Как обе линии стояли неподвижно, как стены, так, напротив того, оживотворен был народ, находящийся между оными. Тут видно только было одно скакание конницы, командиров, адъютантов и ординарцев и войска взад и вперед, пушек и их ящиков и снарядов. Все военнопачальники суетились и старались распорядить и разстановить все, где что надобно, и раздать нужные приказы, как отступать во время сражения: все онаго безсомненно ожидали. День случился тогда самый красный и погода наивожденнейшая, и один блеск оружия в состоянии уже был возбудить охоту к сражению.

Нельзя было полезнее и лучше быть тогдашней позиции нашей армии и расположению нашего строя, ибо представьте себе, любезный приятель, что помянутое Эгерсдорфское поле не все так ровно, чтоб могло горизонтальным назваться: находилось в нашей стороне на оном небольшое возвышение. Сия высота начиналась от широкой лоцины или суходола, находящегося между обеими деревнями, и простиралась до самага того леса, позади котораго стоял лагерь нашей армии. Она занимала довольно много места и командовала всем пространством Эгерсдорфскаго поля. На семто возвышении, или пологом пригорке, построилась наша армия в ордер баталии и имела довольно места по желанию уместиться. Весь фронт ея или лицо было прикрыто помянутым суходолом или небольшою широкою лоциною, сквозь которую протекал малый, но вязкий и топкий ру-

чей, а весь зад или тыл – высоким и густым лесом, так что сзади не можно было иметь никакой опасности. Левым своим крылом примкнула она к одной из вышеупомянутых деревень, находящихся посреди поля и весьма в близком разстоянии друг от друга, а правое было ли чем прикрыто или нет, того не можно было мне видеть. Да хотя б оно от природы и ничем было не прикрыто, так прикрывало оно довольно число конных и пеших войск с целою колонною артиллерии. Одним словом, позиция армии была наивожделеннейшая и такова, что всякий мог заключить, что заняла она весьма выгодное место. Но чтоб могли вы яснее видеть сей ордер баталии, то изображу вам оный нарочным рисунком. (?)

Сим образом на досуге построившись и распорядив что надобно, дожидались мы с неустрашимостию неприятеля и ежеминутно надеялись, что он из леса, находящагося против нас, выйдет и учинит на нас нападение. Однако счет сей делан был без хозяина. Мы сколько ни дожидались и сколько, обращая глаза свои в ту сторону, откуда ждали неприятеля, ни смотрели, но не могли увидеть и признака онаго; а таковы ж тщетны были и все наши распроедывания у приезжающих к нам с праваго фланга. Мы хотя у всякаго из них спрашивали: «Идет ли неприятель? Показался ли он уже из леса? Не видать ли онаго?» – но все ответствовали, что нет и что сами они все глаза свои уже просмотрели. Словом, все ожидание наше было напрасно. Неприятельские полководцы не таковы были глупы, как мы думали. Они ведали довольно свое против нас безсиле и великое превосходство нашей силы против их и далеко были от того удалены, чтоб нас, столь выгодно построившихся, атаковать посреди белаго дня и с столь очевидною для себя опасностю; но паче довольствовались тем, что мы им себя сим образом показали, и они могли всю нашу силу как на ладони видеть и рассмотреть. Сверх того, было им с нами дело начать еще и некогда. Они, как мы после узнали, еще в тот только день пришли от Велавы в занятый позади леса лагерь и посылали нашу армию только подсматривать. О сем рекогносцировании пишут неприятели в своих реляциях, якобы послан был от них генерал-поручик Шорлемер с 20-ю эскадронами гусаров и с 20-ю эскадронами драгун; однако мы толикаго числа воиска не видали, а нам сказывали после, что в сей день рекогносцировал только наш стан и армию прусский генерал-поручик граф Дона с небольшим прикрытием, ибо сей почитался у них лучшим генералом; нашим же полководцам, или паче отводным караулам, показалось, что то

уже и вся армия, и сие самое было причиною нашей трусости и поспешного выхода из лагеря.

По всем сим обстоятельствам не могли мы, на все наше ожидание не смотря, увидеть пред собою неприятеля. Уже стояли мы более двух часов, уже день начал склоняться к вечеру, а неприятельской армии и в появе не было, а все, что могли мы только слышать, состояло в том, что вдали между казаками нашими и неприятелем происходила небольшая перестрелка, по которым он из леса производил иногда ружейную, иногда пушечную пальбу, и сии, может быть, были те, которые от нас посланы были распроедывать о неприятеле.

Наконец увидели наши полководцы, что мы стоим по-пустому и ничего не дождемся. Чего ради, выстреливши несколько раз из большой пушки в лес и бросив туда несколько бомб из гаубиц, может быть, по показавшимся неприятелям, сожегши находящуюся под лесом пред армиею вдали деревню, распустили наши полки опять обратно в лагерь. Мы не знали и не могли понимать, чтоб это значило и покуда нас сим образом водить и неприятелям показывать станут.

Смеркаться уже тогда почти начало, как мы возвратились в свои палатки, и тогда впервые мы услышали сигнальный вечерний пушечный выстрел в неприятельском лагере для битья зори, и как он довольно громко был слышан, то могли мы заключить, что неприятельский лагерь находится уже недалеко от нашего, а немного погодя, весьма явственно услышали мы, как у него и зорю били.

Не могу довольно изобразить, с какими разными душевными чувствами слушали мы сей звук неприятельских барабанов; никогда еще до сего времени не случалось нам его слышать. С великим любопытством устремлял каждый свой слух для внимания онаго, и как столь верное, явное доказательство близости неприятельской армии не позволяло нам никак уже сомневаться, что на другой день после сего воспоследует у нас с ним баталия, то многие слушали биение зори сей, а вскоре потом и нашей, с отменным удовольствием и без всякаго смущения, но радуясь, что вскоре иметь будут дело с неприятелем, и притом удобный случай к оказанию своей храбрости и мужества, а другие, напротив того, занимались тогда другими мыслями:

«Ну, братцы! – говорили тогда иные. – Видно теперь уже по всему, что доходит у нас дело до драки, – безсомненно завтра у нас она будет! Кому-

то поможет Бог одолеть своего недруга? Мы хотя и льстимся надеждою, что победим пруссаков, но не в диковинку и такие примеры в свете, что и маленькия армии разбивали большия. Не услышь, Боже, чтоб несчастье таковое случилось с нами!» – «Да! – подхватывали иные. – Все сие возможное дело; но как бы то ни было и кому бы Бог ни помог, но то достоверно, что с обеих сторон будет не без урона. Многие отправятся при сем случае на тот свет. И кому-то и кому назначено судьбою положить здесь свою голову!» – «Да! – продолжали другие. – Многие из нас верно не увидят более уже захождения солнечнаго и слышат теперь в последний уже раз биемую вечернюю зорю! Завтра, около сего времени, лежать уже они будут бездыханны и с охладевшею уже кровию! Но кому-то и кому нужно быть в числе оных? Все это закрыто от нас непроницаемою завесою, и все составляет ужасную неизвестность!» – «Да! – ответствовали иные. – Неизвестно и то, кому-то и кому случится притом и навек изуродовану быть, и потерять либо руку, либо ногу, либо так разстреляну и изранену быть, что навек пойдет он калекою и уродом. Счастлив тот будет, кто отделается от всего того удачно и останется и жив и совсем уцелевшим». Сим и подобным сему образом разговаривали тогда между собою многие, и необыкновенность всех к огню и небывалость никогда еще на сражениях производила во многих таковыя чувства и помышления. Но были многие и такая, кои все предстоящая опасности нимало не уважали, но с мужественным духом и позабывая все готовились на сражение, как на некое увеселительное пиршество.

Не успели у нас пробить зорю и не успело смеркнуться, как сделался такой густой туман, или паче дым, какого я отроду не видывал. Вдруг сделалось так темно, что несмотря на светлый летний вечер, не можно было и за десять сажень ничего видеть. Мы дивились сему чудному метеору и тем наипаче, что до того времени таких туманов тут не видывали. Однако туман сей недолго продолжался; чрез час разошелся он опять и стало светло.

Тогда роздан был во всей армии приказ, чтоб солдат всех вывести во фронт и чтоб полки все в ружье ночевали, снабдив себя наперед провиантом на трои сутки. Чудно нам сие было, и мы не могли понимать, чтоб это значило. Все только заключали, что, конечно, нам наутрие в поход иттить будет должно, и потому каждый из нас помышлял о том, как бы запастись на легкую руку пищу. По счастью, не было в съестных припасах у нас

тогда оскудения. Пара гусей тотчас была зажарена и окорок ветчины сварен. Кису полную мне набили, и мы надеялись, что всего того и на пять дней с нас будет. Приготовившись сим образом, и ночевали мы в ружье. Сим окончу я свое письмо и, сказав вам, что я емь и проч.



ТРЕВОГА

Письмо 46-е

Любезный приятель!

Теперь достиг уже я до того пункта времени, который был всей нашей кампании сего года решительным, то есть до 19-го числа августа, который день, бывшею в оной баталиею, сделался знаменитым и достопамятным. Для меня был он тем особливаго примечания достоин, что он был один только сего рода, какой по сие время в жизнь мою случился и какой мне случай допустил видеть. Почему и желал бы я вам, любезный приятель, баталию сию описать наиточнейшим образом, но не уповаю, чтоб к тому сил моих было довольно.

Но прежде, нежели начну описывать самую баталию, надлежит мне вам растолковать причину отданного



накануне дня сего в армии приказа, который нам столь непонятным казался. Предводители наши, возвратившись с полками в лагерь, собрали военный совет и разсуждали, что делать? Все единогласно в том согласовались, что неприятель, по всему видимому, не хочет дать баталии и боится показаться в поле, а старается только заградить нам путь к дальнейшему походу, заняв самую тесную дефилию, и всем тем воспрепятствовать, чтоб мы его не обошли мимо и не прошли прямо с армиею к Кёнигсбергу. Другие, напротив того, догадывались и говорили, что неприятель, может быть, ожидает от нас атаки. Но все таковыя суждения были неосновательны, как то из последствія окажется. Однако предводители наши, тогда предполагая все сие, заключали, что другого не оставалось как только, чтоб иттить нам к нему навстречу и принудить дать баталию. Но тут сделался вопрос: куда и какими местами до него иттить? Прямо чрез Эгерсдорфское поле и ближайшим путем к нему иттить была сущая невозможность: он стоял с армиею своею за густым и большим лесом, будучи им совершенно прикрыт, а сквозь лес сей не было иного прохода, кроме одной узкой и тесной дороги, а и она уже была прусскими войсками занята; следовательно, тут атаковать никоим образом было не можно, кругом же помянутаго леса обходить было очень далеко. Но как другого не оставалось, а захотелось поспешить, то и определили, чтоб обходить дальний и тот лес кругом с левой стороны, за которым стоял неприятель, и обратить чрез то к себе навстречу неприятеля. Но как к сему обходу не иначе, как несколько дней употребить надлежало, а притом и иттить надобно было дурными дорогами и тесными проходами, то заблагоразсуждено тяжелый свой обоз оставить тут на месте, а с собою взять один только легкий и необходимый и собраться как можно налегке. Наконец положили, чтоб сим предприятием не мешкать, дабы не дать времени неприятелю занять и последние проходы, и для того определили к тому помянутое 19-е число августа, положив выступить в поход с разсветанием дня, а для самага того и отдан был приказ, чтоб взять с собою провианта на трои сутки, быть к походу совсем в готовности и ночевать в ружье перед фрунтом.

Таковыя-то распоряжения были с нашей стороны. Но судьбе было совсем инако угодно. Замыслы и намерения наши уничтожены, и произошло совсем иное, ибо между тем как мы сим образом о средствах мыслили и совещались, какими б трусливаго неприятеля к баталии принудить, у него, напротив того, трусости и в завете не раживалось. Он был едва

ли не смелее нашего и положил, не упуская времени, нас сам атаковать. Пруссаки давно славились тем, что они умеют пользоваться временами и случаями, и чрез самое сие искусство часто малыми людьми великия армии разбивали. Сию хитрость думали они и в сем случае употребить, и недостаток своих сил наградить проворством и отважностью. Им довольно было сведомо, в каком тесном, хотя весьма и выгодном месте стоит наша армия, а может быть, не неизвестно было им и то нестроение, в каком тогда находились наши генералы и предводители. Самое намерение наше обходить кругом и выступить в поход, может быть, каким-нибудь образом они сведали, и потому не долго думая, положили пользоваться сим случаем и напасть на нас в самый распloh и в то время, когда армия только что тронется с места, дабы воспользоваться нашим замешательством и, не выпустив нас вон из нашей норы, передушить, как кур. Которое намерение они произвели с довольно хорошим успехом, как то из последствия окажется.

Сим образом соплетаемы были для нас сети, а мы, нимало не ведая, спали себе и почивали спокойно. Наконец багряная заря начала малопомалу освещать горизонт и предвозвещать нам день наипрекраснейший. Бывший перед утром опять сильный туман начал расходиться, и воздух начинал быть тонким и прозрачным; солнце, выбежав из-за гор, осветило уже весь наш горизонт, как громкий пушечный сигнальный выстрел, пресекая наш сладкий сон, привел всю армию в движение. Мы слушали с любопытным ухом, что станут бить: зорю ли, или генеральный марш, и, услышав сей последний, тотчас стали спешить готовиться к походу. Немного погодя пробили: на воза, почему сняты были тотчас все палатки, запряжены лошади в повозки, и обозы нимало не медля, по обыкновению своему, тронулись в путь свой. Теперь припомните, любезный приятель, одно сказанное мною вам обстоятельство, что выход и выезд из того места, где армия расположена была лагерем, был только в одном том узком прогалке, где стоял наш авангардный корпус и вторая дивизия; а как и нашему походу надлежало простираться в сию сторону, то натурально, обозы всей армии, тронувшись в путь, свалились к сему месту и произвели тесноту наивеличайшую. К вящему несчастью, случилась впереди сей тесной дефилеи вязкая и грязная ручьевина, а именно самая та, которая, разрезая Эгерсдорфское поле и проходя между обеих деревень Эгерсдорф, шла впадать в крутой буерак, позади армии находящийся. Чрез сию ручьевину

должны были перебираться передовые обозы, а как натурально получили они чрез то небольшую остановку, то теснота и замешательство в задних делалась еще больше. Все повозки теснились между собою, и каждая старалась подвигаться вперед и выпереживать другую. Но как передняя принуждена была останавливаться, то и делалась такая теснота, что между телегами и повозками с великою нуждою пешему пробраться было можно. Все было тут смешано: и артиллерия с ее ящиками и снарядами, и полковые обозы, и генеральские экипажи, и офицерския и солдатския повозки, отчего наиболее и делалось замешательство. Самые полки тронуты были уже с своих мест, и в разных местах кучками между обозами стеснены были, что все приумножило еще тесноту и замешательство, которое и без того всегда бывает, когда армия выступает из лагеря в поход свой.

В самое сие время, в самое то время, когда наипущее замешательство происходило, и войска с обозами вышеупомянутым образом были перемешаны, и последними вся узкая прогалина, которою главной армии выходить надлежало, так была набита, что ни прохода, ни проезда не было – в самое сие время, говорю, вдруг сперва тихая молва по всему войску и обозам разноситься начала, что неприятель наступает и уже близко, но тотчас обратилась она в общий шум и повсюду слышан был уже крик «Неприятель! неприятель!» и уверение, что он уже очень близко; но прямо никто не знал. Иной говорил, что он показался на поле, другой утверждал, что он прошел уже деревни; третий говорил, что он в самых уже обозах, и так далее. Всякий толковал так, как ему хотелось, и прибавлял для устрашения других то, что ему угодно было; а другой не знал, что заключать и который слух почитать справедливейшим.

Но недолго находились мы в сей неизвестности. Минуты чрез три получили мы хорошее тому подтверждение. Впереди всего сего узкаго места, вправо, где оное с Эгерсдорфским полем смыкалось, стоял у нас второй Московский полк лагерем, занимая весь вход на помянутое поле; и как он прикрывал весь наш бывший лагерь, то для лучшаго укрепления и прикрытия сего места присоединена была к нему небольшая колонна артиллерии и поставлена для всякаго случая пред оным. Сей полк был первый, который вдруг увидел тогда неприятеля и, что удивительнее всего, находящагося уже пред собою.

Не знаю уже я, не знали мы тогда и все, и вы судите и разбирайте, каким это образом делалось, что мы, несмотря на всю нашу прежнюю

осторожность и на все великое множество наших легких войск, стрегущих армию, несмотря, не видали того, как неприятель сквозь свой дальний лес прошел, как на поле вышел и как все пространное и версты на четыре поперек простирающееся Эгерсдорфское поле перешел, и каким образом это сделалось, что мы его не прежде увидели, как когда он уже у нас почти на шею сел. Чудное поистине это было и непонятное дело! Будучи верст за 200 от неприятеля, имели мы величайшие и такие предосторожности, как бы неприятель в двух или в трех верстах был, и на бекетах всех нас замучили; а когда неприятель в самом деле в такой близости был, тогда у нас глаза власно как завязаны были, и мы, по пословице говоря, «не видали, как в глазах у нас овин сторел». Одним словом, это дело было непонятное, и я не утверждаю и не могу утверждать, а только скажу, что после носилась в армии молва, будто бы предводителям нашим еще до света и тогда, когда армия еще в покое находилась, неоднократно было доносимо, что неприятель, вышедши на поле, к нам придвигается, но тому не хотели будто верить, почитая то враками и невозможным делом. А особливо, по мудрому убеждению консистента и помощника фельдмаршала, вышеупомянутого генерала Ливена. Но подлинно ли сие так было, того истинно не знаю, ибо маленькому такому человеку, каковым был я, и знать было не можно.

Но как бы то ни было, но неприятель застал нас в таком расплохе, в каком лучше требовать и желать ему было не можно. Помянутый второй Московский полк не прежде его увидел, как на такое уже расстояние, что могли до него доставать пушки, почему из находящейся пред ним нашей батареи того момента и началась по неприятелю канонада, которая и подтвердила нам, что слух о неприятеле справедлив и что он находится от нас в близком уже расстоянии.

Боже мой! какое сделалось тогда во всей нашей армии и обозах смятение! Какой поднялся вопль, какой шум и какая началась скачка и какая беспорядица! Инде слышен был крик: «Сюда! сюда! артиллерию!»; в другом месте кричали: «Конницу, конницу скорее сюда посылайте!» Инде кричали: «Обозы прочь! прочь! назад! назад! назад!» Одним словом, весь воздух наполнился воплем вестников и повелителей, а того более – фурманов и правящих повозками. Сии только и знали, что кричали: «Ну! ну! ну!» и погоняли лошадей, везущих всякия тягости. Словом, было и прежде уже хорошее замешательство, а при такой нечаянной тревоге сделалось оно

совсем неопианным. Весь народ смутился и не знал, что делать и предпринимать. Самые командиры и предводители наши потеряли весь порядок разсуждения и совались повсюду без памяти, не зная, что делать и предпринимать. Случай таковой для самих их был еще первый, и к тому ж, по несчастью, такой печальный и смутный, а они все были люди еще необыкновенные. Никогда не видывал я их в таком беспорядке, как в то время. Иной скакал без памяти и с помертвелым лицом кричал и приказывал, сам не зная что; другой отгонял сам обозы, ругал и бил извошников; третий, схватя пушку, скакал с нею сам, сколько у лошади силы было. Иной, подхватя который-нибудь полк, продирался с ним сквозь обоз, перелазивая чрез телеги и фургоны, ведя его, куда сам не ведая. Одним словом, все находилось в превеличайшем замешательстве и беспорядке, да и можно ли инако было быть, когда не знали, не то армию строить в порядок, не то от наступающего уже неприятеля обороняться: толь близко был уже он подле нас.

При таких обстоятельствах, можно ли было ожидать, чтоб наша армия могла быть в порядочный ордер баталии построена, и учинить порядочный отпор неприятелю. Все почти полки, или большая часть оных находилась за лесом и за обозом, и все не могли никоим образом сквозь оный прodrаться, а сквозь лес пройти за густотою онаго не было также способа. Таким образом принуждены они были стоять, поджав руки и дожидаться, покуда прочистят для них дорогу. Но сего учинить за тогдашним замешательством и за теснотою места не было возможности. Одна только вторая дивизия, бывшая под командою добродетельнаго генерал-аншефа Лопухина, по случаю, что она лагерем стояла в самой прогалине и ближе всех к полю, могла некоторым образом иметь движение, но и ея полкам прямо иттить никак было не можно, а они принуждены были иттить по рядам, и сим образом выходя из прогалины вправо, тянутся подле самаго леса, ибо далее в пространное поле подаваться за близостию неприятеля было уже не можно.

Строются ли когда-нибудь так армии в ордер баталии? Но нужда чего не делает! Мы рады б были, хотя бы сим образом удалось нам из-за леса и обозов выдраться. Однако мы и сего последнего способа скоро лишились.

Теперь скажу вам, любезный приятель, куда собственно я в сем замешательстве попался и что со мною происходило. Наш полк, как я вам прежде сказывал, находился в авангардном или передовом корпусе, с неко-

торыми другими таковыми ж малолюдными, как и наш, полками. Как мы стояли почти на самом переду и назначены были для прикрытия во время похода обозов, то и тронуты мы были прежде всех прочих полков с места и находились тогда около самой той ручьевины, окружены будучи со всех сторон множеством обозов, как началась с нашей и с неприятельской стороны вышеупомянутая стрельба из пушек, и некоторыя из неприятельских ядер по обозам шуркать, свистеть, и все, что ни попадало навстречу, ломать и коверкать начали. Явление сие было для нас еще новое и до того невиданное. Мы остановились, сие услышавши, и ожидали повеления, куда нам иттить велят: вперед ли по тракту, или вправо к тому месту, где уже стрельба производилась. Немного погодя прискакал к нам, не помню, какой-то генерал и, подхватя, повел чрез ручей вперед сквозь все обозы, заставляя продираться всячески сквозь оныя, и где нельзя, то перелезть чрез фуры и повозки.

Теперь остановлюсь я на минуту и скажу, что как при сем шествиини нам вперед ничего было не видно за обозами, и мы за верное полагали, что, выдравшись из оных, наткнемся мы прямо на стоящаго уже в готовности неприятеля и тотчас с ним вступим в кровопролитное сражение, то минуты, в которыя мы помянутым образом шли и сквозь обозы продирались, были для нас самыя критическия. Достоверность о близости неприятеля, звук стрельбы пушечной, слышимой в самой уже близи, и ядра неприятельския, летающия уже по обозам, не давали нам сомневаться в том, что чрез несколько минут начнем и мы уже стрелять и сражаться с неприятелем, а небывальщина в таких случаях и мысль, что коса смертная распростерта была уже над всяким и готова была к поражению многих, и что тогдашния минуты были для многих последния уже в жизни, – приводила всю душу в такую разстройку и все мысли в такое смятение и замешательство, что тогдашнее душевное состояние не можно никак изобразить словами, ибо в минуту сию действовали в ней не одни, а многия силы и пристрастия вдруг, и истинно сказать не можно, боязнь ли, сродная всем человекам, более всеми душевными силами тогда обладала или досада и негодование на видимый тогда повсюду беспорядок и замешательство и производимое самым тем рвение и желание иттить скорее и отбивать неприятеля. Со всем тем нельзя не признаться, что сердце у всякаго было тогда не на своем месте, но трепетало нарочито чувствительно с перемежающимся то и дело замиранием. Однако и то в засвидетельствование истины сказать

надобно, что все сие первое и прямо словами неудобноизобразимое ужасение чувствовали мы только с самага начала и до тех только пор, покуда не вышли на поле и не увидели неприятеля. А там я не знаю, от того ли, что человек находится уже власно как в отчаянии и окаменелости, или от того, что он находится не один, а со множеством других, не чувствует он и далеко такого страха и боязни, какой чувствовать бы по природе и по существенной опасности и важности случая надлежало, но бывает уже гораздо бодрее и спокойнее духом.

Но я удалился уже от порядка моего повествования; теперь, возвращаясь к оному, скажу, что, продравшись сквозь обозы и вышедши на свободу, увидели мы прочия полки нашего авангардного корпуса, строящиеся в правой у нас руке в одну линию. Нам велели примкнуть к оным, а к нам стали примыкать и достальные полки нашего корпуса.

Таким образом, попались мы совсем в другое уже место, нежели где накануне сего дня нам стоять случилось. И по счастью, так трафилось, что место сие было наипрекраснейшее, а что всего еще лучше, самое безопаснейшее; на самом том месте, где полку нашему стать довелось, случился небольшой холм или пригорок, с которого все пространство Эгерсдорфского поля было видимо. Не успели мы на оный взойти и осмотреться, как вся прусская армия нам как на ладони представилась. Мы увидели, что находилась она почти на самом том месте, где накануне того дня мы построены были, и первая ее линия стояла точно в том месте, где стояла наша первая линия, а вторая – против деревни Клейн-Эгерсдорфа, и обе ее линии были к тому месту концами, где мы стояли, так что нам вдоль обеих оных можно было видеть. К вящему удовольствию видно нам было и все то место, где строилась и наша армия, ибо нам случилось со всем своим корпусом стоять на левом крыле своей, или, лучше сказать, во фланге обеих армий. Сами же мы были от нападения прикрыты небольшим болотом, поросшим хотя низким, но чрезвычайно густым кустарником, простирающимся от деревни Клейн-Эгерсдорф на некоторое разстояние влево. Через сей кустарник с пригорка своего видеть нам все было можно, а неприятелю к нам сквозь кустарник пройти не было возможности. Таким образом, стояли мы с покоем и готовились только быть зрителями всему театру начинающагося тогда кровопролитнаго сражения.

Оно началось в начале восьмого часа, когда уже солнце было довольно высоко, и сиянием своим, при тихой погоде, наипрекраснейший день

производило. Первый огонь начался с неприятельской стороны, и нам все сие было видно. Пруссаки шли наимужественнейшим и порядочнейшим образом атаковать нашу армию, вытягивающуюся подле леса, и, пришедши в размер, дали по нашим порядочный залп. Это было в первый раз, что я неприятельский огонь по своим одноземцам увидел. Сердце у нас затрепетало тогда, и мы удивились все, увидев, что с нашей стороны ни одним ружейным выстрелом не было ответствовано, власно так как бы они своим залпом всех до единого побили. Пруссаки, давши залп, не оставиваясь, продолжали наступать и, зарядивши на походе свои ружья и подошед еще ближе к нашим, дали по нашим порядочный другой залп всею своею первою линиею. Тогда мы еще больше удивились и не знали, что делать, увидев, что с нашей стороны и на сей залп ни одним ружейным выстрелом ответствовано не было. «Господи, помилуй! что это такое? – говорили мы, сошедшись между собою и смотря на сие позорище с своего отдаленного холма. – Живы ли уже наши, и что они делают? Неужели в живых никого не осталось?» Некоторые малодушные стали уже в самом деле заключать, что наших всех перебили. «Как можно, говорили они: от двух таких жестоких залпов и в такой близости кому уцелеть?» Но глаза наши тому противное доказывали. Как скоро несколько продымилось, то могли мы еще явственно наш фронт чрез пруссаков видеть; но отчего бы такое молчание происходило, того никто не мог провидеть. Некоторые из суеверных стариков помыслили уже, не заговорены ли у наших солдат уже ружья; но сие мнение от всех нас поднято было на смех, ибо оно было совсем нескладнейшее. Продолжая смотреть, увидели мы, что пруссаки и после сего залпа продолжали наступать далее, и на походе заряжали свои ружья, а зарядив оныя и подошед гораздо еще ближе, дали по нашим третий преужасный и препорядочный залп. «Ну! – закричали мы тогда, – теперь небось в самом деле наших всех побили!» Но не успели мы сего выговорить, как к общему всех удовольствию увидели, что не все еще наши перебиты, но что много еще в живых осталось. Ибо не успели неприятели третий залп дать, как загорелся и с нашей стороны пушечный и ружейный огонь, и хотя не залпами, без порядка, но гораздо еще сильнее неприятельского. С сей минуты перестали уже и пруссаки стрелять залпами. Огонь сделался с обеих сторон непрерывный ни на одну минуту, и мы не могли уже различить неприятельской стрельбы от нашей. Одни только пушечные выстрелы были отличны, а особливо из наших секрет-

ных шуваловских гаубиц, которыя по особливому своему звуку и густому черному дыму могли мы явственнo видеть и отличать от прочей пушечной стрельбы, которая, равно как и оружейная, сделалась с обеих сторон наижесточайшая и непрерывная.

Теперь вообразите себе, любезный приятель, сами, каково нам было смотреть на сие кровавое зрелище, ибо я тогдашних душевных движений пером описать не в состоянии. Мы все, то есть штабы и офицеры, собравшись кучками, смотрели на сие побоище и только что жалели и разсуждали, ибо самим нам ничего делать было не можно. Нам хотя все происхождение было видимо, но мы стояли так далеко, что до неприятеля не могли доставать не только наши ружья, но и самыя полковыя пушки. Итак, мы принуждены только были, поджав руки, смотреть и, находясь между страхом и надеждою, ожидать решительной минуты. Но скоро лишились мы и того удовольствия, чтоб все происхождение видеть; от непрерывной стрельбы дым так сгустился, что обеих сражающихся армий нам было уже не видно, а слышна только была трескотня ружейной и звук пушечной стрельбы. Самые только кончики сражающихся линий или фрунтов были нам несколько видимы и представляли зрелище весьма трогательное. Оба фрунта находились весьма в близком между собою разстоянии и стояли в огне непрерывном. Наш, во все время баталии, стоял непоколебимо, и первая шеренга как села на колени, так и сидела. Прусский же фронт казался в безпрестанном находится движении: то приближался он несколько шагов ближе, то опять назад отдавался, однако дрался не с меньшим мужеством и твердостью, как и наши, и сие продолжалось так непрерывно.

В сие-то время имели мы случай всему тому насмотреться, что в таких случаях происходит, и можно ли описать жалкое то зрелище. Позады обоих фрунтов видимо было множество народа разные предметы представляющаго: иной скакал на лошади, везя, безсомненно, какое-нибудь важное приказание, но будучи прострелен, стремглав с оной летел на землю; другой выбегал из фрунта и, от ран ослабевши, не мог более держаться на ногах, но падал; там тащили убитаго начальника, инде вели под руки израненнаго; вдруг оказывались во фрунтах целые проулки, и вдруг они опять застываемы были; по одиночке во фронте убиваемых за дымом не можно было так явственнo видеть, как прочих. Но как изобразить суету и смятение прочих, за фрунтом находящихся? В каком это различном движении были они видимы: многие разъезжали на лошадях, поощряя

воинов и развозя им нужны повеления; другие скакали по фронту сзади; третьи от фронта назад. Инде вели взводами подмогу, там тащили пушку, инде патронный ящик на себе; в ином месте побиты лошади под ними и должно было их распроставать и выпрягать; инде бегал конь, потерявший своего всадника; инде летел всадник долой с убитого коня и так далее. Одним словом, все представляло плачевное и нежному сердцу чувствительное зрелище, и мы, видя все сие, не могли довольно насмотреться, толико было оно для нас любопытно и поразительно.

«Хорошо, – скажете вы, любезный приятель, – было вам смотреть, когда до самих вас не доходило дело, и вам случилось стоять в столь блаженном и таком месте, в каком всякой бы во время баталии охотно стоять согласился». «Конечно, хорошо!» – отвечаю. И мы жребием своим могли быть весьма довольными. Я прибавлю к тому, что мы, сверх того, еще имели и некоторый род военного увеселения, а именно, перед самым нашим полком или, паче сказать, перед самою моею ротою, на самой высоте того холма, на котором мы стояли, трафилось поставленной быть у нас целой колонне артиллерии, состоящей более нежели из 20 больших пушек, гаубиц и единорогов. Сия, прикрывающая наш корпус, батарея была во все продолжение баталии не без дела. С нея то и дело что стреляли по неприятельской второй линии, и кидали из гаубиц бомбы, как в нее, так и в обе деревни, кои пруссаками были заняты, и мы не могли довольно навеселиться зрелищем на хороший успех пускаемых к неприятелю ядер и бомб. Многия ядра, попадая в самую доль фронта неприятельской второй линии, делали превеликия улицы, равно как и бомбы повсюду великое замешательство производили. Обе деревни обратили мы тотчас в огонь и пламя и выгнали тем неприятелей, в них засевших. Но ни котоя бомба так нас не увеселила, как одна, брошенная из гаубицы. Мы увидели, что около одной лозы, стоящей между обеих деревень, собралось множество прусских офицеров из второй их линии, смотреть, так же как и мы, на происхождение баталии. Сих зрителей захотелось нам пугнуть, и мы просили артиллерийскаго офицера, чтоб он постарался посадить в кружок к ним бомбу. Он исполнил наше желание, и выстрел так был удачен, что бомба попала прямо под лозу и, не долетев до земли на сажень, треснула. Какую тревогу произвела она в сих господах прусских командирах! Все они бросились врознь; однако трое принуждены были остаться тут навеки.

Вот, любезный приятель, не сущий ли досуг нам был сим образом забавляться в такое время, когда прочия гибли и умирали. Но что ж нам было иное делать? Однако постоит, может быть и до нас скоро дойдет дело. Я еще не все пересказал.

Пруссаки, может быть, наскучивши претерпевать от нашей батареи столь великий урон, вздумали и сами завести против нас несколько больших пушек и поунять наши игрушки, но, по несчастию их, имели в том успех не весьма хороший. Несколько больших пушек увязили они в болоте и не могли выдрать, а котория завезли и поставили, так и те не могли нам как-то вредить; ни то причиною тому было то, что они принуждены были стрелять несколько на гору, не то расстояние для них было слишком далеко, но как бы то ни было, но ядра их нам не вредили. Некотория из них перелетали выше фрунта, и нам один только их звук был слышен; а большая же часть ложилась, не долетая далеко до того места, где мы стояли, так что мы сему тщетному неприятелей наших старанию только что смеялись.

Но все сии шутки едва было не обратились нам в важность. Мы, смотря вышеупомянутым образом, как на продолжение баталии, так и на стоящих против нас позадь деревень неприятелей, того и не видим, что у нас на левом крыле, которое от нас за пригорком было не видно, делалось, как вдруг затрещал в другом, подле нас в леве стоящем полку, мелкий ружейный огонь. «Ба! что это такое? – вздрогнувши, говорили мы. – Не неприятель ли уже тут?» И дивились, не понимая, откуда бы ему взяться, потому что нам все почти поле видно было, и мы никакой атаки на себя не приметили, да для вышеупомянутого болота почитали и за невозможное. Но со всем тем, не успели мы собраться с мыслями, как кричали уже нам, чтоб мы оборачивали фрунт наш назад. Сие нам и того еще чуднее показалось: мы обернулись, но никого перед собою не увидели, кроме нашей конницы, которая позади нас в разных местах была построена. «По своим, что ли нам стрелять?» – смеючись говорили мы. Однако ожидали с нетерпением, что будет. В левой стороне у нас, где огонь показался, слышен был превеликий шум и стрельба, а не менее того и на стоящей против нашего полка батарее сделалось превеликое замешательство. Тут поднялся вопль: «Сюда! сюда! Ворочай!.. Картечи! картечи!» И не успели всех пушек повернуть влево, как изо всех из них и бывших тут единорогов, дали преужасный залп и произвели огонь наижесточайший. Нам хотя вовсе за пригорком было не видно по ком они стреляли, но только могли мы за-

ключать, что неприятель близко. И тогда-то, надобно признаться, что дух наш начал несколько тревожиться; повсеместный шум, разнообразный крик и вопль, звук стрельбы из пушек и мелкаго ружья, скачка командиров и подтверждения, делаемыя всем, чтоб были готовы, заставляли нас думать, что приходит уже и до нас очередь драться и, по примеру прочих, умирать, и приближение толико страшных минут производило натурально некое внутреннее в сердцах содрогание.

Но как письмо мое уже велико, а рассказывать о баталии сей еще много, то отложив достальное до предбудущаго, сие сим кончу, сказав вам, что я емь и прочая.

БАТАЛИЯ

Письмо 47-е

Любезный приятель!

Начиная читать письмо сие, не обманитесь и вы также в ожидании своем, как обманулись мы в ожидании нашем в тот пункт времени, на котором я мое предследующее письмо кончил. Мы думали тогда бесомненно, что через минуту схватимся с неприятелем и будем иметь кровопролитное дело; однако в том ошиблись; воспоследовало совсем не то, а столь же мало ожидаемое и нами тогда, сколько бесомненно теперь вами, а именно, что весь вышеупомянутый и толико страшный шум, вопль и звук стрельбы, так много нас перетревожившей, вдруг исчез и, против всякаго чаяния и ожидания, утих совершенно. Вы удивитесь сему, но не в меньшее удивление пришли и мы тогда, как по прошествии нескольких минут вдруг оружейный огонь утих, а немного погодя и из пушек стрелять перестали, и начали их по-прежнему становить и ворочать. Одним словом, самый шум начал мало-помалу утихать, и нам опять оборотиться приказали. Мы дивились всему тому несказанно и, не понимая, что бы это значило, спрашивали едущих с леваго фланга и видевших все происходившее о причине и насилу могли проведать следующее.

На самом левом фланге нашего корпуса стояли наши донские казаки. Сии с самага еще начала баталии поскакали атаковать стоящую позади болота неприятельскую конницу. Сие нам тогда же еще было видно, и мы

досадовали еще, смотря на худой успех сих негодных воинов. Начало сделали было они очень яркое. Атака их происходила от нас хотя более версты разстояния, но мы могли явственно слышать, как они загикали – «Ги! ги!» и опретью на пруссаков поскакали. Мы думали было сперва, что они всех их дротиками своими переколят, но скоро увидели тому противное. Храбрость их в том только и состояла, что они погикали и из винтовок своих попукали, ибо как пруссаки стояли неподвижно и готовились принять их мужественным образом, то казаки, увидя, что тут не по ним, оборотились того момента назад и дай Бог ноги. Все сие нам было видно; но что после того происходило, того мы не видели, потому что казаки, обскакивая болото, выехали у нас из глаз. Тогда же узнали мы, что прусские кирасиры и драгуны сами вслед за ними поскакали и, обскакивая болото, гнали их, как овец, к нашему фронту. Казакам некуда было деваться. Они без памяти скакали прямо на фронт нашего леваго крыла, а прусская конница следовала за ними по пятам и рубила их немилосердным образом. Наша пехота, видя скачущих прямо на себя и погибающих казаков, за необходимое почла несколько раздаться и дать им проезд, чтоб могли они позадь фронта найти себе спасение. Но сие едва было не нашутило великой шутки. Прусская кавалерия, преследуя их поэскадронно, в наилучшем порядке, текла как некая быстрая река и ломилась за казаками прямо на нашу пехоту. Сие самое причиною тому было, что от сего полку началась по ним ружейная стрельба; но трудно было ему противиться и страшное стремление сей конницы удерживать. Передний эскадрон въехал уже порядочным образом за казаками за наш фронт и, разсыпавшись, рубил всех, кто ни был позадь фронта. Для сего-то самаго принуждено было оборотить наш фронт назад. Но все бы сие не помогло и пруссаки, въехавши всю конницу свою в наш фланг, смяли бы нас всех поголовно и совершили б склонившуюся уже на их сторону победу, если бы одно обстоятельство всего стремления их не удержало и всем обстоятельствам другой вид не дало. Батарей, о которой я выше упоминал, по счастью, успела еще благовременно обернуть свои пушки, и данный из нея картечный залп имел успех наивожделеннейший, ибо как ей случилось выстрелить поперек скачущих друг за другом прусских эскадронов, то, выхвативши целый почти эскадрон, разорвала тем их стремление и скачущих не только остановила, но принудила опретью назад обернуться. Те же, которья вскакали за наш фронт, попали, как мышь в западню. Пехота тотчас опять сомкнулась,

и они все принуждены были погибать наижалостнейшим образом. Наша кавалерия их тут встретила и перерубила всех до одинаго человека. Таким образом, кончилось это дело наивожденнейшим образом.

Таковыя-то происшествия были на нашем левом крыле. Теперь обратимся, любезный приятель, к середине и посмотрим, что-то с теми делалось, которых давеча оставили мы между собою сражающихся. Тут, по справедливости, было самое главное дело и сражение найгорячайшее. Однако, что собственно как тут, так и на правом фланге происходило, того точно, за отдаленностию и за дымом, нам самим видеть было не можно. Я упомянул уже выше сего, что нам видны только были концы обоих фрунтов, и что касается до них, то стояли они неподвижно и перестреливались ровно два часа с половиною, власно как вкопанные, чему мы очевидные были свидетели.

Вот все то, что я мог во время продолжения баталии сам видеть. – Теперь опишу вам то, чего я видеть не мог и что мы после узнали.

Неприятель главную свою атаку вел в два места, а именно: против обеих прогалин или входов в наш крепкий лагерь. Видно, что хотелось ему застать нас еще в лагере и не выпустить на поле ни одинаго человека, что потому наиболее заключать можно, что у убитых прусских офицеров найдена потом диспозиция и приказы, в которых предписываемо было, чтоб солдаты рубили наши рогатки. Выходствие чего атака его и ведена была как на главный вход, так и на правое наше крыло, где, как я прежде упоминал, также небольшая прогалина находилась. По счастью, сие последнее место успели наши занять еще заблаговременно. Храбрый полковник Языков с своим первым гренадерским полком заступил сие место и выдерживал все жесточайшия неприятельския нападения наимужественнейшим образом. По счастью, случились тут старинные рвы и каналы, которыя служили нашим почти вместо ретраншаментов и делали великую подмогу. Одним словом, сколько неприятель ни усиливался и сколько ни старался продрасть сквозь сие место и сбить с места, но не имел успеха. Наши устояли до самага конца баталии и хотя немалый урон претерпели, однако не потеряли сего толь важнаго для неприятеля места.

Но не с столь хорошим успехом дрались наши на левом фланге или паче в середине, куда ведена была от неприятеля главная его атака. Я уже выше упомянул, что неприятель так неприметно к нам подкрался, что нашим не было времени вывести порядочным образом полки и построить

против него линию, но принуждены уже были, кое-как продираясь сквозь тесноту обозов, иттить по рядам, и фронт подле леса вправо кое-как строить и вытягивать. Одним словом, наши тянулись еще и старались, как можно более вытянуться, чтоб множайшее число полков могло уместиться и стать к обороне, как неприятели, подошед уже довольно близко, помянутый первый залп по них дали; что на оный с нашей стороны не было ответствовано, тому причиною было то, что наши шли и тянулись по рядам и видя, что еще пули неприятельския нас не вредили, не почли за нужное остановиться и к ним фронт оборачивать, но как всякая минута для нас дорога была, то старались только как можно далее вытянуться. То же самое произошло и при вторичном неприятельском залпе, которым хотя несколько человек у нас и переранило, но как для нас важнее всего было, чтоб вытянуть фронт далее, то мы, и на оный не ответствуя, продолжали все-таки тянуться. Но как неприятели в третий раз уже залп дали, тогда уже не было возможности более иттить и оттерпливаться. Пули их уже гораздо наших цеплять начали, и для того принуждены уже наши были остановиться и показать им лицо, так же и то, что и у нас не хуже их ружья и пули водятся, и тогда-то начался с обеих сторон тот огонь неугасимый, о котором упомянул я уже выше.

Теперь надобно мне вам, любезный приятель, сказать, что сей огонь хотя был с обеих сторон наижесточайший, однако не с равными преимуществами. Неприятели имели несравненно более выгод, нежели наши. Их атака ведена была порядочным образом, лучшими полками и людьми и по сделанной наперед и правильно наблюдаемой диспозиции. Артиллерия действовала их как надобно, а весь тыл у них был открыт и подкреплен второю линиею и резервами, из которых им ничто не мешало весь урон в первой сражающейся линии того момента награждать и наполнять новыми и свежими людьми, а таким же образом имели они желаемую способность снабжать дерущихся нужными припасами и порохом. Что касается до наших, то они всех сих выгод, по несчастию, не имели, ибо, во-первых, диспозиции наперед никакой не было сделано, да и некогда было делать, а всем Сам Бог управлял и распоряжал. Во-вторых, людей с нашей стороны было гораздо меньше, нежели с неприятельской. У них дралась целая линия, а у нас насилу только одиннадцать полков могли вытянуться, и сии принуждены были за все, про все ответствовать. К вящему несчастию, и сии немногия люди связаны были по рукам и по ногам;

ибо, во-первых, не было с ними нужной артиллерии, кроме малаго числа полковых пушек и шуваловских гаубиц. Самых сих орудий, на которыя вся армия наибольшую надежду полагала, не случилось более трех или четырех на сражении, и что можно было из них сделать, когда большую половину их ящиков и снарядов за лесом провезти было не можно? Во-вторых, прижаты они были к самому лесу так, что позади себя никакого простора не имели. В-третьих, помочи и на место убитых свежих людей в дополнение получить было неоткуда; большая часть армии была хотя не в действии, но стояла за лесом, и в таких местах, откуда до них дойти было не можно. Самых нужных патронов негде было взять, как они требовались. При таких предосудительных и смутных обстоятельствах, чего иного можно было ожидать, кроме несчастья! Ах! оно и действительно уже начиналось и, конечно б, произошло и совершилось, если бы Сам Бог не восхотел нас явно помиловать и победу из рук неприятелей, показавши, вырвать. Храбрые наши полки стояли сперва, как непреоборимая стена, твердо; они отстреливались сколько было силы от неприятеля и целые два часа удерживали его наглость и стремление. Но что было наконец им делать, когда большая часть из них была побита и переранена. Ряды стали уже слишком редки, а дополнить их было некем. Офицеров всех почти они лишились; а что всего паче, не имели наконец более и пороха, как одинаго и последняго средства к обороне. В сей крайности находясь, подвинулись они несколько ближе к лесу, но тем дело еще пуще испортили. Неприятели, увидев сие и почтя ретирадою, бросились с наивеличайшим жаром и смешали их совсем с грязью. Весь край леса наполнился тогда стоном и воплем раненых и умирающих и обагрена кровию побитых. Не было уже тогда возможности помочь чем-нибудь командирам и предводителям. Добродетельный и прямо усердствующий генерал-аншеф Василий Абрамович Лопухин, бывший, по несчастью, командиром сей дивизии, сколько ни напрягал сил своих, возбуждая и уговаривая солдат к храброй обороне, но не был более в силах учинить малейшее вспоможение. Самого его, многими ранами израненнаго и обагрена кровию, волокли уже в полон прусские гренадеры и сорвали с него кавалерию, и, конечно бы, увели, если б не увидели сего несколько человек наших гренадеров: сии, несмотря что сами погибали, восхотели спасти любимаго ими генерала. Ничто не могло удержать стремительства их. Как львы, вырвали они его из челюстей змеиных, но ах! едва уже почти дыхание имеющаго.

При таких обстоятельствах легко можете заключить, что погибель наша, власно как на волоску уже висела. Пруссаки смяли уже весь наш фронт совершенно, и в некоторых местах ворвались уже в самые обозы. Тут сделалось тогда наиужаснейшее смятение и бириберда¹. Все кричали: «Прочь! прочь! Назад, назад обозы!» Но что некуда было им деваться, того никто не помнил. С одной стороны крутейший буерак, а с другой стороны река заграждала путь во все стороны. Самой армии Бог знает куда бы ретироваться можно было, а чтоб обозы, конечно, все пропали, в том и сомнения нет. Одним словом, победа неприятелями получена была уже наполовину, и если б еще хотя мало-мало, то бы разбиты были мы совсем, к стыду неизреченному.

Теперь, надеюсь, нетерпеливо хотите вы ведать, каким же чудным образом мы не только спаслись, но и победу одержали? Сего, ежели прямо разсудить, мы уже сами почти не знали, Сам Бог хотел нас спасти. Все состояло в том, что стоявшие за лесом наши полки, наскучивши стоять без дела, в то время, когда собратия и товарищи их погибали и, услышав о предстоящей им скорой опасности, вздумали пойтить или может быть посланы были, продираться кое-как сквозь лес и выручать своих единоплеменников. Правда, проход им был весьма труден: густота леса так была велика, что с нуждою и одному человеку продраться было можно. Однако ничто не могло остановить ревности их и усердия. Два полка, третий гренадерский и Новгородский, бросив свои пушки, бросив и ящики патронные, увидев, что они им только остановку делают, а провезть их не можно, бросились одни, и сквозь густейший лес, на голос погибающих и вопиющих, пролезать начали. И, по счастью, удалось им вытти в самонужнейшее место, а именно в то, где нарвский и второй гренадерский полки совсем уже почти разбиты были и где опасность была больше, нежели в других местах. Приход их был самый благовременный. Помянутыя разбитые полки дрались уже рука на руку, по одиночке, и не поддавались неприятелю до пролития самой последней капли крови. Нельзя быть славней той храбрости, какую оказывали тогда воины, составляющие раздробленные остатки помянутых полков несчастных. Иной, лишившись руки, держал еще меч в другой и оборонялся от наступающих и рубящих его неприятелей. Другой почти без ноги, весь изранен и весь в крови, прислонясь к дереву, отмахивался еще от врагов, погубить его старающихся. Третий, как лев, рычал посреди

¹ Бириберда (бири-), ы, ж. простонар. – Сумбур, беспорядок, неразбериха.

толпы неприятелей, его окруживших, и мечом очищал себе дорогу, не хотя просить пощады и милости, несмотря, что кровь текла у него ручьями по лицу. Четвертый отнимал оружие у тех, которых его, обезоружив, в неволю тащили, и собственным их оружием их умертвить старался. Пятый, забыв, что был один, метался со штыком в толпу неприятелей и всех их переколоть помышляя. Шестой, не имея пороха и пуль, срывал сумы с мертвых своих недругов и искал у них несчастного свинцу, и их же пулями по их стрелять помышляя. Одним словом, тут оказываемо было все, что только можно было требовать от храбрых и неустрашимых воинов.

В самую сию последнюю крайность и показались им в лесу помянутыя два полка, им на помощь поспешающие. Нельзя изобразить той радости, с какою смотрели сражающиеся на сию помощь, к ним идущую, и с каким восхищением вопияли они к ним, поспешать их побуждая. Тогда переменилось тут все прежде бывшее. Свежие сии полки не стали долго медлить, но, давши залп и подняв военный вопль, бросились прямо на штыки против неприятелей, и сие решило нашу судьбу и произвело желаемую перемену. Неприятели дрогнули, подались несколько назад, хотели построиться получше, но некогда уже было. Наши сели им на шею и не давали им времени ни минуты. Тогда прежняя прусская храбрость обратилась в трусость, и в сем месте, недолго медля, обратились они назад и стали искать спасения в ретираде. Сие устрашило прочия их войска, а ободрило наши. Они начали уже повсюду мало-помалу колебаться, а у нас начался огонь сильнее прежняго. Одним словом, не прошло четверти часа, как пруссаки во всех местах сперва было порядочно ретироваться начали, но потом, как скоты, без всякаго порядка и строя побежали.

Всего вышеупомянутаго происшествия нам издали и за дымом не можно было видеть, однако мы смотря, не спуская глаз, на самый конец праваго их фланга, явственно могли видеть, как начинало оно колебаться и терять прежнюю свою позицию. Оно было последнее, которое приступило к ретираде, и в прочих местах неприятели давно уже бежали, а оно все еще стояло и перестреливалось. Но, увидев бегущих своих товарищей, не захотело и оно долго медлить. Какое приятное и восхитительное для воина представилось тогда зрелище! Сперва подвинулся их фронт шагов пять назад, там еще более, там еще далее и двигался час от часу скорее. Нам это все было видно, и мы, находясь между страхом и надеждою, не хотели верить глазам своим. «Ретируются никак? – говорили мы друг другу.

– О, дай Бог, чтоб наши прогнали!» Но скоро радость наша была совершенная. Мы увидели весь их фронт, в совершенное бегство обратившийся и закричали все: «Слава Богу, слава Богу! Наши взяли, наши взяли!» и били в ладоши.

Тогда в единый миг радость разлилась по всей нашей армии и казалось, что она у всякого воина написана была на глазах. Всякий спешил сказывать о благополучии своем другому, несмотря, что тот сам тоже видел, и тотчас разлился по всему войску некий приятный и тихий шум. Через минуту потом закричали наши командиры: «Ступай! ступай! ступай!» и мы все как стояли, так и бросились. Нельзя никак изобразить того восхищения, с каким бежали мы тогда в погоню за неприятелем, или паче спешили занимать его место. Не было тут уже нам никакой невозможности. Мы шли прямо чрез кустарник и чрез болото, и я не ведаю, как уже мы продрались. Каких и каких проказ не происходило тут во время сего пролазвания! Иной, с радости бежавши без памяти, попал в калдобину и уходил по пояс в тину; другой, споткнувшись за кочку, летел стремглав и растягивался в тине и в грязи, и в ней как урод гваздался, иной зацепливал платьем за кусты и не мог освободиться, он рвал его, не жалея, что испортится. Иному прутьями лицо и глаза все выстегало; иной, попавши в тину, не мог ног своих выдрать и просил помощи. Но все сие хорошо и ладно быть казалось. Мы пробежали, смеючись и хохотав, сквозь сие дурное место, и одно только то слышно было: «Ступай! Ступай, братец! Слава Богу, наши победили!»

Со всем тем будучи в густом кустарнике, при всей своей радости помышляли мы и о том, чтоб, вышедши из онаго, не наткнуться на неприятеля. «Кто знает, – говорили некоторые, – не стоит ли еще его вторая линия на месте и не остановила ли она бегущих?» Но статочное ли дело, чтоб сему быть! Пруссаки как ни хвастают в реляциях своих, что они порядочно ретировались, но порядка тут и в завете не раживалось. Они пропали у нас в один миг из вида, и все поле было ими усеяно. Мы, вышедши из кустарника своего на поле, не увидели из них ни одного человека, а стояли только одни брошенные их пушки и лежали подле них убитые артиллеристы и другие воины.

Прибежавши наконец на то место, где стояла их вторая линия, велено было нам остановиться и выровняться с прочими полками, строившимися тут в одну линию, и не успела вся армия из-за леса выбраться и построить-

ся в одну линию, как закричали «ура!» и шляпы вверх бросили. О! какое это было радостное для нас позорище! Многие от радостных слез не могли промолвить слова, так чувствительно это всякому воину.

Сим образом кончилась славная наша *апраксинская и первая* баталия с пруссаками. Небу угодно было даровать нам над неприятелем нашим совершенную победу, и мы не могли довольно возблагодарить оное за то, а особливо узнав, в какой опасности находилась вся армия и сколь мало доставало к тому, чтоб ей совершенно разбитой, и нам вечно тем стыдом покрытыми быть, что одна почти горсть пруссаков в состоянии была разбить толь многочисленную армию, какова была наша. И подлинно ежели разсудить, то победа сия одержана была не искусством наших полководцев, котораго и в помине не было, а паче отменною храбростию наших войск, или наиболее по особливому устройению судеб, расположивших все обстоятельства так, чтоб самая храбрость наших воинов была уже принужденною и они поневоле принуждены были драться до последней капли крови, когда им ни бежать, ни ретироваться было некуда. Но как бы то ни было, но мы победили, и победу получили совершенную; а чтоб вы, любезный приятель, могли яснее все происхождение сей баталии видеть, то изъяснил я вам всю ее в посылаемом при сем рисунке (смотри рисунок 3-й позади книги¹), а о том, что воспоследовало после, равно как и о прочих обстоятельствах, до сей битвы относящихся, сообщу вам в письме последующем, а теперешнее сим окончив, скажу, что я есмь навсегда ваш и прочая.

ПОХОД К ВЕЛАВЕ

Письмо 48-е

Любезный приятель!

Я окончил мое последнее письмо тем, что мы прогнали неприятеля и получили совершенную победу. А теперь должно мне вам рассказать, что у нас происходило после того и сколь велик был наш выигрыш.

¹ Рисунка этого однако нет в подлинной рукописи Болотова. – Прим. редакции «*Русской Старины*».

Говорят, что от предводителей войск двойное искусство требуется; а именно: чтоб они умели побеждать, а того более, чтоб они умели победами своими пользоваться и не допускали бы пропадать их даром. Но что касается до наших предводителей, то мне кажется, что им обоих сих искусств недоставало. Они ни побеждать, ни пользоваться победами не умели. Победу Бог даровал нам нечаянную, и мне кажется, без всякаго нашего умысла и содействия, а чтоб пользоваться оною, о том у нас не было и на уме. Не то мы не умели, не то не хотели. Молва носилась тогда в армии, что многие будто и представляли, чтоб учинить за неприятелем погоню и стараться его разбить до основания; также будто советовали фельдмаршалу и со всею армиею немедля ничего, следовать за бегущим неприятелем. Но господином Ливеном, от котораго советов все наиболее зависело и которому, как мы после уже узнали, весьма неприятно было и то, что нам нечаянно удалось победить неприятеля, сказано будто при сем случае было, «что на один день два праздника не бывает, но довольно и того, что мы и победили». И как все изречения его почитались оракулами, то вследствие того и не учинено было за неприятелем ни малейшей погони. Ему дали время уплестись от нас подалее и не мешали, как хотел, собираться опять с силами. При таковых обстоятельствах истинно неприятели наши были еще очень глупы, что не вернулись и не учинили на нас вновь нападения: они в состоянии были нас впрах еще разбить с нашим хорошим порядком.

Таким образом неприятель ушел, а мы остановились себе на том месте, где после баталии построились и, не двигаясь ни на шаг вперед, велели привезть к себе обозы и разбить лагерь.

Не успели нас распустить из фрунта, как первое наше старание было, чтоб, севши на лошадей, ехать смотреть места баталии. Какое зрелище представилось нам тогда, подобнаго сему еще никогда не видавших! Весь пологий косогор, на котором стояла и дралась прусская линия, устлан был мертвыми неприятельскими телами, и чудное мы при сем случае увидели. Все они лежали уже, как мать родила, голые, и с них не только чулки и башмаки, но и самыя рубашки были содраны. Но кто и когда их сим образом обдирал, того мы никак не понимали, ибо время было чрезвычайно короткое и баталия едва только кончилась. И мы не могли довольно надивиться тому, сколь скоро успели наши погонщики, деньщики и люди сие споровить, и всех побитых пруссаков так обнаготить, что при вся-

ком человеке лежала одна только деревянная из сумы колодка, в которой были патроны, и синяя бумажка, которою они прикрыты были. Сии вещи, видно, никому уже были не надобны, а из прочих вещей не видели мы уже ни одной, так, что даже самыя ленты из кос, нестоившия трех денег, были развиты и унесены. Жалкое таковое состояние представляло нам наичувствительнейшее зрелище. Впрочем, видели мы, что побитые были почти все люди крупные, здоровые, белые, жирные и, одним словом, лежали навзничь, как горы или как волы черкасские. Маленькие и вверх взвохренные усы придавали и самым мертвым вид страшный и героический. Впрочем, разныя положения и состояния, в каких мы сих побитых видели, приводили нас в некое содрогание. У иного была вся голова или половина оной оторвана; другой лежал либо без руки или без ноги; третий без бока или пополам перерванный. Иные застрелены были только пулями и лежали растянувшимися, и каждый представлял собою какое-нибудь особое зрелище. Но как удивились мы, приехавши к лесу и к тому месту, где стояли и дрались наши, русские. Тут представилось нам совсем отменное тому зрелище. Весь закраек леса устлан был людьми, но казалось будто только спящими и точно так, как бы распушен был фронт, и солдаты бы разбрелись в разныя стороны и каждый прикурнул там, где ему попало. Все они были одеты и не тронуты, так как они убиты были, почему и лежали они в особливом положении. Иной лежал ниц лицом, другой под кустом съжившись, третий на боку, имея при себе ружье и все прочее свое оружие, четвертый навзничь и так далее. Но чему мы всего более дивились, то с своей стороны видели мы побитых гораздо меньше, нежели с прусской, и никакой иной причины тому не находили, кроме той, что много наделали тут вреда шуваловския секретныя гаубицы.

О подлинном с обеих сторон уроне нам узнать не было способа, однако все тогда говорили, что наш урон убитыми действительно не простирался будто и до 1000 человек, а состоял только в 860 человеках; напротив того, раненых было гораздо более и слишком 4 тысячи человек, и как из оных весьма многие и скоро потом померли, то весь урон действительно можно полагать тысячах в двух, а с ранеными – тысячах в пяти, хотя из сих последних многие были весьма легко ранены и считались только в числе оных; а были некоторыя и такія, которыя будучи вовсе неранеными, а старались себя включить в число раненых, думая получить чрез то себе какия-нибудь выгоды, хотя в том себя они очень обманули, и надежда

их была тщетная. В самом нашем полку случился пример тому подобный. Один подпоручик, знакомый мне человек и, впрочем, порядочный офицер, по фамилии господин Аристов, не был вовсе в сей день в строю и на баталии, а находился в обозе, по причине, что накануне сего дня несколько он по занемог, и потому ехал он лежучи в своей кибитке. Но вдруг очутился он в числе раненых. «Господи помилуй, чудясь сему говорили мы между собою, – каким это образом случилось, что наш Аристов ранен?» И скоро узнали потом, что он неприятеля и в глаза не видал, а в то только время, когда была наивеличайшая опасность, и когда все обозы прочь и назад погнажи, он так перетрусился, что, позабыв свою болезнь, и вскочив на отпряженную из повозки припряжную лошадь, ударился скакать назад и, едучи мимо одного дерева, второпях зацепил головою за один сук и немало им на лбу у себя оцарапал. И сей-то небольшой шрам вздумалось сему господину назвать полученною от неприятеля ранюю и вписать себя в число раненых. Он бесомненно думал получить себе за то какое-нибудь награждение, но в сем ожидании весьма обманулся, а сделал только то, что весь полк, узнав о сем происшествии, начал поднимать его на смех, и до того наконец довел, что он принужден был бежать из онаго и перепроститься в другой полк.

Что касается до неприятельскаго урона, то единогласно все говорили, что одними убитыми найдено на месте до 2500 человек, умалчивая о раненых, которых было несравненно больше. Сверх того, нахватали мы их более 600 человек в полон, с 8-ю офицерами, и число оных приумножалось с часу на час. Одних дезертиров или самовольно к нам предавшихся было человек до 300 и более. Кроме всего того, взяли мы на месте баталии 29 пушек с их ящиками и снарядами, из которых три были превеликия. Также получили мы в добычу 29 барабанов, но знамя не удалось нам ни одного захватить: пруссаки были слишком осторожны и берегли оныя весьма тщательно. А и самые их генералы и предводители, видно, не таковы были ревностны и отважны, как наши, ибо в числе убитых был у них один майор Гольц, да в числе раненых генерал-поручик граф Дона. Напротив того, мы потеряли на сем сражении нескольких генералов и начальников; но ни о котором так вся армия не тужила, как о *генерал-аншефе Лопухине*. Сей, будучи впрах изранен, попал было в полон пруссакам, но отнят силою у прусских гренадеров и принесен на руках в обоз. Тут имел еще он, по крайней мере, то утешение, что дожил до конца баталии, и последняя

его слова остались у всей армии в незабвенной памяти. Он, будучи уже при крае жизни, спрашивал еще предстоящих: «Гонят ли наши? Жив ли фельдмаршал?» И как его и в том и в другом уверили, тогда, перекрестясь, сказал он: «Ну, слава Богу! теперь умру я с покоем, отдавши долг моей государыне и любезному отечеству!» и того момента в самом деле умер. Смерть его, по справедливости, была славная, ибо редко о котором бы генерале так много было плачущих, как об нем. Будучи человек богатый и щедрый до высочайшего градуса, умел он тем преклонить в любовь к себе тысячи сердец и заставить себя при конце оплакивать.

Другой генерал, которого мы лишились, был генерал-поручик Зыбин. Сей также носил имя доброго человека и заслужил сожаление: однако об нем недолго и не много говорили. Бригадир Капнист был третий из убитых, и оба сии убиты были на нашем левом крыле, в то время, когда пруссаки к нам за фронт ворвались с своею конницею. Из прочих же наших генералов, многие были переранены, как то: оба господина Ливены, Георгий и Матвей, генерал Толстой; генерал-майоры: Дебоскет, Вильбоа и Мантейфель; генерал-квартирмейстер Веймарн и бригадир Племянников; но раны их были не опасны и так маловажны, что они могли отправлять свою должность. Что ж касается до штаб и обер-офицеров, то и побито и переранено было их немалое число, и довольно, когда скажу, что вторым гренадерским полком принужден был после баталии командовать поручик, ибо все штабы и капитаны были отчасти перебиты, отчасти переранены. Словом, сколь баталия наша была ни кратковременна, но пролито на ней довольно человеческой крови, и не один курган остался с зарытыми воинами на полях Эгерсдорфских.

В последующий день, то есть 20-го числа августа, было у нас благодарственное торжество. Мы приносили Всевышнему достойное благодарение, при пушечной пальбе из взятых в добычу неприятельских пушек, и вся армия поставлена была в строй и стреляла три раза обыкновенным беглым огнем. Всем солдатам учинена была винная порция; также велено было выдать за месяц не в зачет жалованья. Достальное же время дня употреблено было на разбирание убитых, как своих, так и неприятельских тел, и на прием провианта для взятых на баталии и с часу на час приумножающихся военнопленных.

Армия стояла и последующее 21-е число на том же еще месте. И в сей день погребали мы убитыя свои и неприятельския тела и отправляли плен-

ных и раненых назад в Тильзит. Также отправлен был в сей день генерал-майор Панин с известием о сей баталии ко двору в Санкт-Петербург.

Фельдмаршал наш, в донесении своем ко двору о сем происшествии старался колико можно скрыть и утаить свою непростительную погрешность и допущение неприятеля столь близко до себя по единой своей оплошности, но придавал всему делу вид колико можно лучший. Он изъявлял удивление свое о том, что нашел армию прусскую гораздо в превосходнейшем числе, нежели он думал и тысяч до сорока простирающуюся. Превозносил храбрость и отважность пруссаков до небес и утаивал совершенно то обстоятельство, что из армии нашей и четвертой доли не было в действительном деле, а что все дело кончили не более как полков 15, прочия же все стояли, поджав руки и без всякаго дела за лесом. О самом решительном обстоятельстве рассказывал он хотя справедливо, но в другом виде, и, наконец, старался все заглушить приписыванием непомерных похвал шуваловским гаубицам и бывшим при сражении волонтерам, князю Репнину, графу Брюсу, графу Апраксину, гвардии капитану Болтингу и иностранным: цесарскому генералу Сант-Андрею, французскому полковнику Фитингофу, а особливо Лопиталю, саксонскому полковнику Ламсдорфу и голштинскому поручику Надасти, о которых, как видно, из единого ласкательства говорил, что они на сем сражении оказали будто чудеса храбрости, ревности, усердия и неустрашимости. Но в самом деле у нас в армии всего меньше об них говорили. И все сии особы были так мало у нас известны, что мы даже и не знали, что они при оной находились; а притом никто и не понимал, где б и при каком случае оказать им сии чудеса храбрости, ибо баталия была столь стесненная и спутанная, что никому из командиров ничего сделать было не можно. А если кто славился и всею армиею похваляем был, то честь сию можно приписать полковнику *Языкову*. Он сделал более нежели все, хотя был сам изранен впрах, но с полком своим выдержал весь огонь и, отбив стремящегося всею силою неприятеля, удержал весьма важный пост; но о сем истинном герое главный полководец наш в реляции своей не упомянул ни единым словом.

Что ж принадлежит до пруссаков, то ничего не могло быть смешнее и досаднее того, как они изображали в писаниях своих сие сражение и с каким безстыдством лгали и выдумывали то, чего никогда не бывало, стараясь тем обмануть весь свет и придать сражению сему вид совсем иной и для них выгоднейший. Они затеяли прежде всего ту на нас совершен-

ную небылицу, что мы стояли тут, так окопавшись и в таком крепком ретраншаменте, что было у нас сделано не только четыре линии или вала, но пред ними еще порядочныя траншеи, установленныя более нежели 200-ми пушек, вместо того, что у нас не была нигде и лопаткою земля копана, а траншеи на что б были потребны, того не только мы не знали, но ежели б спросить и самого пруссака писателя, то и он бы не знал, что сказать, ибо сие была уже сущая нескладица. Но сим образом лагерь наш в пылком воображении своем угодно было ему укрепить для того, чтоб тем более увеличить героический дух фельдмаршала своего, Левальда, отважившагося атаковать нас в таком крепком укреплении стоящих, и чтоб тем удобнее можно было после скрыть свой стыд и оправдать его в потере баталии, ибо после и сказал он, что сколько пруссаки ни храбро наступали и сколько ни удачно они якобы всю нашу первую линию, а особливо конницу, опрокинули совершенно, и целых будто три батальона и более 60-ти пушек от нас отхватили, однако не было-де возможности никак всеми толь многими, друг за другом сделанными ретраншаменстами овладеть; но принуждено было бывшую уже в руках победу из оных опять выпустить и, побив у наших до 9 000 человек, в наилучшем порядке ретироваться.

Вот какими безсовестными и безстыдными выдумками и явною неправдою старались они ослепить глаза свету и прикрыть стыд свой. Но, по счастью, описания баталии сей были у них разныя и не одинакия, а во многом друг с другом несогласныя. Например, в другом известии прибавили они новую ложь, сказав, что у нас сделана была из срубленных дерев засека и что им трудно было ее переходить и потом строиться, хотя ничего того не бывало. А в третьем известии лгали они еще того безстыднейшим образом, уверяя свет, якобы кавалерия их наш левый фланг и конницу совсем опрокинула и овладела батареею, вместо того, что сия и близко их к себе не подпустила, но одним залпом такое произвела между ими поражение, что они в тот же миг назад обратились, и оставив въехавший за фронт к нам эскадрон в жертву нашим, с нуждою уплелись сами и оставили крыло сие с покоем. Далее безстыднейшим образом лгали они, что якобы у нас на правом фланге надделано было множество батарей, друг за другом, и что будто они тремя из них овладели, но всеми овладеть не могли. Наконец, чтоб безстыдную свою ложь увенчать еще того безсовестнейшею, то в предлог, для чего они принуждены были ретироваться, затеяли смеха достойное дело и такую небылицу, которой истинно хохотать надобно,

а именно якобы вторая их линия, будучи густотою дыма обманута, сама начала стрелять по своей первой сзади, и что как сия, попавши сим образом между двух огней и вытерпывая один огонь сзади, от своих, а другой спереди, от нас, и стрельбу более нежели из 150 пушек и мортир, не могла более устоять, то и принуждена была ретироваться, оставив 11 пушек и побив у нас более 10 000 и так далее.

Сим и подобным сему образом старались пруссаки залыгать весь свет и веселить себя сами при своей неудаче. Но что удивительнее всего, то и сам прусский король, в оставшихся после смерти его сочинениях своих, упоминая о сей баталии, говорит хотя всех прочих справедливее и описывает оную почти точно так, как она происходила, однако в некоторых пунктах также несколько прилыгает, а именно, говоря, что у нас была засека и что потеряли они только 13 пушек, а из людей побитыми, ранеными и в полон взятыми только 1400 человек – что столь же было несправедливо, как и то, что, по уверению его, армия их, не более как в 24 000 чел. состояла. Впрочем, винил он очень фельдмаршала своего Левальда, для чего не атаковал он нас прежде, а особливо накануне того дня, как мы выходили и строились. Но, Богу известно, удалось ли бы им тогда получить над нами какую-нибудь выгоду, ибо мы были тогда к сражению готовы и находились гораздо в лучшей позиции, а все сие доказывает, что и самому королю донесено было обо всех обстоятельствах не весьма справедливо, и он сам о баталии сей не имел порядочного понятия.

Но каким бы то образом ни было, но пруссакам не удалось, по желанию своему, нас разбить, и все искусство их генералов и храбрость солдат не помогла им нимало. Но судьбе было угодно, чтоб мы их победили и прогнали обратно в прежний их укрепленный при Велаве лагерь, куда они, не будучи преследуемы, и возвратились без помешательства.

Обстоятельство сие сколько было приятно и радостно нам, столько огорчительно для короля пруссакого, который в самое сие время находился весьма в смутных обстоятельствах. Проигранная им против цесарцев славная баталия при Колине, о которой впереди и было упоминаемо, возымела следствия для него весьма неприятныя. Я выше уже упоминал, что он принужден был со стыдом оставить осаду богемскаго столичнаго города Праги, забыть все пышные и великолепные свои замыслы и надежды к скорому завоеванию всей Богемии, и помышлять вместо того о том, как бы самому скорее и с меньшим убытком из Богемии выбраться.

В сем намерении разделил он армию свою на два корпуса, и один из оных повел сам назад в Саксонию, а другой отправил под предводительством наследного принца своего, брата отца нынешняго короля прусскаго¹ в Лузацию, дабы защитить тамошний край от впадения цесарцев. С первым из сих корпусов вышел он из Богемии и в Саксонию возвратился нарочито удачно и не претерпев никаких дальних уронов. Но армия наследного принца не была столь счастлива. Большая цесарская армия пошла вслед за оною и, имея у себя хороших предводителей, стала так, что помешала принцу продолжать поход свой в Габелю. В сей крепости находился прусский генерал Путкамер с четырьмя батальонами охраннаго войска. Цесарцы осадили его тут и принудили его тотчас сдаться, а как овладением сего места пресечена принцу коммуникация с магазинами его, находящимися в городе Цитау, то принужден он был искать другой дороги и обходить кругом чрез Камниц. Но сей поход был ему не только крайне труден, но бедствен и убыточен, ибо на пути сем, будучи непрерывно обезпокоиван цесарцами, растерял он множество людей, аммуниции и багажа, и уморил было всю свою армию с голода, ибо дошло до того, что она целья трои сутки не имела хлеба и едва было совсем не погибла, если б, по счастью, генерал Винтерфельд не доставил ей несколько провианта из Цитау. Словом, принц сей приведен был в такое утеснение, что вместо того, чтоб иттить в Лузацию, принужден он был с поспешностию ретироваться к Бауцену и в сторону к Саксонии. Тут соединился с ним король, который был так недоволен принцевым поведением, что несколько времени не хотел удостоить его своим взором и изъявил ему все знаки своего гнева и немилости.

Однако и самому ему не лучшая во всем была удача. Он всеми помянутыми происшествиями был так разстроен, что долго не мог ничего предпринять и большую часть лета препроводил в поправлении разбитой своей армии и в снабжении ея всем нужным. Наконец, в начале августа, собрав к себе разсеянные по разным местам деташаменты своих войск, вознамерился было он опять испытать счастья своего против цесарцев, и для того отправился с армиею к Цитау; но нашел тут неприятеля, стоящаго в столь выгодном положении, что он, на всю свою храбрость и искусство несмотря, не отважился приступить против него ни к малейшему

¹ Это писано в 1789 году. – Прим. редакции «Русской Старины».

предприятию, но, ничего не сделав, возвратился опять в Саксонию, куда призывали его другия и важнейшия надобности; ибо получены были им известия, что, с одной стороны, союзники его ганноверцы, по потере против французов баталии, утеснялися уже слишком оными и что дело до того уже доходит, что армии либо погибать, либо отдаваться в полон; с другой, – что собралась уже и так называемая имперская экзекуционная армия в многочисленном количестве около Нюрнберга и, соединившись с французами, готовилась войти в Саксонию и учинить на него тут нападение; а с третьей, что из Швеции переправилось через Балтийское море 17 тысяч человек в Померанию и что войско сие готовилось впасть в его земли. Итак, против всех сих неприятелей надлежало королю делать отпор и выдумывать всякия средства к отпящению оных. А как в самое сие время получено было известие о вступлении и нашей армии в Пруссию, а вскоре потом и о самой победе, одержанной нами над его армиею, то все сие натурально приводило мысли его в великую разстройку. Он не знал, куда и в которую сторону наперед обратить ему наивящее свое внимание, и все сие довело его наконец до такого смущения, что он предался почти совершенному уже отчаянию и, не хотя видеть себя стыдом и безславием покрытым, вознамерился было уже совсем лишить самого себя жизни, как то некоторыя писанныя им к Вольтеру письма и сочиненная самим им на случай сего самоубийства ода свидетельствует ясно.

Вот до какого отчаяннаго состояния доведен был король прусский в сие лето, и сколь ему одержанныя над ним цесарцами и нами победы были чувствительны. Толь многие неприятели, окружающие его со всех сторон сильными и многочисленными армиями, причиняли ему великое опасение и нагоняли страх и ужас. Он чувствовал, что был он против всех их слишком слаб и малосилен, и потому не иное что ожидал, как то, что его неминуемо разобьют и что он не только потеряет все завоеванное, но что цесарцы овладеют и всею Бранденбургиею его, а и об нас как весь свет, так и сам он не сомневался тогда в том, что мы, воспользовавшись полученною над армиею его победою, не преминем тотчас овладеть всем его королевством Прусским и выгнать из онаго остатки разбитой его армии. Мы все сами то же самое думали, однако счет сей делан был без хозяина, но Провидению небес угодно было все происшествия распорядить совсем инако и произвесть то, чего никто не мог никак думать и ожидать и чему весь свет до чрезвычайности удивился.

Все сие увидите и услышите, любезный приятель, в будущем продолжении моих писем, а теперь сего от меня не требуйте и не ожидайте! Письмо мое уже слишком увеличилось, и мне пора его окончить, а как и материя с сего времени пойдет несколько уже отменная, то и кстати будет говорить о том уже особо. Почему, прекратив сие и уверив вас о неперменности моей дружбы, остаюсь и прочая.

Конец
четвертой части



ЧАСТЬ V

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ МОЕЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ И ПРУССКОЙ ВОЙНЫ 1757–1758

ПОХОД К ВЕЛАВЕ

Письмо 49-е

Любезный друг!

Изобразив вам в предследующих письмах всю первую половину нашего первого пруссакого похода и рассказав вам, как мы шли против неприятеля нашего, как его искали и как с ним дрались и его победили, приступлю теперь к повествованию того, что происходило у нас после апраксинской нашей баталии, и что сделали потом с неприятелем мы, и что он с нами, и чем, наконец, кампания сего года кончилась.

Материя о сем, как думаю, будет для вас не менее любопытна, как и предследующая; но такова ж ли будет приятна, как она, в том не могу никак вперед поручиться, ибо как происшествия были не такие, а отменныя, то принужден буду и я картины рисовать иного рода. Почему и не взыщите, если для глаз будут оне иногда не слишком увеселительны и приятны, но более досадны. Не я, а времена и обстоятельства тогдашния были тому уже причиною, что оне таковы, а не инаковы; ибо я буду принужден то описывать, что было. К чему теперь и приступаю.

В последнем моем письме остановился я на том, что мы, победив нашего неприятеля, расположились лагерем на том месте, где происходило сражение, и несколько дней препроводили в торжествании сей победы

и в разборе и погребании побитых. Отдохновение сие было нам хотя непротивно, однако нельзя сказать, чтобы было и приятно, а мы все более удивлялись тому, что полководцы и командиры наши не старались ковать железо, покуда оно было еще горячо, и не спешили иттить вслед за убегишим неприятелем, и маленькую его оставшую армию скорее до конца сокрушить и всем королевством Прусским скорее овладеть не старались. И как ни один человек из всей армии нашей не сомневался в том, что прусаки и не подумают уже более нам противоборствовать, но побегут от нас, как овцы, то увеселяли мы уже себя предварительною надеждою, что скоро и весьма скоро увидим мы уже и славный их столичный город Кёнигсберг и вступим в места, наполненные изобилием во всем; и как все нетерпеливо желали, чтоб скорее сие совершилось, то не успел настать третий день после баталии, и мы и в оный поутру услышали опять биемую зорю, а не генеральный марш, то все начинали уже и гораздо поговаривать: «Для чего мы тут стоим и мешкаем так долго?»

Наконец наступило 22-е число августа, и мы, к общему нашему удовольствию, услышали, что забили генеральный марш, а не зорю. Боже мой, как обрадовались тогда все мы! Никто, я думаю, и никогда с толикою охотою и усердием не выступал в поход, как мы в сие утро; ибо все войско роптало уж давно, что нас так долго тут на одном месте держат, и дают между тем неприятелю время опаматоваться и собираться с силами; и все давно и с величайшею ревностью желали иттить вслед за неприятелем. Почему не только нимало не досадовали на то, что встревожили нас еще очень рано и что мы уже на самом разсвете в поход выступить принуждены были, но охотно бы согласились иттить и с самой полночи.

Поелику выступили мы в поход так рано, то никто не сомневался в том, – что мы в тот день учиним великий переход и отойдем, по крайней мере, верст с двадцать. Однако в сем мнении мы очень обманулись. Армия наша, пробравшись сквозь лес тем тесным проходом при Альменгаузене, о котором я упоминал прежде и за которым находился прежде сего прусский лагерь, и прошед находившуюся тут другую деревню, Бушдорф, отошла не более как 5 верст и стала опять лагерем. Сие удивило нас всех до чрезвычайности и многие, досадуя на то, говорили еще тогда: «Ну! махнули же мы сегодня, братцы! Легко ли сколько!» – «Да! – подхватывали другие. – С этаким проворством не дойдем мы и в целый месяц до Кёнигсберга!»

При проходе сквозь вышеупомянутый и версты на две в ширину простирающийся лес, смотрел я с особливым любопытством на тот тесный проход, который, дня за три до того, остановил наших предводителей и побудил их переменить план своего намерения, и находил, что дефиляция была в самом деле весьма важная и неудобь проходимая, и пруссаки могли б немногими людьми и пушками наделать нам тут множество вреда и помешать нам проходить сквозь оную. Мы и без неприятеля имели немалый труд пробраться сквозь сей тесный проход лесом.

Во время ночевания нашего в помянутом месте, против всякаго чаяния и ожидания, произошла у нас во всей армии тревога, и, что удивительнее всего, то, к сущему стыду нашему, совсем пустая. Сие увеличило еще более нашу досаду на предводителей. «Горе, а не предводители вы, государи наши, – говорили мы, смотря на оных, – будучи победителями, а боитесь каждой мухи и всю армию сами не знаете для чего тревожите и беспокоите».

Как разсвело, то потащились мы опять в поход понемногу. И как мы не ожидали, чтоб и в сей день поход наш был успешнее, то, смеючись, говорили между собою: «Посмотрим, что-то Бог даст сегодня и сколько-то уйдем». Мы в мнении своем верно и не ошиблись. Целую половину дня тащились мы четыре версты, проходя все узкия места между лесами и курстарниками. Переход сей, каков ни мал был, но отяготил нас до безконечности. День случился самый жаркий и духота такая, что мы не знали куда деваться. Пуще всего досаждало нам то, что мы на всяком почти шагу принуждены были останавливаться и промедливать минут по несколько. Не успеем сажен 10-ти или 20-ти отойти, как закричат: «Стой!», и мы принуждены стоять и печься на жару солнечном, а там опять двинемся шагов пять и опять: «Стой!» и так далее. Не можно изобразить, как таковой медленный поход во время жаров несносен, а особливо в такое время, когда от фрунта не можно никуда ни на один шаг отлучиться. Истинно власно как за душу кто тянет; и если б не имели мы той отрады, что у всякаго из нас была бутылка с водою, смешанною с уксусом, то от жажды не знали б мы что делать. Ни в которое время, во все продолжение похода, не была нам сия вода толико нужна и драгоценна, как в сей день. Она казалась нам лучше и превосходнее всех шампанских и венгерских вин на свете, и мы тысячу раз благодарили сами себя, что догадались запастись оною и настановить полны передние ящики в ротных наших патронных ящиках

бутылками. По особливому счастью, не имели мы во весь поход недостатков в уксусе. Мы покупали его по рублю штоф; но он так был нам нужен, что мы согласились бы платить за него и по два, и по три рубля, если б того требовала нужда.

Идучи столь медленными стопами и терзаясь ежеминутно досадою, не понимали мы, что б тому была причина, что мы так медленно тащились. Но не успели мы пройтить помянутого перелески и, выбравшись на поле, дойти до высокога берега одной реки, как узнали мы тому причину; ибо тут, к превеликому удивлению нашему, увидели мы за рекою вдаль пред собою весь неприятельский лагерь, расположенный на горе.

Зрелище сие всех нас поразило до чрезвычайности; ибо мы всего меньше думали, чтоб неприятель был от нас так близко, но считали его далеко ушедшим. Из сего нетрудно было заключить, что нам и не можно было спешить своим походом, но что и по неволе принуждены мы будем на помянутой горе остановится и стать лагерем. Ибо, во-первых, не можно было и реку без мостов переправиться, а во-вторых, видя, что неприятель не слишком нас трусит, не сомневались мы, что он не преминет нам в переправе через оную делать помешательство.

Что мы предугадывали, то и сделалось. Мы не успели дойти до помянутой реки, как и велено было нам остановиться по самому берегу лагерем и употребить все нужные от неприятеля осторожности; а сверх того, и командиры наши постарались обезпечить стан наш от нападения неприятельскаго разстановлением в нужных местах пушек и бекетов.

Теперь, не ходя далее, дозвольте мне, любезный приятель, на минуту остановиться и описать вам обстоятельнее все положение того места, на котором мы остановились, ибо оно было для нас довольно достопамятно. Итак, представьте себе одну, хотя не гораздо большую, однако и не само малую, а сажень на десять или на пятнадцать в ширину простирающуюся реку, и имеющую течение свое очень низко, а притом и не гораздо прямо, но сочиняющую к нам не малую луку и изгибину. Один берег сей реки, которая называлась Ааль, был очень крут и составлял превысокую гору, а другой был очень низок и, простираясь далее от реки, возвышался малопомалу, так что составлялся самый отлогий косогор, котораго верх равен был прежде упомянутой горе, однако не ближе как версты за три от оной. Армия наша, пришед, стала подле самой оной реки, на крутом и возвышенном ея берегу, или на вышеупомянутой горе, между деревнями Гросс

и Клейн-Ур, а на другом берегу, внизу, подле самой реки, находилась небольшая деревня Бергерсдорф, за которою пригорок, час от часу поднимаясь, и версты три от нас расстоянием соединялся с горизонтом, где, то есть на самом холму онаго, виден был передний фас стоящаго там прусскаго лагеря. Зрелище, которое мы впервые имели тогда случай видеть; ибо до того времени не было еще у нас никогда в виду неприятельскаго лагеря. Вниз реки, версты три или четыре от сего места, вправо, находился прусский город, называемый Велау, но который, за случившимся на той стороне реки лесом, от нас был не виден.

Вот какое было натуральное положение тамошняго места, которое для меня было тем достопамятнее, что оно совсем почти походило на то, где находится мое жилище в моем отечестве.

Армия пришла к сему месту еще довольно рано и расположилась лагерем так, как по неровному и вершинами и буераками изрытому месту наиспособнее было можно. Нашему полку, как бывшему и тогда еще в авангардном корпусе, случилось стать наперед всех и на самом берегу реки Ааль, против вышеупомянутой деревни Бергерсдорф, и как место сие было наивозвышеннейшее, то пред самым нашим полком и поставлена была знатная часть нашей артиллерии.

Нельзя было способнее быть для артиллерии места того, на котором она тогда стояла. Она могла очищать все пространное за рекою и чистое поле и командовать им так, что нельзя было ни одному человеку на нем показаться. Сие имели мы случай видеть в самой практике; ибо не успели мы приттить и стать, как увидели уже на той стороне неприятельские гусарские подьезды, выезжавшие небольшими кучками из-за лагеря и подьезжавшие к деревне для подсматривания нашей армии. Нетрудно заключить, что, имея батарею в таком выгодном месте, не можно было нам дозволить разъезжать по полю по своей воле. Мы поздравили их тотчас из двенадцатифунтовых пушек, и учтивство наше было им не весьма приятно. На моих глазах пролетали ядра сквозь самыя их кучки и принуждали их разсеяться врознь. Одним словом, мы и далеко их до деревни не допустили; но чему и дивиться не можно, ибо с такой горы, на какой мы тогда стояли, а притом, стреляя на досуге и имея время сколько хотели прицеливаться, и стыдно было нашим артиллеристам, если б не попадали. Им в сей день было сущее для стрельбы ученье; и мы, собравшись, смотрели на их удалество и не могли уменьем их довольно навеселиться.

Но как, несмотря на все наши старания и стрельбу, партии их до самой деревни подъезжали, и по причине приближающейся ночи опасались, чтоб они не засели в оной и не сделали б нам в переправе через реку какого-нибудь помешательства, то, в отвращение того, приказано было наконец деревню сию зажечь. Сие подало мне случай видеть, как зажигают артиллеристы строения брандкугелями или так называемыми книпелями. В один миг она у них загорелась, и не успели они нескольких зажигательных особаго рода ядер бросить, как находилась она вся в пламени и горела до полуночи. Пруссаки обвиняли потом нас сожжением сей деревни; но ежели по справедливости разсудить, то причину к тому подали они сами, и бедным жителям оной надлежало жаловаться не на нас, а на самих своих гусар, старавшихся без всякой дальней пользы засесть в оной. Но как бы то ни было, но сей пожар воспрепятствовал пруссакам в деревне сей засесть и укрепиться, и они удовольствовались, разстановив свои бекеты в находящемся между сею деревнею и городом Велавою при реке сей лесе для примечания наших действий.

Все сие доказывало нам, что переправа чрез реку сию нам не такова легка будет, как мы думали, но что неприятели намерены делать нам в том препятствие. Однако, как переправляться необходимо было надобно, то и командированы были разныя команды для делания чрез реку сию мостов, которыя и начали в том того часа упражняться и приуготовлять к тому все нужные материалы. И как мосты сии не так скоро можно было сделать, то самое сие и принудило армию в сем месте простоять и весь последующий день, то есть 24-е число августа.

Во время сего дневания не произошло у нас ничего важнаго и примечания достойнаго, кроме того, что видно было, что неприятель как около своего лагеря, так и на сей стороне реки, в правую сторону от нашей армии пред городком Велавою, делал батареи для воспрепятствования продолжения нашего похода и для защиты города, о котором думал он, что мы его атаковать и им овладеть стараться станем; а чтоб воспрепятствовать нам и чрез реку переправляться, то в тех местах, где мы начинали мосты делать, начинал делать также редуты¹ и батареи. Таковыя его движения, доказывающия его намерение нам противоборствовать, неприятны были

¹ Редан, редант или редут м. франц. воен. полевое укрепление, место, окруженное рвом и валом; небольшое, временное укрепление, для защиты чего-либо.

не только нашим главным командирам, но и всему войску. Нетрудно было заключить, что всему тому виноваты были наши главные командиры, упустившие неприятеля после баталии без всякой погони и давшие им чрез то время опаматоваться и собраться с силами. Сие усматривали мы тогда довольно ясно и все почти въявь на них за то роптали. Они сами примечали уже свою ошибку; но как переменить сего было уже не можно, то старались по крайней мере и с своей стороны употребить некоторыя предосторожности; и как они, возобновив прежнюю свою трусость, стали бояться, чтоб неприятель не пришел и не передушил нас как кур в самом нашем лагере, то в отвращение того разсудили, для прикрытия армии со стороны от города, поставить в некотором отдалении от нашего правого крыла сильный бекет с шуваловскими гаубицами и пушками.

Поелику мне самому случилось командировану быть на сей бекет, то и могу я рассказать обо всем том обстоятельнее, что при сем случае с нами происходило. Нас вывели на край самага нашего лагеря и за деревню и поставили против самой батареи, сделанной неприятелями на кургане пред городом, так что нам как она, так и весь город Велау был виден. День случился тогда красный, и мы не могли довольно насмотреться, видеv как пруссаки выходили из местечка и сменяли караул на своей батарее. Ясных их ружья блестели от солнца, и мы любовались сим зрелищем до самага вечера.

При наступлении ночи велено было нам иметь возможнейшую осторожность и смотреть, чтоб ночью пруссаки на нас не напали. Правда, сего хотя и не было дальней причины опасаться, однако, как вблизиности перед нашим бекетом в лощине находился лесок, то опасались мы, чтоб неприятель, пользуясь ночьюю темнотою, не закрался в оный и не учинил бы на нас нечаяннаго нападения, как то уже в сем лагере с нашими фуражирами однажды и случилось, и они были неприятелем нечаянно потревожены. Чего ради, бывший с нами командиром, полковник велел двум шеренгам стоять во всю ночь в ружье, а двум отдыхать. Итак, 1000 человек у нас стояла, а другая тысяча спала. Пушки же все заряжены были ядрами и картечами, и канонеры стояли с зажженными фитилями в готовности.

Таким образом принуждены мы были препроводить ночь с худым покоем. Для всех офицеров поставлено только было три солдатских палатки, в которых побросались мы как были, в шарфах и в знаках, на землю. Но мы уже о том не тужили, но рады б были, если б только с покоем и без

тревоги ночь миновала; ибо надеялись, что в последующее утро сменят нас другия войска. Однако не так то сделалось, как мы думали. Но не успела ночь настать, случившаяся тогда очень темною, и мы в палатках своих заснуть, как вдруг прибежали сказывать нам, что в лесочке, находящемся сажен за 100 пред нашим фрунтом, слышен какой-то шум и шорох, и что опасаются не неприятель ли в оный вкрался. Услышав сие, поскакали мы из сна, и без памяти бросились к своим местам. Мы нашли весь фрунт уже в готовности, и обе спавшие шеренги пробудившиеся и стоящие уже в строю. Темнота была превеликая, и мы сколько ни смотрели в сторону к лесу, однако ничего не можно было видеть. Но как шорох и тихий шум в лесу продолжался, то сие побудило командира нашего отрядить нескольких солдат и послать смотреть ближе к лесу, с приказанием дать нам тотчас сигнал, как скоро они что-нибудь приметят. Не могу довольно изобразить, с какою нетерпеливостью ожидали мы сих посланных назад, или от них какого-нибудь знака, и какия душевныя движения ощущали мы, готовясь всякую минуту к принятию неприятеля хорошим залпом. Ружья у нас все были приготовлены, и оставалось только взвесть курки и стрелять, а равномерно и у пушек все канонеры были в готовности с своими фитилями. Но что ж воспоследовало? Уже прошло минут десять; уже прошло и более четверти часа; уже пора бы чему-нибудь и быть, но от посланных наших не было ни слуху, ни духу, ни послушания. «Что за диковинка! – говорили мы, сошедшись между собою. – Уж не пустой ли какой шум нас встревожил?» Но удивление наше еще более увеличилось, когда мы, вместо приказаннаго сигнала, чтоб засвистеть, услышали вдали смех и хохотанье. – «Господи! что это такое? – говорили мы. – Конечно, не неприятель, а что-нибудь смешное! Но чему бы такому быть?..» Но сомнение наше скоро решилось. Мы увидели посыланных наших идущих назад и со смехом нам сказывающих, что неприятель, напугавший нас, далеко не таков страшен, как мы думали, и что весь шум, слышанный нами, производили не кто иной, как госпожи коровы, забравшиеся каким-то случаем в сей лес и бродящая по оному с привязанными на шеях у себя погремушками. – «Тфу, какая пропасть! – говорили мы тогда, досадуя и смеючись. – Прах бы их побрал, а мы думали уж Бог знает кто!..» Подосадовав сим образом, что дали себя такой мечте перетревожить и перепугать, разошлись опять по своим палаткам и растянулись на траве, провождать достальную часть ночи опять во сне.

Но ночь сия видно на то была определена, чтоб нам проводить ее в непрерывных безпокойствах; ибо не успели мы угомониться и перед светом погрузится в наисладчайший сон, как вдруг проразистый крик и вопль пронизает наши слухи и пробуждает всех нас из сладкого сна. – «Вставайте, вставайте! – закричали мы. – Это уже не коровы, государи мои, а нечто поважнее». А не успели мы сих слов выговорить, как послышанная, и в самой близости от нас, ружейная стрельба всех нас еще больше перетревожила. Тогда некогда было долее расдарабарывать, но мы, не иначе заключая, что неприятели напали на наши отводные караулы, которых мы для лучшей безопасности поставили впереди, поскакали из сна и, без памяти бросившись бежать к своим местам, кричали только: «К ружью! к ружью! Становись скорей в строй, оправляй замки, кремни и ружья и готовься к стрельбе!» Однако и в сей раз, сколько мы, приготовившись совсем в темноте, вперед ни смотрели, но не могли ничего приметить, и наш страх и тревога опять кончилась ничем, и мы, по прошествии нескольких минут, узнали, что сей крик и стрельба сделалась не на нашей стороне и не от наших передовых, а влеве, за рекою, и наутрие проведали, что тревогу сию учинили наши калмыки, из коих несколько человек, переплыв чрез реку, напали на стоявший за рекою неприятельский бекет и, разбив оный, привезли с собою несколько человек пленных.

Поутру, в наступившее за сим 25-е число августа, получив смену, возвратились мы в свой полк и могли уже там, сколько хотели, выспаться, потому что армия и в сей день стояла на том же месте лагерем и ничего не предпринимала. А неприятель продолжал час от часу более укрепляться редутами и батареями, и предполагать нам в делании наших мостов столько затруднений, что наши командиры принуждены были намерение свое – переходить реку в сем месте – оставить и, уничтожив начатое, помышлять об иных средствах. Мы не знали, что с нами наконец тут воспоследует, и где мы сию реку переправляться станем, и не сомневались в том, что вскоре опять чему-нибудь быть надобно и что у нас не пройдет без схватки с неприятелем. Все его движения и предприятия доказывали нам, что он никак не намерен дать нам спокойно переправляться чрез реку, но что помышляет о хорошем отпоре. А особливо ожидали мы сего в том случае, если вздумают наши иттить прямо чрез городок Велау и за оным переходить реку по готовому уже мосту. Видимая нами его батареи, поделанные пред входом в сей городок, угрожали нас кровопролитною встречей, и,

признаться надобно, что нам сие не весьма было приятно; и тем паче, что мы такого сопротивления никак не ожидали, и потому от часу более роптали на командиров своих и порочили их за то, что они упустили неприятеля без погони и не умели, воспользуясь тогдашнею его разстройкою и трусостью, овладеть еще тогда ж сим важным местом.

В сей неизвестности о том, что будет происходить, препроводили мы весь сей день. Но ввечеру разрешилось наше сомнение и неожиданный приказ, отданный во всей армии, привел нас в новое удивление, а именно: всем нам приказано было наутрие готовиться к походу и объявлено, что вся армия с светом вдруг выступит тихим образом в поход.

На сем месте дозвольте мне, любезный приятель, пресечь мое письмо. Мне хочется оставить вас в нетерпеливости узнать, что последует далее. Сие услышите вы в последующем письме, а между тем остаюсь ваш верный и покорный слуга.

ПРИ АЛЕНБУРГЕ

Письмо 50-е

Любезный приятель!

Последнее письмо мое кончил я тем, что отдан был во всю армию с вечера приказ, что наутрие вся армия выступит в поход и учинит сие тихим и тайным образом. Поелику такового приказания нам до того времени никогда еще отдавано не было, то и удивило оно нас до чрезвычайности. Однако мы думали, что предводители наши, конечно, хотят употребить какую-нибудь стратагему или военный обман и хотят выступить для того скрытно в поход, чтоб либо нечаянно овладеть городом Велавою, либо переправиться чрез реку где-нибудь в другом и нам еще неизвестном месте.

В сей неизвестности и горя нетерпеливым желанием узнать, вправо ли мы пойдем или влево и не будем ли наутрие иметь с неприятелем дела, препроводили мы всю ночь, а в последующий день, то есть 26-го числа августа, как скоро начало разсветать, то пробита была зоря вместо генерального марша, в знак того, что будто армия стоять будет и в тот день непоколебимо на том же месте. А чтоб лучше скрыть обман, то велено было нашему авангардному корпусу быть уже в арьергарде и палатки свои до

тех пор не снимать, покуда главная армия вся, и с обозами своими, в поход выступит и несколько уже поудалится, а гусарам и казакам до тех пор оставаться в своем месте, покуда армия вступит в новый свой лагерь. Но смешной это был обман! Мы надеялись обмануть неприятеля, а не ведали того, что он обманул нас прежде и что лагерь его, видимый нами, и сначала уже был фальшивый и пустой и содержал в себе только малое число войск; а об армии прусской говорили, что главная часть оной давно уже пошла далее к Кёнигсбергу, а другая отправилась туда, где наша армия вздумала вновь мосты строить, чтоб и там разрушить наше намерение; ибо неприятелям нашим все наши предприятия и замыслы были известны, и он имел в войске нашем таких людей, которыхя его обо всем наивернейшим образом уведомляли. По крайней мере, говорили тогда так и подозревали в том наиболее господина Ливена. Но как бы то ни было, но мы выступили без всякаго шума в поход и пошли влево вверх по реке Ааль к местечку Аленбургу, и отошед несколько верст с превеликим трудом, расположились при берегах оной реки лагерем.

Наутрие (27-го) думали мы, что будем переправляться чрез реку, однако вместо того простояли мы весь день без всякаго дела. Сия медлительность была нам всем удивительна. Но мы удивились еще больше, как объявлено было, что и в последующий день, то есть 28-е число, армия останется на том же месте. «Господи помилуй! – говорили мы между собою. – Что за диковинка и долго ль нам чрез реку не перебираться?» Но удивление наше еще увеличилось, как не видно было и никаких приуготовлений к переправе, хотя неприятелей, готовящихся мешать нам в том, также было нимало неприметно, но вместо того примечали мы, что солдатам нашим дана была воля грабить находящийся за рекою прекрасный дворянский замок, так же спустить превеликий пруд, случившийся посреди самага нашего лагеря с насаженною в него рыбою – карпиею. При сем случае узнал я впервые, какая хорошая рыба была карпия и какия пруды бывают с оною. Сей рыбы было такое множество в оном, что она в армии тогда за ничто почти продавалась, и можно прямо сказать, что не только мы, но и солдаты наелись ею досыта, так много ея тут было! Истинно, как спустили весь пруд, то превеликия карпии, власно как поросята, в оставшей немногой воде и тине ворочались, и смешно было смотреть, как люди наши и солдаты, бродя по тине, их вытаскивали и такую легкую ловлею веселились.

Между тем как сим образом вся армия упражнялась в рыбной ловле и в варении своих карпиев, господа полководцы и предводители наши совсем другое помышляли. Упражнение их было мудреное и никем неожиданное. Они помышляли о том, как бы обратить в ничто все понесенные до того времени войсками нашими труды, потерять ни за что все претерпенные убытки и пролитую толь многими сынами отечества кровь; расплесть опять полученный венец славы и победы, покрыть себя стыдом и безчестием и нанести всей армии пятно и худую навек и досадную всем истинным патриотам славу. Одним словом, буде верить разнесшейся потом молве, то сплетали они то, что солдаты по неразумию своему называют изменою. Но правда ли то, или нет, того истинно не знаю, а то только ведаю, что 28-й день августа¹ был последним днем нашей славы, пышности, мужественного духа и лестной надежды увидеть вскоре стены славного города Кёнигсберга и развеаемыя на них наши знамена, а все королевство Прусское покоренное нашему оружию и во власти нашей; а 29-е число августа был тот достопамятный и крайне досадный день, в который упали все наши сердца и мы, лишившись всего мужества, покрылись стыдом и безчестием и принуждены были истребить из себя все прежния толь лестныя надежды. Коротко в сей никогда незабвенный день обратили мы неприятелю свой тыл и поплелись назад в свое отечество, будучи покрыты таким стыдом, что не отваживались взирать друг на друга, а только с несказанным удивлением друг у друга спрашивали, говоря: «Что это, братцы? Что это такое с нами творится и совершается? Куда каковы хороши мы!» и так далее.

Не могу без досады и поныне вспомнить, какое сделалось тогда вдруг во всей армии волнение; истинно не было почти человека, у котораго бы на лице не изображалась досада, с стыдом и гневом смешанная. Повсюду слышно было только роптание и тайное ругательство наших главных командиров. Многие въявь почти кричали, что «измена! и измена очевидная!» а другие, досадуя и смеючись говорили: «Что это, государи мои! или мы затем только в Пруссию приходили, на то столько трудов принимали и на то только кровь свою проливали, чтоб нам здесь карпов половить и поесть?»

¹ Одержав с большим трудом победу при Грос-Егерсдорфе, армия достигла Аленбурга. 28 августа 1757 г. состоялся военный совет, на котором, ввиду больших потерь в войсках и затруднений в снабжении армии, решено было отступить в пределы России.

– Что это деется с нами? Где девался ум у всех наших генералов?» и так далее. Одним словом, роптание было повсеместное и сколь ни мило было нам всем свое отечество, но вряд ли кто с охотою тогда в обратный путь к оному шествовал. Столь чувствителен нам был сей неожиданный случай!

Ежели хотите теперь знать, что такое собственно принудило предводителей наших к сему потерянию всех наших выгод ни за что и к столь постыдному возвращению, то истинно не могу вам ничего подлинного на сие сказать. Будучи тогда таким малым человеком, не можно мне было ничего узнать точного, а все обвиняли тогда только фельдмаршала нашего, графа (?) Апраксина¹, который, как известно, и умер потом от того в несчастии и от печали. Правда, некоторые говорили, будто имел он тайныя какия-то повеления и поступал по оным; но подлинно никто о том не ведал, а довольно, что он пошел с армиею назад и упустил из рук все выгоды и плоды, приобретенные нашею победою, и сделал весьма славное дело, то есть поступкою своею удивил не только всю нашу армию, но и самого неприятеля и даже всю Европу. Словом, он сделал то, что в истории о сем приключении осталась навеки та память, что обратный поход нашей армии удивил всю тогда Европу и что никто во всем свете не мог понять, что бы побудило графа (?) Апраксина выпустить из рук все приобретенныя выгоды и, имея уже большую часть королевства Пруссаго в руках и находясь уже столь близко от столичнаго города Кёнигсберга, вдруг воротиться и вытти из всей Пруссии, чему сначала никто и даже самые неприятели наши не хотели верить, покуда не подтвердилось то самым делом. Некоторые иностранные писатели, описывавшие жизнь короля пруссаго, упоминают, что впоследствии оказалось, что истинною причиною сего возвратнаго похода было то, что императрице нашей Елисавете Петровне случилось в течение сего лета очень занемочь и что бывший тогда у нас канцлером граф Бестужев, опасаясь ея кончины и замышляя в уме своем произведение некоторых важных при дворе перемен, а особливо в разсуждении самаго наследства, писал сам от себя и без ведома императрицы к графу (?) Апраксину, который был ему друг, чтоб он с армиею своею возвратился в отечество.

¹ Болотов называет вполне справедливо С. Ф. Апраксина графом, так как его отец Федор Матвеевич, знаменитый сподвижник Петра I, был в 1709 г. возведен в графское достоинство. В тексте «Записок», изданных «Русской Стариной» в 1870 г., рядом со словом «граф» подготовлявшим «Записки» к печати М. И. Семева, видимо, ошибочно поставлен вопрос.

Но как бы то ни было, но то достоверно, что фельдмаршал наш, вознамерясь иттить назад, созвал для вида военный совет и насказал всем генералам столько об оказавшемся якобы великом недостатке в провианте и фураже в армии и о невозможностях поход свой простирать далее – по причине, что ушедшая к Кёнигсбергу прусская армия сама все места по дороге опустошила, так что нигде верст за двадцать фуража достать никоим образом было не можно – что убедил почти всех против желания согласиться на его предложение и подписать приговор о восприятии обратного похода на время к тем местам, где находились в заготовлении магазины. Один только прежде упоминаемый генерал-аншеф Сибильский не соглашался никак на сие предложение и утверждая, что провианта и фуража в армии довольно, что она в том не имеет никакого недостатка, не хотел никак подписывать приговора; но его столь же мало и в сей раз послушали, как после баталии, когда он, советуя учинить погоню, просил себе только трех пехотных полков и хотел ими нанести разбитому неприятелю наилучительнейший удар, но ему в том было отказано.

Но как, несмотря на все сие, легко можно было ожидать, что во всем войске делается великий ропот, то всходствие всего вышеупомянутого и разглашено было во всей армии, что к такому, неожиданному никем возвращению, принудила нас самая необходимость и, во-первых, то, что поход наш далее продолжать препятствует стоящая будто за рекою неприятельская армия, охраняющая проход при Велаве и укрепившая его батареями; во-вторых, и что будто всего важнее для того, что появился в армии великий недостаток в провианте, и что будто надежды не было нигде его достать и получить.

Нашлись многие, которья, сему разглашению поверив, тем и довольствовались но разумнейшие были совсем иных мыслей. Сим известно уже было, что это одно прикрывало и пустой обман, и что прусской армии и в завете уже не было, а провианта находилось довольно еще в армии, а, сверх того, находилось онаго великое множество в городе Велаве, который у неприятеля отнять никакого труда не стоило, потому что сей городок был совсем неукрепленный и защищаемый только малым числом войска. А нужно бы его взять, как выгнали б пруссаков изо всего королевства Пруссаго, и поелику тогда начиналась уже осень, то могли б везде провианта и фуража столько получить, сколько б хотели, а особливо по сторонам и в тех местах, где ни армии, ни фуражирования еще не было.

Таким образом рассказал я вам, любезный приятель, все продолжение нашего похода вперед; а теперь осталось рассказать вам об обратном нашем путешествии. О, что это был за поход! истинно сердце обливается кровью, как я его и все обстоятельства вспомню. Одним словом, с радостью б умолчал я об оном, если б исторический порядок не требовал от меня и ему такого ж описания, как предследующему.

Но я отложу повествование о том до последующаго письма; а теперешнее окончу, рассказав вам, что сей несчастный и постыдный для нас пункт времени был в особенности счастлив для короля прусскаго; ибо с самага почти сего дня начали пресекаться все его смутныя обстоятельства и пошло везде ему особое счастье, власно так, как бы фельдмаршал наш г. Апраксин проступкою своею проложил к тому путь и дорогу. В доказательство того скажу, что на другой же день сего происшествия, а именно 30-го августа, произошло в Европе и другое для него весьма выгодное обстоятельство, происшедшее также от непростительной погрешности главнаго предводителя французской армии, а именно:

Я надеюсь, что вы, любезный приятель помните еще, что мы оставили победоносную французскую армию, находящеюся в погоне за разбитою ганноверанскою, которая была союзная королю прусскому и находилась под командою герцога Кумберландскаго. Сию армию загнали французы до самага приморскаго города Штаде и утеснили так, что герцогу Кумберландскому, лишенному всех удобностей к дальнейшему бегству и к снабжению армии своей провиантом и фуражем, другого не оставалось, как либо вновь отважиться на сражение с французами, либо положить оружие и отдаться в полон со всем войском. Но как он однажды при Гастенбеке был французами разбит и претерпел великий урон, то вновь с ними сражаться не хотелось ему ни под каким видом и потому оставалось одно последнее. Все и считали, что сие воспоследует действительно, и что французы при сем случае учинят то же с ганноверанскою союзною армиею, что учинил король прусский с саксонскою, то есть возьмут ее всю в полон. Но, к удивлению всего света, вышла тут такая ж неожиданность, как и с нашим обратным походом, а именно: вместо того, чтоб сделать сие славное и громкое дело, новому командиру французской армии, г-ну маршалу Ришелье, добившемуся главной команды чрез происки и пронырства при французском дворе, заблагоразсудилось, против всякаго чаяния и здраваго разсудка, заключить с герцогом Кумберландским в монастыре Севене

перемирие и трактат с условием, чтоб войску его против французов более не воевать. Но, что глупее и смешнее всего, то условленось при том было, чтоб все бывшая в ганноверанской армии союзныя ей и вспомогательныя гессен-кассельския, брауншвейгския, саксен-готайския и липския войска распустить в их отечество с паспортами маршала Ришелье, а английским войскам таким же образом удалиться за реку Эльбу; оставшимся же в Штаде не переходить назначенных в договоре пределов.

Заключение такового, никем неожиданного договора, столько же удивило весь свет, сколько и наше возвращение. Выгода же короля прусскаго проистекла от того та, что помянутыя распущенныя с паспортами войска, тотчас данное свое слово и обещание не воевать – нарушили и передались все к королю прусскому, вступили к нему в службу и собою приумножили его войско; а король не преминул сим случаем воспользоваться, и сжив нечаянным образом двух столь страшных неприятелей с своих рук, ободрился и положил с прочими переведаться уже по одиночке, в чем, наконец, он и успел более, нежели сколько сам он думал и ожидал, как о том упомянуто будет впредь подробнее.

Сим окончу я мое теперешнее письмо; в последующем за сим расскажу вам обратное наше путешествие; а между тем, сказав, что я есмь ваш неллицемерный друг, остаюсь и прочее.

ОБРАТНЫЙ ПОХОД

Письмо 51-е

Любезный приятель!

Вот письмо, которое предаю я вам на волю. Оно не содержит в себе ничего кроме описания таких происшествий, которыя произвели во всем свете досадное, но справедливое армии и всему нашему российскому народу безславление: ибо идучи назад, оставляли мы повсюду только следы стыда, трусости и непростительной жестокости, что все всякому истинному патриоту не иначе как в досаду обращаться долженствовало.

Приступая теперь к делу, прежде всего скажу вам, что сколь медлительно и непроворно шли мы сперва вперед, столь поспешно и проворно пошли мы назад, власно так, как бы нам предстояла какая-нибудь преве-

ликакая беда, и мы от неприятеля побеждены и всею его армиею гонимы были. Сей поспешности первые знаки увидели мы еще в самом том месте, откуда пошли назад. Накануне того дня, в который мы выступили, отдан был приказ, чтоб уменьшить, колико можно, в армии повозок и чтоб у офицеров не только по две, но и по одной бы не было, а по два бы офицера на одну повозку укладывались и излишняя вещи жгли и бросали. Легко можно заключить, что повеление сие было нам не весьма приятно, но нас всех до бесконечности перетревожило. В превеликом неудовольствии и роптании на командиров своих говорили мы тогда между собою: «Изрядное награждение за труды наши! Вместо того, чтоб возвращаться в отечество с полученными от неприятеля корыстями, велят нам и свое родное сжечь и бросать!» Но все таковыя роптания нам не помогали. Многие, действительно, принуждены были, исполняя повеление сие, с последним почти своим скарбишком разставаться, и после от самага того еще более терпеть нужды и отягощения, нежели терпели прежде. Но мне удалось и сей раз избежать сего зла. Я, будучи и тогда еще ротным командиром и один почти в роте, мог уже под предлогом, что мне не с кем соединяться, удержать одну свою повозку и с нею все то, что имел до того времени.

Итак, помянутаго 29-го числа, то есть ровно через 10 дней после нашей баталии, выступили мы в поход и поплелись обратно в сторону к своему отечеству. И поелику нам теми же самыми местами иттить назад было не можно, которыми мы шли вперед, потому что они все были опустошены и начисто очищены, то взяли мы несколько вправо и пошли прямою дорогою к городу Инстербургу, где оставлены были у нас разныя команды. Мы спешили колико можно; однако со всею поспешностью не могли мы в тот день перейти более семи верст, ибо случившаяся на пути нашем переправа чрез одно неудобное место, сделала нам столько остановки, что мы принуждены были не только весь тот, но и последующий за тем день, то есть 30-е число августа, прогваздаться на сей переправе.

31-го числа продолжали мы поход свой далее, и авангардный наш корпус, в котором уже не было нужды, распущен был по дивизиям, и наш полк попал в третью из оных. В сей последний день августа переправились мы верст с тринадцать.

В последующий за сим день, то есть сентября 1-го, пошла армия далее и нашему полку досталось в сей день быть в арьергарде и иттить позади всех; нам велено было иметь возможнейшую осторожность и жечь

все, остающиеся от армии и, по несчастью, изломавшиеся, повозки. Какое зло и особенное несчастье для тех, у коих случилось чему-нибудь испортиться и изломаться! Не оказываемо было тут ни малейшаго сожаления и не принимаемо было ничто в уважение, хотя бы кто чрез сие последнего своего имени лишался. Впрочем, хотя о неприятеле не было ни слуху, ни духу, ни послушания, однако в арьергарде находилось несколько тысяч, и мы шли фронтом целою колонною, равно так, как бы неприятель следовал по стопам нашим. Таковое шествие причиняло нам неописанное и такое беспокойство, какого мы до того времени никогда не ощущали; ибо как погода стояла тогда сухая и жаркая, шли же мы прямо пашенными и хлебными полями, не разбирая пустая ли была земля или засеянная хлебом, то армия, провалив целою грудю со всею своею артиллериею и безчисленными повозками, всю поверхность земли так взмесиала, что она обратилась в наинужнейшую пыль. Когда же пришла очередь иттить нам позади и целою еще колонною, то поднялась такая пыль, что в оной шли мы власно, как в наигустейшем и таком тумане, что на сажень не можно было друг друга видеть. Но между туманом и пылью была та проклятая разница, что в первом можно иттить, никакого отягощения не ощущая; а пыль, набиваясь и в глаза, и в ноздри, и в рот, не только всех нас поделала чучелами, но причиняла нам крайнее беспокойство. Словом, сей день был для нас весьма памятен, и мы его долго забыть не могли.

В последующее потом второе число продолжали мы поход свой далее; но перешед только верст пять, остановились и на сем месте, за усталостью лошадей, дневали (3-го).

Наконец, 4-го числа, пришла армия к городу Инстербургу и, не переходя реки Прегеля, стала лагерем и ночевала. В сем местечке находились у нас оставленные команды, охраняющие запасный провиант и другия вещи. Все сие принуждены мы были теперь забирать с собою и оставлять город сей опять во власть неприятеля. Не могу изобразить, сколь велика была радость жителей городских, смотрящих на наше выступление, и сколь велик, напротив того, был стыд, с которым мы, будучи победителями, тащились сим образом, без всякой нужды назад, и выходили из мест, оружием нашим до того покоренных.

Наутрие, то есть 5-го числа, как в день именин тогда царствующей императрицы нашей, вздумалось предводителям нашим отправить обыкновенное торжество, и для того в некоторых полках поставлены были полко-

вые церкви для отправления службы Божией, а армия вся выведена была в парад и производима была обыкновенная троекратная пальба из пушек и из ружья, и несколько пудов пороху разстрелено на воздух. Но правду сказать, у нас так много его осталось, что и девать было его некуда.

Мы думали, что простоим тут весь оный день, однако поспешность нашего предводителя или, паче сказать, трусость и опасение, чтоб не напал на нас неприятель и, сохрани Господи! не разбил бы всей армии, сего никак не дозволила. Но мы, по приказанию его, принуждены были еще в тот же день, с великим поспешением, перебираться за местечком чрез реку Прегель и становиться на той стороне в лагерь, а мосты на Прегеле того момента были сняты.

Мы не медлили в сем лагере почти ни часа, но поутру в последующее шестое число пошли далее; и чтоб в походе меньше было остановки, то пошла армия двумя дорогами к городу Тильзиту, где находились наши раненые и многия другия команды. Первая и вторая дивизии пошли по правую, а третья – по левую сторону реки и, перешед в сей день более 15 верст, стали лагерем. Сей переход был нам весьма труден, потому что настала дождливая и ненастная погода и сделалось очень грязно. А как и дорога была очень неровная и везде были переправы через речки и вершины, то целая вторая дивизия и многия обозы не могли не только в тот день, но до самой ночи и 7-го числа приттить в лагерь, что принудило фельдмаршала нашего, против желания своего, сделать тут двухдневный разстах (8-го).

Нашему полку досталось тут опять быть в арьергарде и мне с оным. Сие я для того упоминаю, что мы, идучи в арьергарде, принуждены были ночевать на дороге и в таком безпокойстве, в каком мы никогда еще ночей не препровождали, и потому ночь сия была для нас весьма памятна. Мы принуждены были всю ее препроводить не только под дождем, стоя на одном месте, и под ружьем, но почти по колено в грязи. Причиною тому была переправа через одну небольшую, но низкие и топкие берега имеющую речку, текущую сквозь широкую и болотистый грунт имеющую долину. Как всем обозам принуждено было переправляться чрез сию речку по сделанным немногим и скверным мосточкам, то не можно было им никак поспешить; а сие и причиною было, что к сему месту привалило безчисленное множество повозок, которя, все сие топкое и слабое место так взмеси, что каждая повозка стояла по ступицу в грязи, а бедные солдаты нашего арьергарднаго корпуса, следующие непосредственно за оными,

принуждены были стоять почти по колено в грязи и дожидаться, покуда обозы все чрез мост переберутся и препроводить в таком состоянии целую ночь. Всякому легко можно вообразить, сколь сие для них было трудно и беспокоино; но не одни они, а неменьшее беспокойство терпели и мы, офицеры их. Единое преимущество наше пред ними состояло в том, что мы сидели на своих верховых лошадях и не имели нужды стоять по колено в грязи. Но каково ж было сидеть под стужею и дождем целую ночь на лошади и не сходить ни на минуту с оной! Трудность сию удобнее всякому себе вообразить, нежели мне описать можно. К вящей нашей досаде, не можно было нигде развесть и огонька для обогрения наших дрожащих и от стужи немеющих членов. Повсюду было мокро, везде вода, и везде грязь, и грязь глубокая и топкая. Сколько раз мы ни испытывали это делать, но все наши старания – разжечь огонь были безуспешны, и мы, против хотения своего, принуждены были дронуть всю ночь и проклинать и обозы и речку с ея мостами, и в лагерь не прежде пришли, как уже на другой день.

До сего времени шли мы все еще спокойно и о неприятеле не имели ни малейшаго слуха; ибо легко можно заключить, что неприятель не ожидал никак таковой от нас поступки, и сперва не хотел верить, услышав о нашем обратном походе; но как скоро получил о том достоверное известие, то, восторжествуя, отправил тотчас за нами в погоню два эскадрона черных гусар полку Рушева, а вслед за ними и сильный корпус конницы под командою принца Гольштейн-Готторпскаго, а за ним пошел и сам фельдмаршал Левальд со всею армиею за нами в погоню. И как передовья его партии скоро нас догнали, то усмотрены оне были помянутаго 8-го числа сентября в близости нашей армии и имели уже с казаками нашими небольшую схватку.

Я не знаю, что побудило фельдмаршала прусскаго предпринять сие нимало с здравым разсудком несогласующееся дело. Кажется, пруссакам надлежало бы еще радоваться тому, что мы, оставя все приобретенныя выгоды, пошли назад, и здравый разсудок требовал бы того, чтоб стараться им всячески еще самим поспешествовать тому, чтобы мы скорее из пределов королевства Прусскаго вышли и им оное оставили; следовательно, отнюдь бы не мешать нам в нашем походе, но дать нам волю иттить как хотим. Но они, напротив того, затеяли восприть сию глупую и нимало пользы им не приносящую погоню, и чрез самое то неволею почти принудили нас потом разорять и опустошать собственныя их земли; ибо как сии

следуемая за нами немногая их легкая войска, нападая либо на наших фуражиров, либо на отводные караулы, армию нашу непрерывно беспокоили, то для отогнания оных и принуждено было наконец, все оставшаяся позадь армии селения опустошать и сжигать, дабы они не могли нигде иметь приюта, а чрез самое то и претерпели много невинные сельские жители, как о том упомянуто будет ниже.

Итак, какова погоня эта была ни маловажна, однако нагнала на трусливаго нашего предводителя ужасный страх. Мы принуждены были удвоить наши предосторожности, власно так, как бы вся прусская армия шла в виду по пятам за нами. Чего ради, немедля нимало, 9-го числа пустились мы опять в путь и шли целый день до амта Зомерау, при котором месте мы и ночевали.

Во все продолжение пруссаго похода не случилось армии нигде так хорошо расположенной быть лагерем, как в сем месте. Случилась тут одна ровная, круглая и пространная долина, неимеющая в себе ничего, кроме одних лугов, и окруженная кругом непрерывною грядою нарочито высоких, но не крутых, а отлогих гор. По сим горам расположен был лагерь всей армии целым циркулом так, что виден был весь как на ладони; в долину же пущены были для корма лошади. Нельзя довольно изобразить, какое приятное зрелище для глаз представляли сии многочисленныя стада разношерстных лошадей и безчисленное множество белеющихся по горам палаток. Но зрелище сие сделалось еще поразительнее, как наступил вечер и когда все горы возгремели при битии вечерней зори от звука безчисленного множества барабанов и от игrania во всех полках музыки, и когда тотчас потом все эти горы осветились несколькими тысячами огней, раскладенных в обозах солдатами. Истинно, ни лучшая иллюминация не может представить для очей лучшаго зрелища, и мы все не могли оным довольно налюбоваться.

В последующий день отдыхала армия на сем месте; и как корма для лошадей было мало, то принуждено было посылать фуражировать в лежащая по сторонам прусския деревни. При сем случае едва было не лишился я обоих моих людей, бывших вместе с прочими при сем фуражировании; ибо как прусския партии не преминули и в сей день наших фуражиров потревожить и напали на ту деревню, где наши упражнялись в навивании сена, то люди мои, не успев вместе с прочими ускакать, отлежались уже под лавками в избе до тех пор, покуда пруссаки уехали, и

были столь счастливы, что входившие в самую сию избу прусские гусары никак их не заметили. Они рассказывали мне, возвратясь, что они отроду в таком страхе не бывали, как в сие время. Но, правду сказать, было чего и бояться: не только для них было бы не весьма ловко, но и для меня не хорошо, если б их увидели; их, конечно, либо взяли б в полон, либо убили б, и я остался бы без людей. Но, благодаря Бога, избавились они от сей напасти весьма удачно, а что всего лучше, то спасли и обеих лошадей своих.

Отдохнувши на сем месте, в последующее 11-е (число) пошли мы далее в поход, и дошли наконец до самага города Тильзита, и версты за три до него стали лагерем. Храбрый наш предводитель стал в форштадте и имел въезд свой в этот город при пушечной пальбе с тильзитскаго замка, что нимало было не кстати. Однако, несмотря на всю свою пышность, велел целым трем бригадам пехотных полков стать, для прикрытия главной своей квартиры, подле самага форштадта.

Я надеюсь, что мы не простояли б тут ни одних суток, если б не надлежало нам при Тильзите перебираться через большую и под самым городом текущую реку Мемель, через которую хотя и находился сделанный графом Фермором мост, однако по одному не можно было всей армии переправиться скоро, и для того велено было сделать еще два, а по первому обозам между тем перебираться. Тотчас командированы (12-го) были от всех полков для делания мостов сих команды, и мне случилось самому определенному быть для делания одного деревяннаго из плотов моста. В сей работе принуждены мы были упражняться денно и ночью, и она навела на хлопот много. Повсюду принуждены мы были искать плотов пригоннаго по всей реке строильнаго леса и, сваживая их вместе, связывать и укреплять и составлять основание моста; и как река была немалая и почти с нашу Оку, то не знали мы, где б набрать толикое множество плотов и леса, сколько к тому требовалось, и хотели было уже начинать ломать ближния деревянныя строения, дабы лес из них употребить на построение моста; но, по счастью, дело обошлось и без того, и все наши труды пропали по-пустому; ибо как в полдни, 13 числа, сделалась в казачьих лагерях опять тревога, и неприятельския партии напали на наших фуражиров, то некогда было всех мостов дожидаться, но велено было полкам с величайшею поспешностью перебираться по старому и по вновь сделанному понтонному мосту. Однако, несмотря на всю поспешность, принуж-

дена была армия употребить на сию переправу более трех дней (13, 14 и 15-е), а между тем принимала провиант и пекла себе хлеба.

В сие время имели мы случай побывать в городе и походить по оному для нужных покупок. Нам нужнее всего был сахар, в котором у нас был уже недостаток: однако и достать его великаго труда стоило. Сколько ни было запасено его в городе во всех лавках или называемых аптеках, так весь он еще в первый день пришествия туда армии был выкуплен, и счастливы были только те, которым удалось заранее захватить и в числе первых побывать в городе; а кто хотя несколько поопоздал, тот не мог не только сахару, но ничего съестного и питейного достать, ибо все имели в вещах сих нужду и все жадничали покупать. Никогда, я думаю, и с самага основания сего города, тильзитские жители столь много этих вещей не продавали и на них столь много прибытка не получали, как в сие время. За все про все платили мы более нежели тройную цену, и платили не с досадою, а еще с удовольствием и почитая за одолжение, чтоб только было продано.

Самое сие случилось тогда и со мною собственно. Как я несколько поопоздал, то трудно было мне достать что-нибудь, если б не помог мне и в сем случае мой немецкий язык. Аптекарь, к которому я пришел покупать сахар, тотчас мне отказал, говоря, что более его нет, и уверял притом, что я онаго нигде не найду. Но я, начав с ним тотчас по-немецки говорить, на-сказал ему столько о претерпеваемой мною нужде и сколь он мне надобен, что я его тем разжалобил. «Добро, добро, господин подпоручик, – сказал он мне весьма благоприятным образом, – хоть положил было я никому более из того малаго количества не продавать, которое оставил было я собственно для себя; но что делать, так уж и быть! Поделюсь с вами хоть остаточным и продам одну головку. Пожалуйста только ко мне во внутренние покои». Легко можно заключить, что я не пошел, а полетел в оные за ним, и аптекарь мой сделался ко мне за то только одно, что я умел говорить с ним по-немецки, столь благосклонен, что не только мне продал целую голову, но напоил еще чаем, и я за великое почел себе еще одолжение, что он взял с меня не более как по рублю за фунт, ибо иные охотно бы дали и по три рубля, если б только достать было можно. Честность сего немца даже так была велика, что он извинялся предо мною, что не может продать мне более, а говорил, что ежели хочу я, то имеет он довольно мускебада, или сахарнаго песку, и я могу столько купить, сколько угодно. И как мне до того времени не случалось еще сей песок видеть, то он не только мне

оний показал, но, уверяя меня, что по нужде можно и с ним пить чай, тотчас налил мне с ним чайку и дал попробовать. И как он мне полюбился, то купил я у него сего песку более десяти фунтов и пошел в лагерь, власно как нашел превеликую находку. Там завидовали мне все в моей удаче, и как мускебад мой всем понравился, то в тот же день не осталось и онаго у аптекаря моего ни одного зернышка, ибо все офицеры бросились того момента в город покупать оный и, сколько ни было его, весь выкупили.

Другая вещь, которую нам также трудно было доставать, составляли пшеничные хлебы и булки. Все хлебники и пекари, сколько их ни было в сем городе, обогатились на продаже оных; у всякаго пред домом нахаживали мы по превеликой толпе народа, дожидаящегося того, как вынут их из печи, и в один миг расхватывающего сколько б их напечено ни было. Всякий почитал за счастье, чтоб только удалось достать, не говоря уже ни слова о цене и не досадуя, что за копеечный хлебец брали по гривне. Мне немецкий мой язык и в сем случае очень помог. Всем немцам можно то в похвалу сказать, что они отменно благосклонны к тем, которых из иностранных умеют говорить их языком. А точно то случилось тогда и со мною. Пекарь мой не успел услышать меня умоляющего его на немецком языке, чтоб он мне продал сколько можно, как требовал, чтоб я ему кинул чрез народ в окно платок свой, и он был столь благосклонен, что завязал мне в оный целый десяток хлебцов и мне подал целую связку оных. «На! вот извольте, господин подпоручик, – сказал он, – кушайте на здоровье!» Я благодарил его неведомо как за его благосклонность и с превеликою радостью заплатил ему за них деньги.

Сим образом удавалось мне и все прочее доставать себе купить несравненно с лучшим успехом, нежели другим, языка немецкаго неразумющим. Впрочем, имея время выходить весь сей город, нашел я, что он был весьма изрядный городок, и не только больше, но и лучше всех прежде виденных. Строение в нем было изрядное: каменное и деревянное, и жителей находилось довольно количество, и между оными было довольно зажиточных,

Между тем как все сие происходило и армия понемногу перебиралась за реку, показывались безпрестанно в близости неприятельския небольшие партии, которыхия хотя и ничего важнаго не могли сделать, но, видя нашу трусость, нас тревожили. Это сделалось наконец предводителю нашему так досадно, что он, не находя других средств к отвращению сего

безпокойства, приступил из досады к свойственному одним татарам делу, и приказал все те места, где показывались и гнездились неприятели, разорять огнем и мечем, и одно изрядное местечко и амт¹, называемый Рагнит, лежащий за несколько верст от Тильзита, вверх по реке Мемелю, принужден был первый почувствовать сию жестокость.

Переправляющиеся через реку полки становились по ту сторону реки в назначенный лагерь; и как и на той стороне оказались неприятельские гусары, то для прикрытия онаго лагеря переправлены были наперед три бригады. Наконец, 16-го числа сентября, переправился чрез реку и предводитель наш со всем своим прикрытием и достальными полками, а последующаго (17-го) числа, при переводе последних людей и войск, сняты были все три моста, а на берегу, против самага города, поставлен был бекет, состоящий в 1000 человеках гренадер и мушкетер.

Таким образом переправились мы за реку Мемель, и 18-е число стояли тут на берегу спокойно, и вся армия пекла себе хлебы на дорогу. Мы, думая, что находимся тут в совершенной уже безопасности, простояли бы тут еще и долее, если б не сделалось одного, сколько смешнаго, столько и досаднаго приключения, служившаго к приумножению нашего безславия и понудившаго нас скорее иттить далее, а именно.

Главному нашему командиру, которому по справедливости самих стен стыдиться б надлежало, вздумалось напротив того нечто странное и удивительное. Как в последующий за сим день было 19-е число сентября, и миновал ровно месяц после полученной им над неприятелем победы, то по пышности или слабоумию его пришло ему на ум повеличаться еще раз сею победою и в день сей учинить торжество, нигде и никогда еще до него не деланное. Любочестие его было так велико, что не допустило его усмотреть всю нестройность или паче сказать глупость сего предприятия. Но как бы то ни было, но накануне того дня ввечеру отдан был во всей армии приказ, что в последующий день будет торжество и пальба из пушек. Мы все хохотали, услышав о причине онаго и не было никого, кто б не хулил сию поступку нашего предводителя. Не успел сей достопамятный день наступить, как затеянное фельдмаршалом нашим торжество и действительно начало производиться, но, к удивлению нашему очень рано, ибо не успело ободнять, как слышали мы уже пальбу из пушек. Мы слушали с хладнокровием оную и, смеючись любочестием фельдмаршала, говорили

¹ Амт – немецк. «присутствие»; здесь: в смысле укреплений.

еще между собою: «Видно, что торжество у государя предводителя нашего лежит очень на сердце, что начал оное уже так рано!» «Да! – говорили другие. – Видно, что и пороху у нас много, что так изволят тешиться и терять его совсем-то по-пустому. Не лучше ль бы было победу сию стараться позабыть, нежели ею к стыду своему еще величаться». Но не успели мы сим образом между собою поговорить и посмеяться, как вдруг одно, совсем неожиданное явление принудило нас раздabarивание свое пресечь и, поразившись крайним удивлением, начать совсем иное думать. Откуда ни возьмись превеликое ядро и, пролетев в близости подле нас, попали в одну офицерскую палатку, и в один миг ее опрокинуло и так разорвало, что полетели от нея только лоскутки. «Ба, ба, ба!» – закричали мы, увидев сие. – Что это такое?» Но мы не успели еще от удивления приттить в себя, как с превеликим свистом пролетело мимо нас другое, попавшее в обозы и переломавшее несколько повозок, а за сим и третье и четвертое, и ядра то и дело летать и палатки срывать и опрокидывать начали. «Аминь! аминь! – кричали мы. – Что это такое? Что за диковинка? Господи помилуй! Откуда берутся сии ядра? Уж не рехнулся ли фельдмаршал наш с ума, что велел стрелять ядрами и по своему лагерю?» Одним словом, мы не знали что думать, чему сие приписать и что делать, а особливо, когда повсюду видели опасность и не знали, куда от ядер укрыться.

Теперь, надеюсь, находитесь вы, любезный приятель, в такой же нетерпеливости узнать, что б это была за диковинка, в какой находились мы в то время? Но как узнали о том не скоро мы, то надобно немного и вам потерпеть и подождать от меня последующаго письма, в котором расскажу я вам, что тому было причиною и какя летали по палаткам и по обозам нашим ядра, а до того времени дозвольте мне сие письмо прервать и сказать вам, что я есмь и прочая.

ПРИ ТИЛЬЗИТЕ

Письмо 52-е

Любезный приятель!

Оставя вас при конце последняго моего письма в весьма любопытном месте и в нетерпеливости узнать, отчего вдруг полетели по лагерю наше-

му ядра, хочу теперь любопытство ваше удовлетворить и разрешить вам сию загадку.

Господа наши, главные командиры, не без причины выбирались из Тильзита с превеликою поспешностью, и не по-пустому боялись и трусили неприятеля, но дошел до них слух, что гонятся за нами не только легкия гусарския неприятельския партии, но что и сам фельдмаршал Левальд со всею почти своею армиею следует по стопам нашим и находится уже в самой близости. Сие известие привело их в такое малодушие и трусость, что они сами не знали, что делать и начинать, почему и не удивительно, что они, выбираясь с великою поспешностью из города и стараясь как можно скорее из города убраться за реку, наделали множество смеха достойных дел и таких погрешностей, которыя никак прощены им быть не могут. Ибо, во-первых, не смеха ли достойное было дело, что они, выбираясь совсем из Тильзита, восхотели одними угрозами принудить жителей городских к невозможному совсем делу, то есть чтоб они не впускали в город свой после нас прусское войско. Требование поистине самое странное и удивительное! Ибо как возможно было сим безоружным жителям это сделать, и можно ль бы с здравым разсудком сего от них требовать? А чтоб принудить их к тому угрозами, то велели на домах положить пехкранцы, чтоб можно было город в один миг зажечь и весь в пепел превратить; а что того смешнее, то поставили на самом берегу реки, против города, вышеупомянутый бекет с пушками, на голом месте и без малейшаго прикрытия, и, созвав начальников городских, сказали, что если они, по выступлении российских войск, вступят в город пруссаков, то город весь разстрелян, зажжен и разорен будет. Во-вторых, поспешность и разстройка мыслей их, при выезде из города, была так велика, что они совсем позабыли про находившиеся в тильзитском замке прусския пушки и оныя в нем оставили. Итак, можно ли непростительнее быть сей погрешности, и не чрезвычайная ли сия была оплошность?

Но каковы оплошны были мы, таковы проворны были, напротив того, господа пруссаки. Они не успели проведать, что наши войска из Тильзита выбрались, как того момента оный заняли. Четыре батальона их пехоты со множеством пушек вступили в ту же еще ночь в сей город, а вслед за ними следовал и сам фельдмаршал Левальд. Сии вступившия войска не успели увидеть заревою весь наш лагерь, а на самом берегу, на голом песку, без всякаго прикрытия поставленный и власно, как на жертву преданный

бекет, стащили тотчас со стен замка большие пушки и, поделав из них и из привезенных с собою на берегу несколько батарей, по наступлении дня произвели по бекету нашему столь сильную стрельбу, что командовавший оным нашего полку полковник старичок Планта де-Вильденберг не знал, куда от ядер укрыться. И хотя отвечивал им из своих пушек, но не могли им ничего сделать, видя всю команду свою подверженную тщетной пагубе и потеряв десятков пять людей, принужден был ретироваться в лагерь.

Пруссаки, не довольствуясь тем, направили свои пушки и на самый наш лагерь, и как оне по величине своей ядрами до него доставали, то и начали они его утеснять немилосердным образом, а особливо стрелять по фельдмаршальской ставке; а поелику она была неподалеку от полку нашего, то от самага того и доставали ядра их до самага нашего стана.

Игрушка таковая весьма не понравилась нашему фельдмаршалу. Он вздурился, сие увидев и услышав свист ядер. Опасность, угрожаемая самому ему, принудила его забыть о своем безразсудном торжестве, за которое он по достоинству был наказан, и помышлять о спасении своем. Во всем лагере произошла оттого превеликая тревога и смятение. Повсюду началась скачка и повсюду слышен был вопль: «Артиллерию! артиллерию! Давай сюда скорей пушки, гаубицы, мортиры, бомбы, вези на берег, стреляй по городу, бросай бомбы, зажигай и разоряй оный до основания!..» Однако вся наша досада и вся злость на неприятеля не произвела никакого действия. В город хотя пущено было несколько сот ядер и брошено несколько десятков бомб и хотя стрельба с обеих сторон продолжалась с самага утра даже за полдни и более четырех часов, однако нам со всею нашею стрельбою не удалось ни неприятелю, ни городу сделать никакого чувствительного вреда, кроме того, что поизломали на домах у них несколько черепичных кровель и труб, и поранили одного канонера. Итак, видя худой успех и не хотя далее подвергать лагерь свой опасности, принуждены мы были наконец поднять весь наш лагерь и перенести его несколько верст далее и тем всю сию комедию, к стыду и безславию нашему, кончить.

Теперь легко можно заключить, что насмешка таковая и посрамление от неприятеля были фельдмаршалу нашему крайне чувствительны. В досаде за сие, он не только не хотел удостоить ответом предложение, присланное от неприятельскаго фельдмаршала о размене пленных с трубачом, а велел отослать с мужиком одну его трубу с неподписанною никем

цидулкою, что пруссаки сами своего трубача застрелили; но сверх того, желая всем безпокойствам, делаемым от неприятеля, положить единожды предел и сделать, чтоб армии прусской не можно было никак вслед за нашею далее следовать, велел разорять и опустошать огнем и мечом все оставшиеся позади нас селения сряду и не оставляя ни одного в целости, дабы неприятель нигде не мог найти себе убежища. А самое сие, как после оказалось, и остановило прусскую армию от дальнейшей погони, и они довольствовались уже послать вслед за нами самое малое количество гусар.

Отодвинувшись вышеупомянутым образом далее от берега и заняв новый лагерь, побыли мы в оном не только тот, но и весь последующий день; и хотя и не такое было время, чтоб помышлять о торжествах, потому что в сей день было у нас уже зазимье и выпал снег и началась самая дурная осенняя погода; однако для дня рождения (20-го) великаго князя было у фельдмаршала торжество и пальба из пушек.

Кроме сего, памятно мне сие место было потому, что мы имели во время стояния своего под Тильзитом и тут во всем великое изобилие. Ибо как от фельдмаршала дозволено было казакам и прочим нашим легким войскам все ближния места грабить, опустошать и разорять, то казаки наволокли к нам в лагерь скота, птиц и прочей всякой провизии такое великое множество, что все продавалось очень дешевою ценою и все были до избытка довольны. Но ничего не было так много, как меду: не знали они, куда уже и с рук сжить, и потому носили его везде по полкам и по обозам и продавали за сущую безделку. Полная манерочная крышка самой лучшей зеленой патоки продавалась, например, не дороже одной копейки. Итак, тот только не ел меду, кто не хотел. Что касается до меня, то я, будучи с малолетства до всех сладостей, а особливо до меду, великий охотник, обедался онаго при этом случае, и истинно до того доходило наконец, что он мне казался горек.

Но сколько мы, с этой стороны, были довольны, столько, с другой, недовольны тем, что стоявшая до того весьма прекрасная и теплая погода вдруг переменялась и сделалась холодная и самая дурная осенняя. Сия перемена была нам тем чувствительнее, что никто почти из нас не имел у себя шуб, и всякаго, по пословице говоря, застала тогда зима в летнем платье. До того времени мы всего меньше помышляли о запасении себя зимнею одеждою. Но выпавший тогда первый снег и начавшаяся продол-

жаться слякоть и дурная погода, надоумила нас в том и принуждала не хотя помышлять о сем предмете. Но где было взять тогда в походе шуб? И у кого их покупать, когда все терпели в том равный недостаток? Я за великое счастье себе почел, что мог достать купить у казаков превеликий овчинный тулуп, который был хотя сшит из простых овчин, но нам было тогда не до разборов, и мы рады были, что могли чем-нибудь согреть свои от стужи дрожащие члены. Что касается до холода, претерпеваемого в нашей палатке, то компаньон мой нашел средство и от онаго себя и меня сохранить. Он, приехав прежде в занятый лагерь, велел поставить наперед мою, а потом, сверх моей, свою капитанскую палатку и, нажегши жаровню полну жару, внес под внутреннюю палатку и чрез то так ее согрел, что я, приехав из похода и иззябши впрах, вошел в нее как в суший рай и не мог его довольно расхвалить за его выдумку и за нагрение таким образом палатки; а как в самое то время был у него готов и горячий чай, а потом изготовлен прекрасный и сытный ужин, то я в сей вечер так был доволен, что он мне во весь остальной поход был очень памятен, и тем паче, что мне не удалось уже иметь другого такого спокойнаго и приятнаго ночлега; ибо, к превеликой досаде моей, я в последующее же утро наряжен был от полку на ординарцы к фельдмаршалу и принужден был, разставшись с своим другом, приобщить повозку свою к обозу фельдмаршальскому и отбыть на несколько дней от полку своего, сдав роту возвратившемуся в оную прежнему нашему поручику Коржавину.

Впрочем, в самом сем месте начала армия наша мало-помалу расходиться, и вся конница, кроме немногих выбранных эскадронов, и половинное число казаков отправлена была из сего места зимовать в Польшу, куда она тотчас и пошла, а главная армия, со всеми пехотными полками положила иттить зимовать в Жмудию и Курляндию.

Мы выступили из сего лагеря не прежде как 21-го числа сентября; и хотя переход был не гораздо велик, но для продолжавшейся великой слякоти и стужи, весьма труден, так что вся армия претерпевала великое безпокойство и была принуждена ночевать почти без палаток; ибо большая часть обозов не могла прибыть в новый лагерь, и сей день был весьма достопамятен для армии. Во все продолжение похода не претерпела она столько труда и отягощения, сколько в сей день; однако не потому, что переходить надлежало ей великое расстояние, ибо переход был весьма умеренный, но потому, что следовать ей надлежало низкими, ровными и

частыми ручейками и топкими лощинками, пресеченными и такими местами, которые и в доброе время и в сухую погоду не гораздо сухи, а тогда будучи от продолжавшагося безпрестанно дождя, слякоти и снега размочаемы и безчисленными колесами и лошадьми разбиваемы, превратились в самую топкую и вязкую грязь, из которой ноги почти вытащить было не можно. А посему всякому нетрудно себе вообразить, каково было иттить всей пехоте и тащиться всем обозам по таковой грязи, и притом по слякоти и при великом и холодном ненастье. Истинно не могу с покойным духом и без внутренняго содрогания и поныне еще всего того вспомнить, что я в сей день тогда видел.

Мне судьба, власно как нарочно, преподала наиудобнейший случай видеть тогдашнее жалкое состояние армии и быть всему злу, претерпеваемому оною, очевидным свидетелем; ибо, находясь в самое сие время у фельдмаршала на ординарцах, мог я уже более всего насмотреться, нежели прежде, находясь при полку, и по самому тому и могу я обстоятельнее рассказать о сем несчастном и для многих пагубном дне.

Низкость тамошних мест и тогдашнее превеличайшее ненастье причиною тому было, что весь путь, по которому армии следовать надлежало и одними уже передовыми войсками, а особливо конницею, так разбит был, что мы с фельдмаршалом и обозом его, хотя всех прежде поехали, но и нам уже весьма дурно было ехать; когда же повалила артиллерия и ея тягости и тяжелые обозы, то растворилась везде такая вязкая топь и грязь, что я никак изобразить ее не могу. Как бы то ни было, но мы с фельдмаршалом в назначенный новый лагерь приехали очень еще рано и расположились себе спокойно: он в своих огромных ставках и теплых войлочных калмыцких кибитках, а мы также кой-в-каких палатках в его обозе. Я так был счастлив, что и тут нашел себе нечаянно одного знакомого. У фельдмаршала случилось в сие время быть как нарочно дежурмайором и командиром над всеми нами, ординарцами, самый ближний деревенский мой сосед, князь Иван Романович Горчаков. Сего человека до сего времени я нисколько не знал; но он при расспрашивании меня о том, кто я таков, не успел услышать мою фамилию как тотчас сказал мне сам, что деревни наши смежны между собою, и так ко мне приласкался, что я неведомо как был им доволен. Он взял меня тотчас в особое свое покровительство, и я должен был у него и обедать и ужинать во все то время, покуда я находился на ординарцах.

Вскоре после обеда и вслед за нами, притащилась кое-как и пехота. Смешно и жалко было на нее смотреть: не было ни одного человека, который бы по колено почти не был в грязи, а многие были с ног до головы грязью перемараны. Все полки распущены были тотчас по назначенным для них лагерям, но лагеря сии были еще пустые и без палаток: ибо обозы все остались еще далеко позади и оных не было еще и в появе. Случившаяся в самом еще том селении, где мы стояли прежде, откуда пошли, прескверная через один топкий ручей переправа, и то и дело ломающиеся мосточки, которые чрез оный на скорую руку были поделаны, причиняла им столько остановки, что они весь день прогваздались, переправляясь чрез оную. А бедные солдаты принуждены были долгое время быть без палаток и терпеть стужу и мокроту под снегом и дождем под едиными своими плащами. К вящему несчастию, и дров в новом лагере не можно было так много найти, чтобы можно было раскласть довольно огней и у оных греться; а иные полки были еще того несчастнее: им, по тесноте места, досталось стоять на таком месте лагерем, которое сущею трясиною и болотом почесть можно и где ни четверти часа не можно было никак простоять на одном месте, буде не хотеть, чтоб на том месте сделалась лужа и ноги не очутились на четверть и более в воде от хлибкаго и вдавливающегося грунта.

Наконец, как наступил уже и вечер и из обозов только что начали показываться передовые, то сие начинало уже тревожить и беспокоить нашего фельдмаршала. Он то и дело посылал ординарцев понуждать, чтобы скорей ехали. Но все сие не производило никакого успеха. Погода становилась от часу хуже и дорога гаже; по наступлении же ночи сделалась такая темнота, что ни зги было не видать, а притом такая стужа, что и в шубе едва оную терпеть было можно. Разсудите ж теперь, каково было бедным нашим солдатам, недождавшимся своих повозок и ночующим на мокрой земле, под дождем и снегом, под одними своими плащами? А что происходило с бедным обозом, того без жалости я вспомнить не могу. Мне случилось быть очевидным тому свидетелем, и вот каким образом:

В самую полночь проснулся наш фельдмаршал, и услышав, что не все еще обозы пришли, восхотел послать туда еще одного ординарца. Сих ординарцев было у него хотя много, ибо от всякаго полку было по одному, но так случилось, что тогда не было никого налицо: все разосланы были в разныя места, и я оставался только один из всех. Князь Горчаков сколько

ни старался до того времени меня щадить, нарочно никуда не посылая, но тогда не было и ему возможности меня помиловать от сей посылки. Он с превеликим сожалением пришел ко мне сам в палатку и, будя меня из сна, говорил: «Вставай, Андрей Тимофеевич! Что делать, хоть бы и не хотелось мне вас потревожить и в сие время посылать, но велит самая необходимость. Не взыщите, ради Бога, того на мне. Граф спрашивает теперь ординарца, а никого нет, кроме вас, итак, пойдете к нему». Досадно мне сие было чрезвычайно, ибо я только что под тулупом своим угрелся и заснул; но зная сам необходимость, не роптал нимало на князя, но шел за ним с терпением. Пришед к фельдмаршалу, не мог я внутренно не разсмеяться тому, что тут увидел. Я нашел его в преогромной, богато внутри украшенной и жаровнями и спиртами довольно нагретой кибитке, лежащего на пуховиках на одной, а лейбмедика, или доктора его, на другой кровати; но в чем бы, вы думали, сей предводитель наш, при тогдашних печальных обстоятельствах, упражнялся? Истинно стыдно сказать. Изволил слушать сказки от сидящего в головах у него за столиком гренадера и болтавшего нелепый вздор во все горло. «Боже мой! – подумал я тогда сам в себе. – То-то прямо приличное упражнение для фельдмаршала такой великой армии и в такое время!» Князь тотчас доложил ему, что привел ординарца, и тогда начал он мне приказывать. «Слушай, мой друг! – сказал он мне. – Поезжай по дороге, где шла армия до самого того места, откуда мы сегодня пошли, и посмотри, сколько еще обозов по дороге, и все ли они переправились чрез речку? И буде не все, то сочти ты мне, сколько повозок еще не переправилось». – «Слушаю! ваше сиятельство, – отвечивал я, – только счесть, не уповаю, чтоб было можно: темнота теперь так велика, что и на сажень ничего почти не видно». – «Ну хоть наугад посмотри сколько, – сказал он, – только поезжай и возвращайся скорее».

Приняв сие повеление, надел я сверх мундира овчинный свой тулуп и, укутавшись хорошенько в него и в надетую сверх того эпанчу хорошенько, взял я в конвой себе двух казаков и пустился верхом в путь свой. Одному из казаков велел я ехать перед собою, дабы можно было мне узнавать, где рытвина и где топь, и чтоб, въехавши либо в яму, либо в тину, не слететь с лошади и не сломать головы; а другому приказал ехать позади себя и не отставать ни на шаг. Темнота в самом деле была преужасная и дорога так разбита и испорчена, что я того и смотрел, чтоб не слететь и мне таким же образом с лошади, как то уже не однажды с передовым моим

казаком случалось. Впрочем, не успели мы выехать из лагеря, как и начали встречаться с нами повозки в таком состоянии и положении, какое без внутреннего сожаления я вспомнить не могу. Инде погрязла телега в грязи, и лошади, выбившись из сил, лежали, растянувшись. В другом месте наезжал я лошадей, совсем уже издохших и самих повозчиков едва вживе, стужа и мокрота их совсем переломила; а отъехав далее, наезжал я и лошадей и повозчиков, умерших от стужи: те как шли, так, упав, и издохли, а сии, прикурнувшись, сидели позадь повозок – и так окостенели. Инде одне лошади стояли по пояс в тине, а повозчик с полверсты от них лежал без дыхания. Одним словом, вся дорога наполнена была такими печальными зрелищами, что я не мог без внутреннего содрогания смотреть на оныя. Наконец, вдаль увидели мы зарево, а потом и пламя, освещавшее весь горизонт, и легко могли заключить, что тут надобно быть тому месту, куда мне ехать надлежало, и где была самая та скверная переправа, которая столько остановки наделала. Я пустился с казаками моими на сие зарево, и, за темнотою, едва было сам не погряз в тине и болоте, однако наконец кое-как доехали мы туда.

Но что ж увидел я тут? Повозок несколько сот стеснилось к переправе и слышан был только вопль, шум и треск. Некоторые из них лежали опрокинутыми с гати в болото и наполовину погрязшия; иныя лежали на боку; у других переломаны были оси, а у иных колеса, и все в превеличайшем беспорядке и в такой тесноте, что мне не было никакого способа проехать и их не только пересчитать, но хотя глазом окинуть. Итак, довольствовался я, спросив, сколько еще там за речкою обозов? И услышал, что их еще сот с шесть и более назади. Тогда не оставалось мне иного, как назад ехать; но как мы с казаками сами немилосердно переязбли, то разсудили заехать наперед погреться к находящемуся в близости огню.

Но какой бы, думали вы, это огонь был? Ах! не могу и сего без сожаления вспомнить. Это было прекрасное строение, стоявшее в полуме. К несчастью, случись в самом том месте, где была сия переправа, прекрасная прусская деревня; и как двory крестьянские были огромные, крытыя снопами и стоящие друг от друга в отдалении, то в ней-то, двор по двору, зажигали наши переправляющиеся, чтоб как светом от пламени пользоваться, так и самим обогреться. «Боже мой! – подумал я сам в себе. – Какая горестныя последствия приносит с собою война! Чем бедная сия деревня виновата, что случилась быть в этом месте?» Однако, потужив,

сделал и я компанию прочим и, полежав на бугорке и погревшись против огня, пустился в обратный путь для донесения фельдмаршалу всего того, что я нашел и видел. Сей не успел меня увидеть вошедшаго к нему в кибитку, как тотчас спросил: «Что, мой друг, много ли еще?» – «Очень много, ваше сиятельство», – отвечивал я, и рассказал ему потом все, что видел, как наезжал на рассеянных по дороге и по полям повозки, как видел многих повозчиков и лошадей умерших и прочее, что видел. Но что же вы бы думали он на сие сказал? Ничего, а только приказал мне итти в свое место, а гренадеру продолжать сказывать сказку, прерванную моим приходом.

Вот какого фельдмаршала имели мы в тогдашнем нашем походе! Люди, вверенные его предводительству и попечению, погибали и страдали наижесточайшим образом, а он в самое то время увеселялся слушанием глупых и одними только нелепостями наполненных сказок. Чему и дивиться, что армия на сем обратном походе претерпевала несравненно более урона, нежели идучи в Пруссию. Но я возвращусь к моей материи и буду продолжать повествование.

Для всех вышеупомянутых обстоятельств принуждены мы были сделать на сем месте разстах и дожидаться обозов, которыя прибыли все не прежде, как уже под вечер на другой день. Сие время употреблено было для сожигания всех излишних вещей. Все обозы были пересмотрены и все лишнее сожжено и брошено. Сколько пушек, сколько ядер и бомб, пороху и других вещей и военных снарядов не побросали мы тут в воду и не зарыли в землю для того, что везти было не на чем! Но все сие помогало мало. Тягости убавилось немного, и труд был тот же; и я не знаю, как бы нам дойти, если б не умилосердилась над нами сама натура и не произвела некоторой перемены в погоде, и она не сделалась несколько суше и лучше.

Впрочем, и в сию вторую ночь должен я был иметь некоторое беспокойство. Поелику все нужные предосторожности от неприятеля наблюдаемы были и в сие время, которыя, в разсуждении тогдашних темных ночей, и неизлишними были, то имел всякий день дежурный генерал-майор обыкновение, по наступлении ночи, объезжать весь лагерь кругом и осматривать, везде ли исполняется все то, что приказано, и поставлены ли нужные бекеты. Он бирали обыкновенно с собою несколько человек из нас, ординарцев, и в сию ночь должен был и я быть в его свите.

Дежур-генерал-майором был у нас тогда толико прославившийся потом *граф Петр Александрович Румянцев* и с ним-то ездили мы тогда осматривать все полки и посты. Не могу без смеха и поныне вспомнить тогдашней нашей езды с ним. Никакая каналья, я думаю, не был столько браним и ругаем, как мы тогда с ним. Но что смешнее всего то, хотя нас немилосерднейшим образом и всякими скверными словами ругали и бранили, но мы принуждены были сносить то с терпением и без малейшей досады и, вместо сердца, только что тому смеяться. Причиною тому была крайняя темнота тогдашней ночи и то, что мы, проезжая сквозь полки и едучи мимо офицерских палаток, то и дело ногами лошадей своих зацепливали за палаточныя веревки и тем приводя все палатки в потрясение, мешали спать в них офицерам, которых, не зная нимало, кто тут так неосторожно ехал и отваживался их покой нарушать, сердились, кричали и бранили нас немилосердным образом, и так иногда хорошо, что мы со смеха принуждены были надсесться и им охотно то отпускали.

Ночевав помянутым образом в сем месте две ночи, 23-го числа выступили мы опять в поход и, делая небольшие переходы, шли как сие, так 24, 25, 26 и 27-го числа без разстахов и претерпевая великую нужду и безпокойство, а особливо от стужи и продолжавшихся еще дождей. Особливаго в сие время ничего не случилось, кроме того, что мы, как сущие варвары, жгли повсюду селы, дворянские дома и деревни, и днем курился везде дым, а ночью повсюду видны были зарева и пожары. Какое зрелище для жалостливаго и человеколюбиваго сердца! – Не было тут пощады никому. И какое бы жило и строение прекрасное ни было, но долженствовало обратиться в пепел. Но для чего? Для того только, что два эскадрона неприятельской конницы гнались за нами, и прусскому фельдмаршалу заблагоразсудилось послать их вслед за нами, для примечания нашего похода и движения; а наш не мог того рассудить, что они нам ничего важнаго сделать не могут, но вместо того, чтобы послать их отогнать, рассудил за лучшее удержать их опустошением всех остающихся позади нас мест и предаванием всего мечу и огню, не подумав нимало о том, что чрез такую жестокость навлекал всей нации нашей пред всем светом превеликое безславление и такое пятно, которое останется навек в истории и которое ничем смыть не можно; ибо вообразите себе, любезный приятель, что писали тогда в ведомостях неприятели наши о сем разорении и какое мнение подавали о нас всему свету:

«Россияне, – говорили они, – выходя из Пруссии не оставили там о себе хорошей памяти, но до тех пор, покуда выступили из границ, упражнялись только в одних безчеловечиях и жестокостях. Город и амт Рагнит со всеми почти деревнями своего уезда превращен совершенно в пепел. Деревни шестнадцати других амтов претерпели таковую ж участь. Весь скот был у жителей отнят и отчасти перебит. Великое множество деревенских жителей отчасти перестрелено, отчасти сожжены, отчасти уведены в плен, а особливо молодые люди. Многие духовные были сечены, а другие разожженными угольями пытаны. Множество церквей разграблено, каковую участь имела и гробница генерала ла-Кара в Видлакене, и проч.». Далее, – писали они, – что и нам, россиянам, прусские мужики и гусары в разных местах немалый вред причиняли и что они не только у нас многое похищенное нами опять отнимали, но многих убивали и в полон брали, а не мало получили и обозов в добычу, и что, между прочим, захвачен был ими один полковник из корпуса генерала Сибильскаго и приведен к армии, у котораго отнято до 3000 талеров наличными деньгами, двое золотых часов и карета с шестью лошадьми; казакам же и калмыкам не делано было никакой пощады, и потому они при сем возвратном походе недалеко в стороны от армии отлучались».

Вот что писали о нас тогда пруссаки! Но справедливо ли все сие было или нет, того не могу сказать; ибо все сие от наших разезжающих по сторонам калмыков и казаков могло статься; однако и то правда, что пруссаки в реляциях своих обыкновенно многое прилыгали и из самой мухи делали слона. По крайней мере, нам, находившимся тогда в армии, ничего о таких убивствах и пытках, также и о захваченном в плен полковнике ничего было не слышно; а что мы разорения и опустошения мест огнем производили, того уже и оспорить не можно. Мы не только были тому очевидными свидетелями, но и сами для сожигания деревень были посланы. Мне самому таки случилось однажды командировану быть для истребления огнем одной прекрасной деревни; но я радовался, что упросил другого офицера принять на себя сию комиссию, от которой я внутреннее имел отвращение.

Препроводив помянутым образом целых пять дней в походе без расставов, наконец, 28-го числа мы от своего труднаго похода отдохали и получали в сем месте небольшое порадование, а именно: получено было от двора повеление, чтоб всей армии выдать не в зачет за треть года жалова-

ные. Кроме сего, памятно мне из сего периода времени, что мы в последние сии дни, идучи все безлесными и более песчаными местами, имели великий недостаток в дровах и принуждены были как для обогривания себя, так и для варения себе яств, употреблять турф, котораго, по счастью, в прусских деревнях находили великое множество в заготовлении. У всякаго двора были складены из сих земляных дров или высушеннаго дерна превеликия поленницы, или кучи, и мы жгли оный, сколько хотели, научившись скоро столько ж им пользоваться, как и дровами.

В последующий день продолжали мы поход свой далее, а 30-го числа опять дневали, и в сем месте разделена была армия вновь на две дивизии.

С сего времени не стали уже мы так поспешать, отчасти для того, что уже немного оставалось нам иттить, а отчасти потому, что неприятельския партии от нас наконец отстали, и мы шли уже без всякой опасности. И так, 1-е число октября мы шли, а 2-е и 3-е отдыхали и отправляли в Мемель наперед команды для принятия провианта и печения хлебов. Потом 4-го числа опять перешли верст шесть и там опять два дня стояли. Во все сие время не имели мы ни в чем дальней нужды, а досаждали нам только стужа и наступившие морозы. Однако и от них научила нас нужда находить себе довольно спокойное убежище. Все мы, офицеры, оставили свои большия офицерския палатки и начали жить в маленьких солдатских, нагревая их жаровнями и угольями; а чтобы теплота не так скоро выходила, то употребляли мы обыкновенно по две палатки и одну из них надевали на другую, и так, чтоб одна была передом сюда, а другая в противную той сторону. Опущенныя же и до самой земли полочки прибывали мы вплоть к земле; и чтоб стужа не могла снизу подходить к нам в палатку, то обсыпали самые края снизу землю; верхнюю же палатку немного вспрыскивали водою, дабы не так скоро тепло сквозь оную проходить могло. Через все сие и нагревание палатки жаровнями, с нажженными угольями, и получали мы весьма теплыя себе убежища. А как каждый из нас имел и возил с собою кровати, то, не имея нужды спать на земле, и поваливались мы в них, как в банях; но жаль только, что сие наемное тепло недолго длилось, но скоро проходило и что нам по несколько раз в день нагревание вновь повторять надлежало; также, что вход в палатку не весьма был свободен и принуждал нас нагибаться и подлезать под стену.

Наконец 7-го числа октября, в день рождения моего и вступления на 20-й год жизни моей, дошли мы до славнаго нашего Мемеля, и версты за

две от сей крепости расположились лагерем, а фельдмаршал стал в городе и имел в него публичный въезд, при стрельбе из пушек. Тут стояли мы целую неделю и упражнялись в принятии провианта и печении хлебов, также в запасении себя прочими нужными вещами, ибо в сем городе могли уже мы достать, купить, всякую всячину.

Между тем как все сие происходило, вторая дивизия нашей армии, под командою генерала-аншефа Броуна, пошла от нас прочь и повернула вправо, в польскую, тут прикосновенную, провинцию Жмудию, или Самогитию, где назначены ей были зимовья квартиры. Мы же остались при фельдмаршале, и все полки разделены были по-бригадно, из коих три бригады пошли на кантонир-квартиры в Курляндию, а пять полков осталось при Мемеле, ибо сию крепость не разсудили мы за благо оставить.

Нашему полку посчастливилось быть включену в число тех, коим назначено было иттить зимовать в Курляндию. Итак, мы, переправившись 15-го числа в Мемеле чрез реку, выступили в поход, и 16-го числа ночевали при польской границе, при местечке Полонка, а 17-го числа дошли наконец до курляндской границы и ночевали при мызе Будендиц, а наутрие тут дневали.

19-го числа выступили мы опять в поход и, отошед полторы мили, стали лагерем подле деревни Лагнгер, а в последующий день, отошед две мили, в первый раз стали по квартирам и ночевали.

Нельзя изобразить, сколь приятны нам тогда были самая бедная мужичья хижина! По претерпении толь многих трудов, стужи и беспокойства, неведомо как рады были мы, дорвавшись до тепла, и для нас самая скверная латышская изба лучше была палат белокаменных. Но сему и дивиться не можно по причине, что тогда уже было самое глубокое осеннее время и стояла стужа с ежедневными морозами.

21-е число выступили мы опять в поход и, отошед мили три, принуждены были, за неимением квартир, ночевать опять в палатках на холоду, а что того досаднее, тут же еще и дневать.

23-го числа пошли мы далее, и дошли до кирки Обербартау, стали все по квартирам.

24-го числа разделилась наша бригада, и Киевский полк пошел влево, а мы со вторым Московским – вправо; а вскоре потом пошел и второй Московский полк от нас в сторону, и мы остались одни, ночевали по квартирам, занятым по деревням.

25-го числа шли мы с полком своим еще далее и, сделав небольшой переход, ночевали по квартирам, а последующего дня начали уже отделяться от нас роты и расходиться по сторонам; мы же остались при знаменах.

Нельзя довольно изобразить, с какими приятными и особыми чувствованиями сопровождаемо бывает такое приближение к зимовым квартирам. Тогда хотя была глубокая осень, но нам веселее и приятнее было ехать, нежели самую весною. Каждый лесок и каждый кустарник казался нам мил, и мысль, что скоро наживем себе покой, услаждала все, и всем видимым предметам некакую особливую приятность придавала.

27-го числа октября пошли мы далее и пришли наконец в настоящие наши кантонир-квартиры в мызу Цирау, лежащую в Курляндии, и расположились по деревням кругом оной.

Таким образом кончился наш, предприятый в 1757 году, первый прусский поход, о котором теперь судите сами, славен ли он был, или безславен и к пользе ли он нам служил или ко вреду и предосуждению. Что касается до меня, то мне то только известно, что вся польза состояла единственно в том, что мы посмотрели пруссаков, поучились с ними воевать, узнали, как ходят в походах, какая бывают военные труды, овладели городом Мемелем, нагнали на пруссаков страх и доказали им, что мы умеем драться и не такие свиньи, какими они нас почитали. Впрочем, нельзя и того не сказать, что наш поход сей многого труда и многих убытков как в людях, так и в деньгах и во всем прочем стоил. Одним словом, он был приуготовлением и наукою к будущим нашим военным операциям.

Сим окончу я мое теперешнее письмо, а в последующем расскажу, что последовало далее; а между тем остаюсь ваш и прочее.

ЖИЗНЬ В КУРЛЯНДИИ

Письмо 53-е

Любезный приятель!

Последнее мое письмо кончил я тем, что мы, возвратясь из своего похода, расположились в Курляндии по зимним квартирам; а теперь, продолжая повествование свое далее, скажу вам, что на сих квартирах простояли мы достальное время сего года наиспокойнейшим образом. Оба

оставшиеся месяцы, ноябрь и декабрь, протекли у нас мирно, и я не помню никакого важного и особенного происшествия, которое бы около сего времени случилось. Главную квартиру занял наш фельдмаршал в курляндском приморском местечке Либаве, а нашему полку, как уже прежде упомянуто, квартиры назначены были в окрестностях мызы Цирау, где стал и старичок, полковник наш. Что ж касается до меня, то я сею зимою далеко не таков счастлив был, как предследующею. Роте нашей отведены были квартиры неподалеку от вышеупомянутой мызы; но как я около сего времени уже не был ротным командиром, потому что был при роте и сам поручик, то наилучшая квартира, назначенная для ротного командира на изрядном подмызке, занята была им; а я принужден был довольствоваться наилучшим крестьянским двором, какой только мог найти в деревнях, assigned под нашу роту. Но как и все тамошние деревни и крестьянские дворы немногим чем лучше лифляндских, то нельзя сказать, чтоб квартира моя была завидная. Ее отвели мне в одной деревне, лежащей верст пять от моего поручика, и я за счастье еще считал, что удалось найти такой крестьянский двор, в котором подле избы приделана была сбоку маленькая коморочка с тремя красенькими окошечками и голландскою печкою, которая была хотя и не гораздо светла и от небрежения крестьянского нарочито позакопчена, но я рад по крайней мере был тому, что печка была порядочная и что я не обезпокоиван был дымом, а что всего лучше, то была она тепла, как баня. Сие тепло было нам всего дороже; ибо, натерпевшись в походе стужи и безпокойств, рады мы были и последней лачужке.

Итак, квартирка моя была хотя и весьма посредственная, но я ею был нарочито доволен. Я прибрал ее колико можно было получше. Затоптанный и загвазданный пол велел я порядочно вымыть и выскресть; печку свою я выбелил; стены также велел порядочно обмести, очистить и потом вымыть; а чтоб придать им сколько-нибудь красы, то прибил на них два живописных портрета, которые случилось мне купить в походе за безделку у солдат, доставших оныя при разграблении замка Аленбургского, и которые составляли единую добычу, вывезенную мною из Пруссии. Далее, короватку свою поставил я в одном углу, а в другом, подле печки и под окошечком, установил я свой походный столик и assigned себе местечко для сидения, и как бумаги было у нас довольно, чернила также были, а полочка, установленная моими книгами, была подле меня, то мне ничего бо-

лее было и не надобно; и я, разобравшись и расположившись сим образом, начал себе жить в тепле, как в Царстве Небесном, или, как лучше сказать, как некакой отшельник в сущем уединении и спокойствии. Ибо надобно сказать, что поручик мой был хотя изрядный человек, однако не такой, с которым бы можно было с приятностью делить время; итак, к нему часто ездить я не имел охоты, а из других офицеров никто подле меня близко не стоял. Что ж касается до тамошних мызников или курляндских дворян, то места сии были как-то пусты и не было никого из дворян, живущих в близости, так что мне во всю зиму ни одного из них видеть (не случилось), да и не слышал я, чтоб кто жил тут неподалеку.

По всем сим обстоятельствам принужден я был жить один и власно как взаперти; и уединение сие, конечно б, мне скоро прискучило, если б не имел я охоты к наукам и не сделал издавна привычки упражняться в чтении книг и писании, а самая сия привычка и помогла мне в сем случае очень много; ибо не успел я совсем обострожиться, как тотчас и нашел себе работу. Я упоминал уже прежде, что во время похода, в праздное время, переводил я новокупленную в Риге книгу Клевеланда; и как сей книги переведено было у меня уже довольно, то вознамерился я тогда перевод сей переписать набело, как можно лучшим и красивейшим письмом, почему, сделав тетрадки из лучшей почтовой бумаги, и начал я перевод свой переписывать, натирая всегда для писания тушь, и употребляя при переписывании все свое искусство к приданию книжке моей наилучшей красоты; а занимаясь сим, и не видал, как протекало глубокое и самое скучное осеннее время.

Кроме сего, случай доставил мне и некотораго рода собеседника. У хозяина моего проживал один ремесленный старичок, упражняющийся в шитье деревенскаго мужичьяго платья, для котораго собственно и была сделана у него самая та коморочка, в которой я тогда жил. Сперва не знал я, что эта была за особа; ибо как его для меня выгнали из коморки, то жил он в избе у хозяина, и мне был он не в примету; но как ход из моей комнаты был всегда через избу, то, видая его всякий день, полюбопытствовал я однажды о нем и, к превеликому удовольствию, узнал, что он был родом немец. Я тотчас с ним начал говорить, и нашел, что он был старичок самый добренькой, живал многие годы в самом Кёнигсберге и имел довольно смысла, так что я мог с ним иногда с целый час времени и более разговаривать без скуки. Я расспрашивал его о Кёнигсберге, и он мне раз-

сказывал все, что ему было известно. Словом, я старичка сего скоро любил и не редко заставлял его работать у себя в комнатке, дабы мне с ним можно было кой о чем разговаривать. Кроме того, сделался он мне и учителем латышскому языку; ибо как он язык сей совершенно разумел, то из любопытства расспрашивал я у него, как что по-латышски называется и записывал в тетрадку.

В сих-то невинных и уединенных упражнениях препровождал я свое время. Но как недостаток в нужнейших съестных припасах, или так называемом запасе, который во время похода весь уже изошел, напоминал мне, что нужно помышлять о запасении себя вновь оным; а сверх того, не было у меня ни большой шубы, ни носильного порядочного тулупа и многих других вещей, то для всего того разсудил я отправить одного из людей моих в свою деревню как для привоза мне сего запаса, так и для закупки в Москве всех нужных вещей, которых мне недоставало, а равно как и денег, в которых также была мне великая нужда – и Яков мой на лошадке при-нужден был в сей дальний путь отправиться.

Вскоре после того произошла в роте у нас некоторая перемена. Поручика моего произвели в капитаны, и на место его получил я себе другого командира, а именно поручика Михаила Емельяновича г. Непейцина. И как сей человек был разумнее и несравненно лучших свойств и характера, нежели каков был г. Коржавин, то возстановилось у нас с ним очень скоро отменное дружество. Он полюбил меня чрезвычайно, и как он приехал тогда прямо из Польши, где находился для заготовления провианта и имел чрез то случай понажитья и вывезть с собою и денежек и всего прочаго довольно, то стал он меня уговаривать, чтоб я переехал жить с ним вместе на подмызок, и не дал мне до тех пор покою, покуда я на то не согласился. Привыкнувши к своей хижине, мне сперва было и не весьма хотелось разстаться с моим милым уединением; но просьбы его, а сверх того и недостаток провизии и неудобность доставать оную в курляндских деревнях, убедили меня наконец оное оставить и переехать к нему жить; и я могу сказать, что я и не имел причины в том раскаяться. Ласки его, ко мне оказываемыя, и дружба простиралась так далеко, что он никак не хотел допустить до того, чтоб я купил от себя что-нибудь из провизии, но довольствовал меня своим коштом, и мы жили с ним, как родные братья и могу сказать, что довольно весело. Квартира была у нас довольно хорошая; пить и есть было что, а в разговорах с ним время препроводить было

не скучно; а сверх того, имел я свободу заниматься сколько хотел и своими упражнениями. Словом, сотоварищем сим был я совершенно доволен и, живя с ним, не видал как протекли оба достальные месяца сего года.

Со всем тем не удалось мне долго пожить с сим любезным человеком. Пред окончанием года произошла со мною и еще одна перемена. Господину полковнику нашему вздумалось что-то перевести меня из прежней в гренадерскую роту, и я принужден был, против желания моего, оставить прежняго компаньона и переехать жить в новую роту и на третью квартиру. Однако счастье послужило мне и в сем случае. Капитан в сей роте случился быть человек весьма хороший и разумный, воспитанный в кадетском корпусе и знавший по-французски и по-немецки и почитаемый во всем полку нашем наилучшим и разумнейшим капитаном. Его звали Иваном Никитичем, а по фамилии был он Гневушев. Сей человек служил еще при полку нашем во время покойнаго моего родителя и был им за достоинства свои любим. А потому знал он и меня еще с малолетства, и могу сказать, что и любил с того времени. После узнал я, что по его домогательству и сделано было то, что я переведен был в его роту; ибо, как опросталась в его роте подпоручицкая вакансия, то он, зная мои способности, и выпросил меня у полковника. Поелику же учинено то против моей воли и хотения, то и не хотел он допустить меня, чтоб я стоял в латышской избе и терпел нужду и беспокойство, но таким же образом убедил меня, чтоб я стал с ним вместе на одной квартире, на что я охотно и согласился, и могу сказать, что и его сообществом и дружбою я был не менее доволен, как и господином Непейциным.

Теперь, остановясь на несколько времени на сем месте, обратимся на часок к другим предметам и посмотрим, что в других местах в сие время происходило.

Между тем как мы помянутым образом из Пруссии возвращались и потом спокойно в Самогитии и Курляндии стояли по квартирам, в Европе, напротив того, война продолжала гореть во всем своем пламени. Королю прусскому достальная часть сего лета, а особливо осень посчастливилась в особливости. Непростительная погрешность, учиненная нами, и в самое почти то же время французским маршалом Ришелье, служила власно как сигналом к тому, чтоб всем смутным его обстоятельствам перемениться в наилучшие. Обоими сими весьма выгодными для него происшествиями, он власно как ободрился и стал помышлять о том, как бы ему управиться с

прочими неприятелями, а особливо с так называемую имперскую армию или собранною с разных мелких имперских княжений.

Сей собралось при Нюренберге, в начале весны, из разных мест до 20 000 человек, пока, соединившись в августе с французскою армиею под командою принца Субиза, вступила в Саксонию и шла атаковать короля прусскаго. С другой стороны утесняли его цесарцы. Искусный предводитель их граф Даун, следуя вслед за прусскими войсками, препологал им всюду и всюду столь великия препоны в их предназначениях и наводил им столько безпокойств, что они растеряли великое множество войска, обозов, понтонов и самых магазинов, и не знали наконец, что делать. С третьей стороны вошли уже шведы в границы прусския со стороны Померании, а с четвертой, как было упоминаемо, вступили мы в Пруссию. В сей крайности и будучи со всех сторон утесняем, решился было король почти из отчаяния схватиться и подрасться еще с цесарцами, да и действительно пошел было их атаковать, но как нашел фельдмаршала их, стоящаго с армиею в столь выгодном и неприступном месте, что без явной опасности учинить того было не можно, то препроводив целый почти день в одной перестрелке с ним из пушек и испытал тщетно все способы до него добраться, принужден был, ничего не сделав, отойти прочь и податься назад к Саксонии.

Тут, отправив знатный корпус в Шлезию для прикрытия границ и города *Швейдница*, стал сам помышлять о том, как бы ему укрыться от прозорливаго графа Дауна и уйтить для встречи и разбития имперской армии. Сия наводила ему тогда больше всех заботы и безпокойства; ибо единым вступлением своим могла у него отнять всю Саксонию и пройти до Магдебурга, и в такую же сей город привести опасность, в какой находился Берлин от шведов.

К произведению помянутаго предприятия, надлежало употребить королю всю свою хитрость и искусство, и ему удалось сие сделать наивожделеннейшим образом. Он, отделив знатную часть войска от главной армии, ушел так скрытно, что Даун не мог долго о том проведать.

Между тем оставленная им главная армия под командою принца Бевернскаго, к которому придан был на вспоможение славный и искусный генерал Винтерфельд, на котораго король наиболее и надеялся, принуждена была терпеть много зла и безпокойства от цесарцев. Помянутый генерал *Винтерфельд* стал с отделенным деташаментом в некотором отда-

лении от главной армии. Цесарский фельдмаршал граф Даун, соединясь с принцем Лотарингским, пришел и стал лагерем насупротив прусской, и цесарский генерал *Надасти* атаковал корпус генерала Винтерфельда и не только разбил оный, побив у пруссаков около 1500 человек, но причинил им чувствительнейший удар чрез смерть самого генерала Винтерфельда, который на сем сражении смертельно был ранен. Принц Бевернский без него власно как опешил и, позабыв о прикрытии шлезских границ, пошел внутрь Шлезии к Лигницу, а сверх того сделал еще того хуже и ослабил свою армию разсылкою до 15 тысяч человек в разныя крепости, и чрез то привел себя в несостояние противоборствовать цесарской армии, которая, следуя за ним по стопам и причиняя ему везде вред, прогнала его даже до Бреславля и принудила обнажить всю Шлезию и предать ее почти в жертву и на произвол цесарцам, чем цесарцы и не преминули воспользоваться. Генерал их Надасти окружил тотчас славную их крепость Швейдниц и учинил все приуготовление к осаде, а другой генерал, *Гаддик*, с маленьким корпусом легких войск пошел прямо к обнаженному и без всякой защиты находящемуся Берлину, и принудил сей столичный город заплатить себе немалую контрибуцию, а королеву со всем двором спастись бегством и удалиться в Шпандау. Но сие обладание прусскою столицею не продолжалось более одних суток, и сей достопамятный день был 5-го октября месяца.

Между тем как все сие происходило, и цесарцы помянутым образом хозяйствовали в Шлезии и в самой Бранденбургии, сам король прусский находился, как выше упомянуто, в походе против имперской армии, соединенной с французами, которая, вступив в Саксонию, распространилась уже в окрестностях Лейпцига и шла прямо к Магдебургу и к Берлину; королю удалось тотчас остановить, ее своими деташаментами. Он пошел к Эрфурту и, принудив союзных выступить из онаго, овладел сим городом. Тут принужден был он стоять долгое время и разсылать всюду отдаленные корпуса для прикрытия Магдебурга, Лейпцига и Берлина, а между тем производить с неприятелями малую войну, что и продолжалось почти до самага ноября месяца. Обе армии упражнялись в маршах и контрмаршах и дрались только между собою разные их отделенные деташаменты с различными успехами.

Наконец, 24-го октября дошло дело и до решительной баталии неподалеку от Лейпцига, при деревне *Розбахе*, и королю прусскому посчаст-

ливилось, несмотря на всю малочисленность своего войска и на несравненное превосходство имперской союзной армии, бывшей под командою генералиссимуса принца *Гильгургсгаузенского и Субиза*, разбить в прах сию последнюю чудным и невероятным почти образом. Употребленный им удачно военный обман помог ему произвести сие великое и славное дело. Он притворился убоавшимся имперской армии и ретирующимся к Мерзбургу. Имперцы и французы, приписывая сие его трусости, почитали победу несомненною и почти наполовину выигранною, погнались за ним без дальней осторожности, но вдруг попались власно, как в засаду, и нашли короля, стоявшего в наилучшем порядке и готового к сражению. Целая половина армии скрыта была у него за пригорком, и палатки, стоящая на оном, закрывали ее от глаз неприятеля. Но как палатки вдруг сняли, то она означилась и видом своим привела неприятелей в великое замешательство, которым король тотчас воспользовался и храбро конницею своею атаковав их конницу, привел сию в беспорядок и принудил к бегству, а за нею последовала и вся пехота.

Славное сие сражение продолжалось недолго, но было весьма кровопролитно. Союзная армия состояла хотя из 60-ти тысяч человек, а прусская не более как из 30-ти, но первая была так разбита и в такую разстройку и беспорядок приведена, что на месте баталии не осталось более 2000 человек. Она потеряла более 10 000 человек, и пруссаки взяли в полон до 7000 человек, в том числе 11 генералов и 250 офицеров, а сверх того, получили в добычу 63 пушки и 15 штандартов и 7 знамен. Словом, победа, одержанная королем прусским, была совершенная и славная. Он, пригласил пленных офицеров к себе на ужин, просил их, чтоб они не прогневались, что кушаньев мало и что он их угощает так худо, ибо он никак не ожидал иметь у себя в сей вечер толь многих гостей.

Впрочем, победа сия имела важныя последствия. Король прусский получил чрезъ то свободу и мог полететь на помощь утесненной своей Шлезии и принцу Бевернскому. В ганноверанах возбудилось опять мужество и они, нарушив свой договор, начали опять воевать. Французы опешили и сами цесарцы пришли в смущение и в некоторый род малодушия.

Со всем тем как король ни спешил на вспоможение принцу Бевернскому, стоявшему окопавшись подле Бреславля, однако ему не удалось поспеть благовременно. Цесарцы, услышав о победе его при Розбахе и о том, что он идет, успели до прибытия его атаковать принца Бевернского в

его ретраншаменте и, несмотря на все трудности и храбрую оборону, выбили 13-го ноября пруссаков из оных, и потом взяли самого принца Бевернского в полон и пруссаков принудили уйтить. Сия удача произвела то следствие, что в тот же вечер сдался и город Бреславль на капитуляцию и за несколько времени до того сдалась и крепость Швейдниц генералу Надастию, и королю не удалось и сему городу учинить вспоможение.

Но все сии удачи и выгоды, полученные цесарцами хотя и привели короля прусскаго в великое нестроение, однако продлились недолго. Провидению угодно было назначить не им, а королю прусскому воспользоваться всеми кровопролитиями и трудами сего лета. Он, будучи помянутными успехами цесарцев приведен в превеликую разстройку и лишась почти совсем Шлезии, решился испытать еще раз своего счастья и подрататься с цесарцами, в надежде победою переменить все положение дел; почему, несмотря на все безпокойства глубокой осени и крайнее утруждение своей армии, пошел искать цесарцев, чтоб дать им баталию. Цесарцы, зная малочисленность его армии, не только не устрашились сего, но даже, презирая, смеялись над оною, называя ее не армиею, а берлинским разводом. Со всем тем мудрый и осторожный фельдмаршал их Даун, совсем не то мыслил и, не давая себя тем ослепить, стал в весьма выгодном месте подле Швейдница и не хотел никак иттить сам навстречу неприятелю, а ожидал, чтоб король пришел его атаковать. Но как был он не один командиром над цесарскою армиею, а вместе с принцем Лотарингским, сей же в мнении своем был с ним не согласен и хотел иттить сам навстречу королю и дать с ним баталию, то сие несогласие произвело то, что послан был курьер в Вену, спросить что делать; и как велено было иттить и дать с неприятелем баталию, то король прусский, сего только желая и сошедшись с ними при Лиссе и при деревне Лейтене, составил с ними 24-го ноября кровопролитную и столь удачную битву, что цесарцы были совершенно побеждены и потеряли на этом сражении 301 офицера и 21 000 человек войска, 184 пушки и 59 знамен. Но сего еще было не довольно, но несчастию цесарцев назначено увеличиться потеряннем опять Бреславля. Принц Лотарингский, желая спасти сей город, хотя послал в него знатный корпус с многочисленною артиллериею, но сие послужило только к вящему урону; ибо король прусский, не упуская времени, осадил оный и, несмотря на всю суровость погоды и трудности, взял оный. Сия потеря Бреславля стоила цесарцам 13 генералов, 686 офицеров и 17 000 рядовых.

Сим образом кончилась кампания сего года с великим уроном и предосуждением для цесарцев. Все их труды, сражения, убытки и полученные выгоды не принесли им ни малейшей пользы. Они принуждены были вытти в Богемию и оставить всю Шлезию опять во власть пруссаков. Один только город Швейдниц остался в их руках; но сия была очень малая выгода. Словом, пруссакам удалось, против всякаго чаяния и к удивлению всей Европы, окончить кампанию сию с великою для себя выгодою; ибо и самых шведов успел еще фельдмаршал их Левальд, возвратившись из Пруссии и отделившись от нас, из пределов прусских выгнать с уроном.

Вот вам краткое изображение бывших тогда в Европе происшествий, которыми кончился 1757 год, то дозвольте и мне на сем месте теперешнее мое письмо кончить и сказать вам, что я есмь ваш верный друг и прочая.

ЗАНЯТИЕ КЁНИГСБЕРГА

Письмо 54-е

Любезный приятель!

Между тем как вышеупомянутым образом и в самую глубочайшую осень 1757 года война в прусских, цесарских и саксонских землях горела наижесточайшим образом, и целыя десятки тысяч людей лишались жизни, а того множайшия попадали в полон, поля же обагряться человеческою кровию, а безчисленное множество бедных поселян лишались своих домов и всего своего имения, а того множайшия претерпевали тягость от поборов и отнятия у них всех заготовленных ими для своего процветания съестных припасов и фуража – отдыхали мы в Польше и в Курляндии от своих трудов и всю сию осень и начало зимы препроводили в мире, тишине и наивожденнейшем покое. Не зная ничего о всех сих происшествиях, жили мы тут на своих покойных квартирах и только что веселились.

Но сколь спокойны были мы, столь беспокоилось правительство наше худыми успехами нашего перваго похода. Неожидаемым и постыдным возвращением армии нашей из Пруссии и всеми поступками нашего фельдмаршала, графа Апраксина, владеющая нами тогда императрица крайне была недовольна, и хотя для прикрытия стыда и обнародовано было, что сие возвращение армии нашей произошло по повелению самой импера-

трицы и будто для того, что как цесарцы сами уже вошли в Шлезию, то нам не было нужды иттить далее и продолжать поход свой до Шлезии, и что, сверх того, войска нужны были в своем отечестве по причине болезни императрицыной; однако всем известно было, что это объявлено было для одного вида, а в самом деле все знали, что учинил он то самопроизвольно. А самое сие и навлекло на него гнев от императрицы; почему не успел он возвратиться в Курляндию, как отозван был в Петербург для отдания в поведении своем отчета. Сие обратное путешествие в столичный город было сему полководцу весьма бедственно и несчастно. Лишась всей прежней своей пышности, принужден он был ехать как посрамленный от всех, почти тихомолком, и слухи об ожидаемых его в Петербурге бедствиях столь его беспокоили, что он на дороге занемог и больной уже привезен в Нарву. Но сего было еще недовольно. Но несчастье встретило его уже и в сем городе; ибо прислано было повеление, чтоб его не допускать и до Петербурга, но, арестовав тут, велеть следовать его нарочно учрежденной для того комиссии. Но сие бедняка сего так поразило, что он в немногия дни лишился жизни, о которой никто не жалел, кроме одних его родственников и клиентов, ибо, впрочем, все государство было на него в неудовольствии.

Сим образом погиб сей человек, бывший за короткое пред тем время толико знатным и пышным вельможею, и наказан самою судьбою за вероломство к отечеству и поступку, произведшую толь многим людям великое несчастье.

Между тем команда над оставшеюся в Курляндии и Польше армиею поручена была *генерал-аншефу графу Фермору*. И как сей генерал известен был всем под именем весьма разумнаго и усерднаго человека, то переменою сею была вся армия чрезвычайно довольна. Он и не преминул тотчас стараниями своими и разумными новыми распоряжениями оправдать столь хорошее о нем мнение.

Первое и наиглавнейшее попечение сего генерала было о том, как бы удовлетворять всю армию всеми нужными потребностями, а потом овладеть скорее всем королевством Прусским, и чрез то, сколько, с одной стороны, исправить погрешность, учиненную графом Апраксиным, столько, с другой, – исполнить желание нашего двора и императрицы: ибо, как между тем получено было известие, что король прусский все свое Прусское королевство обнажил от войск, употребив оныя, как выше упомяну-

то, для изгнания шведов из Померании, то, дабы не дать ему время опять армию свою туда возвратить, велено было наивозможнейшим образом поспешить и, пользуясь сим случаем, занять и овладеть королевством Прусским без дальняго кровопролития.

Всходствие чего не успел сей генерал принять команды и получить помянутое повеление, как и начал ко вступлению в Пруссию чинить все нужные приуготовления. И как положено было учинить то не дожидаясь весны, а тогдашним же еще зимним временем, то с превеликою нетерпеливостию дожидался он, покуда море, или паче тот узкий морской залив, который известен под именем *Курскаго Гафа* и будучи от моря отделен узкою и длинною полосою земли, простирается от Мемеля до самого местечка Лабю – покроется столь толстым льдом, чтоб по оному можно было иттить прямым и кратчайшим путем в Кёнигсберг войску со всею нужною артиллериею. Нетерпеливость его была так велика, что с каждым днем приносили ему оттуда лед для суждения, по толстоте его, может ли он поднять на себе тягость артиллерии.

Но как сие не прежде воспоследовало, как в самом окончании 1757 года, то самое начало последующаго за сим 1758 года и сделалось достопамятно обратным вступлением наших войск в королевство Прусское. Граф Фермор еще в последния числа минувшаго года переехал из Либавы в Мемель, а тут изготовив и собрав небольшой корпус и взяв нужное число артиллерии, пошел 5-го числа генваря по заливу прямо к Кёнигсбергу, приказав другому корпусу, под командою генерал-майора графа *Румянцева*, в самое то ж время вступить в Пруссию со стороны из Польши, и овладеть городом Тильзитом.

Успех дела и похода сего был наивожденнейший. Войска графа Фермора в тот же день без дальняго отягощения дошли по льду до острова *Руса* и овладели находившимся тут амтом, а войска, вступивши со стороны из Польши, овладели без всякаго сопротивления Тильзитом, где граф Румянцев, услышав, что в городе Гумбинах находился еще небольшой прусский гарнизон, послал было для захвачения онаго войска; но они его уже не застали, ибо он, услышав о приближении наших, заблагоразсудил удалиться заранее. Итак, вступили наши во все местечки и города без всякаго сопротивления и везде жителей приводили к присяге быть в подданстве и верности у нашей императрицы.

Наконец, граф Фермор, соединившись со всеми пятью колоннами войска, вступившими в Пруссию с разных сторон, под командою генерал-поручиков *Салтыкова*, *Резанова*, графа Румянцева и генерал-майоров – князя *Любомирского* и *Леонтьева*, пошел прямо и без разстахов в город Лабио и, пришед туда 9-го числа, нашел у тамошняго начальства уже повеление от кёнигсбергскаго правительства, чтоб в случае вступления наших войск, отпускалось нам все, что б ни потребовалось, без всякаго сопротивления, и повиноваться всем приказаниям графа Фермора.

Из сего места отправил сей генерал полковника *Яковлева* с 400-ми гренадер, с 8-ю пушками и 9-ю эскадронами конницы, под командою бригадира *Демиду*, и с 3-мя гусарскими полками и чугуевскими казаками под предводительством бригадира *Стоянова*, прямо к Кёнигсбергу. А как между тем приехали к нему и депутаты, присланные от кёнигсбергскаго правительства с прошением от всего города и королевства, чтоб принято оное было под покровительство императрицы и оставлено при ея привилегиях, то он, уверив их о милости монаршей, отправился и сам вслед за помянутым передовым войском в помянутый столичный город.

Итак, 11-й день генваря месяца был тот день, в который вступили наши войска в Кёнигсберг, а вскоре за ними прибыл туда и сам главнокомандующий. Въезд его в сей город был пышный и великолепный. Все улицы, окна и кровли домов усеяны были безчисленным множеством народа. Стечение онаго было превеликое, ибо все жадничали видеть наши войска и самого командира, а как присовокуплялся к тому и звон в колокола во всем городе, и игране на всех башнях и колокольнях в трубы и литавры, продолжавшееся во все время шествия, то все сие придавало оному еще более пышности и великолепия.

Граф стал в королевском замке и в самых тех покоях, где до сего стоял фельдмаршал Левальд, и тут встречен был всеми членами правительства кёнигсбергскаго, и как дворянством, так и знаменитейшим духовенством, купечеством и прочими лучшими людьми в городе. Все приносили ему поздравления и, подвергаясь покровительству императрицы, просили его о наблюдении хорошей дисциплины, что от него им и обещано.

В последующий день принесено было Всевышнему торжественное благодарение, и главнокомандующий, отправив в Петербург графа Брюса с донесением о сем удачном происшествии, трактовал у себя весь генералитет и всех лучших людей обеденным столом, а наутрие приводим был

весь город к присяге, и главное правление всем королевством Прусским началось нашими.

Не успел граф Фермор помянутым образом городом Кёнигсбергом овладеть и все правительства получить в свою власть, как наипервейшее его попечение было о расположении вступивших в Пруссию войск на зимняя квартиры и о занятии ими всех нужнейших мест как во всем королевстве Прусском, так и в польской Пруссии. Итак, иным велел он расположиться квартирами в окрестностях Кёнигсберга, другим иттить и занять приморскую крепость Пилау, иным же иттить далее вперед и занять все места по самую реку Вислу и с ними вместе польские вольные города *Эльбинг* и *Мариенбург*. Сим последним хотя и не весьма хотелось впустить наши войска, но как обещано было им всякое дружелюбие, то принуждены были на то согласиться.

В Кёнигсберге же для гарнизона введен четвертый гренадерский полк, также Троицкий пехотный, и комендантом определен бригадир *Трейден*, а суды поручены полковнику Яковлеву; ибо и сам граф намерен был отправиться далее и главную свою квартиру учредить на Висле, в прусском городке *Мариенвердере*. Что ж касается до оставшихся в Курляндии и Самогитии полкам под командою генерала Броуна и князя Голицына, то и сим велено также вступить в Пруссию и, прошед через оную, занять верхнюю часть польской Пруссии с городами *Кульмом*, *Грауденцом* и *Торунем*, и через то составить кордон по всей реке Висле.

Как в числе сих остававшихся в Курляндии полков случилось быть и нашему архангелогородскому полку, то и не имели мы в сем зимнем походе соучастия, но во все сие время простояли спокойно на своих квартирах, и не прежде обо всем вышеупомянутом узнали, как по вступлении уже наших в Кёнигсберг, и когда прислано было повеление, чтоб и нам туда же следовать. Я не могу довольно изобразить, какую радость произвело во всех нас сие известие. Все мы радовались и веселились тому власно так, как бы каждому из нас подарено было что-нибудь и мы в завоевании сем имели собственное соучастие. Никогда с толикою охотою и удовольствием не собирались мы в поход, как в сие время и никогда толикаго усердия и поспешения в сборах и приуготовлениях всеми оказываемо не было, как при сем случае.

Нам велено было, нимало немедля, выступать в поход, и путь шествию нашему назначен был прямо через Польшу, или нарочитую часть

литовской провинции Самогитии; а потом вдоль всего королевства Прусского прямо к польскому вольному городу Торуню, стоящему на берегах реки Вислы на отдаленнейшем краю Пруссии польской. Итак, хотя мы и не могли ласкаться надеждою увидеть столичный прусский город Кёнигсберг, который оставался у нас далеко вправо, однако по крайней мере довольны были мы тем, что увидим все Прусское королевство.

Со всем тем сколько ни радовались мы сему скорому и нечаянному выступлению и шествию в Пруссию, однако обстоятельство, что тогда была самая середина зимы и что всем надлежало запастись санями, навело на нас много заботы. Но никто из всей нашей братьи-офицеров так много озабочен тогда не был, как я; но тому была и довольная причина. У всех офицеров было довольное число лошадей, на которых бы им везть свои повозки и на чем и самим в маленьких санках могли ехать, ибо верховая езда для зимняго времени была неспособна; а у меня было только две лошади, а третьей, для особливых и маленьких санок, не было. На сей третьей лошади, как выше упомянуто, отправил я другого человека моего в деревню, за Москву, и сей человек ко мне еще тогда не возвратился. Итак, не только не было у меня третьей лошади и другого человека, но, сверх того, имел я и во всем прочем крайнюю нужду и недостаток: не было у меня ни маленьких санок, как у прочих, не было ни большой шубы, ни порядочнаго тулупа, ни прочаго нужнаго платья, ни запаса, ни съестных припасов, толико нужных для похода, а что всего паче – не было и денег. Всего того уже за несколько дней дожидался я со всяким днем; а тогда, как сказан был нам поход, то ожидание мое сопрягалось с величайшею нетерпеливостию; ибо, по счислению времени, надобно уже ему было давно быть. Со всем тем, сколько я Якова своего ни дожидался, сколько ни смотрел в окна – не едет ли, сколько раз ни высылал смотреть, не видать ли его едущаго вдаль, – но все наше ожидание и смотрение было напрасно: Якова моего не было и в появе, и я не знал, что, наконец, о нем и думать. Уже сделаны были все приуготовления к походу, уже назначен был день к выступлению, уже день сей начал приближаться, – но Яков мой не ехал и не было о нем ни духу, ни слуху, ни послушания. Господи! какое было тогда на меня горе и каким смущением и беспокойством тревожился весь дух мой! Я только и знал, что, ходя взад и вперед по горнице, сам с собою говорил: «Господи! что за диковинка, что он так долго не едет? Давно бы

пора уже ему быть. Что он со мною теперь наделал и что мне теперь начинать?..» Пуще всего смущало меня то, что я в безсомненной надежде, что он вскоре возвратится и привезет мне все нужное, ничем и не запасался и ничего себе нужного и не покупал. К вящему несчастью, не было у меня тогда и денег; ибо, по недостатку оных по возвращении из похода, жалованье уже было забрано вперед и истрачено. Но все бы я мог достать денег на покупку лошади и санок, в которых мне всего более была нужда, если бы вышеупомянутая надежда скорого возвращения моего слуги меня не подманула, которого я с часу на час дожидался.

Но наконец наступил уже и тот день, которого я, как некоего медведя, страшился, то есть день выступления нашего в поход. И как Якова моего все еще не было, то не знал я что делать, и был почти вне себя от смущения. Повозку свою с багажом хотя и совсем я исправил, и она была готова, но самому мне как быть, того не мог я сперва никак ни придумать, ни пригадать. Не имея особой лошади и санок, другого не оставалось, как иттить пешком вместе с солдатами. Но о сем можно ли было и думать, когда известно было мне, что и у последних самобеднейших офицеров были особые лошади, и всякий имел свои санки, и что я чрез то подвергну себя стыду и осмеянию от всего полка. В сей крайности приходило уже мне на мысль сделать то, чего я никогда не делывал, то есть, сказаться нарочно больным, дабы мне, под предлогом болезни, можно было ехать в кибитке и в обозе; но и сие находил я неудобопроизводимым по причине, что кибитка моя была вся занята всякой рухлядью и мне в ней поместиться было негде. Словом, я находился тогда в таком нестроении, в каком я отроду не бывал; и истинно не знаю, что б со мною было, если б не вывел меня наконец капитан мой из моего смущения и несколько меня не успокоил.

Сей, увидев крайнее мое смущение и разстройку мыслей, быв свидетелем всему моему нетерпеливому ожиданию и ведая причину, для чего я не покупал лошади и саней, спросил меня наконец: как-же я о себе думаю? «Что, батюшка! – отвечивал я на сей вопрос. – Я истинно сам не знаю, что мне делать. Приходится пешком почти иттить, покуда сыщу купить себе лошадь и сани». – «И! – отвечивал он мне. – Зачем, братец, пешком иттить – кстати ли! – поедем лучше вместе в одних со мною санках. Хоть оне и тесненьки, но как-нибудь уже поуместимся. По крайней мере,

на первый случай и покуда попадетс я тебе купить лошадь, а между тем, может быть, подъедет и человек твой».

Не могу изобразить, сколь много утешил и обрадовал он меня предложением сим. Я хотя для вида совестился и говорил, что я его утесню и обезпокою, но в самом деле так был рад сему случаю, что если б можно, то разцеловал бы его.

Итак, положено было у нас ехать вместе; но не успели мы кое-как и с великою нуждою доехать до штаба и оттуда всем полком выступить в поход, как я у своей братьи-офицеров множество нашел не только просторнейших мест для сидения, но даже несколько пустых и праздноедущих санок. Ибо как во время сего похода не имели мы причины ни к малейшему опасению от неприятеля, то и шли мы как собственно в своем отечестве или в дружеской земле, так сказать, спустя рукава и пользуясь всеми выгодами, какия в мирное время иметь можно. Полк вели у нас обыкновенно одни только очередные и дежурные, а прочия офицеры все ехали, где хотели, а сие и причиною тому было, что они, для лучшаго сокращения дороги для приятнейшаго препровождения времени, соединялись в разныя кучки и компании и ехали не только гурьбою на многих санях вместе, но присаживались друг к другу на сани для шуток и разговоров, а свои оставляли ехать пустыми, и как они все были мне друзья и приятели, то и мог я присаживаться из них в любых и ехать так долго, как мне хотелось.

Сим образом, перепрыгивая с одних саней на другия и присаживаясь то к тому офицеру, то к другому, и переехал я весь сей первый переход благополучно, и мне удалось смастерить все это так искусно и хорошо, что никому из офицеров и на ум того не приходило, что у меня собственных своих не было и что я делал то поневоле. Однако, несмотря на всю эту удачу, беспокоился я во всю дорогу крайне мыслями и того и смотрел, чтоб кто тайны моей не узнал и чтоб не принужден я был вытерпливать превеликаго стыда и от всех себе насмешек.

Но как бы то ни было, но мы приехали и расположились ночевать в одном небольшом местечке, на границах уже литовских находящемся, и сделали в сей день великий переход. Тут получил я хотя прекрасную и спокойную квартиру, но вся ея красота меня не прельщала, ибо у меня не то, а другое на уме было. Я заботился безпрерывно о своем путешествии и

только сам себе в мыслях говорил и твердил: «Ну, хорошо! Сегодня-таки мне удалась кое-как промаячить; но как быть завтра? С кем ехать и к кому приставать? Ну, как догадаются и узнают, как тогда быть?»

Помышления таковыя привели в такую разстройку мои мысли, что я был власно, как в ипохондрии и в таком углублении мыслей, что самая еда мне на ум не шла. Но вообразите себе, любезный приятель, какая перемена со мною долженствовала произойти, когда в самое сие время вбежал ко мне почти без души мой малый и, запыхавшись, сказал: «Что вы, барин, знаете? ведь Яков наш приехал!..» – «Что ты говоришь! – вскричал я, вспрыгнув из-за стола и позабыв об еде. – Не вправду ли, Абрамушка?» – «Ей-ей, сударь, теперь только на двор въехал, и какая же прекрасная санки!» В единый миг очутился я тогда на крыльце и от радости не знал, что говорить, а только что крестился и твердил: «Ну, слава Богу!» Но радость моя увеличилась еще более, когда услышал я от моего Якова, что он привез ко мне не только множество всякого запаса, но и купил мне всего и всего, в чем наиболее была нужда. Привез мне прекрасный тулуп, большую лисью шубу, новое седло и множество других вещей; а что всего приятнее было мне, то и множество всяких вареньев и заедок, присланных мне от моей сестры, к которой он заезжал и которая находилась тогда с зятем моим в деревне; ибо сей отпущен был от полковника еще с самага начала зимы и нашел потом способ отбиться совсем от службы в отставку. Но что радость мою еще совершеннейшею сделало, то было уведомление его, что он привез с собою еще более 100 рублей денег. Боже мой! как обрадовался я сему последнему. Истинно я не помню, чтоб я когда-нибудь так много обрадован был, как тогда. Таки сам себя почти не помнил и не ходил, а прыгал от радости по комнате и только что твердил: «Ну, слава Богу, теперь все у меня есть, всего много и лошадей, и запаса, и платья, и денег и всего и всего! Теперь готов хоть куда и мне ни перед кем не стыдно». Словом, я мнил тогда, что я неведомо как богат, и что наисчастливейший человек был в свете, и тысячу раз благодарил сперва Бога, а потом слугу своего Якова за исправное отправление порученной ему комиссии. Да и подлинно, день сей был достопамятный в моей жизни тем, что сколь великое чувствовал я при начале его огорчение, столь великою, напротив того, радостью объято было мое сердце при окончании онаго.

Сим окончу я теперешнее письмо и, сказав, что я емь ваш нелицемерный друг, остаюсь и прочая.

ВТОРИЧНЫЙ НАШ ПОХОД В ПРУССИЮ

Письмо 55-е

Любезный приятель!

Радость моя о приезде моего слуги и нетерпеливое желание видеть, что он привез с собою, была так велика, что я не дал почти времени порядочно выпрячь лошадей и прибрать, но велел скорее развязывать воз и носить к себе все привезенное. Удовольствие при развязывании и разсматривании всего было чрезвычайное; а то я уже никак изобразить не могу, какое чувствовал я, когда подал он мне привезенный им мерлушечий и зеленою китайкою покрытый легонький тулуп. В единый миг сбросил я с себя прежний гадкий и дурной овчинный и надел на себя сей новый. И что ж это! сколь прелестным показался он мне тогда! И мягко-то, и легок, и тепел, и красив – и все качества и достоинства были в нем. Для испытания привезенного чая и сахара, должен был Абрам мой тотчас бежать и в новом чайнике варить воду, и чай сей мне тогда вкуснее всех чаев в свете показался, и я не мог ему довольно похвал приписать. Увидев же множество ветчины, тотчас сварен был и оной целый окорок; и как я был до ней всегда великий охотник, а тогда уже несколько месяцев ее не едал, то не могу изобразить, сколь сладок и вкусен мне тогдашний ужин показался. По окончании онаго привезенныя варенья должны были служить мне вместо десерта. Все их, сколько их ни было, я отвеживал, и каждое казалось мне неведомо каким драгоценным конфектом. Словом, всем и всем я тогда удовольствовался досыта, и был всем так доволен, что ничего не желал более. Вот до чего доводит претерпенная несколько времени нужда, и какую великую цену придает она и самым маловажным вещам!

Итак, поутру, на другой день, имел я уже удовольствие ехать в своих санках, которыя были хотя не чухонския, а пошевенки, но я о сем уже не заботился, а довольно, что были новыя санки с кряковками и что я был одет тепло и как водится, и мне не только ни пред кем было не постыдно, но я еще имел пред многими тогда великое преимущество. Словом, произведенное вдруг во всем изобилие произвело даже во всем во мне великую перемену. Я возымел как-то и увышеннейшее о себе мнение, стал со всеми, которыя были выше меня чинами, обходиться фамиллярнее и вольнее, да и они все, проведав, что ко мне привезено довольно всякой всячины и

что были у молодца и денежки, стали обходиться со мною как-то ласковее, и власно как стараться искать моей к себе дружбы и приятства. Они стали приглашать меня чаще в свои компании, просить препровождать с ними время и брать участие в их увеселениях, и прочая тому подобное, что все хотя и льстило моему самолюбию, но после возымело последствия не весьма для меня выгодныя, как то окажется после.

Поход наш, как выше упомянуто, простирался чрез Польшу и прямо на прусский городок *Гумбины*. И поелику мы шли неспеша, и чрез два дни брали всегда разстах, и притом в польских местечках, селах и деревнях получали всегда хорошия и спокойныя квартиры, то мы не чувствовали почти никакого отягощения, и все наше шествие можно почесть более безпрерывным увеселением, нежели походом. Всякий день съезжались мы по несколько человек вместе и, едучи вереницею, друг за другом, не пропускали почти ни одной на дороге стоящей корчмы, в которой бы не побывать и по несколько минут не препроводить в смехах, играх и шутках. Как же скоро приедем в какое-нибудь местечко и расположимся по квартирам, то и пойдут у нас, а особливо во время дневаньев, разгуливанья друг к другу по гостям и вместе потом, буде есть где, по трактирам, и начнутся картежныя игры и друг друга угаживания чаями, пуншами, вином и прочим. Одним словом, мы во весь сей поход препровождали время свое очень весело, а помогала много к тому и стоявшая тогда хорошая и самая умеренная зимняя погода.

Впрочем, во время сего шествия имел я случай насмотреться довольно всему житью-бытью поляков, живущих в сей части Литвы, или провинции литовской, известной под именем Жмудии или Самогитии, через которую мы тогда шли. Мне показалась она довольно, однако не слишком же хороша. Самыя деревни были немного чем лучше наших русских, а и местечки или маленькие городочки не слишком завистны и далеко не такovy хороши, как в других местах Польши, чему причиною, может быть, было то, что сей угол польскаго государства был весьма беднее прочих мест. Однако, как бы то ни было, однако находилось довольно и таких предметов, которыя привлекали к себе тотчас любопытное наше зрение, как скоро мы вошли в литовские пределы. Часовеньки, стоящия неподалеку пред въездом в каждую деревню, доказали нам тотчас, что находились мы уже в землях католицких. Часовеньки сии делаются у них почти такая же, какия делают у нас кой-где мужики при дорогах, для поставле-

ния в них икон: на одном столбике и с маленькою крышечкою; но разница только та, что у них столбы сия высокие, и не такие, как у нас, низкие, да и под кровелькою не образа ставятся, а всегда уже бывает резное распятие. Сие хотя наиглупейшим образом и обезображается католиками, приделыванием к поясу занавески, ибо от сего всякое таковое распятие не иначе кажется как в юпочке, что для непривыкнувшего видеть сие кажется очень дурно и нимало не кстати; однако то, по крайней мере, хорошо и мне весьма полюбилось, что ни один католик, а особливо житель той деревни или села, не проходит никогда мимо такового столба без того, чтоб ему не остановиться и пред распятием, став на колени и воздев руки, не прочесть краткой молитвы.

Что принадлежит до внутренности домов, то в них хотя мы и находили множество изображений святых, но не рисованных, по-нашему, на досках, а все печатных на бумаге и раскрашенных разными красками. Сими картинами во всяком доме весь передний угол у них улепливается, и всем им воздают католики точно такое ж почтение, как мы иконам.

Кроме того, во время сего путешествия случалось нам неоднократно, для любопытства, бывать и в жидовских синагогах или домах, где они поучаются слову Божию, читают Священное Писание, приносят свои молитвы – вместо храма, и кои в Священном Писании упоминаются под именем сонмищей или училищ. В сих не находили мы никаких украшений, кроме нескольких лавок для сидения и одного возвышеннаго посреди здания, наподобие амвона сделаннаго, и перильцами окруженнаго места для чтения на оном Священнаго Писания, и потому не имели оне никакого подобия церкви, каковыми оне и не почитаются.

Но сколь зрелища сии в состоянии были, по новости своей, нас несколько увеселять, столько, напротив того, не полюбились нам иные предметы, начавшие тотчас встречаться с зрением нашим, как скоро мы вошли в Польшу. Были то стоящия кой-где неподалеку от дороги виселицы с висящими на них повешенными людьми. Нигде, я думаю, столько людей не вешается, как в Польше. За маленькое воровство и кражу должен уже вор иттить на виселицу, и казнить его сим образом может не только всякое городское начальство и правительство, но и самые дворяне. Обыкновение поистине весьма странное и гнусное, а что всего удивительнее, невыполняющее далеко той цели, для которой оно вошло в употребление; ибо, несмотря на всю строгость сего за воровство наказания, воры все-таки в

государстве не переводились и их все-таки было много. Но как бы то ни было, но мы, по непривычке своей, не могли никак без внутреннего содрогания и отвращения смотреть на сии виселицы, а особливо с людьми, повешенными на них давно и качающимися от ветра.

Далее памятно мне очень польския соленыя ухи, варимыя из рыбы; ибо как в случающиеся постные дни вздумали было мы заставлять варить себе ухи из свежей рыбы хозяев наших квартир, то скоро увидели, что для нас ухи их совсем не годятся, ибо они имеют обыкновение солить ее так круто и много и приправлять так много луком и перцем, что нам никоим образом есть их было не можно, и мы не один раз принуждены были тужить, что поручали им сие дело.

Вот все, что случилось мне тогда во время шествия нашего через Польшу заметить; а теперь расскажу вам, любезный приятель, другое и ближе до меня касающееся. Я упомянул уже вам, что мы, идучи сим образом походом, изыскивали и употребляли всякаго рода забавы и увеселения, чем бы нам прогонять скуку, с таковым медленным походом обыкновенно сопряженную. Из числа сих увеселений можно было почесть наиглавнейшим карточную игру, как обыкновеннейшую у офицеров забаву. К сему роду увеселения хотя я и никогда не имел склонности и охоты, однако тогда едва было господа наши офицеры меня этому прекрасному ремеслу не научили; ибо как всем им было известно, что у молодца денежки тогда были, то явилось множество подлипал и друзей, старавшихся всячески заманить меня в сети и приучить к игре. Каких и каких хитростей не употребляли они к тому! Однако всеми своими хитростями и заговорами не могли они меня никак заохотить и приучить к азартным играм, как то: к квинтичу и к банку, которыя тогда наиболее были в употреблении. Со всем тем не отделался же я совершенно от них; ибо как они увидели, что я никак с сей стороны не даюсь в обман, то вздумали напасть на меня с другой, и слабейшей стороны. Они приметили, что я имел некоторую склонность к игре в ломбер. Сия игра, которую я хотя никак порядочно не разумел, была мне непротивна, и я не скучивал никогда играть в оную; а сего было и довольно. Некоторые молодцы и, между прочим, и сам капитан мой господин Гневушев постарался тотчас меня к оной пристрастить и довести до того, что я почти всякий вечер с ними в нее играл и по нескольку часов в сей игре упражнялся. Но за сие увеселение принужден я был заплатить очень дорого. Ибо несмотря как они меня умышленно ни расхваливали, говоря,

что я и хорошо-то, и примечательно, и искусно играю, и как, для вящего заохочивания меня, ни старались умышленно мне иногда, а особливо сначала проигрывать, но я всякий раз оставался наконец в проигрыше. Которые проигрыши были хотя сначала невелики, но как после мало-помалу стали увеличиваться и, наконец, дошло до того, что не проходило вечера, в который бы я рублей двух или трех не проиграл, то сие начало наконец делаться мне и чувствительно и побудило в один день сметиться, сколько я, играя таким образом в разные времена, уже проиграл. Я ужаснулся, и все волосы на мне стали ажно дыбом, когда увидел, что количество сие простиралось уже за сорок рублей. «Э! э! – воскликнул я тогда. – Сколько это я уже пробухал! – и почесал у себя за ушами. – Ежели еще так-то так и всех денег моих не надолго станет! Изрядно, право, я это сделал... нельзя быть лучше». Сказав сие, начал я взад и вперед ходить по квартире своей и сам на себя досадовать и бранить себя за свою неосторожность. Но как сие было уже поздно, и мне все такие раскаявания и досады на самого себя не помогали и денежки были уже проиграны, и проиграны невозвратно, то, сожалея о убытке самопроизвольном, начал я тогда проклинать и игру, и всю мою охоту к оной. «Пропади она, окаянная! – говорил я сам себе. – Этак доведет она меня до того, что я и совсем проиграюсь и останусь опять сиг-сигом, волён Бог и со всею забавою и удовольствием притом. Не лучше ли не иметь онаго, да остаться при своих денежках – чуть ли не здоровее на животе будет».

Одним словом, денег проигранных мне тогда так жаль стало, что я решился с того времени никак более не играть и стал уже помышлять о том, как бы благопристойнее мне от товарищей моих отделаться и от продолжения игры отговориться. Но, по счастью, помогла мне в том и судьба самая, ибо в самое то время командирован я был от полку наперед в Пруссию, для принимания на полк в городе Гумбинах провианта, и сей случай отвлек меня сам собою от них и от всей их зерни. Не могу довольно изобразить, как сожалели они о моей отлучке и сколь много тужили о том, что наш ломбер пресечется, и что им играть будет не с кем; но у меня на уме совсем не то уже было. А я смеялся только внутренно и сам в себе говорил: «Да! конечно жаль, что вам, врагам, не удалось и последних денег у меня из кармана повытаскать».

Сим образом отлучился я тогда на несколько времени от полку и в тот же еще день отправился в путь свой, а на другой въехал уже в прусския

границы. Теперь не могу вам, любезный приятель, довольно изобразить, какую восхитительную перемену увидел я во всем, въехав в пределы королевства Прусского. Так случилось, что все те места, чрез которые мне до Гумбин ехать надлежало, имели счастье уцелеть от наших прошлогодних разорений; ибо как они оставались у нас далеко в стороне, то не доезжали до них никогда и самые казаки наши, и потому все было цело и все в прежнем состоянии. Кроме сего, надобно и то сказать, что места сии случились самые те, которые лет за 30 только до того, отцом тогдашняго короля населены вновь баварскими жителями или так называемыми *зальцбургскими эмигрантами*, которые, по глупости католиков и единственно за протестантское исповедание своей веры, изгнаны были из отечества их и принуждены были искать себе убежища в других государствах, следовательно, и поселены были тут в порядке и со всеми выгодами. Какое великое множество деревень представилось тогда вдруг моему зрелищу! Истинно все поля были ими власно как усеяны! Не было места, с котораго б не видно было вокруг деревень до десяти. Деревни сии были хотя небольшие, имеющая всю землю свою вокруг себя, но какая же дома, какая строения и какой порядок виден был повсюду! Истинно не можно было ими довольно налюбоваться. У каждого мужика был такой домик, какого у нас не имеют и многие дворяне, а особливо из бедных. Домам их соответствовало и все прочее строение: все было опрятное, уютное, все покрытое снопами и все в порядке. Что ж касается до самых жителей, то я ласковости, услужливости и благоприятству их не мог довольно надивиться. Везде, где ни случалось мне кормить своих лошадей и ночевать, принимаем я был и угащиваем власно как бы некакий родной, и мне не доходила почти надобность ничего покупать, ибо хозяева старались не только самого меня кормить и поить всем лучшим, что у них могло отыскаться в доме, но и самых людей моих и лошадей довольствовали они безденежно. Но, правду сказать, помогло мне притом много и то, что я умел с ними по-немецки говорить и сам с ними обходился ласково и приятно. Одним словом, краткое путешествие сие было мне не только не скучно, но и так приятно, что я и поныне его позабыть не могу.

Наконец приехал я в тот город, куда я был наперед отправлен и в котором мне никогда еще бывать не случалось. Тут удовольствие мое еще увеличилось, когда я нашел и городок сей весь порядочно и по плану выстроенным; ибо как и оный весь лет за 30 же до того получил свое основание,

то хотя и не было в нем слишком богатых и великолепных домов, но зато повсюду господствовал порядок и везде видна была чистота и опрятность. Улицы повсюду были широкия и прямыя; площади на перекрестках просторныя, а домики по большей части хотя небольшие, но прекрасные, уютные, покойные и на большую часть раскрашенные разными красками; на главной же площади, посреди города, находилось одно огромное и красивое каменное здание, в котором была у них ратуша¹ и прочия правительства, суды и расправы. Ибо надобно знать, что все королевство Прусское, для удобнейшаго собирания доходов, разделено было на две половины, и в каждой половине находилось, для собирания сих доходов и управления оными, по особой каморе, или так, например, казенной палате, из которых одна была в Кёнигсберге, а другая в самом сем городке Гумбинах, и присутствие оной было в помянутом здании. Впрочем, весь сей прекрасный городок наполнен был множеством мастеровых, всякаго рода рукомышленных людей, и может почестся наилучшим из всех прусских маленьких городков.

Я прожил в оном более недели, ибо, исполнив порученную мне комиссию, должен был дожидаться полку. Но время сие препроводил я без скуки. Квартира была у меня прекрасная; хозяйева ласковые, старавшиеся меня не только угостить, но, приметя охоту мою к книгам, снабдившие меня множеством оных. Сие было для меня лучше всех конфетов, и я имел тогда случай видеть, перебирать и отчасти читать и разсматривать многия немецкия книги, а особенно анатомическия, наполненныя множеством рисунков. Кроме того, в тогдашнюю мою бытность в Гумбинах имел я в первый раз еще случай видеть, как ткутся шелковые чулки; ибо как фабрика сия была у меня в соседстве, то несколько раз хаживал я туда смотреть сей работы и дивиться искусному устройению стана или инструмента, к тому употребляемаго.

Наконец пришел и полк наш и, пробыв два дня в сем городе для принятия провианта и печения хлебов пошел далее. Шествие наше простиралось от сего места чрез прусския местечки *Даркемень, Норденбург, Шипенбейль и Бартенштейн*, и поход сей был прямо веселый и приятный. Места сии были хорошия и всем изобильныя. Мы останавливались наиболее в местечках и городках, которыя были уже несравненно лучше польских, и потому получали мы себе всегда хорошия и спокойныя квартиры; и как в каждом местечке находили мы и трактиры, то наше первое убежище было

¹ Дом городского самоуправления.

в оных. Тут собирались мы обыкновенно почти все и веселились всем, чем кому было угодно. Но что касается до меня, то товарищи мои хотя и старались заманить меня опять в свою шайку и возобновить прежнюю ломберную игру, однако я, под разными претекстами, кое-как от них отделался и не дался в обман и рад был, что удалось мне заблаговременно опамятоваться и остеречься.

Из всех вышеупомянутых прусских местечек и городков некоторые так мне не памятливы и не понравились, как *Шипенбейль* и *Бартенштейн*. Оба они были на той реке Але, от которой мы в минувшее лето воротились. Оба, хотя старинные и не по плану построенные, однако весьма изрядные, имеющие в себе прекрасные и уютные домики и хорошия ратуши, а в последнем из них – старинный разоренный замок. Словом, все места, где мы тогда шли, были прекрасныя и приятныя.

Прошед Бартенштейн, вошли мы опять в католицкия земли. Было то епископство эрмеландское, лежащее посреди королевства Пруссаго и находившееся тогда под протекциею польскою, но принадлежащее бискупу эрмеландскому, который тут жил и владел оным, как маленький удельный князь, ибо он был вкупе и президент всей польской Пруссии. Резиденция его была в городе *Гейльсберге*, лежащем на той же реке Але и имеющем довольно крепкий замок. И как нам чрез самый сей город иттить и в нем дневать случилось, то владелец сей земельки, помянутый бискуп, сделал нам честь и пригласил нашего полковника, и со всеми офицерами его полку, к себе обедать и дал пышный и великолепный пир в своем дворце, посреди замка построенном. Тут имел я случай видеть образ жизни маленьких германских удельных князей, а вкупе и знатных духовных католицких особ. Мне он показался довольно хорош. Жил он тут как маленький государь: имел у себя несколько военных людей, стоящих у него на карауле и содержащих гауптвахту; были у него также пушки и придворный маленький штат, как то: камергеры и камер-юнкеры; но все сие в сущей миниатюре пред большими государями. Он угощал нас довольно великолепно, и при питье за здравие нашей государыни производима была пушечная пальба. А после обеда водил он нас по всем покоям своего дворца и в придворную свою церковь, где показывал архиерейския свои католицкия украшения. Как церковь, так и утвари в ней и украшения были довольно богаты и великолепны, и он сам весьма ласковый и снисходительный человек. Но что нам курьезно и некоторым образом смешно показалось, то был его

маленький клобучок, носимый им в знак его духовного и монашеского звания. Клобучок сей был хотя черный, но самый маленький и не более как вершков двух шириною, а в полвершка вышиною и прикреплен наподобие маленькой скуфеечки на большом его напудренном парике, на теме сзади так, что спереди его ничего было не видно. Платье же на нем было черное и верхнее длинное и довольно осанистое.

Препроводив в сем довольно изрядном городке почти двое суток, пустились мы далее и шли несколько еще дней сим епископством чрез незначительные городки, к нему же принадлежащая, *Гуттадт* и *Аленштейн*, а потом вошли опять в Пруссию и шли оною несколько дней. В сие время случилось мне однажды принимать фураж на полк в одном прусском городке, *Остероде*, где мы дневали. При сем случае не мог я довольно удивиться исправности прусского правительства, ибо по всем местам, где нам по росписанию назначено было иттить, находили мы уже все заготовленное. Был везде готов не только провиант и фураж, но навезены со сторон всякие нужные съестные припасы для продажи войску. Что касается до сена, которое долженствовало мне принимать, то мне не было нужды его вешать: все оно было перевязано в пуки, по десяти фунтов; итак, стоило только отсчитывать оные, и я мог в короткое время и с малым трудом коммиссию свою кончить.

Препроводив несколько дней в походе чрез Пруссию, вышли мы наконец совсем из оной и вошли в пределы так называемой польской Пруссии и той части оной, где находились города *Кульм*, *Грауденц* и *Торунь*. Эту землю нашли мы весьма отменною от прусской: все жители были опять католики и несравненно беднее и хуже прусских. Что ж касается до городов и местечек, то они были довольно изрядные, однако далеко не так-вы хороши, как прусские. Мы проходили их тут три, а именно: *Неймарк*, *Страсбург* и *Голан*. Посреди каждого из них находили мы четвероугольную и довольно обширную площадь, окруженную сплошными и довольно высокими домами, отчасти каменными, а отчасти полукаменными, то есть связанными из переплетенных между собою деревянных столбов и брусьев, между которыми промежутки закладены были кирпичем, и каковых строений было множество и во всей Пруссии. Они называются у них *фахверками*, или кирпичными мазанками, и составляют средний род здания между каменных и деревянных, и довольно хороши и пригожи. На самой же середине помянутых площадей находилась всегда уже городская рату-

ша, составляющая наилучшее здание в городе. Внизу же домов, окружающих площадь, находились лавки с разными товарами. Далее замечания достойно, что во всех сих, как прусских, так и польско-прусских городках находились аптеки, в которых продавались не столько лекарства, сколько всякия овощи и съестныя вещи.

Впрочем, надобно сказать, что поход, со вступления в польскую Пруссию, сделался нам несравненно труднее и хуже прежняго не только потому, что тут дороги были несравненно хуже, нежели в Пруссии, но и по причине, что около этого времени начал уже зимний путь рушиться и наступала самая половодь, и дороги сделались так дурны, что по ним ни на снях, ни на телеге, ехать было не можно. Итак, имели мы много труда и принуждены были сани свои кидать и повозки свои становить на колеса, а сами, вместо санок, ехать опять на верховых лошадях.

Как поход наш простирался вдоль по реке *Брибенге* и оная река тогда уже прошла, мы же к ней всякий день прихаживали, то, пользуясь сим случаем, нередко увеселялись мы рыбною ловлей, и рыбы было у нас всегда довольно, что по тогдашнему великопостному времени было для нас очень кстати.

Впрочем, как во время самага шествия случилась у католиков страстная неделя и Великая пятница, то, едучи в самое сие утро и очень рано мимо одного католицкаго костела, имел я случай насмотреться всему, что у католиков в сей день в церквах их происходит. Тут в первый раз увидел я, как они бичуются, или, покрыв голову свою, чтоб никто их не узнал, и обнажив спину, секут сами себя бичами или особливаго рода плетьюми, и производят сие мнимое служение к Богу с таким рвением и усердием, а сами к себе немилосердием, что у иных кровь даже ручьями текла из спин. Но колико зрелище сие было для нас отвратительно, толико странно казалось другое обыкновение, господствующее у католиков, а именно: вместо вносимой у нас плащаницы, выносятся у них большое резное распятие, полагается в церкви на пол, и тогда все женщины, а особливо старушки, подходя и становясь на колени, воют, плачут и бьются над оным, точно так, как бы над умершим человеком, и смачивают все оное своими слезами; чему всему не могли мы довольно насмотреться.

По причине мешающей нам в походе половоди и величайшей распутицы, промедлили мы так долго, что препроводили и свою Святую неделю в дороге. Мы праздновали день нашей Пасхи в местечке их *Голане* и стано-

вили нарочно для того полковую церковь. И сия Святая неделя была нам очень не весела, и мы почти оной не видали, а особливо потому, что, идучи от помянутаго местечка прямо к Торуню, принуждены мы были иттить самыми прескверными местами и иметь квартиры в наибодежнейших и таких польских деревнях, в которых жители едва сами имели свой насущный хлеб и жили в наимизернейшем состоянии.

Но никому тогдашнее время так скучно и досадно не было, как мне. Причиною тому было то обстоятельство, что, по дурноте дороги, по тяжести моей повозки и по недостатку довольнаго корма лошадям, я всех своих лошадей так изнурил, что оне едва в состоянии были везти мою кибитку и на всякой почти версте, наконец, становились. Но из всех дней, ни который мне так досаден не был, как самый последний сего нашего похода, или последний переход к городу Торуню. Поелику одна из лошадей моих в кибитке совсем уже не везла, то принужден я был отдать свою верховую, а сам взять сию изнурившуюся. Но сия проклятая скотина столько мне в этот день надоела, что я истинно животу не рад был с нею: не шла, проклятая, и под верхом, или по крайней мере тащилась так, что я никак не мог успевать за своими товарищами. Сколько я ее ни стегал плетью, сколько ни колотил ногами, но она была безчувственна и не хотела ни на волос прибавить своей медленной походки, а только что чаще еще совсем останавливалась, а наконец, как осталось уже не более как версты три иттить то, окаянная, стала-таки так, что и с места сойтить не хотела. «Что ты изволишь делать? Ах, проклятая! – говорил я. – Что ты надо мною надделала?..» Я: «Ну! ну!» Но не тут-то было! Я досаую, сержусь, бью, браню, ругаю, но она не чувствует ничего, а только что посматривает. Что прикажешь делать? Другого не оставалось, как сходить долой, иттить пешком и ее вести в поводу. Хоть и не хотелось, но я принужден был сие делать и радовался по крайней мере тому, что хоть сие сколько-нибудь помогло. Однако и сие удовольствие продлилось недолго. Скоро и весьма скоро дошло до того, что она, проклятая, и порожная стала, и ее с места стурькать было не можно. Я тащить ее за повод, я сердиться, я злиться, я: «Ну! ну! ну!» Но она всего того не уважала, а только что глазами похлопывала. «Ах ты, каналья! – говорил я. – Что ты надо мною начудесила?! Что мне теперь с тобою делать?» Зол я был на нее так, что не однажды хватался за шпагу, вознамериваясь ее, проклятую, заколоть; но короткость остающаяся уже пути, доброта самой лошади и надежда, что она оправится, удер-

живала и не допускала меня до того. Со всем тем горе на меня было тогда превеличайшее, и я не знал, что мне тогда с нею начать и делать было, и радовался по крайней мере тому, что сего бедствия надо мною и сей напасти моей никто не видал, ибо, как весь полк далеко уже вперед и со всеми обозами ушел, то и находился я один-одинехонек на чистом поле и в виду уже города Торуня. Но, по счастью, пришло мне на мысль дать ей отдохнуть. Не успел я сего вздумать, как, выбрав сухонький бугорок, сел я на оном и положил, буде кто спросит, сказать, что у меня живот заболел; но, по счастью, никто меня не спрашивал и я не имел нужды лгать и на себя болезнь всклепывать; а что того лучше, то немного погодя пришла мне другая мысль, а именно: чтоб покормить ее хлебом, котораго хорошенькая краюшечка случилась тогда со мною в кисе, вместе с куском жаренаго мяса, каковую запасную провизию мы всегда с собой возили. Итак, ну-ка я ее кормить хлебом и солить оный, чтоб она охотнее кушала, и рад уже был тому, что она ела. Сие и данное ей часа на два отдохновение столько ей помогло, что она в состоянии была наконец довести меня кое-как до города.

И как сей город был тогда пределом нашего похода, и мы, передневав в оном, расположены были в окрестностях его по кантонир-квартирам, то на сем месте окончу я сие письмо, сказав вам, что я есмь и прочее.

СТОЯНИЕ ПРИ ТОРУНЕ

Письмо 56-е

Любезный приятель!

Сколько терпели мы трудов и беспокойства при окончании последнего нашего похода, столько обрадовались мы, получив, против всякаго чаяния, и власно как в награждение за наши труды, весьма прекрасныя квартиры. Идучи выше упомянутыми худыми и самыми бедными местами и заключая предварительно, что нам в таких же скверных и бедных жилищах и на квартирах стоять доведется, досадовали мы уже неведомо как, что мы в надежде своей – стоять на хороших прусских квартирах – столь сильно обманулись и что на славный Кёнигсберг, составляющий столь уже давно наиглавнейшую цель наших желаний, нам и посмотреть не удалось; а посему легко можно всякому заключить, сколь радость наша

была велика, когда мы, против всякаго нашего чаяния, увидели себя в наилучших и таких квартирах, которыя все наше чаяние с ожиданием превосходили. Однако надобно и то сказать, что не всему нашему полку удалось пользоваться сим счастьем, а почти одним только нашим гренадерским ротам; ибо как самому штабу нашему назначено было стоять в самом городе Торуне и его форштатах, то гренадерския роты, яко первейшия в полку, и расположены были в ближайшей к городу деревне, а деревня сия и случилась самая лучшая и особливаго рода; она называлась Гурске, отстояла от города не более как верст пять и принадлежала к так называемым жулавам; и как она достойна особливаго замечания, то и упомяну я о ней несколько подробнее.

Жулавами как около Данцига, Эльбинга, Мариенбурга, так и тут называются все те селения, которыя поселены на низменных, подле самой реки Вислы и ея разных рукавов лежащих местах. Известное то дело, что мимо Торуня протекает взывшаяся из самой внутренности Польши превеликая и широкая река Висла, простирающая течение свое от сего города мимо *Кульма*, *Грауденца*, а потом, разделясь на два рукава, впадающая при *Данциге* в море. Сия река имела, инде по обеим сторонам, а инде по одной, обыкновенныя низменныя и поемныя места, простирающияся от воды до следующих затем возвышенных и гористых берегов на неравное расстояние, где версты на две, где больше, а инде меньше. Сии низменныя места в древности понимаемы были обыкновенною половодною из реки водою и, от наносимаго и остающагося на них ила, имели время так утучниться, что они сделались наиплодороднейшими, но долгое время лежали они в праздности и производили только одну траву; но со временем наконец, по какому-то случаю, вздумалось некоторым выходцам из нидерландских и голанских пределов поселиться на сих местах и отнять их, так сказать, насильно от наглости наводнений и заставить производить наилучшее хлебородие.

Они произвели сие чрез сделание подле самага берега реки и вдоль всего онаго непрерывной, преогромной и претолстой плотины, усаженной ветлами или лозами, столь высокой, чтоб никакая полая вода, и как бы она в реке ни возвышалась, не могла достигать до самага верха оной и переливаться через оную; а такая ж плотины поделали они по обеим сторонам и всех впадающих с боку в Вислу маленьких речек. И как чрез то все помянутыя поемныя места сделались от наводнения реки безопас-

ными, то и поселились они на них совсем отменным образом и такими деревнями, каких я нигде в других местах не видывал а именно.

Каждая деревня простиралась на несколько верст в длину, хотя и не содержала в себе знатного количества дворов, потому что каждый двор от двора был сажен на 150, а иногда еще и больше разстоянием. Сии промежутки заняты были их садами и полями, ибо каждый крестьянин имел всю свою землю вокруг своего двора и жил, власно как особняком. Все пашни его и сады обрыты были множеством рвов и каналов; и как им и пахать их и унаваживать было близко, то и производили они такое хлебородие, которому чудиться было должно.

Что ж касается до самага здания дворов их, то и оное было совсем отменного рода, Все крестьянское строение помещается у них в одну длинную связь и под одну кровлю, и потому с первого вида в такой деревне кажутся они не дворами крестьянскими, а превеликими корчмами, разбросанными по разным местам, или, так, например, как нашими большими ригами и молотильными сараями. На одном конце сих зданий находилось самое жильё хозяина. Оно составлено было обыкновенно из трех белых комнат: одна из них составляла большую и чисто прибранную горницу, освещенную тремя или четырьмя красными большими окошками и согреваемую порядочно кафленую или кирпичную печью; другие два покоя были сбоку, и меньше, а один из них служил либо спальнею хозяину, либо кладовую, а в другом, и ближе к печи находящемся, жили его работники и работницы. Пред комнатами сими были просторныя сени с находящеюся посредине их отгородкою для очага и кухни; а оттуда же топятся и обе печи, в покоях находящиеся. Впрочем, было из сеней сих три выхода: один на переднее крыльцо, другой – на другую сторону, в сады его и огороды, а третий – прямо в его конюшню, которая примыкала вплоть к его сеням, и где на стойлах стояли не только его лошади, но и коровы в наилучшем порядке. За сею конюшнею следовали другие хлевы и покои, для овец и другого мелкаго скота, а за сими просторное отделение – для становления его повозок и поклаж, всякой сбруи, а далее за сим амбары хлебные, а наконец, замыкало просторное отделение, назначенное для складки немолоченнаго хлеба, которое вкупе служило ему и вместо молотильнаго сарая, ибо тут обыкновенно они хлеб свой складывают и молотят. Все сии разныя отделения были одинаковой вышины и все покрыты одною и порядочною кровлею; и как в таковой длинной и иногда сажен в 20 и более в

длину простирающейся связи, можно крестьянину тамошнему уместиться со всеми своими нуждами, то и нет у них по большей части, кроме сей связи, никаких иных зданий под особливými кровлями, и весь его двор состоит в единой сей связи.

Со всем тем живут они весьма богато и в таком изобилии, в каком у нас не живут иные бедные дворяне. Жилья комнаты прибраны у них чисто и даже до того, что у многих есть часы стенные; стулья же и порядочные столы и шкафы везде находились. Платье носят хотя крестьянское, но чистое, порядочно сшитое и хорошее, а особливо женщины. Едят также всегда хорошо, и что удивительнее всего, самый хлеб едят почти все пеклеванный. Скота имеют довольно и притом весьма хорошаго, а сады наполнены у них вишнями, яблоками и другими плодоносными деревьями и в превеликом множестве. Словом, они живут в превеликом изобилии и многие из них, а особливо в настоящих жулавах, ближе к Данцигу, имеют великие и до нескольких тысяч простирающиеся достатки и играют там важныя роли.

Таковаго-то рода была та деревня, в которой назначено было иметь нам наши вешняя кантонир-квартиры. Она была хотя наибеднейшая из всех жулавских, однако и тут не могли мы довольно налюбоваться житьем-бытьем наших хозяев. Но как все полки расположены были тогда вдоль по реке Висле и очень тесно, то стояли и мы тогда несколько тесненько, и один только мой капитан получил особый двор; а впрочем, мы, офицеры, должны были стоять по два и по три человека вместе, а солдаты по целому капральству на одной квартире. По самому сему обстоятельству принужден был и я тогда стоять не один, а с другими подпоручиками нашей роты, а именно с г. *Головачовым* и г. *Бачмановым*, из которых первый назывался Матвеем Васильевичем и был человек очень постоянный, добрый и мною всегда любимый и мне хороший приятель; а второй – Макаром Ивановичем, и был также человек добрый и простодушный; но, будучи новгородским помещиком, во многих вещах весьма смешной и курьезный.

Итак, хотя стояла нас в одном доме с людьми нашими и хорошая семейка, однако нам по пространству комнаты и дома нимало не было тесно; но мы квартирою своею были довольны, и тем паче, что хозяин случился у нас человек добрый, а хозяйка – того добрее. Оба они старались наперерыв нам служить всем, чем могли, и нам не было почти нужды покупать ни для себя съестных припасов, ни для лошадей наших корма, ибо хозяйева

за безчестие себе ставили и не хотели слышать того, чтоб мы то покупали, что у них есть и чем они нам услужить могут. А сему много поспешествовало и то, что я с ними, как с немцами, говорить и их всегда сам ласкать умел.

Сим образом стояли мы тут не только в совершенном довольстве, но, можно сказать, и прямо весело. Капитан наш стоял от нас только сажен с 200, прочия офицеры также недалеко, и мы могли с ними видаться очень часто; а сверх всего того, и домашнее общество было само по себе веселое. Г. Бачманов увеселял нас всякой день своими поступками и странными наречиями, а паче всего непрерывными с деньщиком своим, Доронею, ссорами и новгородскими браньми. Мы шутили и трунили над ним, как над хорошим шутиком, и надседались иногда со смеха, приводя его в сердце и опять с ним примиряясь.

Впрочем, не успели мы тут расположиться и совсем обострожиться, как захотелось мне побывать в Торуне и посмотреть сей город. Я нашел его весьма хорошим и непохожим нимало на польский, а совершенно немецким и весьма похожим на нашу Ригу. Строение в нем было все каменное, сплошное и высокое; улицы такие же тесные и кривые, а жители на большую часть были немцы, и многие из них весьма зажиточные и имеют хорошие дома.

Мое первое дело было, по приезде в сей город, чтоб поискать, нет ли в оном такой же книжной лавки, какая есть в Риге, и к превеликому удовольствию моему, и нашел ее. Она была хотя не такова велика, как рижская, но довольно изрядная, и я мог час и более времени с превеликим удовольствием препроводить в пересматривании и перебирании оных, если б не мешало то мнение, что мне никак не можно отягощать много себя книгами, и чтоб не принуждено было опять их по-прежнему бросить, то, имея тогда у себя деньги, накупил бы я их множество. Но сколь мне вышеупомянутое обстоятельство ни мешало, однако не мог я никак разстаться с попавшимся мне тогда на глаза новым ежемесячным немецким журналом, выдаваемым в Данциге, под именем «Исторических известий» о тогдашней войне нашей, со всеми реляциями, планами и описаниями баталий и всего прочаго. Вся кровь моя взволновалась, увидев толь любопытное, по тогдашнему времени, сочинение. Я тотчас купил все части, сколько их тогда вышло, и рад был тому так, как бы нашел какое великое сокровище.

Но не одно сие произвело в сию поездку мне удовольствие в сем городе, а было нечто и другое. Как по искуплении всех нужных вещей случилось нам обедать тут, в трактире, то в самое то время, и власно, как нарочно, для удовольствования моего любопытства, пришел туда человек с прошепективическим ящиком¹, в котором сквозь стекло, показывают разные прошепективические виды городам, и который многие у нас неправильно называют каморою-обскурою. Мне сего оптического инструмента никогда еще до того времени не случалось не только видать, но и слышать, что он есть на свете, и – Боже мой! – с каким это удовольствием, радостью и любопытством смотрел я в него и любовался толь живо и власно, как в натуре изображающимися в оном видами знаменитейших городов в свете и наилучших в них зданий и улиц. Словом, я прыгал почти от радости, получив случай их, хотя на бумаге, видеть и получить о них некоторое понятие. Я не мог устать, пересматривая все его картины и рассматривая самое устройство сей машины, которая мне показалась весьма проста и без дальней хитрости сделанною, и с превеликою охотою заплатил то небольшое число денег, которое следовало дать показывавшему нам оныя и питающемуся тем человеку.

Не успел я возвратиться в свою квартиру, как принялся за купленные мною книги, и начал тотчас оныя читать и сидеть за ними денно и ночью. Материя в них мне столь полюбилась, и вся история войны нашей казалась мне столь любопытною, что я чрез несколько дней вознамерился всю ее перевести, дабы могли чтением оной пользоваться и мои товарищи и другие полку нашего офицеры. Странное поистине и самое легкомысленное предприятие! Я никак не разсуждал о том, сколь великое и силам моим нимало несоразмерное предпринимаю я дело; не разсуждал о том, достанет ли мне к тому довольно время и досуга и будет ли столько терпения, чтоб перевести толь великия книги, а наконец, не приходило мне на ум подумать и о том, стоит ли для кого предпринимать столь великий труд, и найду ли я многих и столь любопытных читателей, каков был сам. До всего того мне не было нужды; но я, следуя единственно своей охоте и сродной тогдашним моим летам пылкости и легкомыслию, принялся действительно за сей труд и несколько дней сряду трудился над сим переводом неусыпно и так, что в короткое время написал я несколько тетрадей,

¹ Стереоскоп.

и может быть, написал бы еще и больше, если бы следующее обстоятельство не поубавило во мне несколько к тому охоты, а последующая потом в обстоятельствах наших перемена – и совсем тщетный сей и пустой труд наконец не перервала и не уничтожила. А именно: написав вышеупомянутым образом несколько тетрадей, восхотелось мне получить за труд мой всю ожидаемую мзду и, дав прочесть мой перевод кой-кому из своих собратий, взять соучастие в том удовольствии, какое они при чтении оной иметь будут. В безсумненной надежде, что сие воспоследует, и учинил я сие действительно и дал попользоваться им некоторым из любопытнейших офицеров. Но вообразите себе, сколь велика долженствовала быть моя досада и негодование, когда, вместо ожидаемой жадности к чтению, не приметил я в них ни малейшаго почти любопытства и охоты к чтению, и когда некоторые, не прочитав и трех страниц, начинали уже зевать, а другие и в руки взять не хотели, но спешили охотнее к приятнейшим для себя упражнениям, то есть к игранию в карты, распиванию пуншей, к лазуканью за крестьянскими девками и служанками, в чем наиболее тогда все господа наши офицеры упражнялись и в чем наилучшее для себя находили препровождение времени. Досадно мне сие неведомо как было: я бранил всех их мысленно, смеялся их невежеству и тому, что они имели столь мало любопытства, и, наконец, сам себе в мыслях сказал: «Не стойте же вы, государи мои, того, чтоб для вас столь много трудиться и работать, а оставайтесь вы лучше при своих дурацких упражнениях; а мне не лучше ли перестать для вас дурачиться и просиживать целые дни и вечера для удовольствия мнимаго вашего любопытства, котораго в вас никогда не важивалось». С того времени перестал я так над переводом сим надрываться, как до того времени, а самое сие остановило несколько и прежнюю мою работу, то есть переписывание набело моего «Клевеланда» и продолжение перевода онаго; ибо я не лучшей мзды мог ожидать себе и за сей труд; а о том, чтоб мог он когда-нибудь быть напечатан – тогда и мыслить было никак не можно. Итак, с сего времени я хотя кой-когда и переводил, но единственно уже для своего увеселения и тогда, когда мне было делать нечего и когда прискучивало мне уже чтение.

Между тем как мы помянутым образом из Курляндии к Торуню шли и тут по кантонир-квартирам стояли, помышлял новый предводитель нашей армии о том, как бы ему благовременно с армией своей выступить в дальнейший поход и успеть сделать все нужные к тому приуготовле-

ния; ибо надобно знать, что война не клонилась к окончанию, но еще час от часу возгаралась больше. Успехи короля пруссаго в минувшую осень произвели при всех европейских дворах великие во всех делах перевороты, и все обстоятельства во многом переменялись – но чему и удивиться не можно. Ни один человек в свете не думал и не ожидал, чтоб война минувшаго лета таким образом кончилась, как изображено было выше, и все чудились только всем происшествиям. И поистине ни в какую кампанию, я думаю, не бывало столько скорых и внезапных переворотов счастья в несчастье, и несчастья в счастье, как в бывшую в минувшее лето. Промысл Божеский, распоряжающийся по своему все происшествия военныя, делал в судьбах всех воюющих держав весьма странные перевороты: пруссаков то возводил он на блестящую степень счастья, то низвергал в бездну несчастий и зол. Мы, россияне, как можно видеть из предследующаго, выиграли над пруссаками баталию, а вышли из Пруссии как побежденные и разбитые. Французы мнили, что низложили и обезоружили совсем герцога Кумберландскаго; но слух о том не успел еще и разнестись по всей Европе, как известие уже получено, что одна из их армий совсем разбита и что герцог Кумберландский власно как опять ожил. Цесарцы мнили, что они совсем завоевали Шлезию, и ласкались уже надеждою скоро увидеть и всей войне окончание; но вдруг получают удар за ударом, и толикия несчастья, что принуждены оставить всю Шлезию и бежать с остатками разбитых своих армий назад в Богемию.

Таковой странный переворот счастья и всех обстоятельств поразил всю Европу, власно как ударом. Все дворы изумились и несколько времени не знали, что начинать и делать. Но скоро начались новыя затеи и новыя предначинания: все дворы, составляющие так называемый большой союз, то есть, наш российский, цесарский, французский и шведский, не могли спокойно перенести толикой неудачи. Они пылали досадою и желали отмстить за все причиненныя им досады и оскорбления, и по самому тому восприяли опять оружие и положили употребить еще более усилия. С другой же стороны, король прусский, видя необходимость к продолжению войны и будучи ободрен последними своими успехами, и от того ласкаясь надеждою получить еще лучшия, начал употреблять все свои силы к приведению себя в состояние противиться своим неприятелям.

По всем сим обстоятельствам, не успела зима наступить, как каждый двор начал вновь вооружаться и с вящим еще рвением, нежели прежде.

Король прусский, сколько ни хитрил и ни старался, при помощи союзников своих англичан, императрицу нашу отвлечь от союза с цесарцами и французами и сколько ни надеялся на тайные обязательства и соглашения свои с тогдашним наследником российского престола и на его себе во всем вспоможение, но министры цесарского и французского двора происками и стараниями своими превозмогли все его хитрости и уничтожили во многом его замыслы. Им удалось привлечь министров наших и фаворитов императрицыных на свою сторону и, узнав несколько о помянутых выше его тайных обязательствах у его с тогдашним нашим великим князем, произвести наконец ту перемену, что управляющий до того всеми делами канцлер Бестужев свержен, и чрез то всем делам произведен лучший оборот и между прочим то, что императрица твердо предприняла продолжать войну вместе с прочими против короля прусского.

О вышеупомянутом тайном соглашении, бывшем тогда у короля прусского с тогдашним нашим великим князем, носились тогда одни только темные слухи, а настоящего дела неизвестно было, покуда король прусский в последующия времена не открыл сам онаго при сочинении истории о сей войне. Он говорит, что помянутый великий князь, будучи еще голштинским принцем, был весьма зол на датчан за причиненныя от датского двора предкам его обиды и несправедливости и, пылая желанием, по вступлении своем на престол, им отмстить, опасался, чтоб при тогдашних обстоятельствах ищущий себе повсюду союзников король прусский не содружился с ними, и что самое сие побудило его просить короля прусского никак не заключать с ними союза, обещая за то с своей стороны всеми силами своими и возможностями помогать королю при тогдашней войне. Что ж касается до Бестужева, то сколько сначала шел он сам против короля прусского, столько стал сам держать его сторону, когда императрица занемогла и он, опасаясь ея кончины, прилепился к великому князю, яко к преемнику престола: а самое сие и было причиною, что он велел в минувшее лето графу Апраксину возвратиться из Пруссии. Но как граф Бестужев был свержен и сослан в ссылку и управлять делами стали иные люди, то и пошло все иначе. А потому-то и велено было войскам нашим иттить тотчас опять назад, в королевство Прусское, и заняв оное, иттить в последующее лето далее и утеснять короля прусского даже в самых внутренних его бранденбургских областях, и дабы все сие с лучшим успехом можно было произвести в действо, то не только для укомплектования ар-

мии собраны были вновь рекруты, но и составлен новый и особый корпус, под именем обсервационного, и отправлен прямо чрез Польшу для соединения с нашею армией. И как оный весь составлен был на большую часть из наилучших людей, выбранных из старых украинских полков, то и полагалась на него великая надежда.

С другой стороны, и *цесарева* не меньшая делала приуготовления к войне, как и мы. Она укомплектовала также армии свои рекрутами, а сверх того, была так счастлива, что венгерские жители, из усердия своего к ней, сами собою обещали дать ей 40 тысяч войска и содержать его на своем коште. Главная команда над армиями поручена была опять славному генералу *Дауну*, а другая, против Саксонии, находилась под командою генерала *Сербелони*, и обоим им велено было, колико можно ранее, начать свои военные действия.

С третьей стороны готовилась опять и имперская, сборная из разных немецких народов армия также к военным операциям, и предводительство над нею получил принц Цвейбрикский. С четвертой – не оставили и французы исполнить то же, и упражнялись во всю зиму к продолжению войны, как против пруссаков, так и против англичан, во всех нужных приуготовлениях; и как последнею поступкою маршала Ришелье был двор французский крайне недоволен, то весною отозван он назад и команда над армиею поручена графу *Клермонту*.

Наконец, с пятой стороны, делали и шведы равномерныя к войне приуготовления. Король прусский сколько ни старался преклонить их к отступлению от нашего союза, однако проворство французских министров, имевших тогда при шведском дворе великую силу, превозмогло все его происки и старания и убедили шведское правительство к продолжению войны вместе с нами.

Вот сколь многия и сильныя приуготовления деланы были против короля пруссаго; но, напротив того, и он был не без дела. Наиглавнейшее его старание было о том, чтоб укомплектовать ему опять свою армию и наградить урон, претерпенный им на семи прошлогодних баталиях, а не меньше в гошпиталях от прилипчивых и почти на язву похожих болезней, которыми померло у него великое множество народа. Но сие укомплектование учинить ему было не таково легко, как прочим союзникам, у которых у всех было народа более 50-ти миллионов, а у него не более пяти. Но недостаток сей наградил он своим разумом, хитростью и проворством. Он

достал себе довольно солдат и денег, и не только укомплектовал армию свою с избытком, но и умножил еще оныя. Для получения людей, собрал он, во-первых, рекрут со всех саксонских, ангальтских и мекленбургских областей; во-вторых, возвратил к себе всех беглых генеральным прощением, а в-третьих, определил в свою службу великое множество бывших у него в плену австрийцев и французов, шведов и виртемберцев, а чрез все сии средства и получил он множество народа.

Что ж касается до денег, в которых был у него также недостаток, то в сем помогла ему Англия. Там в министерстве, к счастью его, произошла перемена. Управлявший до того всеми делами *Фокс*, достигший до сей степени происками герцога Кумберландскаго, принужден был добровольно сложить с себя сие достоинство. Вместо его вступил *славный Пит, отец нынешняго*. Сей красноречием своим убедил тотчас весь народ вступиться жарче за короля прусскаго и не только давать ему всякий год по 4 мильюна талеров, но, сверх того, подкрепить ганноверскую армию корпусом англичан; а для командования оною выпросил у короля прусскаго, прославившагося потом, принца *Фердинанда* Брауншвейгскаго. А не успел король сих денег получить, как переделал их в новую и весьма дурную монету, и из 4-х мильюнов сделал десять, и чрез то получил на сей год для продолжения войны довольно денег.

В таковых-то упражнениих препровождена была вся зима всеми воюющими державами, а не успел наступить сей 1758 год, как некоторыя из них тотчас начали уже и военныя свои действия. Начало оным учинили французы, или паче, командующий тогда еще ими дук *Ришелье*. Он, желая сколько-нибудь исправить погрешность, учиненную им, отправил маркиза *Даржансона* с 12 тысячами человек для взятия города *Гальберштадта*; и как сей город был не весьма укреплен, то гарнизон ретировался в Магдебург, в виду у французов, которыя, заняв город, произвели в нем великия разорения и ограбили почти всех жителей.

Такое предприятие французов побудило короля прусскаго отправить в сию сторону из Саксонии корпус под командою брата своего, принца *Гейнриха*, который, прогнав французов к реке *Везеру*, возвратился опять в свое место; а как в самое сие время принял команду над ганноверскою армией и принц *Фердинанд* Брауншвейгский, то он начал гнать французов от часу далее и произвел сие с толиким успехом, что в конце февраля месяца переправилась уже вся французская армия назад, через реку Везер,

а в марте перешла даже назад и через самый Рейн, растеряв столь много людей, что не осталось в ней более 30 000 человек.

В сих-то обстоятельствах находились дела в Европе в то время, когда мы помянутым выше сего образом стояли при реке Висле и готовились иттить в поход далее к неприятелю. И как около сего времени известие получено, что король предпринимает осаждать шлезскую крепость *Швейдниц*, которая одна только во власти цесарцев оставалась, то, для сделания ему диверсии, стал наш новый предводитель поспешать всеми остальными приуготовлениями к походу, и как весна уже тогда начинала совершенно вскрываться и показываться корм, то мы то и дело получали повеления быть к походу в готовности и с часу на час ожидали, что нам велено будет выступать. Но в самое сие время, против всякаго чаяния и ожидания, обрадованы мы были одним известием до безконечности.

Какое оно было, о том вы теперь у меня не спрашивайте. Сие увидите вы в последующем письме, а теперечнее, как довольно увеличившееся, время уже кончить и сказать вам, что я есмь и прочее.

ПОХОД В КЁНИГСБЕРГ

Письмо 57-е

Любезный приятель!

Как вы, надеюсь, очень любопытны узнать, какое бы такое было то известие, которое нас толь много обрадовало, то начну теперечнее мое письмо удовольствием сего вашего любопытства и скажу, что оно было следующее:

Как мы помянутым образом в поход собирались и всякой день ожидали приказа к выступлению в оный и к переходению через реку Вислу, как заехал к нам из Торуня, ездивший туда для своих нужд, один из наших офицеров и приятелей. Не успел он к нам войтить в горницу, как с веселым видом нам сказал: «Знаете ли, государи мои! Я привез с собою к вам новья вестя, и вестя – для нас очень важныя!»

– Хорошо, – ответствовали мы. – Но каковы-то вестя? с дурными хоть бы ты к нам и не ездил.

– Нет! – сказал он. – Каковы-то вам покажутся, а для меня они не дурны. Словом, нам велено в поход иттить и мы послезавтра должны выступить.

– Ну, что ж за диковинка! – сказали мы. – Этого мы давно ждали и готовы хоть завтра выступить.

– Этакия вы, – подхватил он. – Вы, спросите лучше – куда?

– Это также известное дело, что за реку и против неприятеля, – отвечали мы с хладнокровием.

– Но того-то вы и не угадали, – сказал он.

– Как! неужели опять назад и домой? – спросили мы, удивившись.

– Нет! – сказал он. – Не домой, однако и не против неприятеля: там и без нас дело обойдется.

Сии слова привели уже нас в превеликое любопытство.

– Да куда ж? – говорили мы. – Скажи, братец, пожалуйста.

– Нет! – говорил он. – А умудрись кто-нибудь и отгадай сам, а я скажу только, что и вы тому столько ж обрадуетесь, сколько и я.

Тогда не имели мы более терпения и до тех пор к нему, нас мучившему и сказать не хотящему, с просьбою своею приступали, покуда он наконец сказал:

– В Кёнигсберг, государи мои, и туда, где нам всем давно уже побывать хотелось.

– Не вправду ли? – закричали мы все в один голос. – Но можно ли тому стать?

– Конечно можно, отвечал он. – И знать что лъзя¹, когда уже о том и повеление нашему полковнику прислано.

– Но умиосердись! как это и каким образом? Кёнигсберг остался у нас уже далеко позади.

– Конечно! – отвечал он. – Но то-то и диковинка! А со всем тем, нам с полком туда иттить и, что того еще лучше, и жить там во все нынешнее лето и ниче более не делать, как содержать караулы.

Теперь легко можете заключить, что нас сие до крайности обрадовало; ибо хотя мы охотно шли в поход против неприятеля, однако, как известно было нам, что неприятели не шутят и что в походе против его не всегда бывает весело, а временем и гораздо дурно, а притом, никто не мог о себе

¹ Можно, дозволено, не запрещено; у нас с отрицанием – нельзя.

с достоверностью знать, возвратится ли он из похода благополучно назад и не останется ли навек там; то сколько мы и не имели усердия и ревности к военной службе, но кому жизнь не мила и кто бы не хотел ею еще хоть один год повеселиться? А потому кто и не порадовался бы, услышав, что он на целое лето освобождается не только от всех военных опасностей, но и от всех трудов и беспокойств, с походом сопряженных? И кто б не стал благодарить за то Бога и судьбу свою?

Мы и действительно так были тому рады, что не один раз говорили: «Слава, слава Богу!» и благодарили судьбу, что оказала толикое нам благодеяние и дала такое преимущество пред многими другими. С превеликою охотою благословляли мы путь всем прочим, мимо нас идущим полкам и желали им в походе своем приобрести славу и иметь всякое благополучие, а сами и на уме не имели досадовать на то, что не будем иметь счастья быть с ними на сражениях и разделять с ними славу в получаемых ими победах.

Но никто из всего полку, думаю я, так много сим известием обрадован не был, как я. Все прочия радовались наиболее потому, что они не пойдут в поход, а будут на одном месте, в покое, и иметь хорошия квартиры и жить в изобильном и таком городе, где иметь они будут случай предаваться всяким роскошам и распутствам; но моя радость проистекала совсем не из того источника. Мне сколько то было приятно, что я не пойду в поход и не буду подвержен опасностям, а стану жить на одном месте, столько, или несравненно более радовался я тому, что целое лето буду жить в большом и славном иностранном немецком городе, о котором я наслышался неведомо сколько добраго и который наполнен учеными людьми, библиотеками и книжными лавками. Умея говорить по-немецки, ласкался я надеждою, что могу со многими тамошними жителями свести знакомство и что мне там будет очень весело и не скучно; могу многому и такому насмотреться, чего не видывал, а книг доставать себе купить, сколько угодно. Словом, я восхищался предварительно уже мыслями, воображал себе неведомо сколько удовольствий, и никто, я думаю, с толикою охотою в сей путь не собирался, как я.

Повеление о выступлении в сей поход, действительно, на другой же день получено было нами, а на третий мы и выступили в оный. Разставаясь с тамошними хозяевами, не могли мы довольно возблагодарить их за все оказанныя ласки и благоприятство, и желали им счастливаго про-

должения их благополучной жизни; а как и они нами были довольны, то провожали они нас, желая нам счастливого путешествия.

Мы шли самыми теми ж местами, где до того шли до самого *Эрмландскаго* бискупства и до столичнаго их города *Гейльсберга*¹, а от сего места повернули мы уже несколько влево и пошли прямым путем к Кёнигсбергу; и как было тогда самое лучшее и первейшее вешнее время и погода стояла хорошая, то могу сказать, что поход сей, из всех, в каких случилось мне бывать в жизнь мою, был наивеселейший и приятнейший. Шли мы себе не спеша и прохладно; переходы делали маленькие; останавливались всегда в местечках, а не в лагерях, и во всем имели удовольствие; полк в походе вели одни только дежурные, а мы все, прочия офицеры, ехали верхами и не при пехоте, а где хотели, и обыкновенно кучками и компаниями по несколько человек вместе, и время свое в дороге препровождали в одних только шутках, смехах и дружеских разговорах. А во время ночевания или дневания – в польских местечках или прусских городках – в расхаживании компаниями по оным, в посещениях друг друга на квартирах, в захаживаниях в трактиры и в увеселениях себя в них шутками, играми и в прочем, тому подобном.

Впрочем, не помню я, чтоб в продолжение сего похода случилось со мною какое-либо особенное и такое приключение, которое бы достойно было замечено быть, кроме одного, ничего не значащаго и относящагося до одной смешной проказы, сделанной нами над прежде упоминаемым товарищем моим, подпоручиком Бачмановым; и как я всему злу был наиглавнейший заводчик, то и расскажу вам оно единственно для смеха.

Я упоминал уже вам прежде, что человек сей был хотя весьма добрый и всеми нами любимый, но совсем особеннаго и такого характера, который заставлял нас иногда над ним проказить и смеяться. Будучи новгородцем, был он своенравен, упрям и не любил шуток и издевок над собою. Не успеет кто как-нибудь над ним и хоть нарочно посмеяться и пошутить, как разсерживался и поднимал он за то превеликую брань; а сие, как известно, в полках и подает уже повод, и власно, как право, всякому над ним трунить и скалозубить. К вящему несчастью, привыкнувший к новгородскому наречию, не мог он и в службе никак еще отвыкнуть от онаго и от называния многих вещей на о, по, ко и совсем не так, как другие

¹ В Восточной Пруссии, на реке Алле.

называют; а сие нередко и подавало повод шутить над ним, да и сверх того, весь его образ, нрав и характер имел в себе нечто смешное и особенное. К дальнейшему же приумножению его несчастья, послал ему Бог и деньщика почти такого ж, каков был сам. Он малый был добрый, но как-то простоват и имел в себе много смешного. С сим его Доронею, ибо так называл он его, была у него, как я уже упоминал, почти всякой день ссора и лады. И во время стояния нашего вместе не проходило дня, в который бы мы над ним не хохотали; а как и самая фамилия его Бачманов походила много на Бачанов, которым именем называется тот особый род чаплей или аистов, которья вьют гнезда на домах и нередко на трубах, и также как аисты питаются всякими гадинами и лягушками – то и звали мы его обыкновенно Бачаном, с чем и высокий, тонкий и сутулистый его рост и длинныя ноги несколько сходствовали, и он к сему званию так привык, что почти за то уже и не серживался, если кто назовет его бачаном¹.

Самое сие название и подало нам повод к произведению той шутки, о которой я рассказать намерен. Было то еще во время стояния нашего на квартирах и дней за шесть до выступления нашего в поход, как случилось мне ходить с ним и другим нашим товарищем поутру гулять по садам и небольшим рощам, между дворами деревни нашей находившимся. Тогда, как нарочно, случись, что кукушка в лесочке неподалеку от нас начала куковать. Мы с г. Головачевым, услышав ее, обрадовались и говорили: «Вот, вот и кукушки уже прилетели!» Но г. Бачманов вместо того, чтоб делать то же, вдруг осердился и начал ругать кукушку всякими своими новгородскими бранми. «Тфу ты, проклятая, – говорил он, плюя то и дело. – Чорт бы тебя, окоянную, взял! Нелёгкая б тебя подавила! На свою б тебе это голову» и так далее. Мы, услышав сие, покатались со смеху. «Что это, брат Макар, – говорили мы. – За что это на кукушку так гневаешься? Что она тебе сделала?» – «Как, братцы, что, – сказал он, – голодного меня, проклятая, закуковала и я верно теперь уже знаю, что мне сего года не пережить. О, лихая бы ее побрала болеть и все черти б ее, проклятую, задавили». – «Так, так! – сказали мы, еще пуще захохотав. – Теперь прощай, брат Макар! Не носить уже тебе своей головки! Уж кукушка предвозвестила, так уже, знать и быть, и приходит уже разставаться со светом». Сколь ни прост был наш Макар, но заметил, что мы над ним скалозубим,

¹ Другие названия бачана – бусел, черногуз, батян, аист, цапля.

и тогда вдруг вместо кукушки поднимись весь его праведный гнев на нас, а сим и подал он нам вновь оружие на себя, мучить и бесить его нашими насмешками; и кукушка сия во весь тот день столько ему насолила, что он не рад был, наконец, своей жизни и проклинал и нас, и себя и охоту свою к гуляню.

Однако сим дело еще не окончилось. Как заметили мы, что кукушкою сею его всего скорее растрогать и вздурить было можно, чего мы всегда и добивались, то, обрадуясь сему, поступили мы далее, и меня догадало еще сложить на сей случай смешную и такую песенку, которая бы могла вмиг его растрогивать. Признаюсь, что была то суцая шалость, и побудило меня к тому не что иное, как с одной стороны, молодость и легкомысленность, а с другой – присоветование моего капитана; ибо сей, шутя над ним, так же, как и мы, не успел о вышеупомянутом закуковании кукушки и обо всем услышать, как тотчас мне сказал: «Эх, братец! Сложить бы о сем песенку, то-то было бы смеху и проказ! Вдруг бы мы ее все запели, и когда он так кукушку не взлюбил, так посмотри, что́ тогда б было». Сего было довольно к возбуждению во мне охоты испытать, не могу ли я сложить песенку на какой-нибудь знакомый голос¹; и как мне голос старинной и всем знакомой песни: «Негде в маленьком леску при потоках речки» всех прочих был знакомее, да и самый род сей песни казался к тому наиудобнейшим, то и начал я тотчас вымышлять слова и составлять в первый раз отроду стихи и рифмы.

В работе сей, тайком от нашего друга, препроводил я не более дней двух, и имел столь хороший успех, что песенка моя и капитану, и всем прочим крайне полюбилась, и все они положили тотчас ее выучить наизусть, и когда будем уже ее знать, тогда б окружив его где-нибудь в кружок так, чтоб он не мог выскочить, запеть бы всем в один голос. Итак, тотчас списаны были с ней многие списки, и как учинить дальнейшее тогда было уже некогда, то и положили мы учинить то во время шествия нашего в Кёнигсберг. Сие и произвели мы на походе в действо; ибо, как мы ехали все верхами кучами, то человек с десять из нас, выучивши сию песню и сговорившись еще с несколькими, окружили его однажды на лошадях, так, что ему из середины никуда уехать было не можно, и вдруг затянули все нашу песенку, которая была следующего содержания:

¹ На мотив.

На зеленом на лугу, сидела лягушка,
На высоком на дубу, кричала кукушка:
Вон! Бачан сюда летит,
А Дороня там бежит.
Что ты делаешь здесь?
Что их не боишься?

Как Бачан вить прилетит
Тебя он увидит,
А Дороня прибежит
Вмиг тебя погубит,
Он охотник вить до вас,
Он бранит за то и нас,
Что голодного его
Мы закуковали.

Между тем начал Бачан
Вправду опускаться,
Захотелось ему
С другом повидаться.
Опустясь, тотчас и сел,
А Доронюшко запел:
«Не хочешь ли, Бачан,
Что-нибудь покушать?»

Когда есть что́, так давай,
Упреждай кукушку,
Когда нет, так побегай,
Поймай мне лягушку.
У болота вон сидит,
На тебя прямо глядит;
Побегай! поскорей!
Чтоб не ускочила.

Как Дороня побежал
Ловить там лягушку,

А Бачан тогда вскричал,
Увидя кукушку:
«Ай, Доронюшка, мой друг,
Ты схвати скорее вдруг,
Чтоб кукушка на дубу
Не закуковала!»

Испугалась на лугу
Бывшая лягушка,
Закричала на дубу
Тотчас и кукушка,
А Дороня-то упал,
А хотя после и встал,
Но лягушка уж давно
Ускочила в воду.

Разсердился наш Бачан
На своего Дороню,
Он вмиг бросился за ним;
Закричав в погоню:
«О, проклятый сын, дурак,
Болван, бестия, простак!
Провалился-б ты совсем
И с своим проворством...

Что́ мне делать, что́ начать
Наконец с тобою,
Что́ ты сделал вот теперь,
Дурак, надо мною?
И лягушку упустил,
И меня не накормил,
А проклятая, вон там,
И закуковала.

Теперь должен буду я
В этот год погибнуть,
И родных на свете всех

И друзей покинуть
А беды все от тебя,
Погубил я сам себя,
Что заставил дурака
Это дело делать.

Но одно ли уж сие
Ты у меня портил,
Не беды ли по бедам
Всякий день ты строил?
От тебя, болван, дурак,
Разорился я уж так,
Что пришло уже мне
Пропасть и с тобою.

Растерял мое добро¹
Почти без остатку,
Помнишь ты, как потерял
Гребень и рубашку?
Как гомзелю² тебе дам,
Так увидишь ты и сам,
Что я вправду с тобой
Шутить не намерен.

Дурак, знаешь вить, что я
Мужик небогатый;
Воши съели уж всего,
О глупец проклятый!
А ты гребень потерял,
Без чего уж я пропал.
Ах, ты бедный Бачан,
Где тебе деваться?»

Вот каким вздором наполнена была сия песенка.

¹ Как сии слова, так и прочия брани, присловицы и попреки и речи были точно такия, какия г. Бачманов употреблял почти ежедневно, бранясь с деньщиком своим Доронею. – Прим. *Болотова*.

² Гамза, гамзуля, гомза – кошель, деньги. Здесь иносказательно – «оплеуху, подзатыльника тебе дам».

Теперь судите сами, каково было господину Бачманову, когда он, услышав ее, догадался, что она нарочно сочинена на него и что мы над ним проказили. Он вздурился даже до безпамятства и сперва начал всех ругать без всякого милосердия, а потом как безумный, на нас, а особливо на меня, метаться стегать плетью и стараться из круга нашего вырваться и уехать прочь. Однако мы схватились все руками и составили такой крепкий круг, что ему до самага конца песни никак уехать было не можно. Боже мой! Сколько претерпели мы от него тогда брани, сколько ругательства, и сколько смеялись и хохотали! Наконец вырвался он у нас и поскакал, но куда ж? Прямо к полковнику жаловаться и просить на нас. Но из сего вышла только новая комедия. Мы, предвидя сие, постарались заблаговременно предварить все могущия произойти от того какия-либо досадныя для нас следствия. Мы заманили в заговор и в шутку свою самого г. Зеллера, того любимца и фаворита полковничьяго, который служил ему переводчиком; и как он сам был в сей шутке соучастником, то и надеялись мы, что он перескажет полковнику все дело с хорошей стороны, а сие так и воспоследовало. Г. Бачманов, прискакав к полковнику, начал в пыхах своих приносить ему тысячу на нас жалоб; но сей, не разумея ни одного слова по-русски и того, что он ему говорит, спрашивал только: «Вас ист дас? васистас?»¹ и как никто ему не мог растолковать, то отыскан был г. Зеллер, и сей пересказал ему все дело с такой смешной и шуточной стороны, что полковник сам надседался со смеха и только смеючись говорил Бачманову: «Ну, что же? добре... бачан... кукушв... лягушк... петь... песнь... ничего... смех...» и так далее. Словом, г. Бачманов наш не мог добиться от него никакого толку, и только то сделал, что весь полк о том узнал, и кому бы не смеяться, так все смеяться и кукушкою его дразнить и сердить начали. И как наконец до того дошло, что и самые солдаты о том отчасти узнав и иногда завидев его, либо куковать, либо про лягушку между собою говорить начинали, то бедняку нашему Макару нигде житья не стало, и он до того наконец доведен был, что решился было проситься в другой полк и бежать из полка нашего, и нам немалого труда стоило его уговорить и опять успокоить.

Но не одну сию, но производили мы над ним во время сего похода и многия другия проказы; но как они не стоят упоминания, яко происходившия от единой нашей легкомысленности и резвости, то я, умолчав о них, скажу только, что сей человек увеселял всех нас во все время нашего

¹ Немецкое: что такое?

путешествия и редкий день прохаживал, чтоб мы над ним чего не предпринимали и, разсердив его до бесконечности паки с ним не примирялись.

Впрочем, памятно мне и то, что никогда я столь много в ловлении рыбы какулею не упражнялся, как во время сего похода. Везде, куда ни прихаживали мы ночевать, находили мы либо речки, либо озера; и как какулей было у нас множество, то и не упускали мы почти ни одного случая, чтоб сею ловлею не повеселиться.

В прежде упоминаемом эрмляндском столичном городе, Гейльсберге, случилось нам опять не только дневать, но, для исправления некоторых надобностей, пробыть целых два дня. В сие время были мы опять у бискупа с полковником, и сей маленький владелец старался опять нас угощать, и мы время свое препроводили весело. Мне случилось в сей раз стоять квартирою у одного из его придворных, отправляющего должность камерюнкера или камергера, который, однако, не многим чем отменнее от прочих мещан, и я ласкою хозяина и хозяйки был очень доволен.

Чрез несколько дней после того, не имев на пути своем никаких особенных приключений, дошли мы наконец до славнаго нашего Кёнигсберга¹ и тем окончили сей поход благополучно. Сим окончу я сие письмо и, сказав вам, что я есмь ваш друг и прочее.

ВХОД В КЁНИГСБЕРГ

Письмо 58-е

Любезный приятель!

Как с пришествием нашим в Кёнигсберг начался новый и в особенности достопамятный период моей жизни, то, прежде описания моего в сем

¹ Болотов уделяет Кёнигсбергу, главному городу Восточной Пруссии, очень много внимания. Это был первый большой европейский город, который ему привелось видеть и который произвел на него огромное впечатление. Кёнигсберг, основанный в 1256 г. и быстро выросший как торговый город, а с основанием университета (1544 г.) сделавшийся и культурным центром страны, – во время пребывания в нем Болотова был экономическим, административным и культурным центром Восточной Пруссии. Готическая архитектура, старинные здания, канал, университет, в котором читали профессора с мировой известностью (Кант, Якоби) и который насчитывал более 2-х тысяч студентов, – самая жизнь города, быт и нравы – все это интересовало Болотова. Русская армия спешила занять Кёнигсберг и потому, что он был важным стратегическим пунктом.

городе пребывания, да позволено мне от вас, любезный приятель, будет предпослать некоторое краткое о себе разсуждение.

Всякий раз, когда ни размышляю я о течении моей жизни и о всех бывших со мною происшествиях, примечаю я в оной многие следы особливаго Божескаго о мне Промысла, и вижу ныне очень ясно, что и наиглавнейшими происшествиями со мною не иначе, как невидимая рука Господня управляла и распоряжала оныя так, чтоб они когда не в то время, так после обратились мне в существительную пользу. Но ни которое из них так для меня, при таковых размышлениях, не бывает поразительно, как помянутое, совсем неожиданное пришествие в Кёнигсберг и пребывание в сем городе, ибо как проистекли мне от того безчисленные выгоды и пользы, то вижу теперь, что и произошло то не по слепому случаю, что я тогда приехал в Кёнигсберг, но Промыслу Господню угодно было, власно как нарочно, привести меня в сей прусский город, дабы я, живучи тут, имел случай узнать сам себя и, короче, все на свете и мог чрез то приготовить к той мирной, спокойной и благополучной жизни, какую Небу угодно было меня благословить в последующее потом время; за что благодарю и навек не престану благодарить великаго моего Зиждителя. Он, произведя меня совсем не для военной жизни, не восхотел, чтоб я далее влачил жизнь праздную и такую, в которой не только мог я подвержен быть ежеминутным опасностям, но, живучи в сообществе невежд, праздных и по большей части всяким распутствам преданных людей, легко мог и сам ядом сим заразиться и чрез то повредить себя на всю жизнь; но, исторгнув меня из середины оных, пристроил к такому месту, которое было уже сообразнее с природными моими склонностями и где имел я уже более случаев и удобностей упражняться в делах и упражнениях полезнейших, нежели в каких препровождают время свое обыкновенно в полках офицеры.

Но сколь приметно сделалось мне все сие после, столь мало знал я обо всем том в тогдашнее время; а потому приезд мой в Кёнигсберг почитал тогда не иначе, как происшедшим по слепому случаю, да и не думал, чтоб могло произойти тут что-нибудь со мною особенное, а того, чтоб самый сей поход был последний в моей жизни и чтоб с пришествием в сей город назначено было от судьбы и всей моей военной службе почти кончиться, тогда никак не только мне, но и никому на мысль притти не могло, как к тому и не было ни малейшаго тогда вероятия.

Со всем тем, чувствуя отменную радость о том, что идем мы в Кёнигсберг, я власно как предчувствовал, что со мною произойдет тут нечто хорошее; ибо могу сказать, что сколько ни были все довольны сим походом, но мое удовольствие было ни с чьим не сравнительно, а особливо в то время, когда по приближении к сему городу увидели мы краснеющиеся уже вдали кровли домов онаго и возвышающиеся сверх оных пышные и величественныя башни и высокия колокольни церквей, в нем находящихся. С ненасытным оком и с некаким восхищением взирал я на сей обширный и на возвышенном месте сидящий и с той стороны, откуда мы шли, отменно пышный и хороший вид имеющий город и почитал его власно, как некаким обиталищем благополучия и таким местом, где мы иметь будем безчисленныя утехи и удовольствия, и готовился уже заблаговременно к оным.

Но я возвращусь к порядку моего повествования и начну теперь рассказывать вам все происходившее со мною тут по порядку.

Было то в начале самой еще весны и в исходе апреля месяца, как мы дошли до сего столичнаго прусскаго города. По приближении к оному, велено нам было остановиться и убраться как можно лучше и чище для вступления в оный церемонию. Мы и постарались о сем с особливым усердием; и как всякому хотелось показать себя в наивыгоднейшем виде, то не упущено было ничего, чтоб только могло служить к наилучшему украшению. Все оружие наше вычищено было как стекло; бельё надето самое чистое и мундиры самые лучшие. Не могу без смеха вспомнить, как старались мы друг пред другом о том, как чванились и с какою гордою и пышною выступкою выступали мы перед нашими взводами, шествуя, при игрании музыки и при битии в барабаны, по улицам сего города, которыя наполнены были многочисленным народом; ибо как жители были еще очень любопытны наши церемонии видеть, то не только все окна, но и многия кровли унизаны были людьми; а зрение толь многочисленнаго народа наиболее и побуждало нас хорохориться. Я иаходился тогда, как уже прежде было упомянуто, в гренадерской роте, и как у нас шапки гренадерския были тогда кожаныя, сделанныя наподобие древних шлемов или шишаков, с перьями, а спереди медною и позолоченною личиною, и головной убор сей был очень красив, а притом и перевязи гренадерския были у нас шитыя золотом, а сверх всего того, мне довелось иттить перво-му почти перед полком и вести самый первый взвод наших гренадеров,

то я неведомо как старался иттить и представлять собою фигуру лучше, и был столь выгоднаго о себе мнения, что мнил, что все всего более на меня смотрели, хотя, безсомненно, в том крайне обманывался.

Вшествие сие было у нас в один красный день после обеда, и хотя по случаю досталось нам в город сей войтить с наихудшей стороны, да и иттить все простыми и худшими улицами и закоулками, до квартиры тамошняго обер-коменданта г. Трейдена, однако нам и самая сии последняя улицы казались сначала преузорочными, и мы смотрели на них с удовольствиемным и любопытным оком.

Поелику квартиры были для нас уже отведены и посланными наперед нашими передовыми заняты, то не успели мы дойти до квартиры нашего обер-коменданта и, отдав ему честь, оставить тут наши знамена, как и распущены были все роты врознь по их квартирам. Я тогда не шел, а паче летел за ведущим нас фурьером и не инако думал, что он приведет меня в наипрекраснейшую квартиру. Но коль сильно обманулся я в сем мнении и какою досадою и неудовольствием преисполнилось мое сердце, когда вместо пышной и прекрасной квартиры привел он меня в сущую мурью и такую лачугу, какой я всего меньше ожидал. Еще и идучи туда и проходя наилучшия в городе улицы, площади и места, досадовал я, для чего квартермистр наш был так глуп и не вел нас сими местами, а провел глухими улицами и переулками; однако досада сия услаждаема была тою лестною надеждой, что по крайней мере получу я квартиру хорошую и что она неотменно будет в одном из тех прекрасных домов, мимо которых мы шли, и того и ожидал, что фурьер меня остановит и скажет: «Вот она». Но ожидание мое было тщетно, и он меня не только не останавливал, но, проведя самая лучшия улицы, завел в глухие и никем не обитаемые узкие переулки, находящиеся между их так называемыми шпиклерами, или огромной величины хлебными анбарами, для которых в сем городе отведен особый глухой и от лучших городских мест удаленный угол или квартал, и где построено их было несколько сот вместе и сплошь один подле другого, и каждый таковой анбар составлял предлинное, узкое, но притом чрезвычайно высокое и этажей семь вверх простирающееся самое простое, грубое полукаменное здание; и как все они разделены на несколько кварталов, отделяющимися между собою самыми узкими и темными проулками, сделанными для единаго проезда и провоза хлеба, то проулки сии были самые глухие, совсем пустые и даже страшные. И сими-то про-

улками и закоулками, между шпиклеров¹ повел меня проводник мой. Я изумился, даже и не зная, что думать, с досадою ему говорил: «Умилосердись, братец, куда ты меня ведешь?» – «Да на квартиру, ваше благородие; вот она уже здесь близко». – «Как близко? – прервал я ему с удивлением речь. – Неужели мне в этакой глуши и в этакой пропасти стоять? Уж не в шпиклере ли каком ты ассигновал мне квартиру?» – «Нет, сударь, – отвечал он мне, – однако подле самых оных, и, признаться надобно, что квартирка не очень весела; но лучше уже не нашли из всех назначенных под роту, кроме капитанской». Слова сии меня даже поразили; в единый миг исчезли тогда все пышные и лестные мои надежды и увеселительные мысли, и я проклинал уже заблаговременно всех тех, которые нам квартиры отводили; а как дошел и увидел действительно тот дом, в котором назначена мне была квартира, то досада моя на них еще увеличилась. Я надавал им тысячу изрядных благословений и, ругая их без милосердия, против хотения принужден был лезть по круглой и тесной лестнице под самую кровлю и в самый третий этаж; и как путь сей был так темен, что ни зги не было видать, то, взлезая в темноте с одной лестницы на другую, едва было я не споткнулся и не сломил головы, и спасся только тем, что ухватился уже за канат, который вдоль сей лестницы у них протягивается и за который державшись должно всегда всходить вверх и сходить вниз, но чего я сначала не ведал.

Теперь всякому легко можно заключить, сколь приятно было мне такое мрачное шествие или взлезание по лестнице под самую почти кровлю, ибо покои, назначенные мне, были в третьем жилье; в нижних же этажах жил сам хозяин того дома и некоторые другие пристава и работники, определенные при помянутых шпиклерах, подле которых вплоть с краю примкнул был сей домик. На мою часть достался хотя и весь третий этаж дома, но в котором и во всем не было более двух комнат, одна длинная и узкая с двумя небольшими окошечками в одной стене, для меня, а другая, чрез узенькия и темныя сенцы, в которых шла снизу вышеупомянутая круглая лестница и такой же длины и величины – для людей, и обе они были столь низки, что мы едва головами своими за потолок не цепляли.

Итак, вместо всей пышной и прекрасной квартиры, получил я весьма-весьма посредственную и, что всего для меня досаднее, темную и весьма

¹ Немецкое – складочное помещение, амбар.

скучную, ибо и самый вид из окошек простирался на одни только почти шпиклеры, и ничего хорошего из них было не видно. Что ж касается до хозяев, то были они люди самые бедные и такие, у которых мы не могли не только чего иного, но и никакой бездельной посуды, для принесения воды и на прочия надобности, добиться. Досадно мне все сие было чрезвычайно, и я так недоволен был моею квартирою, что не преминул в тот же день жаловаться о том моему капитану и просить, чтоб постарался он доставить мне квартиру сколько-нибудь получше. И как капитан мой меня любил, то он сего и не преминул сделать, и, по дружбе своей, произвел то, что я чрез несколько дней получил другую и несравненно уже лучшую и такую квартиру, которою я был совершенно доволен. Но как прежде нежели получил я сию новую квартиру и на ее переехал, произошло со мною уже нечто такое, о чем упомянуть не будет излишним, то и перескажу о том прежде.

Не успели мы расположиться на квартирах и кое-как обострожиться, как с нетерпеливостью хотелось нам удовольствовать давнишнее свое желание и весь сей славный для нас город выходить и осмотреть. Я предпринял путешествие сие на другой же день после нашего прибытия и обегал все наилучшие площади, улицы и места сего города, и не мог довольно налюбоваться красотою и пышностью многих улиц, а особливо так называемой *Кнейпгофской* большой улицы, которую наши тотчас окрестили по своему и назвали *Мильйонною*, потому что вся она была не только прямая, но состояла из наилучших и богатейших домов в городе. Не с меньшим любопытством смотрел я также и на старинный замок, или дворец, прежних владетелей прусских. Сие огромное четверугольное, воздвигнутое на горе и не совсем начисто отделанное здание, придавало всему городу важный и пышный вид, а особливо построенною, на одном угле онаго, превысокою четверугольною и никакого шлица и верха не имеющею башнею, на верху которой развевался только один большой флаг и видимы были всегда люди, живущие там для содержания караула. Однако я оставляю описание сего города до другого случая, а теперь расскажу вам, любезный приятель, что путешествие мое в сей день не кончилось одною пустою ходьбою, но я возвратился на квартиру свою обременен будучи некоторыми безделушками, которыхья тогда казались мне надрагоценнейшими вещми в свете, и коих приобретение причиняло мне безконечную радость и удовольствие. Но какия б они были? Сего вам никак не угадать,

любезный приятель, ибо вам и на ум того приттить не может, что меня так обрадовало.

Вы знаете уже то, что я из малолетства был превеликий охотник не только до книг и до чтения, но и до рисования, и что для меня всегда наимприятнейшее было упражнение гваздать и марать кое-что красками. Теперь скажу, что, ходючи тогда по городу, случилось мне с одной улицы на другую проходить маленьким скрытым проулком, наполненным лавочками с разными товарами. Так случилось, что в самое то время стоял пред одною из сих лавочек какой-то человек и рассматривал печатныя картины. Увидев сие и будучи крайним до них охотником, тотчас я подступил к нему и начал вместе с ним перебирать оныя. Лавочник, приметив, что и я с любопытством их пересматриваю, достал еще целыя кипы сих листочков и положил на прилавок. – «Что это, – спросил я, – неужели все картины?» – «Так, – ответствовал он, – это все эстампы и не угодны ли которыя из них будут?» Нельзя изобразить, как обрадовался я, увидев их тут несколько сот и разных сортов и иные раскрашенные красками, а другие черные. Я позабыл тогда все на свете и, отложив дальнейшую ходьбу, сел себе на прилавок и положил все пересмотреть. Но не успел я начать сие наимприятнейшее для меня упражнение, как лавочник, подавая еще матерую кипку, говорил: «Вот, неужодно ли прошпективических видов?» – «Какия прошпективические?» – спросил я, изумившись. «А вот что смотрят сквозь стекло в ящике». Кровь во мне взволновалась вся при сем слове. «Как, – сказал я, обрадуясь чрезвычайно, – и они у тебя есть?» – «Есть, – ответствовал он, – и какия вам угодны, иллиюминированные и неиллюминированные», – и стал тотчас развязывать и показывать их. Нельзя довольно изобразить, с каким восхищением рассматривал я оныя, ибо надобно знать, что виденный в Торуне прошпективический ящик так мне полюбился, что он у меня с ума не сходил и я неведомо что дал бы, если б мог иметь такой же; а как тут против всякаго чаяния увидел я изрядныя прошпективическия и притом очень дешевыя картины, то в единый миг положил намерение, накупив их, отвезать смастерить себе такой же. Но удовольствие мое было еще больше, когда, спросив у лавочника, нет ли у него и такого круглаго стекла, какое при том употребляется, услышал, что и стеклушко одно у него есть. А тотчас сыскано было и зеркало, и лавочник научил меня, как и без ящика можно смотреть на сии картины. О, сколько я благодарен был ему за сие показание! Ибо сие подтвердило мне,

что никакого дальнего искусства не требовалось к сооружению и ящика. Словом, я так был всем сим удовольствован, что, сколько тогда ни случилось со мною денег, все оныя употребил на покупку сих картин. А как к величайшему моему удовольствию нашел я тут же и целые ящички с приготовленными в раковинах разными красками и другими рисовальными збурями, то и разсудил я купить лучше картины нераскрашенные и разрисовать после самому, дабы оне не так дурно были разгвазданы, как продажныя, иллиюминированныя. Одним словом, я накупил себе множество и красок, и картин и возвратился домой, власно как снискав себе превеликое какое сокровище, и путешествием своим в сей день был крайне доволен.

Как я от природы весьма нетерпелив во всем том, чего мне захочется, то сия нетерпеливость причиною тому была, что на другой же после того день принялся я за работу и начал разрисовывать красками некоторыя из купленных картин. Но вообразите себе, какая должна была быть для меня досада, когда в самое то время пришли мне сказывать, что полку нашему велено уже сменять с караула тут находившийся другой и что наряд уже сделан и мне самому досталось иттить в караул. Что было тогда делать? Я принужден был покидать свою начатую работу и собираться иттить против хотения в караул, и на целую еще неделю. К вящей досаде, досталось мне стоять подле одних городских ворот и тут всю неделю препроводить в темном и наискучнейшем каземате или палатке, сделанной в валу, подле ворот. Но как переменить того было не можно, скука же меня даже переломила, то что ж я сделал? Вместо того, чтоб время свое препровождать тут в праздности и спанье, как другие делали, велел я принесть к себе и краски и картины и начал их, усевшись под окошком, разрисовывать. Работа сия была мне хотя и не весьма способна, ибо принужден я был производить ее в мундире и имея на себе и шарф и знак, однако имел я ту пользу, что она не давала чувствовать мне скуку, от которой, живучи в такой мурье, вздуриться наконец надлежало. И как я имел к тому совершенный досуг и мог непрерывно работать, то в неделю сию разрисовал я картин великое множество, а между тем придумал средство, как мне лучше смастерить и свой затеваемый прощпективической ящик.

Впрочем, службу сию, которая была самая последняя в моей жизни, отправил я благополучно и со всею надлежащею исправностью; однако не прошла ж она и без смешного приключения. Известное то дело, что стояние на таковых караулах не столько досадно днем, сколько ночью; ибо как

в ночное время надлежало еще больше иметь осторожности и быть всякий час в готовности для принятия ходящих дозоров и рундов, то необходимость заставляла и всю ночь быть в мундире и в шарфе и знаке. Я наблюдал сие исправно; но в один день, как назначено было ходить ночью рундом прежнему сотоварищу моему, г. Головачеву, то он, любя меня и жалея о моем безпокойстве, прислал ко мне записочку, извещая, что рундом в ту ночь назначено ходить кругом всего города ему, но что он, однако, не пойдет, и я спал бы себе благополучно и без всякаго опасения. Записочка сия меня очень обрадовала, ибо как я уже несколько ночей спал в мундире и обутый, и ноги меня в особливости уже и гораздо безпокоили, то, положась я на нее, по наступлении ночи, улегся спать уже несколько поспокойнее, и не только скинул с себя мундир, но и сапоги самые. Но что ж впоследствии произошло? Не успела наступить полночь, и я только что разоспался, как вдруг закричали: «Рунд, рунд, рунд!» и сержант, без памяти прибежав, будил меня и кричал, чтоб я скорее выходил принимать рунд, который был уже в самой близости. Господи! как я тогда сим перетревожился! Будучи нечаянно и вдруг разбужен, вскочил я, власно как без ума и ошалевший, и не знал, что делать и что начинать; бегал только кругом по караульне и кричал: «Ох, ох, какая беда!» Между тем слуга спешил подавать мне мундир и надевать, а вестовой держал уже шарф и знак, а сам я, не помня сам себя, спешил надевать скорее сапоги и был так спутан, что, при слабом свете от горящей свечки и от поспешности, не мог даже сапогов надеть, а что того еще хуже, то начав надевать превратно и носками назад, так ногу увязил, что и скинуть было трудно. К вящему несчастью, в самое то время закричали, что рунд уже пришел. Что было тогда делать? Я вздурился и так оробел, что не вспомнил сам себя, но схватил скорее шляпу и, позабыв, что одна нога была еще вовсе не обута, а другая только что всунута в сапог, побежал из караулни встречать сей проклятый рунд, и я не знаю, что б со мною было, если б я в таком смешном наряде перед фрунт выбежал. Мне кажется, весь фрунт покатился б со смеха; но, по счастью, не дошло до того дело, и я благополучно от сего замешательства и стыда избавился; ибо г. Головачев, зная, что я по его же уверению нахожусь в безопасности и сплю, не имел и на уме взыскивать на мне, что я неосторожен, но сам еще спешил войтить ко мне в караульню и сказать, чтоб я не тревожился. Но теперь вообразите ж себе, не должен ли он был покатиться со смеха, увидев меня помянутым образом полуобутаго, но в мундире и в шарфе по караульне бегающего.

– Ну хорош, хорош! – закричал он захохотав. – Прямо воин! Только что стоять на караулах!

– Да! – отвечивал я, опомнившись тогда. – А все это от тебя и от записочки твоей, проклятой! Ведь меня насмерть и так перепугали, что я и теперь сам себя не помню. На что б сказывать, что не пойдешь.

– Как быть, братец, – сказал он. – Я и действительно не хотел иттить, но меня неволею протурили; я сам тому не рад, но, по крайней мере, ложись-ка, ложись опять спать, а мне пора иттить далее.

Он и действительно оставил меня с покоем и пошел далее, а сим и кончилось сие смешное приключение, которое было мне очень долго памятно. А на другой день после того сменили нас с караула другие полку нашего офицеры, и я имел удовольствие возвратиться в свою роту и приттить совсем уже на иную, несравненно лучшую квартиру, которую, между тем как мы стояли на карауле, отвели мне по просьбе моего капитана и которую я был крайне доволен.

Сим окончу я сие мое письмо и, предоставив прочее череду, скажу, что я емь ваш и прочее.

В КЁНИГСБЕРГЕ

Письмо 59-е

Любезный приятель!

Квартира, которую мне вновь отвели, была хотя неподалеку от прежней, но находилась уже в порядочной и веселой улице, простирающейся вдоль подле берега реки Прегеля и неподалеку от пристани, где приставали и выгружались с моря суда; а что того лучше, то дом сей был наугольный, подле одного водяного и нарочитой ширины канала, чрез который перед окнами моими был мост; а как я получил для себя нижний и самый лучший наугольный и порядочно прибранный покой с четырьмя большими окнами, то был он очень весел и светел, чем я в особливости был доволен. Впрочем, принадлежал он одной старушке, вдове одного корабельщика, которая жила в другом покое чрез сени, а в верхнем этаже жили ея дети. Для людей же моих отведен был особливый задний покой, и как хозяйка моя была старушка тихая и добрая, то лучшей и покойнейшей квартиры не

мог я для себя требовать; а если что меня иногда обезпокоивало, то было то, что в другом покое, через сени, содержала хозяйка некоторый род шинка, в который всякой день собирались голанцы-шкипера и другие мореплаватели и препровождали время свое в разговорах, в курении табаку и в распивании пива. Итак шум, производимый иногда ими, мне наскучивал, однако, по крайней мере, не делали они никаких безпутств и безчиния, а все было у них порядочно и хорошо. Сверх того, взамен сего безпокойства имел я всякий день удовольствие слушать изрядную и приятную игру на скрипичах, производимую живущими надо мною хозяйскими детьми. Наконец, и то было мне приятно, что квартира моя была прямо через улицу напротив капитанской, также что в самой той же улице, через несколько дворов, стояли и некоторыя из лучших моих приятелей, а особливо прежде бывший мой компаньон господин *Ненейцин*, и я мог со всеми ими часто видеться.

Не успел я на новой квартире осмотреться и получить свободное время, как пустился опять в путешествие и осматривание тех мест и улиц в городе, в котором мне быть еще не случилось. Несколько дней сряду рыскал я по городу и препровождал их в таковых путешествиях, и прихаживал домой уставши до полусмерти, а тут принимался я тотчас за свои картины и за раскрашивание оных; а как и сооружение и самого ящика не выходило у меня из ума, то принялся я за делание онаго. Обстоятельство, что большой и такого сорта ящик, какой видел я в Торуне, неудобен был для возки его с собою в походах, поелику он один в состоянии был занимать очень много места в кибитке, было причиною тому, что я принужден был сделаться в первый раз отроду и поневоле инвестором¹ и выдумывать особый род устроения сего ящика, а именно чтоб расположить и сделать его так, чтоб он мог совсем разбираться и складываться и, будучи разобран, мог занимать в сундуке очень малое место. Признаюсь, что как я никогда еще в выдумках сего рода не упражнялся, то сначала дело сие меня очень озабочивало; но чего не может преодолеть нетерпеливое желание и любопытство? Через немногия дни удалось мне выдумать и смастерить такой, что и поныне еще дивлюсь, как я мог тогда такой сделать, ибо мне на сей раз принуждено было быть и столяром, и шлесарем, и клеильщиком, и лакировальщиком, потому что все бока и стенки онаго сделал я из

¹ Французское – выдумщик, изобретатель.

толстой политурной бумаги¹. А дабы они не могли коробиться, а притом складывались, то края все укрепил тоненькими деревянными брусочками; для соединения же всех боков наделано было множество крючков, петель и пробойчиков. Наконец всю наружность онаго раскрасил я разными красками, и улепив по оным маленькими, вырезанными из картинок купидончиками, птичками и цветками, и наконец покрыл лаком. Словом, я сделал ящичек не только самый походный и уютный, но и не постыдный для показания всякому. Все офицеры не могли надивиться моей выдумке и искусству и саживались ко мне толпами смотреть картинку и любоваться ими. А как и сии не только были сами по себе довольно изрядные и изображали виды всех лучших мест и улиц в городе Венеции и многих других знатнейших европейских городов, но и были разрисованы мною под натуру, – то не могли они довольно их насмотреться, а мне довольно приписать похвал за мою выдумку и искусство.

Словом, сей первый опыт способности моей к выдумкам и изобретениям приобрел мне в полку много чести. Все стали почитать меня превеликим хитрецом и выдумщиком, а сие и ласкало неведомо как моему честолюбию и, производя мне неописанное удовольствие, побуждало час от часу еще больше упражняться в делах, сему подобных. А чтоб меня еще более тем занять, то судьба, власно как нарочно, преподала мне вскоре после того еще случай увидеть и узнать еще многое такое, чего я никогда не видывал и что в состоянии было не только увеселить меня чрезвычайно, но встревожить вновь мое любопытство и возбудить охоту к дальнейшим выдумкам и узнаванию вещей, до того относящихся.

На самой той улице, где я стоял, и неподалеку от нас, случилось жить одному ученому и такому человеку, который упражнялся в шлифовании стекол и в делании всякого рода оптических машин и других физических инструментов. К сему человеку завел меня один из моих знакомцев, и я не знаю, на земле ли я или инде был в те минуты, в которыя показывал он мне разные свои и мною никогда еще не виданныя вещи и инструменты. Прекрасные его разные микроскопы, о которых я до того времени и понятия не имел, приводили меня в восхищение. Я не мог устать целый час смотреть в них на все маленькие показываемые им мне вещицы, а особливо на чрезвычайно малых животных, которых я видел тут в одной ка-

¹ Политура – картон.

пельке воды, бегающих и ворочающихся тут в безчисленном множестве и гоняющихся друг за другом. А не успел я сими насытить свое любопытное зрение, как хрустальные призмы и другие оптические инструменты и делаемые ими эксперименты приводили меня в новые восторги и в удивление; но восхищение, в какое приведен я был его камерою-обскурою¹, не в состоянии я уж никак описать. Я истинно вне себя был от радости и удовольствия, когда увидел, как хорошо и каким неподражаемым искусством умеет сама натура рисовать на бумаге наипрекраснейшие картины, и, что всего удивительнее для меня было, наживейшими красками. Я долго не понимал, откуда брались сии разные колера, покуда не растолковал мне отчасти помянутый художник, который, приметив особенное мое и с великим примечанием сопряженное любопытство, не оставил показать мне все, что у него ни было, и многое изъяснить примерами для удобнейшего мне понятия. Словом, я вовек не позабуду тех приятных и восхитительных часов, которые препроводил я тогда у него в доме, и был человеку сему весьма много обязан, ибо он власно как отворил мне чрез то дверь в храм наук и заохотил итти в оный и находить в науках тысячу удовольствий и увеселений, и которые помогли мне потом иметь толь многие блаженные минуты в течение моей жизни.

Впрочем, упражняясь в сем разсматривании, я сколько, с одной стороны, веселился всеми сими невиданными до того зрелищами, столько, с другой стороны, досадовал на то, для чего у меня денег было мало и я не так богат был, чтоб мог закупить себе все оныя вещи. Однако, сколь я ни беден был тогда деньгами, не мог разстаться с одним маленьким ящичком, составляющим камеру-обскуру, посредством которого можно было с великою удобностью срисовывать все натуральные виды домов, улиц, местоположений и всяких других предметов. Я купил его у сего человека, но за употребленные за то два червонца с лихвою заплачен был неописанным и многим удовольствием, какое в состоянии был производить мне сей ящик. Я всегда не мог довольно налюбоваться тем, как хорошо на шероховатом стекле изображались и рисовались сами собою все предметы, на которые наведешь выдвигающую трубкою сего ящика, и не преминул тотчас, пользуясь сим инструментом, срисовать вид той улицы, которая видна была у

¹ Оптический прибор для получения изображения предметов на плоскости. Известен еще арабским ученым конца I тыс. нашей эры.

меня из окон. Сия прошепективическая картина цела у меня еще и поныне, и я храню ее, как некакой памятник тогдашняго времени. Впрочем, ящик сей произвел мне не одно сие удовольствие, но еще и другое, а именно: он подал мне повод к новой выдумке, а именно, чтоб заставить и самый мой прошепективический ящик отправлять в случае пожелания должность камеры-обскуры; ибо как скоро я узнал, от чего и каким образом камера-обскура устроена и как все ее действия происходят, то нетрудно мне было добраться и до того, как производить самое то ж мог бы и самый мой ящик с учинением только некоторой с ним перемены.

Между тем как я помянутым образом стоял на карауле, а потом безпрерывно занят был вышеописанными, увеселяющими меня, упражнениями, все прочия офицеры нашего полку, не только молодые, но и пожилые, занимались совсем иными делами и заботами. Всех их почти вообще усердное желание быть в Кёнигсберге проистекало совсем из другого источника, нежели мое. Они наслышались довольно, что Кёнигсберг есть такой город, который преисполнен всем тем, что страсти молодых и в роскоши и распутствах жизнь свою провождающих удовлетворять и насыщать может, а именно, что было в оном превеликое множество трактиров и биллиардов и других увеселительных мест; что все, что угодно, в нем доставать можно, а всего паче, что женский пол в оном слишком любострастию подвержен и что находятся в оном превеликое множество молодых женщин, упражняющихся в безчестном рукоделии и продающих честь и целомудрие свое за деньги. Сей последний слух в особливости для многих был весьма прельстителен, и они заблаговременно тому радовались, что иметь будут вожделеннейший случай к насыщению необузданных страстей своих; а многие с тем и шли в Кёнигсберг, чтоб тотчас по пришествии туда приискать себе хороших любовниц или, по крайней мере, побрать к себе молодых девок на содержание. Все сие они и не преминули действительно исполнить. Не успело и двух недель еще пройтить, как, к превеликому удивлению моему, услышал я, что не осталось в городе ни одного трактира, ни одного винного погреба, ни одного биллиарда, ни одного непотребного дома, который бы господам нашим офицерам был уже неизвестен, но что не только все они у них на перечете, но весьма многие свели уже отчасти с хозяйками своими, отчасти с другими тамошними жительницами тесное знакомство; а некоторыя побрали уже к себе и на содержание их, и все вообще утопали во всех роскошах и распутствах.

Удивление мое при услышании о сем было неизреченное и тем вящее, что услышал я то же самое и о самых почтенных и таких людях, которых почитал я совсем к таковой развратной жизни неспособными. А что того более меня удивило, то от самых сих людей не слыхал я тогда никаких уже порядочных и разумных разговоров, а все речи и слова и все лучшие шутки и разговоры их были об одних играх, гуляньях и о женщинах, и сие доходило даже до того, что они, забыв весь стыд, нимало уже не стыдились хвастать и величаться друг перед другом своими безчинствами и распутством и без малейшаго зазрения совести ввали и молили такой гнусный вздор, котораго разумному человеку без отвращения слышать было не можно. Но сего было еще не довольно, но они делали еще того хуже и, погрязнув сами по уши в беззаконии, прилагали наивозможнейшее старание втащить и других в сети таковой же мерзкой жизни, и не только поднимали на смех всех тех, кто не следовал их примеру, но ими почти ругались и презирали оных.

Извините меня, любезный приятель, что я между делом рассказываю вам теперь такой гнусный вздор. Я сделал сие для того, чтобы изобразить тем, в какой опасности находился я тогда, живучи в таком городе и между людьми такового сорта. Находясь в таких точно летах, в которых наиболее человеки подвержены бывают всей пылкости вожделений любострастных и далеко еще не в состоянии владычествовать над страстями своими и повиноваться предписаниям здравого разума; имея случай всякий день слышать безстыднейшие и любострастные разговоры, видеть наисоблазнительнейшие примеры, могущие развратить и наидобродетельнейшего человека, а что того еще паче, претерпевать самые насмешки и шпынянья от всех друзей и товарищей своих за то, для чего я им во всех их распутствах несотовариществую, – при таких обстоятельствах, говорю, не легко ли мог и я с пути добродетели сбиться и ввалиться в бездну пороков? Ах! Я и действительно был так от того недалек, что малаго и очень малаго недоставало к тому, чтоб сделаться и мне таким же шалуном и распутным человеком, и единая невидимая рука Господня спасла и не допустила меня в таковой же тине мерзостей и беззаконий погрязнуть, в которую погрузили себя все почти наши офицеры.

И подлинно, любезный приятель, когда приходят ко мне на мысль тогдашние времена, то и поныне не могу довольно надивиться тому, каким образом я тогда от сего зла свободился. Целому стечению многих и раз-

ных особых обстоятельств надлежало быть к тому, чтоб избавить меня от тех опасностей, которыми я окружен был, и руке Господней, или паче Промыслу его, пекущемуся обо мне, принуждено было насильно исторгнуть меня из среды общества людей, толико развращенных и опасных, и, учинив со мною то, чего мне никогда и на ум не приходило, доставить такое место и вплесть в такие обстоятельства, которые должныствовали сами собою поспешествовать к моему спасению.

Но как все сие для вас не весьма понятно, то объясню вам дело сие короче и расскажу обстоятельнее о сей весьма важной эпохе моей жизни и обо всем том, что к спасению моему тогда поспешествовало.

Наипервейшим обстоятельством, помогавшим мне много в тогдешнее время, была та преждеупоминаемая, врожденная в меня натуральная застенчивость и стыдливость, которой подвержен я был с малолетства и которая и тогда так еще была велика, что для меня всегда превеликая комиссия была, если случалось иногда бывать с незнакомыми женщинами вместе и упражняться с ними в разговорах. Самое сие и предохраняло меня от той дерзости, наянства¹ и отваги, каковую другие мои братья имели и при помощи которой могли они тотчас сводить с ними лады и знакомство и которая вводила их во все безпутства. Что касается до меня, то был я в таковых случаях сущюю красною девкою, и мне совестно и стыдно было и наималейшие производить с ними шутки и издевки, а того меньше начинать с ними какая-нибудь вольности. К сему весьма много поспешествовало и то, что как с малолетства имел я случай читать некоторыя поэмы и любовные истории, в коих любовь изображена была нежная, чистая и непорочная, а не грубая и распутная, то, напоившись сими мыслями, имел я об ней самые нежные, романтические понятия, и потому такое обхождение с женщинами, какое видал я у других, казалось мне слишком грубым, гнусным и подлым, и я никак не мог себя приучить к вольному и к такому наглому и безстыдному обхождению с ними, как другие. Но для меня превеликая комиссия была и начинать говорить с ними, а особливо с незнакомыми, и самого сего не мог я никогда учинить, не покрасневшись и не сделав себе превеликаго насилия, – черта характера хотя сама по себе смешная, но обращавшаяся мне во всю мою жизнь в превеликую пользу.

¹ Нахальство, наглость, назойливость, безстыдство.

Другим весьма многим помогавшим мне обстоятельством была та счастливая случайность, что на обеих моих квартирах не было ни одной молодой женщины и девки, могущей привлечь к себе внимание молодого человека, а если и были женщины, то все старые и дурные. Чрез сие избавился я случайным образом не только сам от поводов к искушению, могущих, как известно, всего более действовать и доводить человека до всего худого, но вкупе и от частого посещения своих товарищей, ибо у них-то в обыкновение уже вошло, чтоб к тому из своей братьи и ходить и того чаще и навещать, у кого на квартире были хорошие хозяйския девки, и у таковых были у них обыкновенно сборища. А поелику у меня на квартире не было ничего для них привлекательного, то и не имели они охоты часто меня посещать и просиживать долго, а буде когда и заходили, так наиболее для подзывания с собою иттить гулять.

Третьим обстоятельством, удерживавшим меня от распутной жизни, было то, что не успел я смениться с караула, как на другой день после того случилось мне видеть погребение одного молодого офицера, стоявшего тут до нас другого полка и умершего нажалостнейшим образом от венерической болезни, нажитой им во время стояния в сем городе. Сие зрелище, также всеобщая молва и удостоверения от многих, что никто почти из офицеров, упражнявшихся в таком же ремесле, целым не оставался, но все какой-нибудь из гнусных болезней сих сделались подверженными, впечатлело в сердце моем такой страх и отвращение, что я тогда же еще сам в себе положил наивозможнейшим образом от всех тамошних женщин убежать и от них, как от некоего яда и заразы, страшиться и остерегаться. А сие много мне и помогало в тогдашнее опасное время, и причиною тому было, что я никак не соглашался делать подзывающим нередко меня товарищам своим компанию и ходить вместе с ними в сумнительные и подозрительные дома, но охотнее сидел и упражнялся в своих работах.

Но все сии обстоятельства, и ниже самая охота моя к книгам и ко всяким любопытным упражнениям, не в состоянии б была спасти меня от них и от всех соблазнов и искушений, каким почти ежедневно подвержен я был от сих моих товарищей и друзей, употребляющих даже самые хитрости и обманы для запутания меня в сети, если б не вступила в посредство самая судьба и невидимую рукою не отвлекла меня от пропасти, на краю которой я находился. Она учинила сие, произведя вдруг совсем неожиданную в обстоятельствах моих и такую перемену, которая отлучила меня

от прежних товарищей моих, толико мне опасных, и положила препону к частому с ними свиданию, и произвела сие следующим образом.

Как правление всем королевством Прусским зависело тогда от нас, но для управления оным не определено еще было никакого особаго человека, а носился только слух, что прислан будет особый губернатор, то до того времени управлял всеми делами, относящимися до внутреннего управления сим государством, а особливо до собирания податей и доходов, некто из наших бригадиров по имени *Нумерс*. У сего человека были тогда в ведомстве все прусские правления, коллегии и канцелярии; но как все они наполнены были тамошними судьями и канцелярскими служителями, наших же никого с ними не было, то хотелось ему давно иметь в тамошней камере, имеющей в ведомстве своем все государственные доходы, кого-нибудь из своих офицеров, разумеющего немецкий язык и могущаго записывать все вступающие приходы и расходы и вносить в особливья, данныя от него книги. Такогого человека давно он уже мекал¹, но как в полках, стоявших тут до нас, не было никого к тому способного, то по пришествии нашего полку начал он расспрашивать и распроедывать, нет ли у нас такового.

Так случилось, что поговорить ему о том вздумалось с самим моим капитаном, г. *Гневушевым*, отправлявшим тогда должность плац-майора в городе, и судьбе было угодно, чтоб сему человеку не с другого слова рекомендовать к тому меня. Он, любя меня, наказыал столько обо мне и о способностях моих помянутому бригадиру, что он на другой же день от полку меня истребовал и тотчас препоручил мне вышеупомянутую комиссию.

Нельзя довольно изобразить, как удивился я, получив от полку вдруг и против всякаго чаяния моего, приказание, чтоб явиться к бригадиру Нумерсу, а в полку чтоб числить меня в отлучке. Я не знал тогда, что это значило и зачем меня к нему посылали. Но как во все продолжение моей службы я за правило себе поставлял, чтоб, не ведая, где можно найтить и где потерять, никогда самому собою ни в какую команду не набиваться, а куда станут посылать, не отбиваться, то без прекословия повиновался я сему повелению и на другой же день явился к моему новому командиру.

Господин Нумерс принял меня очень ласково и, поговорив со мною несколько по-немецки, приказал мне, чтоб я что-нибудь написал; и как

¹ Здесь: искал.

я по-немецки писал нарочито хорошо, то, сколько казалось, рукою моею был он очень доволен. Он в тот же час поехал со мною в камору и отдал меня на руки одному старичку советнику по имени *Бруно*, приказав ему препоручить мне то дело, о котором он с ним давно уже говорил, и иметь за мною смотрение.

Старичок сей показался мне весьма тихим и добреньким человечком. Он, обласкав меня, отвел тотчас в особливую и в побочную подле себя комнату и ассигновал мне для сидения место. И как книги белыя были у них уже готовы, то и показал мне, как и что мне в них писать, и дал все нужные наставления, почему и должен я был тогда же начинать свою работу и списывать с них по-немецки, что было предписано.

Таким образом сделался я вдруг из военного человека приказным, или, по крайней мере, должен был иметь дело уже не с ружьем, а с пером и чернилами. Перемена сия была мне тогда не весьма приятна. Комиссию моя была хотя и не трудная и состояла только в переписывании тетрадей со счетами, даваемых мне от помянутого старичка, в белыя шнуrowые книги, но обстоятельство, что я принужден был ходить в камору всякий день и сидеть в ней не только все утро до обеда, но и после обеда, до самого почти вечера, и ничего иного не делать, как писать и переписывать такое, что не лезло совсем в мою голову и было для меня непонятно, а что того хуже – сидеть один и в сущем уединении, в превеликой, скучной и темной палате, освещаемой только двумя закоптевшими окнами с железными решетками, и притом еще не под окнами, а в удалении от оных, следовательно, сидеть, как птичка, взаперти и препровождать наилучшее внешнее время в году не только в непрерывных трудах и работе, но и в прескучном уединении, не имея никого, с кем бы мог промолвить слово, – сие обстоятельство, говорю, было мне, а особливо сначала, когда дела было очень много, очень и очень неприятно и заставляло не один раз тужить о потерянной вольности, которою пользовался я до того времени и коею тогда мог уже наслаждаться только в одни праздничные и воскресные дни, да в немногие часы в полдни и перед вечером.

Со всем тем была перемена сия в обстоятельствах моих мне существенно полезна, и я и поныне не могу еще довольно возблагодарить судьбу, что она со мною тогда сие учинила, ибо я избавился чрез то от всех прежних моих опасностей, ибо как меня никогда не было дома, то все прежние мои друзья и товарищи мало-помалу и отлучились приходиться

ко мне то и дело для посещения и подзывания меня с собою в трактиры и другие увеселительные места для гулянья. А составив уже между собою общества и ватаги, упражнялись они в своих забавах и утехах, меня же, как некоторым образом от полку отлученного и к обществу их не принадлежащего, оставили с покоем и к ватагам своим не приобщали, чем я весьма был и доволен.

Другая и наиважнейшая польза проистекала от сей перемены та, что сим пребыванием моим в каморе власно как проложен был мне путь к другой, последующей затем и гораздо еще важнейшей перемене, которая обратилась мне в бесконечную пользу, как о том упомяну я впредь в своем месте.

Таким образом, сделавшись против всякаго чаяния оторванным и независимым от полку, начал я проводить совсем новый и для меня необыкновенный род жизни, которая сначала хотя показалась мне весьма скучною, но как ко всему привыкнуть можно, то в короткое время сделалась мне нарочито сносною, и я нимало уже на нее не жаловался, но, привыкнув мало-помалу к тихой и уединенной жизни, стал находить в оной несколько и удовольствия. Все тогдашнее мое время препровождается было следующим образом. В каждый день поутру, вставши и напившись чаю и одевшись, отправлялся я в путь к своей каморе. Разстояние от ней до моей квартиры было хотя и немалое и простиралось более нежели на полторы версты, однако хаживал я обыкновенно один и пешочком, и как, по счастью, кратчайший путь туда лежал по хорошим улицам и мостовым, то путешествия сии никогда мне не наскучивали, но хождение сие поспешествовало еще много моему здоровью. Пришед в камору, садился я обыкновенно за свой стол и, не сходя с места, проработывал до самого первого часа. В сие время надоедало мне только несколько мое уединение, ибо главные покои сей каморы, где было множество писцов, были от того места, где я сидел, несколько удалены, а тут находились только три комнаты, из коих в одной сидел помянутый старичок-советник, у котораго был я под надзиранием, в другой я, а в третьей, маленькой, главный приходчик или приематель собираемых доходов. Но как в немецких канцеляриях совсем не такая обыкновения, как у нас, и всеми канцелярскими служителями не предпринимается никакия вольности в разговорах и не препровождается время в смехах и балагуреньях, то всякий из них сидит, как вкопанный, на своем месте и занимается своим делом наиприлежнейшим

образом, и у них не только нет никогда шума и сумятицы, но наблюдается во всем благопристойность, тихость и совершенный порядок, – то и помянутыя оба соседа мои занимались всегда и столь прилежно своими делами, что мне в целые сутки не удавалось иногда промолвить с ними единого слова; о вступлении ж в какия-нибудь разговоры и помыслить было не можно. Сверх того, не только сии господа, но и все лучшие жители города Кёнигсберга вообще имели как-то некоторое отвращение от всех нас, русских, и власно как умышленно старались всячески от нас и от повереннаго, откровеннаго и дружелюбнаго обхождения с нами убегать и удаляться, почему и неудивительно, что хотя я немалое время при сей должности в каморе пробыл и хотя, оказывая обоим моим соседям возможнейшее учтивство, всячески старался с ними сколько-нибудь поближе познакомиться, однако все мои старания были тщетны. Они соответствовали мне таковыми ж только учтивостями, но более сего не мог я ничего от них добиться, ибо хотя я и ежедневно ожидал, чтоб который-нибудь пригласил меня из них когда не обедать, так, по крайней мере, на чашку кофея или чая, однако не мог я сего от них никогда дожждаться; самому же понаяниться¹ и к ним без зову ходить казалось мне непристойно. Словом, они казались мне сущими бирюками. Но таковых же бирюков нашел я в присутствующих при тамошней рентереи² и соляной конторе, в которыя через несколько дней должен я был ходить и по несколько часов просиживать в таковом же деле, то есть в записывании тамошних рентерейных и соляных доходов в особия книги. В обоих сих присутственных местах, находившихся в том же замке, где была и камора, делами управляли два стариченца, но оба они еще нелюдимее и несловоохотнее были моих соседей, так что я от сих мог ожидать еще меньше, нежели от прежних, ласки и дружелюбия.

Все сие сначала меня крайне удивляло, и я не однажды сам в себе с досадою помышлял и говорил: «Что это за бирюки и за черти здесь сидят? Ни к кому из них нет приступу и ни от кого не добьешься никакого дружелюбия и ласки!»

Но после, как узнал короче весь прусский народ и кёнигсбергских жителей, то перестал тому дивиться и приписывал уже сие не столько их

¹ Проявить себя нахалом, стать назойливым.

² Казначейство.

нелюдимости, сколько общему их нерасположению ко всем россиянам, к которым хотя наружно оказывали они всякое почтение, но внутренне почитали их себе неприятелями и потому от дружелюбного и откровенного с ними обхождения удалялись; а сверх того, умеренный и воздержный род их жизни, удаленной от всяких роскошей и излишеств, имел в том великое соучастие.

Но я удалился уже от порядка моего повествования, и теперь, возвращаясь к оному, скажу, что, препроводив помянутым образом все утро в непрерывном и скучном писании, по пробитии двенадцати часов выхаживал я вместе с прочими из каморы и возвращался на квартиру. Тут находил я всегда солдатский свой обед, изготовленный людьми моими, уже готовым, который хотя не таков был сладок, как мнимый прусский, но я никогда голодным не вставал из-за стола. Потом принимался я тотчас за рисование и, препроводив в оном и в других любопытных упражнениях с час и более времени, по пробитии двух часов отправлялся опять в путь в свою камору и просиживал там до самого почти вечера. По выходе же из оной и возвратившись домой, хаживал прогуливаться на корабельную пристань и в другие близ находящиеся места, а особливо по берегу реки Прегеля, и сматривал на плавающие по реке суда и на множество народа, упражняющагося на берегах в нагуживании и выгрузке судов. Когда же случался день воскресный или праздничный, в который в каморе не было заседания, тогда весь день употреблял я либо на рисование, либо на разгуливанье по всему городу и по всем лучшим частям онаго. Хаживал иногда к старичку своему полковнику, который унимал иногда меня у себя обедать и брал с собою вместе гулять в наилучший и славный тамошний Сатургусов сад, о котором упомяну я подробнее в своем месте. А как и кроме сего были в сем городе другие сады, в которых всякому гулять было можно, то, отыскивая оные, хаживал иногда и в оные гулять. В трактиры же очень редко захаживал, и то разве для того, чтоб напиться чаю и кофея и почитать газет иностранных; и как газеты тогдашняго времени были весьма любопытны и я узнал, что издавались они и тут в городе, то не преминул я взять и для себя оныя и насыщать ими свое любопытство.

Таким образом, привыкнув к сему новому и уединенному роду жизни, препроводил я несколько недель в наиспокойнейшем состоянии и жил, прямо можно сказать, в мире и тишине и был состоянием своим доволен. От прежних же своих товарищей сделался я так удален, что и сведения не

имел, что у них между собою происходило, да и узнать то всего меньше старался.

Но теперь время мне письмо свое кончать и сказать вам, что я есмь и прочая.

ОПИСАНИЕ КЁНИГСБЕРГА

Письмо 60-е

Любезный приятель!

Как в течение тех недель, которья, находясь при каморе, препроводил я вышеупомянутым образом в мире, тишине и спокойствии, имел я довольно времени и случаев осмотреть и узнать Кёнигсберг, то постараюсь я теперь исполнить то, что упустил в предследующих письмах, и описать вам сей столичный прусский город, дабы вы получили о нем некоторое ближайшее понятие.

Город сей лежит посреди всего королевства Пруссаго и может похвастаться приморским, ибо хотя стоит он не подле самого моря и открытое Балтийское море от него не ближе 70 верст, но как между оным морем и находится узкий и предлинный залив, называемый *Фрижским Гафом*¹, и в сей залив впадает река Прегель, от устья которой неподалеку Кёнигсберг на берегах оной воздвигнут, река же сия довольно глубока, то и пользуется он тою выгодою, что все морские купеческие суда и галиоты² доходят упомянутым гафом и рекою до самого онаго и тут производят свою коммерцию или торговлю.

Помянутая река протекает сквозь самый сей город, и как она в самом том месте, где он построен, разделившись на многие рукава, произвела несколько обширных и больших островов, то сии служат сему городу в особливую выгоду. Некоторые из сих ровных и низменных островов, перерытых многими каналами, покрыты наипрекраснейшими сенокосными лугами, производящими наигустейшую едкую³ и хорошую траву, которая в особливости достопамятна тем, что жители кёнигсбергские

¹ Фриш-гаф.

² Небольшое купеческое судно, галера.

³ Вкусную, сытную.

приготовляют из нее особенного рода крупу, известную у них под именем «*шваденгриц*»¹. Они в летнее время, когда вырастают на траве сей волоти, похожие на наши костеревые или роженичковые², отсекают оныя ситами и решетками и потом, высушив, обрушивают из них крупу, имеющую наиприятнейший вкус в каше. Осенью покрыты сии места несколькими тысячами пасомого на них скота и лошадей. Самые же ближние к городу острова заняты разными городскими строениями, и из них в особенности замечания достоин обширный и посреди самого города находящийся круглый остров, Потому что весь он застроен сплошным и превысоким каменным строением и составляет особую и наилучшую часть города.

Впрочем, город сей довольно обширен, имеет в себе великое число жителей и обнесен вокруг земляным валом с бастионами, а в стороне к морю, по левую сторону реки Прегеля, сделана небольшая регулярная четверугольная крепость или цитадель, называемая *Фридрихсбургом*, с установленными вокруг пушками. Но все сии укрепления не составляют дальнейшей важности, ибо как по великой обширности города содержание всех валов в хорошем порядке сопряжено было с великим коштом³, то и с многочисленным гарнизоном не может сей город порядочной и долговременной осады вытерпеть, и потому почесться может он более открытым купеческим и торговым городом, нежели крепостью. Со всем тем везде при въездах поделаны были порядочныя городския ворота и при оных содержались строгие караулы.

Что касается до внутренности сего города, то она разделяется сперва на самый город и на несколько обширных форштатов, кои, однако, не отделены от города никакою особою стеною, но совокупно с ним окружены вышеупомянутым земляным валом, а отличны от города только тем, что в них строения не таковы хороши и не таковы высоки, как в городе, а притом наиболее состоят из фахверков или кирпичных мазанок, как, напротив того, в самом городе находятся уже все сплошные и о несколько этажей каменные дома, сплоченные между собою наитеснейшим образом.

Впрочем, сей внутренний и лучший город имеет в себе три главные отделения, или части, известныя у них под именем «*Альтштата*», или

¹ Буквально — шведская крупа.

² Волоть — здесь: стебель, колос; костерь — растение из семейства злаков с крупными колосками — кормовая трава; роженичковые — стручковые растения; рожок — стручок.

³ Расходами.

старого города, «*Кнейтгофа*», которая часть находится на вышеупомянутом острове, и «*Лебенихта*». Каждая из сих частей составляет некоторым образом особый город, ибо каждая имеет особую свою ратушу, особую соборную церковь, особая свои публичные здания, особую торговую площадь и особое городское начальство. Что касается до так называемых форштатов, то сии состоят из предлинных и довольно широких улиц, простирающихся от помянутых главных частей города в разные стороны. Главнейшие из них называются: *Розгартен*, *Траггейм*, *Секгейм*, *Штейндам*, *Габерберг* и некоторые иные. Все сии форштаты, кроме нескольких дворянских домов, рассеянных по оным, состоят из посредственных и только в два этажа построенных домов.

Наизнаменитейшим из всех в Кёнигсберге находящихся зданий можно почесть так называемый замок, или дворец, прежних герцогов прусских. Огромное сие и, по древности своей, пышное здание воздвигнуто на высочайшем бугре или холме, посреди самого города находящегося. Оно сделано четверугольное, превысокое и имеет внутри себя четверостороннюю, нарочито просторную площадь и придает всему городу собою украшение, и тем паче, что оно со многих сторон, а особливо из-за реки, сверх всех домов видимо. В одном из четырех его боков, или фасов, во втором этаже находятся старинные герцогские покои, состоящие во многих залах и пространных комнатах, которые и в нашу бытность обиты были теми старинными ткаными обоями, которые находились еще в то время, когда в оных приниман был государь Петр I, когда он путешествовал с Лефортом по разным землям в посольской свите, и в коих покоях имеют пребывание свое прусские короли, когда они, по вступлении на престол, приезжают в Кёнигсберг для принятия присяги, которая пышная церемония производится на помянутой, внутри сего замка находящейся площади¹. А в прочее время живали в сих покоях главные правители и командиры над войсками, в сем королевстве находившимися, как и пред вступлением нашим жил в оных фельдмаршал их *Левальд*. Со всем тем во всех сих покоях не только нет никакого дальняго в убранствах великолепия, но они низковаты, темны и крайне невеселы, что, может быть, и подало повод прежним государям прусским один и лучший угол сего замка переделать и прибавить еще вверх два огромных этажа. Но неизвестно, для чего оба сии этажа

¹ Кёнигсберг был местом коронования прусских королей.

остались как-то не отделанными совсем, а только отработанными вчерне, и уже мы в последующие годы постарались сами один из сих этажей от-делать и убрать так, что непостыдно было никому, и даже самим королям, в нем жить. В нижнем этаже сего фаса находились кладовые, кухни, караульни и, наконец, на углу самая та камора, в которую я хаживал.

Оба другие и боковые фасаы содержали в себе множество покоев, стоящих отчасти впусе, отчасти занятых разными гражданскими главными правительствами и присутственными местами, а иные покои служили вместо магазинов для разных поклаж.

Что ж касается до последняго и четвертого фаса, лежащаго насупротив герцогских покоев, то вся внутренность его занята одною преогромной величины киркою, или придворною церковью, в которой на каждое воскресенье отправлялась два раза Божественная служба и собиралось великое множество народа.

Наконец, на одном углу сего фасада воздвигнута превысочайшая и претолстая четверугольная башня, не имеющая никакого шпица и купола; на плоском ее верхе выставлялось только большое знамя или флаг. Тут, под самым верхом, сделаны небольшие покойцы, и в них имеют всегдашнее жительство несколько человек трубачей и других музыкантов. Должность их состоит в том, чтоб содержать наверху сей башни непрерывный караул и смотреть, не сделается ли где пожара, который как скоро они усмотрят, то с того момента начинают играть на своих трубах особливые пожарные и набатные штуки. И дабы народ издали мог видеть и знать, в которой стороне пожар, то днем в ту сторону наклоняют помянутое знамя, а в ночное время высовывают в ту сторону шест с висящим на нем большим фонарем, чрез что народ и узнает, в которую сторону должно ему бежать для погашения пожара. Сие случалось самим нам видеть при бывших при нас несколько раз пожарах, и признаться надобно, что учреждение сие у них похвально и хорошо.

Кроме сего, примечания достойно, что под сею башнею и в самом сем угле находится у них публичная и старинная библиотека¹, занимающая

¹ Кёнигсбергская библиотека славилась своим богатым собранием рукописей, составленным главным образом из монастырских собраний. Болотов, определяя письмо немецких рукописей как полууставное, применяет к ним чисто русский термин и характеризует их условно и приблизительно. Полуустав – тип кирилловского письма, характеризующийся меньшей правильностью линий, чем устав, и большей закругленностью их. Полуустав более поздний (с половины XIV в.) тип письма, чем устав. В немецких рукописях аналогичный тип письма относится к XV в.

несколько просторных палат и наполненная несколькими тысячами книг. Книги сии по большей части старинныя и отчасти рукописныя, и мне случалось видеть очень редкие, писанные древними монахами весьма чистым и опрятным полууставным письмом, украшенным разными фигурами и украшениями из живейших красок. А что того удивительнее, то многие из них прикованы к полкам на длинных железных цепочках на тот конец, дабы всякому можно было их с полки снять и по желанию разсматривать и читать, а похитить и с собою унести было б не можно. Библиотека сия в летнее время в каждую неделю, в некоторыя дни, отворялась, и всякому вольно было в нее приходить и хотя целый день в ней сидеть и читать любую книгу, а наблюдали только, чтоб кто с собою не унес которой-нибудь из оных. И дабы чтением сим можно б было удобнее всякому пользоваться, то поставлены были посреди палаты длинные столы с скамейками во круг, и многие, а особливо ученые люди и студенты, действительно пользовались сим дозволением, и мне случалось находить их тут человек по 10-ти и по 20-ти, упражняющихся в чтении.

Кроме книг, показываются в библиотеке сей некоторыя и иные редкости, но весьма немногия; и наидостойнейшие замечания были портреты Мартина *Лютера* и жены его Катерины *Деворы*, о которых уверяли, якобы они писаны с живых оных.

Наконец, входов и въездов в сей замок только два: один с переднего фаса, большой, наподобие городских ворот, темный, под палатами, а другой под киркою, маленький и равно как потаенный. А сверх того, было в камору наружное крыльцо с портиком для прямейшего входа в оную.

Впрочем, перед замком находилась небольшая площадь, с которой в разные стороны простирались три больших и несколько маленьких и кривых улиц. Одна из больших шла в сторону, кругом замка, к Штейндамскому форштату и знаменита тем, что на оной стоят наилучшие и огромнейшие каменные дома, принадлежащая наизнаменитейшим прусским вельможам и нескольким принцам и графам; а другая, ведущая к Розгартенскому предместью, называлась *французскою* и достопамятна отчасти тем, что жили в ней все французы и имели под домами своими наилучшия французские лавки со всякими товарами, отчасти же тем, что построена была на преширокой плотине одного предлинного и преширокого пруда посреди города, неподалеку от города находящагося, и на одной неболь-

шой речке, впадающей со стороны в Прегель, запруженной. Улица сия была весьма хороша и так построена, что никак узнать было не можно, что она находилась на плотине, ибо за сплошным каменным строением воды вовсе не видать было. Что ж касается до третьей большой, то сия шла под гору в ту часть города, которая называлась *Альтштатом*.

Что принадлежит до сих главных частей города, то первая, называемая Альтштатом, или Старым городом, находилась под горою между замком и рекою Прегелем и состояла вся из превысоких узких и сплошь друг против друга в несколько этажей построенных каменных домов, разделяющихся на несколько кварталов узкими, темными и на большую часть кривыми улицами, какия везде в старинных европейских городах были в обыкновении. Посредине же в сей части находилась нарочито просторная четверугольная продолговатая площадь, окруженная вокруг такими же сплошными высокими домами. Площадь сия достопамятна тем, что в конце оной находятся наилучшие ряды или лавки с разными товарами, а на самой площади в каждую неделю, по субботам, проводились торги мясными и другими съестными припасами. И в сии дни площадь сию никак узнать не можно, ибо вся она в один час застраивалась множеством маленьких деревянных, но порядочных разборных лавочек, которыя все под вечер паки разбирались, и площадь к воскресенью очищалась так, что на ней не было ни одной соринки. Сие обыкновение показалось нам сначала очень странно, но после не могли мы тем довольно налюбоваться.

К знаменитейшим публичным зданиям, в сей части находящимся, можно почесть, во-первых, соборную их церковь, или кирку, которая была хотя старинная, построенная в готическом вкусе с превысоким шпиком, но имела в себе пребогатые органы, стоящие несколько десятков тысяч и достойные зрения; во-вторых, главнейшая городская ратуша, составляющая довольно великое и порядочное здание, воздвигнутое подле самой площади. Для содержания подле оной караула было у них несколько десятков человек городских престарелых солдат, которых особливому и смешному мундиру мы довольно насмеяться не могли. В-третьих, подле той же площади находился у них так называемый общественный городской дом, имеющий в себе несколько покоев и одну преогромную залу, в которой отправлялись у них общественные совещания и торжества, также свадебные балы, как о том упомянется впредь, когда я о сих свадьбах в особенности пересказывать буду.

Что касается до второй части, называемой *Кнейтгофом*, то сия уже многим знаменитее и лучше вышеупомянутой первой. Она находится, как уже прежде упоминаемо было, совсем на острове, окружена вокруг водою и отделяется от Альштата одним только узким рукавом реки Прегеля. Строение в оной хотя также сплошное каменное, с узкими улицами, но улицы сии уже несколько прямее; а поелику живут в ней все наиболеешие купцы, то есть и домов хороших множество. Но ни которая улица не достойна такого замечания, как так называемая длинная *Кнейтгофская*, которую наши прозвали *Мильйонною*. Она пересекает всю сию часть вдоль и имеет сообщение с обоими мостами, которыми связан остров с Альштатом и Габербергским форштатом и из коих один глухой, а другой подъемный, для пропуска судов. Название улицы сей и не неприлично, потому что из купцов, живущих на ней, есть многие мильйонщики и улицу сию можно почесть наилучшею и богатейшую во всем городе; но дома и на ней все сплошные, староманерные, превысокие, этажей в пять или в шесть и чрезвычайно узкие, а единая ширина и прямизна придают ей наилучшую краску.

Главная церковь в сей части находится посредине острова и достопамятна тем, что в ней погребались прежния прусские герцоги и наизнаменнейшие люди и что она украшена многими прекрасными мавзолеями и надгробиями, также увешана многими трофеями и знаменами. В переднем конце оной, за алтарем, сделана решетчатая железная перегородка и за оною, посреди пространного ниша, воздвигнута высокая и широкая четверугольная гробница, наверху которой – некто из старинных прусских владетелей, лежащий в полном росте вместе со своею женою. Но сей мавзолей далеко не так хорош, как другой, находящийся в самой церкви, подле стены. Тут, за вызолоченною решеткой, лежал над могилою своею некто из древнейших прусских вельмож, бывший государственным канцлером, высеченный с преудивительным искусством в полном росте из наибелейшего мрамора. Он изображен лежащим, как живой, на боку, и в такой одежде, какую тогда нашивали, и, подпершись одною рукою, находился власно как в глубоких размышлениях. Все сие изображено так искусно, что не можно довольно тем налюбоваться; на стене же, против сего места, вставлена черная мраморная доска с золотою латинской эпитафиею. Впрочем, кирка сия была хотя огромная, но самая старинная, построенная в готическом вкусе.

Неподалеку от сей церкви находился славный Кёнигсбергский университет и, поблизости его, дома тамошних профессоров и других ученых людей. Но университет сей ни наружностью, ни внутренностью своей не мог приводить в удивление, ибо здание онаго было самое простое и старинное, и самая аудитория не составляла никакой важности. Со всем тем по существу своему был сей университет не из последних и училось в нем великое множество всякого звания людей, и в том числе много и знатных.

Ратуша сей части города, также и общественный дом не составляли дальней важности, а более их примечания достойна была биржа, построенная на берегу подле зеленого подъемного моста. Она составляла превеликую залу с сплошными почти окнами вокруг, и в ней сходятся все купцы для разговаривания между собою о торговле.

Что принадлежит до третьей главной части города, носящей на себе название *Лебенихта*, то сия находится рядом с Альштатом и всех прочих менее примечания достойна. Я не нашел в ней ничего особливаго, кроме католического монастыря и церкви, довольно великой и гораздо более украшенной, нежели лютеранские.

Разказав сим образом о главных частях города, упомяну теперь нечто о форштатах и о том, что в них есть примечания достойнаго. Наилучшим и величайшим из них можно почтить *Габербергский*, то есть, который находится за рекою, потому что он составляет целую часть города, имеет в себе широкую и предлинную улицу, которая около Петрова дня наполнена бывает безчисленным множеством народа, потому что в сие время бывает тут годовая ярмонка, о которой иметь я буду случай поговорить в другом месте. Сверх того находится в сем форштате и жидовская синагога, составляющая нарочито изрядное каменное здание.

Штейндамский ничего в себе особливаго не имеет, кроме своей кирки, которая достопамятна тем, что она наидревнейшая и нами обращена была потом в нашу российскую церковь.

Сакгеймский форштат сам по себе ничем не достопамятен, но между ним и Траггеймским форштатом находилось парадное место, которое достойно некоторого замечания. Оно составляет нарочито просторное, ровное и луговую травю порослое место, весьма способное для обучения и экзерцирования войск, почему и наши войска обыкновенно тут учивались. Кроме сего, достопамятна она тем, что на оном построена прекрасная ка-

менная лошадиная мельница о множестве поставов¹, и работают в ней без-прерывно по 16 лошадей.

Траггеймский форштат достопамятен, во-первых, тем, что имеет в себе множество господских и нарочито изрядных и больших домов; во-вторых, выгодным своим положением, подле вышеупомянутого большого пруда, между ним и Розгартенским форштатом находящимся. Верхняя часть сего прекрасного и более на маленькое длинное озеро походящего пруда окружена сплошными садами, позади домов обоих сих форштатов находящимися, а нижняя – сплошными, каменными вплоть по воду построенными домами; посередине же, для сообщения обоих сих форштатов, сделан предлинный, узенький и только для пеших мост.

Что касается до помянутого *Розгартенского* форштата, то он достоин примечания как величиною своею, так и садами, а не менее и многими дворянскими домами, в нем находящимися, каковых также множество и по улице, идущей в сторону к Гумбинам, где, между прочим, находится и королевский дворец, но который составлял тогда очень небольшой и таковой каменный домик, каких у нас в Москве несколько сот найти можно, и стоял порожний. На конце ж сей длинной улицы находится сиротский дом, составляющий изрядное, но не очень большое каменное здание.

Кроме всех сих и некоторых других форштатов, достоин также замечания тот, который простирается вдоль по берегу реки Прегеля и лежит против крепости, и был самый тот, где имел я свою квартиру, ибо полк наш расположен был весь по вышеупомянутым форштатам. Сей достопамятен как находящеюся в нем судовою пристанью, так и корабельною верфию, а не менее вышеупоминаемыми шпиклерами, или магазинами для хлеба, соли и других крупных товаров, сгружаемых с барок. Впрочем, как весь сей форштат лежит под горою и на низком и ровном положении места, то разрезан он многими и довольно широкими каналами, коих вода имеет совокупление с рекою Прегелем. Кварталы между сими каналами заселены в иных местах домами, в иных засажены садами, а в иных осажены только деревьями и содержат в себе наилучшие луга: но ни который из них так не достопамятен, как тот, на котором находится сад одного наибогатейшего купца по имени *Сатургус*. Сад сей хотя не очень обширен, но почестья может наилучшим во всем Кёнигсберге, ибо он не только рас-

¹ Постав – пара жерновов.

положен регулярно, но и украшен всеми возможнейшими украшениями. Хозяин, будучи любопытный, ученый и богатый человек, наполнил оный многими редкими вещами. Есть у него тут богатая оранжерея, набитая разными иностранными произрастаниями; есть менажерия, или птичник и зверинец, в котором содержится множество редких иностранных птиц и зверьков; есть многие прекрасные домики и беседки. В одном из оных находится маленькая кунсткамера, или довольно полный натуральный кабинет. И как мне еще впервые случалось тут таковой видеть, то не мог я довольно налюбоваться зрением на множество редких и никогда мною не виданных вещей, а особливо на преогромное собрание разных руд, окаменелостей, камней, разных раковин, разных птичьих яиц, разных птичьих чучел, а паче на превеликое собрание янтарных штучек с находящимися внутри их мушками и козявочками, которыми навешан у него целый комод и коих число до нескольких тысяч простирается. Другой домик, в котором обыкновенно угощал он своих гостей, вместо обоев украшен картинами, в коих наклеплены за стеклом натуральные бабочки и коих видел я тут несметное множество. Что же касается до самага сада, то наполнен он безчисленным множеством цветов и хорошими плодоносными деревьями, а стены прикрыты превысокими персиковыми и абрикосовыми шпалерами. Есть также тут множество разными фигурами обстриженных деревьев, а площади все украшены множеством изрядных фонтанов. Вода для сих фонтанов втягивается насосами из канала, подле сада находящагося, в большой свинцовый бассейн, сокрытый в построенной нарочно для сего на углу сада прекрасной башне, внизу которой сделана изрядная беседка и в ней колокольная игра, производимая тою же водою. Все сии зрелища были до того мною не виданныя, и потому всякий раз, когда ни случалось мне в саду сем бывать, производили мне много удовольствия.

Впрочем, можно сказать, что город сей во всем имеет изобилие, и жители онаго живут довольно хорошо, однако умеренно и без всяких почти излишеств. Не приметно между ними никакого дальняго мотовства и непомерности. Все наилучшие люди ведут жизнь степенную и более уединенную, нежели сколько надобно, карет и богатых экипажей у них чрезвычайно мало, а все ходят наиболее пешком. В домах прислуга у них очень малая. Есть варят у них обыкновенно женщины, которыя сами и покупают к столу все нужное, а вкупе и отправляют должность лакеев; когда господам их вздумается иттить в церковь, или куда в гости, или куда в летнее

время прогуливаться, они провожают их и ходят вслед за ними, что для нас было сперва очень удивительно. Единое только мне не понравилось, что дома у них, а особливо в лучших частях города, очень тесны и беспокойны; редкий из них занимает сажен пять в ширину, а большая часть не более сажен двух или трех шириною, и при том все покои в них имеют окна в одну только сторону, и очень немногия освещены тремя окнами, а по большей части в них по два окна, ибо обе боковые стены, по причине сплошного строения, у них обыкновенно глухие.

Недостаток сей заменяется у них высотой здания и множеством этажей, из которых один другого ниже. Но сие приносит с собою ту неудобность, что всходить в верхние этажи должно всегда темною и самую беспокойною круглою лестницею, ощупью; ибо как у них в каждом этаже только по два покоя, из которых один окнами на улицу, а другой назад, то между ими находятся темные сенцы, где идет сия лестница и вкупе находятся очажки, где варят они себе есть. Дворы есть у весьма редких домов, да и те очень тесные, а у прочих хотя и есть, но наитеснейшие, да и в те вход только сквозь дома, а ворот порядочных нет; да и служат они более для поклажи только дров. Входы же в дома поделаны везде с улицы, и двери в сени всегда разрезные, надвое, но не вдоль, а поперек, дабы верхняя половина могла быть днем отворена для произведения света в сенях, а нижняя затворена для воспрепятствования входа всякому. Впрочем, примечания достойно, что в наилучший их Кнейпгофской, или Мильйонной, улице и в лучшие дома крыльца поделаны везде деревянные, но никогда почти не гниющие, а имеющие вид чугунных, так что и узнать никак не можно, что они деревянные. Сие производят они повторяемым чрез каждые два или три года вымазывании их разваренною смолою и усыпанием потом железною окалиною из кузниц, чрез что производится на них власно как чугунная корка, не допускающая их согнивать от дождя и ненастья. Число всех домов в городе простирается до 3800, а жителей – 40 тысяч.

Ходьба и езда по городу довольно спокойная, потому что все улицы вымощены диким камнем и мостовая сия содержится всегда в хорошем состоянии; в ночное же время, а особливо осенью и зимою, освещаемы бывают все улицы фонарями. Однако в тесных городских улицах досадная неудобность бывает та, что по ночам всякую нечисть и сор выкидывают из домов на улицы, которая хотя ежедневно особыми и нарочно к тому определенными людьми счищается и свозится долой, но нередко бывает

от того дурной запах и духота, заражающая воздух, и от того нижние покои обыкновенно бывают очень скучны и от узкости улиц темны.

Церквей в Кёнигсберге всех 18, из коих 14 лютеранских, 3 кальвинских и 1 римско-католическая. Большая часть оных построена в готическом вкусе, с предлинными шпицами на колокольнях; однако есть и без оных и воздвигнуты во вкусе новой архитектуры, однако немногия.

Водою снабжен сей городок довольно, ибо, кроме реки Прегеля и помянутаго пруда, поделаны по всем улицам множество колодезей, над которыми построены власно как маленькия карауленки и башенки и вставлены насосы, и вода получается качанием сбоку из оных.

Кроме сего, есть в сем городе несколько больших ветряных мельниц, довольно хорошо устроенных, а сверх того, и прекрасная водяная о множестве поставов, построенная на той речке, на которой пруд пониже плотины, и скрытая так, что ее вовсе неприметно.

Сего довольно будет на сей раз во известие о сем городе, ибо о прочем упомянуто будет подробнее впредь, при других случаях. В будущем моем письме возвращусь я к прерванной нити моего повествования и буду рассказывать вам, что со мною в сем городе случилось далее и что подало повод ко второй и той перемене в обстоятельствах моих, от которых проистекли последствия, имевшие на все благоденствие жизни моей наивеличайшее влияние. А поелику теперешнее письмо мое уже слишком увеличилось, то дозвольте мне оное сим кончить и, уверив о непрременной моей к вам дружбе, сказать вам, что я есмь навсегда ваш и прочая.

Конец

пятой части



ЧАСТЬ VI

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ МОЕЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ И ПРЕБЫВАНИЯ МОЕГО В КЁНИГСБЕРГЕ 1758–1759

ПРЕБЫВАНИЕ В КЁНИГСБЕРГЕ

Письмо 61-е

Любезный приятель!

Разсказывая вам в предследующих письмах о том, что происходило со мною во время пребывания моего в Кёнигсберге, остановился я на том, как я жил при тамошней каморе и упражнялся в письменных делах. Теперь, продолжая повествование мое далее, скажу, что колико жизнь сия была мне сначала трудновата и скучна, толико сделалась потом приятна и весела. Вышеупомянутым образом и до обеда, и после обеда в камору ходить и безпрестанно писать принужден я был только сначала и не более двух недель, ибо в сие время надлежало мне вносить в книгу все приходы и расходы, бывшие с начала вступления нашего в Пруссию до моего определения в камору. Но как я сию трудную работу совершил, то письма мне было гораздо меньше и, наконец, сделалось столь мало, что мне и в целый день не доставалось написать по странице. Следовательно, небольшую сию работу мог я в полчаса оканчивать, и мне не только уже не было нужды ходить после обеда в камору, но я и по утрам иногда совсем дела не имел и мог, с дозволения старичка моего советника, отлучаться, а иногда и целый день оставаться дома.

Сие обстоятельство, доставлявшее мне более досуга и свободного времени, было мне сколько, с одной стороны, приятно тем, что я множайшее время мог посвящать на собственные мои упражнения и жить по своему произволу, не заботясь ни о чем и не опасаясь, чтоб послали меня куда в команду или в караул, столько, с другой, – предосудительно и вредно тем, что нечувствительно начало меня опять сближать с прежними моими друзьями и знакомцами. Все они завидовали моей спокойной и праздной почти жизни, и многие не преминули начать опять меня почасту навещать, как скоро узнали, что я получил более свободного времени и послеобеденные часы провожаю дома. Таковыя посещения их были мне хотя и непротивны, но вредны тем, что, в соответствие оным, должен был и я иногда ходить к оным и терять время в упражнениях совсем пустых и нимало склонностям моим не соответствующих. Они занимались наиболее либо игрою в карты, либо в разговорах не только ничего не значащих, но иногда прямо соблазнительных и негодных, а во всем том не находил я вкуса, но принужден был только смотреть и слушать. Из всех их не было ни одного, который бы имел сколько-нибудь склонности, подобные моим, и с которым мог бы я с удовольствием заниматься в разговорах о делах, мне более увеселение приносящих. Но и самые те, которыя были сколько-нибудь других получше и поумнее, в немногия недели пребывания своего в сем городе так развратились, что не похожи уже были сами на себя и не можно было уже от них ни одного почти степеннаго слова и порядочнаго разговора слышать. Со всем тем по необходимости должен я был иметь с ними частые свидания, и когда не брать во всех их делах и упражнениях действительнаго соучастия, по крайней мере, с ними обходиться и нередко вместе препровождать время, а особливо в гуляньях.

Все сие подвергало меня опять великой опасности, чтоб мало-помалу не заразиться таким же ядом распутства, каким все они заражены были.

Но никогда я столь в великой опасности от них не был, как во время бывшей около сего времени в Кёнигсберге превеликой ярмонки. Ярмонка сия бывает тут однажды в году и, начавшись недели за две до Петрова дня, продолжается до самаго онаго, и как съезд на оную бывает не только из всей Пруссии, но и из всего королевства Польского, то стечение народа было тогда преужасное. Весь город находился в движении, и все наизнатнейшие улицы кипели обоего пола народом. Для меня, не выдавшего еще никогда таких больших ярмонок, было зрелище сие колико ново и

удивительно, толико же и приятно. Паче всего обращали внимание мое на себя польские жида, которых съезжалось на ярмонку сюда до нескольких тысяч. Странное их черное и по борту испещренное одеяние, смешные их скуфейки и весь образ их имел в себе столь много странного и необыкновенного, что мы не могли довольно на них насмотреться. А как и сверх того ходило по улицам множество и других разных народов, в различных одеждах и нарядах, то представлялись всякий день глазам новые и до того невиданныя предметы. В особенности же наполнена была преужасным множеством народа вся заречная часть города, носящая на себе имя *Габерберга*. Тут одна длинная и широкая улица вмещала в себе онаго до нескольких тысяч, потому что она была главным центром всей ярмонки, и на ней не только производилась наиглавнейшая торговля, но и все обыкновенные в немецких землях ярмоночныя увеселения. К сим в особенности принадлежал народный театр, сделанный посреди улицы и совсем открытый. Однако не думайте, чтобы театр сей составлял какую важность. Нет, любезный приятель, сии ярмоночные театры не имеют почти и тени театров, а носят только одно звание оных. На сделанном из досок на нескольких козлах и аршина на три от земли возвышенном помосте устанавливаются с боков и с задней стороны кой-как размазанные кулисы, из-за которых выходит одетый в пестрое платье усатый гарлекин и, при вспоможении человек двух или трех комедиантов или комедианток, старается разными своими кривляниями, коверканиями, глупыми и грубыми шутками и враньем, составляющим сущий вздор, смешить и увеселять глупую чернь, смотрящую на него с разинутыми ртами и удивлением. Не бывает тут никакого порядка и никакой связи в представлениях, а все действия и вранье сих представляющих лиц было столь нелепо и несвязно, что без чувствования некоего отвращения на них смотреть и вздор говоренный ими слушать было не можно, а надлежало разве быть столь же глупу, каков был глуп народ, буде хотеть зрелищем сим увеселяться. Несмотря на то, театр сей окружен был всегда безчисленным множеством зрителей, и весьма многие из них изъявляли превеликое удовольствие; а сего уже и довольно было для комедиантов, имеющих обыкновенно при том свои особливые виды. Ибо надобно знать, что люди, увеселяющие сим образом народ своими глупыми комедиями, не получают от онаго себе за то никакой зарплаты, а употребляются к тому из найма содержанием театра, который обыкновенно бывает так называемый *«маркирейер»* (торговый

крикун), или продаватель обманных лекарств, и средство сие употребляют единственно для привлечения народа к своему театру как к месту, с которого он продавал свои лекарства.

К сей продаже приступал он несколько раз в день и всякий день после сыгrania комедиантами какой-нибудь штучки. Не успеет она окончиться, как выступает он на театр с своими ларчиками и аптечками и начинает, вынимая из оных каждое лекарство поодиночке, показывать народу и с превеликим криком рассказывать и выхвалять удивительные его действия и силы. Смешно было всякий раз смотреть на сии действия и на усерднейшия старания его обманывать народ и уверять каждого о мнимой достоверности его лекарств, а того смешнее, что народ и давал себя обманывать и покупал у него оныя с превеликою охотою. Не успеет он показать какое лекарство, рассказать о его силах и действиях и объявить оному цену, как в тот же миг полетят к нему из народа множество платков, бросаемых к нему от желающих оное купить, с завязанным в них толким числом денег, какое было от него объявлено. И тогда начинает он при вспоможении двух или трех мальчиков обирать сии деньги и, завязывая в те платки лекарства, подавать оныя с театра их хозяевам. По удовольствовании всех одним лекарством вынимает он другое, а потом и третье, и так продолжает со всеми и препровождает в том несколько часов времени и до тех пор, покуда толпа народа еще велика. А как скоро народ поразойдется, тогда он уходит за кулисы, а на место его выходят опять комедианты и начнут сзывать опять народ для слушания и смотрения новой комедии; и как довольно онаго соберется, то начинается опять комедия и опять после ей расхваливание и продажа лекарства.

Способ сей выманывать у глупаго народа деньги показался нам по необыкновенности весьма странным и удивительным. Однако обманщик сей не только не оставался никогда внакладе, но выманывал от народа множество денег, хотя в самом деле все лекарства его состояли из сущих безделиц и ничего не стоящих вещей, как, например, порошков, пилюль, пластырьков, корешков и других тому подобных вещиц, которыя все далеко таких действий не производили, какия им проповедуемы были.

Впрочем, как на ярмонку сию съезжались из разных немецких и лучших городов множество купцов с разными товарами и оныя действительно можно было дешевле доставать купить, нежели в другое время, то оттого действительно весь город сей был в движении, и не оставалось дома,

из котораго б жители обоего пола, а особливо в красные и хорошие дни, не выезжали и не выходили на ярмонку, и когда не для покупания, так для смотра и гуляния по оной. Одним словом, все помянутыя две недели, в которыя продолжалась сия ярмонка, можно было почитать непрерывным для сего города торжеством и праздником, и в красные дни можно было всех жителей онаго видеть на улицах в наилучшем их убранстве и одеждах.

Все сии обстоятельства, а особливо последнее и побуждало всех наших господ офицеров посещать ярмонку сию ежедневно. Мы хаживали на оную каждый день, собираясь толпами и компаниями, и препровождали большую часть времени своего в разгуливании по оной и по всему городу, и делали сие не столько для покупания товаров, как для смотра на народ и на всех жителей Кёнигсберга и узнавания оных. Многие из нашей братии, а особливо проворнейшие из прочих, дожидались случая сего уже давно с нетерпеливостию как такого, при котором удобнее можно было им спознакомиться с теми из жителей кёнигсбергских, с которыми желали они в особенности свести знакомство и получить вход в такая дома, в которых находили они что-нибудь для себя привлекательное. И некоторым из сих и удавалось достигать до искомого ими. Другие, напротив того, искали случаев к сведению вновь знакомства с приезжими из Польши, а особливо с тамошними дворянками, и употребляли разныя хитрости и обманы к обольщению оных. Иные с такими же мыслями шатались всюду и искали себе знакомиц из молодых тутошних жительниц. У множайших же на уме были одни только игры, мотовство и самое распутство, а иные делали того хуже. Они упражнялись в разных забиячествах и непростительных шалостях, а иногда и самых непотребствах. Словом, ярмонка сия была для всех прямо соблазнительным временем, и было б слишком странно, если б хотеть описывать мне все то, что тогда офицеры наши делали и предпринимали и к каким шалостям и безпутствам ярмонка сия многим подала повод.

Теперь вообразите, любезный приятель, какой опасности подвержен был тогда я, живучи посреди такого общества и принужден будучи всякий день бывать с такими людьми вместе и совокупно с ними повсюду ходить по всему городу и делать им компанию. Ибо при таком всеобщем движении народа и по бывшей тогда наипрекраснейшей погоде не можно было никак усидеть одному дома; да хотя бы я и хотел, так товарищи мои

меня до того никак не допускали и, заходя ко мне, неволею вытаскивали. И я истинно не знаю, что б со мной и было и как бы мне сохраниться от всех зол и соблазнов, которым я мог подвержен быть при сем случае, если б продолжалось сие так долго. Единое средство, употребляемое мною к спасению моему, было только то, что я удалялся, сколь мог, от ватаг самых негоднейших из нашей братии, а прилеплялся наиболее к таким, которые были сколько-нибудь прочих постепеннее. Однако, как и сии не совсем от яда тогдашних распутств освобождены были, то никак бы мне не можно было уцелеть и от повреждения сохраниться, если б паки не помог мне особливо и всего меньше мною ожидаемый случай и невидимая рука Господня не отвлекла меня паки силою от бездны, по краю которой я тогда бродил и шатался. Ибо случилось же так, что в самое то время, когда проклятая ярмонка сия были в наивеличайшем своем движении, когда товарищи мои к гулянию с собою так меня приучили, что я уже охотно с ними начинал ходить и приглашениям их последовать, и когда некоторые из них, как я после узнал, составили против меня тайный скоп¹ и заговор и, приготовив для меня сущую пасть² и такой соблазн, от которого было б мне весьма трудно освободиться, пришли нарочно за мною, чтоб, меня подозвав, вести с собою, власно как невинную жертву на погубление, – в самое то время, когда я, ни о чем о том не зная, не только иттить с ними соглашался, но уже с крыльца квартиры сошел... прибежал ко мне, почти без души, нарочной от командира моего, бригадира моего Нумерса, с повелением, чтоб я не шел, а бежал тотчас к нему и не медлил бы ни единыя минуты дома, ибо-де есть до меня крайняя надобность.

Я удивился и не знал, что думать о сем нечаянном и столь поспешном призыве. Дело сие было совсем для меня необыкновенное. До того не случалось еще ни однажды, чтоб командир сей присылал за мною и на что-нибудь спрашивал, и я имел столь мало до него дела, что иногда в целую неделю не случалось мне с ним не только говорить, но его и видеть. «Уж не просьба³ ли какая от кого на меня? – думал я сам в себе. – И не к ответу ли какому меня спрашивают?» Известно было мне, что нередко такая жалобы приносимы были начальникам на офицеров полку нашего, а особливо на тех, кои склоннее были прочих к буянствам и всякого рода

¹ Группа, общество; современное – действовать скопом.

² Провал, пропасть, ловушка, западня.

³ Вместо – прошение, жалоба.

шалостям, и что некоторые за то и наказываемы были. К вящему усугублению смятения моего, вспомнилось мне, что одна такая шайка оных в самый предследующий перед тем день произвела на ярмонке буянством своим превеликий шум и смятение и что мне нечаянным образом при том быть случилось, и я знал, что на них просить тогда собирались. «Ах, – думал я, – уж не на сих ли друзей просьба и не замешали ль просители и меня в свое дело?»

Сердце у меня затрепетало при напоминании сего происшествия, и вся кровь во мне взволновалась. Я хотя никак не замешан был в это дело, но, случившись нечаянно при том, старался еще их унимать и уговаривать; но дело само по себе было очень дурно и скверно. Некоторым из наших молодцов самых безпутнейших офицеров случилось увидеть целую компанию молодых девушек, гулявших по ярмонке. Они, прельстясь красотой оных, подольнули к ним, как смола, и старались нахальнейшим образом с ними познакомиться. Сперва подступили они к ним с разными ласками, учтивствами и приветствиями, и как сие им удалось, то некоторые из них, бывшие, к несчастью, тогда подгулявшими, поступили далее и стали предпринимать уже с ними некоторые оскорбительные вольности и, между прочим, подзывать их в гости, на квартиру одного из них, подле самого того места бывшую, и один даже до того позабылся, что восхотел одну из них насильно поцеловать. Девушкам сие не полюбилось, все они были не самого подлаго состояния, но, как думать надобно, дочери средственного состояния тамошних мещан, и не на такую руку, чтоб могли желаньям господ сих соответствовать. Они тотчас начали кричать и звать к себе своих матерей и родных, покупавших тогда товары в другой лавке, и жаловаться им на делаемое оным оскорбление. Сии вступились за них, и один мужчина начал им выговаривать. Господам нашим показалось сие досадно. Они соответствовали ему грубостями и презрением. Тот, случилось также, был неуступчивым. Он отвечал им тем же. Они начали браниться, и сие произвело между ними ссору и такой шум и крик, что сбежалось к месту сему множество народа. Мне случилось в самое то время иттить с одним из моих приятелей по самой сей улице и увидеть сию превеликую кучу народа и слышать крик сей. Из единого любопытства восхотели мы подойти ближе и узнать тому причину. Но как удивились мы, увидев целую шайку наших офицеров, шумящих и бранящихся с пруссаками, и одного даже до того разъярившегося, что он ударил одного из них в рожу

и, схватя за волосы, хотел таскать и бить палкою. Мы бросились оба и, не допустив его до сего глупого предприятия, старались развести ссору. Нам сие и удалось, хотя не без труда, исполнить, ибо что касается до наших, то сих мы скоро уговорили перестать дурачиться; но не таково легко было успокоить раздосадованных пруссаков, а особливо разъярившегося родственника обиженных. И единое знание мое немецкаго языка помогло мне уговорить сего немца и взвалить всю вину сего происшествия на то обстоятельство, что обидевший его родственник и самого его офицер был подгулявши и не в полном тогда уме и разуме. Сим прекратилась тогда сия ссора, однако немец сей пошел, угрожая не оставить этого дела втуне, а употребить где надлежит просьбу.

Сие досадное происшествие пришло мне тогда на память, и я не сомневался почти, что сей немец произвел просьбу, и догадывался, что, конечно, уж те офицеры сысканы и меня спрашивают для свидетельства и объяснения всего происходившаго. Я расспрашивал у присланного унтер-офицера, не знает ли он, зачем меня призывают и нет ли от кого какой просьбы и жалобы.

«Не знаю, – отвечивал он, – только людей у губернатора много, и мужчин и женщин, и многие из немцев подавали ему бумаги». – «Как? У губернатора? – спросил я, удивившись. – Разве ты от губернатора послан?» – «Нет, – говорил он, – но я у губернатора при ординарцах, а послал меня господин бригадир Нумерс. Они вышли от губернатора с обер-комендантом и плац-майором и приказали мне бежать скорее к вам и сказать, чтоб вы изволили тотчас притти к ним в замок».

Сие привело меня еще в пущее смущение. Я не сомневался уже, что послано за мною по приказанию губернатора, и не понимал, какая б нужда была до меня губернатору, котораго мы еще и не видали, потому что он накануне того дня только приехал. Все товарищи мои так же тому дивились и не знали, что думать. Но как медлить мне было не можно, а надлежало итти, то распрощались они со мною, изъявляя сожаление свое о том, что не будут они иметь меня в тот день с собою и что я не буду иметь соучастия в том увеселении, которое они приготовили. Я не знал тогда, что слова сии значили, и не о том тогда думал, чтоб расспрашивать их о чем; но после узнал, что имели они самое гнуснейшее намерение и что меня сим нечаянным оторванием от их шайки сама пекущаяся о благе моем судьба похотела спасти от превеликаго соблазна и искушения.

По отходе их не стал я и медлить, но, узнав, что мне надобно иттить в квартиру самого губернатора, спешил только надеть скорее иной мундир и, поправив волосы, пустился в путь свой, имея сердце свое далеко не на своем месте и углубившись в различные размышления, так что не видал почти дороги, по которой шел.

Что было всему тому причиной и зачем меня призывали, о том услышите вы, любезный приятель, впредь; а теперь дозвольте мне, на сем оставившись, письмо мое кончить и сказать вам, что я есмь ваш и прочая.

ПРИЕЗД КОРФА

Письмо 62-е

Любезный приятель!

В последнем моем письме остановился я на том, что шел с поспешностью к призывающему меня бригадиру Нумерсу в самый тот замок, куда я до того всякий день хаживал. Но никогда не отправлял я сего пути со столь безпокойным духом, как в сей раз! Очевидная почти достоверность, что спрашивают меня по приказанию самого губернатора и, может быть, к самому ему, и слух, носившийся о сем незнакомом еще нам губернаторе, что он был человек весьма горячаго и вспылчиваго нрава, а притом природой немчин, приводил меня в великое смущение. Известно было, что все немцы были особливými защитниками всех своих единоверцев, и неизвестность, не таков же ли и сей, каков был ревельский господин *Ливен*, который пришел мне тогда в память, разстраивала еще пуще мои мысли и наводила опасение, чтоб мне при сем случае в чужом пиру не претерпеть похмелья и за шалости других не понести на себе какого слова и нареkania, или, по крайней мере, не подать губернатору при первом случае худого о себе мнения. Я готовился уже заблаговременно к возможнейшим себя оправданиям и вымышлял речи и слова, которыя бы мне говорить перед губернатором, если дойдет до того, что он меня о том спрашивать или гнев свой изъяслять станет, и приближался к замку с трепещущим сердцем.

Теперь, остановись на минуту, расскажу вам, любезный приятель, несколько более о сем губернаторе, о котором я не имел еще случая с вами говорить. Он был один из тогдашних наших придворных вельможей, на-

зывался барон *Николай Андреевич Корф* и чином хотя не выше генерал-поручика, но при дворе в нарочитом уважении и милости у самой тогда царствовавшей императрицы. Сию милость приобрели ему не собственные его достоинства, которые были весьма и весьма умеренны, но то обстоятельство, что он женат был до того на госпоже *Скавронской*, находившейся по причине некотораго родства в особенной милости у императрицы. По ней получил он и чины и богатство, и по ней был он и в сие время еще в знати и в уважении, хотя жена его и умерла уже за несколько до того лет. Ибо как другая ее сестра, а его свояченица была за тогдашним великим канцлером графом Михаилом Ларионовичем *Воронцовым*, и сей вельможа был в великой силе, то поддерживал он и сего своего свояка и доставил ему сие губернаторское место, которое было тогда весьма знаменито, ибо с должностью сей сопряжено было управление всем королевством Прусским, хотя, впрочем, был он к тому не слишком способен и дарования его были столь незначительны, что он хотя всю свою жизнь в России препроводил и до старости дожил, но не умел и тогда еще не только писать по-русски, но ниже подписывать свое имя, а подписывал оное всегда по-немецки. Из сего одного можно уже сделать заключение и о прочем.

Но как бы то ни было, но он избран и определен был для управления сим важным постом, который равнялся с вицeroйским¹ местом, и приехал к нам в Кёнигсберг с превеликой помпой и многочисленной свитой. Все городские начальники и лучшие люди встречали его торжественно и препроводили в замок как место, назначенное ему для жилища. Тут расположился он в самых тех покоях, где живали в прежния времена самые герцоги и владетели прусские, и с самого приезда своего начал жить и вести себя с такой пышностью и великолепием, что с того времени весь Кёнигсберг власно как оживотворился, и пошло в нем все другое. Но сего о нем теперь довольно; вперед услышите вы от меня более, а теперь возвращусь к продолжению повествования о себе.

К сему-то пышному и знаменитому вельможе готовился я тогда предстать, не ведая нимало, зачем и за каким делом. Признаюсь, что, наслы-

¹ Вице-король /*Vaís.goi*/ является королевским официальным, который управляет страной, колонией или город провинции (или состояние) во имя и в качестве представителя от монарха. Термин происходит от латинских префиксов вице-, что означает «на месте» и французское слово *goi*, то есть царь.

шавшись о его характере, с трепетом приближался я тогда к замку. Но, о, сколь сильно обманывался я тогда в своих мыслях! Мне не страшиться, а радоваться надлежало б, если б я мог тогда предвидеть, какие последствия произойдут со временем от тогдашняго меня туда призыва и что воследует со мной после. Ныне благословляю я тот час, в который учинена была тогда за мной посылка, но тогда не только мне, но никакому смертному нельзя было того предвидеть.

Не успел я прийти к замку, как посланный за мной дожидался уже меня у ворот и, подхватив, провел меня по лестницам тотчас в передние комнаты губернаторские. Я нашел их наполненные множеством всякого народа: было тут множество наших военнослужащих, было множество и городских всякого рода жителей и, между прочим, таких, о которых я мог заключить, что они были просители. Я искал глазами моими, не увижу ли того немца, о котором я наиболее сомневался, и один показался мне на него похожим. «Так! – возопил я втайне сам к себе. – Это он, проклятый! и от него, конечно, все сии беды горят!» Но не успел еще я слов сих в уме своем выговорить, как растворились из внутренних покоев двери и показался сам его превосходительство в голубой своей кавалерии и в звездах. Он шествовал в провожании множества знатных особ через сей покой для осматривания других комнат сего замка. Как мне не случилось еще до того времени сего знаменитого вельможу видеть, то с трепещущим сердцем устремил я на него свои взоры и, к удивлению моему, нашел его совсем не таким, каким воображал я его себе, не выдавши. Вместо суровости и зверства на лице его представлялись мне только черты, изображающие нечто меланхолическое. Он был уже немолодых лет, высокаго роста, собой очень бел и расположения лица особливаго: не видно было в нем ни отменнаго приятства, ни жестокости; не было ничего пленяющаго и не было ничего отвратительнаго.

Все сие успокоило меня несколько, но я не успел еще собраться с духом, как усмотрел меня командир мой, бригадир Нумерс. «Ах, вот и ты здесь! – сказал он и тотчас, отвернувшись, подступил к господину Корфу. – Вот тот офицер, – сказал ему, – о котором я вашему высокопревосходительству докладывал». Его превосходительство тотчас на меня оглянулся и, окинув меня с головы до ног глазами, разсудил не только от шествия остановиться, но, подступив шага два ко мне ближе, с особенной благоприятностью начал со мной говорить. «Я слышал, мой друг, – сказал он

мне, – что ты умеешь говорить по-немецки и хорошо пишешь, и господин бригадир Нумерс рекомендует мне вас, что вы хорошаго поведения». Я учинил ему пренизкий поклон и не успел еще ничего сказать в ответ, как подхватил господин Нумерс его речь и начал вновь уверять его о моих способностях и прилежности. Старичок, полковник мой, случившийся на сей раз тут же, вмешался также в речь и уверил генерала по-немецки, что я наилучший офицер в его полку, что отец мой был его предместник и что весь полк не может ничего сказать обо мне, кроме хорошаго. «Так, – присовокупил к сему мой капитан Гневушев, случившийся тут же, – он моей роты, и я могу, со своей стороны, засвидетельствовать, что он всякой похвалы достоин, и сие могут сказать все полку нашего офицеры».

Таковая общая от всех рекомендация и внимательное смотрение на меня генерала обратила глаза всей многочисленной свиты, идущей за господином Корфом. С меня свалилась тогда как превеликая гора, и я стоял почти вне себя от радости и удовольствия, слышав толь многия и от всех себе похвалы и такая рекомендации, каких я всего меньше ожидал. Со всем тем не знал я, к чему все сие клонилось и что б такое собственно значило. Но как, по крайней мере, мог я тогда ясно видеть, что призван был я не затем, зачем я думал, а для чего-нибудь другого, то, ободрившись гораздо, мог уже смелее и со спокойнейшим духом отвечать на дальнейшие вопросы его превосходительства. «Это очень хорошо, – сказал он, – для молодого офицера похвально и лестно заслужить себе такую честь, но, пожалуй, скажи ты мне, мой друг, можешь ли ты переводить с немецкаго на русский?» – «Могу, ваше превосходительство! – сказал я. – Но не весьма хорошо и в переводах упражнялся мало!» – «Ах нет, ваше превосходительство, – подхватил мой капитан, – он переводит изряднехонько, и мне случилось читать его переводы». – «Так хорошо ж, батюшка! – сказал тогда генерал. – Оставайтесь вы здесь и потрудитесь перевести мне несколько бумаг». Потом, обратясь к одному из своих советников, шедших за ним, приказал отдать мне некоторыя бумаги и отвести мне место, где б над тем трудиться, а сам пошел со свитой своей далее.

Неожиданное такое явление смутило меня и удивило. Я всего меньше думал и ожидал, чтоб я за сим только был призван и чтоб мне тотчас уже вступать принуждено было и в работу. Но смущение мое еще более увеличилось, как упомянутый советник, подхватив меня в тот же миг за руку, повел через многие покои и, приведя наконец в одну отдаленнейшую и

превеликую комнату, посадил за стол и, вынеся из другой чернильницу и бумаги, вытащил целый пук бумаг из кармана и учтивым образом мне предложил, чтоб я над ними испытал свои силы и способности и постарался б сколько можно поскорее перевести оныя, и потом, оставив меня одного, ушел прочь.

«Вот тебе на! – сказал я сам в себе, провожая глазами отходящего советника. – Недуманно-негаданно попался молодец, как мышь в западню, и вместо того, что другие теперь гуляют и веселятся, изволь-ка посидеть и потрудиться. Но хорошо! Посмотрим-ка, что такое переводить?» Тогда начал я пересматривать и перебирать оставленные бумаги и, увидев, что их было более десяти, воскликнул: «Э, э, э! какая их тьма! их и в трое суток не переведешь!.. Я покорно благодарствую!»

Сим образом восклицал я, не зная еще содержания оных; но как начал я далее разсматривать и читать, то неудовольствие мое еще более увеличилось. Я увидел, что были это все прошения, поданные губернатору от людей разного состояния из кёнигсбергских жителей и все писанные таким странным, темным, безтолковым и нескладным слогом, какого мне еще никогда читать не случалось и который заставил бы наилучшего переводчика потеть над собой; а что меня еще более поразило, то многие из них писаны были прямо глупым и безтолковым их канцелярским слогом и наполнены множеством латинских слов и таких терминов, каких мне никогда и слышать не случалось. Словом, многие из них были таковы, что мне и в голову совсем не лезли, и я не понимал и десятой доли из того, что в них было написано. «И! и! и! – возопил я тогда, качая головой. – Да что мне будет делать с ними и как переводить? Ну, прямо сказать, хорош я теперь гусь! И нелегкая ли самая догадала меня сказать, что я переводить умею. Ну, что теперь изволишь делать?! Хоть не рад, а будь готов и принимайся за перо».

Словом, обстоятельство сие меня так смутило, и перевод бумаг сих показался мне столь трудным, что у меня сердце начало так же биться от сего, как билось прежде от опасения, и я не рад уже был всем слышанным за несколько минут до того себе похвалям и всему знанию своему немецкаго языка. Несколько минут не знал я, что делать. Но как дело было уже сделано и возвратить того было уже нельзя, то, вздохнув и погоревав, выбрал одну, которая была поменьше и которой слог казался мне полегче и вразумительнее, принялся я за перо и начал переводить.

Но не успел я несколько строк написать, как трудность перевода стала казаться мне от часу более, и я прямо начинал чувствовать всю тяжесть сего дела. По необыкновенности моей к переводам такого рода встречались мне на всякой почти строке новые затруднения и такие места, которых мне никак не лезли в голову и кои я не знал, как перевести по-русски. Помучившись несколько минут над одной и придя в совершенный тупик, бросил я сию и взял другую бумагу в надежде, не лучше ли и не легче ли та будет, но небольшой опыт доказал мне, что перевод сей был еще труднее первой; я подхватил третью, но сия ничем не была лучше прежних, но еще труднее. «Господи помилуй! – восклицал я. – Что за черти все это писали, и найду ли я хоть одну потолковитее». Наконец, попалась мне одна сколько-нибудь других повразумительнее, и я хотя с трудом и не скоро, однако перевел.

В самое то время вошел ко мне прежде упомянутый советник посмотреть, что я делаю. «Что, батюшка, – говорил он мне, – идет ли ваше дело на лад?» – «Что, сударь!.. – отвечал я ему. – Дело мое худо клеится! Никогда еще мне не случалось переводить писаний такого рода, и весьма много в них совсем для меня непонятного, а особенно есть во многих слова и целые речи на латинском языке, которых, по неумению этого языка, я вовсе не разумею». – «О, батюшка! – сказал он. – Как-нибудь бы! а что касается до слов латинских и таких, которых вы не разумеете, то можете меня спрашивать. Я не поставлю за труд вам растолковать. Между тем, однако, перевели ль вы что-нибудь?» – «Вот перевел одну», – сказал я ему, подавая. Он прочел мой перевод и казался быть им довольным. «Это довольно уж изрядно!» – сказал он и, взяв и перевод и подлинник, пошел от меня. Через несколько минут возвратился он обратно и сказал мне, что его превосходительство приказал мне объявить свое благоволение и притом сказать, чтоб я теперь шел на свою квартиру, а в последующий день поутру приходил бы опять туда и продолжал свою работу.

Вести сии были для меня не весьма приятны. «Волён Бог, – думал я сам себе, – и со всем благоволением его высокопревосходительства и со всеми вашими похвалами, а я охотнее бы хотел не иметь с вами дела и остаться дома жить по-прежнему».

Итак, в превеликом огорчении и в досаде и на губернатора, и на всех, и на самого себя пошел я в свою квартиру и прогоревал весь достальной вечер о том, что со мной случилось. Но как пособить себе было нечем, то

поутру на другой день нехотя потащился я опять в замок и в прежняя герцогские чертоги, но которые, несмотря на все древнее свое великолепие, показались мне тогда сущей тюрьмой, ибо досада моя на проклятые и безтолковые бумаги была так велика, что не прельщала меня ни древняя архитектура, ни тканые исторические обои, коими обита была та пространный храмина, в которой в сущем уединении препроводил я часа два накануне того дня в головоломной работе; но я проклинал все на свете и не хотел удостоивать их и взором своим.

Пришед туда, к удивлению моему, увидел я всю сию комнату, наполненную уже множеством людей. Было в ней поставлено уже несколько столов, и сидели за ними разные канцелярские служители и писали. Я легко мог догадаться, что комнаты сии ассигнованы для канцелярии губернаторской, и догадка моя была справедлива. Господин Корф привез с собой всех нужных чиновников для основания в Кёнигсберге российской губернской канцелярии. Были с ним два советника, два секретаря, протоколист и несколько человек приказных служителей, как то: канцеляристов, подканцеляристов и копиистов, одним словом, канцелярия полная, и она-то помещена была, на первый случай, в сих комнатах, и та, где я накануне того дня писал, сделана подъяческой, а другая, побочная, судейской, и там заседали советники и секретари с протоколистом.

Не успел я притить, как упомянутый советник, который один только из всех их был родом немец, вывел ко мне из судейской первого секретаря и со следующими словами меня ему с рук на руки отдал: «Вот вам, Тимофей Иванович, человек, котораго одного вам недоставало».

Секретарь сей показался мне набитым наиглупейшей подъяческою спесью. Вместо того чтоб со мной обласкаться или меня приветствовать, не хотел почти он удостоить меня и своим взором, но с некоторой грубостью и презрением отвечив советнику: «Да в состоянии ли он это дело делать?» – «Понавыкнет! – сказал господин *Бауманн*, ибо так назывался сей советник. – А до того времени уже мы ему как-нибудь пособлять станем». – «То дело иное!» – отвечив секретарь, усмехнувшись, и, взглянув на меня власно как с некаким презрением, пошел в судейскую.

Такой прием на первой встрече был мне весьма неприятен. «Что за чорт это? – думал я сам в себе. – Сам генерал так гордо со мной не обходился, как этот горделивец». Но не успел я сего подумать, как вышел он опять и вынес ко мне не только прежняя, но несколько еще новых бумаг и,

швырнув почти мимоходом ко мне на стол, сказал: «Изволь-ко! Изволь-ко вот все это перевесть – посмотрим-ко твоего умения!»

Досадна мне была такая грубость; и сколько я в таких случаях ни был терпелив, однако не мог тогда перенести сего со спокойным духом и утерпеть, чтоб ему не сказать: «Каково, сударь, умеется, так и переведу; а если будет неуютно, так прошу того на мне не взыскивать. Я никогда переводчиком не бывал и охотой к сему делу не набивался, а меня неволей сюда призвали, я не искал того».

Слова сии сказаны были весьма кстати и произвели свое действие, ибо, сколько казалось мне, то с того времени стал он обходиться со мной повежливее или, по крайней мере, далеко не таково грубо, как сначала.

Но хотя я господина сего сим образом и отбоярил, однако дела своего тем не исправил, ибо переводить все-таки было надобно и переводить много. Итак, принялся я за свою скучную работу и хотел ее власно как назло сему умнице секретарю произвести сколько можно лучше в действие, дабы приобрести через то похвалу от советников. Но я истинно не знаю, удалось ли б мне учинить по желанию, если б нечаянный случай не сделал мне в том неожиданым образом великаго вспомоществования.

Не успел я, сидя один и за особым столом, начать свою работу, как вошел в нашу комнату один прусский оберсекретарь из канцелярии главного их правительства в провожании двух немецких канцелярских служителей. Сему обер-секретарю велено было иметь в некоторыя часы заседание вместе с нашими советниками и сноситься по делам своей канцелярии с нашей; и как вся часть дел, относящаяся до внутренняго управления королевством Прусским, должна была производиться им и упомянутым нашим советником Бауманом на немецком языке, и обоим им было всегда множество письма, то для переписывания их бумаг и приведены были упомянутыя два немца и приобщены к нашей канцелярии, а, по особенному моему счастью, так случилось, посажены они были за один стол со мной.

Не могу довольно изобразить, как обрадовался я, получив себе сих двух товарищей. Оба они были люди изрядные, и как скоро они заметили, что я перевожу с немецких писем, то за первый себе долг сочли со мной на немецком языке наивежливейшим образом обласкаться и свести со мной первое знакомство. Обстоятельство, что они не умели ни одного слова по-русски, а из всех наших канцелярских служителей никто, кроме

меня, не умел говорить по-немецки, побудило их к тому еще более. Они, будучи тут, как в лесу, между незнакомыми и их неразумными людьми, рады были неведомо как, что нашли человека, с которым могли они разговаривать, а я не меньше радовался их сообществу, но радость моя происходила от другой причины. Я не сомневался, что тот проклятый канцелярский немецкий слог, который мне всего более в переводах досаждал и для меня был вовсе невразумителен, им, как канцелярским служителям, должен быть известен, и я положил воспользоваться их знанием и просить их, чтоб они мне значение некоторых выражений и слов растолковали. Я и не обманулся в моем мнении и ожидании. Не успел я, к ним равномерно приласкавшись, с ними ознакомиться и им нужду мою изъяснить, как с превеликой охотой согласились они мне всякое сомнительное слово, а особенно латинские речи, растолковывать и столь ясно на простом и обыкновенном языке изображать, что мне не трудно уже было понимать все значение оных и выражать их на своем языке. Словом, они обрадовали и одолжили меня тем до бесконечности и сделали то, что я в состоянии был до обеда перевести большую часть из данных мне бумаг и столь порядочно и хорошо, что посрамил тем высокоумие господина секретаря и заставил его поневоле признаться, что перевод мой был довольно вразумителен. Что ж касается до обоих господ советников, то сии не могли довольно приписать мне похвал за мою прилежность и усердие и наиласковейшим образом просили, чтоб я продолжал трудиться далее.

Получив таковую победу над высокомерным секретарем, начал я уже с меньшим неудовольствием продолжать далее свое дело, а вскоре дошла сему господину и самому до меня нужда: пришел к нам один из жителей кёнигсбергских, с которым нужно было ему поговорить, но как он не умел по-немецки, а тот ничего по-русски, то самая нужда заставила его просить меня, чтоб я взял на себя труд и между ними потолмачил. Я, отложив всю прежнюю досаду мою на него, охотно согласился исполнить его просьбу, и маленькая сия услуга произвела то, что он не только перестал меня презирать, но, сделавшись ко мне благосклонным, благоволение свое даже до того простер, что как в самое то время пришел генеральский адъютант звать их всех обедать, то меня спросил, далече ли я стою на квартире, и, услышав, что до квартиры моей около двух верст будет, возопил: «И, братец, так зачем же тебе ходить такую даль домой обедать, а ты можешь обедать вместе с нами. Мы, по милости Николая Андреевича, имеем для себя

всегда готовый стол, и ты можешь всегда есть вместе с нами. Пойдем-ка, сударь! Я доложу о том самому генералу».

Я удивился такой нечаянной перемене в сем ненавистном до того мне человеке и охотно последовал за ним во внутренние покои генеральские. Тут, действительно, доложил он о том генералу, который не только представление его одобрил, но как ему обо мне и о переводах моих уже все пересказано было от советников и от самого сего в особливом кредите у него находящегося секретаря, то восхотел поступить далее и изъявить самолично мне свое благоволение. Меня кликнули тотчас к нему, и не успел я войтить, как, обратясь ко мне, сказал он: «Я очень доволен, мой друг, твоими трудами: ты переводишь довольно хорошо. Итак, ходи в канцелярию мою всякий день и помогай нам далее, а обедай у меня всегда здесь с секретарями: куда тебе ходить в такую даль на квартиру!»

Я учинил ему пренизкий поклон и был лаской его совершенно доволен; и как через то самое сделался я к штату его власно приобщенным, то с сего времени и начался паки совсем иной род моей жизни, и такой период оной, который для меня в особенности был достопамятен.

В предбудущих письмах опишу я вам оный обстоятельнее, а теперь, прекратя сие письмо, остаюсь навсегда ваш и проч.

ПРИ КОРФЕ

Письмо 63-е

Любезный приятель!

Вышеупомянутое, всего меньше ожидаемое и хотя не формальное, а приватное приобщение меня к штату губернатора Корфа составляло весьма важную и поистине достопамятную эпоху в моей жизни. Ибо от сего пребывания моего при сем генерале проистекли такие следствия, которые имели на все последующие дни жизни моей великое влияние. И как из сих следствий наиважнейшим было то, что я во всем нравственном своем характере переменился, и перемена сия положила первейшее основание всему благоденствию дней моих, то я не иначе заключаю, что произошло сие не случайным образом, а по особливому смотрению небес и по действию пекущегося обо мне всегда Промысла Господня. Его святой воле

было угодно, чтоб случилось тогда со мной сие происшествие, произведшее во всех тогдашних обстоятельствах моих великую и для меня весьма блаженную перемену. Однако я удержусь пересказывать вам наперед то, о чем узнать вы должны после и в свое время, а скажу только то, что я и ныне не могу еще довольно возблагодарить Бога, напоминая сей случай, и надивиться тому, какое особенное обстоятельство и, по-видимому, самая безделица подала ко всему тому первоначальный повод.

Оное состояло в следующем. Господин Корф, собираясь из Петербурга к путешествию своему в Кёнигсберг и набирая всех нужных для основания тут губернской канцелярии людей, хотя и возможнейшие старания прилагал о наполнении штата своего всеми нужными и способными людьми и чиновниками и мог сие тем лучше учинить, что дано было ему дозволение брать их откуда он только захочет, но воле небес было угодно, что ни ему и никому из всех избранных им чиновников не пришло тогда в память, что по прибытии в Кёнигсберг вся будущая канцелярия его состоять будет во всегдашнем сношении с немцами и иметь дело не с одними русскими, а вкуче и с немецким народом, и что для сего необходимо нужен был им переводчик. Сие обстоятельство вышло у них совсем из головы, и они не прежде встрянулись, что они сие позабыли, как по приезде уже в Кёнигсберг и когда дело уже дошло до основания самой канцелярии. Тогда, но уже поздно, встрянулись они и увидели свою ошибку. Сожаление у них у всех было о том чрезвычайное. Сам генерал тужил о том неведомо как и досадовал на своих секретарей, для чего они ему не напомнили, а сии возлагали всю вину на него и советников, коим более бы о том знать и помнить надлежало. Словом, все они обвиняли друг друга, но как сие не помогало, а переводчик им был надобен, и секретари, не разумеющие ни одного слова по-немецки, отдуху не давали генералу и советникам, чтоб они снабдили канцелярию толмачом и переводчиком, то самое сие и было причиной, что генерал сей тотчас начал спрашивать у обер-коменданта господина *Трейдена* и у бригадира Нумерса, которые тогда Кёнигсбергом управляли, нет ли у них кого из офицеров, могущих отправлять сию должность, и судьбе было угодно, чтоб сим первый попался я на ум. Они объявили обо мне генералу, и сие самое причиной было прежде упомянутой за мной присылки и тому, что я попался в сие место и должен был отправлять должность и толмача и переводчика.

Вот какие малые и отдаленные причины употребляются иногда Провидением Господним к сооружению благоденствия тех, кого угодно Ему одарить им. Но я возвращусь теперь к продолжению моей истории.

Не успел генерал вышеупомянутым образом изъявить мне публично при всех свое благоволение и приказать обедать всегда у него в доме, а я выйти опять в ту комнату, где для нас накрыт был особый стол, как все нижние чиновники, составляющие его штат, окружили меня и начали со мной как с новым своим сотоварищем и сотрудником ознакомливаться и ко мне ласкаться. Были тут оба наши секретари, протоколист, генеральский адъютант, один живущий при генерале итальянец и еще некоторые другие и все незнакомые еще мне люди. Но никто из всех их так скоро со мной не познакомился и так много ко мне не ласкался, как генеральский адъютант. Был он малый молодой, и притом хотя попович и сын преображенского протопопа, но воспитан так хорошо, что в нем не было ничего похожего на его природу, но он не уступал ни в чем и лучшему дворянину. Знание его языков, охота к книгам и наукам, одинаковые со мной лета и самый дружелюбный и хороший его нрав были причиной тому, что мы в один почти миг с ним познакомились и друг друга полюбили, и могу сказать, что я дружбой его всегда был доволен. Но никогда он меня так не одолжил, как при сем первом случае. Он первый приласкался ко мне и не успел узнать, что я разумею языки и также охотник до наук, как и пошли у нас с ним разговоры, и он так ко мне привязался, что посадил за столом подле себя и во весь обед старался меня, как гостя, подчивать.

Стол сей был у нас особенный от генеральского и в другой, подле столовой его, комнате, но немногим чем хуже генеральского, и как кушаньями, так и напитками так изобилен, что лучшего желать было нельзя; а что всего было лучше, то не было за ним такой принужденности и чинов, какая наблюдалась за самым генеральским столом, где он обедал со своими советниками и гостями, которых всегда бывало у него по несколько человек. Но у нас господствовала совершенная вольность: всякий говорил, что хотел, и друг с другом шутил и смеялся, и никому не воздавалось никакого особого почтения, что все и придавало обедам сим более приятности.

Насытившись и напившись за генеральским столом, пошли мы опять в канцелярию и, принявшись за свои дела, просидели до самых сумерек, так что я на квартиру свою возвратился уже ночью.

Идучи в сей раз домой, находился я в различных движениях духа. Я не знал, радоваться ли мне или печалиться о случившейся со мной столь нечаянной и скоропостижной перемене... С одной стороны, мне было непротивно, что попался я в столь знаменитое, по мнению моему, место. Пребывание при главнокомандующем тогда всей Пруссией генерале и приобщение, так сказать, к его штату льстило моему честолюбию. Я ласкался надеждой, что, сделавшись вельможе сему знакомее, могу приобрести дальнейшее его к себе благоволение и, может быть, могу произойти через него в люди. С другой стороны, льстило меня то обстоятельство, что я тут находиться буду всегда между лучшими людьми и видеть и знать все происходящее; с третьей – непротивно было мне и то, что я буду иметь стол всегда готовый и хороший и не буду иметь нужды готовить у себя дома и довольствоваться иногда столом очень нужным. С четвертой – не неприятно было для меня и то, что через сие определение меня в должность переводчика отрывался я час от часу более от полку и от всех с военной службой сопряженных трудностей и, по тогдашнему военному времени, и самых опасностей – все сие меня радовало и веселило. Но когда, с другой стороны, приходили мне на память трудные и скучные мои переводы, которые мне и в один уже тот день как горькая редька надоели, когда воображал я себе, что я всякий день должен буду ходить в канцелярию и с утра до вечера сидеть безпрестанно над ними и лишиться совершенно всей прежней и толь милой для меня вольности, то сии мысли уменьшали много моего удовольствия и озабочивали меня несказанно. Пуще всего горевал я о том, что через то связан я буду по рукам и по ногам и не буду иметь ни минуты, так сказать, свободнаго для себя и такого времени, которое б мог употребить я на собственные свои любопытные упражнения. Однако, как я однажды уже положил, как ни на что самому не набиваться, так ни от чего не отбиваться, если что само по себе придет, то утешался я надеждой, что, может быть, должность сия со временем и не такова будет трудна, каковой казалась она мне в тогдашнее время, в чем я и не обманул-ся, как вы то из последствия увидите.

Итак, положась на Бога и ожидая всего от времени, пошел я в последующий день опять в канцелярию и стал с того времени ходить туда ежедневно. Мы сживали обыкновенно всякий день и до обеда, и после обеда, вплоть до самого вечера. И как дел было превеликое множество, и оныя с часу на час приумножались, и были притом многие дела важные,

то хаживал обыкновенно генерал сам в оную и просиживал по несколько часов, почему, для удобнейшего хождения ему в оную, и переведена была она через несколько дней в другие комнаты, которая были ближе к тем, в которых он жил, и хотя не так просторны, как первые, но гораздо уютнее и веселее оных. Они находились в том же этаже, но на самом лучшем и веселейшем углу во всем замке, и лежали над самой каморой. Тут, по особливому счастью, достался мне особливый и наилучший угольный покоец, отделенный от прочих подъяческих комнат досчатой перегородкой; и как вместе со мной были одни только вышеупомянутыя немецкие канцеляристы, то я сей переменной очень был доволен; тут была у нас власно как особая немецкая канцелярия: никто нам из прочих подъячих не мешал, и мы были спокойны. К вящему удовольствию, было у нас два окна, из которых вид простирался очень далеко, и мы могли обозревать не только одну из главнейших улиц, идущую мимо окон наших подле самого замка, но и всю нижнюю и заречную часть города. В одном из упомянутых окон избрал я для себя место за особливым столиком, а в другом окне посадил моих товарищей, которых сотовариществом становился я час от часу довольнее, ибо они не только вышеупомянутым образом помогали мне очень много в моих переводах, но, сверх того, имел я от них и другую пользу, состоящую в том, что я в праздное время мог упражняться с ними в разговорах и через то час от часу делаться в немецком языке совершеннее и знающее.

Что касается до моей работы, то трудна она и почти несносна была мне только с самого начала и покуда я не попривык к ней, а как скоро я узнал все особенные термины, употребляемые в их канцелярском слоге, да и ко всему слогу их попривык, то переводы мои сделались мне гораздо легче и сноснее, а сверх того, стали они мало-помалу и уменьшаться, и через несколько недель стало доходить до того, что иногда в целый день не доставалось мне переводить и двух листов, а иной день и весь проходил без дела; однако, несмотря на то, нельзя было мне никак отлучаться, ибо то и дело принужден я бывал толмачить или переводить словесно нашим секретарям то, что говорили им приходящие к нам ежедневно разных состояний тамошние жители, равно как и им пересказывать их ответы, а для сей надобности и должен я был почти безвыходно быть в канцелярии.

Теперь, прежде повествования о дальнейших происшествиях, остановлюсь я на минуту и расскажу вам, любезный приятель, несколько подробнее о тех разных чиновниках, которые составляли тогда штат нашего

генерала, дабы из того могли вы яснее видеть, с какими людьми долженствовал я тогда иметь наиболее дело и ежедневно обходиться.

Наипервейшими при генерале были наши советники. Их было два, и оба они заседали вместе с генералом, да и жили сначала в том же замке, но в других только покоях. Один из них был немец и назывался Иван Николаевич *Бауман*, а другой – русский, из фамилии господ *Волковых*, и назывался Алексей Алексеевич. Но сей последний был у нас недолго, но отбыл потом в другое место, а на его место произведен был другой немец по прозвищу господин *Вестфален*, который приехал также вместе с Корфом и, до того времени живучи при нем, отправлял у него должность домашнего секретаря и вел его корреспонденцию. Обоими сими первейшими особами и всегдашними собеседниками генерала были мы вообще все довольны. Оба они были люди тихие, добронравные, и оба весьма прилежные к своей должности. Но как чинами своими они нас далеко превосходили, а притом были оба немцы, то и не имели мы с ними дальнего сообщения, но они вели себя от всех нас как-то удаленно, и мы от обоих их не видали, кроме вежливостей, никакого худа и добра.

Относительно до меня, были они оба ко мне довольно благосклонны, а особенно господин *Вестфален*, ибо как он был ученый человек, то приятна ему была моя склонность к наукам и чтению книг. Он входил со мной иногда в разговоры и удостоивал при всяких случаях меня своими похвалами. Но более сего ничего я от него не видал, хотя он с г. Бауманом был у нас во все продолжение бытности нашей в Кёнигсберге.

Кроме сих, были у нас еще два коллежских советника, из коих один назывался г. *Калманн* и определен был вместо прежнего моего командира Нумерса в Кёнигсбергскую камору, а другой – г. *Клингштет*, определенный в таковую ж камору в Гумбинах, но живший по большей части в Кёнигсберге, но с сими обоими господами имели мы еще того меньше дела.

Но не таковы были наши русские нижние чиновники. Из сих наименитейшим был упомянутый уже мной первый секретарь. Он назывался Тимофей Иванович *Чонжин* и был тогда у нас весьма важная особа. Вся канцелярия лежала на нем почти на одном. Он был наиглавнейшим производителем всех дел и пользовался, сверх того, такой доверенностью от генерала, что с самим им иногда с криком поднимал споры. Все сие, равно как и подлое его происхождение, ибо произошел он в сие достоинство из самых низких приказных чинов, и было причиной, что человек сей набит

был преглупейшей подъяческой спесью и так высокомерен, что выводил иногда всех из терпения. Характер сей соблюдал он во все время своего в Кёнигсберге пребывания и глупость сию простирал даже до того, что при самых таких случаях, когда самому ему иногда бывала до нас нужда, не хотел никак себя унижить и сделаться ласковее. Словом, он вел себя от нас увышенно и не хотел никак обходиться с нами дружелюбно и с такой откровенностью, как все прочия, и за то мы все внутренне его не любили, хотя показывали ему наружное почтение. Впрочем, на приказные дела и обыкновенные подъяческие крючки был он весьма способная и столь бойкая особа, что из всех умел один только, находясь в сем месте, и столь хитро и искусно наживаться, что и приметить почти было нельзя.

В разсуждении меня, был сей человек, так сказать, ни рыба ни мясо. Не видал я от него никакого дальняго добра, не видал и худа. Я, ведая его силу, хотя и старался ему угождать и при всех случаях, когда ему нужны были мои услуги, которые охотно ему оказывал, но со всем тем не мог ничего более от него приобрести, кроме единых небольших ласк, оказываемых им иногда мне и столь холодным образом, что не могли они мне никак чувствительны быть. Но сказать надобно и то, что из всех нас никто не пользовался от человека сего отменным дружелюбием и лаской.

Что касается до другого секретаря, который назывался г. *Гаврилов*, то сей был совсем иного сложения. Гордости и высокомерия в нем не было ни малейшей, но он был ко всем ласков, снисходителен и в обхождении благоприятен. Но, к несчастью, предан был в высочайшей степени невоздержной и распутной жизни. Он и приехал уже к нам с изнуренным со всем от невоздержного житья здоровьем, а тут, пустившись во всё и вся, еще более оное разстроил и так ослабел, что не в состоянии был, наконец, править должностью, и по сей причине от нас через несколько времени отбыл.

Сей человек во время пребывания своего у нас хотя и ласкался всякий раз ко мне, и я благоприятством, оказываемым от него мне, был хотя и доволен, но как характеры наши не были между собой согласны, то я сам не слишком к нему привязывался, но старался от него удалиться.

Третьим канцелярским чиновником был протоколист господин *Дьяконов*, по имени Яков Демидович. Сей был обоих наших секретарей несравненно лучше и как любви, так и почтения достойнее. Он был человек хотя простой, но весьма добрый, постоянный, ко всем благоприятный и

ласковый, и за то и любим был всеми нами. К самому ко мне оказывал он дружескую ласку и благоприятство, и я могу сказать, что я приятною его во всякое время был доволен и считал его себе хорошим приятелем.

Сии три особы составляли всех важнейших чиновников нашей канцелярии. Что ж касается до прочих нижних канцелярских служителей, то о них не стоит труда упоминать подробно. Все они были обыкновенные наши русские подьячие, все пьяницы и негодяи, и из всех их не было ни одного, кто б достоин был хотя малаго внимания, почему я о них, как о заслуживающих единое презрение, и умолчу, и тем паче, что я слишком удален был от какого-нибудь сообщения с ними; но то только скажу, что меня все они любили и почитали.

Но не таковы были немцы, мои сотоварищи. Они носили на себе хотя также имя канцеляристов, но не имели ничего похожего на наших подьячих. Один из них был во все время непременный и назывался *Грюнмиллер*, а другой – сменной, и сначала был господин Олеус, потом г. Пикарт, а наконец, г. *Каспари*. Все они власно как на отбор были люди хорошаго поведения и любви достойных характеров, и все ко мне ласковы, дружелюбны и благоприятны, и я могу сказать, что сообщество их мне послужило в великую пользу. Ибо они не только помогали мне препровождать праздное время в приятных и разумных разговорах, но как некоторые из них были довольно учены и начитаны книг, то воспользовался я от них и многими знаниями, и как лаской, так и дружеством их был всегда доволен.

Со всеми сими людьми имел я всякий день в канцелярии дело, и все они были, так сказать, мои сотрудники и сотоварищи. А теперь расскажу я о прочих, в свите генеральской находящихся, с которыми также, а особенно за столом, имел я ежедневное свидание.

Об одном из них я вам уже давеча упомянул мимоходом, а именно, о генеральском адъютанте господине *Андрееве*, ибо так он по отцу своему назывался. Сей человек в короткое время получил ко мне отменное дружество и находил в разговорах со мной такое удовольствие, что нередко прихаживал ко мне в канцелярию и проводил по часу и более времени в разных со мной дружеских и ласковых разговорах. В сие время говаривали мы обо всем: о книгах, о науках, о рисовании и о прочем; и как характеры наши во многом были между собой согласны, то не бывало нам никогда скучно. В одном только не согласен я с ним был: в том, что он предавался слишком суетности и щегольством своим доходил иногда даже до дураче-

ства и до того, что ему наши канцелярские смеялись. Впрочем, как он был человек не много у генерала значащий, то, кроме одной дружбы и ласки, не мог я от него получить никакой иной себе пользы.

Другая и последняя особа, составлявшая тогдашнее наше столовое общество, был некто итальянец по прозвищу *Морнини*, бойкая, хитрая и преразумная особа. Он жил тогда приватно у генерала, не нося никакой известной должности, и приехал вместе с ним из Петербурга. Генерал его очень любил и, как думать надобно, употреблял его на каких-нибудь тайных дела и сокровенных комиссии. По крайней мере, нам ничего о том не было известно. Сей человек с самого начала также отменно меня любил и во все время жительства его при генерале весьма ко мне ласкался, так что я дружбой и благоприятством его крайне был доволен. Он имел для себя особенные покои и хаживал также нередко нарочно ко мне для разговоров, а временем просиживал и я у него по несколько времени и слушал рассказы его об Италии и о прочих европейских местах, где ему бывать случалось, ибо он на свой век довольно повояжировал и свету понасмотрелся, так что его можно было считать хорошим проходимцем или авантюриером. А как он, сверх того, превеликий охотник был до чтения книг и все праздное время препровождал в чтении, то и сие меня много к нему привязывало, и я могу сказать, что и сему человеку обязан я многими из тех знаний, которые приобрел я, живучи в Кёнигсберге.

В сих-то разных особах состояло то общество, посреди котораго должен был я жить и провождать свое время. После умножилось оно еще несколькими особами, но о том упомяну в свое время, а теперь, как письмо мое довольно уже увеличилось, то дозвольте мне его на сей раз сим кончить и сказать вам, что я есть и прочее.

ХАРАКТЕР КОРФА

Письмо 64-е

Любезный приятель!

В первые дни или недели пребывания моего при губернаторе произошло со мною столь мало особливаго и замечания достойнаго, что я не помню ничего такого, о чем стоило бы вам рассказать, а все состояло только

в том, что дел у нас такое было множество, что мы с утра до вечера принуждены были непрерывно работать, и меня утренняя заря выгоняла из квартиры, а вечерняя или паче самая ночь вгоняла опять в оную. И как я все дни безвыходно находился в канцелярии, то чрез сие и познакомился я скоро со всеми вышеупомянутыми сотоварищами своими, а сверх того, имел случай узнать несколько ближе и главного нашего командира. И как я характер вам его еще не изображал, то надобно мне теперь сие исполнить и единожды навсегда пересказать вам, каков был сей славный тогда правитель Пруссакаго королевства.

Он был человек добрый, но имел в характере своем весьма многие недостатки. Относительно до его разума можно сказать, что был он от природы довольно хорош, но, как думать надобно, недовольно изощрен при воспитании в малолетстве, и потому все знания сего вельможи простирались не слишком далеко, но весьма и весьма были умеренны, и если он что знал, так все то приобрел по единой навичке, живучи при дворе и в большом свете, и потому не столько был он способен к гражданскому правлению и знающ в делах, к оному относящихся, сколько сведущ во всем том, что принадлежало до придворной и светской жизни. В сем пункте был он довольно совершенен, но что касается до дел, принадлежащих до правления, а особливо письменных, то к оным по непривычке своей был он весьма не способен, и ему не доставало весьма много к тому, чтоб мог он быть при тогдашних обстоятельствах хорошим губернатором и правителем сего завоеванного королевства. И я не знаю, как бы ему во всем успевать было можно, если б не помогали ему советники, а паче всех тот секретарь *Чонжин*, о котором упоминал я вам в прежних моих письмах и который был у нас потом уже и ассессором. Говорить и читать по-русски хотя он и умел довольно хорошо, но сего далеко еще не было достаточно, но ему нужно было давать ежедневно на многие дела свои решительные резолюции, и, к несчастью, на дела по большей части важныя и не терпящие ни малейшаго времени и отлагательства, потому что от них не только правление всем королевством и все внутреннее в оном благоустройство, но и снабжение всей заграничной и в походе против неприятеля находящейся армии всеми нужными потребностями зависело. А к сему и не доставало в нем и быстроты разума, и решительности скорой и безошибочной, и потому принужден он был полагаться по большей части на то, что скажут, присоветуют и напишут наши секретари и советники. Со всем

тем честолюбие его и высокое мнение о себе было так велико, что он старался скрывать коликo можно сей недостаток и наблюдать вид, будто бы все дела решит он сам собою. А сие натурально и подавало часто повод не только к нередким замешательствам в делах, но и ко многим ошибкам, и тем паче, что и коварный секретарь, пользуясь сею слабостью, нередко для собственных своих интересов вводил его в превеликия погрешности и дела, нимало с тогдашнею важною должностью его не сообразныя. К вящему несчастию, по совершенному неумению своему по-русски писать, он не мог ничего сам не только сочинять, но и написанное переправлять, а сие подавало наивожделеннейший случай сему хитрому человеку его, по своей воле, обманывать и проводить. Нередко случалось на самых глазах наших то, что он явно усматривал, что написано было не так, и серживался за то и бранился, а иногда несколько раз бумагу раздирал и переписывать приказывал, но как бы инако написать, того хорошенько истолковать и приказать далеко был не в состоянии; и потому всем тем не достигал он до желаемого, но принужден был наконец подписывать то же, но только другими словами написанное. Сие единое может уже доказать вам, любезный приятель, каков был губернатор наш со стороны разума, а теперь послушайте, каков был он со стороны сердца и нрава.

Слух, носившийся у нас еще до прибытия его, что он был вспыльчивого и горячего нрава человек, был не только справедлив, но далеко еще недостаточен. Практика доказала нам несравненно еще больше, и я не знаю, как и какими словами изобразить мне вам нравственный характер сего человека, а коротко только скажу, что теперь, когда я сие пишу, идет мне уже шестидесятый год моей жизни и я в течение сих лет хотя многих людей видывал, но не случалось мне еще ни одного видеть и найти ему подобнаго и такого, который бы так много к гневу и бранчивости был склонен, как был сей человек. Истинно можно, по пословице, сказать, что в сем пункте в разсуждении его уж черед помешался. За все про все, и не только за дела, но и за самыя иногда безделицы, он серживался и распалялся чрезвычайным гневом и осыпал всех, кто б то ни был, слуга ли его или подчиненный, жестокими бранью и ругательствами. С слугами и с домашними своими жил он в непрерывной войне и драке, а для всех подчиненных был он столь несносен, что из всех, имеющих до него дело, не оставался ни один без огорчения от него. И сие было столь часто, что истинно не проходило ни одного дня, в который бы не поднимал он несколько раз

с ними превеликой войны и ссоры и не осыпал бы их тысячами клятв и браней, а нередко и на одном часу сие несколько раз от него повторяемо и возобновляемо было. Словом, всякая безделица и ничего не значащая проступка в состоянии была его раздражить и воспалить наивеличайшим гневом. С сей стороны, при всей своей славе, величии, богатстве, чести и знатности, был он несчастливейшим человеком в свете, потому что дух его был в непрерывном почти безпокойстве и досаде, и все почти часы и минуты его жизни заражены были ядом неудовольствия, и от самого того наилучшя его забавы и увеселения были несовершенны. Довольно, он до того досерживался, что действительно от того занемогал и ложился даже в постелю. И не один раз было то, что он всех своих подчиненных умильнейшим образом просил и умолял, чтобы они его не сердили; но у них всего менее на уме было умышленно его разсерживать, но всякий, для собственного своего спокойствия, сам от того невозможнейшим образом убегал и остерегался.

Теперь судите, каково нам было жить с таким безпутно вспыльчивым и сердитым командиром! Не должен ли он был всем нам казаться сущим зверем и извергом? Не должно ли было нам всем его ненавидеть и от него, как от некоего чудовища, бегать и его страшиться? Ах, любезный приятель! Он таковым и действительно сначала нам показался, а особливо мне, и я не успел сего ремесла его увидеть, как тысячу раз тужил о том, что попался ему под команду, и желал лучше бы за тысячу верст быть от него в отдалении, нежели жить при нем и обидами его пользоваться. Но, ах, привычка к чему не может нас приучить и от чего не может нам сделать сносным! В сей истине удостоверились все мы с избытком собственною практикою и узнали, что человек столь же удобно и к худому привыкнуть может, как и к хорошему, и что самое и дурное может ему далеко не таково чувствительно быть, как скоро он к тому несколько попривыкнет.

Итак, скажу вам, что трудно нам было жить и привыкать терпеть брани и гнев нашего генерала только сначала, а впоследствии мы так уже к ним привыкли, что ни во что их себе не ставили, и вместо того, чтоб его ненавидеть, мы все его любили.

Вы удивитесь сему, но вы перестанете удивляться, когда, для растолкования сей загадки, скажу вам далее, что генерал наш сколько, с сей стороны, был дурен и дурен до чрезвычайности, сколько, с другой, хорош тем, что был вовсе не злопамятен и от природы имел самое доброе сердце. Не

успеет таковая его блажь и дурь пройтись (и, по счастью, продолжалась она обыкновенно самое короткое только время), как становился он уже смирнее агнца и делался наиласковейшим и дружелюбнейшим человеком в свете, и можно было с ним что хочешь говорить. А сие и было причиною, что мы более об нем сожалели, нежели на него досадовали, и охотно ему брани его и ругательства прощали, ибо удостоверены были в том, что не произойдет от того никаких следствий и что не переменится чрез то нимало прежнее и хорошее расположение его ко всякому. И как он, сверх того, имел то в себе хорошее, что он никому действительного зла не делал, но более к благодетельству был склонен, то мы за то его и любили.

Описав сим образом часть нравственного его характера, пойду теперь далее и расскажу, что мне в прочем было об нем известно. Колико ни велик в нем был помянутый порок и недостаток, однако он умел весьма счастливо заглушать его блеском наружной своей пышной и великолепной жизни и приятным своим и дружелюбным со всеми жителями сего города обхождением. Будучи сам по себе довольно богат, а при том получая превеликое жалованье, а сверх того, еще по 6000 рублей ежегодно на стол, что тогда было очень велико, и, будучи бездетен и не имея кому именование свое прочить, жил он во всю бытность его в Кёнигсберге прямо славно и великолепно и не так, как бы генерал-поручику, но как бы какому-нибудь владетельному князю или, по крайней мере, вице-рою жить было надобно. Словом, он проживал тут не только все свое жалованье, но и все свои собственные многочисленные доходы. Платье, экипажи, ливрея, лошади, прислуга, стол и все прочее было у него столь на пышной и великолепной ноге, что обратил он внимание всех прусских жителей к себе; а как присокупил он ко всему тому со временем и весьма частые угощения у себя всех наизнаменитейших жителей кёнигсбергских и старался доставлять всякого рода увеселения, как о том упомяну я впредь в своем месте, то чрез то власно как оживотворился весь город, и сан его сделался у всех так важен, как бы действительно какого-нибудь владетельного герцога и государя, и он приобрел любовь от всего Пруссаго королевства.

Вот какого мы имели тогда губернатора! Теперь скажу вам, что не успел он осмотреться, как первое его старание было спознакомиться со всеми живущими в городе знатнейшими прусскими дворянскими фамилиями. Тут находилось около сего времени довольно оных, и в числе их были некоторыя графы и бароны, как, например, граф *Станиславский*,

граф *Кейзерлинг*, граф *Финк* и некоторыя другие, а из госпож были не только графини и баронессы, но и самые принцессы, как, например, принцесса *Гольштейн-Бекская*; из дворянских же фамилий, а особливо госпож, было множество. Он объездил все тотчас наизнатнейшие дома сам, а чтоб и со всеми прочими ознакомиться, то через несколько времени после своего приезда сделал для всех превеликий пир, а потом дал бал, на который званы были все благородные обоего пола.

При сем случае впервые увидели мы все прусское тут находившееся дворянство, и как для звания онаго употреблен был его адъютант и по множеству домов один сего дела исправить не мог, то употреблен был на вспоможение ему при сем случае я.

Для меня дело сие было совсем новое и необыкновенное. Мне дали верховую лошадь, и я должен был, по данному мне реестру, все дворянские дома в городе отыскивать, господ и госпож тамошних звать и потом вместе с адъютантом их в замке принимать и во время стола и бала всячески угаживать стараться. Во всех таких делах я никогда еще не обращался, однако из послушания и в угодность генералу старался свою должность как можно лучше исправить. Приятель мой, адъютант, помогал мне своими советами и примером, и при помощи его исправил я все так хорошо, что генерал мой был мною доволен. Впрочем, за труд мой с лихвою награжден я был тем удовольствием, которое имел я при присутствии на сем пиру и торжестве. Гостей обоего пола, а особливо дам и девиц, было превеликое множество; и как до того времени мне никогда еще не случилось бывать на собраниях толь многочисленных и знатных, то как самое собрание, так и танцы и музыка пленяли все мои чувства и мысли, и я не мог всему насмотреться и надивиться. А сие и было причиною, что я и в последующее время, когда случались у нас таковыя ж праздники, охотно для смотрения оных хаживал и безотговорочно принимал на себя труды и комиссии, буде когда какия мне от генерала поручались, несмотря хотя по выше изображенному его обычаю и доставалось иногда мне такия же словца два-три не очень гладких, какими он нередко и почти всякий день щедро осыпал бедного своего адъютанта.

Сим образом начал я вести новый и совсем от прежней отменный род жизни и мало-помалу привыкать к новой моей должности. И как труды мои услаждались тем удовольствием, что я был всегда на людях, мог слышать, видеть и узнавать все, происходившее как тут в городе, так и в самой

армии, которая находилась в походе и из которой получаемые известия становились с часу на час интересней, любопытней и важнее, а при всем том имел всегда и хороший стол, то и привык я к ней очень скоро, и она мне не только сделалась сноснее, но я начал и находить в ней уже и удовольствие и скоро перестал совсем скучать ею.

Одно только меня отягощало, а именно дальняя ходьба на мою квартиру, а особливо поздно по вечерам и в ненастье, но и от этого отягощения я скоро избавился ибо не успел я изъяснить оное сотоварищам моим в канцелярии, как все стали советовать мне переменить свою квартиру и сыскать другую, и где-нибудь поближе к замку. О сем я сам давно уже помышлял, но сперва не хотелось мне долго разстаться с прекрасною своею и веселою квартирою, но как ежедневная ходьба мне наконец слишком надоела и я увидел, что квартирою своею я вовсе почти уж не пользовался, ибо доводилось мне в ней только что ночевать, а весь день с утра до вечера проводил я в замке, то рад был наконец какой-нибудь, но только поближе и стал действительно себе просить и искать другой квартиры. Но, по несчастью, так случилось, что дома в ближних улицах были тогда все отчасти заняты постоем, отчасти по разным причинам освобождены были от онаго, и я не мог иной найти, как с полверсты от замка, в доме одного мясника. Квартирка сия была хотя и не такова весела, как прежняя, но как было в ней два покоя и я мог в ней свободно с людьми моими уместиться, то, уступая нужде, выпросил я себе оную и без дальняго отлагательства на нее со всем своим скарбом перебрался.

Теперь, не ходя далее, опишу я вам сию мою новую квартиру. Была она в одной части *Штейндамского* форштата, на улице, идущей от замка мимо театра и неподалеку от штейндамской кирки, бывшей потом нашею церковью. Дом был небольшой, о двух только этажах, из которых в нижнем жил хозяин, а верхний, состоящий в двух покоях и одних сенцах, опростан был весь для меня. Из сих в одном и переднем поместил я своих людей, а другой и задний ассигновал для себя. Вход в наш этаж был с улицы узенькою лестницей вверх и совсем особливый, так что мы с хозяином не имели никакого сообщения. А вид из покоев моих простирался на самый тот просторный луг, о котором прежде упоминал я под именем парадного места и который был внутри города, между Штейндамским, Закгеймским и Траггеймским форштатом; из другого же покоя окна были на улицу. Итак, квартирка моя была не слишком весела, но я, по крайней мере, доволен

был тем, что она, по низкости покоев, была довольно тепла и спокойна и что мне ходить было гораздо ближе.

Что касается до моего хозяина, то был он, как выше упомянуто, мясник, следовательно, человек, заслуживающий от меня столь малое уважение, что я его почти и в лицо не знал; а все, чем я от него пользовался, состояло единственно в том, что я покупал у него за деньги ежедневно прекрасные сосиски или сырые колбасы, которые так были вкусны и сытны, что одной изжаренной на сковороде с хорошею пшеничного булкой довольно было для моего ужина. И я так к ним привык, что мне жаривали их ежедневно, и в том одном состояли обыкновенно мои ужины во все время стояния моего на сей квартире, ибо обеды наши у генерала были столь сытны, что могли мы по нужде и без ужина оставаться, и я за излишнее почитал для себя готовить оныя, кроме колбас их.

Впрочем, как чрез переезд на сию квартиру удалился я уже далеко от полку и от тех мест, где оный расположен был по квартирам, то сие и отлучило меня от всех прежних моих друзей и полковых сотоварищей и разорвало совершенно всю бывшую у меня с ними и столь для меня опасную связь, так что я с того времени их почти уже и не видывал, а о том, что между ими происходило и делалось, не имел уже никакого и сведения, ибо в такую даль не хотелось никому из них ко мне приходить, а хотя бы и вздумали, так знали они, что никогда не застанут меня дома.

Таким образом освободился я от пагубного с ними сообщества и могу сказать, что сей пункт времени был особливо примечания достоин в моей жизни; ибо сколько могу сам себя упомнить, то с самого онаго начал я, – несмотря на всю тогдашнюю мою еще молодость, ибо шел мне только двадцатый год, – становиться час от часу степеннее и обстоятельнее в моих мыслях и прилежать более к чтению книг и к наукам, которые потом в толикую мне пользу обратились.

Однако надобно сказать, что ко всему тому весьма много поспешествовали и разные другия причины и случайности. Из сих первым, наиглавнейшим и прямо спасительным для меня обстоятельством почитаю я то, что я привязан был тогда так крепко к канцелярии, что я не мог из ней никуда и никак отлучиться, и чрез сие наложена была на меня власно, как самую судьбою, узда, весьма нужная для молодого человека; ибо по молодости своей хотя бы и вздумалось иногда кое-куда пойтить и погулять, но тогда, а особливо в первые недели, и подумать о том было мне не можно,

но я принужден был сидеть безвыходно в канцелярии и не только работать, но и всякую минуту ожидать, чтоб меня не спросили и не дали вновь какого дела. А чрез такое непрерывное пребывание в замке и предохранился я от всех искушений, которым бы легко мог подвергнуться, имея более свободы.

Вторым и не менее счастливым для меня обстоятельством почитаю то, что из всего нашего канцелярского общества и генеральскаго штата, кроме вышеупомянутаго адъютанта, не было никого одинаковых со мною лет и такого, который бы мог мне быть компаньоном и меня подзывать и водить куда-нибудь с собою, но все были гораздо меня старше, и таких свойств и характеров, которые не сходствовали нимало с моими тогдашними. Из сих господ хотя и отлучались иногда иные из канцелярии попеременно и хаживали в трактиры и другие надобные места, а нередко у них между собою бывали и сходбищи и компании, и господа сии хотя все меня любили и ко мне ласкались, но никому из них не приходило никогда в голову подзывать меня и брать с собою к себе на квартиры или в те места, куда они хаживали. И я не знаю, молодость ли моя была тому причиною, что они не хотели удостаивать меня своих компаний, или то, что я был посторонний человек и не принадлежал собственно к их шайке, или благодетельной моей судьбе, пекущейся обо мне, было то в особенности угодно, но как бы то ни было, но то достоверно, что я, живучи между их и имея всякий день близкое с ними обхождение, но в самом деле был от всех их весьма удален и, пребывая во всегдашнем людстве, жил особняком и власно как в совершенном уединении. Ибо, как они к себе меня никогда не приглашали, сам же я не был наянчив и насильно на то не набивался, то и не хаживал я к ним никогда, но знал только свою квартиру и канцелярию. А сие и обратилось мне потом в великую пользу, ибо после увидел, что господа сии были таких свойств, что, ходючи к ним или с ними во все места, не многому б добру мог я от них научиться, а скорей мог бы себя повредить и испортить.

Что ж касается до сверстника моего адъютанта, то сей бедняк был еще более моего связан и по рукам и по ногам и не мог сам от генерала ни пяди отлучаться; следовательно, и его знакомство не могло мне быть вредно.

Третьим и счастливым для меня обстоятельством было то, что как, по прошествии нескольких первых недель, письменныя дела мои начинали не только уменьшаться, но нередко и совсем перемежаться, так что ино-

гда по несколько часов сиживал я совсем без дела, то по привычке моей с малолетства к всегдашним упражнениям и стали праздные часы сии мне уже и скучными становиться, так что я, не занимаясь ничем, иногда даже тосковал от того. Сие обстоятельство причиною тому было, что я вздумал в запас на такая случаи приносить с собой с квартиры кой-какия книжки и в праздное время занимался чтением оных, ибо иного ничего делать было тут не можно. А от сего и произошли для меня многие пользы, ибо, во-первых, занимался в праздные часы полезным для себя упражнением и снискивал час от часу более себе знаниев; во-вторых, избавлялся от скуки; в-третьих, препятствовал мыслям своим заниматься от праздности другими предметами, могущими обратиться мне во вред и в предосуждение, а в-четвертых, наконец, самым тем подал повод приятелю моему, адъютанту, расхвалить мне одну знакомую ему книжку, а именно: «*Нравоучительные размышления графа Оксенштирна*». Он расхвалил мне ее до небес и тем так меня поджег, что я непременно положил ее себе купить, и сыскав свободный час, побежал искать книжной лавки и ее спрашивать.

День, в который я сие учинил, был для меня поистине блаженным и крайне достопамятным, ибо в самый оный судьбе угодно было отворить мне, так сказать, впервые дверь во храм наук и показать мне прелестности онаго. Не могу довольно изобразить, каким восхищением поразился я, вошед в тамошнюю книжную лавку, в которой до того не случалось еще бывать мне ни однажды. Один из товарищей моих немцев взялся проводить меня в оную и указать тот глухой и неизвестный мне переулочек, в котором она находилась. Не бывав никогда в порядочных и больших книжных лавках, поразился я воззрением на преужасное множество непереплетенных книг, лежащих не только в стопах по полкам, но и разложенных по всем столам и прилавкам так, что их титлы и заглавия можно было единым взором обозревать и видеть. Я не знал, куда мне и на какую из них обращать мои взоры и какую разсматривать прежде и какую после. Несколько минут препроводил я власно как в исступлении и не пересматривал, а пожирал глазами все оныя. Если б можно было, то все бы я их себе заграбил, – так прельщался я сим необыкновенным для меня зрелищем. Но удовольствие мое было еще больше, когда, спросив об «Оксенштирне», услышал, что она не только есть, но, несмотря на величину свою, так была дешева, что из бывших со мною денег еще большая половина осталась и я мог купить на них и еще несколько книг, которых мне титулы полюбились.

С превеликим удовольствием побежал я оттуда к переплетчику, чтоб отдать их переплести, а между тем с особливым вниманием замечал все улицы и переулки, по которым бы ходить мне впредь в сию лавку. Она и подлинно нередко достаивалась моего посещения и принесла мне в последующее время неоцененные пользы.

Получив на другой день от переплетчика моего «Оксенштирна», приступил я того же часа к чтению оной. Несколько дней читал я ее не уставая, и хотя была она не из самолучших, но для меня послужила тогда в превеликую пользу. Сочинитель говорил в ней обо всем на свете, и о своей человеческой жизни, вперил в меня множество весьма хороших и таких мыслей, которыя послужили мне великим побуждением к порядочной жизни и к возможнейшему удалению от пороков; а что всего лучше, заохотил меня и к дальнейшему чтению книг сему подобных. Словом, я книге сей весьма много обязан и так ее полюбил, что некоторыя статьи из ней даже в праздное время переводить вздумал; а и поныне не могу на нее взглянуть без некотораго чувства благодарности к ней.

Таковое-то стечение разных обстоятельств было причиною и поспешествованием помянутой сделавшейся тогда во мне первоначальной перемены в мыслях и поведении, и с того времени, при помощи благодетельных ко мне небес, или, собственнее сказать, пекущагося обо мне Промысла Божескаго, пошел я час от часу далее и власно как по лестнице. Но о сем буду я рассказывать впредь и в свое время; а теперь, поелику письмо мое уже слишком увеличилось, то позвольте мне на сем месте остановиться и сказать вам, что я есмь ваш непременно́й друг и прочая.

ИСТОРИЯ ВОЙНЫ

Письмо 65-е

Любезный приятель!

Разказывая вам в предследующих моих письмах в подробности обо всем, что случилось со мною в первые месяцы пребывания нашего в Кёнигсберге, я так тем занялся и так о мелочах сих заговорился, что позабыл совсем о нашей тогдашней войне и о продолжении оной. История войны сей с сего времени хотя и не связана тесно с моею, поелику я не имел уже

собственного в ней соучастия, однако, как я впереди начал уже ее вкратце описывать, то, надеюсь, непротивно вам будет и продолжение краткого повествования о дальнейших бывших во время оной, и когда не всех, так по крайней мере важнейших происшествий.

Итак, возвращаясь несколько назад, скажу вам, любезный приятель, что между тем как мы вышеупомянутым образом из *Торуни* в Кёнигсберг шли и тут мало-помалу жить привыкали, и время свое не столько в трудах, сколько в веселостях провождали, в свете пылал уже повсюду военный огонь, и земля во многих местах обагряема была человеческою кровью. В последний раз, когда писал я к вам о сей войне, имел я уже случай рассказать вам, какая страшные и великия приуготовления деланы были во всех воюющих областях к продолжению оной, и сколь многия и сильныя армии изготовлены были для действия друг против друга, как скоро весна вскроется. Сие и не преминуло воспоследовать. Не успела весна начать вскрываться, как тотчас уже и начались военные действия. Сие начало учинено было королем прусским и его союзниками, и столь рано, что все не могли тому довольно надивиться. Я упомянул уже вам отчасти прежде, что так называемая союзная армия, состоящая из ганноверанцев, подкрепленная небольшим количеством прусских войск и предводимая брауншвейгским герцогом Фердинандом, начала производить военные свои действия еще при самом начале сего года и даже в самое зимнее время, и сколь великие успехи она уже имела. В самое короткое время французы принуждены были не только оставить все полученные над неприятелями своими выгоды, но со стыдом и растерянием множества людей возвратиться за реку Рейн. Однако союзники короля пруссаго и там не дали им покоя. Храбрый принц Фердинанд Брауншвейгский, присланный от короля для командования сими союзными войсками, открыл первый, и еще в марте месяце, кампанию сего года и предпринял дело поистине весьма важное и трудное. Оно состояло в том, чтоб выгнать французов совсем из Нижней Саксонии и Вестфалии; но как число их простиралось еще до 80 000 человек, а у него не более было как 30 000 самых тех ганноверанцев, которыя, за три месяца до того, хотели было совсем ружье положить, то потребно было к тому все искусство и проворство великаго генерала. К тому ж присовокупить надобно и то, что и командовал французскою армиею уже не прежний слабый герцог *Ришелье*, но вновь присланный от французскаго двора г. *Клермонт*, который почитаем был также искусным

генералом. Со всем тем французам и сия перемена мало помогла. Герцог Фердинанд начал производить столь искусные движения, что вскоре принудил французов вытти и очистить совсем все брауншвейгския, вольфенбиттельския и ганноверанския области; после чего пошел он прямо к городу *Миндену* и, соединившись с прочими бывшими на *Везере* отрядами, осадил, не медля ни минуты, сей город. Граф *Клермонт*, хотя и отправил генерала *Броглио* с корпусом для подкрепления сего города, но сей генерал не мог найти случая к предприятию чего-нибудь важнаго против союзников, но принужден был быть только свидетелем тому, как они сей город взяли и весь в нем бывший гарнизон полонили. Сие происшествие и отобрание всех прочих укрепленных городов, которыми было французы в немецкой земле овладели, и повсеместные успехи ганноверанцев, принудили французов вытти совсем из пределов областей немецких и расположиться за Рейном на кантонир-квартиры, что для отдохновения учинили потом и союзные войска, набрав при разных случаях до 11 тысяч человек в полон из войск французских.

Между тем как сие происходило на *Рейне* и в отдаленнейшем краю тогдашняго военного театра, не находился и сам король прусский в праздности. Его озабочивали всего более мы и превеликия наши приготовления к тому, чтоб войтти в недра самых его бранденбургских областей. Пруссия была им оставлена и находилась вся в руках наших. Он чувствовал, что ему не можно довольно защитить страну, от прочих его областей столь отдаленную, и потому об оной уже и не старался. Но защищение *Бранденбургии* было не таково маловажно; как требовались войска и для других мест, то старался он пособить себе в сем случае хитростью и располаганием оных в таком удобном между собою сближении, чтоб, в случае нужды, можно было ему тотчас совокупить их вместе для производства какого-нибудь решительного дела. Обстоятельство, что неизвестно было куда пойдет наша армия – в *Шлезию* ли или прямо в *Мархию* Бранденбургскую – наводило на него сомнение; однако он приготовился на оба сии случая, и ведая довольно нашу нерасторопность и обыкновенную нам медлительность, предпринял воспользоваться сим обстоятельством и до прибытия нашего получить над цесарцами какая-нибудь выгоды.

В таком расположении отделил он против нас только самое малое количество войск и поставил на границах померанских не столько для воспрепятствования нам в походе, сколько для примечания наших движений.

Удостоверение его в нашей неповоротливости было так велико, что он не присоединил даже к тому и того небольшого корпуса, которым командовал у него граф *Дона*, и который назначен был для охранения и защиты всего сего края, но отправил оный для обложения шведской крепости *Стральзунда*. Сам же, нимало не медля, отправился с главными своими войсками в Шлезию для осады главной шлезской крепости *Швейдница*.

Выступление его в сей поход воспоследовало очень рано и тогда, когда ни мы, ни сами цесарцы еще о походе всего меньше помышляли; и поспешение в сем деле, от котораго весь успех онаго зависел, было так велико, что он успел еще в марте не только туда приттить, но и открыть траншеи, и к 4-му апрелю довести оныя до гласиса и самого палисада, а 5-го числа, учинив приступ, принудить крепость сию сдаться на договор. Словом, предприятие сие удалось ему наивожделеннейшим образом, и взятие сей главной крепости не стоило ему и 100 человек; он же получил при сем случае в полон двух генералов, 173 офицера и до 5000 рядовых.

По овладении сею крепостью, употребил он паки славную *стратагему*, или военный обман. Он, вознамерясь нечаянно напасть на Моравию и овладеть цесарскою крепостью Ольмицом, скрыл так хорошо свое намерение, что цесарцы вдалились в совершенный обман, и, по деланным королем приуготовлениям, думали, что он идет в Богемию, и потому там и собрали войска и расположились при *Находе*. Но король вместо того 6-го числа отправился в Моравию, и собрав войска свои при *Тронпау*, пошел с таким поспешением, что войска его в три дня перешли 40 миль и он 22-го апреля находился уже при *Ольмице*, а цесарцы в сие время и не тронулись еще из Богемии.

Вся Моравия находилась тогда почти без защиты. Генерал *Виль*, командовавший там немногими войсками, охранявшими оную, впустил пехоту свою в крепость, а сам с конницею своею ретировался в *Брюн*. Крепость тотчас осаждена была пруссаками, как скоро привезены были к ним пушки, и они надеялись, что возьмут ее столь же легко и таково ж скоро, как Швейдниц. Тоже думали тогда и все, и более потому, что крепость сия была не из важных и не таких, которая бы могла вытерпеть формальную осаду и остановить надолго быстрый ток успехов королевских. Главный австрийский магазин находился в *Лейтомишеле*, на границах моравских. Не было вероятности, чтоб *Даун* мог из отдаленной Богемии поспеть для защищения онаго и недопущения прусаков до овладения оным. Король и

действительно имел намерение произвести сие в действо, а вкупе напасть на Богемию с сей стороны и чрез самое то отдалить цесарскую армию от нашей. Но прожект сей составлял тайнство, которое хотелось королю всячески сокрыть от цесарцев. Он запретил наистрожайшим образом всему войску, чтоб никто в течение целых шести недель не дерзал писать ничего из армии. Легкие его войска достигали уж набегами своими до границ самой Австрии. В самом столичном цесарском городе *Вене*, уже боялись, чтоб не пришел вскоре король прусский и не явился пред стенами онаго. Словом, все обстоятельства обещавали великие для короля успехи и предвозвещали происшествия важные; однако, против всякаго чаяния, произошло совсем тому противное.

Осада Ольмица попродлилась; сидящий в оной генерал *Маршал* учинил столь храбрый отпор, что пруссаки не могли ею никак овладеть, а чрез то получил Даун время приттить к *Лейтомишелю*, прикрыть магазин и подкрепить ольмицкий гарнизон множайшим числом войска. Сие случилось весьма кстати, ибо осада сему городу продолжалась уже с 16-го мая, и апроши доведены были до самого гласиса. Пруссаки всадили уже в него до 180 тысяч ядер и бомб и им оставалось только учинить приступ к оному.

Со всем тем *Даун*, по прибытии своем, увидел сущую невозможность освободить сей город от осады, не дав с пруссаками баталии; но как успех оной не мог быть никому наперед известен и, в случае потеряния баталии, могли б проистечь весьма бедственные для всей Австрии следствия, то *Даун* разсудил за выгоднейшее стараться от баталии удалиться и довольствоваться окружением всего неприятельскаго лагеря и недопущением до него никаких транспортов и сикурсов. Храбрый Лаудон, сделавшийся из добраго солдата изящным генералом, командовал легкими цесарскими войсками. Под его предводительством одерживали они на всех бывших малых сражениях всегда над пруссаками верх, и сей род войны, обезпокоивавший чрезвычайно пруссаков, удался наконец по желанию и принудил пруссаков оставить осаду. В начале июня узнал *Даун*, что идет к прусскому королю сикурс с великим транспортом амуниции и денежной казны из Шлезии: он отправил для разбития его генералов *Лаудона* и *Шшиковича*, дав каждому по 6000 человек войска. Они напали на сикурс сей в самое почти то время, когда он хотел вступать в линии пруссаков, и разгромили оный совершенно. Они побили до 3000 пруссаков, взяли 400 человек в полон, получили в добычу 12 пушек и овладели всем почти транспортом.

Таковой чувствительный урон и недостаток во всех нужных вещах принудил короля оставить осаду сего города и от него удалиться.

Пруссаки неудачу сию приписывали наиболее тому, что инженерный их полковник *Балби* ошибся и начал весть апроши к городу слишком издалека и за 1500 шагов от крепости, отчего прошло много времени, куда могли они доведены быть до гласиса, и потеряно много по-пустому пороху и ядр; а во-вторых, потерянню помянутаго обоза, состоявшего в 3000 повозок, который, по длине его, не было им возможности весь вдруг на дороге защитить от нападавших цесарцев, которыя так хорошо успели произвесть сие дело, что из всего множества фур и телег едва только 250-ти удалось пробраться до прусскаго лагеря, в числе которых 37 возов были с деньгами.

Весь свет удивился тогда благоразумию *Дауна*. Он освободил город сей от осады, не потеряв ни одного человека. Он умел избежать баталии и сопротивника своего довесть наконец до того, что ему столь же опасно было отважиться дать бой, как и продолжать осаду, и чрез самое то принудил оставить оную. Однако и король прославился тогда не менее своим благоразумием. Он не только отступление сие произвел с толиким искусством, что цесарцы не могли ему ничего при том сделать, но и пошел в такую сторону, куда никто не думал. Ибо вместо отступления в Шлезию, пошел он вдруг в сторону к Богемии и прямо к столичному в ней городу *Праге*, и в начале июля расположился лагерем при *Кёнигсгреце*. *Даун* и *Лаудон* последовали за ним, один по правую, а другой по левую руку, и стали лагерем насупротив его при *Любшау*.

Теперь оставим обе сии армии, стоявшими в сей позиции, и посмотрим, что между тем в других местах происходило.

Колико неудачна была ольмицкая осада королю прусскому столь удачно было, напротив того, начало кампании сего лета его союзникам ганноверанцам. Родственник его, славный принц *Фердинанд* Брауншвейгский, сошедшись с французскою армией, бывшею под командою принца *Клермонта* при *Кревельте*, одержал над нею совершенную победу. Сия победа могла иметь весьма досадные следствия для австрийских Нидерланд. Принц Брауншвейгский, победивши французов, пошел далее, побрал многие города, вступил в Нидерланды, взял город *Рюремонт*, и легкие его войска простирали набеги свои даже до ворот столичнаго города *Брисселя*; но, по счастью, одержанная французским маршалом *Броглио*, вскоре

после того, победа над гессен-кассельскими войсками, бывшими под командою принца *Изенбургскаго*, при *Зундергаузене*, поправила несколько дела и дурные обстоятельства французов. Они вошли после сей победы в город *Минден*, и вся ганноверанская земля сделалась им отверстою. Сие разстроило так много все предприятия принца Фердинанда, что он принужден был, оставив все свои завоевания, перейти назад через реку Рейн и идти к *Мюнстеру*.

Таковы были происшествия у союзников наших, а теперь время уже нам обратиться к нашей армии и посмотреть, что между тем мы делали и что у нас происходило.

По занятии всей Пруссии нашими войсками, расположился наш главнокомандующий генерал граф *Фермор*, как прежде было уже упоминаемо, вдоль по реке *Висле* кордоном. В сем положении оставалась армия до вскрытия полной воды, и в течение сего времени старался он только занять таким же образом войсками нашими и предместья города *Данцига*, как заняты были все прочие польско-пруссские города: *Эльбинг*, *Мариенбург*, *Кульм*, *Грауденец* и *Торунь*. Однако это намерение его не удалось. Данцигские жители того не захотели, за них вступились министры прочих держав, и так принуждено было сие дело оставить. Как же скоро весна начала вскрываться, то переправлен был один корпус войска под командою генерала *Панина*, за Вислу, и велено было стать лагерем подле местечка *Диршау*, а чрез несколько времени потом переправилась и вся армия при Диршау чрез Вислу, и расположилась на той стороне лагерем.

Все думали тогда, что армия наша выступит, нимало не медля, далее в поход и, пользуясь отсутствием короля, поспешит войтить в пределы *бранденбургские* и простирать завоевания свои далее; однако впоследствии противное тому, и, к удивлению всего света, простояла она в помянутом положении и не делая ничего несколько недель сряду. Никто не знал, что заключать о таковой медлительности, и хотим ли мы, или нет вправду нападать вооруженною рукою на шлезские и бранденбургские земли. Но причиною тому было, может быть, поджидание идущих прямо чрез Польшу других наших войск, а особливо новаго или так называемаго *обсервационного* корпуса, который шел весьма медлительными стопами. Но как бы то ни было, но армия наша стояла до самого почти июня праздно и ничего не делала, и не прежде выступила в поход, как в исходе мая, но и

тут дошла только до местечка *Коница* и, остановившись, опять несколько недель простояла.

В сем месте соединилась, наконец, вся армия вместе, и генерал *Фермор*, отделив особый корпус под командою графа *Румянцева* для впадения в прусскую Померанию, сам поворотил влево и пошел со всею армиею в Малую Польшу и чрез несколько дней прибыл в польский город *Познань*.

Между тем как сие происходило, передовые наши войска отправленного в Померанию корпуса под командою генерал-майора *Демикю* вступили в пределы Померании при местечке *Рацебуре*, неподалеку от городка *Нейштетина*. В сем городке поставлен был от пруссаков один ротмистр с несколькими десятками гусар и драгун для примечания наших движений. Он хотел было захватить одну нашу партию, но сам охвачен был так нашими войсками, что принужден был три раза прорубаться сквозь наших и с великою нуждою спасся в Нейштетине.

Сие было первоначальное в сей год неприятельское действие, и пруссаки не преминули и в сей раз очернить поступки наших войск в глазах всего света. Они кричали повсюду, что войска наши, при вшествии своем и в сей раз в пределы прусские, производили безчеловечные варварства и такая жестокости, какия производимы были ими в минувшем году при фельдмаршале Апраксине. По повелению от двора их, обнародованы были такая известия, которыя без досады читать было не можно. Они писали, что будто бы после вышеупомянутой сшибки, оное местечко Рацебур со всеми соседственными деревнями предано было на расхищение казакам и что они не только разграбили оныя и опустошили совершенно, но производили и неслыханные безчеловечия. По словам их, сундуки и укладки во всех домах были разломаны, хлеб потоптан и отравлен, рогатый скот, овцы и лошади отогнаты в Польшу и там за безценок распроданы, а жители, несмотря хотя они все, что у них ни было, охотно отдавали, немилосердно сечены были плетьюми и мучены. У ломинского пастора *Гензеля* отрублена была сперва рука, а потом застрелен он был тремя pistolетными пулями. Бурценского ландрата *Остена* и нескольких других пасторов засекли до полусмерти кнутьями, отчего ландрат и умер; а другого *Остена*, шестидесятипятилетнего старика, обвязали соломою и, зажегши оную, так и оставили, отчего он лишился жизни. Безчиния же, делаемья над женщинами всякого состояния и возраста, неудобоизобразимы, и так

далее. «Опустошив сим образом, – продолжали сии известия говорить далее, – половину Нейштетинского уезда, сей корпус продолжал свой поход до *Драггеймского* Господства в *Неймарке*, и опустошил таким же образом помянутое господство вместе с *Драмбургским* и *Арендсвальским* уездом в Неймарке. Но как скоро уведомились они, что идут против их некоторые отправленные из *Кистрина* войска, то отступили чрез Драгу реку назад в Польшу и испытывали только там делать набег, где не уповали они найти себе противоборство».

Вот каким образом писали о нас пруссаки и, может быть, имели к тому и причину, ибо за казаков наших поручиться никому не можно. Однако и то правда, что никто так безстыдно не умел лгать, как пруссаки, и что им уже не в диковинку было сплетать иногда сущие лжи или, по крайней мере, из каждой мухи делать слона. Но я, оставя сие, возвращусь к продолжению истории.

Главная наша армия, простояв дней десять в Познани и приготовившись совсем ко вступлению в неприятельскую землю, выступила, наконец, 1-го числа июля в поход и пошла прямо в *Шлезию*, направляя поход свои к прусскому городу *Франкфурту*, что на реке *Одере*. Разные небольшие неприятельские партии встретили ее тотчас при вступлении в пределы прусские, и наши передовые войска принуждены были непрерывно с ними сражаться. Ибо как скоро получено было королем известие о приближении к границам нашей армии, то велено было от него генералу графу Дона оставить обложение шведского города *Стральзунда* и поспешать к тому месту, где мы намерены были войтить, и стараться делать нам в походе возможнейшую остановку и помешательство, и всячески защищать страну сию от войск наших. Сей генерал, имея небольшой корпус, расположился за рекою *Одером* при *Франкфурте*, и, для делания нам остановок и препятствия, отправил с отрядом генералов *Каница*, *Малаховскаго* и *Платена*, и сии не преминули учинить все, что только им возможно было. Но как отряды их были слишком малы, то и не могли они ничего важного произвести против столь многочисленной армии, какова была тогда наша. Они хотя и старались заседать в некоторых местечках, чрез которые нам иттить надлежало, равно как и при переправах чрез некоторые реки делать нам препятствия и беспокойство, но с уроном принуждены были всегда уступить слишком превосходящей их силе.

Со всем тем как граф *Дона* с корпусом своим взял при Франкфурте такую позицию, что нашей армии не можно было с удобностью в сем месте переправиться через большую реку *Одер* так, как армия была сперва намерена, то граф *Фермор* решился выттить опять из пределов Шлезии, в которья было он вошел и, поворотив вправо, вступить в пределы *Мархии* Бранденбургской, и, переправившись опять чрез реку *Варту*, иттить чрез *Ландсберг* к прусской крепости *Кюстрину*, посреди почти реки Одера построенной, и стараться овладеть сею крепостью, чтобы тут удобнее было чрез помянутую реку Одер переправиться. Генерала же графа *Румянцева* с особливым корпусом, состоящим наиболее из одной конницы, отправил он далее вправо к *Старгарду*, чтобы искать переправы чрез Одер еще ниже и в другом месте. Тако расположась, выступил он в исходе июля в обратный поход из *Кёнигсвальда* и шел с толиким поспешением, что 3-го числа августа дошел до деревни *Гросс-Камина*, отстоящей от Кюстрина на одну только милю и расположился тут лагерем.

Не успел он приттить в сие место, как определено было на другой же день учинить на *Кюстрин* нападение. Крепость сия, построенная за 200 лет до сего времени, не имела с сей стороны никаких наружных укреплений. Она окружена была с одной стороны рекою *Одером*, а с другой, – то есть с нашей, топким болотом, но которое, однако, не так было широко, чтоб не можно было нам ее бомбандировать. Со всем тем почиталась она весьма важною и крепкою крепостью, в которой надежде и свезли в оную жители всех тамошних окрестностей наилучшие свои пожитки и имения для безопаснейшего сбережения.

Для атакования оной отправлен был генерал *Штофельн* с авангардом, состоящим из 2000 гренадер и некотораго количества легких войск. Сей генерал, пришед пред крепость и предместье оной, увидел, против всякаго чаяния своего, целый корпус прусских войск, пред болотом, отделявшим город от форштата, поставленный и тысяч до шести простирающийся. Таковое видение его сперва остановило и принудило несколько назад отступить; но генерал *Фермор*, приехавший сам вслед за сим генералом, велел тотчас помянутым гренадерам приступить к самому жилу форштата, и в тот же момент привезть пушки, и поставив на чистом поле, не делая никаких траншей и батарей, произвести прежесточайшую пальбу по мостам, отделяющим город от форштатов. А в самое то время гренадерам напасть

с такую фуриею на прусские войска, что сии принуждены были с превеличайшим беспорядком бежать и спасаться по мостам в город.

Между тем вся армия последовала вслед за сим авангардом и, пришед под крепость, расположилась перед оною. И как имели мы тогда изящную артиллерию, то граф *Фермор*, ни минуты не медля, приказал ей наижесточайшим образом бомбандировать. Сие произведено было артиллеристами нашими с таким искусством, что с третьей бомбы город сей загорелся и в несколько часов превратился в пепел. Сие особливое несчастье сему городу случилось 2-го числа августа, и произошло более оттого, что помянутой роковой бомбе случилось упасть в магазин, наполненный соломою, и недалеко от порохового погреба находившийся. Отчего произошел столь ужасный пожар, что не только все строение в городе превращено было, менее нежели в 6 часов, в пепел, но и сами жители насилу успели спастись на ту сторону реки Одера, откуда принуждены были видеть все дома и имени свои, пожираемые пламенем.

Состояние, в каком находились тогда несчастные жители сего города, было по справедливости ужасно и плачевно. Некто из них изобразил оное в письме своем из Берлина наиживейшими красками; и как из письма сего можно всего яснее усмотреть, в каком жалком положении находились тогда сии несчастные люди, то сообщу я вам его от слова до слова.

«Я уведомляю вас чрез сие, – говорит он, – о плачевной гибели города *Кюстрина* и о жестоком жребии, поразившем всех жителей сего разоренного места и принудившем меня взять сюда мое прибежище с таким расположением духа, которой сообразен сему случаю. 2-го числа сего месяца, в три часа после полудни, загремел у нас по всему городу слух, что русские гусары и казаки показались на наших городских полях пред короткою плотиною. Слух сей привел весь город тем в вящее движение, что уже известно было о российской армии, что вся она, переменяв свой поход и повернув на Ландсберг, приближалась к Кюстрину. С башен, колоколен и валов городских видны были между гусарами и казаками некоторые отличного достоинства люди, разъезжающие на английских и покрытых сетками лошадях и смотрящие на город в подозрные трубки. Но как с крепости учинено было по ним несколько пушечных выстрелов, то удалились они опять. О сем происшествии донесено было тотчас стоящему при Франкфурте графу *Дона* и прошено о умножении гарнизона в

крепости, что тотчас и учинено было, и вместе с сим прислан был и новый комендант, полковник *Шак*.

3-го числа получено было известие, что генерал *Фермор* в тот день со многими другими генералами обедал в Вице, за две мили от Кюстрина, и что было у них разговариваемо о вчерашнем рекогносцировании, о положении крепости, о делании батарей и о том, что предпринимать в последующий день. Несмотря на то, в Кюстрине не чувствовали мы еще никакого страха и спали в сию ночь покойно, покуда не разбудила нас поутру, в 4 часа, перестрелка наших гусар с неприятельскими, и несколько пушечных выстрелов. Мы взбежали на башни и увидели все поле за нашим форшта-том до самого леса покрытое неприятельскими и нашими легкими войсками, стреляющими друг в друга. Но около десятого часа увидели мы в подзорную трубку превеликую колонну неприятельской пехоты, идущую от *Тамзеля* и *Варнику* к нашей виноградной горе. Не успела она приблизиться к сей горе, как, поставив на ней свои пушки, начала производить из них столь жестокую стрельбу картечами по нашим гусарам, что они вместе с прочими нашими войсками принуждены были с великою поспешностью ретироваться в крепость. После чего не прошло еще и получаса времени, как неприятели кинули к нам такое множество бомб и карказов, что город наш тотчас в трех местах загорелся и огонь, по причине тесного и сплошного строения, так усилился, что не можно уже было никак его потушить. Сие и продолжавшееся непрерывно летание бомб привело всех жителей в такой страх и изумление, что все начали помышлять о спасении только единой своей жизни и о ушествии в поле.

Сих бомб и зажигательных ядер было так много, что, казалось, будто бы все небо разверзлось и спустило на нас дождь огненный, и оттого повсюду, куда ни обращались взоры, видимы были обрушивающиеся дома и побивающие своих хозяев. О погашении сего пожара не можно было никому и мыслить, а все, кто только мог иметь движение, обратились в бегство. Самые младенцы у груди своих отчаянных матерей, самые больные, лежавшие в своих постелях, едва имели время, бросив все и, полуобнаженными, уйтить из погибающего города. Единый стон и жалостные вопли и рыдания слышны были отовсюду, а особливо от перебежавших за реку Одер и видевших оттуда огонь и дым, снедающий все их имение и пожитки и уносящий с собою в облака. Премногое множество погибло тогда людей в самом огне и пламени. Множество других подавлено обрушившимися

домами и задохлось в погребках, где они и от бомб себе спасения искали. Я сам едва мог иметь столько времени, чтоб накинуть на себя платье, как бомбы уже над главою моею с страшным треском разседались. Тогда не оставалось иного думать, как спасти только жену свою и детей. Они поскакали с постелей своих и так, как спали, полуобнаженные, принуждены были спешить за мною и покидать все наше имение и достаток в жертву огню и пламени. Мы не успели еще добежать до площади, как одна бомба, упавшая пред ногами нашими, повергла нас на землю и с преужасным треском разсела. По счастью черепы ее нас не повредили. Весь народ стремился и бежал за ворота, и всякой поспешал спасти себя в том, в чем был, и покидая все, что ни было у него на свете. Несколько сот последовало за нами, такими ж полуобнаженными, как мы были, и оставляли дома свои, и в них многие по несколько тысяч денег. Мы потеряли все, и мне удалось только спасти одну жизнь свою и своих домашних, и я благодарю и за то еще Бога.

Несчастливыми сделались не одни мы, жители сего города, но и многие приезжие, убежавшие к нам в город с наилучшими своими пожитками, и погибло при сем случае и множество церковных утварей, присланных из разных мест сюда для сохранения. Сверх того, не находим мы и многих людей и не знаем, куда они делись. Зной и жар от огня и пламени был так велик, что растопились от него даже самые пушки в цейхгаузе. Мост, сделанный через реку Одер, сгорел весь, и даже самые быки, сделанные для удержания льда, обгорели по самую воду. Одним словом, зрелище было наиужаснейшее и такое, что я сомневаюсь, был ли подобный тому пример со времен разорения Трои и Ирусалима в свете, чтоб город погиб столь страшным и плачевным образом в немногие часы и проглочен был огнем и пламенем. Со всем тем городские валы и укрепления остались целы и невредимы».

Вот каким образом погиб сей прусский город от жестокого нашего бомбандирования. Но и как сгорели только одни дома, а укрепления остались целыми, и гарнизон, несмотря на то и на все наши многократные требования и делаемые ему возможнейшия угрозы, не хотел никак сдаваться, то и принуждены были наши после того начать формальную осаду; а о сем, столь удачном и скоропостижном сожжении сего города, отправлен был нарочной курьер с уведомлением ко двору.

Но письмо мое так уже увеличилось, что время оное уже и кончить, а повествование о дальнейших происшествиях предоставить будущему, то покончу оное, сказав вам, что я есмь всегда вас почитающий ваш и прочая.

БИТВА ЦОРНДОРФСКАЯ

Письмо 66-е

Любезный приятель!

Помянутое сожжение Кюстрина наделало тогда много шума в свете. Многие нас винили за таковое невинное разорение бедных жителей, а другие извиняли введенным уже в свете военным обыкновением, позволяющим уже таковыя действия. Что касается до нас, находившихся тогда в Кёнигсберге, то мы, получая почти ежедневно обо всех происшествиях в армии известия, услышав о сем, не могли, чтоб не порадоваться сему приключению, ибо все мы не сомневались, что, претерпев такое бедствие, не можно будет сему городу долго держаться, но оный принужден будет скоро сдаться. Не могу изобразить вам, с какою нетерпеливостью дожидались мы после того всякий день курьера, едущего с ключами города Кюстрина ко двору; ибо столь удостоверены были мы, что сей город скоро будет в руках наших. Однако судьбе угодно было определить инако и произвести то, чего мы всего меньше ожидали.

Не успело несколько дней пройтись, как проскакал через Кёнигсберг курьером ко двору полковник *Розен*. Все мы с крайним любопытством старались тогда узнать, с каким бы известием он ехал, и услышали, что он отправлен был с известием о бывшей у наших с пруссаками пружестской баталии, о которой хотя и говорили, что будто наши ее выиграли и над пруссаками одержали победу, но вид сего полковника показался нам столь невеселым и унылым, что мы не знали, что думать, и начинали уже иметь некоторое сомнение. В сей неизвестности находились мы не более двух или трех дней, то есть покуда пришла почта и привезла нам берлинские газеты. Но вообразите себе, любезный приятель, какова была наша досада и сожаление, когда мы увидели из оных, что наша армия имела дело с самим королем и что будто им разбита наголову, так что число одних по-

битых у нас простиралось до 20 000 человек, и что взяли они у нас 103 пушки, 27 знамен и всю походную казну, простирающуюся до 85 тысяч рублей. Обомлели мы, сие читая; но всего уже несносней для нас было то, что о своем уроне писали они, будто оный побитыми простирается не более, как до 563 человек. Такая безстыдная ложь была слишком очевидна. «Умилосердитесь, государи мои, – говорил я тем, которые тому верили, – неужели наши рук не имели и сами только шеи протягивали и давали себя рубить без всякой обороны? Сами же они говорят что баталия целый день продолжалась и была наижесточайшая. Каким же образом урон с обеих сторон таков уже слишком несоразмерен? Нет, – говорил я далее, – дело, конечно, было, но как-нибудь да не так, а происходило иначе».

Сие и действительно нас несколько утешало; а вскоре после того оказалось, что предугадывание мое было в самом деле справедливо, и победа сия далеко не такова для пруссаков была велика, как они сперва расхвастались. Но дабы могли вы яснейшее понятие иметь о сей нашей славной и достопамятной битве, то расскажу я вам все происшествие оной обстоятельнее.

Как скоро армия наша вышеупомянутым образом к границам бранденбургским приблизилась и в оныя вступила, то дано было о сем тотчас знать королю прусскому. Сей находился тогда в Богемии и вознамеревался иттить к *Праге* для овладения сим столичным богемским городом. Ничто не могло тогда быть досаднее для короля пруссака известия сего, а особливо приносимых жалоб на делаемые нами разорения и опустошения. Голова его наполнена была пышными замыслами, а сердце – надеждами получить над цесарцами великия выгоды; и посреди самых сих дальновидных замыслов видел он себя принужденным, оставив все, скакать скорее к нам и стараться защитить самое сердце государства своего от нападения нашего. К вящему усугублению досады его, получил он известие, что и самые шведы, освободившись от обложения в Стральзунте, вошли безпрепятственно в его пределы и приближались уже к самому столичному его городу Берлину. Все сие принудило его, подхватив 14 батальонов пехоты и 33 эскадрона конницы, не иттить, а бежать на защищение своей Бранденбургии. Скорость шествия сего была так велика, что он в две недели перешел более 120 миль, или около 900 верст, и, к особливому несчастью нашему, успел еще поспеть к Кюстрину благовременно. Он приехал во Франкфурт-на-Одере в самое то время, когда наши осаждали Кюстрин,

и все пушечные наши выстрелы были там слышаны. Досада его была так велика, что он, останувшись тут ночевать и смотря, стоячи на крыльце одного дома, на проходящие мимо его войска, стоял как изумленный и только что нюхал табак при каждом услышанном им выстреле нашем. Когда же он приехал в Кюстрин и, увидев жалкое его состояние, узнал, что при защищении сей крепости учинены были комендантом великие погрешности, и сей, видя его гнев, стал извиняться, то он так был раздосадован, что коменданту сказал: «Не на тебя я досажую, а на себя, что тебя сделал комендантом».

Сим образом ярясь и пылая на нас мщением, не стал он ни минуты медлить, но, соединившись тут с войсками графа Дона, положил, перешед реку, тотчас на нас напасть. Но как в самом Кюстрине, за сгорением моста, перейти было не можно, то избрал он для переправы себе другое и за несколько верст ниже Кюстрина место. Тут в один миг поспел у него мост и он, воспользуясь нашею оплошностью и небрежением сего места, переправил всю армию свою в одну ночь и столь удачно, что наши не успели сделать ему в том ни малейшаго помешательства, и он не только не потерял при том ни одного человека, но и отрезал нас чрез то от Румянцевского корпуса, находившегося далее вниз по реке Одере и в довольном от армии разстоянии.

Не успел он важную сию преграду перейти, как, пользуясь всякою минутою и не давая нам время к принятию его надлежащим образом приготовиться, пошел с обыкновенным своим проворством и скоростью тот же час для атакования нашей армии. Он не инако думал, что, нашед нас в беспорядке, побьет он всех нас как свиней, и надеялся сего тем наиболее, что тогдашняя армия его была немногим чем меньше нашей. Однако в сем своем мнении он обманулся. Генерал Фермор, предусмотрев намерение королевское, успел отойти благовременно от города и стать в весьма выгодном месте в ордер баталии. Весь фронт наш прикрыт был топким ручьем, а фланги прикрывали деревни *Кварчен* и *Пикер*, и вся армия поставлена была большим кареем или четверосторонником. Король обрадовался, нашед ее в таком положении. Он почитал такая расположения войск к баталии из всех наихудшими, ибо как вся внутренность такового каре или четвероугольника напичкана была и повозками, и конницею, и самыми нужнейшими обозами, то все сие не только делало крайнее помешательство в движениях войск во время сражения, но имело то выгодное

для неприятеля последствие, что из всех его ядер не пропадало ни единого, но каждое производило вред, влетая в сию огромную кучу народа, и когда пролетало без вреда чрез передний фронт, так попадало в конницу и обозы внутри каре и их раздробляло; почему и не удивительно, что в сию баталию одному неприятельскому ядру случилось в одном нашем гренадерском полку целых 48 человек побить и переранить. А какое смятение производили сии ядра в помянутых внутри каре бывших обозах, того изобразить не можно.

Не успели пруссаки начать из артиллерии своей производить по нашему фронту прежестокую пальбу, а особливо из больших пушек, как ядра их и начали вскоре ящики, фуры и другие повозки коверкать, опрокидывать, разрывать и приводить в неописанное замешательство; а как лошади, оторвавшиеся от многих, перебесились и скакали прямо на фронт и в ряды, то сие увеличило еще более и до того сделавшееся смятение и беспорядок, что командиры наши увидели тогда, но уже поздно, что они сделали очень худо. Чтоб пособить сему злу сколько-нибудь, встрянулись они только тогда гнать все сии лишние тягости и обозы вон из каре; но тем еще более все дело испортили и так себе связали руки, что как в самое время король прусский стал обходить наше правое крыло, чтоб ударить в нас, по обыкновению своему, косою линиею во фланг, а надеясь на верное нас разбить, восхотел для совершенного нас погубления сделать нам и самую ретираду невозможною, и для того предварительно послал легкия свои войска и велел все бывшие позади нашей армии мосты и гати через речки, ручьи и болота разорить, перепортить, и выгнанные из каре, наши обозы, нашед их разоренными, принуждены были остановиться, и надвинуло их туда превеликое множество, то от самого того и произошла страшная и такая сумятица, что командиры наши хотя и видели тогда, что надлежало скорей позицию своего войска переменить, но сие было уже поздно и невозможно, ибо король, не упуская ни одной минуты, атаковал с величайшим усилием и поспешностью наше правое крыло и принудил тем ко вступлению в сражение, отчего и загорелся тогда вдруг прежесточайший огонь как из пушек, так и из мелкого ружья.

У нас случилось тогда на сем фланге стоять так называемому новому шуваловскому, или обсервационному, корпусу, составленному хотя из наилучших, но никогда в деле и огне не бывавших людей. Со всем тем выдержал оный всю жестокою прусскую пальбу с наивозможнейшею хра-

бросью и удержал все стремление на себя прусских гренадер, так что они принуждены были сперва остановиться, но как в самое то время конница наша, увидев обнажившийся прусский левый фланг, пустилась на оный и храбро в него врубилась, то и разстроиться и податься назад. Не успел Фермор сие увидеть, как, сочтя сие, хотя и слишком еще рано, совершенною победою, велел в некоторых местах разорвать фронт своего карея для пропущения конницы, посланной от него для преследования бегущих; то сие и испортило все дело. Ибо как она с превеликим криком и воплем поскакала и произвела собою страшную пыль и сию, к несчастию, вместе с дымом несло ветром на нашу вторую линию и произошла оттого такая темнота, что ничего вблизи было не видно, то помянутая вторая наша линия, сочтя ее неприятельскою, произвела по ней сильную стрельбу сзади, а подоспевший на подкрепление прусским отступающим войскам храбрый генерал их *Зейдлиц* с своею конницею встретил ее спереди и с превеликим стремлением ударил на нее тремя колоннами, то вмиг была она не только опрокинута, но доведена до того, что она поскакала на собственную свою пехоту; а в самое то время напал на нашу пехоту сбоку и другой еще корпус прусской конницы, то и произошла оттого тут совершенная разстройка, и как в пыли и в дыму наши перемешались совсем с неприятелями, то и началось такое убивственное сражение, котораго никакое перо изобразить не в состоянии.

Пруссаки, которым всем пред началом еще сражения накрепко подтверждено было не давать никому пощады, рубили всех, до кого могли только достигать их сабли, без всякого милосердия и с такою запальчивостью, что их самое пламя горевшей тогда деревни *Цорндорфа* не могло никак удержать; но несколько полков прусских драгун, проскакав сквозь пламень, напали также на нашу пехоту и производили убивство, а храбрый генерал их *Зейдлиц*, разбивши нашу конницу и кончив это дело, предпринял другое и почти до того неслыханное дело. Он, схватя свой кирасирский полк, напал с саблями в руках на нашу главную батарею, из больших пушек составленную, и, овладев оною, пустился также на пехоту, и как сим образом была она и спереди, и сзади, и с боков атакована и поражена немилосердным образом, то и неудивительно, что не помогла ей вся ее храбрость, но все наше правое крыло приведено тем в разстройку и в такой беспорядок, что не было тогда уже ни фронта, ни линий, но солдаты, раздробившись врознь, уже кучками перестреливались с пруссаками и не

столько уже дрались, как оборонялись и жизнь свою продавали неприятелям своим очень дорого. Сами пруссаки говорят, что им представилось тогда такое зрелище, какого они никогда еще не видывали. Они видели везде россиян малыми и большими кучками и толпами, стоящих по разстрелянии всех патронов своих, как каменных, и обороняющихся до последней капли крови, и что им легче было их убивать, нежели обращать в бегство. Многие, будучи прострелены насквозь, не переставали держаться на ногах и до тех пор драться, покуда могли их держать на себе ноги; иные, потеряв руку и ногу, лежали уже на земле, а не преставали еще другою и здоровою еще рукою обороняться и вредить своим неприятелям, и никто из всех не просил себе почти пощады. С толиким остервенением дрались с обеих сторон в эту кропролитную битву.

А ко всему тому присовокупилось еще и другое несчастье. Как помянутым образом все наше правое крыло было спутано и разбито и многие загнаты были в болоты и прогнаты до самого обоза, то солдаты наши бросились на попавшиеся им на глаза маркитантские бочки с вином и, разгромя оныя, пили, как скоты, вино сие и упивались им до безпамятства. Тщетно разбивали офицеры и начальники их сии бочки и выпускали вино на землю, солдаты ложились на землю и сосали сей милый для себя напиток из земли самой. И сколько померло их тут от вина одного, сколько погибло от единого остервенения вином сим, в них произведенного. Многие в безпамятстве бросались на собственных офицеров своих и их убивали, другие, как бешеные и сумасшедшие бродили куды зря и не слушали никого, кто б им что ни приказывал.

Вот что происходило на нашем правом крыле и как дрались тут с самого утра до половины дня; но на левом до сего времени не происходило еще ничего, но теперь дошла и до него очередь. Пруссаки атаковали и оно, но нашли тут уже не новокорпусных, а старые полки и людей, выдавших уже неприятеля, и потому не только не в силах были их сломить, но и сами еще ими были опрокинуты и обращены в бегство. Уже бежали они при глазах самого короля своего, как скоты, и наши гнали и побивали их без милосердия; уже загнали они их в болото и овладели их батареею; уже недостает очень малаго к тому, чтоб произойти в сем деле великому и для их крайне невыгодному перевороту; уже победа начала совсем склоняться на нашу сторону; уже находился сам король в такой опасности, что подле самого его побиты были его пажи, а один из адъютантов его взят в полон

и он сам уже отчаявался совсем в победе – как вдруг скачет и сюда тот же Зейдлиц с своею конницею и не только останавливает наших в стремлении, но и своих бегущих, и возобновляет опять всю жестокость сражения. Он выдерживает всю жестокою картечную оружейную стрельбу, по нем производимую, но нападает и сам потом на нашу конницу. Разстроившаяся их пехота опять строится и, ободрившись, подкрепляет его впадении и возобновляет с нами опять бой. А все сие и произвело и на сем крыле такое же убивственное и беспорядочное сражение, какое было на правом нашем крыле и остервенение с обеих сторон было при том так велико, что найден был один из наших воинов, который, будучи сам смертельно уже ранен, лежал на умирающем также от ран пруссаке, и грыз его своими зубами, и что, наконец, дошло до того, что с обеих сторон разстрелян был уже весь порох и стали драться на шпагах и штыках и продолжали так, покуда наступившая ночь сему взаимному убивству положила пределы, и принудила как нас, так и пруссаков, выбившихся уже из сил, взять отдохновение. И тогда увидели, что обе армии в дыму и во мраке фрунтами своими перевернувшись стали на месте баталии поперек таким образом, что половина побитых и раненых осталась у нас, а другая – у пруссаков, и множество пушек наших досталось в руки пруссакам, а немалое число прусских досталось нам; а сие и было причиною, что обе стороны имели некоторое право приписывать себе победу, а в самом деле почти никто никого не победил. Со всем тем мы на сем жестоком и кровопролитном сражении потеряли более, нежели пруссаки. Они потеряли убитыми не более 3400 человек, да ранеными 7000 и в полон попавшимися до 2000, всего с небольшим 12 000, да в добычу нами получено 26 пушек и несколько знамен. А мы убитыми одними потеряли до 10 000, да ранеными и в полон попавшими столько ж, так что весь урон наш простирался до 21 000, в том числе множество генералов, штаб и обер-офицеров; из пушек же потеряли мы более 100, а знамен 37. И все сие произошло оттого, что разъяренный злобою на нас король прусский при начале еще сражения накрепко приказал не щадить нас нимало.

Впрочем, несчастье сие приписывалось наиболее толь славном нашему новому обсервационному корпусу, который не только первый дрогнул, но, кинувшись на бочки с вином и разбив оныя, напился пьян и пошел после бурлить без всякаго порядка и стрелять без всякаго разбора и по своим, и по неприятелям. Беспорядок был так велик, что генералы наши

потеряли всю команду и вместо того, чтоб устраивать войска, принуждены были сами помышлять о спасении своей жизни. И как наши войска с вражескими так были перемешаны, что никто не знал, куда бежать и где собираться, то и не удивительно, что лучшие и ретивейшие генералы попались неприятелю в полон.

В числе их находились два генерал-поручика, *Салтыков* и граф *Чернышов*, генерал-майор *Мантейфель* и два бригадира, *Тизенгаузен* и *Сиверс*. Переранено ж было множество; но более всех сожалели о генерал-аншефе старике *Броуне*, который получил более 17 ран по голове.

Всю ночь после сего жестокаго и кровопролитнаго сражения простояли обе армии на месте баталии под ружьем и никто не мог приписать себе прямо победы. Наутрие начиналась было опять баталия. Все советовали Фермору на то отважиться и счастливы б мы были, если б он сему совету последовал. Мы могли б верно победить и разбить короля совершенно, ибо у него не было уже пороха ни одного почти заряда. Но судьбе видно, угодно было, чтоб славу сего дня получили не мы, а король прусский. Граф Фермор струсил и сделал наиглупейшее дело: он написал письмо к неприятельскому генералу Дона и просил перемирия на три дня для погребения мертвых, и чтоб дан был паспорт для проезда раненому генералу Броуну. Таковая необыкновенная и неимеющая еще себе примера поступка, возгордила неприятеля. Граф Дона ответствовал ему таким же, но горделивейшим письмом. Он говорил, что как король, его государь, одержал победу, то он и будет иметь попечение о раненых. И сия досадная, безразсудная и крайне неблагоприятная переписка и послужила после королю прусскому доказательством, что он победил. Но сего было еще не довольно, но славный наш генерал Фермор сделал еще того хуже: наместо того, чтоб испытать еще свои силы, он в сей день отступил к своему вагенбургу и чрез то упустил из рук победу; а сие отступление наше и подало королю повод уже явно утвердить свою победу и славиться оною. Со всем тем он сам так был слаб, что и не помыслил за нами гнаться и нас более беспокоить; но в тот же еще день и свою армию отвел назад, и сам возвратился в Кюстрин.

Сим образом кончилось славное сие происшествие; и хотя не можно того сказать, чтоб король нас совершенно победил, но вся выгода, по крайней мере, от сего сражения осталась на его стороне, ибо наша армия, потеряв не только множество людей, но всю почти артиллерию и денежную

казну, не в состоянии уже была ничего более предпринимать; и вместо того, чтоб иттить далее, принуждена была мало-помалу отступать далее назад и, наконец, совсем возвратиться на прежния зимния свои квартиры в Пруссию, а король прусский получил свободу с войсками своими возвратиться опять в Шлезию и поспеть еще заблаговременно к удержанию успехов, производимых цесарцами.

Впрочем, великим поспешествованием несчастью нашему служило и то, что армия наша в деле сем не вся находилась, но превеликой корпус оной под команду графа *Румянцева* и *Штофельна* случился за несколько миль в отдалении и не мог поспеть к сражению. К вящему несчастью, обстоятельство не допустило корпус сей и на другой день подоспеть к главной армии, в которой годился бы он очень кстати и мог бы ослабленнаго короля поразить наголову. Один из наших главных генералов, а именно князь Александр Михайлович *Голицын*, ушед с баталии, прискакал без души к сему корпусу и уверил оный, что армия наша вся побита наголову и что нет ей никакого спасения; а сие и принудило корпус сей вместо того, чтоб поспешить на место баталии, помышлять о собственном своем спасении и о ретираде окольными путями назад к тому месту, где оставлен был у нас вагенбург. Словом, все стечение обстоятельств было для нас несчастливое, и единая польза, происшедшая нам от сего сражения была та, что войска наши прославились на оной неописанною своею храбростью и непреоборимостью. Сам король ужаснулся, увидев с какою непоколебимостью и неустрашимостью дралась наша пехота, и пруссаки сами в реляциях своих писали, что нас легче побивать, нежели принудить к бегству, и что солдаты наши дают себя побивать при своих пушках и при бочках с вином и что простреливания человека насквозь еще недостаточно к совершенному его низложению. Словом, все пруссаки с сего времени начали уже иначе думать о наших войсках и престаи солдат наших почитать такими свиньями, какими почитали они их прежде. А мужики так были на них злы, что как пруссаки согнали их несколько тысяч и заставили рыть ямы и погребать побитых, то метали они в оныя не только мертвые трупы, но и самых тяжелораненых, лежащих безпомощными на месте сражения и зарывали их живыми в землю. Тщетно несчастные сии производили вопли, просили милосердия и с стенаниями напрягали последния свои силы, стараясь выдираться из-под мертвых трупов; но вновь накиданныя на них кучи придавлиали оных и лишали последняго дыхания. Сами прус-

ские писатели не стыдились замечать сие обстоятельство в своих о войне сей историях, равно как и ту не слишком похвальную черту самого короля пруссакого, который в то время, как попавшиеся в плен наши генералы граф *Чернышов*, *Салтыков*, *Сулковский* и прочия представлены были после баталии к нему, то он, кинув на них презрительный взор и отворотившись от них, сказал: «У меня Сибири нет, куда б их можно было мне сослать, так бросьте их в казематы кюстринские. Сами они приготовили себе такая хорошия квартиры, так пускай теперь и постоят в них».

Сие повеление его было и действительно выполнено, как ни досадовал на то и не изъявлял неудовольствия своего граф *Чернышов* коменданту кюстринскому. Он спрашивал у него: «Неужели казематы назначены жилищем для полководцев?», но комендант отвечал ему: «Вы, государь мой, не оставили ни одного дома в городе в целости, где вам можно было отвезть квартиру, и так должны уже быть довольны сими». Итак, как они ни сердились, но принуждены были лезть в сии каменные погреба, сделанные под городскими валами. Однако пробыли они в них только несколько дней, и король дозволил им потом нанять себе квартиры в кюстринском форштате, уцелевшем от пожара.

С сего времени до самой зимы не произошло у нас с пруссаками ничего важнаго, кроме первоначальной осады и бомбандирования померанской приморской крепости *Кольберга*. В сию экспедицию отправлен был генерал-майор *Пальмбах*, но и она была также неудачна. Генерал сей думал утратить город сей таким же сожжением, как Кюстрин. Он несколько раз посылал требовать сдачи; но как ему в том отказано, то хотя целый месяц простоял и непрерывно бомбандировал, но не мог ничего крепости сей сделать. Все старания его зажечь ее были безуспешны. Почему принужден он был делать траншеи, и хотя ими и нарочито близко приблизился к городу, но как корпус его был слишком мал, то и не мог он отважиться на приступ; когда же присовокупилось к тому и то несчастье, что отправленные к нему суда с провиантом и амунициею на море непогодю разбило и в провианте сделался ему недостаток, то принужден он был наконец осаду сию оставить и со стыдом отойти от города.

Сим кончилась в сей год наша против пруссаков кампания, которую по справедливости можно почесть несчастною, ибо мы растеряли множество людей, артиллерии, амуниции и денег, а всем тем не произвели ничего и принуждены были с досадою видеть, что мы в надежде своей на господина

Фермора обманулись, и что он в практике далеко не столь искусный был полководец и генерал, как мы сперва думали; ибо после известно стало, что он наделал много погрешностей, а сверх того поспешествовало к тому много и то, что он нелюбим был всеми солдатами.

Но не таково окончилась кампания сего года в Шлезии и Саксонии. Союзникам нашим, цесарцам и французам, удалось с избытком отмстить королю прусскому весь урон, причиненный им нашей армии, и он потерял там то, что у нас выиграл.

Не успели мы тогда с армиею своею начать отступление, как король, оставив графа *Дона* с небольшим корпусом против нас, а генерала *Веделя* отправив в Бранденбургию для отогнания шведов, отправился сам с великим поспешением и с лучшею частью войск помогать брату своему, принцу *Гейнриху*, и избавлять его от нужды; ибо надобно знать, что между тем как король вышеупомянутым образом ходил к нам и с нами имел дело, искусный генерал *Даун* с цесарцами был не без дела: он, отправив генерала *Гарша* с 20 000 человек для осады шлезской крепости *Нейса*, сам пошел прямо в Саксонию для изгнания оттуда пруссаков. Там находился с ними принц *Гейнрих*, брат королевский, и был уже утесняем армиею имперскою. Даун хотел утеснить его с другой стороны и, соединившись с имперскою армиею, выгнать его совсем из Саксонии и овладеть столичным городом *Дрезденом*. Он и произвел бы сие, может быть, в действо, если б не имел против себя столь искусного полководца, каков был принц Гейнрих. Сей, несмотря на все усилия обеих цесарских армий к принуждению его к баталии, умел находить средства убежать всякий раз от оной и разными движениями и оборотами своими занимал их столь искусно, что проволочил дело сие до тех пор, покуда успел подоспеть на помощь к нему сам король прусский. Весь свет удивился опять тогда ужасному проворству и скорости, с каковою король прилетел от нас в Саксонию, и с коликим искусством умел разрушить все замыслы предприятия *Дауна* и имперской армии; но прославился чрезвычайно при том и цесарский предводитель граф Даун. Все движения и обороты его были так благоразумны, что король хотя и усилился над ним чрез соединение с своим братом, но не мог найти удобного случая и места к атакованию его так, как ему хотелось. Даун сам начал тогда убежать баталии и становиться в столь выгодных местах, что король не мог никак отважиться на него напасть, что и побудило его переменить свое намерение и, отделившись опять от своего брата, по-

спешить в Шлезиию для вспоможения крепости *Нейсу*. Но не успел он в сей поход с армиею своею отправиться, как *Даун*, нимало не медля, последовал за ним по стопам и умел спроворить так хорошо, что в одном месте, опередив короля, заманил его в столь тесное и для его предосудительное, а для себя выгодное место, что любимец и наилучший друг королевский фельдмаршал прусский *Кейт*, увидев сие, королю сказал: «Ежели цесарцы в сей раз оставят нас покойно, то все они достойны повешены быть». Но *Даун* и не был так глуп, чтоб упустить из рук столь вожделенный случай: он атаковал действительно их при *Гогенкирхе*, и по весьма упорном и кровопролитном сражении был столь счастлив, что короля разбил впрах, побил у него до 10 000 человек, взял более 100 пушек, более 30 знамен и большую часть его обоза и все палатки. Словом, король никогда еще не претерпевал столь великаго убытка и урона и сие было ему, власно как в возмездие за разбитие нас и в наказание за излишнее его хвастовство. Тут потерял он не только множество войска, но, что всего для него чувствительнее было, наилучшего своего друга вышеупомянутаго фельдмаршала *Кейта*, о котором он не мог довольно наутужиться.

В самое почти то же время разбили и французы, под командою принца *Субиза*, гессен-кассельскую армию при Лицебурге. Сие умножило еще более досаду короля прусскаго. Однако он и при всех сих несчастиях не потерял нимало героического своего духа, но деяниями своими еще более прославился. Он умел принять такая меры и по разбитии своем сделал такая движения, что произвел то, что все сии победы не имели никаких вредных для его следствий. *Даун* хотя и хотел воспользоваться своею победой и, возвратясь к Дрездену, овладеть оным, однако сие ему не удалось, и он из сожаления о сем городе и не желая разорить его бомбандированием, принужден был оставить облежание онаго и окончить кампанию возвращением своим опять в Богемиию, а королю прусскому удалось освободить и город *Нейс* от осады и остаться на зиму опять с покоем и иметь то удовольствие, что, несмотря на все великия военные происшествия, бывшия в сие лето, остался он властителем всех прежних своих областей и на всех сражениях не потерял более 30 000 человек; напротив того, урон, претерпенный всеми воюющими против его союзными державами, считался до 100 000 человек.

Таковыя-то происшествия были в течение сего лета и таковым-то образом угодно было Провидению Господню расположить оныя. Никто

опять не думал, чтобы получили они таковое окончание и чтоб пролитие столь многой человеческой крови пропало тщетно и не произвело никакого важного последствия.

Теперь, пересказав вам о войне сего лета, время мне возвратиться опять к продолжению моей повести. Сие и учиню я в последующем письме, а теперешнее, сим окончив, скажу, что есмь ваш и прочее.

ИЗВЕСТИЯ ВОЕННЫЕ

Письмо 67-е

Любезный приятель!

Между тем как в Бранденбургии, Померании, Шлезии и Саксонии война вышеупомянутым образом горела, и многие тысячи людей погибали понапрасно, мы продолжали жить в Кёнигсберге наиспокойнейшим образом, и так, как бы находились в дружеской земле или в своем отечестве. Ничто не нарушало нашего спокойствия и не мешало нам упражняться в разных увеселениях. Одни только получаемые неприятные слухи о военных наших происшествиях нас несколько смущали; но и то не слишком много, ибо как мы самоличного участия в бедствиях и нуждах, претерпеваемых армейскими, сами не имели, то и не чувствовали оных, а занимались только одними любопытными распроедываниями от приезжих из армии обо всем там происходившем и в чтении того, что тогда обо всем том было писано в газетах.

Никогда и ни о какой баталии так много писано не было, как о помянутой цорндорфской или, как некоторыя называли, кюстринской. Ибо как обеим сторонам хотелось победу себе присвоить, то обе сначала многое лгали и либо что-нибудь утаивали, либо лишнее себе приписывали, то сие и подало повод к разным и многократным с обеих сторон возражениям, изъяснениям и доказательствам, а оттого и были газеты тогдашняго времени очень любопытны.

Но как много ни старались наши сокрыть свой стыд и защитить честь нашего оружия, однако самую истину трудно было утаить от глаз света. Самим нам, находившимся тогда в Кёнигсберге, сколько ни хотелось сперва того, чтоб то была правда, что мы победили и что наши говорили,

и все то неправда, что писали пруссаки; но полученные наконец именные списки всем побитым и раненым офицерам открыли нам глаза и заставили судить инако о сей мнимой нашей победе, ибо число одних офицеров, побитых, раненых и в полон взятых, было так велико, что хотя б и действительно была то правда, что мы победили, но и в сем случае победа б была слишком дорого куплена, ибо по собственным нашим напечатанным и во всем государстве обнародованным ведомостям число одних побитых штаб и обер-офицеров простиралось до 211, да тяжелораненых, коих столь же хорошо можно почитать как и побитыми, до 415, да легкораненых 238, да в полон пруссаками взятых 75, – так что число всех простиралось без малаго до 1000 человек. Количество, какого нам никогда еще терять не случалось и которое погрузило все наше отечество в слезы, рыдания и вздохи; ибо как все сии офицеры были на большую часть наши дворяне и действительные владельцы своих деревень и имений, поелику тогда все дворянство служило, то не остался почти ни один дворянский дом в России без огорчения, и который бы не оплакивал несчастную судьбу какого-нибудь своего ближняго или родственника. Словом, кампания сего лета была для России весьма бедственна и такая, какой она еще никогда не имела и которая ей долго будет памятна.

При таковых обстоятельствах легко можете заключить, что мы особливую причину имели благодарить Бога, что нам не случилось быть в оной вместе с прочими полками; но мы прожили все сие лето в Кёнигсберге и повеселились. Из помянутых ведомостей усмотрели мы, что не было ни одного полку, который бы не потерял в сие лето множества своих офицеров; итак, сколь легко бы могло случиться то и с нашим, если б он был вместе с прочими в армии. Но никто, я думаю, столь много не был тем доволен, как я. Несколько раз приходило мне то на ум, что в случае если б находился я в армии, то весьма легко мог бы и я находиться в числе помянутых несчастных и лежать на Цорндорфских полях под трупами мертвых; и потому при всяком случае и разе благодарил судьбу свою, что она меня от того отвела и избавила. А таковыя размышления подействовали во мне весьма много и при том крайне критическом для меня случае, о котором теперь я вам рассказывать стану.

Было то пред наступлением осени и вскоре после вышеупомянутой баталии. Армия, потеряв, как на цорндорфском сражении, так и при других мелких сражениях, множество людей, требовала себе подкрепления.

Для сего другого не оставалось, как собрать и все последние в Пруссии в разных местах оставшиеся войска и присовокупить их к армии. Итак, тотчас разсланы были от главнокомандующего во все места повеления и велено всем оставшимся полкам иттить к оной и поспешать наивозможнейшим образом. Сему жребию подвержены были и оба наши полка, содержавшие до сего караул в Кёнигсберге, ибо как опытность доказала, что большия караулы были тут не слишком нужны, то велено было для содержания оных оставить только третьи батальоны, с слабейшими и к походу неспособными людьми, а прочим всем с лучшими людьми иттить с поспешностью к армии.

Повеление сие было для нас, власно как громовым ударом. Все наши офицеры встужились и взгоревались, услышав оное. Они так уже привыкли к тутошней распутной и для них веселой жизни, что никому не хотелось разстаться с оною. Я сам смутился, услышав о том. Обстоятельство, что я хотя и находился тогда при Корфе, но из полку не был выключен, да и взят был к нему только приватно и на время, приводило меня в смущение. К вящему несчастью, прежний наш старичок полковник около самого сего времени из полку нашего выбыл в отставку, и на место его приехал новый полковник, князь Долгоруков, о котором хотя и уверяли нас, что он человек добрый, однако, по новости своей, был он никому еще незнаком. Его первое дело было узнать всех полку своего офицеров. Я должен был также к нему явиться; и как обо мне насказано ему было от прочих уж доволно, то приласкал он меня отменным образом, и хотя сожалел, что я нахожусь от полку в отлучке, однако приказал ходить к нему чаще.

В сих обстоятельствах было сие, как получено было в полк вышеупомянутое повеление. До сего времени не видал я от сего нового полковника себе никакого худа и никакого добра. Но тогда, как начал он перебирать всех в полку нашем офицеров для оставления с батальоном самых негоднейших, прислано было от него и за мною. По приходе моем говорил он мне: что как он наслышался так много о ревности моей к службе и об особливых моих способностях, то нимало не сомневается в том, чтоб не хотел и я вместе с ними отправиться к армии. «Конечно так!» – отвечал я, ибо в скорости не мог ничего иного ему сказать. Вопрос сей был для меня совсем неожиданием, ибо сказать, что «не хочу», казалось мне не только дурно, но и совсем неприлично. «Когда так, сказал мне он далее, – так извольте собираться в поход, а я уже постараюсь о том, чтобы вас в полк отпусти-

ли». – «Очень хорошо, – отвечивал я. – Сборы наши не велики и мы к походу всегда готовы».

Сказав сие, пошел я от него с безпокойным духом, ибо признаться надобно, что, несмотря на всю выхваляемую им мою ревность и усердие к службе, приказание его было для меня не весьма увеселительно, и я далеко не имел такой охоты к сопутствованию им, как он думал, но гораздо охотнее хотел бы остаться в Кёнигсберге. К тогдашней моей жизни в сем городе я так уже привык, и она мне уже так полюбилась, что я между ею и многотрудною и опасною военною жизнью не находил уже никакого сравнения, и первой давал безконечное преимущество пред последнею. Мне пришли тогда на память все выгоды и приятности тогдашней моей жизни и все то хорошее, чем я тогда пользовался, и мысль, что я всего того лишусь, делала мне оныя еще приятнейшими. Говорится в пословице: что мы тогда только узнаем прямую цену вещам, когда их лишаемся, и это очень справедливо.

Тогдашний случай доказал мне то наияснейшим образом. Мне никогда еще тогдашняя жизнь столь приятною и драгоценною не казалась, как в сии минуты. Я начинал уже тужить, что поспешил ответом своим полковнику; и чем более я о том размышлял, тем досада на самого себя становилась больше, что я так неосторожен был и нимало не подумав, но тотчас объявил согласие свое к отъезду с полком. «Не нелегкая ли меня за язык дернула? – говорил я сам себе. – И в своем ли я был уме и разуме? Что за усердие и что за ретивость такая. Ни кот, ни кошка о сем усердии и ревности твоей не узнают! Никто тебе право за то не скажет спасибо и никого ты тем нимало не удивишь, а ни дай, ни вынеси, лишишься покоя, безопасности и тысячи выгод, которыми до сего времени ты пользовался и без всякой нужды подвергнешь себя опять не только всем прежним трудам, нуждам, волокитам, но и самым опасностям. Не все так может удаваться, как в прошлом году; тогда нам было хорошо воевать, а ныне не слышишь ли, каково жарко бывает. Не в сей, а в другой год, и не в тот, так в другой случай дойдет и до тебя очередь. Таким же образом хорошоохонько и тебя калекою сделают и изуродуют, как других-многих, и тогда храбрись себе, пожалуй, и величайся ранами, а что в бок попадет, того не вынешь. Об усердии и ревности твоей никто и не узнает, а ты изволь влачить навек жизнь горестную и несчастную; но хорошо, когда бы еще при том одном осталось и не случилось чего худшего. Как укукошат молодца по примеру

других, так и все бесы в воду. Пуля глупа и не разборчива, таково ж хорошо и в меня попадет, как в других, и тогда славься себе пожалуй и утешайся тем, что умер на одре чести!»

Кровь во мне вся взволновалась при помышлении о сем, и холодный пот оросил все чело мое. «Не дурак ли и не сущий ли глупец я был? – говорил я сам себе. – Какая нужда была спешить мне своим ответом, можно бы поостановиться, можно бы сказать ни то, ни сё и чем-нибудь отговориться или по, крайней мере, предать на волю; пускай же бы взяли и послали меня неволею, так бы уже и быть, а то теперь сам я на себя оружие в руки подал. Полковник думает, что мне действительно самому хочется и верно приступит не путем к генералу и будет требовать, чтоб меня отпустили неотменно!.. Хорош, истинно я молодец! Ничего глупее того быть не может, что я сделал...»

В таковых-то и подобных сему размышлениях препроводил я все то время, покуда шел на свою квартиру, и досада моя на самого себя была так велика, что я руки себе ел и бранил себя всякими браньми. Но переменить того было уже не можно и я за верное считал, что меня отпустят, то, пришедши домой, велел я слугам своим собираться и готовиться к походу. Оба они, услышавши сие, взгоревались и перетревожились еще более, нежели я. «Эх, барин! – говорил мне старший из них. – Как вы это не могли от похода отбиться? Что за утеха иттить в поход и, таскаясь, терпеть нужду? Дело бы право и без нас там обошлось, а вам благо есть случаи, вы бы попросили-таки о том генерала, может бы, вас и не отпустили».

Слова сии еще пуще меня смутили. Я чувствовал, что он говорил дело и досадовал, что мне сего не пришло прежде в голову. Но как тогда помышлять о том уже поздно и неприлично было, поелику я сам согласие свое к походу объявил, то, закусив себе губы, я уже молчал и в досаде только шагал взад и вперед по горнице. Слуга, видя мое смущение, подступил опять с своими советами: «Право, сударь, подумайте-ка, – сказал он мне, – нельзя ли как-нибудь отбиться? Видите ныне какая опасности? Волён Бог и с их походами и со всем! Как бы здесь на одном месте, так бы здоровее и лучше было». – «Эх, молчи! – закричал я на него. – И не докучай мне более, мне и без тебя грустно, а делай, что велят». – «Изволь, сударь, – сказал он, – за нами дело не станет, мы скоро соберемся, но не тужить бы вам самим о том после, – хорошее место скоро потерять, но не скоро опять найти можно!» Проворчав сие сквозь зубы, пошел он от меня начинать

свое дело; ибо как полку назначено было через двои сутки отправиться и выступить из Кёнигсберга, то надлежало поспешать приготовлениями к отъезду.

Со всем тем последние его слова впечатлелись глубоко в мои мысли и подали мне повод к новым мыслям и разсуждениям. «А что? – говорил я сам себе. – Не испытать ли мне в самом деле как-нибудь искусственно от сего похода отделаться? Полковнику хотя я и дал слово, но нельзя ли как-нибудь спроворить, чтоб меня от генерала не отпустили?..» Мысли о сем занимали меня не только во весь тот вечер, но и во всю почти ночь. Я так в размышления о том углубился, что самый сон казался от меня убежавшим и я почти во всю ночь не спал, а ворочался только с боку на бок. С мыслями моими встречались разные способы и средства. Я разсматривал их вдоль и поперёк, но все казались мне не весьма способными. Самого генерала просить о том казалось мне дурно и неприлично; на иного никого не мог я надеяться, а о полковнике и помышлять было не можно. Старинное мое правило, чтоб никуда охотою не набиваться и ни от чего не отбиваться, пришло мне также на память. Неизвестность, где можно найти и где потерять, смущала меня не менее как и все выгоды, ожидаемые от того, если я останусь. «Хорошо! – думал я сам себе. – Конечно б, хорошо было, если б я остался, но почему знать, не послужит ли мне то во вред, если я от полку отстану? Да и здесь, наверно ли я знаю, что мне завсегда хорошо будет. Не может ли и здесь со мною что-нибудь неприятное случиться?» «Дело иное, – думал я далее, – если бы пришло все само собою. Дело иное, если б без всякого моего старания, я как-нибудь здесь оставлен был! Ну! если б самому генералу вздумалось меня не отпустить и полковнику отказать в просьбе».

Мысль сия была для меня прелестна, однако я не смел никак надеждою сею ласкаться. Обстоятельство, что дел у меня тогда так мало было, что и в целую неделю не доставалось мне почти одной страницы переводить и что в канцелярии почти можно было без меня обойтись, не дозволяло мне питать в себе сию надежду. «Такая беда, – говорил я, – на ту беду и переводов нет, хотя бы они уже мне помогли. В иное время их с три пропасти и я им уже не рад, а теперь и им бы я уже рад был, хоть бы их втрое больше было. Какая нужда, быть бы уже так, хоть потрудиться!»

В сих и подобных тому размышлениях препроводил я большую часть ночи, но остался наконец все еще в нерешимости, что делать. Но наконец

вспомнив старинную поговорку, что утро вечера мудренее, и решившись положиться на власть Божескую и ожидать всего от самого его Промысла, уснул я и препроводил остальную часть ночи в спокойном сне.

Поутру, одевшись и подтвердив людям о поспешении сборами и поправлением нашей повозки, пошел я в канцелярию ожидать решения моей судьбы, ибо не сомневался, что полковник мой в тот день будет у генерала и что речь действительно и до меня коснется. Вышеупомянутые мысли и беспокойство духа так состояние мое разстроили, что я походил в сие утро более на больного, нежели на здорового, и сие было так приметно, что по приходе моем в канцелярию все меня стали спрашивать, не занемог ли я и не сделалось ли чего со мною? «Нет, – отвечивал я, – ничего!» и спешил сесть на свое место.

Тут не успел я товарищам своим, немцам, сказать: «Ну, прощайте любезные друзья мои! Завтра или послезавтра пойдет наш полк в поход, и я с ним вместе», как вошел ко мне с великою поспешностью наш главный секретарь и, подавая мне претолстую тетрадь, сказал: «На-ка, брат, вот теперь-то потрудись! Да смотри же поскорей как можно. Быть так, хоть ночку посиди; нам отправлять это с курьером в армию, и это наряд подвод с провиантом и маршруты, так не сделать бы остановки!» – «Э, э, э! – сказал я, увидев сию громаду, – да этого, батюшка, и в трои сутки не переведешь; а сверх того, я истинно не знаю, когда мне успевать будет дело это делать: полк наш идет послезавтра отсюда и мне велено собираться вместе с ним в поход». «Да кто это тебе приказал?» – спросил, удивившись, секретарь. «Полковник наш, – сказал я, – присылал вчера нарочнаго за мною и изволил мне приказывать». – «Кто это? – подхватил он. – Князь Долгоруков? Ха, ха, ха! Князь Долгоруков! Враньё, сударь! Статочное ли это дело? Отпустим ли мы тебя! Да как нам без тебя быть? Мы рады, что нашли такого человека, г. полковник изволит умничать! Смотри, пожалуй! Великой он господин, как ему у нас взять». – «Да он хотел просить о том сегодня генерала» – сказал я. «Да хоть расспросись себе и хоть тресни, так этому не бывать; не только он, но хотя бы и сам Фермор стал, так мы не посмотрим. Я теперь же пойду и доложу о том генералу, а вы и не помышляйте о том, а начинайте-ка скорее переводить». – «Хорошо, сударь! – сказал я. – А я было велел уже и собираться в поход». – «Пустое, сударь, – подхватил он, – пошлите сказать; но, постой, я пошлю сам. Вестовой!

побегай скорей на квартиру Андрея Тимофеевича и скажи людям его, чтоб они не заботились и в поход не собирались».

Сказав сие, ушел он в судейскую и оставил меня в таком состоянии, которое я вам никак изобразить не могу. Стечение столь многих и неожиданных совсем обстоятельств и удивило и обрадовало меня до чрезвычайности. Сердце мое вспрыгалось от радости и удовольствия, и я не знал, верить ли мне своим глазам и слуху и отваживаться ли ласкаться надеждою, что секретарь то исполнит действительно, о чем говорил он с толикою достоверностью. Пуще всего радовался я тому, что дело пошло без всякого с моей стороны содействия, и взяло нечаянно такой оборот, что мне не было нужды никого просить и самому того добиваться.

Никогда еще с такой охотой не начинал я своих переводов, как в сей раз. Желание мое остаться в Кёнигсберге было так велико, что если б было их втрое больше, так бы я не охнул и готов был бы не только одну, но хотя б и целые три ночи просидеть и потрудиться, только б помогло мне сие сиденье; но, по особливому счастью, и перевод тогдашний был мне так легок, что я не писал, а летел, переводя оный.

Между тем как я таким образом сидел и в деле своем упражнялся, секретарь наш действительно пошел к генералу и насказал ему столь много о необходимой во мне надобности и о хотении полковника взять меня в полк, что генерал даже разсердился на нашего полковника за его предварительное мне приказание, и положил неотменно меня при себе удерживать и на своем поставить. Все сие случилось весьма кстати, ибо не успел секретарь наш от него выйтти, как приехал к нему и наш полковник. Он начал тотчас ему обо мне представлять; но как генерал наш был уже предварен, то не дал он ему и слова вымолвить, а наотрез отказал и, не удовольствуясь еще и тем, послал тотчас за мною и велел к себе приттить. Я ничего о том не знал и не ведал, но, догадываясь, зачем меня спрашивают и находясь между страхом и надеждою, пошел к нему с трепещущим сердцем.

Генерал не успел меня завидеть, как, обратясь ко мне с ласковым видом, сказал: «Нет, мой друг! Мне тебя никак отпустить не можно, и ты должен отменно здесь при мне остаться и считаться при батальоне. Однако о сем, пожалуй, нимало не тужи; ты и здесь такую же или еще важнейшую службу отправлять будешь государю, как и в войске и потому чрез то ничего не потеряешь. В этом положишься ты на меня». Я учинил ему пренизкий поклон и легко мог заключить, что к последним словам его по-

вод подали представления нашего полковника, расхвалившего ему меня и изъявляющего сожаление свое о том, что я, будучи хорошим офицером, могу чрез таковую отлучку от полку потерять линии своей в произвождении, и потому, обратясь к стоявшему тут же полковнику нашему, хотел было только из учтивости его спросить, что он приказать изволит, как он сам уже ко мне подошел и тихим голосом мне сказал: «Что делать, братец! Я все сделал, что мне можно было, но видишь сам, что не моя воля; итак, оставайся уже здесь». Я хотел было ему только отвечать, как генерал, не дав нам более воли говорить, мне сказал: «Так поди ж, мой друг, и продолжай свою работу и поспеши, ради Бога, как можно скорей». Тогда откланялся я им обоим и не пошел, а полетел в канцелярию с сердцем, исполненным неописанным удовольствием и радостью.

Все канцелярские встречали меня с вопросом, что происходило, и, услышав, изъявляли радость свою о том, что я остался с ними. Сам секретарь наш приветствовал меня вместе с прочими и, потрепав меня по плечу, сказал: «Ну, не правду ли я говорил? Живи-ка, брат, лучше с нами! Здесь едва ль не получше ль тебе будет; а там, брат, есть и без тебя кому с пруссаками воевать. Не удивишь, право, никого, как пуля в лоб, а здесь, по крайней мере, ее нет нужды опасаться». Я не преминул поблагодарить его за попечение о себе и просил о дальнейшей к себе его благосклонности и неоставлении, что он мне охотно и обещал, будучи сам собою доволен, что он сие мог сделать.

Таким образом кончилось сие дело и, против всякаго моего чаяния, с превеликим для меня удовольствием. С той минуты не стал я заботиться уже о походе, и, нимало не скучая, просидел не только весь тот день, но и большую часть ночи за моим переводом, а наутрие, как свет, явился опять в канцелярию и трудился с таким усердием и ревностью, что перевод мой, к великому удовольствию секретаря, пред вечером того дня кончил. Тогда спешил я уйтить домой, чтоб, по крайней мере, отдохнуть сколько-нибудь от трудов столь многих. Но не успел я приттить на квартиру, как новое явление поразило мой взор и привело дух мой опять в превеликое смущение и беспокойство.

Теперь готов я об заклад удариться с вами, что вы не угадаете, чтоб такое сие было? Ибо вам столь же мало может приттить в голову, как и мне тогда, чтоб был то адъютант нашего полку, присланный ко мне нарочно от полковника. Я удивился и не знал что думать, когда он мне сказал, что

прислал его ко мне полковник. «За чем таким, батюшка», – спросил я его, смутившись духом и удивившись. «Его сиятельство приказал вам сказать, – говорил он мне, – что буде вы хотите вместе с нами в поход иттить, то можете завтра поутру, как полк пойдет, тайком отсюда уехать, а он уже берет на себя защитить вас от всех посягательств, могущих за то последовать на вас от генерала Корфа».

Могло ль что страннее, удивительнее или паче нескладнее и смешнее быть предложения такого? Я изумился, услышав оное, и смутился так, что не знал несколько минут, что ему на то ответствовать, а сам в себе только помышлял: «Я покорно, право, благодарствую; человек рад, что нечаянным образом случилось ему так удачно от похода отделаться, а его сиятельство хочет, чтоб я сам еще к тому набивался, да еще подвергая себя и опасности немалой. Что я за дурак буду? И не с ума ли мне сойтить, если сему приглашению последовать». Но как адъютанту что-нибудь в ответ сказать было надобно, то, собравшись несколько мыслями, отбойрил я его следующим образом: «Слушай-ка братец, – сказал я ему, – мне хоть бы и не хотелось от полку отстать, но я истинно не знаю, можно ли мне то сделать, что его сиятельство приказывать изволит. Во-первых, я в поход вовсе не собирался и у меня к отъезду ничего не готово, а во-вторых, как мне можно без дозволения отлучиться и власно как уйтить? Мне не только поручено множество важных дел для перевода, в чем я оба сии дни денно и ночью упражнялся, но, сверх того, и в каморе на руках у меня шнуровыя книги, в которыя я всякий день приход и расход всех здешних доходов записываю, так как можно мне, не сдав их, отлучиться и самовольно уехать? Ведь меня засудят за это и я могу сделаться несчастным от того. Генерал наш играть собою давать не любит; никто меня не защитит тогда от гонения его. Его сиятельству видно не известно, сколь он силен при дворе, а нам это уже довольно сведомо. Итак, доложите его сиятельству о сем и скажите от меня, что я, несмотря на все мое усердие и желание быть при полку, сего, однако, сделать никак не отваживаюсь, да и не думаю, чтоб его сиятельство и сам похотел меня сделать чрез то несчастным». – «Хорошо, – сказал адъютант, – я ему все это перескажу, но, ну, если он неотменно сего похочет или поступит далее и велит тебя неволею взять, что тогда изволишь?» – «В этом состоять будет его воля, – сказал я, – и тогда уже не я, а уже он будет в ответе, а самовольно мне и тайком уехать никак не можно,

и я повторяю вам, что я никак на это не отважусь и боюсь преступить повеление генеральское. Неравно дойдет то до двора, так куда я гожусь?»

Сим отбаярил я моего господина адъютанта: он пошел от меня, как несолоно хлебав, а я, проводив его и смотря вслед, сам себе говорил: «Ступай-ка, брат, ступай! да и впредь не подвертывайся к нам с такими делами. Мы с ума еще не сходили, чтоб самовольно нам такой вздор делать».

Со всем тем последние его слова привели меня в великое смущение. «Чего добраго! – думал я сам в себе. – Чтоб не затеял он еще вправду сего сделать. Полковник в полку, ведь как чорт в болоте, власть его велика. Как пришлет команду и велит насильно взять и увезть, так что ты с ним изволишь делать, не караул кричать станешь и хоть не хочешь, а пойдешь. Не узнает о том и генерал наш, а нужно ему только из города меня выпроводить, а там и прости прощай! Когда-то что будет, а я при полку, да при полку». Сим и подобным сему образом разсуждал я сам с собою и с людьми своими во весь тот вечер, и как сии не менее моего озабочивались мыслями, узнав о всем происходившем, то и еще более в смущение меня привели, вложив мне в мысли, что ежели вздумает сие полковник, то не сделал бы того в самую ночь ту и не велел бы меня тайком из города выпроводить. «Да, – говорил я, – чего добраго; однако не думаю я, чтоб он похотел такое дурачество сделать и за меня с генералом поссориться». – «То так, – отвечал мне мой Яков, – однако и поручиться за него никому не можно; говорят, сударь, что человек он весьма отважный и нам не худо бы на ночь хорошенько позапереться, и ежели придут, то никак не отворять дверей; пускай же делают гвалт и выломают силою». – «Врешь, дурак, – сказал я ему, – запереться пожалуй можно, но не пустить будет никак нельзя, а лучше постараться каким-нибудь образом дать тогда скорее знать о том секретарю нашему Чонжину». – «И быть так, – сказал мой Яков, – молчите ж, сударь, ежели что будет, то я тотчас к нему брызну и скажу, а где он стоит, я знаю. Это в самом деле будет лучше».

Уговорившись сим образом и ложась спать, заперлись мы в самом деле накрепко, чтоб не можно было к нам никак войтить с улицы, и препроводили ночь в непрерывной опасности, чтоб нас не потревожили. Я того и смотрел, что придут либо звать меня к полковнику, либо совсем принуждать в тот момент выезжать из города. Однако опасение мое было напрасно. Ночь прошла благополучно и мы не слышали никакого шума, а не успел настать день, как я, ни минуты не медля, побежал в канцелярию

и не прежде успокоился духом, как пришел в оную; ибо там почитал себя уже в совершенной безопасности и сам себе говорил: «Ну! теперь пускай приходят и берут меня отсюда». Однако, видно, что полковнику нашему не захотелось делать такого дурачества, ибо он с того времени оставил меня с покоем и, вышед в тот день с полком своим из города, не присылая ко мне более никого.

Нельзя довольно изобразить, с каким удовольствием смотрел я тогда из замка своего на отходящее сие войско и как ждал не дождался, чтоб оно скорее вышло. Мне хотя и досадно было, что помянутый случай помешал мне распрощаться со всеми моими друзьями и товарищами, идущими в поход воевать против неприятеля, однако я собственную свою безопасность предпочел сему удовольствию и пожелал им заочно счастливого пути и благополучного возвращения, а сам радовался тому, что остался на месте и с покоем. Однако опасение мое и по отшествии полка было так велико, что я не прежде на квартиру возвратился, как уже ночью.

Сим образом остался я тогда в Кёнигсберге и был хотя из полку своего не исключен, но сделался уже прямо от него отлучным. Что впоследствии со мною далее, о том услышите вы впредь, а теперь дозвоьте мне на сем месте остановиться и окончить мое письмо, сказав вам, что я есмь ваш и прочая.

ПОКУПКА КНИГ

Письмо 68-е

Любезный приятель!

Оставшись преждеупомянутым образом в Кёнигсберге и отлучившись через то уже существеннее от полку и ласкаясь надеждою, что и впредь к оному не скоро отпущен буду, начал я уже помышлять о расположении жизни моей сообразно с тогдашними моими обстоятельствами. Мое первое старание было о том, чтоб мне сжить с рук своих лошадей. Как они мне уже совсем были не надобны и я ими никогда не пользовался, то не хотелось мне кормить их по-пустому и тратить на то множество денег. До сего времени содержание их ничего не стоило: ходили они вместе с прочими в полковом табуне, и мне не было до них нужды. Но как полк ушел и между

тем наступила уже осень, то мне девать их было уже некуда, и я должен был содержать их на квартире и покупать на них дорогой в тамошних местах корм. Сие наскучило мне очень скоро, и потому положил я лучше их продать и получаемые на них двойные тогда рационные деньги употреблять на лучшее и со склонностями моими сообразнейшее дело. Сие я и учинил вскоре после отшествия полку и вырученные на них деньги сохранил, дабы, в случае востребования меня в полк, можно было на них купить новых.

По сокращении сей стороны моих расходов уменьшил я вскоре после того оныя и еще одним обстоятельством. Слуга мой Яков предложил мне, чтоб постарался я о том, чтоб не отняли у меня той другой квартиры, которая отведена мне была для лошадей моих; ибо как в той, где я стоял, не было никакого двора, где б я мог поместить свою повозку и лошадей, то имел я другую, худшую, где жил сей слуга с лошадьми моими. Я удивился предложению его и спрашивал, на что б она была нам надобна?

– А вот на что, сударь, – сказал он. – Уже за несколько времени получил я охоту промыслять меною лошадей. Я покупаю их у приезжающих сюда наших русских извозчиков дешевою ценою и потом либо променяваю, либо продаю их здешним прусским мужикам и на том получаю иногда изрядный барышок. Итак, когда б у нас квартира другая по-прежнему осталась, то мог бы я, стоячи на ней, продолжать мой промысел, а притом и чеботарничать¹ на свободе; а вам бы то от того была бы выгода, что вам не для чего б было терять деньги на пропитание и содержание меня, но я мог бы уже сам себя кормить и одевать.

– Это очень хорошо, мой друг, – сказала я, – и квартиру за собою удерживать мне ничего не стоит.

И в самом деле, мне стоило только сказать о том одно слово нашему плац-майору, как дело было и кончено, и с того времени слуга мой жил беспрестанно уже на сей другой квартире и отчасти сапожническим своим рукомерлом, отчасти вышеупомянутым лошадиным промыслом не только сам себя кормил и одевал, но накопил себе довольно денег, которых самому мне пригодились после весьма кстати, как о том упомяну я впредь в своем месте. Что же касается до другого моего слуги, то сей жил на моей квартире и кормился получаемым на деньщика мне следуемым

¹ Сапожничать, от украинского чёботы.

провиантом. Итак, содержание обоих моих слуг с того времени мне ничего не стоило.

Избавившись от сих двух расходов, стал я, колико можно, сокращать и прочия ненужные расходы, пожиравшие до того у меня множество денег. На содержание себя пищею не было почти нужды ничего тратить: обеденный стол был у меня всякий день готовый у генерала, а ужины мои, как я прежде упоминал, были у меня столь легкие и так мало стоящие, что терял я на то мало денег. Самое лакомство, переводившее до того у меня множество денег, – по причине, что я был с малолетства до онаго охотник, а тогда по великому множеству продаваемых плодов и овощей, а особливо разного рода вишен, слив, яблок, груш и бергамотов, был тогда к тому невозделеннейший случай, – положил я также поуменьшить и употреблять те деньги лучше на надобное. Играть я ни в какия азартные игры не играл, да и не имел к тому и времени; а буде захаживал кой-когда в трактиры, на дороге стоящие, так не для чего иного, как разве для чтения газет или чтоб напиться кофею или чаю или поиграть с кем-нибудь в биллиард, да и то не в деньги, а на одни только партии. Наконец, и самым платьем положил я не щеголять, а иметь только не гнусное и не постыдное. Компаний и пирушек у меня никаких не было, да и делать их было некогда и не с кем; следовательно, и на сие деньги терять не было нужды. Словом, я расположил весь род тогдашней жизни моей на степенной и уединенной ноге и так, что за всеми моими необходимыми расходами оставалось у меня от жалованья и рационов более половины.

Однако не подумайте, любезный приятель, чтоб я при упомянутом сокращении моих расходов сделался скрягою и скупцом и все оставшиеся от них деньги собирал в скоп и прятал. Ах, нет! Я был от этого слишком удален, а признаюсь вам, что истрачивал их все почти до копейки.

Теперь, ежели полюбопытствуете знать, куда ж бы я оныя употреблял, так, не обинуясь, скажу, что истрачивал я все их на то, к чему стремилось наиболее мое сердце и все мои склонности, то есть на покупку книг, красок, картинок и на делание кой-каких инструментов и любопытных вещей. Охота моя ко всему тому не только не уменьшалась, но становилась час от часу больше. До того времени все-таки воздерживался я от того сколько-нибудь: отчасти неимение излишних денег, отчасти всегдашнее мнение, что мы пойдем опять в поход, удерживало меня от отягощения себя многими книгами и другими вещами. Случившийся со мною при

Риге пример, откуда мы все лишние вещи принуждены были бросать, был мне всегда памятен и наводил на меня всегдашнее опасение. Но как скоро полк наш ушел и я удостоверился уже в том, что меня не отпустят в армию и не имею причины опасаться похода, то дал стремлениям сердца своего уже более воли и пустился прямо уже в вожделенную столь уже издавна покупку книг и других вещей.

Не могу без смеха и поныне вспомнить, с каким удовольствием спустился несколько дней после отшествия полку побежал я, улучив свободное время, в прежде уже упомянутую мною книжную лавку и с каким восхищением несколько часов пересматривал и перебирал я там книги. Целый кошелек, набитый доверху деньгами, принес я в оную, а не вынес из ней ни копейки, но все, сколько их ни было со мною, употребил я на покупку разных книг и сочинений. И, о Боже! Какое удовольствие ощущал я тогда, как, связав их целую кипу, понес я ее с собою.

«Ну! – говорил я сам себе. – Теперь-то есть что почитать и есть чем заниматься; теперь не говори, что тебе скучно: есть чем уже прогнать оную, а была бы только охота. Теперь читай себе, пожалуй, любую и забавляйся, сколько душе угодно!»

Сим образом говоря, притащил я кипу мою прямо в канцелярию. Все удивились великому множеству купленных книг, а особливо как я начал их раскладывать и вновь все пересматривать. Никому поступок мой таков удивителен не показался, как господам немцам, моим товарищам.

– Э! э! э! – закричали они оба в один голос. – Да на что это вы такую пропасть накупили?

– Как на что? – отвечал я им. – Читать, государи мои. Мне нечего в праздное время делать, а вы знаете, что я охотник и люблю читать.

– Хорошо это! – сказали они далее. – Да неужели вы хотите для чтения себе книги покупать все и терять на то деньги?

– Да как же? – отвечал я.

Усмехнулись тогда оба мои немца, и один из них, который более был обо всем сведущ, мне сказал:

– Нет, господин подпоручик: это слишком для вас будет убыточно. Для покупки стольких книг, сколько для чтения вашего надобно, скоро неостанет у вас денег, и вы истратите только ваши деньги, а пользы дальней не получите!

– Почему это? – спросил я его, удивившись.

– Потому, – отвечал он, – что книг у нас в лавках преужасное множество, но между ними не столько хороших, сколько дурных и ни к чему не годных. Всех их вам никак не перекупить, а покупать вы будете их по выбору. Выбор же между ими очень труден, и всегда скорее в нем ошибиться и таких закупить можно, которые ничего не стоят и кои после бросить должно, как то верно и теперь с вами случилось. Пожалуйте-ка, дозвольте мне их пересмотреть.

– Очень хорошо, изволь, братец, – сказал я и дал ему перебрать их, как он хочет.

Немец мой, усевшись, начал тотчас их перебирать и пересматривать по-своему. Он не только прочитывал надписи, но у незнакомых ему самые предисловия и по нескольку страниц материи и все раскладывал на разные кучки. Я смотрел на него, не спуская глаз, и ждал с нетерпеливостью, что он наконец скажет. Но, как смутился я духом, когда он, перебрав все и взяв самую малую кучку, мне сказал:

– Вот эти изрядные, и деньги за них не потеряны, а сии, – говорил он, показывая мне на другую кучку, – ни то, ни се и не стоят больше того, как один раз прочесть. Вот сии, – сказал он, подавая третью кучку, – мне незнакомы, и хоть прямо не могу о них судить, однако не сомневаюсь и не думаю, чтоб и в них много хорошаго было. Но что касается до сих, – сказал он мне, указывая на самую большую стопу, – до сих всех хоть бы вовсе не покупать: все они не стоят ничего, и деньги за них прямо потеряны.

– Нет, правду ли, – спросил я, удивившись, – что вы говорите?

– Конечно, так! – отвечал он. – Мне все они знакомы, и я обманывать вас не стану.

– Эх, какая беда, и что ж это я сделал! – возопил я, изгоревавшись.

– Да! – сказал мой немец. – Немножко поспешить изволили; а надлежало бы быть поосторожнее и не вдруг спешить покупать такое множество. Успеть бы можно и тогда купить, когда бы вы такую книгу прочли или действительно узнали, что она хороша. В смысле – содержания, самого сочинения.

– Да, умилосердись, братец, – сказал я, – как их узнаешь и когда их тут читать? Их такая тьма, что я и не знал, на которую и смотреть из них, и едва успеваю и одни титулы¹ прочитывать.

¹ Титульные листы – первые листы, где стоит имя автора и название книги.

– А сии-то титулы, – отвечал мне немец, – вас, сударь, и обманули. По ним всего труднее узнавать хорошия книги, и на них-то и не надлежит никогда полагаться.

– Но как же быть лучше, – спросил я, – и через что можно б было избежать ошибки?

– Через предварительное прочитывание, – отвечал он, – так, как я прежде говорил; однако есть к тому и другой способ. В числе продажных книг есть некоторыя особливые книжки, содержащие в себе советы для молодых людей, желающих заводить библиотеки, в которых сообщается краткая и разумная критика о книгах всякого рода и предлагаются советы, какия бы из какого класса лучше избирать и каких, напротив того, обегать должно. Таковою-то бы книжкою надлежало бы вам себя наперед снабдить и через нее, спознакомившись хотя вскользь с наилучшими авторами и сочинениями, поступать уже власно как по писаному и такия выбирать, какия более рекомендуются учеными сочинителями сих книжек.

– Эх, жаль же мне, – сказал я, – что я этого не знал и что вы мне того прежде не сказали. Не купил бы я вправду такого вздора, а теперь что мне с таким множеством делать?..

Потужив и погоревав о своей неосторожности, спросил я наконец своего немца, не может ли он мне достать такую книжку, о какой он теперь говорил.

– Пожалуй, – отвечал он, – и ежели вам угодно, то я сейчас схожу в лавку и спрошу, нет ли той, которая мне в особливости знакома.

– Куда бы как вы меня одолжили, – сказал я, – и я был бы вам за то неведомо как благодарен.

– За чем дело стало? – подхватил мой немец. – Я в сию минуту схожу. Но постойте, г. подпоручик, – продолжал он, схватив шляпу, – не постараться ли мне вам оказать и другую еще услугу? Книги эти, – говорил он, указывая на большую стопу, – в самом деле для вас нимало не годятся. Не позволите ли вы мне их взять с собою? Я испытаю, не удастся ли мне их опять втереть в руки книгопродавцу и получить за них либо обратно ваши деньги, либо уверить его, что вы вместо их купите у него после другие, и он бы до того времени остался бы вам должен. Согласны ли вы на это?

– Ах, друг мой! – возопил я. – Возможно ль, чтоб не быть согласным, и вы бы меня тем до безконечности одолжили.

– Хорошо, г. подпоручик, поглядим и употребим все, что только можно.

Сказав сие, подхватил он мою стопу книг и побежал в лавку.

Радость моя тогда была превеликая, а нетерпеливость, с какою я дожидался его возвращения, еще того больше. Я не отходил почти от окошка, но то и дело посматривал, не идет ли он назад и не несет ли с собою опять всех книг моих. Но возвращением своим как-то он позамедлился. Сие меня удивило и увеличило еще более мою нетерпеливость. «Что за диковинка, – говорил я, – давно бы ему пора возвратиться: лавка недалеко. Разве книгопродавца дома нет или он его уговаривает и уговорить не может. Разве зашел куда?»

Но прошел уже час и начался другой, но его все еще не видно было. «Господи, помилуй! – думал я. – Это уже совсем непонятное дело, и конечно, что-нибудь заняло его особенное».

Но в самое то время, когда я, сим образом сам с собою разсуждая, в окошко смотрел, погляжу – он в двери.

– Ба, ба, ба! – закричал я. – Откуда вы взялись? И как это пришли, что я не мог усмотреть вас? Я все смотрел на ту улицу, откуда вам иттить надлежало.

– Я заходил на часок в другое место, – сказал он, – и пришел уже с другой стороны».

– Ну, что же, мой друг, – подхватил я и начал его расспрашивать, – достали ль вы ту книжку?

– Вот она, – отвечал он, вынимая ее из кармана и мне подавая.

– А мои-то книги?

– Видите, что их нет со мною.

– Конечно, и их с рук сбыли?

– Точно так.

– Что книгопродавец? Небось он закорячился и не хотел их назад брать?

– Не без того-то; однако я его уговорил, умаслил. Человек он у нас добрый и стоворчивый. Я нассказал ему несколько об вас и об охоте вашей к книгам, что он наконец согласился.

– Ах, друг ты мой, как ты меня одолжил! Но что ж, на чем у вас осталось и что положено: в долгу ли что ль он у меня остался?

– Никак, но он так был снисходителен, что и деньги отдал.

– Не вправду ли?

– Точно, вот и деньги ваши.

– Ну, спасибо, право спасибо! – сказал я, принимая от него подаваемые деньги и радуясь неведомо как, что он выручил назад оныя.

– Однако не прогневайтесь ли вы на меня, – подхватил он, – что я взял смелость и из ваших денег талера три на свою нужду истратил? Я возвращу вам их как скоро вам угодно будет.

– Батюшка ты мой, – отвечал я ему, – хоть бы ты и все их истратил, так бы я слова не сказал! Вы и не то для меня сделали, а вам можно поверить хоть и более.

И подлинно, я так был им доволен, что готов бы был ему и последние отдать, если б он у меня тогда потребовал оных. Однако ему не было в них нужды, но он, поблагодарив меня за мою доверенность к нему, сказал далее:

– Когда вы так ко мне благосклонны, то надобно ж мне вам сказать за то еще что-нибудь хорошенькое.

– Что такое, любезный друг? – спросил я, удивившись.

– А вот что, – сказал он, – как я шел из лавки обратно сюда, то пришло мне нечто особенное в голову. Книги ведь вы, думал я, покупаете не для того, чтоб собирать вам библиотеку большую, – ибо куда вам с нею деваться? – но для того, чтоб читать только их.

– Конечно – отвечал я.

– Итак, не избавить ли мне вас совсем от покупки их или, по крайней мере, от растери на них множества денег, а со всем тем охоту вашу к чтению удовлетворить?

– Да как это можно? – спросил я, удивившись.

– Возможность к тому, действительно, есть, но будет ли только на то ваша воля. У нас здесь есть один дом, котораго хозяин держит у себя превеликое множество всякого рода наилучших книг и дает их всякому читать, кто хочет, и такая, какая кому угодно, а сам берет только за то с читателей самый маленький платеж.

– Что вы говорите? – возопил я. – Не вправду ли?

– Точно так, – отвечал он, – да и платеж-то невелик, не более как по одному нашему грошу, а по-вашему по одной копейке на день. Так не вздумаете ли вы сим средством пользоваться? У нас весьма многие сим образом читают.

– Батюшка ты мой! Да я бы готов не только по одной, но хотя бы по три копейки платить на день, если б только мог пользоваться такую выгодою, но ходить-то к нему для сего чтения, как сами вы знаете, некогда.

– И того-таки не надобно, – отвечал он. – Но он дает всякому книги на дом; а в предосторожность, чтоб не могли распропасть, берет только при самом начале в заклад несколько талеров денег, но которыя он после возвращает назад, как скоро кто читать перестанет.

– Это еще и того лучше, – возопил я с превеликим удовольствием, – и куда бы я рад был, если б мог с человеком сим познакомиться.

– За чем дело стало? – отвечал он. – Мы вас тотчас с ним познакомим. Я знаю, где он живет.

– Батюшка ты мой! – возопил я, сделав ему пренизкий поклон. – Я бы готов тебе в ножки поклониться, если б ты мне сие одолжение сделал: ты навек бы меня тем одолжил. Не можно ль бы хоть теперь мне с вами туда сходить?

Удивился он моей нетерпеливости и, засмеявшись, мне сказал:

– Добро, добро, г. подпоручик, когда так вам сего хочется, так незачем же вам и трудиться и ходить туда. Я вас и от того избавлю: дело уже сделано. Я, не сомневаясь, что вам будет сие угодно, там теперь уже и побывал и все дело кончил.

– Как? – спросил я, вспрыгнув даже от радости. – Возможно ли?

– Точно так, – отвечал он, – и в доказательство тому, вот вам и расписка от него в полученных им в заклад помянутых денег. Три-то талера я не на себя, а на сие употребил.

– Не вправду ли? И ах, как вы меня одолжили! – сказал я, отвесив ему пренизкий поклон.

– А вот, – продолжал он, вынимая из-за пазухи тетрадку, – и печатный реестр всем его книгам: и вам стоит только любые из него замечать и с запискою посылать за книгами к нему, так он и будет присылать. Я за первый месяц 30 грошей и заплатил уже ему.

Боже мой, как я обрадовался тогда всему тому! Я так доволен был поступком моего немца, что, бросившись к нему на шею, расцеловал даже его и не мог довольно слов найти к изъявлению ему своей благодарности. Истинно, если б кто меня подарил тогда чем-нибудь важным, так бы радость моя и благодарность не была так велика, как в то время. И как случилось сие нечаянным образом в самый день рождения моего, то сей день

был мне долго памятен, и я не помню, чтоб я когда-нибудь препроводил оный с таким удовольствием, как в сие время. Но чему и дивиться не можно: ибо удовольствована была тогда во мне одна из наивеличайших моих склонностей, да и не одним еще, а многим, ибо и книг купленных осталось у меня еще множество, и случай неожиданным образом получил я такой, какого могло только желать мое сердце. Словом, я не могу изобразить вам, как доволен я был всем сим происшествием и в каком удовольствии препроводил тот вечер и большую часть ночи, читая и пересматривая мои книги и полученный реестр, пришедши на квартиру.

Но я заговорился уж так, что и позабыл, что мне давно время письмо кончать и сказать вам, что я есмь ваш и прочая.

ЗАБАВЫ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Письмо 69-е

Любезный приятель!

Вы, я думаю, предугадывали уже наперед, что я письмо сие начну повествованием о том, как я упомянутую в последнем письме нечаянную выгодою начал пользоваться. Вы и не ошиблись в том, и я действительно за нужное нахожу вам о том пересказать. Пункт сей времени был особливо примечания достоин в моей жизни. Мне пошел тогда 21-й год от рождения, и с самого сего времени началось прямо мое чтение книг, которое после обратилось мне в толикую пользу. До сего времени хотя я и читывал книги, но все мое чтение было ущипками и урывками только по временам, а с сего времени присел я, так сказать, вплотную и принялся читать почти уже безпрерывно и не сходя с места. Тогдашнее осеннее и скучное время, начавшиеся длинные вечера, сидение всякий день в канцелярии часу до десятого вечера, множество остающегося от дел и переводов праздного времени, обстоятельство, что я хотя немногия, но платил за книги деньги, нехотение терять их по-пустому, но, напротив того, желание воспользоваться сколько можно более сим вожделенным случаем и успеть множайшие прочесть книги, а наконец и самые любопытные и приятные материи тех книг, котория читал я сначала, – были тому при-

чиною, что я не терял почти ни минуты праздного времени, но все оно употреблял на чтение.

Теперь расскажу вам, какого рода книги читал я тогда наиболее. Чрез посредство упомянутой купленной мне товарищем моим книжки хотя и узнал я о всех наилучших книгах и сочинениях во всех частях немецкой литературы и хотя, прочитывая свой каталог, к особливому удовольствию своему находил, что многие из них были и у того кёнигсбергского жителя, у котораго я на другой день же начал брать книги для чтения, – однако при том одном я не остался, но просил того же немца, моего товарища, который мне сей случай доставил и который взял на себя труд проводить туда одного из наших канцелярских солдат, котораго я положил посылать всегда за книгами, чтоб и он мне, с своей стороны, присоветовал, какая мне сначала читать лучше, и те бы означил в каталоге. Он охотно сие и учинил и, означив все, которыя ему были знакомы и лучше прочих, и пересказав мнение свое о доброте оных, советовал мне начало учинить чтанием наилучших немецких романистов. Он говорил, что через то не только я научусь читать книги их проворнее и узнаю язык их совершеннее, но и всего способнее заохочусь и к дальнейшему чтению. А сверх того, и веселее могу провождать тогдашнее скучное время, а особливо по вечерам, ибо как они любопытны, то могут удобнее занимать все мое внимание и не давать чувствовать скуки, нежели другого рода книги.

На предложение сие я тем охотнее согласился, что оно сообразно было и с самыми склонностями моими. «Клевеланд» мой и некоторыя другие, читанные мною до того, романы, вперили уже давно в меня вкус к оным, и я всегда с особливым удовольствием читывал книги, содержащие в себе что-нибудь историческое.

И как романов было у того пруссака превеликое множество, и в том числе были и все наилучшие и славнейшие, то пустился я в чтение оных и упражнялся в том с такою прилежностью и усердием, что не знал даже усталости. Солдат мой принужден был то и дело ходить за книгами, и скоро дошло до того, что не только немцы, мои товарищи, но и сам хозяин книг не мог довольно надивиться скорому прочитыванию мною оных и так, наконец, в меня вверился, что не опасался присылать ко мне и по целому уже десятку вдруг и гораздо более, нежели чего весь мой заклад стоил. Но надобно сказать, что и сам я старался всегда сохранять кредит и не только возвращал ему книги его всегда в целости и исправно, но и берег

их власно как свои собственные, чтоб не могли они как затеряться, а сие и было ему в особливости приятно. Я же получил из того ту выгоду, что из множества присылаемых мог делать выбор и читать те, которыя были лучше прочих и мне более нравились, и оставлять прочия, которыя казались мне не таковы хороши и чтения моего не достойны.

В таком непрерывном чтении одних романов препроводил я не только всю тогдашнюю осень, но и всю зиму и даже большую часть последующаго лета, и материя их не только мне не наскучивала, но и делалась с каждым днем еще приятнейшею, в самом деле заохочивала меня от часу более к чтению. Я прочел их тогда превеликое множество, и из всех лучших и славнейших тогда романов не осталось почти ни одного, который бы не побывал у меня в руках и мною с начала до конца прочитан не был.

По обыкновенному обвинению романов, что чтение их не столько пользы, сколько вреда производит, и что они нередко ядом и отравою молодым людям почестья могут, подумать бы можно было, что и надо мною произвели они подобное тому действие; однако я торжественно о себе скажу, что мне не сделали они ничего худого. Сколько я их ни читал, но от всего чтения оных не приметил я ни тогда, ни после никаких худых и предосудительных для себя следствий, не развратились ими мысли мои и не испортилось сердце, не соблазнен я ими был ни к каким худым делам и не вовлечен в пороки и распутную жизнь; но чтение оных, напротив того, произвело для меня безчисленные выгоды и пользы. Ум мой преисполнился множеством новых и таких знаний, каких он до того не имел, а сердце нежными и благородными чувствованиями, способными не преклонять, а отвращать меня от пороков и худых дел, которым легко бы я мог сделаться подверженным. Словом, я никак не могу пожаловаться на оные и обвинять их с своей стороны вредными следствиями, но паче за многое хорошее им весьма обязан.

Может быть, произошло сие от того, что по особливому счастью с самого начала попались мне в руки романы наилучшего рода, писанные хорошими и славными сочинителями, со вкусом, и такая, в которых изящность добродетелей и хорошаго поведения, а гнусность пороков и дурной жизни изображена была живейшими и пленяющими красками; ибо как, сначала начитавшись оных, научился я хорошему вкусу в романах, то в состоянии уже был делать между дурными и хорошими выбор и тем меньше мог после развращен быть дурными, попадающимися мне кой-когда

в руки, но оные удобнее мог презирать и не удостаивать своего чтения. А много, может быть, поспешествовало к тому и предварительное расположение и состояние моего сердца, имеющего с малолетства более склонности к хорошему, нежели к дурному, и уже хорошее основание к люблению добродетели.

Но как бы то ни было, но помянутое чтение романов произвело мне многоразличные пользы. Наиглавнейшею из них можно почесть ту, что я через многое чтение сделался в немецком языке несравненное знающее и совершеннее. Не только целые тысячи слов и речений, которых я до того никак не знал, сделались мне тут известными и вразумительными, мимоходом и без всякаго затверживания их наизусть, но я научился вкусу отчасти и в самом слоге сочинений немецких и узнал приятность и красоту онаго и через все то приготовил себя нечувствительно к удобнейшему разумению и охотнейшему чтению других и полезнейших сочинений. Второю и не менее важною пользою, полученною мною от сего чтения, можно почесть ту, что я, читая описываемые происшествия во всех государствах и во всех краях света, нечувствительно спознакомился гораздо ближе со всеми оными, а особливо с знатнейшими в свете городами. Я узнал и получил довольное понятие о разных нравах и обыкновениях народов и обо всем том, что во всех государствах есть хорошаго и худого, и как люди в том и другом государстве живут и что у них там водится. Сие заменило мне весьма много, особливо чтение географических книг, и сделало меня с сей стороны гораздо более знающим. Не меньшее ж понятие получил я и о роде жизни разного состояния людей, начиная от владык земных, даже до людей самого низкого состояния. Самая житейская, светская жизнь во всех ее разных видах и состояниях и вообще весь свет сделался мне гораздо знакомее перед прежним, и я о многом таком получил яснейшее понятие, о чем до того имел только слабое и несовершенное. Что касается до моего сердца, то от многога чтения преисполнилось оно столь нежными и особыми чувствованиями, что я приметно ощущал в себе великую перемену и совсем себя власно как переродившимся. Я начинал смотреть на все происшествия в свете не какими иными, а благоднейшими глазами, а все сие и вперяло в меня некое отвращение от грубого и гнусного обхождения и сообщества с порочными людьми и отвлекало от часу более от сообщества с ними. Наконец, проистекала от того та польза, что как все праздное время по большей части занято у меня было одним чтением, то

чрез сие не только не был я никогда в праздности, но и не занимался, кроме дел по должности, никакими другими прочими делами, которые легко могли б меня отвлечь от моих полезных упражнений и завести в какия-нибудь заблуждения. Что ж касается до увеселения, производимого мне сим чтением романов, то я не знаю уже, с чем бы оно сравнить и как бы изобразить вам оно. А довольно, когда скажу, что оно было непрерывное и так велико, что я и поныне еще не могу позабыть тогдашняго времени и того, сколь оно было для меня приятно и увеселительно. Мне и поныне еще памятно, как увеселялся я не только во времени чтения, просиживая без всякой скуки длинные вечера, но голова моя так наполнена была читанными повестями и приключениями, что и во время самого скучного хождения по ночам из канцелярии на квартиру они не выходили у меня из памяти, и я ими и в сии скучные путешествия не менее занимался мыслями и веселился, как и во время чтения, и чрез то не чувствовал трудов и досады, с шествием по грязной и скользкой мостовой сопряженной.

Но сего довольно о тогдашнем моем чтении, а надобно рассказать мне вам и о другом упражнении, в котором я временно упражнялся и которое имело хотя предметом у себя единое увеселение, однако также невинное и дозволенное. Оно состояло не в чем ином, как в танцовании, или паче в учении сему искусству. Вы удивитесь сему безсомненно и почтете сие делом, нимало с прочим тогдашним расположением моим не сообразным, однако сие действительно так было, и я побужден был к тому отчасти склонностью моею с малолетства к сему упражнению, отчасти бывающими у генерала нашего кой-когда балами и на них танцами. Всякий раз, когда ни случалось мне их видать, всматривал я в них с восхищением и всякий раз внутренно досадовал, для чего не мог я сам брать в том соучастия. Но низкость чина моего, природная застенчивость и несмелость, а паче всего самое неумение мое танцовать не позволяли мне и мыслить о том, чтоб я мог когда-нибудь в увеселении сем соучаствовать; ибо хотя, будучи ребенком, я и танцовывал, но как искусству сему никогда не учился, то все тогдашние танцы мои ничего не значили. Поелику же мне с того времени уже никогда более танцовать не случалось, то тогда я считал себя к тому совсем неспособным, почему и довольствовался я единым только зрением, как другие танцуют и примечанием всех их движений и оборотов, дабы, пришед на квартиру, можно мне было хоть самоучкою сколь-нибудь сему искусству понаучиться. Сие и действительно я в праздные

часы иногда дельвал и, тананакая миноветы¹, учился делать па и другие обороты. И как искусство сие не так было мудрено, чтоб не можно было перенять, то через несколько времени и затвердил я оное так, что мог бы по нужде отважиться танцовать и в публике, и недоставало мне к тому только удобного случая.

Не успел я до того дойти, как нечаянным образом явился к тому и вожделенный случай. Тот же немец, который спознакомил меня с книгами, доставил мне и сей случай. Некогда, пришед в канцелярию к нам, сказывал он, что в соседстве у него будет в тот день жидовская свадьба, и предлагал мне, не хочу ли я полюбопытствовать и посмотреть оную.

– Очень бы хорошо, – сказал я, – я никогда еще их не видывал. Но как бы можно было это сделать?

– Ежели вам угодно, – отвечал мой немец, – то пойдем вместе. Я вас ужю ввечеру провожу туда; а надобно только сколь-нибудь получше одеться, ибо свадьба будет хорошая и порядочная.

– Хорошо, – сказал я, – но не дурно ли будет, что мы пойдем без всякого приглашения, а сами собою?

– И, нет, господин подпоручик! У нас обыкновение такое, что как скоро кто затеет свадьбу отправлять публичную и сколько-нибудь получше, то вольно приходить туда всякому порядочному человеку, а особливо вам, гг. офицерам: вы имеете к тому особливое право. Всякий хозяин не только не скажет вам ни единого слова, но еще за честь себе поставлять будет; а нужно только самому себя вести порядочно и не начинать никаких наглостей, шума, забиячества и других неблагопристойных поступков.

– О, что касается до этого, – сказал я, – то от меня ничего такого впоследствии не может.

– Это я знаю и уверен, – отвечал он, – а потому-то я вам и предлагаю. Ну, так хорошо ж! – сказал я. – Сводите ж, пожалуйста, меня тогда и удовольствуйте мое любопытство.

Сим образом условившись и сходяв на квартиру, чтоб поправить на себе волосы и поприодеться получше, зашел я за ним в назначенный час, и как он меня уже дожидался, то пошли мы тотчас с ним на сию свадьбу. Ночь уже была тогда совершенная, но он говорил, что у них обыкновение такое, что свадьбы бывают всегда по ночам. Но как я удивился, когда при-

¹ Напевая менуэты.

вел он меня к превеликому каменному дому, освещенному множеством огней!

– Уж не здесь ли свадьба-то? – спросил я.

– Точно тут – отвечал он.

– Что ты говоришь! – подхватил я, запинаясь. – Уж не дурно ли, что мы незваные придем; свадьба, видно, огромная?

– И, нет! – сказал он. – Ступайте смело и не опасайтесь ничего. Вот я пойду наперед и буду служить вам проводником.

Сказав сие, пошел он прямо в сени; я последовал за ним. Не успели мы войти в сени, как звук преогромной музыки поразил мои уши.

– Ба, ба, ба! – сказал я. – Здесь ажно и музыка есть.

– А как бы вы думали? – отвечал он. – Без музыки у нас одни только подлые свадьбы бывают, а если мало-мало получше, то всегда музыка.

В самое то время отворились двери, и он потащил меня за собою. Зала была превеликая, освещенная множеством свеч и наполненная великим множеством людей обоего пола.

Я удивился, увидев, что между всеми ими не было ни одного человека из самой подлости, но все люди были порядочно одеты и наблюдавшие всю благопристойность. Иные из них сидели возле стен на стульях, иные расхаживали и разговаривали между собою; другие же и множайшие стояли кучами и смотрели на танцующих посреди залы в несколько пар и порядочно минует. Все, встречающиеся с нами, давали нам дорогу и оказывали нам всякую вежливость и учтивость. Все сие по нечаянности своей поразило меня до безконечности.

– Что ты это, братец, – говорил я тихо своему товарищу, – куда ты меня это завел? Это и не походит на свадьбу, это сущий бал!

– А как бы вы думали? – сказал он. – У нас и всегда так бывает.

– Да умилосердись, – продолжал я его спрашивать, – скажи ж ты мне, где же жених и невеста, когда они будут венчаться и происходить у них свадебная церемония?

– И, господин подпоручик, – отвечал он, – да они уже давно и еще давеча, в полдне и в другом месте, обвенчаны, и нам до того какая нужда, а здесь только свадебный бал. Венчаются они на домах своих, и при том бывают одни только родные.

– А этот дом разве не хозяйский? – спросил я, удивившись.

– Ах, нет, – отвечал он, – этот дом городской и публичный, и желающие отпраздновать свадебные балы его только нанимают на вечер и платят за то в ратушу самую почти безделку.

– Вот, сударь, – сказал я, удивляясь от часу больше, – это обыкновение у вас очень хорошо, и поэтому свадьбы хозяину не многого стоят.

– Конечно, не много, – отвечал он, – ибо весь убыток состоит в покупке свеч и в заплата небольшого количества денег музыкантам, а то, впрочем, не бывает тут ни ужинов, ни потчиваний, да за игранье музыки платят более сами танцующие.

– Как это? – спросил я, удивившись еще более.

– А вот, – сказал он, – это увидите вы сами. Дай окончиться минуету и тогда, если кому захочется в особенности что танцевать, то он велит музыкантам то играть и за сие преимущество дает им безделицу, несколько грошей денег, так они и заревут и играют до тех пор, покуда ему хочется.

– Вот какая диковинка! – сказал я. – Но, пожалуйста, скажите мне, какая же это танцуют люди, да и все вот здесь находящиеся?

– Всякого чина и состояния, – отвечал он, – кроме только самой подлости: есть тут мещане, есть хорошие ремесленники, есть духовные, есть и хорошие купцы со своими женами и дочерьми; а из молодых и сих танцующих мужчин есть множество и штудирующих в здешнем университете студентов, и в том числе хороших дворянских детей. А в прежния времена хаживало сюда и множество наших гг. офицеров, и они бывали лучшие танцовщики. Словом, здесь есть всякого сорта люди, ибо всякому дозволено посещать сии пиры, да еще и с тем, что буде кто не хочет быть знаком, так может приходить себе в маске и в маскарадном платье.

– Да умиласердись! – продолжал я его спрашивать. – Когда бывают тут люди всякого сорта, и знакомья и незнакомья, то не легко ли могут происходить тут всякая всячина, например, ссоры, шумы, безчиния и тому подобное?

– Ах, нет! – отвечал он. – У нас сего никогда не бывает, да и быть не может. Наша полиция наблюдает весьма строго то, чтоб ничего подобного тому на сих съездах не происходило. Сохрани Господи, если кому вздумается что-нибудь непристойное и неприличное предпринять, тотчас под руки, и выведут со стыдом вон и вытолкают в двери, кто б он таков ни был.

– Это, право, очень хорошо! – сказал я. – Но, пожалуйста, сказали вы мне, что это свадьба жидовская; но что же я жидов здесь не вижу?

– И, как не видеть, – отвечал он, – разве вы их не заметили? Их, правда, немного, однако они есть: вон приметьте, у которых бороды не чисто все выбриты, а оставлена узенькая полоска на челюстях, подстриженная ножницами: это все жидаы, и их по одному только сему распознать можно; а впрочем, они так же одеты, как и прочия, ибо бывают тут из них одни лучшие и богатейшие.

– А женщины-то их? – спросил я далее.

– А сих, – сказал он, – ничем уже с прочими различить не можно: они так же хорошо одеваются, как и прочия. Вот смотрите, узнаете ли в числе сих танцующих самую невесту?

– Нет, – сказал я, пересмотрев всех прочих, – все они, кажется, одеты одинаково и все изряднехонько.

– Вот она, – сказал он, указывая на невесту, – ее потому только можно отличить, что она вся в белом платье и что голова ее убрана цветами. А вот это – ее жених, – сказал он, указывая на молодого и изрядного молодца.

Я смотрел тогда с особливым любопытством на сих новобрачных и не мог довольно надивиться всему поведению их, которое было столь порядочно, что я никак бы не подумал, что это жидаы были, если б мне того не сказали. Наконец спросил я моего товарища:

– Но сам-то хозяин где ж? Пожалуйте, мне его покажите.

– Бог его знает, – отвечал он мне, – мне он незнаком, и тут ли он или нет, я истинно не знаю, да и какая нужда о нем знать? Он такой же тут гость, как и все прочия, и как он ни о ком, так и об нем никто не заботится.

– Вот смешно и удивительно, – сказал я, – но, вправду сказать, тем лучше и вольнее.

В самое сие время окончился тот польский танец, который тогда после минуета танцевали.

– Ну теперь что будет? – сказал я.

– Небось контраганец! – отвечал мой товарищ, и он в мнении своем не обманулся.

Мы услышали вдруг голос одного молодого человека, кричащего музыкантам, чтоб играли «режуисанс»¹ и подающего им несколько денег. Не успел он сего вымолвить, как во всей зале раздалось эхо, множество голосов начали говорить: «Режуисанс! Режуисанс!»

¹ Французское – собственно веселье, празднество.

И все молодые люди начали себе искать подруг и, поднимая молодых женщин, ранжироваться¹ в две линии. Как мне имя сего контраганца довольно было известно, потому что я видел, как его несколько раз танцовали на балах у генерала, и мне он так полюбился, что я и голос и фигуру затвердил твердо, то и вскипел я тогда желанием танцовать его. «Эх, – думал я, – отведаль бы потанцовать его! Авось-либо, не ошибусь; фигура мне знакома». Но несмелость моя так была велика, что я никак не мог на то отважиться, если б товарищ мой, приметив, что я горю желанием, но только не осмеливаюсь, мне не сказал:

– Что, господин подпоручик, не вздумаете ли вы им компанию сделать?

– Бог знает! Никогда я контраганца сего еще не танцывал! Правда, фигура его мне знакома, но боюсь, чтоб не помешаться и не спутаться.

– И, господин подпоручик, пуститесь, авось-либо не спутаетесь; а хоть бы и помешались, беда не велика, здесь люди не знатные, вам то отпустят. Станьте только в последней паре, так покуда дойдет до вас очередь, так вы и переймете.

– Так иттить?

– Ступайте, сударь, ничего не опасаясь.

– Но где ж мне женщину-то взять? Ни одна мне незнакома.

– Что нужды! Берите любую, ни одна вам не откажется, но еще за честь себе поставит с вами танцовать, если только умеет.

Не успел он сего выговорить, как увидели мы одну молодую и изрядную девушку, бегающую по всему залу и ищущую себе товарища, и тогда сказал мне мой спутник. – «Ну вот, на что лучше, сама ищет, ступайте и адресуйтесь к ней».

Духа моего едва стало на то, чтоб к тому отважиться. Я подступил к ней в самое то время, когда она шла мимо нас, и сказал ей: «Сударыня! Конечно, вам недостает пары? Не угодно ли со мной?» – «С охотою моею», – отвечала мне девушка, обрадуясь приметно моему приглашению. Она подала мне руку и тотчас повела было становиться между парами. «Сударыня, – сказал я, остановив ее немного, – не лучше ли немного подалее, ибо, признаюсь вам, что я сего танца еще не танцывал, разве вы меня поправлять станете». – «О сударь, с превеликою охотою», – отвечала она и тотчас пошла становиться туда, где мне хотелось.

¹ Строиться, выравниваться.

Сердце вострепетало во мне, как скоро стал я в порядок, и те минуты, которые надлежало мне дожидаться, покуда дошла до меня очередь, были для меня наимучительнейшие. Весь дух мой находился в великом смущении, и я стоял ни жив, ни мертв и власно как дожидаясь неведомо чего. Но наконец решился мой жребий. Меня подхватили, потащили и заставили также бегать, прыгать и вертеться, и сия минута решила все мое сумнение и к самому себе недоверчивость. Я протанцевал весь контратанец без малейшей ошибки и так исправно, что товарищ мой не мог довольно расхвалить меня. И с того времени не было ему уже нужды побуждать меня к танцованию: мне нужна и тяжела была только первая минута, а как я однажды уже осмелился, то не было почти и уйму мне. Я не пропускал ни одного танца, который бы не танцевал вместе с прочими, и так разохотился, что товарищ мой уже тому почти и не рад был, но, сев в уголок, только на меня посматривал. Пуще всего понравилось мне то, что все женщины с особливою охотою со мною танцевали и не только не смеялись, если я когда в незнакомых еще мне контратанцах сначала ошибался, но всякая с удовольствием мне сказывала, куда иттить и что делать.

Одним словом, вечер сей был для меня наиприятнейший в жизни. Я не видал, как оный прошел, и затанцовался даже до того, что товарищ мой наконец ко мне подошел и сказал: «Уже первый час, господин подпоручик! Не пора ли нам домой иттить? Молодые уже давно ушли и скрылись, и скоро все разъедутся».

Тогда только опомнился я, что задержал сего добраго человека. Я приносил ему тысячу извинений и благодарений, что он для меня столько трудился, и, схватя шляпу, тотчас пошел с ним.

Сим кончилось тогда сие происшествие, а сим окончу я и письмо мое и паки вам скажу, что я есмь и прочая.

ГУБЕРНАТОРСКИЕ БАЛЫ

Письмо 70-е

Любезный приятель!

Вечер, препровожденный столь весело, произвел мне столько удовольствия, и упражнение в танцах мне так понравилось, что они не вы-

ходили у меня из мыслей во всю дорогу, как я возвращался тогда на квартиру. Я благодарил товарища моего еще раз, при разставании с ним, и был услугою его крайне доволен. Танцевать же так разохотился, что, идучи далее, не один раз сам себе говорил: «Ну, если б еще раз или два случилось мне таким же образом потанцевать, так бы я и пошел себе, и мог бы смело танцевать и у самого генерала на балах». Сие желание мое и совершилось прежде, нежели я думал и ожидал. Помянутый товарищ мой, немец, не успел увидеть меня на другой день, как, разсмеявшись, сказал: «Ну, господин подпоручик, охотники вы танцевать, прямо охотник! Я этого и не ведал, а если б знал, то давно бы доставил вам к тому случай. Не угодно ли вам еще таким же образом танцами позабавиться? Послезавтрева опять будет свадьба». – «Что вы говорите! – возопил я. – Неужели опять такая ж?» – «Не только такая ж, но еще лучше! Вот здесь близехонько, в альтштадском городском доме, и будет жениться один зажиточный купец. И ежели угодно, то я вас и туда провожу, но только с тем, чтоб мне там не сидеть так долго, как вчера, но чтоб мне вольно было уйтить оттуда, когда я похочу». – «Ах! любезный друг, ты меня одолжишь тем до бесконечности! А что касается до вас, то идите себе когда хотите, я и один могу остаться». – «Очень хорошо, – сказал он, – я вас свожу и туда; но что говорить, была бы только у вас охота танцевать. Я вам буду всякий раз сказывать, как скоро узнаю, что будет где-нибудь свадьба. У нас оне в нынешнее осеннее время бывают очень часто, и вы можете на всех их быть, если только хотите». – «Батюшка ты мой, – возопил я, – ты меня, ей-Богу, так одолжаешь, что я истинно не знаю, чем и как мне тебя возблагодарить за то!»

Господин *Пикарт* (ибо так он прозывался) сдержал действительно свое слово. Он сводил меня и на сию свадьбу, которая в самом деле была несравненно лучше и во всем превосходней первой; не только дом, в котором она отправлялась, гораздо больше, но и собрание многочисленнейшее, да и состояло оно из людей гораздо лучших и знаменитейших. Мне и тут было чрезвычайно весело; ибо как я был уже смелее, то вступил тотчас в танцы и протанцевал часу до третьяго, так что, от усталости, на силу дошел домой и остальную часть ночи спал как убитый. А не успело несколько дней пройтись, как, к великому удовольствию моему, получил через г. Пикарта и в третий раз случай, таким же образом всю почти ночь протанцевать на свадьбе.

Чрез сие троекратное и долговременное упражнение в танцовании я так в танцах уже наторел и наблошнился, что мне все танцуемые тогда в Кёнигсберге разноманерные танцы сделались очень знакомы, и я все их мог танцевать без нужды и безошибочно: а сие с столь малым трудом приобретенное новое искусство и послужило мне тогда очень кстати.

Ибо не успела армия наша возвратиться из похода на реку Вислу и расположиться тут по кантонир-квартирам, как город наш наполнился множеством приезжающих из армии всякого рода людей. Из всех полков присланы были команды и офицеры для разных вещей и покупок. Множество других приезжало для собственных своих нужд и живали тут по несколько времени, и между ними были многие генералы, и бригадиры, и другие знаменитые люди. Что ж касается до проезда чрез наш город многих знатных особ, отчасти из армии в Петербург, отчасти оттуда в армию, то он почти был непрерывный; и как и все они обыкновенно у нас в городе на несколько дней останавливались, то от всего того, равно как и от съезда из уездов на зимнее время в город прусскаго дворянства, весь город наш власно как оживотворился; а все сие и подало повод генералу нашему, любящему и без того пышную и веселую жизнь, показать себя при этом случае во всем своем блеске. Он не упускал ни одной проезжающей знаменитой особы без того, чтоб не угостить у себя наилучшим образом. Что ж касается до приезжающих к нам и живавших у нас по несколько недель в городе генералов, то сии все имели всегдашнее почти у него пребывание. Не было дня, в который бы они его не посещали и им всячески угощаемы и увеселяемы не были; то и дело бывали у него многочисленные собрания и обеды. А как к тому присовокупилось и то, что он и со всем прусским в городе находящимся дворянством уже спознакомился совершенно и приобрел к себе от них любовь и почтение, а сверх всего того, наш генерал, несмотря на все свои пожилые лета, не отставал еще от привычки молодых своих лет и от особенной склонности к любовным интригам и случилось так, что он в особенности заразился тут страстию к одной прусской графине из фамилии *Кейзерлинг*, то все сие и побуждало его к выдумыванию и изобретению всех возможных родов увеселений, и потому не было ни одного праздника и торжественного дня, в который бы не давал он всем знаменитейшим людям у себя великолепного пира, а потом многочисленного бала. Не проезжал ни один из знатных людей чрез наш город, для котораго не сделано б было им также пирушки. Но и всем тем он еще не

удовольствовался; но как помянутая страсть его к графине Кейзерлингше увеличивалась с часу на час и побуждала его искать колико можно частейших случаев с нею к свиданию, то скоро дошло до того, что, кроме всех праздников, положены были в каждую неделю особливые дни, в которые бы быть либо у него, либо в других знаменитейших домах съездам и собраниям. И так всякий почти день были либо у него гости, либо он сам в гостях. Но как никто из прочих не мог жить так пышно и расходно, как он, то завел он преимущественно пред прочими то, чтоб всякую неделю быть у него, кроме обыкновенных съездов для игrania в карты, в один день и всеобщему собранию и балу, продолжавшемуся обыкновенно большую часть ночи. Словом, город наш сделался обиталищем утех и веселостей, и посреди тогдашняго шума военного оружия одним только местом, в котором можно было найти случай повеселиться и время свое препроводить с приятностью; а разнесшийся о том слух и привлекал как из армии, так и из всех других мест множество народа, и все молодые люди стремились туда власно как к некоему центру веселостей.

При таковых обстоятельствах, судите, каково долженствовало быть мое удовольствие, когда я, живучи при сем генерале и упомянутым образом получив вкус в танцах, мог иметь случай всякую неделю один, а иногда и несколько раз не только наслаждаться зрением на оныя во время балов, но и сам брать в них соучастие. Ибо сколько сначала не мог я ласкаться надеждою, чтоб мне было когда-либо иметь в том соучастие, но вскоре дошло до того, что меня самого искать и принуждать к тому стали. Привезен был к нам, взятый в последнюю баталию нашими в плен, королевской-пруссский флигель-адъютант, граф *Шверин*. Как он был весьма знатнаго рода, а притом малый молодой, свежий, ловкий, проворный и сущий красавец и разумница, а притом находился до того у короля в милости, то не только не содержан был он у нас взаперти, но оказываемо было ему от всех и наивозможнейшее уважение. Он жил у нас совсем на свободе и имел только у себя для имени двух приставов, таких же ребят молодых, таких же ловких, проворных и красавцев. Один из них был самый тот *Орлов*, Григорий Григорьевич, который после был столь знаменит и играл великую роль в свете, а другой – брат его двоюродный, господин Зиновьев. Оба они были еще тогда самыми низкими армейскими офицерами и не более как поручиками, и оба жили безотлучно при графе Шверине на одной квартире, и не столько за ним смотрели, сколько делали ему компанию.

Сии три молодца были тогда у нас первые и наилучшие танцовщики на балах, и как красотою своею, так щегольством и хорошим поведением своим привлекали на себя всех зрение. Ласковое и в особенности приятное обхождение их приобрело им от всех нас искреннее почтение и любовь; но никто тем так не отличался, как помянутый господин *Орлов*. Он и тогда имел во всем характере своем столь много хорошаго и привлекательного, что нельзя было его никому не любить. Ко мне был он отменно ласков и благосклонен; ибо как квартира их была насупротив самого замка и ему всякий почти день случалось бывать для рапортования генералу у нас в канцелярии, то имели мы скоро случай между собою познакомиться и друг друга полюбить. Словом, чрез короткое время он меня полюбил как родного брата и никогда не пропускал, чтоб, увидев меня, не закричать: «Ах! Болотенка мой друг! (ибо так он меня обыкновенно называл) здравствуй, голубчик!» и чтоб не расцеловать меня как родного.

Таковая любовь и всегдашние ласки ко мне сего человека и доставили мне наконец ту выгоду, что я мог во всех увеселениях, бываемых у нашего генерала, брать соучастие. Я выше уже упоминал, что он был одним из лучших наших и первых танцовщиков и власно как душою на балах. Ибо не успеют старики открыть бал и, потанцовав несколько миноватов и польских, усесться за карты, как долженствовали сии господа, по просьбе генерала, заводить с молодыми дамами и девицами контратанцы и поддерживать веселость бала во все то время, покуда он продолжался; но сие учинить им не таково легко было, как он сперва думал. Встретилось одно обстоятельство, делающее им в том превеликую остановку, а именно: молодых дам и девиц было у нас всегда превеликое множество; но молодых мужчин, могущих танцовать контратанцы и, как говорится, пускаться во вся тяжкая, кроме их, так мало, что они не могли набирать иногда шести и семи пар. Ибо хотя делали им компанию и приезжие из армии, случающиеся на сих балах и нередко и из самых генералов те, которые были помоложе, как, например, граф Петр Иванович *Панин* и господин *Вильбоэ* и некоторыя другие; но как они не всегда случались, да и не могли им безпрестанно сотовариществовать и пускаться с ними во все тяжкие, то и была на них превеликая комиссия и они не знали, что делать. Сперва пробавлялись они кое как несколько времени, но как балы у генерала начались очень частые и им, наконец, недостаток в товарищах себе наскучил, то и начали они выискивать из всех находившихся тогда в Кёнигсберге

молодых и способных к тому офицеров и всячески их преклонять и уговаривать приходиться на сии балы.

При этом случае господин Орлов पहले всех устремил свое внимание на меня. Он тотчас начал меня к тому подговаривать, и я сколько ни отговаривался своим неумением и тем, что я не смею генерала и не знаю, будет ли ему угодно, но ничто не помогло. При первом случившемся после того бале, приступил он к генералу: «Что, ваше превосходительство, – сказал он ему, – воля ваша, танцевать не с кем. Не изволите ли приказать вот господину Болотову? Он бы мог нам помочь». – «Пожалуй, душа моя! – сказал генерал. – С превеликою охотою; но умеет ли только он?» – «Я думаю, что он умеет, – сказал Орлов, – но хотя бы и не умел, так мы тотчас его научим, хоть бы фигуру нам делал; извольте только приказать, а то он сам без вашего приказанья не осмеливается». – «И, для чего нет! – отвечал генерал и тотчас подошел ко мне и наиласковейшим образом сказал. – Друг ты мой! ежели только можешь, то пожалуй себе танцуй, чего тебе меня опасаться; ты мне тем великое еще удовольствие сделаешь». Сего дня меня было довольно; ибо как сего давно душа моя желала, то я в тот же миг полетел с господином Орловым и пустился во вся тяжкая.

Он удивился моему уменью и не мог довольно расхвалить меня за то; а и сам генерал, увидевши, что я танцую порядочно, и наряду с ними так же хорошо прыгаю и верчусь, так был тем доволен, что, подошед ко мне и потрепав по плечу, сказал: «Браво! браво! мой друг! Пожалуйста, танцуй и приходи сюда всякий раз, когда у меня ни случится бал!»

С того времени не пропускал уже я ни одного бала, но, приходя на них, протанцовывал всегда до самого окончания оных, и Богу единому известно, сколь великое и многое чувствовал я оттого удовольствие. Правда, сперва было мне несколько трудновато привыкать: не соучаствовав никогда в таких знатных компаниях и видя себя тогда принужденным танцевать и даже прыгать и вертеться с самими принцессами, графинями и баронессами и стоять нередко в ряду с самыми нашими генералами в лентах и кавалериях, а особливо с столь страшным в прежния времена мне господином *Вильбоэ*м, чувствовал я иногда превеликое смятение и сердце было у меня весьма не на месте; но к чему не можно привыкнуть? Не успел я несколько оборкаться, как ничто уже меня не трогало, и я со всеми ими и с таким же удовольствием танцовывал, как и с ровными себе; а сие весьма много и помогло к тому, что я в последующие потом годы моей жизни всегда уже

смелее обходился с знатными людьми, нежели до того времени. Привычка же моя к танцованью и удовольствие, чувствуемое при том, было так велико, что как сии балы ни были у нас часты, но я всем тем далеко еще не удовольствовался, но не пропускал и в городе ни одной почти свадьбы, на которой бы мне не побывать и также не потанцовать. Но на сии хаживал я уже не один, а с несколькими другими офицерами, с которыми, по случаю танцов у генерала, я спознакомился, и они нам были еще приятнее самых балов и более потому, что там составляли уже мы первых танцовщиков и пользовались множайшею вольностью нежели на балах, по которой причине нередко хаживал с нами на них и сам *Орлов* для компании.

В таковых-то увеселениях препроводили мы тогда всю осень; а не успела настать зима, как генерал наш доставил нам новое удовольствие. Он выписал из Берлина целую банду комедиантов, и как у нас в городе театр был готовый и изрядный каменный, то и начались у нас театральные представления. Зрелища сии были для меня совсем еще новыя и необыкновенныя, и как комедианты играли довольно хорошо, то весьма скоро получил я и в них вкус и они мне так полюбились, что я увеселялся еще более нежели всем прочим, и не упускал ни одного театрального зрелища, чтоб не быть на нем, что мне с тем лучшею удобностью можно было делать, что мне они ничего не стоили. Ибо как содержателю театра была до нашей канцелярии и собственно-таки до меня нужда, то из учтивости подарил он меня с самого начала так называемым фрейбилетом, или дал привилегию ходить всегда безденежно.

Не могу изобразить, сколько многим и безчисленным увеселениям подавали мне эти театральные зрелища повод. Частые перемены в театральных представлениях, комедии, прологи и трагедии мною не виданныя, новостью своею пленяли меня до безконечности. Я сматривал на них не только с превеликою жадностью, но и с возможнейшим примечанием; и из всех зрителей верно весьма немногия удостоивали их таким вниманием, как я. Всякий раз когда ни случалось мне бывать на театре, наполнена бывала у меня вся голова виденным и слышанным, и я занимался тем во весь достальный вечер.

Но и сего всего было еще не довольно; но генерал наш, для усовершенствования наших веселостей и для придания пышной и великолепной своей жизни более блеска, вскоре потом завел у себя и маскарады. Сей род увеселений был для меня также совсем нов и никогда до того неви-

данный и потому в состоянии был не менее меня утешать, как и прочия. Но сначала не мог я брать в них соучастия. Начались они сперва небольшие и так сказать комнатные и в покоях у губернатора; и как у тамошнего дворянства не у всех было маскарадное платье, то и собирались на них только немногие из них. Однако сие продлилось недолго. Не успела разнестись об них молва и слух, что генерал, не удовольствуясь приватными маскарадами, намерен давать большие и всенародные в оперном доме, и дать дозволение всем брать в них соучастие, как вскружились у всех головы, и все начали строить себе маскарадные платья. Тотчас навезено было множество масок, и у всех, захотевших брать в них участие, пошли разные выдумки. Не могу изобразить, как поразительно было для меня первое таковое зрелище в большом театральном зале. Несколько сот различных масок, из которых одна другой была страннее и удивительнее, представившись вдруг моему зрению, привели оное в такую разстройку, что я не знал, на которую прежде смотреть и которою более любоваться. Но ни которая маска так хороша и прелестна не казалась, как арапская, невольническая, в которое платье одеты были Орлов с Зиновьевым. Сшито оно было все из черного бархата, опоясано розовыми тафтяными поясами; чалма украшена бусами и прочими украшениями, и оба они, будучи одеты одинаково, скованы были цепями, сделанными из жести. Поелику оба они были высокого и ровного роста и оба имели прекрасную талию, то нельзя изобразить, сколь хороший вид они собою представляли и как обратили всех зрение на себя. Из госпож же наилучшую фигуру представляла тогда принцесса Гольштейн-Бекская. Она свела особое дружество с молодым графом Швериным и была одета тогда ему под пару и прямо щегольски. Но кроме сих, многие другие отличались как богатством, так и особенностью своих маскарадных платьев.

Я в сей раз находился в числе зрителей: и увеселение сие так мне понравилось, что я руки себе ел, что не сделал себе также, по примеру других, маскарадного платья. Почему не успел узнать, что вскоре будет другой и многочисленнейший еще маскарад, как уже не был столь глуп, но смастерил и себе прекрасное гишпанское платье. Сей маскарад был еще лучше и несравненно многолюднее прежнего. Казалось, что у всех жителей кёнигсбергских вскружилась голова и что все они восхотели взять в нем соучастие и друг друга перещеголять в выдумках особых масок и украшений. Каких и каких масок и каких удивительных зрелищ не было на оном!

Были тут не только разные так называемые кадрили; были не только маски, изображающие разные дикие и европейские старинные и новые народы; были не только маски, изображающие разных художников и мастеровых, например, мельников, трубочистов, кузнецов и других тому подобных, но должныствовали и самые бездушные вещи, как, например, шкафы, пирамиды и прочия тому подобные, принимать на себя одушевленный вид и ходить между людьми. Нельзя изобразить, как удивили сначала нас эти движущиеся и расхаживающие тут же между людьми шкафы и пирамиды, ибо скрывшихся во внутренности их людей вовсе не было видно. Но после не могли мы тому довольно насмеяться. Словом, маскарад сей был наивеликолепнейший и имел все свойства лучших маскарадов. Мы препроводили на оном всю почти ночь в превеликом удовольствии и танцевали до усталости. Господин Орлов был в сей раз одет в платье древних римских сенаторов, которое к нему так пристало, что мы, любуясь, ему несколько раз говорили: «Только бы быть тебе, братец, большим боярином и господином; никакое платье так к тебе не пристало, как сие». Таким образом, говорили мы ему, не зная, что с ним и действительно сие случится и что мы сие ему власно как предсказывали.

В таковых-то многообразных и весьма частых увеселениях препроводили мы тогдашнюю всю зиму, и никогда не были они у нас столь многочисленны, как около начала 1759 года, или в Святки. Во все сии две недели всякий день было у нас что-нибудь новое, то есть либо бал, либо маскарад, либо театр, либо так собрание и так далее. А ко всему тому присовокупилось и еще одно увеселительное для нас и новое также зрелище. В Кёнигсберге, так как и во многих других европейских немецких городах, всякий год около Рождества бывает еще одна, так называемая Христова ярмонка. Она начинается в навечерие Рождества и продолжается целую неделю, и особенное имеет в себе то, что торговля производится не по дням, а только по вечерам и ночью, при огнях. Вся небольшая и прежде упоминаемая площадь в Альгштадте заграмащивается лавочками, убранными разными товарами и освещенными множеством свеч и фонарей; и как торговля производится наиболее медною посудой и конфетами, то блеск огней, отпрыгивающий вкупе от чистой медной и оловянной посуды, развешанной повсюду и разстановленной по всем полкам в лавках, производит довольно приятное зрелище.

Весь город дожидается ярмонки сей, власно как некоего особливаго праздника, и не успеет наступить навечерие праздника Рождества Христова, как все лучшие мещане со всеми своими семействами и малолетними детьми съезжаются и весь вечер гуляют по рядам сих лавок. Обыкновение у них есть покупать малолетным детям своим в сей вечер конфекты и игрушки и другие мелочные подарки и приносить и привозить таковыя же остающимся дома. А сие и причиной, что все малые дети дня сего дождаются у них с превеликою нетерпеливостию, и будущими подарками, которяя они называют Христом, веселятся уже заранее.

Мы не преминули также посещать сию ярмонку в праздные вечера и брать во всенародном удовольствии соучастие; а в сих упражнениях и застал нас 1759 год.

Но как письмо мое получило уже обыкновенную свою величину, то я, окончав оное, скажу, что есмь ваш и прочая.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Письмо 71-е

Любезный приятель!

Между тем как мы упомянутым образом препровождали всю зиму в Кёнигсберге в безчисленных удовольствиях и увеселениях, армия наша стояла на кантонир-квартирах, расположившись оными вдоль по реке Висле и по ближним к оной местам и селениям; и как главному ее командиру графу *Фермору* надлежало для отчета в своих деяниях и получения новых повелений съездить в Петербург, то в отсутствие свое поручил он команду над всею армией старшему из бывших тогда в оной генерал-аншефов, *Фролову-Багрееву*. Мы удивились, о сем услышав, ибо генерал сей, служив весь свой век в драгунских полках и дожив до глубокой старости, способнее был сидеть с покоем у печки, нежели командовать столь великою армией, и был столь мало знаменит, что мы почти и имя его никогда не слыхивали. Но по обстоятельству, что он был службой всех прочих старее, не можно было его никак обидеть, несмотря хотя он, будучи мужик совсем простой, не имел ни малейших к тому способностей.

Сие обстоятельство причиною тому было, что мы в течение сей зимы, посреди наших веселостей, однажды чрезвычайно были перетревожены. Некогда, не думая, не гадая, получили мы известие, что во всей армии произошла превеликая заварушка, и что вся оная посреди зимы готовится выступить в поход. Мы не знали, что о сем думать, ибо, помышляя всего меньше о войне и об армии, не ведали ничего, что там в отдаленности от нас происходило, и по скорости приуготовления к выступлению в поход не иное что заключали, что король прусский, пользуясь отсутствием генерала Фермора и зная дряхлость и слабость нашего тогдашняго командира, конечно, вздумал учинить нечаянное на нашу армию нападение; и как мы не могли на него иметь ни малейшей надежды, то и опасались, чтоб действительно не воспоследовало какого-нибудь бедствия.

К вящему усугублению нашей боязни и опасения получили мы около самого того ж времени и из Петербурга секретное повеление, чтоб и мы с своей стороны взяли предосторожность наивозможнейшую и в случае, если усмотрено будет от жителей кёнигсбергских какое опасение, то для нагнания на них страха, положили бы на все дома пехкранцы, или смоляные кольца, и в случае самой опасности не иначе из города вышли, как зажегши оныя и превратив весь город в пепел. Таковое необыкновенное и страшное повеление привело нас самих в превеликое сомнение, а на жителей кёнигсбергских нагнало такой страх и ужас, что они несколько дней ходили все повеся головы и позабыли про все веселости и забавы.

Но, по счастью, страх сей и опасение продлилось недолго. Не успело несколько дней пройтись, как получили мы известие, что в армии нашей опять все успокоилось и стало тихо и смирно, а сие успокоило и нас тотчас. После узнали мы, что произошло сие оттого, что королю прусскому вздумалось велеть одному корпусу войск вступить из Шлезии в Польшу. Не успел двор наш получить о том известие, как велено было тотчас и нашей армии выступить из своих кантонир-квартир и иттить навстречу оному; а слух о сем и устранил так пруссаков, что они тотчас опять из Польши вышли и назад в Шлезию возвратились, а тогда оставили и мы оружие и по-прежнему успокоились.

Между тем, однако, прошлогоднею нашею кампаниею и претерпенными уронами были при дворе нашем не весьма довольны. Нашлись многие, которыя критиковали все поведение нашего главнаго командира; а другия всю вину возлагали на новый наш обсервационный корпус; наконец, были

и такая, которая порочили и самую нашу артиллерию, а особливо шуваловские секретные гаубицы, приписывая им далеко не столь хорошее действие, котораго от них ожидали. Все таковыя разные толки и подали двору нашему повод присылать нарочных для свидетельствования нашей артиллерии в армию: почему и производимо было там около сего времени при всех начальниках армейских сие свидетельство. И как оказалось, что помянутыя гаубицы действительно имели некоторыя неспособности и несовершенства, то с того времени и не были они уже в такой славе, как прежде, а более начали говорить уже о единорогах, которыя около сего времени введены у нас в употребление.

Впрочем, в продолжение сей зимы чинены были с нашей стороны безпрерывные и великие приуготовления к возобновлению войны на будущее лето, и к продолжению оной усильнейшим еще образом. Англия сколько ни старалась, чрез своих министров, преклонить наш двор к восприятию нейтралитета, но все ее хитрости и старания были тщетны. Союзные нам дворы убедили императрицу не только продолжать войну, но и вести ее гораздо с вящим усилением, нежели прежде. Они внушали ей, что самая честь ее требует того, чтоб она отомстила тот стыд, который претерпела в минувшее лето, и она тем охотнее последовала сим советам, что и сама хотела возстановить славу российского оружия, а сверх того, было бы постыдно оставить без нужды свои завоевания. Все усилия и домогательства короля прусскаго к разорванию сего союза были недействительны и безуспешны. Со всем тем употреблял он все, что мог, к произведению сего в действие, и агенты его должны были везде работать и трудиться. Сим при французском дворе хотя и удалось было прельстить правившего тогда всеми делами кардинала *Берниса*, и довести его до того, что он начал было с английским двором переписку, клонящуюся к заключению между собою мира, но, по несчастию, их сие узнано было благовременно и приняты такия меры, что кардинал сей потерял чрез то сам свое место. А вступивший на его место дюк *Шоазель* привел дела опять в порядок и разрушил опять все то, что агенты короля прусскаго успели было сделать. Таковую же неудачу имели они и при турецком дворе, который старались они всеми образами возжечь и преклонить начать войну либо с цесарцами, либо с нами, и сделать чрез то нам наивеличайшую диверсию. Король прусский не жалел казны и употреблял огромные суммы к закуплению турецких министров и к обольщению самого молодого султана. Однако деньги его

и труды пропали по-пустому. Цесарские и французские министры не пожалели и с своей стороны подарков, и количество оных превозмогло прусские. Турки разсудили за полезнейшее для себя пользоваться с обеих сторон прибытками, а жить притом в мире и тишине и не подвергая отечества своего уронам и военным опасностям. Что касается до цесарского двора, то при оном сделать ему было нечего, ибо как он был тогда наиглавнейшею всей войне пружиною и более всех о продолжении войны старался, то все происки короля прусскаго оставались тщетны.

Все сие озабочивало весьма короля прусскаго и наводило на него великое опасение и тем паче, что он и на единых своих союзников, англичан, не мог возлагать дальней надежды. Ему хотя и весьма хотелось, чтоб они прислали сильный флот в наше Балтийское море и посетили наш Кронштадт и лифляндские берега, но Англия углубилась тогда так в морскую свою войну с французами в Азии, Африке и в Америке и разлакомилась так полученными там завоеваниями и приобретенными выгодами над французами, что почитала за выгоднейшее для себя продолжать оныя, нежели без всякой лъстящей надежды колотиться о пустые и обнаженные финляндские скалы и камни.

Со всем тем двор наш имел великое опасение, чтоб сего посещения от англичан не воспоследовало; а самое сие и причиною тому было, что старался он предварительно заключить особливый союз с шведским и датским двором и условиться, чтоб, в отвращение того, поставить соединенный флот в Зунде для воспрепятствования проходу англичанам, что и учинено было действительно в последующее лето.

Между тем вся армия наша укомплектована была отчасти вновь набранными рекрутами, отчасти оставшимися внутри России старыми войсками. Всем оным, велено было иттить в Пруссию, а места их заступили новонабранные рекруты. Вместо потерянной артиллерии, доставлено было в армию множество другой; и как известно сделалось, что прежний командир армии нелюбим был оною, то положено было переменить и онаго и избрать кого-нибудь иного. Однако начало кампании велено было учинить тому же, почему он в марте месяце и возвратился назад к армии и начал делать все нужные к рановременнейшему началу кампании приуготовления.

Не в меньших стараниях и приуготовлениях упражнялись и прочия наши союзные дворы, то есть: цесарский, французский и шведский. По-

всюду происходили великие вооружения, и везде готовились вновь проливать кровь человеческую и напасть со всех сторон и с вящим усилием на короля пруссаго.

Но и сей оставался между тем не без дела, и чего не мог успеть в политических своих происках, то награждал прочими своими попечениями и выдумками. И как собственное его государство было мало и не могло его снабдить довольным числом людей, для укомплектования своей армии, то, имея в своей власти все Саксонское курфирство, воспользовался он сим насильно захваченным княжением, и получил силою из онаго множество рекрут. А не удовольствуясь сим, на вербовал он великое множество людей и в самой Польше; также запаса нужными лошадьми и повсюду заготовленными магазинами. Англия, отказав ему во флоте, снабдила его довольным числом денег и обещала помогать по-прежнему ганноверанскими войсками. Одним словом, не преминул и король учинить все нужные к новой кампании приуготовления и приготовить себя к мужественному отражению толь многих, окружающих его со всех сторон неприятелей.

В сих-то приуготовлениях со всех сторон к продолжению войны прошла вся тогдашняя зима. Мы же между тем жили в Кёнигсберге в покое и тишине, и не столько о том, сколько о своих увеселениях помышляли. Однако, несмотря на то, сколь много мы ими ни занимались, не отставал я и от прежних своих упражнений, но все праздное и от канцелярских переводов остающееся время употреблял на непрерывное чтение книг. Я окладен ими был всегда в своем уголке или окошке, и никто не находил меня никогда сидевшим праздно или, по пословице говоря, бьющим табалу и ходящим без дела в канцелярии. Я прочел в сие время неведомо сколько романов, познакомился со всеми лучшими из оных, и они мне так полюбились, что я для временной перемены в моих упражнениях вздумал один из них даже перевести на язык русский. Чтоб не утрудить себя слишком и не заняться надолго сим переводом, то избрал я к тому один небольшой и более прочих мне любившийся романец, и трудился над переводом сим с такою прилежностью, что в несколько недель оный совсем кончил. Это была первая почти книга, которую перевел я с начала до конца, и удовольствие, чувствуемое от того, было так велико, что я тотчас, переписав его с особливою прилежностью набело, и велел переплести его в три бандаж в хороший переплет. Книги сии и поныне хранятся у меня в целости и служат памятником тогдашняго моего трудолюбия. Однако,

судьбе не угодно было, чтоб перевод сей был напечатан, ибо тогда о напечатании онаго и помышлять было не можно, поелику все книги печатали тогда у нас только в одной Академии и на казенный кошт. А после, как завелись другие типографии и когда было можно, то вдруг вышла книга сия из печати, переведенная уже другим, – и так мой перевод и остался: чем я, однако, после был и доволен, ибо он был первоуценка и не таков хорош, чтоб стоил тиснения.

В таковых-то упражнении и обстоятельствах застала меня весна сего года. При наступлении оной потревожил было меня полковник нашего полку требованием своим в полк; ибо как армия стала собираться к выступанию в поход и всем полкам велено было собрать своих отлучных, то не позабыл полковник наш и обо мне и представил по команде о том, чтоб я был истребован из Кёнигсберга, а командующие генералы и не преминули писать о том к нашему генералу.

Нельзя довольно изобразить, как смутило меня сие требование. Сердце во мне вострепело и вся кровь моя взволновалась, как принес ко мне секретарь наш сию бумагу и, подавая мне, сказал: «Посмотри-ка, брат, что об тебе пишут! Хотят, чтоб ты в поход шел... Ну, собирайся!» С дрожщими руками принял я от него сию проклятую бумагу и глаза мои почти отреклись служить мне при чтении оной. Они остолбенели, и я не понимал ни одного слова из читаемого, как смутила меня сия неожиданность. Но я не вышел еще из перваго моего смущения и не успел всего прочесть, как секретарь, выхватя у меня опять из рук бумагу и не сказав более ни одного слова, помчал ее в судейскую, оставив меня с разстроенными впрах мыслями и в таком состоянии, которое я никак изобразить не могу.

Пуще всего озабочивало меня то, что у меня тогда ни лошадей и ничего другого в готовности к походу не было. Я так уверен был о неподвижности своей с места, что, распродавши лошадей и имея стол готовый у губернатора, всего меньше помышлял о походе и о запасении себя нужною походною провизией. Все сие надлежало тогда вдруг доставать и заготовлять, а что всего досаднее, то и поспешать тем неукоснительно, ибо требовано было, чтоб я отпущен был в самой скорости. Сверх того, признаться надобно, что пребывание мое в Кёнигсберге сделалось уже мне столь весело и приятно, что мне и гораздо уже не хотелось с сим городом разстаться и трудную и скучную походную жизнь променять на тутошную спокойную и приятную.

Мне не взмилились тогда все мои книги и любимые до того упражнения. Я ходил весь тот день, повеся голову и как опущенный в воду, не знал, что со мною будет из помянутых слов секретаря и ушества его. Не сказав мне ничего дальнейшего, не знал я, что заключать и вправду ли он говорил, чтоб я собирался в поход, или шутил. Вид его, с которым он произнес сии слова, хотя и льстил меня некоторою надеждой, однако я не смел на то полагаться. Со всем тем смущение мое было так велико, что я не имел во весь тот день столько духа, чтоб спросить его о себе подлиннее и истребовать дальнейшего объяснения. К усугублению смущения моего, не только он не начинал сам о том говорить далее, а весь тот день ходил нахмурившись и столь сердитым, что никто не отваживался с ним начинать слов, но и никто другой не начинал о том со мною говорить, власно как не ведая, что меня в армию требуют. Всему тому не мог я довольно надивиться и, не зная, что заключать, положил и сам соображаться с их молчанием и ожидать дальнейшего.

Но, по счастью, неизвестность сия продолжилась недолго. Не успел я, препроводив весьма беспокойную ночь, приттить поутру на другой день в канцелярию, как один из подьячих наших, подступив ко мне, сказал: «Кабы дали, барин, что-нибудь на вино, так я бы вам что-нибудь показал по секрету». – «Очень хорошо! – сказал я вынимая несколько мелких денег из кармана, – деньги вот готовы, а показывай только, и чем приятнее будет, тем и денег больше». – «Посмотрим!» – сказал он и побежал от меня. Я не знал, чтоб это значило, а догадывался только, что, конечно, что-нибудь касающееся до меня, и догадка моя была справедлива. Копиист мой, погода немного, вышел опять и, моргнув, дал мне знать, чтоб я вышел за ним в сени. Тут, отведя меня в сокровеннейший уголок, вытащил он из-за пазухи бумагу и, подавая мне, сказал: «Читайте, сударь, скорее, мне не велено от Тимофея Ивановича никому этого показывать, а особливо вам». Я удивился, сие услышав, но удивление мое сделалось еще больше, когда я, пробежав вскользь ее моими глазами, увидел, что было это ответное писание нашего генерала обо мне в армию. В нем упоминалось, что как во мне обстоит необходимая надобность, то отпустить меня никак не можно, а что представлено будет в Петербург, чтоб присланы были переводчики; и когда пришлются, то в то время и я в полк отпущен буду.

Как некая гора с плеч у меня тогда свалилась, когда я прочел сию бумагу. Я легко мог усмотреть, что мне не было более причины опасаться

скорого отправления в армию, и, обрадуясь тому до чрезвычайности, дал целую полтину на вино моему подьячему – так рад я был сему общенному мне известию! Однако он просил меня никому о том не сказывать, да и притворяться, будто я о том ничего не знаю. Я обещал ему сие охотно сделать и внутренне хохотал, как секретарь наш, в тот же день ко мне пришел и, давая мне нечто переводить, опять начал меня подтуривать и власно, как страх нагоняя и улыбаячись, говорить: для чего ж я не собираюсь и не готовлюсь ехать? Я принял тогда принужденной печальный вид и, жалким образом ему ответствуя, сказал: «Что ж делать, когда не можно чего переменить, так, знать, тому так уже и быть. Если б захотели, то могли б и покинуть, а когда вам то надобно, так я и поеду». – «Нельзя! – подхватил он. – Ведь ты видел, как строго требуют. Однако переведите-ка вот это, еще успеешь собраться!» Сказав сие, пошел он от меня прочь, не сказав опять ничего решительного. Однако у меня на сердце было уже гораздо легче. «Добро, – говорил я сам себе, – теперь ты меня уже не проведешь и не обманешь. Я готов давать над собою тебе шутить, только посылайка скорее то, что обо мне написано!» Он и действительно промучил меня более недели, все протуривая всякой день ехать и паки всякой день останавливая переводами, и не прежде мне объявил, как, уставши уже, по мнению своему, меня мучить. Тогда, будто ничего не зная, благодарил я его за одолжение и приписывал все единому его хотению, а сие было ему всего и милее.

Сим образом помог мне сей человек и в другой раз; а по его же благосклонности не слишком поспешаемо было требованием и из Петербурга переводчиков. Сие учинить заставляла их самая необходимость; ибо как на всегдашнее удержание меня при себе не могли сами на себя совершенно надеяться, то для всякаго нужнаго случая учинено было действительно помянутое требование, но в пользу мою расположено так, что никак не можно было ожидать, чтоб учинено было по оному скорое исполнение и требуемые переводчики к нам были присланы.

Со всем тем происшествие сие не могло у меня долго из головы вытти. Несмотря на отказ, учиненный генералом, и на все уверения наших секретарей, все-таки я еще опасался, чтоб не переменялись каким-нибудь случаем обстоятельства и чтоб меня в армию не турнули; и не прежде успокоился совершенно, как по выступлении армии в поход и по удалении за границы прусския в Польшу.

Но письмо мое уже велико и мне время его кончить; чего ради, прерывая свою речь, поспешу вам сказать то же, а именно, что я есмь ваш и прочая.

УВЕСЕЛИТЕЛЬНЫЕ САДЫ

Письмо 72-е

Любезный приятель!

Таким образом избавившись опять, без всякого моего домогательства, а случайно, от похода и удостоверившись еще более в неподвижности с одного места и в должайшем пребывании в Кёнигсберге, начал я продолжать прежний род жизни и не только упражняться во всем том же, но присовокупил к ним и некоторые другие упражнения. Не успела пройти зима и с нею миновать длинные вечера, толико способные для чтения книг, как вместе с наступившею весною переменились во многом и наши веселости, забавы и упражнения. Бывшие в продолжение зимы у генерала нашего балы и танцы хотя и не совсем пресекались, но были уже гораздо реже и малолюднее. Большая часть дворянства прусскаго разъехалась по деревням, а мало также было уже и приезжих из армии. Все они отъехали к своим местам и ушли в поход, а все сие и уменьшило наши зимняя веселости и ограничило их так, что балы и собрания были у генерала уже очень редко, а когда и случались, то состояли наиболее из лучших его друзей и знакомцев. Недостаток сей хотя и награждаем им был частейшими выездами и в дома знаменитейших прусских дворян, оставшихся в городе, а особливо к любимице своей графине Кайзерлингше, и гуляниями с ними по садам и другим увеселительным местам. Но как забавы и увеселения сии были более приватные, нежели публичные, то мы не могли в них брать соучастия, а принуждены были довольствоваться одними торжественными праздниками, из которых генерал наш не пропускал ни одного, чтоб не сделать у себя торжественного пира, а потом чтоб не дать бала.

Но как праздники сии были редки, мы же к танцам и увеселениям сего рода не так мало привыкли, чтоб могли они нас удовлетворить, то старались мы недостаток сей заменить отыскиванием городских свадеб и танцованием на оных; но как наконец и сии по причине летнего време-

ни сделались редки, то принуждены были и мы брать прибежище свое к гуляниям в садах и к препровождению в них с удовольствием тех часов, которые нам от дел оставались праздными.

По счастью, находилось тогда в Кёнигсберге множество таких садов, в которых ходить и там с удовольствием время свое препровождать было нам невозбранно. Они разбросаны были по всему городу, принадлежали приватным людям; были хотя не слишком велики и не пышные, однако иные из них довольно изрядные и содержимые в порядке. Хозяева оных для получения с них ежегодного некоторого дохода отдают их внаймы людям, питающимся содержанием трактиров, и сии, держа таковыя трактиры в домиках, посреди садов сих находящихся, приманивают ими людей для посещения оных, почему и бывают они в летнее время всегда наполнены множеством всякого рода людей. Ходят в них купцы, ходят хорошие мещане, ходят студенты, а иногда и мастеровые. Словом, вход в них, кроме самой подлости¹, никому не возбранен, и всякий имеет свободу в них сидеть, или гулять, или забавляться разными играми, как, например, в карты, в кегли, фортунку² и в прочем тому подобном. Единое только наблюдается строго, чтоб всегда господствовало тут благочиние, тишина и всякая благопристойность, почему и не услышишь тут никогда ни шума, ни крика и никаких других вздоров; но все посещающие сии сады, разделясь по партиям, либо сидят где-нибудь в кучке, либо гуляют себе по аллеям и дорожкам, либо забавляются какою-нибудь игрою и провождают время свое в удовольствии и в смехах. Никакая партия другой не мешает, и никому нет ни до кого нужды, но все только стараются друг другу оказывать всякую вежливость и учтивость. Приятно было поистине видеть и находить, инде небольшую кучку пожилых людей, сидящих где-нибудь в беседке тихо и смиренно и разыгрывающих себе свой ломбер; других же – инде на лавочках, под ветвями дерев тенистых, пьющих принесенныя им порции кофея, чая или шоколада или сидящих с трубкою во рту и со стаканами хорошаго пива пред собою и упражняющихся в важных и степенных разговорах. Пиво употребляют они для запивания своего табаку, а прекрасные сухари, испеченные из пеклеванного хлеба, для заедания онаго. Что касается до молодых, то сии занимаются более игрою в кегли или так называемый лагенбан³, играя хоть в деньги, но без всякого

¹ В смысле «подлые люди» – холопы, крепостные.

² Азартная лотерейная игра.

³ Кегельбан.

шума, крика и в самые малые деньги, и отнюдь не для выигрыша, а для единственного препровождения времени. Инде же найдешь их упражняющихся в игрании в фортунку или в самом доме в биллиард; а если кому похочется чего-нибудь есть, то и тот может заказать себе что-нибудь сварить или изжарить из съестного, также подать себе рюмку водки, ликера или вина, какое есть тут в доме. Более сего ничего тут не продается, а что и есть, так и то все так хорошо, так дешево и так укромно, что всякий выходит с удовольствием оттуда.

Мне долго неизвестны были сады и гульбища сего рода, и познакомил меня с ними не кто иной, как тот же товарищ мой немец, г. Пикарт, которому я так много за книги и за свадьбы был обязан. Он, согласясь вместе с товарищем своим, повел меня однажды в них, и они мне так полюбились, что я с того времени в каждое почти воскресенье, в которыя дни было нам свободнее прочих, хаживал в таковыя сады пить после обеда свой чай или кофей и препровождать все достальное время либо в играх в кегли и фортуну, либо в гулянье, а нередко делали и они оба мне компанию и игрывали со мною там в ломбер. И могу сказать, что таковыя гулянья мне никогда не наскучивали, но всякий раз возвращался я из них на квартиру с особливым удовольствием. В особливости же нравилось мне тихое, кроткое и безмятежное обхождение всех, бываемых в оных, и вежливость, оказываемая всеми. Правда, сперва все господа пруссаки меня как российского офицера дичились и убегали, но как скоро начинал я с ними говорить ласково по-немецки, то они, почитая меня природным немцем, тотчас делались совсем иными и отменно ласковыми. Они с охотою общали меня к своим компаниям и нередко входили со мною в разсуждения и даже самые политические разговоры. И как я охотно давал им волю обманываться и почитать себя немцем, а иногда с умысла подлаживая им в их мнениях, тем еще больше утверждал их в сем заблуждении, то нередко случалось, что я через самое то узнавал от них многое такое, чего бы инако не можно было узнать и проведать, а особливо из относящихся до тогдашних военных происшествий. О сих были они так сведущи, что я не мог довольно надивиться; а каким образом могли они так скоро и обстоятельно узнавать все новости, то было для меня совсем уж непонятно, ибо нередко слышал я от них о иных вещах недели за две или за три до того, как писано было в газетах.

Кроме сего, нередко прогуливался я и по улицам и другим лучшим местам в городе, а особливо по земляным валам, окружающим форштаты, которые служили общим гульбищем для жителей кёнигсбергских. Всякое воскресенье после обеда наполнены они были несколькими тысячами гуляющего по ним обоего пола народа, и все наилучшим гулянием почитали сие место. Оно и действительно было таково, ибо с высоты оных можно было простирать в поле свое зрение и с оным встречались во многих местах наипрекраснейшие положения мест, окружающих сию прусскую столицу. Временем же хаживали мы для прогулки и за самый город, а особливо вниз по реке Прегелю. Место тут низменное и в особенности хорошо и удобно для гулянья. Оно изрыто множеством каналов, усаженных аллеями из деревьев, а по главной аллее находятся многие увеселительные домики и трактиры для отдохновения гуляющим.

Но сколько все таковыя гулянья меня ни занимали, однако я не отставал за ними и от моих прочих упражнений, а особливо от книг. Правда, по наступлении весны и лета время было уж не столь способно к чтению, как скучное зимнее, поелико множайшее количество наружных прельщающих предметов отвлекли к себе внимание и мешали чтению; однако я хотя с не таким усилением, но все продолжал упражняться в оном, но читал уже не столько романы, сколько другого сорта книги. Причиною тому было то, что наилучшие романы были уже мною все прочитаны и остались одни оборуши¹ и такия, которых на чтение не хотелось почти тратить времени, а сверх того, попались мне нечаянно обе те книжки господина *Зульцера*, которые писал сей славный немецкий автор о красоте природы. Материя, содержащаяся в них, была для меня совсем новая, но так мне полюбилась, что я совершенно пленился оною. Словом, обе сии маленькие книжки произвели во мне такое действие, которое простерлось на все почти дни живота моего, и были основанием превеликой перемене, сделавшейся потом во всех моих чувствованиях. Они-то первые начали меня спознамливать с чудным устройением всего света и со всеми красотами природы, доставлявшими мне потом толико приятных минут в жизни и служившими поводами к тем бесчисленным непорочным увеселениям, которые потом знатную часть моего благополучия составляли.

¹ Оборуши, оборуши, оборушки, оборушки – остатки.

Не успел я их прочесть, как не только глаза мои власно как растворились и я начал на всю натуру смотреть совсем иными глазами и находить там тысячу приятностей, где до того ни малейших не примечал, но возгорелось во мне пламенное и ненасытное желание читать множайшия книги такого ж сорта и узнавать от часу далее все устройство света. Словом, книжки сии были власно как фитилем, воспалившим гнездившуюся в сердце моем и до того самому мне неизвестную охоту ко всем физическим и другим так называемым естественным наукам. С того момента почти оставлены были мною все романы с покоем, и я стал уже выискивать все такиа, которыя к сим сколько-нибудь имели соотношение; и поелику у немца, снабжающего меня книгами, было таких мало, то не жалел я нимало денег на покупку совсем новых из лавки и доставал везде такиа, где только можно было отыскать. А не успел я к ним несколько попривязаться, как нечувствительно получил вкус и к пиитическим сочинениям, имеющим толь близкое и тесное родство с ними. И как сего рода книг у немца моего было довольно, то пустился я в чтение оных, и сие так меня заохотило, что я нечувствительно получил и сам некоторую склонность к стихотворству и в праздные иногда часы не только упражнялся в сочинении кой-каких стишков, но взял на себя труд для удобнейшаго приискания рифм составить некоторый род пиитического словаря, которая книжка и поныне у меня цела и служит памятником тогдашней моей охоты к поэзии. Со всем тем судьбе, как видно, было не угодно сделать меня стихотворцем. Из всех тогдашних моих трудов не вышло наконец ничего, и я хотя остался любителем стихотворства, но не сделался поэтом и увидел скоро, что натура не одарила меня потребным к тому даром. Словом, трудность составления рифм мне скоро наскучила, а как между тем занялся я другими и важнейшими материями, то и оставил поэзию с покоем.

Впрочем, как выше уже упомянуто, не в одном чтении препровождал я все свое свободное время, но с наступлением весны и полюблением натурических книг возродилась во мне старинная моя охота к рисованию. По причине вышеупомянутых происходивших со мною разных перемен и за неимением свободного времени, не принимался я уже целый почти год за кисти и краски, но как в сие лето дела у нас так уже уменьшились, что времени у меня всякий день оставалось множество праздного, то, оборкавшись¹ уже гораздо в канцелярии и имея особую в ней комнату, вздумал

¹ В смысле – освободившись.

я однажды испытать, не могу ли я иногда между дел в самой канцелярии сколько-нибудь порисоваться! И как небольшой опыт мой удался по желанию и я увидел, что не только никто меня за то не осуждал, но все еще прихаживали смотреть, как я рисую, и, любуясь моими картинками, хвалили мое трудолюбие и прилежность, то мало-помалу перенес я большую часть моих красок и прочей рисовальной сбруи в канцелярию и упражнялся тут в рисовании между дел, как дома. Целый ящик в столе наложен был у меня тут раковинами, стеклами, кистями и прочим, и я занимался ими по несколько часов почти всякий день.

Вместе с сим мало-помалу возобновилась охота моя и к прочим любопытным упражнениям. Имея свободу упражняться вышеупомянутым образом в рисовании, разрисовал я в сие время множество картин для перспективного ящика и привел весь оный в такое совершенство, что все выдавшие его не могли им довольно налюбоваться. Я приносил его несколько раз в канцелярию, и все наши канцелярские расхвалили меня впрах за оный и всегда сматривали в оный с удовольствием. Он и действительно был хорош: препорция онаго была так удачна, а картины столь живо под натуру раскрашены, что в состоянии были обмануть самого нашего плац-майора господина Миллера. Не могу без смеха вспомнить сего приключения. Было то у меня на квартире. Помянутому господину плац-майору случилось некогда зайти ко мне посмотреть моей квартиры, ибо я за несколько времени просил его о перемене оной и доставлении мне лучшей. Ящику моему случилось тогда стоять в спальне моей на окне. Он попался ему первый на глаза.

– Это что такое у вас? – спросил он.

– А вот посмотрите в стеклышко – отвечал я. Майор наклонился и начал смотреть; но как я удивился, как он чрез минуту с великим удивлением закричал:

– Ба, ба, ба! Да где ж эта улица-то и такая хорошия дома? Что ж я по сию пору не видал? Вот квартир-то сколько!

Сказав сие, отскочил он от ящика и устремил с великою жадностию взор свой в окно, думая, действительно, что он видел и увидел настоящую улицу. Покатился я со смеху, увидев, как хорошо он обманулся.

– Тьфу, какая пропасть! – закричал он и начал плевать и ругать мой ящик. – Что это за чорт! Ведь я истинно обманулся и думал, что я вижу настоящую улицу. Возможно ли, какой дурак я был!

Я старался прикрыть его стыд уверением, что не один он, а многие таким же образом обманываются. Однако ему было до чрезвычайности стыдно, и безделка сия сделала то, что получил я потом весьма прекрасную квартиру, ибо он всячески старался уже меня задобрить и тем преклонить, чтоб я сего дела не разславил.

В самое то ж время смастерил я на квартире у себя и другую любопытную и такую штучку, которая заставляла многих нарочно ко мне приходить и собою любоваться. Была то хотя сущая детская игрушка, однако существом своим не недостойная примечания, и тем паче, что составляла второе изобретение мое в жизни, достойное замечено быть. Еще с самого начала пребывания моего в Кёнигсберге полюбились мне в особенности сделанные кой-где в сем городе фонтаны, и как мне мимо одного из них из прежней моей квартиры всякий день ходить случалось, то нередко останавливался я и любовался иногда с полчаса сею непрерывно вверх бьющею и на себе золотой шар поддерживающею водою. Частое видание сего фонтана вложило мне некогда весьма странную мысль, а именно: мне захотелось испытать, не могу ли я выдумать и сделать и для себя хотя небольшой фонтанец, и смастерить такой, который бы можно мне было возить всегда с собою и становить везде, где бы мне ни похотелось. Мысль поистине удивительная и довольно странная. Я смеялся сначала сам сей своей затее и почитал дело сие нескладным и невозможным. Но чего не может произвести охота и склонность к любопытным художествам и искусствам? Чем далее я о сем помышлял, тем менее находил я невозможностей, и наконец удалось мне начертать в мыслях своих план, показавшийся мне совсем удобопроизводимым. Не успел я сего выдумать, как, по природной своей нетерпеливости, восхотелось мне выдумку свою произвести и в самом деле. Обстоятельство, что я находился тогда в таком городе, который наполнен был всякими мастеровыми, могущими сделать все, что б им ни заказать, побуждало меня к тому еще более, но бывшие до сего времени мои недосуги остановили на время произведение сего намерения в действие. Но в сию весну, как получил я более досуга и притом сделался более удостоверенным, что не пойду в поход, то принялся за сие дело и проворил с толикою прилежностью всем производством онаго и принуждением столяров, жестянщиков, оловяничников, шлесарей и маляров скорее то делать, что им от меня было предписано, что недели через две я имел неописанное удовольствие видеть миниатюрный свой фонтан

существующий и производящий действием своим мне более удовольствия, нежели я сколько мог думать и ожидать. Словом, штука или, паче, игрушка сия удалась по желанию и достойна была действительно любопытного смотрения от всякого. Весь сей фонтан со всеми своими принадлежностями вместился в маленьком и раскрашенном ящичке, имевшем в длину и в ширину не более вершков десяти, а вышиною вершков трех. Со всем тем, по вскрытии сего ящичка, поставленного на столике в углу, подле стены и окошка, оказывался в оном прекрасный маленький круглый бассейн, украшенный в середине одною побольше, а вокруг двенадцатью маленькими вызолоченными фигурками, изображающими отчасти дельфинов, отчасти лягушек. Из всех их било тоlikое же число маленьких фонтанчиков, соответствующих большому в середине, котораго биение простиралось вверх более полутора аршина и производило приятный шум и плесканье. Словом, все так было устроено, что с удовольствием можно было смотреть; а что всего лучше, то приведение воды из поставленного на потолке той комнаты ушата было так искусно скрыто, что никому того приметить было не можно. Длинная жестяная и составная из разных, друг в друга входящих, штук трубка доставляла сию воду в фонтан и была так скрыта за стеною, что ее вовсе не видать было. Когда надобно было фонтан собрать, то все штуки сей трубки всовывались друг в друга и потом полагались в тот же ящик, отчего и происходила та удобность, что его всюду возить было можно и он занимал собою очень мало места.

Теперь не могу изобразить, сколь много утешала не только меня, но и всех приходящих ко мне сия игрушка. Все видевшие не могли ею довольно налюбоваться. На главную трубку, находящуюся посреди бассейна, наделано было у меня множество разных наставок, посредством которых можно было заставлявть воду бить разными манерами, как, например: иногда прямою струею вверх, иногда разсыпаться на множество брызгов, наподобие дождя, иногда образом звезды, а иногда образом павлиньего хвоста и так далее. Словом, я производил им множество разных перемен и всем тем и удивлял и забавлял зрителей. Все наши канцелярские не преминули ко мне приттить, как скоро об нем услышали, и превозносили меня до небес похвалами за искусство мое и за выдумку. Сие увеличивало много хорошее их обо мне мнение. Они не преминули рассказывать то другим с похвалою, и сего довольно уже было для меня в награждение за труды, употребленные при делании онаго.

Но сколько удовольствия наносил я сим фонтаном всем меня посещающим, столько браней получал я за него от многих других, проходящих мимо моей квартиры. Но браням сим был уже собственно я сам или, паче, моя дурость и резвость причиною. Между прочими свинцовыми наставками на трубку моего фонтана, которыя по большей части мастерил и делал я сам, догадало меня сделать одну кривую и расположенную так, чтобы вода, в случае лущения фонтана, была не прямо вверх, но дугою в сторону, сквозь отворенное окошко, и, раздробляясь в капли, упала на улицу. В сию наставку пускал я воду тогда, когда случалось кому иттить по улице мимо моей квартиры, и единственно для того, чтоб можно было посмеяться и похохотать его удивлению; ибо не успевал человек поравняться против моего окна, как вдруг орошали его сверху многие капли воды, наподобие дождя. Человек, почувствовав оныя, удивлялся, смотрел на небо и на все стороны, вверх и, не видя ничего, дивился и не понимал, откуда вода взялась. А сие и подавало иногда повод, что иные, пришед в настроение, бранили сами не зная кого и отходили прочь, осыпая меня изрядными благословениями. Но ни над кем шуточки сей я так часто не производил, как над гуляющими иногда по улице, с тафтяными своими зонтиками, женщинами. Не успею, бывало, завидеть таких господ, как спрятавшись за стену, чтоб меня было не видно, отворял я на одну минуту свой фонтан и приноравливал так, чтоб вода упала прямо на их зонтики и производила на них падением капель своих шум. Боже мой, какой поднимался у них тогда шум и крик!

– Ах, Гер Езу! Гер Езу!¹ Дождь, дождь, дождь! – кричали они и бежать начинали, а я надседался со смеха, сидя в комнате за стеною и веселясь их настроением.

Не успел я сию штучку смастерить и через ее спознакомиться с многими мастеровыми, как возобновилась и прежняя моя охота к гокуспокусному, которому научился я еще, стоячи в Эстляндии, и мне захотелось снабдить себя всеми нужными к тому инструментами. В единый миг наделал я множество рисунков и полетел с ними к разным мастеровым. Они и удовольствовались меня, наделав все оныя по моему желанию, и удовольствие мое было превеликое, когда я увидел у себя все оныя по моему желанию и мог сам делать все тогда перенятые штучки и хитрости. Однако

¹ Господи Иисусе.

легко можно заключить, что сим искусством не имел я причины ни перед кем величаться, но довольствовался только сам для себя, и упоминаю о сем только для того, чтоб тем доказать, в каких делах я около сего времени упражнялся и какую склонность уже и тогда имел ко всяким хитростям и искусствам.

Но сего довольно будет до сего раза. Письмо мое довольно уже велико и получило обыкновенные свои пределы, чего ради, предоставляя повествование о дальнейших со мною происшествиях будущим письмам, теперешнее окончу новым уверением вас о неперменности моей к вам дружбы, и что я навсегда есмь ваш и прочая.

Конец
шестой части



ЧАСТЬ VII

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ МОЕЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ И ПРЕБЫВАНИЯ МОЕГО В КЁНИГСБЕРГЕ

1759–1760

В КЁНИГСБЕРГЕ

Письмо 73-е

Любезный приятель!

Как в последнем моем к вам письме остановился я на рассказывании вам того, чем занимался я, живучи в Кёнигсберге после бывшей со мной тревоги по случаю требования меня к полку, то, продолжая теперь повествование мое далее, скажу, что между тем как я, помянутым образом живучи в покое, упражнялся в деле, а не менее того и в сущих, хотя весьма позволительных, безделках и дни мои протекали в мире и в тишине и всякий почти день в новых удовольствиях, – армия наша находилась в полном походе. Прежний предводитель оной, генерал Фермор, не успел возвратиться из Петербурга и дожидаться весны, как с наступлением оной, собрав все разставленные по кантонир-квартирам и вновь укомплектованные войска в окрестностях Торуня, отправился с ними в поход опять в сторону к Шлезии через Польшу. Город Познань назначен был опять генеральным сборным местом, и тут собралась вся армия довольно еще благовременно. Однако далее сего места он с нею не пошел, а дожидался назначенного на место себя другого предводителя.

К сему, против чаяния всех, избран был императрицею генерал-аншеф граф *Салтыков* Петр Семенович. Все удивлялись, услышав о сем новом командире, и тем паче, что он, командуя до сего украинскими ландмилици-

кими полками, никому почти был не известен и не было о нем никаких выгодных и громких слухов. Самые те, которых случай допускал его лично знать, не могли о нем ничего иного расспрашивающим рассказывать, кроме того, что он был хотя весьма добрый человек, но старичок простенький, никаких дальних сведений и достоинств не имеющий и никаким знаменитым делом себя еще не отличивший.

Мы увидели его прежде, нежели армия, ибо ему ехать туда через Кёнигсберг надлежало. Нельзя изобразить, с каким любопытством мы его дожидались и с какими особыми чувствами смотрели на него, расхаживающего пешком по нашему городу. Старичок седенький, маленький, простенький, в белом ландмилицком кафтане, без всяких дальних украшений и без всех пышностей, ходил он по улицам и не имел за собою более двух или трех человек впоследствии¹. Привыкнувшим к пышностям и великолепиям в командирах, чудно нам сие и удивительно казалось, и мы не понимали, как такому простенькому и по всему видимому ничего не значащему старичку можно было быть главным командиром толь великой армии, какова была наша, и предводительствовать ею против такого короля, который удивлял всю Европу своим мужеством, храбростию, проворством и знанием военного искусства. Он казался нам сущю курочкою, и никто не только надеждою ласкаться, но и мыслить того не отваживался, чтоб мог он учинить что-нибудь важное, столь мало обещивал нам его наружный вид и все его поступки. Генерал наш хотел было по обыкновению своему угостить его великолепным пиром, но он именно востребовал, чтоб ничего особливаго для его предпринимаемо не было, и хотел доволен быть наипростейшим угощением и обедом. А сие и было причиною, что проезд его через наш город был нимало не знаменит и столь не громок, что несмотря хотя он был у нас два дня и исходил пешком почти все улицы, но большая половина города и не знала о том, что он находился в стенах онаго. Он и поехал от нас столь же просто, как и приехал, и мы все проводили его хотя с усердным желанием, чтоб он счастливее был искуснаго *Фермора*, но с сердцами весьма унылыми и не имеющими никакой надежды, – столь невеликое и невыгодное мнение мы об нем имели.

По отбытии сего новаго начальника принялись мы за свои прежния дела и упражнения: генерал – за свои разъезды по гостям и частыя по-

¹ Идущими за ним, в свите.

сещения своей графини Кейзерлингши, канцелярские наши – за свои бумаги, писанья и дела, а я – за свои переводы, чтение, рисование и другие любопытные дела и упражнения. Охота к ним увеличивалась во мне со дня на день, а особливо с того времени, как случилось мне однажды побывать в доме у одного старичка, пруссака отставного полковника, великаго охотника до наук и до всяких рукоделий и художеств. Тут-то в первый еще раз случилось мне видеть, как живут сего рода люди и каково у них в домах бывает чисто и прибористо. Старичка сего удавалось мне видеть уже давно, и я не один раз встречался с ним на улице, ибо он жила в одной со мною улице и нередко хаживал мимо моих окон. Но мне и на ум никогда не приходило, чтоб был он столь великим любителем наук и художеств, как узнал я после, а дивился я только всякий раз его странному одеянию и походке. При всей старости своей был он всегда так чопорен и свеж, как бы лет в сорок, и какая бы погода ни была, но всегда видал я его в шляпе, всегда напудренным, в странном паричке, и всегда в старинном прусском мундире с долгими и ситами набитыми¹ широкими полами, из которых одну носил он всегда приподнятую левою рукою и приложенною плоскостию своею к животу. Самым сим странным обыкновением своим и отличался он от всех прочих людей и делался приметным, и как никто не знал и сказать мне не мог, для чего б он полою своею всегда живот прикрывал, то и почитал я его каким-нибудь чудачком или сумасшедшим. Однако, побывав у него, мысли свои об нем весьма переменил и инако стал думать.

Случилось сие ненарочным образом. Однажды повстречался я с ним не один, а идучи вместе с помянутым господином Орловым, графом Шверинным и еще одним нашим поручиком, человеком богатым и также весьма любопытным и великим охотником до наук, называющимся Федором Богдановичем *Пассеком*. Господам сим был он более знаком, нежели мне, а особливо графу Шверину. Сей последний не успел его завидеть, как, протягивая ему руку, возопил:

– Ах, господин полковник! Милая, любезная старина! Все ли вы находитесь еще в добром здоровье? Так давно уже об вас не слышать, – продолжал он, пожимая ему руку. – Все ли вы еще живы? Все ли по-прежнему упражняетесь в своих хитростях и искусствах? В добром ли здоровье все ваши машины и инструменты?

¹ Сит, куга – растение, идет на плетенье: подкладывалось в полы мундиров, чтобы полы торчали.

Старичок усмехнулся на сие, пожал дружески графу руку и сказал:

– В добром, в добром, господин граф! И все к вашим услугам.

– О, когда так, – подхватил граф, – то не можно ли опять сделать мне удовольствие и показать ваши упражнения? У нас есть, сударь, люди, – продолжал граф, – которые охотно хотели б оныя видеть.

Сими словами целил он на товарищей своих, Орлова и Пассека. Сему последнему в особливости сего хотелось, и он давал ему взорами знать, чтоб убедил он старика учинить сие тогда же и показать нам все свои хитрости, а графу не великаго труда стоило преклонить к тому престарелого артиста. Старик хотя и поупорствовал несколько, извиняясь недосугами своими, а отчасти говоря, что и все нынешние его упражнения не так важны, чтоб стоило их смотреть, но, по просьбе графа, принужден он был на то согласиться и повестъ нас к себе в дом в ту ж самую минуту.

По приведении к оному хотел было он нас ввести в нижние свои жилища комнаты и наперед чем-нибудь угостить, но граф и товарищи его не восхотели того и говорили, что не за тем к нему пришли, чтоб его озабочивать угощением, а хотят, чтоб вел их прямо в свою рабочую и мастерскую комнату, и тогда почти нехотя принужден был наш старик лезть вверх по крутой лестнице и просил нас последовать за ним. Тут нашли мы превеликую комнату, заставленную и загомощенную¹ всю множеством всякого рода машин, орудий и инструментов. Не было почти нигде праздного места, и мы с трудом могли протесниться к маленькому столику, стоявшему подле окна и самому тому, за которым он более сиживал и в делах своих упражнялся. Он начал тотчас суетиться и, приискивая последния свои работы, показывать гостям, а я между тем имел несколько минут свободного времени для обозрения его комнаты и всех вещей, в ней находящихся.

Не могу изобразить, с каким ненасытно любопытным оком перебегал я с одного предмета на другой и с какою жадностью пожирал все своими глазами. Превеликое множество находилось тут таких вещей, каких я еще отроду не видывал и о которых не имел еще никакого понятия. Были тут токарные разных манеров станки, были полировальные машины, было множество разных физических, оптических, математических и механических инструментов и орудий. Была огромная библиотека, множество

¹ Заваленную.

всякого рода зрительных труб, зажигательных зеркалов, микроскопов, глобусов, карт, эстампов, разложенных книг и развешенных по стенам железных пил, долот, резцов и всякого рода рабочих орудий и инструментов. Все сие составляло для меня новое и такое зрелище, котораго я не мог довольно насмотреться; и хотя все сии многочисленные вещи стояли, лежали и висели тут без всякого малейшаго порядка, все были запылены и не в приборе, все разметаны почти кое-как, но я любовался ими более, нежели драгоценными убранствами, и охотно б согласился пробить у него целый день и все перебирать и пересматривать, если б только то было мне можно и когда б только хозяин согласился мне все показывать и обо всем рассказывать подробно. Но, к крайнему моему сожалению, сего-то самого и учинить было не можно. Я составлял самую меньшую и всех маловажнейшую особу из посетителей и потому принужден был довольствоваться тем только, что показывано было моим товарищам, и слышанием того, что хозяин говорил с ними. Со мною же не удалось ему и одного слова промолвить, ибо время было так коротко и поспешание товарищей моих так велико, что ему не удалось и самим им сотою доли из всего того показать, что он имел и что бы мне видеть и узнать хотелось. К вящей же досаде моей, и о самых тех вещах, которыя он успел им показать, говорено было в такую скользь и так коротко, что я ничего почти понять не мог. Сие в состоянии было только любопытство мое возбудить, а нимало не удовольствовать, и я с крайним нехотением пошел вслед за товарищами своими, спешившими тогда иттить в гости, и помышлял уже отстать от них и воротиться к милому и почтенному старичку, чтоб познакомиться с ним короче, но и сие мне не удалось. Старик вышел вслед за нами со двора и замкнул свою комнату, а что мне было досаднее, что сколько ни ласкался я надеждою познакомиться с ним впредь и убедить его просьбою показать мне и растолковать все и как ни надеялся узнать и научиться от него многому, но мне с сего времени не удалось его более и видеть. Ему случилось вскоре после того уехать куда-то к родственникам своим в деревню, и там, как после я услышал, окончил он жизнь свою.

Со всем тем случай сей произвел мне много пользы. Я не только получил о многих незнакомых мне до того вещах некоторое понятие, но снискал чрез то знакомство с помянутым г. Пассеком, бывшим до того мне незнакомым, ибо как они во все обратное свое путешествие безпрестанно

говорили о сем старике, превозносили похвалами его любопытство и трудолюбие и дивились множеству его машин и инструментов, то вмешался и я в их разговор. А при сем случае не успел я изъявить сожаления своего о том, что они недолго у него пробыли и что мне не удалось многого такого видеть, что узнать весьма бы мне хотелось, как самое сие и побудило г. Пассека спознакомиться со мною короче. Сей был из всех их любопытнейшим, и как он таковое ж любопытство приметил и во мне, то сие и побудило его узнать меня покороче, почему и свел он со мною тотчас знакомство и, разставаясь, просил меня приттить когда-нибудь к себе, говоря, что когда я так любопытен, то и он может показать мне что-нибудь достойное моего зрения и любопытства.

Сего я и не преминул чрез несколько дней после того сделать и могу сказать, что посещением сим был крайне доволен. Я нашел у него то, чего всего меньше ожидал. Он был хотя простой поручик в нашей службе, находившийся тогда тут по некакой порученной ему комиссии, но я не знал, что он имел великий достаток, был знаменит родом, знаком между большими господами и употреблял тогда множество денег на доставание драгоценных книг, всяких машин и инструментов. Я нашел у него первых уже нарочитое собрание, а из последних ни которая меня так не удивила и не удовольствовала, как электрическая. У него-то в первый раз отроду случилось мне увидеть сию чудную машину, сделавшуюся потом мне столь много известною, и он-то подал мне об ней первейшее понятие. Нельзя изобразить, с каким любопытством я ее тогда разсматривал и как много удивили меня получаемыя от ней искры и удары, также и другие разные делаемые ею эксперименты. Машина сия была у него хотя староманерная, с малым пузырем и большим колесом для вращения и пред нынешними весьма еще несовершенная и занимавшая собою почти целую комнату, однако стоившая ему немалых денег и производившая очень сильное и хорошее действие. Она мне так полюбилась, что я разславил ее между всеми моими знакомыми, и не проходило почти недели, в которую бы я у него не побывал и не приводил с собою многих других для смотра как оной, так и микроскопов и других физических инструментов, а особливо воздушного насоса, которыя он также имел и с особливым удовольствием нам опыты свои показывал. Но жаль, что пребывание сего человека у нас в Кёнигсберге было недолговременно: он тем же летом от нас отбыл, и я

с того времени его уже не видал. Он был родной брат тому Пассеку, который был после наместником в Смоленске.

Около самого того ж времени спознакомился я и с другим нашим офицером, который служил капитаном, но не в полевых полках, а в артиллерии. Звали его Иваном Тимофеевичем и был он из фамилии господ *Писаревых* и уроженец из самого того Каширского уезда, из котораго и я был, следовательно, был прямой мой земляк и сосед по деревням. Сему человеку случилось по делам несколько раз бывать у нас в канцелярии и со мною кой о чем разговаривать, и как он во мне, а я в нем приметил во многом одинакие склонности и согласие в мыслях, то сие не только познакомило, но и сдружило нас очень скоро. Он полюбил меня отменно, а и я почувствовал к нему не только любовь, но и самое почтение, чего он был и достоин. Он был гораздо меня старше, любил читать книги, почитался степенным и порядочным человеком, приобрел от всех к себе почтение и не любил говорить о безделье, а все о делах и делах хороших и слушания достойных, — а поелику и я не менее любил упражняться в таких же разговорах, то самое сие и связывало нас дружеством, продолжавшимся многие годы сряду. Однако около сего времени было знакомству нашему только первейшее начало, ибо вскоре после того отъехал он в армию.

Что касается до канцелярских моих знакомых, то и к ним прибавилось около сего времени еще двое, ибо как письменныя дела стали час от часу умножаться, по причине, что генералу нашему поручены и все бывшие в Пруссии войска в команду, то нужна была для сего особая воинская экспедиция, а потому для управления оною и определены были два офицера: один поручик *Козлов*, по имени Савва Константинович, мужик толстый, простой, но довольно изрядный и меня скоро полюбивший, а другой подпоручик *Насеткин*, вышедший в офицеры из полковых писарей и составлявший самую приказную строку. Почему с сим человеком имел я только шапочное знакомство, ибо характеры наши были слишком между собою различны; к тому ж и по делам не было у меня с ним никакой связи, да и сидели оба они в других и сеньми от нас отделенных покоях, а сверх того, и не обедывали с нами вместе у генерала, а хаживали на свои квартиры.

Кроме вышеописанных упражнений, имел я в сие лето еще одно особенное. Молодежи нашей восхотелось ко всем обыкновенным увеселениям присовокупить еще одно, а именно — составить российский благородный театр. К сему побудились они наиболее тем, что бывшая у нас зимою

банда комедиантов уехала в иные города, и театральные наши зрелища уже с самой весны пресеклись, и театральный дом стоял пуст. Итак, вздумалось господам нашим испытать составить из самих себя некоторый род театра. Первейшими заводчиками к тому были: помянутый господин *Орлов*, *Зиновьев* и некто из приезжих и тогда тут живший, по фамилии господин *Думашнев*. Не успели они сего дела затеять и назначить для первого опыта одну из наших трагедий, а именно «*Демофонта*»¹, как и стали набирать людей, кому бы вместе с ними представлять оную. Но сие не так легко можно было учинить, как они сперва думали. Людей надобно было много, а способных к тому находили они мало. Те, которые бы могли согласиться, были не способны, а из способных не всякий хотел отважиться на сие дело и воспринять на себя не только великое бремя, но и самовольно подвергнуться потом критике и суждениям. Мне сделано было предложение от них еще с самого начала и одному из первых, но я сам долго боролся сам с собою и не имел столько духа, чтоб на сие необыкновенное для меня дело отважиться, и не прежде на желание их согласился, как по многой и усиленной от всех их просьбе. Правда, я имел к тому уже некоторое приготовление. Стоячи еще в Эстляндии на зимних квартирах, полюбил я трагедию «*Хорев*»² и не только почти всю наизусть выучил, но и научился порядочно и декламировать речи, и потому дело сие было мне отчасти уже знакомо, а сие много и помогло тому, что я согласился взять на себя одну роль. Со всем тем как мне никогда еще не случалось видеть представлений российских трагедий, то дело сие, а особливо по несмелости и застенчивости моей, казалось мне очень дико, и если б не помогло к тому несколько то, что в минувшую зиму неоднократно случалось мне видеть немецкия трагедии, то едва ль бы я дал себя к тому уговорить.

Коликаго труда стоило им набрать мужчин, толикаго же или несравненно множайшаго требовалось к отысканию способных к тому женщин. Надобны были для трагедии сей две и, к несчастию, обе молодья, а мы из всех бывших в Кёнигсберге русских госпож не могли отыскать ни единой. Наконец с великим трудом уговорена была к тому бригадирша *Розенша*,

¹Трагедия в стихах в 5-ти действиях М.В.Ломоносова. Написана в 1752 г. по заказу. Кроме «Демофонта» Ломоносовым тоже по заказу написана в 1750 г. другая трагедия – «Тамира и Селим».

²Трагедия А.П. Сумарокова, напечатанная в 1757 г. и положившая начало его литературной известности. Успех, выпавший на долю «Хорева», содействовал развитию интереса к театральному искусству.

пребывавшая тогда в Кёнигсберге. Боярыня сия была русская, но уже немолодая, а что всего хуже – дородная и совсем неспособная к представлению любовницы. Но нужда чего не делает. Мы и той уже были рады; но как другой не могли никак отыскать, то решились, чтоб употребить к тому мужчину. К сему избран был один из товарищей наших, а именно упоминаемый мною прежде родственник и товарищ г. Орлова, г. Зиновьев. Молодость, нежность, хороший стан и самая красота лица сего молодого, любви достойного человека побудили всех упросить его взять на себя роль любовницы, и как он на то согласился, то для бригадирши *Розенши* определена была роль наперсницы, чем она была и довольна.

Сим образом, набравши всех потребных к тому людей, принялись мы за дело. Тотчас расписаны и розданы были всем роли, и тотчас все начали их учить и твердить наизусть. Мне досталось нарочито великая, однако я прежде всех вытвердил. Не могу и поныне еще без смеха вспомнить, как много занимала меня сия роль и с каким рвением и тщанием я ей учился. Не однажды бывало, что я, запершись один в своей квартире, прокрикивал по нескольку часов сряду, ходючи взад и вперед по своей комнате; не однажды случалось, что и в самую ночь, вместо спанья, протверживал я выученное и старался тверже и тверже впечатлеть все в память. Когда же я дело свое кончил и всю свою роль выучил, то чувствуемое мною удовольствие я уже никак изобразить не могу. Я возмечтал о себе неведомо что и начинал уже сам турить¹ товарищей своих, чтоб они скорее роли свои вытверживали; ибо как о себе я уже нимало не сомневался, но надеялся твердо, что я роль свою сыграю хорошо, то пылал я уже нетерпеливостию, чтоб начатое нами дело скорее совершилось. Однако не то вышло, что мы думали и чего ожидали. Обстоятельствам вздумалось вдруг перемениться: произошли некоторые несогласия между соучастниками в сем предприятии, и вся наша пышная и великолепная затея, как мыльный пузырь, лопнула и так рано, что многие еще и половины своих ролей не успели вытвердить. Не могу изобразить, с каким чувствительным огорчением узнал я о сем нечаянном всего нашего дела разрушении. Я получил известие о том от г. Орлова.

– Знаешь ль, Болотенко, мой друг, какое горе? – сказал он мне, пришедши одним утром к нам и меня обнимая. – Ведь делу-то нашему не бы-
вать, и оно разрушилось!

¹ Побуждать, подталкивать.

– И! Что ты говоришь? – воскликнул я, поразившись. – Возможно ли?

– Точно так, – продолжал он, – и ты, мой друг, уже более не трудись и роли своей не тверди.

– Вот хорошо! – возопил я. – Роли своей не учи; да она у меня уже давно выучена, и поэтому все труды и старания мои были напрасны. Спасибо!

– Ну, что делать, голубчик! Так уже и быть, я сам о том горюю, у меня и у самого было много выучено; но что делать, произошли обстоятельства, и обстоятельства такие, что нам теперь и помышлять о том более уже не можно.

– Но какая же такая? – спросил я.

– Ну, какая бы то ни было, – сказал он, – мне сказать тебе того не можно, а довольно, что дело кончилось и ему не бывать никогда.

Сказав сие, побежал он от меня как молния, что так я остался в превеликом изумлении и на него досаде. Со всем тем он был в разсуждении сего пункта так скромн, что я и после сколько ни старался, но не мог никак узнать ни от него, ни от других о истинной тому причине. Все прочия отговаривались, что сами не знают, а он знал, а говорил только всем, что ему сказать не можно, почему и остался я в совершенном неведении, что собственно разрушило сие предприятие, и не знаю того даже и поныне.

Вскоре после сего случилось мне, вместе с ними же и с помянутою госпожою бригадиршею Розеншею, быть в кёнигсбергской жидовской синагоге, или сонмище, и видеть их богослужение. Зрелище сие было для меня новое и никогда еще до сего времени не виданное, и я смотрел оное с особливим любопытством и вниманием.

Знатность бригадирши Розенши и графа Шверина была причиною тому, что не воспрепятствовано было нам войтить в сей дом молитвы в самое то время, когда отправлялось у них богослужение и все сие здание наполнено было множеством народа. Было сие во время самой Петровской ярмонки и тогда, когда весь город наполнен был многими сотнями жидов польских. Синагога была каменная, нарочитого пространства и могла помещать в себе множество людей. Мы нашли ее уже всю наполненную народом, но не отправляющим еще свое служение, и как мне в сей раз удалось видеть оное с самого начала до конца, то и могу я описать оное, так и самую синагогу в подробности.

Здание сие составляло порядочный продолговатый четвероугольник и снаружи украшено было немногими архитектурными украшениями, но без всякого сверху купола или какого возвышения сверх кровли; внутри же не имело ни малейшаго украшения. Все встретившееся с зрением нашим при входе состояло в едином только возвышенном, аршина на полтора от полу, осьмиугольном амбоне, сделанном посреди сего дома и огороженном сверху низеньким парапетцем. Весь сей амбон не имел более четырех аршин в диаметре и для всхода на него снабден с боков двумя лесенками по ступеням. По обоим сторонам сего амбона были сплошные лавки для сидения, такая точно, какия делаются в церквах лютеранских, но с тою только разностию, что стенки, преграждающие оныя, были выше и такой пропорции, чтоб стоящему в лавках человеку можно было об них облокотиться. Сими лавками заграждено было все внутреннее пространство сего здания, и проход оставлен был только в середине, шириною аршина на три. Также было несколько просторного места и впереди, где в прочих церквах делается обыкновенно алтарь, но в жидовских синагогах тут ничего не было похожего на алтарь или на престол, и сие потому, что синагога их не есть собственно их церковь или храм, котораго они нигде не имеют, а единственно только род дома, назначеннаго для сходбища евреев, для воспевания хвалебных песней и псалмов Богу и для поучения себя чтением священнаго писания. Почему и сделан у них в передней стене, между окон, некоторый род небольшого внутри стены шкапа или ниша, завешенного небольшою занавескою, и тут хранятся у них книги их священнаго писания ветхаго завета, написанныя, по древнему обыкновению, на пергаментных свитках. В сих двух или трех вещах, то есть амбоне, лавках и шкапе, состояли все внутренние украшения синагоги их, а четвертую вещь составляли просторные хоры, сделанные у задней стены при входе, сокрытыя со стороны от синагоги столь частою решеткою, что не можно было никак всех стоящих на хорах видеть. Хоры сии, составляющие совсем особое отделение и не имеющие со внутренностию синагоги никакого сообщения, назначены у них для женщин, и как сии не должны у них никогда входить туда, где стоят и сидят мужчины, то и вход на хоры сии сделан особый и не снутри, а снаружи здания.

Мы нашли все помянутыя лавки наполненыя сидящими людьми, из которых иные были с отверстыми главами, а другие имели их покрытыми некоего рода шелковыми разноцветными фатами или покрывалами. Все

сидели с крайним благоговением и кротостию, и не было во всем сонмище ни малейшаго шума и крика. Нас провели и поставили посредине подле самага помянутаго амбона, и тут произошло у нас нечто смешное. Помянутая бывшая с нами бригадирша Розенша, не зная, не ведая, на что у них сделан был помянутый амбон, а считая оный не чем иным, как местом для знатных особ, следовательно, и для стояния и себе приличнейшим и спокойнейшим, будучи столь неблагоразумна, что и, не спросив никого, вздумала вдруг взойти на оный и занять себе место. Боже мой! Какой сделался в самую ту минуту во всей синагоге шум, ворчанье, ропот и негодование! Все обратили на нее глаза свои, и многие поскакали даже с мест своих и не знали, что делать. Для их и то уже было крайне прискорбно и неприятно, что одна женщина дерзнула войти в их сонмище. Они и на то смотрели уже косыми глазами, но по знатности ее не смели воспрекословить; но, увидев ее взошедшею на место, которое почитали они священнейшим, пришли в крайнее смущение и беспокойство. Несколько человек, и как думать надобно, из их старейшин, без памяти почти подбежали к нам, стоящим на полу подле амбона, и наижалобнейшим и униженнейшим образом, кланяясь и указывая на бригадиршу, просили нас уговорить ее сойти долой.

– Ах, царские же, царские добродееи! – говорили они нам, прижимая к сердцам свои руки. – Ах, это не треба, это не треба!

Но мы не допустили их долго беспокоиться и шепнули госпоже бригадирше, чтоб изволила она сойти вниз, но она и сама, приметив волнение, произведенное ею во всем сорище, была столь благоразумна, что сошла тотчас вниз и вежливым образом просила себя извинить в том, предлагая свое незнание, и сие успокоило тотчас все собрание.

Вскоре после сего началось у них богомолие. Оно состоялось в пении псалмов всем собранием на еврейском языке. Но тут не только госпожа бригадирша, но чуть было и все мы не наделали крайнего дурачества. Всем нас превеличайшаго труда стоило, чтоб удержать себя от смеха и от того, чтоб не захохотать во все горло: так смешно показалось нам их богомолье. Оно и подлинно имело в себе, а особливо для нас, не привыкших подобное видеть, много чрезвычайнаго и смешнаго. Не успел главный их раввин затянуть пение своего псалма, как все сидевшие в лавках поскакали с своих мест и, покрывшись своими покрывалами, сделались власно как сумасшедшими: они топали ногами, махали руками, кривяясь всем

телом качали головами и в самое то ж время произносили такая странная визги, вопли и крики, что мы принуждены были почти зажать свои уши, чтоб избавить слух свой от такой странной и необыкновенной музыки. Одним словом, шум, крик и вопль сделался во всей синагоге столь превеликим, и кривлянье всех было столь странно и смешно, что некоторые из нас действительно не могли никак удержаться от смеха; да и для прочих зрелище сие было крайне поразительно, и мы не перестали тому дивиться до тех пор, пока не растолковали нам, что по еврейскому закону долженствует Бога хвалить не только устами своими, но и всеми членами и что видимое нами кривляние и стучание ногами есть производство сей священной должности.

Сие успокоило нас несколько и принудило спокойно дожидаться конца сего крайне нескладного и противного для слуха пения. После сего увидели мы, что делано было приуготовление к некакой процессии или ходу. Несколько человек, вышедши из своих лавок, построились с благоговением рядом пред помянутым шкафом. Мы с любопытством смотрели, что будет, и увидели потом старшего раввина, подошедшего с почтением к шкапу, отдернувшего занавеску и с превеликим благоговением вынимающего оттуда свитки священного писания, написанные на пергаменте и обернутые в дорогие штофы¹. Он возлагал оные на головы подходящих к нему помянутых людей и принимающих оные с великим почтением. Потом, в предшествии его самого, понесли они их один за другим процессиею вокруг всех лавок и внесли потом на помянутый амбон. Тут приготовлен уж был некоторый род низенького столика, покрытого драгоценною материею. На сем развертывали они один свиток за другим и по несколько времени читали в каждом из них писание во все горло и торкая² пергамент странным образом превеликими раззолоченными указками, точно такими, какия употребляются в наших простых школах учащимися грамоте ребятишками, но только несравненно величайшими. Сие зрелище было для нас также забавно и увеселяло нас даже до смеха. Но каково ни трудно было нам воздерживаться от смеха, а особливо видя их смешное указывание, однако мы имели столько духа, чтоб дождаться конца сего странного и с превеликим кривляньем, коверканьем, взыванием и вопияньем

¹ Материи.

² Дотрагиваясь, тыкая.

соединенного чтения. По окончании онаго отнесены были сии свитки с такою же церемониею и при всеобщем пении опять назад и положены по-прежнему в шкаф и задернуты занавескою, а тем и кончилось все богомолье, и все стали расходиться по домам, что увидя, вышли и мы из сего жидовскаго сонмища, поблагодарив наперед старейших за доставленное нам удовольствие.

Сим кончилась тогда наша прогулка; и как письмо мое уже велико, то окончу я сим и оное, сказав вам, что я есмь ваш и прочая.

НОВАЯ КВАРТИРА

Письмо 74-е

Любезный приятель!

Продолжая далее мое повествование, скажу теперь, что к достопамятностям сего ж лета принадлежит и то, что я в оное получил себе новую и лучшую квартиру, следовательно перешел уже на четвертую. Правда, не совсем дурна была и та, на которой я стоял, однако, как она была не слишком близко от замка, и ежедневная ходьба в нее мне наскучила, а особливо в дождливое осеннее и зимнее время, сверх того, находясь в глухом переулке, была она и скучновата, а мне, как находившемуся тогда при губернаторе и что-нибудь уже значущему, хотелось иметь квартиру сколько-нибудь уже и получше. Итак, я до тех пор не давал покою нашему плац-майору, покуда он мне не отвел новой и самой той, которая была у меня на примете. В ней стоял до того один наш армейский поручик из фамилии *Челищевыхъ*, а по имени Иван Егорович, самый тот, который после того был в Туле в уголовной палате советником. И как мы с ним были знакомы и приятели, то по самому сему случаю и узнал я сию квартиру и с нетерпеливостию дожидался того времени, как он отправится в армию. Сие воспоследовало в начале сего лета и тогда не медлил я более ни одной минуты, но тотчас на нее перебрался.

С квартирою сею сопряжены были для меня многия выгоды и ни кторою из всех прежних я так доволен не был, как сею последнею, ибо, во-первых, была она всех прежних ближе к замку, и не далее сажен двух сот от онаго; во-вторых, стояла в улице хотя маленькой, но такой, по которой

много было ходьбы и езды, а особенно для гулянья по садам, следовательно, не скучной. Домик был хотя небольшой, но веселенькой и теплый. Весь верхний этаж онаго ассигнован был для меня и хотя и весь оный и состоял только из двух комнат и небольших сенец, однако для меня было сего довольно и предовольно. В одном и просторнейшем из помянутых покойцев расположился я сам и он составлял у меня и спальню и переднюю и все и все, а другой боковой и гораздо теснейший определил я для своего младшего слуги Аврама и для своего багажа: тут был мой сундук и вся прочая рухлядь. Обе сии комнаты были чистехонько прибраны, были беленькие и снабженные довольным количеством столиков и стульев, а более сего мне было и не надобно. Вид из дома и окон моих простирался в одну сторону в маленькой плодоносный садик, принадлежащий к соседственному дому, котораго плодовые деревья верхами своим простирались даже до самых моих окон, и к оным почти прикасались, а в другую – на улицу и чрез оную в прекрасный, регулярный и убранный беседками и партерами сад, принадлежащий к большому каменному дому, находившемуся за улицею почти против моей квартиры. Сей сад в особенности меня увеселял. Он находился в такой близости и в таком положении, что я мог весь его обозревать и видеть всех в нем гуляющих и все в нем происходящее и находившееся. Самые цветы, которыми в множестве усажены были рабатки в партерах, видны мне были до одинаго, а запах от духовитых трав и цветов достигал даже до моих окон, а особенно в вечернее время. Не один раз видал я в оном целые компании провождающих в прогулках свое время, а иногда сидящего в стоячей прямо против окна моего полубеседке и в уединении читающего книгу молодого человека. В иное же время прихаживало туда все семейство того дома и пило чай с гостями своими. В третью сторону, хотя из окон квартиры моей и не было вида, но зато из сенец моих был проход в некоторый род галерейки, приделанной сбоку к моему этажу, и из которой открывалось наиприятнейшее для глаз зрелище. Домик сей стоял на самом почти берегу того большого и вид озера имеющего пруда, который находится посреди сего города и о котором я имел уже случай упоминать. Весь противоположный берег украшен был сплошными и одну почти связь составляющими каменными домами. Все они были о несколько этажей, все раскрашены разными красками, все стояли стенами своими вплоть к воде, так что вода омывала их стены и можно было приезжать на лодочках и шлюпках к самым крыльцам. Словом, по случаю округлости

сего берега, составляли они собою наивеликолепнейший амфитеатр, а особливо в тихую погоду, когда в гладкой поверхности воды все они и в ней изображались превратно власно как, в зеркале. Великое множество окон, которыми сии здания испещрены были, и разноцветные зонтики, которые от многих из них во время солнца откидывались, придавали картине сей еще более пышности и красы. Не один раз выходя сиживал я на сей галерейке и любовался до восхищения сим зрелищем. Не один раз выносил с собою туда столик и по несколько часов тут в тени, под простою кровельскою, сиживал на свежем воздухе и, любуясь красотою места, упражнялся либо в чтении какой-нибудь приятной и полезной книжки, либо в писании чего-нибудь себе в науку и в наставление. Охота к писанию начинала уже тогда во мне возрождаться и я производил первейшие тому опыты. Нередко извлекали меня на сию галерейку приятныя звуки гармонической музыки. Так случилось, что в домах, окружающих сей прекрасный пруд, жило много людей, имеющих охоту к музыке и потому нередко увеселяем был слух мой из иных окон приятным тоном флейтраверсов, из иных валторн, из иных скрипиц и других инструментов, а часто разъезжали и по саму пруду на гребле маленькия суденышки с целыми компаниями людей обоего пола и тем увеселяли еще более зрелище. Нередко утешались они в сих плаваниях своих музыкою или пением приятных песней. Узенький и предлинный мост, сделанный только для перехода пеших через весь пруд и видимый от меня в левой стороне в некотором отдалении и за ним отдаленнейшие берега сего пруда, украшенные множеством прекрасных регулярных садов и беседками разных фигур, построенных на самой почти воде, придавали еще более красоты сему месту. Помянутый мост никогда почти не случалось мне видать порожним, но всегда находилось на нем множество взад и вперед идущаго народа. Иногда собирался он толпами и, облокотясь о перилы, сматривал на сие озеро и красотами онаго, вместе со мною, любовался или утешался приятною музыкою, слышимою из многих домов, по берегам онаго построенных.

При всех сих наружных преимуществах имела квартира моя еще одно особое, но которое для меня всего было приятнее, а именно *хорошаго* хозяина. Он был хотя мастеровой человек, ремеслом *лаешник* и притом весьма посредственного достатка, но я довольнее им был, нежели самым лучшим и богатейшим гражданином сего города. Ни от кого во всем Кёнигсберге и во всю мою в нем бытность я столько добра не видал, как от

сего добродушного старичка, и могу сказать, что я им и всем его семейством был очень доволен. Он имел у себя жену-старушку такую же добренькую и тихонькую, каков был сам. А прочее его семейство составляли два сына и две дочери, все они были взрослые и все добрые, и первые оба помогали отцу в работе, а обе последние – матери, и все вообще наблюдали к родителям своим особое почтение, но сего они были и достойны. Я не мог довольно налюбоваться кротким, добродушным и благонравным характером обоих стариков, и дивился, что нашел посреди Кёнигсберга таких добрых людей. Но удивление мое скоро исчезло, когда я узнал, что старики мои были не природные прусские жители, а уроженцы такой страны, которая наполнена людьми добрыми и честными и которая славится добротой характеров своих жителей, а именно из Швейцарии.

И подлинно, старики сии меня удивили отменно своею ко мне благосклонностью. Не успел я с ними ознакомиться и раза два у них внизу побывать, и с ними кое-что, а особливо о Швейцарии, по-немецки поговорить и препроводить в разговорах с ними часа по два времени, как они меня отменно и так полюбили, как бы я их какой родной был. Они тотчас начали мне делать предложения за предложениями, и предложения такие, которые толико же были для меня приятны, колико неожиданны и удивительны. Наипервейшее состояло в просьбе, чтоб я велел прибрать к стороне и спрятать всю мою походную постелю с наволоками, подушками и одеялами и предоставил бы им иметь о сем попечение, говоря, что я, может быть, их постелью буду доволен. Я удивился такому не свойственному пруссакам благоприятию и, отговариваясь от того из учтивости, говорил, что я им тем навлеку беспокойство и убыток. Однако они сего и слышать не хотели, а требовали неотменно, чтоб я на желание их согласился, уверяя, что они тем не приведут и себя и меня ни в малейший убыток. Словом, как я ни отговаривался, но принужден был на желание их согласиться. И как же много удивился я, нашед на другой же день у себя прекрасную пуховую постелю с чистыми белыми и мягкими подушками и с прекрасным белым занавесом, размытым и раскрахмаленным впрах. Не сыпав очень давно или паче еще никогда на таких мягких постелях, спал я сию ночь, как в раю, и хотя при том и была та неудобность, что я вместо прежнего одеяла принужден был одеваться и спать под другим, тонким и мягким пуховиком, по их обыкновению, однако, к удивлению моему, увидел, что обыкновение сие не так дурно, как я себе сначала воображал, но

я привык к тому не только скоро, но так полюбил, что предпочитал уже наилучшим одеялам. Многим, несывавшим под таковыми пуховиками покажется сие странно и невероятно, но так точно и я сначала думал, но опытность мне доказала совсем тому противное. Мягкость нижняго пуховика и отменная рыхлость верхнего производит то, что спать в постели сей очень спокойно можно и что пуховик верхний греет лучше всех одеял, а тягости не производит ни малейшей.

Правда, сначала я уперся было и не хотел никак ложиться под пуховик, но хотение угодить желанию моих хозяев превозмогло мое отвращение, а тем и угодил я так много моим хозяевам, что они отменное старание прилагали о том, чтоб постеля моя всегда была чиста, бела и опрятна. Каждое воскресенье переменяли они все наволоки и простыни, а в каждый месяц и самый занавес моей постели. Я удивился сему их прилежанию, но удивился еще более, когда узнал, что они все белье свое только два раза в году мывали. Сие было для меня сначала непонятно, но после узнал, что у них запасено такое множество белья всякаго рода, что им нет нужды более двух раз мыть оное в году. Но зато и не допускают они никогда, чтоб какое-нибудь белье у них слишком замаралось. Когда же придет время оное мыть, тогда производят они сие наймом, дружно и упражняются в том уже более двух недель сряду. Сие бывает обыкновенно в начале весны и при конце лета. И тогда целый почти луг устилают они вымытым и белящимся на солнце своим бельем, ибо они не только его моют, но и белят целый день на солнце прыская непрерывно водою. Я удивился, увидев однажды все семейство моего хозяина в том упражняющееся и ужаснулся великому множеству белья, одному их дому принадлежавшему.

Сколь много я сим благоприятием хозяев моих ни был доволен, но последующее вскоре после того другое и новое предложение удивило меня еще более. Добродушные старики мои, увидев, что я никогда дома не обедал, а ввечеру, приходя ночевать домой, довольствовался только самым легким и малым ужином, за которым посылал обыкновенно в ближний трактир, восхотели и от сего труда меня избавить и сказали мне однажды, что они совестятся предложить мне, не могу ли я доволен быть по вечерам их мизерною хлебом-солью, и что они постараются уже о том, чтобы я не был никогда голоден. Меня поразило сие предложение и как мне известно было, что хлеб и соль их не так была мизерна, как они говорили, но они ели хорошо и сытно, то совестился я принять сие предложение, хотя мне

оно было и непротивно, и не прежде на то согласился, как обещав им за все то заплатить, сколько им угодно будет. «Хорошо, хорошо, господин подпоручик! – сказали они мне на сие, усмехнувшись. – Это мы увидим, а будьте только нашею хлебом-солью довольны».

Привыкнув издавна уже к легким и малым ужинам, имел я тем более причины быть их попечением о себе довольным, что с сего времени пользовался я всякий вечер несравненно лучшими ужинами, нежели прежде. Они так меня полюбили, что оставляли для меня наилучшие куски и части своей пищи, и не было вечера, в который бы не было блюдца двух или трех с прекрасным пеклеванным хлебом и приятными кусками ко мне наверх приносимо. Словом, нередко казалось, что они нарочно для меня готовили кушанье и столь хорошее, что я крайне был доволен. Сия благосклонность их простиралась впоследствии даже до того, что как не имели мы более стола у губернатора, то таковым же образом довольствовались они меня не только ужинами, но и самыми обедами, и как не было дня, в который бы я не получал от них блюдца по три и по четыре прекрасно изготовленного и вкусного кушанья, то я не могу довольно изобразить, сколь я много доволен был с сей стороны моими хозяевами, которые сим образом кормили не только меня, но и самого слугу моего.

Наконец дошло до того, что не восхотели они, чтоб я пил и собственный чай свой, но просили меня дозволить и оный присылать ко мне всякое утро. На сие хотя мне и всего совестнее было согласиться, но я принужден был и в том уступить их просьбам и желаниям, и с того времени пивал я по утрам всегда прекрасный чай со сливками, а по воскресеньям и самый кофей.

Вот какия добрые люди случились у меня хозяева; я дивился и не понимал, за что они меня так любили и одолжали, и не оставлял спрашивать их о том несколько раз; но они зажимали мне всегда рот и говорили только, что они мною более довольны, нежели я ими, и за счастье себе почитают, что имеют у себя такого кроткого, смиренного и постоянного постояльца.

Единый недостаток, сопряженный с сею квартирою, состоял в том, что у них не было столь просторного двора, чтоб мог я поместить на нем свою повозку и лошадей, но и сему недостатку пособил я тем, что выпросил для лошадей и другого человека моего другую квартиру, где он у меня жил и питался сам собою, так как я упоминал о том уже в прежних моих письмах.

Словом, с переменою моей квартиры, переменились во многом и мои обстоятельства. Я жил тут весело, спокойно и во всяком довольствии и не было мне нужды заботиться ни о пище, ни о содержании своем; но признаться надобно, что чем ласковее и услужливее были ко мне хозяева, тем более старался и я вести себя степеннее, постояннее и чрез то поддерживать у них о себе хорошее мнение.

Однако, надобно сказать и то, что я около самого сего времени стал более прилежать к чтению нравоучительных, а отчасти и самых философических книг и получил к ним час от часу более охоты. Случай и повод к тому в особенности подала мне сама сия квартира, следовательно, я ей и с сей стороны много обязан. Помянутый случай был следующий:

В самом близком соседстве подле оной была наша походная запасная аптека и при оной один аптекарь, человек отменно хорошаго характера и свойства, по имени *Герман*. Он был уроженец ревельский и малый умный, постоянный, любивший читать книги и упражняться в науках. Благодарственная и пекущаяся обо мне судьба снискала мне случай с ним познакомиться и как жил он от меня шагов только со сто, то хаживал я к нему нередко и в короткое время сделались мы с ним друзьями, сживали, разговаривали и гуливали вместе в одном публичном, подле его находящемся, саде. При сих-то свиданиях с ним разговорились мы однажды о книгах. Он, узнав, что я до них охотник, рекомендовал мне одну в особенности и расхвалил мне ее столько, что я в тот же еще день купил ее себе в книжной лавке. День сей и поныне я еще благословляю и благодарю судьбу за случившееся в оный со мною, ибо книга сия послужила потом основанием всей последующей за сим моей хорошей философической жизни и была власно как фундаментом, на котором начало основываться все здание моего спокойствия и благополучия сей жизни. Достопамятная сия книга была известное в свете и столь славное сочинение господина *Гофмана о Спокойствии душевном*, и мне так полюбилась, что я несколько раз ее прочитал сначала и до конца и чрез то набрался много истинно-философического духа, что и причиною было, что я с сего времени стал от часу более прилежать к чтению и доставанию себе хороших нравоучительных, толико поспешествовавшим потом всем моим знаниям и наукам.

К дальнейшим достопамятностям сего времени относительно до меня принадлежало и то, что я вскоре по переезде моем на сию квартиру, вперые научился и стал табак курить. Случай к тому был в особенности до-

стопамятный. Уже за несколько времени до того мучился я частыми запорами. Сперва я не уважал сие, но впоследствии времени становились они мне от часу отяготительнее. Сие побудило меня поговорить об них с одним из наших докторов, человеком мне знакомым и науку врачебную довольно разумеющим. Он сказал мне, что происходило сие от моего сиденья и, вместо предписания мне, по требованию моему, лекарства, спросил меня, курю ли я табак? Как услышал, что я никогда еще не куривал, то советовал мне, вместо всех лекарств, курить по утрам с чаем табак и после съедать либо ломтик хлеба, намазанный чухонским маслом, либо по несколько ягод французскаго чернослива, уверяя, что сие не только уничтожит мои запоры, но и впредь предохранит меня от них. Совет сей был благоразумнейший и для меня весьма полезный, и я и поныне благодарю еще господина *Нилуса* за оный, ибо как я исполнял совет сей в самой точности, то не только тогда от запоров своих освободился, но, привыкнув с того времени уже всегда курить с чаем табак, не мучивался оными уже никогда более, а что всего лучше, то во все последующее потом продолжение моей жизни, не бывал почти никогда больным. От того ли сие сделалось, или не от того, уже не знаю, только то мне известно, что все наилучшие в свете медики помянутое курение с чаем табака почитают наилучшим предохранительным средством от многих болезней и заключают сие потому, что таковое курение содержит всегда натуру отверстую; а сие весьма и справедливо, как то доказал мне собственный мой пример, а нужно только наблюдать то правило за свято, чтоб в другое время уже никак табаку не курить, да и во время питья чая, не долее как пьешь оный. Сим точно образом курил я во всю мою жизнь табак и от того, может быть, и был он мне так полезен.

Другая достопамятность состояла в том, что я около сего времени начал уже гораздо умножать свою библиотеку. К сему подало мне наиболее повод то обстоятельство, что я узнал, что в Кёнигсберге можно доставать их покупкою не только в лавках, но и на бываемых очень часто книжных аукционах, и на сих с тою еще выгодою, что гораздо дешевлею ценою и нередко за сущую безделицу. О сем узнал я от тех же товарищей моих, немецких канцеляристов. Они не успели меня сводить однажды на один из таких аукционов, как мне сие так полюбилось, что я с того времени не пропускал ни одного, из всех бывших в мое время, чтоб не побывать на оном, и к неопisanному удовольствию моему, бывали они нарочито часто. Город сей наполнен был учеными людьми и охотниками до книг, и как

нередко случалось таковым умирать, а не у всякого наследники бывали до книг охотники, то сие и подавало случай к продаже оставших после их книг с аукционного торга. Всякий раз, когда подобное сему случалось, обнародывано было о том в прибавлениях к газетам и всем желающим раздавались печатные всем продаваемым книгам каталоги. И тогда в назначенный день собирались в тот дом все охотники покупать, усаживались за длинный стол, а аукционист садился на конце онаго и приглашая книги по нумерам, давал каждую наперед всем сидящим за столом пересматривать, а потом спрашивал, кто что за нее даст и начинался обыкновенный аукционный торг; всякий прибавлял сколько-нибудь цены и как скоро переставали надбавлять цену, то какая бы ни была последняя, но за онаю, по ударе в третий раз молотком, уже книга за тем и оставалась.

Нельзя изобразить, с каким удовольствием хаживал я на сии аукционы и сколь за малую и ничего не стоящую цену доставал я иногда на них наипрекраснейшие книги. Нередко случалось, что охотников покупать и всех набиралось очень мало и не более человек десяти или пятнадцати, а как сии все были разных вкусов и не всякому каждая книга была угодна, то случалось, что за иные не давал никто ни копейки и принуждено было отдавать ее тому, кто шутя даст копейку или две, а сим точно образом и доставал я множество книг за самую безделку и досадовал нередко, что мне, как служивому человеку, не можно было себя обременять множеством оных; ибо я не знал, куда мне было деваться и с теми, которые у меня уже были, в случае если вышлют меня к армии в поход. Сие удерживало меня еще много, а то бы я мог обогатить библиотеку свою многими редкими и дорогими книгами. Не один раз случалось, что я, сжав сердце, принужден был разставаться весьма с прекрасными и дорогими книгами. Со всем тем редко случалось, чтоб с такового аукциона возвращался я с пустыми руками, но обыкновенно принашивал с собою целые связки оных, и тогда какое начиналось у меня разсматривание, какое перебирание купленных книг и какое любованье оными. Словом, аукционы сии доставляли мне многия приятныя минуты и квартира моя украсилась скоро целым шкапом разных книг.

Что касается до прочих происшествий, бывших около сего времени у нас в Кёнигсберге, то памятны мне только два достойных несколько замечания. Первое состояло в том, что прислан был к нам архимандрит, по имени *Ефрем*, для начальствования над всем армейским духовенством и долженствующим иметь пребывание свое у нас в городе. Но сия духовная особа

далеко не соответствовала общему нашему желанию; но сколько хорошую фигуру ни представляла сначала своего приезда, столько стала обращаться потом в безславление наше и в позор духовенству, ибо не успел он несколько недель у нас пообжиться, как стали видать его едущего в карете с непотребными женщинами и нередко упивающегося уже слишком крепкими напитками. Через сие потерял он скоро все уважение и побудил губернатора нашего, донося о том, испросить на его место другого и благоразумнейшего.

Другое происшествие состояло в том, что мы, узнав, что находился в Кёнигсберге прежний монетный двор, со всеми его орудиями и мастерами, вздумали и сами делать особливые прусские деньги наподобие тех, как дельвались тут прежде, то есть полусеребряные. Не успело воследовать о том повеление от двора, как собрали мы всех нужных к тому мастеров, отыскивали монетного мастера и мне поручено было от губернатора сделать для штемпеля рисунки, которые я и смастерил как умел. На всех сих деньгах изображаем был с одной стороны грудной портрет императрицы, а с другой – прусский герб, одноглавый орел с надписью. Губернатор рисунками моими был доволен и по оному вырезаны были штемпели и мы стали делать деньги. При сем-то случае удалось мне впервые видеть, как делаются на монетных дворах и тиснятся деньги. Я смотрел на все производство сей работы с отменным любопытством и не мог всеми выдуманностями к тому орудиями и пособиями довольно налюбоваться. Казна имела от сего великую прибыль, и деньги наши стали несравненно лучше ходить, нежели те обманья и дурные, какими прусский король отягощал все свои земли.

Более сего не помню я ничего замечание достойного до самых тех пор, покуда стали мы получать от армии нашей известия; но как о военных наших происшествиях предоставляю я говорить в будущем письме, то теперешнее сим кончу, сказав, что я навсегда есмь ваш и прочее.

ИСТОРИЯ ВОЙНЫ

Письмо 75-е

Любезный приятель!

Между тем как мы помянутым образом в Кёнигсберге в мире и тишине жили и время свое препровождали в разных увеселениях, война про-

должала гореть в Европе и пылала полным своим пламенем. В предследующих моих письмах упоминал я уже, какия деланы были со всех сторон с самой весны приуготовления; а теперь, продолжая тогдашнее повествование далее, скажу, что лето сие было наидостопамятнейшее из всех бывших в продолжение войны сей, а особливо для нас. Оно прославило войска наши знаменитыми победами, а королю прусскому было в особенности несчастно; но чтоб подать вам о всех военных происшествиях сего лета яснейшее понятие, то расскажу все по порядку и начну с весны самой.

Начало кровопролитию учинено было в сей год еще очень рано и даже в самом еще апреле месяце. Ибо как королю прусскому никак не хотелось, чтоб земли его и впредь были театром войны и терпели от того неизбежное разорение, то и употреблял он все силы и возможности к отвлечению войны в самую внутренность Германии и к удалению оной от своих областей. Для самого сего и приказал принцу *Фердинанду*, соединясь с принцем *Изенбургским*, атаковать французов, стоявших еще на зимних своих квартирах, в окрестностях города Франкфурга, что на Майне. Итак, в половине еще апреля является там вдруг принц Фердинанд с 46 000 человек войска и удивляет французов. Сими командовал тогда *дюк де-Броглио*. Сему генералу другого не оставалось тогда, как собирать скорее свои по зимним квартирам расположенные войска и иттить навстречу неприятелю. Он и успел произвести сие с толикою расторопностию, что заслужил похвалу от всех знатоков военного искусства. Не более как в 36 часов собрал он весь свой корпус, и хотя оный не простирался свыше 25 000 тысяч человек, однако он не стал дожидаться графа *Сенжермена*, долженствовавшего привести к нему помощь, но пошел с ними навстречу прусской и в 46 000 воинов состоящей армии и, сошедшись с нею при *Бергене*, имел столь счастливую схватку, что победил принца Фердинанда совершенно и принудил его, по потере шести тысяч человек с несколькими пушками, отступить назад. Сим приобрел сей генерал себе великую славу и пожалован был за то от цесаря князем Римской Империи, и от короля своего – *маршалом* Франции.

Таковым-то несчастным происшествием для пруссакаго короля началась сия кампания и несчастье сие было равно как некаким предвестием, что и все лето сие будет для него в особенности несчастно.

Вскоре за сим, а именно в течение марта месяца, овладели цесарцы городом *Грейфенбергом* в Силезии и приумножили тем еще более досаду короля пруссакаго, который между тем как помянутым образом французы

дрались с ганноверанцами в окрестностях тамошних, расположился стоять сам против цесарского фельдмаршала *Дауна*, как предводителя главной цесарской армии и, наблюдая все его движения, помышлял он только о том, как бы разрушить все планы и намерение своих неприятелей и воспрепятствовать их исполнению.

Все они были ему довольно известны. Он имел каналы, чрез которые мог узнавать все, что ни было на уме у всех соединившихся против него держав, и потому заблаговременно принимал все нужные к разрушению замыслов их меры. В сей год наиглавнейший план их состоял в том, чтоб наиболее действовать против него нам, россиянам, со стороны Шлезии и стараться, войдя в оную, обратить всю силу короля прусскаго против себя; а дабы тем удобнее можно было его разбить, то положено было, чтобы цесарцам подкрепить нас знаменитым корпусом и между тем, когда король займется нами, самим им с главною армиею иттить прямо внутрь его владений, и стараться проникнуть хотя бы до самой его резиденции, города Берлина; а между всем тем имперской армии стараться выгнать пруссаков из Саксонии и овладеть тамошними крепостями и городами. Выходствие сего плана и назначено было нашей армии иттить прямо в Шлессию, дабы тем удобнее и скорее можно было соединиться ей с цесарским вспомогательным корпусом, и как прямейший туда путь был через Польшу, то положено было иттить чрез оную, и дабы полякам сие вступление в Польшу не так было прикро¹, то обнародовано было о сем походе нашего в 40 000 состоявшего войска особливою публикациею еще в половине мая месяца; подобное же тому учинили и пруссаки, ибо обеим сторонам нужно было запасение себя провиантом и фуражем из польских пределов, и обе стороны старались преклонить поляков в свою пользу. Публикация сия, с прусской стороны, учинена была генералом графом Дона, самым тем, который управлял армиею его при случае первого еще дела с нами в Пруссии, ибо к воспрепятствованию нашего шествия сего отправил король прусский сего генерала, дав ему довольно знаменитой корпус. Сей генерал находился до сего в Померании, но как там делать ему было уже нечего, то и поручил король ему – буде не воспрепятствовать походу нашей армии, так, по крайней мере, затруднить оный.

Выходствие сего генерал сей, собрав войско свое около *Ландберга* и, вступив в Польшу уже 23-го июня, начал рассылаемыми партиями всяче-

¹ Прикро – наречие от «прикрый» польск. зап. и сиб. – противный, дурной, неприятный.

ски стараться разорять повсюду заготовленные от нас в Польше магазины, и ему удалось отнять и разорить оныя в *Бромберге, Рогожне, Цинне* и в некоторых других местах и лишить нас более шестидесяти тысяч шефелей круп и муки. Таким же образом и более всего хотелось ему добраться и до нашего главного магазина в Познани. Но как место сие было нарочито укреплено, а притом приближались туда и все наши войска как к генеральному рандеву или сборному месту, то принужден он был сие намерение оставить, а занялся отниманием у поляков силою и без заплаты хлеба и фуража и приневоливанием самых жителей к принятию в войске своем службы, как и набрал оных силою превеликое множество.

Между тем как сим образом пруссаки хозяйствовали в Польше, собрались наши войска все в Познань, куда 29 июня прибыл и назначенный им главным командиром помянутый генерал-аншеф граф *Салтыков*. Генерал Фермор, командовавший до того войсками, тотчас сдал ему начальство над оными и сам остался тут же без малейшаго огорчения служить под командою онаго. Чрез сие приобрел он при дворе имя великаго патриота, да и при армии удержал всю свою знаменитость и, сделавшись первым советником графа Салтыкова, и первейшею пружиною всем предначинаниям, мог тем способнее отомщать обидевшим его цесарцам, что не подвергал себя за то ответу.

Первейшим делом графа Салтыкова было то, что он, учинив всей армии смотр, не стал долее ни одного дня в Познани медлить, но выступил в поход и пошел прямым путем к городу *Кросену*, на границах Шлезии находящемуся, при брегах реки Одера построенному. Граф Дона не преминул тотчас подвинуться туда же с своим корпусом и, сближившись с нашею армиею, старался всячески взять у ней перед и захватить большую дорогу, ведущую к реке Одере. А самое сие и подало повод к первому в сие лето сражению у нас с пруссаками. Однако помянутому графу Дона, хотя был он и искусный генерал, не удалось при сем случае предводительствовать самому прусскими войсками, но он принужден был накануне сего дня сдать все начальство над сим корпусом другому присланному от короля генералу – *Веделю*.

Сия перемена командира в прусской армии была никем не ожидаема, и тем более для самих пруссаков непостижима и удивительна, что генерал сей был из младших генерал-поручиков и прислан от короля с таким полномочием, какое в прусских войсках было не в обыкновении и пото-

му для всех поразительно. Причиною присылки его было то, что король прусский недоволен был медленностию и нерешимостию графа Дона, а особливо упущением одного выгодного случая к атакванию нас при местечке *Мезерице* в Польше, а избрание к тому сего генерала была особливая надеятельность королевская на сего любимого им генерала. Он прислал с ним к графу Дона и ко всей армии такое письмо, которое достойно особливаго внимания и было следующего содержания:

«Любезный мой генерал-поручик граф Дона!

Обстоятельства, в которых находится состоящая под командою вашей армия, благо и выгоды моего государства и необходимая нужда, принудили меня послать следующее повеление мое к вам и ко всей вашей армии; и моя воля есть, чтоб выполнено было оно в самой точности.

*Как обстоятельства не допускают меня самому отправиться к армии Доновой для командования оною, то посылаю я генерала-поручика Веделя, снабдив его моими повелениями по сему случаю; до тех пор, покуда станет он отправлять сию комиссию, представляет он точно мою особу, и все генералы, генерал-поручики, генерал-майоры и другие офицеры, до последнего рядового, должны ему повиноваться точно так, как бы я сам присутствовал и повелевал. Я ему накрепко подтвердил сажать всякаго тотчас под арест, кто не послушает и не исполнит того, что прикажет он своим словом, а я всех таковых ослушников велю судить судом военным как преступников присяги. А дабы вся армия была известна о точной моей на сие воле, то все говоренное здесь должно обнародовано быть всему войску. Генерал Ведель представлять станет при армии то, что представляли некогда **диктаторы** при армиях римских. Итак, всем офицерам кто бы таковы и каких степеней они ни были, должны оказывать ему повиновение такое, какое следует мне, и выполнять распоряжение его с верностию, точностию и мужеством. Я есмь -*

В лагере при Шмотганиене, 20 июня 1759 года.

Фридрих».

Ниже сего приписано было по-французски собственной королевскою рукою:

«Вы не так здоровы, чтоб могли обременять себя командою, и хорошо сделаете, когда велите себя отвезть в Берлин или в иное место, где могли бы вы опять возвратить свое здорвье. Прощайте. Фредерик».

По получении такого повеления, что оставалось господину Доне делать, как не отправиться тотчас же в Берлин, оставив армию и все на попечение господина Веделя, а сему, в силу именного повеления королевского, тотчас дать баталию с нами.

Оная и воспоследовала на другой день приезда господина Веделя, и он атаковал армию нашу на походе, когда она, продолжая шествие свое, выступила поутру в поход, по большой дороге, ведущей к Кросену, при котором назначено было соединиться ей с цесарским корпусом, шедшим к ней под командою генерала Лаудона. И так как король прусский именно господину Веделю приказал воспрепятствовать сему соединению, то и не стал он ни единого дня медлить, но не взирая, что ему ни местоположение, ни силы неприятеля, ни состояние собственной своей армии было неизвестно, атаковал ее при деревнях *Палциге* и *Каие*, неподалеку от *Цилихау* и реки *Одера* на Бранденбургских границах – 12 июля. Сражение началось в 4-м часу по полудни, и продолжалось с жестокостью до 7-ми часов вечера; господин Ведель как ни искусен был, и сколь много король на него ни надеялся, однако, баталию сию совершенно проиграл, и потеряв до 6-ти тысяч человек убитыми, ранеными и в полон взятыми, принужден был бежать и за счастье себе еще почитал, что ему не отрезали и не перехватили дороги к Одеру, и допустили спокойно перебраться за оную.

Таким образом получили наши войска над пруссаками неоспоримую победу, и все бывшие в сем сражении единогласно свидетельствовали, что никогда еще не происходило баталии столь порядочной, какова была сия. Нигде и ни малейшаго беспорядка, во все продолжение оной, не происходило как у нас, так и пруссаков, и победу приписывают более превосходству нашей силы, преимуществу в выгодах местоположения и хорошему действию наших единорогов и шуваловских гаубиц. Прусския войска целых три раза начинали наших атаковать, и всякий раз с отчаянным почти свирепством нападали, но не могли никак одолеть оных и принуждены были наконец ретироваться. Мы потеряли в сем сражении генерал-поручика *Демикю*, 2 штаб-офицеров, 2 капитанов, 11 обер-офицеров, а нижних чинов и рядовых 578 человек, с ранеными же всего урона считалось до 3,744 человек; а у пруссаков убит также был славный их генерал *Воберзнов* с 4,220 рядовыми и более, нежели 1,200 человек, взято было в полон; сверх того, получено было в добычу 14 пушек, 4 знамя, 3 штандарта и 45 барабанов.

Победа сия была хотя не из знаменитейших, но произвела многия и разныя по себе последствия, из которых некоторыя были для нас в особливости выгодны. Из сих наиглавнейшим было то, что все войска наши сим одолением неприятеля ободрились и стали получать более на старичка своего предводителя надежды, который имел счастье с самого уже начала приезда своего солдатам полюбиться; а теперь полюбили они его еще более, да и у всех нас сделался он уже в лучшем уважении. Мы, живучи в Кёнигсберге и услышав о сей баталии и о том, как она порядочно происходила, почти верить не хотели, чтоб мог сие произвести старичок сей, и удовольствие наше было неописанное. Вторая выгода произошла нам от баталии сей та, что армии нашей ничто уже не мешало иттить далее вперед и соединиться потом с поспешавшим на помощь к нам цесарским корпусом, под начальством славнаго их генерала Лаудона, состоявшим от 18-ти до 19-ти тысяч человек войска и наибольшую часть конницы.

Сей генерал, будучи отправлен от генерала Дауна к нам с 30-ю тысячами войска, имел немалой труд пройтить из своих земель чрез неприятельскую землю, и, несмотря на всю бдительность короля пруссакаго и брата его принца Гейнриха, старавшихся его не пропустить, пробрался мастерским образом благополучно и, преодолев все препятствия чрез всю Лузанию и оставив на дороге генерала *Гаддика*, с 12-ю тысячами войска прибыл наконец к реке Одеру в начале августа и соединился с нашею армиею в самое то время, когда она, идучи вниз по реке Одеру, дошла уже до города Франкфурта и расположилась лагерем насупротив онаго за рекою, приведя сим приближением своим самый Берлин в превеликую опасность.

Сему удачному пройдению сквозь всю неприятельскую землю генерала Лаудона поспешествовала много действиями своими и имперская армия, производившая до сего так мало дела, но в сей раз оказавшая свою услугу, впадением с своей стороны в Саксонию и принудившая тем пруссакаго генерала Финка, который стерег цесарскаго генерала Гаддика, упустить из вида и поспешать для прикрытия *Лейтцига* и *Торгау*.

Сам король прусский находился между тем в Шлезии, и довольствовался защищением оной. Он стоял долгое время при *Ландсгуте* в ожидании выгодной минуты для себя, а Даун, с главною цесарскою армиею стоял против его и ожидал также выгодного времени к шествию вперед или к сражению с пруссаками. Чтоб разрушить сию надежду и австрийцев прогнать обратно в Богемию, то старался король всячески делать им воз-

можнейшие затруднения в снабдении себя провиантом и фуражем; и уже в цесарском лагере начали помышлять о пременении места, как получено было известие о приближении нашей армии к прусским границам, и переменило планы обоих сих полководцев. Даун, выступя в поход, стал подвигаться к нам ближе для облегчения наших операций, а король всячески трудиться над вымышлением средств разрушить наши замыслы.

Несчастливая для него баталия палцигская и последовавшее потом соединение цесарского корпуса с нашею армиею, подвинувшеюся уже близко к Берлину, побудили наконец сего государя поспешить в Бранденбургские свои области, и как краткость времени не дозволила ему в сей раз взять из армии своей с собою ни пехоту, ни конницу, то поскакал он с небольшим только прикрытием гусар. Брат же его, принц Гейнрих, должен был большую часть своей армии отправить для подкрепления разбитой Вейделевой армии к Одеру, а сам отправился к армии королевской, стоявшей в лагере при *Шмук-Ейзене*, в сорока тысячах человек для командования оною во время отсутствия королевского и для удержания Дауна, стоящего против оной с тридцатью тысячами человек цесарского войска. А получил также и генерал Финк повеление оставить Саксонию и поспешать с корпусом своим к реке *Одеру*, где мы тогда уже находились.

Путешествие свое совершил король благополучно. Все отправленные к нему из разных мест войска пришли в свое место без всякого урона. Сам он, в путешествии своем, наткнулся при местечке Губене на корпус цесарского генерала Гаддика и, отняв у него несколько пушек и 500 телег с мукою и взяв человек с 600 в полон, соединился потом безпрепятственно с Вейделевою армиею.

Теперь решился король, нимало не медля, дать баталию с нашею армиею, и хотя вся его армия не превосходила 40 000, а наша армия вместе с цесарцами, к нам пришедшими, состояла тогда более нежели из 60 000 человек, однако он не сомневался нимало, что он таким же образом ее разобьет, как в прошлом году при *Цорндорфе*, и был в том так уверен, что как в сие время прислан был от принца Фердинанда к нему курьер с радостным известием, что ему удалось разбить французов при *Миндене*, и тем отомстить им за разбитие себя весною, то король остановил присланного от него офицера, говоря: «Подождите немного, государь мой! Мы отправим с вами же и от себя к принцу такой же поздравительный комплимент, какой он к нам прислал».

Однако ему не удалось в сей раз сдержать свое слово, и комплимент, отправленный с сим офицером после, был совсем иного рода. Со всем тем, очень малаго не доставало к тому, чтоб не быть нашей армии от короля совсем разбитой, и тот же фаворит его, генерал Ведель, подал и в сем случае собою повод ко вторичному его несчастью, как все то усмотрится из последующаго ниже сего подробнейшаго сему славному сражению описания.

Оно поистине и достойно того по многим обстоятельствам. Сражение сие было найдостопамятнейшее для нас во все продолжение Семилетней войны; ибо в сей один только раз удалось нашим победить совершенно короля прусскаго, и сего славнаго в свете героя довести до такой крайности, что он в день сражения сего желал даже себе смерти и был действительно очень близок к оной. И как победа сия приобрела нам величайшую славу, то и опишу я сражение сие колико можно обстоятельнее и упомяну о всех знатнейших при том происшествиях. Но опишу наперед положение нашей армии.

Она стояла лагерем неподалеку от города Франкфурта, что на Одере, подле деревни *Кунерсдорфа*, и имела положение сколько, с одной стороны, выгодное и довольно натурою и искусством укрепленное, столько, с другой стороны, опасное в случае несчастья, ибо путь к ретирате был почти совсем пресечен. Лицом стояла она вверх по реке Одеру как к той стороне, откуда дожидался неприятель, и правым крылом примыкала вплоть к реке Одеру, а левым – к одному густому лесу и крутому буераку, подле его находящемуся. Весь фронт или перёд оной прикрыт был топким и непроходимым почти болотом, чрез которое находился только один большою и длинный мост; а тыл, или зад, простирающийся к городу Франкфурту, прикрывали также некоторыя вязкие и крутые местоположения. Деревня *Кунерсдорф* находилась в середине армии, и вся она расположена была на довольных высотах. Для дальнейшаго ж обезпечения ее с обоих крыльев, оба они укреплены были еще ретраншаментами: правое, стоявшее на горе жидовской, сделанными наподобие звезды, шанцами, а сверх того, в случившемся тут лесе засекою; а левое, примыкающее к помянутому другому и густому лесу и прикрытое глубоким буераком, укреплено было еще ретраншаментом и несколькими батареями, содержащими в себе более 100 больших пушек.

На помянутом правом крыле, к реке Одеру, стояла первая дивизия под командою графа *Фермора*; также поставлен был тут и авангардный кор-

пус под командою генерал-поручика *Вильбоэ*. Вторая дивизия поставлена была в середине, и команда над нею поручена генерал-поручику графу *Румянцеву*; а на левом крыле поставлен был князь *Голицин*, с так называемым новым корпусом. Что ж касается до австрийцев, то по тесноте места в линию уместить их было не можно, и поставлены они были позади правого крыла, а легкое войско с предводителем их *Тотлебенем*, поставлено было впереди пред правым крылом.

Сим образом укреплен был и натурою и искусством наш лагерь, и положение армии было столь выгодно, что хотя и оказалось, что король прусский совсем не с той стороны приближался, с которой был ожидаем, а переправился чрез реку Одер, ниже Франкфурта, в намерении зайтить армии нашей в тыл, однако предводители наши не разсудили за благо переменить позицию армии, а оставили ее при прежнем ее расположении.

Сим прекращу я сие письмо, предоставив дальнейшее повествование и описание самой баталии до последующаго письма, а между тем остаюсь ваш и прочее.

КУНЕРСДОРФСКАЯ БАТАЛИЯ

Письмо 76-е

Любезный приятель!

Приступая теперь к описанию славной *франкфуртской*, или *Кунерсдорфской*, баталии, начну оное изображением хитрости и искусства короля прусскаго в атаковании нашей армии. Прискакав из Шлезии, нашел он Веделеву разбитую армию при местечке *Мильрозе*, подкрепленную уже сошедшимися туда и присланными из прочих мест войсками, так что количество сего войска простиралось уже более 40 тысяч человек. С сею, хотя небольшою, но по справедливости храброю армиею не пошел он так, как наши ожидали, прямо к нашей армии, стоявшей уже тогда при Франкфурте и самый сей город занявшей; но судя, может быть, что тут сделаны нами для принятия и встречи его все нужные приуготовления и что ему тут, в виду у нас, трудно будет переправляться чрез реку, разсудил повернуть влево и, учинив превеликий и дальний вокруг Франкфурта обход чрез местечки *Фиритенвальд* и *Лебус*, переправиться чрез реку Одер в та-

ком месте, где мы всего меньше думали и ожидали; а именно, гораздо ниже нашей армии и под самыми почти пушками города его *Кюстрина*, где при деревне *Рендвене* тотчас навели для него чрез реку и мост.

Сделал он сие, во-первых, для того, чтоб ему тут свободнее можно было переправиться чрез реку и чтоб мы не успели сделать в том ему помешательства; во-вторых, чтоб по возможности заставить из Кюстрина поболее большими пушками, кои считал он весьма нужными при атаке нашей армии, и в-третьих, чтоб, переправившись тут, зайтить нашей армии в тыл, и чрез то разстроить и смутить наших предводителей и облегчить себе победу.

Все сие ему и удалось, кроме только последняго. Ибо командиры наших войск хотя и увидели себя в заключениях своих обманувшимися, однако не дали себя смутить сим неожиданным явлением, а остались при прежнем своем расположении, надеясь на выгодность своего лагеря, и на сделанныя со всех сторон укрепления, и спокойно дожидались прибытия его величества короля прусскаго.

Сей не успел переправиться чрез реку в помянутом месте, как не стал ни минуты медлить, но стараясь воспользоваться нашим смущением и не дать нам собраться с духом, пошел тотчас для атаки нашей армии всею своею силою. Как положение нашего воинства было ему известно, и он нимало не сомневался о победе и за верное полагал, что нас разобьет, то вознамерился напасть на армию нашу вдруг с трех сторон, то есть спереди, и сзади и во фланг, где стояло наше левое крыло, дабы чрез то пресечь нам все пути к ретираде и, прижав нас к реке, истребить всю армию до основания. Что едва было едва и не удалось ему учинить совершенно.

Как случилось сие в самом начале августа месяца и деревня *Етшен*, где он, перешед реку, с армиею своею ночевал, находилась от лагеря нашего не в близком еще разстоянии, то поднялся он очень рано, и по пробытии только двух часов, с места, и поспешил дойти до нас прежде еще наступления самого жара. Но как ближняя и прямая дорога лежала по горам и чрез многие леса и буераки и для шествия армии совсем была неспособна, то принужден он был сделать еще превеликий обход, и взяв далеко влево итти через деревни *Бишофсзе* и *Третин*, и при обхаживании многих лесов и прудов иметь не только много труда, но и терять столько времени, что не прежде мог поспеть, как пред самым полднем.

Позиция армии нашей хотя и была ему известна, но что касается до самого местоположения, то сие не могло ему быть коротко сведомо, и потому при обозревании нашей армии смутился он, увидев, что ему ее не так легко атаковать со всех сторон, как он думал и ожидал; но что тыл и перёд армии, куда он назначил иттить своей коннице, совсем были неприступны, и оставался один только левый наш фланг, с которого можно было сколько-нибудь учинить атаку. Но сие место, как я уже упоминал, прикрыто было сперва крепким и на горе сделанным ретраншаментом с тремя сильными батареями, содержащими в себе до 80 пушек, а потом глубоким и широким оврагом, а за ним густым лесом. Но как другого не оставалось, то самое сие место и избрал король для нападения на нас и, отделив по некоторому количеству конницы своей для стояния против нашего правого крыла, также против тыла нашей армии, все прочее войско начал тотчас строить в помянутом лесу в пять линий, из коих первые три составлены были из пехоты, а достальные две из конницы. А между тем генералу Финку велел взвесть пушки на близлежащая высоты и начать из них сильную и страшную со многих сторон, против нашего фланга, канонаду. У нас тут хотя и поставлена была поперечная линия войска, но линия сия была так коротка, что по тесноте места более не уместилось двух полков; ибо на такое разстояние стояли на сем крыле и обе линии нашей армии друг от друга. Но как недостаток сей заменял помянутый ретраншамент, установленный множеством пушек, а за ним превеликий лог, то командиры наши и почитали место сие неприступным и никак с сей стороны атаки не ожидали. Самое сие обстоятельство и помогло королю в самое короткое время, опрокинув помянутое наше небольшое войско, врезаться всей армии во фланг и чрез то подвергнуть всю ее явной опасности.

Ибо не успел он построить в лесу сперва линии, а из них густые колонны, как велел тотчас гренадерам своим вдруг броситься и иттить прямо чрез лог, вздравшись на наш сего буерака высокий берег, атаковать тут наш ретраншамент и овладеть оным и батареями. Сии хотя и не молчали во все сие время, но поражали их из пушек своих кучами, покуда сходили они и спускались в дол, но как спустились они вниз, то стрельба из наших пушек сделалась недействительна, а при выходе их из лога на гору, хотя и встречены они были картечами из пушек и мелким ружьем из ретраншаментов, но время было уже слишком коротко, и бросившиеся с великою яростию на наших пруссаки не допустили наших причинить им дальней-

ший вред. Ибо они не только опрокинули совсем оба помянутые наши полка, но овладели в один миг и всеми нашими бывшими тут пушками и батареями.

Таковая скорая и неожиданная удача колико обрадовала короля пруссакого, столько смутила всех наших генералов и полководцев. Все они оробели тогда, увидев явно, что вся армия подверглась чрез то крайней и превеличайшей опасности, и в первые минуты, не зная что делать и чем сему злу помочь, дали неприятелю свободу переходить себе как хотел чрез бугорак и на горе строиться и вытягивать фронт свой для поражения наших. Но наконец Сам Бог надомнил их вместо опрокинутой и совсем уничтоженной поперечной короткой линии составить скорее другия, новыя, таковыя ж, схватывая по одному полку из первой, а по другому из второй линии и составляя из них хотя короткия, но многия перемычки, выставлять их одну после другой пред неприятеля. И хотя они сим образом выставляемы были власно как на побиение неприятелю, который, ежеминутно умножаясь, подвигался от часу далее вперед и с неописанным мужеством нападал на наши маленькия линии и их одну за другою истреблял до основания, однако как и они, не поджав руки, стояли, а каждая линия, сидючи на коленях, до тех пор отстреливалась, покуда уже не оставалось почти никого в живых и целых, то все сие останавливало сколько-нибудь пруссаков и давало нашим генералам время хотя несколько обдуматься и собраться с духом; но трудно было тогда придумать какое-нибудь удобное средство к спасению себя и всей армии. Помянутыя перемычки сколько ни задерживали пруссаков, но не в состоянии были никак удержать всей их пехоты, переправившейся чрез помянутый дол и перешедшей уже большую часть всего нашими тогда занятого места. Самая деревня *Кунерсдорф*, бывшая у нас до того в середине армии, осталась уже у них позади и все оставшие наши войска и полки сжаты были на наш правый фланг и стояли тут в куче и в превеликом стеснении, не имея места никуда распространиться, а старались только свозить со всех сторон пушки и устанавливать их в разных местах для принятия неприятеля, буде дойдет очередь и им отстреливаться по примеру прочих.

Словом, бедствие, которой подвержена была тогда наша армия, было превеликое. Она находилась в явной опасности. Все почитали баталию сию за проигранную, каковою она и действительно уже была, ибо, ежели б пруссаки, овладевшие почти всем нашим местом, не похотели б ничего да-

лее предпринимать, а довольствуюсь тем, что они уже учинили, остались при полученных выгодах, то согнанной и стесненной и кучу нашей армии не можно бы никак надолго остаться в таком положении, но она принуждена бы была либо отдаваться вся в полон, либо спастись бегством чрез болото, пред правым ее флангом находившееся и один только мост чрез себя имевшее, но который и от самих же нас за несколько часов до того, для неперепущения чрез него прусской конницы, сожжен был. Сам старичок, наш предводитель, находился уже в такой разстройке и отчаянии, что позабыв все, сошел с лошади, стал на колени и, воздев руки к небу, при всех просил со слезами Всемогущаго помочь ему в таком бедствии и крайности и спасти людей своих от гибели явной. И молитва сия, приносимая от добродетельнаго старца, от чистой души и сердца, может быть, небесами была и услышана. Ибо чрез самое короткое время после того переменилось все и произошло то, чего никто не мог и думать и воображать и чего всего меньше ожидать можно было.

Сражение сие началось в самые полдни и в 6 часов вечера пруссаки овладели уже всеми батареями, бывшими на левом фланге, и имели уже во власти своей 180 наших пушек и несколько тысяч взятых у нас в плен; и победа была уже неоспоримая никем и точно такая ж, каковая была при *Коллине* и *Гохкирхене*: так, что сам король, почитая ее уже таковою, отправил с места баталии с радостным известием сим уже курьеров в Шлезию и в Берлин. Как вдруг воспоследовала помянутая неожиданность и произошла в военном счастье ужасная перемена.

Причиною тому было то, что его величество недоволен еще был всеми вышеупомянутыми полученными над нами выгодами, но возмнил, что ничего еще не сделано, буде есть еще что-нибудь, что сделать можно; и ему захотелось нас, так сказать, доконать. Во всякое время он говаривал то, что российскую армию надобно не только побеждать, но совсем и уничтожать и истреблять ее до конца, потому что она опять всегда возвращается и начинает вновь делать опустошения. А сии самые слова проговаривал он и при сем случае публично. Прусские генералы противопоставляли сему аргументу единое только изнеможение войск в тогдашнее время. Они говорили, что солдаты от похода, целых 15 часов продолжавшагося, и от непрерывной кровавой работы, также от ужасного жара в тогдашний знойный день так изнемогли, что едва дух переводить могут. Сам славный и любимый его генерал *Зейдлиц* представлял то же. И представление сего

великаго полководца, котораго храбрость и мужество королю довольно было известно, столько подействовало, что король начинал уже колебаться и хотел уже приказать войскам остановиться, как вдруг приближается к нему генерал *Ведель*, к которому, несмотря на несчастье его, все-таки король в особливости был благосклонен; король делает ему честь, спросив его сими словами: «А ты, Ведель, как думаешь?» Сей будучи столько же придворным человеком, сколько воином, восхотел королю польстить и изъявил совершенное свое согласие с его прежним мнением и желанием, и тогда король, не долго думая, закричал: «Ну! так *марш!*»

Но о! сколь дорого стало ему сие, вылетевшее из уст его словцо, и сколько раз сожалел он об оном и хотел бы охотно возвратить, но то было уже поздно. Все войска его по сему повелению двинулись вновь для доконания нас, и хотя он очень скоро после сего увидел сам крайнюю свою ошибку в непоследовании советам стариков, но начатое действие остановить было уже не можно. Для совершеннаго доконания нас потребна была неприятелю конница и пушки, а сего-то самого ему и недоставало. Помянутыя овраги, топкия места и буераки мешали и коннице взять в действии соучастие и пушки привезть из-за буераков: ибо те, которыя отняты были у нас, по особливому для нас счастью, пруссаки сами загвоздили и сделали для употребления негодными. Итак, хотя конницы и перебралось несколько чрез вершины и буераки, также подвезено было и пушек несколько, но все было оных очень мало и недостаточно к низложению оставшей нашей армии, на горе правого фланга в куче сбившейся и стоящей. Чтоб пособить себе в сей нужде, то вздумали они стараться овладеть одною батареею, покинутою от нас на жидовском кладбище. Батарея сия была превеликая и очищала все место баталии. Наши покинули ее, и ушли с ней при приближении прусской конницы, и как она стояла без людей, то прусская пехота, бывшая от нее шагов на 800, бросилась для овладения сими пушками: и уже оставалось ей шагов 150 добежать, как поспешает Лаудон, занимает батарею сию своею пехотою, пуцает против пруссаков целый град картечей, и останавливает тем все их стремительство. Все старания их подойти ближе были тщетны и им не помогли. Они увеличивали только их беспорядок, которым Лаудон не упустил воспользоваться и тотчас приказал коннице своей и справа и слева напасть на приступающих и врубиться в пехоту и конницу прусскую, и сия конница произвела тогда страшное между ими кровопролитие.

С другой стороны начали пруссаки приступать и стараться овладеть одною высотой, называемую *Спицберген*, от занятия которой зависела вся победа. Но высота сия занята была наилучшими нашими и цесарскими войсками, и не только установлена пушками, но прикрыта еще была лежащим пред нею буераком, или лощиною, имеющею в длину шагов 400, в ширину от 50 до 60 шагов, а глубиною была футов 10 или 15, и притом крутоберёга. В сию-то лощину бросились пруссаки и старались как можно взобраться на сопотивный берег, но все их старания о том были безуспешны. Ибо кому и удавалось вскарабкаться наверх, всякий находил там либо смерть свою, либо опять свергаем был вниз в буерак оной.

Наконец натура взяла свой верх. Все мужество, вся храбрость и вся отвага пруссаков не могли наградить истощенные силы. Они приступали к горе сей несколько раз с ряду, но никак не могли на нее взобраться; ужасный и непрерывный огонь, производимый нашими на них из многих ружей и из многих пушек, поражал их страшным образом и они пулями и картечами осыпаемы были как смертоносным градом. Генерал Финк, старавшийся таким же образом с корпусом своим овладеть другими высотами, истощал также тщетно свои силы. Король сам, приводивший несколько раз свежие войска и принуждающий приступать, подвергал себя наивеличайшей опасности. Весь мундир был на нем разстрелян пулями; две лошади под ним убиты и сам он, хотя и слегка, но был ранен. Золотая готовальня, бывшая у него в кармане, спасла жизнь его, удержавши собою пулю, попавшую в него, и пуля остановилась в вогнувшемся золоте. В таковой же близости к смерти находился он, когда тяжело раненная лошадь под ним начала упадать, и его флигель-адъютанту *Гецу* удалось еще в сей раз спасти короля и подвести ему свою лошадь. Все наиубедительнейшим образом просили короля оставить сие крайне опасное место, но он отвечал только: «Нам надобно все возможное испытать для получения победы, и мне надлежит здесь таково ж хорошо исправлять должность мою, как и всем прочим».

Словом, наши россияне дрались в сей раз с величайшим ожесточением и запальчивостию, и пруссаки писали даже сами об них после, что они будто бы в сей раз ложились целыми шеренгами и давали пруссакам переходить чрез себя, как чрез побитых и мертвых, а потом вскакивали и стреляли по них сзади. Но как бы то ни было, все старание и домогательства пруссаков согнать нас с горы были тщетны.

Теперь отважилась прусская конница атаковать высоты, но все искусство и вся кавалерийская тактика славного их генерала Зейдлица не могла тут ничего произвести. Сия конница, привыкшая под предводительством его опрокидывать неприятельскую конницу, хотя бы она вдвое или втрое была сильнее, обращать пехоту при всех положениях ее в бегство, брать даже самые батареи и преодолевать все трудности и неспособности в местоположениях, пала здесь пред пушками наших россиян, стрелявших по ней с высоты очень метко, и осыпавших ее картечами своими как градом. Сам Зейдлиц, сей храбрый ее предводитель, был ранен; таковой же участи подвержен был и принц *Евгений* Виртембергский, испытывавший вторичную атаку. За ним последовал генерал *Путкамер*, нападавший на наших с своими белыми гусарами, но застреленный до смерти. А и прочие знаменитейшие предводители прусской армии: генерал *Финк* и *Гильзен*, были переранены, и все прочия войска, и пешия и конныя, пришли в великий беспорядок и замешательство.

В самые сии критические и опасные минуты явился вдруг Лаудон, выйдя из-за правого крыла с свежими войсками, и напал на совершенно ослабевших пруссаков со стороны и сзади. Сей полководец, прославившийся тем, что умел всегда на баталиях ловить счастливые минуты, предводительствовал в сей раз конницею. Он построил ее в отдалении от места побоища как надобно и напал в наилучшем порядке на разстроившихся пруссаков, а сие и решило всю участь баталии. Панический страх и ужас напал тогда вдруг на всю прусскую армию, и все войска бросились бежать в лес и на мосты. Всем хотелось перейти вдруг; от сего сделалась страшная теснота и неизобразимая сумятица, которая и причиною тому была, что пруссаки принуждены были не только оставить отнятые у нас пушки, но бросить и своих еще 165. Король сам чуть было не попался нашим в полон, находясь в числе самых почти последних на месте сражения и должествующий проезжать одною яслиною. Единое только чрезвычайное мужество и редкое присутствие духа ротмистра *Притвица* спасло его от сего великаго несчастья. Король, сам почитая то уже неизбежным, что его возьмут в полон, кричал, несколько раз повторяя: «Притвиц! Притвиц! я погибаю!», но сей храбрый офицер, имевший при себе только сотню гусар для сопротивления целым тысячам окружающих его неприятелей, ответствовал ему: «Нет, ваше величество, сему не бывать, покуда есть еще в нас дыхание!» И тогда вместо того, чтоб только обороняться, обратясь,

поскакал он сам атаковать наших россиян и до тех пор с ними штурмовал, покуда королю удалось убраться вперед, доскакать до прочих своих войск и соединиться с ними.

Никогда еще не было твердодушие сего монарха (как пруссаки сами в сочинениях своих о том отзываются) так чрезвычайно потрясено, как в сей несчастный для него день. В немногия часы военное счастье низвергло его с высоты бесомненной победы в бездну совершенного разбития и поражения. Он испытывал и все, и старался всячески остановить свою бегущую пехоту, но ничто, ни представления, ни самыя убедительнейшия уговаривания, ни просьбы, устами короля произносимыя, не помогли нимало, сколь ни действительны бывали они при других случаях, и говорят, что он, в сем отчаянном положении находясь, сам себе вслух желал смерти. Живое умовоображение его представляло ему в первыя минуты следствия сей потерянной баталии столь страшными, что он с самого того ж места баталии, с котораго за немногия часы до того отправил он курьеров с радостным известием о победе, послал теперь повеление в Берлин, чтоб принимать скорей все меры к безопасности и к скорейшему спасанию всего нужного. Он уже мнил видеть неприятелей своих в Берлине и все уже разоряющих и опустошающих, и себя не в силах учинить тому препятствие. Войска его были так рассеяны, что к вечеру сего дня не имел он при себе более 5000 человек онаго. Все отнятые пушки были опять потеряны, а вместе с ними и все почти прусския. Генерал *Вунш*, поставленный на другой стороне реки Одера с небольшим корпусом для заграждения нам пути к бегству в случае ожидаемой победы, при конце сражение сего прибыл во Франкфурт и захватил в полон всех наших, там находившихся; но, услышав о разбитии их армии, принужден был опять из города сего уйтить и покинуть плен свой. Наступившая ночь благоприятствовала наконец королю прусскому. Он собрал сколько-нибудь своей армии и достиг с нею до некоторых высот, которыя наши атаковать не отважились.

Сим образом кончилось, к безсмертной славе наших войск, сие кровопролитное сражение. Ни которое еще из всех бывших в сию войну не было таково убивственнно и пагубно, как сие. Пруссакки потеряли одними убитыми более 8000 человек, а переранено у них слишком 15 000 человек со всеми почти генералами и наизнаменитейшими офицерами. В полон взято нашими их без мала 5000. Итак, весь урон их простирался около 28 000. Но не мал был никак и наш: по собственному признанию графа

Салтыкова, число убитых простиралось без мала до 3000, а число раненых без мала до 11 000, кроме цесарцев, которых также убитыми и ранеными потеряли более 2000 человек. Словом, число людей, претерпевших в сей день убийство, раны и плен, с обеих сторон простиралось почти до 50 000 человек. У нас также переранены были многие генералы, а число раненых штаб и обер-офицеров простиралось до 474 человек, и урон наш был так знаменит, что сам граф Салтыков, признаваясь в том в письме к императрице, между прочим, изъяснялся сими словами: «Ваше величество, не извольте тому удивляться, вам известно, что король прусский всегда победы над собою продает очень дорого».

Также говаривал сей полководец: «Ежели мне еще такое же сражение выиграть, то принуждено мне будет одному, с посошком в руках, несть известие о том в Петербург».

Но как бы то ни было и сколь день сей для многих был ни злосчастен, но все оставшие провели вечер дня сего в неописанной радости и удовольствии, сколько о совершенной победе над неприятелем, столько и о избавлении от очевидной опасности. Но не так проводил вечер сей и ночь сию король прусский. Он ночевал в деревушке *Этшер*, спал в одной хижине, казаками опустошенной и со всех сторон раскрытой, ни дверей, ни окон в целости не имеющей крестьянской хижине, на клочке соломы и нераздетый. Шляпа покрывала половину лица его, а шпага лежала, обнаженная, подле бока. В ногах спали два его адъютанта на голой земле, а на дворе у дверей стоял один только гренадер на часах. Ночь, каких мало имел сей славный монарх и которая была ему во всю жизнь очень памятна!

Так окончился сей достопамятный день, а сим окончу и я письмо сие, сказав, что я есмь ваш и прочее.

ВСЕОБЩАЯ УВЕРЕННОСТЬ В ВОЗМОЖНОСТИ ВЗЯТИЯ У ПРУССАКОВ БЕРЛИНА

Письмо 77-е

Любезный приятель!

Известие о упомянутой в предследующем письме и старичком нашим над прусским королем одержанной совершенной и знатной победе, полу-

чили мы в Кёнигсберге, спустя самое короткое время, чрез бригадира князя *Хованскаго*, отправленного от графа Салтыкова с известием сим в Петербург. Нельзя изобразить, сколь много обрадованы все мы были оным и как начали торжествовать над пруссаками, старающимися всегда утверждать, что невозможное совсем то дело, чтоб наши могли когда-нибудь победить короля их. Все они, не в состоянии будучи тогда оспаривать победы, повесили головы, а мы еще более приводили их в смущение, утверждая, что теперь скоро уже посетится и Берлин нашими, и король не в состоянии будет спасти оный от рук наших.

Сим образом заключали не только мы, но и все в свете, ибо по всем обстоятельствам дело сие было не только вероятным, но почти безсумнительным. Сам король не иначе думал, ибо в повелении, отправленном им с места баталии в Берлин, находились точно его слова, что теперь находится он не в состоянии защитить город и потому, чтоб все наизнаменитейшие и богатейшие жители уезжали бы из онаго и увозили по возможности свое имение. Самая королевская фамилия должна была тотчас выехать и отправиться в Магдебург, а вывезены были также и архивы.

Но как иначе и можно было думать? Армия прусская, находящаяся в тутошних пределах, двукратным и так скоро друг за другом последовавшим поражением, была приведена в такое изнеможение, что она не в состоянии была ничего предпринять. Я упоминал уже, что король по окончании сражения едва мог собрать вокруг себя 5 тысяч человек войска; и хотя на другой день, переправившись назад чрез Одер, и увидел, что собралось к нему из остатков разбитой его армии и более, так что скопилось уже тысяч до 20, но что мог он предпринять без пушек, без припасов, без амуниции и всех потребностей воинских, и будучи притом совсем нашею армиею отрезан от Шлезии и Саксонии и находясь в таком положении, что и из самых своих провинций не можно было ему получить помощи. И как при всем том путь для нас в Берлин совершенно был отверзт и свободен, то не должно ли было ожидать, что наши непременно такую славную победою воспользоваться и, нимало не медля, пойдут прямо к Берлину и постараются овладеть оным прежде, нежели король соберется опять с силами.

Далее не сомневались почти все, что победа сия послужит к скорому окончанию и войны всей: ибо заключали, что, услышав об ней, не преминут и цесарцы напасть с главною и сильною своею армиею и разбить не-

сравненно слабейшей против них армию принца Гейнриха, а имперская армия не оставит овладеть всею Саксонию, и наконец, и самым Магдебургом и довести короля пруссаго до последней крайности.

Так думали и заключали все и готовились получать вскоре известия за известиями о новых победах и завоеваниях. Мы сами, живучи в Кёнигсберге, всякий день ожидали новых радостных известий и готовились уже заблаговременно поздравлять друг друга со взятием Берлина. Но удивление наше было неописанное, когда прошла неделя, прошла другая, а к нам не только не скакал курьер с известием о взятии Берлина, но мы, напротив того, слышали, что наши и в сей раз поступили по прежнему и старинному своему обыкновению и вместо того, чтоб воспользоваться первыми и драгоценными минутами после одержанной победы, зародовавшись слишком, оныя упустили и до тех пор на месте сражения без всякаго дела и упражняясь в одних только празднествах и торжествах простояли, покуда король собрался опять с силами и с духом и, захватив путь к Берлину, сделал шествие наше к нему невозможным.

Не менее ж и мы и весь свет удивился, услышав, что и господин Даун, сей славный цесарский генерал и опытный полководец, в сей раз был так оплошен, что ничего не предпринял, и не только не напал на принца Гейнриха, но ниже не сделал и движение с своей стороны к Берлину, но вместо всего того за нужное почел наперед повидаться с предводителем нашей армии и согласиться, что делать; и для сего свидание не только сам пошел совсем в противоположную от Берлина сторону, но преклонил и нашего старика с армиею своею вместо Берлина иттить туда же.

Словом, у обоих сих предводителей войск вышла власно некая распря и перебранка. Генерал Даун, услышав, что наш старик был так оплошен, что не воспользовался победою, но все первые и драгоценные минуты упустив, находился в совершенном бездействии, делал ему огорчительные упреки в том, а сей отвечал ему с таким же огорчением. «Я выиграл две баталии, – писал он к нему, – и теперь затем нейду далее вперед, что жду известия о двух таких же победах от вас, ибо несправедливо б было, если б войскам моей императрицы одним только действовать». Станный и удивительный ответ, а не менее странен был и тот, который дал он шведскому министру *Монталамберту*, находившемуся при нем и его всячески убеждавшему иттить вперед и старавшемуся преклонить его к тому тем представлением, что если не пойдет он теперь вперед, то оставит все пло-

ды своей победы цесарцам. Господин Салтыков ответственвал ему на сие: «О! я нимало им в том не позавидую, а желаю всем сердцем получить им еще более счастья, нежели сколько я имел, а я с моей стороны довольно и предовольно уже сделал».

Богу известно, чему приписать можно такая странная и, по-видимому, нимало с благоразумием несообразные отзывы господина Салтыкова: שנравию его, или непростительному упрямству, или трудности, или иным каким причинам? Некоторые из новейших иностранных писателей почитают тому причиною господствовавшее во всех наших русских генералах, а особливо в главных командирах крайнее неудовольствие и досаду на цесарцев. Они говорят, что венский двор сделал ошибку, и вместо того, чтоб командиров сих лично как-нибудь задобрить и привлечь на свою сторону, онный приносил в Петербурге превеликие жалобы сперва на Апраксина, там на Фермора, а наконец, и на самого господина Салтыкова и обвинял кого недоброхотством, кого неспособностию, недеятелиностию и нехотением подкреплять своих союзников. А сим, узнавшим все, сие было огорчительно и досадно, а потому они и не помышляли никогда ревностно австрийцам помогать, и производили с своей стороны лишь столько, чтоб не можно было подпасть ответу, а не более. Венский двор хотя и увидел наконец свою ошибку и старался ее всячески исправить, но сие было уже поздно.

В Петербурге между тем радость о победе, полученной над королем прусским, была чрезвычайная. Граф Салтыков пожалован за нее фельд-маршалом, а князь Голицын – генерал-аншефом. Генерал-поручики обвешены были кавалериями, а всей армии выдано было не в зачет полугодовое жалованье. Не менее награждены были от императрицы и цесарцы. Она подарила Лаудона золотою и богато бриллиантами украшенною шпагою, а каждому австрийскому полку, бывшему на сражении, пожаловала по 5-ти тысяч рублей денег; а для увековечания сего дня выбито было множество приличных к тому серебряных медалей и все воины российские, бывшие на сем сражении, украшены были оными.

Итак, от помянутой недеятелиности нашей и австрийской армии потеряны были все плоды, которые можно б было получить от обеих побед наших; и король прусский между тем, покуда мы производили марши и контрмарши и разгуливали у него по Шлезии, успел опять поправить все свои дела и хотя не получить никаких дальних выгод, но, по крайней мере,

помешать и неприятелям своим произвесть что-нибудь важное. Сии действительно упустили целую осень, как наиспособнейшее к военным операциям время года, без всякого почти важнаго дела. Оба предводителя армий, нашей и цесарской, имели свидание в местечке *Губене*, при котором свидании положили они, чтоб нашим российским войскам не выходить из прусских земель, а остаться в провинциях, лежащих на левом берегу реки Одера, и Даун обязался снабдить нашу армию провиантом и фуражем. Сам же он положил дожидаться, покуда имперская армия возьмет саксонский столичный город *Дрезден*, тогда чтоб ему предпринять осаду города *Нейса* и буде бы осада сия удалась и ему посчастливилось бы обовладеть сим городом, то обеим бы армиям войтить тогда в Шлезию и занять тут свои зимняя квартиры.

Вот какое сделано было у них положение; но счет сей производим был без хозяина. Даун, сделав обещание снабдить нашу армию провиантом и фуражем, того не помыслил, что для армии нашей потребно было великое множество онаго и что толикаго числа ему самому взять было негде, да и доставить к нам было неудобно. Оправившийся король прусский следовал повсюду по пятам нашим и цесарским и старался делать везде помешательство. Осада Дрездена между тем продлилась долго. Армия наша, стояв и дожидаясь долгое время взятъя сего города, на одном месте при *Фирстенвальде*, поела весь свой запасной хлеб и, не получая от цесарцев ничего, не знала, чем себя прокормить. *Лузация*, в которой она тогда находилась, принуждена была в сентябре месяце кормить собою целых четыре армии, то есть нашу, цесарскую и прусских две, а именно ту, которою командовал сам король, и ту, которою предводительствовал брат его принц Гейнрих. По всем сим обстоятельствам и за недоставлением цесарцами обещанного провианта и почувствовали мы первые недостаток в оном. Двор венский, не могши нам доставить оный в натуре, предлагал нам деньги на поупку онаго, но Салтыков отвечал, что солдаты его не едят денег, а им надобен хлеб. А как самого сего не было и брать более было негде, то и поворотил он с армиею своею в сторону к Польше для приближения себя к своим магазинам. Лаудон, получив новое подкрепление, не отставал от онаго и старался всячески убедить его предпринять осаду прусской крепости *Глогау*, и отвратить как можно от прехождение назад чрез реку *Одер*. Но расторопность короля разрушила все сии планы.

Армия наша в соединении с помянутым австрийским корпусом пришла 13 сентября на берега реки Одера с тем, чтобы иттить вдоль по ней до самого Глогава. В сем намерении и отпустила она передовых для занятия лагеря при местечке *Бейтене*, но как удивился авангард наш, когда, по приближении своем туда, увидел оное место уже занятым от короля пруссакого, котораго считали в Шлезии и в отдаленности. Салтыков и Лаудон посмотрели на него издали и не посмели никак атаковать онаго, хотя вся армия его не состояла более, как в 24 тысячах, а они втрое его были сильнее. Несмотря на то, король прусский намерен был защищать Глогау во что б то ни стало, и как он всякий день ожидал от наших нападения, то принуждены были его войска всякое утро становиться в ружье. Однако страх и опасение его были напрасное. Наши не отважились его атаковать, а переправившись неподалеку от Бейтена на другую сторону реки Одера, и разстреляли из пушек мост, боясь, чтоб он не погнался за нами. Они направили стопы свои в сторону к *Бреславию*, но куда ни приходили, везде находили они пруссаков и все пути заставленные ими. Ибо король прусский последовал за нашими и всегда находился вблизи к нам. При сем-то случае являлась наилучшая оказия нам к атакованию и разбитию сей прусской армии наголову, но мы оную по неведению упустили. Короля в самое сие время схватила обыкновенная его болезнь, подагра, и никогда он нас так не трусил, как в сие время, ибо не сомневался, что как скоро мы о сей его болезни узнаем, то не преминем его тотчас атаковать, ибо известно, что он во время сей болезни не в состоянии был никак командовать сам войсками, но претерпевал самое адское мучение: не в состоянии был ни на лошадь сесть, ни возить себя давать. Итак, принужден бы он был ждать своей несчастной судьбины. Но по особенному его счастью, мы о том никак не узнали, а продолжали свой поход; а он между тем велел себя солдатам на руках отнесть в местечко *Кебен*, на реке Одере, и, созвав туда своих генералов, объявил им о жестокости своей болезни, отлучающей его от армии, и сделал им следующее поручение: «Уверьте, пожалуйста, – сказал он им, – моих храбрых солдат, что хотя я в кампанию сию и много несчастья имел, но я не успокоюсь прежде, покуда не возстановлю опять всего в порядок. Скажите им, что я полагаюсь на их храбрость и что одна только смерть может меня отлучить от армии».

Городок *Гернитат* долженствовал служить пределом тогдашняго нашего шлезского похода. Сей не столько искусством, сколько натурою

укрепленный город, занят был несколькими сотнями пруссаков. Граф Салтыков потребовал от коменданта сдачи и грозил сожжением, ежели не сдастся; но как прусский офицер отвечал, что имеет он повеление город защищать, хотя б они и сожигать стали, то сей ответ так разгорячил графа Салтыкова, что он велел тотчас кинуть в него несколько зажига-тельных ядер и все оное превратить в пепел.

Сие было последнее в сей год, и не великой похвалы достойное военное дело. Ибо отсюда повернулись наши прямо в Польшу и пошли к Познани, так что в конце октября не было более ни в Шлезии, ни в Бранденбургии из россиян и австрийцев ни единого человека, а курились только повсюду одни следы наши. И как поход наш продолжался безостановочно, то спросил Лаудон Салтыкова: «Что ж ему с своим корпусом делать?» – «А что хотите, то и делайте! – сказал Салтыков, – а я иду в Познань!» Услышав сие Лаудон и побыв еще несколько дней с нами, принужден был потом в крайнем неудовольствии с нами разстаться и итти назад, в австрийския земли.

Сим образом окончилась наша кампания и в сей год и, к крайнему нашему стыду, опять без получения никакой особенной выгоды, а с потерянением только множества людей и с приобретением только одной пустой славы. Король прусский остался и в конце сего лета столь же нам страшным, как был прежде: и хотя имперцы и взяли у него в Саксонии город Дрезден и цесарцам наконец нечаянно удалось не только разбить, но и совсем в полон взять целый его из 18 000 состоящий корпус с 8-ю человеками генералов и командиром их г. Финком, которого было отправил он для отнятия опять Дрездена, однако все сии выгоды не имели никаких по себе дальних последствий и не произвели в войне никакой перемены. Для короля пруссакого, сколько она ни несчастна была, но он находил средства к подкреплению себя всеми потребностями; так что он при конце лета никак не находил себя доведенным до такой крайности, чтоб просить и домогаться мира. Словом, стечение всех обстоятельств было таково в сие лето, что самой судьбе, как казалось, угодно было, чтоб война сия продлилась еще долее и не так скоро свой конец получила, как все думали и ожидали.

Но я остановлюсь на сем месте и, предоставив повествование о дальнейших военных происшествиях до другого времени, возвращусь к собственной моей истории и расскажу, что, между тем как все сие происходи-

ло в Европе, делали мы, живучи в Кёнигсберге, и в чем препровождали осеннее и зимнее время.

Сие услышите вы в последующем письме, а теперешнее дозвольте сим кончить и сказать вам, что я есмь вам и проч.

ЖИЗНЬ В КЁНИГСБЕРГЕ

Письмо 78-е

Любезный приятель!

Между тем как армия наша возвращалась из своего похода и, расположась на прежних своих квартирах, от трудов своих отдыхала, а командиры помышляли о приуготовлении всего нужного к новому походу и к продолжению войны сей, мы в Кёнигсберге продолжали жить по-прежнему, весело и в удовольствии. Не успела начаться осень и длинные зимние вечера, как возобновились у нас по-прежнему балы и маскарады. Первые бывали хотя и во все продолжение лета, однако не так часто, как осенью и зимою, ибо в сии скучные годовые времена не проходило ни одной недели, в которой бы не было у нас бала и танцов, без всякого праздника или особливаго к тому повода, например, проезда какого-нибудь знатнаго боярина или генерала. Для сих обыкновенно дельваны были у нас балы, а в праздничные и торжественные дни заводились многочисленные маскарады либо у губернатора в доме, либо по-прежнему, для множайшаго простора, в театре. В сем наиболее бывали только маскарады, и мы впервые еще научили пруссаков пользоваться театрами для больших и многочисленных собраний и, делая над всеми партерами вносимые разборные помосты, превращать оные в соединении с театром в превеличайшую залу. Для меня самого было сие новое зрелище, и я сначала не понимал, как это делали, и удивился, вошед в маскарад и не узнавши почти того места, где были партеры. Одни только ложи доказывали прежнее его существование. Но самые сии и придавали маскараду наиболее пышности и живости, ибо все они наполнены были множеством зрителей и всякого народа, котораго набиралось такое множество, что было для кого наряжаться и выдумывать разнообразные одежды. В сих старались тогда все, бравшие в увеселениях сих соучастие, друг друга превзойтить, и можно сказать, что в

выдумках и затеях сих не уступали нимало нам и пруссаки, а нередко нас еще в том и превосходили.

Кроме балов и маскарадов, нередко занимались мы и самым театром. Комедианты не преминули опять, как скоро наступила осень, к нам приехать и увеселяли нас своими прекрасными представлениями, а кроме сих, посетил нас в сию осень и разъезжающий по всему свету эквилибрист, или балансер, и увеселял несколько раз всю нашу небольшую публику на театре показыванием нам своего искусства в фолтижированье и балансировании разном. Сие зрелище было для меня также новое и никогда еще до сего времени не виданное, и я не мог оному довольно насмотреться и надивиться тому, как может человек делать такая удивительные изгибы и перевороты и так правильно держать себя в равновесии.

Итак, судя по частым и разным увеселениям сим, можно было тогдашнюю мою жизнь почесть прямо веселою. Она и была действительно такова и была бы для нас еще и приятнее, если б только генерал наш не посыпал иногда все наши забавы и удовольствия перцем и инбирем и в наилучшие наши веселости не вливал желчи по своему безпутному и до бесконечности горячему нраву. Несчастный характер его с сей стороны не можно довольно изобразить. Я упоминал вам уже прежде о странном и удивительном свойстве нашего начальника, почему почитаю повторять то за излишнее, а скажу только то, что все мы к браням и ругательствам его наконец так привыкли, что не ставили почти оныя ни во что и вместо досады смеивались только, выходя из судейской, и друг пред другом хвастались тем, что более ли или менее раз были в тот день бранены. И к удивлению всех незнающих, посторонних людей, нередко, сидя в канцелярии, спрашивали друг у друга, был ли кто в тот день в канцелярии и сколько раз, что значило: был ли кто в судейской и бранен ли был от генерала. И тогда иной говорил: «Вот, слава Богу, я еще сегодня не был ни разу».

А другой, вздохнув, говорил, что он уже раза три или четыре побывал в оной. Что касается до меня, то я хотя по должности моей и всех прочих меньше имел с ним дела, потому что все мои переводы и бумаги входили в руки к секретарям и советникам, а не к нему, однако принужден был и я пить такую же горькую чашу, как и все прочия, и хотя не так часто, как другие сотоварищи мои, однако претерпевать иногда также брани и ругательства. Поводом к тому бывало наиболее то обстоятельство, что он нередко употреблял меня вместо своего адъютанта. Всякий раз, когда ни

случалось сему прихворнуть, а сие случалось довольно часто, принужден я был нести его должность, а особливо в праздничные и торжественные дни, и, разъезжая по всему городу, развозить поклоны, а накануне тех дней сзывать на бал или на обед все тамошнее дворянство. Сзывания и разсылки сии бывали иногда так велики, что и обоим нам с адъютантом едва доставало времени всех объездить и все нужное исполнить. И при таких-то случаях и терпели мы оба от генерала превеликия иногда брани, ибо как он был не весьма памятливы, то, позабыв, что иное приказал мне, нападает невинным образом на адъютанта; а иногда, приказав что-нибудь ему, а увидев меня, начинает спрашивать о том у меня, и как незнанием станешь оправдываться, то тогда и пойдет потеха, и мы только успевай слушать его брани и ругательства. В самых даваемых приказаниях бывал он как-то не всегда памятливы и постоянен. Часто случалось, что иного он совсем не приказывал, а после взыскивал, для чего было не сделано; когда же ему скажешь, что он того не изволил и приказывать, то бранил и ругал, для чего мы ему того не напомнили. А нам как можно было узнать, что у него на уме и что ему помнить надобно. Словом, взыскивания и брани, а временем и самые ругательства его были столь напрасны и мы претерпевали их столь невинным образом, что имели тысячу причин вовсе оныя не уважать и вместо досады за то всему тому только смеяться, а особливо ведая, что брани сии никакого последствия не возымеют, но генерал, несмотря на все сие, остается к нам столь же благорасположенным, как был и прежде.

Кроме сего, имел я в сию осень паки перетурку¹. Не успела армия возвратиться из своего похода и расположиться на кантонир-квартирах, как полковник нашего полку не преминул возобновить опять требование меня обратно в полк, и от новаго фельдмаршала тотчас прислано было о том повеление Корфу. Сие меня паки перетревожило ужасным образом и тем паче, что от генерала нашего требованы были уже неоднократно переводчики от Сената и присылки оных со дня на день ожидали. Но как сего и по самое сие время еще не воспоследовало, то сие обстоятельство, а сверх сего, благосклонность ко мне и генерала, и всех наших канцелярских и нехотение всех разстаться со мною и помогло мне и в сей раз от армии благополучно отделаться; ибо, несмотря на присланное повеление, ответствова-

¹ От перетурить – перегонять с места на место.

но было, что без меня обойтись никак было не можно, что требуемые переводчики еще от Сената не присланы и что затем я и не отправлен, а оставлен при отправлении моей прежней и важной должности.

Сие удержание меня еще на некоторое время в Кёнигсберге было мне тем приятнее и произвело мне тем больше удовольствия, что чрез самое короткое после того время приехали и отправленные уже давно к нам переводчики. Были все они студенты из Московского университета, и их вместо двух требуемых генералом прислали к нам ровно 10 человек, с тем намерением, что по оставлении из них сколько для губернской канцелярии будет надобно всех прочих отдать нам чему-нибудь учиться. Я вострепетал духом, о сем услышав, и почитал уже то неизбежным, что меня тогда тотчас уже отправят в армию так, как и писано было к фельдмаршалу. И мне не миновать уже бы того и действительно, ибо и генерал, и оба советники наши уже помышляли о том и говорили уже с первым секретарем нашим, если б не помешало тому бездельное и, по-видимому, ничего не стоящее обстоятельство и не помогло к тому, что я, несмотря и на сие, оставлен был еще на несколько времени, к неописанной моей пользе, в Кёнигсберге. Обстоятельство сие было следующего рода.

Помянутому первому секретарю нашему г. Чонжину случилось где-то и каким-то образом увидеть сестру того несчастного плавского почтмейстера *Вагнера*, который сослан был по некоторому подозрению от нас в тайную канцелярию в Петербург, а оттуда уже в Сибирь в ссылку отправлен и который, чрез изданное после о себе в свет жизнеописание, сделался всему свету известен. Девушка сия была тогда лет восемнадцати и собою хотя не красавица, однако и недурна. Как бы то ни было, но она имела счастье или несчастье помянутому секретарю нашему понравиться и его так собою очаровать, что она не сходила у него с ума, и он положил во что б то ни стало, а преклонить ее к себе к любви, что ему каким-то образом и удалось. Я всего того не знал и не ведал, ибо как я и в разсуждении самого себя всего меньше о таких делах помышлял, то о постороннем заботиться и узнать мне и того меньше было нужды, а сделалась мне сия любовная интрига потому только известна, что как секретарь наш не умел ни одного слова по-немецки, а она по-русски, а обоим им нужно было почти всякий день переписываться или посылать друг к другу небольшие записочки или билетцы. Секретарю же нашему хотелось дело сие производить сколько-нибудь скрытнее, потому что он был уже женат и тогда в скором

времени ожидал приезда к себе и жены своей, то и нужен был ему в сем случае посредник, который бы его записочки переписывал на немецком языке для отправления к ней, а ее, присылаемые к нему, переводил ему на русский. И кому иному можно было комиссию сию исправлять, как не мне? Он на меня ее уже за несколько времени перед тем и навалил, и не хотевшего того сперва делать и входить в такие глупые и дурные сплетни умел убедить своими просьбами и обещаниями заслужить мне то самому впредь, что я наконец волю его, хотя с крайним нехотением и всегдашним негодованием, и согласился выполнять и, переводя их небольшие, но можно сказать с обеих сторон наиглупейшия записочки, делал ему превеликое удовольствие.

Как бы то ни было, но услуга сия мне крайне сгодилась при помянутом случае; ибо как секретарю нашему с сей стороны я сделался крайне нужным, то и не хотелось ему никак отпустить меня в полк, но он, имея в генерале великую силу, стал и без всякой моей о том просьбы и домогательства генералу представлять, что меня отпустить еще никак не можно, потому что из всех 10-ти человек присланных к нам студентов, по деланным испытаниям всем оным, не нашелся из всех их ни один, который бы мог сколь-нибудь исправлять то, что исправляю я в канцелярии, но что все они столь мало умеют по-немецки, что их надлежало еще отдавать сему языку учиться.

Сие было отчасти и сущая правда, ибо они все хотя и учились в Москве по-немецки, но, не имея практики, казались столь незнающими, что сначала и подумать было не можно о употреблении их в переводческую должность; хотя им чрез самое короткое время можно б было сделаться к тому способными, как то после и оказалось, но на тогдашний случай могло мне их незнание. Генерал сам, испытав их несколько и увидев то же, тотчас на представление секретаря согласился, и я оставлен был по-прежнему, а господам студентам велено было приискывать себе учителей и места, где бы им и чему учиться, что они и не преминули сделать и чрез короткое время разобрались по разным профессорам, и иные стали штудировать философию, иные медицину, некоторыя физику, а иные металлургию и так далее, а я остался опять один в канцелярии исправлять должность толмача и переводчика.

Вместе почти с ними приехали к нам для отправления письменных дел в канцелярии нашей и два юнкера, господа *Олины*. Они присланы

были к нам на место отбывшего от нас секретаря Гаврилова, и были оба ребята молодые и родные братья между собою. Одного из них звали Яковом Ивановичем, а другого Александром. И как они сделались во всем нашими сотоварищами и приобщены были к свите генеральской и с нами не только всякий день вместе сидели и писали в канцелярии, но и обеживали у генерала, то и надобно мне сколько-нибудь упомянуть о их характерах.

Как оба они были дети какого-то богатого секретаря, но имели уже офицерские чины, то и вели они себя совсем не на подъяческой, а на дворянской ноге и якшались не с подъячими, а с нами. Оба они были еще не стары, и старшему не более 21 года, а другой был моложе его одним только годом. Оба весьма не глупы, но, кроме русской грамоты, оба ничего не разумели. Старший из них вел себя не только отменно чисто, но в скором времени сделался у нас почти первым щеголем и смешным и несносным петиметром¹. Будучи собою недурен, возмечтал он о себе, что он великий красавец, и стал не только проживаться совсем на уборы и щегольство, но, что всего смешнее, вздумал еще высокомериться собою и почитать себя и умнее всех на свете. Сие вооружило нас на него всех, ибо, сколько мы его не любили, но нам его высокомерие было несносно и мы, вместо искомого им себе от всех уважения, ему внутренно только смеялись.

Что касается до его брата, то сей был совсем отменного и лучшего характера: тих, дружелюбен, скромен, ласков, низок² и столь склонен к узнанию всего того, что ему было неизвестно, следовательно, способен к научению себя всему, что мы его все любили. А особливо у меня с ним возстановилось скоро особое дружество, которое со временем так увеличилось, что мы были наилучшими друзьями и препровождали время свое наиболее вместе.

Вскоре после того перетревожены мы были однажды в самую глухую и темную осеннюю ночь пожаром, случившимся у нас в нашем вновь основанном монетном дворе. Как оный был неподалеку от замка и на самой той улице, где я имел свою квартиру и от меня недалеко, то перетревожен я им был в особенности и принужден был в полночь вставать, одеваться, бежать на сей пожар и помогать его тушить прочим. По особливому счастью, удалось нам не допустить его до усилия, но потушить в самом еще почти начале; однако не прошло без того, чтоб не распропало при том

¹ Французское – пижон, фат.

² Скорее всего, в смысле – незаметен.

множество делаемой нами новой монеты как готовой, так и не в отделанных еще кружках, которыхя принуждено было выносить все вон и таскать насыпанными вверх лотками. Сам наш генерал был на сем пожаре и не меньше всех нас старался о скорейшем погашении онаго, поелику от сгорания монетного двора зависела великая важность.

Другой пожар, воспоследовавший через несколько дней после сего, был еще того важнее и хотя утушен также при самом еще своем начале, но навел нам премножество хлопот. Случился он быть в самой нашей канцелярии и также в глубокое ночное время, когда никого из нас в канцелярии не было, а одни только сторожа сидели в подъяческой и дожидались, покуда выйдет из судейской советник наш, господин Бауман, который, по многоделию своему и по прилежности, нередко просиживал один-одинехонек и прописывал до самой полуночи. Но в сей раз господя сторожа наши как-то оплошали и не слышали, как он из судейской вышел, ибо из оной были двери особья в генеральские комнаты, где он живал, но, считая его все в судейской, не озабочивались нимало и об оной и о свечах, господином Бауманом оставленных горящими; да и он как-то в сей раз оплошал и вышел вон, не позвонив и не приказав сторожам потушить свечи. Но как бы то ни было, но случилось так, что от одной свечи отстрекнул кусочек горячей еще свечильни и, по несчастью, попал на лежащая на столе во множестве разные бумаги. Сии тотчас начали от сего гореть и полыхать и в немногия минуты наделали столько дела, что нам целую зиму досталось много потрудиться. Целая половина стола с превеликим множеством накладенных на него важнейших бумаг, полученных не только от фельдмаршала и других генералов, но и от самого двора и от Сената из Петербурга, сгорели, отчасти все, отчасти наполовину, и вся судейская наполнилась таким множеством дыма, что в нее войтить было не можно. К особливому несчастью, сторожу, сидевшему в подъяческой, случилось в самые сии минуты вздремать, и он до тех пор не узнал о сем пожаре, покуда чадом и смрадом не наполнилась уже отчасти и подъяческая и оный не разбудил его, дремавшего. Тогда бросился он в судейскую и вострепетал, увидев всю ее наполненную дымом, а судейский стол весь в огне и в пламени. Он бросился тушить и поднял такой крик, что перетревожил всех в замке. Сам генерал, услышав о пожаре сем, прибежал туда без памяти, и его столько сей случай раздосадовал, что он занемог от сердца.

Но, признаться надобно, что и было за что сердиться, ибо погорело множество преважных бумаг и, между прочим, немало и таких, по которым требовалось скорое исполнение, а тогда и исполнять было не по чему. Важны также были и рескрипты императрицы, и генерал наш неведомо как боялся, чтоб о пожаре сем, происшедшем от единой оплошности, не дошло сведения до самой императрицы, и тем паче, что на место сгоревших нужно было получить рескрипты новые. Но по особливому его счастью, всею тогдашнею так называемую *конференцию*, или верховнейшим нашим государственным советом в Петербурге, из котораго разсылались всюду рескрипты или именные указы и подписываемы были не самою императрицею, а членами сего совета, управлял тогда свояк его, великий канцлер *Воронцов*, и он мог его чрез письма убедить прислать на место всех сгоревших рескриптов копии с отпусков оных. А таким же образом, чрез дружеские и просительные письма, достал он копии с отпусков и других важнейших бумаг, полученных от фельдмаршала и других особ важнейших; прочия же сгоревшие бумаги принуждены были все мы заменять своими трудами и заняться несколько недель сряду все безпрерывным писанием.

Впрочем, сей случай побудил нашего генерала на предбудущее время принять лучшие меры для предосторожности и для отвращения подобных сему бедственных происшествий. Он приказал с сего времени, чтоб всем нам, канцелярским членам, по очереди в канцелярии дежурить и чтоб дежурным не только не отлучаться ни на один час днем из канцелярии, но чтоб и ночевать в оной, и тем паче, что последнее весьма нужно было и по причине проезжающих очень часто и в армию и из армии курьеров. Все они являлись обыкновенно к нам в канцелярию и завозили письма, а для сих нужно было, хотя бы то случилось в самую полночь, иттить к генералу и его будить, если б найтить его спящим.

Но самая сия предосторожность едва было не произвела у нас в канцелярии другого пожара, и сей чуть было не произошел нечаянным образом от самого меня. Причиною тому было самое помянутое дежурство, которое должен был и я отправлять наряду с прочими. Все мы обыкновенно спали в судейской, приказывая приносить туда свои постели. Итак, однажды как мне случилось тут ночевать и для бывшей тогда стужи приказать постелю себе постлать на стоящем подле самой печи сундуке, то каким-то образом свисла тулупа моего, которым я одет был, одна лапа в

узкий промежуток между печью и сундуком. Печь сия была кафельная, тонкая, горячая до самого полу и топилась, по немецкому обыкновению, из сеней. И как сторожу нашему, по причине тогдашней стужи, вздумалось встать гораздо поранее и судейскую натопить еще до света, и он нимало не пожалел дров и наворотил ими ее до самого свода, то она, будучи тонкою, так раскалилась, что пола моего тулупа тотчас зачала и, начав гореть, зажгла и простыню, и пуховик самый. Я, не зная того и не ведая, продолжал себе спать крепким и приятным сном и прожег бы благополучным образом и бок себе, если б также не услышал смрада и вони стоящий часовой в сенях и не сказал сторожу, чтобы он посмотрел, отчего так воняет. И сейто, прибежав и не меньше прежнего насмерть испугавшись, разбудил уже меня, не менее сего странного случая испужавшегося. Но, по счастью, кроме моего тулупа и простыни, не сгорело ничего; и случилось сие так рано, что мы успели выпустить в двери смрад и заглушить его так курительным порошком, что никто о том, кроме секретарей наших, не узнал, которых, любя меня, не захотели доводить дела сего до нашего бешеного генерала, от которого и без того несколько дней сряду перед тем принужден я был, совсем невинным образом, терпеть ежедневно брани и гонку.

Повод к тому подавало неудовольствие, сделанное нашему генералу от зимовавшего тогда у нас в Кёнигсберге и командовавшего всеми тут бывшими батальонами генерала графа Петра Ивановича *Панина*. Не знаю, каким-то образом и чем-то таким проступился он против нашего генерала, с которым до того была у него всегдашняя дружба. По наружности дело касалось только до квартир, но мы, по великости происшедшей между ними за сущую безделку ужасной ссоры и распри, заключили, что надлежало быть какой-нибудь потаенной еще причине. Но как бы то ни было, но мне, по несчастию, случилось быть переносчиком делаемых обоими ими друг другу немилосердных браней и ругательств; ибо как адъютанту нашему случилось в сие время занемочь, то принужден был я, исправляя его должность, несколько дней сряду, и раза по два и по три в день, ходить к помянутому генералу и переносить от генерала нашего к нему, а от него к генералу нашему такая комплименты, какими истинно едва ли и сами бурлаки и фабричные друг друга когда потчивают. Словом, препоручения сии составляли тогда для меня не только наитруднейшую, но тем и досаднейшую комиссию, что я принужден был со стороны, и за чужие грехи, терпеть от генерала нашего брани и ругательства, ибо всякий раз, посылая

меня к господину Панину, приказывал сказывать такой нескладный и до бесконечности обидный для того вздор, какого без смеха слышать было не можно, и, отпуская, накрепко приказывал пересказывать ему все дело точно такими словами, то, подумайте сами, можно ли мне было выполнять в точности его повеление и ругать армейского и тогда очень важнаго генерал-поручика самыми скверными браньями? Нет, я сего никак не делал, но, идучи всякий раз к нему, во всю дорогу вымышлял и выдумывал умереннейшия и такие выражения, которыя хотя бы и неприятны были сему генералу, но не так бы могли его сердить. Все мое студирование оставалось почти всякий раз бесполезным, ибо как и сей в перебранках не менее того был вспыльчив, бешен и горяч, то как ни позлащал я присылаемые к нему пилюли, но он не успевал их увидеть, как приходил в сущее бешенство и в тот же миг насказывал мне столько нелепых браней и ругательств для обратнаго пересказывания господину Корфу, что я не в состоянии бывал и десятой доли их упомнить. Да правду сказать, я о том всего меньше и старался, ибо сколько и сей не оставлял мне раз по пяти подтверждать, чтоб ответ его пересказан был генералу моему точно теми словами, какими он говорил, однако у меня и на уме того не было, а я и его ответы также переливал в другую и лучшую форму. Но несчастье мое было то, что иногда не можно было никак столь искусно перелаживать на иной лад, чтоб не могли они с обеих сторон догадаться, что я не все то пересказываю, что приказываемо было, или пересказываю совсем инако, а за сие самое и терпел я от моего генерала ужасные брани и ругательства. Но я хотел охотнее переносить невинным образом сам, нежели точным пересказыванием всех их речей ссору их увеличивать еще более и в пламя оной подливать еще масло и спирт и доводить их до вражды смертельной между собою; а я разсудил за лучшее лить в пламя сие воду и оное тушить и уменьшать стараться, в чем и удалось мне успеть к собственному моему, а не менее и к обоюдному их удовольствию. Ибо, как выдумывая для пересказывания им умереннейшия и менее обидныя слова, помышлял я сам собою и о том, какими бы уступками друг другу и чем бы удобнее можно было им распрю сию прекратить, то, походив помянутым образом взад и вперед, решился наконец я преподать им к тому мысли, всклепав, будто бы я слышал то хотя не от самого генерала, а от других, при нем находящихся; а сею выдумкою мало-помалу и посократил их взаимную друг на друга досаду и огорчение и побудил наконец действительно сделать друг

другу будто желаемыя ими самими снисхождения, а в самом деле мною, единственно для пользы их и прекращения ссоры их, выдуманнные и им искусно предложенныя, и через самое то прекратить их ссору.

Но я удалился уже от повествования о наших пожарах и, возвращаясь теперь к ним, скажу, что вышеупомянутым третьим, случившимся у нас в канцелярии, дело еще не кончилось, но они были на нас в сию осень и зиму власно как напущенные. И после сего случился еще один и хотя не правской, а почти совсем ложный, но произведший по себе пагубныя и весьма печальныя последствия.

Случилось сие в один зимний воскресный день и в самое то время, когда генерал наш, по случаю бывшего в тот день викториального праздника, давал превеликий стол всем лучшим в Кёнигсберге находившимся особам и сидел с ними еще за обедом, хотя уже час третий был после полудня. Впереди, описывая замок сей, в котором жил тогда наш губернатор, между прочим упоминал я, что весь задний фас онаго, противоположный тому, где жил губернатор, составляла превеликая и огромная кирка, или немецкая церковь. Как в приходе у оной были все лежащая вокруг замка кварталы, то и собиралось в кирку сию в каждое воскресенье и в каждый праздничный и торжественный день превеликое множество обоего пола народа, сколько для отправления Божественной службы, а наиболее для слушания проповедей, которыя тут, как в главной церкви, сказываемы были всегда хорошия, и гораздо лучшия, нежели в других местах. И кирка сия была так счастлива, что всегда набита народом, и не только по утрам, но и после обеда, ибо надобно знать, что у лютеран в праздничные дни бывает и после обеда такая же служба, как и до обеда.

Сим образом случилось и в сей раз кирке сей и вторично уже быть наполненною превеликим множеством людей обоего пола и состояний различных, ибо было тут сколько низких и подлых, а того еще более зажиточных и хороших кёнигсбергских жителей. К вящему несчастью, имели все они особливую побудительную причину сойтиться в нее в сие послеобеденное время. За год до того случилось одному из тутошних пасторов и любимейшему всеми ими, говоря проповедь, завраться и проболтать некоторыя неприличныя слова против нашей императрицы. О сем узнало тотчас наше правительство, и пастор сей терпел за то превеликое истязание и целый год находился под арестом и под следствием. Все считали его погибшим, но монархине нашей, по милосердию своему, угодно было вину

его простить, и повеление о выпуске его из-под ареста получено было дня за три только до сего времени. И как всем прихожанам и всему городу сделалось сие известным, а равно и то, что он в сей день после обеда вознамерился было тут на кафедре и сказывать проповедь, то обратился почти весь город и собрался для слушания сей проповеди. Но что ж и какое несчастье случись во время самой оной?

У кёнигсбергских зажиточных жительниц есть обыкновение в зимнее холодное время носить с собою в церковь особливые медные и наподобие плоских ларчиков сделанные сосудцы, наполненные жаром. Сии сосудцы, или согревательницы, усевшись в своих лавках, становятся они у себя под ноги и под подол, и как они и сверху и с сторон делаются скрытыми, то опасности от огня быть не может, а тепла производят они собою много и согревают с избытком нежных пруссачек. Сим образом было и в сей раз множество женщин с таковыми точно медными и прекрасными коробочками, наполненными жаром, в сей кирке. И неизвестно уже заподлинно, по какому собственно поводу случилось одной из сих женщин, сидевшей посреди самой церкви во время продолжения проповеди, которую слушали все с великим вниманием, обратиться к соседке своей и, заворотившись, молвить словцо «*фейер*», что на нашем языке собственно значит «огонь». Обожглась ли она о свою коробочку, растворилась ли она и высыпался ли из ней жар, или так хотела она соседке сказать, что огонь в коробочке ее потух, – всего того заподлинно неизвестно, да и допытаться того в точности после не могли; а довольно только того, что упомянутое выговоренное ею словцо услышали многие и другие, и из единого любопытства стали друг у друга спрашивать, что б такое сделалось, и повторять словцо сие в тихих разговорах между собою. Как произошло от того небольшое шушуканье и друг у друга спрашивание, то к, особливому несчастью, и разнеслось слово сие в единый миг по всей церкви, и весь народ начал твердить: «*Фейер! Фейер!*» Теперь надобно знать, что самым сим словцом на немецком языке означают и пожар, и как в случае и пожара говорится у немцев только «*фейер, фейер*», то незнающие и не видавшие помянутого самого дела и возмечтали себе, что всеми говорено тогда было о сделавшемся в той церкви пожаре. Мысль сия вдруг поразила весь народ сперва смущением, а потом неописанным страхом и ужасом. Все, власно как смолвившись, в один голос закричали: «*Фейер! фейер!*» или: «*Пожар, пожар!*»

И все, повскакав со своих лавок, побежали опрOMETRYю к дверям и выходам церковным. Сих выходов было только два, простирившихся на площадь, внутри замка находящуюся, но оба они были столь просторны и имели пред собою хотя высокие сходы по ступеням, но столь спокойные и широкие, что без всякой нужды и в самое короткое время можно б было и из церкви выйтить всем, если б сколько-нибудь наблюдать порядок и не так спешить, как тогда все, сами не зная для чего и, прямо сказать, без ума, без разума, спешили и самым тем произвели в обоих дверях и на обоих крыльцах такую тесноту и давку, какой себе никак вообразить не можно. А как от некоторых глупцов и бездельников разнеслась и та еще молва, что под церковью все погреба наполнены от русских порохом и что хотят подорвать всю кирку и с пастором их на воздух, то сколь вранье сие ни было сумасбродно и ни с чем не согласно, однако оно увеличило даже до того страх и ужас всех находившихся в церкви, что сии стали уже силою продавливать всех сквозь двери и чрез самое то, повалив множество людей, с крыльца сходящих, бросились сами бежать вон по упавшим без всякого разбора и рассмотрения. А другие, и особливо находящиеся на хорах и котрым несколько лестниц сходить надлежало, так перетрусились и перепугались, что, не надеясь сойтить вниз по лестницам и выйтить дверьми из церкви, прыгивали с хор вниз на пол; а иные, перебив окончины¹ в окнах церковных, начали из них, несмотря на всю ужасную высоту, вниз по стенам на ближние кровли и на землю спускаться и от поспешности упадать, ломая у себя руки и ноги. Словом, смятение и давка, соединенная с шумом и криком, сделалась неописанная, и вопль, произносимый и выбегающими, и паки в церковь обратно для спасения сродников своих бегущими, сделался столь громок, что достиг до ушей самого генерала нашего, пирующего с гостями своими в зале. И как ему на вопрос: «Что это такое?» донесено было, что весь народ бежит что-то в безпамятстве из церкви, и в тот же еще миг другие прибежные доносили, что в кирке сделался пожар, то все сие, а особливо то, всем нашим довольно известное обстоятельство, что под церковью сею в погребах действительно установлены были наши патронные и артиллерийские ящики и находилось в погребах сих множество пороха, так, как в цейхгаузе и в магазине, так смутило и устрашило всех пировавших, что они все повскакали с своих мест и опрOMETRYю побе-

¹ Стекла.

жали вниз и чрез площадь к дверям церковным, куда подоспела между тем и вся гауптвахта. Но ни она, ни мы все и ни самый генерал не мог ничего сделать с сим перепугавшимся и власно как с ума сошедшим народом. Ничто и никакия уверения, что пожара не было и нет никакого, не помогали нимало, а мы принуждены были дать волю странному происшествию сему кончиться само собою и слухи свои обратить к жалким воплям и стенаниям всех тех, кои имели несчастье в сумятице сей претерпеть какое-нибудь повреждение. Многие, выпрыгивая в окна, переломали себе руки и ноги; другие претерпели превеликие толчки и давление в тесноте бывшей; у иных разорвано было платье, иные в кровь изранены; многие растеряли свои шляпы и трости и другие вещи; а иные, попавши под ноги бегущим, были немилосердно изуродованы и так раздавлены ногами, что лежали почти без движения. А одна молодая девушка была так несчастна, что в тесноте задавили ее, упавшую и попавшую под ноги бегущим, совершенно до смерти. Сие несчастье поразило всех нас крайним об ней сожалением. И сожаление сие увеличилось еще более, когда услышали мы, что она была не кёнигсбергская жительница, а приезжая из уезда в гости к родственникам своим, и была одна только дочь у отца и матери и не только собою очень недурна, но хорошаго воспитания и добраго поведения и нрава. Бедные родители ее были безутешны о ее потере, и не только они, но и многие из зрителей не могли удержаться от слез, когда повезли ее от нас из замка.

Сим окончу я сие мое уже слишком увеличившееся письмо. И как сим приключением окончился и 1759 год, то в будущем расскажу, что происходило со мною в последующем за сим годе, а между тем остаюсь ваш и прочая.

КЁНИГСБЕРГ

Письмо 79-е

Любезный приятель!

Как Святки, так и начало 1760 года праздновали мы обыкновенным образом – многими увеселениями, и генерал наш, будучи до них охотник, а сверх того для любовных своих интриг с графинею Кейзерлингшею имея

в том нужду, в сей раз не удовольствовался даванием у себя несколько раз больших обедов, а по вечерам балов и маскарадов, но восхотел еще в Новый год увеселить всех своих знакомых и друзей, а вместе с ними и всю кёнигсбергскую публику иллюминацією как таким всенародным зрелищем, которое в немецких городах бывает очень редко. И потому, хотя вся сия иллюминация ничего почти не значила и была самая маленькая и иллюминирована была тогда только решетка и ворота двора, перед замком находившегося, но для пруссаков было уже и сие в великую диковинку, и народ, собираясь в великом множестве, не мог ей довольно насмотреться и ею довольно налюбоваться.

Впрочем, как всю ее делали не наши, а тамошние мастера и жители, то имел я случай видеть, как делаются иллюминации в землях иностранных и какая превеликая разница находится между их иллюминациями и нашими. У них совсем не употребляются ни разными красками раскрашенные фонари, из каких у нас составлялись в тогдашния времена наипрекраснейшия иллюминации, ни такая глиняныя и салом налитыя плошки, из каких делаются у нас простые иллюминации; но вместо сих наделано было из жести несколько тысяч маленьких ночников или плоских лампадцев, и все они наливаны были маслом конопным, и горело не сало, а масло. Сими установлены были все каменные столбы решетки, также и сама она по прибитым еловым брусочкам и по укрытии наперед всех столбов и решетки еловою хвоею или ветвями, а на верхушках столбов утверждены были хрустальные шары, наполненные разноцветными подкрашенными водами. И как позади шаров сих поставлены были также помянутыя жестиныя плошечки, то и казались они какими-то драгоценными круглыми камнями, и хотя делали вид, но очень малый и почти неприметный. Самые же ворота заставлены были прозрачною и по холстине намалеванною картиною, но сработанною столь с намерением сим несогласно и дурно, что вся она не заслуживала ни малейшаго внимания; и как из сей картины и помянутых плошек и десятков двух помянутых стеклянных шаров состояла и вся иллюминация, то и вся она не составляла дальней важности.

Вскоре засим имел я удовольствие видеть одного гишпанского знатнаго боярина, проезжавшаго через Кёнигсберг полномочным послом к нашему двору. Начитавшись в книгах о гишпанских знатных господах, не сомневался я, что найду его и в натуре таковым, каковым изображало мне его мое умоваображение; но как удивился я, пришед к нему от генерала

нашего с поздравлением и с поклоном и нашед маленькаго, сухощаваго, ничего не значащаго человекенца и притом еще обритаго всего со лба до затылка чисто-начисто и умывающаго в самое то время не только лицо, но и всю свою обритую голову превеликим шматом¹ грецкой губки! Зрелище сие было для меня так ново и так поразительно и смешно, что я чуть было не разсмеялся; но, по счастью, господину маркизу того было неприметно, ибо при входе моем сидел он на стуле, держал пред собою великий таз с намыленною водою, а камердинер его, ухватя в обе руки помянутый шмат грецкой губки, тер ему изо всей силы и лицо и всю голову, и тот только что поморщивался. «Ну, нечего сказать! – подумал я сам себе тогда. – Что город, то норов, и пословица сия справедлива».

Посол сей ехал к нам в Петербург от новаго гишпанского короля с извещением о вступлении его на престол, и мы приняли и проводили его с приличною сану его честью.

Между тем делались у нас повсюду приуготовления к новой с наступлением весны кампании и продолжению войны нашей, которой конец был никем непредвидим. Все невоюющия державы хотя и прилагали возможнейшия старания о прекращении сего военного пламени, которое начинало уже всем наскучивать, и хотя с стороны Англии и короля прусскаго уже деланы были стороною некоторыя предложения, что они не отреклись бы вступить в мирные переговоры, если б неприятели их к тому согласились, а старик, польский отставной король *Станислав Лещинский*, уже предлагал и место пребывания своего город *Нанси* для мирнаго конгресса, и голландцы с своей стороны предлагали к тому же город *Бреду*, а другие предлагали для сего конгресса город *Лейпциг*, однако все переписки, сношения и переговоры о том, продолжавшиеся во всю зиму, были безуспешны и в апреле совершенно все пресеклись, так что не осталось ни малейшей надежды, чтобы мог в сей год воспоследовать мир в Европе.

Причиною тому полагают наиболее то, что императрице нашей, ненавидевшей лично короля прусскаго, хотелось удержать за собою захваченную Пруссию, а цесареве хотелось неотменно возвратить себе назад и завоевать всю Шлезию; а для них не соглашались мириться и французы, которыя управляемы тогда были любовницею королевскою, маркизою *Помпадуршею*, и министром их *Шоазелем*, кои оба преданы были цесареве.

¹ Куском.

И как у обоих наших дворов и на уме не было в сей год мириться и лишиться потерянных уже толь многих тысяч людей и толь многих миллионов денег без всякого приобретения и пользы, то и не преминули они в течение зимы сделать все нужные к продолжению войны приуготовления. У нас учрежден был новый и многочисленный рекрутский набор, и множество новых и старых солдат отправлено было в Пруссию для укомплектования полков, претерпевших урон в последнюю кампанию. Приглааемы были также возможнейшия старания о запасении армии и всего войска довольным количеством провианта и фуража, а артиллерию – амунициею и всеми нужными припасами. Фельдмаршал *Салтыков* призван был в Петербург, осыпан милостями и благодеяниями от императрицы. С ним держаны были советы о будущей кампании и, по расположении с ним всех нужных мер, отправлен он был паки в армию и с ним многие генералы: а в том числе и вымененный из прусскаго плена генерал-поручик граф Захар Григорьевич *Чернышов*, ибо договор о размене с обеих сторон пленных заключен был у нас с пруссаками еще осенью в померанском местечке *Бютове*.

Все сии генералы, как в Петербург, так и обратно в армию, проезжали чрез Кёнигсберг и для всех знаменитейших из них деланы были генералом нашим пирушки. Всякаго из них старался он наивозможнейшим образом угостить и всякаго привлечь к себе в дружбу, в чем весьма много и успевал чрез сие средство.

А какия делали приуготовления мы, – такия же, или еще множайшия, деланы были и от цесарцев; для сих продолжение войны было еще нужнее, нежели для нас, ибо у сих Шлезия их не выходила из ума и они собирались воевать за нее до самой крайности.

Что касается до короля прусскаго, которому подобные сему приуготовления были еще нужнее, нежели нам, потому что он в минувшую кампанию порастерялся и деньгами и людьми, то ему делать их не таково легко было, как нам. Собственные земли были его не слишком велики, а притом уже отчасти поистощены, а чужих, кроме Саксонии, никаких в руках его не находилось; итак, принуждена была бедная Саксония за все про все ему ответствовать и снабжать его и людьми, и деньгами, и хлебом, и всеми другими потребностями. И каких, и каких посягательств он на сию бедную землю в сей год не делал! Один город *Эрфурт* принужден был поставить 400 человек рекрут, 500 лошадей и 100 тысяч талеров деньгами, а

Наумбург заплатить 200, *Мерзебург* – 120, *Цвикау* – 80, *Хемниц* – 215, все города Тюрингского округа 1 миллион 375 тысяч талеров. Конtribusiция одного города Лейцига простиралась до 1 миллиона и до 100 тысяч талеров, а весь Лейпцигский округ должен заплатить 2 миллиона деньгами и поставить 10 тысяч рекрут, несколько сот тысяч шефелей хлеба и многия тысячи лошадей с великим множеством рогатаго скота. Сверх того, все наилучшие в *Саксонии* леса были срублены, и лес и дрова богачам распроданы или вниз по *Эльбе* в *Гамбург* сплавлены, а со всех арендаторов казенных деревень вынуждены собрать оброчные деньги за целый год вперед.

Сими и подобными сему насильственными средствами накопил себе король прусский довольно денег. Но не так легко можно было ему снабдить себя людьми из Саксонии; сколько ни натаскал он себе рекрутов, но количество оных далеко не в состоянии было заменить ему урон в них, в минувшее лето претерпенный. Сие произвело новую вербовальную систему, какой никогда и нигде еще до того времени не бывало. Все пленные из всех неприятельских армий деланы были насильно прусскими солдатами. Не было спрашивано, хотят ли они служить или нет, но их силою привлекали к прусским знаменам, где принуждены они были присягать и потом против своих одноземцев драться. Вся *Германия* наполнена была такими прусскими вербовальщиками. Большая часть из них не были совсем офицеры, но нанятые *проходимцы*, употребляющие всевозможныя выдумки и хитрости к уловлению глупых и неопытных молодых людей в свои сети. Один прусский полковник, по имени *Колиньон*, человек самую натурою к сему делу образованный, был их повелителем и наставником в сем деле собственным своим примером. Он разъезжал всюду и всюду в переменных платьях и разных видах и целыми сотнями подговаривал людей вступать в прусскую службу. Он не только делал обещания и посулы, но раздавал даже самые патенты на поручицкие и на капитанские чины в прусской армии, и прельщал ими многих молодых повес из студентов, лавочных сидельцев и других тому подобных людей, отдавая всякому на волю избирать пехоту ли, или конницу, или легкое гусарское войско. Слава пруссакаго войска была так велика и молва о получаемых им добычах так прельстительна, что Колиньонова патентная фабрика в непрерывной была работе. Ему не было нужды ни о транспорте, ни о прокормлении, ни о снабдении задатками своих рекрут иметь попечение, но все его рекруты на бо́льшую часть на собственном своем иждивении отправлялись

в Пруссию. Множество негодяев сыновей во *Франконии*, в *Швабии* и на реке *Рейне* окрадывали своих отцов и матерей; сидельцы и прикащики – своих хозяев, управители и казначеи – свои конторы, для отыскивания великодушных прусских офицеров, дарящих всякаго целыми ротами, как калачами. Они поспешали все с офицерскими патентами своими в *Магдебург*, но тут принимаемы они были, как простые рекруты и неволею по полкам распределяемы. Не помогали тут никакия споры и сопротивления, но палки до тех пор на спинах работали, покуда оказывалось совершенное послушание и во всем повиновение. Сим и подобным сему образом доставил Колинъон с своими помощниками королю в течение войны сей более 60-ти тысяч рекрут.

Впрочем, план военным в сие лето действиям, учиненный между всеми союзными державами, имел наиглавную целию то, чтоб короля прусскаго принудить опростать либо отдать Саксонию, либо Шлезию. Наш и цесарский двор не скоро на предложение сие согласились, но и мы и цесарцы помышляли более о приватных своих выгодах. Французам хотелось, чтоб мы в сей год осадили город *Штетин* в Померании. *Салтыкову* же хотелось войну вести вдоль подле морских берегов в Померании, и он настоял, чтоб овладеть сперва *Данцигом*. Король *Август* просил, чтобы свободить как можно скорее Саксонию из рук короля прусскаго, австрийцы помышляли только о завоевании Шлезии. Наконец, предложения сих последних одержали верх, и Салтыков получил повеление иттить с армиею своею в Шлезию и осадить Бреславль. Сей план почитали в Петербурге наилучшим и совершеннейшим, хотя и был тот недостаток, что армия наша не имела при себе ни осадной артиллерии, ни снарядов. Но сими хотели уже снабдить нас цесарцы из Богемии.

Сим образом вооружалась и приуготовлялась вся Европа к новым в сей год кровопролитиям, которыя тотчас и начались, как скоро весна наступила; но я возвращусь на время к продолжению собственной своей истории.

Между тем как армия и правительство помянутым образом приготавлились к новым военным действиям, мы продолжали жить по-прежнему в Кёнигсберге и все праздное время, остающееся от дел, употреблять на увеселения разнаго рода. Что касается собственно до меня, то мне с 7 октября минувшаго года пошел уже двадцать второй год моей жизни, и я начинал уже мыслить постепеннее прежняго. Характер и склонности мои

час от часу развертывались и означались более. Охота моя к литературе и ко всем ученым упражнениям не только не уменьшилась, но со всяким днем увеличивалась более, и можно было уже ясно видеть, что я рожден был не для войны, а для наук и что натура одарила меня в особенности склонностью к оным. И самая отменная склонность сия причиною тому была, что я далеко не употреблял всего своего праздного времени на одни только увеселения и забавы, но употреблял большую часть онаго себе гораздо в лучшую пользу. Я препровождал оное отчасти по-прежнему в чтении немецких книг, отчасти в переводах и переписывании оных набело, а отчасти занимался красками и рисованием. Однако в сем последнем упражнялся я только временно, кой-когда и на досуге и понемногу, также и перевел только небольшой немецкий роман под названием «*Приключения милорда Кингстона*» и переписал перевод сей набело, хотя и сей был еще весьма плоховат и того нимало не стоил¹. А величайшее мое занятие было чтение: в оном углублялся я от часу более, и всегда находили меня окладенного множеством книг не только дома, но и в самой канцелярии. Но читал я и в сей год, как выше упомянуто, не одни уже романы и сказочки по-прежнему, но мало-помалу стал уже привыкать и к нравоучительным и степенным книгам. И как, по особливому счастью, сии мне с самого начала не только не наскучили, но отменно полюбились, то с сей стороны можно сей год почесть уже весьма достопамятным в моей жизни, ибо с начала онаго начал я сам себя образовывать, обделывать свой разум, исправлять сердце и делаться человеком.

Ко всему тому очень много помогло мне то, что попались мне в руки хорошие нравоучительныя сочинения, и между прочим нравоучительное разсуждение господина *Гольберга*². Сему славному датскому барону и сочинителю я очень много в жизнь свою обязан. Он почти первый сочинениями своими вперил в меня охоту к нравоучению и прилепил меня так сильно к оному, что мне захотелось уже и самому, по примеру его, сделаться нравоучителем. За сие и поныне имею я к сему, давно уже умершему мужу особое почтение и с особливими чувствами смотрю на его портрет, в одной книге у себя найденный.

¹ «Приключения милорда, или Жизнь молодого человека, бывшего игралицем любви». Популярный в то время французский роман. Болотов сделал перевод романа на русский язык с немецкого перевода.

² Гольберг Людвиг, барон (1684–1754) – датский писатель-сатирик, историк и философ.

Немало же обязан я в жизни своей и славному лейпцигскому профессору *Готшеду*. Сей начальными своими основаниями философии не только спознакомил меня вскользь и со всеми философскими науками, но и вперил первый охоту к сим высоким знаниям и проложил помянутыми книгами своими мне путь к дальнейшим упражнениям в сей ученой части. Многия и разныя еженедельные сочинения, издаванныя в Германии в разные времена и в городах разных, попавшись мне также в руки, помогли не только усилиться во мне склонности к нравоучению, но спознакомили меня и с эстетикою, положили основание хорошему вкусу и образовали во многих пунктах и ум мой, и сердце. Я не только все сии журналы с особливым усердием и удовольствием читал, но многия пиесы из них, которыя мне наиболее нравились, даже испытывал переводить на наш язык и в труде сем с особливым удовольствием упражнялся. И сочинения сего рода мне столь много полюбились, что некогда и самого меня предпринять нечто подобное тому и произвести дело, которое едва ли кому-нибудь в свете произвести с толиким успехом довелось, как мне, как о том упоминается в своем месте.

Но никому из всех немецких сочинителей не обязан я так много в жизнь мою, как господину *Зульцеру*. Он так, как я уже и прежде упоминал, обоими маленькими и свету довольно известными книжками о красоте природы спознакомил меня первый с устройением мира, влил в меня охоту к физическим знаниям и научил узнавать, примечать и любоваться красотою и прелестями природы и чрез самое то доставил мне в последующие потом дни, годы и времена безчисленное множество веселых и драгоценных минут в жизни, каковыми и поныне (1790 г.) и даже в самой своей старости пользуюсь.

Со всеми сими и многими другими полезными книгами и лучшими немецкими сочинениями спознакомила меня отчасти помянутая библиотека, доставлявшая мне книги для чтения, отчасти товарищи мои, немецкие канцеляристы, а отчасти и книжные аукционы. На сии продолжал я с такою ревностью ходить, что не пропускал из них ни единого и не возвращался никогда на квартиру, не принося с собою по несколько книг, купленных на оных. От сего самого начала уже около сего времени стала формироваться у меня порядочная библиотека, и было у меня книг уже под сотенку и более, но все они стоили мне очень недорого. Однако нельзя сказать, чтоб не покупал я кой-когда и новых. Всякий раз, когда ни слу-

чалось мне узнать какую-нибудь новую и полезную для себя книжку, как бегивал я в книжную лавку и, купив, отсылал к моему переплетчику, и работник его нередко принашивал ко мне целые кипы книг, вновь переплетенных.

Впрочем, побуждало меня много к множайшему занятию себя книгами и науками и знакомство, сведенное с присланными к нам из Москвы студентами. Все они были не вертопрахи и не шалуны, а прилежные и к наукам склонные молодые люди; и как они штудировали и учились у разных профессоров и к нам нередко хаживали в канцелярию, то и был мне случай всегда с ними о ученых делах говорить и как им сообщать свои занятия, так и от них пользоваться взаимными, и я могу сказать, что я в образовании своем много и им обязан.

Между сими учеными упражнениями, занимавшими, можно сказать, величайшую часть моего времени, не оставлял я иногда жертвовать некоторую часть онаго и другим увеселениям и забавам, однако не таким, какими занимались множайшие из сверстников моих, другие офицеры, но благородным и позволительным. В зимнее и осеннее время захаживал я на какия-нибудь четверть или полчаса в трактир, но не для мотовства и безчиния какого, а единственно для того, чтоб велеть напоить себя кофеем или чаем, а между тем философическим оком посмотреть на людей разного состояния, в них находящихся и в разных играх и упражнениях время свое провождающих. Иногда читал я там новейшия и разные иностранные газеты, а иногда с товарищами своими, немцами, садился за особый столик, составляя свой собственный и неубыточный ломберок и играя не для прибытка, а для увеселения единаго. Временем же бирал и кий и сыгрывал партию, другую с кем-нибудь из знакомых своих в биллиард, и также не для выигрыша какого, а для единаго увеселения. Однако все сие случалось не всякий день, но очень редко.

Напротив того, в летнее время уже гораздо чаще хаживал я по публичным садам, а особливо в праздничные и воскресные дни после обеда, и в них в сообществе не наших, а смирных и кротких кёнигсбергских жителей препровождал всегда с особливым удовольствием время. Чашка чаю или кофея и трубка табаку составляли все мое мотовство в оных; что очень редко, брал соучастие и в самой неубыточной игре в кегли. Иногда же, хотя сие и редко случалось, выезжали мы, сговариваясь с кем-нибудь, вместе и за город или хаживали пешком по несколько верст за ворота городския.

Наилучшая таковая прогулка бывала у нас в сторону к *Пилаве*¹ и вниз по реке *Прегелю*, по берегу оной. Дорога была тут широкая, гладкая, возвышенная, осажденная с обеих сторон ветлами и имеющая по одну сторону реку Прегель, текущую почти прямо и покрытую всегда множеством судов, а по другую сторону – низкие и ровные луга, пересеченные также кое-где рядами насажденных лоз. Плывущия по реке малыя и большия суда, белые, распростертыя их паруса, разноцветные флаги или шум от весел плывущих на гребле, а с другой стороны безчисленное множество всякого скота, стрегомого на лугах в отдалении; самый город, сидящий отчасти на горе, отчасти на косогоре; многочисленныя его красныя черепичныя, а инде зеленыя и от солнца иногда, как жар горящия, кровли домов высоких; королевский замок, возвышающийся выше всех зданий на горе, и четвероугольною и высокую башнею своею особливый и некакой важный вид представляющий; высокия и остроконечныя колокольни церквей, видимых в разных местах между безчисленными домами; зелены валы крепости Фридригсбергской, по левую сторону реки и при выходе из города находящейся; целый лес из мачт судов многих, украшенных флюгерами и выпелами разноцветными; многия огромныя и превысокия ветряныя мельницы, подле вала в городе и на горе воздвигнутыя, – все, все сие представляло глазам в сем месте приятное зрелище, а особливо по отшествии по сей дороге версты две или три. Вся она в праздничные и воскресные дни испещрена бывала множеством гуляющих людей обоюго пола; во многих местах поделаны были скамейки для отдохновения оных, а в некоторых местах находились небольшие домики, составляющия некоторый род трактиров, ибо гуляющим можно было в них заезжать, заходить и в них доставать себе купить молоко, яйца, масло, колбасы, сыры и прочее тому подобное, а для питья – пиво, вино, а в иных самый чай и кофей. И все такая домики всегда нахаживал я наполненные многими людьми, но нигде и никогда не видал я какого-нибудь безчиния и шума, а все было тихо, кротко и хорошо, так что мило было смотреть и можно было всегда с приятностью провождать свое время.

Упоминание о сей прогулке приводит мне на память и езду мою в сие лето гулять в сии места на шлюпке. Подговорили меня к сему наши канцелярские секретари и сотоварищи, а их взялся сим образом по реке катать

¹ Пилау – гавань Кёнигсберга.

один из наших морских офицеров. Я тем охотнее на уговаривание их вместе с ними ехать согласился, что давно уже не ездил по воде, а на шлюпках и никогда еще не случалось мне кататься. Но, о как досадовал я сам на себя после, что дал себя уговорить ехать с ними вместе. Никогда не позабуду я сей прогулки и того, как много настрашался я во время оной. Уже одно и то заставило меня раскаяваться, когда я, приехав с ними в один и самый отдаленнейший из упомянутых домиков, увидел, что главное намерение их было то, чтоб тут, на свободе, по наречию их говоря, погулять, а попросту сказать – попьанствовать и побуянствовать прямо по русскому манеру.

Покуда мы плыли вниз по реке и не столько гребли, сколько несомы были вниз стремлением реки, до тех пор все еще я веселился и скоростью плавания, и встречающимися с глазами моими разными и невиданными еще до того предметами, ибо я так далеко никогда за город не ездил. Но не успели мы доехать до помянутого домика и войтить в оный, как потащили в него из нашего суденышка целые дюжины бутылок разных вин и напитков.

– Э! э! э! – возопил я тогда сам в себе, сие увидев. – Так затем-то мы сюда ехали! Но волён Бог и они, а я им не товарищ и пить с ними никак не стану.

Я и сдержал действительно сие слово, ибо сколько они меня ни уговаривали, сколько ни убеждали и как ни старались даже приневоливать, но я никак не согласился на их просьбы и желания и не хотел никак также из ума почти вылиться, как они. Но сколь же много мне все сие стоило! Все они даже разсердились на меня за то, но я всего менее уважал их гнев и сердце, а желал только, чтобы скорее приблизился вечер и погнал их обратно в город. Наконец сей и начал приближаться, но они так распились, что сколько я им ни предлагал, что пора домой ехать, но они не помышляли о том, ибо бутылки не все еще были опорожнены. Наконец насилу-насилу осушили они все оныя и решились ехать обратно; но тут как поразился я страхом и ужасом, когда увидел реку, вместо прежней гладкости и тишины, всю покрытую страшными волнами, ибо между тем, покуда они помянутым образом пили, погода переменилась и поднялся превеликий ветер снизу и произвел в реке превеликое волнение. Я, имея издавна отвращение от воды и боясь всегда по оной ездить, обмер тогда, испужался и не знал, как мы по таким страшным волнам поедем. Ежели б были мы не так далеко от города и было не так поздно, то решился б я тотчас, оста-

вив их, иттить пешком до города; но как мы удалены были от онаго более десяти верст и притом наступил уже вечер и никакого народа по дороге уже не было, то о том и помыслить было не можно, но я принужден был вместе с ними опять, но с замирающим уже сердцем, садиться в шлюпку. Что касается до них, то как им, пьяным, казалось самое море поколено, то вместо страха и боязни они только смеялись мне и называли меня трусом. Я им дал уже волю говорить, что хотят, а помышлял только об опасности и молил Бога о том, чтоб нам доехать благополучно.

Но сколь опасность ни казалась мне велика, но я и в половину ее такою себе не воображал, каковою после я ее увидел; ибо не успели мы отвалить от берега и выбраться на середину реки, как опьянившийся наш первый секретарь, как главная всей прогулки особа, сам себя почти не помня, морскому офицеру закричал:

– Брат и друг! Вели-ка поднять парус и пустимся на нем. Видишь, брат, какой прекрасный ветер, мы тотчас приедем!

– Хорошо! – сказал офицер сквозь зубы и замолчал после, но матрос, правивший рулем, подхватил:

– Не опасно ли, сударь, будет, и чтоб не опрокинуться нам: ветер слишком велик?

– Вот какой вздор! – закричал наш Чонжин. – Поднимай-ка парус-от скорее!

Я обмер, испужался, сие услышав от матроса, и ужас мой еще больше увеличился, когда и сам офицер нехотя стал приказывать поднимать парус.

Но как изобразить мне тот ужас, которым поразился я, когда по поднятии паруса все пересели на одну сторону и шлюпку повалили совсем на бок и кричали, чтоб пересаживался и я скорее так же, как они. Мне сего обыкновения вовсе было неизвестно, и как я на шлюпках никогда на парусах не ежживал, да и не видывал, как ездят, то и не ведал я, что так и надобно, а потому обмер, испужался, увидев один борт или край шлюпки почти до самой воды прикоснувшимся и загребающим почти воду. Я, забыв все, кричал, вопил, почитал себя уже погибшим, карабкался и хватался за сопротивный борт и, почитая всякую минуту уже последнею в моей жизни, призывал всех святых на помощь; просил и умолял товарищей моих, чтоб они сделали милость и выпустили меня на берег; и я хотел уже, не смотря ни на что, иттить хоть всю ночь один пешком, – но все сие было

тщетно. Они все только смеялись и хохотали надо мною, называли меня трусом и малодушным и говорили, что мне это за то, для чего я упрямотвую и не хотел никак их просьб и уговариваний слушать и в питье их делать им компанию.

Тысячу раз проклинал я тогда и шлюпку, и офицера, и всю свою охоту и желание покататься на шлюпке и тысячу раз раскаявался в том, что не остался на берегу и не пошел пешком в город; но все сие было уже поздно. Но я более получаса препроводил в неизобразимом ужасе. И не знаю, что со мною было б, если б сама судьба не похотела меня от того избавить, ибо приди так называемый шквал или род вихря и погнуло так сильно нашу шлюпку, что она действительно чуть было в волнах не зарылась и не опрокинулась со всеми нами, и если б искусство и расторопность кормчего не помогла, – то купаться бы нам всем и погибать в реке Прегеле. Сами господа наши, пьяные рыцари, как ни храбровали до того времени, но как бортом захватило уже и воды несколько в нашу шлюпку и она нас всех перемочила, то соскочил и хмель с них долой, и они закричали все в один голос, чтоб опускали скорей парус и принимались бы по-прежнему за весла, и не отрекались вместе с прочими выливать воду из шлюпки шляпами и чем ни попало. А сие и положило всему страху и опасению моему предел, ибо погода как была ни велика, но мы на веслах доехали до города благополучно. Со всем тем, выходя из шлюпки, заклинал я сам себя, чтобы впредь никогда и ни под каким видом на ней подобным образом не ездить.

Сим кончилось тогда сие происшествие, а сим кончу и я письмо мое, предоставив дальнейшее повествование письму последующему; а между тем остаюсь и прочее.

ОТДЕЛКА НОВЫХ ПОКОЕВ В ЗАМКЕ ДЛЯ ГУБЕРНАТОРА

Письмо 80-е

Любезный приятель!

Напоминая далее прочее, что у нас в течение сего года в Кёнигсберге происходило, приходит мне на память, между прочим, то, что генералу нашему случилось жить в старинных, скучных и темных герцогских ком-

натах, которыя, будучи во втором этаже замка, имели очень немногия, а притом и маленькие окна, отчего, а особливо в разсуждении просторности и величины своей были очень темны; и как сверх сего этажа было еще два, и один самый лучший, или бельэтаж, а другой мизенинный, но довольно высокий, но оба сии этажа не были еще отделаны, то генералу нашему восхотелось помянутый бельэтаж отделать для своего жительства, и испросил на то дозволение у императрицы. Поправления и отделка сия стоила нам не одну тысячу, ибо генерал отделявал покои сии с пышной руки и не жалея нимало денег; наилучшие лепные мастера и живописцы альфреско¹ употреблены были для убирания и расписывания комнат, и одна галерея стоила, я думаю, тысяч двух, а о прочих и многочисленных, жилых и парадных комнатах уже и упоминать нечего. Из сих убрана и украшена была одна другой лучше, и весь сей этаж отделан был так хорошо, что ежели б приехала к нам и сама императрица, так бы могла найти в нем себе спокойную квартиру.

Работа сия началась у нас еще в минувшем году и продолжалась более года, и генерал насилу мог дожждаться отделки онаго, так наскучили ему его темныя комнаты, нимало несообразныя с его пышным родом жизни. И как в начале сего лета отделка сия приведена к окончанию, то генерал наш тотчас и перешел в оный, и тут-то прямо, как говорится в пословице, развернулся и показал, как он умеет и любит жить. Балы, маскарады и танцы происходили у нас и до того нередко, а тут, когда уже было где потанцовать и поразгуляться, количество их уже усугубилось и танцевание мне уже так наскучило, что иногда нарочно уже сказывался больным, чтоб не иттить на бал и не истощать силы свои до изнурения в танцах и прыганье.

Сие и действительно было и более от того, что дам и девиц съезжалось к нам всякий раз превеликое множество и все оне были ужасныя охотницы танцовать, а мужчин, а особливо молодых и могущих танцовать, как говорится, во вся тяжкая, очень мало; а как я находился уже тогда в немногом числе первейших и лучших танцовщиков, то судите, каково было нам без отдыха по несколько часов пропрыгивать и кругом вертеться, танцюя разные контратанцы, из которых и один всегда кроваваго пота стоил протанцовать; ибо мы их тут в новой и пространной галерее танцовали не менее,

¹ Альфреско, фреско ср. несклон. итал. стенная живопись водяными красками по сырой, подготовленной для этого обмазке (штукатурке); ныне вообще зовут так хорошую стенную живопись и употреб. мн. фрески, которое склоняют.

как пар в тридцать; а другая и такая ж или еще множайшая половина молодых госпож и девиц, поджав руки, стояла, с нетерпеливостию дожидалась окончания того, дабы начать им самим другой контратанец, и жадность их к тому и в приискании себе кавалеров была так велика, что не мы их, а оне сами уже нас отыскивали и не поднимали, а просьбою прашивали, чтоб с ними потанцовать, и спешили всякий раз друг пред другом захватить себе лучшаго танцовщика; так что в половине еще танцуемаго контратанца уже к нам сзади подхаживали и обещания рук наших себе прашивали.

Сперва, и покуда было нам сие в диковинку, ставили мы себе то в особенную честь; но после, когда длина контратанцов, а особливо самых бешеных и резвых, так нам надоела, что ждешь не дождешься покуда и один окончится, ибо и от одного рубаха совсем мокра от пота делалась, то начали мы прибегать к разным хитростям и обманам, и, отделавшись от всех подбегающих сзади и требующих обещания танцовать уверением, что мы уже заняты и дали уже слово свое другим, хотя ничего того не бывало, тотчас по окончании танца уходили в самые отдаленнейшие и такие покои, где никого не было, и там брали себе сколько-нибудь отдохновение. Но нередко отыскивали нас и там госпожи, и мы не знали уже, куда от них, ищущих нас шайками и короводами, деваться.

Словом, год сей был для нас наивеселейший и великолепнейший из всех прежних и последующих. Генерал наш жил так, как маленькому царьку или какому владетельному и богатому князю жить следовало, и прямо можно сказать, пышною и богатою рукою. Какая это пиры и многочисленные обеды и ужины давал он во все, и даже самомалейшие, праздничные и торжественные дни, но и при случае проездов всех знаменитых особ чрез наш город! Какое всякий раз новое великолепие и пышность являема была на столах! какая пышность в балах и маскарадах! Со всех сторон выписываемы были и съезжались к нам наилучшие музыканты, и для всякаго бала привозимы были новыя музыкалии и танцы. Коротко, все новое и лучшее надлежало видимо и слышано быть у нас и можно безошибочно сказать, что жители прусские не видывали, с самого начала своего королевства, никогда таких еще в столичном городе своем пышностей, забав и увеселений, какия тогда видели и вряд ли когда-нибудь и впредь увидят. Ибо самые прусские короли едва ли могут когда-нибудь так весело, пышно и великолепно жить, как жил тогда наш Корф. У него прямо был как маленький дворик, почему и неудивительно, что слух и слава о

сем так разнеслась повсюду, что со всех сторон съезжалось к нам не только прусское, но даже и соседственное польское дворянство, дабы брать в увеселениях наших соучастие и чтоб себя нам показать и нас посмотреть, и мы всякий раз имели удовольствие видеть новые лица и фигуры.

К сим увеселениям, кроме обыкновенных празднеств и торжеств, подала нам в сей год повод и свадьба, сыгранная нашим генералом у себя в доме. Один из наших советников, а именно господин *Бауман*, вздумал жениться на одной прусской дворянской девушке; и как он жил в доме генерала и на его был содержании, то генерал и помог ему сыграть сию свадьбу. Она была великолепнейшая и так, как бы княжеская, и мне несколько дней сряду удалось потанцевать на оной, а притом иметь случай видеть, как производится у немцев венчание в домах. У нас производимо было в большой галерее, и мы с удовольствием на сие зрелище смотрели, хотя в самом деле обряд сей у них далеко не так зрелища достоин, как при наших свадьбах.

Кроме сего, имели мы еще в течение сего лета случай видеть довольно прекрасный и не малой ценой стоящий фейерверк. Ибо как сего одного к увеселениям нашим недоставало, то хотелось генералу нашему и сим, никогда еще невиданным, зрелищем пруссаков и всю кёнигсбергскую публику увеселить.

Сделал и смастерил нам его прежде упоминаемый мною, живший у генерала итальянец *Морнини*, и как был он не малый и составлен из огромного фитильного и из свечек сделанного щита и из множества колес, фонтанов, ракет, бураков и других тому подобных вещей, то работал он его долго, и мне случилось тут еще впервые видеть, как они делаются. Сограждение для него выбрано было у нас на берегу реки Прегеля, неподалеку от прежней моей квартиры, и мы сожгли его на Петров день при собрании безчисленного множества народа; и удовольствие, произведенное зрелищем сим всем кёнигсбергским жителям, было превеликое, все они не могли довольно расхвалить его за сие.

Сей случай сопровождаем был также большим балом и торжеством, а вскоре за сим получили мы опять случай несколько дней сряду прыгать и вертеться по случаю проезда чрез Кёнигсберг старшаго графа *Чернышова*, Петра Григорьевича. Он отправлен был от двора нашего в Гишпанию послом для поздравления нового короля со вступлением на престол, и как ему велено было надолго там остаться, то и ехал он туда с женою и обеими

дочерьми, девушками уже невестами. Они пробыли у нас в Кёнигсберге с неделю, и как стояли они в замке у нашего генерала, то сей и старался их угостить как можно лучше и выдумывал всякий день новые увеселения. Обе молодые графини были превеликия танцовщицы, играли также на разных инструментах, навезли нам множество новых танцов, и нам удалось и с ними потанцовать до усталости.

С отъездом их лишились мы одного из наших друзей и собеседников, а именно вышеупомянутого итальянца *Морнини*. Графу *Чернышову* нужен был, при его посольстве, человек таковых способностей, каков был сей итальянец. Он уговорил его ехать в Гишпанию с собою и надавал ему столько обещаний, что сей к тому наконец и склонился. Генералу нашему весьма не хотелось его отпустить, а и мы все разставались с ним с крайним сожалением, в особенности жаль было мне его. Он так меня любил и я так к нему привык и дружбою и ласкою его был доволен, что проводил его, утирая пальцами глаза свои, и не надеялся более уже никогда его видеть, как и действительно с того времени не имел уже об нем ни малейшаго слуха.

Но не одного его, а лишились мы в сие лето и другого своего собеседника. Не захотелось более жить при генерале нашем и адъютанту его господину *Андрееву*; но отец его, видя, что ему тут ничего не выслужить, приискал ему в Петербурге другое, и гораздо лучшее место, и генерал наш принужден был хотя нехотя его от себя отпустить, и мы проводили его также с сожалением.

Как чрез отъезд его генерал наш остался без адъютанта, то делано было мне стороною предложение, не хочу ли я заступить его место; но я, не долго думая, наотрез отказался, ибо как я при таковой перемене звания моего ничего не выигрывал, а оставался тем же подпоручиком, чем был, то не хотелось мне самопроизвольно и без всякой себе пользы наложить на себя весьма тяжкия оковы, и не только убытчиться и разоряться, делая для себя и лучшее платье и наряды, но и быть ежедневно бранену от нашего бешенаго генерала, «Нет! нет! нет! – сказал я прямо то мне предлагавшим. – Я благодарю покорно за честь, мне предлагаемую, но уступаю ее всем сардцем и душою другим, а сам хочу остаться в прежнем своем армейском чине и месте, адъютантскую же должность, буде угодно генералу, могу отправлять и не будучи адъютантом».

Но он, ожидая уже такого от меня отказа, не хотел отягощать меня и несением сей должности, а истребовал себе другого, и к нему прислан был

некто господин *Балабин*, по имени Иван Тимофеевич, человек хотя низкого происхождения, но весьма хороших свойств и такого характера, что мы его все очень скоро и много полюбили. В особенности же, и всех прочих скорее, сладил я с ним и сдружился, так, что мы навсегда сделались хорошими друзьями. Он не разумел хотя языков, но охотник был до чтения книг и читал отменно хорошо, и сего было довольно уже к тому, чтоб ему меня, а мне его полюбить. Впрочем, как он способнее был отправлять по канцелярии письменные дела, нежели чины строить при генерале, то и посажен он был к нам в канцелярию, и сидел от меня шага только на два за дощатою перегородкою, а сие и подало нам повод к скорейшему сведению знакомства и дружбы.

Впрочем, в месяце июле сего года, обрадован я был присылкою ко мне из деревни нарочного человека с письмами и деньгами. От меня давно уже писано было туда, чтоб присылали ко мне доходы и я с самого вступления в Пруссию не получал оттуда ничего; а потому и присланы они были ко мне в сие время. Но, о! какое огромное количество получил я тогда с деревень своих доходов! Они были хотя те же или еще множайшие перед нынешними, но вместо нынешних тысяч привезли ко мне тогда не более двух сот рублей из собранных в целые два года доходов: видно, что была в них хорошая экономия. Но правду сказать, что и времена тогдашняя весьма отменны были от нынешних и мы не получали тогда с деревень своих и пятой доли доходов против нынешних, следовательно, многого и требовать было не можно.

Но как бы то ни было, но и сии деньги, по неимению тогда еще асигнаций, доставить ко мне было трудно и крестьянин мой, боясь, чтоб дорогою у него их не отняли и не украли, спрятал оныя в выдолбленную заднюю ось своей телеги, и сам принял на себя почти нищенский образ.

Помянутая привезенная тогда ко мне сумма как была ни мала, но для меня составляла тогда довольно важную важность, ибо денег было у меня и там немного. Жалованье получал я самое маленькое, подпоручичье, а побочных доходов не имел никаких, или имел, но очень малые и ничего незначущие. С одних только прусских фурманщиков, возивших на фурах своих разных людей и товары из *Кёнигсберга* в *Мемель*, в *Эльбинг* и в *Данциг* дозволено было мне из-под руки от самого генерала брать по безделке за перевод паспортов. Паспорты сии получали они немецкие, печатные, за генеральскою рукою и печатью и выписываемы в них были имена их

товарищами моими немецкими канцеляристами. Но как фурманщикам сим нужен был для наших русских и перевод сих паспортов на обороте, я же сие, как совсем не казенное, а партикулярное дело, не обязан был производить и над переводом сим трудиться, то и дозволено было и мне и товарищам моим получать от фурманщиков сих небольшую акциденцию, которую они для скорейшаго их отправления нам охотно и давали.

Но всего того и вместе с жалованьем и рационами едва доставало мне на снабжение себя платьем и обувью и на покупку книг, мне нужных, ибо все почти излишки употреблял я на оныя, нимало о том не жалея; когда же привезли ко мне помянутое количество из дома, то почитал я себя уже богатым человеком и, употребив несколько из них на покупку давно желаемых книг, все прочия положил впрок для сбережения на черный день.

Как сему присланному надлежало ехать ко мне чрез *Новгород* и *Псковскую* провинцию, то в сей последней заехал он и к старшей сестре моей, жившей, как прежде упоминаемо было, в *Островском* уезде, и верст за 80 от Пскова, и привез мне об ней известие. В сие время находился уже и зять мой, господин *Неклюдов*, с нею в деревне, ибо ему удалось как-то выбиться из военной службы, к которой он был неспособен, и получить чистую отставку; итак, жил он тогда уже дома, и оба они с сестрой моей занимались только воспитанием сына своего, который у них один только и был, и тогда, будучи уже мальчиком изрядным, учился языкам.

Я очень рад был, узнав о сих ближних и лучших родных, и, отпуская обратно присланного, написал к сестре своей предлинное письмо и наговорился с нею заочно досыта. Я рассказывал ей о себе всё и вся, а наконец предлагал ей советы, как бы лучше им воспитать и чему обучать моего племянника. Между прочим, сколько помнится мне, советовал я ей достать для него бывшая тогда в величайшей у нас славе и только что вышедшие книги, «*Детское училище*» называемыя. Но мальчик сей не рожден был к наукам и, к сожалению, так изнежен и избалован, что вышел из него превеликий ленивец.

Впрочем, при отправлении крестьянина моего в деревню, не преминул я помыслить и о деревне и сколько-нибудь о сельской экономии, из которой я тогда хотя и ничего не разумел, да и надеяться было не можно, чтоб я мог вскоре увидеть свою деревню, однако мне хотелось, по крайней мере, показать домашним своим, что я не совсем их забываю, и как у меня находился там старинный мой дядька *Артамон*, о способностях которого

я был довольно уверен, то вздумалось мне велеть ему расширить один из моих садов, заведенный и основанный покойною моею матерью, и превратить оный из простого в регулярный. Я нарисовал ему порядочный план, раскрасил его красками, сделал подробнейшее описание и наставление, где и что ему садить, и какая где деревья и кустарники, и отправил к нему сие предписание. Сие было первоначальное мое с садами предприятие и садик сей хотя и не точь-в-точь так, как я начертил, однако посажен был им довольно порядочно и послужил потом основанием большому саду. Некоторые деревья, а особливо вишни и сливы растут еще и поныне в самых тех местах, где тогда им посажены были, и служат ему некоторым памятником.

Отпустив мужичка своего обратно в деревню, перестал я об ней мыслить, и обратил паки все свои помышления к службе и тогдашним моим упражнениям. Мне поручена была около сего времени особая комиссия. На всю армию строили тогда у нас в Кёнигсберге новые знамены, и работа сия производилась под смотрением капитана Кемецкаго; но как он не разумел живописи и рисования, а на знаменах должно было малевать всех полков гербы, то надсматривание над живописцами поручено было мне, и я должен был ходить к ним всякий день и поправлять их ошибки. Прочее время делил я между чтением книг и рисованием, а нередко в летнее время хаживал по-прежнему и гулять по садам, а особливо в Сатургусов, который почитался наилучшим и первейшим из садов во всем Кёнигсберге, и действительно был зрения и хвалы достоин. Купец, которому он принадлежал, познакомившись со мною, дал мне дозволение ходить в сад его, когда мне угодно, и я не упустил пользоваться сим его дозволением.

Но все сии гулянья, равно как танцевание на балах и на свадьбах, которыхя по-прежнему обыкновению не оставляли мы посещать, не могли меня никак совратить с того хорошаго пути, по которому пошел я с самаго того времени, как определился в камору и к генералу и получил охоту читать книги. Я старался час от часу делаться постояннейшим и вместо того, чтоб по примеру прочих молодых моих сверстников и сотоварищей, гоняться за женщинами, посещать всякий день трактиры и шататься из гостей в гости, я старался колико можно от того удаляться и вести жизнь совсем не по летам моим, а прямо философическую; но мое особое счастье было то, что из всего того великаго множества молодых женщин, которыхя к нам еженедельно на балы съезжались да и из всех прочих, живу-

щих в городе сем, коих видать удавалось мне, также в кирках, на свадьбах и на гуляньях и между которыми много было и хороших, не случилось, однако, ни одной такой, которая бы в особливости пленила меня своими прелестями и в которую бы я мог страстно влюбиться. Сие обстоятельство, которому я сам довольно не надивлюсь, помогло мне в особливости спастись от сей заразы, которая могла б произвести великия действия и все мои тогдашня хорошия намерения разрушить; но я хотя часто видал женщин, но сматривал на них на всех равнодушно, а будучи от природы застенчив и несмел, не имел никакого близкаго обхождения и с самыми знакомейшими из них, а ежедневно только помышлял о том, как бы себя от всего того дурного отучить, что находил я сам в себе при чтании книг нравоучительных. Сии заставили меня самого себя разсматривать и примечать все свои душевныя движения и страсти, и как из них находил я в себе особливую склонность к гневу и вспыльчивости, то и старался я в особливости себя от того отучить и наблюдать в сем случае самыя те правила, какия в книгах были предписаны, и могу сказать, что я нарочито в том и успел и в одно сие лето так много себя переделал, что не стал почти походить сам на себя и многие не могли тому довольно надивиться.

В доказательство, как много успел я в науке обладать самим собою и страстями своими, расскажу я два происшествия, случившияся со мною в сие лето. В один день понадобилось мне, не помню зачем, сходить из канцелярии в необыкновенное время на свою квартиру; кроме праздников и воскресных дней обыкновенно просиживал я с утра до вечера в канцелярии и на квартиру прихаживал только ночевать, но в сей день пришел я неожиданным образом туда вскоре после обеда. Вхожу в большую мою комнату, которая была вкупе и моя спальня, и, не нашед в ней никого, думаю, что слуга мой *Абрам*, который один со мною тут жил, куда-нибудь вышел. Но маленький шум, услышанный мною в комнате, побудил меня туда заглянуть. Но что ж я тут увидел? Слуга мой изволил трудиться над моею шкатулкою и, отперши ее прибранным ключом в самую ту минуту, выдвигал потайные ящики и доставал из них серебряныя деньги. Усердие его в сей работе было так велико, что он и не слыхал, как я вошел, и не прежде меня увидел, как я ему сказал: «Э! брат, что такое это ты делаешь?»

Слова сии и неожиданное им мое пришествие так его поразило, что он остолбенел и не в состоянии был встать на ноги; но рубли посыпались у него из рук, и он, устремя глаза свои на меня, разинул рот и не в состоянии

был выговорить ни единого слова. Явлению такому натурально должно было вспалить всю кровь мою огнем и пламенем и привести меня в бешенство, но произошло противное тому. Я успел опомниться и так много себя одолел, что ниже малейшему гневу не дал в сердце своем места, но с спокойным духом, пожав только плечами, сказал ему: «Ну, хорошо это?» – «Виноват, сударь, – отвечал он, – и что уж говорить, виноват, как собака, простите меня. Вот вам Бог, вперед этого не будет и буду служить вам верно». – «Ну, хорошо, – сказал я – посмотрим, только сдержи свое слово». – «Изволь сударь». Он и подлинно устоял в своем слове и во все прочие годы пребывания его при мне не приметил я в нем ни малейшей неверности.

Нельзя изобразить, какое истинное душевное удовольствие имел я во весь остаток того дня и многие последующие затем дни о сей самим над собою победе, которая так легка мне показалась, что я не мог тому довольно надивиться, и благодарил Бога, что он помог мне так много в стараниях своих о исправлении своем. Другое происшествие было следующее: в самый тот день, когда был у нас фейерверк, случилось мне в ожидании зажжения онаго находиться посреди безчисленной толпы спешагося смотреть оный народа и стоять в кучке собравшихся для того же нашей братьи офицеров. Было тут нас человек десятков и более, и на большую часть знакомых друг другу и все они, в ожидании приезда губернаторскаго, провожали время свое тут от скуки по обыкновению своему в разных шуточных разговорах, смехах и дружеских издевках друг на другом. Но ни над кем так много они тут не трунили и не смеялись, как над одним сотоварищем своим, который был родом из *Лифляндии*, следовательно немец, и по прозвищу г. *Кульбарс*. Как все немцы обыкновенно одевались чище и убирались лучше наших русских офицеров, то случилось так, что сей г. *Кульбарс* убран, разчесан и распудрен был в сей день отменно как-то уже пред обыкновенным, и даже так, что всем он казался смешным и все они над ним трунили до единого, а особливо за то, что он, убравшись сим образом почти по-дурачки, вздумал тем еще кичиться, и не только не хотел почти ни с кем говорить слова, но еще и сердился и досадовал, для чего над ним смеялись; а сие, как известно, уже и беда между молодыми офицерами. Они сделали вокруг его кружок и чем более он сердился, тем более над ним трунили и смеялись. Мне случилось в самое то время воить к ним в кружок, когда они наиболее его раззадорили и дошли даже до

того, что кто-то из них, будучи наглее всех прочих, дернул даже его сзади за толстую его прусскую и внизу закорючившуюся косу. Г. *Кульбарс* тотчас оборачивается назад и не говоря ни слова, вдруг опрокидывается на меня, нимало в том не участвовавшего, а только в самую ту минуту туда и, по несчастию, сзади к нему подошедшаго. Как было сие в самую уже сумерки, то хотя не только он, но и сам я истинно не видал, кто его за косу дернул, но он счел, что это был я, и, вспыхнув как порох, начал меня немилосердным образом и так бранить и ругать, так что другой бы, будучи на моем месте, никак не утерпел, но его бы верно съездил в рожу и готов бы с ним хоть резаться и драться. Но я имел столько духа, что, будучи совсем невинен, глупости его только усмехался и в соответствие на все его лаяние только ему сказал: «Слушайте, г. *Кульбарс*, я вас, как честный человек, уверяю, что я вас не трогал не замал, и что вы меня ругаете напрасно! А кто вас трогал, того не видал и не знаю; а таков ли я или нет, каким вы меня называете, это отдаю на суд вот всем здесь присутствующим! Вы, государи мои, знаете меня все и можете сему господину сказать, достоин ли я таких наименований». Сказав сие хладнокровнейшим образом, пошел я от них прочь, и сим самым произвел то, что вместо того, чтоб мне с ним перебраниваться, напали на него все тут бывшие и начали, защищая меня единогласно, всячески самого его не только осуждать, но ругать и бранить, как напрасно меня обидившаго. Не могу изобразить, с каким истинным и душевным удовольствием слушал я издалека сии делаемыя ото всех ему тазания, которыя даже до того простирались, что они для уверения его о моей невинности объявили ему и о самом том, кто его за косу дернул и всем тем довели его до того, что он от стыда принужден был уйтить и в толпе народа скрыться от них. Тогда подошел я опять к ним и благодарил их, что они за меня так вступились. «Да как, братец, не вступиться, – говорили они мне, – мы не можем надивиться, что ты имел столько духа и этого немчуру не съездил в рожу. Мы бы все тебе помогли проучить этого невежу». – «Добро, добро, – сказал я им, – оставим его с покоем: как опомнится, так и сам почувствует, что он дурно сделал». Сие действительно и воспоследовало и г. *Кульбарсу* было так передо мною после совестно, что он, не отыскав меня в тот вечер, поутру на другой день отыскал мою квартиру и, пришед ко мне, приносил тысячу извинений, и просил, чтоб я ему отпустил его глупости и сделанный им от вспльльчивости и горячности предо мною непростительный проступок. И меня сие так тронуло, что я со

слезою на глазах подал ему мою руку и, пожав ею его, сказал, что я ему отпущаю все охотно и вместо досады прошу только его знать меня короче и быть мне лучше другом. Он и был с того времени действительно таковым и всегда изъявлял ко мне отменное почтение. Мне же победа сия сто раз приятнее была, нежели б я его приколотил палкою.

Сим образом кончилось сие дело и оно было мне долго памятно, а удовольствие, полученное от того, побуждало меня и впредь сим образом отчасти более обладать самим собою и обуздывать все мои страсти; а сим окончу я и сие письмо мое, достигшее уже давно до своих пределов, и скажу, что я есмь навсегда ваш и прочее.

ПРОДОЛЖЕНИЕ САМООБУЧЕНИЯ ПО КНИГАМ

Письмо 81-е¹

Любезный друг!

В предследующем моем к вам письме остановился я на рассказывании вам о том, какой успех имел я в исправлении своем и в отучении себя от всех дурных привычек и страстей, натуре человеческой свойственных; а теперь, продолжая ту же материю, скажу, что ко всему тому побуждали меня более нравоучительныя книги, до чтения которых сделался я таким же охотником, каким был до того до чтения романов, и как я имел тогда наилучший и наивожделеннейший случай к доставанию себе оных, потому что помянутая библиотека, из которой брал я себе для чтения книги, наполнена была не одними только романами, но и всех родов сочинениями и, между прочим и самыми философическими и наилучшими нравоучительными, и я мог получать из ней, какая только мне хотелось, то и читал я почти непрерывно оныя и наполнял ум свой час от часу множайшими и важнейшими познаниями. Не могу изобразить, сколь великую пользу оне мне принесли и как много распространили все мои сведения и знания. Словом, чрез них узнал я не только сам себя, но и все нужнейшее, что знать человеку в жизни надобно; а что всего лучше, спознакомился гораздо со всем ученым светом и без всяких учителей и наставников, узнал

¹ Сверху письма надписано: «ноябрь 4 д. 1800». – Прим. редакции «Русской Старины».

многое такое, чего многие иные не узнают, учась порядочным образом в академиях и университетах и имея у себя многих учителей и наставников. Словом, оне были наилучшие мои друзья, наставники, учителя и советники и помогали неведомо как мне в моем исправлении и образовании моего сердца и духа. И сколь блаженно было для меня тогдашнее время. Я со всяким днем получал новыя знания и со всяким днем делался лучшим; но можно сказать, что много помогали к тому и важныя размышления, в каких я нередко упражнялся и которыя побудили меня предпринять тогда одно особое и такое дело, какое редко делают люди таких лет, в каких я тогда находился: я положил всякую хорошую попадавшуюся мне мысль и всякое хорошее чувство души своей записывать на особых лоскутках бумаги, и всякий день предписывать самому себе что-нибудь нужное либо к исполнению, либо к незабвению чего-нибудь. И как я в том упражнялся почти целое годичное время, то и набралось сих исписанных лоскутков бумаги такое множество, что, по переписании всех оных набело, мог я из всех их составить и велеть переплесть целую книгу, содержащую в себе столько же самому себе предписанных правил, сколько дней в году. Книжка, которая и поныне у меня цела и которую храню я, как некакой монумент тогдашних моих занятий и упражнений, а вкупе и первый слабейший опыт нравоучительных своих сочинений, и которой, всходствие намерения своего, и не придал я никакого иного особаго названия, а назвал ее просто только *памятною книжкою*.

Но всего для меня полезнее и достопамятнее было то, что я в течение сего года начал учиться и порядочно штудировать философию. Произшло сие совсем нечаянным, ненарочным почти образом и так, что я и сей случай отношу к особым действиям и попечениям об истинном благе моем Божескаго Промысла как происшествие сие имело влияние на всю жизнь мою, то и расскажу я о том пространнее.

Между многими и разными книгами, читаемыми мною в тогдашнее время, хотя и читал я некоторыя и философические, и чрез то получил и о сей важнейшей части учености некоторое уже понятие, однако все мое по сей части знание было весьма еще несовершенно; а сверх того, и еще таково, что могло б мне и в неописанный еще вред обратиться, если б благодетельная судьба моя помянутым происшествием не положила тому преграды и чрез самое то не спасла меня от погибели совершенной, как о том упомяну я после пространнее.

Из всех читанных мною до того времени философических книг, ни которая так мне не нравилась, как *Готтшедовы* начальныя основания всей философии. Книга сия содержала в себе краткое изображение или сокращение всей так называемой *вольфианской* философии, которая была в тогдашнее время во всеобщем везде употреблении и, при всех своих недостатках, почиталась тогда наилучшею. Почему и в Кёнигсберге все профессоры и учителя юношества обучали оной, так как, к сожалению, переселясь и к нам, господствует она и у нас еще и поныне.

Но мне всего меньше известно было тогда, что философия сия имела многие недостатки и несовершенства: что самые основания, на которых все здание оной воздвигнуто, были слабы и ненадежны и что вообще была она такого свойства, что дотоле, покуда человек, прилепившийся к оной, будет только вскользь оной держаться и оставаться довольным тем, что в ней содержится, он может быть и добрым и безопасным, а как скоро из последователей оной кто-нибудь похочет далее простирать свои мысли и углубляться более в существо вещей всех, то всего и скорее может сбиться с правой тропы и заблудиться до того, что сделается наконец деистом, вольнодумом и самым даже безбожником, и что весьма многие, преразумные, впрочем, люди, действительно от ней таковыми негодьями сделались и, вместо искомой пользы, крайний себе вред приобрели и в невозвратимую впали пагубу, так как то же самое едва было и со мною не случилось, так о том упомяну я после в своем месте.

А сколь мало было мне сие известно, столь же мало знал я и о том, что за несколько до того лет проявилась в свете новая и несравненно сей лучшая, основательнейшая и не только нимало не вредная, но и то особенное пред всеми бывшими до того философиями преимущество имеющая философия, что она всякого прилепившагося к ней человека, хотя бы он и не хотел, но поневоле почти сделает добрым христианином, так как, напротив того, *вольфианская* и хорошаго христианина превращала почти всегда в худого или паче в самого деиста и маловера, и что сия новая и крайне человеческому роду полезная философия, основанная в *Лейпциге* одним из тамошних ученейших людей, по имени Христианом Августом *Крузием*, начинала уже греметь в свете, получать многих себе последователей и мало-помалу распространяться в *Европе* и, между прочим, в самом том городе, где я тогда находился. Тут преподавал уже ее или учил публично один из университетских магистров, по имени *Вейман*; но как все

прочия профессора были еще вольфианцы и последователями помянутой прежней и несовершенной философии, то и терпел он еще от них за то некоторое себе гонение и недоброхотство, а особливо потому, что многие из студирующих в Кёнигсберге, отставая от прежних учителей, прилеплялись к оному и, научившись лучшим правилам и мыслям, делались им такими противниками, которых они никак преобороть были не в состоянии на обыкновенных своих прениях.

Всего того я еще не знал и не узнал бы, может быть, никогда, если б не случилось присланным быть к нам из Москвы вышепомянутым 10-ти студентам и мне с двумя из них покороче познакомиться. Оба они были наилучшенькие из всех и самые те, которых назначались для занятия моего места и для исправления моей должности. Один из них прозывался *Садовским*, а другой *Малиновским*. Оба они были московские уроженцы, оба тамошних попов дети, но оба весьма хороших характеров, хорошаго и смирнаго поведения; оба охотники до наук и хорошо в университете учившиеся и довольныя уже сведения обо всем имевшие, а притом с хорошими чувствами люди. Как обоим им велено было того времени, покуда понавыкнут они более немецкому языку и к переводам сделаются способнейшими, приискать себе учителей из тамошних профессоров и продолжать у них прежния свои науки, то, учась еще в университете философии, избрали они и тут сей самый факультет и, приговорив одного из тамошних профессоров, стали продолжать слушать у них лекции, так как дельвали то, будучи еще в московском университете.

Так случилось, что профессор тот был хотя, как и все прочия, вольфианец, но из учеников его, тамошних студентов, были некоторыя, учившиеся тайно и у помянутого магистра *Веймана* той новой крузианской философии, о которой упоминал я выше, и что сии, спознакомившись и сдружившись с обоими нашими студентами, насажали им столь много добраго как о сей новой философии, так и о Веймане, что возбудили у них охоту поучиться сей новой и толико лучшей и преимущественной философии.

Они при помощи оных и познакомились тотчас с сим магистром, и как сей таковым новым охотникам учиться его философии очень был рад, то и пригласил он их ходить к себе по вечерам, и взялся охотно преподавать им приватно лекции, а хотел только, чтоб дело сие производимо было тайно и так, чтоб не узнал того до того времени тот профессор, у

котораго они до того учились, и чтоб он не мог за то претерпеть от него какого-нибудь себе злодейства, на что они и сами охотно согласились. Но не успели они у него несколько раз побывать и лекциев его послушать, как и пленились они столь сильно сею новою философиею, что восхотелось им и мне сообщить свое удовольствие. Со мною имели они уже время не только познакомиться, но даже и сдружиться, ибо как им приказано было от времени до времени приходить к нам и в канцелярию, то, узнав обо мне и об отменной моей охоте до книг и до наук, тотчас со мною познакомились короче и полюбили меня чрезвычайно, а не менее любил тотчас и я обоих их, и у нас всегда, как ни прихаживали они к нам, бывали с ними обо всем и обо всем, касающемся до книг и до наук, непрерывные и для меня отменно приятные разговоры, а сие и подружило нас между собою очень скоро неразрывною почти дружбою.

Не могу изобразить, как удивился я, услышав от них о помянутой новой и совсем для меня еще неизвестной философии, и о преимуществах ее пред прежней и мне знакомой, и как заохотили они самого меня узнать короче об оной и слышать, как преподают об ней им лекции. Они услышали желание мое и не преминули поговорить о том с своим магистром *Вейманом* и спросить его, не дозволит ли он им привести меня когда-нибудь с собою, дабы мог я хоть один раз присутствовать при преподавании им его лекций: и как неописанно обрадовали они меня, принеся известие ко мне, что он не только им то дозволил, но поставляет себе за особливую честь и будет очень рад, если удостою я его своим посещением.

Мы условились еще в тот же день иттить к нему все вместе. Вечер случился тогда, как теперь помню, очень темный, осенний и притом ненастный, и хотя иттить нам было очень дурно и проходить многие улицы и тесные переулки по скользким мостовым, но я не шел, а летел, ног под собою не слыша, вслед за моими проводниками, Я не иначе думал, что найду порядочный и хорошо убранный дом; но как удивился я, нашедшую *хибарочку*, во втором этаже одного посредственного домика, и в ней повсюду единые следы совершенной бедности. Иному не могла бы она ничего иного вперить, кроме одного презрения, но у меня не то было на уме. Я искал в ней мудрости, и был столь счастлив, что и нашел оную.

Господин *Вейман* принял меня с отменною ласкою и, посадив нас, тотчас начал свое дело. Материя, о которой по порядку им тогда говорить следовало, была наитончайшая и самая важнейшая из всей метафизики;

как теперь помню, о времени и месте, и он несмотря на всю ее тонкость, трактовал ее так хорошо, так внятно и украшал ее толь многими до обеих философий относящимися побочностями, что я слушал ее с неописанным удовольствием и, пользуясь дозволением его, не уставал его то о том, то о другом, для лучшего понятия себе, расспрашивать. И как отменным вниманием своим, так и пониманием всего того, что он сказывал, равно как и совершенным разумением немецкаго языка я ему так угодил, что он при отшествии нашем и при делаемых ему благодарениях мне сказал, что если мне только угодно будет, то он за особое удовольствие почтет, если я к нему и впредь всегда ходить и лекции его слушать буду, и что он не только ничего за то не потребует, но за особое удовольствие себе поставит учить меня философии, которая так мне полюбилась.

Я очень доволен был сим его приглашением, и не преминул воспользоваться данным от него мне дозволением, и с самого того времени не пропускал ни одного раза, чтоб вместе с товарищами моими к нему не ходить, и всегда располагал дела свои так, чтоб мне на весь седьмой час после обеда можно было из канцелярии к нему отлучаться. И г. *Вейман* так меня полюбил, что из всех своих учеников почитал наилучшим и всех скорее и совершеннее все понимающим и о просвещении разума моего так много старался, что я могу сказать, что обязан сему человеку очень много в моей жизни.

Сим образом начал я с сего времени порядочно студировать и слушать философические лекции и производил сие так сокровенно, что долгое время никто о том не знал и не ведал. Но как наконец частыя и всегда в одно время бываемыя отлучки мои из канцелярии сделались приметны, и некоторые из наших канцелярских стали подозревать меня и толковать оныя в худую сторону, то принужден я был наконец открыться в том г. *Чонжину* и у него выпросить формальное уже для отлучек сих себе дозволение. И тогда имел я удовольствие видеть, что обратилось мне сие не в предосуждение, но в особливую честь и похвалу. Г. *Чонжин* не только разславил и рассказал о том всем с превеликою мне похвалою; но сказал даже и самому генералу и таким тоном, что и тот не преминул меня за то публично похвалить и при многих случаях приводил меня в пример и образец молодым людям, особливо распутным офицерам.

Но при сем одном не осталось; но как около самого сего времени прислан был к нему из Петербурга один из дальних родственников его, из

фамилии *Чоглоковых*, для отдания его в тамошний университет учиться языкам и наукам, и он жил у одного из первых тамошних профессоров г. *Ковалевского*, так, как в пансионе, но молодой человек сей был такого характера, что потребен был за ним присмотр, то генерал наш не нашел никого, кроме меня, кому б мог препоручить сию комиссию. Почему и принужден был я от времени до времени ходить в тамошний университет и в дом к помянутому г. *Ковалевскому*, и не только свидетельствовать успехи сего его родственника, но осведомляться о его поведении и поступках; а как вскоре после того и другой из наших армейских и тут бывших генералов, а именно господин *Хомутов*, по рекомендации от нашего генерала, усиленным образом просил меня принять под присмотр свой и его сына, учившегося тут же в университете, то все сие сделало меня и в университете известным и приобрело мне и от всех тамошних профессоров честь и особливое уважение, простиравшееся даже до того, что они при каждом университетском торжестве и празднестве не упускали никогда приглашать и меня вместе с прочими знаменитейшими людьми к присутствованию при оных, и все оказывали мне, как бы уже ученому человеку, особливую вежливость и учтивство.

Теперь легко можно всякому заключить, что для меня все сие не могло быть противно, но было в особливости приятно, и польза, проистекшая от того, мне была та, что я чрез то имел случай видеть все университетские обряды и обыкновения и получить как о роде учения, так и обо всем ближайшее понятие. Что ж касается до помянутого профессора *Ковалевского*, славившегося в особливости тем, что живали у него в доме всегда и учивались многие пансионеры и нередко из самых знаменитейших прусских и других земель фамилий, то хотя бывал я у него и часто, но кроме холодного учтивства не видал от него ничего; да и находил, что он более был славен, нежели того достоин. Все учение его не имело в себе ничего чрезвычайного и особенного, а и самое смотрение за учениками и старание о просвещении их было весьма посредственное; а единую редкость и особенность в его доме нашел я только ту, что у него со всех бывавших до того и тогда бывших учеников списаны были живописные портреты и ими установлена целая комната, но и сие происходило ни от чего иного, как от единого любославия сего надменного и кичащагося тем человека; а впрочем, нельзя сказать, чтоб все учащиеся у него получали от него многую пользу.

Другая достопамятность, случившаяся со мною около сего времени, была та, что повышен был рангом и пожалован из подпоручиков в поручики. Сей чин давно б я иметь мог, ежели б производство мое зависело от нашего генерала, но как я счислялся по армии и все еще в полку, то не можно было генералу ничего в пользу мою сделать, я и должен был ожидать всего от главных командиров армии и ждать, когда по линии и по старшинству мне в поручики достанется. Но как находился я от полку в отлучке и не состоял на лице в армии, то и не ожидал нимало себе повышения, и всего меньше онаго добивался, но как новый наш старичок фельдмаршал, будучи сам за победы от императрицы награжден и повышен чином, восхотел по возвращении своем из похода в Польшу оказать благодеяние и всем бывшим с ним в походе армейским офицерам и обрадовать их сделанием генеральнаго, общаго всем и большого произвождения, то при самом сем случае, против всякаго чаяния и ожидания моего досталось и мне в поручики. И сообщено было о том во известие от полку к нашему генералу с повторительным опять требованием и просьбою об отпуске меня и отправлении к полку.

Повышение сие было хотя посему не чрезвычайное какое и не важное, но как чины давались тогда очень туго, да и я всего меньше онаго ожидал, то и был я тем чрезвычайно обрадован. Г. *Чонжин* не преминул и при сем случае сыграть со мною шутку. Он узнал о том всех прежде, но как генерал запретил ему о том мне сказывать, желая сам обрадовать меня в последующее утро, то и восхотелось г. *Чонжину* надо мною позабавиться и приготовить меня к тому страхом и напуганием. Итак, не успел я в последующее утро приттить в канцелярию, как притворился он не только ничего о том не знающим, но еще сердитым и угрюмым и, призвав меня к себе в судейскую, сердитым голосом и видом мне сказал: «Что ты там наделал? Генерал неведомо как на тебя сердится. Дошла на тебя к нему какая-то от немчуров просьба; я теперь только у него в покоях был и он рвет и мечет, и посмотри, что тебе от него будет». Я остолбенел, сие услышав, и как за собою ничего не ведал, то и отвечал ему, что его превосходительству вольно со мною делать, что ему угодно, но я, по крайней мере, ничего такого за собою не знаю, чем бы мог заслужить гнев его. «Со всем тем, – подхватил он, – подана на тебя какая-то бумага. Я сам ее видел и писана она по-немецки. Не знаешь ли ты чего за собою?» – «Не знаю, – сказал я, – а разве вздумалось какому-нибудь бездельнику что-нибудь ложное на меня

наклепать!» – «Ну, вот посмотрим, генерал скоро сюда придет, и ты готовься только отвечать; а мне досадно только то, что случилось сие не к поре и не ко времени. Ты того не знаешь, что со вчерашним курьером получено, между прочим, вновь требование тебя в полк, и я истинно теперь уже не знаю, как нам тебя удержать; и боюсь, чтоб генерал в теперешней досаде на тебя не решился наконец отпустить тебя, так как он уже и намекал мне о том». – «Воля его!» – сказал я, – но признаться надобно, что сие последнее встревожило дух мой еще больше, и, по пословице говоря, на сердце у меня начали скресть тогда сильно кошки. Не имел я охоты и до того ехать в армию, а при тогдашних обстоятельствах и подавно не хотелось мне никак разставаться с Кёнигсбергом.

В самую сию минуту вошли в судейскую наши советники, и г. *Чонжин* дал мне знак, чтоб я вышел вон. Я пошел, повеся голову, с побледневшим лицом и с таким разстроенным и смущенным видом, что все сотоварищи мои тотчас сие заметили и, окружив меня, стали спрашивать, что такое сделалось со мною? «Что, братцы, – с досадою сказал я им, – какая-то бестия, сказывают, подала на меня какую-то жалобу генералу, хотя я ничего за собою не знаю, не ведаю, а с другой стороны, требуют опять в полк, и Тимофей Иванович сказал мне, что генерал, будучи теперь в превеликих сердцах на меня, более удерживать меня не хочет и решился отпустить». – «Что вы говорите?» – закричали все в один голос, сие услышав, и, сделавши вокруг меня кружок, начали все тужить и горевать обо мне; ибо надобно знать, что вся канцелярия меня искренно любила и все до единого брали в горести и досаде моей живейшее соучастие. Но не успели они друг перед другом наперерыв начать расспрашивать меня о том подробнее, как вдруг зашумели в судейской и сторож выбежал к нам оттуда с известием, что генерал идет. Вмиг тогда разсыпались все, как дождь, от меня и, усевшись по местам своим, замолчали. Я пошел также на свое, за перегородку, но едва успел усесться и начать рассказывать о горе своем товарищам своим немцам, также о том любопытствующим, как загремел в судейской колокольчик и чрез минуту потом выбегает опять сторож, бежит прямо ко мне и говорит: «Извольте, сударь, к генералу!» Я помертвел, сие услышав, и сердце мое во мне так забилося, и кровь взволновалась во всем теле, что я едва в состоянии был встать с места и, сколько в скорости можно было, пооправиться и изготovitься к ответу. С трепещущим сердцем, с побледневшим лицом и подгибающимися коленами пошел я, куда меня звали, и

как, при растворении дверей, издали уже увидел я генерала, держащего в руках бумагу и меня ожидающего, то, не сомневаясь нимало, что была та самая поданная просьба, о которой сказывал мне г. *Чонжин*, еще более от того встревожился духом и, в неопisanном будучи смущении, едва был в силах войтить в судейскую и генералу поклониться. Я другого не ожидал, как того, что он в тот же миг на меня, по обыкновению своему, запылит огнем и пламенем и смешает меня совсем с грязью: но как удивился я, увидев тому противное, и что генерал без всякаго сердитаго вида, а только протянув ко мне руку с бумагою и, власно как еще с некаким сожалением, сказал: «Что делать, *Болотов!* требуют тебя опять в полк, и требования сии, чорт их побери, уж так мне надоели, что я не знаю уже, что мне делать, и решаюсь почти отпустить тебя; вот возьми прочти сам!» – «Воля ваша в том, ваше превосходительство, в полк так в полк», – отвечал я и стал подходить для принятия бумаги. Но как генерал, взглянув пристальнее на меня, увидел, что я с побледневшим лицом и с крайне беспокойным духом едва в состоянии был переступить ногами, то, приняв на себя веселый вид и усмехнувшись, сказал мне далее: «Ну, добро, добро, господин *Болотов*, не беспокойтесь и не смущайтесь духом. Требовать вас хотя и требуют, однако мы и в сей раз вас никак не отпустим, вы и здесь не баклуш бьете, а столько ж государыне своей или еще более служите, нежели другие многие; а сверх того, похвальным образом делаетесь еще и с другой стороны отечеству полезными». Слова сии влили как некакой живительный бальзам в смущенное мое сердце, и меня столько ободрили, что я, сделав генералу пренизкой поклон, не хотел было и читать уже принятой от него бумаги; но он тотчас подхватил: «Однако прочтите, прочтите бумагу-то и прочтите ее вслух нам; может быть, нет ли в ней чего-нибудь еще иного».

Приказание сие меня удивило; но сколь удивление сие безконечно увеличилось, когда, развернув бумагу и начав читать, увидел я, что это было извещение о пожаловании меня *поручиком*, и требование, чтоб я на сей чин приведен был к присяге. Я остолбенел почти также от нечаянной и неожиданной сей радости, как сперва от смущения, и досада, и состояние мое в сию минуту было таково, что я оно не никак описать не в состоянии, а скажу только, что происшедшее вновь во мне, но приятное уже смущение духа произвело то, что я читать остановился, онемел, стоял дурак дураком и не знал, что мне делать; а особливо когда увидел, что генерал, развеселившись вдруг так, что таковым я давно его не видывал, начал меня поздрав-

лять с чином и, уверяя, что он тому очень рад, желать мне и дальнейшего еще повышения. А не успели услышать того оба сидевшие с ним за столом и меня любившие советники, как последовали его примеру и наперерыв друг перед другом меня поздравляли, говоря, что я того давно уже достоин и передостин. Словом, со всех сторон были деланы мне поздравления, а особливо когда вышел я из судейской. Тут, в один миг облепили меня со всех сторон все канцелярские, от вышняго до нижняго, все брали в радости моей искреннее соучастие, все желали мне дослужиться до генеральскаго чина, и я едва успевал только всем откланиваться, и охотно простил напугавшему меня г. *Чонжину* за выдуманную им надо мною шутку, в чем признавался он, надседаясь со смеха, а особливо когда узнал, что генерал хотел было сначала действительно меня уже отпустить, и что сей господин *Чонжин* убедил его и в сей раз меня не отпускать, чему не только я, но и все наши канцелярские были очень рады. Впрочем, тотчас послано было за плац-майором и в тот же час велено меня привести к присяге, а генерал столько был ко мне милостив, что пригласил меня в сей день обедать за собственным своим столом и в продолжение онаго удостоил выпить рюмку вина за мое здоровье и поздравить меня с чином.

Сим кончилось тогда мое приятное для меня происшествие; а поелику письмо мое уже сделалось довольно велико, то окончу я и оное на сем месте, сказав вам, что я есмь навсегда ваш и прочее.

ДРУЖБА С ЛЕЙТЕНАНТОМ ТУЛУБЬЕВЫМ

Письмо 82-е

Любезный приятель!

Продолжая повествование мое о бывших со мною в течение 1760 года происшествиях о том, что у нас в Кёнигсберге в сей год происходило, скажу, что к числу первых относится и особая дружба, основанная у меня с одним из наших морских офицеров по имени Николаем Еремеевичем *Тулубьевым*, – дружба, которая и поныне мне памятна и которую я никогда не позабуду. Он был лейтенантом на одном из наших морских судов, и жил у нас в сие лето в Кёнигсберге для исправления некоторых порученных ему комиссий. Как ему по поводу самых оных часто доходило иметь дело с

нашим генералом и он нередко для того прихаживал к нам в канцелярию и провождал в ней и в самой моей комнате иногда по несколько часов сряду, то самый сей случай и познакомил меня с ним короче. Он был человек еще молодой, однако несколькими годами меня старше, и как всякому морскому офицеру свойственно, нарочито учен и во многом столь сведущ, что можно было с ним всегда о многих вещах с удовольствием говорить. Но все сие не сдружило бы нас с ним так много и так скоро, если бы не случилось у обоих нас нравы и склонности во всем почти одинакие и такая между обоими нами натуральная симпатия, что мы с первого почти свидания полюбили друг друга, а чрез несколько дней так сдружились и так сделались коротки, как бы ближние родные. И могу сказать, что ощущения имел я к сему человеку прямо дружеския и в каждый раз был в особливости рад, когда прихаживал он к нам в канцелярию. Я покидал тогда все свои дела и упражнения и занимался разговорами с сим любезным человеком, и о чем не говаривали мы с ним и сколько приятных и неоцененных минут не проводили в сих дружеских собеседованиях с ним. Словом, я не уставал никогда говорить с ним, а он со мною, и из всех бывших у меня в жизни друзей, ни к кому не прилеплен я был таким нежным и искренним дружеством, как к сему человеку. А сие и было тому причиною, что мы не только во все время пребывания его у нас в Кёнигсберге видались очень часто и вместе с ним сживали в канцелярии, вместе гуливали по лучшим и приятнейшим местам города и его окрестностям; вместе увеселялись красотою и прелестностями природы, до чего он такой же был охотник, как и я; вместе читывали наилучшия приятнейшия книги; вместе занимались разными и о разных материях разсуждениями. Но как наконец надлежало ему от нас отбыть и отправиться жить в Мемель, где находилось его судно, то при отъезде его условились мы продолжать и заочно наши свидания и разговоры и иметь с ним частую и еженедельную переписку.

Переписка сия была между нами и действительно. Я первый ее начал и заохотил друга моего так, что продолжалась она непрерывно несколько месяцев сряду, и как была она особаго и такого рода, какая редко у кого бывает, то и доставляла обоим нам безчисленное множество минут приятных и неоцененных в жизни. Я не могу и ныне еще позабыть, с какою нетерпеливостию всякий раз дожидался я тогда почты, с какою жадностъю распечатывал друга моего пакеты и с каким удовольствием читывал пространныя и дружеския его к себе письма. Он описывал мне все, что происходило

с ним в Мемеле; а я ему сообщал то, что у нас делалось в Кёнигсберге, и, мешая дело с бездельем, присовокуплял к тому разные шутки и другие побочные и такие материи, о которых знал, что оне будут другу моему приятны, а он самое то же делал и в своих письмах. Словом, переписка сия была у нас примерная и не только частая, но и столь пространная, что мы посылавали иногда друг к другу целыя почти тетрадки и я провождал иногда по несколько часов сряду в писании и одного письма к нему. Все сии минуты были для меня всегда не только утешны, но и крайне увеселительны, а как и ему столь же приятно было писать и ко мне, то все сие увеличивало еще более наше дружество, которое продолжалось до самого того времени, как он отлучился наконец в море, где вскоре после того, к превеликому моему сожалению, лишился он жизни, приказав доставить ко мне вкупе с известием о его смерти и все присланные к нему мои письма. Письма сии и поныне еще хранятся у меня в целости; и как оне писаны были все в одну форму, то велел я их тогда же переплесть и храню их как некакой памятник тогдашним моим чувствованиям и упражнениям, а вкупе и тогдашней моей способности к описанию и великому еще несовершенству моего слога. Но как бы то ни было, но сей случай доказал мне, самую опытностию, что поверенная и прямо дружеская и такая переписка, какую имел я тогда с сим человеком, может быть не только крайне приятна, но доставлять обоим друзьям несметное множество минут, неоцененных в жизни.

Кстати к сему упомяну я, что к числу бывших со мною в течение сего года происшествий принадлежит также и то, что я однажды чуть было не сжег сам себя и со всею квартирою своею и не подвергся крайней опасности. Произошло сие от непомерной охоты моей до чтения книг. Я занимался тем не только во все праздные часы дня и самых вечеров, но сделал как-то глупую привычку читать их со свечкою и, легши уже спать в постелю и продолжать оное до тех пор, покуда сон начнет сжимать мои вежды и покуда я совсем забудусь. Тогда чрез минуту просыпался я опять, погашал свою свечку и предавался уже сну. Таким образом читывал я по вечерам книги уже несколько времени, и привычка сделалась так сильна, что в каждый раз бывало то, что чрез минуту после того, как я забудусь, власно как кто меня нарочно для потушения свечки разбудит и я, сделав сие, засыпал уже спокойно. Но как смертельно испужался я однажды, когда, проснувшись помянутым образом для погашения своей свечки, увидел себя вдруг объятого всего огнем и поломем, ибо в течение помянутой ми-

нуты свечка моя была так неосторожна, что зажгла повиснувший как-то близко к ней полог моей кровати, и он уже пылал весь в то время, как я очнулся. Не могу изобразить, каким ужасом и страхом я тогда поразился. Я вспрыгнул без памяти с кровати и, начав тушить, пережег и перемарал себе все руки, и по особливому счастью, пламя не достигло еще до потолка, и что мне хотя с трудом, но потушить было еще можно. Как совестился я тогда пред добродушными стариками, моими хозяевами, которых всех сей случай перестрадал до чрезвычайности, и которые через сожжение полога претерпели от меня убыток. Я охотно брался заплатить им вдвое против того, чего он стоит, но они никак на то не согласились, но были довольны обещанием моим не читать никогда уже более в постеле со свечкою книги, которое обещание и постарался я действительно выполнить; да и самого меня случай сей так настрашал, что я с того времени во всю жизнь мою никогда уже по вечерам книг в постеле со свечкою не читывал, да и другим того делать не советую.

Что касается до посторонних знаменитейших происшествий, бывших около сего времени в Кёнигсберге, то памятны мне только два, а именно освящение нашей церкви и смерть генерала *Языкова*. Относительно до церкви скажу вам, что до того времени довольствовались мы только маленькою, полковою, поставленною в одном доме; но как Кёнигсберг мы себе прочили на должайшее время и, может быть, навек, то во все минувшее время помышляемо было уже о том, где б можно было нам сделать порядочную для всех россиян церковь, которая и нужна была как по множеству нашего народа, так и потому, что императрице угодно было прислать к нам туда для служения и архимандрита со свитою, певчими и со всем прибором. Сперва думали было достроивать находившуюся на парадном месте огромную кирку, начатую давно уже строить, но которой строение за чем-то остановилось; но как оказалось, что к отделке сей потребна великая сумма, а построенныя стены не слишком были прочны и надежны, то решились наконец велеть пруссакам опростать одну из их кирок, и сию-то кирку надобно нам было тогда освятить и превратить из лютеранской в греческую. Избрана и назначена была к тому одна из древнейших кёнигсбергских кирок, довольно хотя просторная, но самой старинной готической архитектуры, с высокою и остроконечною башнею или шпирем, а именно та, которая находилась у них в *Штейндамском* форштате, неподалеку от замка.

Главнейшее затруднение при сем деле было хотя то, чтоб снять с помянутого высокого шпица обыкновеннаго их петуха и поставить вместо того крест на оный, однако мы произвели и сие. Отысканы были люди, отважившиеся взлесть на самый верх оной башни и снять не только петуха, но и вынуть из самого яблока тот свернутый трубкою медный лист, который есть у иностранных обыкновение полагать в яблоко на каждой церкви, и на котором листе вырезавают они письма, означающие историю той церкви, как, например, когда она? по какому случаю? кем? каким коштом? какими мастерами и при каком владетеле построена и освещена, и так далее. Мне случилось самому видеть оный вынутый старинный лист, по которому означилось, что церковь та построена была более, нежели за 200 лет до того. И мы положили его опять туда, присовокупив к тому другой и новый, с вырезанными также на нем латинскими письмами, означающими помянутое превращение оной из лютеранского в греческую, с означением времени, когда, по чьему повелению и кем сие произведено. А посему и остался теперь в Кёнигсберге навеки монумент, означающий, что мы, россияне, некогда им владели и что управлял им наш генерал *Корф* и производил сие превращение. Что касается до иконостаса, то прислан оный был из *Петербурга*, написанный прекрасно на камке и довольно великолепный; а прислана была также оттуда и вся прочая церковная утварь и ризница на славу, очень богатая и великолепная. Самый архимандрит прислан был уже другой, по имени *Тихон*, и муж прямо благочестивый, кроткий, ученый и такой, который не делал стыда нашим россиянам, но всем поведением своим приобрел почтение и от самых прусских духовных. Сей-то самый архимандрит освящал тогда сию церковь; и как церемония сделана была при сем случае самая пышная, то привлекла она безчисленное множество зрителей, и все пруссаки не могли духовным обрядом нашим, а особливо миропомазанию самых церковных стен, которое и нам случилось тут впервые видеть, довольно надивиться. И как в сей церкви и служение производилось всегда на пышной ноге, с прекрасными певчими, и как архимандритом, так и бывшими с ним, иеромонахами сказываны были всегда разумныя проповеди, то все сие тамошним жителям так полюбилось, что не было ни одной почти обедни, в которую не приходило б по несколько человек из тамошних зрителей для смотрения.

Что ж касается до второго происшествия, или смерти и погребения генерала *Языкова*, то был он самый тот, который, будучи еще полковником,

с гренадерским своим полком так храбро защищал на *Егерсдорфской*, или *Апраксинской*, баталии интервал между обоими лагерями нашей армии прикрывающими лесами, и который, будучи при сем случае весь изранен, приобрел себе тем великую славу и пожалован за то генералом. От сих-то ран не мог он самого того времени еще оправиться, но они свели его во гроб, несмотря хотя и старались ему помочь все наилучшие как наши, так и кёнигсбергские медики. Мы погребли его тогда со всею должною по чину его и по славе честию, и как и сия церемония была одна из великолепнейших и пышных, то обратила и она на себя внимание всех кёнигсбергских жителей и произведена была при стечении безчисленного множества народа.

Вот все, что я могу упомнить относительно до происшествий тогдашняго времени, и как чрез описание их и сие письмо нарочито увеличилось, то сим окончу я и оное, сказав вам, что я есмь и пребуду навсегда ваш и прочая.

Конец
седьмой части



ЧАСТЬ VIII

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ МОЕЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ И ПРЕБЫВАНИЯ МОЕГО В КЁНИГСБЕРГЕ 1760–1761

ИСТОРИЯ ВОЙНЫ

Письмо 83-е¹

Любезный приятель!

В последнем вашем письме вы требуете от меня того, что хотел было я и сам сделать, а именно, чтоб описать вам таким же образом историю прусской войны нашей и в 1760-м году, как описывал я вам ее относительно до 1759 года, и говорите, что вы довольны были б, если б пересказал я вам о том хотя вкратце; а мне инако и сделать не можно, ибо в противном случае завело б меня сие в великое пространство и удалило слишком от собственной истории.

Итак, приступая к сему делу, скажу вам, что между тем как мы помянутым образом в Кёнигсберге в мире и в тишине жили и время свое проводжали в одних забавах, утехах и увеселениях разных, а я занимался чтением, переводами и науками, война продолжалась в *Европе* по-прежнему, и пламень ея, воспылая с начала весны, не преставал гореть до самой глубокой осени и, к несчастию человеческого рода, не в одном еще месте, но во многих и разных странах и областях.

В последнем моем о сей войне письме к вам² рассказал я уже, какия деланы были повсюду страшныя приуготовления. Все союзныя державы

¹ Ноября 7 дня 1800 г.

² В VII части, № 79.

хотели в кампанию сию напрячь все силы свои к преодолению наконец отгрызающегося от них всячески короля пруссакого, и тем паче, что казалось, будто бы счастье за несколько времени обратилось к нему спиною, и он с самого того времени, как в минувший год мы его сперва под *Пальцигом*, а потом под *Франкфуртом* поколотили, терпел несчастье за несчастьем и всюду неудачи; а сей готовился паки от всех врагов своих отъедаться и не довести себя до гибели совершенной. Таким же образом рассказал я вам тогда ж и о том, какая разные планы деланы были для сей кампании и который из них принят и почтен за лучший.

Итак, весна застала все воюющия державы готовыми опять драться и со изошренными паки друг на друга мечами. Все прусския области окружены были со всех сторон многочисленными и сильными неприятельскими армиями, и королю прусскому потребно было все его знание, проворство и искусство к тому, чтоб уметь оборонить себя и защитить земли свои от толь многих неприятелей. Со стороны нашей готовилась надвинуть на него, как страшная и темная громовая туча, огромная наша армия. Со стороны Шлезии готовился впасть в его земли славный и искусный цесарский генерал *Лаудон* с многочисленным и сильным корпусом. В Саксонии стояла против его главная и многочисленная цесарская армия и сам главный и хитрый ея командир граф *Даун*. Там, далее, угрожала его имперская армия и владетельный герцог *Виртембергский* с особым корпусом, а с стороны от *Рейна*, многочисленная и сильная французская армия, а сзади и от севера озабочивали его по-прежнему шведы, а наконец, со стороны *Пруссии*, *Померании* и *Данцига* опять мы, готовившиеся в сие лето уже порядочно и с моря и с сухого пути осадить приморскую его крепость *Кольберг* и снаряжающие к тому многочисленный флот со множеством транспортных судов для перевоза сухопутнаго войска. Словом, со всех сторон восходили тучи грозныя и готовились нагрянуть на прусския области, с тем вящею надеждою о хорошем успехе, что король прусский всеми предсловавшими кампаниями и многочисленными уронами ослаблен был уже очень много, и в сей год не в состоянии уже был выставить против неприятелей везде многочисленныя и такая же хорошия войска, какия были у него прежде. И как беда и опасность не с одной, а с разных сторон ему угрожала, то принужден был и последние остатки войск своих разделить на разные, хотя небольшие куски и выставить оные против помянутых многочисленных армий. Итак, против нас поставил он брата своего

принца *Гейнриха*, с нарочитым корпусом; против *Лаудона*, в Шлезии, поставил генерала *Фукета*, с небольшим корпусом; против *Дауна* и главной цесарской армии стал сам с лучшими и отборнейшими своими войсками, а против имперцов и французов поручено было защищаться принцу *Фердинанду* Брауншвейгскому, а в Померании, против шведов и нас, поручено было генералу *Вернеру* с небольшим числом войска отгрызаться.

Вся Европа думала и не сомневалась почти, что в лето сие всей войне конец будет и что король прусский никак не в состоянии будет преобороть такия со всех сторон против его усилия. И если б союзники были б единокорнейшее и согласнее, если б поменьше между собою переписывались, пересылались, и все переписки и пересылки сии поменьше соединены были с разными интригами и обманами, если б поменьше они выдумывали разных военным действиям планов и поменьше делали обещаниев друг другу помогать, если б не надеялись они сих взаимных друг от друга вспоможений и подкреплений, а все бы пошли сами собою прямо и со всех сторон вдруг на короля прусскаго, то, может быть, и действительно б ему не устоять, но он бы пал под сим бременем и погиб. Но судьбе видно угодно было, чтоб быть совсем не тому, что многие думали и чего многие ожидали, а совсем тому противному, и потому и надобно было произойти разным несогласиям, обманам, интригам, своенравиям и упрямствам и прочим тому подобным действиям страстей разных и быть причиною тому, что и сие лето пропало почти ни за что. И хотя в течение и онаго людей переморено и перебито множество, крови и слез пролиты целья реки, домов разорено и честных и добрых людей по-миру пущено многия тысячи, но всем тем ничего не сделано, но при конце кампании остались почти все при прежних своих местах, и король прусский не только благополучно от всех отгрызся, но получил еще на конце некоторыя выгоды.

Кампания началась и в сие лето очень рано, и открыл ее *Лаудон* нападением на Шлезию и на стоящаго там против его генерала *Фукета*; и сие учинено с толиким счастьем и успехом, что помянутый прусский генерал не только был разбит, но со всем корпусом своим взят в полон. А вскоре после того получена в Шлезии цесарцами и другая выгода и взята славная и крепкая прусская крепость *Глац*, чего никто не ожидал, а всего меньше король прусский.

Лаудон, которому велено было дожидаться наперед пришествия к прусским границам нашей армии и тогда уже, а не прежде начинать свои дей-

ствия и который, соскучивши, дожидаясь нас тщетно до самого мая, сим делом поспешил; и получив сию удачу, восхотел было и далее еще счастливым своим воспользоваться и до прибытия еще нашей армии взять и самый главный шлезский город *Бреславль*. Но как сие не так скоро и легко ему одному можно было сделать, как он думал, то и принужден был от сей крепости отойти со стыдом и разстроил самым тем все дело.

Принудило его к тому пришествие принца *Гейнриха*, который, стоячи против нас и видя армию нашу поворачивающуюся очень лениво и неповоротливо и далеко не так к *Бреславлю* поспешавшую, как надлежало, оставив нас одних шествовать по воле тихими стопами, полетел с корпусом своим для освобождения *Бреславля* от осады. А как в самое то же время дошел до *Лаудона* слух, что и сам король с армиею своею туда же шел и уже приближался, то, как ни старался он принудить город к сдаче и как ни угрожал бомбандированием и устраиваниями коменданта, что буде не сдаст города, то не пощадится ни один ребенок в брюхе; но сей, дав славный тот ответ, что ни он не брюхат, ни солдаты его, не склонился никак на сдачу города и принудил тем *Лаудона*, не дождавшись армии нашей, приближающейся уже к городу, оставить осаду и ретироваться в горы. А сие и произвело, что поход и нашей армии и все поспешение оной сделалось тщетно и она принуждена была остановиться на том месте, где известие о том ее застало, и в разсуждении пропитания своего пришла в великое нестроение, ибо вся надежда была на великие и огромные прусские магазины в *Бреславле*, которыми цесарцы овладеть и ими нашу армию прокормить надеялись.

Между тем как сие происходило в этом краю, то в другом, а именно *Саксонии*, происходила другая потеха. Там *Даун* и король прусский долгое время стояли друг против друга и старались только один другого перехитрить и обманывать. Первому не хотелось никак допустить короля пруссакого соединиться с братом его, принцем *Гейнрихом*, а самому урваться и поспешить к *Лаудону*, дабы, соединившись с ним и с нашею армиею, ударить уже вдруг на короля; а сему хотелось не допустить *Дауна* до сего соединения, и потому, как скоро он услышал, что сей, получив известие о начальных успехах *Лаудона*, пошел к нему на вспоможение, как для удержания его вдруг обратился назад и совсем неожиданным образом осадил саксонский столичный и цесарцами тогда защищаемый прекрасный и обширный город *Дрезден*, и, привезя из соседственных своих областей тяже-

люю артиллерию, начал оной наижесточайшим образом и так сильно разстреливать и бомбандировать, что в один день пущено в оный 1400 бомб и ядер, от которых сей прекрасный город толикое претерпел разорение, что и поныне еще не может от того совершенно поправиться и раны свои и доныне еще чувствует. Вся Европа сожалела о бедствии сего города и тем паче, что всем было известно, что осада сия предпрята была единственно для остановления пошедшаго в Шлезию *Дауна* и что в самом городе не было королю нималой нужды. Но ему и удалось самым тем перехитрить *Дауна*, ибо как скоро до сего дошел слух о сей осаде и таком разорении города, то вернулся он назад для защищения и освобождения города от осады, что в непродолжительное время и произвел, и принудил короля таким же образом со стыдом оставить осаду *Дрездена*, как *Лаудон* оставил осаду *Бреславля*.

По окончании сего неудачнаго предприятия, которое было последнее из несчастных, оборотился король прусский к Шлезии и пошел прямо к нам, ибо слух до него дошел, что наша армия находилась уже в самом сердце любезной его Шлезии и за милю только от *Бреславля*, почему и хотел он всячески поспешить и, соединившись с принцем *Гейнрихом* во что б ни стало, ударить на нас всею силою. Но не успел он в сей славный и дальний поход выступить, как *Даун* в тот же час отправился вслед за ним и, догнав, пошел с ним рядом, делая ему в шествии возможнейшия препятствия и затруднения. И так шли обе армии в такой близости друг к другу рядом и так не опереживая и не отставая друг от друга, что всякому, не знающему того, показалось бы, что это одна армия.

Между тем нашаему графу *Салтыкову* приходило с армиею его есть нечего, а как услышал он, что идет на него сам король прусский и что *Даун* идет хотя с ним рядом, но ничего не делает и к баталии его не принуждает, был тем крайне недоволен и говорил, что когда не воспрепятствовали цесарцы ему перейти чрез реки *Эльбу*, *Шпре* и *Бобер*, то не помешают ему перейти и *Одер*, соединиться с принцем *Гейнрихом* и напасть на него всею соединенною силою. «Королю, – говорил он далее, – стоит только сделать марша два форсированных и употребить обыкновенныя свои хитрости, как он и явится пред нами; но я прямо говорю, что как скоро король перейдет чрез *Одер*, то в тот же час пойду я назад в Польшу».

Таковыя угрозы принудили *Дауна*, для остановления короля прусскаго, дать ему баталию и он, улуча такое время, что королю случилось стать

лагерем в одном месте не очень выгодно, вознамерился напасть на него на разсвете и атаковать вдруг с четырех сторон его лагерь. Сам *Даун* хотел атаку вести спереди, *Лесию* назначено было атаковать правое, а *Лаудону* левое крыло.

Все распоряжения были к тому уже сделаны втайне и цесарцы так не сомневались о хорошем успехе, что, хвастаясь, говорили уже, что король у них теперь ровно как в мешке, и им стоит только мешок сей сжать и завязать; но, по особливому несчастью их, король узнал как о намерении их, так и о самом помянутом хвастовстве, и сам в тот же день за ужином, говоря, что цесарцы в том и не погрешают, однако он надеется сделать в сем мешке дыру, которую им трудно будет заштопарить.

А всходствие того тотчас по наступлении ночи и велел он сделать все приуготовления к баталии и расположил тотчас план оной. Он приказал в лагере своем поддерживать обыкновенные огни и поджигать их крестьянам, а гусарам, чрез каждые четверть часа, кричать и пускать сигналы, дабы всем тем сокрыть от неприятеля свой поход и намерение; сам, тотчас со всюю армиею вышедши из лагеря и отойдя в удобнейшее место, построил армию к баталии и стал, сидючи на барабане, спокойно дожидаться утра. Но что всего курьезнее было, то точно такой же обман для скрyтия шествия своего употребили и цесарцы, и что сим образом обе армии в потемках ночью шли к тому месту, где судьбою назначено быть великому кровопролитию, друг о друге ничего не зная и не ведая.

Итак, не успело начать разсветать, как *Лаудон*, которому поручено было напасть на короля с леваго фланга с 30-ю тысячами человек войска, вдруг усматривает пруссаков там, где он их всего меньше найтить думал, и с ужасом примечает, что пред ним стоит вся королевская армия в готовности к сражению, и которой вторая линия тотчас вступила с ним в бой и как пушечною пальбою с батарей, так оружейным огнем его встретила. *Лаудон*, хотя и не оробел в сем случае, но, построив в скорости весь корпус свой треугольником, атаковал сам пруссаков с возможною храбростию; но как он был слишком слаб против оных, то, по двучасном сражении и потеряв до несколько тысяч убитыми и в полон попавшими и оставив пруссакам в добычу 23 знамя и 82 пушки, принужден был оставить место баталии королю прусскому, и с таким искусством ретировался назад чрез речку, тут случившуюся, что король прусский расхвалил сам сию ретираду и говорил, что он во всю войну не видал ничего лучшего против сего

маневра Лаудонова, и что наилучшим днем жизни его есть тот, в который хотелось ему разбить его.

Сражение сие, бывшее 4-го августа, продолжалось хотя недолго и было хотя только с одною частию цесарской армии, но последствия имело великия. *Даун*, хотя атаковать поутру пруссаков, удивился, не нашел ни одного из них в прусском лагере, и не понимал, куда они делись и что об них подумать; но как разбитие *Лаудона* сделалось известно, то сие разстроило и смутило все его мысли и намерения, и он в скорости не знал, что ему начать и делать. Что ж касается до короля, то он ни минуты почти не стал медлить, но, забрав всех раненых и полоненных, также и в добычу полученных пушки, пошел в тот же самый день далее к *Бреславлю* и в сторону нашей армии и, дошед до *Пархвица*, поблизости котораго места стоял тогда граф *Чернышов* с 20-ю тысячами россиян и прикрывал реку *Одер*.

Со всем тем и несмотря на сию победу, находился король прусский в страшном положении. Все провиантския фуры были у него порожними и провианта осталось не более как на один день; но что того еще хуже, то в скорости и взять его было негде. Из ближайших магазинов один был в *Бреславле*, а другой в *Швейднице*, но пройтить к первому мешали ему мы, а особливо помянутый граф *Чернышов* с своим корпусом, а для прохода к *Швейдницу* надлежало наперед драться со всею соединенною австрийскою армиею и победить оную, но что не могло еще быть достоверно.

Итак, при обстоятельствах сих находился король в великом смущении и не знал что делать, но, по счастью, мы избавили его сами скоро от сей напасти. Главным командирам нашей армии вздумалось что-то, без всякой особенной причины, перейти назад чрез реку *Одер*, и в предлог к тому говорили они, что, не получая пять суток никакого известия о цесарцах, заключали, что они либо совсем разбиты, либо пресечена с ними совершенно коммуникация, а чрез сие и очистили ему путь к *Бреславлю*. Один только *Чернышовский* корпус находился за рекою *Одером* и делал помешательство, но и оный был скоро удален и король употреблял к тому особенную хитрость. Написано было подложное письмо будто от короля к принцу *Гейнриху*, в котором уведомлял он его о своей победе над цесарцами и о намерении перейти чрез реку *Одер* для атакования россиян, причем напоминал он ему о сделании движения, о котором у них было условлено. Письмо сие вручено было одному мужику и дано наставление, как ему поступить, чтоб русские его поймали и письмо сие перехватили.

Хитрость сия имела успех наивожделеннейший. *Чернышов* не успел прочесть сего письма, как перешел тотчас чрез реку *Одер* и высвободил чрез то короля из наипаснейшаго и такого положения, в каком он никогда еще не находился; и король никогда так весел не бывал, как в сей раз. Он мог уже тогда соединиться с принцем *Гейнрихом* и предпринимать далее что ему было угодно; и с сего времени пошло ему опять везде счастье.

Отступление нашей армии произвело то, что и *Даун*, не имея уже надежды соединиться с нею и боясь, чтоб он и сам не был отрезан от *Богемии*, за полезнейшее счел отступить назад и подвинуться к горам. Король прусский последовал за ним по стопам и старался везде и всячески ему вредить и войско его обезпокоивать, а сим образом и проходили они друг за другом весь сентябрь месяц, и сражения происходили только маленькия и ничего не значущия.

Между тем как происходило сие в *Шлезии*, возгремел военный огонь и в *Померании*. Флот наш под команду адмирала *Мишукова* и состоящий из 27-и военных линейных кораблей, фрегатов и бомбандирных галиотов в месяце августа приплыл под *Кольберг* и крепость сия осаждена была как им, так и 15-ю тысячами сухопутнаго войска; а к нашему флоту присоединилась еще и шведская эскадра, состоящая из шести линейных кораблей и двух фрегатов. Генерал *Демидов*, привезший 8 тысяч сухопутнаго войска на кораблях, высадив оное, соединился с главным корпусом и, осадив город сей с трех сторон, начал оный и с моря и с сухого пути бомбандировать и утеснять оный всеми возможными образами. Бомбандирование сие производилось с таким усилием, что в течение четырех дней брошено было в него более 700 бомб, не считая каркасов или зажигательных ядер. Но крепость сия была не такова слаба, чтоб можно было ею овладеть одним таковым бомбандированием и немногим осаждающим войском; и комендант прусский оборонялся и в сей вторичный раз наимужественнейшим образом и, несмотря на все разорение, производимое в городе бомбами и ядрами, не сдавался никак, доколе не прибыл на сикурс к нему генерал *Вернер* с 5-ю тысячами войска и не напал совсем нечаянно на не ожидавших того совсем наших россиян. Неожиданность сего нападения произвела толикий страх и ужас на осаждающих, что они, оставя пушки, палатки и весь багаж, разбежались врознь и чрез самое то сделали и сие вторичное покушение на *Кольберг* неудачным и обратившимся к крайнему стыду нашему. Самый флот, увидев разбежавшихся сухопутных солдат и власно как опа-

саясь, чтоб прусские гусары и ему чего не сделали, заблагоразсудил также осаду и бомбандирование оставить и с стыдом отплыть в море.

Что ж касается до *Вернера*, то он, сделавши тут свое дело, послужившее ему к великой чести и славе, обратился потом к шведской *Померании* и наделал и там еще множество дел, обратившихся во вред его неприятелям шведам.

Таким же образом посчастливилось королю прусскому и в *Саксонии* и там, где напал на области его герцог Виртембергский с своим и имперским войском. Сей сначала имел хороший успех, захватил многия места, принудил платить себе военную контрибуцию и выгнал пруссаков из всей почти Саксонии; но как дошло дело до сражения с пруссаками под командою генерала *Гильзена*, то был так несчастлив, что потерял баталию и дал себя победить пруссакам, а чрез несколько времени потом и еще разбит был принцем *Цвейбрикским*.

Что ж касается до французской армии, под командою дюка *де-Броглио*, то сия в сей год была счастливее. Она, без всякаго большого сражения, а единственными движениями, принудила пруссаков выйтти за Рейн и оставить многие города и провинции во власти французов.

Сим окончу я сие письмо, достигшее до своих пределов, а в последующем за сим расскажу вам достальное о военных действиях, бывших в течение сего года. Я емь и проч.

БЕРЛИНСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Письмо 84-е

Любезный приятель!

Как в предследующем моем письме не успел я вам пересказать всех военных происшествий, бывших в течение 1760-го года, то расскажу вам теперь прочия.

Из пересказаннаго вам тогда означается само собою, что как ни велики были со всех сторон военныя приуготовления и как жарко было ни началась кампания, однако вся она, против всякаго думанья и ожидания, прошла в одних только маршах и контрмаршах, в хождениях неприятелей друг за другом и в примечаниях всех взаимных движений. Три только

осады, и все три неудавшиеся, ознаменовали наиболее сие лето, а именно: *бреславская, дрезденская и кольбергская*. Наконец окончилось уже и лето, и приближающееся холодное и дурное время заставляло как цесарцев, так и россиян, помышлять и о зимних своих квартирах. Для обоих главных командиров оных была та мысль несносна, что они с превеликими своими армиями ничего важного в целое лето не сделали. Они стыдились даже самих себя. А как присовокупилось к тому и столь невыгодное Дауново стояние в горах, что всякий подвоз к нему был чрезвычайно отяготителен, вперед же податься, за стоянием перед ним и неотставанием ни на пядень от него короля пруссакого, было ему никак не можно, – и другого не оставалось, как ретироваться в Богемию, то стали выдумывать тогда все способы, чем бы отманить прочь короля оттуда и отвлечь в другую сторону, и признали к тому наилучшим средством то, чтоб нашему графу *Салтыкову* отправить от себя легкий корпус прямо к столичному прусскому городу *Берлину* и овладеть оным, и от сего-то произошла та славная берлинская экспедиция, о которой мне вам рассказать осталось и которая наделала тогда так много шума во всем свете, но послужила нам не столько в пользу и славу, сколько во вред и безчестье.

Преклонить к предприятию сему нашего упрямого и своенравного графа *Салтыкова*, господину *Дауну* не иначе, как великаго труда стоило, и он не прежде на то согласился, как получив обещание, чтоб и цесарцы с другой стороны послали б туда такой же корпус. Итак, от сих отправлен был в оную *Ласси* с 15-ю тысячами австрийцев, а от нас – граф *Чернышов* с 20-ю тысячами. Сам же граф *Салтыков* взялся прикрывать всю сию экспедицию издали, а графу *Фермору* поручено было с знатною частию армии иттить вслед за ним, и как подкреплять всю экспедицию издали, так и делать наиглавнейшия с нею распоряжения.

У нас в течение сего лета и около самага сего времени в особливости как-то прославился бывший совсем до того неизвестным немчин генерал-майор граф *Тотлебен*, командовавший тогда всеми легкими войсками и приобретший в короткое время от них и от всей армии себе любовь всеобщую. Все были о храбрости, расторопности и счастии его так удостоверены, что надеялись на него как на ангела, сосланного с небес для хранения и защищения армии нашей. Как сему немчину случилось не только бывать, но и долгое время до того живать в Берлине, и ему как положение города сего, так и все обстоятельства в нем были коротко известны, то поручено

было ему в сей экспедиции передовое, и в 3-х тысячах человек состоящее войско, с которым он и отправлен был наперед.

Поелику главною целью при сей экспедиции было получение превеликой в *Берлине* добычи, и оною, сколько с одной стороны мы, а того еще более цесарцы прельщались, то походом сим с обеих сторон делано было возможнейшее поспешение, так что и сами цесарцы шли во весь поход, против обыкновения своего, без разстахов и в 10 дней перешли до 300 верст; но как много зависело от того, кто войдет в сей город прежде, то наши были в сем случае проворнее, и *Тотлебен* так поспешил, что, отправившись из *Лейтена*, что в *Шлезии*, в шестой день, а именно в полдни 3-го октября, с трехтысячным своим из гренадер и драгун состоящим корпусом, явился пред воротами города Берлина, и в тот же час отправил в оный трубача с требованием сдачи онаго.

Сей превеликий столичный королевский город, не имеющий вокруг себя ни каменных стен, ни земляных валов, и всего меньше сего посещения ожидавший, имел в себе только 1200 человек гарнизонного войска, и потому к обороне находился совсем не в состоянии. Комендантом в оном был самый тот же генерал *Рохов*, который за два года пред тем имел уже таковое ж посещение от австрийцев. Со всем тем случившиеся тогда в Берлине старик фельдмаршал *Левальд*, раненый генерал *Зейдлиц* и генерал *Кноплох* присоветовали ему обороняться и были так усердны, что из единого патриотизма взялись собственными особами защищать маленькие шанцы, сделанные пред городскими воротами. Итак, все, кто только мог, и самые инвалиды, и больные похватали оружие и приготовились к обороне. *Тотлебен*, получив отказ, велел тотчас сделать две батареи и стрелять по городу. Стрельба сия продолжалась с 2-х часов пополудни по 6-й час, и хотя брошено в сие время в город до 300 гаубичных бомб и каркасов, из которых иныя доставали даже до самого королевскаго дворца, однако всем тем не произведено никакого пожара и не сделано вреда дальняго, кроме повреждения нескольких домов и кровель на оных. Вечеру же, в 9 часов, началась опять жестокая стрельба и бомбандирование, и 150 человек гренадер приступали к *Галльским* и *Котбузским* воротам и маленьким пред ними окопам и хотели взять оные приступом, но были каждый раз сильным огнем из ружей отбиваемы. Все сие продолжилось за полночь; после чего, и во все 4-е число стояли спокойно, а между тем сего числа подоспел к Берлину на помощь прусский генерал принц *Евгений* Виртем-

бергский с 5-ю тысячами бывшего в Померании войска и, оправившись, атаковал тотчас маленький Тотлебенев корпус и принудил его отойти несколько далее до *Копеника*.

Тут является потом граф *Чернышов* со всем своим достальным корпусом и соединяется с *Тотлебеном*. Сей генерал, услышав о делаемом сопротивлении, хотел было уже итти назад, и преклонить его к тому, чтоб итти к Берлину, стоило великаго труда находившемуся при нем французскому комиссионеру, маркизу *Монталамберту*. Но как сему удалось наконец его к тому уговорить, тогда оба они с генералом Тотлебеном пошли вперед, а пруссаки, увидев сие, начали тотчас подаваться назад. Между тем подоспел и в город другой еще прусский корпус, состоящий из 28-ми батальонов и находившийся под командою генерала *Гильзена*, и пруссаки в городе сделались так сильны, что могли оборонить ворота городския. И если б подержались они хотя несколько суток, то спасся бы Берлин, ибо король сам летел уже к нему на вспоможение, и у наших, равно как и у цесарцев положено уже было в военном совете итти назад. Но, по счастию нашему, прусские начальники поиспужались приближающейся к тамошним пределам и уже до *Франкфурта*, что на *Одере*, дошедшей нашей армии, и генерала *Панина*, идущаго с нарочитым корпусом для подкрепления Чернышовскаго и не надеялись с 14-ю тысячами человек прускаго войска в состоянии быть оборонить отверстый со всех сторон город, – и опасаясь подвергнуть его от бомбандирования разорению, а в случае взятъя приступом грабежу, заблагоразсудили со всем войском своим ретироваться в крепость *Шпандау*, а город оставить на произвол судьбе своей.

Сия судьба его не так была жестока, как того думать и ожидать бы надлежало. Город, по отшествии прусских войск, выслал тотчас депутатов и сдался немедленно Тотлебену на договор, который поступил в сем случае далеко не так, как бы ожидать надлежало; но нашед в нем многих старинных друзей своих и вспомнив, как они с ним тут весело и хорошо живали, заключил с городом не только весьма выгодную для его капитуляцию, но поступил с ним уже слишком милостиво и снисходительно. В особенности же, поспешествовал непомерной благосклонности к сему городу некто из берлинских купцов по имени *Гоцковский*, странный и редкий человек, и сущий выродок из купцов. Будучи очень богат и употребляя богатство свое не во зло, а в пользу отечеству своему, сделался он при сем случае охранительным духом сего столичнаго города. Он настроил весь город-

ской магистрат, во-первых, к тому, что б сдать ся нам, россиянам, а не пришедшим также уже цесарцам, ибо от сих, как главных своих неприятелей, не ожидал он никакой пощады. Во-вторых, как он после *Кюстринской* или *Цорндорфской* баталии, всем попавшимся тогда в прусский плен российским офицерам оказал отменное великодушие и всех их не оставлял и подкреплял своим достатком, то сделался он чрез то во всей российской армии известным, а сие приобрело ему и от тогдашних наших начальников в Берлине дружбу, а особливо от главнаго командира, графа *Тотлебена*, а сею и воспользовался он наидеятельнейшим образом к пользе города. Все берлинские жители и знакомыя и незнакомыя, воспринимали к нему прибежище, и он ежечасно являлся с просьбами и представлениями как обо всем обществе, так и за приватных людей, и для подкрепления просьб своих не жалел ни золота, ни камней, ни других драгоценностей и не поставляя всего того на счет города.

Тотлебен требовал с города 4 миллиона талеров контрибуции, и при всех представлениях был сначала неумолим. Он ссылался на полученное им от графа *Фермора* точное повеление – выбрать неотменно сию сумму и не новыми негодными, а старыми и хорошими деньгами. Все берлинские жители пришли от того в отчаяние, но наконец удалось купцу сему чрез пожертвование великих сумм из собственного своего капитала требуемую сумму уменьшить до 1,5 миллиона, да сверх того, чтоб дано было войскам в подарок 200 тысяч талеров, также добиться и до того, чтоб и вся оная небольшая и ничего почти не значущая сумма принята была вместо старых и новыми маловесными и тогда ходившими обманными деньгами. С сим радостным известием полетел *Гоцковский* в ратушу, где собравшийся магистрат принял его как своего ангела-хранителя, и назначенныя в подарок войску деньги, также 500 тысяч контрибуции, были тотчас заплачены, а в миллионе взят со всего купечества вексель.

Купец сей в таком кредите был у наших русских, что они ни с кем не хотели иметь дела, кроме его. Он денно и ночью был на улице, доносил о всех беспорядках, делаемых чиновниками, препятствовал всякому несчастию и утешал страждущих. От *Фермора* дано было повеление, чтоб все королевския фабрики сперва разграбить а потом разорить, и между прочим были именно упомянуты так называемый *Лагергаус*, с которой становилось сукно на всю прусскую армию, также золотая и серебряная мануфактура, и 10-е число октября назначено было для сего разорения.

Гоцковский узнает о том в полночь, бежит без памяти в *Тотлебену*, употребляет все возможное и представляет ему, будто бы сии так называемыя королевския фабрики не принадлежат собственно королю и доход от них будто бы не отсылается ни в какую казенную сумму, а употребляется весь на содержание Потсдамскаго сиротскаго дома. *Тотлебен* уважает сие его представление, заставлявает *Гоцковского* засвидетельствовать сие письменно и утвердить присягою, – а сие и спасло сии фабрики и избавило их от повеленнаго *Фермором* разорения.

Сим образом зависело от одного *Тотлебена* тогда причинить королю прусскому неописанный и ничем ненаградимый убыток. Берлин находился тогда в самом цветущем состоянии, наполнен был безчисленным образом наипрекраснейших зданий, был величайшим мануфактурным городом во всей *Германии*, средоточием всех военных снарядов и потребностей и питателем всех прусских войск. Тут находилось в заготовлении несметное множество всяких повозок, мундиров, оружия и всяких военных орудий и припасов, и многия тысячи человек занимающиеся приутовлением оных; было множество богатейших купцов и жидов, и первые можно б было все разорить и уничтожить, а последние могли б заплатить огромныя суммы, если б *Тотлебен* не так был к ним и ко всем берлинцам снисходителен.

Как цесарский генерал *Ласси* пришел к Берлину позднее *Тотлебена*, то сей и не хотел никак уступить ему главнаго начальства над городом, и *Ласси* с великою досадою и негодованием смотрел на столь снисходительныя поступки Тотлебеновы. Он отеснил силою российский караул от Гальских ворот и, поставив свой, требовал во всем соучастия, угрожая в противном случае протестовать против капитуляции. Чернышов примирил сию ссору и приказал опростать австрийцам трое ворот и поделиться с ними теми деньгами, которыя назначены в подарок войскам и дать им 50 тысяч талеров.

Тотлебен принужден был принимать на себя разныя личины и играть различныя роли. Публично делал он страшныя угрозы и произносил клятвы и злословия, а тайно изъявлял благосклонное расположение, которое и подтверждалось делом. Все жестокия повеления *Фермора* были на большую часть отвращены и не исполнены. Но требования цесарцев были еще жесточе; между прочим, хотели они, чтоб подорван был берлинский цейггаус, славное и великоленное здание посреди города и лучших

улиц находящееся. От сего произошел бы ужасный вред всему Берлину, и *Тотлебену* как того ни не хотелось, но он принужден был на то согласиться и отправлено уже было 50 человек россиян на пороховую, неподалеку от Берлина находившуюся мельницу за порохом. Но неизвестно уже, как то случилось, что там весь порох загорелся и мельницу взорвало вместе со всеми солдатами и цейггауса подорвать было уже нечем; итак, довольствовались тем, что весь его опорожнили: что можно было взять с собою, то взяли, другое переломано, иное сожжено, а другое побросано в воду, а притом разорен был королевский литейный дом, монетная сбрауи и машины, пороховая мельница и все королевские фабрики и заводы везде, где ни были, казенные деньги, коих число простиралось до 100 тысяч талеров.

Далее приказано было от *Фермора* берлинских газетиров наказать прогнанием сквозь строй за то, что писали они об нас очень дерзко и обидно, и назначен был к тому уже и день и час, и поставлен уже строй. Но *Гоцковский*, вмешавшись и в сие дело, умел его так перевернуть, что они приведены были только к фрунту и им сделан был только выговор – и тем дело кончено.

Далее повещено было всему городу, чтоб все жители, под жестоким наказанием, сносили все свое огнестрельное оружие на дворцовую площадь. Сие произвело новое всему городу изумление и новое опасение, но *Гоцковский* произвел то, что и сей приказ был отменен и для одного только имени принесено на площадь несколько сот старых и негодных ружей и по переломании казаками брошены в реку; а то же сделано и с несколькими тысячами пудов соли. Другое повеление *Фермора* относилось до взятия особливою контрибуции с берлинских жидов, и чтоб богатейших из них, *Ефраима* и *Ицига* взять в аманаты, но *Гоцковский* умел сделать, что и сие повеление было не исполнено.

В условиях капитуляции положено было, чтоб ни одному солдату не брать себе квартиры в городе, но цесарский генерал *Ласси*, оказывающий себя при всех случаях непримиримейшим врагом пруссакам, поднял на смех сие условие и с несколькими полками своего корпуса взял квартиры себе в городе совсем против хотения россиян. И тогда начались обиды, буянства и наглости всякаго рода в городе.

Солдаты, будучи недовольны ествами и напитками, вынуждали из обывателей деньги, платье и брали все, что только могли руками захва-

тить и утащить с собою. Берлин наполнился тогда казаками, кроатами и гусарами, которые посреди дня вламывались в дома, крали и грабили, били и уязвляли людей ранами. Кто опаздывал на улицах, тот с головы до ног был обдираем и 282 дома было разграблено и опустошено. Австрийцы, как сами говорили берлинцы, далеко превосходили в сем ремесле наших. Они не хотели слышать ни о каких условиях и капитуляции, но следовали национальной своей ненависти и охоте к хищению, чего ради принужден был *Тотлебен* ввести в город еще больше российского войска и несколько раз даже стрелять по хищникам. Они вламывались, как бешеные, в королевския конюшни, кои, по силе капитуляции, охраняемы были российским караулом. Лошади из них были повытасканы, кареты королевския ободраны, оборваны и потом изрублены в куски. Самые гошпитали, богадельни и церкви пощажены не были, но повсюду было граблено и разоряемо, и жадность к тому была так велика, что самые саксонцы, сии лучшие в порядочнейшие солдаты, сделались в сие время варварами и совсем на себя были не похожи. Им досталось квартировать в *Шарлоттенбурге*, городке за милю от Берлина отлежащем и славном по королевскому увеселительному дворцу, в оном находящемся. Они с лютостью и зверством напали на дворец сей и разломали все, что ни попалося им на глаза. Наидрагоценнейшия мебели были изорваны, изломаны, исковерканы, зеркала и фарфоровая посуда перебита, дорогие обои изорваны в лоскутки, картины изрезаны ножами, полы, панели и двери изрублены топорами и множество вещей было растаскано и расхищено; но всего более жаль было королю прусскому хранимаго тут и прекраснаго кабинета редкостей, составленнаго из одних антик, или древностей, и собраннаго с великими трудами и коштами. Бездельники и оный не оставили в покое, но все статуи и всё перековеркали, переломали и перепортили. Жители шарлоттенбургские думали было откупиться, заплатив контрибуции 15 тысяч талеров, но они в том обманулись. Все их дома были выпорожнены, всё, чего не можно было унести с собою, переколono, перебито и перепорчено. Мужчины избиты и изранены саблями, женщины и девки изнасилничаны, и некоторыя из мужчин до того были избиты и изранены, что испустили дух при глазах своих мучителей.

Такое ж зло и несчастье претерпели и многия другия места в окрестностях Берлина, но все более от цесарцев, нежели от наших русских, ибо сии действительно наблюдали и в самом городе столь великую дисципли-

ну, что жители берлинские, при выступании наших и отъезде бывшего на время берлинским комендантом бригадиру *Бахману*, подносили чрез магистрат 10 тысяч талеров в подарок, в благодарность за хорошее его и великодушное поведение; но он сделал славное дело – подарка сего не принял, а сказал, что он довольно награжден и тою честью, что несколько дней был комендантом в Берлине.

Впрочем, вся сия славная берлинская экспедиция далеко не произвела тех польз и выгод, каких от ней ожидали, но сделалась почти тщетною и пустою. Если б, по ожиданию многих, по занятию войсками нашими Берлина, все союзныя армии и самая наша двинулась внутрь *Бранденбургши* и в оной и даже в окрестностях Берлина расположилась на зимния квартиры, то король был бы окружен со всех сторон и доведен до крайности, и войне б чрез то положен был конец; но как союзники, так и наши, не имели столько духа, но, напротив того, услышав, что король, узнав о сем занятии Берлина, тотчас с войском своим полетел к нему на помощь, так сего испужались, что разсыпались в один миг все, как дождь, от Берлина в разныя стороны. Наши спешили убраться за реку *Одер* и соединиться с главною армиею; цесарцы направили стопы свои в *Саксонию*, чтоб соединиться с *Дауном*, а шведы, поспешавшие было также к Берлину, возвратились обратно в *Померанию*, так что король, пришед к Берлину, не нашел тут уже никого, а одни только следы опустошения и разорения и успел еще потом, возвратясь к пошедшему между тем в Саксонию Дауну, подрачься с цесарцами и как у них побить несколько тысяч народа, так и сам потерять столько ж. Большая, славная и почти безпримечная баталия сия, единая во все течение лета, произошла в Саксонии, при местечке *Торгау* или *Сиплице*, и совсем была сначала потерянная королем; но нечаянная удача генерала его *Цитена* и обстоятельство, что *Даун* был ранен и должен был команду препоручить генералу *Одонелю*, доставило ему наконец победу, без дальних, однако, для его выгод, кроме того, что он удержал за собою Саксонию, и все воюющия с ним державы вышли из его пределов.

Таким образом окончилась в сей год кампания, достопамятная наиболее одними только маршами и контрмаршами да упомянутою теперь торгавскою баталиею, а в прочем не принеся ни союзникам дальних выгод, ни изнурившая короля прусскаго. Он остался при тех же границах, в каких был с начала весны, и все труды, убытки и люди потеряны были по-пустому; а сим окончу я и сие письмо, дабы в последующем говорить

уже о ином и обратиться паки к своей истории, между тем остаюсь ваш и прочее.

ПЕРЕМЕНА АРМЕЙСКАГО КОМАНДИРА

Письмо 85-е

Любезный приятель!

Возвращаясь опять к описанию моей собственной истории, скажу вам, что между тем как все упомянутое в последних моих обоих письмах в *Шлезии, Саксонии, Померании и Бранденбургии* происходило, мы, живучи в Кёнигсберге, так как прежде мною было упоминаемо, помышляли только о увеселениях и только что досадовали, что не присылались так долго курьеры с известиями ни о взятые городов, ни о сражениях, ни о победах, какими мы во все лето ласкались. Наконец, как обрадовались мы, услышав, что наши пошли в Берлин и оный взяли. Мы думали, что от сего и Бог знает что последует; но сколь же взгоревались опять, когда услышали, что войска наши опять сей город покинули, что занятие онаго не послужило нам ни в какую пользу и что наши и сами насилу ушли оттуда. Нам стыдно даже самих себя было при сем известии, а особливо потому, что мы слишком уже зарадовались овладением Берлином.

Вскоре после того и около самага того времени, как пошел мне 23-й год, а именно 11 октября (1760) поражены мы были другим всего меньше ожидаемым и всех нас неописанно поразившим известием, что императрица, прогневавшись на наших предводителей войск и генералов за то, что они в минувшую кампанию так мало ревности и усердия оказали и чрез то подвигли союзников ея к неудовольствию и недоверку на себя, вознамерилась сделать перемену и на место графа *Салтыкова* определила старика фельдмаршала графа Александра Борисовича *Бутурлина* главным командиром ея армии. Сие известие привело нас всех в изумление и мы долго не хотели верить, чтоб могло сие быть правдою. Характер сего престарелаго большого боярина был всему государству слишком известен и все знали, что не способен он был к командованию не только армиею, но и двумя или тремя полками и что всем и всем несравненно был хуже *Салтыкова*; а когда и сей едва-едва годился воевать против такого хитра-

го и искусного воина, каков был король прусский, то чего можно было ожидать от Бутурлина, который уже и до того служил более всем единым посмешищем? Словом, все дивились тому и говорили, что никак людей на Руси уже не стало, и все утверждали, что лучше бы поручить армию последнему какому-нибудь генерал-майору, нежели сему старику, даром, что он был фельдмаршал, до котораго чина дослужился он по линии. Единая привычка его часто подгуливать и даже пить иногда в кружку с самыми подлыми людьми, наводила на всех и огорчение, и негодование превеликое. А как сверх того, был он неуч и совершенный во всем невежда, то все отчаявались и не ожидали в будущую кампанию ни малейшаго успеха, в чем действительно и не обманулись.

Впрочем, сколько негодовали мы на сего новаго главного всем нам командира, столько сожалели о прежнем честном и праводушном старике графе Салтыкове. Сей, хотя также был не слишком знающим, но все гораздо уже лучше Бутурлина и ежели что портил, так от единого своего упрямства и своенравия, при многих случаях даже непростительнаго. Он был отлучен только от армии, а не отставлен, и ему велено было жить в городе *Мариенбурге*.

Между тем продолжали мы в Кёнигсберге жить по-прежнему и самую осень препровождать в увеселениях обыкновенных. У генерала нашего были то и дело балы, а в исходе ноября опять маскарад превеликий, на котором я опять затанцовался до совершенной усталости; а сверх того, имели мы около сего времени и другую забаву: прислана была к нам в Кёнигсберг – для выпорожнения и у нас и у многих кёнигсбергских жителей карманов и обобрания у всех излишних денег – казенная лотерея. До сего времени не имели мы об ней никакого и понятия, а тогда узнали ее довольно-предовольно и за любопытство свое заплатили дорого. У многих из нашей братьи, а особливо охотничков, любопытных и желавших вдруг разбогатеть, не осталось ни рубля в кармане, а нельзя сказать, чтоб и я не сделался вкладчиком в оную. Рублей пять, шесть и до десяти проиграл и я, и после тужил об них чистосердечно, ибо на сумму сию мог бы я купить себе превеликое множество книг; но, по счастью, скоро опаматовался и терять более деньги понапрасну перестал.

В половине декабря был у нас, по причине случившагося какого-то праздника, опять у генерала нашего превеликий маскарад и я протанцо-

вал и на оном до самого 4-го часа и до такой усталости, что насилу мог дойти до квартиры.

В сию осень как-то в особливости я зарезвился и затанцовался впрах, власно как предчувствуя, что всем таким забавам и увеселениям скоро уже конец долженствовал воспоследовать, как и действительно, не успели мы от онаго еще выспаться и отдохнуть, как получаем совсем неожиданное и такое известие, которое до крайности всех нас перетревожило, а именно, что мы вскоре получим себе новаго и незнакомаго командира и что прежняго, то есть *Корфа*, угодно было императрице определить в Петербурге, на место умершаго *Татищева*, генералом-полицеймейстером, а сменить его и нами тут в городе командовать велено было генералу-поручику *Суворову*, отцу того, который впоследствии так много прославил себя в свете.

Все мы хотя и не очень были довольны Корфом как по чрезвычайно крутому его нраву и бранчивости непомерной, так и потому, что он не слишком был и милостив и благодетелен ко всем нам, русским, а особливо подкомандующим, и никто из нас не видал от него никакого добра, кроме одних ругательств и браней, и потому все не столько его любили, сколько ненавидели, и самого его втайне бранили; однако, с одной стороны сделанная уже к нему привычка, а с другой стороны, незнание новаго командира и его характера, и обстоятельство, что из знающих иные его хвалили, а иные нет, вообще же все отзывались об нем, что он человек особливаго характера, сделало то, что нам его (*Корфа*) уже некоторым образом и жаль стало.

Известие о сем получено нами уже в исходе 1760-го года и за немногия дни до Рождества Христова, и генерал наш, получив оное, тотчас отправился по некоторым надобностям и делам к фельдмаршалу в *Мариенбург*, взяв с собою и г. *Чонжина*, который в сие время был уже коллежским ассессором, который чин доставил ему генерал наш.

Сия отлучка сих обоих особ доставила нам сколько-нибудь свободу и от трудов отдохновение, и я, писавши к приятелю своему большое письмо, говорил, что мне впервые еще удалось тогда препроводить целую половину дня на своей квартире, но зато, как самый праздник, так и Святки были у нас несколько скучноваты. Чтоб пособить тому сколько-нибудь и заменить отсутствие генерала, то вздумалось одному из сотоварищей наших, а именно старшему из тех обоих юнкеров, господ *Олиных*, о которых упоминал я прежде, случившемся около сего времени быть именинником, дать

нам на другой день праздника добрую вечеринку, или паче порядочный бал, но только в миниатюре. Была у нас тут и музыка, было много и женского пола, было множество танцов и наконец ужин; и хозяин наш, будучи у нас первым петиметром и любочестием до безумия зараженный, не упустил ничего, чем бы нас как можно лучше угостить и позабавить. Мы собрали на праздник сей всех своих друзей и знакомцев, и как под предлогом, что г. *Олин* праздновал день своей женитьбы, хотя он отроду еще женат не был, нашли способ пригласить для танцов и многих из тамошних жительниц и чрез то сделали бал свой не шуточным, но порядочным, а что всего лучше, то все происходило на нем с благочинием и порядком, то завеселились и затанцовались мы на оном впрах и, как говорится, до самага положения риз. Никто же из всех столько не веселился при сем случае, как я и отъезжающий уже с генералом друг мой, адъютант его г. Балабин. Мы были почти главныя особы на оном, и как во все сие празднество господствовала вольность, откровенное дружество и поверенность, то был он нам, да и самому мне, во сто раз приятнее всех праздников и балов губернаторских.

Вслед за сею нашею пирушкою получили мы и другое, и в особливости мне, весьма неприятное известие. Наслано было повеление от фельдмаршала, чтоб всем оставшимся от полков в Кёнигсберге третьим батальонам иттить немедленно к полкам своим и чтоб при сем случае неотменно собрать и сменить всех отлучных и отправить с ними к полкам их. Для меня повеление сие было тем важнее, что в числе сих батальонов считался батальон и нашего полку, а в числе помянутых отлучных и сам я, и как по сему касалось повеление сие и до меня собственно и пришло к нам пред самую смену губернаторов, то наводило оно на меня великое сумнение, и я боялся, чтоб сия разстройка не сделалась мне наконец предосудительною.

Губернатор наш проездил к фельдмаршалу до самага наступления новаго 1761 года, который день был у нас достопамятен тем, что получили мы в оный новый год, новую зиму и новаго губернатора, ибо и сей приехал к нам в самый первый день сего года и остановился тут же у нас в замке, где старый губернатор опростал для его тотчас весь верхний и лучший этаж, а сам перешел в прежний нижний и старался угостить его всячески. Мы встречали его все, и он показался нам остреньким, неглупым и таким старичком, которой был сам о себе, несмотря хотя был очень, очень не из пышных.

Первые дни сего года прошли в принятии единых поздравлений с приходом ото всех и всех и в ранжировании собственных своих домашних дел, и настоящая смена и сдача губернии воследовала не прежде как 5-го января, и как сей день был для меня в особенности достопамятен, то опишу я его подробнее.

Всем нам повешено было еще с вечера, что наутрие будет происходить смена у губернаторов и чтоб мы к тому готовились и находились каждый при своем месте. А не успели мы в тот день собраться в канцелярию, как и пришли в оную губернаторы, и старей, в провожании множества всякого рода чиновников, и повел новаго по всем канцелярским комнатам и представлял ему всех своих подкомандующих, рассказывая, кому поручено какое дело и кто чем занимался; а при сем случае натурально дошла и до меня очередь.

Я хотя нимало не сомневался в том, что не останусь никак без рекомендации от старого губернатора новому, однако оказанная мне от прежнего при сем случае милость превзошла все мои чаяния и ожидания. Он, возвращаясь с ним из задних канцелярских комнат, нарочно для меня в моей остановился и новому губернатору с следующими словами меня представил: «Сего офицера я в особенности вашему превосходительству рекомендую». За сим и пошли исчисления и похвалы всем моим способностям, качествам и добрым свойствам, и могу сказать, что все оне были не только не забыты, но еще и увеличены. Одним словом, я сам не знал до сего времени, что поведение мое было ему так тонко и коротко известно. Состояние, в каком я тогда находился, не могу я никак описать, а только скажу, что всю ту четверть часа, в которую принужден я был слышать себе от всех бывших тут безпрерывныя и на перерыв друг пред другом производимыя похвалы, горел как на огне и сам себя почти не помнил от смешения неожиданности, удивления и удовольствия.

Новый губернатор не успел о имени моем услышать, как спросил меня, кто мой отец был? И как я ему сказал, то уверял меня, что он родителя моего знал довольно и спрашивал меня потом о некоторых до фамилии нашей касающихся обстоятельствах и у какой нахожусь я тут должности? На сие последнее отвечать мне не было времени, ибо тотчас голосов в пять ему было ответствовано и вкупе сказываемо, как я нужен и прилежен, и прочее и прочее. Сколько казалось, то было ему очень непротивно все сие слышать, а особливо уверения всех о том, что я охотник превеликий до

наук, до рисования и до читанья книг, которыя у меня, как они говорили, не выходят почти из рук. Он сам имел к тому охоту, и любопытство его было так велико, что он восхотел посмотреть некоторыя лежавшия у меня на столе книги. Тогда сожалел я, что не было тут никаких иных, кроме лексиконов, ибо прочия, все тут бывшия, отослал я на квартиру, и если б знал сие, то мог бы приготовить к сему случаю наилучшия. Со всем тем губернатор и все те пересмотрел и говорил со мною об них столько, что я мог заключить, что он довольно обо всем сведущ.

Между тем как все сие происходило, и новый губернатор удостоивал меня особливым своим благоволением, глаза всех зрителей обращены были на меня и все радовались и поздравляли меня потом с приобретением себе уже некоторой от сего новаго начальника милости. И как едва ли ему кто-нибудь иной был столько расхвален, как я, то сие самого меня очень веселило, а притом доставило мне ту пользу, что как скоро дни чрез два после того доложили ему обо мне, что мне следует иттить в поход вместе с батальоном, то он тотчас приказал меня оставить и написать обо мне к фельдмаршалу особое представление, которое тотчас было написано и с первою почтою отправлено.

Новый наш губернатор начал правление свое представлением всем кёнигсбергским жителям такого зрелища, какого они до того еще не видывали и которое их всех удивило; ибо как на другой день принятия его должности случилось быть празднику Богоявления Господня, то восхотел он показать бываемыя у нас в сей день водоосвящения *надворныя* со всеми обрядами и процессию, введенными при том в обыкновение. Итак, выбрано было посреди города, на реке Прегеле, наилучшее и такое место, которое могло б окружено и видимо быть множайшим количеством народа, и сделана обыкновенная и – сколько в скорости можно было – украшенная *иордань*. По берегам реки и острова поставлены были все случившиися тогда в городе войска и батальоны с распущенными знаменами и в наилучшем убранстве, а в близости подле иордани поставлено было несколько пушек. Все сии приуготовления привлекли туда несметное множество зрителей. Не только все улицы и берега реки и рукавов ея, но и все окны и даже самыя кровли ближних домов и хлебных *штиклеров*, унизаны были людьми обоего пола, а то же было и по всем улицам, по которым иттить надлежало процессии от церкви, более версты от сего места удаленной. Процессия сия была наивеликолепнейшая, и архимандрит в богатых сво-

их ризах и драгоценной шапке, со множеством духовенства, производили для пруссаков зрелище, достойное любопытства, а как присутствовал при оной и сам губернатор со всеми чиновниками и от самой церкви провожал ее пешком, несмотря на всю отдаленность, то желание видеть нового губернатора привлекло туда еще более народа. Поелику же при погружении креста в воду производилась как из поставленных на берегу пушек, так и с *Фридрихсбургской* крепости пушечная пальба, а потом и троекратный беглый огонь из мелкаго ружья войсками, то и сие сделало в народе еще более впечатления и все кёнигсбергские жители смотрели на все сие с особливым удовольствием. Губернатор же не преминул в сей день угостить лучших людей обедом. Но многим из народа не понравился только он наружным своим видом и простотою одежды, ибо относительно до сего не было в нем ни малейшей пышности и великолепия такого, какое привыкли они всегда видеть в *Корфе*.

Батальон наш выступил вскоре после того в поход, а я, оставшись тут, начал мало-помалу привыкать к новому правительству, которое сопряжено было со многими переменами и, между прочим, с тем, что все мы принуждены уже были вставать ранее и вместо того, что прихаживали в канцелярию часу в восьмом и в девятом, приходиться в нее уже в четыре часа поутру. Что ж касается до губернатора, то, будучи он разумным, деловым, а притом крайне трудолюбивым человеком, вставал так рано, что в два часа пополуночи бывал уже всегда одет и можно было его всякому видеть; а по всему тому хотел, чтоб и канцелярские были поприлежнее против прежняго. Новость сия гг. товарищам моим не весьма нравилась, но к чему не можно привыкнуть? Сперва был о том превеликий ропот и негодование, но скоро все мы к тому привыкли и довольны были тем, что, по крайней мере, после обеда не сидели мы уже в канцелярии, и в праздники имели более свободы.

Другая и не менее важная перемена с нами была та, что мы лишились обыкновеннаго губернаторскаго стола, которым до того времени пользовались, и должны были помышлять уже о собственном своем пропитании и вместо того, что хаживали гурьбою прямо из канцелярии за готовый для нас и сытный стол в комнатах губернаторских, должны были расходиться уже по квартирам, ибо новый наш губернатор, будучи далеко не таков богат, как Корф, не разсудил для нас иметь особый стол и тем паче, что и сам имел у себя очень, очень умеренный.

Обстоятельство сие было для всех нас, а особливо для холостых и одиноких, весьма чувствительно; ибо для живущих тут с женами и имевших и до того домашния столы было сие сноснее, и мы должны были либо заводиться всем и всем и варить себе есть дома, либо ходить обедать в трактиры, либо приказывать приносить к себе из оных. И как сие последнее было хотя убыточнее, но с меньшими хлопотами и затруднениями; сопряженное, то решился я, относительно до себя, избрать сие последнее и, отходя поутру из квартиры, приказал человеку сходить в ближний трактир и заказать для себя обед. Но как удивился я, пришел в полдни домой и нашед у себя стол уже набранный и человека своего, спрашивающаго: прикажу ли я подавать кушанье? Я не инако думал, что он хотел иттить за ним в трактир, и потому стал было напоминать ему, чтоб он не простудил мне кушаньев; но как удивился еще того более, когда он мне сказал, чтоб я того не опасался, что кушанье близко и что добродушные мои старички хозяева не успели о том услышать, что я расположился посылать за обедами своими в трактир, как руками и ногами тому воспротивились и, не допустив его до того, приготовили обед мне сами и хотят, чтоб я о том нимало не заботился, но что обед будет для меня всегда готов, в какое бы время я ни пришел из канцелярии, и что хотят сие делать даром, без всякой заплаты и из единой благодарности за то, что я стою у них смирно, что не видят они от меня никакого себе зла и неудовольствия и во все время стояния моего у них жили в совершенном спокойствии и от всех обид в безопасности. Признаюсь, что таковое добродушие хозяев моих поразило меня до крайности, и как чрез минуту после того взошли ко мне наверх и оба старики-хозяева и то же изустно мне повторили, то сколько ни отговаривался я, что не хочу их тем отягощать, и сколько ни совестился, что причину им тем убыток, но, видя их кланяющихся и неотступно того просящих, принужден был на то согласиться и сделать им сие удовольствие, чем они крайне были и довольны.

И с того времени обеживал и ужинывал я уже всегда дома и обед для меня был действительно всегда готов, и хотя столы мои и не были уже таковы пышны и изобильны, как у губернатора, но во вкусе и в сытости ничего в них не доставало. Всегда имел я у себя три вкусных блюда: суп, какой-нибудь соус и жаркое, а по воскресным дням даже и пирожное, а потом и кофе; все это бывало всегда так хорошо и вкусно сварено и приго-

товлено, что я не только сыт, но еще и довольнее во все время был, нежели прежними обедами губернаторскими.

Наконец настал день отъезда в Петербург нашего бывшего губернатора, день, который встречали мы с особыми чувствованиями и в который можно было видеть, кто как к нему расположен был и кто жалел или радовался о его отбытии. Накануне того дня ходили мы все к нему прощаться. Боже мой! С какою ласкою и с какими изъявлениями своего благоприятия, перецеловав, отпустил он нас от себя. Со всяким из нас не оставил он поговорить что-нибудь, и мне советовал он в особенности продолжать хорошее мое поведение и стараться жить добропорядочно. Сия минута сделала мне его впятеро милей перед прежним и я хотел бы уже и всегда быть в его команде, если б он всегда таков добр и хорош был. Со всем тем и каков он ни был, но я не могу на него жаловаться, а обязан ему еще благодарностию. Многие из наших роптали на него, для чего не одарил он всех их чем-нибудь на память о себе при отъезде, но я доволен был и добрым словом; а сверх того, дал он нам всем изрядные аттестаты за своею рукою и печатью, который хотя мне и не принес в жизнь мою никакой пользы, но я храню его у себя и поныне, как некакой памятник тогдашнему моему служению. Вместе с ним проводили мы тогда и общего нашего друга, адъютанта его, господина *Балабина*, и разстались с ним, утирая текущие из глаз слезы дружества.

Проводив его, стали мы по-прежнему жить и я по-прежнему ходить ежедневно в канцелярию и отправлять прежнюю должность. Впрочем, как я, так и все не сомневались нимало, что на представление, сделанное обо мне, воспоследует от фельдмаршала благоприятный ответ; почему нимало я и не собирался к отъезду из Кёнигсберга, но вдруг воспоследовало совсем тому противное и всего меньше нами ожидаемое.

Через неделю по отъезде Корфа пришло наконец повеление обо мне от фельдмаршала, и повеление такое, которое потрясло тогда всю душу мою. В нем, не упоминая обо всех тех необходимостях, о каких писано было в представлении обо мне, сказано только, что буде я в армии быть не способен, то оставить меня дозволяется, а буде человек молодой и в армии быть могу, то отправить бы меня с батальоном.

Как повеление сие было не совсем позитивное, а было некоторым образом двоякое, то и не вдруг получил я решительный ответ, но дело осталось еще на перевесе, и я более двух недель находился еще в совершенной

неизвестности, что со мною сделают и отправят ли меня или удержат? И как всем нашим канцелярским никак не хотелось со мною расстаться, то все они, а паче всех помянутый ассессор Чонжин во все сие время всячески старался склонить генерала нашего к тому, чтоб меня не отпускать, но, к несчастью нашему, был он такого характера, что его трудно было к чему-нибудь убедить. О хотя и внимал всем его представлениям о необходимой надобности во мне, и что все они без меня как без рук будут, и хотя и самому ему не хотелось меня отпустить, но повеление было от фельдмаршала и повеления сии почитал он все свято; итак, сам не знал, что ему делать и какое найти посредство в сем случае; а посему на все вопрошания мои у помянутого ассессора, не мог я добиться никакого толку. Правда, хотя я и сам не имел никакой причины спешить получением решительного повеления, но как не было у меня ни лошадей, ни всего прочаго, нужнаго к походу, и всем тем надлежало запастись, то неволя заставляла меня добиваться толку, дабы не упустить к приуготовлению всего того способнейшаго времени.

Мне присоветовали наконец сходить самому к генералу и стараться добиться от него чего-нибудь одного, и я последовал сему совету; и чтоб иметь более времени с ним о том поговорить, то избрал в один день утреннее и такое время, когда он только что встал и оделся и у него никого еще не было. Было сие часу в третьем пополудни, когда я пришел к нему в покои. Он был уже совершенно одет и тотчас велел меня к себе пустить, как скоро ему обо мне доложили. Я нашел его ходящаго взад и вперед по одной пространной, но одною только свечкою освещенной комнате, и как он меня спросил – что я? то сказал я ему прямо, что я пришел к нему требовать решительного повеления что мне делать? собираться ли ехать к полку или нет? Но он, будучи превеликим политиком и не хотя, как думать мне можно было, меня оскорбить формальным повелением, не сказав мне ничего точнаго в ответ, завел со мною такая балы и раздабары, что проговорил со мною более получаса о разных материях, а при всем том о главном деле не сказал мне ни того ни сего, и я вышел от него в такой же находясь неизвестности, в какой был прежде. То только мог я заметить, что ему хотелось, чтоб я и остался, но чтоб сделалось это так, чтоб он не мог за то понести от фельдмаршала какого-нибудь слова. Но как ни он, ни я не знал, как бы сие сделать, то осталось опять на прежнем, и я хотя начинал усматривать, что мне вряд ли отделаться от похода, и уже кое-чем

начал запасаться, однако под предлогом, что не могу ничего решительного добиться, продолжал ходить по-прежнему в канцелярию и отправлять свою должность.

Между тем употреблены были, по приказанию генеральскому, все способы к отысканию на место мое из находившихся тогда в Кёнигсберге какого-нибудь способного к тому офицера. Перебраны были все до единого, но не нашлось ни одного, который хотя б несколько к тому был способен. Сие обрадовало меня и польстило было надеждою, ибо как великая надобность в таком переводчике, каков был я, мне самому была известна, то ласкался я надеждою что и нехотя, может быть, меня наконец оставят. Но, к несчастию, проговорись кто-то генералу о присланных из Москвы и тут учащихся студентах. Генерал не успел того услышать, как и прицепился к оным. Тотчас были они все отысканы и спрашиваны самим генералом, не может ли из них кто-нибудь переводить, и тогда случилось одному из них, а именно самому тому *Садовскому*, о котором я прежде упоминал, проболтаться, что из книжки переводить он может. Генерал обрадовался, сие услышав, и в тот же момент велел сыскать ему что-нибудь перевести на пробу, и перевод его, каков ни был несовершен и как г. *Чонжин* ни старался его опорочить, однако самим генералом он одобрен и сказано, что он переводить научится и чтоб он тут оставался и принимался б за работу.

Бедный *Садовский*, не ожидавший того нимало и попавшийся тогда, как мышь в западню, скоро увидел, что переводы наши были совсем различны от книжных и таких, какия ему отчасти были известны, и как случилось тогда – как нарочно – дел превеликое множество, и притом еще переводов самых трудных, и положены пред него целыя груды бумаг, то бедняк сей и при первом переводе стал совсем в пень и так их испужался, что раскаявался тысячу раз в том, что проболтался; не рад был животу своему и приступал уже с неотступною просьбою, чтоб его от того избавить и свободить, но на него уж не посмотрели. Слово было сказано и переменить его было не можно, и он, что ни говорил, но принужден был оставаться и кое-как не переводить, а городить турусу на колесах.

Я смотрел хотя на сие и только что смеялся, однако все сие открыло мне уже глаза и я видел ясно, к чему клонится все дело и, положив сбираться в полк уже самым делом, стал уже уклоняться от переводов и в канцелярию ходить реже; но не прошло и двое суток, как востребовалась во мне крайняя надобность. Нужно было одно важное дело, и притом очень

скоро, перевесть, и как новый переводчик учинить того никак был не в состоянии, то прислали нарочного за мною и просили уже просьбою взять на себя труд и перевесть оное. Я хотел было сперва позакопаться и не переводить, но, подумав и разсудив, что сердцем и досадою ничего не сделаешь и никакой пользы себе не произведешь, не только на то согласился, но нарочно еще постарался перевесть скорее и как можно лучше. Сим угодил я много генералу, а как в самое то же время надобность явилась скопировать некоторыя посылаемые ко двору нужные чертежи и рисунки и произвести сие, кроме меня, было некому, мне же удалось сделать их еще лучше самого оригинала, то приобрел я чрез то себе новыя похвалы и получил новый луч надежды, что меня удержат или, по крайней мере, не слишком скоро станут вытуривать вон из города.

Но все сие недолго продолжалось: вытуривать меня хотя ни у кого на уме не было и все рады б были, чтоб я пробыл как можно долее, дабы можно было им моими трудами пользоваться, но самому мне явилась новая побудительная причина добиваться вновь какого-нибудь о себе решения. Является ко мне вдруг купец, у котораго приисканы и приторгованы были мною уже лошади и сказывает, что он отправляется в уезд и буде мне лошади надобны, то бы я покупал оныя скорее, а в противном случае он уедет на них сам; а как лошади были хороши и приторгованы дешево и мне упустить их не хотелось, то сие протурило меня опять к генералу и побудило просить, чтоб сказал он мне что-нибудь решительное. Признаться надобно, что я в сей раз надеялся почти несомненно, что получу ответ благоприятный; однако я в том обманулся немилосердно, и генерал, по многим заминаниям, сказал мне наконец решительно, что ему никак меня удержать не можно и чтоб я собирался в путь свой.

Не могу изобразить, как поразился я сим неожиданным ответом и как взволновалась во мне вся кровь при услышании онаго. Я власно тогда как на льду подломился и, терзаем будучи разными душевными движениями и откланявшись ему, пошел повеся голову в канцелярию сказывать товарищам своим о учиненном мне формальном отпуске. И тогда имел я неописанное удовольствие видеть, как много меня все любили, как всем им было меня жаль и как не хотелось со мною разстаться. Все, от вышних до нижних чинов, услышав сие, встужились, все собрались в кучку вокруг меня и все наперерыв друг пред другом изъявляли и досаду свою и сожаление обо мне, и все вообще роптали и были крайне недовольны поступком

генерала. Иной называл его трусом и старую бабою; другой говорил, что он сам не знает, чего боится; третий полагал за верное что фельдмаршал всего меньше о том знает и обо мне думает, а наврять обо мне вздумалось так правителю его канцелярии и что можно б подождать и вторичнаго обо мне повеления, котораго верно не воспоследует, ибо я составляю толь маловажную в армии особу, что обойдется и без меня и обо мне позабудут; иной говорил, что иная б беда, если б генералу и вторично еще обо мне к фельдмаршалу представить, или писать партикулярно, попросить фельдмаршала о дозволении мне остаться как для казенных же и необходимых надобностей; иные советовали мне сказаться больным или всклепать на себя что-нибудь, тому подобное. Все же вообще не советовали мне никак спешить моим отъездом, а медлить оным сколько можно долее, говоря, что и путь становится уже самый последний и мне ехать будет слишком дурно, а лучше бы подождать просухи; а г. *Чонжин* брался сделать наконец то, чтоб меня не высылали и неволею, и чтоб медлить сколько можно, моим отправлением и так далее.

Я слушал все сие и молчал; но как все сии сожаления мне нимало не помогали и я был уже формально спущен, то, подумав обо всем хорошенько и боясь, чтоб не нажить себе какой беды, решился уже начать собираться прямым делом, и потому, пришед на квартиру, послал тотчас с деньгами за сторгованными лошадьми и купил оных, а потом велел исправлять и повозку и все нужное к походу.

Но как сие скорей сказать, нежели сделать было можно, потому что повозка моя требовала великой починки и потребно было все к тому по меньшей мере недели две времени, то препроводил я все сие время не без скуки и в чувствованиях не весьма приятных. Привыкнув жить столько уже лет на одном месте и в покое и отвыкнув совсем от прежней военной жизни и службы, до которой я и без того поневоле только был охотник, тогда же, познакомившись с науками короче и вкусив все приятности их, всего меньше имея уже к ней склонности, желал я тысячу раз охотнее упражняться далее в оных, нежели ехать на войну и подвергать себя ежедневным трудам и опасностям. К тому ж как наступала и действительно и самая уже распутица, ибо было сие уже в исходе февраля месяца, полк же наш находился уже в походе и отправлен был в *Померанию*, то признаюсь, что ехать мне крайне не хотелось, а потому и не удивительно, что я не старался слишком спешить сборами, но и сам помышлял уже о том,

чтоб протянуть отъездом своим как-нибудь долее, и буде б можно, так до самой бы просухи.

Между тем как слух до нас доходил, что с обозами тогда в армии учинена перемена и офицерам уже двум велено иметь одну только повозку, то и сие озабочивало и огорчало меня чрезвычайно; обстоятельство сие принуждало меня забирать с собою koliko можно меньше вещей, а как у меня тогда и одних книг более воза было, то пуще всего жаль мне было расстаться с ними, и я не знал куда мне их девать и кому препоручить по отъезде.

В сем горестном расположении наступает наконец самый март месяц и мне доносят, что повозка моя уже исправлена и все к отъезду моему было готово, и тогда иное ли что оставалось мне делать, как только иттить требовать себе пашпорты, распрощаться с генералом и со всеми, и потом сесть и ехать. Отъезд мой и действительно был уже так достоверен, что я перервал уже и переписку с господином *Тулубьевым*, расплатился со всеми, кому я был должен, и, полагая за верное, что чрез неделю отправлюсь в путь и недели через две буду уже при полку, был во всем том так удостоверен, что не усумнился ссудить займы случившагося тогда тут нашего полку подлекаря, совсем мне почти не знакомаго и тогда едущаго в полк человека 30-ю рублями денег в надежде, что получу оныя от него тотчас по приезде в полк свой. Но воспоследовал ли действительно мой отъезд или нет, о том услышите вы в письме будущем, а теперь, как сие уже увеличилось за пределы, то дозвольте мне оное сим кончить и сказать вам, что я есмь и прочая.

ОБРАЗОЧЕК СВ. АННЫ

Письмо 86-е

Любезный приятель!

В последнем моем письме к вам остановился я на том, что я намерен был уже действительно отправиться к полку и не только все было готово к отъезду, но назначен был уже и день оному и оставалось мне только укласться, запрягать лошадей и ехать; и отбытие сие из любезнаго мне Кёнигсберга казалось уже столь достоверно и неминуемо, что я помянутому,

выпросившему у меня займы денег и поехавшему в полк нашему полковому подлекарю препоручил уже сказать и полковнику нашему и всем полковым о скором моем отъезде и к полку прибытии.

Но как бы вы думали? Ведь всего того не последовало и вышел из всех сборов моих совершенный пустяк!.. Я не поехал и остался еще долее жить в Кёнигсберге! Но как это сделалось, того истинно сам почти не знаю и приписую ничему иному, как сокровенному действию пекущегося о благе моем Божескаго Промысла, восхотевшаго, чтоб я в сие лето не проваландался по-пустому и без всякой пользы по землям неприятельским, а препроводил бы в продолжении начатых мною наук и научился бы кой-чему еще многому хорошему и несравненно пред прежними знаниями моими важнейшему, и для того произведшему такое сплетение случаев и обстоятельств, что я нечувствительно, и сам почти не зная как, остался еще долее жить в Кёнигсберге. Но, дабы подать вам сколько-нибудь о том понятие, то расскажу вам о происшествиях сих, сколько могу упомнить.

Как все к отъезду моему было уже готово, то, чтоб не допустить до самой половоди и распутицы совершенной, спешил уже и сам я оным, и потому, избрав один день, пошел из квартиры моей в канцелярию действительно с тем, чтоб, испросив у генерала об отпуске и отправлении меня бумагу и распрошавшись как с ним, так и со всеми канцелярскими, наутрие запрягать лошадей и ехать; но мог ли я думать, что самый этот день и час назначен был к неожиданной остановке и к произведению во всех обстоятельствах моих перемены и что произведет оную сущая, по-видимому, безделица и вещь ничего не значущая!

Не успел я войти в канцелярию, в которой я за сборами уже несколько дней не бывал, как в самой моей прежней комнате встречается со мною наш ассессор г. Чонжин и, обрадовавшись, увидя меня, говорит: «А, вот кстати!.. А мы только что хотели за тобою посылать! Вот и вестовой уже собирается». – «Что такое? – спросил я. – И за чем таким?» – «Генералу есть до тебя небольшая нуждица, и он приказал послать за тобою». – «Не знаете ли какая?» – спросил я. «Это ты сам услышишь и увидишь, ступай-ко к нему в судейскую, он тебя дожидает».

Нуждица сия была вот какая: случилось ему как-то не нарочно повредить крест ордена своего святыя Анны и повредить так, что необходимо надобно было сделать оный совсем вновь. Он и приискал уже к тому и мастеров, но как в середине креста был написанный на финифте и в миниа-

тюре маленький образок, изображающий св. Анну, и во всем Кёнигсберге не могли отыскать мастера, умеющего писать на финифти и не оставалось другого средства, как послать в Берлин и велеть там оный написать, а для самага сего потребен был точь-в-точь против прежняго образочка рисуночек, то хотя и приводили к генералу в самое то утро живописца, могущаго бы то сделать, но как он требовал за то с генерала не менее 5-ти рублей, то сие его, как скупого человека, так раздосадовало, что он, прогнав живописца с глаз долой и будучи еще в превеликой досаде, пришед в канцелярию, жаловался на сей случай своим сотоварищам советникам и, показывая им сей образок, бранил живописца, говоря, что он безсовестнейшим образом вознамерился его ограбить. Как ассессор наш г. *Чонжин* сидел тут и на два только шага от генерала, то, вскочив, подошел и он посмотреть образочек сей, и не успел взглянуть, как, захохотав, генералу сказал: «И! ваше превосходительство, есть за что платить 5 рублей, это сущая безделка; да извольте приказать Болотову, он вам в один миг это срисует и не будет надобности платить ни полушки!» – «Да неужели он это может? И умеет разве он и рисовать?» – спросил генерал. «Не только умеет, но превеликий еще и охотник; в летнюю пору мы и здесь в канцелярии видали его много раз окладеннаго вокруг красками и рисующаго; и какая же прекрасная рисует он картинки!» – «Что ты говоришь! – сказал генерал. – Это право хорошо и похвально, однако это ведь миниатюрная живопись и нарисовать надобно на пергаменте, так может ли полно он?» – «Это вы можете у него спросить, – сказал *Чонжин*, – но я, по крайней мере, не сомневаюсь в том, видал я его рисующаго, и очень мелко, и на пергаменте также». – «Хорошо бы право это, и не здесь ли он?» – спросил генерал. «Нет, ваше превосходительство, и мы его уже несколько дней не видим: бедный собирается теперь к отъезду и в последний раз видел я его в превеликих хлопотах и заботах о лошадях, о повозке и прочем и в горести превеликой!» – «Да разве ему очень не хочется?» – спросил генерал. – Он ведь офицер, и от службы отречься не должен». – «Кто про то говорит? – сказал *Чонжин*. – Но здесь разве не такая же служба, а сверх того и армейской службе ему не учиться стать: он, как сказывали мне, и в поку был наилучшим офицером и верно и там не загинет; но его не то огорчает более, а иное». – «А что ж такое?» – спросил генерал. «Ему не хотелось бы отсюда ехать, – отвечал *Чонжин*, – более для того, что он начал было здесь только что учиться!» – «Как учиться и чему?» – спросил

генерал. «Как, разве ваше превосходительство не изволите знать, что он у здешних университетских профессоров порядочно учится философии и слушает какая-то лекции, и с минувшей еще осени всякой день урывается на час времени отсюда из канцелярии и хаживал по вечерам к ним на дома, и никто долго о том не знал, не ведал». – «Что ты говоришь?!» – сказал с удивлением генерал. – Это истинно редкий молодой человек; но пошли-ка, мой друг, за ним: спросим-ко, право, мы его, не может ли он мне нарисовать этого? Услужил бы он мне тем очень-очень». Господину Чонжину не было нужды повторять сие в другой раз. Он выбежал в тот же миг в подъяческую и велел призвать вестового, чтоб послать за мною, а в самую ту минуту я, как вышеупомянуто, и вошел в канцелярию, и Чонжин в тот же час и повел меня к нему.

Генерал не успел меня увидеть, как, сказав: «А! Вот ты уже и здесь, хорошо это! – и встав с места, продолжал. – Поди-ка, мой друг, сюда! – и повел меня в маленький тут кабинет к окошку, и тут, показывая мне изломанный свой орденский крест, продолжал. – Посмотри-ка, мой друг, это; мне сказывали, что ты умеешь рисовать, не можешь ли ты мне этот образочек и в точном виде срисовать?» – «Не знаю, ваше превосходительство! – сказал я, на оный посмотревши. – Кажется, диковинка не великая: может быть, и срисую». – «Ты одолжил бы меня тем, – сказал генерал, – но вот вопрос: ведь надобно, чтоб было это нарисовано на пергаменте и в точной величине против этого». – «Это разумеется само собою, – отвечал я. «Но есть ли у тебя нужный к тому клочок пергаamenta?» – «Есть, ваше превосходительство». – «Ну хорошо ж, мой друг, потрудись, пожалуйста, и поспеши, сколько можешь, и если б можно, так хотелось бы мне не упустить завтрашней почты и отправить с нею рисуночек сей в Берлин». – «Уклялся было совсем и прибрал было всю свою рисовальную сбрую, – сказал я на сие, – но хорошо, сударь, я поразберусь и достану и постараюсь поспешить». – «Но что ты так спешешь? – сказал он, сие услышав. – Я тебя хотя и не удерживаю, но ей-ей и не выгоняю, и ты не имеешь нужды так спешить». – «Да путь-то, ваше превосходительство, устрашает, самый уже последний». – «То-то и дело, – подхватил он, – путь-то не хорош, и не лучше ль бы уже помедлить... Итак, возьми-ка, мой друг, поди и потрудись, пожалуйста!»

«Хорошо, ваше превосходительство», – сказал я и, взяв крест, побежал на квартиру, с головою, наполненную разными мыслями и новыми

недоумениями о том, что мне делать и ехать ли, или еще на несколько времени остаться. Последняя генеральския слова произвели сие недоумение и множество разных во мне мыслей, и я начал уже питать себя лестною надеждою, что меня и оставят, а особливо если мне удастся услужить генералу порученною мне безделкою. Почему, не успел приттить домой, как, отыскав свой походный жестяной ларчик с красками и с кистями, который сделан был у меня нарочно и весьма укромный для похода, принялся тотчас за работу. Она подлинно составляла самую безделку и была так маловажна, что мне удалось ее в то же утро кончить, так что я для вручения ее генералу застал его еще в канцелярии, в которой обыкновенно он часу до второго и до третьяго просиживал.

Нельзя изобразить, как удивился он, увидев меня, к себе в судейскую вошедшаго. «Что ты, мой друг, – спросил он меня с поспешностию и увидев подающего ему и крест его и рисунок, – что это? Неужели он уже готов?» – «Готов, ваше превосходительство, – сказал я, – много ли тут работы?» – «Посмотрим-ка, посмотрим», – подхватил он и, встав с места своего, пошел к окну разворачивать бумагу с рисунком. Тут вспрыгнул он почти от радости, увидев мою работу, и закричал: «А! как это хорошо! Ей-ей хорошо, никак я того не ожидал и не думал. Посмотрите-ко, государи мои, – обратясь к советникам, он продолжал, – истинно нельзя быть лучше и аккуратнее!» Все повскакали тогда с мест своих и пошли смотреть к генералу, а вместе с ними и г. *Чонжин*, и все начали наперерыв друг пред другом расхваливать мою работу, а г. *Чонжин* говорил: «Ну, не правда ли моя, ваше превосходительство, не сказывал ли я вам наперед, что он делает? Он у нас на все дока!» – «Правда, правда, – сказал генерал, в превеликом будучи удовольствии, – и г. *Болотов* истинно мастер рисовать и, что всего удивительнее, так скоро и хорошо. Спасибо тебе, мой друг, ты одолжил меня трудом своим, право одолжил, и я завтра же пошлю его в Берлин». Я, слушая сие, молчал и только что откланивался ему; но как хотел я прочь иттить, то сказал он мне наконец: «Постой же и не уходи, мой друг, из канцелярии, а пойдем-ка вместе со мною, отобедаем и поговорим что-нибудь».

Я сделал ему за честь, оказываемую мне, пренизкий поклон и не успел выттить в подъяческую, как все канцелярские облепили меня кругом и все наперерыв друг пред другом изъявляли радость свою о том, что удалось мне так услужить генералу и поздравляли меня с оказываемою мне

честию, какой никто еще до того времени не удостоился из всех канцелярских, и все желали, чтоб хотя сие помогло к тому, чтоб меня оставили; о чем некоторыя почти уже не сомневались, и тем паче, что слышали, что в то время, когда я рисовал, говорено было много обо мне в судейской.

Не успели мы приттить в губернаторские покои, где накрыт уже был маленький столик, ибо он обедал всегда почти один, как велел генерал тотчас поставить еще прибор для меня, а между тем как становили и носили кушанье и вступил он со мною в следующий разговор: «Право, мой друг, – сказал он мне, – подумай-ка, уже не отложить ли тебе отъезд свой до просухи? Видишь сам, что путь начал уже совершенно портиться и мы сегодня же получили еще известие, что реки *Висла* и *Ноготь* так разлились, что сделалось превеликое наводнение и многия селения затоплены; то как тебе теперь ехать одному и подвергаться без нужды опасностям? Мне досадно, неведомо как, что не могу тебя формально удержать, но, с другой стороны, жалею истинно тебя и не желал бы никак, чтоб ты подвергся какому-нибудь несчастью. Подумай-ко, это право не малина и не опадет, и приехать к армии всегда еще успеть ты можешь?» – «То-то так, ваше превосходительство, – отвечал я, мне и самому хотелось бы охотно пробыть здесь до просухи, но я опасюсь, чтоб за нескорый свой приезд не претерпеть мне напасти!» – «Нет, – подхватил генерал, – это не так важно и опасаться того нечего; словом, хотя б прислано было и вторичное о тебе повеление, так и тогда беда не велика! Мы отпишем, может быть, тогда что-нибудь, могущее служить к твоему извинению и оправданию в том». – «О! если эта будет милость ваша, – сказал я, поклонившись, – так дело иное, и я уже смелее и охотнее остановлюсь здесь до просухи». – «Оставайся-ка, оставайся, мой друг, с Богом до просухи, куда тебе теперь ехать, а там посмотрим, что Бог даст. Может быть, переменятся обстоятельства, и нам можно будет удержать тебя и долее, а между тем поживем-ка сколько-нибудь еще вместе и ты ходи-ка между тем к нам по-прежнему в канцелярию и помогай нам своими переводами, а кстати, притом можешь продолжать и свои науки. Мне сказывали, что ты чему-то учишься, это истинно похвально и препохвально. Сядем-ка и отобедаем, а потом поговорим с тобою о науках, познакомимся короче, и ты расскажи мне обо всем подробнее».

Всеми сими словами влил он, власно как некакой живительный бальзам в отягощенное недоумением мое сердце. Я кланялся и благодарил за

его к себе милость и благоприятство и не помню, когда бы имел обед столь вкусный и сладкий, как в то время.

А не успели мы отобедать, как он и вступил со мною в пространный разговор о науках; я должен был рассказать ему все и все, что я знаю, где, чему и от кого учился и чему именно учусь в тогдашнее время.

И как он услышал, что я всему научился более самоучкою и по единственной охоте, то не мог он довольно расхвалить меня за то. Что ж касается до рассказывания моего о новой философии, которой я начал учиться, то слушал он о том с особливым вниманием, желал слышать наиглавнейшие ея основания и советовал мне никак не покидать учиненнаго начала и продолжать сие доброе и полезное дело. Коротко, мы проговорили с ним более двух часов сряду и оба узнали друг друга короче. Я узнал, что и он довольно сведущ во многом и отменно любил науки, а он получил обо мне лучшее понятие и чрез самое то сделался ко мне так благосклонен, что я во все время пребывания моего у него под команду не мог на него ни в чем маленьком пожаловаться и, кроме ласки и благоприятства, ничего от него не видал.

Поговорив сим образом с губернатором, решился я по совету его на отвагу остаться долее в Кёнигсберге и дожидаться вторичнаго о высылке меня повеления от фельдмаршала, и после узнал, что о самом том был у генерала и во время рисования моего разговор с советниками и асессором, и с общаго согласия положено было у них меня до получения сего вторичнаго повеления не отпускать, но всячески удерживать. Но как сего вторичнаго повеления не последовало и во все лето, ибо фельдмаршалу верно не до того было, чтоб помнить о таких безделках, а от полку представлений обо мне к нему не делано было никаких, и как думать надобно, сперва потому, что по уверению приехавшаго подлекаря о скором моем приезде меня ежедневно ожидали, а после, когда пошли в поход, то и полковым начальникам не до того было, чтоб о таких безделках делать фельдмаршалу представления, то в ожидании того и прожил я в Кёнигсберге благополучно во все лето и до самаго того времени, покуда судьба отвлекла меня в другую сторону и все дело обо мне так было позабыто, как бы и вовсе его не было.

Вот каким образом остался я опять в Кёнигсберге и какой безделке назначено было меня остановить; но как бы то ни было, то я тем очень был доволен и о том убытке нимало не жалел, который я имел при покупке

лошадей и исправлении своего походного экипажа, но после тем был еще и доволен, ибо мне в последующее время стоились они очень кстати, так как о том упомянется после, в своем месте.

Возвращаясь теперь к продолжению порядка истории моей, скажу, что, оставшись помянутым образом, сверх всякаго чаяния и ожидания, в Кёнигсберге, начал я по-прежнему ходить ежедневно в канцелярию и заниматься переводами с тем уже для себя облегчением, что имел у себя уже помощника, котораго я заставлял переводить все легкое, а сам для себя оставлял только трудные, которыя переводить он был еще не в состоянии, и как чрез то получил я более досуга, а сверх того, и все послеполуденное время могли мы употреблять на себя, то и начал я тем более и прилежнее заниматься науками и как *штудированием* новой философии, так переводами и чтением книг не столько увеселительных, сколько важных и существенно полезных и могу сказать, что сей год был для меня прямо учебный и по многим отношениям наиважнейший во всей жизни.

Ибо, во-первых, спознакомился я в оный и познакомился довольно коротко с здравейшею и лучшайшею философиєю из всех, какия бывали только до того в свете и которой полезность, узнанную из собственной опытности своей, ни довольно описать, ни изобразить не могу.

Посредством оной получил я только впервые истинныя и ясныя понятия как о существе, так и о свойствах и совершенствах Божеских, о натуре и существе всего созданнаго мира, а что всего важнее, о существе, силах и свойствах собственной души нашей, или, короче сказать, спознакомился короче с Богом, с миром и самим собою. О чем обо всем до того времени хотя имел понятия, но понятия мои были весьма еще темныя, несовершенныя и спутанныя, а тогда открылся мне власно как свет и я мог уже обо всем судить здраво и на все смотреть иными глазами. За все сие наиглавнейше обязан я г. *Вейману*, к которому продолжал я ежедневно почти ходить и не только слушал преподаваемыя им лекции, но успевал все говоренное им записывать, и написал даже целыя книги. Он прошел с нами всю метафизику и наибольшую часть морали, а дабы сколько можно было более в том успеть, то, не удовольствуясь сими преподаваемыми нам лекциями, купил я весь философический курс, или всю философию крузианскую, и по книгам сим штудировал и дома, и занимался тем во все праздные часы столько и с таким успехом, что сам г. *Вейман* не мог тому надивиться, что я так много и в короткое время узнал из сей глубокомыс-

ленной и высокой философии; но он не знал того, что я сколько учусь от него, а вдвое того студирую дома по книгам. Словом, прилежность моя так была велика, что я инья части те, которья казались мне наиважнейшими, как то: новую науку г. *Крузия* о воле человеческой, или *Телематологию*, для лучшаго понятия и незабвения выучил даже от слова до слова наизусть, а не удовольствуясь и тем еще некоторую часть оной и перевел еще на свой природный язык и всем тем с особливым рвением и удовольствием занимался несколько недель сряду.

Все сие в немногия месяцы сделало меня в философии сей столь знающим, что я не только в осень того же еще года в состоянии был, при бываемых в тамошнем университете публичных диспутах, мешаться в оные и брать в них действительное соучастие, но по возвращении в дом свой в последующие времена сочинить сам философическия и нравоучительныя книги и услужить тем своему отечеству, как о том упомяну впредь в своем месте.

Во-вторых, и что по всей справедливости почитаю я наиважнейшим во всей моей жизни, удостоверился в истине всего *откровения* и христианскаго закона и утвердился в религии и вере. И как сей пункт есть наидостовернейший примечания и помогла мне в том почти очевидно сама десница Всемогущаго и святой Его и бдящий о пользе моей Промысл употребил к тому особое средство и самую ничего почти незначущую безделку, то опишу я сей случай подробнее.

Итак, возвращаясь несколько назад, скажу я, что по особой ко мне милости Всемогущаго, имел я еще с юнейших лет и с самага почти младенчества некоторую приверженность к Богу и к святому Его откровенному закону. Набожность покойной моей родительницы, при которой я в те годы жил, в которья начинал я сколько-нибудь себя познавать и помнить, и врожденная во мне почти охота к чтанию книг подала первый к тому повод, и следы приверженности моей к вере приметны уже были в самыя юнейшия мои лета, как о том имел уже я случай упоминать вам отчасти в некоторых предследующих моих письмах; и вы знаете уже, что я, будучи ребенком, любил уже читать, и не только читать, но даже и списывать духовныя книги, и что все сие произвело то, что я и до вступления в службу почитал себя уже более знающим о законе, нежели знают самыя наши попы деревенские. Но со всем тем по обстоятельству, что у нас не было еще тогда никаких хороших духовных и таких книг, которья бы могли

меня познакомить короче с первейшими истинами христианского закона, и все прочитанные мною книги состояли из Пролога, Четых-Миней, некоторых других и, наконец, *Камень веры*, которая из всех еще скольконибудь была важнее прочих, то все знание мое было не только темно и весьма еще несовершенно, но и основано, как я после увидел, на весьма еще слабых и таких основаниях, которыя всего легче могли поколеблемы быть. Словом, я знал о законе не более, как сколько знает большая часть из наилучших и усерднейших к вере наших тогдашних, а, к сожалению, и нынешних множайших соотечественников.

С сим довольным и весьма для меня счастливым предуготовлением вступил я в военную службу; и как тут не до того было, чтоб продолжать упражняться в чтении духовных книг, каких со мною и не было уже никаких, а сверх того, и лета мои были уже такие, что мысли мои развлекались уже иными разными и занимались более светскими предметами, то во все время продолжения службы моей, до приезда в Кёнигсберг, помышляя я всего меньше о законе, а вся польза, полученная мною от чтения в младенчестве моем духовных книг, состояла только в том, что я никогда не престававал быть прилепленным к Богу, никогда не забывал онаго, всегда Ему маливался с усердием довольным, а с таковою приверженностию к Нему приехал и в Кёнигсберг самый. Тут, получив случай к доставанию и чтению множайших всякаго рода книг, а особливо добрых, нравоучительных, стал я мало-помалу просвещаться в своих знаниях, до благочестия относящихся, и будучи от природы более к добру, нежели ко злу наклонен, увеличил еще более приверженность свою к Богу, а особливо как скоро из книг получал я уже об Нем и обо всем в мире несравненно лучшия и обширнейшия пред прежним понятия, и начинал спознакомливаться с тою блаженною и полезнейшею наукою, которая научает нас увеселяться красотами природы и которая чрезвычайно много помогла к образованию моего сердца и к сделанию его наклонным к добродетельной и благочестивой жизни. Но как все читанные мною книги были более нравоучительныя, светския, а не духовныя и до религии относящияся, ибо сих никаких не было, а иностранныя сего рода книги я как-то не бирал никогда и в руки, думал, что они нимало к нам не следуют, то, несмотря на все вышеписанное, невзирая на всю мою приверженность к богочитанию, все знания мои об откровенном законе были еще слабы и не только весьма недостаточны, но таковы, что могли тотчас поколебаться, как скоро явился к тому

удобный случай, а сие и случилось со мною около самага сего времени и в течение прошедшаго года и, что особливога примечания достойно, пред самым тем временем, как спознакомился я с *крузианскою* и толико блаженною для меня философиєю.

Первый повод подала к тому *вольфианская* философия, с которою, как выше упомянуто, спознакомился я прежде, нежели еще знал, что есть на свете *Крузий*; ибо как скоро, по прочтении оной вольфианской философии, сделался я способным к чтению и пониманию книг, содержащих в себе и самыя важныя и высокия материи, и получив к такому чтению превеликую охоту, стал и доставать и выбирать к чтению более такая; то каким-то образом между множеством других стали мне попадаться в руки и самыя вольнодумческия и такая, которыя мало-помалу и совсем неприметным и нечувствительным образом стали вперять в меня некоторыя сумнительствы о истине всего откровения и христианскаго закона и совращать меня с пути добраго. К особливому несчастью, случились оне наиболее таких сочинителей, которыя разсеваемой повсюду свой яд умели прикрывать прелестною личиною и, для удобнейшаго всякому проглотению, облепливать свои ядовитыя и пагубныя пилюли, власно как медом и сахаром. А сие и произвело, что я по любопытству своему, начитавшись их с превеликою жадностью, нечувствительно наглотался и оных и так много, что впал наконец в совершенное сумнительство о законе и едва было едва не сделался и сам совершенным деистом и вольнодумцем. Сколько-нибудь поддерживала меня еще долго прежняя приверженность моя к закону; но как и та никак не могла долго устоять и держаться против мнимых философических и все то опровергающих истин, которыми я напоился, то и впал я наконец в наимучительнейшее и такое состояние, которое я никак описать и изобразить не могу. Было оно среднее между верою и неверием и доводило меня нередко до того, что я, углубясь в размышления о том, обуреваем был иногда таким страданием душевным, что не рад был почти жизни и не знал, что мне делать и верить ли всему тому, что нам сказывают о христианском законе, или не верить, и почитать все то баснями и выдумками и хитростью духовных, как то помянутыя писатели в меня вперить старались.

Мучительное сие состояние продлилось, как теперь помню, несколько недель сряду и во все сие время я власно как горел на огне и пытке, и доводим был нередко до того, что, кинувшись на колена и воздев руки к

небу, наиусерднейшим образом молил и просил Творца своего помочь мне в сей нужде и каким бы то образом ни было вывести меня из сего мучительного положения.

Ах! моления мои были сим благодетельным Творцом и услышаны, и святой деснице Его угодно было наконец отвлечь меня от бездны, над которою простерта была уже нога моя и в которую готов уже я был совсем упасть, и поставить меня на камень, могущий удержать меня от падения, как тогда, так во все последующее время, и к сему очевидному почти избавлению моему из крайней опасности и к спасению моему употребить по наружному виду самую безделку и вещь, ничего не значущую. Теперь спрошу я вас, любезный приятель, могли ль бы вы подумать и поверить тому, что безделица, один прусский грош (что учинить меньше наших двух копеек), употребленный во благо, в состоянии был вывести меня из помянутого наимучительнейшего состояния и положить первое основание всему воздвигнутому потом твердому и такому зданию моей веры, которое ничто уже поколебать не могло и чрез все то не только успокоить мой дух, но и подать повод к безчисленным удовольствиям и неоцененным минутам в жизни.

Вы удивляетесь сему? Но удивитесь более, когда расскажу вам все сие, по-видимому, хотя ничего не значущее, но во всю мою жизнь и самое блаженство оной величайшее влияние имевшее происшествие, и увидите, какими путями и маловажными иногда средствами спасает Провидение от превеликих бедствий и подает повод к происшествию великих и важных перемен во всей жизни.

Некогда во время помянутого моего мучительного состояния, случилось мне приттить в книжную лавку для покупки одной не помню уже какой именно книги. Между тем как книгопродавец пошел по шкапам ее отыскивать, вынимать и развязывать многия кипы переплетенных книг, обратил я глаза на раскладенные на прилавке в превеликом множестве разные, переплетенные немецкия книги, которыя всегда при таких случаях имел я обыкновение пересматривать из любопытства. И тогда, власно как нарочно, случись так, что лежала против самого меня одна немецкая предика, напечатанная в четверть и из листов двух или трех состоящая. И надобно ж было случиться так, что попадись она мне первая на глаза. Сперва пренебрег было я ее, как немецкую предикку и такое духовное сочинение, каких я никогда не читывал и до которых мне всего меньше было

нужды; но вдруг меня власно как нечто толкнуло и побудило взглянуть на нее пристальнее и посмотреть, какого бы она была проповедника. И каким же поразился я удивлением, когда кинулось мне в глаза внизу крупными литерами напечатанное имя *Крузия*. «Ба, ба, ба! Крузия? Да какого же это Крузия? – сказал я в уме сам себе. – Разве иного какого, и разве есть и другие еще Крузии?» Ибо мне и в ум не приходило, чтоб была она того самого великаго философа, котораго философию я тогда уже штудировал и к которому имел уже безпредельное почтение и уважение. Но как же увеличилось удивление мое еще более, когда увидел я, что была она Христиана Августа *Крузия* и точно самого сего великаго мужа. «Господи помилуй! – воскликнул я тогда сам в себе в уме. – Как же я до сего времени не знал, что есть его и духовныя сочинения и предики еще. Да разве он духовный и не только философ, но и богослов вкупе?» Но я удивился еще более, когда, прочитав его титул, увидел, что был он в тогдашнее время. Ибо предика сия была совсем новая и недавно только напечатанная первейшею и знаменитейшею духовною особою во всем *Лейтциге* и профессором не только философии, но и богословия при тамошнем университете, и чего я до того никак не ведал, ибо во всех философических его сочинениях, купленных уже мною, называем он был только просто профессором философии. И тогда вдруг родилось во мне превеликое любопытство и желание прочесть оную. «Куплю-ка я ее, – говорил я сам себе, – и посмотрю, что бы такое говорил в ней сей муж, толь великаго уважения достойный». Но сие желание увеличилось и я поразился еще более, как, прочитав надпись о содержании оной, увидел, что была она о великой опасности сумневающихся о истине откровения и не старающихся удостоверить себя в оной и назначена точно для таких людей, в каком состоянии я тогда находился; следовательно, власно как нарочно для меня написана. Я остолбенел от изумления и как в самую ту минуту подступил ко мне книгопродавец с извинениями, что он не мог никак отыскать требуемой мною книги и что, конечно, все экземпляры оной разошлись, то я, не слушая более его раздабаров, спешил спросить у него, чего стоит сия проповедь? «Безделки самой, и один только грош надобен». – «Хорошо ж! – подхватил я. – Я беру ее, и вот тебе, мой друг, грош за безделку эту» и, взяв ее, не пошел, а побегал на квартиру, чтоб скорей прочесть оную.

Теперь не могу никак изобразить, с какими чувствами и разными душевными движениями читал я сию проповедь. Была она не столько

богословская, сколько философическая, и великий муж сей умел так хорошо изобразить в ней великую важность удостоверения себя в истине откровения и ужасную опасность сомневающихся в том и не старающихся о удостоверении себя в том, что меня подрало ажно с головы до ног при чтении сего периода, и слова его и убеждения толико воздействовали в моем уме и сердце, что я чувствовал тогда, что с меня власно как превеликая гора свалилась и что вся волнующаяся во мне кровь пришла при конце оной в наиприятнейшее успокоение. Я обрадовался неведомо как и сам себе возопил тогда: «Когда уже сей великий и по всем отношениям наивеличайшаго уважения достойный муж с таким жаром вступается за истину откровения и так премудро и убедительно говорит о пользе удостоверения себя в истине онаго, то как же можно более мне в том сомневаться, мне, в тысячу раз меньше его все сведущему! Нет, нет! – продолжал я, – с сего времени да не будет сего более никогда, и я не премину последовать всем его предлагаемым в ней советам».

Словом, как она, так и самая особливость сего случая так меня поразила, что я, пав на колена и со слезами на глазах благодарил Всевышнее Существо за оказанную мне всем тем, почти очевидно, милость и прося Его о дальнейшем себя просвещении; с того самага часа, при испрошаемой Его себе помощи, положил приступить к тому, чего г. *Крузий* от всех слушателей и читателей своих требовал, а именно, чтоб прочесть наперед все то, что писано было в свете в защищение истины откровеннаго закона Божескаго, а не оставаться при одном том, что говорили и писали его противники. Он говорил, что тогда он охотно дозволит всякому уже сомневаться, ибо уверен, что никогда того уже быть не может, а без сего не советовал бы он никому сим важнейшим в свете делом и так играть, как бы какую безделкою, для того, что игрушка сия всякаго так может повредить, как младенца, играющими горящими углями.

Как слова сии и все прочия убедительные примеры, тут же им приводимые, весьма глубоко впечатлелись в сердце и душе моей, то бросился я в тот же момент отыскивать между книгами своими ту, в которой преподавался совет к составлению библиотеки и где находились критическия замечания о всех лучших книгах и сочинениях всех классов и которая вскользь познакомила меня со всеми наилучшими и славнейшими всех родов книгами во всем свете; и приискав в ней замечания о лучших и достопамятнейших духовных книгах, а особливо таких, кои писаны для за-

щищения истины откровения и закона, выписал все оныя и тотчас послал за всеми теми, какия были из них в той библиотеке, из которой брал я книги для чтения, а которых не было в ней, те положил неотменно купить и употребить к тому сколько мне только было можно денег и сделать сие в непродолжительном времени.

И с того времени вдалься я в наиприлежнейшее чтение всех оных и могу сказать, что я в чтении сем не находил усталости и в короткое время прочел их довольное множество и благословлял тысячу раз ту блаженную минуту, в которую начал я сие полезное дело; ибо польза от того произошла та, что я чрез то не только избавился совершенно прежняго мучительнаго недоумения и успокоился духом, но утвердился на всю жизнь свою так в законе, что ничто не могло уже меня поколебать в моей вере. Умалчивая о том, что самое сие доставило мне как тогда, так и во все последующее время моей жизни несметное множество минут блаженных и столь сладких, о каких множайшая часть людей понятия не имеет; а сверх того, доставило мне основательное и обширное знание христианскаго закона и всех вещей и обстоятельств, относящихся до откровеннаго слова Божия и всей истории онаго.

Вот вторая и весьма важная польза, полученная мною в сей год и которой бы я верно лишился, если б воспоследовал мой отъезд и я отправился шататься по полям и драться с неприятелями; а какия дальнейшия получил я в сей год пользы, о том услышите вы в письме последующем, а теперешнее, как слишком уже увеличившееся, дозвольте мне сим кончить и сказать вам, что я есмь навсегда ваш и прочее.

КНИГИ

Письмо 87-е

Любезный приятель!

Продолжая повествование мое о полученных мною в течение 1761 года пользах, скажу, что, в-третьих, получил я в сие лето ту важную пользу, что гораздо уже короче познакомился с тем блаженным искусством увеселяться красотами природы, которое способно доставлять человеку во всякое время безчисленное множество приятных минут и увеселений

непорочных и полезных, и тем весьма много поспешествовать истинному его благополучию в сей жизни. Я упоминал вам уже прежде, что первый повод спознакомиться с сим драгоценным искусством подали мне сочинения г. *Зульцера*; но в сей год узнал я множайшия сего рода книги и не только с особливым вниманием и любопытством читал оныя, но из всех их, какия только мог достать, купил себе, а помянутую Зульцерову книжку размышления о делах природы перевел даже всю на наш язык; а как сие завело меня и далее и побудило короче познакомиться и со всею физикою, то занимался я и оною и с таким успехом, что после, по приезде в деревню, в состоянии был и сам уже сочинить целья книги сего рода и научить блаженному искусству сему даже и детей своих, – словом, я и сим знаниям весьма многим обязан в жизни моей, и они помогли мне препроводить ее несравненно веселее обыкновеннаго и имели во всю жизнь мою великое влияние.

Кроме всего того, прилежность моя была в сей год так велика, что я, за всеми помянутыми разными упражнениями, находил еще свободное время к переписыванию набело как некоторых своих сочинений, так и переводов лучших пиес из разных и славнейших еженедельников или журналов. Самую свою памятную книжку, о которой упоминал я прежде, переписал я набело и переплел в сие лето, и как была она первая моего сочинения, то и не мог я ею довольно налюбоваться.

Что касается до моих книг, то число оных чрез покупание разных книг на книжных аукционах, из которых не пропускал я ни единого, а отчасти чрез накупление себе многих новых и употребление на то всех своих излишних денег, увеличилось в сей год несравненно больше и так, что собрание мое могло уже назваться библиотекою, и сделалось для меня первейшею драгоценностию в свете. Со всем тем я не знал, что мне с сею любезною для меня драгоценностию делать, и она меня очень озабочивала. Я хотя помянутым образом и остался сам собою в Кёнигсберге и хотя весною и не было никакого обо мне повторительнаго повеления, а как армия пошла в поход, то не можно было и ожидать онаго, ибо тогда фельдмаршалу нашему верно не до того было, чтоб помышлять о таких мелочах, однако как все еще не было формальнаго приказания, чтоб мне остаться, и не было никакой в том достоверности, чтоб не востребовали меня опять к полку, и долго ли, коротко, а все должен я был когда-нибудь к полку явиться; книг же у меня одних целый воз уже был и мне и десятой доли взять их с собою

и в походе возить не было возможности, то горевал я уже давно и не мог придумать, что мне с ними делать и как бы их доставить заблаговременно в свое отечество, в которое и сам я никакой почти надежды не имел возвратиться, ибо как конца войны нашей не было тогда и предвидимо; отставки же в тогдашния времена всего труднее было добиваться, да такому молодому человеку, каков я тогда был, и льститься тем совершенно было невозможно, то по всему вероятно и должна была вся служба моя тогда кончиться либо тем, что меня на сражении где-нибудь убьют или изуродуют и сделают калекою, или где-нибудь от нужды и болезни погибну, или по меньшей мере должен буду служить до старости и дряхлости и тогда уже ожидать себе отставки. Все сие нередко приходило мне на мысль, и как я с самого того времени, как познакомился с науками, не ощущал в себе далеко такой склонности к военной службе как прежде, а видел тогда уже ясно, что рожден я был не столько к войне, как для наук и к мирной и спокойной жизни, то нередко, помышляя о том, вздыхал я, что не могу даже и ласкаться надеждою такою мирною и спокойною, яко удобнейшею для наук жизнью когда-нибудь пользоваться. Со всем тем как я уже издавна и единожды навсегда вверил всю свою судьбу моему Богу и решился всего ожидать от Его святого о себе Промысла, тогда же узнав его и все короче, и более приучил себя при всяком случае возвергать печаль свою на Господа и ничем слишком не огорчаться, а всего спокойно ожидать от него; то таковая надежда и упование на святое Его о себе попечение и утешало меня при всяком случае и не допускало до огорчений дальних, а впоследствии времени и имел я множество случаев собственною опытностию удостовериться в том, что таковое препоручение себя в совершенный произвол Божеский и таковое твердое упование на святое Его и Всемогущее вспомоществование и при всяких случаях вспоможение, всего дороже и полезнее в жизни для человека, так что, находясь теперь уже при позднем вечере дней моих, могу прямо сказать и собственным примером то свято засвидетельствовать, что во всю мою жизнь никогда и не постыдился я в таковой надежде и уповании на моего Бога и никогда не раскаявался я в том, но имел тысячу случаев и причин быть тем довольным.

Самый помянутый случай с моими книгами принадлежит к числу оных и может служить доказательством слов моих, ибо сколь ни мало я имел надежды к сохранению и убережению сего моего сокровища, но Всемогущий помог мне и в том, как и при многих других случаях, и доставил

мне к тому средство, о котором я всего меньше думал и помышлял, а именно.

Как до канцелярии нашей имели дело все, не только приезжающие из армии, но и все приезжающие как сухим путем, так на судах и морем из нашего отечества, и командиры и судовщики наших русских судов всегда по надобностям своим прихаживали к нам в канцелярию и нередко в самой той комнате, где я тогда сидел, по нескольку часов препровождали, то случилось так, что одному из таковых судовщиков, привозившему к нам на галиоте провиант, дошла особливая надобность до меня. Он имел какое-то дело с тамошними прусскими купцами и судовщиками и вознадобилось ему, чтоб переведена была скорее поданная от них на немецком языке превеликая и на нескольких листах написанная просьба. И как все таковыя шкиперския и купеческия бумаги, по множеству находящихся в них особливых терминов, были наитруднейшия к переводу, и только я мог сие сделать, то, приласкавшись возможнейшим образом, подступил он ко мне с униженнейшею просьбою о скорейшем переводе, говоря, что я тем одолжу его чрезвычайно. «Хорошо, мой друг, – сказал я ему, – но дело это не такая безделка, как ты думаешь: я не один раз испытывал сие и знаю, какво трудно переводить таковыя проклятыя шкиперския бумаги, а притом мне теперь крайне недосужно. Однако, чтоб тебе услужить, то возьму я бумагу твою к себе на квартиру и посижу за нею уже после обеда, а ты побывай у меня перед вечером, так, может быть, я перевесть ее и успею». – «Великую бы вы оказали мне тем милость», – сказал он, и был тем очень доволен, а я, искав всегда случая делать всякому добро, сколько от меня могло зависеть, охотно после обеда и приступил к тому и, посидев часа два, и перевел ему ее и прежде еще, нежели он пришел ко мне. Но как же удивился я, увидев пришедшаго его ко мне с превеликим кульком, наполненным сахаром и разными другими вещами. «Ба, ба, ба! – сказал я. – Да это на что? Неужели ты думаешь, что я для того велел приттить к себе на квартиру, чтоб сорвать с тебя срыву! Нет, нет, мой друг, я не из таких, а хотел истинно только тебе услужить и доставить скорее перевод свой. Он у меня давно уже и готов, но теперь за это самое и не отдам его тебе». – «Помилуй, государь! – подхватил он, кланяясь и ублажая меня. – Для меня это сущая безделка, и вы меня не столько одолжили, но так много, что я вам готов служить и более, и не угодно ли вам чего отправить со мною в Петербург: я на сих днях отправляюсь на галиоте своем туда и охотно бы

вам тем услужил и отвез, что вам угодно». Я благодарил его за чувствительность к моему одолжению, а он, взглянув между тем на книги мои, установленные по многим полкам, продолжал: «Вот книги, например, у вас их такое множество. Не угодно ли вам их препоручить мне отвезть куда вам угодно – в *Ригу* ли, в *Ревель* или в *Петербург*; где вам возить с собою в походах такое множество, а я охотно б вам тем услужил и доставил туда, куда прикажете».

Нечаянное предложение сие поразило меня удивлением превеликим и вкуче обрадовало. «Ах, друг ты мой! – воскликнул я. – Ты, надоумливаешь меня в том, что меня давно уже озабочивает. Я давно уже горюю об них и не знаю, куда мне с ними деваться. Уже не отправить ли мне их, право, с тобою и не отвезешь ли ты их в Петербург? Великое бы ты мне сделал тем одолжение». – «С превеликим удовольствием, батюшка, – сказал он, – галиот мой пойдет пустым и с одним только почти баластом, так если б и не столько было посылки, так можно, а это сущая безделка!» – «Но, друг мой – сказал я ему, – книги сии мне очень дорого стоят, я до них охотник и могу ли я надеяться, что оне не пропадут?» – «О! что касается до этого, – подхватил он, – то разве делается какое несчастье со мною и с галиотом моим, а то извольте положиться в том смело и без всякаго сомнения на меня как на честнаго человека и извольте только назначить мне, где и кому их отдать, а то оне верно доставлены будут». – «Очень хорошо, мой друг, – сказал я, – а за провоз я заплачу, что тебе угодно!» – «Сохрани меня Господи! – подхватил он, – чтоб я с вас что-нибудь за провоз такой безделки взял; а извольте-ка их готовить и, уклад в сундуки, хорошенько увязать и запечатать, чтоб оне дня чрез два были готовы, а впрочем, будете вы мною верно довольны».

На сем у нас тогда и осталось, и я, дивясь сему нечаянному совсем и благоприятному случаю, отпустил его от себя с превеликим удовольствием и тотчас послал к столярам и заказал сделать сундуки для укладывания книг моих. Но тут сделался вопрос: к кому я их в Петербург отправлю? Не было у меня там ни одного коротко знакомаго, а был только один офицер, служивший при сенатской роте, из фамилии гг. *Ладыженских*, который, будучи соседом по *Пскову* зятю моему *Неклюдову*, был ему приятель, а сам я не знал его и в лицо, а только кой-когда с ним переписывался, да знал коротко сестру его, короткую приятельницу сестры моей. Итак, к другому, кроме его, послать мне их было не к кому, но и об нем не знал я – в

Петербурге ли он тогда находился или в деревне. Но как бы то ни было и как ни опасно было отдать всю библиотеку мою на произвол бурному и непостоянному морю и человеку совсем мне до того не знакомому, однако, подумав несколько и не хотя упустить такой хорошей оказии, призвав Бога в помощь, решился на все то и наудачу отважиться и, наклавав книгами целых три сундука и увязав оныя и запечатав, препоручил их помянутому судовщику с письмом к помянутому г. *Ладыженскому*, в котором просил сего – отправить их при случае к моему зятю в деревню.

Не могу изобразить, с какими чувствами расставался я с милыми и любезными моими книгами и подвергал их всем опасностям морским. «Простите, мои милые друзья! – говорил я сам себе, их провозая. – Велит ли Бог мне опять вас видеть и вами веселиться и получать от вас пользу и где-то и когда я вас опять увижу!» Однако все опасения мои в суждении их были напрасны: Всемогущему угодно было сохранить их от всех бедствий и доставить мне в свое время в целости. Ибо так надлежало случиться, что галиот сей доехал до Петербурга благополучно и что судовщик за первый долг себе почел отыскать господина Ладыженскаго, а у сего и случись тогда, власно как нарочно, люди, присланные от зятя моего к нему за некоторыми надобностями с лошадьми и подводами, а с ними ему их всего и удобнее и надежнее можно было отправить в деревню, куда они и привезены тогда же в целости, а оттуда отвез я уже их сам после в свою деревню.

Сим-то образом удалось мне сохранить и препроводить в Россию мои книги. Оне послужили мне потом основанием всей моей библиотеке и принесли мне не только множество невинных удовольствий, но и великую пользу. Но я возвращусь к продолжению моей истории.

Между тем как я помянутым образом продолжал заниматься учеными делами и большую часть времени своего употреблял на учение, чтение, переводы и писание, дела правления королевством Прусским шли хотя по-прежнему, но несравненно с лучшим порядком. Губернатор наш был гораздо степеннее и разумнее *Корфа* и во всех делах несравненно более знающ. Он входил во всякое дело с основанием и не давал никому водить себя за нос. Словом, дела потекли совсем иначе, и усердие его к службе было так велико, что он не только наблюдал и исправлял все, чего требовал долг его, но денно и ночью помышлял и о том, как бы доход, получаемый тогда с королевства Прусскаго и простиравшийся только до 2-х

миллионов талеров, из которых 1 миллион паки расходился на расходы по королевству, сделать больше и знаменитее. Он вникал в самое существо и все подробности тамошняго правления и высматривал все делаемя упу-щения тамошними камерами и чиновачальниками и о взыскании оных всячески старался; и как между сими разными его затеями и особенными делами случались иногда такая, которья желалось ему сначала утаить и от самых товарищей своих советников, которья были все немцы, то, полюбив меня, удостоивал поверенности сей одного меня и нередко запирался с одним со мною в своем кабинете, и я, будучи посажен им за маленький столик, принужден был иногда по несколько часов писать диктуемые самим им мне разные прожекты, а иногда делать выписки из разных бумаг, мне им даваемых. А всеми такими стараниями и действительно не только сократил многочисленные расходы, но почти целым миллионом увеличил доходы с сего маленькаго государства и всем тем приобрел особливое благоволение императрицы.

Впрочем, жил он удаленным от всякой пышности и великолепия, и в особливости сначала и покуда не приехали к нему его дочери, весьма тихо и умеренно. Не было у него ни балов, ни маскарадов, как у *Корфа*, а хотя в торжественные праздники и давал он столы, но сии были далеко не такая большия, как при *Корфе*; но с того времени, как приехали к нему его дочери, что случилось еще пред начатием весны, то стал он жить сколько-нибудь открытее и хотя далеко не так часто, как Корф, но делать иногда у себя балы, а особливо для дочерей своих, которых было у него две и обе уже совершенныя невесты, и из коих выдал он после одну замуж за бывшего у нас тут генерал-провиантмейстером-лейтенантом, знакомца и соседа моего, князя Ивана Романовича *Горчакова*.

Кроме сих двух дочерей, имел он у себя еще и сына, служившаго тогда в армии еще подполковником и самага того, который прославил себя потом так много в свете, и в недавния пред сим времена потряс всею Европою и дослужился до самой высшей степени чести и славы. О сем удивительном человеке носилась уже и тогда молва, что он был страннаго и особливаго характера и по многим отношениям сущий чудак. Почему, как случилось ему тогда на короткое время приезжать к отцу своему к нам в Кёнигсберг, – при котором случае удалось мне только его и видеть в жизнь мою, – то и смотрел я на него с особливым любопытством как на редкаго и особливаго человека; но мог ли я тогда думать, что сей человек впоследствии времени

будет так велик и станет играть в свете толь великую роль и приобретет от всего отечества своего любовь и нелицемерное почтение.

Что касается до бывших у нас в Кёнигсберге в течение сего лета происшествий, то не помню я ни одного, которое было бы сколько-нибудь достопамятно, и такого, чтоб стоило упомянуть об оном, кроме одного, в котором я имел особенное соучастие, и потому расскажу вам об оном обстоятельно.

На одного из живущих в уезде прусских дворян, принадлежащего к знаменитой фамилии графов *Гревенов*, человека небогатого и имеющего хорошия деревни, сделался в чем-то донос, и донос такого рода, что надлежало его схватить и тотчас отправить ко двору и в бывшую еще тогда и толико страшную тайную канцелярию. Тогда не знали мы ничего, а после узнали, что дело состояло в том, что, сидючи однажды за обедом и разговаривая с своим семейством, заврался он при стоящих за стульями слугах и что-то говорил обидное и предосудительное о нашей императрице. И как один из сих слуг, будучи сущим бездельником, был им за что-то недовольным, то восхотелось ему злодейским образом отомстить своему господину. Он, ушед от него, явился прямо к губернатору и объявил, что он знает на господина своего слово и дело. Ныне, по благости Небес, позабыли мы ужо, что сие значит, а в тогдашняя, несчастныя в сем отношении времена были они ужасныя и в состоянии были всякого повергнуть не только в неописанный страх и ужас, но и самое отчаяние; ибо строгость по сему была так велика, что как скоро закричит кто на кого: «Слово и дело», то без всякаго разбирательства – справедлив ли был донос или ложный, и преступление точно ли было такое, о каком сими словами доносить велено было, – как донощик, так и обвиняемый заковывались в железы и отправляемы были под стражею в тайную канцелярию в Петербург, не смотря какого кто звания, чина и достоинства ни был, и никто не дерзал о существе доноса и дела как доносителя, так и обвиняемого допрашивать; а самое сие и подавало повод к ужасному злоупотреблению слов сих и к тому, что многия тысячи разнаго звания людей претерпели тогда совсем невинно неописанныя бедствия и напасти, и хотя после и освобождались из тайной, но, претерпев безконечное множество зол и сделавшись иногда от испуга, отчаяния и претерпения нужды навек уродами.

Таковой-то точно донос сделан был и на помянутого несчастнаго графа *Гревена*; и как, по тогдашней строгости, губернатору, без всякаго даль-

нейшаго изследования, надлежало тотчас, его заарестовав, отправить в тайную в Петербург, то нужен был исправной, расторопный и надежный человек, который бы мог сию секретную комиссию выполнить, которая тем была важнее, что граф сей жил в своих деревнях и деревни сии лежали на самых границах польских, следовательно, при малейшей неосторожности и оплошности посланнаго, мог бы отбиться своими людьми и уйтить за границу в Польшу, а за таковое упущение мог бы напасть претерпеть и сам губернатор. И тогда так случилось, что губернатор из всего множества бывших под командою его офицеров не мог никого найти к тому лучшаго и способнейшаго, кроме меня, и может быть, потому, что я ему короче других знаком был и он о расторопности и способности моей более был удостоверен, нежели о прочих.

Итак, в один день – недуманно-негаданно – наряжаюсь я в сию секретную посылку и губернатор, призвав меня в свой кабинет и вручая мне написанную на нескольких листах инструкцию, говорит, чтоб я сделал ему особенное одолжение и принял бы на себя сию комиссию и постарался бы как можно ее выполнить. Я, развернув бумагу и увидев в заглавии написанное слово, по секрету, сперва было позамялся и не знал что делать, ибо в таких посылках и комиссиях не случалось мне еще отроду бывать; но как губернатор, приметя то, ободрил меня, сказав, что тут никакой дальней опасности нет, что получу я себе довольную команду из солдат и казаков и что избирает он меня к тому единственно для того, что надеется на мою верность и известную ему способность и расторопность более, нежели на всех прочих, и наконец, еще уверять стал, что буде исполню сие дело исправно, так почтет он то себе за одолжение, то не стал я нимало отговариваться, но, приняв команду и сев на приготовленные уже подводы, в тот же час в повеленное место отправился.

Теперь опишу я вам сие хотя короткое, но достопамятное путешествие. Ехать мне надлежало хотя с небольшим сотню или сотни до полторы верст, но езда была мне довольно отяготительна, потому что я ехать принужден был в самое жаркое летнее время, в открытой прусской скверной телеге и терпеть и несносный почти жар от солнца, ибо надобно знать, что в Пруссии таких кибиток и телег вовсе нет, какия у нас и у мужиков наших, но телеги их составляют длинные роспуски с двумя на ребро вкось поставленными и наподобие лестниц сделанными решетками; ни зад, ни перед у них не загорожен, а и место в середине, где сидеть должно, между

решеток так тесно и узко, что с нуждою усесться можно. В таковых телегах, или паче фурах, пруссаки возят и хлеб свой, и сами ездят, и таковыя-то, по наряду из деревни, приготовлены были под меня и под мою команду; казаки же мои все были верхами.

Не езжав отроду на таких дурных и крайне беспокойных фурах и притом без всякой постилки и покрывки, размучился я впрах и на первых 10-ти верстах, и насилу-насилу доехал до первой станции, где мне надлежало переменять лошадей. Тут, отдохнув в доме у одного честнаго и добродушнаго амтмана, накормившаго меня досыта и напоившаго чаем и кофеем, выпросил я повозку хотя такую же, но сколько-нибудь получше и с довольным количеством соломы, могущей служить мне вместо постилки, и накрыв оную епанчами солдат моих, уселся, как на перине, и продолжал уже свой путь сколько-нибудь поспокойнее прежняго. Сих солдат послано было со мною 10 человек, при одном унтер-офицере, а казаков было 12 человек, и в инструкции предписано, что, в случае если не станет граф даваться или станут люди его отбивать, то могу я поступить военною рукою и употребить как холодное, так и огнестрельное оружие. Для показания же дороги и указания графскаго дома, и как самого его, так учителя и нескольких из его людей, которых мне вместе с ним забрать велено, послан был со мною и сам доноситель, и приказано было его столько же беречь, как и самого графа.

Итак, усажав солдат своих по разным телегам и приказав казакам своим ехать иным впереди, а другим позади, пустился я в путь и ехал всю ту ночь напролет и последующее утро, проезжая многие прусские городка и местечки и переменяя везде лошадей, где только мне угодно было, ибо дано мне было открытое и общее повеление всем прусским жителям, чтоб везде делано было мне вспоможение и по всем требованиям моим скорое и безотговорочное исполнение.

Наконец, около полудня сего другого дня, приехали мы в одно небольшое местечко или городок, ближайший к дому графскому, и как он жил от сего местечка не далее двух верст, то надлежало мне тут об нем распроедать, дома ли он, и буде нет, то где и в каком месте мне его найти можно? Как дело сие надлежало произвесть мне колико можно искуснее и так, чтобы никто в местечке о намерении моем не догадался и не мог бы ему дать знать, то принужден я был советовать о том с бездельником доносителем, который, будучи наряжен в солдатское платье, положен у

нас был в телегу и покрыт епанчами, чтоб его кто не увидел и не узнал. Сей присоветовал мне завернуть на часок в один из тамошних шинков, и самый тот, в котором останавливаются всегда графские люди, когда приезжают и приходят в местечко и где нередко они пьют и гуляют, и разговариваться в нем как-нибудь с хозяйкою о графе, ибо он не сомневался, чтоб ей не было о том известно, где находился тогда граф наш. Но как домик сей не такой был, где б останавливались проезжие, то сделался вопрос, какую б сыскать вероятную причину к остановке в самом оном, и сие должен был уже я выдумывать. Я и выдумал ее тотчас, несколько подумав. Разсудилось мне употребить небольшую ложь и хитрость, и в самое то время, когда поровняемся мы против того домика, велеть закричать сидевшему с извозчиком моему солдату, чтоб остановились, и взгореваться, что будто бы у нас испортилась повозка и надобно было ее неотменно починить, и все сие для того, чтоб, между тем покуда они станут ее будто бы чинить на улице, мог бы я зайти в сей дом и пробывать в оном несколько времени.

Как положено было, так и сделано. Не успели мы с сим домом, который нам проводник наш указал, поровняться, как и закричал солдат мой во все горло: «Стой! Стой! Стой! Колесо изломалось». Вмиг тогда я скакиваю с повозки и, засуетившимся солдатам своим приказав ее скорее чинить, вхожу в домик и попавшуюся мне в дверях хозяйку ласковейшим образом, по-немецки говоря, прошу дозволить мне пробывать в доме ее несколько минут, покуда солдаты мои починят испортившуюся повозку. «С превеликою охотою», – сказала она и повела меня к себе в покои, и будучи, по счастью, крайне словоохотна и любопытна, начала тотчас расспрашивать меня, откуда и куда я с солдатами своими еду. У меня приготовлена уже была выдуманная на сей случай целая история. Итак, я ну ей точить балы и городить турусу на колесах и рассказывать сущую и такую небылицу, что она, разиня рот, меня слушала и не могла всему довольно удивиться; а как спросила она меня, какого я чину и как прозываюсь, то назвал себя майором, а фамилию выдумал совсем немецкую в уверил ее тем действительно, что я был природою не русский, а немец, каковым и почла она меня с самага начала, потому, что я говорил по-немецки так хорошо, что трудно было узнать, что я русский. А как я при сем разговоре с нею употребил и ту хитрость, что не только употреблял возможнейшия к ней ласки, но и дал такой тон, что я хотя и в русской службе, но не очень русских долюбиваю, а более привержен к королю прусскому, то хозяйка

моя растаяла и сделалась так благоприятна ко мне, что стала даже спрашивать меня, не угодно ли мне чего покушать и что она с удовольствием постарается угостить меня, чем ее Бог послал. «Очень хорошо, моя голубушка, – сказал я, – и ты меня одолжишь тем, я не ел благо еще с самого вчерашняго вечера».

Вмиг тогда хозяйка моя побежала отыскивать мне масло, сыр, хлеб, холодное жареное и прочее, что у ней было, и накрывать скорее мне на столике скатерть; а я между тем, покуда она суетилась, с превеликим любопытством смотрел на невиданное мною до того зрелище, а именно, как делают булавки; ибо случилось так, что в самом сем доме была булавочная фабрика.

Севши же за стол, вступил я с подчивающею и угостить меня всячески старающеюся хозяйкою в дальнейшие разговоры. Я завел материю о тамошнем местечке, хвалил его положение, расспрашивал, как оно велико, чем жители наиболее питаются, и мало-помалу нечувствительно добрался до того, есть ли в близости вокруг его живущие дворяне, и кто б именно были они таковыя. Тогда велеречивая хозяйка моя и вылетела тотчас с именем милостивца и знакомца своего, графа *Гревена*, самого того, который мне был надобен и до котораго и старался я умышленно довести нечувствительно разговор наш.

Не успела она назвать его, как и возопил я, будто крайне обрадовавшись и удивившись. «Как! *Гревен!* Граф *Гревен* живет здесь и недалеко, ты говоришь?» – «Так точно, – сказала хозяйка, – и не будет до дома его и полумили». – «О, как я этому рад, – подхватил я, – скажу тебе, моя голубка, что этот человек мне очень знаком, и я его люблю и искренно почитаю. Года за два до сего имел я счастье с ним познакомиться, и он оказал еще мне такую благосклонность, которую я никогда не позабуду. Но скажи ж ты мне, моя голубка, где ж он и как поживает? Все ли он здоров и с милым семейством своим? Где ж он живет и не по дороге ли мне будет к нему заехать. Ах! как бы я желал с ним еще повидаться, с этим добрым и честным человеком! Как еще упрасивал он меня при последнем с ним разставаньи, чтоб заехал я к нему, если случится мне ехать когда-нибудь мимо его жилища!» Хозяйка моя сделалась еще ласковее и дружелюбнее ко мне, услышав, что знаю, люблю и почитаю я ея милостивца. Она начала превозносить его до небес похвалами, и, означая ту дорогу, по которой надлежало ему ехать и звание его деревни, присовокупила наконец, что

вряд ли он теперь дома. «Как? Да где же он?» – спросил я, будто крайне встужившись, и не знает ли она, куда он поехал? «Люди его, – сказала она мне, – бывшие у меня только перед вами, сказывали мне, что уже три дни, как его нет дома, и поехал в другую свою деревню, мили за четыре отсюда; и говорят еще, и что будто он там продает какую-то землю, или уже продал и поехал брать деньги». – «Ах! как мне этого жаль! – подхватил я. – Но не дома ли хоть хозяйюшка его?» – «Нет и ея, а говорят, что поехал он и с нею, а и самая барышня с ними, а дома один только старик учитель да маленькия дети». – «Экое, экое горе! – качая головою, сказал я, изъясляя мое будто бы сожаление, но которое я и действительно тогда имел, ибо было мне то крайне неприятно, что графа не было тогда в доме. – Но не сказывали ль тебе, голубка моя, люди сии, когда они ждут его обратно?» – «Они ждут возвращения его сегодня же и говорили еще, что какой-то к ним был оттуда приезжий и сказывал, что граф в сегодняшней день оттуда выедет». – «Сегодня же, – возопил я. – О если б я верно это знал, согласился б истинно даже ночевать здесь и подождать его приезда, так хотелось бы мне с ним видеться и обнять еще раз сего милаго человека; но такая беда, что и медлить мне долго не можно, а спешить надобно за моим делом. Но не знаешь ли ты, моя голубка, в которой стороне эта его другая деревня, не по дороге ли моей и не могу ли я с ним хоть повстречаться, как поеду?» – «Этого я уже не могу знать, – сказала она. – Слыхала я, что деревня сия где-то в этой стороне, а слыхнулось и то, что ездит он туда и оттуда двумя дорогами, иногда вот прямою тут и чрез клочек Польши, а иногда окладником на монастырь католицкий; итак, Богу известно, по которой он ныне поедет».

Сие последнее извещение было мне очень неприятно и привело меня в превеликое недоумение, что мне делать; я вышел тогда вон, будто для просмотра, все ли починено и хорошо ли, а в самом деле, чтоб поговорить и посоветовать с лежащим под епанчею и закутанным проводником моим. Я рассказал ему в скорости всю слышанную историю, и он, услышав ее, сам взгоревался и не знал, как нам поступить лучше. Чтоб на дороге его схватить, это казалось обоим нам для нас еще лучше и способнее, нежели в доме; но вопрос был, которую дорогу нам избрать и по которой ехать к нему навстречу. Обе ему были оне знакомы, и долго мы об этом думали; но наконец советовал он более ехать по той, которую называла хозяйка окладником и которая шла вся по землям прусским, а не чрез вогнувшую-

ся в сем месте углом Польшу, и была хотя далее, но лучше, спокойнее и полистее. Более всего советовал он избрать дорогу сию потому, что лежит на ней один католицкий кластер, или монастырь, и что граф всегда заезжает к тамошним монахам, которья ему великие друзья, и любит по несколько часов проводить с ними время и что не сомневается он, что и в сей раз граф к ним заедет.

Я последовал сему его совету и, решившись ехать по сей, распрощался с ласковою своею хозяйкою и, благодаря ее за угощение, просил ее, что если случится ей увидеть графа, то поклонилась бы она ему от меня и сказала, что мне очень хотелось с ним видеться; и пустился наудачу в путь сей.

Уже было тогда за полдни, как мы выехали из местечка и я не преминал сделать тотчас все нужные распоряжения к нападению и приказал всем солдатам зарядить ружья свои пулями, а казакам – свои винтовки.

День случился тогда прекрасный и самый длинный летний. Но не столько обезпокоивал меня жар, сколько смущало приближение самых критических минут времени. Неизвестность, что воспоследует и удастся ли мне с миром и тишиною выполнить свою комиссию, или дойдет дело до ссоры и явлений неприятных, озабочивало меня чрезвычайно, и чем далее подавались мы вперед, тем более смущалось мое сердце и обливалось как бы кровью.

Уже несколько часов ехали мы сим образом, переехали более 20-ти верст, и уже день начал приближаться к вечеру, но ничего не было видно и ни один человек с нами еще не встречался, и мы начинали уже было и отчаяваться; как вдруг, взъехав на один холм, увидели вдаль карету и за нею еще повозку, спускающуюся также с одного холма в обширный лог, между нами находящийся; я велел тотчас поглядеть своему проводнику, не узнает ли он кареты, – и как он с перваго взгляда ее узнал и сказал мне, что это действительно графская, то вострепетало тогда во мне сердце и сделалось такое стеснение в груди, что я едва мог перевести дыхание и сказать команде моей, чтоб она изготовилась и исполнила так, как от меня дано им было наставление. Не от трусости сие происходило, а от мыслей, что приближалась минута, в которую и моя собственная жизнь могла подвергнуться бедствию и опасности. Все таковыя господа, думал я тогда сам в себе, редко ездят, не имея при себе пары пистолет, заряженных пулями, и когда не больших, так, по крайней мере, карманных, и они есть верно и

у графа, и ну если он, испужавшись, увидя нас, его окружающих, вздумает обороняться и в первого меня бац из пистолета! Что ты тогда изволишь делать? Однако, положившись на власть Божескую и предав в произвол Его и сей случай, пустился я с командою моею смело навстречу к графу. Всех повозок было с нами три; итак, одной из них с несколькими солдатами и половиною казаков велел я ехать перед собою, а другой с прочими – позади себя и приказал, что как скоро телега моя поровняется против дверец кареты, то вдруг бы всем остановиться самим, и казакам рассыпаться и окружить карету и повозку со всех сторон.

Было то уже при закате почти самага солнца, как повстречались мы с каретою. Подкомандующие мои исполнили в точности все, что было им приказано, и не успел я поровняться с каретою, как в единый миг была она остановлена и сделалась окруженною со всех сторон солдатами и казаками. Я тотчас выскочил тогда из своей телеги и поступил совсем не так, как поступили б, быть может, иные. Другой, будучи на моем месте, похотел бы еще похрабриться и оказать не только мужество свое, но присовокупить к оному крик, грубости и жестокость; но я пошел иною дорогою и, не хотя без нужды зло к злу приумножать и увеличивать испугом и без того чувствительное огорчение, разсудил избрать путь кротчайший и от всякой жестокости удаленный. Я, сняв шляпу и подошед к карете и растворил дверцы у ней, поклонился и наивчтивейшим образом спросил у оцепеневшаго почти графа по-немецки: «С господином ли графом *Гревеном* имею я честь говорить?» – «Точно так!» – отвечал он, и более не в состоянии был ничего выговорить, а я, с видом сожаления продолжая, сказал: «Ах, государь мой, отпустите мне, что я должен объявить неприятное вам известие и, против хотения моего, исполнить порученную мне от начальства моего комиссию. Я именем императрицы, государыни моей, объявляю вам арест».

Теперь вообразите себе, любезный приятель, честное, кроткое, миролюбивое и добродетельное семейство, жившее до того в мире и в тишине и в совершенной безопасности в своей деревне, не знавшее за собою ничего худого, не ожидавшее себе нимало никакой беды и напасти, и ехавшее тогда в особливом удовольствии по причине проданной им весьма удачно одной отхожей и им не надобной земляной дачи, получившей за нее более, нежели чего она стоила и в нескольких тысячах талеров состоящую и тогда с ними тут в карете бывшую сумму денег, и занимавшееся тогда

о том едиными издевками, шутками и приятными между собою разговорами, представьте себе сами, каково им тогда было, когда вдруг, против чаяния и ожидания, увидели они себя и остановленными и окруженными вокруг вооруженными солдатами и казаками, и в какой близкой опасности находился действительно и сам я, подходя к карете. Граф признавался потом мне сам, что не успел он еще завидеть нас издалека, как возымел уже сомнение, не шайка ли это каких-нибудь недобрых людей, узнавших каким-нибудь образом о том, что он везет деньги, и не хотящая ли у него их отнять и погубить самого его, и потому достал и приготовил уже и пистолеты свои для обороны; а как скоро усмотрел казаков, останавливающих и окружающих его карету, то, сочтя нас действительно разбойниками, взвел даже и курок у своего пистолета и хотел по первому, кто к нему станет подходить, опустя окно, выстрелить и не иначе, как дорого продать жизнь свою; но усмотренная вдруг им моя вежливость и снисхождение так его поразило, что опустили у него руки, а упadaющая почти в обморок его графиня, власно как оживотворясь, от того так тем ободрилась, что, толкая и говоря ему: «Спрячь! спрячь! спрячь скорее!», сама мне помогать стала отворять дверцы, и что он едва успел между тем спрятать пистолет свой в ящик под собою.

Вот сколь много помогла мне моя учтивость и как хорошо не употреблять без нужды жестокости и грубости, а быть снисходительным и чело-веколюбивым.

Теперь, возвращаясь к продолжению моего повествования, скажу вам, что сколько сначала ни ободрило их мое снисхождение, но объявленный ему арест поразили их как громовым ударом. «Ах! Боже превеликий, – возопили они, всплеснув руками и вострепетав оба, и прошло более двух минут, прежде нежели мог граф выговорить и единое слово далее; наконец, собравшись сколько-нибудь с силами, сказал мне: Ах! господин офицер! Не знаете ли вы, за что на нас такой гнев от монархини вашей? Бога ради, скажите, ежели знаете, и пожалейте об нас бедных!» – «Сожалею ли я об вас или нет, – отвечал я ему, – это можете вы сами видеть, а хотя б вы не заметили, так видит то Всемогущий; но сказать того вам не могу, потому что истинно сам того не знаю, а мне велено только вас арестовать и...» – «И что еще? – подхватил он скоро. – Уж сказывайте скорей, ради Бога, всю величину несчастья нашего!» – «И привезть с собою в Кёнигсберг!» – отвечал я, пожав плечами. «Обоих нас с женою?» – подхватил он паки,

едва переводя дух свой. «Нет, – отвечал я, – до графини нет мне никакого дела, и вы можете, сударыня, быть с сей стороны спокойны, а мне надобны еще ваш учитель, да некоторые из людей ваших, о которых теперь же прошу мне сказать, где они находятся, чтоб я мог по тому принять мои меры». – «Ах, господин офицер! – отвечал он, услышав о именах их. – Они не все теперь в одном месте, и один из них оставлен мною в той деревне, из которой я теперь еду, а прочия с учителем в настоящем моем доме и в той деревне, куда я ехал и где имею всегдашнее мое жительство». – «Как же нам быть? – сказал я тогда. – Забрать мне надобно необходимо их всех, и как бы это сделать лучше и удобнее?» – «Эта деревня, – отвечал он, – несравненно ближе той, так не удобнее ли возвратиться нам, буде вам угодно, хоть на часок в сию, а оттуда уже проехать прямою дорогою в дом мой и там отдам я уже и сам вам всех их безпрекословно». – «Хорошо, государь мой!» – сказал я, и велел оборачивать карете назад, а сам, увидев, что карета у них была только двуместная и что самим им было в ней тесновато, потому что насупротив их сидела на откидной скамеечке дочь их, хотел было снисхождение и учтивство мое простерть далее и сесть в проклятую свою и крайне безпокойную фуру; однако они уже сами до того меня не допустили. «Нет, нет, господин поручик, – сказали они мне, – не лучше ли вместе с нами, а то в фуру вам уже слишком безпокойно». – «Да не утесню ли я вас?» – отвечал я. «Нет! – сказали они. – Места довольно будет и для вас, дочь наша подвинется вот сюда, и вы еще усядетесь здесь». – «Очень хорошо», – сказал я и рад был тому и тем паче, что мне и предписано было не спускать графа с глаз своих и не давать ему без себя ни с кем разговаривать.

Таким образом, усевшись кое-как в карете с ними, поехали мы обратно в ту деревню, откуда он ехал. И тогда-то имел я случай видеть наитрогательнейшее зрелище, какое только вообразить себе можно. Оба они, как граф так и графиня, были еще люди не старые и, как видно, жили между собою согласно и друг друга любили искренно и как должно; и как оба они считали себя совершенно ни в чем не виноватыми, то, обливаясь оба слезами, спрашивали друг друга, и муж у жены, не знает ли она какой несчастью их причины и чего-нибудь за собою, а она о том же спрашивала у мужа и заклинала его сказать себе, буде он что знает за собою, и он клялся ей всеми клятвами на свете, что ничего такого не знает и не помнит, за что б мог заслужить такое несчастье. А как самое несчастье воображалось им

во всей величине своей, то оба погружались они не только в глубочайшую печаль, но и самое отчаяние. Несколько времени смотрел я только на них и на обливающуюся слезами и молчащую дочь их, девочку лет двенадцати или тринадцати, и, сожалея об них, молчал; но наконец, как они мне уже слишком жалки стали, то стал я их возможным образом утешать и уговаривать, и употреблял на вспоможение себе всю свою философию. Сперва не хотели было они нимало внимать словам моим, но как увидели, что я говорил им с основанием и всего более старался убедить их к возвращению печали своей на Господа и к восприятию на Него надежды и упования, могущаго не только уменьшить несчастье их, котораго существо всем нам было еще не известно, но и совершенно их избавить, и уверять их, что Он и сделает то, а особливо если они ни в чем не виновны; то влил я тем власно как некакой живительный бальзам в их сердце и вперил в них о себе еще несравненно лучшее мнение, нежели какое они сначала восприяли. Со всем тем имея о всех наших русских как-то предосудительное мнение, чуть было не покусились они соблазнять меня деньгами и отведать подкупить и склонить к тому, чтоб я им дал способ скрыться в соседственную Польшу. О сем намекали они уже друг другу, говоря между собою по-французски и думая, что я сего языка не разумею, и вознамерились было уже пожертвовать хоть целою тысячею талеров, если дело пойдет на лад и я на то соглашаться и особливо побуждало их к тому и то, что и деньги у них были к тому готовы и вместе с ними в карете; но я при первом, заикнувшемся мне издалека слове, тотчас сказал им, чтоб они о том пожаловали и не помышляли и что видят они пред собою честнаго и такого человека, который ни на что чести своей не променяет и не польстится ни на какия тысячи, хотя бы их в тот же час получить было можно. Таковое безкорыстие не только их удивило, но и вперило их ко мне множайше почтение и такую доверенность, что они не усумнились признаться мне, что находятся с ними в карете многия тысячи; а при сем самом случае граф и признавался мне в том, как почел было нас разбойниками и хотел меня застрелить и, чтоб в истине слов своих меня удостоверить и приобрести более себе доверия, то достал даже и самый спрятанный пистолет, и выстрелив из обоих их с дозволения моего на воздух, хотел было, для напоминания о сем случае, меня подарить оными, но я и от сего подарка учтиво отказался.

В сих беседах доехали мы до того католицкаго монастыря, в который он действительно тогда заезжал и мимо ворот котораго надлежа-

ло нам тогда ехать. Тут из опасения, чтоб не мог граф каким-нибудь образом у меня ускользнуть в оный и из котораго мне трудно б было его уже получить, велел я казакам ехать поближе к карете и окружить оную, но тем несколько пообиделись уже и мои арестанты. «Ах! господин поручик, – говорил мне граф, – пожалуйста, в разсуждение нас ничего не опасайтесь. Когда мы при всем несчастьи своем утешены, по крайней мере, тем счастьем, что находим в вас такого честнаго, благороднаго, разумнаго и великодушнаго человека, то не похотим никогда сами, чтоб вы за нас претерпели какое зло и могли подвергнуться какому-нибудь бедствию; сохрани нас от того Боже! Несчастье наше произошло не от вас, а как мы не сомневаемся, по воле Божеской: так Его воля и будь с нами; но вам на что же за нас несчастным быть? Нет, нет! сего не хотим и не похотим мы сами». Я благодарил их за сие, но присовокупил, что был бы еще довольнее, если б мог получить от них уверительное слово, что и в обеих деревнях их не будет делано ни малейшаго шума и препятствия мне в исполнении всего того, что мне от начальства приказано; в противном случае, было б вам известно, присовокупил я, что отдана в волю мою, не только что иное, но даже и самая жизнь ваша. А сверх того, вот прочтите сами данное мне открытое повеление всем прусским жителям и начальствам, по силе котораго могу я везде и от всех получить вспомошествование, если б и команда моя оказалась недостаточна. «Сохрани нас от того Господи! – возопили они. – Чтоб нужда дошла до такой крайности, но мы вам даем не только честное слово, что ни малейшаго нигде не будет шума и препятствия, но утверждаем слово свое и всеми клятвами в свете».

Они и сдержали действительно слово и я не только обезпечен был совершенно с сей стороны, но имел удовольствие видеть их обходящихся со мною, как бы с каким-нибудь ближним родственником. Но я возвращусь к продолжению моей истории.

К помянутой деревне его доехали мы не прежде как уже в сумерки и, не въезжая в оную, остановились у тамошняго приходскаго священника или пастора, старика добраго и набожнаго, постаравшагося нас всячески угостить и накормившаго нас хорошим ужином, а между тем посылал граф в деревню свою за человеком, мне надобным, котораго и привезли ко мне тотчас. Мы набили на него превеликия колодки и, поужинав, тотчас пустились опять в путь и, для скорейшаго переезда, прямо уже чрез оный вдавшийся в Пруссию узкий угол Польши. Мы ехали во всю ночь напро-

лет и ночь сия была мне крайне мучительная; ибо как передняя скамеечка, на которой я сидел с их дочерью, была узенькая и низковата и мне ног никуда протянуть было не можно, то сиденье для меня было самое безпокойное и мучительное, и я во всю ночь не смыкал глаз с глазом и только что посматривал на казаков, окружающих верхами карету нашу.

Мы приехали в настоящий дом его не прежде, как уже гораздо ободняло, и граф повел меня прямо в то место, где был учитель. Мы застали добраго и честнаго старика сего еще спящим и граф, разбудивая его, сказал: «Вставай-ка, мой друг! Небу угодно было, чтоб постигло нас обоих с тобою несчастье, чуть ли нам с тобою не побывать в Сибири!» Я не мог тогда довольно надивиться твердодушию старика того. Не заметил я ни в виде его ни малейшей перемены, ни ужаса и в словах смущения, а, сказав только: «Ну, что-ж! Его святая воля и буди с нами», и начал тотчас с столь спокойным духом одеваться, как бы ничего не произошло и не бывало. Со всем тем удивился я тому, что граф упомянул при сем случае о Сибири и потребовал от него в том объяснения. «Ах! господин, поручик! – сказал он. – Теперь не сомневаюсь я почти, чтоб не побывать мне в Сибири самой. Мнимый и больным называющийся солдат ваш в фуре как ни скрывался под епанчею, но люди мои узнали в нем своего прежняго сотоварища, ушедшаго от меня за несколько дней до сего времени и величайшаго плута и бездельника. И как теперь мы ясно видим, что все несчастье наше терпим от него и верно не кто иной, как он налгал на нас по злобе какою-нибудь небылицу, то, ведая ваши строгие в сем случае законы и предчувствую, что повезут нас в Петербург в вашу тайную канцелярию, а оттуда боюсь, чтоб не сослали нас и в Сибирь. Жена моя с ума теперь сходит, узнав о сем бездельнике и почитает меня уже совсем погибшим; не можно ли вам, господин поручик, ее сколько-нибудь уговорить и утешить?» – «С превеликим удовольствием», – сказал я и побежал тотчас в ея покой и, нашед ее плачущую навзрыд над малолетними детьми своими и называющею их бедными уже и несчастными сиротами, так печальною сценою сею растрогался, что, утирая собственныя слезы, из глаз моих поневоле текущая, начал говорить ей все, что только мог придумать к ея утешению, и как их всего более утешала Сибирь и она за верное почти полагала, что мужа ей своего навеки более не видать и что он погибнет невозвратно, то клялся и божился я ей, что она напрасно так много тревожится и предастся отчаянию и уверял обоих их свято, что буде действительно не знают

они за собою никакого важнаго преступления, например действительнаго умысла против государыни или измены настоящей, то не опасались бы нимало ссылки в Сибирь.

«Правда, – говорил я далее, – от посылки в Петербург, не уповаю я, чтоб могли они избавиться; но дело в том только и состоять будет, что они побывают в Петербурге. Поверьте мне, как честному и никак вас не обманывающему человеку, что и там люди, имеющие сердца человеческия, а не варвары, и не всех определяют в ссылку в Сибирь, на кого от бездельников таких, каков ваш бывший слуга, бывают доносы; и как опытность доказала, что из тысячи таких доносов бывает разве один только справедливый, то и оканчивается более тем, что их же, канальев, пересекут и накажут, а обвиняемые освобождаются без малейшаго наказания; а то же, помяните меня, воспоследует, сударыня, и с вашим сожителем».

Сими словами утешил и ободрил я несколько удрученную неизобразимую горестию графиню, а чтоб и более ее подкрепить, то, взяв ее за руку и шутя продолжал: «Полно, сударыня, полно прежде времени так сокрушаться, а подите-ка лучше напойте нас чаем или кофеем, да прикажите скорее нам что-нибудь позавтракать изготовить, да не худо бы и на дорогу снабдить нас каким-нибудь пирогом и куском мяса. Ступайте-ка, сударыня, и попроворьте всем этим; мне ведь долго здесь медлить не можно: и так я, из снисхождения к вам, промедлил долее, нежели сколько мне надлежало». Сие побудило их всех просить меня убедительнейшим образом, чтоб помедлить еще часа два или три времени, дабы успеть можно было собрать графа в такой дальний путь и снабдить всем нужнейшим, а я под условием, чтоб графиня более не плакала, охотно на то и согласился.

Она и действительно, ободрясь тем, стала всем проворить так хорошо, что вмиг подали нам и чай и кофей, а часа чрез два потом изготовлен был уже не только завтрак, но и обед полный, а сверх того, успела она и напечь и нажарить и напряжить всякой всячины нам на дорогу, а не позабыта была и вся моя команда, но накормлена и напоена досыта.

Наконец настала минута, в которую надлежало графу разставаться с домом, имением, с милою и любезною женою и со всеми малолетними детьми и разставаться когда не навек, так, по крайней мере, на неизвестное время. Каково разставание сие было, того описать никак я не могу, а довольно, когда скажу, что было оно наичувствительнейшее и могущее растрогать и самага твердодушнейшаго человека. Весь дом собрался для

провождения графа: все, от мала до велика, любили его как отца; все жале-ли об нем и прощались с ним, обливающимся слезами; что ж касается до графини, то была она вне себя и в таком состоянии, что я без жалости на ее смотреть не мог. Но всего для меня чувствительнее было, когда начал граф прощаться с детьми своими и, как ненадеющийся более их видеть, благословлять их и целовать в последний раз.

Езда наша была довольно успешна, спокойна и даже весела для нас. Мы ехали все вместе: я, граф и учитель в графской, весьма спокойной од-ноколке на четырех колесах, и не успела первая горесть сколько-нибудь поутолиться, как и вступили мы в разговоры о разных материях. И как старик учитель был весьма добраго, веселаго и шутливаго характера, то и умел он разговорам нашим придавать такую живость и издевками своими так успокоить и развеселить графа, а меня даже хохотать иногда заста-вить, что казалось будто едем мы все не иначе как в гости; но веселость сия продлилась только до того времени, как приехали мы в Кёнигсберг, ибо тут подхватили их тотчас от меня и чрез несколько часов повезли их на почтовых в Петербург, карауля их с обнаженными шпагами.

Губернатор был очень доволен исправным выполнением его повеле-ния и благодарил меня за то; а как восхотел от меня слышать все подроб-ности моего путешествия, то расхвалил меня впрах, что я поступил так, а не иначе, и я так повествованием моим его разжалобил, что он сам стал искренно сожалеть о графе и желать ему благополучнаго возвращения.

Сие, к общему нашему удовольствию, и воспоследовало действитель-но, и он возвратился к нам в ту же еще осень, не претерпев ни малейшаго себе наказания в Петербурге и я проводил его из Кёнигсберга с радостны-ми слезами на глазах. При разставаньи с ним я имел удовольствие видеть его благодарящаго меня, со слезами на глазах за все мои к нему ласки и оказанное снисхождение и уверяющаго с клятвою, что он дружбы и благо-склонности моей к себе по гроб не позабудет и что все его семейство обя-зано мне безконечною благодарностию. Сим-то окончилось сие происше-ствие. Других же, подобных тому, не было во все лето; почему и остается мне теперь заменить сей недостаток кратким повествованием о главней-ших происшествиях войны нашей в сие лето; но сие учиню не прежде как в последующем письме, поелику сие и без того уже слишком увеличилось, а между тем остаюсь, сказав вам, что я есмь ваш и прочая.

ИСТОРИЯ ВОЙНЫ 1761 ГОДА

Письмо 88-е

Любезный приятель!

Между тем как у нас все упомянутое в последних моих письмах в Пруссии и в Кёнигсберге происходило, в Европе продолжалась по-прежнему война, и кровь человеческая проливалась по-пустому. Лето сего 1761-го года было хотя и не так кровопролитно, как в предследующие годы, и не было хотя во все продолжение онаго ни одной генеральной и большой баталии, однако несмотря на то, на многих небольших сражениях и стычках, также при осадах некоторых городов, народа погублено великое множество, а в числе онаго легло много и русских голов в землях чуждых и иноплеменных и, к сожалению, без малейшей пользы для любезнаго отечества нашего. И как в войне сего года имели и мы великое соучастие, то и расскажу вам, хотя вкратце, историю войны сей в сие лето.

Кровопролитная война сия, продолжавшаяся уже столько лет сряду, всем воюющим народам так наскутила, что все они уже вожделили мира; но не такого расположения были их обладатели. Один только прусский король, доведенный всеми прежними кампаниями до великаго изнеможения, охотно уже желал мира, но желал его без всяких с своей стороны жертвований. Цесарева была так еще напыщена тогда, что недовольна бы еще была и возвращением ей Шлезии, буде бы не удалось ей притом достигь главной своей цели и унижить короля прусскаго в класс маленьких князей. Наша императрица уже нарочито утолила свой гнев на короля и не отеклась бы войну окончить, но как Пруссию почитала она власно как свою провинцию, а добровольной уступки оной ожидать было не можно, то и нужно доставать ее было нечем иным, как продолжением войны. Шведам и шведскому двору война с Пруссией с самага начала была ненавистна, но бразды правления были все еще в руках государственнаго совета, повинующагося повелениям французскаго двора, французский же народ более всех вожделил окончания такой войны, которая изнурила государство их и деньгами и людьми, была совсем противна интересам государственным, начата по фантазии, а по корыстолюбию и для частных интересов министров и королевских любовниц была продолжаема; война, которая покрывала их только стыдом и безчестием и которая, и в

случае самого лучшего успеха, не обещала никакой для французского народа пользы.

По всем сим обстоятельствам уже начинали кой-где заговаривать о мире и назначаем был город *Аугсбург* для конгресса, и уже предлагаем был от короля прусского и прожект к оному, и он, желая получить себе Саксонию, уже вознамеривался разстаться и с Пруссиею и со всеми своими Вестфальскими провинциями; однако все сие не состоялось и война должна была продолжаться по-прежнему.

Всходствие чего и деланы были всеми воюющими державами опять, в продолжение зимы, все нужные приготовления к наступающей новой кампании и вымышляемы были разные прожекты и планы как кому воевать и что предпринимать в то лето; и как главнейшую ролю во всей этой войне играла цесарева и у ней было все еще на уме и главнейшею целью завоевание Шлезии, то сообразно с тем расположен был так и план всем военным действиям и назначено было, чтоб быть главным действиям тут и паки совокупными силами, чтоб опять всячески стараться соединить нашу армию с цесарскою и совокупно напасть единожды на короля прусского и, победив, выгнать его совсем из Шлезии и овладеть оною. А чтоб надежнее мог быть в том успех, то и назначен был в сей раз командиром цесарской армии не прежний граф *Даун*, котораго медленностию и неповоротливостию были недовольны, а деятельный и прямо неутомимый и расторопный генерал *Лаудон*. *Дауну* же велено, соединившись с имперскими войсками, защищать Саксонию, между тем как в *Вестфалии* и ганноверских местах против союзников действовали обе французския армии под командою принца *Субиза* и *Броглио*. Наконец, чтоб сделать еще более прусским войскам развлечения, то положено, чтоб мы отделили от своей армии сильный корпус в Померанию и еще бы раз испытали осадить город *Кольберг*, употребив уже к тому при вспоможении нашего и шведскаго флота гораздо множайшия силы и старались бы как можно овладеть оным, а с ним вместе и всею Помераниею.

Вот какой план сделан был с стороны нашей и цесарской; что ж касается до короля прусского, то сей, потеряв весьма много чрез смерть короля английского, наилучшаго своего союзника, и не получая уже более от англичан помощных денег и растеряв почти всех своих генералов и старых солдат, принужден был принимать другия меры и, вместо прежней наступательной войны, вести в сей год более оборонительную и, по

малолюдству своему, убегать колико можно генеральных баталий. И как ему все планы и сокровенныя намерения неприятелей его были известны, то он, сообразуясь с ними, и разделил войска свои так, чтоб везде можно было ему сделать не только сильный отпор, но в намерениях неприятелей своих повсюду и препоны и помешательства, Итак, против французов отправил он родственников своих, принца *Фердинанда* и наследнаго принца *Брауншвейгскаго*, обоих великих полководцев и героев, и поручил им с маленькою их союзною армиею занимать французов и всячески стараться их вытеснить из ганноверанских, вестфальских и гессен-кассельских земель; против *Дауна* поставил он брата своего принца *Гейнриха* с нарочитою армиею. Померанию прикрывать и защищать от нас Кольберг поручил он родственнику своему принцу *Евгению* Виртембергскому и некоторым другим генералам с небольшим корпусом; движения же нашей главной армии примечать, и в походе возможнейшия делать остановки и помешательства поручил наилучшим своим генералам, а сам с наилучшею частию своего войска вознамерился быть против *Лаудона* и употребить все силы и возможности к тому, чтоб не допустить его соединиться с нами и напасть на него совокупными силами и положил, в первый еще раз, убегать колико можно в сие лето генеральнаго сражения, которое выиграть он, по мало-силию своему, никак уже не надеялся.

Итак, всходствие сего плана, не успела весна начаться, как родственники его, принц *Фердинанд* и принц *Брауншвейгский* и открыли кампанию, и для лучшаго успеха очень рано, и даже еще в феврале. И как французы всего меньше толь ранняго начатия военных действий ожидали, то союзникам и удалось их далеко оттеснить и, принудив оставить многия захваченныя ими места, податься назад до самаго города *Касселя*; но, в сем городе засев, удержали они, наконец, стремление пруссаков и ганноверанцев, имели с ними несколько сражений, но не весьма знаменитых, с неординаковым счастием. Иногда побивали союзники их, а иногда получали они выгоды над ними, и война сия продолжалась у них во все лето и кончилась почти ни на чем, чему всему причиною было наиболее несогласие и вражда между собою обоих французских полководцев.

Что касается до нашей армии, то она не так была поспешна, но новый ея предводитель г. *Бутурлин*, хотя тронулся с места и несколько ранее против прошлогодняго, однако не прежде как в июне, дождавшись подножнаго корма; но прежде выступления своего в поход отделил он от себя

корпус в 27-ми тысячах состоящий и, поручив оный графу *Румянцеву*, отправил оный в Померанию для третичной осады города *Кольберга*.

Армия наша пошла четырьмя дивизиями по-прежнему в Польшу и в *Познань*, где заготовлены были для нея по-прежнему главные и большие магазины. Первая дивизия была под командою *Фермора* и шла на *Сироков*, вторая, предводимая князем *Голицыным*, – на *Познань*, третью вел князь *Долгоруков*, а четвертая составляла резервный корпус и поручена была в команду графу *Чернышову*.

По довольно медленном походе прибыл наконец сам генерал-фельдмаршал 13-го июня в *Познань* со всем своим генеральным штабом, а князь *Голицын*, со второю дивизиею перешел уже между тем реку *Варту* и там расположился лагерем. В *Познани* было обыкновенное рандеву или сборище всей армии, и тут простоял г. *Бутурлин* около двух недель и проводил сие время, с одной стороны, в сборах и в распоряжениях – как иттить далее и обороняться против делающих нам повсюду помешательство в походе пруссаков. Сии в числе 12 000 стояли под командою генерала *Гольца* при *Глогау*, и король, усилив его еще девятыю тысячами, прислал повеление затруднять всеми образами наше шествие и нападать везде на отделенные наши корпуса. Но как сей генерал их скоропостижно умер, то принял команду над ними славный их наездник генерал *Цитен* и тотчас вошел в Польшу. Самое сие и побудило нашу армию соединиться скорее вместе и принять к дальнейшему шествию лучшие уже меры.

Другое дело, сделанное господином *Бутурлиным* в *Познани*, было неожиданное никем арестование главнаго нашего наездника генерала-майора *Тотлебена* и отправление его как некоего злодея и преступника в *Петербург*. Известие сие поразило и армию всю и нас всех в *Пруссии* неописанным удивлением. Я уже упоминал прежде, что генерал сей делался было у нас очень славным, командовал всеми легкими войсками и все войско его любило и полагало на него великую надежду. Никто тогда не знал тому причины, но после сделалось известно, что пострадал он и пострадал дельно за слишком уже снисходительные свои поступки в минувшем году к *берлинским* жителям при взятии им сего города. А носилась молва, что открыты были за ним и другия пакости; но как бы то ни было, но он был как злодей арестован, и команда над легкими войсками поручена генералу-майору *Берху*.

Сколько известие сие было для нас поразительно, столько досадно было слышать о главном командире всей нашей и драться с королем прусским идущей армии, господине *Бутурлине*, что он не отставал от прежней своей дурной, гнусной и всего меньше предводителю такой великой армии приличной привычки. Как прежний с ума сходил на псовой охоте и зайцах, так сей никак не мог и во время важнаго похода сего отвыкнуть от частаго и непрерывнаго почти куликанья. То и дело привозились к нам о сем вести и, с одной стороны, смешные. а с другой – найдосаднейшие анекдоты. Ибо генерал сей при сих куликаньях своих делал безчисленные глупости и нередко просиживал целыя ночи в кружку с гренадерами, заставляя их с собою пить, петь песни и орать, и полюбившихся ему жаловал прямо в офицеры и даже в майоры, а проспавшись, прашивал их просьбою сложить с себя чины и сделаться опять тем же, чем были. В сих-то и подобных тому делах упражнялся он, между тем как король прусский, которому все сие было известно, стоячи с армиею своею в Шлезии вымышлял все средства к недопущению нас соединиться с цесарскою армиею и Лаудоном, который, получив тогда впервые еще главную над цесарскою армиею команду, бесился и досадовал на нас, что мы так долго мешкали и шли медленно: ибо как ему именно от двора своего запрещено было вступать с пруссаками прежде прибытия нашего в дело, а приказано всячески убегать сражения, то, по самому тому, и принужден он был на другом краю Шлезии в горах стоять целых два месяца по-пустому и упускать наилучшее время и удобнейший случай к нападению на короля пруссакаго.

Наконец, 27-го июня тронулся г. *Бутурлин* из Познани, и армия наша потянулась вдоль подле Шлезии к столичному шлезскому городу *Бреславлю*. Шествие сие было также очень медленное и затрудняемое повсюду пруссаками, почему и пришла армия к Бреславлю не прежде как 4-го августа, между которым временем спешил и *Лаудон* с цесарскою армиею иттить к нам навстречу. Что ж касается до короля пруссакаго, то сей учинил в сие время невероятное и почти совсем невозможное дело, ибо выступив из того места, где стоял со всею соединенною вместе своею армиею и многочисленною артиллериею, которой одной, кроме полковых пушек, было до 130 тяжелых орудий, пошел форсированными маршами и с такою скоростью в сторону к нам, что в немногия дни перешел множество миль и самым тем перехватил нашей армии путь и не допустил нас до столь скорога соединения с цесарцами, как того мы с обеих сторон желали.

К сему, сделанному королем прусским совсем нами неожиданным помешательству, много помогло и то, что мы, не думая нимало осаждать город Бреславль, да и будучи к тому не в состоянии, а став подле онаго, промедлили тут несколько дней и занимались, сами не зная для чего, деланием батарей и стрельянием по городу из пушек и гаубиц, также раздаванием солдатам привезенных в армию около сего времени серебряных медалей за победу над пруссаками при городе *Франкфурте*.

Как королю прусскому помянутым образом удалось перехватить нам путь и затруднить даже самую переправу чрез реку *Одер*, то принуждено было как с нашей, так и с цесарской стороны, предпринимать разные окружные марши и контрмарши для желаемого соединения, и *Лаудон* с своей стороны толико был в сем случае расторопен и рачителен, что чрез несколько дней нашел средство, оставив армию свою, и с одною только своею в 50-ти эскадронах состоящую конницу, прискакать к нашей армии для подкрепления оной и с тем, чтоб убедить нас тотчас напасть на короля прусскаго и дать с ним баталию. Но все его труды остались тщетны: мы никак не согласились драться одни без его пехоты и он принужден был ехать опять назад к своей армии, ничего не сделав. Наконец, по сделанным еще разным маршам и контрмаршам, 12-го августа воспоследовало при местечке *Стригау* толь давно вожделенное и четыре уже года искомое соединение цесарской армии с нашею, и как у нашей был уже недостаток в провианте, то *Лаудон* тотчас и снабдил ее оным, – но что ж воспоследовало далее?

Как чрез соединение сие сила наша сделалась уже несравненно уже превосходнее короля прусскаго, ибо одна и наша армия состояла более, нежели в 60-ти тысячах, а цесарская в 72-х тысячах, а у короля и всего было не более 50-ти тысяч человек в его армии, то он, сделавшись слишком против нас слаб, отошел тотчас назад и расположился подле самага славнаго и крепкаго своего города *Швейдница* лагерем. Наши же армии тотчас последовали за ним и окружили его полуциркулем так, что у него остался один только тыл на свободе, а чрез то и приведен он был в критическое и столь дурное положение, в каковом он не бывал еще никогда во все продолжение войны сей. Любимая его охота была давать сражения, но в сей раз и при такой несоразмерности в силах, было бы то для его сушая дерзость и неблагоразумие, ибо и самая победа не инако могла б быть куплена, как слишком дорогою ценою, а притом, в разсуждении столь многочисленных

неприятельских армиях и мало бы принесла ему пользы; напротив того, потеряние баталии произвело бы страшныя и бедственнейшия для его последствия. В сей крайности находясь и, не долго думая, решился он как можно избежать сражения, и для лучшаго в том успеха приступить к тому, к чему он никогда не приступал и о чем никогда и говорено не было, а именно к окопанию всего лагеря своего шанцами и к превращению всего онаго в некоторый род крепости непреодолимой. Великое предприятие сие и начал он производить, нимало не медля, и употребил к тому самое то драгоценное время, покуда предводители обеих наших армий между собою строили чины, сзывали военные советы, сумневались и делали планы и распоряжения, как им атаковать лучше короля в его лагере. Ибо как *Лаудон* получил уже от монархини своей разрешение на все и ему предано было на волю – давать ли баталию или оной убежать, то и хотел он непременно, и нимало не медля, атаковать короля, к чему сначала склонен был и наш господин *Бутурлин*; но как надобен был к тому план, и сей, по причине не согласных и противоположных мнений и разных между нашими и австрийскими войсками политических и военных оснований, неодинаковых военных обыкновений, многих сумнительств и многоразличных потребностей, никак не мог в одни сутки сделан и все нужныя распоряжения к тому учинены быть, то чрез самую сию медленность и упущено было, так сказать, золотое и удобнейшее к атакованию короля время; а сей, употребив невероятную поспешность и заставив денно и ночью работать всю свою армию – так что всегда одна половина оной работала, а другая отдыхала – и успел в самое короткое время не только весь свой лагерь обрыть преглубоким и прешироким рвом и высоким валом, но все линии связать шанцами и редутами, укрепить лагерь свой двадцатью четырьмя большими батареями, пред линиями поставить где рогатки, где полисадники, а пред ним прорыть в три ряда волчьи ямы, где ж был лес, там поделать засеки и установить егерями; случившиеся же посреди лагеря четыре холма превратить в сущие бастионы, а бывшую на левом крыле гору, сделать почти настоящею цитаделью. Словом, повсюду видны были только батареи, и всякая из них снабдена была еще особаго рода двумя ямами, наполненными порохом и гранатами, которыя проведенными от них кишками с порохом можно было издалека зажигать. Сверх того, велел король для батарей своих привезть из города некоторое число больших пушек, так что всех их разставлено было 460 орудий, а притом сделано 182 подкопа

и все сие расположено было более на высотах, до которых и без того, за множеством речек, топких ручьев и вязких лугов, дойти было трудно.

Все сие огромное дело, расположенное и производимое с величайшим рассмотрением, по правилам строгой тактики и сделавшееся удивительным, образцовым и примерным, начато и окончено пруссаками в течение трех суток; так что предводители обеих наших армий, согласившись между тем о нападении на короля и обо всем условившись и уговорившись и хотев начинать уже дело, вдруг, вместо лагеря пруссакого, увидели пред собою целый ряд крепостей, произведенных власно как некаким волшебством, и как для атакования сих и приступания к оным потребны были совсем иныя и новыя меры и планы, и при делании оных являлись от часу множайшия трудности: то на державном о том в нашем российском лагере большом военном совете, при котором присутствовал и *Лаудон*, предводитель наш господин *Бутурлин* прямо объявил, что он не хочет с армиею своею ни на что отважиться, а если дойдет между цесарцами и пруссаками дело до атаки, то он отделит от своей армии корпус войск к ним на подкрепление. А и в самом деле атакование тогдашняго пруссакого лагеря была б самая дерзость, ибо надлежало пролить наперед целыя реки крови, покуда бы дошло дело до ручной схватки за линиями внутри лагеря, и дело сие таково было, что и самые мужественные воины трепетали от единого помышления о том.

Со всем тем *Лаудону* непременно хотелось на сей великий опыт отважиться, и тем паче, что как бы урон ни велик мог при том быть, но победа сделалась бы решительною для всей войны тогдашней и произвела бы вождеденнейшия действия; в случае ж неудачи не могло произойти важных и вредных последствий; и потому и употреблял он наивозможнейшия старания к преклонению г. *Бутурлина* к сему отважному предприятию, но сей, для многих и разных причин и обстоятельств, не хотел никак на то склониться, но держался крепко сказаннаго единожды слова, что он не хочет ни на что отважиться.

Между тем как таковыя совещания и уговаривания происходили и несколько дней длились, был король прусский в ежечасной готовности к сражению. Днем, когда можно было все наши движения видеть, солдаты его должны были отдыхать, а как скоро наступали сумерки, то сниманы были все палатки, и весь армейский обоз отсылался под пушки крепости *Швейдница* и все полки становились позадь валов, в ружье, и так вся пе-

хота, конница и артиллерия в каждую ночь стояла в ордер-баталии. Сам король находился всегда на главной батарее, где становилась для него маленькая палатка; но и его собственный обоз на всякую ночь отвозился прочь, а поутру опять привозился, и войска, не прежде как по восхождению уже солнца, клали ружье и разбивали опять лагерь. Кроме сего, терпела армия очень много от ужасных жаров, в самое то время бывших, и от оскудения, кроме хлеба, во всех прочих съестных припасах. Во всей армии не было почти ничего мяса и другой провизии, и солдаты наскучили уже до чрезвычайности есть один хлеб с водою; а сверх того, измучились все и от бессонницы и неудовольствие в армии было всеобщее, так что если б не удерживали валы и окопы, то верно бы она разбежалась наполовину.

Но как самое сие обстоятельство, что не могло быть из прусской армии дезертиров, чрез которых можно б было узнать о происходившем в лагере у пруссаков, и увеличивало нерешимость наших предводителей, то и стояли они несколько дней без всякаго дела и поедали тщетно провиант, в котором начинал уже являться недостаток, а король прусский и ожидал тогда спасения себе всего более от голода. Сам же с сей стороны был совершенно обезпечен, потому что в *Швейднице* были у него запасы огромные магазины провианта и фуража; а о наших армиях он не сомневался, что им скоро есть будет нечего, потому что все окрестности так уже были очищены, что шефель, или пол-осмина ржи, покупался по 15-ти талеров, да и тому были рады. Нашей армии оскудение сие сделалось прежде всех чувствительно: к тому ж, король постарался нужду нашу еще больше увеличить и ввергнуть предводителя нашего в превеликую заботу и опасение. Он отправил генерала *Платена* с 7000 человек к нам в тыл. Сей генерал, врезавшись в Польшу, нашел при Гостине наш вагенбург, окопанный ретраншаментом и прикрытый 4000 человек. Он напал на оный и, вломившись в него, не учинив ни одного выстрела, а на штыках, и овладев оным, побил все прикрытие, взял до 2000 человек в полон, сожег все фуры и повозки, коих число простиралось до 5000, разорил у нас три больших магазина и угрожал даже разорением самого главнаго в Познани, а все сие и побудило фельдмаршала нашего, г. *Бутурлина*, иттить скорее назад, чтоб не погубить всей армии своей голодом.

Итак, препроводив целых 20 дней в делании и переделывании планов и паки отметании оных, выходявши два раза вместе с царцами из лагеря для действительнаго уже нападения на пруссаков и ничего не сделав,

возвращаясь опять в лагерь, оставлены были им наконец все замыслы и намерения, отобраны назад все розданные уже диспозиции, и г. *Бутурлин* наш, оставив при цесарцах графа *Чернышова*, с корпусом в 20-ти тысячах состоящим, сам со всею достальною нашею армиею отошел от цесарцев и пошел назад в *Польшу* и в те места, откуда он в поход свой отправился.

Известие об отшествии нашей армии произвело торжество и радость в прусском лагере. Все радовались и торжествовали, как бы получив какую-нибудь преславную победу. И хотя *Лаудонова* армия, с оставленным при оной российским корпусом, была почти вдвое сильнее еще королевской, однако они вдруг перестали принимать прежния меры к обороне. Они не стали уже по вечерам снимать лагерь, не стали отправлять назад обозов и не стали уже более по ночам становиться во фронт, а большия пушки отвезены были назад в *Швейдниц*; из ям порох, гранаты и бомбы повывраты, волчьи ямы засыпаны, рогатки сожжены и большая часть шанцов и окопов разорены и открыта паки коммуникация с уездом, и прусский лагерь снабжен был опять всеми нужными потребностями.

Король, по отшествии нашей армии, простоял тут еще не более двух недель. Он почитал кампанию в сей год еще не окончанною и желал еще отличить себя в оную каким-нибудь знаменитым делом. Но *Лаудон* стоял в крепком лагере и не оказывал охоту к сражению. Королю хотелось угрожательными маршами удалить его и прогнать назад в *Богемию* или принудить в каком-нибудь выгоднейшем месте к сражению. Сверх того, и магазин в *Швейднице* уже истощился, а в городе *Нейсе* находился другой, запасный и превеликой; а все сие побудило короля прусскаго тронуться наконец с места и отойти к *Минстербергу* на два дни перехода от *Швейдница*,

Не успел король прусский отойти от сей крепости, которая была из знаменитейших во всех прусских областях, снабдена многочисленным гарнизоном и артиллериею и всеми потребностями, имела комендантом в себе искуснаго и храбраго генерала *Цастрова*, и потому считалась от осады безопасною, как деятельный *Лаудон* вознамерился испытать счастья своего над нею и взять ее не формальною осадюю, а нечаянным и тайным нападением на оную. Он переговорил о том с нашим графом *Чернышовым*, и сей, не только апробовал его намерение, но предлагал к тому даже весь свой корпус. Однако *Лаудон* взял только 800 человек наших гренадеров, котория соединены с 20-ю батальонами австрийской пехоты, и предпри-

ятие сие поручено генералу *Амаду*. Все приготовления к тому сделаны наискровеннейшим образом, и утаены так удачно от неприятелей, что комендант, совсем того не ожидая, не сделал ни малейших предосторожностей, но, будучи охотник пировать, имел у себя в ту самую ночь бал, как положено было произвести сие в действо. Итак, в одну ночь, в два часа после полуночи учинено было нечаянное на крепость нападение, и для отвлечения внимания гарнизона от тех мест, где назначено было пехоте лезть на крепость по штурмовым лестницам, велел *Лаудон* кроатам своим произвести с противоположной стороны фальшивую атаку. Приступ сей произведен в самую темную ночь и имел успех вождеденный. Цесарцы, будучи подпоены вином для множайшей отваги, шли наимужественнейшим образом и презирали все опасности, а особливо наши гренадеры стремились и лезли кучами, как сумасшедшие. Сим, по несчастию, трафилось в темноте зайтить в такое место, где в наружных укреплениях был преглубокий ров. И как бывший до того тут подъемный мост был сломан, то передовые, увидев пред собою страшную глубину, закричали: «Стой! стой! подавай лестницы и фашины», но офицерам нашим показалось, что сие будет слишком долго, и они, не долго думая, погнались задних, а сии, столкнув передних в ров и наполнив всю глубину сими несчастными, полезли чрез оных и взошли первые почти на городские валы и укрепления, и рубили и кололи всех, кто им ни попадался. Пруссаки кричали тогда: «Пардон! пардон!», но наши говорили: «Нихтс пардон! Какой пардон?!» – и продолжали только рубить и колоть. И тогда одному прусскому артиллеристу не восхотелось умереть без отмщения. Он зажег случившийся тут пороховой магазин и взорвал чрез то множество и своих и человек до 300 наших на воздух. Однако ни сие, ни вся храбрая пруссаков оборона не могла им пособить, и крепость, по трехчасном сражении, к свету была взята и находилась уже со всею своею многочисленною артиллериею и всем гарнизоном в руках у цесарцев, и они вместе с нашими потеряли не более как человек до 1000 на сем приступе.

Лаудону хотелось как можно сохранить город сей от грабежа, почему и запрещено было от него накрепко и обещано было за то 100 тысяч гульденов в награждение; однако как в городе находилось великое богатство, свезенное изо всех мест Шлезии жителями, как в надежное и безопасное место, то трудно было цесарцев от того удержать: они пустились тотчас на оный, как скоро вошли в город, и цесарским генералам великаго труда

стоило остановить их в сем варварстве. Что касается до наших, то они приобрели при сем случае от всего света и даже от самых неприятелей своих великую себе честь и похвалу как за безпримерную храбрость, так и за то, что они не пустились никак на сей грабеж, но, взошед на валы, засели тут спокойно, и каждый оставался при своем оружии.

Чрез сие овладение Швейдницом приобрел Лаудон цесарскому оружию крайне важную выгоду и сделал то, что цесарцы в первый еще раз во всю сию войну могли в сей год взять свои зимняя квартиры в Шлезии. Однако за сию великую услугу награжден был весьма дурно и единою только неблагодарностию, а провинился только тем, что дело сие предпринял сам собою, и не истребовав наперед на то дозволения от императрицы и надворного военного совета. Но было когда о том спрашиваться, когда всякая минута была дорога, и чрез неупущение удобнаго к тому случая получен и весь успех тогдашний. Словом, цесарева так прогневалась на него за то, что самому императору, мужу ея, вступившемуся за Лаудона, великаго труда стоило уговорить ее и спасти его от напасти.

Что касается до короля прусскаго, то совсем неожиданное известие о потере Швейдница привело его и всю его армию в неописанное изумление. Никакое несчастье во всю войну сию не подействовало так много на пруссаков, как сие. Они потеряли тогда все плоды тогдашней славной и крайне для них трудной кампании, и не без основания, страшились всех ужасов новой кампании зимней; к тому ж получены были ими тогда страшныя известия о действиях наших войск в Померании, которыя еще более приводили их в отчаяние. Все опустили тогда руки. Но король нашел способ ободрить и оживотворить всю свою истощенную армию и начал употреблять все силы и возможности к тому, чтоб принудить Лаудона к сражению с собою. Никогда еще он так не желал с ним схватиться, как в сей раз; но Лаудон, будучи счастлием своим доволен, не хотел уже на то отважиться, но всячески убегал от сражения, так что, опасаясь от короля отчаяннаго нападения, препроводил хотя целых 8 ночей с россиянами под открытым небом, во ожидании нападения на себя, однако не только избег сражения, но не хотел покуситься и на овладение *Бреславлем*, в чем находил граф *Чернышов* возможность и ему было то советовал, но, выбрав такое место, где б мог он иметь свободную коммуникацию с Саксониею, Богемиею и Моравиею, остановился неподвижно в лагере своем при

Фрейбурге до зимы самой, где потом расположил и свою армию, и наш корпус по зимним квартирам и принудил и короля к тому же.

Сей около самага сего времени подвержен был наивеличайшему во всю жизнь свою бедствию и едва было едва одним изменником не предан был в руки своих неприятелей или, в противном случае, убит до смерти: все уже было к тому приготовлено, и благополучие и жизнь короля висела уже на волоску, но досада одного утрудившагося слуги, посланнаго затейщиком сего зла, барона *Варкотча* с письмом к одному из своих соумышленников и нехотение иттить туда, спасло в сей раз короля от бедствия и погибели неизбежной. Ибо слуга, вместо назначеннаго места, отнес то письмо к одному деревенскому пастору, а сей доставил оное тотчас к королю, и чрез то все дело открылось и король спасся, но был так безсовестен, что спасшему его пастору не сказал и спасибо, и бедняк сей остался без всякаго себе за усердие свое награждения.

Сим-то образом кончились все военные действия в Шлезии и в сей стороне, и теперь осталось мне вам рассказать, что между тем делалось в Померании, куда, как выше упомянуто, отправлен был от нас граф Румянцев с корпусом довольно сильным для третичной осады и овладения городом Кольбергом.

Корпус наш, как ни превосходил силою своею всех находившихся в Померании пруссаков, и самый генерал сколь ни искусен был в военном деле, но имел много труда прежде, нежели достиг до желаемого... Дело сие не так легко можно было произвести, как думали, и бездельная крепость сия навела на нас более хлопот и трудов, нежели мы и все думали и ожидали.

Я уже упоминал вам, что уже в оба последние года делано было нами двукратное покушение к овладению сим приморским городом и что в оба раза не удалось нам никак овладеть оным. Ошибка состояла наиболее в том, что сначала, когда им овладеть всего легче было можно, употреблено было слишком мало силы и дело сие поручено незнающим и дурным генералам; а в сей раз имели уже время пруссаки столько тут усилиться и такая взять меры, что и знаменитому корпусу и самому искуснейшему генералу много навели они дела, и очень малаго недоставало к тому, чтоб и в сей раз не пропасть всем нашим трудам и убыткам по-пустому.

Но как осада сия была во всю сию войну наидостопамятнейшая, а притом и последним нашим военным действием в войну сию против прусса-

ков, то опишу я вам ее подробнее, однако учиню то не теперь, а в письме последующем за сим; а теперь дозвольте мне сие как увеличившееся не в меру кончить и сказать вам, что я есмь ваш и проч.

КОЛЬБЕРГСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Письмо 89-е

Любезный приятель!

Предприяв в сей раз описать вам славную нашу Кольбергскую экспедицию и осаду, скажу, что *Румянцев* выступил с порученным ему корпусом, из 27-ми тысяч состоящим, в поход довольно еще рано, так что он еще июня 22-го пришел с ним к померанскому городу *Кеслину*, отстоящему верст за 30 только от Кольберга и защищаемому некоторым количеством пруссакого войска. Но как назначен был для подкрепления его и наш флот, долженствующий приплыть из *Кронштадта*, то, не хотя до прибытия его приблизиться к Кольбергу, и остановился он тут дожидаться помянутого флота. Самым тем и учинена была первая и великой важности ошибка; ибо как помянутый флот пришел не так скоро, как ожидали, и принуждено было его дожидаться до самой половины августа месяца, то и простоял граф Румянцев тут без мала два месяца без всякаго дела, а прикрывающия Кольберг прусския войска, под команду принца *Евгения* Виртембергскаго и генерала *Вернера*, и воспользовались сею медленностию и могли в сие время употребить все, что только можно им было к затруднению нашей осады и к обороне Кольбергской крепости. Помянутый принц окопался с 6-ю тысячами человек своего войска под самыми пушками крепости и укрепил весь лагерь сцеплением многих и хорошо сделанных шанцев и батарей. Помогло ему много в том и выгодное для него положение места. На правом крыле своем имел он реку *Перзант*, протекающую почти сквозь самый город и впадающую тут в море, а на левом – глубокое и непроходимое болото, а позади себя – крепость, и запасся всеми нужными потребностями; а сверх того, поделал и на берегу сильныя батареи для воспрепятствования со флота делать на берег высадки войска, а всем сим и положены были непреоборимыя почти затруднения нам в предприемлемой осаде.

Наконец появился наш флот на море, и *Румянцев*, узнав о том, тронулся тотчас из своего места и 15-го августа занял другое померанское и в тех местах лежащее местечко *Белгард*. 19-го августа атаковал он помянутый городок *Кеслин* и потребовал его к сдаче, и как командующий в оном прусский офицер не захотел сдаваться, то велел он стрелять по нем из 20-ти пушек и гаубиц, и комендант прусский, как сначала ни оборонялся, но принужден был наконец с батальоном своим и обозом, оставя сей город, перейти в лагерь к принцу Виртембергскому.

Между тем 23-го августа флот наш подошел к *Кольбергу*. Он был под командою вице-адмирала *Полянского* и контр-адмирала *Мартынова*, и состоял из нескольких военных кораблей, бомбандирных прамов и других судов – всего из 40 парусов, и 24-го августа стал пред городом на якорь и в последующий день начал тотчас по городу стрелять и бросать в него бомбы. Чрез четыре дня после того пришла и шведская эскадра, состоявшая из 8-ми военных кораблей и нескольких других судов, и соединилась с нашими. Бомбандирование и стрельба по городу продолжалась непрерывно и 29-го августа положено было со флота сделать на берег десант и чтоб графу Румянцеву подкреплять оный со всею своею конницею. Но пруссаки сильным сопротивлением не допустили произвестъ сие в действо; а такая ж неудача была, как восхотели было 2-го сентября наши овладеть приступом всем прусским лагерем: нас отбили порядочным образом и с великим уроном. И как г. Румянцев увидел тогда, что ретраншамент сделанный у них, не хуже был почти самой крепости, то 4-го сентября придвинулся он ближе к *Кольбергу* и, окружив оный весь, сделал чрез реку *Перзант* коммуникационный мост и множество батарей против пруссакаго лагеря. Из всех сих, равно как со флота, производилась по городу и по лагерю 4-го и 5-го числа жестокая и непрерывная почти стрельба и с таким усилием, что 5-го числа, в один день, до обеда, брошено в город 236 бомб, из коих 62 попали в оный и наделали много вреда. 7-го числа была у генерала *Вернера* с одним нашим небольшим корпусом при местечке *Пуетмине* жестокая схватка, а 8-го числа наши войска, пробравшись сквозь густой лес, против леваго пруссакаго крыла находившийся, попали было на оный, но принуждены были без всякаго успеха возвратиться назад.

Около сего времени шел из *Штетина* небольшой корпус пруссаков, составленный из выздоровевших от ран и трех эскадронов вновь на вербованных гусар, и пробирался к *Кольбергу*. Принц Виртембергский, узнав о

том, отправил генерал-поручика Вернера к нему навстречу, чтоб препроводить их надежнее к Кольбергу и, буде можно, сделать нашим в подвозе провианта помешательство. Но нашим удалось на генерала сего напасть и не только разбить всех с ним бывших, но и самого его взять в полон.

19-го числа на разсвете учинено было от нас на правое крыло пруссака ретраншамент, при производимой как с сухого пути, так и с моря страшной стрельбы и бросании бомб, жестокое нападение. Шесть раз сряду 10 батальонов нашего войска приступали с наивеличайшим жаром к оному, но никак не могли ворваться в оный и претерпели от батарей их, особливо от прозванной нашими *зеленой*, великое поражение. Наконец, по пятичасном кровопролитном сражении, и овладели было мы одними их главными шанцами, но нас выгнали опять пруссаки и принудили ретироваться, поранив смертельно притом нашего генерал-майора князя *Долгорукова*, который от того и умер, и побили у нас до 3000 человек.

Несмотря на то, продолжали наши безпрестанно атаковать ретраншамент прусский и так точно, как бы настоящую крепость. Мы сделали необыкновенное, совсем неслыханное дело, а именно: открыли против его порядочныя траншеи, поделали батареи и начали по нем, как по городу, стрелять из пушек и мелкаго ружья. И как нам ответствовали тем же и пруссаки, то пропадало от стрельбы сей с обеих сторон множество народа. Мы старались то в том, то в другом месте ворваться в окопы и делали опять к оному 22-го и 27-го числа сентября сильные приступы, но в оба раза были опять отбиты с уроном.

Сим образом оборонялся принц *Виртембергский* почти отчаянным образом в своих окопах и недопускал нас чрез то еще и близко до крепости. По сей хотя и производилась ежедневно стрельба со флота и бросание бомб, но все сие далеко еще не могло ее принудить к сдаче. При таких обстоятельствах начинала уже приближаться зима и вместе с нею умножались наши трудности. Войска наши от безпрерывных уронов уже гораздо поослабели и уменьшились, а к дальнейшему несчастью, в начале октября случилась на море прежестокая буря и растрепала весь наш соединенный флот. Один из наших военных кораблей разбит был оною и погиб со всеми людьми и снарядами; на другом, гошпитальном судне сделался пожар и оное совсем сгорело; все сие разстроило так все во флоте, что они принуждены были отойти прочь, и шведская эскадра отплыла в

свое отечество, а вскоре за нею и наш флот отплыл в море и пошел обратно к *Кронштадту*.

Несмотря на все сие, *Румянцев* продолжал мужественно осаду и ожидал со дня на день себе подкрепления от главной армии. И как между тем она уже возвратилась из своего похода и пришла обратно к померанским границам, то и отправлено было к нему на вспоможение 12 тысяч человек войска, а корпус легких войск, под командою генерал-майора Берха, поставлен в *Штаргарде* для пресечения пруссакам коммуникации с *Штетинном*.

Но как и сии в силах своих от частых уронов гораздо поослабели и требовали себе подкрепления, то не преминул король и к ним прислать несколько войска на помощь и велел иттить к ним генералу своему *Платену*, возвратившемуся тогда из польской своей удачной экспедиции. Приближение сего славнаго генерала понудило наших податься несколько назад и путь ему преградить поставлением в одной тесной дефилее 6000 человек войска, а сие и подало повод к сильной канонаде из пушек и гаубиц, продолжавшейся от перваго часа до самой ночи. Но как ни старались наши воспрепятствовать в походе сему генералу, но он отчаянным образом и под картечным огнем прорвался удачно и соединился под Кольбергом с пруссаками.

Принц *Виртембергской* обрадован был очень получением себе подмоги и помощника, котораго мог он всюду разсылать и препоручать ему комиссии. Главнейшее старание их было о том, как бы крепость и самих себя снабдить провиантом, в котором начинал уже являться недостаток; весь запасенный в городе был уже поеден, а вновь получать не так им было уже легко, как прежде: морем привозить не допускали их наши флоты, а сухим путем имели они коммуникацию только по приморским местам чрез местечки *Третов* и *Голнов* из Штетина. Но наши армейския войска, распространившись всюду по Померании, делали им в подвозе сем возможнейшее помешательство. Они, узнав, что от пруссаков прислан был в городок *Трентау* их генерал-майор *Кноблаух* с 2000 человек войска для надежнейшаго препровождения одного нарочитаго провиантскаго транспорта в Кольберг, атаковали онаго в сем городке и, окружив, чрез несколько дней принудили, со всеми при нем бывшими войсками, отдаться нашим в полон. А таковую ж неудачу имел в доставлении в город провианта и посланный несколько раз от принца Виртембергскаго и сам генерал

Платен с частью войска, и для подкрепления онаго хотя и прислан был еще из Шлезии генерал *Шенкендорф* с 3800 человек войска, и оба они хотя всячески старались провести большой транспорт провианта из Штетина, но наши войска, бывшие под командою генерала *Берха* и других генералов, не допустили их до того и принудили *Платена* провиант отослать назад в Штетин, а самого возвратиться в Кольберг с пустыми руками.

Все сии неудачи произвели то, что как в крепости Кольбергской, так и в лагере прусском недостаток провианта сделался ощутительнее, а особливо как возвратились опять назад некоторые из наших фрегатов и заперли опять море, которым было они начали пользоваться по отбытии наших флотов. В особенности терпели великую нужду лошади, получавшие уже не более как по полуфунту соломы в сутки. Сверх того, как уже шел ноябрь месяц и было очень холодно, то из всех недостающих потребностей всего ужаснее был для них недостаток в дровах. В сей нужде сламывали они уже многие деревянные дома в городе и на обогревание себя употребляли. *Платен* советовал принцу, несмотря на все выгодное положение наших и самое великое превосходство в силах, нас атаковать; но принц усумнился на сие отважиться, а почитая нашу армию слишком еще удаленною, надеялся, что холодность времени и претерпеваемая нашими солдатами стужа и нужда понудит *Румянцева* скоро оставить осаду.

Но у сего совсем не то было на уме: но он, будучи мало-помалу до того усилен, что корпус его уже до 40-ка тысяч простирался, и притом имея ту выгоду, что могли к нему все потребности привозимы быть, решился, несмотря на всю суровость погоды и напавший даже самый снег, никак не отставать от начатого дела и, окружив со всех сторон и город и весь прусский лагерь, принудить принца Виртембергскаго сдаться со всем корпусом своим в плен, и как его, так и город выморить голодом и принудить к сдаче. Вследствие чего неоднократно посылал он требовать сей сдачи с представлениями, что все упорство их будет тщетно и что ожидаемого сикурса им ниоткуда и никак получить будет не можно. Однако принц и *Платен* отвергали мужественно все его представления и не соглашались к сдаче; но как нужда и недостаток во всем становился от часу больше, и город так был со всех сторон окружен, что не можно было ниоткуда провезть в него ни единого воза, и при сих обстоятельствах и самый прикрывающий город корпус принца Виртембергскаго обращался городу не столько уже в пользу, сколько в отягощение, ибо поедал и последний провиант, то нача-

ли предводители прусских войск помышлять о том, как бы им от города с войском своим уйтить и, оставив его самого собою защищаться, стараться уже снаружи освободить его от осады, или, по крайней мере, о снабдении его провиантом.

Но отшествою сему являлись непреборимыя препятствия по множеству шанцов и батарей наших, которыми окружены они были со всех сторон: ибо, если б хотеть им отважиться силою пробиваться, то ничего не было достовернее того, что наши нападут на них и спереди, и сзади, и с боков, и перебьют всех, следовательно, о том и помыслить им было не можно.

В сей крайности находясь, решились они к предприятию, совсем никем неожиданному и такому, которое казалось и совсем невозможным и было для всех крайне удивительно. Позади города и на взморье находилось одно широкое плесо, наподобие озера, соединяющееся с морем узким, но глубоким проливом. Как наши широкое сие водяное плесо и помянутый пролив почитали глубоким, то и думали, что перейти чрез оную никак не можно, и потому и не брали с сей стороны дальней предосторожности, а удовольствовались повреждением всех судов и лодок, какия найти могли. Так что у пруссаков осталось только 10 рыбачих лодок да 7 узких челночков, в которых не более как по 6 человек помещаться было можно и сии остались потому, что как были они под пушками самой крепости, то нашим добраться до них было никак не можно. Сими-то бездельными суденьшками вознамерились пруссаки воспользоваться и, будучи предводимы одним мужиком, обещавшим им показать такое место, где им, чрез помянутую воду, по бывшей в прежния времена и не глубоко водою залитой плотине, перебраться можно, решились в одну темную ночь, а именно 14-го ноября, пуститься на сие отважное предприятие и, сделав для перехода пехоте чрез глубокия места, в скорости, на козлах мост, перевели ее благополучно чрез сию воду; что ж касается до конницы, то сия, посадив за собою по гренадеру, переплыла вплавь, и все сие произведено было так тихо и так удачно, что наши узнали о том уже тогда, когда они удалились уже далеко и коему тому удивились до чрезвычайности.

Сим-то образом воспоследовало по 23-х недельном пребывании сие славное и невероятное отшество пруссакаго корпуса, и граф *Румянцев* как-то, со всею бдительностию своею, оплошал и упустил из рук своих принца Виртембергскаго, но зато мог ближе подойтть к крепости и утеснить ее

со всех сторон сильнее прежнего. С сего времени начали стрелять по ней из сделанных вновь батарей и артиллерии; генерал *Голмер* употреблял все, что только мог, к утеснению крепости своею стрельбою. Но храбрый комендант *Гейден* презирал все сие, и на все повторяемые требования сдачи отвечал только, что он до тех пор обороняться станет, покуда будет у него еще порох и хлеб. И у него не столько на уме была оборона, сколько хлеб, которым его как принц Виртембергский, так и генерал *Платен* всячески снабдить старались. Однако все их старания о том и попытки были неудачны, но они везде были побиваемы и недопускаемы, то наконец и самый гарнизон в крепости начинал уже терпеть великую нужду и недостаток во всех потребностях. Самые прусския войска, находящиеся в Померании, были уже в таком изнеможении, что о важных предприятиях и освобождении города от осады не можно было им никак помышлять. Однако, несмотря на все, принц Виртембергский испытывал подходить к городу. Ему хотелось было сразиться с нашими, но наши уклонились от сражения, и ему, за превосходством наших, не можно было никак продаться к городу, хотя он и овладел было одним из наших редутов, обороняемым пятьюстами человек. Стужа около сего времени так была велика, что у пруссаков на сем походе замерзло 102 человека, да и вообще урон их так был велик, что они в месяц потеряли 1100 человек, и весь корпус их, состоявший из 30-ти батальонов пехоты, не имел в себе тогда и 5000 способных к обороне.

Во время сей претерпеваемой Кольбергом уже великой нужды в провианте, случилось плыть мимо гавани его одному купеческому судну, идущему из Кёнигсберга в Амстердам и нагруженному рожью, и буре власно, как нарочно, пригнать оное почти под самыя пушки города. Пруссаки не преминули овладеть оным и почитали оное даром, сниспосланным для них от самого неба. И как сей хлеб мог прокормить их еще несколько времени, то продолжали они упорно обороняться, и комендант велел все стены и валы крепости улить водою, дабы при тогдашних жестоких морозах они обледенели и сделались так скользки, что, в случае приступа, не можно было нашим никак удержаться на оных, а сие и было причиною тому, что все делаемые нами приступы были неудачны, и всякий раз были отбиваемы с превеликим для нас уроном.

Все сие и наступившая уже совершенно зима с снегом, покрывшим почти на аршин всю землю, причиняло и нам неописанное беспокойство:

ибо все солдаты принуждены были жить в палатках и в сделанных на скорую руку кой-каких землянках и вытерпывать стужу и крайнюю нужду. Но как бы то ни было, но *Румянцев* никак не помышлял об отступлении и дождался наконец до того, что Кольбергский гарнизон, поевши достальной хлеб и отчаявшись получить себе вспоможение, принужден был наконец сдаться и отдать нам на договор крепость, а себя – военнопленным; что не прежде, однако, произошло, как уже после нашего зимняго Николаина дня и в конце уже сего года.

Таким образом овладели мы наконец сею досадною крепостью, и всеми своими трудами и великим уроном в людях и во всем прочем, кроме безславия, не приобрели себе никакой пользы, ибо позднее овладение оною не послужило нам ни к чему, а сверх того, и перешла она скоро опять в руки пруссакам, как о том упомянется впоследствии. А сим и кончились все наши против пруссаков военные действия.

Теперь, возвращаясь к продолжению моей истории, скажу, что между тем как все сие в Шлезии и Померании происходило, продолжали мы по-прежнему жить в Кёнигсберге и, получая частыя известия о происходившем в армиях, только что надрывались досадою о худых успехах войск наших. Но ничто нам такой досады не производило, как помянутая, более 4-х месяцев продолжавшаяся осада города Кольберга. Единая отрада была нам только тогда, как привели к нам пленнаго генерала *Кноблоха* и пригнали почти целое стадо прусских пленных офицеров. С каким любопытством хотел я видеть сего генерала, котораго имя было нам давно уже известно и нарочито громко! Но как удивился я, будучи послан к нему для некакого дела от генерала, нашел в нем, вместо величаваго и мужественнаго воина, каковым я его себе воображал, небольшого роста сухощаваго, кривого и паршиваго почти старичишка, не могущаго вперить в себя ни малейшаго почтения, а таковы ж почти были и все, взятые с ним в плен, прусские офицеры. Всем им и крайней бедности, и невзрачности их не могли мы довольно надивиться и не понимали, как такая *негодь* могла производить такыя великия и славныя дела, о каких мы были в течение войны сей слышаны.

Что касается до прочих происшествий, то не помню я ни о каких, достойных упоминания. Все у нас было мирно, ладно и хорошо, и я, вступивши уже тогда на 24-й год моей жизни, продолжал и во всю осень сию по-прежнему ходить ежедневно в канцелярию и трудиться в переводах,

а между тем заниматься науками и штудированием философии, также и чтением. Полюбя духовныя книги, в особливости же те, в которых защищаем был истинный закон христианский, не знал я почти усталости при чтании оных, и тем паче, что материя сия была для меня совсем новая и крайне интересная и любопытная; и как случилось в самое тогдашнее время жить в Кёнигсберге одному профессору, с особливым рачением в том упражнявшемуся, и не только написавшему многия уже книги в защищение закона христианскаго, но продолжавшему и тогда еще сочинять и издавать оныя под заглавием: «*Правое дело откровения*», то я купил все сочинения сего славнаго мужа и читал оныя с отменным любопытством и вниманием. И сколь многия приятныя минуты доставляли мне сии прекрасныя сочинения! Сей достопамятный человек был отцом своим, бывшим таким же профессором богословия, как и он, нарочно воспитан к тому, чтобы он мог быть некогда великим защитником закону. Сей отец его хотел было сам предпринять сие великое и для всего света крайне полезное и нужное дело и собрал великую библиотеку из одних сочинений, бывших в разныя времена противоборников закона, хотел на все, какія наделаны были ими возражения, ответствовать и закон защитить от всех делаемых против его злодейских посягательств, и власно как предчувствуя, что Провидение не допустит его до совершения сего великаго предприятия, приготавлиал заблаговременно к тому единого сына своего и наследника, и выучив его всем употребительным в *Европе* языкам и наукам, посылал нарочно в *Азию* и в восточные края, дабы научиться тамошним азиатским языкам на месте и единственно для того, чтобы мог он тем лучше разуметь писания древних восточных авторов и из них почерпать нужныя ему объяснения и доказательства. И сей-то самый сын его, прозывающийся *Лилиемталем*, был тогда при Кёнигсбергском университете первейшим профессором богословия и, вступя в следы отца своего, приступил к исполнению того великаго предприятия, какое намерен был произвести отец его, и написал уже многия книги.

Не могу изобразить, как много занимали меня сии его сочинения и с каким удовольствием наслаждался я, находя в них мудрыя и основательныя опровержения всех делаемых деистами и натуралистами возражений; нередко приведен будучи словами сих врагов закона христианскаго в превеликое изумление и даже самое сумнительство, чувствовал себя, власно как превеликий камень с плеч своих свергающаго. Прочитав то, что

он говорил в опровержение их сумнительств и возражений, и радовался духом, находя в самом том Божественныя истины в чем, по мнению их, были великия нескладности и противоречия. Одним словом, книги сии были у меня около сего времени налюбимейшия, и я крайне сожалел, что короткость времени не допустила меня свести с сим человеком личное и короткое знакомство, как было положил я то сделать непременно.

С таким же удовольствием читывал я тогда и проповеди славнейших в Германии немецких и французских проповедников, а особливо *Мосгеймовы*, *Иерусалемовы* и *Заковы*. До сего времени о истинном красноречии и убедительности в проповедях не имел я даже и понятия никакого, и тогда только узнал, какой изящности были сии как сих, так и многих других славных и именитых мужей сочинения; и не только читывал их с превеликим удовольствием, но некоторыя из них лучших проповедей и перевел даже на язык российский и чрез все то час от часу больше утверждался в законе христианском.

В сих-то крайне полезных занятиях и упражнениях застал меня 1762-й год – год толико достопамятный в истории всех времен и произведший толь великия и всего меньше ожидаемыя перемены во всем свете и во всех обстоятельствах тогдашняго времени. А как такую ж великую перемену произвел он и во всех обстоятельствах и до самого меня относящихся, то отложу повествование о том до письма последующаго за сим, а теперешнее окончу, сказав вам, что я есмь и прочая.

ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ МОЕЙ ЖИЗНИ В КЁНИГСБЕРГЕ

Письмо 90-е

Любезный приятель!

Не успел окончиться 1761-й год, и мы едва переступили ногою в новый 1762-й год, как прискакавший к нам из *Петербурга* курьер привозит к нам известие, которое всех нас поразило как громовым ударом и всю бывшую у нас до того тишину вдруг и единым разом разрушив, смутило и всех нас встревожило до бесконечности.

Было оно всего меньше нами ожидаемое и состояло в том, что владевшая нами тогда императрица *Елисавета Петровна* окончила свою жизнь и переселилась в вечность и что во владение по ней вступил государь император *Петр III*.

Известие сие было тем для нас поразительнее, что мы, не ведая совсем того, что монархиня сия давно уже недомогала, кончины ея всего меньше ожидали и узнали уже после, что она уже с некоторого времени подвержена было разным болезненным припадкам, но которые все она мужественно переносила, да и предписываемыя ей медиками лекарства, принимаемыя ею хотя очень редко, производили всегда вожделенное действие, и что еще 17-го ноября получила она некоторый род простудной лихорадки, но которая опять и прошла и не мешала ей заниматься по-прежнему делами. Но наконец 12-го декабря вдруг сделалась с нею престокая рвота с кашлем и кровохарканием. Лейб-медики ея, *Монсей*, *Шилинг* и *Круз*, сочтя, что кровоизвержение сие происходило от геморроя, положили ей тотчас пустить кровь из руки и к величайшему изумлению своему увидели, что во всей крови ея было уже великое воспаление. Однако при помощи их и крепкой ея натуры казалась она 20-го числа вне опасности. Но 22-го числа, в десятом часу ввечеру, возобновилась опять рвота с кровью, соединенная с престокою и непрерывным почти кашлем; и тогда как сие, так и все прочие припадки показались врачам ея столь опасными, что они за долг свой почли объявить, что императрица находится в великой опасности жизни, что и побудило ее в последующий день исповедаться и приобщиться Святых Таин, а в последующий после того день особороваться маслом. И как между тем рвота и кашель продолжался непрерывно, то предусматривала она близкую кончину свою так достоверно, что перед вечером того дня приказала два раза прочесть обыкновенную отходную и оканчивала жизнь свою с таким твердодушием, что повторяла все чувствительнейшия места из молитв, читаемых священником, и испустила наконец дух в самый день Рождества Христова, то есть 25 декабря 1761 года.

К нам пришло известие сие в ночь под 2-е число генваря 1762-го года, и я и поныне не могу позабыть, как поразился я, пришел в сей день поутру в канцелярию и услышал от встретившагося со мною сторожа сии печальные вести. Я остолбенел и более минуты не знал, что говорить и что делать. Все канцелярские наши находились в таком же смущении духа, все тужили и горевали о скончавшейся, все желали ей Царствия Не-

беснаго и все поздравляли друг друга с новым монархом, но поздравляли не столько с радостным, сколько огорченным духом.

Родившись и проводив все дни под кротким правлением женским, все мы к оному так привыкли, что правление мужское было для нас очень дико и ново и как, сверх того, все мы наслышались довольно об особенностях характера новаго государя и некоторых неприятных чертах онаго, а притом и тайная связь его и дружба с королем прусским была нам отчасти сведения, то все мы не сомневались в том, что предстояли нам тогда во всем превеликия перемены и что неминуемо будем иметь и мы участие в оных, и потому все говорили тогда только об одном том и все готовились всякий день к новым слухам и известиям важным: в чем нимало и не обманулись. Ибо не успели всех нас привести к присяге и учинить в последующий день со всеми бывшими в Кёнигсберге нашими войсками, а потом и самыми прусскими жителями, как на другой же день поражены мы были новым и не менее всех нас перетревожившим известием. Получается именно указ, которым повелевалось губернатору нашему сдать тотчас команду и правление королевством Пруссим бывшему тут генералу-поручику *Панину*, а самому ехать в Петербург и в Россию.

Таковая скорая и всего меньше ожидаемая смена нашему доброму, исправному и усердному губернатору, означавшая некоторый род неблагоприятия к нему от новаго государя, была нам не только удивительна, но и крайне неприятна. Все мы к нему уже так привыкли и за кроткий и хороший нрав его так любили, что сожалели об нем искренно и так, как бы о родном своем. Всем нам не понятно было, за что бы такое был на него такой гнев от государя, и, не зная истинной причины, другого не заключали, что он не угоден был государю потому, что во время правления своего слишком был уже усерден к пользе государственной и не столько к пруссакам был благосклонен, как его предместник, но предпринимал иногда дела, не совсем для них приятныя. Может быть, говорили мы между собою, дошли на него о том какия-нибудь жалобы, или король прусский не так им доволен был как прежним, *Корфом*, и писал о том к государю.

Что касается до его, то хотя и ему сие неожиданное повеление было не менее поразительно, но он перенес сей случай великодушно и, не изъявив ни малейшаго неудовольствия, тотчас команду и все правление новому губернатору сдал и, в немногия дни собравшись, немедленно в *Россию* отправился.

Мы проводили его все со слезами на глазах и все искренно благодарили его за хорошую команду и оказанные ко всем нам милости и благоприятство. Он не преминул при сдаче правления таким же образом водить нового губернатора по всем нашим канцелярским комнатам, и также всех бывших под командою его рекомендовать оному в милость. Я не позабыл был также при сем случае, и г. *Суворов*, по любви своей ко мне, расхвалил меня еще более г. *Панину*, нежели сколько хвалил меня *Корф* ему. Но сей надменный и гордый вельможа казался все то нимало не уважающим и не похотел удостоить никого из нас даже и единым своим словом. Таковая поступка не в состоянии была нас порадовать и не обещала нам много добра от губернатора нового, а сие увеличило еще более сожаление наше о г. *Суворове*, который не оставил также снабдить всех нас добрыми аттестатами и, прощаясь с нами при отъезде, разцеловал всех нас дружески при пожелании нам всех благ на свете. В особенности же был он отменно ласков и дружелюбен ко мне. Он проговорил со мною с полчаса о разных материях, желал мне всего доброго, советовал продолжать свои науки и распрощался со мною, как отец с сыном.

Таким образом, не думая – не гадая, и в самое короткое время, – очутились мы под правлением нового и очень еще мало нам знакомого губернатора, и должны были к нему привыкать и принаравливаться во всем к его нраву. Сперва думали мы, что будет нам при нем гораздо хуже, однако скоро с удовольствием узнали, что он в самом деле не таков был строг и дурен, каковым нам сначала показался, но что первым его поступкам против нас причиною было то, что в тогдашнее время у всех умы находились в разстройке и ему не до того было, чтоб помышлять об нас и заниматься такими мелочьюми; но как первый чад прошел и он сколько-нибудь пооборкался, то увидели, что и он был добрый человек, заслуживающий к себе от нас любовь и почтение. В особенности же довольны мы были его адъютантом и наперсником: сей офицер назывался Иваном Демидовичем *Рогожником*, и будучи до того правителем его канцелярии, имел и тогда участие в делах канцелярских. И как он был человек прямо добрый, ласковый и дружелюбный, то познакомились мы скоро, и я имел счастье свести с ним короткую дружбу и приобрести к себе от него любовь искреннюю.

Не успели мы сколько-нибудь оборкаться, как получается вдруг опять требование всех отлучных и повеление о высылке их в армию и к полкам их. Сие растревожило меня вновь и смутило опять весь дух мой, и тем

паче, что я в сей раз не надеялся уже никак отделаться по-прежнему и не сомневался уже нимало, что меня вместе с прочими вышлют в армию. С одной стороны, не мог я возлагать ни малейшей уже надежды на губернатора, меня еще очень мало знающего, а с другой – известно мне было то обстоятельство, что в канцелярии нашей можно было уже тогда обойтись и без меня, ибо г. *Садовский*, при помощи моей к переводу так уже привык, что мог исправлять сию должность и без меня, а в-третьих, видели уже мы, что во всей военной службе начинало иттить все инако и во всем наблюдалось уже более строгости.

При таковых обстоятельствах не стал я долго уже и думать, но предпринял с того же дня понемногу собираться к отъезду и радовался тому, что не распроданы были у меня лошади и что моя повозка была исправлена и готова. Одно только то меня озабочивало и смущало, что полк наш находился тогда в Чернышовском корпусе при цесарской армии и в превеликой от нас отдаленности, езда в такую даль и в страны чуждые была мне очень неприятна и потому, хотя сожалеющим обо мне и говорил тогда: «Что ж, когда ехать, так ехать», но на сердце у меня совсем было не то, и я охотнее бы остался еще долее тут, если б только можно было; а к превеликому удовольствию моему, скоро и получил к тому некоторый луч надежды.

Тот же г. *Чонжин*, который прежде мне так много помогал, не преминул, по любви своей ко мне, и в сей раз мне оказать свою услугу. Он, ведая расположение моих мыслей и нехотение мое отлучиться из Кёнигсберга, без всякой моей о том просьбы, переговорил обо мне с помянутым адъютантом *Рогожиным* и насказал ему столько о моем нехотении и боязни, что сей, полюбив уже меня, в тот же час ко мне прибежал и дружески мне сказал: «И, братец, как тебе не стыдно, что озабочиваешься требованием отлучных и горюешь о том, как тебе ехать! У нас вряд ли уже более и война-то будет, а того и смотри, что мир и полки возвратятся сами; успеешь и тогда еще наслужиться, а между тем поживи-ка ты, брат, с нами! Малый ты такой добрый, я право тебя полюбил». – «Хорошо, Иван Демидович! – сказал я ему, поклонившись. – И вы меня очень одолжаете своим благоприятием, но как то еще угодно будет генералу, чтоб не изволил приказать он?» – «И, – подхватил г. Рогожин, – молись-ка, сударь, Богу, страшен сон, но милостив Бог; у генерала замолвим и мы словцо другое, и генерал также человек добрый и милостивый и нас иногда слушает».

Слова сии послужили тогда мне власно как некаким лекарством и успокоили мое волнующееся сердце. А вскоре после того обрадовано оно было несравненно еще более получением к нам того славного манифеста о вольности дворянства, которою благоугодно было новому государю облагодетельствовать все российское дворянство и приобрести себе тем вечную благодарность. Не могу изобразить, какое неописанное удовольствие произвела сия бумажка в сердцах всех дворян нашего любезного отечества. Все вспрыгались почти от радости и, благодаря государя, благословляли ту минуту, в которую угодно было ему подписать указ сей. Но было чему и радоваться. До того времени все российское дворянство связано было по рукам и по ногам: оно обязано было все неминуемо служить, и дети их, вступая в военную службу в самой еще юности своей, принуждены были продолжать оную во всю свою жизнь и до самой своей старости, или, по крайней мере, до того, покуда сделаются калеками или за действительными болезнями более служить будут не в состоянии; и во всю свою жизнь лишаться домов своих, жить от родных своих в удалении и разлуке и видаться с ними только при делаемых кой-когда им годовых отпусков. В сих и в командировках из полков в *Москву* для приема аммуниции, была вся их и единственная отрада, а отставки были так трудны и наводили столько хлопот и убытков оным ищущим и добывающимся, что многим и помыслить о том было не можно. А посему посудите, каково было нам всем служить, а особливо чувствовавшим себя не рожденными к военной жизни! Все мы предавались обыкновенному отчаянию и всякий всего меньше помышлял о том, чтоб ему жить некогда можно было дома, и какова ж приятна и радостна должна была быть для нас та минута, в которую узнали мы, что сняты были с нас помянутыя узы и нам дарована была совершенная вольность и отдано в наш полный произвол, хотим ли мы вступить в службу или нет, а и служить только до того, покуда похочется; а в случае нехотения служить более, могли уже тотчас получать *абшиты* и отпускаемы быть в свои дома и жилища!

Словом, всеобщая радость о том была неописанная; а какое действие в моей душе произвела сия драгоценная бумажка, того не могу уже я никак выразить. Я сам себя почти не вспомнил от неописанного удовольствия и не верил почти глазам своим при чтании оной. Я, полюбив науки и прилепившись к учености, возненавидел уже давно шумную и безпокойную военную жизнь и ничего уже так в сердце своем не желал, как удалиться в

деревню, посвятить себя мирной и спокойной деревенской жизни и проводить достальные дни свои посреде книг своих и в сообществе с музами, но до сего не мог льститься и малейшею надеждою к тому. Итак, судите сами, коль много должен был я обрадоваться тогда, как узнал, что к тому не только сделалась возможность, но что мог я службу свою оставить, когда мне захочется.

Я положил с того же часа учинить сие действительно и дожидаться только до того, как учинят тому другие начало. Ибо самому мне первому в отставку проситься и совестно еще было, и не хотелось. В сем расположении мыслей и остался я уже смелее и спокойнее продолжать жить в Кёнигсберге и ходить по-прежнему всякий день в канцелярию. Но тут голова моя занята была уже не столько делами и переводами, сколько помышлениями о будущей своей деревенской жизни. Я исчислял уже в уме своем все приятности оной и помышлял, как я ими наслаждаться буду, и веселился уже в духе предварительно оными. Но мог ли я тогда думать и ожидать, чтоб с последующею затем первою почтою получится другая и такая бумага, которая в состоянии будет все помянутыя мои лестныя надежды вдруг и единым разом разрушить и повергнуть меня опять в тысячу забот, сумнительств, досад и недоумений и власно втолкнуть в целый лабиринт совсем новых и таких мыслей, какия мне до того никогда и в голову не приходили.

Было сие, как теперь помню, 1-го числа февраля, когда, пришед по обыкновению своему поутру в канцелярию и сидючи на своем месте, увидел я целую кипу пакетов, пронесенную мимо нас в судейскую. «Э, э, э! сколько! – воскликнул я, удивившись, и, обратясь к товарищам своим, продолжал. – Новостей, новостей, небось, и тут превеликое множество, и нет ли опять писем от Ивана Тимофеевича *Балабина*? Не отпишет ли он опять чего-нибудь к нам хорошенькаго?» Ибо надобно знать, что сей прежний наш сотоварищ и друг не позабыл нас и, по приезде своем в Петербург, пописывал нередко ко многим нашим канцелярским, а в том числе и ко мне письма и уведомлял нас о петербургских новостях и происшествиях; а тогда в особенности была у него безпрестанная переписка с нашим асессором, чрез котораго выписывал он к себе от нас флер и креп черный, в котором, по случаю делаемых к погребению императрицы приуготовлений в *Петербурге*, сделался недостаток и превеликая дороговизна; а как у нас можно было купить его за безделку и пересылать к нему в пакетах боздан-

но безошлинно, то и мог он там его продавать вдесятеро дороже и на том получать себе хороший прибыток. А как он притом уведомлял нас и обо всем происходящем в Петербурге, то все письма его были для нас крайне интересны и мы дожидались их всегда с превеликим любопытством.

Не успел я помянутым образом с товарищами своими о тогдашних обстоятельствах разговориться и проводить в том несколько минут, как вдруг выходит к нам наш ассессор *Чонжин* и, обратясь ко мне, говорит: «Ну, брат, теперь уже нечего делать и теперь уже ехать молодцу хоть бы и нехотелось, – миновать уже никак нельзя. Прощай брат, Андрей Тимофеевич!» – «Что такое? – спросил я у него. – Не опять ли уже требование?» – «Какое тебе требование, – подхватил он, – и целый указ о тебе именно, да откуда ж еще? Из самой Военной коллегии». – «Что вы говорите? – сказал я, почти оцепеневши. – Не вправду ли?» – «Ей! ей!» – отвечал он и тотчас побежал опять в судейскую, ибо в самую ту минуту выбежал за ним сторож и звал его к генералу, а я, оставшись, стоял, как пень, и не знал, что мне говорить и о том думать. Меня подрало с головы до ног, взволновалась во мне вся кровь и стеснилась так в грудь мою, что я едва мог переводить дыхание. Но я не успел еще собраться с духом и опаматоваться, как выбегает г. *Чонжин* опять с самым указом в руках и, бросив его ко мне на стол и, сказав: «На, вот прочти сам, так увидишь!» – опять в ту же минуту ушел в судейскую. Дрожащими руками и с трепещущим сердцем поднял я сию бумагу; но каким же новым и неизобразимым изумлением поразился я, когда, начав не читать, а пожирать глазами писанное, увидел, что я пожалован был во флигель-адъютанты к генералу-аншефу *Корфу* и что повелевалось меня отправить немедленно в Петербург в штат к помянутому генералу.

«Господи помилуй! – возопил я. – И как же это так?» – и, выпустив бумагу из рук, начал креститься. Слова сии, сказанные вслух и сделавшаяся во всем лице моем от нечаянного известия сия перемена, возбудила во всех случившихся подле меня превеликое любопытство. Но никто так не интересовался тем, как сидевший против меня товарищ мой г. *Садовский*. Сей, любя меня как истинный друг, брал во всем относящемся до меня превеликое соучастие и потому, любопытствуя более всех, подхватил бумагу и не успел того же увидеть, как, вскочив со стула, начал меня поздравлять с новым чином и желать мне более и более и дальнейшего еще повышения. И тогда менее, нежели в минуту, разсеивается слух о сем по

всей канцелярии и все в один миг, и секретари, и подьячие, и разночинцы, вскочив с своих мест, прибегают ко мне и, окружив со всех сторон, радуются искренно моему благополучию и поздравляют меня с оным. «Батюшки мои! – говорю я им. – Благодарю покорно вас всех, но спросили бы вы наперед, рад ли я тому и желал ли всего этого?» Я и подлинно не знал тогда сам: радоваться ли мне или печалиться более о том, что случилось тогда со мною такое совсем нечаянное и всего меньше мною желаемое происшествие. С одной стороны, хотя и веселило меня то, что я получил чрез сие капитанский чин; но как вспомнил, какого бешенаго нрава был наш генерал прежний, г. *Корф*, как трудно и невозможно почти было ему во всем угождать и притом воображал себе все те труды и убытки, какия должен я буду иметь при экипировании себя в сем новом чине и при отправлении сей трудной должности, то все сие уменьшало неведомо как мою первую радость; а как кинулось мне и то в голову, что происшествие сие произвело непреоборимую почти преграду и восприятному намерению моему иттить в отставку, то сие еще и больше меня смутило и в такую разстройку привело все мои мысли, что я не слыхал почти, что мне говорили и не знал, что им отвечать.

Посреди самаго сего моего недоумения и замешательства мыслей вдруг вбегает к нам определенный к почте офицер г. *Багеут* и, вынимая из кармана письмо, говорит мне: «Отпусти, братец! Виноват я пред тобою: давеча был здесь и не отдал тебе письма, позабыл было совсем и насилу уже теперь вспомнил». С превеликою жадностью и благодаря схватил я у него оное и увидев, что было от помянутаго г. *Балабина*, в тот же миг читать начал. Сей старинный мой знакомец и друг уведомлял меня в оном, что государю угодно было – по особливой милости и благоволению моему к его генералу – пожаловать его в генерал-аншефы и, сверх того, сделать еще шефом одного кирасирскаго полку, и что как ему, как генерал-аншефу, уже надобно было сформировать себе обыкновенный штат, то угодно было ему сделать его, *Балабина*, своим генеральс-адъютантом, а во флигель-адъютанты истребовать от Военной коллегии меня и князя *Урусова*. Далее, поздравляя меня с тем, говорил он в письме своем, что генерал сделал все сие по единой своей ко мне благосклонности и приказал ему ко мне отписать, что хотя б и желал он, чтоб я к нему приехал скорее, однако, как у него уже один флигель-адъютант есть, то что могу я несколько и помедлить и не имею нужды слишком сборами своими спешить, а исправ-

лял себя исподволь и постарался б только приехать к нему по зимнему тогдашнему пути и не упустить онаго.

Сие сколько-нибудь меня еще поутешило и прежнее смущение мое уменьшило. Со всем тем безчисленные хлопоты и убытки, с сим чином сопряженные, а равно и возжеленнейшая мною отставка не выходила у меня никак из ума. Но не успел я о сем последнем вымолвить слов двух или трех, как все друзья мои и приятели напустились на меня и начали со всех сторон тазать и осуждать, что я прилепляюсь к таким мыслям. И дурно то, говорили они, и неприлично, и нимало не кстати мне, будучи таким молодым и таких дарований и способностей человеком, помышлять об отставке, а особливо при таких обстоятельствах, когда открывается мне сама собою такая прекрасная прешпектива и я безсомненно могу надеяться произойти и далее в люди и дослужиться даже сам до чинов генеральских. Одним словом, чтоб я-таки и не помышлял нимало об отставке, а с Богом бы собирался и отправлялся в Петербург.

Сим и подобным сему образом, говорили и уговаривали тогда все мои друзья и знакомцы; а как и самому мне то в особенности казалось примечания и уважения достойным, что произошло все сие без всякаго моего о том домогательства и искания, а само собою, а все такая случаи издавна привык уже я почитать велениями самых небес и действиями пекущагося обо мне Промысла Божескаго, и каковым последовать безпрекословно полагал я себе во всю жизнь мою за правило, то, подумав о том хорошенько и говоря сам себе, что я нимало не знаю, к чему и на что все сие делается, и почему знать, может быть, Промысл Божеский и действительно предпринимает со мною что-нибудь особенное, и решил на конец, благословясь, последовать делаемому мне призыву охотно, и с того же дня приступил к приуготовлению себя к возвращению в милое и любезное отечество и ко вступлению в новую должность.

Меня спустили в тот же день из канцелярии и уволили от должности, которую я исправлял до того столько лет сряду и уже так к ней привык, что не хотел с нею и разстаться, и как начался уже тогда февраль и времени до последнего пути оставалось уже немного, то спешил я воспользоваться оным и, пришед на квартиру, начал помышлять о всех нужных приуготовлениях как к отъезду, так и к экипированию себя хотя излегка, на первый случай, и так, чтоб мне было, по крайней мере, в чем к генералу моему явиться и исправлять свою должность.

Но не успел я тут в подробности о том подумать, что и что мне было необходимо надобно и без чего не можно мне было никак обойтись, как ужаснулся я, увидев, что вещей сих набралось великое и такое множество, что на покупку и исправление и половины оных у меня тогда недоставало денег. Надобна была мне добрая лошадь; надобно было седло со всем прибором; надобен был когда не два так, по крайней мере, один новый кавалерийский и уже синий мундир; надобно было несколько пар добрых сапогов; надобны были серебряные шпоры и шляпа; надобен богатый золотой шарф и прочее. Сверх того, нужно было поставить повозку на сани и искупить разныя другия нужныя для столь долгаго путешествия вещи, да и для дорожных издержек потребны были деньги. А наконец, и с самым хозяином за кормление меня более года нужно было расплатиться, и на все сие по смете моей требовалась немалая сумма, но у меня и половины ея не было и я не знал, где мне тогда было взять оную; ибо что касается до содержания себя в Петербурге и до тамошних еще множайших издержек, то надеялся я нужныя деньги к тому выписать туда и получить из деревни, а до того времени не сомневался, что одолжит меня и генерал заимообразно; а чтоб могли они поспеть туда к моему приезду, то с первою же почтою послал я письмо о том через *Москву* к живущему в деревне дяде моему родному и просил его истребовать от прикащика моего сколько можно более денег и перевести ко мне через кого-нибудь в *Петербург*.

Итак, не зная где взять нужныя для тогдашняго времени деньги, взгоревался я неведомо как; но каким же удовольствием поразился я, когда, открывшись в том старшему из слуг своих, был от него, против всякаго чаяния и ожидания моего, утешен и успокоен. «Вот какая беда! – сказал он мне. – Денег! – да сколько вам их, сударь, надобно?» – «По меньшей мере рублей сто, Яков!» – сказал я. «И! барин! – подхватил он. – Так не извольте, сударь, тужить о том и горевать: у меня целых полторасть есть, что мне с ними делать? Возьмите их, сударь, и употребляйте на что вам угодно, а мне когда-нибудь их отдадите ужю, а теперь на что мне они».

Не могу никак изобразить, сколь много обрадовал он меня сим предложением и сколь чувствительно мне было в тогдашней моей нужде сделанное им мне сими деньгами вспоможение! Никогда не забуду я сей его услуги, которая меня тогда сколько обрадовала, столько ж и удивила: ибо я никак не знал и никак не думал, чтоб у него могло быть столько денег. При вопрошении ж моем, где Бог ему послал такое множество оных, ска-

зал он мне: «Где?! Да разве не изволили, сударь, знать, что я, стоячи на особливой квартире, во все время бытности нашей здесь переторговывал лошадьми и, покупая оных у наших русских извозчиков дешевою ценою, продаывал их здешним прусским мужикам с барышишком, иногда довольно большим, иногда маленьким, как случится; а как я не пью и не мотаю, то не только содержал себя сам во все сие время барышами, не требуя от вас себе ни полушки, но вот сколько и скопил себе еще их по милости вашей. А как я, сударь, и сам ваш, то извольте их взять, и я рад, что они у меня на сию пору случились».

Я не мог, чтобы не расхвалить его за бережливость и благодарил искренно за его важную услугу. С меня свалилась тогда власно как гора некая и как у меня с сими сделалось тогда денег довольно на все надобности, то вмиг закипело все и все. Тотчас поспел у меня мундир, тотчас и все прочее, и осталось еще довольно их на расплату и на дорогу.

Не менее удивил меня и старик, мой хозяин, которому весьма охотно хотел я заплатить как за кормление меня и поение чаем и кофеем, так и за мытье моего и употребление его белья. Он и старушка, его жена, руками и ногами воспротивились тому, как я принес им целья пригоршни рублей и просил их, чтоб они взяли из них сколько им угодно. «Сохрани нас от того Боже! – закричали они. – Чтоб мы взяли с вас, г. капитан, хоть один грош за кушанье и прочее. Мы никак не разорились от того, и нам было сие совсем нечувствительно; а мы и без того так довольны вами, что не можем вам никак того изобразить. Если б стояли у нас не вы, а кто-нибудь иной из ваших, то чего бы не было с нами и с детьми нашими. Мы несчастные бы были люди и не того б могли лишиться. Нет! нет! Бога ради! Возьмите это назад и не обижайте нас этим. Нас Бог пропитает и без того, а вам сгодятся они на дорогу. Путь дальний и до Петербурга отсюда не близко; а нам дозвоьте иметь то удовольствие, что мы услужили вам за всю вашу дружбу и благоприятство к нам сею безделкою». Что мне было тогда делать? Я сколько ни старался их уговорить, чтоб они сколько-нибудь взяли, но они не согласились никак на то, и так меня добродушием своим растрогали, что я со слезами на глазах обнял обоих старичков и изъявлял им мою чувствительность и благодарность, а они не преминули поступить и далее; но перед отъездом не только наготовили мне всякой провизии на дорогу, но перемыли и перечинили все мое белье, а которое показалось им

худо, те тайком переменили и добавили недостававшее своим и просили слугу моего, чтоб мне о том не сказывать.

Вот каких добродушных, честных и благодарных людей случилось мне иметь у себя хозяевами; но надобно сказать и то, что были они не пруссаки, а природные швейцары.

Подобное ж почти тому происходило, когда я пред отъездом в последний раз пришел к учителю своему, г. *Вейману*, прощаться. Не могу изобразить, с каким сожалением он со мною разставался и с каким усердием желал, чтоб я был счастлив и благополучен. Я хотел также возблагодарить его за все его труды и старание, прося принять от меня сверточек червонцев; но он ни под каким видом на то не согласился, как я и ожидал того, и насилу-насилу преклонил я принять в подарок от меня калмыцкий тулуп, который купил я у наших приезжих русских купцов, да и сей убедил я его принять только тем, что уверил его, что он у меня не купленный, а присланный ко мне из деревни, и что прошу его принять только для того, чтоб, нося его, мог он вспоминать об ученике своем. Он разцеловал меня за то и простился, утирая слезы, текущая из глаз его. Так свыклись было мы с ним и столь много любил он меня всегда.

Наконец, как все было уже исправлено и к отъезду готово, то, раскланявшись с генералом, от котораго, по краткости времени, не видал я ни худа, ни добра, пригласил я к себе всех своих друзей и знакомых и, поподчивав их на прощанье хорошенько разными винами и прочим, чем мог, распрощался я со всеми ими и с плачущими, добродушными хозяевами, отправился, наконец, в путь свой.

Не могу никак изобразить, с какими чувствованиями выезжал я из сего города и как распрашивался со всеми улицами, по которым я ехал, и со всеми знакомыми себе местами. Вся внутренность души моей исполнена была некакими нежными чувствами и я так был всем тем расстроган, что едва успевал утирать слезы, текущая против хотения из глаз моих. Меньшой из гг. *Олиных*, наших юнкеров, и сотоварищ мой г. *Садовский*, решились проводить меня до самых ворот города. Оба они более всех меня любили и обоих их почитал я наилучшими своими друзьями. Чего и чего не говорили мы с ними в сии последние минуты и каких уверений не делали мы друг другу о продолжении любви и дружества нашего! Я условился с обоими ими переписываться из Петербурга и сдержал свое слово в разсуждение перваго. Что ж касается до г. *Садовскаго*, то Небу угодно

было лишить его жизни прежде, нежели мог он получить и первого письма моего к себе из Петербурга. Он занемог через несколько дней после моего отъезда, и жестокая горячка похитила у меня сего друга и преселила в вечность. Мы разстались тогда с ним и с г. *Олиным*, смочив взаимно лица наши слезами, и я всего меньше думал; что прощаюсь с первым уже навеки.

Как скоро отъехал я версты две от города и взъехал на знакомый мне холм, с котораго можно было город сей мне впоследствии видеть, то, почувствуя, что мне его никогда уже более не видать, восхотелось мне еще раз на него хорошенько насмотреться. Я велел слуге своему остановиться и, привстав в кибитке своей, с целую четверть часа смотрел на него с чувствами нежности, любви и благодарности. Я пробегал мыслями все время пребывания моего в нем, воспоминал все приятные и веселые дни, препровожденные в оном, изчислял все пользы, приобретенные в нем, и, беседуя с ним душевно, молча говорил: «Прости, милый и любезный град, и прости навеки! Никогда, как думать надобно, не увижу я уже тебя боле! Небо да сохранит тебя от всех зол, могущих случиться над тобою, и да излияет на тебя свои милости и щедроты. Ты был мне полезен в моей жизни; ты подарил меня сокровищами безценными; в стенах твоих сделался я человеком и спознал самого себя, спознал мир и все главнейшее в нем; а что всего важнее, спознал Творца моего, Его святой закон и стезю, ведущую к счастью и блаженству истинному. Ты возвел меня на сей путь священный и успел уже дать почувствовать мне все приятности онаго. Сколько драгоценных и радостных минут проводил я уже в тебе! Сколько дней, преисполненных веселием, прожито в тебе мною, град милый и любезный! Никогда не позабуду я тебя и время, прожитое в недрах твоих! Ежели доживу до старости, то и при вечере дней моих буду еще вспоминать все приятности, которыми в тебе наслаждался. Слеза горячая, текущая теперь из очей моих, есть жертва благодарности моей за вся и всё, полученное от тебя! Прости навеки!»

Сказав сие и бросившись в кибитку, велел я слуге своему продолжать путь свой, и хотя более уже не мог его видеть, но мысли об нем не выходили у меня из головы во весь остаток дня того.

Таким образом, выехал я наконец из Кёнигсберга, прожив в оном целые почти четыре года и снискав в нем себе действительно много добра истиннаго, а что всего для меня приятнее было, то выехал с сердцем, не

отягощенным горестию, а преисполненным приятными и лестными для себя надеждами. Ибо хотя бы ничего дальнаго со мною не последовало, так веселило меня и то уже несказанно, что я ехал не в полк и не на войну, но возвращался в свое отечество, которое за короткое пред тем время не надеялся и увидеть когда-нибудь. Мысль сия, также воображение, что ехал я служить в столицу, где иметь буду случай видеть государя, двор и все знаменитейшее в свете, услаждала много все трудности тогдашняго путешествия моего и делала мне оное вдвое приятнейшим.

Впрочем, ехать нам было тогда и хорошо и дурно; ибо как выехал я уже в начале марта, а именно 4-го числа сего месяца, и поехал к *Мемелю* прямою зимнею дорогою, так называемым *Нерунгом*, или тою длинною, пустою песчаною косою, которая, начавшись неподалеку от Кёнигсберга, простирается до самаго Мемеля и, отделив собою часть моря, составляет славный *Курский Гаф*, или *Мемельский* залив морской, то не везде находили мы снег, но в иных местах принуждены были тащиться по голому песку и раскаяваться в том, что поехали сею дорогою. А как на другой день дошло до того, что нам надобно было переезжать помянутый *Курский Гаф*, или залив морской, поперек по льду, то раскаяние наше увеличилось еще и более. Залив сей хотя и был по жестокости тогдашней зимы покрыт льдом и снегом, но как лед сей далеко не таков толст и крепок был, как на реках, то переезжать по нем через залив всегда было не без опасности, и тем паче, что то и дело делались на нем превеликия трещины и вода, выступая из-под льда, разливалась иногда на знатное разстояние по поверхности онаго. Я не прежде о том узнал, как уже въехавши на оный и тогда, когда поздно было уже возвращаться. И как шириною в сем месте был оный залив более 10-ти верст и дорожка проложена чрез него узенькая и во многих местах едва приметная, было же тогда уже перед вечером, как мы чрез него пустились, то истинно души во мне почти не было до тех пор, покуда мы его не переехали.

Во многих местах принуждены мы были не ехать, а тащиться по наполнившемуся водою глубокому снегу; во многих других ехать по воде и столь инде глубокой, что я того и смотрел, что мы где-нибудь либо проломимся и пойдем на морское дно со всею повозкою своею, или огрязнем так, что нам и выдраться будет не можно и мы всю пожить свою подмочим и попортим. А раза два действительно мы так огрязали, что промучились более часа и насилу выбрались. К вящему несчастию, не случилось тогда

никаких других ездоков, ни встречных, ни попутных, и в случае несчастья не могли мы ожидать ни от кого помощи; приближающия же сумерки нагоняли на нас еще более страха и ужаса. Я сидел ни жив ни мертв в своей повозке и, сжав сердце, крепился сколько мог, чтоб не оказать пред людьми своими уже непомерной робости, а во внутренности своей призывал Бога и всех святых себе на помощь. Но все мое твердодушия исчезло, как приехали к одному месту, чрез которое не знали как и перебраться. Трещина была тут превеликая и столь широкая, что лошадям надобно было чрез нее перепрыгивать, а выступившая по обеим сторонам вода была почти на поларшина глубиною. Увидев сие, не только я, но и люди мои оробели совершенно, и все мы не знали, что делать и начать. Что касается до меня, то я перетрусился всех более, и как вода была ни глубока и как было ни холодно, но решился вытти из кибитки и переходить по воде чрез трещину пешком, а вместе со мною пересигнул ее и мой *Абрашка*; что ж касается до *Якова*, то сей, перекрестясь и надеясь на доброту лошадей, пустился прямо чрез ее на отвагу и был столь счастлив, что переехал ее благополучно и ни одна лошадь не оступилась, но все пересигнули чрез нее, не зацепившись, и перетасили повозку, как она ни грузна была. Я не вспомнил тогда сам себя от радости, крестился и благодарил Бога, что перенес Он нас чрез опасное сие место благополучно и, позабыв горевать о том, что ноги мои были почти по колена обмочены и зябли немилосердно. Я скинул скорей сапоги с себя и, укутав их в шубу, старался как можно посогреть их. Но, по счастью, было тогда не далече уже от берега и от селения, на берегу онаго сидевшаго. Мы поспешали туда как можно, но не прежде приехали, как уже в самыя сумерки, и рады были неведомо как, что нашли для переночевания себе спокойную и теплую квартиру, где могли мы отогреться и дать отдохнуть выбившимся почти из сил лошадям нашим.

Переночевав тут и позабыв все опасности, пустились мы в последующий день далее и доехали до города Мемеля, а было это уже 7-го марта, а на другой день, переехав узкий уголок *Жмудши*, отделяющий *Пруссию* от *Курляндши*, въехали в оную и, продолжая благополучно путь, доехали 12-го числа до столичнаго курляндскаго города Митавы. Как в сем месте никогда еще мне бывать не случилось, то смотрел я с особливым любопытством на сие древнее обиталище курляндских герцогов и жилище прежде бывшей нашей императрицы *Анны Ивановны*, а особливо на опустевший огромный тамошний замок или дворец, построенный *Бироном*, и о кото-

ром молва носилась, что была в нем некогда целая комната, намощенная вместо пола установленными сплошь на ребро рублевиками. Правда ли то или нет, того уже не знаю, но как бы то ни было, но мог ли я тогда вообразить себе, что доживу до такого времени, в которое сей замок оправится, и что будет в нем некогда иметь убежище себе несчастный и выгнанный из отечества король французский, и что мы его на своем коште тут содержать будем.

Отправившись из Митавы, доехали мы 13-го числа и до границ любезного отечества нашего. Не могу изобразить, с какими особыми чувствами въезжал я в сии милые пределы и с каким удовольствием смотрел я на места, которые памятны и знакомы были мне от самого даже малолетства. Я благодарил Бога, что вывел меня цела из войны бедственной и опасной и возвратил благополучно в земли, принадлежащая уже России, и в тот город, где покоился прах деда моего. Я благословлял его мысленно, пожелал ему дальнейшего покоя и продолжая путь, замышлял было отыскать ту мызу, где оставлены были некоторые из моих пожитков и ящик с книгами в то время, когда выходили мы в поход в *Пруссию*; но как не нашел вскорости никого, кто б меня туда проводить мог, а притом сомневался, чтоб мне без того человека оныя отдали, который отдавал тогда их, а сделавшаяся оттепель устрашала меня скорою распутицею, то, поспешая моею ездою, поклонился я в мыслях бедным своим пожиточкам и книгам и, пожелав ими владеть тем, у кого оне были, поехал далее.

В городе *Вальмерах*, куда приехал я 15-го марта, съехался я, к превеликому удовольствию моему, с другом и знакомцем своим, Иваном Тимофеевичем *Писаревым*, самым тем, о котором упоминал я уже прежде и с которым познакомился я в Кёнигсберге. Он возвращался также из Пруссии, но пробирался уже в *Москву* и в свою деревню, ибо был уже отставлен. Я завидовал почти ему в том и считал его счастливым, что едет уже на покой в деревню и вздохнул о себе, не зная когда-то то же будет и со мною. Впрочем, как надлежало ему более 100 верст ехать по одной со мною дороге, то рад я был очень его сотовариществу. Я уже упоминал, что был он человек любопытный, охотник до чтения книг, а особливо до благочестия относящихся, и довольно начитанный, и как само сие в Кёнигсберге нас спознакомило и с ним сдружило, то для лучшаго и веселейшаго препровождения в езде времени условились мы пересестись и ехать с ним в одной повозке, дабы тем удобнее было нам между собою разговаривать. И чего

и чего мы тогда с ним не говорили! Словом, разговоры были у нас с ним о разных и все важных материях безпрерывные, а за ними и не видали мы почти дороги.

Наконец разстались мы с ним, препроводив в дороге несколько дней вместе и не только возобновив, но утвердив еще более между собою дружество. Он, услышав, куда и зачем я еду, и будучи меня гораздо старше и в свете опытнее, не оставил снабдить меня многими добрыми и полезными советами, и я обязан ему за то довольно много.

Вскоре после того доехал я до *Дерпта*, а потом до *Нарвы*, и едучи чрез всю *Лифляндию* и *Эстляндию*, по самой той дороге, по которой несколько раз во время младенчества и малолетства моего хаживали мы с полком нашим, напоминал все тогдашния времена, и узнавая многия места и почтовые двory, в которых мы с покойным родителем моим стаивали, взирал на них с некаким приятным чувствованием и удовольствием особливым. В особливости же разстроган я был тем местом в *Дерпте*, где я в первый раз в жизни разставался с моею матерью и которое было мне очень памятно; а на *Нарву*, зная уже всю историю оной и что с нею в прежния времена происходило, не мог я смотреть без особливаго чувствования и приятнаго любопытства.

Наконец 24-го числа марта и почти в самую половодь доехал я благополучно до *Петербурга*. Но как с сего времени начинается новый и достопамятнейший период моей жизни, то, отложив говорить о том до письма будущаго, теперешнее сим кончу, сказав вам, что я есмь ваш и прочая.

Конец
осьмой части
(7 ноября 1801)



ЧАСТЬ IX

(сочинена 1800, переписана 1805 года)

ИСТОРИЯ МОЕЙ ПЕТЕРБУРГСКОЙ СЛУЖБЫ

1762

В ПЕТЕРБУРГЕ

Письмо 91-е

Любезный приятель!

Описав в предследующих письмах и в последних частях собрания оных всю историю моей военной службы и достопамятного моего пребывания в Пруссии и жительства в Кёнигсберге, приступлю теперь к сообщению вам истории моей петербургской службы, которая не может почтена быть военною, а была особливая, и хотя кратковременная, но по многим отношениям не менее достопамятна, как и военная.

Продолжалась она во все время царствования императора *Петра III* – время, которое в истории всех земель, а особливо нашего отечества, останется навеки достопамятным.

И как мне почти всему происходившему тогда у нас в Петербурге случилось быть самовидцем и многия происшествия и обстоятельства у меня еще в свежей памяти, то, может быть, известия и описания оных или, по крайней мере, всего того, что случилось мне тогда самому видеть и узнать, будет для вас и для тех из потомков моих, коим случится читать сии письма, не менее интересны и любопытны, как и все прежняя, к чему теперь и приступлю.

В последнем моем письме остановился я на том, что приехал из Кёнигсберга в Петербург, а теперь, продолжая повествование мое, прежде всего замечу, что случилось сие накануне самага Благовещенья и что въезжал я в сей город с чувствами особливыми и такими, которыя никак изобразить не могу, – вам известно уже, по какому случаю и зачем я тогда ехал в сию столицу.

Я поспешал к прежнему своему начальнику, генерал-аншефу *Корфу*, отправлявшему тогда должность генерала-полицеймейстера в Петербурге, и ехал для служения при нем флигель-адъютантом, в которую должность угодно было ему меня избрать и от Военной коллегии истребовать, ибо в тогдашния времена имели все генералы право в штаты свои выбирать, кого они сами похотят, и Военная коллегия обязана была безпрекословно давать им оных и выписывать их откуда бы то ни было, а таким точно образом истребован и выписан был и я.

Вы знаете также, что произошло сие без всякаго моего о том домогательства и желания. Я, живучи в мире и в тишине в Кёнигсберге и занимаясь своими учеными упражнениями, всего меньше о том думал и помышлял и совсем не знал о сем требовании и определении до самага получения о том из Военной коллегии указа, так как и поныне не знаю, как сие собственно произошло, и сам ли генерал сие вздумал и затеял, или подбужден был к тому бывшим при нем адъютантом, приятелем моим, господином *Балабиным*. Но как бы то ни было, но я был определен без всякаго отобрания наперед на то моего согласия, которое едва ль бы воспоследовало, если б вздумалось им наперед спросить меня о том, хочу ли я или нет быть в сей должности и отправлять оную; ибо бешеный и самый строптивый нрав и странный характер сего вельможи был мне так коротко известен и так для меня устрашителен, что я никак не похотел бы добровольно подвергнуть себя всем суровостям и жестокостям его, если б меня спросили, а особливо при тогдашних обстоятельствах, когда все мысли мои заняты уже были помышлениями об отставке и воображениями всех приятностей деревенской уединенной жизни. А потому и тогда ехал я в Петербург сколько с хотением, столько ж и не с хотением; ибо сколько, с одной стороны, сколько ласкала меня та мысль, что буду служить при знаменитом вельможе, который находился тогда в особой милости у государя, и служить в такой должности и чине, который доставлять мне будет случай видеть весь двор и все до того мною невиданное и неизвестное, и чрез са-

мое то многия удовольствия, столько, с другой стороны, устрашали меня предусматриваемые необъятные труды и, по дурноте характера генеральского, самая неприятности и досады, с сею должностью сопряженные.

При таких обстоятельствах не успел я, приблизившись к Петербургу, усмотреть впервые золотые спицы высоких его башен и колоколен, также видимый издалека и превозвышающий все кровли верхний этаж, установленный множеством статуй, новаго Дворца зимняго¹, который тогда только что отделялся, и коего я никогда еще не видывал; как вид всего того так для меня был поразителен, что вострепетало сердце мое, взволновалась вся во мне кровь и в голове моей, возобновясь помышления обо всем вышеупомянутом, в такое движение привели всю душу мою, что я, вздохнув сам в себе, мысленно возопил: «О град! град пышный и великолепный!.. Паки вижу я тебя! Паки наслаждаюсь зрением на красоты твои! Каков-то будешь ты для меня в нынешний раз? До сего бывал ты мне всегда приятен! Ты видел меня в недрах своих младенцем, видел отроком, видел в юношеском цветущем возрасте и всякий раз не видал я в тебе ничего, кроме добра! Но что-то будет ныне? Счастлием ли каким ты меня наградишь или в несчастье свергнешь? И то и другое легко быть может! Я въезжаю в тебя в неизвестности сущей о себе! Почему знать, может быть, ожидают уже в тебе многия и такая неприятности меня, которые заставят меня проклинать ту минуту, в которую пришла генералу первая мысль взять меня к себе; а может быть, будет и противное тому, и я минуту сию благословлять стану».

Сими и подобными собеседованиями с самим собою занимался я во все время въезжания моего в Петербург. Но наконец одна духовная ода славнаго и любимаго моего немецкаго пиита Куноса, ода, которую во всю дорогу я твердил наизусть и которая, начинаясь сими словами: «Есть Бог, пекущийся обо мне, а я, я смущаюсь и горюю и хочу сам пещися о себе», неведомо как ободряла и подкрепляла меня при смутных обстоятельствах

¹ Зимний дворец строился с 1735 по 1739 гг. по проекту и под руководством архитектора Растрелли. Окончательно он был отделан в 1768 г. Дворец стоил огромных денег. На его постройке работали лучшие иностранные резчики и скульпторы (Жилет, Дункер, Ролянд), исполнявшие свои работы по рисункам Растрелли.

Растрелли внес в русскую архитектуру видоизмененное прихотливым капризом классическое искусство – стиль «барокко», который при осуществлении проектов упрощался. Зимний дворец, четырехэтажный, несколько продолговатый четырехугольник, украшен на карнизах и нишах статуями и кариатидами, которых особенно много на южном фасаде здания; о них-то и говорит Болотов.

тогдашних, прогнала и развеяла и в сей раз, как вихрем прах, все смутные помышления мои и произвела то, что я въехал в город сей с спокойным и радостным духом.

Мое первое попечение было о том, чтоб приискать себе на первый случай какую-нибудь квартирку, ибо прямо к генералу на двор в кибитке своей приехать мне не хотелось. Я хотя и не сомневался в том, что должен буду жить в его доме, однако все-таки хотелось мне, на первый случай, обострожиться где-нибудь поблизости его на особой квартирке и явиться к нему не рохлею дорожным, а убравшись и снарядившись.

И потому, по приближении к дому его, бывшему на берегу реки Мойки, велел я квартирку себе поискать, а по счастью, и нашли мне ее тотчас, хотя наипростейшую, но довольно уже изрядную и такую, что как после оказалось, что я в мыслях своих обманулся и мне в генеральском доме поместиться было негде, и я должен был стоять на своей квартире, то я на ней и остался и стоял до самого моего выезда из Петербурга, будучи в особенности доволен тем, что она была близка от дома генеральского и притом не дорогая.

На другой день, и как теперь помню, в день самого Благовещенья, вставши поране и желая застать генерала еще дома, и убравшись получше и надев свой новый кавалерийский мундир, пошел я к генералу явиться и, пришед в дом, старался прежде всего распроедать, где б мне можно было найти господина Балабина.

Меня провели к нему в другия маленькия хоромцы, бывшия на дворе, и он не успел меня завидеть, как бежал ко мне с распростертыми руками, говоря: «Ах! Друг ты мой сердечный, Андрей Тимофеевич! Как я рад, что ты наконец к нам приехал; мы впрах тебя уже заждались и не знали, что о тебе и думать, – боялись, что не сделалось ли уже чего с тобою при теперечней половоди! Ну, скажи же ты мне, мой друг!.. – продолжал он, меня обнимая и много раз целуя. – Все ли ты здорово и благополучно ехал? Все ли живы и здоровы наши кёнигсбергские друзья и знакомцы? Как они поживают и помнят ли меня?» – «Все, все хорошо и слава Богу! – отвечал я. – И кёнигсбергские наши все живы и здоровы, все вас по-прежнему еще любят и все велели вам кланяться». – «Ну, пойдем же, мой друг, пойдем к генералу, – подхватил он. – Он будет очень рад, тебя увидев, и у нас не было дня, в который бы мы с ним о тебе не говорили». – «Хорошо», – сказал я и пошел за ним, туда меня поведшим.

Мы нашли генерала в его кабинете, чешущаго волосы и убирающим-ся, с стоящим пред ним секретарем полицейским и держащим под мышкою превеликий пук бумаг.

Не успел генерал увидеть вошедшаго меня в комнату свою, как, обрадовавшись, возопил он: «Ах, вот и ты, Болотов! Слава, слава Богу, что и ты приехал! Мы взгоревались было уже о тебе, мой друг! Как это ты по такой распутице ехал? Поди, поди мой друг и поцелуемся...» Я подбежал к нему и, будучи крайне доволен толь ласковым его приемом, благодарил его за оказанную им мне милость. «Не за что! Не за что! – подхватил он. – А я сделал то, чем тебе был должен. Ты заслужил то, чтоб тебя нам помнить, и я очень рад, что мог тебе сделать сие маленькое, на первый случай, благодеяние. Поживем, мой друг, еще вместе, и я не сомневаюсь, что ты, по-прежней дружбе и по любви своей ко мне, постарайся и ныне поступками и поведением своим оправдать хорошее мое о тебе мнение». Я кланялся ему и уверял, что употреблю все силы и возможности к тому, чтоб заслужить дальнейшее его к себе благоволение и милость. «Хорошо, мой друг, – подхватил он, – я и не сомневаюсь в том, но скажи же ты мне теперь, как поживали вы без меня в нашем любезном Кёнигсберге? Довольны ли вы были Васильем Ивановичем и что подделывали там хорошенькаго?»

Сие подало нам тогда повод к предлинному разговору. Он расспрашивал меня обо всем, а я рассказывал ему, что знал, и о чем ему более знать хотелось. Наконец спросил он меня, где же я остановился? «На квартире», – сказал я. «Но для чего же не ко мне прямо на двор въехал, мы нашли бы, может быть, местечко, где б тебя поместить, хотя и тесненько, вправду сказать, у меня в доме». Я обрадовался, сие услышав, ибо надобно сказать, что мне самому не весьма хотелось жить у него в доме и быть всегда связаным и по рукам, и по ногам, а на квартире надеялся я иметь сколько-нибудь более свободы, а потому и отвечал я, что я могу стоять и на квартире. «Очень, очень хорошо! – подхватил он. – Но скажи, по крайней мере, не далеко ли она и не будет ли тебе затруднения всякий день ко мне отсюда ездить?» – «Очень близко, – отвечал я, – и чрез несколько только дворов от нашего дома». – «Всего лучше, – подхватил он, – но хороша ли и покойна ли она». – «Хороша, ваше высокопревосходительство!» – «Ну, так поживи же ты, мой друг, покуда на оной, а там мы уже посмотрим, а между тем о содержании своем нимало не заботься. Кушать ты здесь у меня кушай, а лошадей-то... небось, ты ведь на своих приехал?» – «На сво-

их» – сказал я. «Лошадей-то можешь ты всех распродать – на что тебе оне здесь? А оставь только одну, на которой тебе со мною ездить, да и той вели-ка ты брать корм с моей конюшни, а не покупай и не убычься».

Я благодарил его за сию милость, а генерал начал осматривать между тем меня с ног до головы и, увидев, что на мне не было шпор, сказал: Жаль, что нет на тебе теперь шпор, а то хотел было я поручить тебе теперь же маленькую комиссию, и чтоб ты съездил на минуту во дворец». Я извинялся в том, сказывая, что я пришел пешком, и того не знал, и что нет теперь со мною лошади. «Лошадь безделица! – сказал он. – Ею бы мы тебя уже снабдили... но постой, – продолжал он, шпоры-то есть и у меня излишняя. Подай-ко, мальй, мои маленькия серебряныя господину Болотову!.. А ты, мой друг, – обратясь к одному полицейскому офицеру, продолжал он, – ссуди-ка нас, пожалуй, на несколько минут своею лошадкою, ей ничего не сделается, а послать-то мне очень нужно!» – «С превеликою радостию! – отвечал офицер. – Лошадь готова!» и пошел приказывать подавать ее, а слуга между тем отыскал шпоры, надевал их на мои ноги. Я стоял и, протирая ему свои ноги, мысленно заботился о том, как бы мне получше исполнить первое возлагаемое на меня дело. Упомянутый генералом дворец возмутил во мне весь дух мой: как не бывал я еще отроду никогда во дворце, то был он мне тогда так страшен, как медведь, и я не знал, как к нему и приступиться, и подъехать.

Но смущение мое еще более увеличилось, как между тем как надевали на меня шпоры, генерал далее сказал: «Вот какое дело, зачем хотелось бы мне, чтоб ты, мой друг, во дворец съездил. Мне хочется, чтоб ты распроведал и узнал, что государь теперь делает и чем занимается?..» Слова сии поразили и смутили меня еще более. «Вот тебе на! – говорил я сам в себе. – И первый блин уже колом, и не напасть ли сущая?! Ну как это мне там и у кого распроедывать? – Никого-то я там не знаю и ни к кому приступиться, верно, не посмею! Ах, какое горе!»

Говоря сим и подобным сему образом сам в себе, готовился было я прямо сказать генералу, что комиссию, поручаемую им мне, я, по новости своей, вряд ли могу еще исполнить, но, по счастью, он сам, взглянув на меня, смущение мое приметил и, власно как опомнившись, мне сказал: «Да, ведь вот еще! Ты, надеюсь, не бывал еще во дворце и ни положения его и ничего не знаешь?» – «Точно так, ваше высокопревосходительство! – подхватил я. – И когда ж мне еще и бывать? Я приехал вчера ввечеру и нигде еще не был».

«Хорошо ж, – сказал он, – так я дам кого-нибудь тебя проводить и указать то заднее крылечко, к которому надобно тебе подъехать, а и там как поступить дам тебе наставление». – «Очень хорошо!» – сказал я. «А вот каким образом, – продолжал он, – как взойдешь ты на сие крылечко и маленькия тут сенцы, то войди в двери налево и в маленький покоец. Тут найдешь ты стоящего часового, и ты постой тут и подожди, покуда войдет какой-нибудь из придворных лакеев и тогда попроси ты, чтоб вызвали к тебе искусненько Карла Ивановича Шпрингера, и вели так и сказать ему, что ты прислан от меня к нему. И как он к тебе выйдет, то поклонись ему от меня, но смотри ж говори с ним по-немецки, а не по-русски, и скажи, что я велел просить распроедать о том, что теперь государь делает и чем занимается и весел ли он? и чтоб он дал чрез тебя мне знать о том, и буде он тебе прикажет подождать, то подожди». – «Хорошо!» – сказал я и, взяв в проводники ординарца, поехал.

Не могу изобразить вам, с какими чувствами и подобострастием приближался я в первый сей раз к сему обиталищу наших монархов; мне казалось, что самыя стены его имели в себе нечто величественное и священное, и если б не было со мною проводника, ведущаго меня смело к крыльцу тому, то я не только бы не нашел онаго, но и не посмел бы подъехать к нему; но тогда шел я как по писаному, и, нашед назначенный маленький покоец и в нем часового, попросил его, чтоб он показал, если войдет туда какой придворный лакей. И как мне недолго было дожидаться его, то по просьбе моей и вызван был ко мне Карл Иванович. Он был какой-то из придворных и, по всему видимому, такой, который мог свободно входить во внутренние царские чертоги, и не успел услышать от меня, чего генералу моему хочется, как сказал мне: «Подождите, батюшка, немножко здесь, я тотчас схожу и проведаю».

И действительно, он не более как минут через пять опять ко мне вышел и велел *Корфу* сказать, что государь занимался тогда разговорами с господином *Волковым*, тогдашним штатс-секретарем и министром, и, как думать надобно, о делах важных, и что в сей день вряд ли он будет свободным, и притом был он во все утро не гораздо весел. Я привез известие сие моему генералу и он был исправлением порученной мне комиссии очень доволен, и как в самое то время докладывали ему, что был стол готов, то сказал он мне: «Пойдем же, мой друг, теперь и пообедаем, а там поди себе отдыхать с дороги, а ко мне приезжай уже завтра поутру».

Я нашел у него стол, накрытый человек на 20, и множество людей в зале его ожидающих. Мы тотчас сели за стол, и господин *Балабин*, севши подле меня, рассказал мне обо всех тут бывших. Были тут все мои новые сотоварищи, или разные штат его составляющие чиновники; были некоторые полицейские офицеры, из коих попеременно всегда бывал один при генерале и ездил всюду и всюду ординарцем и служил для разсылок по полицейской части; были некоторые кирасирские полку его офицеры; были иностранцы, коих содержал генерал на своем почти коште, были и посторонние; и я узнал, что генерал жил тогда в Петербурге хотя далеко не так пышно и весело, как в Кёнигсберге, но стол был у него всегда открытый и хороший, и всегда накрывался приборов на 20 и более, несмотря хотя когда генерал не обедал дома, а где-нибудь в гостях или во дворце у государя.

По окончании стола как скоро генерал ушел в свою спальню для отдохновения, а мы все остались еще в зале, то обступили меня все, штат генеральский составляющие, и г. Балабин, как наш генеральс-адъютант, рассказывал мне обо всех, кто они таковы, и рекомендовал меня из них каждому. Был тут наш обер-квартирмейстер *Ланг*, был обер-аудитор *Ушаков*, был генеральский приватный секретарь *Шульц*, и наконец сотоварищ мой, другой флигель-адъютант князь *Урусов* — все они были люди совсем еще мне незнакомы, но все люди добрые, ласковые, все ласкались ко мне всячески, и все старались со мною познакомиться. Я соответствовал им тем же и рекомендовал себя всякому в дружбу.

Но ни с кем я так скоро не познакомился и не сдружился, как с помянутым генеральским секретарем господином Шульцом. Был он человек молодой, хорошаго поведения, и притом студировавший в университетах и довольно ученый.

Он не успел узнать, что я говорю по-немецки и охотник к наукам, как тотчас прилепился ко мне, вступил со мною в разные разговоры, повел меня в свои комнаты, в которых он жил в доме генеральском, показывал мне маленькую свою библиотечку, и увидев меня крайне любопытным и все книги его, которых таки было довольно, с великою жадностью пересматривающего, предлагал мне ее к услугам и уверял, что он за удовольствии почтет, если я всегда, когда мне будет досужно, посещать его стану в сих комнатах и праздное время препровождать с ним вместе; чем я и доволен был в особенности, и впоследствии времени подружившись с ним короче, и действительно всегда, когда мне только было можно, ухаживал

к нему, и там с лучшим удовольствием провождал время, нежели в передней генеральской, где мы обыкновенно сживали, дожидаясь ежеминутно повелений от генерала, и нередко в праздности, не без скуки и зеваючи, время по несколько часов иногда провождали.

Из всех наших штатских сей секретарь жил только один в генеральском доме, а прочия все так же, как и я, стояли на своих квартирах: для него же отведены были два покойца на другом конце дома, который и весь был не слишком велик, поземный деревянный, и стоял на берегу реки Мойки в недалеком расстоянии от тогдашняго дворца. Что касается до сего императорского дома, то был тогда также деревянный и не весьма хотя высокий, но довольно просторный и обширный, со многими и разными флигелями. Но дворец сей был не настоящий и построенный на берегу Мойки, подле самага полицейскаго моста, на самом том месте, где воздвигнут ныне огромный и великолепный дом для дворянскаго собрания или клуба. Он был временный и построен тут для пребывания императорской фамилии на то только время, покуда строился тогда большой Зимний дворец подле Адмиралтейства на берегу Невы-реки, который, существуя и поныне, был обиталищем великой Екатерины и который тогда только что отстроивался, и говорили, что государь намерен был вскоре переходить в оный.

В сем-то деревянном дворце препроводила последние годы жизни своей и скончалась покойная императрица *Елисавета Петровна*.

О кончине ея носились тогда разные слухи, и были люди, которые сомневались и не верили тому, чтоб сделавшаяся у нея и столь жестокая рвота с кровью была натуральная, но приписывали ее некакому сокровенному злодейству и подозревали в том как-то короля прусскаго, доведеннаго последними годами войны до такой крайности и изнеможения, что он не был более в состоянии продолжать войну и полугодичное время, если б мы по-прежнему имели в ней соучастие. Письмо друга его, маркиза *д'Аржанса*, писанное к нему в то время, когда находился он в руках наших, и то таинственное изречение в оном, что голанскому посланнику, случившемуся тогда быть в Берлине, удалось сделать ему королю такую услугу, за которую ни он, ни все потомки его не в состоянии будут ему довольно возблагодарить и уведомление о которой не может он вверить бумаге, было для многих неразрешимою загадкою и подавало повод к разным подозрениям. Но единому Богу известно, справедливы ли были все сии подозрения, или совсем были неосновательны.

Но как бы то ни было, но мы лишились монархини сей не при старых еще ее летах, и прежде, нежели все мы думали и ожидали. И как она была государыня кроткая, милостивая и человеколюбивая и всех подданных своих как мать любила, а сверх того и во все почти двадцатилетнее время благополучного ее царствования Россия наслаждалась вождеденнейшим миром и благоденствием, то и сама любима была искренно всеми ее подданными и не было никого из них, кто б не жалел о ее рановременной кончине. Самые иностранные почитали ее и писатели их приписывали ей многия похвалы и описывали характер ее следующими чертами:

«Роста была она, – говорили они, – нарочито высокога и стан имела пропорциональный, вид благородный и величественный; лицо имела она круглое, с приятною и милостивою улыбкою, цвет лица белый и живой, прекрасные голубые глаза, маленький рот, алая губы, пропорциональную шею, но несколько толстоватая длани, а руки прекрасныя. Когда случалось ей одеваться в мужское платье, что обыкновенно делывала она в день учреждения своей гвардии, то представляла собою очень красиваго и статнаго мужчину, имеющаго героическую походку, сидящаго прекрасно на лошади и танцующаго с приятностию. Внутренняя ее душевная дарования были не менее благородны и изящны. Она имела живой и проницательный ум и столь хороший разумок, что обо всем могла говорить с основательностию и охотно разговаривала. Кроме природнаго своего языка, говорила и она разными иностранными, в особливости же могла хорошо изъясняться на немецком и французском языке, а разумела и италианский. О благоразумном и осторожном поведении ее свидетельствуют поступки ее тогда, когда была она, по кончине императора Петра II, исключена от наследства. Благоразумие ее подкреплялось мужественным постоянством и героическою смелостию. Она знала, как по правилам правосудия наказывать виновных, так по правилам благоразумия прощать оных, а невинных избавлять от наказания. Религия производила в ней глубокия впечатления собою. Она была набожна без лицемерства и уважала много публичное богослужение. Одежда ее и убранствы, также ее пиршества изъясвляли хороший ее вкус. Она любила науки и художества, а особливо музыку и живописное искусство, и потому собрала множество наипрекраснейших картин. Великодушие ее сердца и признательность к верным ее служителям не мог никто довольно выхвалить. Коротко, она

была образцовая монархиня, в которой соединены были все свойства великой государыни и правительницы, хвалы достойной».

Вот какими чертами изображали иностранные характер сей монархини. Из россиян же некоторые приписывали ей уже более слабости и мягкости в правлении, нежели сколько иметь бы надлежало, и утверждали, что от самого того во время правления ея вкралось в государство множество всякаго рода злоупотреблений и что некоторые из них пустили столь глубокие корни, что и помочь тому и истребить их было уже трудно, что отчасти некоторым образом было и справедливо, а особливо относительно до последних годов ея правления.

Но как бы то ни было, но сожаление о кончине ея было всеобщее, и тем паче, что все как-то не великую надежду возлагали на ея наследника, и ожидали от него не столько добра, сколько неприятного, что, к истинному сожалению, и действительно оказалось.

Впрочем, по кончине и спустя дней 20 и погребена была она со всею подобающею и приличною такой великой монархини пышною церемониею, в Петропавловском соборе, где покоился прах великаго ея родителя; однако я всего того уже не застал и все сие было уже кончено прежде, нежели я доехал до Петербурга.

Теперь следовало бы мне сказать вам, что-нибудь и о тогдашнем новом нашем государе и ея наследнике и прежде продолжения моей истории изобразить хотя вскользь характер и сего монарха, а потом хотя вкратце пересказать вам то, что происходило в Петербурге со времени начала вступления на престол его до моего приезда; но как материи сей наберется на целое особое письмо, а сие достигло уже до обыкновенной своей величины, то отложил я то до письма будущаго, а теперешнее окончу, сказав вам, что я есмь и прочая.

ИМПЕРАТОР ПЕТР III

Письмо 92-е

Любезный приятель!

В последнем моем письме остановился я на том, что хотел вам пересказать все то, что известно было мне о характере новаго тогдашняго нашего

императора, и о происшествиях, бывших до приезда моего в Петербург. И как все сие некоторым образом нужно для объяснения последующего описания моей истории, то и приступлю теперь к сему описанию.

Всем известно, что был сей государь и хотя и внук *Петра Великого*, но не природной россиянин, но рожденный от дочери его *Анны Петровны*, бывшей в замужестве за голштинским герцогом *Карлом Фридрихом*, в Голштинии, и воспитанный в лютеранском законе, следовательно, был природою немец и назывался сперва *Карлом-Петром Ульрихом*.

Сей голштинский принц был еще в 1742 году, и когда было ему только 14 лет от рождения, признаваем наследником шведскаго и российскаго престола и получал уже от Швеции титул королевскаго высочества. Но как императрица *Елисавета*, будучи незамужнею, не имела никакого наследника, а сей принц был родной ея племянник, то избрав и назначив его по себе наследником, выписала его еще вскоре по вступлении своем на престол из Голштинии, и он был еще тогда привезен к нам в Россию. Тут, по принятии греческаго закона, назван он Петром Федоровичем, и вскоре потом, а именно в 1744 году, совокуплен браком на выписанной также из Германии, немецкой ангалт-цербской принцессе Софии Аугусты, названною потом *Екатериною Алексеевною*, от котораго супружества имел он уже в живых одного только, рожденнаго в 1754 году, сына *Павла*.

По особливому несчастью, случилось так, что помянутый принц, будучи от природы не слишком хорошаго характера, был и воспитан еще в Голштинии не слишком хорошо, а по привезении к нам в дальнейшем воспитании и обучении его сделано было приставами к нему великое упущение; и потому с самага малолетства заразился уже он многими дурными свойствами и привычками и возрос с нарочито уже испорченным нравом. Между сими дурными его свойствами было, по несчастью его, наиглавнейшим то, что он как-то не любил россиян и приехал уже к ним власно как со врожденною к ним ненавистью и презрением; и как был он так неосторожен, что не мог того и сокрыть от окружающих его, то самое сие и сделало его с самага приезда уже неприятным для всех наших знатнейших вельмож и он вперил в них к себе не столько любви, сколько страха и боязни. Все сие и неосторожное его поведение и произвело еще при жизни императрицы *Елисаветы* многих ему тайных недругов и недоброхотов, и в числе их находились и такие, которыя старались уже отторгнуть его от самага назначеннаго ему наследства. Чтoб надежнее успеть им в своем на-

мерении, то употребляли они к тому разные пути и средства. Некоторые старались умышленно не только поддерживать его в невоздержностях всякого рода, но заводить даже в новья, дабы тем удобнее не допускать его заниматься государственными делами и увеличивали ненависть его к россиянам до того, что он даже не в состоянии был и скрывать оную пред людьми. К вящему несчастию, не имел он с малолетства никакой почти склонности к наукам и не любил заниматься ничем полезным, а что и того было хуже, не имел и к супруге своей такой любви, какая бы быть должна, но жил с нею не весьма согласно. Ко всему тому совокупилось еще и то, что каким-то образом случилось ему сдружиться по заочности с славившимся тогда в свете королем прусским и заразиться к нему непомерно уже любовью и не только почтением, но даже подобострастием самым. Многие говорили тогда, что помогло к тому много и вошедшее в тогдашния времена у нас в сильное употребление масонство. Он введен был как-то льстецами и сообщниками в невоздержностях своих в сей орден, а как король прусский был тогда, как известно, *гранд-метром* сего ордена, то от самого того и произошла та отменная связь и дружба его с королем прусским, поспешествовавшая потом так много его несчастию и самой пагубе. Что молва сия была не совсем несправедлива, в том случилось мне самому удостовериться. Будучи еще в Кёнигсберге и зашед однажды пред отъездом своим в дом к лучшему тамошнему переплетчику, застал я нечаянно тут целую шайку тамошних масонов и видел собственными глазами поздравительное к нему письмо, писанное тогда ими именем всей тамошней масонской ложи; а что с королем прусским имел тогда он тайное сношение и переписку, производимую чрез нашего генерала *Корфа* и любовницу его графиню *Кейзерлингшу*, и что от самого того отчасти происходили и в войне нашей худые успехи, о том нам всем было по слухам довольно известно; а, наконец, подтверждало сие и некоторым образом и то, что повсеместная молва, что наследник был масоном, побуждала тогда весьма многих из наших вступать в сей орден, и у нас никогда так много масонов не было, как в тогдашнее время. Но как бы то ни было, но всем было известно, что он отменно любил и почитал короля пруссакого. А сия любовь, соединясь с разстройкою его нрава и вкоренившеюся глубоко в сердце его и ненавистию к россиянам, произвела то, что он при всяких случаях хулил и порочил то, что ни делала и не предпринимала императрица и ея министры. И как государыня сия с самого уже начала прусской

войны сделалась как-то нездорова и подвержена была частым болезненным припадкам и столь сильным, что не один раз начинали опасаться о ее жизни, то не усумнился он изъявлять даже публично истинное свое расположение мыслей и даже до того позабывался, что при всех таких случаях, когда случалось нашей армии или союзникам нашим претерпевать какой-нибудь урон или потерю, изъявлял он первый мнимое сожаление свое министрам крайне насмехательным образом. Легко можно заключить, что таковыя насмешки его и шпынянья неприятны были как министрам нашим, так и всем россиянам, до которых доходил слух об оном, и что таковое поведение наследника престола производило в них боязнь и опасение, чтоб не произошли от того в то время печальныя следствия, когда вступит он в правление и получит власть безпредельную.

Опасение сие тем более обезпокоивало наших министров, что они предусматривали, что некоторыя из них за недоброхотство свое к нему будут жестоко от него тогда наказаны, а сие и побудило некоторых из них известить императрицу обо всем беспорядочном житье и поведении ее племянника, о малом его старании учиться науке правления и о ненависти его к российскому народу, и довели императрицу до того, что велено было отлучить его от всех государственных дел и не допускать более в конференцию, или тогдашний Государственный совет. И как чрез то не оставалось ему ничего другого делать, как заниматься своими веселостями, то и делался он к правлению от часу неспособнейшим. Итак, при сих обстоятельствах было ему совсем и невозможно узнать самыя фундаментальныя правила государственнаго правления и недоброхотство министров к нему было так велико, что они переменили даже весь штат при дворе его и отлучили всех прилепившихся к нему слишком; так, что любимцы его подвергались тогда великой опасности, а все дозволенное ему состояло в том, что он выписал несколько своих голстинских войск и в подаренном ему от императрицы Ораниенбаумском замке занимался экзерцированием оных и каждую весну и лето препровождал в сообществе молодых и распутных офицеров.

Со всем тем как министры наши ни старались внушить императрице недоверие к ее племяннику и как ни представляли, что от него совершеннаго опровержения всей российской монархии должно было ожидать и опасаться, но она не хотела никак согласиться на то, чтоб исключить его от наследства, но наказывала еще старающихся его от наследства отторгнуть и предпринимающих что-нибудь против его без ее ведома и соиз-

воления. Достопамятное и всю Россию крайним изумлением поразившее падение бывшего тогда великим канцлером и первым государственным министром графа *Бестужева*, министра всеми хвалимаго и всю Европою высоко почитаемаго и даже всеми иностранными дворами уважаемаго, было тому примером и доказательством. Он пал при начале войны прусской, лишен был всех чинов и достоинств и сослан в ссылку в Сибирь (?) как величайший государственный преступник. В тогдашнее время никто не знал истинной несчастья его причины и не могли все тому довольно надивиться; но после узнали вскорости, что сей министр, предусматривая малую способность наследника к правлению государственному и приметив крайнее отвращение его от нашей российской религии и все прочия его дурныя качества и свойства, затевал, составив подложную духовную, исключить от престола законнаго наследника и доставить корону императорскую малолетному еще тогда его сыну, с тем чтоб до совершеннаго возраста его управляла государством его мать с некоторыми из вельмож знаменитейших и сенаторов, которыя были к тому именно и назначены. И как все сие каким-то случаем было императрицою узнано и открыто, то и излила она за то гнев свой на *Бестужева* и как вышеупомянуто наказала его за дерзость лишением всех чинов и ссылкой.

Таким образом и осталось все на прежнем основании до самой кончины императрицыной, и она, как ни ласкалась надеждою, что наследник ея со временем исправится и сделается лучшим, но он продолжал непрерывно жить и вести себя по-прежнему и провождать время свое в сообществе окружавших его льстецов и распутных людей, в невоздержностях всякаго рода, и вступил наконец на престол с непомерною приверженностию к королю прусскому, с обожанием всех его обыкновений и обрядов, а особливо военных, с крайним отвращением к греческому исповеданию веры, с ненавистью и презрением ко всем россиянам и с дурным, извращенным сердцем.

Со всем тем по некоторым делам, произведенным им в первые месяцы его правления, о которых упомянется ниже, можно было судить, что он от природы не таков был дурен, но имел сердце, склонное к добру и такое, что мог бы он быть добродетельным, если б не окружен был злыми и негодными людьми, развратившими его совсем, и когда б, по несчастию, не предался он уже слишком всем порокам и не последовал внушаемым в него злым советам более, нежели сколько надобно было.

Сии негодные люди довели его наконец до того, что он стал подозревать в верности к себе свою супругу. Они уверили его, что она имела соучастие в Бестужевском умысле, а потому, с самого того времени и возненавидя он свою супругу, стал обходиться с нею с величайшею холодностью и слюбился, напротив того, с дочерью графа *Воронцова* и племянницею тогдашняго великаго канцлера, *Елисаветою Романовною*, прилепясь к ней так, что не скрывал даже ни пред кем непомерной к ней любви своей, которая даже до того его ослепила, что он не восхотел от всех скрыть ненависть свою к супруге и к сыну своему, и при самом еще вступлении своем на престол сделал ту непростительную погрешность и с благоразумием совсем не согласную неосторожность, что в изданном первом от себя манифесте не только не назначил сына своего по себе наследником, но не упомянул об нем ни единым словом.

Не могу изобразить, как удивил и поразил тогда еще сей первый его шаг всех россиян и сколь ко многим негодованиям и разным догадкам и суждениям подал он повод. Но всеобщия негодования сии увеличились еще более, когда тотчас потом стали разсеяться повсюду слухи и достигать до самого подлаго народа, что государь не успел вступить на престол, как предался публично всем своим невоздержностям и совсем неприличным такому великому монарху делам и поступкам, и что он не только с помянутою *Воронцовою*, как с публичною своею любовницею, препровождал почти все свое время; но, сверх того, в самое еще то время, когда скончавшаяся императрица лежала во дворце еще во гробе и не погребена была, целыя ночи провождал с любимцами, льстецами и прежними друзьями своими в пиршествах и питье, приглашая иногда к тому таких людей, которыхия нимало недостойны были сообщества и дружескаго собеседования с императором, как, например: итальянских театральных певиц и актрис вкупе с их толмачами, из которых многия, приобретя себе великое богатство, вытащили потом с собою из государства в свое отечество; а что всего хуже, разговаривая на пиршествах таковых въявь обо всем и обо всем, и даже о самых величайших таинствах и делах государственных.

Все сие и предпринимаемое в самое то же время скорое и дружное перековеркивание всех дел и прежних распорядков, а особливо преобразование всего войска и переделывание всего, до воинской службы относящагося, на прусский манер, и явно оказуемая к тогдашнему нашему неприятелю, королю прусскому, приверженность и безпредельное почтение

и ко всему прусскому уважение, приводило всех в неописанное изумление и негодование; и я не знаю, что воспоследовало б уже и тогда, если б не поддержал он себя несколькими оказанными в первые дни своего правления некоторыми важными милостями и благотворительствами.

Первейшею и наиглавнейшею милостию изо всех было прежде уже упомянутое освобождение всего российского дворянства из прежде бывшей неволи и дарование оному навсегда совершенной *вольности*, с дозволением ездить всякому, по произволению своему, в чужия земли и куда кому угодно. Великодушное сие деяние толико тронуло все дворянство, что все неописанно тому обрадовались, и весь Сенат, преисполнясь радостью, приходил именем всего дворянства благодарить за то государя, и удовольствие было всеобщее и самое искреннее. Другое и не менее важное благотворительство состояло в том, что он уничтожил прежнюю нашу и толь великий страх на всех наводившую и так называемую тайную канцелярию и запретил всем кричать по-прежнему «*Слово и дело*» и подвергать чрез то бесчисленное множество невинных людей в несчастья и напасти. Превеликое удовольствие учинено было и сим всем россиянам, и все они благословляли его за сие дело.

Далее восхотел было он для пресечения всех злоупотреблений, господствующих у нас в судах и расправах, по причине уже умножившихся слишком указов и перепутавшихся законов, велеть сочинить и издать новое уложение по образцу прусского, и Сенат велел было уже и перевести так называемое «*Фридрихово* уложение», но как дело сие препоручено было людям неискусным и неопытным, то и не возымело оно тогда успеха.

Кроме сего, приказал он освободить из неволи бывшего в Сибири, в ссылке, славного *Миниха*, бывшего некогда у нас фельдмаршалом и победителем турок и татар и привезти его с сыном в Петербург. Сей великий воин и министр, препроводив целыя двадцать лет в отдаленных сибирских пределах в бедности, нужде и неволе, был в сие время уже очень стар, и как мне история его была известна, и он привезен был в Петербург уже при мне, то смотрел я на сего почтенного старца с превеликим любопытством и не мог довольно насмотреться.

Сими и некоторыми другими благотворительностями начал было сей государь вперять о себе лучшия мысли в своих подданных, и все начали было ласкаться надеждою нажить в нем со временем государя добраго, но

последовавшие за сим другия и нимало с сими не сообразныя деяния, скоро в них сию надежду паки разрушив, увеличили в них ропот и негодование к нему еще более.

К числу сих принадлежало наиглавнейше то, с крайнею неосторожностью и неблагоприятием сопряженное дело, что он вознамерился было переменить совсем религию нашу, к которой оказывал особенное презрение. Начало и первый приступ к тому учинил он изданием указа об отобрании в казну у всех духовных и монастырей все их многочисленныя волости и деревни, которыми они до сего времени владели, и об определении архиереям и прочему знатному духовенству жалованья, также о непострижении никого вновь в монахи ниже тридцатилетняго возраста. Легко можно всякому себе вообразить, каково было сие для духовенства и какой ропот и негодование произвело во всем их корпусе; все почти въявь изъявляли крайнюю свою за сие на него досаду, а вскоре после сего изъявил он и все мысли свои в пространстве чрез призвание к себе первенствующаго у нас тогда архиерея Дмитрия *Сеченова* и приказание ему, чтоб из всех образов, находящихся в церквах, оставлены были в них одни изображающие Христа и Богородицу, а прочих бы не было; также, чтоб всем попам предписано было бороды свои обрить и вместо длинных своих ряс носить такое платье, какое носят иностранные пасторы. Нельзя изобразить, в какое изумление повергло сие приказание архиепископа Дмитрия. Сей благодушный старец не знал, как и приступить к исполнению такового всего меньше ожидаемаго повеления и усматривал ясно, что государь не иное что имел тогда в намерении своем, как переменение религии во всем государстве и введение лютеранскаго закона. Он принужден был объявить волю государеву знаменитейшему духовенству, и хотя сие притом только одном до времени осталось, но произвело уже во всех духовных великое на него неудовольствие, поспешествовавшее потом очень много к бывшему перевороту.

Таковое ж негодование во многих произвел и число недовольных собою увеличил он и тем, что с самаго того часа, как скончалась императрица, не стал уже он более скрывать той непомерной приверженности и любви, какую имел всегда к королю прусскому. Он носил портрет его на себе в перстне безпрерывно, а другой, большой, повешен был у него подле кровати. Он приказал тотчас сделать себе мундир таким покроем, как у пруссаков, и не только стал сам всегда носить оный, но восхотел и всю

гвардию свою одеть таким же образом; а сверх того, носил всегда на себе и орден прусского короля, давая ему преимущество пред всеми российскими.

А всем тем неудовольствуясь, восхотел переменить и мундиры во всех полках, и вместо прежних одноцветных зеленых поделал разноцветные такие и таким покроем, каким шьются у пруссаков оные.

Наконец и самым полкам не велел более называться по-прежнему, по именам городов, а именоваться уже по фамилиям своих полковников и шефов; а сверх того, введя уже во всем наистрожайшую военную дисциплину, принуждал их ежедневно экзерцироваться, несмотря, какая бы погода ни была, и всем тем не только отяготил до чрезвычайности все войска, но и, огорчив всех, навлек на себя, а особливо от гвардии, превеликое неудовольствие.

Но ничем он так много всех россиян не огорчил, как отступлением от всех прежних наших союзников и скорым всего меньше всеми ожидаемым перемирием, заключенным с королем прусским. Сие перемирие заключено было уже вскоре после отъезда моего из Кёнигсберга, в померанском местечке *Старгарде*, и подписано марта 16-го дня, с прусской стороны стетинским губернатором принцем Бевернским, а с нашей, по повелению его, генералом князем Михаилом Никитичем *Волконским*, и заключено с такою скоростью, что самые начальники армии ничего о том не знали, куда все было уже кончено.

Нельзя изобразить, какой чувствительный удар сделан был тем всем нашим союзникам и как разрушены и разстроены были тем все их планы и намерения, а крайне не довольны были тем и все россияне. Они скрежетали зубами от досады, предвидя по сему преддверию мира, что мы лишимся всех плодов, какая могли б пожать чрез столь долговременную, тяжкую, многокоштную и кровопролитную войну, и лишимся всей приобретенной оружием своим славы. Вся Пруссия была тогда завоеванною и присягнула уже покойной императрице в подданство.

Кольберг и многия другия места были в руках наших и вся почти *Померания* занята была нашими войсками; а тогда предусматривали все, что мы все сие отдадим обратно, и за все свои труды, кошты и уроны в людях и во всем, кроме единого стыда и безславия, не получим ни малейшей награды. А как в помянутом перемирии и заключенном трактате, между прочим, упомянуто было, что находившийся при цесарской армии наш

корпус, под командою графа *Чернышова*, немедленно долженствовал от цесарцев отойти прочь и возвратиться чрез прусския земли к нашей армии, то все опасались, чтоб не поступлено было далее, и из уважения к королю прусскому не только сему корпусу, но и всей нашей армии не повелено б было соединиться с прусскою.

Все сие смущало и огорчало всех истинных патриотов и во всех россиянах производило явный почти ропот и неудовольствие; а как не радовало их и все прочее ими видимое и до их слуха доходящее, а особливо слухи о вышеупомянутом беспорядочном и постыдном поведении государевом, то сие еще более умножало внутреннее негодование народа, оказуемое ко всем делам и поступкам государя.

Вот в каком положении были дела и все прочее в Петербурге в то время, как я в него приехал. Я нашел весь город вместо прежней тишины, мира и спокойствия, власно как в некаком треволнении, шуме и беспокойствии. Ежедневное мунстрование и марширование по всем улицам войск, скачка карет и верхами разнаго рода людей и бегание самага народа придавало ему такую живость, в какой его никогда не только я, но и никто до того не видывал.

И в Петербурге во всем и во всем произошло столько перемен и все обстоятельства так изменились, что истинно казалось, что мы тогда дышали и воздухом совсем иным, новым и нам необыкновенным, и в самом даже существе нашем чувствовали власно как нечто новое и от прежняго отменное.

Но я заговорился уже обо всех сих обстоятельствах и происшествиях, так, что удалился совсем от своей истории; почему, предоставя продолжение оной письму последующему, теперешнее кончу, сказав вам, что я есмь... и прочее.

ПЕТЕРБУРГСКАЯ СЛУЖБА

Письмо 93-е

Любезный приятель!

Возвращаясь теперь к истории моей, скажу вам, что на другой день после приезда моего, приехал я к генералу своему уже совсем готовым к

отправлению моей должности, то есть одетым, причесанным по тогдашнему манеру, распудренным и уже в шпорах и на лошади, с завороченными полами.

Генерала нашел я уже опять одевающимся и слушающего дела, читаемая перед ним секретарем полицейским.

Не успел я войти в нему, как, осмотрев меня с ног до головы, сказал он: «Ну вот, хорошо! Одевайся всегда так-то и как можно чище и опрятнее; у нас ныне любят отменно чистоту и опрятность, и чтоб было на человеке все тесно, узко и обтянуто плотно. Но о мундирце-то надобно тебе постараться, чтоб у тебя был и другой и новый. Хорош и этот, но этот годится только запросто носить и ездить в нем со мною в будни, а для торжественных дней и праздников надобен другой. Видел ли ты наши новые мундиры?» – «Нет еще!» – отвечал я. «Так посмотри их, – подхватил генерал, – они уже совсем не такие, а белые, с нашивками и аксельбандом. Иван Тимофеевич тебе их покажет, поговори с ним. Он тебе скажет, где тебе все нужное достать и где заказать его сделать; только надобно, чтоб к наступающей Святой неделе был он у тебя готов и со всем прибором. Сходи к нему и теперь же посмотри, а там приходи опять сюда и будь готов в зале, не вздумается ли мне тебя куда послать. И приезжай ты ко мне всегда как можно поранее!» – «Хорошо», – сказал я и хотел было вытти. «Но лошадь-то есть ли у тебя? – спросил еще генерал, – и хороша ли?» – «Есть, – отвечал я и, кажется, изрядная». У меня и подлинно была одна лошаденка довольно изрядная. «Ну, – хорошо ж, мой друг, поди же к Балабину. Он тебе расскажет и о том, в чем состоять должна и должность твоя».

Господин *Балабин* встретил меня с обыкновенною своею ласкою и благоприятием.

– Ну, был ли ты у генерала? – спросил он. – И являлся ли к нему? Надобно, брат, привыкать тебе вставать и приезжать сюда как можно ранее. Генерал сам встает у нас рано и нередко разсылает вашу братью, адъютантов и ординарцев своих, едва только проснувшись; так и надобно, чтоб вы были уже готовы, и он любит это.

– Хорошо, – сказал я, – у генерала я уже был, и он послал меня к вам, чтоб вы мне рассказали, в чем должна состоять моя должность, и показали мне мундиры новые и показали, где мне для себя заказать его сделать.

– Изволь, изволь, мой друг! – отвечал он мне, усмехнувшись, – но сядь-ко и напьемся наперед чаю...

Между тем как его подавали продолжал он так:

– Что касается до должности, то она немудреная: все дело в том только состоит, чтоб быть тебе всегда готовым для разсылок и ездить туда, куда генерал посылать станет; а когда он со двора, так и ты должен ездить всюду с ним подле кареты его верхом и быть всегда при боце – вот и все... А мундирцы-то, посмотри-ка, брат, у нас какая! – и велел слуге своему показать свой и показать мне оный. Я ужаснулся, увидев его, и с удивлением возопил:

– Да что это за чертовщина, сколько это серебра на нем, да небось он и Бог знает, сколько стоит?

– Да-таки стоит копейки, другой, третьей, – сказал он, – и сотняга рублей надобна.

– Что вы говорите? – подхватил я, удивившись, и позадумался очень.

– Что? Или он тебе слишком дорог кажется? – продолжал он. – Но это еще слава Богу. Генерал наш поступил еще с милостью, выдумывая оный, а посмотрел бы ты у других шефов какая! Еще и более баляндриасов-то всяких нагорожено! Ныне у нас всякой молодец на свой образец. Это, сударь, было бы тебе известно и ведомо, мундир Корфова кирасирскаго полку, а как генерал наш шефом в оном, то должны и мы все иметь мундир такой же, и эти мундиры вскружили нам всем головы все. Дороговизна такая всему, что приступу нет; ты не поверишь, чего эти бездельные нашивочки и этот проклятый аксельбанд стоит! За все лупят с нас мастеровые втридорога, и все от поспешности только.

– Но где ж мне все это достать и кому велеть сделать? – спросил я.

– Об этом ты не заботься! – сказал он. – Эту комиссию поручи уже ты мне, мастера и мастерицы мне все уже знакомы; но вот вопрос, есть ли у тебя деньги-то, и достаточно ли их будет?

– То-то и беда-то! – отвечал я. – Деньги-то будут, их пришлют ко мне из Москвы, я писал уже об них, но теперь-то маловато и вряд ли столько наберется.

– Ну что ж! – сказал он. – Иное-то возьмем в долг, иное-то господа мастеровые на нас подождут, а за иное, где надобно, заплатим деньги, и буде мало, так, пожалуй, я тебя ссужу ими. Бери, братец, их у меня сколько тебе их надобно.

Я благодарил господина Балабина за дружеское его к себе расположение и просил уже постараться и заказать мне мундир сделать как можно скорей, и получив от него обещание, пошел к генералу ожидать его дальнейших повелений в зале.

Тут нашел я съехавшихся между тем и других сотоварищей своих. Был то помянутый другой флигель-адъютант князь *Урусов*, и полицейский дежурный офицер, исправляющий должность ординарца. Не успел я с ними поздороваться и молвить слова два-три об одевающемся еще генерале, как сделавшийся на улице под окнами шум привлекает нас всех к окнам, и какая же сцена представилась тогда глазам моим! Шел тут строем detachment гвардии, разряженный, распудренный и одетый в новые тогдашние мундиры и маршировал церемониею.

Как зрелище сие было для меня совсем еще новое, и я не узнавал совсем гвардии, то смотрел на шествие сие с особливым любопытством и любовался всем виденным; но ничто меня так не поразило, как идущий пред первым взводом низенький и толстенький старичок с своим эспантоном и в мундире, унизанном золотыми нашивками со звездой на груди и голубою лентою под кафтаном и едва приметною!...

– Это что за человек? – спросил я у стоявшего подле меня князя *Урусова*... – Надобно быть какому-нибудь генералу?

– Как! – отвечал мне князь. – Разве вы не узнали! Это князь *Никита Юрьевич*!

– Князь *Никита Юрьевич*? – удивясь, подхватил я. – Какой это? Неужели *Трубецкой*?

– Точно так! – отвечал мне князь.

– Что вы говорите!.. – воскликнул я, еще более удивившись. – Господи помилуй! Да как же это? Князь *Никита Юрьевич* был у нас до сего генерал-прокурором и первым человеком в государстве! Да разве он ныне уже не тем?

– Никак, – отвечал князь. – Они ныне не только тем же и таким же генерал-прокурором как был, но сверх того недавно пожалован еще от государя фельдмаршалом.

– Но умиосердитесь, государь мой! – продолжал я далее, час от часу более удивляясь, спрашивать. – Как же это? Я считал его дряхлым и так болезнью своих ног отягощенным стариком, что, как говорили тогда, он

затем и во Дворец и в Сенат по несколько недель не ездил, да и дома до него не было почти никому доступа?

– О! – отвечал мне князь, усмехаясь. – Это было во время оно; а ныне, рече Господь, времена переменялись, ныне у нас и больные, и не больные, и старички самые поднимают ножки, и наряду с молодыми маршируют, и также хорошоохонько топчут и месют грязь, как и солдаты. Вот видели вы сами. Ныне говорят, что когда носит на себе звание подполковника гвардии, так носи и службу, и отправляй и должность подполковничью во всем!

– Ну нечего более говорить! – сказал я, изумившись, и не мог тому надивиться...

– Но вы еще и не то увидите! – сказал князь. – Поживите-ка с нами и посмотрите на все и все у нас, в Петербурге!

Выбежавший от генерала камердинер его перервал тогда наш разговор. Он сказал нам, что генерал уже совсем готов и приказал подавать карету, а вскоре потом вышел и сам он и, сказав мне: «Ну, поедем-ка, мой друг!», пошел садиться в карету. Не успел он усесться в карете, как, высунувшись в окно, приказал мне ехать, как тогда, так и ездить завсегда впредь, по левую сторону его кареты и так, чтоб одна только голова лошади ровнялась с дверцами кареты, и подтвердил, чтоб я всячески старался ни вперед далее не выдаваться, ни назад не отставать. Князь *Урусов* должен был ехать таким же образом по правую сторону, а полицейский ординарец с обоими своими, всегда ездившими за нами полицейскими драгунами, уже позади кареты.

По распоряжении нас сим образом и полетел наш генерал по гладким петербургским мостовым, так что оглушал ажно треск и стук от колес.

Цуг у него был ямской и самый добрый, и поелику был он генерал-полицеймейстер, то и ездил отменно скоро, и временем даже вскачь самую, так что мы с лошаденками своими едва успевали последовать за ним. Мы заехали тогда на часок в полицию, а потом объездили множество улиц и заезжали с генералом во многие дома знаменитейших тогда вельмож и пробывали в оных по небольшому только количеству минут.

Во всех их генерал ухаживал обыкновенно для свидания с хозяевами во внутренняя комнаты, а мы все оставались в передних и галанивали тут до обратного выхода генеральскаго, в которое время рассказывал мне князь *Урусов* о хозяевах тех домов и о том, какие были они люди, и все, что об них было ему известно.

Наконец, около 12-го часа, поскакали мы все во дворец и подъехали уже не к тому крыльцу, которое мне было известно, а к парадному, и это было в первый раз, что я был порядочным образом во дворце. Генерал прошел прямо к государю, во внутренние его чертоги, а мы остались в передних анти-камерах и там, где обыкновенно нашей братьи было зборище и далее которых нас часовые уже не пускали.

Как тут надлежало нам пробывать во все то время, без всякого дела, куда не выйдет опять генерал, то восхотел товарищ мой князь *Урусов* сим временем воспользоваться и оказать мне услугу.

– Не хотите ли? – сказал он мне, – походить и посмотреть дворца и полюбопытствовать. – Вы в нем никогда еще не бывали, так бы я вас проводил всюду, куда только входить можно?

– Очень хорошо! – сказал я. – И вы б меня тем очень одолжили.

А он, сказав о том нашему товарищу, полицейскому офицеру, и, попросив его нас кликнуть в случае, ежели генерал выйдет, взяв меня за руку и повел показывать все достопамятное в сем временном обиталище наших монархов. Нельзя изобразить, с каким любопытством и удовольствием рассматривал я сии царские чертоги и все встречающееся в них с моим зрением. Мебели, люстры, обои, а особливо картины приводили меня в приятное удивление и нередко в самые восторги.

Но нигде я так не восхищался зрением, как в большой тронной зале, занимающей целый и особый приделанный сбоку ко дворцу флигель. Преогромная была то и такая комната, какой я до того нигде и никогда еще не видывал. И хотя была она тогда и не в приборе, а загромождена вся превеликим множеством больших и малых картин, разставленных на полу, кругом стен оной, по случаю, что собирались их переносить в ново-построенный каменный Зимний дворец, но самое сие и послужило еще более к моему удовольствию, ибо чрез то имел я случай все их тут видеть и мог на досуге, сколько хотел, пересматривать и любоваться оными. А князь, товарищ мой, рассказывал мне о всех, о которых ему что-нибудь особенное было известно.

Будучи охотником до живописи, смотрел я на все их с крайним любопытством, и не могу изобразить, сколь великое удовольствие оне мне собою производили и как приятно препроводил я более часа времени в сем перебирании и пересматривании оных. Но ничто так меня не занимало, как последние портреты скончавшейся императрицы. Многие из них

были еще неоконченные, другие только в половину намалеванные, а иные только что начатые, и одно только лицо на них изображенное. Видно, что не угодны они были покойнице или не совсем на ее походили, и по той причине оставлены так. Князь показал мне тот, который всех прочих почитался сходнейшим, и я смотрел на оный с особливым любопытством.

Наконец, должны мы были их оставить с покоем и возвратиться к своему месту, куда вскоре потом вышел к нам и генерал и сказал, что он останется тут обедать с государем, приказал нам ехать домой, и чтоб, отобедав там, приезжал бы я к нему уже один, в 3 часа пополудни.

По приезде в дом генеральский нашел я уже стол набранный и опять такое же многолюдство, как было и в первый день. Все, питающиеся столом генеральским, были уже в собрании и дожидались только нашего приезда. Мы тотчас сели за стол, и как первенствующую роль играл тут тогда господин *Балабин*, как генеральс-адъютант и домоправитель генеральский, то была нам своя воля. Он у нас хозяйствовал, а мы были как гости, и обед сей был для меня еще приятней перваго. Сей случай познакомил меня еще более со всеми тут бывшими, и как все они были умные и такие люди, с которыми было о чем говорить, то было мне и не скучно. Наконец, дождавшись назначеннаго времени, поехал я опять во дворец и не успел войти в прежнюю комнату, как вышел и генерал и, отведя меня к стороне, сказал: «Съезди, мой друг, к Михайле Ларионовичу *Воронцову*, поклонись ему от меня и скажи, что я с государем о известном деле говорил, и ему то вручил, о чем он уже знает, и что государь принял то с отменным благоволением и очень милостиво и был тем очень доволен». – «Хорошо! ваше высокопревосходительство», – сказал я и хотел было итти. «Но знаешь ли ты, где он живет? – спросил меня генерал, остановивши. – И найдешь ли дом его?» – «Найду, – отвечал я, – мне указывали оный». – «Ну, хорошо же, – продолжал генерал, – поезжай же, мой друг, а оттуда проезжай уже прямо домой и, дождавшись меня, скажи, что он тебе на сие скажет». Сей *Воронцов*, к которому я тогда был послан, играл в сие время великую роль. Он был нашим канцлером и первым государственным министром и родной дядя фаворитки и любовницы государевой, и по всему тому в отменной у него милости.

К нашему же генералу был он отменно благосклонен и более потому, что оба они были женаты на родных сестрах и свояки между собою, и хотя наш генерал и давно уже жены своей лишился, но дружба между ими про-

должалась непрерывно, и как огромный дом сего вельможи, вмещающий в себе ныне думу Мальтийского ордена, был мне уже действительно известен, то и поскакал я прямо в оный. Меня провели тотчас, как скоро услышали, что я от *Корфа*, к той комнате, где он тогда находился, и без всякаго обо мне доклада впустили в оную.

Но тут как же я поразился и в какое неописанное пришел изумление, когда увидел комнату превеликую и в ней многих людей, и старых, и молодых, сидящих в разных местах подле стен и ничего между собою не говорящих. Я стал тогда в пень и сделался сущим дураком и болваном, не зная, кто из них был хозяин и к кому мне адресоваться; ибо надобно знать, что я господина *Воронцова* никогда еще до того не видывал и знал только, что он не молод. Но как тут было много таких и все одинаково одеты, то и узнать хозяина было непочему и трудно. Истинно минуты две стоял я власно как истуканом, не зная даже кому поклониться, и простоял бы, может быть, и доле, если б сам хозяин, приметив мое недоумение, не помог уже мне вытти из онаго. «От кого ты, мой друг, прислан? – спросил он. – И кого тебе надобно?» – «От Николая Андреевича *Корфа*», – сказал я. Не успел он сего услышать, как возопил: «А это, конечно, ко мне; пожалуй, мой друг, сюда поближе и скажи, что такое?»

Я обрадовался сему и тем паче, что я никак не почитал его хозяином и, смелее уже к нему чрез всю горницу перебежав, почти тихомолкою то ему сказал, что мне было приказано.

– Ну! Слава Богу! – обрадуясь, сказал он, меня выслушав. – Я очень, очень доволен! Поблагодари, мой друг, от меня Николая Андреевича и скажи, что я не очень здоров и не можно ли ему завтра поутру со мною повидаться?» – «Очень хорошо, ваше сиятельство!» – сказал я и хотел было итти, но он остановил меня, говоря, чтоб я немного погодил, что подают горячее и чтоб я выпил у него чашку онаго.

А между тем как чай подавали, расспрашивал он меня, кто я таков и давно ли нахожусь при *Корфе*? И как я ему все то сказал, то спросил он меня, не родня ли мне был Тимофей Петрович; а услышав, что он был мне отец, сказал, что он его знал довольно коротко и что был он очень добрый человек! Слова сии произвели в душе моей превеликое удовольствие и я возблагодарил ему за них низким поклоном.

Исправив сию комиссию и приехав в дом генеральский, не нашел я в нем никого, кроме одного *Шульца*, секретаря его; и как мне велено было

тут генерала дожидаться, то употребил я сей случай к сведению с секретарем сим ближайшего знакомства и пошел к нему в комнату ждать генерала. Он был мне очень рад, и у нас пошли с ним тотчас ученые разговоры. Я пересматривал опять все его книги, и как многия из них были тут такая, каких я не читывал и которыя мне прочесть хотелось, то с превеликою охотою ссудил он меня ими. Генерал не прежде приехал как уже ввечеру и был очень доволен мною и привезенным к нему ответом. Потом приказав, чтоб я наутрие приехал к нему поранее, не стал долго меня держать, но отпустил на квартиру на отдохновение.

Сего уже давно возжелела вся душа моя. По сделанной отвычке от верховой езды и от многого в сей день скаканья, так я устал, что насилу стоял на ногах своих, почему, пришед на квартиру, ринулся прямо на кровать и спал в ту ночь как убитый.

Наутрие, встав ранехонько и одевшись, поехал я опять к генералу и думал, что в сей день езды нам будет меньше вчерашняго, но во мнении своем ужасно обманулся. Генерал не успел меня завидеть, как и стал уже поручать мне опять комиссии, и приказывать съездить туда, съездить в другое, а там в третье место и насчитал мне целых пять домов, где хотелось ему, чтоб я побывал: и иного бы поздравил со днем его рождения, другому отвез бы цидулку, у третьяго истребовал то, что он обещал ему, а у других спросил бы только, всё ль они в добром здорovyи? И всех бы их успел объездить прежде, нежели он оденется и со двора съедет.

Я слушал, слушал, да и стал; но как он последнее сказал, то ответствовал я ему: – «Хорошо, ваше высокопревосходительство, я поеду и повеления ваши постараюсь выполнить, но не знаю, успею ли я так скоро их всех объездить и к назначенному времени возвратиться. По новости, я не знаю о иных, где они и живут еще». – «О!» – подхватил генерал. – Тебе надобно распроедать о том. Спроси ты полицейскаго офицера, он всех их знает и тебе расскажет; а чтоб не позабыть и их и дома их и что я тебе приказывал, то запиши все то. Есть ли у тебя записная книжка?» – «Книжка-то есть, ваше высокопревосходительство!» – «Ну так поди же, мой друг, расспроси и запиши все нужное и постарайся как можно, чтоб тебе скорей назад приехать».

Что было тогда делать? Хоть не рад, да готов и принужден был иттить расспрашивать, записывать, и потом ехать и отыскивать не только дома, но и самыя еще улицы, ибо и оне были мне еще незнакомы.

С превеликим трудом и насилу-насилу отыскал я их и измучился впрах, скакавши из одной улицы и другую. И как было тогда по улицам очень скользко, то чуть было не сломил головы себе в одном месте. Догадала меня нелегкая: объезжая одну карету на Невской проспективной, поскакать по гладкому тротоару, для ходьбы пешим сделанному по осторонь дороги. Но не успел я несколько шагов отскакать, как лошадь моя оскользнувшись, спотыкнулась, и я чуть было не полетел стремглав с оной и об мостовую не разшибся. Но как бы то ни было, но я успел и сии комиссии все выполнить и, возвратившись назад, застал генерала еще дома.

Он очень доволен был моею исправностию и, похвалив, благодарил меня за то; но я сам в себе на уме не то думал, а говорил: «Спросил бы, ваше высокопревосходительство, каково мне от езды и скаканья сего? И если так-то всякий день будет, то волён Бог и с тобою и со всеми ласками, похвалами и благодарениями твоими!..»

Между тем как я сим образом сам с собою говорил в уме, генерал собирался ехать со двора. Я не иначе думал, что он меня в сей раз оставит и поедет с одним другим адъютантом; но не тут-то было, я и в том обманулся. Генералу хотелось, чтоб неотменно и я ехал с ним, и я принужден был опять садиться на измученного коня своего и опять скакать с ним подле колеса по улицам петербургским. К превеликой досаде моей, объездили мы еще несравненно более домов, нежели в прошедший день, и искрестили всю почти адмиралтейскую сторону с одного конца до другого. «Господи! – думал я и говорил сам в себе. – Долго ли этому длиться и будет ли этому конец?» Напоследок насилу-насилу приехали мы во дворец, и я рад был, что мог тут хоть немножко отдохнуть от непрерывного скаканья; но, к превеликой досаде моей, и тутошнее отдохновение было недолго. Генералу понадобилось еще съездить в одно место и более нежели за версту расстоянием, и мы опять должны были с ним скакать, и оттуда опять поспешать домой к обеду вместе с генералом. «Ну! – думал я. – Слава Богу, насилу-насилу всех объездили и обскакали, по крайней мере, уже после обеда отдохнем»; ибо я не сомневался, что генерал уже никуда не поедет. Но не тут-то было и сей счет делан был без хозяина! Генералу что-то понадобилось и после обеда побывать еще в нескольких домах, и сей день власно, как нарочно, избран был для испытания и изнурения сил господина новаго адъютанта. Он принужден был опять садиться на лошадку свою

и опять скакать подле колеса генеральской кареты. «Господи! – думал я тогда. – Ну, если все так-то, так это будет сушая каторга!» Но, что я ни думал, ни помышлял, но генерал только и знал, что из дома в дом, и где посидит час, где полчаса, где еще меньше того, а я в промежутки сии изволь галанить в передних и провождать минуты сии в расслаблении и в скуке превеликой... Рад рад, бывало, где найдешь хоть стульцо, чтоб посидеть и отдохнуть немного, но и в иных домах и того не было и принуждено было ходить или, прислонившись к стенке, стоять.

Всю половину дня проездили мы сим образом и не прежде домой возвратились, как уже при свечах. Тут нашли мы встречающего нас генеральс-адъютанта, и как он у меня стал спрашивать, где и где мы побывали и какова мне петербургская жизнь кажется, то, сделав ему пренизкий поклон, сказал я: «Ну, брат, спасибо! Ежели так-то все у вас, то прах бы вас побрал и с жизнью вашею! Да это и чорт знает что! Я так измучился, что не чувствую почти ни рук, ни ног, а спину разогнуть истинно не могу. Я отроду не ездил никогда так много и так измучился, что и не знаю, буду ли в состоянии и встать завтра».— «Ну, что ж, – сказал мне на сие г. *Балабин*, завтра хоть и отдохни и сюда хотя и не езд». – «Да генерал-то как же, не осердился б?» – спросил я. «Вот тебе на! – отвечал он. – Ведь тебе не измучиться же стать до крайности. Изволь, сударь, изволь оставаться себе смело во весь день дома и отдыхай себе, а я уже возьму на себя сказать о том генералу и извинить тебя».

Рад я неведомо как был сему данному мне совету и позволению и положил действительно его исполнить, но если б и не хотел, но принужден бы был исполнить то и поневоле; ибо оба сии дни так меня отделали, а особенно последний так меня доканал, что я в самом деле не мог никак встать поутру от расслабления во всех членах и от превеликой боли в спине и в пояснице. Так хорошо отделало меня скаканье. Словом, я пролежал до половины дня в постеле, чего со мною никогда не бывало.

Но чего молодость и здоровое сложение тела вытерпеть и перенести не может, и к чему не можно привыкнуть? Не успел тот день пройтись, как почувствовал я себя опять здоровым и так оправившимся, как бы ничего не бывало. Тогда совестно уже было мне оставаться на квартире долее, и я явился опять к генералу, который, увидев меня, не преминул пошутить надо мною и говорил, что произошло сие от непривычки моей к верховой

езде и что некогда с самим им тому подобное было, почему и уверял, что это ничего не значит и что я впредь подобного тому ощущать не буду: что и действительно была правда. Ибо с того времени хотя нередко езжали мы так же всякий день и не только не меньше прежнего, но иногда еще и больше, но я не чувствовал уже никогда более такого расслабления и боли в спине и пояснице, но ниже и дальней усталости, и сам тому не мог довольно надивиться; одни только ноги спарил было я по непривычке ходить всегда в толстых и плотных сапогах из аглицкой кожи, но и в том нашел средство скоро себе пособить.

Оправившись помянутым образом и собравшись опять с силами, начал я по-прежнему всякий день ездить с генералом по разным домам знаменитейших тогда господ, а иногда и один, будучи от него за чем к ним посылаем. Между тем начинал у нас приближаться праздник святых Пасхи, случившийся в сей год апреля 7-го числа. Во всем Петербурге кипело тогда и волновалось, и все готовились к сему торжеству и тем паче, что государь намерен был взять оный уже в новом Зимнем дворце и перейти в оный накануне. Ему хотелось, чтоб все шефы находившихся тогда в Петербурге полков изготовили уже к сему времени новые в полках своих мундиры, дабы все в сей праздник могли быть уже к оных, а всходствие того и мне генерал мой не один уже раз напоминал о мундире, но о котором и сам я уже заботился и, к удовольствию своему, получил его от портного за несколько дней до праздника. Он был белый, с зеленым воротником, лацканами и обшлагами, с палевым камзолом и нижним платьем. Пуговицы же, нашивки и аксельбанд, которым он был украшен, были серебряныя, а потому и стоил он немалых денег и со всем прибором, действительно, более 100 рублей. Однако я, продав излишних лошадей, деньгами на то кое-как и почти без займов поисправил, а вскоре потом имел удовольствие получить и из Москвы себе их целых 300 рублей, от чего и сделался я ими тогда столь богатым, каковым никогда не бывал, и очень доволен был своими родственниками, постаравшимися о том и переведшими их ко мне чрез одного купца петербургскаго, который не преминул тотчас велеть меня отыскать и дать мне знать, чтоб я приходил и брал от него деньги.

Сим окончу я сие письмо, а как праздновали мы праздник и что у нас происходило далее в Петербурге, о том узнаете вы из письма последующаго, а теперь остаюсь навсегда ваш и прочая.

ПРАЗДНОВАНИЕ ПАСХИ

Письмо 94-е

Любезный приятель!

Наконец наступил праздник святых Пасхи. Я уже упоминал вам в прежнем письме своем, что к торжеству сему деланы были во всем Петербурге приготовления превеликия. Но нигде так сие не приметно было, как во дворце. Государю хотелось неотменно перейти к оному в большой новопостроенный дом свой; но как оный был еще не совсем во внутренности отделан, то спешили денно и ночью его окончить и все оставшее доделывать. Во все последние дни перед праздником кипели в оном целыя тысячи народа, и как оставался наконец один луг пред дворцом не очищенным и так загроможденным, что не могло быть ко дворцу и приезду, то не знали, что с ним делать и как успеть очистить его в столь короткое, оставшееся уже до праздника время.

Луг сей был превеликий и обширный, лежавший пред Дворцом и Амралтейством и простиравшийся поперек почти до самой Мойки, а вдоль от Миллионной до Исаакиевской церкви. Все сие обширное место не заграждено еще было тогда, как ныне, великим множеством сплошных пышных и великолепных зданий, а загромождено было сплошь премножеством хибарок, избышек, шалашей и сарайчиков, в которых жили все те мастеровые, которые строили Зимний дворец, и где заготавлиемы и обрабатываемы были и материялы. Кроме сего, во многих местах лежали целыя горы и бугры щеп, мусора, половинок кирпича, щебня, камня и прочаго всякаго вздора.

Как к очищению всего такого дрязга потребно было очень много и времени и кошта, а особливо, если производить оное, по обыкновению, наемными людьми, и успеть тем никак было не можно, то доложено было о том государю. Сей и сам не знал сначала, что делать; но как ему неотменно хотелось, чтоб сей дрязг к празднику был очищен, то самый генерал мой надоумил его и доложил: не пожертвовать ли всем сим дрязгом всем петербургским жителям, и не угодно ли будет ему повелеть чрез полицию свою публиковать, чтоб всякий, кто только хочет, шел и брал себе безданно, безошлинно, все что тут есть: доски, обрубки, щепы, каменья, кирпичья и все прочее. Государю полюбилось крайне сие предложение, и

он приказал тотчас сие исполнить. Вмиг тогда разсеваются полицейские по всему Петербургу, бегают по всем дворам и повещают, чтоб шли на площадь перед дворцом, очищали бы оную и брали б себе что хотели.

И что ж произошло тогда от сей публикации?

Весь Петербург власно как взбеленился в один миг от того. Со всех сторон и изо всех улиц бежали и ехали целыя тысячи народа. Всякий спешил и желал захватить что-нибудь получше, бежал без ума, без памяти, и добежав, кромсал, рвал и тащил, что ни попадалось ему прежде всего в руки, и спешить относить или отвозить в дом свой и опять возвращаться скорее. Шум, крик, вопль, всеобщая радость и восклицания наполняли тогда весь воздух и все сие представляло в сей день редкое, необыкновенное и такое зрелище, которым довольно налюбоваться и навеселиться было не можно. Сам государь не мог довольно нахохотаться, смотря на оное: ибо было сие пред обоими дворцами – старым и новым, и все в превеликой радости волокли, везли и тащили добычи свои мимо оных. И что ж? Не успело истинно пройти нескольких часов, как от всего несметного множества хижин, лачужек, хибарок и шалашей не осталось ни одного бревешка, ни одного отрубочка, и ни единой дощечки, а к вечеру, как не бывало и всех щеп, мусора и другого дрязга, и не осталось ни единого камушка и половинки кирпичной. Все было свезено и счищено, и на все то нашлись охотники. Но нельзя и не так! И одно рвение друг пред другом побуждало всякаго спешить на площадь и довольствоваться уже тем, что от других оставалось. Коротко, самые мои люди воспринимали в том такое ж участие, и я удивился, увидев ввечеру, по возвращении своем на квартиру, превеликую стопу, накладенную из бревешек, досток, обрубков и тому подобнаго, и не верил почти, чтоб можно было успеть им навозить такое великое множество. Словом, дрязгу сего было так много, что нам во все пребывание наше в Петербурге не только не было нужды покупать дров, но мы при отъезде столько еще продали оставшагося, что могли тем заплатить за весь постой хозяину.

Не успели помянутую площадь очистить, как государь и переехал в Зимний дворец, и преселение сие произведено в Великую субботу, при котором случае не было, однако, никакой особой церемонии. А и самое духовное торжество праздника не было так производимо во дворце, как в прежния времена при бывшей императрице, ибо как государь не хранил вовсе поста и вышеупомянутое имел отвращение от нашей религии, то и

не присутствовал даже, по-прежнему обыкновенно, при заутрени, а предоставил все сие одним только духовным и императрице, своей супруге. И все торжество состояло только в сборище к нему во дворец всех знаменитейших особ для поздравления его как с праздником, так и новосельем.

Мне самому не удалось в сей год чувствовать всю обыкновенную приятность, с сим праздником сопряженную. Я встал хотя и очень рано, но принужден был помышлять не о заутрени и богомолье, а о том, как бы скорее и лучше причесаться и, убравшись в свой новый мундир, ехать к генералу и с ним, с светом, вдруг скакать в разные дома знаменитейших господ для поздравления, и я так всем тем был занят, что насилу урвал несколько минут досужных для забежания в полицейскую церковь и отслушания в ней кончика обедни.

Генерал как по должности своей, так и для политических причин, ездил в сие утро по разным местам отменно и так много, что мы с ним не прежде во дворец приехали, как уже в 11 часов, и когда уже был он весь наполнен народом и вся площадь установлена была безчисленным множеством карет и экипажей. Для меня зрелище сие было новое, но любопытнейшее дожидалось меня во внутренности дворца сааго, в котором я до того времени еще не бывал. И самая уже огромность и пышность здания сего приводила меня в некоторое приятное изумление, а когда вошел я с генералом внутрь сих новых императорских чертогов и увидел впервые еще отроду всю пышность и великолепие дворца нашего, то пришел в такое приятное восхищение, что сам себя почти не вспомнил от удовольствия.

Все комнаты, чрез которыя мы проходили, набиты были несметным множеством народа и людей разных чинов и достоинств. Все одеты и разряжены были впрах, и все в наилучшем своем платье и убранствах. Но ни в которой комнате не поражен я был таким приятным удивлением, как в последней и той, которая была перед тою, в которой находился сам государь, окруженный великим множеством генералов и как своих, так и иностранных министров. Поелику и сия, далее которой нам входить не дозволялось, набита была несметным множеством как военных, так и штатских чиновников, а особливо штаб-офицеров, а в числе оных было и тут множество еще генералов, и все они были в новых своих мундирах, то истинно засмотрелся я на разноцветность и разнообразность оных! Каких это разных колеров тут не было и какими разными и новыми прикрасами не различены они были друг от друга! Привыкнув до сего видеть везде одни только зеленые и

синие единообразные мундиры, и увидев тогда вдруг такую разнообразицу, не могли мы довольно начудиться и насмотреться, и только и знали, что любопытствовали и спрашивали, каких полков из них которыя, а наиболее те, которыя нам более прочих нравились. Не меньшее же любопытство производили во мне и иностранные министры, выходившие в нашу комнату из внутренней государевой, разнообразными и разнообразными орденами и кавалериями своими. И товарищ мой, князь Урусов, которому все они были уже известны, должен был мне о каждом из них сказывать.

На все сие я так засмотрелся и всеми сими невиданными до сего зрелищами так залюбовался, что позабыл и о всей усталости своей и не горевал о том, что во всей той комнате не было нигде ни единого стульца, где бы можно было хоть на несколько минут присесть для отдохновения.

Но все мое любопытство было еще до того времени удовольствовано несовершенно, а оставалось еще важнейшее, а именно: чтоб видеть государя и государыню. Так случилось, что сколько раз ни бывал я до того во дворце, но никогда еще до того времени не удавалось мне видеть оных в самой близости, а видал их только в портретах, а потому давно уже и неведомо как добивался и желал видеть как их, так и самую фаворитку государеву, Воронцову, о которой наслышавшись о чрезвычайной и непомерной любви к ней государя, будучи еще в Кёнигсберге, мечтал я, что надобно ей быть красавице превеликой. И как сей день и случай казался мне к тому наилучшим и способнейшим, и я никак не сомневался, что увижу их непременно в то время, когда они пойдут к столу чрез ту комнату, в которой мы находились, как о том мне сказывали, то, протеснившись сквозь людей, стал я нарочно и заблаговременно подле самых дверей, чтоб не пропустить их и видеть в самой близости, когда они проходить станут.

Не успел я тут остановиться, как чрез несколько минут и увидел двух женщин в черном платье, и обеих в Екатерининских алых кавалериях, идущих друг за другом из отдаленных покоев в комнату к государю. Я пропустил их без всякаго почти внимания, и не иначе думал, что были оне какая-нибудь придворныя госпожи, ибо о государыне и фаворитке думал я, что оне давно уже в комнатах государских, в которыя нам за народом ничего было не видно. Но каким удивлением поразился я, когда, спросив тихонько у стоящаго подле себя одного полицейскаго, и мне уже знакомаго офицера, кто б такова была передняя из прошедших мимо нас госпож, услышал от него, что была то сама императрица! Мне сего и в голову ни-

как не приходило, ибо, видая до сего один только портрет ея, писанный уже давно, и тогда еще, когда была она великою княгинею, и гораздо моложе, и видя тут женщину низкую, дородную и совсем не такую, не только не узнал, но не мог никак и подумать, чтоб то была она. Я досадовал неведомо как на себя, что не рассмотрел ее более; но как несказанно увеличилось удивление мое, когда, на дальнейший сделанный ему вопрос о том, кто б такова была другая и шедшая за нею толстая и такая дурная, с обрюзглою рожею, боярыня, он, усмехнувшись, мне сказал:

– Как, братец, неужели ты не знаешь? Это Елисавета Романовна!

– Что ты говоришь? – оцепенев даже от удивления, воскликнул я. – Эта-то *Елисавет Романовна!*.. Ах, Боже мой... Да как это может случиться? Уж этакую толстую, нескладную, ширококорую, дурную и обрюзглою совсем любить и любить еще так сильно государю?

– Что изволишь делать! – отвечал мне тихонько офицер. – И ты дивись уже этому, а мы дивились, дивились, да и перестали уже.

– Ну, правду сказать, есть чему и дивиться, – подхватил я, пожимая только плечами, ибо в самом деле была она такова, что всякому даже смотреть на нее было отвратительно и гнушно.

Еще я не опомнился от чрезмерного своего удивления, как взволновался весь народ и, разделясь в две стороны, сделал улицу и свободный проход идущим, и вдали уже показавшемуся государю. Не могу никак изобразить, с какими разными душевными движениями смотрел я в первый раз тогда на сего монарха и тогдашняго обладателя всей России. Куча народа, состоящая из первейших чиновников и вельмож государственных, последовали за ним и провожали его в столовую в своих орденах, лентах и в богатых одеждах.

Наш генерал шел тут же и разговаривая с фавориткою государевою; но я в сей раз не удостоил ее уже и зрением, а смотрел вслед за государем и императрицею и сам в себе только всему видимому дивился и пожимал плечами.

Как генералу нашему за помянутым разговором с идущею с ним рядом фавориткою не удалось на меня взглянуть, и никто ему из товарищей моих в толпе на глаза не попался, то по ушествию их не знали мы, что нам делать: домой ли ехать или тут оставаться далее и дожидаться повеления от генерала. И как домой ехать мы не отваживались, то чуть было не дошло до того, чтоб быть нам для праздника такого без обеда. Мы и были б

действительно без него, если б, по счастью, третьему товарищу нашему, полицейскому офицеру, которому во дворце было все знакомее, не удалось пронюхать и узнать, что в задних и отдаленных комнатах есть накрытый превеликий стол для караульных офицеров и ординарцев. Он не успел узнать о сем, как, прибежав к нам, звал нас скорее с собою туда, уверяя, что и нам там можно обедать, нужно только захватить и не упустить место. Сперва посоветились было мы и не хотели нартом там искать себе обеда, но он силою почти нас за собою утащил и, проведя нас чрез множество комнат и на другой даже край дворца, привел нас действительно к превеликому столу, установленному уже кушаньями, и за который как караульные офицеры, так и многие другие начинали уж садиться.

Мы сели также, хотя без всякаго приглашения, и наелись и напились себе досыта и были смелостию своею очень довольны, ибо узнали чрез то, что и впредь как всегда можно сим офицерским и ординарческим столом пользоваться и когда ни похотим оставаться тут обедать, что мы и действительно потом и не один раз дельвали, а особливо когда случалось, что не хотелось нам ехать домой на короткое время.

Как обед наш не так долго продолжался, как государев, то, кончивши оный, пошли мы в тот покой, который служил вместо буфета и был подле самага того, где государь кушал, дабы мог генерал наш, вставши из-за стола, тотчас нас увидеть, ибо всем надлежало, вставши из-за стола, иттить чрез покой сей.

Но мы принуждены были долго сего обратнаго шествия дожидаться: государь любил посидеть за столом и повеселиться. Натурально, не гуляли при том и рюмки. Более часа дожидались мы тут, покуда стол кончится, и имели удовольствие в сие время слышать голос государев и почти все им говорящее. Голос у него был очень громкий, скаросый, неприятный и было в нем нечто особое и такое, что отличало его так много от всех прочих голосов, что можно было его не только слышать издалека, но и отличать от всех прочих. Наконец встали они, и как государь пошел тотчас опять во внутренние свои чертоги, то вышел вслед за ним и генерал наш и обрадовался, нас увидев. «Ну спасибо, что вы здесь, – сказал он, – и что домой не уезжали; мне давеча сказать вам о том было некогда, но пообедали ль вы? Вам бы здесь пообедать за столом офицерским!» Мы сказали ему, что мы сие уже сделали. «Ну хорошо ж! – сказал он. – Так поедем же теперь домой и отдохнем». Сказав сие, пошли мы вниз, где князь, товарищ

мой, отпросился от него к своим родным, а я поехал с ним и готовиться был должен ехать с ним опять во дворец на куртаг с товарищем моим, полицейским офицером.

По приезде к нему в дом отпросился я тотчас на свою квартиру, чтоб отдохнуть хотя часок на оной; ибо как я почти всю ту ночь не спал, то склонил меня тогда ужасно сон и я впервые еще в сей день спал после обеда. Но, чтоб не заспать, то посадил подле себя человека с часами и велел ему тотчас себя разбудить, как скоро пройдет час. О сем упоминаю я для того, что как в последующее время и часто таким образом удавалось мне по ночам спать очень мало и заменять то единовременным спаньем после обеда, и я таким же образом всегда саживал подле себя слугу для бужения, то чрез короткое время обратилось сие в такую привычку, что наконец не было нужды меня будить, но я уже и сам точь-в-точь, по прошествии часа, просыпался, а что удивительнее всего, то и на всем продолжении жизни моей всегда, когда ни случалось мне после обеда спать, никогда не сыпал более часа и всякий раз, как тогда, пробуждался сам собою.

Как куртаги придворные были тогда для меня также зрелищем новым и никогда еще не виданным, то охотно я поехал на оный с генералом и, делаясь час от часу во дворце смелейшим, нашел средство наконец втесниться и войти туда ж в галерею, где он продолжался.

Тут насмотрелся я уже досыта, как на государя, так и всему тут происходившему. Видел, как тут играли в карты и как танцевали, наслушался прекрасной музыки, в которой государь сам брал соучастие и играл на скрипиче вместе с прочими концерты, и довольно хорошо и бегло; наконец, за большим столом и со многими, с превеликим хохотанием и криком, забавлялся он в любимую свою игру *камтию*, которую игру также не видывал я никогда до того времени; и как хотелось мне ее очень видеть, то был так уже смел и отважен, что подошел близехонько к столу, смотрел на оную и не мог довольно насмотреться и надивиться.

Мы пробывли тут с генералом до самага окончания сей вечеринки, а как он оставлен был у государя и ужинать, то принужден был и я опять тут окончания онаго дожидаться и также перехватить хоть немного за столом офицерским. Но ожидание конца ужина, бывшего в прежней столовой, было для нас очень скучновато.

Ужин продлился очень долго и гораздо за полночь, и мы все сие время должны были галанить и ждать в проходной буфетной. И как не было как

в сем, так и во всех других тут комнатах ни единого стульца, на которое бы можно было присесть и отдохнуть, то от непрерывного стояния и хождения взад и вперед для прогнания дремоты впрах мы все измучились, а особливо я по непривычке. Сон клонил меня немилосердным образом, а подремать не было нигде ни малейшего способа. Несколько раз испытывал я становиться для сего где-нибудь к стенке или к уголку, но все мои испытания были тщетны, ибо не успеют глаза начать сжиматься и сон воспринимать верх над бдением, как вдруг подгибаются колени и, приводя чрез то человека в движение, разбужают онаго к неописанной досаде и мешают сладкой дремоте.

Измучившись и изломавшись, насилу-насилу дождался я конца сего ужина и всей бывшей за оным доброй попойке. Мы возвратились домой почти уже пред разсветом, а как поутру должен был я опять вставать рано, то судите, каково мне тогда было!

Но первый день, куда уже не шел! Я имел много труда и беспокойства, но зато, по крайней мере, насмотрелся многому, а потому и не помышлял и горевать даже о помянутых беспокойствах, думая, что впредь, по крайней мере, не таково будет; но как увидел, что и все последующие дни были ничем не лучше, а точно таковыя ж, и не было дня, в который бы мы с генералом, по несколько десятков верст и всегда почти вскачь, не объездили, не побывали во множестве домах, и разов двух не посетили дворца, и в оном либо обедали, либо ужинали, либо обедать к кому-нибудь из первейших вельмож вместе с государем не ездили, и я, всякий раз таким же образом впрах измучившись и изломавшись, не прежде как уже перед светом домой возвращался, то скоро почувствовал всю тягость такой беспокойной и прямо почти собачьей жизни, и не только разезды свои с генералом и непрерывныя разсылания меня то в тот, то в другой край Петербурга до крайности возненавидел и проклинал, но и самый дворец, со всеми пышностями и веселостями его, которыя в первый раз так были для меня занимательны и забавны, наконец так мне опостылел и надоел, что мне об нем и вспомнить не хотелось, и я за величайшее наказание считал, когда доводилось мне с генералом нашим в него ехать.

Какая б собственно причина побуждала генерала моего к толь частым посещениям знатнейших господ и других разных людей, того, как тогда все мы не знали и не понимали, так истинно не знаю я и поныне.

Будучи генерал-полицеймейстером в государстве и имея толь великую обузу дел на себе, что ему в каждое утро приносили из полиции целыя кипы бумаг для чтения и подписыванья, казалось, что могло б и одно сие его занимать, умалчивая о прочих делах, к его должности относящихся, и за сими не до того казалось было ему, чтоб разъезжать по гостям и терять на то время свое.

Но он при всей тогдашней строгости государя, по-видимому, всего меньше рачил о исправном исправлении толь важной должности своей и всего реже ездил по делам до должности его относящимся, но, напротив того, так мало ее уважал, что и десятой доли приносимых и заготовленных к подписанию его бумаг не прочитывал, а подписывал множайшия из них, совсем не читая. А все выезды его были по большей части к канцлеру и к некоторым другим из знаменитейших наших господ, как, например, к прежнему моему командиру генералу Вильбоэ, который был тогда у нас фельдцейхмейстером, принцу *Голишинскому*, *Шувалову*, *Скаворонскому* и многим другим, а что всего удивительнее, то и к самым иностранным министрам, а особливо к английскому и прусскому, до которых, равно как и до других министров, казалось, не было б ему ни малейшаго дела. Со всем тем он не только сам ездил ко всем к ним очень не редко, но сверх того, обоих нас с князем замучивал посылками к ним то и дело и, что всего досаднее, за сущими иногда безделицами и ничего не стоящими делами.

Не могу и поныне забыть, с каким огорчением и досадою скачешь без памяти иногда версты две к какому-нибудь паршивому паричишке и единственно только за тем, чтоб спросить, в добром ли он здорovie?

Часто случалось, что он обоим нам одним утром домов по десяти на-скажет куда ехать, и мы скачем, как угорелыя кошки, и за все свои труды, что всего было досадней, получаем еще от чуднаго своего генерала брани. Часто случалось, что, будучи как-то безпамятен или имея голову, набитую уже слишком всяким вздором, позабывал он, кому из нас приказал куда съездить, и вдруг требовал от меня отчета в том, о чем приказывал князю, а от него в том, что было мне поручено; а что всего смешнее и досаднее, то случалось не однажды, что, наставлявая и нам многих к кому ехать, про иного позабывал, а потом спрашивал, были ли мы у того? И как скажешь и докажешь записками своими, что про того он и не упоминал вовсе, то сердился, досадовал и бранил нас за то, для чего сами не догадались заехать или ему не напомнили. Не чудныя ли поистине и не сумасбродныя

ли были требования и взыскания таковыя? Но мы должны были молчать, терпеть и переносить его гнев праведный, внутренно же не могли, чтоб не хохотать тому и не смеяться.

Далее скажу, что ко всем сим разсылкам употребляем был от генерала более я, нежели князь *Урусов* и, может быть, потому, что умел я говорить по-немецки и мог с множайшими из тех, к коим он посылал, говорить на природном их языке, ибо множайшими из них были немцы. Сверх того, князь *Урусов* был как-то увертливее меня и находил средства отбывать иногда не только от таких посылок, но и от самой езды с генералом; и потому он и вполовину столько не терпел безпокойств, сколько я, а особливо сначала и покуда я сколько-нибудь не наторел и научился также кое-как и отбывать иногда.

В самые выезды свои со двора и разъезды по домам знатных вельмож, а особливо после полудни, бирал он обыкновенно только меня одного; но сии для меня сопряжены были не столько с безпокойством, сколько со скукою, ибо я имел всегда, по крайней мере, ту выгоду, что мог везде находить стулья и место, где сидеть во все то время, покуда генерал сиживал у хозяина. И сначала переламливала меня только одна скука, а особливо в таких домах, где он сиживал по несколько часов сряду, и я принужден бывал все сие время провождать один-одинехонек в какой-нибудь пустой передней комнате; но как после я догадался и стал запасаться всегда на такая случаи какою-нибудь любопытною книжкою в кармане, то бывало, засев где-нибудь в уголок или подле окошечка, вынимаю себе книжку, занимаюсь себе чтением как бы дома и не горюю о том, сколько б ни сидел генерал у хозяина.

Но во дворце было дело совсем иное: тут не только что о чтанье таком и помыслить было не можно, но та пуще всего была нам напасть, что сидеть было вовсе не на чем. Я уже упоминал, что во всех тех комнатах, где мы бывали, не было тогда ни единого стульца, а стояли только в одной проходной комнате одни канапе, но и те были обиты богатым штофом и такая, на каких мы сначала не смели и помыслить, чтоб садиться, к тому ж и стояли они не в самой той комнате, где мы во время утренних генеральских приездов всегда должны были стаивать и его дожидаться. Комната сия была самая та, о которой я уже упоминал, а именно ближняя подле той, где государь обыкновенно бывает и с приезжающими к нему по утрам разговаривает, и которую редко не нахаживали мы наполненную многими

людьми. Итак, принуждены будучи в ней иногда по несколько часов стоять и без всякого дела галанить, имели только ту отраду и удовольствие, что могли всегда в растворенные двери слышать, что государь ни говорил с другими, а иногда и самого его и все деяния видеть. Но сие удовольствие было для нас удовольствием только сначала, а впоследствии времени скоро дошло до того, что мы желали уже, чтоб таковыя разговоры до нашего слуха и не достигали; ибо как редко стали уже мы заставить государя трезвым и в полном уме и разуме, а всего чаще уже до обеда несколько бутылок аглицкаго пива, до котораго был он превеликий охотник, уже опорознившим, то сие и бывало причиною, что он говаривал такой вздор и такия нескладицы, что при слушании оных обливалось даже сердце кровию от стыда пред иностранными министрами, видящими и слышащими то и безсомненно смеющимися внутренно. Истинно бывало, вся душа так поражается всем тем, что бежал бы неоглядкою от зрелища таковаго! – так больно было все то видеть и слышать.

Но никогда так много не поражался я досадными зрелищами таковыми, как в то время, когда случалось государю езжать обедать к кому-нибудь из любимцов и вельможей своих и куда должны были последовать все те, к которым оказывал он отменное свое благоволение, как, например, и генерал мой и многие другие, а за ними и все их адъютанты и ординарцы. Таун бывало целый поскачет вслед за поехавшими, и хозяин успевай только всех угащивать и подчивать; ибо натурально везде и для нас даваемы были столы. Одни только трубки и табак приваживали мы с собою из дворца свой. Ибо как государь был охотник до курения табаку и любил, чтоб и другие курили, а все тому натурально в угодность государю и подражать старались, то и приказывал государь всюду, куда ни поедет, возить с собою целую корзину голландских глиняных трубок и множество картузов с кнастером и другими табаками, и не успеем куда приехать, как и закурятся у нас несколько десятков трубок и в один миг вся комната наполнится густейшим дымом, а государю то было и любо, и он, ходючи по комнате, только что шутил, хвалил и хохотал. Но сие куда бы уже ни шло, если б не было ничего дальнейшего и для всех россиян постыднейшаго. Но та-та была и беда наша! Не успеют бывало сесть за стол, как и загремят рюмки и бокалы и столь прилежно, что, вставши из-за стола, сделаются иногда все как маленькие ребяточки и начнут шуметь, кричать, хохотать, говорить нескладицы и несообразности сущия. А однажды, как теперь

вижу, дошло до того, что, вышедши с балкона прямо в сад, ну играть все тут на усыпанной песком площадке, как играют маленькие ребятки. Ну все прыгать на одной ножке, а согнутым коленом толкать своих товарищей под задницы и кричать: «Ну! ну! братцы, кто удалее, кто сшибет с ног кого первый» и так далее. А по сему судите, каково же нам было тогда смотреть на зрелище сие из окон и видеть сим образом всех первейших в государстве людей, украшенных орденами и звездами, вдруг спрыгивающих, толкущихся и друг друга наземь валяющих? Хохот, крик, шум, биение в ладоши раздавались только всюду, а бокалы только что гремели. Они должны были служить наказанием тому, кто не мог удержаться на ногах и упал на землю. Однако все сие было еще ничто против тех разнообразных сцен, какая бывали после того и когда дохаживало до того, что продукты бакхусовы оглуляли всех пирующих даже до такой степени, что у иного наконец и сил не было вытти и сесть в линию, а гренадеры выносили уже туда на руках своих.

Но никогда так сильно дружба с бакхусом не возобновляема была, как во дворце за ужинами, за которыми должен был и генерал мой очень часто присутствовать. Государь любил его как-то около сего времени очень и был к нему милостив, а потому и ездил он почти ежедневно во дворец, а с ним и моя милость. Итак, бывало, засядут они себе за стол и вступя в премудрые и пространные разговоры, ну пограмыхивать рюмками и стаканами, а мы между тем во всю ночь галанить и ходить взад и вперед по буфетной, присланиваться к стенам и к уголкам, ссориться ежеминутно со сном и дремотою, мурчать себе под нос и проклинать час своего рождения. Не могу и поныне позабыть, как досадны и мучительны бывали для нас сии дворцовые предлинныя ужины и к каким даже дуростям доводимы были мы иногда непреодолимым почти хотением спать.

Как во всех тут комнатах не было ни единого стульца, где б можно было хоть на минуточку присесть, стоячи же подле стенки, дремать никак было не можно, потому что колени подгибались, то что ж наконец выдумали и затеяли мы, или, прямо сказать, я, ибо признаюсь, что заводчиком тому был я собственно. Философствуя долгое время и вымышляя, как бы пособить нужде своей и найти способ дремать, взглянул я однажды на бывшую в той комнате превеликую и четвероугольную печь и находившийся подле ея запечек или узкую пустоту между печью и стеною. Вмиг тогда пришло мне в голову испытать, уж не можно ли было хоть с нуж-

дою протесниться боком в пустоту сию и ущемить себя так между печью и стеною, чтоб проклятым коленам не можно было сгибаться и мешать мне спать стоячи. Я попробовал сие сперва тайком и так, чтоб никто того не видал, но как скоро увидел, что было то действительно очень хорошо и что протеснясь туда стоишь, как в тисках, и колена нимало уже не мешают дремать, как побежал искать между множеством нашей братьи товарища своего, полицейского офицера, и, подхватя его за руку, сказал: «Ну, брат, пойдем-ка. Я нашел наконец место, где нам можно сколько хотим себе дремать, а надобно нам только помогать друг другу».

Он любопытен был весьма видеть оное, и как ему я запечек указал и растолковал все дело, то сказал он: «Хорошо бы, брат, но ну-ка тут заспишься, а государь между тем встанет и пойдет здесь мимо самого сего места в спальню свою и увидит, куда тогда деваться и что делать?!» – «Экой ты, – подхватил я, – да разве не можно нам спать тут попеременно – то тебе, то мне, а между тем друг от друга не отходить, а стоять на карауле и тотчас спящего будить, как скоро в столовой заворочутся и вставать станут?» – «Ну, дело! – сказал он. – Право дело! Начинай же, брат, ты первый, и полезай, а я буду между тем твой верный страж, и не только тебя разбуду, как скоро вставать станут, но и стану вот тут в уголку и загорожу тебя спиною, так что никто не увидит тебя». – «Ей, ей, хорошо! – подхватил я. – Но какая нужда давать мне так долго спать, дай мне хоть немножко вздремнуть, а там пуцу я тебя и стану караулить также». Сказав сие, приступил я к делу, и средство сие было так удачно, что оба мы выспались в сей вечер, как хотели и повторяли то не один раз, а смотря на нас, дельвали потом то же и другие наши братья – адъютанты и ординарцы, которых всегда была тут толпа превеликая, и скоро уже дошло, что всякой в захват старался овладеть сим местом.

В другой раз, и как место сие помянутым образом захвачено было уже иными, догадало меня сделать другую проказу. Давно уже грыз я зубы на помянутыя выше сего штофные канаве, стоящия в среднем проходном покое, и также, по несчастию, на самой дороге, где государю, идучи во внутренние свои чертоги, проходить надлежало. Вся наша братья, равно как и мы, почитали их власно как священными и не смели к ним никак прикасаться, к тому ж и отдаленность их от того места, где мы галанивали и самое местоположение их от того всякаго удерживало; но как я, оборкавшись во дворце, сделался уже смелее и отважнее, то давно уже было у меня на уме

испытать прикорнуть также и на них; а чтоб не застал государь, то употребить также на вспоможение себе своего товарища, полицейского офицера. Но тогда, власно как нарочно, случись так, что увидел я на канапях сих придворнаго пажу, почивающаго себе спокойно и растянувшася, как на кровати. «Тьфу, какая диковинка! – сказал я сам в себе. – Когда паж может тут спать, то почему ж бы и мне не можно было? Ведь я такой же государев слуга и ничем его не хуже! Побегу за товарищем, поставлю его на караул, а там сгоню этого молодца и лягу».

В один миг все сие и сделано было. Я, смолвившись с офицером и поставив его у дверей на карауле, вдруг подбегаю к пажу, трясую его за плечо и на ухо кричу: «Государь, государь идет». Бедный мой паж вскочил без ума, без памяти и давай Бог ноги, а я и плюх на его место, но с тою, однако, предосторожностью, что под ноги разслал наперед свой платок, чтоб не замарать ими штофа. Не успел я улечься и начать глаза заводить, как гляжу: паж мой, увидевши, что я его обманул и что государь сидит еще за столом, вздумал было опять меня согнать и употребить к тому такой же обман.

Он прибегает ко мне, и, будя, говорит мне, но очень учтиво и вежливо: «Извольте, сударь, вставать! Государь изволит шествовать». Но я, дожидаясь повести сей не от него, а от своего товарища, тотчас догадался и сказал ему: «Пустое, брат, не правда и не мешай мне!» Досадно было пажу, что не дался ему в обман. Думать он и гадать, как бы ему согнать меня удобнее было можно. По счастью моему, не знал он, кто я таков и не отважился предпринимать какия-нибудь излишества; но наконец подходит опять ко мне, садится у меня в ногах и начинает говорить, смеяться всячески надо мною, трунить и всем тем мешать мне наслаждаться сном приятным. Долго я перемогался и терпел, притворяясь, что того не слышу; но как он мне своими шпыняньями надоел, то приподнявшись, сказал я ему: «Пустяки, брат, и напрасно трудишься, не согнать тебе меня, а убирайся-ка ты прочь». Но как и сие не помогло, но он опять начал и еще более надо мною по своему обыкновению забавляться, и ведая, что с ними без дальних церемоний обходиться можно, толкнул-таки я его ногою и сказал: «Ну! пошел же прочь, когда честь не берет, и не мешай!» Но пажу моего и то не понимает, но он начал еще и более меня беспокоить и даже за ноги тресть. Тогда вышел я из терпения, и приподнявшись, сердито уже закричал на него: «Слышишь, пошел прочь, щенок, и не мешай, а то я велю

тебя полицейскому офицеру неволею и с нечестью и за хохол стащить!» – «Как бы не так!» – сказал он. «А вот я тебе и докажу, – подхватил я, – что точно так. – Господин офицер! – сказал я, обратясь к стоявшему вдали и караулившему меня товарищу моему. – Подите сюда, и оттащите от меня этого щенка прочь и отведите его!» Я хотел было далее, но сам не зная, что говорить; но спасибо, не было уже в том более нужды. Паж, увидя, что офицер в самом деле стал подходить к нам, так того испужался, что в тот же миг вскочил и от нас брызнул, а сие и избавило меня от сего наяна, и я выспался себе тут досыта, и не прежде уже встал, как будучи разбужен своим товарищем; и как нам сей опыт удался, то не преминули мы и после сею отвагою пользоваться и сыпать иногда на канаях сих.

Но я заговорился уже так и позабыл, что письмо мое уже слишком увеличилось и что мне давно пора его кончить; итак, окончив сим, скажу, что я есмь навсегда и прочее.

ЗАГОВОР

Письмо 95-е

Любезный приятель!

Таким образом жил я в Петербурге и мыкал свое горе. О должности моей, как ни говорил г. *Балабин*, что она легкая и ничего не значущая, но она была в самом деле крайне трудная и пребезпокойная, а особливо в первый месяц по моем приезде в Петербург, и в короткое время так мне надоела и наскучила, что я проклинал ее и все на свете и не рад был почти животу своему.

И я истинно не знаю, как бы мог переносить ее далее, если б, по прошествии праздников, по вскрытии реки Невы, по наведении чрез ее на Васильевский остров моста и по наступлении весны, не произошло в обстоятельствах наших небольшой и такой перемены, которая стала доставлять нам временем и отрады и довольное уже иногда отдохновение, и чрез то сделала мне должность мою сноснейшею.

Произошло сие более от двух или трех причин: и во-первых, от того, что генерал наш, имея давно уже у себя близкую приятельницу в жене того старичка Волчкова, который славен у нас был переводами многих со-

чинений, а особливо *Гофмановых*: «*О спокойствии и удовольствии*» и *Белегардова* «*Истинного христианина и честного человека*», стал по-прежнему ездить к ней, очень часто на Васильевский остров, где она с мужем своим жила, и пробывать у ней по целой иногда половине дня и вечера целые. Ибо, как он туда никого из нас не бирывал, то при всех таких случаях и оставались мы дома и могли по воле отдыхать и употреблять сие время на себя.

Второе обстоятельство, уменьшившее также некоторым образом ежедневное наше безпокойство, было то, что государь, по вскрытии весны, начал уже чаще заниматься экзерцированием и смотрами своих войск и другими упражнениями, а потому и подобныя тем пиршества, о каких упоминал я прежде, бывали уже реже, и мы с генералом своим езжали во дворец и на оныя не так уже часто.

Наконец, третья и наиглавнейшая причина перемены происшедшей была та, что как около сего времени ропот на государя и негодование ко всем деяниям и поступкам его, которыя чем далее, тем становились хуже, не только во всех знатных с часу на час увеличивалось, но начинало делаться уже почти и всенародным, и все будучи крайне недовольными заключенным с пруссаками перемирием и жалея о ожидаемом потереции Пруссии, также крайне негодуя на безпредельную приверженность государя к королю прусскому, на ненависть и презрение его к закону, а паче всего на крайнюю холодность, оказываемую к государыне, его супруге, на слепую его любовь к Воронцовой, а паче всего на оказываемое от часу более презрение ко всем русским и даваемое преимущество пред ними всем иностранцам, а особливо голштинцам, – отваживались публично и без всякаго опасения говорить, и судить, и рядить все дела и поступки государевы. О государыне же императрице, о которой носилась уже молва, что государь вознамеревается ее совсем отринуть и постричь в монастырь, сына же своего лишить наследства – изъявлять повсюду сожаление и явно ей благоприятствовать, то генерал наш, будучи хитрым придворным человеком и предусматривая, может быть, чем все то кончится, и начиная опасаться, чтоб в случае бунта и возмущения, или важнаго во всем переворота, не претерпеть бы и самому ему чего-нибудь, яко любимцу государеву, при таком случае уже некоторым образом и не рад тому был, что государь его отменно жаловал, и потому, соображаясь с обстоятельствами, начал уже стараться понемногу себя от государя сколько-нибудь уже и

удалять, а напротив того, тайным и неприметным образом прилепляться к государыне императрице и от времени до времени бывать на ее половине и ей всем, чем только мог, прислуживаться и подольщаться, что после действительно и спасло его от бедствия и несчастья при последовавшей потом революции. Сия-то была третья причина, уменьшившая гораздо всегдашние его выезды и заставлявшая более сидеть дома и заниматься будто своими полицейскими делами, равно как и при самых выездах не всегда нас брать с собою, но оставлять дома, что делывал он всегда, когда случалось ему ездить на половину к государыне или к ее приверженцам. Сперва мы не знали всего того и только что дивились такой неожиданной перемене; но как узнали о потаенных его бываниях у императрицы, о препровождении у нея иногда по несколько часов времени в игрании в карты и в разговорах, то скоро догадались, к чему все сие клонится и отчего отмеченная нами перемена происходила.

Но как бы то ни было, но мы ею были очень довольны, а горевали и озабочивались только о себе с другой стороны. Всем нам помянутый народный ропот и всеобщее час от часу увеличивающееся неудовольствие на государя было известно, и как со всяким днем доходили до нас о том неприятные слухи, а особливо когда известно сделалось нам, что скоро с прусским королем заключится мир и что приготовлялся уже для торжества мира огромный и великолепный фейерверк, то нередко сошедшись на досуге, все вместе говаривали и разсуждали мы о всех тогдашних обстоятельствах и начинали опасаться, чтоб не сделалось вскоре бунта и возмущения, а особливо от огорченной до крайности гвардии. Мысли о сем тем более всех нас тревожили смущали и озабочивали, что мы опасались, чтоб нам при таком случае не претерпеть бы и самим чего-нибудь. «Сохрани Бог, ежели что действительно произойдет! – говаривали мы не один раз между собою. – То генералу нашему трудно будет тогда уцелеть. Все почитают его любимцем государевым, хотя он и далеко не в такой милости у него, как другие; но разбирают ли при таких случаях? И Боже сохрани, ежели делается с ним что-нибудь дурное, то берегись и мы все, при нем живущие! Сочтут и нас во всем соучастниками и чтоб не пострадать и нам всем тогда ни за Христа, ни за Богородицу и не погибнуть бы невозвратно».

Сим и подобным тому образом говаривали мы часто между собою, покачивали обыкновенно разговор свой общим гореванием о том, что живем в такая сумнительная времена и находимся при таком генерале, от

котораго, кроме беды, впрочем, никакого добра ожидать не можно; ибо в непохвальбу ему можно сказать, что, несмотря на все свое великое богатство и обстоятельство, что ему, как бездетному, совсем некому было прочить, был он в разсуждении нас до чрезвычайности скуп и никогда даже и не помышлял о том, чтоб чем-нибудь нас облагодетельствовать или возблагодарить нас за всю нашу к нему ревность, труды и услуги чем-нибудь существительным. Никто из нас не видал от него во всю нашу бытность при нем ни малейшаго себе подарка или какого благоденствия особливаго. А все состояло только в том, что мы едали за столом его; но к сему обязывала его и должность, а потому с сей стороны были мы ему не весьма благодарны.

Теперь кстати расскажу я вам, любезный приятель, одно случившееся около сего времени со мною происшествие, которое по важности своей относительно до меня особливаго примечания достойно. В один день, и как теперь помню, пред обедом, когда мы все были дома, приезжает к нам тот самый г. *Орлов*, который в последующее время был столь славен в свете, и, сделавшись у нас первейшим большим боярином, играл несколько лет великую ролью в государстве нашем. Я имел уже случай, в прежних письмах своих, сказывать вам, что сей человек был мне знаком по Кёнигсбергу, и тогда, когда был он еще только капитаном и приставом у пленнаго прусскаго королевскаго адъютанта, графа *Шверина*, и знаком более потому, что он часто к нам хаживал в канцелярию, что мы вместе с ним хаживали танцевать по мещанским свадьбам, танцевали вместе на генеральских балах и маскарадах, и что он не только за ласковое и крайне приятное свое обхождение был всеми нами любим, но любил и сам нас, а особливо меня, и мы с ним были не только очень коротко знакомы, но и дружны. Сей-то человек вошел тогда вдруг в залу, где я с прочими находился, и как он был все еще таков же хорош, молод и статен, как был прежде, то нельзя мне было тотчас не узнать его, и как я об нем с того самага времени, как он от нас тогда с *Швериным* поехал, ничего не слышал, и не знал, не ведал, где он и находится, то обрадовавшись неведомо как сему нечаянному свиданию, не успел его завидеть, как с распростертыми для объятия руками, побежал к нему, закричав:

– Ба, ба, ба! Григорий Григорьевич!..

А он, в ту же минуту узнав меня также, с прежнею ласкою ко мне воскликнул:

– Ах, Болотенко! – ибо так всегда он меня любя и шутя в Кёнигсберге называл. – Друг мой, откуда ты это взялся? Каким образом очутился здесь? Уж не в штате ли у Николая Андреевича?

– Точно так! – отвечал я ему, обнимающему и целующему меня дружески: флигель его адъютантом!.. Ах, Боже мой! – продолжал я. – Как я рад этому, что тебя здесь нахожу и вижу здоровым и благополучным!

– Ко мне, ко мне, братец, пожалуй! – сказал он. – Я живу вот здесь близехонько, подле дворца самага, на Мойке!

– Но скажи ж ты мне, – подхватил я – Где ж ты ныне находишься и при чем таком? Вот уж не в полевом прежнем, а в артиллерийском мундире; уже не сделался ли ты, враг (?), артиллеристом?

– Здесь, здесь, братец, – отвечал он захохотавши, – точно артиллеристом и господином еще цальмейстером при артиллерии!

– Ну, поздравляю ж, поздравляю тебя, Григорий Григорьевич, получив чин сей! Дай Бог тебе и выше и выше. Еще ты лучше и пригоже в этом мундире! Ей, ей, красавец! Сущий враг!

Я хотел было далее говорить, но вошедший в ту минуту к нам генерал наш помешал мне в том, и увидев г. *Орлова*, который ему также по прежнему знакомству очень был известен, также воскликнул: «А, Григорий Григорьевич, здравствуй, мой друг!» – и, поцеловав его, взял за руку и повел его к себе в кабинет и пробыл там с ним более часа.

Что они там с ним говорили, того ничего я уже не знаю, а увидел только то, что генерал унял его у себя обедать, говорил и обходился с ним дружески, разговаривал за столом с ним о кёнигсбергской нашей жизни и о том, как мы там поживали, веселились и танцевали вместе, и о прочем. Когда же встали из-за стола, и г. *Орлову* пришло время от нас ехать, то, обняв, разцеловав он меня опять по-прежнему своему кёнигсбергскому еще обыкновению и опять убедительнейшим образом стал меня звать к себе и просить, чтоб я у него побывал и навестил в его квартире. «Хорошо, хорошо! – сказал я. – Как скоро только можно будет, то твой гость и побываю у тебя».

Сим кончилось тогда наше первое свидание и я почел его ничего не значущим; да и можно ль было мне тогда помышлять и вообразить себе, что призыв сей был превеликой важности и открывал было мне путь к достижению высоких чинов и достоинств, к приобретению великих богатств и к возшествию, может быть, на высокия степени чести и знатности. Ибо

я тогда ничего еще об *Орлове* не знал и мне и в голову того вселиться никак не могло, чтоб был сей человек тогда уже очень и очень коротко знаком государыне императрице и, будучи к ней в особливости привержен, замышлял уже играть свою ролю и набирал для ей и для производства замышляемого великаго дела и последовавшего потом славнаго переворота из всех друзей и знакомцев своих партию и которых всех он потом осчастливил, вывел в люди, поделал знатными боярами богачами и навек счастливыми, и чтоб, как сомневаться в том не можно, назначал он и меня тогда в уме своем себе в товарищи.

Всего того не зная нимало и не ведая, и пропустил я сей случай без всякаго уважения. Но как удивился, как чрез несколько дней является ко мне присланный нарочно от г. Орлова, кланяется от него и говорит, что приказал он меня звать как можно к себе и что есть ему до меня нужда! «Хорошо, братец, – сказал я присланному. – Я побываю у него, как скоро найду свободное время». – «Он было приказал вас звать теперь к себе и приказал было мне проводить вас до его квартиры». – «Душевно б рад, мой друг, но теперь мне никак не можно! Вот видишь, карета стоит перед крыльцом, генерал в сию минуту едет со двора, и мне надобно с ним ехать. Итак, кланяйся, братец, Григорию Григорьевичу, и скажи, что теперь мне никак не досужно и что я повидаюсь с ним после».

Сие и в самом деле так было: мы в тот же час поехали со двора, и я не уважил и сего вторичнаго призыва, и почел оный ничего не значущим, и мысленно еще сам в себе смеялся и говорил: «Какая чорту нужда! А так, небось, хочется пошалберить и повидаться».

Но не успело еще несколько дней пройтись, как, к превеликому удивлению является опять тот же присланный от г. *Орлова*, и, остановив меня в сенях, спешащаго иттить к генералу, кланяется мне от него и опять зовет к нему почти неотступно, говоря, что он велел мне сказать, что, ей-ей, есть ему до меня крайняя нужда и чтоб я как можно к нему пожаловал, приехал и хоть бы на одну минуту. «Батюшка ты мой! – отвечал я ему. – Ей-ей! мне и теперь никак не можно. Генерал спрашивает меня, и я, видишь, спешу иттить к нему». Сие было и в самом деле, и генерал чрез несколько минут послал меня со двора и надавал мне тогда столько комиссий, что я с превеликою досадою до обеда проездил и впрах измучился. Но на дороге не один раз приходило мне на мысль сие призывание: «Господи! – говорил я сам себе и говорил не однажды. – Какая бы такая *Орлову* была до меня

нужда да еще и крайняя? Никаких у нас с ним не было связей и никаких таких дел между нами, по которым бы могла дойти до меня когда-нибудь надобность, а того меньше и нужда!.. Не понимаю я!..», – продолжал я, пожимая плечами, и отъехавши, опять то же и то же вспоминал и дивился.

Наконец и вздумал было к нему завернуть, но так случись, что было тогда уже поздно, надобно было поспешать домой к генералу, а к тому ж как-то и позабыл я и не мог в точности вспомнить, где именно была его квартира, а у присланного хотел было еще расспросить, но его, вышедши в сени, уже не застал, он тогда уже уехал; сверх того, опасаясь, чтоб сие меня не задержало, отложил я и в сей раз свидание с ним до другого случая, а пропустил благополучно и сей случай и не уважил нимало и сего третичного призыва.

Но как бы вы думали, любезный приятель, ведь при сем одном не осталось еще сие. Но г. *Орлову*, видно, так усердно хотелось влести меня в свое дело, что не преминул решиться он сам опять к генералу и нарочно только для того приехать, чтоб со мною видеться, и меня как можно убедить приехать к нему; и потому, нашед меня в сей раз в зале, тотчас ко мне адресовался и власно как с некакою досадою, мне сказал:

– Эх, братец, ты какой! Не мог ты по сие время никак побывать у меня, как я тебя и сам, и чрез посланного, просил о том!

– Эх, братец! – отвечал я. – Ну, как это? Разве не знаешь ты нашего генерала и не посмотрелся в Кёнигсберге, каков он, и каково жить при нем его подкомандующим. Ведь он и здесь таков же: будь безотлучно при нем и как от дяди ни пяди. Если б можно было, то давно бы побывал, а то, ей-ей, не мог никак и на один час во все сии дни от него оторваться. Замучил-таки нас до бесконечности.

– Да как-таки так, – подхватил он. – Как бы не найтить свободного времени, если б похотел; а я боюсь тебе, что имею до тебя крайнюю нужду и что истинно нарочно для того сюда наиболее и приехал, чтоб тебя звать к себе; ну, поедем же хоть теперь ко мне!

– Нельзя, голубчик мой, и теперь никак! – отвечал я. – Генерал уже совсем готов и собирается ехать со двора, и мне приказано уже от него, чтоб с ним ехать!

– Экое горе! – подхватил он. – А мне крайняя до тебя есть нужда, и ты не поверишь, какая крайняя надобность поговорить с тобою.

– Господи! – удивляясь, отвечал я. – Да какой такой нужде необходимо быть?.. Не понимаю я, никаких у нас с тобою дел нет и не было!

– Этакой ты; ну, право, нужда, ей-ей, нужда, и нужда крайняя!

– Фу! какой! – подхватил я. – Ежели есть нужда, так разве не можно тебе сказать мне ее здесь и теперь же?

– Нет, нельзя никак! – отвечал он. – А мне хотелось бы с тобою поговорить о том дома; пожалуйста, братец, поедем.

– Ну, истинно нельзя, голубчик ты мой! – отвечал я. – А ежели подлинно есть тебе нужда, то для чего ж и здесь не сказать? Разве не хочешь говорить о том при людях? Ну, так пойдем, вот туда в дальния комнаты, там никого нет, и мы можем себе говорить обо всем и обо всем, никто нас не увидит и не услышит, а благо время к тому теперь свободное, и генерал еще не совсем оделся.

От предложения сего позадумался было он, однако вдруг опять, власно как встрепенувшись, мне сказал:

– Нет, мой друг, здесь никак и ни под каким видом нельзя, а пожалуйста, приезжай ко мне! Ты одолжишь меня тем неведомо как!

Тут опять, и власно как нарочно, растворились двери в комнату генеральскую, и как нам против самых оных тогда стоять случилось, то генерал, увидев *Орлова*, стал звать его к себе, и он принужден был, оставив меня, иттить к нему. Но в сей раз не долее пробыл он у него, как только несколько минут, но, проходя опять чрез залу, не преминул поцеловаться со мною и опять мне сказать:

– Ну, пожалуйста, же, мой друг, побывай у меня и как можно скорей, ты всегда найдешь меня дома, а особливо по утрам.

– Хорошо, хорошо! – сказал я, – и как скоро только можно будет.

С сим и разстались мы тогда с сим человеком, и я ему хотя и верное почти дал слово побывать у него, но в самом деле, стали мне неотступныя его просьбы и столь усильные зовы уже несколько и подозрительны становиться и приводить меня в недоумение превеликое, так что я, поехав тогда с генералом, во всю дорогу о том думал и сам в себе говорил: «Господи, что за диковинка и что за нужда такая? Не понимаю я! Никакой, кажется, нужде быть не можно, а того меньше такой, о которой при людях и даже в доме у нас говорить не можно? Не понимаю, что за секреты такие? Уж нет ли каких у него сплетней особливых, и не хочет ли он уже меня заманить во что-нибудь дурное? Да, вот и нашел человека! – продолжал

я, сам себе, усмехаясь говорить. – Тотчас ведь и согласился на все! не на такого он напал!»

Сим и подобным сему образом размышлял и сам с собою говорил я тогда во все утро и всячески старался мыслями своими добраться до того, за чем таким призывал он меня к себе. Более всего подозревал я, что не по масонским ли делам то было?

Принадлежал он, как то известно было мне, к сему ордену. И как он не однажды меня и в Кёнигсберге еще ко вступлению в оный уговаривать старался, но я, имея как-то во всю жизнь мою отвращение как от сего ордена, так и от всех других подобных тому тайных связей и обществ, не соглашался к тому никак, то приходило мне в мысль, не хотел ли он и тогда заманить меня в оный, и не за тем ли призывал меня с таким усилением, но истинной причины никак мне и в голову не приходило.

Со всем тем как тогдашнее время было очень шатко и самое критическое, то не имел я охоты входить ни в какихя сплетни, а особливо при тогдашнем моем философическом расположении мыслей, и потому, подумав гораздо и, сказав сам себе: «Уже ехать ли мне к нему и не погодить ли по крайней мере еще?», решился наконец к сему последнему, а чрез само сие все это происшествие тем и кончилось. Г. *Орлов* более сего уже мне не сучал и меня не видал, а я также чем далее, тем меньше охоты имел к нему ехать, и скоро совсем о том и думать перестал. Но после, как по вступлении на престол императрицы Екатерины открылось, что такое был *Орлов* и что он тогда делал и предпринимал, то легко я мог в помянутом его усиленном домогательстве к заманению меня в себе, усмотреть истинную причину, и не мог уже нимало сомневаться в том, что ему хотелось вплесть меня в тогдашний свой комплот и преклонить вступить вместе с ними в заговор тогдашний, и хотелось, может быть, потому наиболее, что я был у *Корфа*, адъютантом, а сей находился в милости у государя и они, может быть, ласкались надеждою узнавать от меня о многом, до государя относящемся.

Но как бы то ни было, но я крайним поразился изумлением, услышав о революции и обо всем, во время оной и после происходившем. Однако не думайте, любезный приятель, чтоб я терзался при том сожалением и тужением о том, что упустил четверократный призыв себя к тому же, может быть, счастию, каким воспользовались тогда все сообщники гг. *Орловых* и бывшие с ними в заговоре, и досадою на самого себя, для чего не послушался я г. *Орлова* и не съездил тогда к нему, к чему натурально,

если б только похотел, то мог бы найти свободное время. Нет, нет, любезный приятель, сие всего меньше меня беспокоило; а я как тогда, так и после и даже и поныне, всегда, когда ни вспомню тогдашнее время и все помянутое с г. *Орловым* происшествие, как нахожу во всем оном нечто таинственное, и примечаю почти явные следы действия пекущегося тогда о истинном благе моем Промысла Господня, старавшагося, как чрез все вышеупомянутыя, власно как нарочно, случавшиися мне препятствия и невозможности к езде к г. *Орлову*, так и последующим потом удивительным почти нехотением моим или паче некаким и, власно как по неволе, удержанием меня от того, спасти и предохранить меня, когда не от совершеннаго бедствия и несчастья, которое могло б всего легче воспоследовать, так по меньшей мере от наимучительнейшаго состояния.

Ибо, судя по тогдашнему моему расположению мыслей и, прямо, по философическим правилам в жизни, к каким я прилепился столь крепко еще в Кёнигсберге, за верное полагаю, что я никак бы и ни под каким видом не согласился на предложение г. *Орлова*, если б я к нему тогда и поехал и от него оное услышал, но что оное поразило бы меня как громовым ударом, смутило бы весь мой дух и повергло бы меня в наимучительнейшее состояние. Ибо, как, с одной стороны вся душа моя была тогда всего меньше заражена честолубием и любостыжательством, и всего меньше обожала знатныя и высокия достоинства, а жаждала единственно только мирной сельской, спокойной и уединенной жизни, в которой бы мог я заниматься науками и утешаться приятностями оных; а с другой стороны, дело сие и тогдашнее предприятие г. *Орлова* было такого рода, котораго счастливый и отменно удачный успех не мог еще быть никак предвидим и считаться достоверным, но, напротив того, все сие отважное предприятие сопряжено было с явною и наивеличайшею опасностью, и всякому, воспринимающему в заговоре том соучастие, надлежало тогда, власно как на карту, становить не только все свое благоденствие, но и жизнь самую и подвергаться самопроизвольно всем величайшим бедствиям в свете; то подумал ли бы и восхотел ли б я тогда для недостовернаго получения таких выгод, которыя почитал я тогда сущими ничтожностями и единою мечтою, самопроизвольно несть голову свою на плаху и подвергнуть себя без всякой нужды наивеличайшей опасности жизни и пожертвовать тому всем спокойствием и благоденствием в жизни? Нет! нет! никогда бы и никак я на то не согласился, и как бы г. *Орлов* ни стал меня уговаривать, но я верно бы его

не послушался. А как бы скоро сие случилось, то подумайте, не подвергли б я себя и самым сим превеликой опасности? Не вооружил ли б я всю их шайку на себя злобою? Не произвел ли б во всех их опасение, чтоб я не донес на них государю и не подверг их всех опасности величайшей, и не могли ль бы они для обеспечения себя от меня предпринять против самого меня еще чего-нибудь злого и даже восхотеть сбить меня с рук и с света? Да хотя б и того не было, так не мог ли б я и после, как не хотевший быть с ними заодно, претерпеть какого-нибудь за то бедствия и опасности? А оставляя и все сие, не могло ль бы единое узнание такого страшного дела, при всем нехотении вступить в такой опасный заговор, подвергнуть меня в наимучительнейшую нерешимость, крайнее сумнительство и недоумение, что мне тогда делать, и молчать ли о том или донести где надлежало? Оба сии случая были бы для меня страшны и могли б дух мой поражать неопи- санным страхом и ужасом; ибо и самое молчание не сопряжено ль бы уже было с явною опасностью и ожиданием непременно себе бедствия, в слу- чае если б заговор открылся и вкупе узнано было, что и я о том знал и ве- дал? Не стал ли б тогда меня самый долг присяги побуждать открыть толь страшный заговор самому государю? Но отважился ли бы я и на сие пред- приятие? А все сие не стало ль бы меня ежеминутно терзать и мучить?

Итак, другого не заключаю, что благодетельствующий мне Промысл Всемогущаго, положивший доставить мне и без того такую жизнь, какую только желало мое сердце, и одарить меня истинным, а не ложным благо- получием в жизни, восхотел меня всем тем спасти не только от величай- ших бедствий и опасностей, но оказать мне и самым тем наивеличайшее благодеяние в жизни.

Но я удалился уже от моего повествования и письмо мое так увеличи- лось, что мне пора его кончить и сказать вам, что я есмь и прочее.

ОКОНЧАНИЕ ВОЙНЫ С ПРУССИЕЙ

Письмо 96-е

Любезный приятель!

Между тем как упомянутое происшествие у меня с г. Орловым проис- ходило, и у него с соумышленниками своими ковался на государя и втайне

набиралась благоприятствующая императрице партия, государь, ничего о том не зная, не ведая, а будучи и в совершенной безопасности, продолжал проводить время свое по-прежнему, в ежедневных опорожниваниях бутылок с аглицким своим любимым пивом, в частых у себя, а особливо по вечерам, пирушках, с любимцами своими и фавориткой, и удостоивании первейших вельмож своих посещениями, в экзерцировании и превращении на иной лад любезнаго своего кадетскаго корпуса и войск, как бывших тогда в Петербурге, так и вновь пришедших. А между тем при помощи любимцов своих занимался и разными политическими делами, также и относящимися до правления.

Первейшими и знаменитейшими тогда вельможами, носящими на себе отменную милость и доверенность от государя, были следующие: во-первых, выписанный им тотчас из Голштинии дядя государев, принц *Георг Людвиг* Голштинский, игравший тогда знатнейшую ролю. Ему придан был титул «императорскаго высочества», и он известен был тогда более под именем принца *Жоржа*, как тогда все его называли. Сей родственник государев удостоен был от него особливою доверенности и милости, и на него возложено было наиболее поправление наших войск и переобразование оных на прусский манер, или перелитие их в прусскую форму. О качествах и свойствах сего принца не могу я сказать почти ничего достовернаго, потому что я не знал его коротко, хотя мы с генералом нашим и часто к нему езжали, а говорили тогда только все, что он был не из пылких людей, а человек очень, очень мякенький и не слишком дальновидный, замысловатый и расторопный. Со всем тем государь оказывал к нему особое почтение и уважение, но, к сожалению, не хотел никак внимать дружеским советам и увещаниям сего близкаго родственника.

Другую знаменитейшею особою был тогда помянутый наш великий канцлер граф *Михайла Ларионович Воронцов* – управляющий иностранными делами. За ним следовали: генералы-фельдмаршалы: князь *Никита Юрьевич Трубецкой* и возвращенный из ссылки старик *Миних*. Далее играли знаменитую тогда ролю принц *Петр* Гольштейн-Бекский, генерал-фельдцейхмейстер *Вильбоэ*, генерал-прокурор и генерал-кригс-комиссар *Глебов*, наш генерал *Корф*; также генерал-поручики: князь *Волконской* и *Мельгунов*, а паче всех управлявший наиболее всеми штатскими делами, действительный статский советник и тайный государев секретарь *Дмитрий Васильевич Волков*. А из адъютантов государевых знаменитейшими

были: барон *Унгери* и *Гудович*, а особливо сей последний, бывший первым любимцем и толь близким человеком при государе, что он не отходил почти от него ни пяди. Сей самый генерал-адъютант послан был первый от государя курьером к королю прусскому, с извещением о вступлении своем на престол и с уверением о его к нему почтении и дружестве, и самый тот, который первый привез в Европу начальный луч надежды к предстоящему близкому миру и по всему тому как королем, так и всеми его министрами и генералами в Штетине, Берлине, Магдебурге и в других местах приниман был с особливым почтением и повсюду угощаем великолепнейшим образом. Но никто приездом его и известием, полученным чрез его так много обрадован не был, как сам король прусский.

Сей в то время, когда скончалась императрица *Елисавета*, находился в пресквернейших обстоятельствах и, лишась всей помощи и почти всей надежды, ожидал уже совершенной своей гибели, и она казалась совсем неизбежною; ибо хотя победы его и могли остановить успехи его неприятелей, но к обратному отнятию взятых ими крепостей потребны были долговременные и безпрепятственные осады и многия счастливыя битвы.

Все делаемая им напряжения не помогли ему уже нимало, а всего достовернейшим казалось ему, что вскоре мы осадим и возьмем славную его померанскую крепость Штетин, овладеем опять резиденциею его, Берлином, и даже всем его курфирством, ибо все зависело от деятельности нашей, и тем паче, что мы и без того отрезали его совсем от Польши, из которой получал он до того свой хлеб как из магазина. Собственные же его разоренныя земли терпели сами уже оскудение в съестных припасах, а остаток запасеннаго в магазинах хлеба был так мал, что не достаточно было его для прокормления армии и в одно лето. Сверх того, был у него также недостаток в рекрутах, в лошадях и во многих других военных потребностях. В порохе и ядрах хотя и не было у него недостатка, также и в деньгах, но при транспортах и доставлениях того из отдаленных мест делались от часу множайшия затруднения. Во многом не хотели и не могли уже помогать ему и деньги. Все сии обстоятельства так короля разстроили и смутили, что каков он до того ни был твердодушен, но тогда потерял всю свою бодрость и погрузился в меланхолию. Он говорил уже мало, и самые его любимцы не могли уже почти добиться от него слова; стал уже обедать один, перестал выходить на вахт-парад, не ездил более прогуливать-

ся, кинул свою флейту и был в таком отчаянии, что носил всегда при себе уже яд, дабы, в случае какого несчастья не отдать себя неприятелям своим живым в руки. Теперь судите, как же должен он был обрадоваться, как помянутый *Гудович*, прискакав тогда к нему в Бреславль, привез известие о кончине его опаснейшей неприятельницы и о вступлении на престол его друга и обожателя, уверявшего его уже при первом шаге о безпредельном к нему почтении и о желании заключить с ним мир, возстановить дружескую переписку и заключить даже формальный союз и дружбу; и когда король в самое то же время узнал, что велено было армиям нашим тотчас остановить и пресечь все военные действия, вытти из Померании, отдать опять Кольберг, освободить всех военнопленных и тотчас заключить на первый случай перемирие, а Чернышову с корпусом своим отойти от цесарцев прочь и вступить в его земли для намеренного потом соединения с его войсками? Радость его и действительно была чрезвычайная!

Король власно как оживотворился тогда опять и сделался совсем по-прежнему весел, бодр, жив, стал принимать к себе людей, со всеми говорить, играть по-прежнему на своей любимой флейте и надеяться на нас под бременем тяжких своих напастей, а восторжествовать еще, при помощи нашего государя, над всеми своими врагами и неприятелями. И удивительно ли, что он в благодарность за сие велел также освободить всех и наших военнопленных, а к государю прислал свой орден Черного Орла, а вместе с ним такой же и нашему генералу *Корфу*, в воздаяние за его к себе услуги при управлении его королевством Пруссим.

Орден сей прислан был к нему еще прежде моего приезда в Петербург; но он его как-то редко на себе нашивал, и я его никогда не видал в оном, а всегда висел он у него с широкою своею ранжевою лентою на стопочке в спальне. И я как теперь помню: однажды в отсутствие генерала забравшись один в спальню сию, надевал еще сей орден сам на себя и, став перед зеркалом, начал было любоваться оным; но тотчас опомнившись, захохотал тогдашней своей глупости и, сняв скорее опять его с себя, повесил на прежнее место и несколько минут занимался философическими размышлениями о суетностях сего рода украшений и о том, какия страшныя и великия действия производят безделушки сии в умах и деяниях смертных и сколь выгодно изобретение сие для государей, могущих такими безделушками и такою дешевою монетою награждать подданных своих за величайшия их услуги и доводить ими многих людей даже до безумия и до того,

что они для получения их жертвуют иногда всем и всем, и даже самую свою жизнь в свете.

Случилось же мне также тут видеть и самое то письмо, при котором прислан был к генералу нашему от короля сей орден, и которое подписано было его собственною рукою. Я не мог довольно надивиться тому, что оно было совсем не такое, какия даются от наших государей новопожалованным кавалерам, но написанное мелким немецким письмом на четвертинке почтовой бумаги наипростейшим образом и без всяких украшений.

Но всего смешнее и удивительней была рука сего толь славнаго в свете монарха и образ его подписывания писем. Он состоял в едином почти изображении литеры F, но с таким небрежением и так дурно, что я рассудил для любопытства изобразить подпись сию здесь. Она была точно следующая:



Но я удалился уже от порядка моего повествования, и теперь, возвращаясь к прежнему и желая вам, любезный приятель, сообщить хотя краткое известие обо всем кратковременном правлении императора *Петра III*, скажу далее, что кроме упомянутых уже впереди мною наизнаменительших и первейших его дел, как то: дарование вольности дворянству, уничтожение тайной канцелярии и прочих, состояли они и в следующих:

Он переменял совсем прежнее состояние тайнаго своего кабинета и составил его только из двух особ, объявив притом, что впредь будет он сам председательствовать в оном.

Он сделал во всей армии и во всем военном штате великую перемену и старался все учредить на ногу прусской. Переменена была совсем прежняя экзерциция на манер прусский: мундиры пошиты по прусскому крою; прежняя и наиприличнейшая древняя звания полков по городам уничтожены и, как я уже упоминал, велено было им называться уже по фамилиям их шефов, которым велено было и мундиры каждого полку отличить от других, чем они пожелают сами. Звание генерал-аншефов уничтожено, и велено им называться просто генералами, а бригадирская

степень уничтожена совсем, и полковники, по прусскому манеру, производились уже прямо в генерал-майоры. Прежде бывшее наказание солдат и всех военных батожем, кошками и кнутом отменено и велено наказывать палками и фухтелем, и для экзерцирования войска велено было собраться к Петербургу 15-ти тысячам войска и стать лагерем. А для лучшаго во всех военных распоряжениях успеха составлена особая военная комиссия, в которой членами сделаны: принц *Жорж*, князь *Трубецкой*, *Вильбоэ*, *Глебов*, *Мельгунов* и генерал-адъютант барон *Унгерн*, а председательствовал в оной сам государь своею особою.

Далее, прежняя лейб-компания была распущена поелику содержание оной ежегодно до 2-х миллионов рублей государству стоило; напротив того, прежний его голштинский конный полк получил все преимущества конной гвардии, и принцу *Жоржу* поручена была над ним команда. В самой Голштинии велел он учредить 7 пехотных и 6 конных полков с особым батальоном артиллерии. Начальство же над кадетским корпусом, при котором он сам до того был и шефом и директором, по сделанном наперед нарочно для того особом и великом торжестве, обеде и экзерцировании, поручил он генерал-поручику и прежде бывшему императрицы *Елисаветы* фавориту, Ивану Ивановичу *Шувалову*.

Равномерное попечение начал было иметь сей государь и о поправлении и приведении в лучшее состояние нашего флота, и хотел, чтоб английские морские офицеры принимали у нас во флоте службу и чтоб корабли впредь строены были не в Петербурге, а в Кронштадте. И в мае имел он удовольствие спустить при себе два вновь построенных военных семидесятипушечных корабля. Мне самому случилось быть при сем спуске оных и видеть всю употребляемую при том пышную церемонию. Стечение народа было при том безчисленное, и государь присутствовал при том сам, с императрицею и со всем своим придворным штатом и всеми иностранными министрами, и назвал один из них «Королем *Фридрихом*» а другой «Принцем *Жоржем*». Не могу изобразить, как напряжено было тогда у всех любопытство, когда в несколько сот топоров начали вдруг подрубить подпоры и как приятна была для всех та минута, когда корабль по склизам полетел вдруг с берега в реку Неву и отсекал впервые хребет оной своими громадами. Гром от пушечной пальбы, кричание «ура!», радостныя восклицания народа и звук труб, литавр и прочей музыки раз-

давался тогда по всем окрестностям и придавал зрелищу сему еще более пышности и величия.

Относительно до дел внутренняго правления государственнаго, то Сенату предоставлен был только Департамент гражданских дел, и не велено было ему более ни во что мешаться. А для попечения о славе государства и благоденствия подданных, сделана конференция и членами оной были принц *Жорж*, принц *Гольштейн-Бекский*, граф *Миних*, князь *Трубецкой*, канцлер *Воронцов*, *Вильбоэ*, князь *Волконский*, *Мельгунов* и *Волков*. А чтоб не отягощен был государь просьбами, то запрещено было подавать государю лично челобитныя, а велено просить обо всем в учрежденных к тому местах.

В самой полиции сделаны некоторыя перемены: уничтожены везде полицей-мейстеры, и оставлены только в обеих столицах, и московскому велено быть подсудным нашему генералу, яко главному полицеймейстеру.

Издан был также указ, относящийся до поспешествования коммерции и торговле, и силою онаго дозволен был выпуск за море хлеба, солонины и живого скота, и многия другия полезныя для торговли установления.

Далее были, по приказанию его, освобождены из неволи, кроме *Миниха*, и многие другие, бывшие в ссылке, а наиглавнейший: *Бирон*, герцог Курляндский, с обоими сыновьями своими. Барон *Менгден* с фамилиею, барон *Стрешнев* и граф *Лешток* с женою, и всем возвращены прежния их чины, имения и достоинства.

В самом придворном церемониале сделаны были некоторыя перемены, и государь требовал от всех иностранных министров, чтоб они первые свои визиты делали принцу *Жоржу*, поелику он его почитал первым принцем крови. Что касается до войны нашей с пруссаками, то, по пресечении военных действий, с самага вступления государева на престол, переговоры о мире начало свое восприяли и продолжались при содействии самого государя с такою ревностию, что 24-е апреля был наконец тот день, в который несчастная сия и толь многой крови и убытков нам стоящая война получила действительное свое и окончание и в который заключен был между нами и пруссаками, так называемый вечный мир и самим государем подписан. А 30-го числа того ж месяца был он и всему собранному ко двору генералитету и другим знатнейшим особам чрез великаго канцлера, графа *Воронцова*, объявлен. И государь принимал от всех поздравления с оным и дал потом превеликий обед, радуясь оному как бы какой великой

находке, и при продолжении стола, при безпрестанной пальбе из пушек, пил за здоровье короля прусскаго, к крайней досаде и огорчению всех истинных сынов отечества. После сего обнародован был сей мир и во всем городе, и 10-е число мая назначено для всеобщаго мирнаго торжества.

Торжество сие и последовало действительно помянутаго числа, и было в своем роде хотя самое пышное и великолепное, но для всех россиян не весьма приятное.

Собрание во дворце всех знатных господ и генералитета было многочисленное, а стечение народа, для смотрения приготовленнаго к сему случаю огромнаго и прекраснаго фейерверка, было несметное.

Для обеда и бала после онаго приготовлен и с великою поспешностию отделан был большой зал во дворце, в том фасе онаго, который был окнами на Неву-реку. И государь, опорожнив, может быть, во время стола излишнюю рюмку вина и в энтузиазме своем к королю прусскому дошел даже до такого забытия самого себя, что публично, при всем великом множестве придворных и других знатных особ и при всех иностранных министрах, стал пред портретом короля прусскаго на колени и, воздавая оному непомерное уже почтение, называл его своим государем: происшествие, покрывшее всех присутствовавших при том стыдом неизъяснимым и сделавшееся столь громким, что молва о том на другой же день разнеслась по всему Петербургу и произвела в сердцах всех россиян и во всем народе крайне неприятныя впечатления. Со всем тем самому мне происшествия сего не случилось видеть, и помянутых слов, произведших потом страшныя действия, слышать своими ушами, а говорили только тогда все о том.

Нехотение пробыть сей день без обеда и весь оный промучиться в тесноте и в крайней скуке между множеством нашей братии в передних дворцовых комнатах, а напротив того, крайнее любопытство и желание видеть на свободе сожжение фейерверка и оным досыта налюбоваться, побудило меня употребить в сей день небольшую и позволительную хитрость, и под предлогом недомогания отделаться в сей день от езды за генералом и остаться дома. И так, пообедав в свое время и одевшись попростее, пошел я заблаговременно ко дворцу и, выбрав себе наилучшее и способнейшее для смотрения фейерверка место, стал спокойно зажжения онаго дожидаться. И хотя был тогда принужден ждать того несколько часов и не без скуки, однако заплачен был с лихвою за то неописанным удовольствием при смотреии сего наипрекраснейшаго зрелища, продолжавшагося не-

сколько часов сряду и достойного по всем отношениям всякого внимания от любопытного человека.

Был он самый огромный и стоящий многих тысяч. Главнейшие его фитильные щиты воздвигнуты были на берегу Васильевского острова против дворца и окон самой оной залы, где отправлялось тогда торжество. Впереди, против сих щитов, поделаны были другия движущияся колоссальныя фигуры, изображающия Пруссию и Россию, которыя, будучи сдвигаемы по склизам и загоревшись, сходились издалека вместе и, схватившись над жертвенником руками, означали примирение. Не успело сего произойти, как произрасло вдруг на сем месте пальмовое дерево, горевшее наипрекраснейшим зеленым и таким огнем, какого я никогда до того не видывал. А вслед за сим выросли тут же и многия другия такая же деревья и составили власно как амфитеатр кругом сего места. Уже и одно сие зрелище было таково, что я не мог им довольно налюбоваться; но сколь удовольствие мое увеличилось, когда вслед за сим вспыхнул и загорелся вдруг большой щит и когда, по прошествии перваго дыма, представился зрению моему огромный и великолепный Янусов храм с галереями по обеим сторонам и двумя портиками или присенками, горящий разными и прекрасными фитильными огнями. Не видав никогда еще в таком совершенстве сделанный фитильный щит, не мог я зрелищем сим насытить тогда довольно глаз своих. А не меньшим удовольствием напоялось сердце мое при последующих потом и более часа сряду продолжавшихся верховых и низменных огнях и многообразных фигур, составляющихся из оных. Какое множество горело тут разнаго рода наипрекраснейших колес огненных и фонтанов и других тому подобных штук! Какое множество выпущено было верховых ракет и луст-кугелей! Какое множество бурakov с швермерами и звездами и какое множество разных водяных фигур, горевших на Неве перед дворцом самым, и производивших разные звуки и шумы. Зрелищи сии были так разнообразны и хороши, что я истинно едва успевал следовать очами своими за всеми сими и на большую часть новыми и невиданными для меня предметами, и удовольствие мое было превеликое.

Наконец не менее увеселяли меня и другие щиты, построенные на больших ладьях, приводимые по воде и устанавливаемые против дворца на место сгоревших. Один из них был прорезной и составленный из искр несметнаго множества швермеров и колес, горевших позади его, а другой

из так называемых свечек и белого огня, и оба сделанные очень хорошо и горевшие весьма удачно.

Словом, фейерверк сей был огромный и такой, какия бывают редки, и стечение смотревшаго народа было чрезвычайно великое. Все берега реки Невы и все ближния места были унизаны людьми, а не осталась и самая река праздною, но усеяна была множеством суденышков, наполненных зрителями. По счастью, погода случилась тогда самая тихая и наимприятнейшая вешняя, только жаль было, что вечер тогда случился светловат и не так было темно, как для фейерверка было надобно. Впрочем, зрелище сие продолжалось нарочито долго, и мы не прежде разошлись, как уже около полуночи.

Сим образом кончилось мирное торжество в тот первый день. Но государю угодно было, чтоб оно некоторым образом продолжалось и в последующий день. Но как в оный выставлены были только для подлаго народа быки и вино, то о сем, как не заслуживающем дальнаго внимания деле, я и не упоминаю; а вспомнив, что письмо мое достигло обыкновенных своих пределов, решился на сем месте остановиться и предоставить дальнейшее повествование письму будущему, сказав вам, что я есмь и прочее.

НАРОДНЫЙ РОПОТ

Письмо 97-е

Любезный приятель!

Как государь ни старался сделать мирное свое торжество для всех подданных своих приятнейшим, и самую пышностию онаго ослепить народ подлый, однако сделанное им, чрез помянутую, крайне неосторожную поступку и ни с чем несообразное уничтожение себя перед портретом короля пруссаго, неприятное и глубокое впечатление осталось в сердцах подданных его неизгладимым, и не только не уменьшило, но бесконечно еще увеличило всеобщее на него негодование. Все, до которых только доходил о том слух, были поступкою сею крайне недовольны, а как присовокупилось к тому и то, что тогда всему народу сделалось уже известно, что помирились мы с пруссаками ни на чем, и он при заключении мира сего не удержал себе ни малейшей частички из завоеванных земель, а по-

ложено было не только Померанию, но и все королевство Прусское отдать обратно, котораго всем россиянам было крайне жаль и о котором некоторым известно было, что король, находясь в последней своей крайней нужде, намерен был уже и сам уступить его нам навеки, если б мог только купить чрез то одно себе – мир. А тогда не только получил его, так сказать, безданно, безошлинно, но, сверх того, и ту, совсем неожиданную им и неописанно полезную для его выгоду, что государь наш из единой любви и непомернаго к нему почтения, отстав от всех прежних союзников наших, с которыми вместе толико лет проливали мы кровь свою, за которых потеряли толь многия тысячи наилучших своих воинов и пожертвовали толь многими миллионами наших денег и истощили тем даже все государство наше, и не только отстал, но расположился еще и помогать против их королю прусскому всеми своими силами и возможностями, и что для учинения тому начала велел уже бывшему при цесарской армии Чернышовскому корпусу примкнуть к прусской армии и вместе с пруссаками воевать против прежних наших союзников цесарцев. А разсеявшаяся о том в народе повсеместная молва прибавляла еще, что будто бы государь помянутый наш, в 20-ти тысячах человек состоящий Чернышовский корпус даже подарил совсем и навсегда королю прусскому; а со всем тем о возвращении прочей армии в Россию никто еще не говорил ни слова, а напротив того, начинала разсеяться молва, что государь, всем тем еще не удовлетворяясь, затевал еще за Голштинию свою какую-то новую войну против датцкаго королевства, и что готовился уже флот наш к отплытию в море, а армии нашей велено было иттить опять в поход и пробираться чрез Померанию в Мекленбург, и что некоторая оной часть, под предводительством графа Румянцева туда уже выступила; и что у государя не то было на уме, чтоб чрез помянутое примирение с королем прусским доставить государству своему мир, тишину, спокойствие и отдохновение, но он вознамерился, чрез предпринимание без всякой нужды новой, отдаленной и совсем бесполезной для нас войны, повергнуть все государство свое вновь в бездну многоразличных зол и отягощений, и войны сей так жаждал, что вознамеривался даже сам в поход с армиею своею отправиться, и самолично командяя оною, и королю прусскому помогать и с новыми неприятелями драться. То все сие не только огорчало и смущало умы всех россиян, но и сердца их раздражало против его до бесконечности и так, что никто не

мог взирать на него с спокойным духом, не чувствуя в душе и сердце своем досады и крайняго негодования и неудовольствия на него.

А все сие и произвело то последствие, что не успело помянутое мирное торжество окончиться, как бывший до того, но все еще сносный и сокровенный народный ропот увеличился тогда вдруг скорыми шагами и дошел до того, что сделался почти совершенно явным и публичным. Все не шептали уже, а говорили о том въявь и ничего не опасаясь и выводили из всего вышеписаннаго такія следствия, которыя всякаго утрашить и в крайнее суждение о благоденствии всего государства повергать в состоянии были.

Теперь посудите, каково ж было тогда нам, находившимся при полицейском генерале и о увеличивающемся с каждым днем помянутом всенародном ропоте, огорчении и неудовольствии, получающим ежедневныя уведомления? – Не долженствовало ль нам тогда наверное полагать, что таковой необыкновенный ропот произведет страшныя действия и что неминуемо произойдет какой-нибудь бунт или всенародный мятеж и возмущение? – Ах! любезный приятель, мы того с каждым почти часом и ожидали и я не могу вам изобразить, каково было для нас сие критическое время и сколь много смущались сердца наши от того ежедневно.

Но никто, я думаю, так много всем тем не смущался, как я. Известное уже вам тогдашнее расположение моего духа и мыслей делало меня ко всему тому еще чувствительнейшим. Я воображал себе все могущия при таком случае быть опасности и бедствия, тужил тысячу раз, что находился тогда при такой должности и жил при таком генерале, который в случае мятежа и возмущения всего легче мог и сам погибнуть, и нас с собою погубить: желал быть тогда за тысячу верст от него в отдалении; помышлял уже несколько раз о том, чтоб, воспользуясь дарованною всему дворянству вольностию, проситься в отставку и требовать себе абшида но и досадовал вкупе и досадовал неведомо как, что тогда собственно учинить того было не можно и что необходимо долженствовало дожидаться наперед месяца сентября, с котораго дозволено только было проситься в отставку. Сие обстоятельство паче всего меня огорчало, и я истинно не знаю, что б со мною было и до чего б я дошел, если б при всех сих крайне смутных обстоятельствах не подкрепляло меня мое твердое упование на моего Бога и сделанное единожды навсегда препоручение себя в Его святую волю, не ободряло весь мой дух и не успокоивало сердце. Я надеялся,

что святой Его и пекущийся о благе моем Промысл верно не оставит меня и при сем случае и произведет то, что за лучшее и полезнейшее для меня признает. И, ах! я не постыдился и в сей раз в сем уповании моем на моего Творца и Бога!

Он и действительно не оставил меня и произвел то, чего я всего меньше мог тогда ожидать и думать! – Словом, святой воле Его угодно было расположить тогда так обстоятельства, что я вдруг и против всякаго чаяния и ожидания, сперва власно как некоею невидимою силою, оторван был от моего генерала, наводившаго собою на нас толь великое опасение, а вскоре потом недуманно-негаданно получил то, чего только жаждала вся душа моя и вождделело сердце. И как происшествие сие принадлежит к достопамятнейшим в моей жизни и имело великое влияние на весь остаток оной, то и опишу я оное вам в подробности.

Случилось это в один день и, что удивительнее, в самый такой, в который мы, по дошедшим до нас чрез полицейских служителей новым слухам о увеличившемся ропоте и неудовольствии народном в особливости были растревожены, и о том, собравшись пред самым обедом в кучку, между собою судачили, въздыхали и говорили, как вдруг без памяти прискакал к генералу нашему один из государевых ординарцев и, пробежав мимо нас к генералу в кабинет, ему сказал, чтоб он в ту же минуту ехал к государю и что государь на него в гневе. Не могу изобразить, как нас всех необыкновенное сие явление поразило и удивило. Что ж касается до генерала, который только что взъехал тогда на двор, возвратившись из обыкновенных своих всякий день путешествиив, и, расположившись в сей день обедать дома, хотел было только скидывать с себя кавалерию и раздеваться, то он, побледнев и помертвев от сей неожиданной вести, только что кричал: «Карету! Скорей карету!» и бежал в нее садиться опять, и как она была еще не отпряжена и ее вмиг опять подвезли, то, подхватя с собою товарища моего, князя *Урусова*, и полицейскаго ординарца, которые одни в тот день с ним ездили, полетел от нас как молния туда, где государь тогда находился, и с такую поспешностию, что едва успел нам сказать, чтоб мы погодили обедать, покуда он либо сам приедет, либо пришлет карету обратно.

Оставшись после его, не знали мы, что думать и гадать о сем происшествии, и прежнее наше судаченье сделалось еще больше и важнее. «Уже не произошло ли чего особливаго? – говорили мы между собою. – Уж не сделалось ли где мятежа и възмущения какого? Ныне того и смотри и гляди!»

О государе всем нам известно было, что он в то утро поехал за город смотреть пришедший только накануне того дня к Петербургу прежний свой и любимый кирасирский полк. «Уже не произошло ли там чего-нибудь не дарового? – продолжали мы говорить. – Или не увидел ли он чего во время езды своей туда?.. И, Ахти!.. беда будет тогда генералу нашему!.. На перваго он оборвется на него и первому скажет, для чего он, будучи полицеймейстером, не глядит, не смотрит...» Далее думали и говорили мы: «Уж не узнал ли каким-нибудь образом государь, что генерал наш тайком и часто ездит к государыне и просиживает у ней по несколько часов сряду и не за то ли он на него разгневался?..»

Сим и подобным сему образом догадывались и говорили мы между собою, дожидаясь возвращения генеральскаго, и сгорали крайним любопытством, желая узнать истинную причину, которая, однако, при всех наших думаньях и догадках, никому из нас и на мысль не приходила. А потому и судите, сколь великому надлежало быть нашему изумлению и сколь сильно поражены были мы все, когда вместо генерала прискакал к нам один товарищ мой, князь *Урусов*, и, вбежав к нам в зал, его с любопытством встречающим, учинил нам пренизкий поклон и сказал: «Ну, братцы, поздравляю вас всех!» – «С чем таким?» – подхватили мы и воспылали еще множайшим любопытством слышать дальнейшее. «А вот с тем, государи, – продолжал он, – что всякий из нас изволь-ка готовиться в путь!» – «Куда это?» – спросили мы в несколько голосов, перетревожившись уже от одного слова сего. «Куда?! – подхватил он. – Ни меньше, ни больше как в заграничную армию!» – «Что ты говоришь, – спросили мы, крайне смутившись. – Неужели генерала посылают в армию?» – «Какое тебе генерал? – отвечал он. – Генерал, как генерал, остается там же, где был, и поехал теперь с государем обедать, а изволь-ка все мы за границу!» – «Как это? – подхватили мы, еще больше изумившись. – Нам то зачем же таким в армию?» – «Как зачем? – сказал он. – Затем, чтоб служить, иттить с нею в поход и воевать против неприятеля. Словом, было б вам всем, государи мои, известно и ведомо, что мы уже теперь не находимся в штате у генерала; а всех нас у него отняли, и велено отправить нас в армию и распределить по полкам опять».

Слова сии поразили нас всех, как громовым ударом. Мы оцепенели, даже и не в состоянии были долго выговорить ни единого слова. Но вдруг потом приударились в разные голоса спрашивать и говорить. Иной, не

веря всему тому, говорил, что он шутит; другой считал это пустяками; третий крестился и говорил: «Господи помилуй, как это можно!» Но те, которых не находили в том шутики, приступали к князю и просили его, чтоб он не томил их больше и сказал им: подлинно ли все то правда? И буде он не шутит, то каким же образом и как это так сделалось и от кого произошла такая неожиданность?

И тогда, князь, побожившись, что он нимало не шутит и что то не только точная правда, но он слышал и знает, от кого и произошло все сие.

«Словом, – продолжал он, обратясь к стоящему с нами рядом нашему обер-квартирмейстеру *Лангу* – причиною тому некто иной, как вы, и по милости вашей вышла на нас всех теперь такая невзгода и беда!» – «От меня?» – с удивлением спросил *Ланг*. «Точно так, и от вас одних все это загорелось; а вот я вам и расскажу все дело. Вы ведь были прежде сего в кирасирском государевом полку и из онаго к нам взяты?» – «Был, – сказал на сие *Ланг*, – ну, так что ж?» – «А вот что, – отвечал князь. – Как государю все офицеры сего полку, а в том числе и вы были коротко известны, то сегодня, приехавши смотреть свой полк, не находит он вас и спрашивает, где б вы были и для чего вас нет во фрунте. Ему отвечают, что вас давно уже нет в полку и что вы взяты генералом нашим к нему в обер-квартирмейстеры. Государь не успел сего услышать, как и вспылил и прогневался ужасным образом на нашего генерала. «Как это смел, – кричал он в гневе, – взять его *Корф* из полку моего, как мог отважиться сделать то и оторвать от полку лучшего офицера и без моей воли и приказания? Да на что ему обер-квартирмейстер? Армиею ли он командует? В походе что ли он? Ба! ба, ба! Да на что ему и штат-то весь?..» Никто не посмел сказать на сие государю ни одного слова, а он, час от часу более гневаясь, велел в тот же миг скакать ординарцу за генералом нашим, а сам тотчас между тем дал имьянное повеление, чтоб у всех генералов, кои не командуют действительно войсками и не в армии, штатам впредь не быть и у всех таковых чтоб оные отнять и, отослав в армию, распределить по полкам. Вот, государи мои, – продолжал князь, как началось, произошло и кончилось это дело! Генерал наш, прискакав, хотя и оправдался пред государем тем, что по прежним распорядкам имел он право требовать, кого хотел; но сделанного переменить не только уже не мог, но не посмел и заикнуться о том, а доволен был, что государев гнев на него поутих и что получил он

приказание ехать с ним обедать к принцу *Жоржу*, а с сим известием и прислал он меня к вам, государи мои!..»

Теперь не могу я никак изобразить, с каким любопытством мы все сие слушали, и в каких разных душевных движениях были мы все при окончании сей повести, и при услышании о сей ужасной и всего меньше ожидаемой с нами перемене. Мы задумались, повесили все головы и не знали, что думать и говорить. Никому из нас не хотелось ехать в армию, и к тому же еще и заграничную, а особливо при тогдашних обстоятельствах, когда известно нам уже было, что начиналась новая война против датчан.

Но никому не было известие сие так поразительно, как мне, едва только из-за границы приехавшему и в отечество свое возвратившемуся. «Ах, батюшки мои!.. – говорил я. – Ну-ка, велят распределить еще по самым тем полкам, где кто до сего определения сюда был?.. Что тогда со мною будет? Полк-то наш в Чернышовском корпусе и находится теперь при прусской армии! И ну-ка то правда, что говорят, будто он вовсе отдан и подарен королю прусскому? Погиб я тогда совсем и не видать уже мне будет отечества своего навеки. О, Боже Всемогущий, что тогда со мною будет?»

Сим и подобным сему образом говорил я тогда и вслух и сам с собою. Сердце замирало во мне при едином воображении сей обратной езды в армию, и мысли о сем так смутили и растревожили весь дух мой, что я, севши за стол, во весь обед не с состоянием был проглотить единого куска хлеба. А не в меньшем беспокойствии и душевном смущении находились и все прочие мои сотоварищи. Всем им до крайности неприятна была сия перемена, и как всякому самому до себя тогда было, то никто и не помышлял о том, чтоб утешать других в сей нечаянной горести и печали. Один только Ланг не горевал о том, ибо надеялся, что он останется в Петербурге и что его определят по-прежнему в полк, из которого он только что прибыл к нам пред недавним временем. Все мы завидовали ему в том, и в сердцах своих немилосердно его ругали и бранили за то, что он был всему тому, хотя правду сказать невинною с своей стороны причиною.

«Догадало и генерала, – говорили мы тихонько между собою, – набирать себе еще обер-квартирмейстров, обер-аудиторов! Ну, на что, сударь, в самом деле они ему? Мы хотя службу служили, и всякий день были не без дела, а он-то... На боку только лежали и за ними только и всего дела было, чтоб приходиться сюда обедать и опять иттить на квартиры и заниматься,

чем хотели». Со всем тем, что мы ни говорили и как о том ни судачили и ни разсуждали, но как дело было сделано, и генералу приказано уже было нас немедленно представить в Военную коллегию, то и не выходило у нас сие ни на минуту из ума и из памяти и подало повод к тому, что мы, вставши из-за стола, сделали между собою общий совет и стали думать и гадать о том, как нам в сем случае быть и что при сих обстоятельствах делать? И нет ли еще возможности какой к тому, чтоб нам отбыть от распределения по полкам и отправления нас в заграничную армию. «Уже не может ли, – говорили некоторые из нас, – пособить нам в сем случае генерал наш? Хоть бы уж эту милость сделал он нам за все наши труды и безпокойную службу при нем!» – «Где генералу это сделать, – говорили, напротив того, другие, – и можно ли ему чем помочь, когда дано о том имянное повеление! Он не посмеет и заикнуться теперь о том, а особливо по обстоятельству, что и дело-то все произошло от него. Теперь все наши братья его ругать и бранить за сие будут!»

Что касается до меня, то мне толкнулся тогда Указ о вольности дворянству в голову, и я, прицепясь мыслями к тому, твердил только, что ничего бы так не хотел, как получить абшид и уйтить в отставку, а не знаю только, как бы это можно было сделать; но как таковое желание из всех нас имел только я один, а всем прочим не хотелось еще выбыть совсем из службы, а иным и некуда было иттить в отставку, то они не только не советовали и мне, но говорили еще, что едва ли и можно будет мне сие сделать; и тем доводили меня почти до отчаяния.

С целый час проговорили и просудачили мы о сем на тогдашнем общем совете, и наконец, с общаго согласия, положили, чтоб наутрие поранее всем нам собраться и, при предводительстве нашего генеральс-адъютанта *Балабина*, предстать пред генерала с униженнейшею нашею о том просьбою. «Попытка не шутка, – говорил господин *Балабин*, а спрос не беда!.. – отведаем, попросим!.. Возьмется что-нибудь для нас сделать – хорошо, а не возьмется, так мы и поклон ему и станем искать уже другой какой дороги!..»

С сим разошлись мы тогда, и я, пришед на квартиру свою, всю почти ночь о том тогда продумал и попросил втайне Творца моего и Бога о возможности мне в сем случае и о том, чтоб Он Сам наставил и надоумил меня, что мне делать и Сам бы мне в том руководствовал и помогал. Наутрие со-

брались мы по сделанному условию все в кучку ранехонько к генералу в дом, и, дождавшись как он встал, пошли к нему в кабинет.

Генерал встретил нас изъявлением искреннего своего сожаления о происшедшем и о том, что против хотения своего принужден теперь лишиться нас, и изъявлял нам, как он нами был доволен и как бы не хотел никогда разстаться с нами...

Мы кланялись ему и благодарили за хорошее его об нас мнение и уверяли также и с своей стороны, что мы так милостию его довольны были, что хотели бы всегда служить при нем, хотя в самом деле совсем не то, а другое на сердце и на уме у нас тогда было, и мы с сей стороны и рады еще были, что от него отделались благополучно; но как скоро первый сей церемониал кончился, то, смигнувшись, начали мы все говорить и, кланяясь, просить его о вспоможении нам в нашей нужде и о исходатайствовании того, чтоб нас не посылали в армию, а распределили б тут где-нибудь по местам разным. Генерал не успел сего услышать, как вдруг переменял тон и стал нам клясться и божиться, что хотя бы он и душевно желал пособить нам в сем случае, но не находит себя нимало к тому в состоянии, и чтоб мы пожаловали его в сем случае – извинили! Словом, он отказал нам в нашей просьбе совершенно, и чтоб прервать скорей с нами о том разговор, то кликал своего слугу и велел подавать себе одеваться и посылать полицейскаго секретаря с делами, который обыкновенно был уже к тому наготове.

Досадно и крайне чувствительно всем нам было слышать такой скорый, холодный и совершенный отказ от генерала и видеть явное нехотение оказать нам в сем случае хотя б малое какое со стороны своей вспоможение, например, хотя бы обещал попросить об нас кого-нибудь из своих приятелей и знакомых, что бы ему всего легче можно было и сделать, а не только обещать. И как мы увидели, что он нас тем власно как вон выгонял, то, поклонившись ему, вышли вон, мурча всякий себе под нос и ругая его в мыслях за то немилосердным образом.

Мы, смолвившись, прошли все через зал, в угольную и на другом краю дома находящуюся комнату, чтоб и поговорить свободнее между собою и опять посоветовать, что делать. Там изливали мы на языки наши все тогдашния чувствования сердец наших: бранили и ругали генерала за его к нам неблагодарность, за неуважение всех оказанных ему безчисленных и

почти рабских услуг и за нехотение помочь нам ни на волос при тогдашних тесных наших обстоятельствах, в которыхы ввергнуты мы были по его же милости и безразсудку. Но как все таковыя брани не в состоянии были нам принести ни малейшей пользы, то, наговорившись досыта, приступили мы опять к совещаниям о том, что делать.

«Ну, братцы!.. – сказал нам опять наш бывший генеральс-адъютант *Балабин*. Когда его высокопревосходительство изволил нам так милостиво наотрез отказать, так не остается теперь другого, как всякому искать самому уже себе другую и лучшую дорогу. Нет ли, государи мои, у всякаго из вас каких-нибудь других милостивцев и знакомцев, которые бы могли за вас в Военной коллегии замолвить слово? Ступайте-ка, господа, теперь по домам своим и поищите-ка их. Здесь у генерала делать вам уже более нечего. Ломоть уже отрезан и не пристанет, и так надобно поспешить и постараться о том, покуда еще не написано представление об нас, и как писать оное никому иному, как мне будет надобно, то я постараюсь уже между тем сколько можно оным помешкать. Ступайте-ка, ступайте и нечего медлить, господа, надобно ковать железо, покуда горячо. Ищите себе милостивцев и покровителей и приходите-ка завтра опять и гораздо поране ко мне».

Все одобрили его мысли и предложение и, дав требуемое обещание, пошли кто куда знал. А как и мне делать более уже тут нечего было, то пошел и я, но сам истинно не зная куда? Ибо, как у меня из всех знатных не было ни единого человека знакомого и такого, к которому бы я мог в сей нужде прибегнуть, то не знал я, куда итти и к кому преклонить мне бедную свою голову тогда. Никогда еще не был я так сильно печалию огорчен, как в сии крайне критическия минуты. Я пошел повеся голову из дома генеральскаго и, идучи мимо окна, под которым он тогда сидел и чесался, взглянув на него, сам в себе подумал и, качав головою, говорил: «То-то только я от тебя, государь мой, и нажил! Затем-то только ты меня сюда выписал и тем-то только возблагодарил за все мои труды и услуги? Ну, Бог с тобою!» – продолжал я и, сказав сие, махнул рукою и пошел, не озираючись, далее!

Но как письмо мое достигло до своих пределов, то дозвольте мне, любезный приятель, на сем месте остановиться и, предоставляя дальнейшее повествование письму будущему, сие окончить уверением, что я есмь и прочая.

НАДЕЖДА НА БОГА

Письмо 98-е

Любезный друг!

В сегодняшнем письме расскажу я вам о новом опыте милосердия Божеского ко мне и о новой черте действий благодетельствующаго и пекущагося обо мне святого Его Промысла и самым тем докажу ту истину великую, что Всемогущий никогда так охотно слабым своим и немощным тварям, возлагающим на Него всю свою надежду и упование, в нуждах их не помогает, как тогда, когда не остается уже им никакой помощи и надежды на других смертных, толико же слабых и немощных, как они и сами, и что Он находит, власно как особое удовольствие в том.

Самое сие случилось тогда опять действительно со мною, и я имел удовольствие видеть в собственном примере своем и в сей раз подтверждение справедливости той простой пословицы нашей, что «когда Бог пристанет, так и пастыря приставит».

Не успел я помянутым образом, вышед из дома генеральскаго в крайнем недоумении, задумчивости и огорчении, несколько сот шагов отойти, идучи сам почти не зная куда и зачем, как вдруг и власно, как бы кто мне в уши шепнул, пришла мне на мысль та Куносова любимая и наизусть мною дорогою выученная немецкая духовная ода, о которой я вам однажды уже упоминал и которая начиналась следующими словами:

Es ist ein Gott, der sorgt für mich,
Und ich, ich lebe kümmerlich,
Und will mich selbst versorgen...

и вдруг так меня ободрила, что я, власно как оживотворился, и в уме своем, как из сна воспрянув, сказал: «Фу! Какая беда? Что я за правду так горюю и отчаиваюсь? Нет у меня милостивцев и покровителей на земле, так есть на небесах и сильнее всех оных! Есть такой, Который всего скорее все сделать может и на Котораго мне всего более надеяться можно». Слова сии влили, как некакий живительный бальзам в уязвленную горестью мою душу. Вся она в единый миг успокоилась тогда, сердце ж вострепело как от радости какой и разлило по всей крови моей некое приятное ощущение.

«Великий Боже! – возопил я тогда, вообразив себе как можно живее Его близкое присутствие к себе и устремя все душевные помышления и все чувствования моего сердца к Нему – вот случай, при каких Ты отменно любишь помогать! Помоги Ты мне в нужде моей, да воспрославлю имя Твое. Никого нет у меня, кроме Тебя, к кому б мог я прибежище взять. Наставь и научи Ты меня Сам и покажи след: куда иттить и что мне делать?»

Мысли сии так меня тогда разстрогали, что как в самую ту минуту случилось мне поровняться с одною церковью, стоявшею подле пути моего, и я увидел входящих в нее людей, то вдруг произошло желание во мне зайти в оную и помолиться. «Пойду! – сказал я сам себе, – и повергну себя вместе с ними к подножию ног моего Бога и Отца, и возвергну всю печаль на моего Господа, препоручу вновь себя в святую волю Его». И что ж произошло и вышло из сего?

Не успел я войти в церковь сию, как вдруг поражает меня вид внутренности оной.

Я узнаю оную и вспоминаю, что некогда бывал в ней и бывал много раз, словом, что она была самая та, в которую хаживал я так часто по приказанию господина Яковлева, когда, в прежнюю мою бытность в Петербурге, просил я о произведении себя в офицеры, и как самая она привела мне на память и сего тогдашняго моего милостивца и благодетеля, то, поразившись вдруг напоминанием сим, сказал я в мыслях сам в себе: «Да вот у меня есть знакомец и милостивец в Петербурге. Я и позабыл совсем про него! Но ахти! – продолжал я. – Где-то он ныне? Чем-то и при какой должности?.. Не случилось мне как-то ни самого его видеть, ни разговориться ни с кем про него? Куда-то делись они по смерти генерала их, графа *Шувалова*, при котором он играл тогда такую великую роль? В Петербурге ль-то он еще или куда выбыл? Мне и не ума было об этом расспросить и распроедать, а вот при теперешнем случае он, может быть, мне бы и пригодился? Что я не распроедаю о том? Право! Распроедать бы... но где и как? «Постой, – воскликнул я, продолжая о сем мыслить, и час от часу прилепляясь более к этой мысли, – всего лучше распроедать о том в доме том, где он тогда жил и который был недалеко отсюда и мне довольно был знаком и приметен. Уж не пойти ли мне теперь же туда? Время, благо, праздное и свободное! На квартире что ж я буду делать!.. Ей-ей, сбегая-ка я туда! Почему знать, может быть, и не по слепому случаю зашел я сюда

в церковь!.. Может быть, и сама судьба завела меня сюда, чтоб напомнить мне о сем человеке, и кто знает, может быть, он и ныне в состоянии будет мне помочь так, как помог при тогдашнем случае? И ах! когда бы могло это так случиться и он помог бы мне! Пойду! Ей-ей, пойду, и буде он тут, то адресуюсь прямо к нему! Не великая беда, если и не удастся. Говорится же в пословице: «Попытка не шутка, а спрос не беда». Сказав сие и будучи всеми мыслями и словами сими растроган очень, не стал я долго медлить, но, положив с особливым усердием несколько земных поклонов и вздохнув из глубины сердца моего к небесам, побежал я искать дома, где жил до того господин *Яковлев*, и как мне от церкви все улицы и переулки были еще довольно памятливы, то и не трудно мне было его найти.

Теперь, судите же о изумлении и крайнем удовольствии моем, когда, подошед к воротам дома сего, увидел я сходящего с крыльца одного армейского офицера, идущего ко мне навстречу и мне на сделанный мною учтивый вопрос, не может ли он мне сказать, кто живет ныне в этом доме, мне, сказавшего:

– Как кто! Да разве вы не знаете? Хозяин, сударь, онаго, Михайла Александрович *Яковлев*!

– Что вы говорите? – воскликнул я, обрадуясь до чрезвычайности.

– Но не знаете ли вы, – спросил я далее. – Дома ли он теперь или нет, и где б мне его найти было можно? Он мой давнишний знакомец!

– Как не знать, – отвечал он. – Я сей только час его видел и иду от него. Он дома, и вы извольте только итти прямо на крыльцо, а там в зал, а оттуда в двери налево. Он сидит в кабинете своем, и об вас тотчас ему доложат.

– Покорно вас, батюшка, благодарю, – сказал я, – вы меня очень обрадовали; но хотелось бы мне вас еще спросить, чем он ныне и служит ли еще и буде служит, то где и при какой должности?

– Как? – отвечал он мне, удивившись. – Неужели вы, батюшка, и того не знаете? Он, сударь, бригадир и заседает в Военной коллегии, и хотя вторым, но важнейшим из всех членов. Все почти дела он один делает!

– Не вправду ли? О Боже Всемогущий! – воскликнул я, сам себя почти не вспомнив от удовольствия и радости. – Ах, как вы меня обрадовали, государь мой, и как я вам за сие благодарен.

Офицер удивился моему восторгу и не преминул спросить меня, не имею ли я до него нужды и не нужно ли мне в чем-нибудь его вспоможения?

– То-то и дело! – отвечал я, – и нужда превеликая!

– Ну, так ступайте, батюшка, с Богом и адресуйтесь к нему прямо. Он человек милостивый, и если только ему можно, то все для вас сделает, а особливо если вы ему знакомы, – сказав сие и раскланявшись со мною, пошел он своим путем далее, а я, оставшись, в несколько минут не мог собраться с духом от удивительного сплетения всех сих обстоятельств, поразившего меня нечаянностью своею до чрезвычайности.

Наконец, взошел на крыльцо, а потом в зал, довольно мне еще памятный и знакомый, удивился я, не нашед в нем ни одного человека, а увидев в правой стороне большие стеклянные двери, а за ними домашнюю церковь, которой в прежнюю мою бытность совсем тут не было. Я, помолвившись и тут моему Создателю и восслав к Нему благодарный вздох за нечаянное приведение меня в дом сей, пошел прямо туда, куда мне сказано было, то есть влево и во внутренние комнаты г. *Яковлева*. Тут нахожу я одного только лакея, который не успел меня увидеть, как, вскочив, побежал было обо мне сказывать. Но не успел он растворить в кабинет двери, как г. *Яковлев*, увидев меня, сказал:

– Пожалуйте сюда! и между тем как я ему кланялся и собирался говорить, продолжал. – Что-то мне знакомо лицо ваше, батюшка! кто вы таковы? Пожалуйте мне скажите.

Не успел я вымолвить, что я Болотов, как спешил он меня обнять и, целуя, продолжал:

– Ах, Боже мой! Сын покойного Тимофея Петровича! Все ли, мой друг здоров? Где ты ныне и чем служишь? Да! да! да! бишь при Корфе! – продолжал он. – И я позабыл было, что мы определили тебя к нему во флигель-адъютанты. Ну! давно ли ты приехал и хорошо ли тебе служить-то при нем, человек он как-то слишком горячий!

– Это так! Но это бы все ничего, – сказал я. – Мы уже привыкли к нему. Но теперь не то меня смущает и огорчает.

– А что ж? – спросил он меня с поспешностью.

– Ах, батюшка, Михайла Александрович! Нас ведь от него отняли, и велено отправить опять нас в армию!

– Как это и каким образом? – спросил он удивившись, ибо слух о том до него еще не достиг. Тогда рассказал я ему все дело и, окончив повествование свое, примолвил:

– Вот в каких досадных обстоятельствах мы теперь находимся; и я пришел теперь к вам, батюшка Михайла Александрович, просить, нельзя ли вам сделать надо мною великую свою милость. Тогда вы меня, как из мертвых воскресили и всему благополучию моему положили начало, воскресите, батюшка, меня и ныне, если только можно, и избавьте меня каким-нибудь образом от армии, и чтоб мне не ехать опять за границу, откуда я только что приехал. Я всю надежду мою на вас одного полагаю, и вы обяжете меня тем до бесконечности.

– Хорошо, мой друг! – сказал мне на сие г. Яковлев и, сказав сие, задумался. – Я не знаю еще, – продолжал он, – сделанного об вас нам предписания. Ну, если предписано очень строго и никак того сделать нельзя будет, в таком случае ты меня уж извини тогда, мой друг, невозможного и Сам Бог от нас не требует. Однако между тем скажи ты мне, куда ж бы тебе хотелось, если не в армию?

– Ах, батюшка Михайла Александрович! – сказал я. – Если б только можно было, то я бы никуда не хотел, а желал бы всего более удалиться в свою деревнишку и питаться в ней чем Бог послал и своими трудами.

– Это всего лучше! – подхватил г. Яковлев. – И при нынешних обстоятельствах не мог ты, мой друг, ничего благоразумнее сего выдумать, и я очень бы и очень желал, если б мог тебе пособить в сем случае. Однако, молись прилежнее Богу и ходи только почаще распроедывать обо всем к нам в Военную коллегию. Может быть, мы это как-нибудь и сделаем. Это сколько-нибудь уже легче прочего, а то признаюсь тебе, мой друг, определение ныне по другим местам сопряжено с крайними затруднениями.

Я учинил ему за сие пренизкий поклон и хотел было приносить ему тысячу благодарений; но он, не допуская меня до того, спросил далее:

– Но скажи как ты мне то наперед, послано ли уже от генерала вашего к нам представление об вас, или еще не послано?

– Нет еще, – сказал я.

– Ну хорошо ж; отвечал он: так слушай же, мой друг! Чтоб удобнее нам можно было сделать, то постарайся ты уже о том, чтоб генерал ваш в представлении своем об вас, не упоминал, ничего об отправлении вас в армию, а вместо того примолвил только, что он просит Военную коллегию

о учреждении с вами по желаниям вашим, а желания сии чтоб объяснены были против имен ваших в приложенном к представлению списке, и попросите его как можно, чтоб он сие сделал.

– Очень хорошо! – сказал я, а с сим и отпустил он меня тогда от себя.

Теперь легко вы можете сами, любезный приятель, вообразить, с какою радостью побежал я от него к дому генеральскому и сколь приятно было для меня сие краткое путешествие. Я не слыхал почти ног под собою, и все мысли мои заняты были тем и упоены приятнейшею надеждою. Сколько раз на пути сем благодарил я моего Господа за ниспосланную ко мне и столь очевидную почти от Него помощь и покровительство, и не сомневался уже никак в достижении до желаемого.

Как генерала своего не застал я дома, то побежал прямо к господину *Балабину*, с которым и хотелось мне более видеться, и сообщил ему все, что со мною случилось и рассказал о всех словах г. *Яковлева*. Он дивился не менее моего нечаянности сего случая, и рад был неведомо как, что я так скоро сим делом спроворил. «Ну спасибо, право спасибо, Андрей Тимофеевич! – говорил он. – При тебе, может быть, и нам всем хорошо будет. И на что нам всем лучше сего ходатая и попечителя, и иском бы искать, не найтись нам лучшего. Я сам знаю, что он ворочает почти один всеми делами в Военной коллегии. А что касается до генерала нашего, – продолжал он, – так уговорить его написать то беру уже я на себя. Я на горло ему наступлю, если вздумает он и в том уже нам отказать! Он и не хотя у меня напишет. Соберитесь-ка завтра пораньше сюда и положитесь в том на меня».

Пришед на квартиру, препроводил я весь остаток того дня уже веселее прежняго, а люди мои почти вспрыгались от радости, когда я им сказал, что Бог подаст нам надежду быть скоро дома и получить отставку. Да и в ночь, последующую за сим, спал я уже спокойнее, нежели в прошедшую; ибо голова моя набита была мыслями не об армии и не о войне, а уже воображениями приятной сельской жизни.

Наутрие, как пришел я в дом генеральский, то нашел всех моих бывших сотоварищей в собрании, и г. *Балабина*, ушедшего уже к генералу, с написанным об нас представлением. Он успел уже до меня отобрать ото всех желания и вписать оныя против имен в список; а вскоре после того вышел он от генерала и, завидев нас, сказал:

– Ну, братцы, скажите спасибо!.. Было хлопот довольно, и насилу-насилу уломал я его, как доброго чорта. Не хотел было никак подписывать

написанного мною, и чего и чего не говорил он! И не смеет-то, и боится-то государя сделать об нас такое представление, и будет-то оно нимало некстати и не произведет-то нам никакой пользы, и коллегия-то его не послушает, и поднимет только на смех и ничего-то из того не выйдет!.. Словом, он отговаривался всем и всем; но я приступил к нему уже не путем, и говорил наконец: пускай же не выйдет из того ничего, и коллегия его не послушает, но, по крайней мере, он не останется нам ничем должен, и мы будем уже на несчастье свое, а не на его жаловаться. И сим-то и подобным тому образом, насилу-насилу, преклонил его к тому, чтоб послать такое представление на Божью волю и наудачу. И теперь пойдемте, господа, он велел мне всех вас к себе представить.

Все мы благодарили г. *Балабина* за его об нас старание и пошли за ним в кабинет к генералу.

– Ну, государи мои, – сказал он нам при входе, – хотя бы мне и следовало, но я расположился уже представить об вас Военной коллегии так, как вам хотелось; вот оно. Возьмите его и доставьте сами в коллегия, и дай Бог вам получить все, желаемое вами.

Мы кланялись ему и благодарили, и как из всех нас один только я объявил желание иттить в отставку на свое пропитание, а прочим всем хотелось по большей части к делам, то при выходе нашем от него кликнул он меня назад и мне по-немецки сказал:

– Так ты домой, *Болотов*, хочешь и на свое пропитание?

– Домой, ваше высокопревосходительство!

– Хоть бы и раненько иттить тебе в отставку, – продолжал он, – но при нынешних обстоятельствах разумнее всех это ты делаешь. С Богом, мой друг, с Богом! и дай Бог тебе получить желаемое, и чем бы скорей, тем лучше.

С сими словами отпустил он меня, и мы в тот же час все гурьбою пошли в Военную коллегия и представление о себе подали. Тут велено было нам несколько обождать, а чрез полчаса и вышел к нам сам г. *Яковлев* и, спросив нас, всем моим товарищам сказал, чтоб они взяли терпение и обождали, куда коллегия найдет праздные места, в которыя бы можно было их разместить по их желаниям, а между тем от времени до времени справливались бы они о том в коллегии. «А что до вас, г. *Болотов*, касается, – обратясь ко мне, продолжал он, – то вы извольте об отставке вас, в силу Указа о вольности дворянства, подать в коллегия особую челобитную; да

вот, постойте, я велю ее вам и написать». Сказав сие, обратился он к одному стоявшему тут вахмистру и велел меня отвезть к одному повытчику и сказать, чтоб он тотчас написал мне челобитную об отставке и чтоб она в тот же еще день и к подаче поспела.

Все удивились такому обо мне особенному приказанию, а вахмистр оказал такую ревность к исполнению повеленного, что в тот же миг подхватил меня и помчал чрез набитыя народом комнаты в самую крайнюю с такою поспешностию, что не дал времени с завидующими уже мне товарищами моими молвить и одного слова и с ними проститься; и, приведя туда, отдал меня с рук на руки повытчику и пересказал все, что ему приказано было. Повытчик мой, не сказав ни ему, ни мне на то ни одного слова, а дав только ему знак рукою, чтобы он шел, сел себе писать по-прежнему.

Я тотчас догадался, что сие значило, и, отвернувшись к стороне, выхватил из кошелька рубль и всунул ему непреметно его в руку, на ухо ему шепнул: «Пожалуй-ка, мой друг, потрудись и поспеши челобитную написать и будь уверен, что я буду тебе благодарен».

Не успел я сего сделать, как и началась у нас с ним, против всякаго ожидания, сущая комедия. Он вдруг-таки, приподнявшись с места и обратившись ко мне, ну предо мною кривляться и коверкаться, бить себя по брюху, косить разными и Бог его знает какими странными манерами свой рот, и вместо всего ответа, с великою поспешностию и только брызгая на меня слюны изо рта, произносить сперва только: «Из-из-из-из-изы-из-изъ, а там-су-су-су-су-су-су-су, а потом: то-то-то-то-то-то» и всем тем в такое удивление меня привел, что я остолбенел и не знал, на что подумать, и сам только в себе твердил и говорил: «Господи, что это такое?!» И как его по безконечному тверждению «из-из-из-су-су-су» и «то-то-то», наконец власно как прорвало, и он вдруг сказал: «Изволь, сударь, тотчас», то насилу мог догадаться, что он был превеличайший заика и насилу удержался, чтоб, смотря на кривлянье рожи его, самому не захохотать и пред ним не одурачиться. Со всем тем он был деловой и добрый человек, и хоть долго не выговорил: «Изволь, сударь, тотчас», но зато, действительно, у него тотчас все поспело, так что я в тот же еще день успел подать мою челобитную.

Как сим отправлением нас в Военную коллегияю должность наша при генерале кончилась, то с сего времени не стал я уже к нему ходить по-прежнему ежедневно, а только тогда, как мне хотелось; а чтоб более иметь

покою и свободы, то приказывал варить себе иногда есть дома и занимался уже более литературными своими упражнениями, продолжая между тем переписку с кёнигсбергскими своими друзьями, а особливо с г. *Олинъм*, Александром Ивановичем. Из написанных в сие время к нему писем, хранится у меня и поныне еще одно, достопамятнейшее и писанное в ответ на то, которым уведомлял он меня о смерти общаго друга нашего г. *Садовскаго*, котораго мне очень жаль было. Я поместил оное в число моих разных нравоучительных сочинений, собранных в особой книжке.

Напротив того, не оставлял я ходить в Военную коллегия для распроедывания, что происходит ежедневно. Она была тогда на прежнем своем месте, в Большой Связи на Васильевском острове, и господин *Яковлев* так турил моим делом, что на четвертый день после того, а именно 24-го мая, назначен был для нас всех, просившихся тогда в отставку, смотр, и мы должны были поодиночке входить в присутственную комнату и показывать себя господам членам. Смотр сей для некоторых из означенных к оному был и неблагоприятен. Они выходили из судейской с огорченными и печальными лицами и сказывали, что им было для разных причин отказано. Я трепетал тогда духом, боясь, чтобы не последовало того же и со мною, и минута, в которую предстал я пред господ решителей моего жребия, была для меня самая тяжкая: я стоял ни жив ни мертв, когда они меня осматривали с головы до ног, и бывший первым членом, генерал-поручик *Караулов*, стал говорить другим, что мне в отставку бы еще и рано, и я слишком еще молод.

Вся кровь во мне взволновалась при услышании сего слова, а сердце затрепетало так, что хотело выскочить из груди моей, но, по счастью, г. *Яковлев* недолго дал мне страдать в сем мучительном состоянии. Он, обратясь к г. *Караулову*, сказал: «Он ведь просится на свое пропитание, так для чего ж не отпустить нам его?» И не дожидавшись его ответа, а обратясь ко мне, спешил громко произнести то важное и толико ободрившее и обрадовавшее меня слово: «С Богом! С Богом! Когда на свое пропитание!», а как то же повторил уже и господин *Караулов*, то я, сделав им пренизкий поклон, вышел из судейской, сам себя почти не вспомнив от радости и удовольствия. Ибо минута сия была решительная, и я мог уже считать себя с самой оной отставленным и от всей службы освобожденным вольным человеком.

Не могу изобразить, с каким удовольствием шел я тогда на свою квартиру и как обрадовал известием о том людей своих. И поелику я тогда почитал отставку свою достоверною и надеялся вскоре получить и свой абшид, то начали мы с самого того дня собираться к отъезду из Петербурга в деревню и запасаться всем нужным к такому дальнему путешествию. Я тотчас поручил приискивать мне скорее купить лошадей, ибо прежняя были распроданы, и люди мои так тем спроворили, что достали мне на третий же день после того купить прекрасную и добрую пару серых лошадей, а как третья у меня уже была, то в короткое время и готовы мы были уже к отъезду. Со всем тем дело мое в Военной коллегии по разным обстоятельствам продлилось долее, нежели как я думал и ожидал, и даже до самого 14-го июня месяца.

Во все сие время не оставлял я всякий день ходить в Военную коллегию и горел как на огне, желая получить скорей свой абшид. Пуще всего тревожило меня то, что обстоятельства в сие время в Петербурге становились час от часу сумнительнейшими. Ибо как государь около сего времени со всем своим двором отбыл из Петербурга на летнее жилище в любезный свой *Ораниенбаум*, то, по отъезде его, народный ропот и неудовольствие так увеличилось, что мы всякий день того и смотрели, что произойдет что-нибудь важное, и я трепетал духом и боялся, чтоб таковой случай не остановил моего дела и не захватил меня еще неотставленным совершенно и чтоб не мог еще совсем онаго разрушить. Наконец настало помянутое 14-е число июня, день наидостопамятнейший в моей жизни: и я получил свой с толиким вожделением желаемый абшид. В оном переименован я был из флигель-адъютантов армейским капитаном; ибо как я в чине сем не выслужил еще года, то сколько ни хотелось господину *Яковлеву* дать мне при отставке чин майорский, но учинить того никак было не можно; но я всего меньше гнался уже за оным, а желал только того, чтоб меня скорее отставили и отпустили на свободу.

Таким образом кончилась в сей день вся моя 14 лет продолжавшаяся военная служба, и я, получив абшид, сделался свободным и вольным навсегда человеком.

Не могу изобразить, как приятны были мне делаемые мне с переменною состоянием моего поздравления и с каким удовольствием шел я тогда из коллегии на квартиру. Я сам себе почти не верил, что я был тогда уже неслужащим, и идучи, не слышал почти ног под собою: мне казалось, что

я иду по воздуху и на аршин от земли возвышенным, и не помню, чтоб когда-нибудь во все течение жизни моей был я так рад и весел, как в сей достопамятный день, а особливо в первыя минуты по получении абшида. Я бежал не оглядываясь с Васильевского острова и хватал то и дело в карман, власно как боясь, чтоб не ушла драгоценная сия бумажка.

Сколько ни случилось тогда со мною мелких денег, оставшихся от тех, кои роздал я в коллегии подьячим, писцам и сторожам, все их роздал попадающимся мне навстречу нищим, а за благодарный молебен, который заставил я в то же время отслужить, забежав в ту же самую церковь, из которой произошло мое благополучие, с радостию заплатил целый рубль служившему священнику.

С каким же усердием и с какими чувствами душевными благодарил я во время онаго Всевышнее Существо, того изобразить уже никак не могу. Впрочем, хотел было я в тот же час забежать к генералу своему и с ним распрощаться, дабы наутрие ж можно было мне ехать из Петербурга; но как услышал, что его нет дома и что не будет и обедать домой, то пробежал прямо на квартиру и там обрадовал также своих людей. С величайшим удовольствием отобедал, а после обеда не преминул сходить в дом к г. *Яковлеву* и принесть ему за милость и благодеяние, оказанное им мне, наичувствительнейшее благодарение. Он принял меня в сей раз еще ласковее, нежели прежде, изъявил удовольствие свое, что мог мне в сем случае услужить, жалел, что не мог мне доставить майорского чина; был и признательностию моею очень доволен, проговорил со мною более часа и отпустил меня с пожеланием мне всех благ на свете. Словом, он очаровал меня своими поступками, и я так доволен был сим человеком, что и поныне еще благословляю мысленно память его и желаю праху его ненарушимого покоя.

По отдаии долга сему моему милостивцу и благодетелю осталось мне распрощаться только с моим генералом и также поблагодарить его за все оказанное им мне добро, во всю мою при нем кёнигсбергскую и тогдашнюю бытность. Правда, хоть добра сего было и очень мало, и не только я, но и никто из всех подкомандующих его не мог похвалиться, чтоб воспользовался от него какими-нибудь особыми милостями и благодеяниями, и он был как-то очень скуп на оныя и не умел нимало ценить все делаемья ему услуги, однако, как казалось, требовал того не только долг,

но и самая благопристойность, чтоб его поблагодарить за все и все, то положил я сделать то в последующее утро и какую-нибудь половинкою дня пожертвовать сему долгу. Но вообразите себе, любезный приятель, сколь великой надлежало быть моей досаде, когда, пришед поутру к нему в дом, услышал я, что к нему присылан был от государя нарочной и что он еще в ту же ночь ускакал к нему в Ораниенбаум. Меня поразило известие сие как громовым ударом, и я руки почти у себя ел, что не сходил к нему накануне того дня ввечеру проститься, как и хотел было то сделать. Но как пособить тому было уже нечем, то пошел я к бывшему его и живущему еще по-прежнему тут в доме генеральс-адъютанту *Балабину*, чтоб спросить его, не знает ли он, надолго ли генерал туда поехал, и что он присоветует мне делать: дожидаться ли его возвращения или не дожидаться. Сей искренний мой друг сказал мне, что хотя он никак не знает, надолго ли генерал отлучился, однако не думает, чтоб отсутствие его могло надолго продолжиться и что я очень дурно сделаю, ежели не дождусь его и уеду, не распрощавшись. Я признавался в том и сам, и хотя у меня и все уже к отъезду было в готовности и спешить оным побуждало меня все и все, однако как сам собою, так и по совету друга моего решился я дожидаться генеральского возвращения.

Но не досада ли для меня была сушая, когда власно как нарочно, для мучения моего, случись так, что государь зачем-то задержал его там долее, нежели все мы думали и ожидали. Итак, я его ждать день, ждать другой, не едет, наступил третий.

Проходит и оный, а о возвращении генеральском нет ни слуху, ни духу, ни послушания. Нетерпеливость меня пронимает. Я мучусь и горю, как на огне, посылаю то и дело людей проведывать к нему в дом, измучиваю всех и оных, а не пронявшись тем, иду наконец сам и опять к г. Балабину, и спрашиваю, нет ли, по крайней мере, какого слуха о генерале. «Вот тебе и слух весь, – говорит он, что генерал еще там и не знает и сам, когда государь его отпустит и также пряжится как на огне». Горе на меня напало тогда превеликое. «Господи, когда это будет?» – говорю я и требую опять совета; а он опять советует мне ждать, а буде не хочу, то другого не остается, как съездить разве самому в Ораниенбаум и с генералом проститься. «И! что ты говоришь! – подхватил я. – Поеду ли я туда; того и смотри, что бунт и возмущение, и беда не только кому иному, но и самому государю, а

я чтоб туда поехал!.. Долго ли до беды, пропади они!» – «То правда, – отвечал г. *Балабин*, – ехать туда теперь очень, очень страшненько, как попадешься под обух, так нечего говорить!» – «То-то и дело, – подхватил я. – А здесь все-таки воля Господня! Лошади у меня готовы и все уложено почти, и какова не мера, так долго ли запречь и наострить лыжи».

Сим образом поговорив и вновь посудачив о тогдашних смутных и опасных обстоятельствах, решился наконец я, положась на волю Божескую, дожидаться еще генерала. И жду опять день, жду другой, жду третий, но о генерале все еще нет ни слуху, ни духу, ни послушания, а волнение в народе час от часу увеличивается. Уже видим мы, что ходят люди, а особливо гвардейцы, толпами и въявь почти ругают и бранят государя. «Боже Всемогущий! – говорим мы, сошедшись с помянутым господином *Балабиным*. – Что это выйдет из сего? Не даровым истинно все это пахнет!» и считаем почти часы, которые проходили еще с миром и благополучно.

Наконец, и только уже за шесть дней до воследовавшей революции, к неопisanному моему удовольствию, прискакал наш генерал, и мы насилу-насилу его дождались. И как он прислан был только на несколько часов от государя в Петербург, и ему для обратной езды переменили только лошадей, то друг мой, услышав о том, присылает ко мне с известием о том нарочнаго и с напоминанием, чтоб я спешил скорее и заставлял генерала. Я не вспомнил сам себя тогда от радости и как стоял, так и побежал к генералу. Сей ничего еще не знал о моей отставке и обрадовался, услышав, что я получил так скоро желаемое увольнение. «Счастливый ты человек, мой друг, – сказал он мне, – что ты уж на свободе! Я сам желал бы теперь находиться отсюда верст за тысячу. Прости, мой голубчик! – продолжал он, меня целуя. Дай Бог тебе всякаго благополучия и чтоб жить тебе весело и счастливо в деревне». Я поблагодарил его за все его оказанныя благосклонности и, прощаясь с ним, пожелал и ему от искренняго сердца всех на свете благ, позабыв все претерпенныя от него в разныя времена досады и огорчения, и это было в последний раз, что я его видел.

После сего не стал я уже ни минуты долее медлить в Петербурге; но, укладвшись, велел скорей запрягать лошадей и, пролив слезы две три при прощаньи с моим другом г. *Балабиным*, поскакал неоглядкою из сего столичнаго города, оставив его и все в нем в наисмутнейшем состоянии и будучи неведомо как рад, что уплелся из него целым и невредимым. И как

самым сим кончилась и вся моя петербургская служба и в сей столице пребывание, то окончу сим и теперешнее письмо свое, сказав, что я есмь и прочее.

РЕВОЛЮЦИЯ 1762 ГОДА

Письмо 99-е

Любезный приятель!

Продолжая теперь повествование мое далее, скажу вам, что не успели мы, выбравшись за заставу, от Петербурга несколько отъехать, как сделавшееся в повозке моей небольшое повреждение принудило нас на несколько минут остановиться, и как случилось сие в таком месте, откуда можно было нам еще сей город видеть, то, воспользуясь сею остановкою, восхотел я посмотреть еще на него в последний раз, и посмотреть не одними телесными, но вкупе и умственными, душевными очами. Итак, покуда кибитку поправляли, вышел я из оной и, присев на случившийся тут небольшой бугорок и смотря на город сей, углубился в разныя об нем размышления. Я вспоминал, с какими чувствами я в него въезжал за три месяца до того, пробегал в мыслях своих все мною виденное в нем в течение сего времени и все случившееся в нем со мною, и наконец, вообразив все критическое и смутное положение, в каком я его оставил, сам в себе говорил:

«Ах! что-то произойдет в тебе, милый и любезный город? Не обогришься ли ты вскоре кровью граждан твоих и не текли бы целые потоки оной по твоим стогнам и мостовым! Обстоятельства очень дурны, в каких я покинул тебя! Наготове все к превеликому в тебе возмущению. Дай Бог, чтоб не произошло бунта, подобного стрелецкому!.. Слава Богу, что я уплелся из тебя благовременно и что не увижу всех зол, которыя готовятся, может быть, поразить тебя. Счастлив ты будешь, если произойдет в тебе что-нибудь не столь опасное и бедственное, и ты отделаешься без междуусобной брани от того. Но я-то, я-то! За чем таким приведен был в недра твои?.. Не получил я в тебе в сей раз ни малейшей себе пользы, кроме того, что отставлен от службы; но сие не мог ли б я при нынешних обстоятельствах и не будучи в тебе и везде получить?.. Со всем тем верно не без причины же приведен я был в тебя судьбою моею?... И ах! не для того ли

сие было, чтоб, во-первых, избавить меня чрез то от езды из Кёнигсберга к полку моему, бывшему тогда в землях цесарских, а ныне находящемуся в прусских владениях в корпусе графа *Чернышова*, куда б, по разрушении нашего правления королевством Прусским, должен был неминуемо ехать и ныне вместе с пруссаками воевать против цесарцев и там подвергаться таким же военным опасностям, каким подвергаются теперь другие офицеры полку нашего. И благодетельная судьба не хотела ли меня спасти и освободить от оных! Во-вторых, чтоб я, находясь в тебе, имел случай видеть большой свет, видеть двор и все происходящее в нем, насмотреться жизни знатных и больших бояр, и насмотреться до того, чтоб получить к ней и ко всему виденному омерзение совершенное. Сего только мне недоставало еще и сие, может быть, и надобно было еще к тому, чтоб я не мог впредь и ею никогда прельщаться и тем спокойнее и счастливее жить в деревне, куда теперь ведет меня судьба моя!... и ах! ежели это так, то сколь много обязан я за то пекущемуся о пользе моей Промыслу Господню?

Сколь много должен я благодарить Его за то! А что оный имел и здесь попечение обо мне, это доказал мне ясно последний случай и почти очевидное вспоможение, оказанное им мне при отставке моей. Вообще, мог ли я при отъезде моем из Кёнигсберга думать и помышлять, чтоб я в такое короткое время мог так многое увидеть, так многое узнать и так скоро получить то, чего желало всего более мое сердце? Не очевидное ли и в том во всем было распоряжение судеб и Промысла обо мне Господня?.. Мог ли я даже за месяц до сего то думать и помышлять, чтоб я теперь уже был совершенно на свободе и так скоро находиться буду в путешествии и куда-же? На свою родину и в деревню, которую за полгода до сего никогда и видеть не надеялся?.. Ах! все это действовала невидимая рука Господня и не обязан ли я Ему за то бесконечною благодарностию?»

Сим и подобным сему образом говорил я сам с собою до тех пор, куда продолжалась поправка и меня стали звать садиться в повозку. Тогда, взглянув в последний раз на Петербург и сказав: «Прости, любезный град! Велит ли Бог мне когда опять тебя видеть», сел в свою кибитку и, поскакав, старался и в самый еще тот же день отъехать колико можно далее. Однако как мы ни спешили, но не прежде могли доехать до Новгорода, как 25-го числа июня. Тут сделался вопрос: куда мне ехать, и прямо ли продолжать свой путь в Москву, или повернуть направо во Псков и заехать к старшей сестре моей и ея мужу, г. *Неклюдову*. Многия причины

убеждали меня к сему последнему. Уже миновало тому более шести лет, как я разстался с сею сестрою моею, и Богу известно, когда б удалось мне ее видеть опять, если б не решился я тогда к ней заехать.

Отдаленность жилища ея от моих деревень не могла подавать мне никакой надежды к скорому с нею свиданию, к тому ж влекла меня к ней и маленькая моя библиотечка. Вся она, будучи из Кёнигсберга морем в Петербург, а оттуда к ней привезена, находилась у ней в доме, и мне хотелось привезть ее с собою в свою деревенскую хижину; а не менее и самая любовь, которую с самага младенчества имел я к сестре своей, к тому ж меня преклонила. А все сие и убедило меня велеть поворачивать вправо и ехать по псковской дороге.

Как время было тогда почти наилучшее в году и погода случилась добрая и сухая, то ехать нам при спокойном и радостном сердце было не скучно и хорошо; и езда наша продолжалась с таким успехом, что мы 28-го июня доехали благополучно до Пскова, а 29-го числа и до жилища сестры моей, не имев в пути сем никаких приключений, кои стоили б того, чтоб упомянуть об оных.

Не успел я приблизиться к тем пределам, где жила сестра моя и увидеть те места, которые мне с малолетства были знакомы и в которых я весь почти 14-й год моей жизни препроводил так весело и хорошо, как по всей душе моей разлилась некая неизобразимая радость, и я на все знакомыя себе места смотрел с таким удовольствием, какое удобнее чувствовать, нежели описать можно. Я нашел в самом селении зятя моего уже превеликую перемену. Он жил хотя еще и в прежнем своем доме, но у него построен был уже новый, несравненно и пред тем огромнейший и воздвигнут на высоком холме на поле, по конец всего селения сего, и стоящий несравненно на красивейшем пред прежним месте. Я увидел здание сие уже издалека и не узнал бы, если б не так коротко знакомы были мне все окрестности онаго.

Зять мой и сестра находились тогда дома, как я приехал, и как они обо мне давно уже ничего не слыхали и, не зная даже и о петербургской моей службе, считали меня все еще в армии и в Кёнигсберге, то судите сами, сколь великой надлежало быть их радости, когда они вдруг увидели меня, вошедшаго к себе в комнату. Сестра моя сама себя не вспомнила от чрезмерности оныя, а не менее рад был и я, ее увидев. Слезы радости и удовольствия текли только тогда из ея и из моих очей, и мы едва успевали

отирать оныя. А не менее рад был приезду моему и зять мой. Что ж касается до их сына, котораго имели они только одного и котораго, оставив ребенком, увидел я тогда уже довольно взрослым мальчиком, то он не знал, как лучше приласкаться ко мне и не отходил от меня ни пяди. Весь дом и все люди их, любившие меня издавна, сбежались от мала до велика; все хотели видеть меня, и я принужден был всем давать целовать руки свои. И, о! как приятны были мне первыя минуты сии. Сестра не могла довольно наговориться со мною, а услышав, что я уже в отставке, не могла долго поверить, а потом довольно надивиться и нарадоваться тому. Словом, вечер сей был для всех нас радостный и один из наилучших в жизни моей.

Я расположился в сей раз пробить у сестры моей не более недель двух или трех, дабы мне можно было до осени еще успеть доехать до своей деревни. Но не прошло еще и одной недели с приезда моего, как вдруг получаем мы то важное и всех нас до крайности поразившее известие, что произошла у нас в Пстербурге известная революция, что государь свергнут был с престола и что взошла на оный супруга его, императрица Екатерина II.

Не могу и поныне забыть того, как много удивились все тогда такой великой и неожиданной перемене, как и была она всем поразительна, и как многие всему тому обрадовались, а особливо те, которым характер бывшего императора был довольно известен и которыя о добром характере нашей новой императрицы наслышались. Для меня все сие было уже не так удивительно, ибо я того некоторым образом уже и ожидал. И как я из Петербурга только что приехал, то и замечан был от всех, о тамошних происшествиях вопросами, и я принужден был как родным своим, так и приезжавшим к ним соседям все, что знал и самолично видел, рассказывать. Но как и я о точных обстоятельствах сего великаго происшествия столь же мало знал, как и они, ибо из перваго короткаго о том Манифеста ничего дельнаго нам усмотреть было не можно, то не менее и я был любопытен о всех подробностях узнать, как и они. Узнав же потом обо всем в подробность, радовались тому, что совершилось все сие без всякой междуусобной брани и обагрения земли кровию человеческою.

Теперь не за излишнее почел я известить вас, любезный приятель, хотя вкратце, о помянутых подробностях сей великой революции, при которой хотя и не случилось мне быть самолично, но как наиглавнейшия обстоятельства оной и бывшия при том происшествия сделались мне со

временем знакомы, то и могу вам оныя, какь современник тому, пересказать и тем усовершенствовать сколько-нибудь историю о правлении, жизни и конце бывшего у нас императора *Петра III*.

Я уже упоминал вам, каким слабостям и невоздержностям подвержен был сей внук Петра Великого и как своими крайне соблазнительными и неосторожными поступками возбудил он в народе на себя ропот и неудовольствие, а в высших и знатных господах совершенную к себе ненависть. Со всем тем и каково сие всенародное неудовольствие было ни велико, однако казалось, что государю всего того вовсе было неизвестно. Он, окружен будучи льстецами и негодными людьми и не зная ничего, или не хотя-таки и зная, что в народе происходило и в каком расположении были сердца онаго, продолжал беззаботно по-прежнему упражняться всякий день в пированьях, забавах и всякаго рода увеселениях и обыкновенном своем прилежном опоражнивании рюмок и стаканов. И дабы свободнее можно было ему во всем том, в сообществе с любимцами и любовницею своею, Воронцовою, упражняться, переехал со всем своим придворным штатом в любимый свой Ораниенбаум, где и происходили у него ежедневно по дням муштрования своего голштинскаго маленькаго и только в 600 человек состоящаго корпуса, но на который он всех больше надеялся, а по вечерам пирушки и всех родов забавы. А как приближался день его именин и ему хотелось препроводить его как можно веселее, то и приглашены были туда из Петербурга многия знатныя обоего пола особы, и по сему случаю было там великое собрание оных.

Между всеми сими веселостями и забавами не оставлял он, однако, заниматься временно и политическими делами и затеями; но все оне были как-то невпопад и не столько в пользу, сколько во вред ему служили и обрацались. Привязанность его к помянутому дяде своему, голштинскому принцу *Жоржу*, была так велика, что он неудовольствуясь тем, что осыпал его честями и богатством и сделал штадтгалтером, или наместником своим во всей Голштинии, но восхотел еще каким бы то образом ни было доставить ему и Курляндское герцогство во владение, которым владел тогда принц *Карл*, сын *Августа*, короля Польскаго. У сего принца намерен был государь, оное отняв, доставить сперва освобожденному из ссылки прежнему герцогу *Бирону*, а сего заставить потом променяться на иныя земли с принцем *Жоржем*.

Итак, сие намерение занимало его, с одной стороны, а с другой – и всего более занят был он затеваемою войною против датчан. На сих сердит он был издавна и ненавидел их даже с младенчества своего, за овладение ими каким-то несправедливым образом большею частию его Голштинии. Сию-то старинную обиду хотелось ему в сие время отомстить и возвратить из Голштинии все отнятое ими прежде, и по самому тому и деланы были уже с самага вступления его на престол к войне сей всякаго рода приуготовления. А как слухи до него дошли, что и датчане, предусматривая восходящую на них страшную бурю, также не спали, а равномерно не только делали сильныя к войне приуготовления, но поспешили захватить войсками своими некоторыя нужныя и крайне ему надобныя места; то сие так его разгорячило, что он, приказав иттить армии своей из Пруссии прямо туда, решился отправиться сам для предводительствования оною и назначил уже и самый день к своему отъезду, долженствующему воспоследовать вскоре после отпразднования его имени, или Петрова дня. Принца же *Жоржа* отправить в Голштинию наперед, который для собрания себя в сей путь и приехал уже из Ораниенбаума в Петербург и по самому тому и случилось ему быть в сем городе, когда произошла известная революция.

Таковыя его замыслы и предприятия были всем россиянам столь неприятны, что некоторыя из бывших у него в доверенности и прямо ему усердствующих вельмож отговаривали ему, сколько могли, все сие оставить, а советовали лучше ехать в Москву и поспешить возложением на себя императорской короны, дабы чрез то удостоверить себя поболее в верности и преданности к себе своих подданных; также, чтоб он лучше первое время правления своего употребил на узвание своего государства, нежели на путешествие в чужия земли и на занятие себя такими делами, в которых он еще не имел опытности. Но все таковыя представления и предлагаемые ему примеры деда его, *Петра Великаго*, были тщетны. Он не внимал никак сим искренним советам, отвергал все оныя, а последовал только внушениям своих льстецов и друзей ложных, старающихся слабостью всячески воспользоваться и толикой верх над ним уже восприявших, что он повиновался почти во всем хотениям оных.

У сих негодных людей наиглавнейшее попечение было о том, чтоб разсорить его с императрицею, его супругою, и привести ее ему в ненависть совершенную, и не можно довольно изобразить, сколь много они в том успели. Они довели его до того, что он не только говорил об ней с

явным презрением публично, но употреблял при том столь непристойныя выражения, что никто не мог оных слышать без досады и огорчения. Словом, слабость его в сем случае до того простиралась, что запрещено было от него даже садовникам петергофским, где тогда сия государыня, по его велению, находилась, давать ей те садовые фрукты, о которых он знал, что она была до них великая охотница.

При таком расположении его духа и произведенной ненависти к его супруге нетрудно было им наговорить ему, что сплетается против его от нея некоторыми приверженными к ней людьми умысл и заговор, и что у ней на уме есть тотчас, по отбытии его из царства, уехать в Москву и там, при помощи их, велеть себя короновать, и что она посягает даже и на самую жизнь его. И как государь всему поверил, то и стал думать только о том, чтобы супругу свою схватить и заключить на весь ея век в монастырь. Сие, может быть, он и произвел бы действительно, если б обыкновенная неосторожность, все его намерения разрушив, не уничтожила. Так случилось, что накануне самого того дня, в который положено было им сие исполнить и в действо произвести, ужинал он в доме у одного из своих первейших министров, где, по несчастию, его находились и некоторыя из преданных императрице, и такая люди, которым препоручено было от нея наблюдать все его движения и замечать каждое его слово и деяние. Итак, при присутствии их надобно было ему проговориться и неосторожно выговорить некоторыя слова до помянутого намерения относящияся. Не успел один из сих преданных императрице оных услышать и из них усмотреть намерение государя, как в тот же момент ускользает он из того дома и скачет в ту же ночь в Петергоф, где находилась тогда императрица и, ничего о том не зная, спала спокойно с одною только наперсницею своею. Всего удивительнее то, что наперсницею сею и вернейшею приятельницею ея, была родная сестра любовницы государевой, Катерина Романовна *Воронцова*, бывшая в замужестве за князем *Дашковым*¹, и женщина отличных свойств и совсем не такого характера, какого была сестра ея. Обеих их разбуж-

¹ Дашкова Екатерина Романовна (1743–1810), княгиня (рожд. Воронцова) – одна из образованнейших русских женщин XVIII в., имела большое значение в политической, научной и литературной жизни. Участвовала в заговоре, возведшем на престол Екатерину II, пропагандируя идею заговора среди высших кругов, тогда как гр. Орлов пропагандировал ее среди войск. После осуществления переворота получила большие подарки от Екатерины, стала одной из ближайших ее поверенных. В 1769–1772 и 1776–1782 гг. живет за границей, где знакомится с Дидро, Вольтером, Адамом Смитом, Малербом, аббатом Рейналем, становится поклонницей и последовательницей просветительной

дают, и прискакавший уведомляет их, в какой опасности оне находятся. Императрице сделался тогда каждый час и каждая минута дорога. По случаю заарестования одного из числа приверженных к ней, подозревала уже она, что государь узнал как-нибудь о их заговоре; к тому ж и сам он дал ей знать, что желает он в следующий день вместе с нею обедать в Петергофе, а в самый сей день и намерен он был ею овладеть. Итак, государыне нельзя было терять ни минуты времени и она должна была употреблять все, что только могла, и отваживаться на все для своего спасения; а потому минута сия и сделалась решительною и она мужественно отважилась на то предприятие, которому все так много после удивлялись. Она в тот же миг выходит тайно из дворца Петергофскаго, садится в простую коляску и господами *Орловыми* с величайшею поспешностию отвозится в Петербург. Она приезжает 28-го июня, еще до восхождения солнца, в Невский монастырь и посылает тотчас в гвардейские полки за знаменитейшими их и преданными ей начальниками оных. Сии разсевают тотчас слух о том по всей гвардии и по всему городу, так, что в 7 часов утра был уже весь Петербург в движении. Вся гвардия, без всякаго порядка, бежала по улицам и смутный крик и вопль народа, не знающего еще о истинной тому причине, предвозвещал всеобщую перемену. А чрез несколько потом минут и является государыня, въезжающая в город, окруженная почти всею конною гвардиею, ее прикрывающею. Шествие ея простиралось прямо к Казанской соборной церкви и тут провозглашается она *императрицею* и *самодержицею* всероссийскою и принимает первую, от случившихся при ней, присягу, а потом, при провозждении своей гвардии и множества бегущаго вслед народа, шествует в Зимний дворец и окружается там гвардиею и безчисленным множеством всякаго звания людей, радующихся и кричащих: *«Да здравствует мать наша, императрица Екатерина!»*

Со всем тем для всех не понятно было сие происшествие. Самый народ, наполняющий всю площадь и все улицы кругом дворца и восклица-

философии. С 1783 г. она – президент созданной при ее большом участии Академии Наук и президент Академии Художеств. Вокруг нее группируются писатели, она сама занимается науками и литературой (пишет стихи, переводит). По ее почину издаются «Собеседник любителей российского слова» (1783), «Новые ежемесячные сочинения» (1786–1796), «Толковый словарь русского языка» и пр. Павел I сослал ее в Новгородскую губернию. Дашкова оставила «Записки», изданные сначала на английском языке, а потом во французском и русском переводах, которые рисуют яркую картину придворной жизни. В них она сильно переоценивает свою роль в перевороте 1762 г. и личность Екатерины. Новый перевод записок под редакцией Н. Чечулина издан в 1905 г.

ющий во все горло, не знал ничего о самых обстоятельствах всего дела. Тотчас привезены были и поставлены, для защищения входа во дворец, заряженные ядрами и картечами пушки, разстановлены по всем улицам солдаты и распущен слух, что государь, будучи на охоте, упал с лошади и убится до смерти, и что государыня, как опекунша великого князя, ея сына, принимает присягу. В самое то же время приказано было всем полкам, всему духовенству, всем коллегиям и другим чиновникам собраться к Зимнему дворцу для учинения присяги императрице, которая и учинена всеми не только без всякаго прекословия, но всеми охотно и с радостью превеликою. Наконец, издан был в тот же еще день первый о вступлении императрицы краткий манифест и с оным, и с предписаниями что делать, разосланы всюду, во все провинции и к предводителям заграничной армии курьеры.

Между тем как сия торжественная присяга производилась, забираемы были под караул все те, на которых было хотя некоторое подозрение, а народ вламывался силою в кабаки и, опиваясь вином, бурлил, шумел и грозил перебить всех иностранцев; но до чего, однако был не допущен, так что претерпел от него только один принц Жорж, дядя государев.

Сей не успел увидеть самопервейшаго стечения народа, как, догадавшись о истинной тому причине, вскакивает с поспешностию на лошадь и скачет в Ораниенбаум к государю. Никто из всех слуг его не видал, как он вышел из дома, и один только его гусар последовал за ним. Но один отряд конной гвардии, встретившись с ним за несколько шагов от дома, узнав, схватывает его и, позабыв все почтение, должное дяде императорскому, снимает с него шпагу и принуждает сойти с лошади, и он подвергается при сем случае величайшей опасности. Один рейтар взмахнулся уже на него палашом своим и разнес бы ему голову, если б, по счастью, не был еще благовременно удержан и до того не допущен. Его сажают в карету и везут ко дворцу; но в самое то время, когда он стал из нея выходить, присылается повеление отвезть его опять в его дом и приставить там к нему и ко всему его семейству крепкий караул. Принц, при привезении его туда, находит весь свой дом уже разграбленным, людей своих всех изувеченных и запертых в погреб, все двери разломанные и все комнаты начисто очищенные. У самых принцов, сыновей его, отняты часы и деньги, сняты кавалерии и сорваны даже мундиры самые. Одна только спальня принцессина осталась пощаженною, да и то потому, что защищал ее один

унтер-офицер. Принц, увидев все сие, сделался как сумасшедшим от ярости, но ему ни мстить за сие, ни племяннику своему, императору, помочь было уже не можно.

Такое ж несчастье претерпел при самом сем случае и мой генерал *Корф*, случившийся в сие время также в Петербурге. Толпа гренадер вломилась в дом его и не только разграбила многое, но и самому ему надавала толчков; но, по счастью, присланный от государыни успел еще остановить все сие и спасти его от гибели.

Между тем как все сие происходило в Петербурге, государь, ничего о том не зная, не ведая, находился в своем Ораниенбауме, и говорили, что оплошность его была так велика, что в ту же еще ночь, когда государыня уехала из Петергофа, некто хотел его о том уведомить и, написав цидулку, положил подле него в то время, когда он, веселяся на вечеринке, играл на скрипиче своей какой-то концерт, и хотя цидулку сию он и усмотрел, но, находясь в музыкальном энтузиазме и не хотя никак прервать игру, оставил ее без уважения, а намерен был прочесть ее после; но как по окончании концерта он об ней вовсе позабыл и от стола того отошел прочь, то нашлись другие, которые, видевши все то, и как подозрительную ее искусненно и поприбрали к себе и чрез то не допустили его узнать и прочесть такое уведомление, от которого зависела безопасность не только его престола, но и самой жизни. А как и в Петербурге приняты были все предосторожности и разставлены были по всем дорогам люди, чтоб никто не мог прокрасться и дать обо всем происходившем знать государю, то и не узнал он до самого того времени, как по намерению своему приехал в Петергоф, чтоб в последний раз с государыней отобедать и ее взять потом под караул. Теперь посудите сами, сколь изумление его долженствовало быть велико, когда, приехав в Петергоф, не нашел он тут никого и легко мог заключить, что это значило и чего ему опасаться тогда надлежало. Неожиданность сия поразила его как громовым ударом и повергла в неописанный страх и ужас... Со всем тем, усматривал он, что надлежало ему принимать скорейшия меры, и его первое намерение было то, чтоб послать за своими голштинскими войсками и защититься ими от насилия. Но престарелый фельдмаршал *Миних* представил ему, что такому маленькому числу войска и шестистам его человекам не можно никак противоборствовать целой армии, и что в случае обороны легко можно произойти, что от раздраженных россиян и все находящиеся в Петербурге иностранцы могут быть изрублены. На-

против того, предлагал он два пути, которые неоспримо в тогдашнем случае были наилучшие, выключая третьяго, но о котором тогда ни государю, ни другим и в мысль не пришло. «Всего будет лучше, – говорил ему сей опытный генерал, – чтоб ваше величество либо прямо отсюда в Петербург отправиться изволили, либо морем в Кронштадт уехали. Что касается до перваго пути, то несомневаюсь я, что народ теперь уже уговорен; однако если увидит он ваше величество, то не преминет объявить себя за вас и взять вашу сторону. Если ж, напротив того, отправимся мы в Кронштадт, то овладеем флотом и крепостью и можем противников наших принудить к договорам с собою». – Государь избрал сие последнее. Отсылает голштинцев своих обратно в Ораниенбаум, приказывает им тотчас сдать, как скоро на них нападут, а сам со всеми при нем бывшими садится на яхту и отплывает к Кронштадту. Многия знатныя госпожи, коих мужья были в Петербурге, не восхотели отстать от своего государя и последовали за оным.

Как разстояние от Петергофа до Кронштадта не очень велико, то приплывают они туда довольно еще рано, но принимаются очень худо. – Часовые кричат, чтоб яхта не приставала к берегу, и как государь сам кричит и о своем присутствии им объявляет, то они отвечают ему, сказывая напрямки, что он уже не император, а обладает Россиею уже не он, а императрица *Екатерина Вторая*. Потом говорят ему, чтоб он отъезжал прочь, а в противном случае дадут они залп изо всех пушек по его судну.

Что оставалось тогда сему несчастному государю делать? Он приводится тем в неописанное изумление и другого не находит, как воспринять обратный путь. Несчастье начало его гнать уже повсюду, и согласно с тем сплелись и обстоятельства все удивительным образом. Известие о вступлении государыни на престол получено было в Кронштадт только за полчаса до его прибытия, и привез оное один офицер из Петербурга с повелением, чтоб комендант присягал со всем гарнизоном императрице. И надобно ж было так случиться, что комендант сею неожиданностию приведен был в такое смущение и замешательство мыслей, что ему и в голову не пришло того, чтоб сего присланнаго арестовать и донести о том государю. А он начал только делать некоторыя отговорки, дабы собраться между тем с духом; а присланный так был расторопен, что, воспользуясь сим изумлением коменданта, велел тотчас самого его арестовать приехавшим с ним многим солдатам, сказав ему при том то славное и достопамят-

ное слово: «Ну, государь мой, когда не имели вы столько духа, чтоб меня арестовать, так арестую я вас».

Между тем яхта отвозит изумленных пловцов своих в обратный путь и приплывает с ними уже не в Петергоф, а прямо к Ораниенбауму, однако не прежде как уже поутру на другой день. Тут поражается государь еще ужаснейшим известием, а именно, что императрица, его супруга, прибыла уже с многочисленным войском и со многими пушками из Петербурга в Петергоф. Было сие действительно так; ибо государыня успела еще в тот же день, собрав все гвардейские и другие бывшие в Петербурге полки и предводительствуя сама ими, вечером из Петербурга выступить и, переночевав по походному в Красном Кабачке, со светом вдруг отправиться далее, и как Петергоф отстоит только 28 верст от Петербурга, то и прибыла она в оный еще очень рано. А не успел государь от поразившаго его, как громовым ударом, известия сего опамятоваться и собраться с духом, как доносят ему, что от новой государыни прибыл уже князь *Меншиков*, с некоторым числом войска и с пушками, для вступления с ним в переговоры и требует, чтоб все голштинския войска сдались ему военнопленными. Сие смутило еще более государя и разстроило так все его мысли, что как некоторыя из офицеров его, случившиеся при том как принесено было известие сие, стали возобновлять уверения свои, что они готовы стоять до последней капли крови за своего государя и охотно жертвуют ему своею жизнью, то не хотел он никак согласиться на то, чтоб толико храбрые люди вдавались, защищая его, в очевидную опасность. И пекущийся о благе России Промысл Господень так тогда затмил весь его ум и разум, что он и не помыслил даже о том, что ему оставался еще тогда путь к спасению себя от опасности, и путь никем еще не прегражденный и свободный. Он имел при себе тогда более 200 человек гусар и драгунов, снабденных добрыми лошадьми, преисполненных мужества и готовых обороняться и защищать его до последней капли крови. Весь зад был у него отверстым и свободным и не легко ль было ему пуститься с ними в Лифляндию и далее. В Пруссии ожидала уже прибытия его сильная армия, на которую мог бы он положиться. Бывшая с императрицею гвардия не могла бы его никак догнать, она находилась от него еще за 20 верст разстоянием, в Петергофе, и он, по крайней мере, предускорил бы оную пятью часами. Никто бы не дерзнул остановить его на дороге, а если б и похотел какой-нибудь гарнизон в крепости его задержать, так могли бы гусары его и драгуны

очистить ему путь своим оружием. Но все сии выгоды ни он, ни все друзья его, тогда не усматривали, а встрепенулись тогда уже о том помышлять, когда было уже поздно.

Но что говорить! Когда судьба похочет кого гнать или когда Правителю мира что не угодно, так может ли тут человек что-нибудь сделать? А оттого и произошло, что вместо всего вышеупомянутого государь впал тогда в такое малодушие, что решился послать к супруге своей два письма, и в одном из оных, посланным с князем *Голицыным*, просил он только, чтоб отпустить его в Голштинское его герцогство, а в другом, отправленном с генерал-майором Михаилом Львовичем *Измайловым*, предлагал он даже произвольное отречение от короны и от всех прав на российское государство, если только отпустят его с Елисаветою Воронцовой и адъютантом его, *Гудовичем*, в помянутое герцогство.

Легко можно вообразить себе, какое действие должны были произвести в императрице таковыя предложения! Однако по благоразумию своему она тем одним была еще не довольна, но чрез помянутого *Измайлова* дала ему знать, что буде последнее его предложение искренно, то надобно, чтоб отречение его от короны Российской было произвольное, а не принужденное, и написанное по надлежащей форме и собственною его рукою. И г. *Измайлов* умел преклонить и уговорить его к тому, что он и согласился наконец на то и дал от себя оное и точно такое, какого хотела императрица.

Не успел он сего достопамятного начертания написать и оное доставить до рук императрицы, как и посажен он был с графинею *Воронцовой* и любимцем своим *Гудовичем* в одну карету и привезен в Петергоф, где тотчас разлучен он был со всеми своими друзьями и служителями, и под крепким присмотром отвезен в мызу Ропшу и посажен под стражу. Ни один из служителей его не дерзнул следовать за оным и один только арап его отважился стать за каретою, но и того на другой же день отправили в Петербург обратно.

Таким образом, кончилось сим правление *Петра III* и несчастный государь сей, имевший за немногия дни до того в руках своих жизнь более 30-ти миллионов смертных, увидел себя тогда пленником у собственных своих подданных и даже до того, что не имел при себе ни единого из слуг своих; а сие несчастье и жестокость судьбы его так его поразило, что чрез немногия дни он в заточении своем занемог, как говорили тогда, сильною

коликою и, претерпев от болезни своей столь жестокое страдание, что крик и стенания его можно было слышать даже на дворе, в седьмой день даже и жизнь свою кончил, и 21-го числа того ж июля месяца погребен был в Невском монастыре без всякой дальней церемонии. А сие и утвердило императрицу Екатерину на престоле к славе и благоденствию всей России.

Таково-то окончание получила славная сия революция, удивившая тогда всю Европу как своею необыкновенностию, так и благополучным своим окончанием. Все мы не могли также довольно оной надивиться и хотя я тогда и мог заключать, что легко бы и я мог иметь в ней такое же соучастие, как господа *Орловы* и многие другие, бывшие с ними в сообществе и заговоре, однако нимало не тужил о том, что того не сделалось, а доволен был своим жребием и тем, что угодно было учинить со мною Промыслу Господню.

Но как письмо мое слишком уже увеличилось, то дозвольте мне сим оное кончить и сказать вам, что я есмь ваш и прочее.

В ГОСТЯХ У СЕСТРЫ

Письмо 100-е

Любезный приятель!

Возвращаясь теперь к продолжению истории моей, скажу вам, что пребывание мое и в сей раз у сестры и зятя моего было для меня таково ж весело и приятно, как и в прежния мои пребывания в сем милом и навсегда любезном для меня доме.

Оба они, любя меня чистосердечно, старались наперерыв друг пред другом сделать мне оное колико можно веселейшим и побудить меня чрез то прожить у них долее. Не оставлен был ни один род из всех деревенских забав и увеселений, который бы не употребляем был оными для доставления мне множайшаго удовольствия и не остался ни один из всех живущих поблизости к ним соседей и знакомцев, который бы несколько раз у нас не побывал и к которому бы мы не ездили. И как лета мои и тогдашня обстоятельство были таковы, что мне можно было помышлять уже и о женитьбе, и сестра не советовала мне оною долго медлить, да и

сам я усматривал уже в том необходимую надобность, то по любви своей ко мне ничего она так не желала, как переманить меня на свою сторону и буде б только можно было преклонить меня жениться на какой-нибудь тамошней девушке; а потому не успело несколько дней пройти после моего к ним приезда, как и начала она уже приступать к тому издали и сперва расхваливать мне всячески тамошних их прибыточных деревни и хорошее общежительство в их соседстве, а потом шутя мне говорит:

– А что, братец, ну-ка бы ты здесь у нас вздумал жениться! Как бы я тому была рада и как бы стала благодарить за то Бога! Подумай-ка, право, голубчик братец!

– За чем дело стало! – отвечал я ей, также смеючись. – Сыщи, сестрица, невесту и подавай сюда; мы, может быть, и женимся! Пришла б только по мысли и не была б совсем бедная. Ныне, – говорил я далее, уже я не такой ребенок, как был прежде, и не стану уже стыдиться так, как в то время, когда надоедала ты мне так много своею невестою *Сумароцкою*.

– Ах! та-та на меня беда! – подхватила она, – что эта-та враговка у нас ушла и уже замужем, а то бы я хотя на горло наступила, а женила бы тебя на ней!

– Что так строго, – смеючись говорил я, – на этой бы и сам я, может быть, охотно женился; но что о том говорить, чего воротить не можно; а нет ли у вас других каких, ей подобных?

– То-то моя и беда, – говорила она, – что подобных-то ей и нет у нас во всем околотке. Правда, невест довольно, но все оне не по тебе, братец. Иная слишком уже бедна, иная хотя и с достатком, но нравов и обычаев таких, что и сама я не присоветовала б тебе на них жениться. Пропади оне совсем! А есть одна, которая и вдвое еще богаче *Сумароцкой*, и которую можно назвать богатою невестою, да и нрава она такого, что я не желала б с сей стороны лучшей для тебя, да и верно почти знаю, что ее и отдали б за тебя, но...

– Что но? – подхватил я. – Разве дура какая? И ежели дура, то волён Бог и с достатком и со всем ея хорошим нравом...

– Ах нет! братец, – сказала она, – дурую назвать ее никак не можно. Она умница и воспитана очень хорошо и учена довольно. Но...

– Что ж такое? – спросил я далее, поэтому знать собою-то не хороша и лицом дурна?

– То-то и есть! – отвечала она. – И то-то самое и озабочивает меня, а когда бы не то-то, так бы готова тебе неведомо как кланяться и просить, чтоб ты не искал никакой другой, а женился бы на ней. Верно бы я могла сказать, чтоб был ты счастлив; а деревни-то, деревни какая!

– Но неужели, сестрица, – сказал я, – уже так она дурна, что ни к чему не годится? Не была б только совсем отвратительна, а то бы и за излишнею красотою и сам не погнался. Я ведаю, что красота – вещь совсем непрочная, а сверх того, скорей всего к ней и привыкнуть можно.

– Ох, голубчик, братец то-то мое и горе, что не хороша и так не хороша, что я никак не осмелюсь и предлагать тебе ее; а разве бы ты сам вздумал и захотел!.. Но молчи, братец, они хотели у нас побывать на сих днях, и ты можешь ее увидеть и сам лучше судить, а то я не отваживаюсь и говорить об ней.

– Хорошо, сестрица, посмотрим...

Сим образом окончили мы тогда сей разговор, и хотя был он почти издевочной, но во мне не преминул он произвести некотораго впечатления. Деревни тамошния были в самом деле таковы, что стоило того, чтоб помыслить о женитьбе в тамошней, мне с младенчества приятной стороне, а особливо, если б случилось найти невесту по своим мыслям. Но как мысли сии имели тесное сопряжение с сердцем, а сердце было во мне не топорной работы, а рождено было уже с нежнейшими чувствованиями, то, слыша от сестры таковое помянутой невесте описание, и не уповал я, чтоб она могла мне полюбиться. Со всем тем любопытен был я ее видеть и с некоторою нетерпеливостию дожидался приезда к нам господ Темашовых.

Наконец чрез несколько дней после того и в самое такое время, когда ходил я один по милым и издавна мне знакомым прекрасным берегам реки *Лжи* и, вспоминая тогдашнее свое уженье и разъезжание на своем челночке по ея прекрасным заводям и изгибам и всем тем любовался, увидел я бегущих ко мне из дома людей и сказывающих мне, что приехали гости господ *Темашовы*. – Сердце вострепело во мне при услышании сего называния, ибо мне известно было, что помянутая невеста была дочь господина Темашова. И как сам он был мне еще тогда знаком, как я жил в первый раз у сестры моей, то спешил я спросить у человека: один что ли Иван Иванович или с семейством? – «Нет, сударь, – отвечал мне мальй, – самого его нет, да он никуда, за слабостию, не ездит, а боярыня только тут с старшею своею дочерью... И сестрица приказала вас просить, чтоб

вы скорее приходили и сколько-нибудь поприоделись». Сие увеличило еще больше трепетание моего духа, происшедшее, может быть, от того, что сей случай был еще первый, что мне должно было видеть девушку, предлагаемую мне некоторым образом в невесты. «Хорошо! хорошо! – сказал я малому. – Я тотчас буду, а ты беги между тем наперед и скажи человеку моему, чтоб приготовил мне иное платье».– По отходе его пошел и я вслед за ним, но спешить шествием своим совсем был не в состоянии. Дух мой приведен был случаем сим в такое смущение, что я едва в силах был переступить ногами и во всю дорогу не выходила у меня невеста сия из ума, и вся голова моя наполнена была разными об ней по женитьбе своей помышлениями. Когда же, пришед в задняя комнаты и с поспешностию переодевшись, пошел я в те комнаты, где сестра моя с гостями сидела, то сердце мое так в груди моей стеснилось, что с превеликою нуждою переступил я чрез порог и едва в силах был отворить к ним двери. Вот что могут производить предварительныя к чему-нибудь нас предуготовления!..

Но как же поразился я, увидев госпожу Темашову. Я остолбенел почти от первого на нее взгляда. Сколько ни воображал я себе ее дурною, но она превзошла все мои чаяния и ожидания. Еще никогда до того времени не случалось мне видеть девушки столь дурной, нескладной и имеющей вид и лицо толико отвратительное. Она имела не только нескладный и совсем непропорциональный с летами ея стан, но была ширококрожа, ряба, безобразна, а что всего хуже, имела один глаз совсем белый и покрытый бельмом превеликим. Сердце во мне даже замерло, когда я, расцеловавшись с матерью ея, в первый раз взглянул на нее и ей поклонился! Словом, она так смутила меня тогда, что я не имел даже столько духа, чтоб и взглянуть на нее в другой раз, а не только чтоб ее рассматривать или отыскивать в ней хотя небольшие бы какия приятности.

Сестра моя, не спускавшая с меня глаз и примечавшая все мои движения, легко могла заметить действие, произведенное девушкою сею в душе моей; и хотя не сомневалась уже в том, что она мне никак не нравилась, однако не преминула меня, смеючись, о том спросить, как скоро нашла к тому удобный случай.

– Ну, что братец? – сказала она.

– Что сестрица! – отвечал я. – Истину и чистосердечно тебе сказать, что если б было за нею и целая тысяча душ, если б и нрав имела она самый

ангельской, то и тогда никак не мог бы я иметь столько духа, чтоб на ней жениться. И возможно ли, что нет-то ни в чем ни малейшей приятности!

– Это я предугадывала уже наперед, – подхватила она, – и потому не смела и предлагать тебе ее, а теперь еще более и сама вижу, что совсем-то она тебе не под стать и теперь жалею неведомо как, что нет на ту пору здесь и *Дубровских*.

– Если и та такая ж, – сказал я, – то не для чего тужить, сестрица.

– Ах нет, братец, – отвечала она, – на ту бы верно ты стал пристальнее смотреть. Девушка предорогая и сама собою очень не дурна, а и недостаток не многим чем меньше этой; но на ту беду уехали враги в Порховския свои деревни и неизвестно, когда они оттуда и будут.

– Ну что же и говорить о том, что невозможно, – сказал я и пошел в комнату к гостям нашим, но с сердцем облегченным уже, власно как от бремени превеликаго.

Сим кончилось тогда первое мое, и так сказать, полусватанье. Гости сии у нас в тот день ночевали и на другой день обедали, и мать девушки сей как ни старалась оказывать мне возможнейшия ласки и просить, чтоб вместе с сестрицею и я удостоил их своим посещением, но я внутренно всему тому только смеялся и всего меньше на уме имел к ним ехать, а помышлял уже более о том, как бы мне отправиться в дальнейший путь и поспешать в милое и любезное свое *Дворяниново*.

Но как я ни спешил своим отъездом, но не мог никак вырваться прежде, как по наступлении уже августа месяца. Сестра и сам зять мой не хотели меня никак отпустить скоро и упрашивали неведомо как, чтоб я сделал им удовольствие и прогостил у них подолее.

– Кому-то велит Бог впредь видеться и когда-то это будет! – твердили они то и дело оба. – Живем мы не так близко друг от друга, – продолжали они, – чтоб можно было нам льстить себя частыми свиданиями.

– Да, – говорил и я, – проклятая отдаленность много тому мешает; однако все-таки отчаяваться не можно.

– То так, – подхватил зять мой, – но лета и слабости нас страшат. Почему знать? Вот может быть уже и в последний раз мы тебя видим!... А, по слабости здоровья своего, не смею и подумать о том, чтоб мог пуститься в такой дальний путь, а и тебе нужно только заехать в такую даль и там обострожившись жениться, как и позабудешь об *Опанкине*.

– И, что вы говорите? – подхватил я. – Этого никогда не будет, чтоб я позабыл сие милое селение и вас, любезных родных моих.

– Хорошо, посмотрим, – сказал зять, – и дай Бог, чтоб мы дожили до того, чтоб увидели опять вас в странах здешних. Сие говорил он власно как предчувствуя, что ему впредь меня уже никогда не видать, и что и самого меня судьбы едва ли допустят видеть опять его Опанкино. Я и действительно с того времени уже не видал сего обиталища родных моих, равно как и с ним в последний раз уже тогда виделся.

– «Но что вы ни говорите, – сказал мне наконец зять мой, – но я не отпущу вас никак до того времени, покуда не перейду в новые хоромы. Воля твоя, а по крайней мере, сделай нам то удовольствие, что отпразднуй вместе с нами новоселье и поживи хоть несколько дней вместе с нами в новом нашем доме, а там уже и Бог с тобою!..»

Что было делать и как можно было отговориться? Я принужден был дать слово и пробыть у них до сего деревенского праздника. Сие и совершилось вскоре после того времени, и праздник сей был в своем роде превеликий. Все соседственное дворянство и все друзья и знакомцы приглашены были к оному. Весь новый дом, как ни велик был, но наполнен был людьми и гостями, и как съехалось множество и господ, и госпож, и девиц, то мы и повеселились-таки в сей последний раз гораздо и гораздо, и окончили пиршество сие с удовольствием особливым.

После сего не стал я уже долее медлить, да и они не держали уже меня более. Итак, собравшись и уклав всю свою библиотеку на особую подводку, которою снабдил меня мой зять, 10-го августа отправился я в свой путь, распрощавшись с сими милыми и любезными своими родными и смочив взаимно друг у друга слезами свои лица.

Не могу изобразить, сколь чувствительны для меня были проводы из сего селения. Все люди собрались провожать меня и все целовались со мною, как не надеясь уже никогда более видеть, что, кроме немногих, и действительно так случилось. Зять и сестра провожали меня версты три и до самой реки *Утрой*, и я навек не позабуду той минуты, когда, разставшись с ними и переехав в брод реку, с другого берега видел я в последний раз возвращающегося уже в дом моего зятя, машущаго своею шляпою и кричащаго мне: «Прости, прости, мой друг!»

Езда моя была благоуспешна; я ехал опять чрез Псков, Новгород и другие города, лежащая до Москвы на большой дороге, и на все сии, с мла-

денчества мне знакомыя места и города смотрел уже тогда совсем не с такими чувствами, как сматривал прежде. Я был уже тогда в совершенном возрасте и все знания мои были несравненно уже обширнейшими пред прежними. Мне известны были уже истории городов, мною виденных, и я много уже знал, что происходило в древности в местах тех, чрез которыя доводилось мне тогда ехать. Итак, я воображал себе сии происшествия и смотрел на все не только с любопытнейшими очами, но и с разными при том чувствами и тем всем делал путь сей для себя приятнейшим.

Впрочем, не помню я, чтоб случилось со мною в продолжение путешествия сего что-нибудь особенное, кроме двух происшествий, достойных некотораго замечания.

Первое случилось на пути между Псковом и Новым-городом, и было следующее. Мы отъехали уже от Пскова несколько десятков верст, как вдруг, против всякаго чаяния и ожидания, останавливает нас поставленная на большой дороге застава и говорит, чтоб мы далее не ехали. «Что таково, – спросили мы, удивившись, – и для чего?» – «А для того, – отвечают нам, – что там впереди во всех деревнях по дороге конский жестокий падеж; так чтоб не заразить и вам своих лошадей и не лишиться оных». Мы обмерли и спужались, сие услышав. Никогда еще такой беды с нами не случилось. Я воображал себе всю опасность сего случая и не знал, что мне делать.

«Да как же нам быть, – спросил я; и что делать?» – «Что изволите, – говорили стоящие на заставе, – либо назад поезжайте, либо ступайте в объезд, стороною, вот по этой дороге, направо». – «Да далеко ли будет нам надобно ехать?» – «Да не близко, – сказали они, – и крюк вам будет большой и верст тридцать лишних. Вы выедете уже под самый почти Новгород». – «Да как же нам найтить дорогу эту? Совсем она нам не знакома». – «Язык до Киева доведет, – сказали они, – а сверх того мы вам расскажем и деревни, чрез которыя вам ехать; хоть запишите себе их». – «Хорошо, – сказал я, – но там и в этих деревнях разве еще нет падежа?» – «Есть кой-где и там, но не везде и не таков еще силен; но, по крайней мере, все дорожные через них теперь ездят и вы, может быть, проедете благополучно. Расспрашивайте только поприлежнее и, где падеж есть, там поскорей проезжайте». – «Экая беда! – говорил я. – И там не совсем безопасно. Что делать ребята? – спросил я у людей, обратившись к оним. – Как вы думаете? Пускаться ли нам на сию опасность или не возвратиться ли уже назад опять к сестрице?» – «И, что вы сударь! – воскликнули они, сие услышав.

– Уже назад ехать! Как это? Уже столько отъехавши, да назад ворочаться!» – «Да как же быть-то?» – спросил я далее. «А так и быть, – говорили они, – что, положась на власть Божию, пускаться в путь; благо есть объезд; когда люди ездят, то для чего ж и нам не проехать?» – «Ну, будь же по глаголу вашему, – сказал я, несколько подумав и возложив упование свое на Бога, – поворачивай вправо!..»

Но, ах! с каким страхом и душевным беспокойством ехали мы сим дальним объездом. Было сие, как теперь помню, в самую полдню, как мы своротили с большой дороги и проезжать нам доводилось премножество деревень. Въезжая в каждую, первое наше попечение было о том, чтоб узнать все ли было тут здорово и не валятся ли лошади? И как скоро узнавали, что падеж есть, то со страхом и трепетом припускали во всю скачь лошадей, пролетали как молния сквозь оныя и неоглядкою старались уехать далее. Но как досадовали мы и как увеличился страх и опасение наше, когда везде, куда ни приезжали мы, нам сказывали то же, а именно: что тут падеж есть, а в предледующей деревне его еще не было. По приезде туда сказывали нам то же и теми ж самыми словами. «Господи помилуй, долго ли это будет? – говорили мы. – И найдем ли мы где-нибудь здоровое еще место?» И поговорив сим образом, пустимся опять скакать. Но нам и в ум не приходило, что бездельники сии нам не везде сказывали правду и что, опасаясь столько же нас, сколько боялись их мы, они нарочно иногда всклепывали на селение свое падеж, чтобы побудить нас тем ехать далее. Наконец измучили мы впрах лошадей своих и довели до того, что не могли они бежать далее. И как тогда наступала уже и ночь, то рады, рады были, что доехали, хотя уже с нуждою, до одного селения, о котором уверили нас, что в нем действительно падежа еще не было.

Но что ж? Не успели мы в оном посреди широкой улицы ночевать расположиться и лошадей своих отпречь, как подходят к нам другие и сказывают, что падеж есть и у них и что в самый тот день пало у них более 10-ти лошадей. Господи! Как мы тогда все оробели и перетрусились. «Давай, давай скорее, – закричал я, – и запрягай опять лошадей!» Но мужики разсмеялись только тому и мне говорили: «Куда вам, барин, далее ехать на измученных лошадях ваших? Впереди целых пятнадцать верст нет ни одного селения на дороге, да и там такой же падеж уже есть, как у нас. Ночуйте-ка здесь с Богом; но лошадей-то не пускайте с места и кормите уже при повозках. Мы вам добудем уже и накосим травки свеженькой».

Что было тогда делать? Мы против хотения и с превеликим хотя страхом, но принуждены были остаться тут ночевать, и от сумления не спали почти всю ночь, так настрашал нас сей проклятый лошадиный мор. Но было, правда, чего и опасаться, и одна мысль о потере всех лошадей своих посреди мест, зараженных повсюду сею конскою эпидемиею, и о невозможности достать иных нагоняла на нас страх и ужас, и мы сами себя не вспомнили от радости и не знали, как возблагодарить Бога, как выехали мы наконец благополучно из сих опасных мест и взъехали опять, неподалеку уже от Новгорода, на большую дорогу и к такой же заставе.

Вид сего города, усмотренный издалека, возбудил тогда во мне мысль о Синаве и Труворе. Имена сих древних обитателей Новгорода были у меня в особливости затвержены по трагедии сумароковской, из которой знал я многия места и монологи наизусть и декламировал оные нередко; а сие и произвело во мне тогда разныя чувствования в побудило говорить в душе своей: «Ах! вот тут и в сих-то местах жили некогда Гостомысл, Синав и Трувор. Хоть и не было в точности всех тех происшествий с ними, какия написаны г. *Сумароковым*, но что они были и жили некогда тут, это правда». А таким же образом с особливыми чувствами смотрел я и на площадь городскую, где некогда висел славный новгородский вечевой колокол и на мост в городе, переезжая по оному реку Волхов. «Вот тут-то, – говорил я сам себе, – побиваемы были некогда долбнею все несчастные дворяне новгородские и повергались в воду, и сия-то река уносила их прочь на быстрых струях своих и служила им могилою. Были ж времена! – продолжал я, не углубляясь далее в мыслях, напоминал всю историю сего в древности столь славнаго и великаго республиканскаго города. – Сколько пролито тут крови человеческой; сколь часто обагряемы были ею все окрестности сии, сколь многие миллионы людей обитали некогда на них и коль многих смертных прахи сокрыты в недрах земли в окрестностях и внутри сего стариннаго города, бывшаго некогда столь великим». Наконец не мог я довольно надивиться быстроте реки тутошной, вытекающей из озера Ильменя, и как случилось нам тут ночевать, то весь вечер проводил я на берегах оной в разных помышлениях.

Другое происшествие случилось с нами в горах Валдайских. Переезжая славную сию цепь гор, съехался я тут с одним мне давно знакомым и вместе со мною в одном полку служившим офицером. Был то г. *Федцов*; и он, препроводив всю жизнь свою в военной службе, дослужившись

капитанского ранга, ехал тогда из армии также в отставку и поспешал в деревню к жене своей и детям, с которыми он многие уже годы не видался и также не надеялся было никогда видеть; неведомо как радовался тогда тому, что вынес его Бог из чужих земель благополучно и без получения на всех многих сражениях, на которых ему бывать случалось, ни единой раны и никакого увечья.

Мы обрадовались неведомо как, друг друга узнавши, и, севши к нему в повозку, не могли довольно наговориться. Он расспрашивал обо всем меня, а я таким же образом расспрашивал его, и он рассказывал мне и о полку нашем и обо всем, что с ним в последние годы службы происходило, и окончил повествование свое, как теперь помню, сими словами: «Так-то, братец, послужили, походили по чужой стороне, потерпели довольно нужды, набрались довольно и страхов и всего и всего, но, по крайней мере, теперь, слава Богу, еду на покой и провождать последние дни свои в мире и тишине с бабенкою своею и ребятишками». – Но ах! может ли человек что-нибудь наверное заключить о предбудущем и предвидеть, что предстоит ему впереди и за самое иногда короткое время! Всего-то меньше можем мы все это знать, и последующее послужило мне истине сей новым и крайне поразительным для меня доказательством.

Не успел он помянутых последних слов выговорить, как увидел я, что надлежало нам в ту самую минуту начинать спускаться с одной превысокой и крутой горы и что спуск был дурен, шел излучиною и влеве у нас была превеликая стремнина и глубокий буерак. Будучи как-то всегда не очень смел, и в таких случаях отважен, и сделав уже издавна привычку выходить на горах таких из повозки и сходить вниз пешком, восхотел я и сей раз сделать то же, и говорил повозчику, чтоб он на минуту остановился, стал вылезать из кибитки. Но г. *Федцов* не пускает меня и говорит мне:

– И, братец, как тебе не стыдно? Уже боишься такой бездельной горы, а еще служил! И такие ли горы мы переезжали иногда! Сиди, сударь, и не бойся ничего, лошади у меня смиренные и мы съедем хорошехонько!

– Нет, воля твоя, брат, – отвечал я ему, – а я ни из чего не соглашусь с такой страшной горы ехать, а пусти-ка меня долой. Дело-то будет здоровее, – труд невелик сойтить, и ноги, слава Богу, есть и здоровы еще, а говорится в пословице: «Береженого коня и Бог бережет», – и, сказав сие, прыгнул я с его повозки, а он, захохотав, далее сказал:

– Этакой ты какой трус; ты, брат, истинный и горе, а не воин!

– Ну, пускай трус, – говорю я, – и называй ты меня как хочешь, а я знаю то, что, по крайней мере, дух во мне будет в спокойствии, да и на что без нужды подвергать себя опасности. Словом, я советовал бы и тебе, брат, то же сделать.

– И, пустое, – возопил он, – невидальщина какая! Ступай, мальй!

Но что ж, не успел он несколько сажен от меня отъехать, как лошади его вдруг отчего-то вздурились и понесли его вниз. Они держать, они кричать, останавливать, но не тут-то было. Лошади взяли верх, несут во всю прыть и по самому краю стремнины. Я обмер, испужался, сие увидев, но не успел еще опомниться, как гляжу, повозки его на горе как небывало и очутилась она вдруг уже опрокинутая и лежащая в буераке, куда с горы полетела она стремглав, сорвавшись с передней оси.

Не могу изобразить, коликим ужасом поразило нас сие несчастное приключение. Мы, остановив лошадей своих, без памяти побежали помогать упавшим и коих крик и вопль достигал до нас из буерака, и чуть было сами не полетели стремглав, слезая с крутизны той стремнины. И что ж? В каком жалком положении находим оных! Оба они лежали придавленные их повозкою, и кричали, чтоб мы как можно скорее их спасали и не дали им задохнуться. С превеликою нуждою своротили мы с них повозку и нашли слугу, отделавшагося еще довольно удачно, а господина самого с переломленною рукою, вышибенною ногою и переломленными двумя ребрами на боку и от превеликой боли, как корова, заревевшаго.

Что было тогда нам с ним делать? Превеликое сожаление поразило нас и всех и все мы горевали и тужили об нем, но пособить сами не знали чем, и как между тем прибежали к нам прочия люди, съехавшие под гору благополучно с нашими повозками и там и его лошадей поймавшие и своих остановившие, то при помощи их выволокли мы всеми неправдами повозку его из буерака и рады были уже и тому, что она не изломалась совсем и что можно было нам, положив его как-нибудь в повозку, довезть до ближняго впереди селения.

Тут остановился и я для него и не поехал уже в тот день далее. Человечество требовало подания помощи, и хотя мы всего меньше в состоянии были подать оную, но, по крайней мере, сделали ему к боку припарку, а руку его связали в лубки как умели; а для выправления вышибенной ноги отыскивали тут костоправа. Он препроводил всю ту ночь в неопisanном страдании и раскаявался, но уже поздно, что не послушал моего совета.

Но как нам за ним тут долее жить остаться было не можно, то поутру на другой день, оставив его тут и пожелав скорого выздоровления, продолжали мы свой путь далее.

В Москву приехали мы 30-го августа и проезд в сей столичный город не менее был для меня чувствителен и приятен. Не видав онаго уже много лет, не мог я довольно налюбоваться и видом его, как скоро он нам вдали еще показался. С неописанною радостью перекрестился я, завидев впервые его башни и колокольни, и благодарил Бога, что довел Он меня до онаго благополучно. И как мы приехали в оный уже ввечеру, то решился я в оном передневать для запасения себя кой-какими надобностями для будущей деревенской жизни. Пуще всего хотелось мне запастись тут какими-нибудь экономическими книгами: до сего во всей моей библиотеке не было ни одной экономической, потому что, как не надеялся я никак быть скоро дома, то и не запасался ими, и у меня часть сия была совсем в небрежении. А тогда, как ехал я домой для посвящения себя навсегда деревенской жизни, то считал уже необходимостью познакомиться и с экономией. И как я всего меньше разумел оную, то и надеялся научиться оной из книг, и потому и желал в Москве запастись хотя несколькими на первый случай.

Но сколь же удовольствие мое было велико, когда при распроедывании о том, нет ли и в Москве книжной и такой лавки, где б продавались не одне русския, но вкупе и иностранныя книги, услышал я, что есть точно такая подле Воскресенских ворот. С превеликою поспешностию побежал я в оную. Но сколь радость и удовольствие мое увеличилось еще больше, когда нашел тут лавку, подобную почти во всем такой, какую видел я в Пруссии и Кёнигсберге и в которой продавалось великое множество всякаго рода немецких и французских книг в переплете и без переплета¹. Я

¹ Книготорговля в Москве во времена Болотова была довольно богатой и бойкой. Ею занимались прежде всего сами издатели. Частные издатели торговали, главным образом, ходовой дешевой, лубочного характера литературой: в большой моде были переводные повести и романы («Повесть о княжне Жеване, королеве Мексиканской», «Любовь без успеха, испанская повесть»). Но таких издателей было немного. Книги серьезного содержания продавались в лавке университетской типографии у Воскресенского моста (где ныне Исторический музей) и в лавке Академии Наук на Никольской близ Синаодальной типографии. В университетской лавке продавались иностранные книги, учебные издания университетской типографии, а также приборы, глобусы, ландкарты и проч. Книги церковно-культового и религиозного содержания продавались в типографии Синода. На Спасском мосту были книжные лавки, где продавалась самая различная литература, нередко и такая, которая тут же отбиралась приставом. Наконец, рынку этого времени известно и регулирование цен на книги, особенно богослужебные и религиозные.

спросил каталог, и как мне его подали, то спешил отыскивать в нем и потом пересматривать все экономическия; и как, по счастью, случилось со мною тогда довольное еще число оставших денег, то накупил я несколько десятков оных, и как вообще экономических, так в особенности и садовых, и повез их с собою как бы новое какое сокровище в деревню.

Мы выехали из Москвы сентября 1-го числа, и как ехать нам оставалось уже немного, то скоро доехали и до Серпухова, а наконец, 3-го числа достигли и до тех пределов, где я увидел свет в первый раз в моей жизни и проводил многие годы в моем младенчестве и малолетстве. День сей мне в особенности памятен.

Никогда не позабуду я того, каким неописанным и сладким удовольствием наполнялась вся душа моя при приближении к тем местам, где было мое жилище и как, подъезжая к *Городне*, восхищался я видимыми уже вдаль, знакомыми мне лесами и местоположениями приметными; как приветствовал я все оныя, как мысленно говорил со всеми ими и как, проехав Городню и поворотив для скорейшаго приезда вправо мимо Дурнева, досадовал я на горящую под повозкою моею ось, недопускающую нас так поспешать ездою своею, как мне тогда хотелось. Во всю дорогу она у нас ни однажды не горела, а тут вздумала гореть как бы нарочно, для увеличения моей нетерпеливости. С какою досадою принуждены были мы несколько раз для нея останавливаться и, скидывая колесо, тушить оную, и чем, и чем не тушили мы ее и колесо! Но наконец преодолели мы и сие последнее препятствие и я довольно еще рано приехал в любезное свое Дворяниново и в обиталище предков своих и свое собственное.

А сим и окончу я, мой друг, и письмо мое, а вкуче и все сие собрание оных, сказав вам, что я емь ваш и прочая.

Конец

девятой части

Сочинена в ноябре 1800, переписана в октябре 1805.



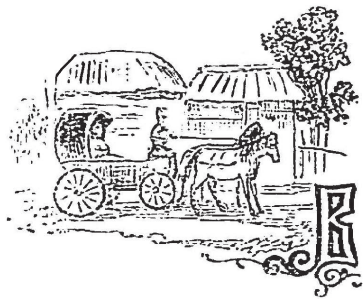
ЧАСТЬ X

В ДВОРЯНИНОВЕ ИСТОРИЯ МОЕЙ ПЕРВОЙ ДЕРЕВЕНСКОЙ ЖИЗНИ ПО ОТСТАВКЕ ВООБЩЕ И В ОСОБЕННОСТИ ПЕРИОДА ОНОЙ ДО ЖЕНИТЬБЫ 1762–1763

ВСТУПЛЕНИЕ ПЕРВЫЙ ДЕНЬ В ДЕРЕВНЕ

Письмо 101-е

Любезный приятель!



В предсказавших пред сим моих письмах сообщил я вам историю моих предков, моего младенчества, моего малолетства и всей моей военной службы. А теперь начну описывать вам историю моей первой двенадцатилетней деревенской жизни, как новаго и такого периода моей жизни, который можно почесть самым цветущим во все течение оной:

ибо простирался он с 25-го по 37-й год моего возраста. Но не знаю, будет ли история сего времени для вас так любопытна и занимательна, чтоб могли вы ее читать без скуки и иметь при том хотя некоторое удовольствие. Никаких отменно важных и особливых происшествий не случилось со мною во все продолжение сего времени; но оно протекло в мире, в тишине и во всех удовольствиях, какия только может доставлять уединенная, простая и

невинная сельская жизнь мыслящему и чувствительное сердце имеющему человеку.

Я расскажу вам, как по приезде из службы в отставку обостроживался я в маленьком своем домишке, как учился хозяйничать и привыкал к сельской экономии, поправлял и приводил в лучшее состояние свое домоводство, как познакомливался с своими соседями и приобретал их к себе дружбу и любовь; как потом женился, нажил себе детей, построил себе дом новый, завел сады; сделался экономическим, историческим и философическим писателем, и вообще, как и в чем наиболее препровождал праздное время: чем себя занимал, чем веселился и что предпринимал для сделания себе уединенной сельской жизни приятною и веселою, покуда, наконец, Провидению угодно было паки меня на несколько лет оторвать от дома и доставить мне иной, и такой род жизни, который был для меня совсем новый, и хотя с меньшею вольностию соединенный, но не меньше приятный и полезный.

Вот краткое содержание истории всего того периода времени, который я описывать теперь предпринимаю. Но я не знаю, найду ли при описывании всего того довольно таких вещей, которые бы могли сколько-нибудь достойны быть вашего любопытства и поддерживать внимание ваше при чтении онаго. И вы извините уже меня в том, когда, за неимением важных вещей, буду я иногда рассказывать вам о самых мелочах и безделках, и делать то более для того, что когда не вам, так для потомков моих могут и оне быть столь же интересны и любопытны, как и другия. Словом, я поступлю таким же образом, как делал прежде, и дело стану мешать с бездельем и самым тем придавать повествованию своему сколько-нибудь более живости и приятности.

Итак, приступая к продолжению моего прежняго повествования и прицепливаясь опять к прерванной нити онаго, скажу вам, что помянутый 3-й день месяца сентября 1762-го года, в который возвратился я из службы в свою деревню, был один из наимприятнейших в моей жизни. Я рассказывал уже вам, как мы, приближаясь к тем пределам, где я родился, поспешали своею ездою, как предварительно веселился уже я всеми окрестностями, наше жилище окружающими и как досадовал на горящую ось под повозкою моею, мешавшую нам поспешать по желанию; а теперь опишу вам все подробности сего достопамятнаго моего возвращения и приезда в свое обиталище.

День случился тогда ясный и погода самая теплая, тихая и наилучшая из сентябрьских, и мы, потушив и подмазав вновь свое колесо, не ехали, а катились по гладкой и сухой тогда дороге. Я только и знал, что твердил повозчику своему, чтобы он понуживал лошадей и спешил довести меня до двора прежде еще наступления вечера. Мне хотелось приехать в дом мой сколько можно пораньше для того, чтоб успеть еще можно было из повозок выбраться и сколько-нибудь осмотреться; а старанием толико же поспевающего к жене своей моего кучера, мы и действительно доехали довольно рано и задолго еще до захождения солнечного. Чтоб лучше успеть в том, то предложил он мне – не прикажу ли я своротить с большой тульской дороги еще прежде приезда в Ярославцово, где мы обыкновенно, едучи из Москвы, сворачиваем вправо, и брался провезть меня прямо от Городни знакомыми ему полевыми дорожками и тропинками: и как я на то согласился, то и провез он меня прямо мимо *Дурнева* и чрез *Трешню*, так, что мы подъехали к селению нашему уже не от *Яблонова*, а с *Хмырова*.

Теперь не могу я никак изобразить того сладкого восхищения, в котором находилась вся душа моя при приближении к нашему жилищу. И ах! как вспрыгалось и вострепеталось сердце мое от радости и удовольствия, когда увидел я вдруг перед собою те высокие березовые рощи, которые окружают селение наше с стороны северной и делают его неприметным и с сей стороны невидимым. Я перекрестился и благодарил из глубины сердца моего Бога за благополучное доставление меня до дома, и не мог довольно насытить зрения своего, смотря на ближния наши поля и все знакомыя еще мне рощи и деревья. Мне казалось, что все оне приветствовали меня, разговаривали со мною и радовались моему приезду. Я и сам здоровался и говорил со всеми ими в своих мыслях. А не успели мы въехать в длинный свой между садов проулок, как радующийся кучер мой полетел со мною как стрела, и раздавался только по рощам стук и громкий его свист и ежеминутные его окрики на лошадей и понуканье оных. В единый миг очутились мы пред старинными и большими воротами моего двора, покрытыми огромною кровлею и снабженными претолстыми и узорчатыми верями, и вмиг вскакивают спутники мои с повозок и с громким скрипом растворяют оныя, и мы въезжаем на двор и летим как молния к крыльцу господского дома.

Во всем доме никто тогда еще не знал и не ведал о моей отставке и возвращении в дом свой, но все, считая меня еще в службе и в Петербурге,

всего меньше нас ожидали. И как время тогда было еще рабочее и не весь хлеб убран был еще с поля, то и не было почти никого, кроме одних старух и ребятишек тогда в доме.

Все сии, увидев въехавшая на передний двор повозки, не знают, что б это значило, сбегаются со всех сторон видеть сию необыкновенность и, узнав моего кучера, разбегаются паки врознь и с громким кричаньем: «Боярин, боярин приехал!» разведают слух о том по всем избам и клетям, где знали, что находились тогда их деды и бабки.

Вдруг тогда оживотворяется весь двор: со всех сторон и углов онаго стекаются старики и старухи и, позабыв всю свою дряхлость и слабость, спешат и бредут видеть своего барина. И мне не успели еще отпереть замкнутых хором моих, как увидел я себя всеми ими окруженным. Все кланялись, все целовали мои руки, все изъявляли радость свою о том, что Бог вынес меня на святую Русь, и все говорили, что они меня не чаяли уже и видеть, и теперь почти глазам своим не верят и не могут довольно тому нарадоваться; и что они говорили правду, то доказывали мне слезы, текшие действительно из глаз некоторых из них от радости.

Приятно было мне смотреть на сии нелицемерные знаки их ко мне любви и усердию, а вскоре засим увидел я и усача домоправителя своего, поспешавшаго ко мне с гумна, где находился он с мужиками и складывал хлеб, привезенный им с полей в оное. Старик он был совершенной, служивший еще при покойном отце моем кучером, и привыкнув еще тогда ходить в усах, не хотел и по смерть разстаться с оными. Звали его *Григорьем*, а по прозвищу *Грибаном*, и я управлением его был нарочито доволен. Для сего человека была тогда сугубая радость: вместе со мною увидел он возвратившагося к нему и меньшого сына своего – в младшем, а родного племянника – в старшем из слуг моих. При целовании им руки моей, горячая слеза, капнувшая из глаз его и ея смочившая, так меня тронула, что я поцеловал сего стариннаго слугу отца моего и радовался, что нашел его еще в силах и довольно бодрым. Потом дал ему волю обниматься с приехавшими родными своими, а сам пошел в отворенные уже сени дома моего.

Не могу забыть той минуты, в которую вошел я впервые тогда в переднюю комнату моего дома, и тех чувствований, какими преисполнена была тогда вся душа моя. Каково ни мило и ни любезно было мне сие обиталище предков моих и мое собственное в малолетстве; но, возвращаясь тогда

в оное не только уже в совершенном разуме, но, так сказать, из большого света и насмотревшись многому большому, смотрел я на все иными уже глазами; и как сделал я уже привычку жить в домах светлых и хороших, то показался мне тогда дом мой и малым-то, и дурным, и тюрьма тюрьмою, как и в самом деле был он. А особливо тогда при вечере, с маленькими своими потускневшими окошками, и от древности почти почерневшим потолком и стенами весьма, весьма не светел. И передняя моя комната, по множеству образов, в кивотах и без них, которыми установлены были все полки и стены в угле переднем, походила более на старинную какую-нибудь большую часовню, нежели на зал господского дома, а особый пустынный запах придавал еще более неприятности. Со всем тем я первейшим делом почел повергнуть себя ниц пред святынями, которым кланялись еще самые прадеды мои, и принести Господу благодарения моего за благополучное возвращение в тот дом, в котором я родился и впервые стал дышать воздухом.

Между тем как выбирали из повозок и носили все в хоромы, пересматривал я всех предстоящих предо мною и, разговаривая с ними, искал глазами своими старинного своего слугу и дядьку *Артамона*. Время изгладило уже давно в сердце моем всю бывшую на него досаду и возобновило паки прежнюю мою любовь и приверженность к нему. Он приходил мне во время путешествия моего многожды на ум, и я располагал уже в мыслях своих – как мы опять с ним жить и вместе о поправлении дома и экономии моей трудиться станем. Но как он тогда не встречался нигде с зрением моим, то любопытство побудило меня спросить об нем у жены его.

– Ах, батюшка, – сказала она мне, утирая слезы, потекшие ручьями из глаз ее. – Его уже нет на свете! Дня три только тому, как мы его схоронили.

– Что ты говоришь? – воскликнул я, чрезвычайно сим известием поразившись.

Горячая слеза покатила тогда из глаз моих, и я не мог далее выговорить ни одного слова. Минуты две стоял я, отворотившись, с молчанием и утирая глаза свои и щеки. Сию жертву благодарности и сожаления принес я тогда праху сего любимца и воспитателя своего, и сие так меня растрогало, что я весь тот вечер далеко не таково весело препроводил, как надеялся.

– Куда как мне жаль твоего мужа, – говорил я жене его, – но воля Господня и со всеми нами!.. Между тем постарайся-ка, Алена, о том, чтоб мне было что поужинать.

– Тотчас, батюшка, – сказала она, позабыв на тот раз всю печаль и огорчение свое, и пошла готовить мне мой ужин. Ибо скажу вам, что она как при покойной еще моей матери, так и в прежнее мое жительство в деревне отправляла должность стряпухи и была в сем ремесле довольно искусна.

Между тем как оный готовили, осматривался я в своих, пустыню и гнилью пахнувших хоромов: ходил по всем комнатам, поднимал окошечки для впуска свежего воздуха и помышлял о том, как бы мне в них лучше обострожитья и расположитья, и которую из комнат назначить себе спальнею, которую – жилою и гостиною, и где назначить место для лучшего своего на службе приобретения и всего моего тогдашняго сокровища, а именно своей библиотечки. Как и всех, к жилью сколько-нибудь способных комнат было только две, а третья, передняя, была почти пустая и холодная, то недолго было делать мне выбор и распоряжения. В сию велел я переносить все сундуки свои с книгами, угольную назначил своею спальнею, а вкупе и жилою, и гостиною, и столовою; а комнату, которая всех прочих была еще сколько-нибудь посветлее и веселее, сделал до времени и заднею, и лакейскою своею, и всем и всем.

В сих распоряжениях и не видал я, как прошла оставшая часть дня и наступил вечер. Я спешил тогда поужинать и лечь спать на посланной для меня на том же месте постели, где сыпала покойная мать моя. Я надеялся что от дорожных трудов и беспокойств просплю я всю ночь как убитый, но в мыслях своих обманулся.

Не успело пройти и двух часов после того, как я заснул и все в доме утомилось, как вдруг посещает меня на постели моей незваная и совсем неожиданная гостя, пресекает мой сладкий сон, заставляя меня с постели моей вскочить, будить и кликать спавших в комнате людей и просить их, чтоб они мне, как умели, помогали в моей нужде.

Ну! теперь думайте и гадайте, что б это была за гостя; только ради Бога не заключайте ничего худого и непристойнаго. То хотя и правда, что была то одна из тутошних жительниц, однако, прошу меня не обидеть... была то не женщина, а госпожа – крыса, и крыса превеличайшая.

Далее, не подумайте, чтоб я вскочил, испужавшись оной. Ах, нет! Крыс и мышей я никогда не баивался; а вскочить принудила меня самая неволя, ибо госпоже крысе вздумалось поступить со мною как-то очень неучтиво и приласкать приезжаго в жилище свое гостя уже слишком грубо. Словом, думать было надобно, что была она либо наиглупейшая из сих тварей, либо крайне голодна и несколько дней ничего не ела: ибо судите, не дура ли она была самая и не глупейшая ли тварь в свете, что не умела разобрать, что живое тело и что мясо, но, сочтя один палец руки моей, закинутой за голову и лежавшей на подушке, куском какого-нибудь мяса и обрадуясь, нашед находку сию, может быть, еще в первый раз в своей жизни, так по своей вере его типнула и куснула, что вырвала из него даже целый кусок тела, величиною с большую горошину. Ну, можно ли быть глупее и безразднее сей негодяйки и быть такою неучтивцею против обладателя своего жилища?..

Однако заплатил же и я ей за наглость и грубость сию такую же монетою и доказал сим, что не она, а я господин сему жилищу. Не успела боль, сделавшаяся от того, меня разбудить, как, почувствовав подле уязвленного пальца своего нечто отменно мягкое, не с другого слова, схватил я гостью свою и так удачно рукою, что не могла она никак из оной вырваться, да и не имела к тому и времени, ибо я в тот же миг, взмахнув, так мужественно и сильно бросил ее на пол, что она и не пикнула, но тут же тогда и околела.

Произведя такое героическое дело и учинив столь жестокое враговке своей наказание, лег было я по-прежнему и хотел продолжать спать, но боль руки и лиющая из раны кровь принудила меня встать и помянутым образом раскликать спавших людей, велеть им принести скорей к себе кусок густой грязи и сыскать какую-нибудь тряпицу для перевязания моей раны.

Вот первое происшествие, случившееся со мною по возвращении моем в дом из службы. И возможно ли!.. Во все продолжение оной и на самом сражении не был я ни однажды ранен, а тут проклятая крыса так меня поранила и уязвила, что я несколько дней принужден был ходить с обвязанным пальцем, и хотя не мог тому довольно насмеяться, но нередко рана сия и докладывала мне своею болью и заставляла почти охать.

На другой день собрались ко мне все мои крестьяне на поклон и нанесли мне множество всякой всячины. Я, поздоровкавшись и поговорив со

всеми ими, пошел таким же образом осматривать всю свою усадьбу и все знакомые себе места, как осматривал в предшествовавший вечер свои хоромы. Тут опять, смотря на нее также другими глазами, не мог я надивиться тому, что все казалось мне сначала как-то слишком мало, бедно, мизерно и далеко не таково, каковым привык я воображать себе все с малолетства. Все вещи в малолетстве кажутся нам как-то крупнее и величавее, нежели каковы оне в самом деле. Прежняя мои пруды показались мне тогда сушими лужицами, сады ничего не значущими и зарослыми всякою дичью, строение все обветшалым, слишком бедным, малым и похожим более на крестьянское, нежели на господское, и расположение всему самым глупым и безразсудным.

Не успел я, обходивши все места, возвратиться в хоромы, как нахожу в них уже первых моих посетителей и гостей, пришедших ко мне и ожидавших моего возвращения. Был то приходский наш священник, отец *Илларион*, с братом своим, дьяконом *Иваном*. Они, поздравляя меня с приездом, не могли довольно изобразить того, как они были обрадованы, услышав о моем возвращении из службы, и я уверен был, что они говорили правду. Любя обоих сих духовных особ с моего младенчества, не престал я еще и тогда их любить и был очень доволен посещением оных. И как сие случилось кстати, то и просил я отца Иллариона отслужить в доме моем тогда же благодарный молебен Господу Богу и, освятив воду, окропить ею все мое будущее обиталище.

С превеликою охотою учинил он то, и чего я требовал; а между тем, покуда посыланные ходили за ризами, книгами и прочим, расспрашивал я у его обо всем и обо всем, как у сведущаго все и такого человека, который мог обо всем подать мне лучшее понятие, нежели мои люди. Словом, я занялся почти весь тот день сими первыми и приятными для меня гостями. Они должны были по отслужении молебна остаться у меня обедать, обходить со мною еще многия места в моей усадьбе и пробыть у меня столько, сколько мне хотелось. И как отец Илларион умел очень хорошо, важно и сладко говорить, а брат его был веселаго и добраго характера и умел разговоры свои приправлять приятными шуточками и издевками, то было мне с ними и не скучно; и могу сказать, что они мне как тогда, так и после бывали всегда приятными гостями, и я всегда был рад, когда они ко мне прихаживали.

От сего-то отца Иллариона узнал я тогда, во-первых, что Дворяниново наше было в сие время не таково пусто, как в прежнюю мою бытность и что во время отсутствия моего произошли с обоими соседями, однофамильцами и родственниками моими, важныя перемены. О прежнем моем ближайшем соседе и родном брате отца моего сказывал он, что старичку сему наскучило как-то наконец жить в прежнем вдовстве своем и вздумалось при старости жениться, но что женитьба сия была ему не слишком удачна, власно как бы в наказание за то, что погнался он за одним достатком, ибо невеста его была хотя девушка довольно достаточная, но таких же почти престарелых лет, как и он; и что во время свадьбы их вся еще Москва смеялась тому, что новобрачным сим было полтора года отроду.

Я удивился, сие услышав. Но удивление мое увеличилось еще больше, когда, при дальнейшем расспрашивании о том, кто она такова и есть ли у ней с ним дети, отец Илларион, разсмеявшись, мне сказал:

– Каким, сударь, быть детям!.. Посмотрите-ка только тетушку вашу, – вы удивитесь и не поверите, как это могло статься, что такому благо-разумному человеку, каков Матвей Петрович, вздумалось жениться на такой дряхлой, больной и такой старушке, которую вскоре после свадьбы расшиб и паралич и которая и поныне и с самага того времени без языка и не может выговорить ни одного слова!

– Что вы говорите! – воскликнул я, удивившись. – Ах, какая диковинка!.. Но в доме ли они и здесь ли теперь?

– «Нет, – отвечал мне отец Илларион, – а оба они теперь в Москве и живут у брата ея господина *Павлова*, весьма зажиточнаго человека.

– Жаль же мне, – сказал я, – что я этого не знал, а то повидался бы с ним в Москве, ехавши чрез оную.

– Это вы еще успеете сделать, – отвечал мне отец Илларион. – Они живут безсъездно в Москве, а особливо в зимнее время; и как вы поедете, надеюсь, в оную для коронации государыни, которая, как говорят, в нынешнем же месяце воспоследует, то и можете не только им, но и всему их житью и бытью и семейству досыта насмотреться и надивиться.

Что касается до другого моего однофамильца и родственника, живущаго также в одной со мною деревне, и который доводился мне внучатной дед и был самый тот, у котораго бывал я в прежнюю мою в Петербурге бытность, и о котором я имел уже случай вам упоминать, то сказывал отец

Илларион, что и сей, будучи из полковников пожалован генерал-майором, находился потом несколько лет сыщиком воров и разбойников в Нижнем Новгороде; и наконец, будучи отставлен и получив генерал-поручицкой штатской чин, живет уже несколько лет в деревне и в здешнем доме дедов и отцов своих.

– Во, во, во, – сказал я, удивившись, – так и у нас теперь завелись здесь превосходительные и генералы! Ну, слава Богу!.. Но не вздумалось ли и сему также на старости жениться, как и моему дядюшке?

– Конечно, – отвечал мне отец Илларион. – Но сей, по крайней мере, взял уже за себя хотя вдову, но гораздо уже и подостаточнее и помоложе, и всем и всем получше, и *Софья Ивановна* у нас боярыня изрядная и хоть бы куда. Но самому-то ему деревенская жизнь как-то не посчастливилась...

– А что такое? – спросил я.

– Стрелял как-то из окошка из штуцара, – отвечал он мне, – и штуцар этот разорвало и повредило ему так руку, что остался у него на ней один только указательный палец, а прочие все лекаря принуждены были отрезать и насилу-насилу могли залечить. Несколько недель принужден он был жить для сего в Туле, но и теперь еще носит ее всю обвязанную.

– Что вы говорите! – воскликнул я, удивившись. – Ах, какое несчастье! И вот другой пример на глазах моих, что человек целый век служил, бывал на войнах и в сражениях, но нигде не был ранен и поврежден, а наконец, приехав домой на покой, претерпевает какое несчастье! – потом рассказал я отцу Иллариону то, что случилось на дороге с господином *Федцовым* и что довелось мне самому видеть.

Наконец, на вопрос: «Дома ли сей генерал тогда находился?» – сказал мне отец Илларион:

– Дома, сударь. И где же им быть? Он никуда почти не ездит; и только изредка кое-когда бывает у сестрицы своей Варвары Матвеевны *Темрязевой*.

– А жива еще сия милая старушка? – спросил я.

– Жива еще и все такова же, – отвечал он. – И мы сегодня же еще ее видели, заходя давеча на часок к *Никите Матвеевичу*. И они все еще изъявляли великую радость о вашем приезде и усердно желают вас видеть, а особливо генеральша.

– Что таково? – воскликнул я, удивившись.

– Так-таки, – отвечал мне отец Илларион, – люди вы еще не знакомыя и она еще новой человек; так хочет вас и видеть и с вами познакомиться. А легко статься может, что и другое что-нибудь имеет на мыслях.

– А что бы такое это было? – спросил я с родившимся во мне тотчас и превеликим любопытством.

– Бог знает! – сказал отец Илларион, усмехнувшись. – Может быть, я и обманываюсь и она мыслей таких и не имеет; но по натуральности судя, быть это легко может. У ней есть от перваго мужа дети, сын да дочь, и сия живет при ней, и девушка изрядная и поспеваает в невесты; а вы, батюшка, человек также молодой, холостой, достаточный; приехали теперь в отставку, и вам не одному же жить в деревне, а натурально надобно будет помышлять и о том, чтоб нажить себе и хозяйюшку. Ну, так судите сами, милостивый государь, не легко ли статься может, что спознакомившись с вами, не захочет ли она попрочить вас ей в женихи? Ей, как матери, то и натурально.

– Во, во, во, – сказал я, – этого я всего не ведал; и хорошо, батюшка, что вы мне это сказали. Я очень вам за то благодарен.

– Однако, – отвечал мне отец Илларион, – невеста, не невеста, а вам, батюшка, отбегать от них не надобно. Люди они старые, почтенные и вам хотя дальние, но все родственники.

– Конечно, – сказал я, – мой и первый выезд будет к ним; и как скоро осмотрюсь, то и побываю у них.

После того говорили мы о других моих дальних родственниках, живших у меня не в дальнем соседстве. Но все они были уже тогда в царстве мертвых, и из всех их был почти только один, по имени *Захарий Федорович Каверин*, живший тогда от меня неподалеку. Сей добренькой и мягкодушный старичок доводился мне по матери внучатым дядею и был мне очень знаком. Он служил в последнее время в одном со мною полку и, будучи секунд-майором, оставался с батальоном в Кёнигсберге, где я его нередко видал, и как он был там и с женою своею и детьми, то не один раз случалось мне бывать у них и на квартире и обходиться с ними, как родными. Я очень рад был, узнав, что находился уже он также почти в отставке и жил тогда с женою и детьми своими в маленьком своем домике в селе *Каверине*, и положил возобновить с ним прежнее знакомство.

Кроме сего, сказывал мне отец Илларион, что жива была еще и та любезная старушка, *Матрена Ивановна Аникеева*, которая была родная

сестра дяди моего, г. *Арсеньева*, а мне тетка и которую за добрый ея и ласковый характер любил я с самага еще младенчества. Я положил и с нею повидаться как скоро только мне возможно будет и жалел только, что жила она от меня не близко, и верст за 40 от моего селения, под Каширою, и мне часто с нею видаться было не можно.

В сих не многих особах состояли в сие время все, близ меня живущие, мои родственники. А из живущих далее известен был мне еще один, из фамилии господ *Бакеевых*, а по имени *Василий Никитич*, который доводился матери моей внучатный брат, но был ею отменно почитаем. Но как сей находился еще в службе и служил в Москве при полиции, то и не случилось мне до того времени никогда его еще видать. Следовательно, и знал я его по одному только имени, и потому, что он не оставлял нас при разных случаях своими вспоможениями, и между прочим, и самым переводом ко мне денег из деревни в Петербург. С сим своим дальним родственником положил я также, при первой езде своей в Москву познакомиться; и тем паче, что доброту его характера все не могли мне довольно выхвалить.

Я не преминул также расспросить отца Иллариона и обо всех прочих соседях, живущих от меня неподалеку, и с которыми, как думал, надлежало мне со временем познакомиться. И он не только известил меня об них, но и описал их и характеры, сколько мог и поколику они самому ему были известны, и всем тем услужил мне так, что я был им очень доволен и отпустил от себя, благодаря искренно за сие посещение.

В сем собеседовании с отцом Илларионом препроводил я с удовольствием большую часть перваго дня моей деревенской жизни. По ушествии же его ходил я еще раз по всем местам моей усадьбы: посетил свое господское гумно, полюбовался многими скирдами, складенными вновь из своего хлеба, обходил все рощи.

Но паче всего хотелось мне походить по остаткам старинных наших садов и поразсмотреть пристальнее тогдашнее их, весьма жалкое и незавидное состояние, ибо охота к ним начинала уже тогда во мне рождаться. И я, едуци еще дорогою, помышлял многожды о том, как бы мне их поправить и привести в лучшее и такое состояние, чтоб мне можно было в них с удовольствием провождать время в своем сельском уединении. И как мне часть сия хозяйства столь же мало, или еще меньше была известна, нежели все прочия, то для самага того в проезд свой чрез Москву и запасся я несколькими иностранными, до садоводства относящимися, книгами, из

которых вознамеривался я искусству сему учиться. Паче же всего любопытен я был видеть младший из всех наших садов и тот, о котором писал я еще из Кёнигсберга к своему бывшему дядьке, чтоб он мне его, по посланному тогда к нему рисунку, превратил в регулярный.

Но в каком состоянии нашел я оныя и другия места в моей усадьбе, о том услышите вы в письме последующем, которое к тому назначаю я в особенности, а теперешнее, как довольно увеличившееся, сим кончу, сказав вам, что я есмь и прочая.

СОСТОЯНИЕ МОЕГО ДОМА И ДЕРЕВНИ

Письмо 102-е

Любезный приятель!

Вот письмо, о котором предварительно вам сказываю, что оно для вас будет скучнее всех прочих, и таково, что я вам отдаю на волю: хотите вы его читать, хотите нет, а оставляйте сие моим потомкам, для коих наиболее я его назначаю. Сим, как думаю, будет оно довольно любопытно и интересно: ибо в оном положил я описать в подробности все тогдашнее состояние моего дома, садов и прочих частей усадьбы, дабы могли они видеть, в каком положении и состоянии было все мое жилище и усадьба в старину и при моих предках, ибо в таком точно и застал я тогда все оное; а из сего тем яснее потом усмотреть все деланныя мною от времени до времени разныя перемены и превращения. Словом, я опишу все тогдашнее наше прямо наипростейшее и самое почти бедное, мизерное и ничего не значущее деревенское обиталище, и для лучшаго объяснения приобщив к тому и чертеж всему моему двору и всей моей усадьбе, буду на него, при описании моем, ссылаться и вкупе сказывать, что на тех местах находится ныне.

Итак, приступая теперь к сему предприятию, за которое, может быть, любопытнейшие из потомков моих скажут мне спасибо, начну с моего господскаго тогдашняго дома, в котором я, по особой милости ко мне Господней, имел счастье родиться.

Дом сей нашел я в том же состоянии, в каком оставил его, отъезжая на службу и котораго как наружный вид, так и внутреннее расположение имел я уже случай вам описать и изобразить рисунком в одном из пред-

следующих моих писем¹. Вся разница состояла в том, что он, будучи и без того очень стар и построен за многия десятки лет еще до рождения моего и стоявши во все время продолжения моей военной службы в запустении, еще более одревнел и был тогда самая милая старина, удрученная толико тягостию протекших многих лет, что нашел я его почти вросшим в землю, и столь низким, что из иных окон можно было доставать рукою до земли самой; а драницы, которыми он по старинному обыкновению покрыт был, поросли уже все густым зеленым мохом и скрывали под собою превысокой и препросторной чердак, служивший некогда вместо кладовых для поклажи всякой всячины, а особливо, по милому древнему обыкновению, яблок и груш в один рядок на разостланной соломе. Маленькая, дождями размытая и почти развалившаяся труба торчала только одна из поседевшей кровли и служила обиталищем галкам.

Дом сей (1)², каков ни стар и ни прост был, но мысли, что живали в нем мои предки и что я сам впервые в оном стал дышать воздухом, также, воспоминания приятных дней младенчества и юности, препровожденных в оном, делали мне его и тогда еще милым и любезным. Он стоял в сие время между обоих дворов, *передняго* и *задняго*, занимал собою весь нижний фас, так издревле называемаго, *передняго* двора (2), и прикасался одним глухим концом к старинному садику предков.

Ныне место сие, где он стоял, лежит посреди двора моего, против самых временных хоромцев и погребца, и не занято никаким строением. Оно мне мило и любезно еще и поныне. И как оно лежит в виду из окон моего кабинета, то нередко и ныне еще, при вечере дней своих, смотря на оное, переселяюсь я мыслями и воображениями своими в лета юности и младенчества своего, воспоминаю все тогда бывшее, наслаждаюсь и поныне еще удовольствиями тогдашняго златого века, и оканчивая всегда взглядом на известное мне еще и то самое место, где я родился и благодарным вздохом ко Творцу моему за то, что по велению Его родился я тут, а не в ином каком месте и не посреди диких каких народов и в бедности, а в недрах земли христианской и от родителей, доставших мне и в колыбели уже безчисленные преимущества пред многими миллионами других, и подобных мне тварей и обитателей земли сей.

¹ См. письмо 15-е во второй части том первый. – Прим. *Болотова*.

² См. число сие в рисунке, равно как и все прочия, означенныя в скобках. – Прим. *Болотова*.

Что касается до помянутого передняго господскаго двора, то был он самый маленький и от малой ходьбы по оному всегда порослый мягкой муравою и чистый. О мализне его можно по тому судить, что весь нижний его фас и западный бок занимали наши хоромы с крошечным огородком пред окнами, в конце дома (3); а немногим чем больше была и вся длина его. Со всем тем в малолетстве казался он мне превеликим. И я и поныне еще, смотря на сие место, вспоминаю нередко и с удовольствием те дни, когда строивал я на нем в зимнее время из снега города с башнями и воротами и препровождал иногда время свое в невинных детских разных играх и забавах, а особливо в игрании с братом моим двоюродным и множеством ребятишек в любезную нашу килку или мяч, – игру, требовавшую великое внимание и расторопность и увеселявшую нас до чрезвычайности. Впрочем, место сие и ныне ничем не занято, но составляет уже только четвертую часть двора моего.

Вплоть подле самых почти хором и перед крыльцом оных стояли тогда питательницы предков моих, или хлебныя их житницы и амбары (4). Они не уступали хоромам ни престарелостию своею, ни дряхлостию. Их было три. Все они стояли рядом, и о двух из них не знали и старики самые, когда и кем из предков моих были они строены. Превеликия и толстыя плиты, взгромощенные друг на друга, лежали против первых двух и служили вместо крылец, для удобнейшаго вхождения на присенки оных; а чугунная доска висела под навесами сих присенков, долженствовавшая всякую ночь звуком своим наводить страх ворам и крысам, а хозяев удостоверять о бдении караульчиков. Все сии наиважнейшия в тогдашния времена здания покрыты были уже и в древность самую тесом. Но как оный от древности весь изтрупарешил, то солома должна была прикрывать оный и составлять кровлю на сих зданиях, не более как сажень на пять от хором отдаленных. Одни только маленькия низенькия решетчатые дверцы в сад с двумя небольшими по обеим сторонам звеньям такой же негодной решетки отделяли оныя только от хором и служили входом в сад господской, который в старину толико уважался, что запечатывался в летнее время восковою печатью, что мне памятно еще с малолетства, и более потому, что для меня удивительно было то, что воск, будучи сначала желтым, в короткое время побелев на воздухе, превращался в так называемый ярый или белой, чему я тогда не знал причины. Впрочем, житницы сии стояли на самом том месте, где ныне стоит моя конюшня и сарай ка-

ретный и, составляя северный бок двора передняго, стояли тут так давно, что, как за несколько лет до сего вздумалось мне для опростания сего места перенести их на улицу за двор, то нашел я под ними такое множество нагнившей, из одного сыпавшагося из них хлеба и сора, доброй земли, что при сгребании оной насыпали мне из нея целую гору в саду, за ними находившемся.

Весь третий бок помянутаго передняго двора занимал собою старинный наш не каретный, а колясочный сарай (5), ибо карет тогда еще не знали. Он покрыт был также соломою и стоит еще и поныне на том же месте и довольно еще крепок, хотя тому уже более 100 лет как он построен.

Вплоть подле сего и в углу сего передняго фаса были наши старинныя большия и главныя на двор ворота (6) с толстыми резными разными вычурами вереями и превеликою калиткою. Оне имели на себе превеликую и преширокую, по старинному обыкновению, кровлю, покрытую тесом, и от древности, так много обросшим зеленым мохом, что был почти неприметен.

Вплоть подле их стояла на самом углу двора сего одна из наших людских изб, называемая переднею (7). Она была хотя вкупе жилищем моего прикащика, но красного окна не имела у себя ни одного (тогда мало еще об них знавали), а была она черная и точно такая же, какия бывают у крестьян наших.

Сим образом огражден, был мой господский двор со всех трех сторон сплошным и непрерывным строением. Что ж касается до четвертой, то с сей стороны отделялся он от другого и так называемаго задняго двора простенькою решеткою; и одна только небольшая и высокая конюшня с четырьмя стойлами занимала собою часть сего фаса и стояла вплоть подле избы помянутой (8).

Вот вам описание всего передняго двора господскаго. Теперь опишу таким же образом старинный наш задний двор (9). Оный был уже гораздо больше передняго, но не столь порядочный, а иррегулярный, узкий, протянутый в длину по берегу крутой нашей Осиповской вершины, загнувшийся потом кругом хором глаголем и оныя, с двух лучших сторон, как то: с полуденной и западной, огибающий собою. Он был наипорядочнейший в свете, загроможден множеством всякаго рода мелких и простейших строений, засорен навозом и всяким дрязгом и сором и осенен с полуденной стороны несколькими старинными большими претолстыми

дубами, видевшими еще самых прадедов наших. Многия другия деревья, выросшия вместе с ними на берегах помянутаго каменистаго буерака, со товариществовали оным и закрывали собою всю сию полуденную сторону; а насажденная за ними высокая березовая роща придавала еще более густоты и делали с сей стороны и дом и двор наш совсем невидимым.

Начало свое воспринимал сей задний двор от помянутой нашей верхней, или передней, избы, подле которой был и передний выезд на него особыми воротами (10). Ряд людских клетей, пунек и закут ограждал его от улицы, и подле их к вершине, находились наши скотские дворы: и сперва (11) овчарник, а там коровник (12). К сим примыкал сарай для разной поклажи (13), а под ним теплый погреб с предлинным каменным выходом, и самый тот же, который хотя в превратном виде, но существует и поныне; а подле его старинный наш ледник (14); а позадь оных тот же самый ряд людских клетей приклетов, который стоит еще и поныне и служит двору моему ограждением от вершины. Но подле ледника и вплоть почти стояла тогда другая людская изба, называемая среднею, походившая еще более передней на крестьянскую (15), а вплоть подле ея находился наш конный, или лошадиный, двор, или, как в старину было обыкновение называть, вор (16), построенный на углу двора, к вершине, на самом том месте, где ныне стоит наша кухня.

Наконец, заднюю сторону двора всего и наилучшее место во всей усадьбе и самое то, где построил я потом нынешний дом свой, занимал собою небольшою овощною огородец (17) с отделенным от него пчельничком (18) и его омшенником. Задний же выезд с сего двора был на том месте, где ныне стоит ткацкая; а тогда тут стояла третья лачуга (19), называемая нижнею избою, и которая была еще хуже и мизернее обеих прочих и ворота были вплоть подле ей (20), между ею и огородом, огражденным высоким плетнем. А пристроенныя к ней клетушки, пунки и закуты и разныя другия хибарки в заворот к хоромам составляли последний боковой фас двора сего и заграждали его от сада. Все они примыкали к так называемой изстари черной горнице (21), стоявшей подле самага задняго крыльца из хором и составлявшей и кухню нашу, и приспешню, и жилище бывшего моего дядьки с его семейством и всех бывавших на сеньях.

Вот вам описание всего моего тогдашняго господскаго и, прямо можно сказать, беднаго и совсем разстроенаго, во всех частях обветшалаго и разваливашагося дворишка: ибо как было уже около 20-ти лет, как в оном

ничего вновь строено и переправляемо не было, а все предано одному течению натуры, то и натурально должно было все опуститься и обвалиться. Сам я во все сие время находился в малолетстве и в службе, а домоправители во все сие время были таковы, что они всего меньше о таковых поправлениях помышляли, а наблюдали более свое спокойство и карманы. А как присовокуплялись к тому и деревенския браги, то и подавно о таких поправлениях всего нужного в домоводстве помышлять было некогда и недосужно; а от меня они к тому приказаний не получали.

А каков был мой двор, таковы же были и все прочия немногия господския здания, разбросанныя кой-где по моей усадьбе. Самая сия была как изстари, так и тогда очень-очень тесновата и не простиралась ни на шаг через вершину и запруды наши. Сии ограждали все наше жилище с сей стороны от полей хлебных, примыкавших тогда и вплоть к вершине, ибо ни нынешняго гумна моего, ни риги, ни сада, ни сарая там еще не было; а была только одна березовая большая роща (22), что на клину насажденная покойною матерью моею до моего еще рождения на ближней полевой земле. Вся она сначала не имела в себе более полудесятины, ибо столько случилось у нас тут самой ближней земли. Но, как смотря на нее, восхотелось тут же рощу насадить и деверю ея, а моему дяде и занять тем и другую полнivu, ему принадлежавшую, а сверх того, запущен был под нее клин земли к самой вершине, который принадлежал нам вообще, то чрез самое то она и увеличилась.

Что касается до прудов, то было их тогда только два, из коих один назывался нижним (23), а другой верхним (24). Оба они составляли почти лужицы, оба сделаны были еще в самой древности и теми из предков моих, которыя первые основали тут свое жилище, и оба, будучи многие годы нечищены, были заплывшими почти тиною и грязью и требовали себе поправки и возобновления.

Я уже упомянул, что за сими прудами не было у нас уже ничего, а по сю сторону против плотины верхняго пруда стояли у нас господские овинны с своими токами и половнями. Их было у нас только два (25, 26) и оба ничем не лучше и не просторнее крестьянских. Они стояли рядом, а сарай или половни, в которых собирался мелкий гуменный корм и солома, были и того еще ближе ко двору (27, 28) и посреди улицы. Самый же хлебник, или скирдник, был далее за овинами и отделен от них небольшою рощицею, из немногих больших и разных дерев состоявшей, и бывший в том

месте, где теперь у меня вишенный сад за пчельником (29). Рвы, которыми сей хлебник был окопан, видны отчасти и поныне, хотя место сие служит теперь нам вместо огорода и снабжает меня табаком и маслом и другими огородными продуктами.

Позадь гумна сего, к полю, находилась у нас тогда наша так называемая молодая роща (30). Она прикрывала с северо-восточной стороны всю нашу усадьбу и защищала ее от бурь и мятелей. Покойная мать моя садила ее сама, и я помню, как она была еще маленькая, и как ее еще поливали бабы, хотя протекло уже после того много лет.

От сей рощи до самага двора моего простирался большой наш конопляник, занимавший тогда все то место, которое теперь под моим верхним садом (31). По всему видимому, место сие было уже из самой древности назначено и употребляемо под посев господских и людских коноплей, было огорожено кругом кой-какими плетнишками и почитаемо столь свято, что сама покойная мать моя едва в силах была отважиться оторвать от конопляника сего самый маленький и ближний ко двору уголок и засадить оный несколькими десятками яблоней и другими садовыми деревьями.

Маленький сей садик, бывший любимым у покойной моей матери и у самого меня в малолетстве, находился в самом том месте, где теперь у меня спаржа (32), и был самый тот, о котором писал я домой еще из Кёнигсберга, чтоб его распространить, увеличить и насадить в него еще более всякаго рода садовых дерев, сделать его регулярным. Комиссия сия поручена была от меня прежде бывшему моему дядьке как человеку, могущему разобрать посланный тогда к нему от меня расположению сада сего прожект и рисунок, – что им, сколько умелось, и произведено было в действо. А потому и занимал уже сей сад тогда целую треть помянутого большого конопляника. И я еще очень любопытен был видеть, как дядька мой произвел сие дело и положил всему регулярству моих прежних садов первое основание.

Но удовольствие мое было гораздо меньше мною наперед воображаемого: ибо, хотя и нашел я его насаженным так, как мною было предписано, хотя без наблюдения точной во всем меры и пропорции, но заросшим так всяким дрызгом и травою, что не было почти нигде и по самым дорожкам его прохода. А притом и деревья все были в слабом и дурном состоянии и не совсем еще укоренившиеся.

Сад сей отделялся от двора и от другого сада узким и изстари грязным проезжим проулком, который на самом том же месте существует и поныне. Покойная родительница моя осаждала оный березками и другими деревьями с обоих боков; и некоторые из берез сих и поныне еще растут и, украшая собою мой двор, нередко утешают меня в зимнее время прекрасными инеями и позлащенными от солнца верхами своими.

Помянутый другой и самый главный сад лежал по другую сторону помянутого проулка и прилегал к северному боку всего двора моего (33). Сей сад был самый старинный, и никто из живших тогда не знал и не помнил, кем и когда он насажден и тут заведен был. То только мне известно, что он и тогда еще, как я начал сам себя помнить, был уже престарелым и большим, почему и заключаю я, что первейшее основание положено ему либо еще прапрадедом моим Осипом Ерофеевичем, либо прадедом Илларионом Осиповичем, как первыми места сего обитателями.

Впрочем, каким сад сей в малолетстве моем ни казался мне огромным, но тогда нашел я и его не только малым, но и ничего не значущим. Весь он не занимал и полудесятины собою; был очень узок и отделялся только плетнем от сада дяди моего. Плодовитых деревьев имел он в себе очень мало: ибо старинные почти все уже кончили свой век и остались из них весьма только немногие; а вновь посаженных было также очень немного. Напротив того, разного рода диких деревьев, а особливо берез и осин, которыми он в последние годы по своей воле зарастал, было так много, что и тогда уже был он способен к сделанию из него сада английского, и можно бы было сделать еще лучший, нежели какой сделал я из него в последние времена.

Впрочем, длиною своею простирался он от помянутого проулка до самого ребра горы к речке, ниже двора моего находящегося. Маленькая и ни к чему годная сажелка, выкопанная, как думать надобно, также первейшими еще из моих предков и от долготы времени вся заплывшая и заросшая тиною (34) и небольшая черная банишка, поставленная в саду на берегу оной (35), находились на сем нижнем краю сего сада и занимала собою сие наилучшее и прекраснейшее место во всей усадьбе; но тогда было оно самое презреннейшее и худшее. Один только, стоявший на берегу сей лужицы, престарелый и едва уже дышущий дуб ознаменовал оное и вкупе древность сего произведения рук человеческих.

За сею сажелкою и за плетнем, ограждающим сад сей, с стороны этой не было уже более ничего, кроме одной крутой, искривленной и самой

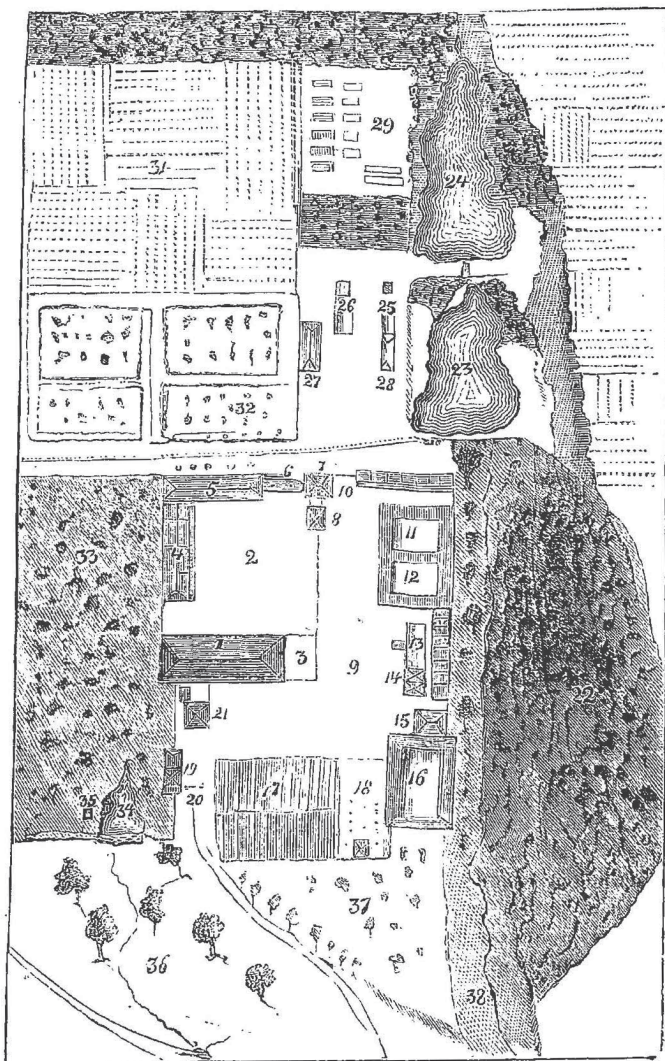
безобразнейшей горы (36) с растущими кой-где по ней превеликими кривыми безобразными и престарелыми березами. От того места, где была на горе помянутая сажелка, простиралось вниз по ней небольшое углубление с грязным ручейком, на котором в самом низу и там, где у меня ныне вечерняя (?) сиделка и карпная сажелка, была под большою и дряхлою лозою небольшая топкая и непроходимая яма, в которой мачивали старики наши пеньку свою.

Две косыя, крутыя и скверныя дороги пресекали скверную гору сию вкось. И одна из них шла внизу мимо всей моей усадьбы на двор, к живущему подле меня дяде моему; а другая проложена была снизу по крутой косине горы ко мне на двор и была так крута и дурна, что по ней в повозках съезжать никак было не можно, а гонялся только по ней скот на реку и в поля в летнее время. А сверх того, испещрена была вся сия прескверная гора множеством пробитых по косине ея в разных местах тропинок и дорожек. Что все замечаю я в особенности для того, что в последующее время не осталось из всего того ни малейшаго следа, но вся гора сия превращена в наилучшее место во всей моей усадьбе.

Одна только маленькая и крутейшая частичка сей горы занята была еще стариками нашими под сад, котораго остатки застал еще я при возвращении моем из службы. Сей сад (37), называемый изстари нижним, был очень невелик и простирался только от помянутаго огорода, подле двора бывшего, по косую съездную нашу дорогу вниз с горы. И как подле плетня, ограждающаго его от горы, насажены были покойною родительницею моею и в самый тот год, как я родился, березки, и из оных три стоят еще и поныне и одна в наилучшем месте пред окнами моего дома и служащая мне вместо ветромера, то и могут оне собою доказывать, где была тогда съездная с горы дорога и покуда простирался наш нижний сад по горе к реке. В сторону же к вершине простирался он вплоть по ручей, и старинный наш лучший ключ, известный под именем *Течки*, был всегда в саду этом. Впрочем, весь сей сад состоял только из немногих старинных и ни к чему годных яблоней, разбросанных по самой крутизне горы, а внизу, где он оканчивался и где теперь вершинная сажелка, бывала у нас на ручье и колодезе винокурня деревенская (38).

Вот вам подробное описание всего моего обиталища, которое, по всей справедливости, было незavidно и мило мне только потому, что я тут родился и жил по несколько времени в моем младенчестве и в малолетстве.

А впрочем таковы же точно и ничем не лучше были и оба соседские господские дома в нашей деревне. А всего удивительнее было то, что и самое расположение внутренних комнат было во всех домах одинаково: власно так, как бы старики не только наипростейшее в свете, но требовавшее во всех частях своих переправки, а в иных и совершенного переворота.



А каков был мой дом со двором наши лучшего расположения выдумать не умели или не имели к тому столько духа. У самого дяди моего *Матвея Петровича*, бывшего в свое время хорошим геометром и инженером, был точно такой же, и вся разница состояла в том, что был дом его меньше и власно как миньятюрный перед нашим.

Оба сии дома были неподалеку от моего, и дом помянутого генерала Никиты Матвеевича Болотова, находился только за вершиною и окружен был почти вокруг старинным садом, насажденным еще его дедом *Кириллою Ерофеевичем* яко первым основателем всего сего селения. Место, избранное им под дом, было также одним не из самолучших, и хоромы были также спрятаны и поставлены так, что из них всего нашего изящного местоположения было совсем не видно.

И старики наши любливали как-то смотреть только на свой двор и передния ворота.

Что касается до дома и двора дяди моего *Матвея Петровича*, то как сему, по разделе с моим покойным родителем, вздумалось поселиться внутри той половины сада, которая ему досталась, то и сделался дом его к нам очень близок и не более, как только сажень на 30 или на 40 от онаго. И как в последния пред сим времена из всего сего двора не осталось и следа, то и замечу я впредь для памяти, что хоромцы его стояли лицом к нашему двору, а узким боком под гору; и что под самыми окнами с сей стороны стояла та яблоня, которая, будучи повалена бурею, растет у меня теперь неподалеку от парников, лежучи, и известна под именем лежанки, а за сими хоромцами и далее к вершине, был его задний двор с избами, скотскими дворами и закутами.

Впрочем, надобно заметить, что каков беден был наш дом и двор, таковы ж были и все деревни наши. Будучи людьми малодостаточными, имели мы их очень немногия и малолюдныя. У меня во всем здешнем селении было только 3 двора, да в деревне Болотове 2, да в Тулеине 6: и всего здесь только 11 дворов. А и в других деревнях так же сущая малость и клочки самые малые, как, например, в ближней из сих, каширской моей деревне, Калитине, было только крестьянских 2 двора да двор господский; а в деревне Бурцовой только 1 двор. В епифанской моей деревне, Романцове, только 2 двора, а в чернской, Есиповой, только 1 двор, да в шадской, что ныне тамбовская, дворов с 10. Вот и все мое господское имение, ибо более сего я не имел. А как присовокуплялось к тому и то досадное обстоя-

тельство, что все сии мелкия и ничего не значущия деревнишки не только были малоземельны, но и земля везде находилась в чрепозлодном владении с другими посторонними помещиками, и посему ничего особливаго с нею предпринимать было не можно, то и проистекло от всего того то натуральное следствие, что и доходы наши с них были чрезвычайно малы и ничего почти не значущими.

В сии-то бедныя и малоходождныя деревнишки приехал я тогда жить и ими-то должен был не только содержать себя, но и поправлять свое жилище; а сверх того, должен был помышлять я о заведении всего того, чего у меня недоставало и о снабденин и дома своего, и самого себя множеством разных и необходимо нужных вещей: ибо не только у самого меня не было никакого порядочнаго платья, кроме моих прежних и тех мундиров, которыя мне тогда и носить было уже не можно, но не было у меня ни довольных лошадей, ни конской збури, ни экипажей для езды, ни лакеев, ни ливреи на них, а в доме не было ни единой почти посудыны, кроме немногой старинной и изломанной оловянной, и нескольких стаканов и рюмок, а из мебели ни единаго почти стульца, ни единаго столика, ни одних кресел и канапе; а о комодах и прочем и говорить нечего. Итак, всем и всем надлежало мне заводиться и всем обостроживаться в своем доме, и обо всем тогда мыслить и разсуждать, а особливо в первые дни по моем приезде.

Сим кончу я сие мое почти совсем побочное письмо; а в последующем приступлю к дальнейшему продолжению моей истории, сказав между тем, что я есмь и прочая.

СВИДАНИЕ С РОДНЫМИ И ЕЗДА В МОСКВУ

Письмо 103-е

Любезный приятель!

Приступая теперь к продолжению моей повести, скажу, что не успел я, по возвращении в деревню, всю свою усадьбу и все строения и сады окинуть глазом, а в доме всем разобратсья, как усмотренные в премногих вещах недостатки заставили меня тотчас начинать помышлять о том, как бы себя скорее всеми ими запасти и в доме всем обострожиться получше. А как ко всему тому потребны были и деньги, то самое сие побуждало меня

войти и в состояние моих доходов и деревень. И как о сем надеялся я всего лучше узнать от старика своего прикащика, то и призван был он на конференцию о том со мною и должен был мне все и все рассказывать, что ему было о сем известно.

Уведомления его были для меня не весьма радостны и приятны. Он изображал мне состояние моих деревень таковым, каковым оно действительно было, то есть очень худым и недостаточным; а и доходы, получаемые с них, не увеличивать, а уменьшать еще старался, к чему он имел и причину, ибо боялся, чтоб я за все прошедшие годы не стал его считать и делать с него взыскания.

Но как бы то ни было, но я, узнав всю малочисленность моих доходов, гораздо и гораздо от того сначала позадумался и смутился. Ибо видел ясно, что я в прежних мыслях о деревнях своих очень много обманулся и что оне далеко не таковы были выгодны, каковыми я их себе воображал, и что мне не без труда будет получать с них столько, сколько нужно было мне, и на свое содержание и на поправление всего в доме и на запасение себя всем нужным.

Мысли о сем озабочивали меня чрезвычайно, и признаюсь, что поуменили гораздо собою и то удовольствие, какое я имел сначала при возвращении из службы в дом свой. На все и на все потребны были деньги, а денег сих не было, и я горевал, не знал, где мне столько их будет доставать, сколько нужно было их для исправления всех нужд и необходимых потребностей.

Однако вся сия горесть и печаль моя недолго продолжалась: я возвернул ее по обыкновению своему на Господа и в утешение сам себе сказал:

«И! был бы у меня только Бог и Бог любящий меня и пекущийся обо мне, а прочее все уже будет!.. Что недостаток мой невелик и я небогат, то правда; но не с ума же мне от того сойтить... И, – продолжал я, не тот богат, кто имеет много, а тот, кто доволен тем, что у него есть и умеет пользоваться оным. К тому ж достатки-то не рукою ли Всемогущаго нам всем раздаются и не одеваемся ли мы ими по его премудрому рассмотрению и произволению святому?.. И так, можно ли мне и помыслить о том, чтоб дерзнуть роптать на то, для чего мой недостаток не велик и не больше теперешняго?.. И получил ли я и тот от Зиждителя моего без всяких моих заслуг и права на то?.. Не от единого ли святого произволения Его зависело то, что и такой я еще имею?.. Сколько есть миллионов людей на свете и сколько

тысяч моей братьи дворян самых, которья и того не имеют, что и я имею, и которья бы счастливейшими людьми себя почли, если б могли иметь столько, сколько я имею и быть на моем месте?.. Для чего же мне не почитать себя счастливым? И, – продолжал я, – я счастлив и пересчастлив еще пред многими другими, и мне нужно только уметь пользоваться тем, что имею я, и чувствовать все преимущество состояния своего пред другими. Не надобно только мне никогда смотреть вверх, а надобно смотреть вниз себя – так и буду всем доволен... Ну, что ж за беда, что я не слишком богат? Не всем же быть богатым! – Ну, когда небогат, так и живи так: не затевай ничего излишняго, не гоняйся во всем за богатыми, а протягивай, говоря по пословице, ножки свои по одежке, так и будет дело в шляпе и все ладно и хорошо».

Сим и подобным сему образом сам с собою говоря и разсуждая, я не только утешил сам себя очень скоро и возвратил духу своему всю прежнюю веселость и спокойствие, но, подкрепляясь мыслями таковыми действительно положил во всю будущую деревенскую жизнь свою за главное правило себе почитать, чтоб не гоняться никак за живущими не по своим недостаткам, а держаться как можно умеренности и середины; а равномерно – ничем и не спешить и от единой поспешности сей отнюдь не входить в долги, как то иные делают нередко и чрез то разоряются в немногия годы. Словом, я положил вести себя и жить по пословице говоря: «ни шатко ни валко, ни на сторону» – и жить так, чтоб расходы никак не превосходили доходов, а довольствоваться во всех случаях тем, чем Бог послал, а не выходить никогда за пределы состояния и достатка своего. А сие и помогло мне очень много, как то окажется из последствия.

Итак, осмотрев все строения в доме моем, хотя и видел я, что нужна всем им превеликая реформа и поправление однако, соображаясь с помянутым правилом, положил до онаго на первый случай нимало еще не касаться, а предоставляя то до будущего и удобнейшаго времени, хотел только снабдить себя такими вещами, без которых мне не можно уже было никак обойтись. И как для самага сего нужно было побывать хоть на короткое время в Москве, то и положил, осмотревшись в доме, туда на несколько дней съездить; а между тем познакомиться сколько-нибудь с соседями своими. Но и в разсуждении сих вознамеривался я не спешить никак сводить теснаго знакомства со всеми ими, а особливо с теми, кои мне были еще вовсе не знакомы, а довольствоваться на первый случай од-

ними только ближними, и такими, которья были мне либо сродни, либо знакомы.

Из сих первым и знаменитейшим из всех был помянутый ближний мой сосед *Никита Матвеевич Болотов*. Я за долг себе почитал побывать у него всех прочих прежде и сходить к нему на третий день по своем приезде. И как я сего человека с самага того времени не видал, как я, по произведении меня в офицеры, бывал у него в Петербурге, когда был он еще только полковником, то был я очень любопытен видеть, как примет он меня и как обойдется со мною, сделавшись генералом. Но, к удивлению моему, не нашел я ни в нем, ни в доме его ничего такого, чтоб походило на генеральское, но во всем господствовала единая деревенская простота и все пахло не пышностию, а также единою только умеренностию и небогатым состоянием. Ибо и сей родственник мой хотя и всю свою жизнь провел в военной службе и служил безпорочно, но не вывез с собою также никаких богатств и сокровищ, а деревнями собственно своими был он еще беднее меня. Итак, все обстоятельства принуждали его жить не по-генеральски, а весьма умеренно и просто.

Что ж касается до собственной его особы, то нашел я его точно таким же, как он был и прежде. Он принял меня и обходился хотя ласково, но с таким удалением от откровеннаго, повереннаго и дружелюбнаго родственнаго обхождения, что я легко мог видеть, что все его ласки и благоприятствы происходили не от чистаго сердца, а имели основание свое на едином досадном этикете, или, того еще хуже, на природном свойственном ему лукавстве. Почему и заключал предварительно, что вряд ли этот дом найду я таким, где б мне можно было бывать часто; но паче опасался, чтоб примечаемая во всем обхождении крайняя принужденность мне скоро не наскучила б и не отдалила меня от сего дома, что и воспоследовало действительно.

Ибо не успел в нем побывать несколько раз, как, видя всегда единообразное обхождение, удаленное от всякаго простосердечия и откровенности, и принужден будучи всегда сидеть на месте и строго наблюдать все чины, так всем тем наскучил, что стал ездить к нему как можно реже и просиживать у него кратчайшее время.

Что касается до превосходительной его молодой супруги, то называлась она *Софья Ивановна*, была гораздо его моложе и показалась мне боярынею очень-очень незамысловатою, а простодушною и прямо дере-

венскою. Она вышла за него вдовою, и была до того в замужестве за господином *Митковым*, от которого имела двух детей, сына и дочь. Первый находился в службе, а вторая жила и воспитывалась при ней. Отец Илларион, разговорами и рассказываниями своими возбудил во мне особенное любопытство видеть сию девушку. Но я нашел ее хотя изрядною лицом, но слишком еще молодою, и притом столь простого деревенского воспитания, что я с первого почти взгляда решительно заключил, что хотя б была она и старее тогдашняго, но в невесты для меня никак бы не годилась. Все что-то находил я в ней не согласное с моими мыслями и желаниями и не мог никак прилепиться к ней мыслями. Почему, будучи с сей стороны совершенно обеспечен, обходился я как с нею, так и с матерью ее равнодушно и хладнокровно.

Сия ласкалась ко мне, сколько умела и сколько ей было можно. Ибо надобно знать, что как сей отдаленный родственник мой был не только страннаго, но и прямо оригинальнаго, удивительнаго и непостижимаго характера, и особенность характера сего имела, между прочим, и то в себе, что он и с самыми ближними родными своими не обходился никогда откровенно, но ко всему свету имел недоверчивость, то и проистекала из того безпредельная ревнивость к обеим женам его, – которая, относительно до первой его жены, бывшей из фамилии *Елагиных* и называвшеюся *Ириною Герасимовною*, простиралась даже до варварской и такой жестокости, что она едва ли не лишилась и самой жизни от того и пострадала невиннейшим с своей стороны образом. Ибо все подозрение его было совсем пустое и неосновательное. Да и предметом ревности его был некто иной, как упомянутый приходский наш поп, отец Илларион, хотя он был совсем не такого характера и всего меньше мог составлять тайного любовника. Но как бы то ни было, но ревнивому старику возмечталось что-то такое и довело его до таких глупостей, которыя не походили ни на что и не принесли ему ни малейшей чести. И как слух о том развеялся всюду и молва о скорой кончине его жены не весьма была для его выгодна и благоприятна, то самое сие и побудило сего старика жениться на сей второй жене без дальних разборов и следующим особым образом.

Некогда случилось сей госпоже ехать сквозь нашу деревню в село *Кошкино*, где имела она родственников. Лишь только начала она въезжать в наше селение и в околицу против самых ворот дома сего моего родственника находившихся, как кучер ее был так неосторожен, что зацепил за ве-

рею сих воротиц и так неловко, что изломались от того и ось и колесо под ее коляскою и она принуждена была остановиться и разослать людей всюду искать другого колеса, на котором бы ей можно было доехать, и дерева, для подделания оси. Родственник мой был тогда уже генералом и незадолго до того приехал только из службы в отставку и находился тогда дома. Слуга адресуется к первому к нему с уничиженнейшею просьбою о вспоможении госпоже его в ее нужде. Сей охотно брался одолжить ее и осью и колесом, но не знал только, найдется ли в доме его к тому способное. Он послал тотчас за человеком, управлявшим его домом; а между тем расспрашивает человека о его госпоже и обо всем, до ней относящемся. И слышит от него, что она была не старая еще вдова, что имела намерение иттить вторично замуж и что есть у нее хорошия степныя деревни и достаток изрядный. Все сие возбуждает в нем любопытство и желание узнать ее лично и с нею познакомиться, и тем паче, что у него у самого давно уже на уме была вторичная женитьба. Был он хотя и очень уже стар и вдовствовал уже несколько лет, но одиночество в уединенной сельской жизни скоро ему так наскучило, что он положил неотменно жениться на другой жене, как скоро только найдет себе невесту по своим мыслям.

Итак, не успел он все вышеупомянутое о госпоже *Митковой* услышать, как получает тотчас мысль: не могла ль бы она годиться ему в невесты? И не долго думая, посылает к ней человека с просьбою, чтоб между тем, покуда станут чинить ее колесо и подделывать ось, благоволила б она зайти к нему в дом, где ей спокойнее будет того дожидаться, нежели на улице. Госпожа принимает охотно сие предложение и идет чрез двор пешком и нравится старику уже при первом взгляде и еще издали. Он приветствует ее всячески и осыпает всевозможнейшими ласками; он старается угостить ее как можно лучше и, приметив произведенное всем тем особое в ней удовольствие, предпринимает вдруг за нее свататься и предлагает сам собою, без дальних околичностей, ей свою руку.

Госпожу Миткову поразило таковое нечаянное и всего меньше ею ожидаемое предложение! Но как он ласками и учтивостями своими так ее очаровал, что показался ей совершенным ангелом, а присовокупилось к тому и то, что, вышедши за него, будет она *превосходительною*, то все сие и смутило ее так, что родственник мой легко мог заметить, что предложение его ей не совсем противно, а напротив того, приятно было. А будучи хитрым и лукавым человеком, и восхотел он ковать железо, покуда оно

было еще горячо; и не давая ей время даже опомниться, а не только чтобы узнать и распроедать о всех обстоятельствах, до первой его жены относящихся, спроворил так хорошо, что они в тот же день ударили по рукам и в тот же самый день и обвенчались в церкви!

Сим-то странным образом женился сей мой родственник на сей второй своей жене, но которая скоро увидела, что она не столь была счастлива, как она себе мечтала прежде. Называние ее *превосходительною*, сколько сначала было ей приятно и лестно, столько сделалось после ненавистным и таким, которое охотно б она хотела и не иметь, если б была только, впрочем, более счастлива. Но сего-то самого и недоставало. Родственник мой, по недоверчивости своей, содержал и ее в превеликой неволе и такой строгости, что она связана была и по рукам и по ногам во всех своих поступках, и должна была говорить и делать все только то, что ему было угодно, и безпрестанно смотреть ему в глаза и узнавать его мысли.

Все сие было так приметно, что я мог усмотреть сие и при первом уже свидании с ними. И как он ни старался наружно оказывать ей ласки и любовь свою, но я видел, что все сие делано было только для гостей и посторонних, а в самом деле жизнь их не такова была блаженна и хороша, каковую казалась снаружи.

Что касается до сына моего родственника, котораго он одного только и имел, то сего не было тогда дома. Он записан был в гвардию; но попечение об нем отца его, по странности характера его, было столь малое, что он не мог даже выхлопотать ему унтер-офицерского чина, а служил он только капралом.

Я препроводил у сего старика, моего родственника, почти весь тот день: ибо, как я хотел оказать ему честь и в первый раз пришел к нему поутру, то не отпустил он меня без обеда и продержал долго и после онаго, рассказывая мне истории как о своей женитьбе, так и несчастном повреждении руки своей, которую и тогда носил еще он в черном тафтяном мешочке. Сие увеличило еще более его безобразие, ибо был он и от природы не очень хорош собою: высок, сутуловат, белокур, ряб, дурного расположения лица, а при всем том еще без одного глаза.

Но как бы то ни было, но я не только тогдашним его приемом был доволен, но и во все достальные годы его жизни не оказал он мне ничего такого, чем бы я мог быть в особливости недовольным. Правда, хотя и не было между нами дружеского и откровенного обхождения, но такого он и

ни с кем не имел. И мы с ним видались не слишком часто, но по крайней мере, могу то в похвалу ему сказать, что он меня любил и повсюду отзывался обо мне с похвалою и уверениями, что он был мною весьма доволен. А сего для меня было по нужде уже и довольно.

Побывав у него, препроводил я первые десять дней жительства своего в деревне в разных экономических упражнениях. Я объездил все свои дачи и земли, осмотрел леса и хлебные поля, с которых убираем был тогда последний хлеб; обходил несколько раз вновь все сады свои, разговаривал обо всей экономии деревенской с стариком прикащиком своим; располагался мыслями, что и что мне предпринять в приближающуюся осень, и для получения лучшего понятия обо всей деревенской экономии, посвящал все почти праздное свое время чтению купленных мною в Москве экономических книг. А сии и снабдили меня многими новыми и такими познаниями, каких я до того вовсе не имел, и нечувствительно начали вперять в меня охоту как к деревенской экономии вообще, так в особенности к садам: так что я, сделавшись почти до них совершенным уже охотником, положил в ту же еще осень приступить к распространению оных и начал сие тотчас по возвращении своем из Москвы, куда хотелось мне прежде еще наступления самой осени на короткое время съездить.

Причины, понуждавшие меня к сей первой езде моей в столицу были разные. Во-первых, нужно мне было купить многия нужные и такие вещи, без коих мне никоим образом обойтись было не можно; во-вторых, хотелось мне повидаться с дядей моим родным, *Матвеем Петровичем*, и некоторыми другими своими в Москве тогда находившимися родственниками; а в-третьих, хотелось мне, кстати, видеть и коронацию нашей новой императрицы, о прибытии которой в скором времени в Москву уже носились тогда слухи.

Итак, собравшись налегке, поехал я в Москву в том же еще сентябре месяце. И по приезде своем туда, первым долгом своим почел съездить к помянутому дяде своему, для принесения ему благодарности за попечение об моих деревнях во время моего шестилетнего отсутствия.

Я нашел его в доме у шурина его, господина *Павлова*, где он обыкновенно жывал во время пребывания своего в сем столичном городе. И дядя мой был очень обрадован, увидев меня тогда впервые по возвращении из службы; и как он меня любил искренно еще в малолетстве, то, увидев тогда уже в совершенном возрасте, полюбил меня еще больше и не мог со

мною обо всем довольно наговориться. Он рекомендовал меня своей жене, а моей тетке, но сия могла говорить с нами и изъявлять ласки свои мне одними только пантомимами. Я нашел ее в прежалостном положении и, кроме паралича, столь дряхлую и слабою, что не мог довольно надивиться тому, как вздумалось дяде моему избрать себе на старости такую подругу. Со всем тем казались они друг другом быть довольными и нимало не раскаявающимися о своем соединении.

С ними находился тогда тут и меньшей и любимейший сын дядин, *Гаврила*, мальчик уже довольно взрослый, но воспитанный очень худо. Другого же его и старшего сына, а моего прежнего в играх сотоварища, *Михайлы Матвеевича*, тогда при нем не находилось, ибо он был в службе и служил в артиллерии; был уже офицером и находился тогда от Москвы в отсутствии.

Что касается до господина *Павлова*, его шурина, котораго звали *Данилою Степановичем*, то обласкан я был и от него, равно как и от жены его, *Анны Артемьевны* и детей их, которых было у него трое: два сына и дочь, – из коих первые были уже взрослые, а последняя выходявшая только из лет детских.

Кроме сего, не преминул я также отыскать в Москве и другого моего дядю, господина *Арсеньева, Тараса Ивановича*, которому так много обязан я был за попечение обо мне в малолетстве и содержании у себя в доме петербургском. Он служил тогда при московской полиции чиновным человеком и обрадовался чрезвычайно, увидев меня таким, каковым я тогда был. Жена его также была мне очень рада; а узнал меня и полюбил при сем случае и брат ее, а мой по деревням недалний сосед, *Андрей Петрович Давыдов*. И как сей вскоре отъезжал в свою деревню, то звал меня к себе в оную, и я принужден был то ему обещать.

Кратковременность моего тогдашняго в Москве пребывания не допустила меня видеться тогда с прочими родственниками своими, в сем столичном городе находившимися, но я отложил до своего вторичного в Москву приезда зимою и на должайшее время. А в сей раз я так спешил возвращением в свой дом, что не успел все нужное и что надобно было испустить, как не захотел дожидаться и коронации самой и для оной проживать несколько лишних дней в Москве; но, распрощавшись до зимы с дядею, пустился в обратный путь и приехал домой еще 20-го числа того ж еще сентября месяца.

Не успел я возвратиться опять в свой дом, как и приступил уже к поправлению в разных пунктах моего домоводства и экономии. Мое первое и наиглавнейшее дело в сию первую осень состояло в распространении нашего молодого сада за проулком, известного ныне под именем верхнего. Всею прибавкою онаго, сделаннаго умершим моим дядькою, был я весьма недоволен, но мне восхотелось распространить его и увеличить гораздо больше. И как, по счастью, случился подле самого сего сада превеликий конопляник, занимающий все место между им и рощею, то и решился я весь оный занять под сад и совоккупить с помянутым маленьким садиком.

Не могу и поныне надивиться тому, как имел я столько духа, что мог пуститься на такое великое предприятие, то есть на уничтожение всего старинного конопляника и превращение его в большой и обширный регулярный сад, дело, которое бы в старину почтено было за великое законопреступление, а предприятие сие безпримерною героическою отвагою! А оттого самого и от излишнего уважения и почтения к старине старики наши так мало и дельвали дел и оттого так мало и оставили нам подле себя вещей, могущих нам припоминать оных.

Но как бы то ни было и как косо ни смотрели все старики из дворовых моих людей на затеваемое мною новое и, по мнению их, величайшее дело, но я приступил к оному и прожектировал план; как умелось, так и расчертил, и потом и начал засаживать его липками и яблонками. Все мои дворовые люди и все крестьяне, сколько я их не имел в близости, должны были помогать мне в сем великом деле и возить из леса липки и другие деревья и, копая рвы и ямки, садить оныя в них и заниматься с утра до вечера.

Что касается до меня, то я был почти безвыходно в саду сем. И как это была для меня первоуценка, и я в первый еще раз в жизни заводил у себя совсем новый сад, то не мог довольно нарадоваться и навеселиться, когда начал он образоваться и получать свой вид и фигуру. Сколько раз ходил я взад и вперед по длинным и прямым, липками усаженным дорожкам и аллеикам! Сколько раз я до восхищения даже любовался яблонками и всем сим произведением ума и рук своих! И какия горы удовольствия не обещевал я себе от него в предбудущее время! Словом, я плавал тогда в неописанном удовольствии, и оным заплачен был с лихвою за все труды и убытки, которые употреблены были мною при посадке онаго.

Но сколько же и погрешностей наделано было мною при основании и заведении тогда сего сада! И как тужу я и поныне, что я тогда слишком уже поспешил заведением онаго и не взял времени, чтоб познакомиться наперед короче со всеми обстоятельствами деревенскими и с самым существом садов, которыя до того были мне известны по одной наслышке; а, впрочем, был я в разсуждении их совсем еще не знающим и во всех моих делах бродил, как курица слепая.

По несчастию, не имел я никакого человека, знающего сколько-нибудь это дело и могущаго меня, в ином случае, остерегать или подавать мне советы. А совещался я с одними только книгами, и книгами не нашими, а иностранными, писанными не на наш климат и по не нашим обстоятельствам, и потому могущими скорее всего заводить нас в лабиринты погрешностей и ошибок, как то и со мною тогда отчасти случилось, но что, по новости моей и по совершенному недостатку практических знаний, нимало и не удивительно.

Первая и величайшая ошибка была та, что сделал его регулярным, нимало не подумав о том, что такой большой регулярный сад во всей форме и порядке впредь содержать, по малолюдству моему и недостатку, не будет мне никакой возможности. Мне и в мысль тогда не приходило, что я очень скоро в том раскаяюсь, и после тужить буду о том, что предпринимал я тогда очень много трудов напрасных и излишних, и всеми ими не столько пользы, сколько вреда себе наделал. Но, к несчастию, в тогдашнее время ни о каких других садах не было еще и понятия; а регулярные сады были только одни в обыкновении и повсюду в величайшей моде. А потому и мне, выдавшему их кое-где мельком, восхотелось неотменно и самому иметь у себя сад *регулярной*, и при основании и расположении онаго оказать мнимое знание свое и искусство.

Сие показал я и удивил оным многих при сем случае: все не могли довольно надивиться тому, как недели в две, или в три совсем на пустом месте проявился у меня уже превеликий сад, усаженный несколькими сотнями превеликих яблонек и многими тысячами липок и других лесных дерев, и с таким множеством длинных и поперечных, прямых и окружных аллей и дорог, что без усталости все их обходить никому было не можно! Но ах, сколь мало знал я тогда, что все сие регулярство далеко не принесет мне столько удовольствия, сколь многого я ожидал и от него тогда получить ласкался. Но напротив того, что я весьма скоро и так к нему

пригляжусь, что оное не только не будет более меня собою веселить, но даже мне наскучит; и что многие из насажденных мною дорог останутся почти навсегда пустыми и никем никогда и ниже самим мною не посещаемыми; и что, напротив того, стрижка липок и чищение дорог обратится скоро в превеликое отягощение и надоеет мне как горькая редька! И могли я себе тогда воображать и предвидеть то, что, промучившись несколько лет с ними и не видя никакой себе от них пользы, а примечая только существительный вред, ими саду производимый, принужден буду, наконец, все милое и прелестное тогда его регулярство уничтожить, и многие из насаженных липок и дорожек вырубать совсем вон как для опростания тщетно и без всякой пользы занимаемого ими места, так и для того, чтоб они не мешали собою караулить плоды и не отгоняли купцов, покупающих оныя на деревьях.

Вторая и важнейшая еще той и существительнейшая погрешность состояла в том, что я от излишней поспешности и от непомерного желания видеть у себя скорее сад, не постарался столько, сколько б надлежало о том, чтоб запастись для засадки сего сада прививочными и лучших пород деревцами, а употребил к тому какия мне прежде других попались. Но, к несчастию, в тогдашнее время как в Туле, так и в других местах и не производилось еще такой великой торговли прививочными деревцами, какая производится ныне, и садовое искусство было еще в таком младенчестве, что не знавали еще нигде и самого прививания в очко, или листочками, и я почти первый ввел сей род прививания в обыкновение, научась сам сему искусству из книг, а не от других людей. А посему, хороших прививочных деревцов и достать и взять было негде; а где они и были, так продавались, по тогдашним временам, еще слишком дорого.

При таких обстоятельствах, я неведомо как еще рад был, что нашли мне неподалеку от нас, а именно, в селе *Липецках*, у мужика, целую грядку с предлинными и превысокими яблонками, воспитанными им от посеянных почек, выниманных, по уверению его, из самых добрых украинских яблок, и что сторговали мне их за цену очень сносную и не дороже, как по 7-ми копеек за яблонку.

Не могу изобразить, как обрадован я был сею покупкою: я считал ее не иначе как находкою и не мог довольно налюбоваться и ростом и родством новокупленных своих яблонок. И с каким удовольствием разна-

шивал я тогда и раскладывал их по ямам и с каким тщанием старался сам о лучшем сажании и закрывании корней их землею!

Но ах, сколь мало знал я тогда, что я делал, и сколь мало все они были того достойны! Мне и в мысль тогда не приходило, что я сажал такую и такую дрянь, которая саду моему была пагубна и навек его портила, и что я в последующее время тысячу раз тужить о том буду, что я ими, а не лучшими деревьями занимал тогда наилучшие места в саду этом. Да и можно ль чего добраго ожидать от почек, особливо сеяных и воспитанных мужиком. От почек, взятых и из самых лучших яблок, редко выращиваются хорошие, а на большую часть вырастает всякая дрянь и негодь; а из набранных из всякой дряни, как то безсомненно было с сими, и подавно не можно было ожидать хорошаго. Но мне обстоятельства сего было еще тогда неизвестно; а я думал, что от почек из хороших яблок надобно и родиться хорошим яблоням, и полагаясь в том на уверения сего мужика, и думал, что я нажил ими целое сокровище. А что они по вышине своей были так дешевы, то мне и в ум не приходило, что было это оттого, что они у мужика на грядке уже переросли и он не знал, куда ему с ними деваться, и рад был их за что-нибудь сжить с рук своих.

Но как бы то ни было, но я засадил весь мой сад сею, ни к чему годною и такую дрянью, которая и поныне мне только досаду причиняет, и, выросши с дубья, не только приносит плод ни к чему годной, но и дают плода так мало и приходят с плодом так редко, что не один уже раз собирался я от досады все их вырубить. И многие действительно, нимало не жалея, рублю, режу и кромсаю, стараясь их, но уже поздно, превратить в лучшие и достойнейшие садов моих деревья. И за счастье себе еще почитаю, что накупил их тогда не так много, чтоб можно было мне напичкать ими весь мой сад часто, и что садил я их так редко, что между ими мог еще подле помещать яблонки, воспитанные уже дома и родов лучших.

Но как бы то ни было, но я произвел у себя в самое короткое время преогромный регулярный сад, которым не мог довольно налюбоваться. И как было сие моим первым деянием экономическим, то и был я оным весьма доволен; и тем паче, что мог оное показать гостям своим в приближающийся день именин моих, к которому хотелось мне пригласить соседей и сделать для них обед и маленький деревенский праздник.

Но как письмо мое достигло до своих пределов, то дозвоьте мне на сем месте остановиться и оное окончить, сказав вам, что я есмь и прочее.

СОСЕДИ И ИМЕНИНЫ

Письмо 104-е

Любезный приятель!

Последнее письмо кончил я уведомлением нас о насажденном вновь саде и о намерении моем праздновать приближавшийся день именин моих. А теперь, прежде описания торжества сего, расскажу вам о тех из моих соседей, с которыми успел я до того времени познакомиться и которых хотелось мне пригласить к помянутому празднику.

Из всех сих, наидостопамятнейшим был живущий от меня неподалеку, господин *Ладыженский*, по имени *Александр Иванович*. Как жилище его не далее от меня было, как верст пять и на той же самой речке, а от другой моей деревни, Тулеино, не далее одной версты, и я наслышался об нем, что и он, также как и я, служил в армии, был в прусских походах и из службы недавно только приехал в отставку, то хотелось мне с ним познакомиться. И хотя доходили до меня некоторыя слухи о странности и особливости его характера, но я, не уважая того, поехал к нему как к своему сослуживцу наперед сам, и был очень тем доволен, что сие сделал.

Я нашел в господине Ладыженском человека не только очень доброго, но разумного, и по самой особливости характера своего, очень забавного и веселого – так, что с ним никогда не скучно было проводить время. Как он, так и жена его были посещением моим очень довольны, и оба они наперерыв друг пред другом так ко мне ласкались, что я с самого того дня их полюбил и не преставал любить по самую смерть их. А не менее полюбил и они меня; и как обходились они просто, без всяких этикетов или чинов и лукавства, а чистосердечно, дружелюбно и откровенно, то и возстановилось у меня с сим домом искреннее дружество, которым пользовался я во все время перваго моего в деревне жительства, и был приязнию их, а особливо *Авдотьи Александровны*, жены его, боярыни ласковой и простодушной, очень доволен. А потому и с охотою согласился быть, по желанию их, восприемником детей их, и чрез то сдружились мы с ними еще более.

Неподалеку от него жил другой наш сослуживец господин *Иевской Семен Михайлович*. Он отставлен был, также как и господин Ладыженский, майором, и был женат на родной сестре того самого господина *Селиверстова*, котораго, при местечке Ковнах зарыли мы в песок сыпучий так, как

я упоминал о том при описании первого нашего похода в Пруссию. Как сей г. Иевской жил от г. Ладыженскаго не далее двух верст, и оба сии дома были между собою знакомы и дружны, и часто видались, то имел случай и я, находясь однажды у господина Ладыженскаго, спознакомиться с сим г. Иевским. Но как характер его был совсем отменный от характера г. Ладыженскаго, а того более еще от моего, и, между прочим, не согласен был и в том, что он нередко приносил жертву Бахусу, и во время сих жертвоприношений был весьма неугомонен, то и не имел я охоты сводить с ним тесную дружбу, но оставался при одном знакомстве; что и потому почитал я за надобное, что у него была дочь таких лет, что могла выдана быть уже и замуж. А как мне она не гораздо была подстать, то и убегал я, сколько мог, от близкого знакомства с сим домом.

Кроме сих, спознакомился я еще с одним, довольно знаменитым дворянином из фамилии господ *Хвоцинских*, а по имени *Василием Панфиловичем*. Я узнал его в доме помянутаго генерала, деда моего, которому доводился он племянником, и по самому тому ездил к нему часто и с женою своею. И как случалось нам бывать вместе, то чрез то и познакомились мы с сим человеком, и я благоприсутствием его к себе был всегда доволен.

Тут же в доме возобновил я старинное знакомство и с сестрою сего моего знаменитого соседа и самую тою старушкою, *Варварою Матвеевную Темирязевую*, которая предала мне повесть о пленнике нашем, *Еремее Гавриловиче*. Она была в сие время уже очень стара, жила верст за 15 от нас, в деревне Костине, с овдовевшею и довольно еще молодою невесткою своею *Татьяною Михайловною* и ее детьми, а своими внучатами, коих было у нее двое, но оба еще малолетние. И как старушка сия ездила нередко к брату своему, помянутому генералу, то по сему случаю возобновил и я с нею знакомство и бывал несколько.

Я не преминул также и тотчас по возвращении своем из Москвы съездить к преждеупоминаемому внучатному дяде своему, *Захарию Федоровичу Каверину*, и возобновить с ним прежнее знакомство и дружбу. Я нашел его в прежалком положении. Будучи человеком очень небогатым, имел он, по несчастию своему, жену редкаго, особливаго и столь страннаго и строптиваго характера и нрава, что ни с кем не могла она ужиться в мире и в тишине, а всего меньше с своими рабами.

Сии были у них прямо несчастныя твари. За все про все, и не только за дело, но и за самыя безделицы принуждены они были от сей безпутной

и вздорной женщины вытерпливать не только всякие брани и ругательства, но и самые побои и мучительства. Почему и неудивительно было, что они, будучи нередко сею женщиною доводимы до того, что животу своему были не рады, принуждены были от них уходить и в бегстве искать себе спасения и отрады.

Словом, нрав сей удивительной женщины до того был худ, что не успел дядя мой, выпросившись из службы, на время приехать пожить в маленькую свою и ничего не значащую деревнишку, как в самое короткое время успела она не только всех, служивших при них и живших во дворе людей, но и самых крестьян разогнать, и до того дойти, что им не с кем почти жить было, и вместо лакеев прислуживали им небольшие, набранные из крестьян, девчонки. И в таком-то точно положении нашел я тогда сию злополучную чету супружников и не мог как странному характеру сей удивительной женщины, так и добродушию, мягкосердию, кротости и смиренномудрию несчастного моего дяди, переносящему все то с терпением, довольно надивиться.

Кроме сих благородных людей, возобновил я старинное знакомство с живущими на заводах у нас немцами, кои в тогдашнее время всеми соседственными дворянами принимаемы были так, как бы полублагородные. Они имели вход во все дома и везде их сажали с собою и обходились с ними так, как бы с бедными какими дворянами – чего они по хорошему своему поведению и порядочному образу жизни были и некоторым образом и достойны. Из них были тогда наизнаменитейшими из живших на Саламыковском заводе – Мартын Петров *Шосве*, а из живших на Ченцовском заводе – Иван *Тусеев*, Навей *Иванов* и старик Ян *Тинтер*. Все они были мне знакомы и все езжали и хаживали ко мне; но никто из них так ко мне не ласкался и так часто у меня не бывал, как старуха жена Яна *Тинтера*, с обоими своими сыновьями, *Янкою* и *Навеем*. Она известна была повсюду под именем Ивановны, и старуха была отменно добрая, и такого веселаго и хорошаго характера, что я всегда бывал рад, когда она ко мне прихаживала.

С сими разными людьми и соседями свел я знакомство и дружбу в первые дни жительство моего в деревне. И их-то или паче знаменитейших из них хотелось мне пригласить к себе в день именин моих. Чтоб торжество сие сделать коликo можно лучшим, то прибрал я сколько мог свою хату; велел выломать из нея все старинныя лавки и полки; замазал на сте-

нах все прежнее свое гвазданье и глупые фигуры; выбелил потолок, стены и печь; вынес прежний длинный и простейший дубовый стол, отыскал другой складной и лучший, а для сиденья успел отделать и обить канаве и дюжину стульев. Соседственный Домнинский и принадлежавший г. *Хитрову* столяр призван был еще до отъезда моего в Москву ко мне и подряжен был не только сделать мне в самой скорости помянутыя канаве и стулья, но и выучить еще одного молодого крестьянина моего столярному искусству, котораго рекомендовали мне как отменно к тому способного человека.

По особливому счастью, и случился у меня тогда из молодых крестьян, действительно, с такими отменными дарованиями и способностями, что ему не было нужды учиться долее одного месяца. И как сие время ни коротко было, однако я получил в нем не только хорошаго столяра, но вкупе рещика, токаря, колесника, каретника, золотаря и такого во всем художника, что я был им крайне доволен. И он, живши всегда при мне при помощи моей так всему наблошнися, что в последующие времена в состоянии был вступать в разные подряды, делать и золочивать иконостасы, убирал дворянские дома и предпринимал и другие подобные тому дела, превосходящая почти его силы и возможности, и обучил всему тому не только мне другого человека, но и все свое семейство.

Прибравши помянутым образом свои хоромцы и сделав предпринимаемому торжеству все нужныя приготовления и воздав в 7-й день октября, как в день рождения моего, Творцу и Богу моему благодарение за покровительство Его во все протекшие 24 года моей жизни и начав препроводять 25-й год своего века, пригласил я всех помянутых соседей своих в 17-е число, как в день именин моих, к обеду; и был столь счастлив, что все почти они посещением своим меня и удостоили.

Первым и наиглавнейшим гостем был у меня генерал, мой дедушка, и ея превосходительство его супруга. С ним вместе не отрекся посетить меня случившийся тогда у него и помянутый господин Хвоцинский с женою равно как и старушка, сестра генеральская, с своею невесткою. За сими следовал дядя мой, г. Каверин, но сей был один, а супруга его изволила отказаться и не поехала. Далее пожаловал ко мне ближний мой сосед г. Ладыженский с женою; а как ко всем им присовокупился и отец Илларион с дьяконом, то и составила нарочитая компания.

Поелику было сие еще в первый раз отроду, что я трактовал у себя так многих и столь знаменитых гостей, то старался я угостить их колико можно лучше и сколько ума и знания моего к тому доставало. Но каков сей обед и каково сие угощение было в самом деле, о том я уже и не говорю; а довольно, когда скажу, что я и поныне еще совещусь и сам себя стыжусь, когда ни вспоминаю сей праздник и все его несовершенства и то, как я тогда гостей своих угощал их потчевал. Но правду сказать, чего лучшего можно было и требовать от холостого, в пустом доме жить только начинавшего и всех тогдашних обрядов и обыкновений еще не знавшего молодого и одинокого человека?

Но как бы то ни было, но гости мои угощением моим все были довольны и за столом были очень веселы. Господин Ладыженский развеселял всю компанию своими шутками и издевками и нередко заставлял всех хохотать и до слез почти смеяться. Наилюбимейшая его привычка была говорить виршами, не разбирая, кстати ль бы то было или некстати; но самым тем и смешил он всех присутствующих.

А как после обеда не преминул я всех их сводить и показать им и свой вновь насаженный сад, то тем так их всех очаровал, что они не могли приписать мне довольно похвал. И я получил от торжества сего ту пользу, что с самого того времени начал уже повсюду разноситься обо мне слух, что я, несмотря на всю молодость свою, был хороший эконо́м и превеликий до садов охотник, хотя в самом деле я весьма еще от того был удаленным.

По отпраздновании сего праздника принялся я опять за разныя экономическия дела и, пользуясь достальным и способным к садке дерев временем осенним, успел сделать в новом саду своем еще одно дельцо, а именно положить первое основание садовому своему магазину или питомнику. Я назначил к тому особое место, велел оное вскопать и переделать в грядки; а потом насадил на них множество молодых лесных яблонек; а на иных грядках насажал яблочных зерен или почек, и последовал во всем том наставлениям иностранных писателей. Хотел было я и кроме сего предпринимать еще кое-что в садах моих, но наставшие осенние дожди и ненастья, сделавшие повсюду грязь, и наконец самая стужа и зазимье согнали меня с надворья и принудили сидеть в тепле и помышлять о внутренних занятиях и забавах.

И тогда-то, особливо в короткие и мрачные дни и длинные осенние вечера, почувствовал и узнал я впервые, что такое есть холостая и уединен-

ная, одиночная и прямо деревенская жизнь! И как до того времени жилал я всегда в людстве, был на людях и имел с светом сообщение; а тогда вдруг увидел себя удаленного от всякого сообщения с светом и в совершенном одиночестве и уединении.

Перемена сия, а особливо сначала, по непривычке еще, была для меня очень поразительна! И я не знаю, чтоб со мною было, если б не помогла мне в сем случае охота моя к книгам и литературе. Тут-то оказали книги и науки мои первую и наиважнейшую мне услугу, превратив скоро и самое скучнейшее осеннее время в наиприятнейшее и усладив так мою уединенную жизнь, что не только не чувствовал ни малейшей скуки и тягости, с уединением сопряженной, но, напротив того, был еще так весел, что и не видал, как протекали дни и длинные вечера.

Ибо, не успел я приняться опять за свои книги, как тотчас и завели они меня в разные ученые упражнения и сделали то, что мне и в сие скучное осеннее время сделалась всякая минута так дорога, что мне не хотелось терять оную понапрасну. Почему и находился я в непрерывных упражнениях и занимался то чтением книг, то размышлениями о читанном, то самим описанием и либо сочинением чего-нибудь, либо переводом, либо переписыванием набело. И употреблял к тому не только все дневное время, но просиживал и вечера, и занимался иногда тем до полуночи самой, сидючи один с свечкою в больших своих и пустых почти хоромах и не чувствовал нимало скуки, с таким одиночеством и уединением сопряженной.

Я прочел в сие время не только множество разных книг, но, занимаясь нередко философическими мыслями, сочинил некоторыя небольшие нравоучительныя пиесы. Из сих в особенности памятны мне мысли мои «о времени и о душевном сне», в котором погружены бывають все люди, и некоторыя другие, помещенные в книге, содержащей в себе первые опыты моих нравоучительных сочинений. И сии сочинения могут служить свидетельством тогдашняго расположения и занятия моих мыслей.

Словом, ученые мои упражнения произвели то, что я вместо скуки начинал и тогда уже чувствовать всю приятность свободной и ни от кого не зависимой, непринужденной и спокойной деревенской жизни и не скучал нимало ни временем, ни одиночеством своим.

Единаго мне только недоставало, а именно человека, с которым бы я мог говорить о книгах и о ученых делах и которому бы я мог сообщать самые чувствования души моей и от него тем же самым пользоваться. Из

всех моих немногих тогдашних соседей не находил я ни одного, который бы был к тому сколько-нибудь способен и с которым бы мог я с сей стороны делить свое время. Господин Ладыженский был хотя и добрый, любезный и такой мне сосед, с которым я нередко и с удовольствием видался, но будучи вовсе неученым не мог он быть мне таким собеседником, какого мне недоставало и какого желала иметь вся внутренность души моей.

Наконец, удовлетворено было некоторым образом и в том мое вожделение. В один день, и когда я всего меньше о том думал и помышлял, въезжает ко мне один гость на двор. Мы смотрим и не узнаем, кто б такой был это?.. Но как обрадовался и удивился я, увидев вошедшего к себе самого того господина *Писарева*, с которым познакомился я еще в Кёнигсберге, – с которым съехался и ехал несколько времени вместе во время езды своей в Петербург и с которым не одну, а многие минуты препроводили мы в таких разговорах, какая были для меня во всякое время приятнейшими из всех и составляли истинную пищу душевную!

– Ах, батюшка ты мой, Иван Тимофеевич! – воскликнул я, его узнав. – Откуда это ты взялся? И как это тебя Бог ко мне принес?..

– Откуда и взялся, а вот, видишь, здесь у тебя, мой друг, – отвечал он мне, меня обнимая и целуя. – То-то, держись друга, – продолжал он мне говорить, – не успел узнать и услышать только, что ты приехал в отставку и теперь живешь в своем доме, как на другой же день к тебе и поскакал, мой друг.

– О, как ты меня обрадовал и одолжил тем, – говорил я ему. – Но скажи, пожалуйста, где же ты живешь, и далече ли отсюда?

– Очень не далеко, – отвечал он мне, – всего только верст за тридцать. Я сегодня же, позавтракав дома, к тебе поехал. И вот, видишь, как приехал еще рано.

– О, как я этому рад! – подхватил я, его сажая. – И поэтому мы можем с тобою часто видеться; и ты наградишь мне собою то, чего недостает мне только в нынешней моей деревенской жизни. Пожалуюсь тебе, любезный друг, что хоть много соседей, но истинно не с кем и одного словца разумного промолвить. Но теперь, с тобою, мой друг, можем мы опять по-прежнему говорить и провождать часы в удовольствии особливом.

– Те же вести и у нас, – сказал он, – меня самого наиболее то же протурило сюда. И мне столь усердно восхотелось возобновить наше прежнее дружество с тобою, что я покоя не имел, покуда тебя не увидел.

Я благодарил вновь за то моего любезного гостя и старался угостить его сколько мог лучше. Он пробыл у меня двое суток, и в сие время чего и чего не было у нас с ним говорено, и о чем и о чем не разсуждаемо? Господин *Писарев* не был хотя порядочно ничему учен, не знал хотя никаких языков, кроме своего природного, но, будучи охотник до чтения книг, начитан был всему и всему так много, что можно было с ним говорить как с ученым, обо всем и обо всем и, между прочим, о самых важнейших материях, относящихся до религии и нравоучения. Сии материи были для его еще и наиприятнейшими. А как они таковыми же были и мне, то и препровождали мы многие часы сряду, разговаривая о том с равным с обеих сторон удовольствием душевным.

Вот обстоятельство, которое наиболее меня к сему человеку привязывало. Но и, кроме сего, был он мне и с другой стороны полезен: будучи гораздо меня старей и живучи более моего в большом свете и всю жизнь свою обращаясь между людьми, был он во всем, относящимся до светской жизни, несравненно меня сведущее. Самый тогдашний деревенский образ жизни всех дворян был ему короче и совершенно известен; а как мне всего того недоставало, то и мог он мне в сем случае быть наилучшим советником и наставником; и я не преминул воспользоваться сими его знаниями, взамен тому, как пользовался он моими философическими. Словом, мы взаимно помогали знаниями своими друг другу; но с тою только разностию, что он, будучи меня старее, во всем опытнее и хитрее, умел скоро вперить в меня к себе отменное и такое уважение, что я впал власно как в некое повиновение ему и допустил его взять над собою верх и власно, как некое господствование.

Всходствие чего, как между прочими разговорами, не однажды доходила у нас речь и до того, как мне лучше расположить свою жизнь в деревне, то не преминул он мне давать в том свои советы и наставления. И хотя также говорил, как и все прочия, что одному мне прожить никак будет не можно, а надобно мне будет неотменно жениться; однако не советовал мне никак сим важным делом спешить, но наперед гораздо осмотреться; да и ко всем невестам, которые мне от кого-нибудь предлагаемы будут, не вдруг и не слишком скоро привязываться, а стараться как можно более выигрывать время, для узнания свойств и характера каждой, дабы тем надежнее мог быть выбор и не так легко можно было ошибиться в оном.

Я слушал все сии советы с таким вниманием, какого они были достойны и не преминул рассказать ему о всех невестах, которыхя мне кой-кем были уже сказываемы; а он мне рассказал о тех, какия ему были известны. Но при разговаривании о каждой, качал он только головою, давая чрез то знать, что не почитает ее приличною для меня и такую невестою, на которой бы можно было мне посвататься. В разсуждении каждой находил он что-нибудь, чем ее мог либо опорочивать, либо сделать мне ее неприятною и не завистною.

«Ты у нас, – говорил он мне, – женишок теперь с именем и такой, что как скоро узнают тебя короче все и о всех твоих качествах разнесется молва повсюду, то найдутся многия из девушек, которыхя не отрекутся за тебя выгттить и которых матери и отцы с радостию за тебя отдадут. Но для тебя-то не всякая годится, И потому-то нет нужды и спешить. О достатке я не говорю, – продолжал он, – достаток – последнее дело, и с ним многих невест найти можно; а нужно, чтоб был человек и чтоб тебе весь свой век не с скотиною жить, а чтоб и другая-то половина имела сколько-нибудь таких же склонностей и дарований, какия имеешь ты. Как, например, была бы охотница до наук или любила б, по крайней мере, читать книги и чтоб было тебе с кем промолвить слово».

Я одобрял все, им говоренное, и положил следовать в сем пункте его совету и просил помогать мне в том дружескими своими советами, – что он и обещал мне свято.

Препроводив двое суток у меня с отменным для обоих нас удовольствием, поехал он, наконец, домой, но взяв наперед клятвенное почти обещание с меня, чтоб приехать к нему как скоро только мне возможно будет, – что я не только обещал ему охотно, но и действительно сдержал свое слово и чрез несколько дней к нему поехал.

Я нашел его живущаго в доме отца своего, который был старичок простенькой и ничего почти не значущий. Оба они были мне очень рады и старались угостить меня всеми образами. Третий жил с ними меньшей его брат, нынешний владелец сего имения; женщины же никакой у них тогда не было. Сам старик был давно уже вдов, а оба его сыновья еще холосты; дочери же, которую он одну только и имел, не было тогда дома. Находилась она у какой-то родственницы в Смоленске, и приятель мой неведомо как тужил о том, что находилась она в отсутствии. И как о сей девушке не один, а много раз доводил он речь и стороною неведомо как расхваливал

ее характер и охоту ее к чтанию книг, а особливо важных и нравоучительных, то хотя он и не предлагал никогда ее мне в невесты и как тогда, так и после ни однажды и не заикался о том, однако непомерные расхваливания его показались мне с самого начала как-то подозрительными. И я не однажды сам себе говорил: «Уже не прочит ли он за меня сестры своей и не скрывается ли у него в уме какой замысел». А всходствие того решил-ся я и в разсуждении сестры его брать такая же предосторожности, какия советовал он мне принимать против других, и не допускать никак и его запутать меня в такая сети и тенета, из каких не можно б было мне после выдраться.

Ночевав у него две ночи и препроводив также все сие время в приятных с ним разговорах, возвратился я домой и, занявшись опять прежними своими упражнениями, стал поджидать к себе меньшую свою сестру из Кашина. Поспешение приехать домой и разныя другия обстоятельства не допустили меня заехать к ней, едучи из Пскова в деревню. Однако из Москвы не преминул я ее о себе уведомить и звал ее усильным образом, чтоб она приехала ко мне для свидания. А как не было на письмо мое никакого ответа, то и ласкался я надеждоу увидеть скоро ее в родительском доме; однако счет сей делан был без хозяина, как то означится ниже.

Кроме сего, не помню я ничего особливаго, что б случилось со мной в течение всей осени, кроме того, что женил я младшаго из бывших со мной в службе слуг и тогдашняго своего камердинера и лакея *Аврама*. И как в доме не случилось тогда ни одной девки, которая б могла б быть ему невестою, то в удовольствие старика прикащика, отца его, купил я девку ему в одном соседственном дворянском доме и, по тогдашней дешевизне, только за десять рублей. А как был в доме у меня и другой жених, брат старшаго моего слуги, *Якова*, то восхотелось сделать мне и ему удовольствие и женить таким же образом его брата на купленной в постороннем доме девке.

Впрочем, по наступлении настоящей зимы начал я мало-помалу собираться ко вторичной своей езде в Москву. Причины, побуждающия меня к сей езде, были разныя. Во-первых, хотелось мне пожить сколько-нибудь подолее в Москве и спознакомиться короче с прежними моими знакомцами и родными, которых в первую мою поездку я видел только вскользь и сдружиться с ними не имел и времени. Во-вторых, нужно было мне и побумдироваться и запастись таким платьем, какого у меня не доставало.

Далее думал я и том, не случится ли мне где-нибудь найти себе и невесту, с мыслями моими согласную: ибо, признаться надобно, что женитьба часто уже и самому мне приходила на мысль и возбуждала желание. Стечение в Москву со всех сторон в сию зиму дворянства, по случаю пребывания императрицы в оной, подавало к тому некоторую надежду; а к тому ж хотелось воспринять участие и в разных увеселениях, о которых молва носилась, что в ту зиму в Москве будут. Наконец, и что всего важнее, хотелось мне из Москвы съездить и в Кашин, чтоб повидаться там с сестрою своею, которая уведомляла меня чрез письмо, что самой ей быть ко мне никак было не можно, и звала меня к себе для свидания.

Но как к путешествию таковому потребны были деньги, а у меня от прежних оставалось уже очень мало, то не мог я в путешествие сие прежде отправиться, как дождавшись возвращения отправленного в Москву обоза с хлебом. Сей обоз был первый, который отправил я при себе на продажу. И хотя я всячески старался сделать его многочисленным, но денег привезли ко мне за него весьма-весьма умеренное количество: но чему и дивиться не можно, если разсудить о тогдашних низких ценах хлебу и другим нашим деревенским продуктам. Рожь не выкупалась тогда выше рубля четверть; а которая была хуже, за ту не более 90 и 80 копеек давали. Ячменя четверть продавалась только по 90, а овса по 80 копеек; самое пшено и пшеница покупалась только по 160, а крупу и горох по 150 копеек четверть; самое масло покупалось только по 180 копеек пуд. Не ужасная ли разница с нынешними ценами, и что тогда и на превеликом обозе получить было можно?.. Но зато и сахар продавался тогда не дороже 10 рублей пуд, а в сравнении с ним и все другия вещи также. Вот какая разница произошла в течение каких-нибудь 30 или 40 лет! Но и то правда, что мы тогда не имели еще бумажных денег и не розданы еще были толь многие миллионы оных займы дворянству.

Снабдив себя деньгами и собравшись в путь, отправился я в оный на другой день Рождества Христова. Но выезд в сей раз был мне очень неудачен. Не успел я проехать Серпухов, как занемог рвотою и жестоким поносом так сильно, что испужавшись, чтоб не слечь в дороге, велел я тотчас оборачивать назад оглобли и везти меня обратно в деревню; но, по счастью, болезнь моя была самая кратковременная, не продлилась более одних суток и не имела никаких дальнейших последствий: ибо, как произошла она единственно от того, что я, разговевшись на Рождество,

неосторожно наелся свиного желудка и тем свой желудок испортил; но не успела рвота и понос желудок мой очистить, как вся болезнь и прошла благополучно сама собою, и я в скором времени так оправился, что мог смело отважиться опять в путь свой и приехал в Москву благополучно.

Но как с сего времени наступил не только новый 1763-й год, но некоторым образом и новый период моей жизни, то и начну я описывать оный в письме будущем, а теперешнее тем кончу, сказав вам, что я есмь и прочая.

МОСКОВСКАЯ ПЕРВАЯ ЖИЗНЬ

Письмо 105-е

Любезный приятель!

Начиная теперь описывать вам новый и особый период жизни и происшествия, случившиеся со мною в течение 1763-го года, скажу вам, что период сей потому почитаю я некоторым образом особливим, что в оный спознакомился я сколько-нибудь с нашею приватною дворянскою светскою жизнью. Ибо до сего времени была вся жизнь моя более военная, находился я наиболее вне отечества своего, занимался мыслями своими более о книгах и ученых делах, а о светской жизни и обращении в оной имел всего меньше попечения; и потому относительно до оной был я почти совершенный еще невежда, и мне не только доставало потребных к тому сведений и навыка, но было во мне много еще дикаго, грубаго и необолваненнаго¹, – так, что я в светском обращении, а особливо в нашем дворянском приватном роде жизни, был еще очень несовершенным и представлял собою фигуру, со многими недостатками сопряженную. И с сего только времени начал я с сей стороны сколько-нибудь и малопомалу выправляться. Ибо, что касается до первых четырех месяцев, прожитых в деревне, то и сие время, препровожденное мною наиболее в уединении, не могло еще к тому много способствовать и преподало мне только случай узнать и приметить собственные мои в том и с сей стороны недостатки.

¹ Неотесанного; оболванить – обтесать, придать желаемый вид.

Сим выправлением своим обязан я сей первой моей московской жизни или паче тем четверем домам, с которыми наиболее я тогда ознакомился и в которых наиболее проводил свое время. Все они были мне родные и для меня очень благоприятные и дружественные. Но дабы преподать вам лучшее о том понятие, то расскажу об них подробнее.

Первейшим и более всех соучастие в том имевшим домом, был дом прежде упоминаемого г. *Павлова*, шурина моего дяди. Как из всех родственников не имел я никого ближе сего родного брата покойного родителя моего и от него был искренно любим, то и хотелось ему, чтоб я, приехав в сей раз в Москву не на короткое время, а с тем, чтобы в оной несколько недель пожить, видался с ним как можно чаще; и для удобнейшаго произведения сего в действие стал квартирою поближе к их дому. Сперва хотелось было ему, чтоб я стал у них в самом том доме, где он тогда жил, на что и шурин его был согласен; но как дом сей был несколько тесноват и не нашлось в нем для меня особых покойцев, а к тому ж и самому мне не хотелось быть всякий час связанным и я лучше хотел жить где-нибудь на свободе, то при помощи их и приискана была мне шагов за 100 от их дома изрядная квартирка в каменном доме одного из попов, принадлежащих к церкви Климента папы Римскаго, где я по приезде своем и расположился.

Не успел я еще в оной разобраться и сколько-нибудь обострожиться, как и был уже от г. *Павлова* приглашен к нему к обеду. Весь дом сей, сделавшийся мне уже при первом моем приезде в Москву знакомым, обрадован был тогда моим приездом, и все хозяева онаго принимали меня тогда как бы близкого своего родного и оказывали мне наивозможнейшие ласки. Происходило сие отчасти от того, что они искренно любили моего дядю, а по нем и мне как ближнему его родственнику хотели оказать свое благоприятство. А наиболее и сам я подал им к тому повод, ибо я имел счастье как-то им и в прежнюю уже мою бытность у них в особенности понравиться. А в сей раз не успел я у них несколько раз побывать, как и стали они принимать меня как бы действительно своего ближняго родного и обходились со мною без всяких чинов, но дружелюбно, откровенно и так, что я всем обращением их со мною крайне был доволен.

Благоприятство их ко мне было так велико, что они усиленным образом просили меня почитать их за своих ближних родных и не только приезжать и приходить к ним всякий день, когда ни случится мне быть дома

– обедать и ужинать; но делить с ними и все прочее время, когда только я иметь буду к тому досуг и находиться дома.

Предложение такое было мне как холостому, одинокому, заезжему и никого еще в Москве почти не знающему человеку весьма-весьма непротивно. И я охотно на то согласился, и тем паче, что дом сей был не из самых чиновных и не такой, где б наблюдаем был во всем этикет и где б долженствовало быть во всегдашней принужденности. Ибо что касается до самого старика хозяина, то был хотя человек богатой, но самой простой, скупой и дряхлый и никуда почти со двора не выезжавший, и относительно до меня очень ласковый, и меня за тихое и скромное поведение очень полюбивший.

Но, напротив того, жена его была боярыня умная, расторопная, нарочито бойкая, знающая светское обращение и старающаяся жить так, как живут другие, с наблюдением, однако, во всем доброго хозяйства и благоустройства в доме. И как я имел счастье поведением и всеми поступками своими и ей понравиться и полюбиться, то обходилась и она со мною не только ласково и дружелюбно, но так как бы действительно родная. И я выправлением всех своих несовершенств и недостатков весьма много обязан ее советам и обращению со мною. Что касается до моего дяди и тетки, то от них научиться и перенять мне было нечего; они сами были люди совсем не светские, а благодущные и простые, и я пользовался только их к себе ласкою и приязнию.

Итак, сей-то дом был первым, в котором, бывая всякий почти день и проводя действительно все праздное время, спознакомился я сколько-нибудь с обращением светским. Ибо как хозяева жили не совсем уединенно, а был к ним и довольный приезд всякаго рода людей, то и имел я тут случай насмотреться, наслышаться и навывкнуть многому, к чему несколько поспешествовали и оба сыновья г. *Павлова*, бывшие уже взрослыми и воспитаны так, как требовала тогда светская жизнь и обращение. И как я всегда за правило себе поставлял прикраиваться во всех возможных случаях не только к старикам и степенным людям, но и к молодым и даже самым детям, то полюбили и они оба меня также и обходились со мною искренно и дружелюбно. Словом, я был всем семейством г. *Павлова* и даже всеми приезжавшими к нему его родными и знакомыми очень доволен, и многие дни и часы с удовольствием особым препроводил в их доме.

Другой дом, имевший также в поправлении моем великое соучастие, был того дяди моего, г. *Арсеньева*, о котором упоминал я вам уже прежде и которому я так много обязан был в моем малолетстве. Я ездил к нему так часто, как только мне можно было; и как дядя, так и тетка принимали меня всякий раз с обыкновенным их ко мне дружелюбием, ласкою и благоприятством. Как оба они жили тогда в большом свете и к ним также был довольный проезд, и редко случалось, чтоб я у них не находил кого посторонних, и во всем наблюдалось тут уже более чинов и этикета, то имел я случай насмотреться многому такому, чего не видал в доме г. Павлова, и занять также для себя кое-что, к поправлению недостатков моих служащего, и был с сей стороны и сим домом обязан многим.

Третий дом, в который я также в сию бытность мою в Москве часто ездил, был прежде уже отчасти упоминаемого родственника моего, господин *Бакеева*, по имени *Василья Никитича*. Он был внучатной брат покойной моей матери и знаком и дружен очень с покойными моими родителями и всегда благорасположен к нашему дому. Но мне как-то до того времени знаком он был только по одному слуху и по деланным кой-когда нам одолжениям; лично же его узнать никогда мне до сего времени еще не удавалось. А в сей раз я за первый долг себе почел к нему съездить и, спознакомившись, поблагодарить его за все деланные им прежняя к дому нашему одолжения.

И как доволен я был, что сие сделал! Я нашел в нем такого родственника, какого только могла желать душа моя. Был он человек самый добрый, благоприятный, степенный, обхождения самого простого, милаго, откровеннаго, нецеремониальнаго и так меня обласкал, что я с перваго нашего свидания искренно и столь много его полюбил, что с особливым удовольствием обещал исполнить то, чего ему и всему семейству его очень хотелось, а именно, чтоб я видался с ними и приезжал к ним как можно чаще.

Сему дому обязан я был также чрезвычайно много относительно до усовершенствования моего поведения. Люди они были хотя небогатые, но жили порядочно и в светском обращении были столь знающы, что весьма много занял я с сей стороны и в их доме.

Но никто не имел в том столько соучастия, как его дочери. Он имел их двух, и обе они были девушки уже взрослые, обе умницы, прекрасныя собою и столь ласковаго, приятнаго обращения и таких хороших и благо-

нравных характеров, что они очаровали меня своим поведением; и, обходясь со мною как с родственником своим без всех чинов и принуждения, ласками и благоприятством своим так меня к себе привязали, что дом их сделался мне наиприятнейшим из всех и таким, в который я охотнее, нежели во все другие, ездил и, несмотря на всю отдаленность их жилища от моей квартиры, бывал у них очень часто.

Но к сему много побуждали меня и всегдашняя просьбы и приглашения стариков, их родителей. Оба они в короткое время так меня полюбили, что обходились со мною как с самым ближним родным своим. В особенности же доволен я был ласкою старушки тетки, жены его. Она была не природная россиянка, а иностранка из каких-то азиатских пределов, но, будучи в самом малолетстве воспитана при дворе еще императора *Петра Великого*, сделалась россиянкою, имела тихий, добродушный, ласковый и самый добрый характер, любила меня чрезвычайно и обходилась со мною не иначе, как с родным сыном.

Сих было у них два. Старший из них назывался *Тихоном*; был уже секретарем сенатским и женат, и жил от них особо и своим домом; а другой, *Алексей*, жил при них, и малый был добрый. Из дочерей же их звали одну *Татьяною*, а другую *Палагеею*. И была между ими та разница, что хотя и обе они были и умны и хороши собою, но большая была блондинка и несколько простодушнее, а меньшая брюнетка и во всем превосходнее сестры своей, и была не только лицом очень хороша, и рост имела прекрасный и пропорциональный, и фигуру представляла собою во всем прелестную, но и жива, умна, приятна, ласкова и одарена всеми качествами, делающими девицу совершенною.

Впрочем, как они были очень въезжи в дом к одной княгине – *Долгоруковой* и были ею крайне любимы и чрез самое то наиболее и навыкли светскому обращению, то чрез их познакомился и я с сим домом, – которой был четвертый, имевший в поправлении моем великое соучастие и сделавшийся также чрез короткое время мне весьма приятным. Княгиня сия была им так, как и мне, по деревням соседка, а мне еще и сродни. Мать ее, которую родители мои называли своею теткою и имели к ней особое почтение, жила в том же сельце Калитине, где жил и помянутый дядя мой г. *Бакеев*, и в котором жили и все предки мои с матерней стороны; да и сама покойная мать моя родилась и воспитана была в оном у деда своего, *Гаврилы Прокофьевича Бакеева*.

Почтенная и важная старушка сия, которую я сам еще запомню, выдав ее в малолетстве, называлась Авдотьею Игнатьевною Пущиною, и было у ней всего только двое детей, сын и одна дочь. С семи детьми ее натура поступила не с одинакою благосклонностию, но сколько благоприятна была ее дочери, произведя ее превеликою красавицею и сделав чрез самое то ее потом счастливою, столько, напротив того, немилосерда была к ее сыну, произведя его дурным и неуклюжим. К вящему несчастью, случилось еще ему самому себя особливым и нечаянным образом и застрелить.

Некогда, будучи уже в совершенном возрасте и находясь в службе, приехал он в отпуск повидаться с помянутою матерью своею и, находясь у ней в Калитине, увидел однажды из окна сидящих на дворе ворон. Вдруг приди ему охота застрелить оных. Он схватывает ружье, о котором знал, что было оно заряжено дробью, выбегает на крыльцо, прицеливается, спускает курок, но ружье обсекается. Он досадует, хочет поправить кремень – не находит на полке пороху, удивляется и заключает, что он в мнении своем обманулся и что ружье было либо не заряжено, либо кем выстрелено. Чтоб удостовериться в том, схватывает он за дуло, подносит его ко рту и, всунув в рот, в него дует. Но в самый сей несчастный момент ружье разряжается, выстреливает ему в рот и он падает мертв на том же месте с расковерканною головою.

Легко можно заключить, каков тяжел был сей удар несчастной старухе, его матери, любившей его чрезвычайно и имевшей в нем одного по себе наследника! Ибо, что касается до помянутой ее дочери, то была она уже замужем. Некто из фамилии господ *Дохторовых*, человек хотя пожилой, но очень богатый, пленясь красотою ее, на ней женился и она имела от него уже сына. И как старуха, почитая ее уже пристроенною к месту удачно, то и имела всю надежду на помянутаго сына. Она не могла никак перенести несчастной его кончины, и не в продолжительном времени и сама последовала за ним в гроб, и помянутая дочь сделалась всему имению ее наследницею.

Но и сия недолго после ее жила с своим мужем: смерть похитила его у ней.

И как она осталась после его еще очень молодою и была еще во всем блеске красоты своей, то как для красоты, так и великаго достатка и женился на ней один из наших князей *Долгоруковых*, по имени *Иван Алексеевич*. И с ним-то жила она тогда в Москве в пышном и огромном каменном

своём доме и воспитывала при себе помянутого сына своего, бывшего тогда уже мальчиком лет 15-ти, и столь же прекрасного, какова была сама она и француз учитель обучал его наукам.

В сей-то дом были помянутыя родственницы мои въезжи. И как княгиня была и им сродни, как и мне, и любила их чрезвычайно, то не только бывали они у ней очень часто, но иногда и живали по нескольку недель у ней. И поелику дом сей принадлежал к домам довольно уже знатным и обращение в оном было всегда многолюдное и большого света, то от самага того и научились они всему светскому обхождению так, что по незнанию можно б было их почесть воспитанными в домах знатных.

Не успели они со мною познакомиться как не преминули они пересказать обо мне и помянутой своей знакомке и родственнице и наказыали ей столь много обо мне хорошаго, что княгине нетерпеливо захотелось и самой спознакомиться со мною. Она помнила еще мою мать и всю ту дружбу и приязнь, какою пользовалась она от ея матери; а видая и самого меня еще ребенком, не только не отрекалась тогда от родства со мною, но и хотела усердно меня видеть.

Мне тотчас было сие пересказано. И как она поручила помянутым родственницам моим звать и привести меня к себе, то и должен я был на другой же день к ней ехать с ними и их родными. Княгиня приняла меня с такую ласкою и благоприятством, какого я мог только ожидать от самой ближней родственницы. И как имела она характер самый добрый и изыщный и была не только умна, но и весьма тихаго и хорошаго нрава и поведения самого честнаго и порядочнаго, а притом в обхождении с людьми была негорделива, а очень ласкова и дружелюбна, – то всем тем она так меня очаровала, что я с перваго свидания возымел к ней и ее мужу искреннюю любовь и почтение, и весьма охотно согласился выполнять ее желание и приезжать к ним чаще, и был столь счастлив, что в короткое время и они меня так полюбили, что не хотели почти со мною разстаться.

Сим-то четырем домам обязан я всем исправлением нравственного своего или паче житейскаго характера, и в сии-то четыре дома ездая я наиболее в сию бытность мою в Москве. И как мне иных дел в Москве было мало, кроме исправления некоторых покупок, кои я в первые дни тотчас же и исправил, на квартире же своей сидеть одному было уже слишком скучно, то и употреблял я все почти свое время на сии разъезды; и проходил редкий день, чтоб я в которм-нибудь из сих домов не был и либо обе-

дал, либо ужинал. И как везде я был принимаем хорошо, везде мне были рады, везде меня ласкали и мне благоприятствовали, то могу сказать, что все время тогдашнего пребывания моего в Москве протекло для меня так весело, что я и не видал, как миновало уже несколько недель с моего приезда.

Нельзя изобразить, сколь многому насмотрелся я, бывая во всех упомянутых мною домах, и какое множество получил новых для себя понятий! Всегдашнее обращение с людьми есть лучший для нас наставник и учитель. И как-то уже всем нам свойственно то, что от всякаго рода сожития и обращения с людьми всегда что-нибудь и само собою и без всякаго умышленнаго перенимания прилипает, то кольми паче¹ прилипало тогда ко мне все то, что я видел и слышал в домах сих хорошаго, когда о том я и сам еще старался и не упускал замечать в мыслях своих всякую всячину.

Впрочем, не помню я, чтоб в сию бытность мою в Москве произошло со мною что-нибудь особенное, кроме немногаго нижеследующаго.

Первое было то, что и тут везде, где ни бывал я у моих родственников и знакомцев, твердили мне все то же, что говорено мне было уже в деревне от моих соседей и знакомцев, а именно, что мне надобно жениться и помышлять уже и о сыскании себе невесты. Напоминания таковыя слышал я везде и везде и слышал многожды. И хотя я нимало того не отвергал, но паче и сам охотно со мнением их соглашался, и нередко всем им говаривал: «За чем дело стало? Жениться так жениться; а сыщите только невесту».

Но как просьбы о том никогда почти не были прямо серьезныя, а наиболее смехом, и никому еще не хотелось входить в сватовство, а все наиболее отзывались тем, чтоб я сам наперед приискал себе по мыслям своим невесту, то и не доходило еще никогда до настоящаго сватовства. Один только дядя мой, Матвей Петрович, и любезный мой сосед, Александр Иванович *Ладыженский*, который также в сие время был в Москве, и с коим мне случилось увидеться, поступили несколько далее.

Первый, по любви своей ко мне, настоял всех больше на то, чтоб я искал себе невесты и женился скорее. Не проходило почти ни одного дня, в который бы не возобновлял он вновь со мною о том разговора и чтоб не спрашивал меня: не случилось ли мне где-нибудь заприметить девушки такой, которая бы мне годилась в невесты? Но как я всегда сказывал ему,

¹ Кольми паче, коли – тем более, особенно.

что – нет, как то и действительно было, то всякий раз и сожалел он вновь, что не было тогда в Москве одной девушки, бывшей у него на примете, и такой, которая, по мнению его, могла б годиться мне в невесты, а именно госпожи *Палициной*, – и самой той, которая была после за г. *Хрущовым*, Федором Яковлевичем.

О сей девушке упоминал он мне еще в самую первую мою в Москве бытность и, приписывая ей многия похвалы, не сомневался почти в том, что ее за меня отдадут, как скоро я посватаюсь. А и в сей раз не проходило почти дня, в который бы он ее не напоминал и мне не расхваливал. Но я не знаю, что-то особое и непостижимое меня так от невесты сей удаляло, что я с самого начала не хотел нимало прилепляться к ней своими мыслями; а после всякий раз даже и слышать не хотел о ее имени, хотя я ее никогда не видал и какова она, о том ни малейшаго понятия не имел. Может быть, происходило от того, что невеста сия казалась мне слишком против меня недостаточна: ибо дядя мой с самага начала от меня того не таил, что за нею не более 50-ти душ; а сие количество, по свойственному желанию всем женихам – жениться на богатых невестах, казалось мне уж слишком мало.

Я хотя и не искал себе слишком богатой невесты, каковую б получить за себя и не надеялся, но на слишком бедной жениться мне также не хотелось; а особливо потому, что и собственный мой достаток был не слишком велик, а весьма-весьма незнаменит. Почему и твердил я всегда, что хорошо бы, когда мой был обед, а женин ужин. Вследствие чего и не спешил прилепляться слишком скоро к небогатым невестам, но ожидал от времени – не случится ли богаче и лучше. А потому из сего предложения дяди моего ничего и не вышло; и сколько он мне об ней как тогда, так и после того не твердил, но я не только свататься, но и видеть ее и тем паче не соглашался, что не почитал дядю своего способным судить о качествах невесты, а особливо когда и самому ему она не была коротко знакома.

Что ж касается до помянутаго соседа моего, господина *Ладыженскаго*, то сему, также по любви своей ко мне, вздумалось мне предложить: не хочу ли я видеть одних знакомых ему и тогда в Москве находившихся девушек и не понравится ли мне какая-нибудь из них, в котором случае мог бы он охотно взять на себя комиссию и за меня посватать.

– А ежели не придет ни одна по мыслям, – говорил он, – то так тому и быть: мы и не начнем никакого дела.

– Очень хорошо, – сказал я, – посмотреть не диковинка, но только без всякого наперед сватания. Но как же это можно? И кто они таковы? И как богаты? Это мне также наперед знать надобно.

– Это и дело, – отвечал он. – И все это я тебе, сосед мой дорогой, и расскажу. Видеть можем мы их в собственном их доме; сядем-таки в санки с тобою вместе и поедем прямо к ним в дом. Мне они знакомы и несколько сродни: отец их доводится мне дядя, а они – сестры. Однако не подумай, чтоб я тут мог иметь какое пристрастие; этого ты от меня не опасайся, и для меня все равно: полюбится ли тебе из них какая или нет. А чтобы лучше можно было тебе их рассмотреть, то поедем так, чтоб нам можно было их застать врасплох и нимало не предуведомляя о нашем приезде. Я скажу, что я вместе с тобою ездил в город, и как давно с ними не видался, то вздумал к ним заехать и уговорил тебя сделать мне компанию.

– Очень хорошо, – сказал я, – и это всего лучше. Удастся – квас, а не удастся – кисляя щи!

– Ну, ладно! – подхватил он. – А на другой твой вопрос, кто они таковы, скажу тебе, что они *Кушелевы*. Что ж касается до того, сколь они богаты, о том не могу сказать тебе в точности; и сколько отец приданого даст – не знаю. А то только скажу, что и сам он не слишком богат и многого дать ему за ними не можно. К тому ж, есть у него еще и сын. Однако об этом в точности узнать можно после; а наперед посмотреть только: ежели и не полюбится ни одна, то и начинать нечего.

– Хорошо, – сказал я, – изволь, поедем.

Мы, не отлагая сего дела вдаль, и произвели оное в действие, и в дом господина *Кушелева* ездили. И один вид уже сего дома не обещал мне ничего хорошаго. Был он самый старинный, низенький и обветшалый. Нас провели через закоптевшую от древности залу в гостиную, которая была еще того темнее и имела приборы наипростейшие в свете. Тут нашли мы самого хозяина, лежащего в расслаблении в одном углу, подле дверей са-мых. Он был рад нашему приезду и посадил нас подле себя.

Между тем покуда мы с ним говорили и он меня кой о чем расспрашивал, искал я с любопытством девиц, дочерей его, и за темнотою комнаты и самых почти сумерок, насилу усмотрел их, сидящих всех рядышком в черном платье подле противоположной стены и в нарочитом от нас отдалении.

Я напрягал, сколько мог, зрение мое для точнейшего их разсматривания; но не находил ни в одной того, чего искал. Все они казались мне де-вушками изрядными; но ни одна не была по моим мыслям и таковою, чтоб могла сколько-нибудь привлечь на себя особенное внимание. В самой луч-шенькой из них не только не находил я ничего для себя прелестнаго, но было в ней что-то такое особенное, что меня от нее власно как отторгало. А как сверх того, в доме сем наблюдались такая чины и во всем примет-на была превеликая и такая принужденность, что я не слышал ни единого слова, выговоренного девушками сими, то все сии обстоятельства, а вкупе и небогатое состояние самого дома так мне не полюбилось, что я захотел уже из онаго скорее вырваться. И потому, мигнув товарищу своему, побу-дил его поспешить окончанием нашего визита и своим отъездом.

Не успели мы выехать за ворота, как спросил меня мой товарищ о том, каковы показались мне девушки?

– Что, братец, – сказал я, – девушки изрядныя; но что-то ни одна из них не пришла мне как-то по мыслям. Но в образе и самой лучшенькой из них, которую ты называл Анною Ивановною, находил я что-то особенное, и такое, что вселяло в меня некоторое от нее и непреоборимое отвраще-ние. И по всему видимому вряд ли ей быть когда-нибудь моей невестою: и судьба видно ее не мне, а кому-нибудь другому назначила.

– Это я отчасти и сам в тебе заприметил, – сказал мне мой товарищ. – А как в то время, когда ты выходил вон, я успел с дядею словца два и о тебе и о приданом перемолвить, то узнал, что хотя ты ему полюбился очень-очень и он охотно бы хотел иметь тебя своим зятем, но приданое-то за ними так мало, что я ажно ужаснулся и тужил уже о том, что и привозил тебя сюда. А теперь благо и тебе они не понравились, так и Бог с ними, и мы дело сие и оставим.

Сим образом кончилось тогда сие происшествие и начальное мое, так сказать, полусватанье и неудачное свидание с невестами. Я выложил их тотчас из головы, и тем паче, что не находил в них и сотою доли тех при-ятностей и совершенств, какия видел я почти ежедневно в родственни-цах моих *Бакеевых*, а особенно в меньшей, и каковыя хотелось мне охотно найтить в своей невесте.

Дело сие так тогда и осталось; но после, как случилось нам с помяну-тою Анною Ивановною, бывшею потом замужем за г. *Сухотиным*, жить несколько лет вместе в одном городе и ежедневно почти видеться и быть

очень знакомыми, то увидел тогда я, что сама судьба и невидимое попечение обо мне Божескаго Промысла похотело спасти меня от сей женщины. Была она весьма страннаго и такого характера, что муж мукою с нею мучился и, наконец, едва было не лишился от ней самой жизни.

Будучи подвержена слишком той слабости, что любила втайне испивать, дошла она однажды даже до того, что отравила было мужа своего ядом, и он с нуждою отлечился от действия онаго. Все они ныне уж покойники; и как муж ее был мне добрым приятелем и любил меня чисто-сердечно, то не могу и поныне вспомнить его без сожаления и не пожелать праху его мира и спокойствия.

Другое происшествие, случившееся тогда со мною, было хотя самое бездельное, но странностию и редкостию своею особливаго примечания достойное. Состояло оно ни в чем ином, как в виденном только мною одном сновидении; но сновидении таком, котораго я во всю мою жизнь не мог позабыть, и которое по смерти не забуду. Словом, оно было такое, что я со всею своею философиєю, и при всех своих обширных психологических сведениях о силах и действиях души нашей, не мог никак добраться до того, как могло оно произойти и сделаться в душе моей. Было оно следующее.

Некогда, и как теперь помню в ночь под воскресенье, приснилось мне, будто я в санях своих, в каких я тогда ездил, еду по Москве и, переехав Каменной мост в самом том месте, где с улицы сей поворачивают на Пречистенку, встречаюсь вдруг с другими санями, везомыми двумя серыми добрыми лошадьми и покрытыми зеленою медвежьею полстью, и в санях сих вижу сидящаго стариннаго своего однополчанина и друга, *Алексея Дмитриевича Вельяминова*, а на запятках за ним стоящаго слугу его, Илюшку, – который тогда, как мы с ним живали и едали вместе, обоим нам служил и был нашим общим камердинером и официантом. И что будто я, обрадовавшись увидев сего моего друга, котораго я уже несколько лет и с самого того времени не видал, как с ним в Кёнигсберге разстался и он пошел с полком в поход, – вдруг его останавливаю, с ним здоровкаюсь, спрашиваю у него, где он ныне находится? И что будто он мне рассказывает, что он находится уже давно в отставке и живет ныне в Чернской своей деревне. А таким же образом и я ему рассказывал о себе.

Мечта сия так глубоко впечатлелась в мою память, что, проснувшись поутру, не позабыл я ни одной черты оной и подивился еще тому, как это

вздумалось в душе моей проснуться мыслям о *Вельяминове*, о котором я года три и не помышлял ни однажды? Но, посмеявшись тому и сочтя все сие сновидение пустым и ничего не значущим, так это все и оставил.

Но вообразите себе, не чудо ли сущее вышло из сей мнимой безделицы и не самое ли странное и удивительное было дело, когда власно как нарочно случилось так, что мне в самый тот же еще день надобно было за Москву-реку к дяде моему, г. Арсеньеву обедать и переезжать Москву-реку по Каменному мосту, – следовательно, действительно ехать по самому тому месту, которое видел я за несколько до того часов в сновидении, – и подумайте, сколь удивление мое было чрезвычайно, когда я, доехав до помянутого поворота на Пречистенку, в самом том месте, действительно встретился с санями, запряженными парюю добрых серых лошадей, покрытыми зеленою медвежьей полстью, и увидел в них едущаго друга моего *Алексея Дмитриевича* и позади его слугу его *Илюшку*, стоящаго на запятках?!. Видение сие так меня поразило, что я обомлел почти от удивления и, боясь, чтоб г. *Вельяминов* от меня не уехал, закричал во все горло: «Стой! Стой! Стой!» и бросился сам из саней обнимать сего милаго и любезнаго своего друга. Он не менее моего обрадовался, меня увидев, но не менее моего и удивился, когда я спешил рассказать ему всю чудесность своего сновидения и то, что я за несколько часов его и с *Илюшкой* его и точно на самом этом месте видел, с ним говорил и что он мне рассказывал, что находится ныне в отставке и живет в своей *Чернской* деревне. «Это действительно так, – воскликнул он, еще более удивившись, – я подлинно ныне в отставке и живу в *Чернской* своей деревне и оттуда только вчера сюда ненадолго приехал».

Мы простояли тогда более получаса на сем месте: расспрашивали обо всем друг друга и не могли сновидению моему надивиться довольно. Оно и в самом деле было удивительно; и всю редкость и необычайность онаго составляло собственно то, что я видел в самой точности такое происшествие, котораго еще не было и кое долженствовало еще чрез несколько часов произойти на свете! Словом, я не понимаю, как это сделалось и не позабуду сего сна по гроб мой, а всегда стану ему удивляться, равно как и другому на него похожему, виденному мною в бытность мою уже в *Богородицке*.

Сие было второе происшествие; а третье было всех маловажнее и более смешное, нежели достопамятное. Состояло оно в том, что хозяин того

дома, где я стоял квартирою, чуть было однажды не задушил нас дымом. «Как это?» – спросите вы, удивившись. А вот каким образом.

Я вам сказывал, что дом, в котором мне наняли квартиру, был поповский и принадлежал одному из попов Климентовой церкви. Теперь скажу, что квартирка сия была изрядная: я имел внизу две чистенькия и светлыя комнаты с кафлею голанскою печью; а сам хозяин удалился жить в находящуюся на чердаке и прямо над моим покойцем комнату. И как он был человек старый, а притом вдовый и одинокий, то для его было сей горенки и довольно.

Квартиркою сею был бы я и доволен совершенно, если б только хозяин мой не наводил мне иногда беспокойства.

Имея привычку выпивать иногда излишнюю рюмку вина и при таких случаях напиваться до безпамятства, делывался он тогда, власно как сумасшедшим: бродил по всему дому и по всем комнатам и углам оных, шумел, бурлил, кричал и проказничал. Но что всего хуже, то никому уже не можно было тогда с ним сладить. Но я всего того не знал и не ведал, ибо как случалось сие более в мое отсутствие и я, при возвращении на квартиру, находил его уже затворившимся в своей горенке и спящим, то и не было мне до него ни малейшей нужды.

Но вообразите, как удивился я, когда, заехав однажды после обеда для взятъя некаких вещей на свою квартиру, вдруг услышал я в самой комнате моей превеликий крик и стук. Я не понимал, чтоб сие значило и спешил растворить дверь. Но как удивился я еще более, когда увидел тут превысокаго мужичину, с большою рыжею бороною, с растрепанными и с склокоченными волосьями, в засаленном и неподпоясанном китайчатом полукафтани, босиком и в одних только туфлях, в безобразнейшем виде, с превеликим вскрикиванием и крепким топанием ногою об пол, приступающаго к нарисованной на стене углем вороне, торкающаго в нее пальцем и с таким рвением и криком с нею разговаривающаго, что он никак не видел и не слышал, что ему кто ни говорил, и никого не слушая и толкая всех от себя, продолжал только свое дело как сумасшедший! Удивился и захохотал я, все сие увидев; а особливо потому, что ворону сию догадало меня самого, накануне самого того дня, тут нарисовать. Людям моим каким-то образом случилось захватить в снях и поймать живую ворону. Они принесли ее ко мне, а мне что-то пришла мысль, схватив уголь и кусок мела, срисовать с нее точный портрет на белой стене моей комнаты.

Сию-то ворону случилось тогда нечаянно и в первый еще раз увидеть его преподобию, будучи пьяный, и как рисунок сей имел счастье ему крайне понравиться, то по самому тому и занимался он с нею разговорами. И люди мои, смеючись, говорили мне, что я вороною своею с ума свел и до того довел нашего хозяина, что они не знают, что с ним и делать. Сколько ни звали, ни уговаривали и ни убеждали его, чтоб он вон вышел, но никак нейдет; и не остается другого средства, как волочь его разве силою.

– Да, зачем дело стало? – сказал я. – Таки с Божьею помощию возьмите его под руки и отведите-ка силою в его горенку и там заприте.

Это они тотчас и сделали; и поп мой не только за то не сердился, но, проспавшись и пришед поутру ко мне, благодарил меня еще за то, что я его, дурака, велел силою вывезть.

– А все вот эта ваша проклятая ворона тому причиною, – говорил он. – Ну, нечего говорить, умеешь рисовать, барин!.. Таки как живая, окаянная!.. Что ты изволишь!.. Нет, нет, барин, воля твоя и как ты хочешь, а меня ты одолжи и напиши такую же и мне в моей горенке, чтоб я мог ею всегда любоваться и тебя вспоминать.

– Изволь, изволь! – говорил я. – Если она тебе так полюбилась, то для чего не нарисовать. Для меня это безделка.

Хозяин мой не успел сего услышать, как и приступил ко мне с неотступною просьбою, чтобы я ему в тот же час это одолжение сделал. И я принужден был иттить тогда же к нему наверх и лезть по темной и безпоясочной лесенке.

– Ну, где ж тебе ее нарисовать? – спросил я, вошед в первый еще раз в его изрядную горенку.

– Вот здесь, здесь, батюшка, – говорил он, указывая мне белое место на стене, подле печки в уголку.

– Хорошо, – сказал я, – и, взяв уголь и мел, тотчас и намахал ему такую ж ворону. Поп мой вспрыгался почти от радости и, выхваляя искусство мое до небес, приносил мне тысячу благодарений. А я рад был, что доставил ему вороною своею упражнение в его горенке, и ему не было уже нужды ходить в мою для разговаривания с оною; но он там уже с нею бурлил и покрикивал, сколько ему хотелось.

Но в один раз весьма дурно заплатил было он мне за мой труд и рисунок. Пропив где-то всю ночь, пришел он домой уже поутру и в самое то время как топили уже печи, и пришед в свою горенку наверху, начал, по

обыкновенно своему, бурлить, кричать и шуметь; а чтоб никто ему в том не мешал, то заперся еще на крючок в одной. И тогда, при обыкновенном его с вороною и таким же образом, с криком и топанием разговаривании, померещилось ему, что она от него в трубу печную улететь хочет. «А! – кричал он. – Ты улететь и от меня брызнуть хочешь?! Но нет, нет, нет! Это не удастся тебе. Я и поприпру тебя, госпожа моя». Сказав сие, бросился он к печи и, подхватя вьюшечную крышку, хлоп-таки на вьюшку и затворил потом дверцы, нимало не разбирая и не подумав, что вьюшка сия была от самой той печи внизу, где я жил, и которая тогда только что растопилась в развал. «Ну, на! полетай теперь!» – кричал он и стал, шагая, приступить к ней и ее пальцем торкать.

Между тем мы, ничего того не зная, находились себе внизу, и я только что стал одеваться. Но вообразите себе, как должны были мы все перетревожиться и перепугаться, как вдруг, и в одну почти минуту вся комната моя наполнилась дымом и зноем!.. «Батюшки мои! Что это такое? – закричал я, вскочив без памяти с места. – Уже не загорелось ли где и не пожар ли?» Вмиг бросились мы тогда в ту комнату, из которой валил к нам дым и из которой печь наша топилась. И как же изумились, увидев густой дым, валяющийся из устья печи! «Ахти, свод, свод, конечно, обвалился в печи! – кричал я. – Экое горе. Что делать?..» – «Нет, нет, сударь! – подхватила топившая печь и прибежавшая также к нам работница попова. – А это батяка там, конечно, напроказничал пьяный и закрыл вьюшку. Я слышала, что он там покрикивал с своею вороною».

Она побежала тогда вверх открывать скорее вьюшку. Но – хватъ! двери на крюку заперты и не отворяются! Она кричать попу, она просить, чтоб отпер двери, поп не слушает и шагает только по горнице и продолжает свое дело: кричит и харабрится над своею вороною. «Батюшка, – кричит ему работница, – либо нас пусти, либо сам скорей открой вьюшку; ты задушил нас всех дымом». – «Да, как бы не так! – кричал в ответ ей наш хозяин, – чтоб проклятая-то улетела?.. Нет, нет! А посиди-ка ты вот здесь, моя государыня!» – и торк ее опять пальцем!

Что было тогда работнице делать? Она принуждена была бежать вниз и звать людей моих, чтоб помогли ей силою растворить двери. И поп наш не прежде растворил двери, как увидев, что они с топором уже ломать ее начали. Ибо как между тем обе мои комнаты наполнились столько дымом и чадом, что не можно было в них никоим образом быть, и я принужден

был выбежать на двор и стоять на прежестоким морозе, то другого и не оставалось, как приступить к насилию.

Сим кончилось тогда сие смешное происшествие. Я раздосадован был за то неведомо как на попа. Но как он, проспавшись и сделавшись прямо жалким человеком, валялся у меня почти у ног, прося уничиженнейшим образом простить ему сию проказу, то скоро отпустил я ему вину его, и тем паче, что, будучи непьяным, был он старик очень добрый и умный.

Сим кончу я сие вышедшее уже из границ своих письмо мое и, представив о прочем рассказание в письмах будущих, скажу, что я есмь ваш и прочая.

ЕЗДА В КАШИН И МАСКАРАД

Письмо 106-е

Любезный приятель!

Приступая к продолжению моей повести, скажу вам, что как ни весело мне было тогда жить в Москве и как скоро ни протекло время, но я, при всех своих разъездах, не забывал никак того, что мне надлежало еще съездить в Кашинский уезд и повидаться с больною сестрою моею. Миновало уже более 12-ти лет, как я ее не видал. Ибо, с того времени, как она приезжала с мужем своим к нам в деревню, не случилось мне ее уже ни однажды видеть. И как хотелось мне съездить к ней до наступления еще Масленицы, а к сей возвратиться в Москву, дабы видеть приуготовляемый тогда славный уличный маскарад, то и не стал я в сей раз в Москве заживаться, но, распрощавшись на время с знакомцами и родными своими, отправился в свой путь.

Все они взяли с меня обещание возвратиться неотменно к Масленице в Москву. Но никто так сильно не настоял на том, как помянутыя родственницы мои, госпожи *Бакеевы*. И как с ними последними я после всех распрощался и, заезжая к ним по дороге, от них из дома уже в путь свой отправился, то не выходили они у меня из мыслей во всю почти дорогу. Ласки их, приятное со мною обхождение и все часы с особливым удовольствием у них и с ними провожденные, воспоминались мне ежечасно; и дом сей сделался мне так мил, что я его не мог никак забыть. Всего же чаще

воспоминалась мне меньшая из сих девушек. Чем более я ее видал и чем короче я с ними познакомливался, тем умнее, прекраснее и совершеннее во всем она мне казалась, так что я, смотря на нее и любуясь ее красотой, сам себе не однажды в мыслях говорил: «Вот, когда бы такую-то Бог послал мне невесту. Не желал бы я иметь лучшей. Ни в чем-то не нахожу я в ней ни малейшаго несовершенства и недостатка! Какой ум!... Какая острота и пронизательность! Какое сведение обо всем! Как ласкова, скромна и приятна в обхождении и как прекрасна собою! Какая нежность и белизна тела, какой румянец, какие это глаза, какие взоры, какая воровская улыбка и какие прелести во всем!... Нельзя, кажется, быть совершеннее. Не расстался бы истинно с нею и с таковою, если б случилось где отыскать ей подобную... И куда как жаль, что сама она мне родня, а притом не старшая, а меньшая дочь у отца. Если б не то, то подумав, не погнался бы я и за достатком и ни за чем иным, а решился бы посвататься на ней и не уступил никому другому такой милой и предорогой девушки!»

Сим и подобным сему образом не один раз я сам с собою говорил и разсуждал во глубине моего сердца. И как образ ее мечтался мне и во всю почти дорогу, а особливо в первые дни, то такая же мысли возобновлялись в душе моей и во время путешествия моего, – и так часто, что я даже начинал тому уже и дивиться, и сам себе смеючись, говорил: «Господи, что это такое?.. Только и мыслей что об ней, только она да она!.. Уж даровое ли, право, это?.. Уж не влюбился ли я в ее? И не любовь ли уже это шутить надо мною изволит?.. Чего добраго, прелестям таким немудрено хоть кого заразить!.. Однако, я... я... я покорно благодарствую! Мне сего бы очень не хотелось. Пропади она, эта любовь и со всеми ее сладостями! Мне как можно надобно от нее остерегаться. Заразит, проклятая, так и сам себе не рад будешь».

Не успел я сим образом сам о себе усумниться и восприть некоторое подозрение, как при помышлении дорогою на досуге час от часу более о том, пришла мне на мысль вся прежняя моя философия и все правила ее, которым положил я следовать во все течение жизни моей. Я вспоминал все, что предписуется ей в таких случаях, и положил с того же часа начать преоборать страсть сию, употребляя к тому все предписуемая ею средства. И как главнейшим средством почиталось то, чтоб не давать мыслям о том возобновляться часто, но чтоб оныя прогонять и пробудившиеся тотчас засыплять опять, то и практиковался я в том во всю дорогу и имел

в том, как казалось, и успех довольно хороший, так, что при окончании путешествия сего чувствовал я себя уже гораздо спокойнейшим, нежели при начале.

Впрочем, кратковременное путешествие сие кончил я благополучно, и не произошло со мною в ездy сию ничего особливаго. Я нашел сестру свою одну, с детьми ее, дома; ибо зятя моего не было тогда еще дома: он продолжал еще свою военную службу и его только что начинали ждать в отставку.

Не могу изобразить, как много обрадована была сестра моя моим приездом. Она позабыла почти всю болезнь свою и казалась выздоровевшею совершенно. Не выдав меня никогда еще в совершенном возрасте и разставшись в последний раз со мною за 12 лет пред тем, когда я был почти еще ребенком, не могла она в сей раз довольно насмотреться на меня. Все ее дети облипли вокруг меня и старались друг друга превзойти своими ко мне ласками. Их было у ней тогда четверо: три дочери и один сын. Я старших двух только видел, но видел тогда, как были они еще в колыбели; а третья дочь и сын родились уже после: следовательно, все они были мне еще незнакомы. Девочки были все уже на возрасте, а мальчик еще ребенком и учился тогда только что ходить.

Что касается до самой сестры моей, то в те 12 лет, в которых я ее не видал, она так много переменилась и так пред прежним похудела, что я с трудом бы ее и узнать мог, если б случилось мне увидеть ее где-нибудь в незнакомом доме. Тогдашняя ее болезнь была хотя не слеглая, однако такая, что не позволяла ей почти выезжать со двора, а иногда даже сходить с постели. Страдала она сперва долго жестокою зубною болезнью. Но сия болезнь произвела потом другую во рту и в деснах, казавшеюся сперва совсем не опасною, но после сделавшаяся для ее самую бедственною и лишившею ее даже самой жизни. Но тогда не было нимало и похожего на то, а все почитали ее ничего не значущею.

Я пробыл тогда у сей сестры своей не более недели, и за непрерывными к себе ласками и не видал, как протекло сие время. Она старалась угостить меня как можно лучше и выискивала все, что только можно было к сделанию мне дней сих веселейшими. Она дала знать всем своим соседям о моем приезде, и все они перебивали у нас и наперерыв друг пред другом изъявляли также мне свои ласки. А к иным и таким, которым самим у нас быть было не можно, ездили сами мы с сестрою.

Ей хотелось неведомо как, чтоб все они меня узнали и получили обо мне такое же выгодное и хорошее мнение, какое имела обо мне сама она, и более для того, чтоб слух обо мне распространился в тамошних окрестностях и мог бы помочь мне, в случае, если б вздумалось мне – так как ей весьма хотелось – в тамошних местах жениться. Она и не преминула заговаривать мне о том не один раз; но я отделялся и от нея тем же, чем от других, то есть чтоб сыскала она мне невесту. Она и бралась мне сыскать, если б я только согласился пожить у ней подолее. Но как самого сего мне сделать было невозможно, то краткость времени не позволила ей учинить тому и начало. А потому сие при одних словах о том тогда и осталось.

Из посторонних домов, в которыхя нам тогда ездить случалось, памятные мне наиболее три дома. Первый был наипочтеннейший во всем тамошнем околотке, старика господина *Баклановскаго*, по имени *Константина Ивановича*. Сей умный и сединами украшенный муж, доводился как-то сродни моему зятю, и будучи знаком покойному отцу моему, весьма охотно хотел меня видеть. Я ездил к нему один и нашел его от старости слабым и обкладенным своими книгами, до которых он был охотник. Он был очень мне рад и не мог со мною довольно обо всем и обо всем наговориться, и за знания и свойства мои так меня полюбил, что отзывался всем обо мне с великою похвалою, называя меня редким молодым человеком.

Другой и также знаменитый дом принадлежал одной почтенной старушке, госпоже *Калычевой Катерине Федоровне*, которая в особливости дружна была с моею сестрою и имела у себя сына, охотника до наук и бывшего потом мне приятелем. У сей были мы вместе с сестрою моею. И старушка так меня полюбила, что не могла довольно расхвалить меня.

А в третьем жил господин *Коржавин*, мой старинный сослуживец, однополчанин и самый тот, который был моим капитаном. Сей не мог нарадоваться, меня увидев, и я ласками его был чрезвычайно доволен.

Словом, я имел как-то счастье всем тамошним соседям полюбитися, и как все они меня ласкали, то и было все время тогдашняго пребывания моего у сестры для меня очень не скучно и наполнено такими приятностями, что я охотно бы согласился, по желанию сестры моей, пробить у ней и долее, если б не подошла нечувствительно и самая Масленица, которую неотменно хотелось мне взять в Москве и видеть все приуготовляемые там увеселения. Но, ах, если б я мог тогда предвидеть, что был этот последний уже раз, что я видел сестру мою, то пренебрег бы все и остался у

нее долее. Но как сего и мыслить тогда было не можно, а я, напротив того, надеялся скоро иметь удовольствие опять ее видеть и давал ей верное слово приехать к ней на должайшее время, то не стала она и сама меня долее держать и препятствовать моему отъезду. Итак, распрощавшись с моею сестрою, провожавшею меня с пролитием многих слез, поехал я от нее с слезами на глазах, власно как предчувствуя, что я ее более уже не увижу, и успел приехать в Москву еще довольно благовременно.

Я нашел тогда всю публику московскую, занимающуюся разговорами о имеющем быть вскоре *уличном маскараде*. Как зрелище сие было совсем новое, необыкновенное и никогда не только в России, но и нигде не бывалое, то все дожидались того с великою нетерпеливостию. Новой нашей императрице угодно было позабавить себя и всю московскую публику сим необыкновенным и сколько, с одной стороны, великолепным, столько, с другой стороны, весьма замысловатым и крайне приятным и забавным зрелищем.

Маскарад сей имел собственную целию своею осмеяние всех обыкновеннейших между людьми пороков, а особливо мздоимных судей, игроков, мотов, пьяниц и распутных и торжество над ними наук и добродетели, почему и назван он был «торжествующею Минервою»¹. И процессия была превеликая и предлинная: везены были многия и разного рода колесницы и повозки, отчасти на огромных санях, отчасти на колесах, с сидящими на них многими и разным образом одетыми и что-нибудь особое представляющими людьми, и поющими приличные и для каждого предмета нарочно сочиненныя сатирические песни. Пред каждою такою раскрашеною, распещренною и раззолоченною повозкою, везомою множеством лошадей, шли особыя хоры, где разного рода музыкантов, где разнообразно наряженных людей, поющих громогласно другия веселыя и забавныя особаго рода стихотворения; а инде шли преогромные исполины, а инде удивительные карлы. И все сие распоряджено было так хорошо, украшено так великолепно и богато, и все песни и стихотворения петы были такими приятными голосами, что не инако как с крайним удовольствием на все то смотреть было можно.

Как шествие всей этой удивительной процессии простиралось из Немецкой слободы по многим большим улицам, то стечение народа, желав-

¹ Минерва – римская, Афина – греческая богиня, покровительница поэтов, ученых, врачей и т.д.

шего сие видеть, было превеликое. Все те улицы, по которым имела она свое шествие, напичканы были безчисленным множеством людей всякого рода; и не только все окна домов наполнены были зрителями благородными, но и все промежутки между оными установлены были многими тысячами людей, стоявших на сделанных нарочно для того подле домов и заборов подмостках. Словом, вся Москва обратилась и собралась на край оной, где простиралось сие маскарадное шествие. И все так оным прельстились, что долгое время не могли сие забавное зрелище позабыть; а песни и голоса оных так всем полюбились, что долгое время и несколько лет сряду увеселялся ими народ, заставляя вновь их петь фабричных, которых употреблены были в помянутыя хоры и научены песням оным.

Мне при помощи помянутого родственника моего г. *Бакеева* удалось получить наилучшее место для смотрения сего всенароднаго зрелища. Как он служил при полиции, то не трудно ему было приискать для всех своих знакомцев особый и покойный дом, где компания наша могла занять все окна. Тут была наша княгиня, тут были его родные и некоторые другие. Но я так охотно хотел видеть внятнее сие необыкновенное зрелище, что не восхотел смотреть в окна из-за боярынь, а, желая иметь более простора, сошел вниз на двор и, выбрав себе любое место на сделанном возле забора помосте, смотреть оное на свободе оттуда. А как, по счастью, случилась на тот раз и погода самая умная, то есть серая, тихая и умеренная, и не было ни тепло, ни холодно слишком, то и было мне смотреть очень хорошо.

Кроме сего, помянутый родственник мой, у котораго в доме я в сие время почти всякий день бывал, доставил мне и другое, и для меня особенное удовольствие, а именно свозил меня с собою в придворный театр и дал случай видеть придворными актерами самую ту трагедию представляемую, которая была мне почти вся наизусть знакома, а именно «Хорева». Театр сей был тогда еще деревянный и построенный на поле неподалеку от Головинского дворца и набит был в сей раз таким множеством народа, что мы насилу могли с ним выгадать себе местечко в партерах¹. И удоволь-

¹ Болотов говорит здесь о придворном театре в Москве, который помещался у Красного пруда (где ныне Ленинградский вокзал). Здание было деревянное. В нем с 1759 г. по 1761 г. давала спектакли итальянская оперная труппа Локателли. Преемником Локателли был полковник Титов, а потом итальянцы Бельмонти и Чути. Эти последние занимались главным образом устройством маскарадов. Шли оперы и трагедии, большею частью русские. Очень популярна была первая трагедия А. П. Сумарокова «Хорев» (1747 г.).

ствие, которое я имел при смотреии сей трагедии, было неописанное, а не менее увеселяла слух мой и придворная музыка.

Впрочем, как тогда в Москве не было еще таких публичных маскарадов и съездов, какия введены в обыкновение после, а особливо по построении большого каменного московского Петровскаго театра, а все таковыя балы и маскарады даваны были только при дворе во дворце Головинском, а туда не всем можно было иметь вход, а места мало было и для одних знатных, то в сих и не могли мы иметь ни малейшаго соучастия, а довольствовались уже своими, приватными съездами и вечеринками, а днем – катанием и ездою в санях по всем лучшим улицам и к горам, на которых народ веселился катаньем.

В сих непрерывных увеселениях препроводил я всю тогдашнюю Масленицу. Я стоял на прежней своей квартире и не выпрягал почти лошадей за ежедневным разъезжаньем по гостям. Во всех знакомых мне домах бывал я по несколько раз и не один раз получал случай кой-где и потанцевать, а особливо в доме у княгини *Долгоруковой*, где бывали часто превеликия собрания, музыка и самые танцы.

Но нигде мне так весело не было и нигде с таким удовольствием не препровождал я свое время, как в доме у помянутаго г. *Бакеева*. К сему дому сделался я, власно как привязанным некакими приятными цепями. И хотя, будучи в оном, нередко напоминал то, что я думал дорогою, едучи в Кашин и, всходствие тогдашняго предприятия, бдил наистрожайшим образом над самим собою и держал в совершенном обуздании свой язык и взоры; но с своим сердцем хотя и хотел, но не мог я столь же легко ладить: оно выбивалось из под моей власти, и, получая в себя час от часу глубочайшие впечатления, наполняло всю душу мою некакою смесью из удовольствия, приятности, тоски, скуки и безпокойства. И я не знаю, чем бы могло все сие кончиться, если б не поспешил наступить Великий пост и не прервал все наши съезды и увеселения.

Теперь, напоминая историю моей петербургской службы и то, что пересказывал я вам тогда о знакомстве и происшествиях у меня с г. *Орловым*, любопытны, может быть, вы будете узнать: не случилось ли мне в сию мою московскую бытность где-нибудь сего человека видеть или не старался ли я сам о том, чтоб его отыскать и с ним видеться? На сие скажу вам, л. п., что ни того, ни другого не было, и причиною тому, во-первых, было то, что мне

нигде-таки не случилось повстречаться и его видеть, поелику был он в сие время великим уже человеком и первейшим фаворитом у императрицы и всегдашнее свое пребывание имел во дворце и находился безотлучно при государыне; во дворце же мне ни однажды быть не случилось, а нарочно добиваться такого случая, чтоб там быть, или к нему прямо адресоваться, как-то не имел я ни малейшаго желания и охоты.

С одной стороны, удерживала меня неизвестность того, узнает ли он меня и как примет: с прежним ли ко мне дружелюбием и ласкою, или, по тогдашней великости своей, с хладнокровием, или еще с самим презрением за несоответствование мое его желанию, или, каким-нибудь образом еще того хуже, – что для меня было бы очень тяжело и несносно; а с другой – останавливало меня и тогдашнее мое душевное расположение.

Будучи удален от всякого честолюбия и всего меньше обуреваем сею толь многим людям свойственною страстию, а достигнув до того, чего единого так издавна желала душа моя, то есть мирной, спокойной и свободной деревенской жизни, и был я, при всем малом моем чине и достатке, так состоянием своим доволен, что не вождедел в том никакой перемены. И мысль, что в случае и самого лучшего и благоприятнейшего приема не стал бы он мне советовать вступить опять в службу и предлагать мне какое-нибудь место и опасение, чтоб, соблазнившись тем, не мог бы я потерять опять того, чем благодетельной судьбе угодно было меня одарить сверх всякаго моего чаяния и ожидания; а всего паче твердое наблюдение стариннаго своего философического правила, чтоб, по совершенной неизвестности тогда, где можно найти, где потерять, ничего самому не искать и усиленно не добиваться, а ожидать всего от случая, или паче, от произволения и распоряжения Промысла Господня, останавливала меня всегда, когда ни случалось мне помышлять о господине *Орлове* и о сыскании случая с ним видеться, – и побуждала всякий раз, из любви к спокойствию и свободе, махнув рукою, самому себе говорить: «И! Бог с ними и со всем! Ищи еще, хлопочи и добивайся; а что будет и чем кончится, того всего нимало еще неизвестно... Почему знать? Может быть, вместо мнимой пользы наделаю я себе еще вреда множество и вплетуся чрез то в такая сети, из которых не буду знать, как и выпутаться назад, и ввергну себя во множество зол и в такая обстоятельства, которым и не рад буду, и тысячу раз в том раскаяваться стану. А не лучше ли остаться при том, что,

по благодати Господней, я имею? И был бы только у меня мой Бог и Его ко мне милосердие, а то буду я и сыт и доволен всем и без всех таких искательств и домогательств чего-нибудь лучшаго». А по всему тому и не произвели все случавшиеся помышления о том никакого на меня действия и я оставался с сей стороны спокойным.

Итак, заговевшись, стал я помышлять уже о своем отъезде. Однако не прежде поехал из Москвы, как уже на второй неделе Великаго поста; а первую препроводил я отчасти в исправлении достальных своих покупок, отчасти в говенье и богомолье. Дядя мой присоветовал мне говеть с ним вместе в сию первую неделю, почему и остался я для сего на всю оную и приобщался Святых Таин в помянутой церкви Климента папы Римскаго.

По наступлении ж второй недели не стал я уже более медлить и жить в Москве; но, распрощавшись со всеми моими родными и знакомцами и оставив дядю моего заниматься своими приказными хлопотами до самого последняго путя, пустился в обратный из Москвы путь, в милое и любезное свое уединение, и повез с собою хотя множество снисканных новых знаний и общих понятий, но сердце не столь свободное и спокойное, с каким приехал; однако нельзя сказать, чтоб и слишком безпокойное. Ибо не успел я и приехать в деревню и заняться прежними своими литературными упражнениями, как и позабыто было скоро почти все, и я сделался столько же спокоен, как был и прежде.

Окончив сим образом свою московскую поездку, окончу я и сие мое письмо, как достигшее уже до своих пределов, и скажу вам, что я есмь и прочее.

ДЕРЕВЕНСКАЯ ЖИЗНЬ И УПРАЖНЕНИЯ

Письмо 107-е

Любезный приятель!

Между тем как я помянутым образом жил и веселился в Москве, происходили в деревне у нас другие увеселения и такая происшествия, которые были для меня весьма неприятны и кои произвели во мне великую досаду, как, возвратясь в дом, об них услышал.

В дачах наших находился один молодой заказ¹, подле деревни нашей, *Болотовой*, воспитанный и береженный уже несколько десятков лет, и лесок столь прекрасный, что я, видая оный осенью, не мог им довольно налюбоваться. Сей-то прекрасный и почти единый молодой, какой мы имели, вздумалось нашим деревенским жителям срубить весь без нас до основания и чрез то единым разом разрушить всю нашу на него надежду.

Я ужаснулся и обомлел даже, когда увидел на дворе у себя весь колясочный сарай, набитый сплошь и до самага верха и установленный стоймя сим лесом, который успел уже вырасть в нарочитое бревешко. Усач, прикащик мой, зазвав меня в оный, вздумал тем еще похвастать и надеялся получить за это от меня великую себе благодарность.

– Посмотрите-ка, сударь, – сказал он, – сколько наготовил я вам дров – на круглый год их станет!

– И!.. да где ты такую пропасть взял? – спросил я его, удивися.

– Где? – отвечал он. – В молодом заказе Болотовском.

– Да кто тебе дозволил его рубить?

– Никто не дозволял; а его более нет, – сказал он, – весь его снесли до хворостинки. И если б я немного помедлил, так бы ничего не застал и этого б не было!

Обомлел я, сие услышав, и не хотел было почти верить словам его – так было мне жаль заказа!

– Да умилосердись, как это сделалось? Расскажи ты мне порядочнее.

– А вот как, – отвечал он мне, – вы знаете, что лес сей у нас общий у всех; но мы никто до сего времени в нем не рубили, но более 20-ти лет берегли. Но ныне, без вас, вздумалось что-то дедушке вашему Никите Матвеевичу послать в него всех крестьян своих и приказать рубить. А не успел он сего сделать, как поехали и дядюшкины: а на них смотря, и все наши деревенские: и ну его рубить сподвал² и как не попало захват³. Я, видя, что все его рубят и денно и ночью, разсудил, что мне отставать от других не можно. И так, против хотения, принужден и я всех своих послать и таким же образом велеть рубить. И вот сколько мы навозили; а таким же образом завалены теперь и все крестьянские дворы и здесь, и в Болотове. Всякий рубил, кто только мог и хотел: и в три дня всего заказа как не бывало!

¹ Лес – заказник – заповедная роща, оберегаемый лес.

² Сплошь, без разбору.

³ Насильственно присваивая.

– Куда как хорошо, – вздохнув, отвечал я, – и вот следствия общего чрезполоснаго владения! Но можно ль было ожидать того от его превосходительства?.. Ну, скажет же ему, дядюшка мой, за то спасибо!

Но что мы с ним ни говорили, но заказа нашего как не бывало, и превосходительный наш господин генерал умничаньем своим сделал нас на долгое время без дров и без леса.

Чрез несколько недель после того съехал с Москвы и дядя мой и приехал жить к нам на все лето с женою своею в деревню. Я был очень рад его приезду, ибо с ним мог я и видаться чаще, и время свое препровождать сколько-нибудь приятнее, нежели с другими. Итак, покуда продолжалась зима, то делил я свое время с ним и с моими книгами. За сии не преминул я приняться опять, как скоро возвратился из Москвы в деревню, и они, вместе с красками и кистями, которыми, будучи в Москве, запаса, заменяли мне много недостаток общества. Кроме их, занимал меня много и вышедший из наук столяр мой. Я снабдил его всеми нужными инструментами, и мы тотчас начали с ним кое-что шишлить¹, мастерить и работать. Я указывал и надоумливал его в том, чего он еще не разумел, и отменное его удобопонятие ко всему меня радовало и веселило.

Посреди всех сих упражнений я и не видал, как прошла достальная часть зимы; а не успела весна начать вскрываться, как множество разнообразных новых дел и упражнений дожидались уже меня и готовились занимать собою и ум мой, и члены, в сердце же водворять мало-помалу все приятности уединенной и свободной сельской жизни.

Как весна сия была еще первая, которую в совершенном возрасте и научившись любоваться красотами природы, препровождал я тогда в деревне, то не могу изобразить, сколь безчисленное множество наиприятнейших и невинных радостей и забав доставила она мне во все продолжение течения своего.

Не успели начаться первые тали, как единое приближение весны производило в душе моей уже некое особое удовольствие. Я смотрел на возвышающееся с каждым днем выше и яснее уже светящее солнце; смотрел на тающий от часу более снег, на помрачающую зрение белизну полей, власно как горящие от лучей ярко светящаго на них солнца; примечал первейшия прогалины на полях, первейшие бугорки, обнажавшиеся от снега

¹ Копаться, возиться с чем-нибудь.

и чернеющиеся вдаль; смотрел на капли первых вешних вод, упавшие с кровель на землю, на маленькие ручейки, составляющиеся из оных и под снег паки уходящие и всем тем предварительно уже утешался. Когда же началась половодь, то, о! с каким восхищением смотрел я на прекрасную сию половодь, бываемую всегда на речке нашей. Я избрал в саду своем на самом ребре горы своей наилучшее место для смотрения оной, протоптал туда тропинку по снегу и тогда еще положил в мыслях своих сделать со временем тут беседочку себе.

Я ходил туда всякий день и не мог довольно налюбоваться множеством огромных льдин, несомых вниз по воде сквозь селение наше. Все они по нескольку раз в день собирались под горою против самого двора моего и производили страшный рев и шум водою, продирающеюся между их; а лучи полуденного солнца, ударяя об них и о безчисленные струи и брызги воды вешней, ослепляли почти зрение и представляли наимприятнейшее и такое для глаз зрелище, которому довольно насмотреться было не можно. Крик и радостные восклицания юных обитателей селения нашего, бегущих вслед за льдинами, плывущими вниз по реке и подбирание ловимой отцами их рыбы, присоединялись к зрелищу сему и, утешая слух мой, увеселяли меня еще более,— так, что неутерпел я и сбегал вниз с горы к самой реке нашей, чтоб насладиться всеми новыми для меня зрелищами сими ближе.

Случившаяся в самое почти то же время Святая неделя и сельское оной торжествование, соединенное с забавами особаго рода, увеличили еще более мое удовольствие. Уже многие годы не видал я сего торжества в своей деревне, милаго и любезнаго мне от самого младенчества, и потому дожидался с вожделением сего праздника и проводил оный весьма весело.

Вскоре потом открывшаяся весна с оживающею своею зеленью и развертывающимися деревьями отворила мне путь к новым и безчисленным забавам и увеселениям. Вся натура была мне отверзтою, и я впервые еще тогда мог на свободе и сколько хотел ею пользоваться и всеми ее приятностями, красотами и великолепием наслаждаться. Не могу изобразить, как приятна и утешна была для меня сия первая весна, и как много веселился я всеми окружающими меня разными предметами и происходящими всякой день с ними переменами.

Сперва утешали меня самая распуколки древесных листов, там младая и нежная зелень листочков и приятная разноцветность оных, а потом

веселили зрение мое самый цвет всех плодовых деревьев, соединенный с безчисленными и разными цветами, разсеянными натурою по бархатным коврам, распростертым по земле. Я любовался ими и любовался положениями мест вокруг жилища моего. Все они были прекрасны, все мне милы, все утешали зрение и услаждали чувствования сердца моего, – и я не мог довольно навеселиться ими. Пение птишек, налетевших в превеликом множестве в сады и рощи мои, а особливо восхитительные крики соловья, слышимые повсюду и гремящие по вечерам во всех садах моих и рощах, увеличивали еще более приятность ощущений моих. И сколь многие минуты были ими наполнены тогда!

Не было дня, в которой бы я, отрываясь от прочих моих упражнений, по несколько раз не выходил из дома в рощи или сады свои: и либо сидючи в совершенном уединении на каком-нибудь приятном бугорке, на хребте своей горы прекрасной, либо стоявши, прислонясь спиною к какому-нибудь дереву и простирая взоры на прекрасные дальни и местоположения окрестныя; либо расхаживая взад и вперед по тропинкам, пробитым мною в садах моих под тенью и ветвями деревьев плодовых, – не углублялся я в размышления различныя, и когда приятныя и чувствительныя, когда важныя и глубокия, и не производил ими в себе чувствований столь приятных и сладких, что за ними забывал все прочее на свете, и благодарил только судьбу свою, что она доставила мне наконец то, чего желало только сердце мое: то есть свободную и мирную деревенскую жизнь.

Со всем тем не упускал я заниматься и экономиею сельскою и посвящать ей знаменитую часть празднаго времени своего. В течение зимы имел я довольно досуга к тому, чтобы обдумать все части оной и позаметить в мыслях своих, что и что сделать бы мне в течение наступающей весны, лета и осени.

Не хотя вести домоводства своего так слепо и с таким небрежением, как ведут его многие, а желая основать оное колико можно порядочнее и лучше, завел я всему порядочныя записки, переписал все замышляемые дела, все нужныя поправления старых вещей и все затеваемые вновь заведения и предприятия и, соображаясь с малолюдством и достатком своим, избирал то, что казалось нужнейшим пред другими вещами, и давал всегда сим преимущество пред такими, кои были либо не столь нужны, либо могли терпеть еще несколько времени. А всегдашнее наблюдение сего правила и порядка в самых работах и помогло мне очень много в моем до-

моводстве и сделало то, что я очень немногими людьми в самое короткое время успел произвести то, чего иные и многими людьми и несравненно в должайшее время произвести не в состоянии.

Все сии упражнения относились в течение сего лета наиглавнейше только к двум предметам: к зданиям и садам моим. Первым как ни располагался я спешить, но как нужду терпел я и в первой потребности житейской, то есть ту, что мне жить было негде, ибо дом мой был уже слишком ветх и староманерен, и те комнаты, где я сначала расположился жить, были и скучны, и темны, и дурны, и совсем не по моим мыслям; то расположился я воспользоваться находящеюся в конце хором за сеньми нежилою и, по-видимому, довольно еще крепкою двоенкою¹ и не только сделать из них для жилья себе два порядочных покойца, но присовокупить к ним еще и третий, сделав оный из задней половины передних больших и просторных сеней.

Итак, решившись предпринять сие дело, которое бы в старину почитено было смертным грехом и неслыханным отважным предприятием, не успел я дождаться приближения весны, как и должны были плотники прорубать стены и проваливать где двери, где места под печь, где окошки большия, где забирать вновь стены, где из дверей делать окна и так далее. И работа, по указанию и распоряжению моему, пошла с таким успехом, что усач прикащик мой, смотря на все сие, молчал и пожимал только плечами: ибо ему таких отважных предприятий не приходило никогда в голову. А увидев чрез короткое время прекрасные и веселые покойцы, в которых жить никому было не стыдно, не верил почти глазам своим и только удивлялся, как я успел все то так скоро и хорошо сделать.

Сие и действительно так было: ибо мне как-то удалось очень скоро всю сию работу кончить и нажить себе три, хотя небольшие, но прекрасные и веселыя комнатки с большими окнами и не только с подбитыми холстиною и выбеленными потолками, но и обитыя самим мною по холстине и довольно хорошо разрисованными обоями. Один и величайший из сих покойцев, сделанный из бывшей до сего харчевой светлички, составлял у меня некоторой род гостиной или передней. Я осветил его тремя большими и порядочными окнами: одно из них было на двор, а два прорублены вновь в сад, где пред самыми оными отгородил я особый огородец

¹ Двойной избой.

и сделал порядочный цветничок. Для нагревания же онаго снабдил его особою, и хотя кирпичною, но порядочно складеною и мною расписанною печкою. Обои же в оном сделал я светло-пурпуровыя с цветочками и столь красивыя, что горенка сия была хоть куда.

Второй покоец сделал я своею спальнею, превратив ее из старинной темной кладовой и соединив дверьми, осветил его двумя большими окнами, которыя оба были в сад. И как одно из них было на полдень, то сие и придавало обоим сим покойцам довольно светлости. Я обил стены сего желтыми и также росписными обоями.

Третий, маленький и из задней половины больших сеней сделанный покоец, составлял по нужде и заднюю и лакейскую комнату. Дверьми имел он соединение и с передними и задними сенями, и с моею спальнею, с которою и одна печь его нагревала.

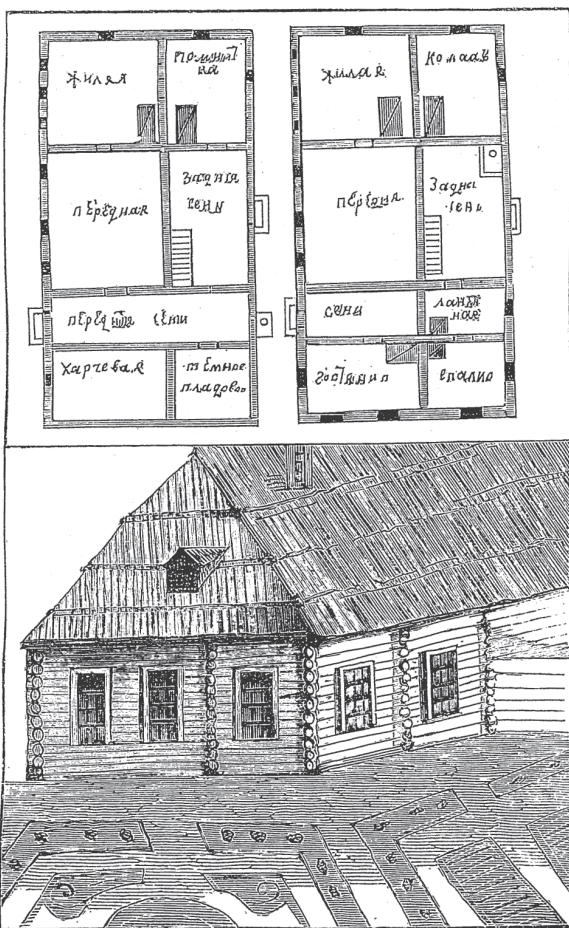
Сия-то была первая в доме моем внутренняя и далеко еще не совершенная переделка; но, по крайней мере, я тогда и сим был очень уж доволен и тотчас перебрался туда жить, как скоро она поспела. А дабы любопытнейшим из потомков моих можно было видеть сию мою первую переделку, то изобразил я оную в приобщенном при сем плане и рисунке.

Но сие было не одно, в чем я тогда упражнялся. Но между тем, покуда сие плотники с столяром моим перестраивали, занимался я садами своими. Я навещал ежедневно свой новонасаженный и поспешествовал, чем можно было, скорейшему его принятию. А сверх того, начал помаленьку приниматься и за старинный свой и подле хором находящийся сад. Мне весьма хотелось и сей привести в лучшее состояние. И как тогда все еще с ума сходили на регулярных садах и они были в моде, то хотелось мне и сей превратить сколько можно было в регулярный. Но как вдруг его весь перековеркать я не отважился, то отделил сперва одну часть онаго, лежащую к проулку и превратил ее в регулярную. Я отделил часть сию от всего прочего сада двумя длинными, чрез всю ширину сада простирающимися и прямо против входа расположенными цветочными грядками, и сделав случившаяся в середине оной части четыре, в кучке сидящая и ныне еще существующия, но тогда молодья еще березки, центром, вздумал сделать под ними осьмиугольную прозрачную решетчатую беседку и, проведя от сего центра во все четыре стороны дорожки, сделать тут четыре маленьких квартальца, окруженные цветочными рабатками, а по сторонам кой-

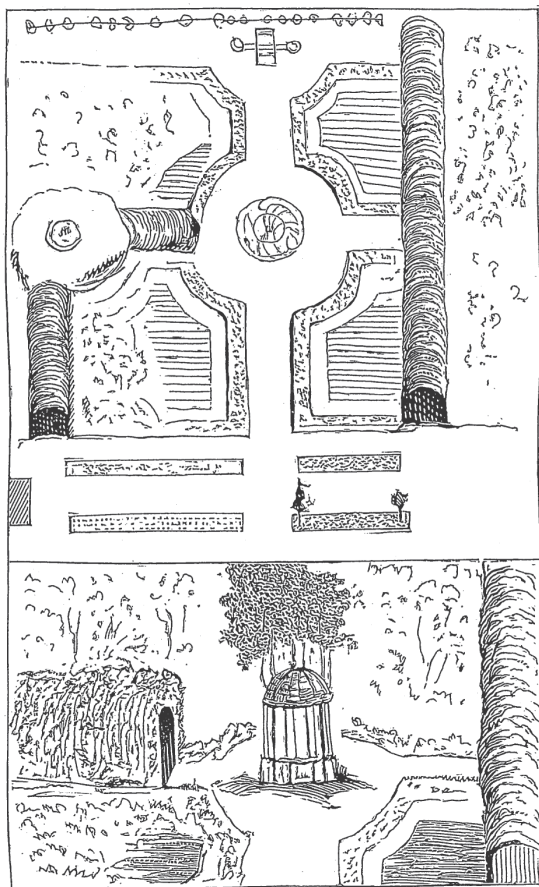
где крытая дорожка, коих остатки видны еще и поныне, так как все то из приобщенного при сем рисунка яснее усмотреть можно.

Всю же нижнюю и большую часть сего сада оставил я еще в сей раз в прежнем состоянии, а вычистил только и сколько-нибудь оправил находившуюся в конце онаго и на самом хребте горы старинную прадедовскую сажелку, на плотине которой стоял еще издыхающий огромный дуб, преживший века многие. И как сие последнее дело надлежало производить многими людьми дружно и я принужден был согнать всех ближних своих крестьян и крестьянок, то при сем случае и имел я удовольствие видеть всех их в собрании и не мог довольно надивиться веселому характеру нашего народа, производящему и самые трудныя и тяжелыя дела с шутками и издевками, со смехами и играьем друг с другом.

Премногое множество насадил я также в сию весну разных плодовых и диких дерев, а особливо в сем ближнем саду, где, к числу посаженных в сию весну деревьев, принадлежит и прекрасная моя большая ель, украшающая ныне всю средину сего сада и стоящая посреди еловой площади, и прекрасная моя кронная липа. Первая посажена была маленькою поконце одной длинной цветочной грядки, а другая при начале оной, и обе служат мне ныне памятниками тогдашняго приятнаго времени.



В сих ежедневных и занимательных упражнениях протекли нечувствительно все первые дни, — и так, что я их почти и не видал. Последующее за тем и самое лучшее внешнее время, одевшее все деревья зеленью и украсившее плодоносныя из них снегоподобными цветами, умножило еще более мои невинныя сельския забавы и увеселения. Я любовался сею разноцветною и прекрасною зеленью, любовался нежными молодыми листочками, сотыкающими для меня приятныя тени под ветвями дерев и кустарников; любовался тысячами цветов разных, которыми они все были унизаны и мне изобилие всяких плодов обещавших; любовался, наконец, и самую завязью и начатками плодов сих, и не мог всем тем налюбоваться и зрения своего насытить довольно. И какое



множество приятных и неоцененных минут в жизни доставила мне уже и первая весна в деревне! С каким неописанным удовольствием проводил я многие часы и целые дни в садах своих, и сколь разнообразныя и всегда меня занимающия приятныя упражнения находил я для себя в оных!

Из всех плодовых дерев и кустарников, также и сажаемых в цветниках цветочных произрастений, не было мне еще ни одного знакомаго: со всеми ими надлежало мне познакомливаться и всех их узнавать натуру и свойства. Сими последними снабдила меня одна моя соседка, госпожа *Трусова*. Будучи охотница до цветов, имела она у себя их многие разные роды. И как у меня вовсе не было никаких, то, будучи мне несколько

сродни и сделавшись знакомою, не успела узнать, что я сделал цветник и нуждаюсь цветами, как и снабдила меня всеми зимними породами оных, какая только у нея были.

И, Боже мой, сколько невинных радостей и удовольствий произвели мне сии любимцы природы, украшающие собою первые зелени вешние! Как любовался я разнообразностию и разною зеленью листьев и травы их! С какою нетерпеливостию дожидался распукалок цветочных и самого того пункта времени, когда они развертывались и расцветали! И самая простейшая и обыкновеннейшая из них, как, например, орлики, боярская спесь и гвоздички турецкие, увеселяли меня столько, сколько иных не увеселяют и самая редкая американския произрастения, и более от того, что все они были мне незнакомы. А о нарциссах, тюльпанах, ирисах, лилеях, пионах и розах, которыми она меня также снабдила, и говорить уже не для чего. Сии приводили меня нередко даже в восхищение самое и делали мне маленький мой цветничок столь милым и приятным, что я не мог на него довольно насмотреться и налюбоваться. И с самого сего дня сделался до цветов превеликим и таким охотником, что не проходило дня, в который бы не посещал я его и по нескольку раз не умывал рук своих, замаранных землею при оправливании и опалывании цветов своих.

А таковыя же поводы к упражнениям, а вкупе и удовольствиям и увеселениям многообразным подавали мне и другия части садов моих. Ни один из последних уголков в оных не оставался без посещений моих; а многия места в них и по нескольку раз в один день посещаемы были мною. И везде и везде находил я себе дело и везде занятие и упражнение. Здесь оправлял я или заставлял поливать новопосаженные деревья и кустарники и старался поспешествовать всячески тому, чтоб они принимались лучше и скорее. Там подчищал я другие и, вырезывая мешающую им постороннюю дрянь и негодь, давал им свободы и простора более. Инде стягивал и подвязывал ветви и уменьшал чрез то безобразие оных; а в некоторых местах либо серпом обсекал, либо ножницами обстригал я молодья деревцы и кустарники и превращал их в кронныя и фигурныя. Здесь выкашивали мне траву и истребляли дурныя произрастения, а инде, по указанию моему, прочищали и прокладывали дорожки и делали земляные лавочки и сиделки для отдохновения, окладывая их зеленым дерном, и так далее.

Во всех сих садовых занятиях и упражнениях моих был сотоварищем и помощником моим один из стариков, живших тогда во дворе. Не имея у себя никакого садовника и ни единого из всех людей моих такого, который хотя б сколько-нибудь знал сию важную часть сельского домоводства, долго не знал я и не мог сам с собою согласиться в том, кого бы мне приставить к садам моим и сделать садовником. Но, наконец, попался мне сей старичок на глаза и полюбился по своей заботливости, замысловатости и трудолюбию. Он служил при покойном отце моем, бывал с ним во всех походах и звали его Сергеем, но известен он был более под именем Косова. Так называл его всегда мой родитель, так называл его я, но, наконец, прозвали его все *дядею Серёгою*.

Сему-то доброму старичку решился я препоручить все сады мои в смотрение. И сей-то прежний служитель отца моего, котораго на старости мы женили и выпустили было в крестьяне, но взяли опять во двор, был и садовником моим, и помощником, и советником, и всем, и всем. И хотя сначала и оба мы ничего из относящегося до садов не знали, но иностранные книги обоих нас в короткое время так всему научили, что он вскоре сделался таким садовником, какого я не желал лучше. И он пришелся прямо по мне и по моим мыслям: ибо не только охотно исполнял все, мною затеваемое и ему повелеваемое, но по замысловатости своей старался еще предузнавать мои мысли и предупреждать самые хотения мои, чем наиболее он мне и сделался приятным. И я могу сказать, что все прежние сады мои разными насаждениями своими и всем образованием своим обязаны сему человеку. Его рука садила все старинные деревья и воспитывала и обрезывала их; и его ум обработал многия в них места, видимыя еще поныне и служащая мне всегдашним памятником его прилежности и трудолюбия. Словом, я был сим служителем своим, дожившим до глубочайшей старости и трудившимся в садах моих до последнего остатка сил своих, так много доволен, что и поныне при воспоминании его и того, как мы с ним тогда живали, как все выдумывали и затеи свои производили в действо, слеза навертывается на глазах моих, и я, благославляя прах его, желаю ему вечного покоя, – и тем паче, что приемник и ученик его, нынешний мой главный садовник, далеко не таков, каков был сей рачительный и добрый старичок.

Наконец, книги, сии всегдашние и наилучшие мои друзья и собеседники, преподавали мне также многие поводы к чистым и непорочнейшим

забавам и утехам. Весьма понятно и поныне мне еще то, как много помогли они мне тогдашнюю, прямо уединенную и от всего светского шума удаленную жизнь препровождать в спокойствии и удовольствии совершенном, и как много с своей стороны поспешествовали всем тогдашним моим увеселениям. При помощи их вел я тогда жизнь прямо философическую, и большую часть времени своего посвящал им и науке сельского домоводства.

К сей, при помощи их же, я так прилепился, что позабывал почти о разъезжании по гостям, но всегда охотнее оставался один дома, занимался своими садами и книгами, нежели препровождал время в сообществах с такими соседями и людьми, из которых не было ни одного, с кем бы можно было молвить разумное словцо и побеседовать прямо дружески. Словом, весь тогдашний образ моей жизни был особливый и так единообразен и прост, что я могу оный немногими словами описать.

В каждое утро, встав почти с восхождением солнца, первое мое дело состояло в том, чтоб, растворив окно в мой сад и цветничок, сесть под оным и вознестись при том мыслями к производителю всех благ и пожертвовать ему первейшими чувствами благодарности за все его к себе милости. Между тем как я сим первым и приятнейшим для себя делом занимался, готовил мой *Абрам* (который продолжал и в деревне мне служить и отправлять должность камердинера, при помощи одного мальчишки, по прозвищу *Бабая*) мой чай.

Сей был у меня в тогдашнее время особливый. Некогда имея нужду полечить себя от заболевшей груди вареною в воде известною травую буквицею¹, подслащенною медом и приправленною сливками и продолжая пить сего напитка несколько дней сряду, я так к нему привык, и он мне сделался так приятен, что я позабыл совсем о чае и пил вкусный отвар сей всякое утро с таким же удовольствием, как и самый лучший чай китайский. Итак, не успею, бывало, встать, как чрез несколько минут и принашивал ко мне мой *Абрам* на подносе чайничек с вареною буквицею и с кострюлечкою с растопленным медом, и с другою такою ж с согретыми сливками; а *Бабай* мой следовал за ним с раскуренною трубкою с табаком. И я, опорожнив их до дна и напившись досыта, вскидывал на себя легкую, простую и спокойную деревенскую одежду и, всунув в карман какую-нибудь книжку, спешил в сады свои.

¹ Буквица – буковница, буковина – полевой шалфей.

Там, ходючи по своим аллеям и дорожкам, любовался я вновь всеми приятностями природы, вынимал потом из кармана книжку и, уединясь в какое-нибудь глухое местечко, читывал какия-нибудь важныя утренния размышления, воспарялся духом к небесам, повергался на колена пред Обладателем мира и Небесным своим Отцом и Господом и изливал пред ним свои чувствования и молитвы. Препроводив в том несколько минут, продолжал я хождение свое, отыскивал своего садовника, приказывал ему, что в тот день или час ему делать; и обходя сим образом и сады свои все, а иногда и всю усадьбу свою, возвращался я паки к удовольствию в свою комнату. Тут находил я всегда уже готовый для себя завтрак.

Сей состоял у меня обыкновенно из сваренной в кастрюлечке грешневой каши-размазеньки. Приправив ее хорошим чухонским маслом, выпораживал я ее с особливым вкусом и приятностию. После чего либо садился на верховую лошадь и выезжал на свои поля осматривать и производить хлебопашество, либо отхаживал опять в сады и в те места, где в тот день производились работы, и присутствовал при оных.

Двенадцатый час возвращал меня опять в мои комнаты. Тут дожидался уже меня изготовленный легкий и хотя не пышный, но сытный и приятный деревенский обед. И я, насытив себя, либо выходил опять в сад и, между тем как обедали и отдыхали мои люди, занимался там, сидючи где-нибудь под приятною тенью, чтанием взятой с собой приятной книжки, либо брал в руки кисти и краски и что-нибудь рисовал до того времени, покуда работы воспринимали опять свое действие и меня к себе призывали. Приятное же вечернее время посвящал я опять увеселениям красотами природы; и чтоб удобнее ими пользоваться и наслаждаться, то удалялся обыкновенно в старинный свой нижний сад, откуда видны были все окрестности и все прекрасное течение извивающейся нашей реки *Скниги*. У меня выбрано было к тому особое и лучшее местечко на самом обнаженнейшем хребте горы своей.

Тут, сидючи на мягкой мураве, при раздающемся по всем рощам громком пении соловьев, любовался я захождением солнца, бегущею с полей в дом и чрез речку перебирающеюся скотиною, журчанием воды, переливающейся чрез камушки милой и прекрасной реки нашей *Скниги*. И нередко приходя от того в приятные даже восторги, просиживал тут иногда до самага позднего вечера и до того, покуда прихаживали мне сказать, что накрыт уже стол для ужина.

Сим и подобным сему образом провождал я тогдашнюю свою уединенную холостую жизнь и за непрерывными упражнениями не видал, как прошла вся весна тогдашнего года. Наступившее потом лето принесло некоторыя другия занятия, но о которых упомяну я в письме последующем, а теперешнее, как довольно увеличившееся, сим окончу, сказав вам, что я есмь и прочее.

ПРОИСШЕСТВИЯ КРИТИЧЕСКИЯ

Письмо 108-е

Любезный приятель!

Изобразив вам в последнем письме всю приятность первоначальной моей деревенской жизни, скажу теперь, что сколь ни была она приятна и как я ею ни был доволен, но со всем тем чувствовал я всегда, что мне при всех моих заботах и увеселениях чего-то не доставало и что самым сей недостаток делал все их как-то несовершенными.

Сначала недостаток сей был мне не весьма чувствителен, но чем далее, тем становился он мне чувствительнее – и сделался, наконец, столь приметен, что я стал уже об нем и размышлять и существо его исследовать. И тогда скоро открыл я, что важный недостаток сей происходил от совершенного моего одиночества и состоял единственно в неимении при себе другого и такого мыслящего существа, которому мог бы я сообщать все свои мысли и с которым бы мог разделять все свои чувствования. Словом, мне нужен был товарищ такой, который бы имел согласныя со мною мысли и такия же чувствования, как я...

Все те дни и часы, которыя провождал я в сообществе с приезжавшим кой-когда ко мне приятелем моим, господином *Писаревым*, доказывали мне, сколь многое зависело от сообщества с человеком, с которым можно было обо всем говорить и сколь отменны дни сии были от препровожденных в совершенном уединении. И как недостаток становился мне час от часу ощутительнее и я наградить оный надеяться мог только чрез женитьбу, то хотя надежда сия была и не достоверная, но как не было ничего иного лучшего, то само сие обстоятельство и побуждало меня чем далее, тем чаще и более помышлять о моей женитьбе и о приискании себе в жены та-

кого товарища, какого, собственно, мне не доставало и какого желало мое сердце.

Но сие скорее сказать, нежели сделать было можно. Ибо, как хотелось мне не только такой, которая бы была довольно умна и к составлению мне такого товарища, какой мне нужен был, способна; но которая бы и собою была хотя не красавица, но по крайней мере такова, чтоб мог я ее, а она меня любить; а сверх всего того, которая не совсем была бедна, но приданным своим сколько-нибудь могла б не большой, а весьма умеренный достаток мой увеличить, то таковую при тогдашних обстоятельствах моих и найти не скоро или паче с трудом было можно.

Знакомство мое было не так обширно, чтоб я всех бывших тогда в домах взрослых девушек мог видеть и сколько-нибудь узнавать. Родственников и таких людей, которые бы могли в сем случае помогать, имел я также мало, а которых и имел, так все они были не таковы, чтоб мог я ожидать от них важной и существительной в сем случае услуги и вспоможения. А сверх всего того, и во всех ближних окрестностях и соседстве нашем было тогда как-то очень мало девиц, могущих быть мне сколько-нибудь под пару. Ибо, в иных домах хотя и были, но слишком против меня богатые, и такие, о которых мне помышлять было не можно; а другие, напротив того, слишком бедны; в иных хотя и были девушки, но слишком еще молоды и малы и в невесты мне еще не годились. О других носилась молва, что они привязаны уже были слишком к светской жизни, и которые, будучи девушками самыми модными, были совсем не на мою руку; а иные, наконец, не имея никакого воспитания, были уже слишком просты и таковы, что, живучи с ними, не можно было ожидать себе желаемой подмоги. А что всего хуже, то число и всех их было так не велико, что и выбирать было не из чего. А все сие сколько, с одной стороны, удерживало меня от поспешности при выборе себе невесты, столько, с другой стороны, озабочивало и производило опасения, чтоб за такими переборами не остаться, когда не навсегда, так надолго без невесты.

Итак, хотя и были у меня с дядею и другими многократны разговоры о невестах, но до половины лета не было у меня ни одной такой на примете, за которую бы можно мне было посвататься. Из всех, по достатку, сколько-нибудь казалась мне сходнейшею одна, о которой упоминала мне одна из заводских немок, называемая *Ивановною*. Сия добренькая старушка всегда, когда ни случалось ей у меня бывать, говаривала мне,

что у ней есть на примете для меня хорошая и такая невеста, которая была бы мне очень под стать, но сожалела, что была она еще слишком молода и что ей только минуло 12 лет. А сие не допускало ни меня, ни ее о сей невесте и думать. Другия же, кой-кем предлагаемая, были все как-то не по моим мыслям и таковы, что мне никак не хотелось начинать с ними какое-нибудь дело.

В сих-то обстоятельствах находился я, когда вдруг приезжает ко мне на двор человек в незнакомой ливрее и, вошед ко мне, кланяется от князя *Долгорукова* и княгини, жены его, а моей тетки и с извещением о том, что они приехали из Москвы в деревню свою *Калитино* и намерены тут прожить до самой осени. Обрадовался я чрезвычайно сему неожиданному их в наши края приезду и, приказывая благодарить за уведомление, говорил, что я не премину, конечно, сам у князя побывать и мое почтение засвидетельствовать. «Князь и княгиня того и желают, – сказал слуга, – и приказали вас просить, ежели можно, то завтра же бы пожаловать к ним откушать». – «Очень хорошо, – сказал я, – кланяйся, мой друг и скажи что буду».

Я и в самом деле положил к ним наутрие ехать; и как селение то, где они тогда находились, не далее было от меня верст 12-ти, а сверх того, имел я и сам в оном усадьбу и несколько крестьянских дворов, то и успел не только к ним поспеть к обеду, но и в деревне своей наперед все осмотреть, что там было.

Князь и княгиня приняли меня с обыкновенным своим благоприятием и отменно ласково. Они благодарили меня за скорый к ним приезд и изъявляли особливую радость свою о том, что я живу от них так близко, и просили, чтоб я посещал их как можно чаще и помогал им провождать время в скучной деревенской жизни. Я охотно обещал им сие делать, не ведая нимало, что скоро получу к тому и особую побудительную причину. Ибо не успел я несколько минут у них посидеть, как увидел входящих в комнату к ним самую ту старушку, госпожу *Бакееву*, с обеими своими дочерьми, которая сделались мне в Москве так знакомы и так много меня ласками своими к себе привязали.

Я поразился до чрезвычайности сим совсем неожиданным явлением: ибо мне и на ум того не приходило, чтоб они вместе с княгинею из Москвы сюда приехали. И вид их привел меня в такое смущение, что я долгое время не в состоянии был ни одного слова выговорить; и замешательство

мое было так велико, что сделалось всем довольно приметно, и доказало хозяевам моим то, чего они до того времени, может быть, и не воображали, но что и самому мне было еще не совсем достоверно известно, а именно то, что я на меньшую из сих девушек смотрел не равнодушным оком, но прилеплен был к ней хотя сокровенною, но довольно сильною уже любовью.

О сем с достоверностию и сам я не прежде узнал, как в сей день. Ибо хотя и было мне то уже давно и при отъезде еще из Москвы в Кашин да и после того приметно, но как по возвращении своем из Москвы и живучи несколько месяцев в доме, за непрерывными другими разными занятиями, я всего меньше об них думал, то отсутствие сие и время и поизгнало их так из моего воображения и памяти, что я считал все происходившее в Москве со мною единою мимопреходящею случайностию и думал, что я из столицы сей возвратился тогда с таким свободным сердцем, с каким в нее и приехал.

Но сей день доказал мне, что я в счете своем ужасно ошибся и во всех мыслях и заключениях своих обманулся до крайности. Ибо не успел с очами моими встретиться опять тот предмет, который для них был в Москве всего прочего интереснее и приятнее, как в единый миг возбудились во мне все прежния мои к ней нежные чувствования, – и я сделался в нее еще влюбленней, нежели как был прежде. Мне и тогда казалась она красавицею совершенною; а в сей раз, будучи одета в простое сельское летнее платье, но чисто и со вкусом, показалась она мне сущим ангелом! И вид ее так меня очаровал, что я не мог почти глаз моих отвести от оной; но куда бы зрение свое ни направлял, но она, как некакой магнит, привлекала оное ежеминутно и непрерывно к себе, – и так сильно, что я не мог сам себя одолевать! И чрез самое то равно как смущением и рассеянностию своих мыслей и дал тотчас приметить страсть свою князю и княгине.

Я пробыл тогда тут до самого вечера. И как обходились со мною и хозяева, и гости их еще с множайшим благоприятством и ласкою, нежели в Москве, то и протекло время сие так скоро, что я почти и не видал онаго, и не прежде встрянул ехать домой, как уже пред наступлением сумерек. Князь и княгиня отпустили меня не иначе, как взяв с меня обещание приехать к ним опять чрез три дни, – и также с тем, чтоб у них обедать и препроводить весь день, на что охотно я и согласился.

Не успел я, севши в свою коляску, пуститься в обратный путь, как и почувствовал я всю силу и действие возобновившейся и пробудившейся

во мне любви. Образ госпожи *Бакеевой* не хотел вытти никак из головы моей, но представлялся ежеминутно воображению моему со всеми своими прелестями и напоял всю душу мою удовольствием неизобразимым! Во всю дорогу, забывая все, занимался я об ней только одной помышлениями: я исчислял все ея приятности, воспоминал все ея слова, со мною говоренныя, и все деяния, производимыя ею. И как все они казались мне отменно милы и прелестны, то несколько раз жалел я о том, что она мне родня и небогата и что мне на ней жениться было не можно. «Никакой бы иной не хотел я иметь лучше сей невесты для себя, – говорил я сам себе, – так хороша, так умна, так благонравна! А что всего лучше, так для меня мила и приятна! Как бы счастлив я был, если б мог найти невесту себе ей подобную!»

В сих и подобных сему разговорах с самим собою препроводил я все время путешествия своего, и возвратился домой, власно как с потерянным и оставленным в *Калитине* сердцем и с духом, лишившимся своего прежнего спокойствия, и проснувшаяся любовь моя успела так увеличиться, что не дала мне покоя и в ночь самую. И ее я всю почти тогда не спал, а занимался воображениями прельстившаго меня предмета. И действие ее было столь сильно, что мне стало и скучно уже жить дома, и я уже с крайним нетерпением стал дожидаться того дня, в которой мне надлежало опять ехать к князю.

Между тем как я сим образом почти ежеминутно помышлял о соблазнувшем и очаровавшем меня предмете и с нетерпеливостию дожидался дня, в который надеялся опять его увидеть и зрение свое им насытить, происходили в *Калитине* обо мне разговоры. Ибо как старуха, тетка моя, бывала всякий день вместе с князем и княгинею, по тому что дом ея был в самой той же деревне и шагов только за 200 от их дома, княгиня же отменно любила девушек, дочерей ея, а особливо меньшую, то и были они почти безвыходно у нея и в собственном доме своем только что ночевали, да и то не все, а разве только одна старуха с старшею дочерью; младшая же жила почти совсем в доме у княгини. А потому не успела княгиня на другой день старуху тетку мою увидеть, как и завела с нею обо мне разговор. Она сообщила ей сделанное ею замечание, а сия призналась, что она и сама давно уже заметила отменную склонность и привязанность мою к дочерям ее и что на самом том оснует свою надежду и думает, не могу ли я сделаться когда-нибудь ее зятем?

– Как, – спросила княгиня, сие услышав, – разве это можно и разве вы не так близко родня между собою?

– Конечно можно, – сказала старуха, – родня только мы с мужем ему, а между детьми моими и им нет никакой родни: они между собою правнучатные. И поп здешний, Егор, говорит, что жениться без всякого сумнения можно.

– О, когда так, – сказала княгиня, – то надобно же нам совокупно стараться сим случаем воспользоваться. Женишок этот, право завистойной. И дочь ваша верно бы не несчастна была, если б могла получить себе такого мужа.

– Конечно так, – отвечала старуха. – Но Бог его знает: что-то он нима-ло еще о том не заговаривает, хотя и ласкается он к обеим дочерям моим. Мы сколько ни ждали того в Москве, но не могли дожждаться. И признаюсь, что более для того и в деревню сюда поехали: не решится ли он здесь нам сделать предложения, которому бы мы очень были рады.

– Это, может быть, от того происходит, – сказала на сие княгиня, – что он слишком застенчив, и так несмел, как красная девушка, и его надобно к тому поприготовить.

– Хорошо, – сказала старуха, – но того бы еще лучше, если б вы, матушка княгиня, нам в том сколько можно помогли.

– С превеликою охотою! – отвечала княгиня. – Я употреблю с своей стороны все, что только можно. Палагею Васильевну я сама очень люблю, и она достойна такого жениха.

– Нет, матушка, – подхватила старуха, – а ежели милость твоя к нам будет, так наклоняйте более Татьяну за него. Мой Василий Никитич и слышать того не хочет, чтоб меньшую дочь прежде большой выдавать замуж; и он никак не согласится, чтоб Палагею просватать наперед.

– О, это пустое! – сказала на сие княгиня. – Это разбирали в старину, да и не при таких случаях и женихах. В разсуждении сего было б сущее дурачество, если б предпринимать такие разборы. А к тому ж, что ты изволишь, если ему не Татьяна твоя, а Палагея более нравится, как я в том и не сомневаюсь, и когда он на Татьяне свататься и не подумает?.. Однако посмотрим, что будет далее, и поглядим: знает ли он еще и то, что ему вы не так близко родня, чтоб ему жениться на дочерях ваших было не можно.

– А Бог его знает, – подхватила старуха, – может быть он и не знает того.

– Хорошо ж – сказала княгиня. – Надобно ж нам наперед в этом его удостоверить: и буде он не знает, то внушить ему то.

Сим и подобным сему образом, как я после в точности узнал, говорено было тогда обо мне в Калитине, и положено при первом случае и свидании речь довести до родства нашего и вывести меня из недоумения. Сие и учинили они действительно; и чтоб лучше меня в том удостоверить, то с умысла уняли у себя в тот день, как я приехал, тамошнего приходского попа обедать, и нарочно при мне разговорились с ним о том, до какой степени нельзя вступать в брак и потом, будто бы для примера и объяснения, стали с ним считать родню: сперва, между мною и княгиною, а потом, между мною и старушкою и ее дочерями.

Я сперва нимало не догадался, и почитал все сие случайным разговором. Но как разговор стал час от часу ближе касаться до меня, и они ясно выводили, что обе оныя девицы были со мною в осьмом колене и так далеко родня, что мне можно на них и жениться, то сие власно как отворило мне глаза, и я усматривал уже, к чему это все говорено и что собственно на уме было как у моих хозяев, так в особенности у старушки моей тетки, бравшей более всех в помянутом разговоре соучастие и явно старающейся меня в том удостоверить, что мне на дочерях ее жениться было можно. Я не сомневался тогда уже в том, что сей того уже очень хотелось и что напротиво б было то и князю и княгине.

Все сие было хотя страстному моему сердцу очень и очень непротивно и ласкало оное наиприятнейшими для него надеждами и чувствами, и оно прыгало, так сказать, от радости при слышании сего разговора, в котором я хотя и не брал соучастия, но сидел, рдея только и краснея не говоря ни одного слова. Но, с другой стороны, самое сие возбудило в уме моем толпу совсем новых мыслей, а притом и некоторый род особенной осторожности. До того любовался я только красотою и совершенствами меньшей дочери госпожи *Бакеевой*, как моей сродственницы; а с сего времени стал уже на обеих дочерях ее смотреть иными глазами и так, как на девушек, назначаемых мне в невесты, – и на таких, из которых на любой можно было мне и жениться; и не только любоваться их красотою, но рассматривать ближе и точнее – как собственные их характеры, свойства и нравы, так и самое душевное расположение их ко мне и выводить из того нужные для себя заключения. И как, по счастью, был к тому наивожделеннейший случай, по причине частых с ними свиданий и вольного и

короткого с ними – как с родственницами – обхождения, то и положил я воспользоваться сколько можно удобствами сего случая и никак не спешить приступлением к решительному предприятию, от которого должно зависело будущее блаженство дней моих.

Всходствие чего я не только не отказывался от всех их к себе приглашений, но и сам еще почти навязывался к тому, чтоб мне с ними бывать чаще вместе. А потому не проходило ни одной недели, в которую бы не побывал я у князя раза два или три и не препровождал у них всякой раз по целому дню в разных упражнениях: когда в игрании с ними в карты, когда в гулянии по рощам и садам, а когда в шуточных и забавных разговорах.

Несколько раз хаживали мы все совокупно навещать и старушку тетку мою, в собственный ее дом, и она угощала нас там как хозяйка. И не один раз засиживался я так долго у них, что, соскучив ездить всегда домой по ночам, оставался даже ночевать в том селении на собственном своем дворе, куда нарочно для того велел привезть постель и кровать. А всем тем не удовольствуясь, пригласил я однажды и всех их к себе в Дворяниново отобедать. И как все они с особливою охотою на то согласились, то и угостил я их сколько мог лучше в своем домишке.

Сего обеда и празднества не могу я и поныне никак позабыть. Онный был наизнаменитейшим во всю мою холостую жизнь и по многим обстоятельствам особливога примечания достоин. Случилось сие не при начале тогдашняго моего с ними знакомства, а незадолго уже пред отъездом князя в Москву, и тогда, когда, с одной стороны, любовь моя к прельщавшему меня предмету дошла до высочайшей своей степени и я ею почти ослеплен был совершенно; а с другой, – когда находился я в высочайшей степени нерешимости с самим собою в том: жениться ли мне на этой девушке или нет?.. И когда находился я по сему сколько, с одной стороны, в приятнейшем, столько, с другой – в наимучительнейшем расположении духа: ибо сказать надобно, что как, с одной стороны, любовь моя к сей девушке во все сие время не только не уменьшалась, но с каждым новым свиданием так много увеличивалась, что я сделался, наконец, до безпамятства и до того в нее влюбленным, что были минуты, в которыя, любясь вблизи прелестями ее и красотою, я так ею пленялся, что решительно уже в мыслях предпринимал ни для чего в свете с особою столь для меня милою и с толикими совершенствами одаренною не разставаться и никак и никому в свете не уступать ее другому, так, с другой – в каждый день встречались

с зрением и умом моим такая мысли и предметы, кои всю пылкость любовного стремления моего в состоянии были останавливать и принуждать меня как на любовь сию, так и на предпринимаемый сей союз смотреть прямо философическими глазами, и чрез самое то, власно как некакими узами связывать те важныя слова, находившияся много раз на языке моем, которыя долженствовали решить единожды навсегда мой жребий.

Наиглавнейшее обстоятельство, удерживавшее меня было то, что я, сколько ни желал, сколько ни ласкался надеждою и сколько ни ожидал, но не мог никак дожидаться от нея ни малейшаго соответствования мне в той душевной склонности, каковую я к ней чувствовал. Словом, я никак не мог усмотреть в ней ни малейшей взаимной любви к себе и душевной привязанности. И сколько ни старался примечать все ее взоры и поступки, но всегда усматривал в глазах ее единое совершенное хладнокровие и равнодушие к себе. Все оказываемые ею ко мне ласки и благоприятство ничем не разнились от оказываемых ее сестрою и были обыкновенные и существенно ничего не значущие.

Не примечал я также во всем ея поведении, во всех ея поступках и изъявлениях своих чувств ни малейшаго согласия с моими чувствами и расположениями душевными. И я, к крайнему прискорбию своему, не усматривал ни малейшей симпатии или сходствия между душами нашими в чем бы то ни было. А все сие, а всего паче несоответствование ни на волос мне в любви моей, а совершенное ко мне хладнокровие и останавливало меня всегда и не только удерживало меня от объяснения с нею, но и смущало и огорчало дух мой до безконечности.

Долгое время не понимал я, от чего бы сие происходило? И недостаток взаимной склонности ко мне казался мне тем удивительнее и непостижимее, что, по-видимому, имела бы она все причины ласкаться и желать себе союза со мною. Но, наконец, пришло мне на мысль, что не занято ли уже кем-нибудь иным ея сердце и не от того ли истекает вся ея ко мне непреоборимая холодность?..

Мысль сию, нечаянно со мною повстречавшуюся, чем более я разрабатывал, тем вероятнейшею она мне казалась. И воображение мое тотчас нашло уже и предметы, к которым, по мнению моему, устремлены были душевныя ее склонности и мысли. С помянутою княгиною был тогда и сын ея, прижитый с первым ея мужем и наследник всему его великому имению. Мальчик сей был тогда уже лет пятнадцати, довольно взрослый

и собою отменно хорош. А сверх того, находился с ними француз, учивший сего сына княгинина, и также малой еще молодой, очень недурен собою и крайне живой и проворной. А как помянутая девушка жила почти безвыездно в доме у княгини и с обоими ими обходилась очень вольно и отменно ласково, то и возмечталось мне, что не из них ли кто-нибудь и прежде меня обовладел сердцем обожаемого мною предмета? И не сие ли в сей холодности ея ко мне причиною?

Основательно ли было сие мое подозрение или нет, того истинно не знаю и поныне; а только известно мне то, что тогдашняя несклонность ея ко мне возродила и питала во мне сии мысли, и не один раз заставляла меня самому себе говорить: «Господи! Что за диковинка, что не ощущает она ко мне ни малейшей привязанности и склонности душевной? Правда, хотя и неоспоримо то, что сердца и склонности оных не состоят в нашей власти и насильно никого полюбить не можно. И что всего легче статья может, что она-таки натурально не находит во мне ничего такого, что могло бы ее ко мне душевно привязать. Но, с другой стороны, Бог знает, уже не влюблена ли она в кого иного и не находится ли с кем-нибудь уже в сокровенной связи?.. Девушке, такой прекрасной, молодой, светской и живой, немудрено в кого-нибудь и влюбиться или по крайней мере иметь не меня, а кого-нибудь иного у себя в предмете. Легко статья может, что не один я, а есть и другие в нее влюбившиеся также, как и я, и она, будучи о красоте своей сведома, имеет у себя в виду какого-нибудь лучшего и во всем ее вкусу сообразнейшего и богатейшего жениха, нежели каковым я ей кажуся. Почему знать, не влюблена ли она, или не влюблен ли в нее самый сын княгинин и не прочит ли она его себе в женихи? Немудрено никак статья и сему. А недаром вижу я такую непостижимую к себе холодность, а особливо при присутствии этого княжева пасынка. Что я в нее влюблен, это она уже давным-давно заметила и знает; знает же и то, что согласились бы и отдать ее за меня. Итак, что ж бы такое удаляло ее от меня? Ненавидеть ей меня не за что, а и отвращения от меня иметь также казалось бы не можно... Нет, нет! А надобно быть, по всему видимому, чему-нибудь иному и мне неизвестному».

Сим и подобным сему образом говаривал и рассуждал я сам с собою не однажды. А как к тому присовокуплялась и примеченная мною в ней отменная привязанность к московской суетной светской жизни и совершенный недостаток в таких склонностях, какия хотелось мне иметь в сво-

ей будущей подруге, то все сие, а при всем том и самый недостаток приданого и удерживал меня не только от сватовства, но даже и от объявления ей любви своей. Но я скрывал как сию, так и все подозрения мои в глубине моего сердца и находился от того в мучительной нерешимости – что мне делать? И приступать ли к удовлетворению жестокой любви своей чрез сватовство и женитьбу на сей девушке или отважиться последовать гласу мудрости и благоразумия и к мужественному преоборонию сей мучительной склонности, о которой самому мне было довольно сведомо, что она, по натуре своей, не могла быть долговременною и прочною; но всего скорее может и погаснуть и уничтожиться невозвратно.

В сих-то обстоятельствах находился я, когда дошло дело до помянутого празднества. Повод к оному подала сама старушка тетка моя: ибо как она не сомневалась почти, что я не премину вскоре за дочь ее начать свататься, то хотелось старушке сей видеть наперед дом мой и все мое житье-бытье и оным заблаговременно полюбоваться. И потому однажды заговорила она о том так, что я принужден был почти против хотения своего пригласить их всех к себе в дом и просить князя и княгиню, чтоб и они удостоили меня своим посещением и у меня хоть бы однажды отобедали. И как сии охотно на то согласились, то по самому тому и были они у меня все в Дворянинове, – и не только обедали, но препроводили почти и весь день в гулянье по садам моим и не прежде от меня поехали, как уже перед вечером.

Каково сие угощение было, о том я не упоминаю. Оно имело натурально свои недостатки; да и можно ли чего совершенного ожидать от тогдашняго моего холостого состояния? Но то только знаю что поехали они от меня, как казалось, будучи очень довольными всем моим угощением, но что не так доволен был я сим посещением оных.

Повод к неудовольствию сему подала мне самая та, для которой наиболее и предпринимал я сие угощение, то есть дочь помянутой старушки.

Желая угодить ей как гостье, всех прочих для меня интереснейшей, надрывал я все свои силы и возможности к тому, чтоб угостить их как можно лучше. Но, к величайшему моему огорчению и неудовольствию, усмотрел я, что ей все мои старания и все и все в доме было как-то неуютно. И за столом она одна ничего почти не ела, и все кушанья казались одной ей только невкусными. А после обеда, когда ходили мы гулять по садам, ничто ей одной в них не нравилось; и когда я, взведя всю компанию на

лучший хребет горы моей и самое то место, где стоит ныне у меня, так называемый, «храм удовольствия», показывал им прекрасное положение места, окружающее жилище мое, и пересказывал князю и княгине все намерения свои и все, что хотел я впредь тут строить и делать, то сколь много любовались они красотою местоположения и хвалили все вместе с доброю и простодушною старушкою теткою моею, так мало, напротив того, все сие удостоивала дочь ея своего внимания! А что всего для меня неприятнее и паразитальнее было, то, вместо желаемого мною одобрения, власно как бы с некаким презрением усмехалась она еще, смотря на француза, всему тому, что мною говорено и показываемо было. Сие растрогало меня до чрезвычайности и сделало всему любовному ослеплению и стремительству моему вдруг такую осадку, что я в тот же еще день, проводив их, с разстроенным уже и огорченным духом решился, наконец, к предприятію того, чего они всего меньше ожидали, а именно, вместо ожидаемого старушкою сватовства, к мужественному преодолению всей любви своей к ее дочери и к оставлению о женитьбе своей на ней всех своих помышлений.

Признаюсь, что перелом сей был для меня труден и предприятіе сие было хотя прямо героическое, но произведенное мною с желаемым успехом. Весьма много помогли мне притом и слова старика прикащика моего. С сим, как с разумнейшим из всех моих тогдашних слуг, случилось мне как-то в тот же еще день разговориться о сем деле.

Проводив гостей своих, вышел я вслед за ними на ближнее мое поле, за прудами, посмотреть посеянной и всходившей тогда ржи. Старик сей шел вслед за мною. И как мы с ним, начав обо ржи, разговорились и о гостях моих, то вздумалось мне полюбопытствовать и узнать: каких бы он мыслей был о помянутой девушке? Но как удивился я, когда, на вопрос мой: какова она ему кажется? Сказал он мне:

– Хороша, сударь, и девушка изрядная; но матери-то не ее, а старшую за вас спрворить хочется.

– А почему ты это знаешь? – спросил я, удивившись.

– Как, сударь, не знать, – отвечал он, – слухом земля полнится: мы слышали от их же людей. И говорят, что она и спит и видит только то, чтоб ей быть за вами замужем. Да говорят, что она лучше и нравом и всем и всем меньшей сестры своей.

– Но мне-то она не такова на глаза, как меньшая; и ежели б жениться, так разве на сей последней, как ты думаешь?

– Бог знает, сударь, – сказал старик, – состоит это в воле вашей. И жениться не устать, сударь; отдадут, может быть, и эту, ежели свататься станете и не захотите взять старшую... Но то-то беда, чтоб после, сударь, не тужить вам о том.

– Да почему ж бы так? – спросил я, – она так умна, так всем хороша, что я не желал бы истинно иметь лучшей жены. Признаюсь, что она мне очень и очень нравится.

– Но то-то всего и опаснее, сударь. Мы это давно уже заметили и знаем, что она вам очень полюбилась. Но говорят, что любовь-то такая не очень прочна, а скоро проходит и потухает; а тогда-то и смотрите, чтоб и не стали вы тужить, что ни с чем взяли. А к тому ж и то еще не известно: станет ли она любить вас. Родилась она и выросла в Москве и деревни почти в глаза не видала. А вы у нас люди деревенские: так, Бог ее знает, полюбится ли ей жить в деревне и будет ли она всем довольна, что вы имеете здесь? Смотрите, сударь, как бы не ошибиться... А по моему згаду, недурно бы, если б что-нибудь и за невестою было. А на сей, сударь, когда женились, то не только ничего не получите, но и сами еще потеряете: Калитина хотя и не зовите уже тогда своим, а должно будет оно помогать уже им во всем. Люди они, как сами знаете, совсем недостаточные.

Слова сии впечатлелись глубоко в мое сердце, и так, что я, подумав несколько и сам с собою помыслив, сказал наконец:

– Ну, чуть ли ты не правду, старик, говоришь. Но как же быть-то? И где ж взять другую-то невесту?

– «И, сударь, – отвечал он, – был бы только жених, а невесты уже будут! Спешить только не надобно. Да и какая нужда! Это не малина и не опадет. Когда не одна, так другая, а не другая, так третья. Неужели-таки Бог так немилостив будет, что никакой себе не найдете лучше и выгоднее сей? Вот о какой-таки твердит всё Ивановна? И говорит еще, что будто сто душ за нею и что она одна только и есть дочь у матери.

– Это я слышал, – отвечал я, – но о сей что говорить: это еще ребенок – этой только еще тринадцатый год.

– Но разве подрость она еще не может? – подхватил старик.

– То так! – отвечал я. – Это я сам уже думал, а потому и почитаю ее всегда запасною невестою.

Сим кончился тогда сей нечаянный разговор наш; и каков короток и прост он ни был, но произошли от него великия и важныя следствия. Все

говоренныя стариком прикащиком моим слова так глубоко врезались в мою память, что не вышли у меня во всю последующую ночь из головы. И как присовокупилась к тому и досада и неудовольствие, произведенное во мне дочерью госпожи Бакеевой в тот день, возобновившая в уме моем и все прежния подозрения, то и заснул я с твердым предприятием оставить все свои об ней помышления и преодолевать всю свою к ней любовь по правилам и при помощи своей философии, обратив внимание свое к другим невестам. И буде не найдется никакой иной, то возыметь прибежище свое наконец к помянутой запасной.

Всходствие чего и в убежание дальнейшего себе безпокойства и решился я не ездить более уже так часто в Калитино, а побывать только там единожды для благопристойности. А между тем употребить все, что только могла предписывать мне философия моя к преодолению страсти моей.

Оба сии намерения и произвел я в действие, и в Калитине не был после сего времени более двух раз. В первый вскоре после помянутого угощения для принесения князю и княгине моей благодарности, а в другой, при самом уже их отъезде в Москву, для распрощания с ними. В оба сии приезда старался я уже как можно реже и меньше смотреть на предмет, меня столь много до того занимавший. И хотя мне несказанного труда стоило к тому себя приневоливать; однако я в состоянии был себя не только в сем случае пересиливать, но при помощи философии своей и распрощался с нею, при последнем свидании, без дальняго сожаления, а довольно хладнокровно и только ей сказал: «Простите, сударыня! Дай Бог, чтоб вы были здоровы, веселы и благополучны и чтоб нашли более удовольствия в Москве, нежели в скучных деревнях, где мы остаемся жить и в скуке влачить дни свои в уединенной жизни». И как она и при сем случае не оказала ни малейшаго сожаления, но распрощалась со мною хладнокровнейшим образом, то помогло мне много и самое сие к скорейшему преодолению всей жестокости любви моей и к истреблению ея совсем из моего сердца, а предмета, толь много меня занимавшаго, из моей памяти.

Со всем тем сие не так легко и скоро можно было произвести в действие, как я сперва думал; а потребно было к тому все философическое искусство и наблюдение всех правил предписываемых к тому ею. И не один раз принужден я бывал делать себе превеличайшее насилие и с слезами почти на глазах выгонять из головы лестныя и приятныя помышления и напоминания об ней, а производить, напротив того, противоположныя, и

такая, о которых известно было мне, что они всего скорее и удобнее силу страсти уменьшить и ее, наконец, совсем обезсилить и засыпать могут. И могу сказать, что ни при котором случае я изящною крузиевою философию, а особливо новою его наукою телематологию так много не воспользовался, как при сем. Она помогла мне всего более преодолеть в сей раз всю любовь свою и чрез немногие дни успокоить себя почти совершенно.

Но как бы то ни было, но сим образом кончилось тогда все мое знакомство как с князем и княгинею, так и с господами Бакеевыми. Ибо с сего времени уже я их никогда более в жизнь мою не видывал, и не знаю нимало того, в каких мыслях обо мне они тогда разстались; а радовался только тому, что с их стороны ни старушке тетке моей, ни князю, ни княгине не вздумалось никогда сделать мне какого-нибудь относящегося до сей женитьбы предложения, чем бы могли они меня смутить и все мысли мои разстроить до бесконечности; а я, с моей стороны, что при всей жестокости моей любви и при всех частых свиданиях и самом коротком обхождении с ними, был так осторожен, что не проговорился ни одним словом ни князю, ни княгине, ни им о любви своей и помышлениях о женитьбе на сей девушке. Почему и не могли они меня обвинять чем-нибудь с своей стороны.

Ныне находятся все они уже давно в царстве мертвых, и многие годы, претекшие с того времени, изгладили почти совсем из памяти моей все тогдашнее происшествие. И я позабыл бы оное почти совсем, если б не напомнило мне онаго знакомство, сведенное недавно с детьми сей отдаленной родственницы моей, коим судьба определила жить в моем соседстве и которых благоприятством и дружбою пользуюсь я и поныне.

Но как письмо мое слишком уже увеличилось, то дозвольте мне сим оное кончить и сказать вам, что я есмь и проч.

НАЧАЛЬНОЕ СВАТОВСТВО

Письмо 109-е

Любезный приятель!

Описав вам в предследующем письме одно из достопамятнейших происшествий, бывших в моей жизни, расскажу вам в теперешнем о том, в чем

и как препроводил я осень и весь остаток сего года и как началось формальное мое сватовство за ту, в сожитии с которою Провидение назначило мне препроводить весь век мой и... нажить детей, составлявших до сего и составляющих и поныне наилучшую часть блаженства жизни моей.

Случилось сие вскоре после отъезда помянутых родственников моих с князем и княгинею в Москву. Ибо не успели они уехать, и я помянутым образом, при помощи философии, уменьшить сколько-нибудь жестокость страсти своей, как стала уже мне представляться вся та опасность, какой подвержен я был недавно. И я радовался и благодарил Бога, что избавился от нея благополучно. Я разсуждал уже тогда обо всем происходившем до того с чистейшими мыслями, – и чем более о том размышлял, вспоминая все виденное и слышанное и все бывшая при том обстоятельства между собою сравнивал, тем более казалось уже мне, что женитьба моя на помянутой девушке не могла для меня быть никак выгодною, а того меньше счастливою, и тем паче, что я не находил между склонностями нашими с нею ни малейшаго согласия. Но дабы дело сие прервать совершенное и не запутать себя опять в сети, из которых едва только высвободился, разсудил я поспешить как можно исканием себе другой невесты. А тогда и власно, как нарочно, для скорейшего истребления из ума моего и мыслей госпожи Бакеевой и занятия всех мыслей моих иным предметом и случилось так, что старушка бабка моя, госпожа Темирязева, увидевшись со мною, насаждала мне так много об одной знакомой ей и довольной достаток имевшей девушке из фамилии Хотяинцовых что я, восхотев ее усердно видеть, с особливою охотою согласился на предлагаемое старушкою в доме у ней с девушкой сею свидание. Старушка не успела получить на то мое согласие, как дала тотчас о том знать матери той девушки; и как та давно уж того дожидалась и дочь свою за меня прочила, то и назначен был тотчас к тому и день. И мы с дедом моим, Никитою Матвеевичем, приглашены были к помянутой старушке, сестре его, и туда поехали.

Во всю дорогу старик, издеваясь, и шутками говорил мне, чтоб я смотрел невесту сию пристально, а не излегка и чтоб не прельщался одною красотою, а разсматривал и все прочее. Но, по счастью, не нужны были все внушаемые им мне предосторожности.

Невеста, которую нашли мы приехавшею туда уже до нас, не показавшая мне и при первом уже на нее взгляде. Она была хотя недурна собою, но показалась мне девушкою уже гораздо посидевшею и притом столь

дородною и толстою, что и один взгляд на нее привел меня уже в замешательство. А как, сверх всего того, была она впрах разряжена, разбелена и разругана и оказывала себя наиревностнейшею подражательницею всей модной московской светской жизни, так мало со всеми склонностями моими сообразной, и в поступках своих, в разговорах и поведении столь вольною, что я, увидев все сие, даже содрогнулся и сам себе в мыслях сказал: «Э, э, э! да куда мне с этакою чиновною деваться? И как можно будет с этакою модницею ладить?.. Сохрани меня от ней, Господи! Нет, нет, нет! И не мне, не мне с этакою ладить, а пускай она ищет себе другого и ей приличнейшего жениха, а я ей под пару не гожуся». А как таких же мыслей был и старик дед мой и находил между нами совсем неровню, то и рад я был, что от ней благополучно отделался и что из свидания сего ничего не вышло. И мы, посидев немного, поехали назад с тем же, с чем приехали, и я, без дальних околичностей, а прямо старушке сказал, что невеста мне не по нраву.

Со всем тем произошло от сего свидания то следствие, что я того же самого стал опасаться и в разсуждении других предлагаемых кое-кем мне невест. И сия так меня настрашала, что я отчаявался уже найти между всеми ими какую-нибудь себе по мыслям. И чем более я о сем размышлял, тем менее я имел к тому надежды; а напротив того, тем более стал прилепляться мыслями своими к той, которая предлагаема мне была немкою Ивановною. Ибо в разсуждении сей, льстила меня, по крайней мере, надеждою ее молодость. Я думал, что когда она так молода, то некогда еще ей заразиться московским модным духом и всею пышностию светской жизни. «И почему знать, может быть, – говорил я сам себе далее, – по молодости ее и удастся мне лучше приучить ее к себе и ко всему тому, что хотелось бы мне иметь в будущей жене своей?»

Сим и подобным сему образом сам с собою разсуждая, восхотел я поговорить еще раз об ней с помянутою немкою и расспросить обо всем обстоятельнее. Немка не успела узнать, что я хочу с ней видиться, как тотчас прилетела ко мне, и не успел я довести до нее речь, как и начала она о сей знакомице своей с таким жаром говорить и насаждала мне о сей молодой девушке, а особливо о матери ее столь много хорошаго, что я, наконец, почти соглашался уже на то, что начать за нее и свататься.

К сему побудила она меня наиболее тем уверением, что она хотя летами и действительно молода, но ростом так велика, что могла уже быть

невестою. А в том она почти не сомневается, что согласились бы, может быть, ее и отдать, если б посвататься. Словом, конференция наша тогдашняя об ней кончилась на том, чтоб Ивановне моей взять на себя труд и, съездив в этот дом, пораспознать, по крайней мере, мысли матери ее о том: расположилась ли б она ее замуж отдать, если б стал кто свататься и, например, такой человек, как я.

Не успели мы о сем с Ивановною смолвиться, как начала она уже требовать и назначения самого дня, в который бы ей туда на моих лошадях съездить. Сердце вострепетало тогда в груди моей как дошло до того, чтоб назначить день сей. И я, не иначе как благословясь и воспарив мысли свои к небу и обратив помышления свои к Богу, отважился на сей неизвестный мне путь и к назначению дня сего. И как обоим нам не хотелось дело сие откладывать вдаль, то и назначено было к тому 13-е сентября; и я снабдил ее парюю своих лошадей и повозчиком.

Не могу и поныне позабыть, с каким нетерпением дожидался я возвращения сей старушки и с какими душевными чувствами препроводил я все те три дня, которые она в сей путь проездила! Дом госпожи *Кавериной* был от нас не близко: жила она в соседственном к нам Алексинском уезде и в селе, отстоящем от нас не ближе, как верст за 40. Итак, надлежало употребить целый день, покуда она туда доехала, другой весь прогостила она там, как в знакомом себе уже давно и ей благоприятствующем доме, и ко мне не прежде могла возвратиться, как ввечеру третьяго дня.

Во все сии дни не были мысли мои ни на минуту в покое. Ивановна моя не выходила у меня из ума и памяти, и я не знал, радоваться ли мне или тужить о том, что ее отправил и начал такое дело, которое не могло почесться безделкою, а могло возыметь важныя по себе последствия. Обстоятельство, что предпринял я оное сам собою, и никому о том не сказавши, и ни с кем о том не посоветовав, еще более меня смущало. Все мысли мои колебались тогда, как трость, колеблемая ветром. До сего имел я твердое предприятие не начинать отнюдь ни на ком свататься, покуда не узнаю я коротко невесты и ея нрава и характера. А как поступил тогда совсем несообразно с сим правилом и начинал свататься за такую, которую не только не знал, но и не видал, а что того еще страннее – за сущаго почти ребенка, то мысли о сем еще более меня смущали и доводили до того, что я несколько раз уже раскаявался, что поспешил так сим делом, которое казалось мне несообразным ни с каким благоразумием.

«По крайней мере, – думал и говорил я сам себе, – надлежало бы мне с кем-нибудь иным о том наперед поговорить и посоветовать, а не с одною ничего не знающею старухою и ни о чем правильно судить не могущею немкою, которая старается о том только из интереса и надеясь получить себе за то какую-нибудь награду. Может быть, – говорил я далее, – и не все то правда, что насаждала она мне о невесте и ее матери. Хорошо, если б услышал я об них от других, коим они знакомы и которых лучше судить о том могут, нежели простодушная немка, которой по простоте ее все кажется хорошим».

И тут приходило мне и то на мысль, что, к несчастью, и посоветовать о том мне было не с кем: все родственники, соседи и знакомцы мои были не таковы, чтоб пристально мною интересовались. К тому ж дом сей никому из них, по отдаленности, и знаком не был. Наконец, и то обстоятельство приходило мне на мысль, что по непомерной молодости помянутой девушки и стыдился даже я и не отваживался и упоминать об ней никому.

Из всех моих друзей и знакомых хотя и был г. Писарев такой, с которым бы мог я о сем важном деле поговорить и посоветовать; но и тому не имел бы я духа в том открыться. К тому ж как случилось, что его во все сие лето не было дома, но он был в дальней отлучке, и я его давно уже не видал; а ежели б и был, то, по подозреваемому в нем тайному намерению женить меня на сестре своей, едва ли бы я ему решился в намерении своем открыться.

Сими и подобными сему мыслями занимался я тогда; но как дело было уже сделано, и Ивановна моя уже поехала, то и не осталось иного, как ополчаться на все неизвестности и ждать всего от времени и случайности. По крайней мере, ободрял я себя тем, что полагал почти за верное, что вся езда моей Ивановны будет тщетная, и что ей, по причине чрезвычайной молодости невесты моей, откажут совершенно, и что из сего дела не выйдет ничего.

Наконец увидел я и возвратившуюся мою посланницу – и сердце затрепетало во мне, как вошла она нечаянно ко мне в комнату.

– Ах, вот и ты, Ивановна! – воскликнул я. – Ну что, моя голубка: «ель или сосна» и имела ли ты какой успех в своем путешествии? И не даром ли проехала?..

– Бог знает, батюшка, – отвечала она мне, – и даром и не даром; и не знаю истинно, что сказать вам.

– Что ж по крайней мере? – продолжал я ее спрашивать. – Была ли ты там? Застала ли дома? Видела ли и говорила ли обо всем?

– Это все было, – сказала она, – и видела, и говорила обо всем и обо всем, и мне были там очень рады и насилу отпустили оттуда: хотели было еще на целыя сутки удержать, но я уже отговорилась кое-как и сказала уже, что повозчик мой не соглашается никак долее ждать.

– Хорошо! – сказал я, – но о деле-то нашем что?

– Ну что, батюшка, – отвечала она, – я не знаю, что и сказать вам о сем. Слушать они слушали все, что ни говорила и ни рассказывала я об вас, и им, кажется, все было непротивно и все слушали они с удовольствием. Но как дошло до дела, то и стали они в пень и не знали, что мне сказать на то, а твердили только, что невеста-то слишком еще молода, что ей и тринадцати лет еще не совершилось и что при такой ее молодости им и подумать еще о выдавании ее замуж невозможно.

– Ну, так поэтому они совершенно отказали тебе? – сказал я.

– Ах, нет! – отвечала она. – Отказать они никак не отказывали; и именно мне сказано, что не отказывают, а хорошо, говорят, когда бы можно было взять терпение и дать время невесте подрость, а им между тем с родными своими о том посоветовать. А на сие нечего мне было более говорить.

– Это, конечно, так, – сказал я, – а посему и нам о том говорить более нечего; а видно, что иного не остается, как искать другой невесты. Но, по крайней мере, не сказали ль они тебе, сколько ж бы времени хотели бы они еще, чтоб я подождал?

– Хоть бы годок место¹, говорили они, – сказала она.

– О, моя голубка! – подхватил я. – Год не неделя и не безделка; в это время много воды утечет, и я со скуки, живучи один, пропаду. Дело иное, если в сие время не найду я никакой иной невесты по себе.

– Ну, авось-либо, – сказала на сие старуха, – по моим счастьям² это так и сделается и никакой другой и не найдется.

Сим образом кончилось тогда сие первоначальное мое сватовство. И я, оставшись в неизвестном, рад был, по крайней мере, тому, что не завязалось еще сие дело так, чтоб мне от сей невесты и отстать было не можно.

¹ Здесь – повременить годок.

² На мое счастье.

И как ничего решительного положено не было, то и разсудил я никому о сем происшествии не сказывать, а сокрыть оное в глубине моего сердца, а между тем продолжать приискивать себе других невест.

Но все мои старания о том, как в последующую засим осень, так и в первые зимние месяцы, были тщетны: нигде не отыскивалось невесты, которая сколько-нибудь была бы мне под стать. Дядя мой хотя и не переставал твердить мне о своей госпоже Палициной, а помянутая старушка бабка госпожа Темирязева – о своей Хотяинцовой, уверяя, что я матери сей последней очень полюбился и она охотно соглашается отдать за меня дочь свою, но мне об них и слышать, а первую и видеть никак не хотелось. И Провидение, власно как очевидно, как от сих, так и от нескольких других, кой-кем предлагаемых мне невест и, может быть, для того меня отводило, что Ему известно было, что всех их век недолго продолжится: ибо к особливому удивлению из всех их нет уже ни одной в живых, и все они уже давно переселились в царство мертвых. Словом, Промысл Господень строил свое, а не то, что я думал и располагал.

Теперь, оставя сию материю, расскажу вам, любезный приятель, о прочем, происходившем со мною в сию осень и о том, как и в чем препроводил я как оную, так и первые зимние месяцы.

Жил я во все сие время хотя в сущем уединении и одиночестве, однако не могу сказать, чтоб проводил оное в скуке. Привычка к непрерывной деятельности и к заниманию себя чем-нибудь не давала мне никогда чувствовать скуки, но помогала мне проживать уединенные дни свои еще с удовольствием. Ни одного дня не препроводил я в праздности, но всегда находил себе столько упражнений, что не на долготу времени жаловался, а сожалел, напротив того, еще, что оно протекает слишком скоро и мне не позволяет делами своими столько заниматься, сколько бы мне хотелось.

Покуда было еще тепло и можно было быть и заниматься чем-нибудь на дворе, то не ходил я почти с онаго. Сперва занимали и увеселяли меня до бесконечности плоды, созревшие в садах моих. Со всеми ими я спознакомливался и все собирал с особливым рачением и удовольствием. Потом, как наступила осень, то занимался опять садкою многих и разных дерев в садах моих; а между тем несколько времени занимался другим и важнейшим делом.

Из всех наших лесных угодьев оставалась еще тогда одна прекрасная и в нескольких десятинах состоящая роща, известная и поныне еще под

именем *Шестунихи*, не срубленная. И как она была у нас у всех общая и легко могла подвержена быть такой же опасности и несчастному жребию, как и недавно глупейшим образом срубленный молодой заказ наш, то, жалея оную, хотелось нам с дядею спасти ее от того чрез раздел оной и убедить к тому соседа нашего, генерала. И как, по особливому счастью, согласился и сей на то, то хотелось всем, чтоб комиссию сию взял я на себя и произвел раздел сей колико можно лучшим и вернейшим образом.

Но как сего без снятия сей рощи геометрическим образом на план учинить было не можно, то хотелось мне при помощи дяди моего испытать над нею знание свое геометрии в практике, которая до того известна мне была только в теории. Но как к сему потребна была необходимо астролябия, у нас же не было никакой, да и взять ее было негде, а что того хуже, то мне не случилось никогда ее и видеть, то сперва не знали мы – чем пособить в сем случае своему горю. Но наконец вздумали с дядею сами смастерить себе некоторой род астролябии, и когда не совершенную, так, по крайней мере, такую, которою б можно было нам хотя по одним углам снимать лес и прочия места на план. Мы и произвели намерение сие в действо.

По наставлению и совету дяди моего мне и удалось сделать ее довольно изрядною; дно оловянной тарелки, расчерченное на градусы, должноствовало служить ей основанием, а приделанные диоптры и сделанный кое-как штатив придал ей желаемую к делу нашему способность. Мне никогда еще не случалось действовать инструментом сего рода, но старику дяде моему нужно было только показать мне первоначальные приемы, как дело и пошло у меня по порядку и с таким успехом, что в немногия дни обошел я весь оный лес и в состоянии был сделать всему лесу очень верный и такой план, по которому нам легко уже было его разделить по дачам и потом просеками разрезать на части. Оба старики мои были тем чрезвычайно довольны; а я хорошим успехом первого опыта своего был еще довольнее оных.

В самое сие время приехал к нам в отпуск старший сын дяди моего и мой прежний в резвостях сотоварищ, Михайла Матвеевич. Как он служил тогда в артиллерии офицером и приехал к нам из полку, то с крайним любопытством и нетерпеливостию хотел я видеть сего ближайшего родственника и будущего своего современника и соседа. Я никак не сомневался, что найду в нем великую перемену: я и нашел ее; но, увы! далеко не такую, какую желал бы я в нем найти.

Он был хотя годом меня моложе и служил в таком корпусе, где надобно бы ему чему-нибудь научиться и знать; но я нашел в нем совершенного неуча и во всем невежду, которая даже до того простиралась, что он не знал и первейших понятий из математики и наук, и не умел даже изображать лес на планах. Я остолбенел от удивления, попросив его однажды помочь мне при скопировывании моих планов и увидев совершенную к тому его неспособность.

Он прожил с нами почти до Рождества и до самого того времени, как поехал дядя мой по обыкновению своему в Москву. Прихаживал кой-когда ко мне, но посещения его были мне не столько приятны, сколько скучны и отяготительны: ибо, будучи не таких свойств, как я, не о том он думал и помышлял, о чем думал я, и не тем занимался, что мне было надобно.

Как скоро настала глубокая и холодная осень, загнавшая меня в тепло, то начались у меня другие упражнения. Родилась во мне охота к малеванию масляными красками. Никогда я еще до того не малевал оными, а тогда вздумалось мне учинить тому опыт и срисовать с самого себя портрет на холсте. В сей работе упражнялся я обыкновенно днем, и с таким рвением и прилежностью, что не могу и поныне еще позабыть, как я однажды так заработался, что позабыл даже об обеде и удивился сам себе, как личарда мой, *Бабай*, уже пред самыми сумерками подступил ко мне и стал спрашивать: не прикажу ли я на стол накрывать?

– Как, – удивясь, спросил я его, – разве я еще не обедал?

– Да нет еще, – сказал он.

– Ну, брат, хороши же мы с тобою, – сказал я, захохотав. – Я заработался, а ты так хорош, что мне и не напомнил.

– Да я, сударь, все ждал приказания вашего.

– Ну, ну – хорошо. Собирай же скорее, а то нам и куры будут смеяться, что мы про обед позабыли.

Что касается до длинных и скучных осенних и зимних вечеров, то все сии посвящал я литературе и наукам, и занимался в оныя либо чтением книг, либо писанием. И хотя я просиживал все сии вечера один-одинехонек с свечкою пред собой и подле тепленькой печки, и хотя и во всех хоромах, кроме меня и сотоварища моего *Бабая*, не бывало ни одной души, да и сей сотоварищ мой не со мною сиживал, а забившись в лакейскую сыпал крепким сном, так, что нередко нахаживал я его впрятавшася совсем в печь и с высунувшею только из оной и на стул положенною головою, хра-

пящего, однако, несмотря на все сие, провождал я длинные вечера сии, при помощи книг своих, без малейшей скуки. И за сие в особенности благодарить я должен свою «Детскую философию».

Сия книга обязана происшествием своим самому сему моему тогдашнему уединению, ибо я упражнялся тогда наиболее в сочинении первой части оной. Мне вздумалось в сие время предпринять сие дело на досуге и от скуки; а побудило меня к тому наиболее «Детское училище». Мне хотелось, подражая некоторым образом госпоже *де-Бомонт*, изъяснить таким же легким и удобопонятным образом для детей всю наиважнейшую часть метафизики или естественную богословию; а притом все сочинение расположить так, чтоб оно могло послужить в пользу и будущей молодой жене моей, если не на иной, а на сей доведется мне жениться. Вот причина, для которой и помещены в ней первые разговоры, изображающие такой характер молодой женщины, какой хотелось бы мне, чтоб имела будущая моя подруга; ибо как никакой иной невесты не отыскивалось, то начинал я думать, что едва ли не той судьба назначает быть за мною, которая предлагается мне была немкою Ивановною.

При всех помянутых литературных и любопытных моих упражнениях, не оставлял, однако, я и того, чтоб временно видаться и с немногими соседями своими. Хотя и не очень часто, однако хаживал я и к обоим старикам, ближним соседям моим и просиживал у них иногда по несколько часов; а ездил также и к г. Ладыженскому и к Иевскому. Осенью же, услышав, что с Москвы съезжал в старинную свою деревню дядя мой, г. *Арсе-ньев, Тарас Иванович*, ездил я к нему за Серпухов, в село Кислино, и принят был от него с отменною ласкою. А не оставил также, чтоб не побывать и у сестры его, а моей тетки, *Матрены Ивановны Аникеевой*.

Сию милую, разумную и почтенную старушку любил и почитал я с самого младенчества; да и она любила меня отменно и была очень довольна, что я приезжал к ней в деревню. И как она не преминула также начать говорить со мною о женитьбе и советовать оною не медлить, то ей только одной открылся я в начатом своем сватовстве. И она не только мне не отговаривала, но и советовала не упускать сей невесты, если только отдадут, говоря, что молодость нимало не мешает и что для меня несравненно безопаснее и лучше жениться на молодой и простой деревенской девушке, нежели на модной и развращенной какой-нибудь московской моднице и вертопрашке. Сие подкрепило меня очень много в моем намерении про-

должать сие дело. И я неведомо как жалел, что милая и разумная сия старушка жила от меня так далеко, что не можно было мне видаться с нею часто и пользоваться искренними ее советами.

Сим образом делил я свое время между домашними упражнениями и разъездами по своим соседям. Ко мне же, как к холостому человеку, редко кто приезжал. Один только прежний мой приятель, г. *Писарев*, не преминул меня посетить, как скоро возвратился из своего путешествия в смоленские пределы, – и прогостил у меня опять несколько дней сряду.

Сие время было для меня опять лучше всякаго праздника: ибо с ним мог я опять обо всем и обо всем наговориться досыта. И я не видал, как протекли те три дня, которья он у меня пробыл; я показывал ему начатой свой труд и читал с ним все, сколько ни сочинено было до того времени моей «Детской философии», и он, расхвалив ее, советовал мне продолжать оную.

Но что касается до начатаго мною сватовства, то не отважился я упомянуть ему об оном ни единым словом, ибо боялся чтоб не стал он меня за то гонять и называть предприятие мое неблагоразумнейшим делом. Я не переставал все еще подозревать его в сокровенном его намерении женить меня на сестре своей: и тем паче, что не успел он приехать, как и начал мне рассказывать о своем путешествии в Смоленск, где сестра его тогда у какой-то родственницы находилась, и превозносит ее безчисленными и непомерными похвалами, рассказывая мне, как она разумна и какая великая охотница до читанья книг, а особливо таких, о которых он знал, что были у меня в особом почтении, как, например, Гофмановы, «О спокойствии и удовольствии» и других тому подобных.

Всем тем, а особливо изображением изящнаго ее нрава, тихаго и кроткаго ее поведения и отменно хорошаго характера, старался он сколько мог предубедить меня в ее пользу. В чем, может быть, наконец он и успел бы, если б, по счастью моему, не случилось мне за короткое время до его ко мне приезда нечаянно узнать о сестре его то, что он тщательно от меня сокрыть старался, а именно: что она гораздо меня старше, была очень дурна собою и что самый нрав и характер ее был далеко не таков хорош, каким он его изображал; а что всего хуже, то не имела за собою никакого почти приданого. Все сие услышал я нечаянно от старика генерала, моего соседа, которому случилось ее видеть и которому все обстоятельства их дома, бывшего ему как-то еще и сродни, были коротко знакомы.

Старик сей, говоря еще о сем, именно упоминал мне, что вот и она невеста; но для меня нимало не под стать и никак не годится. А сей нечаянный случай и помог мне, в разсуждении сего пункта, взять предварительно от г. *Писарева* предосторожность и не всему тому слепо верить, что он мне об ней внушить старался. А как тотчас потом стал он меня наитщательнейшим образом расспрашивать: не нашел ли я себе где-нибудь невесты и не сватает ли за меня кто какую, также нет ли у меня какой на уме? – то сие еще более увеличило во мне к нему подозрение и побудило меня еще более сокрыть от него начатое сватовство, а упомянуть только о госпоже *Хотяинцовой* и о бывшем у нас сей невесте смотре, которое происшествие, как сделавшееся всем известным, было безсумненно ему уже и без того ведомо. И как он, услышав о том, стал надседаться со смеха и не только всячески ее опорочивать и поднимать и ее и меня на смех, то сие еще и более подкрепило меня в подозрении о его к себе неискренности в сем пункте и побудило тщательно утаивать от него мое последнее сватовство.

Впрочем, памятно мне, что и в сей год, в день именин своих, сделал я у себя небольшую пирушку и пригласил к себе на обед всех ближних моих соседей. Оба старики соседи мои удостоили меня опять своим посещением; но кроме их и любезного соседа моего г. *Ладыженскаго*, никого в сей раз у меня не было.

Вот почти все, что происходило в течение последних месяцев сего года. Ибо, кроме сего, не помню я ничего особенного и такого, о чем стоило бы упомянуть. Кроме того, что как я в сей год не имел дальней нужды ехать в Москву, а сверх того, боялся, чтоб там опять не возобновить знакомства своего с господами *Бакеевыми*, то расположился я и самые Святки пробить дома и довольствоваться теми увеселениями, какия могла доставить мне деревенская жизнь. И частыя свидания с моими соседями помогли мне и действительно препроводить их без дальней скуки: и один дом г. *Ладыженскаго* в состоянии уже был доставить мне удовольствия множество, и по веселому характеру хозяина сего дома было мне в оном всегда весело и никогда не скучно.

А всем сим мог бы я и всю историю сего года кончить, если б не оставалось мне еще одного, чем я вам, любезный приятель, должен, а именно то, чтоб сообщить вам известие и о конце той славной нашей Семилетней войны, о которой в предсказанных моих письмах говорил я так много и которая в течение сего года получила совершенное уже свое оконча-

ние. О сей войне хотя, по удалении своем в деревню, и не имел я почти и слухов, но как не сомневаюсь я, что вы любопытны знать и слышать, чем странная война сия кончилась, то расскажу вам все, что мне впоследствии времени сделалось о том известно, и чрез то усовершенствовать сколько-нибудь мое об ней повествование. Однако учинить сие дозвольте мне не теперь, а в письме за сим последующем, а между тем, сказать вам, что я есмь и прочее.

КОНЕЦ ПРУССКОЙ ВОЙНЫ

Письмо 110-е

Любезный приятель!

Обещав вам в сем письме рассказать вкратце о том, чем и как славная наша прусская война, известная в истории под именем «Семилетней», кончилась, и приступая теперь к сему повествованию, прошу припомнить все то, что я об ней рассказывал прежде, и те обстоятельства, на которых мы тогда остановились. А дабы вам удобнее сие учинить было можно, то возвратимся на минуту несколько назад, – и к самому тому времени, как скончалась наша *императрица Елисавет Петровна*.

Время сие, как я тогда уже вам упоминал, было для пруссаго короля самое критическое. Он доведен был всеми предследующими кампаниями до самага уже истощания; а последние наши и союзников наших, цесарцев, завоевания довели его до такой крайности, что он, будучи почти совсем без денег, без войска, без генералов и офицеров, не находил себя в состоянии выдержать еще и полугодичную войну и начал уже действительно опасаться, чтоб не лишиться ему – когда не всех своих наследственных земель, так, по крайней мере, большей части оных. А сие, по всем тогдашним и прямо для его несчастным обстоятельствам, может быть, и действительно б совершилось, если б продлилась еще хоть один год жизнь императрицы *Елисаветы*. Но нечаянная и никем не ожидаемая кончина сей монархини нашей, происшедшая, может быть, и не совсем натурально, а чрез поспешествование к тому врачей ея, которыя за самое то сделались потом несчастными, произвела во всей войне сей столь великий переворот, что весь свет впал от того власно как в некое изумление. Великая,

безпримерная и почти чрезвычайная дружба наследника ея к королю прусскому произвела сию великую и никем не ожидаемую во всех обстоятельствах перемену.

Я вам рассказывал уже, что император наш Петр III не успел вступить на престол, как первейшим делом своим почел заключить с прусским королем сперва перемирие, а в непродолжительном времени потом и самый мир. И не только велел сначала находившемуся тогда при цесарской армии нашему Чернышовскому, и в 20-ти тысячах человек состоявшему корпусу, отошед от цесарцев, возвратиться чрез прусския области в Польшу; но как цесарцы не восхотели тотчас предложению его и совету повиноваться и с пруссаками заключить мир, то, разсердившись за то, приказал сему, уже за Бреславль прошедшему корпусу не только остановиться, но, соединившись с армиею короля прусскаго, находиться у него в полном повиновении.

Таковая поступка нашего императора и заключенный им с прусским королем, не только мир, но и дружественный союз, а вскоре за сим последовавший мир у прусскаго двора с шведским государством не только разстроил все дела наших, воевавших против прусскаго короля союзников, но ободрили прусскаго короля так, что он поднял опять голову и начал сам уже на других нагонять страх и опасение. По чрезвычайной расторопности своей нашел он средства чрез короткое время снабдить себя всем и всем нужным и ополчиться против неприятелей своих так, что в половине лета был уже готов, при помощи наших начинать великия предприятия.

Его главное намерение было овладеть паки славною и в последнюю кампанию цесарцами отнятою у него шлезскою крепостью Швейдницом, от завладения которою весьма многое зависело. Но как цесарцы не только имели в оной сильной гарнизон, но и вся цесарская армия, под командою опять славнаго их фельдмаршала графа *Дауна*, в недалнем разстоянии стояла в горах, окопавшись, и могла сей осаде делать помешательство, то нужно было королю каким-нибудь образом отдалить и вытеснить из гор сию цесарскую армию и пресечь ей сообщение с Швейдницом.

Для сего разсудилось ему отправить отделенной легкой корпус с нашими казаками во внутренность Богемии для опустошения и разграбления мест, позади цесарской армии находящихся, в надежде, что сие побудит *Дауна* сойтить с своих укрепленных гор и отойти в Богемию. Но

какой успех посланные от короля прусского в предприятии своем ни имели и какое разорение тамошним местам казаки наши ни причинили, но все сие не могло никак поколебать хитраго фельдмаршала цесарскаго: он не сошел никак с гор. А сие и причиною было, что король, не находя иных средств, решился наконец в сих горах его атаковать и произвести то силою, чего не мог произвести он хитростию и искусством.

Происшествие сие было славное, и более потому, что король принужден был употребить все свое военное искусство при сем случае и произвести атаку сию укрепленных гор с крайним рассмотрением. Он и произвел ее прямо мастерским образом.

Но со всем тем едва ль бы мог иметь в том успех вождеденный, если б нечаянный и особливый случай не сделал ему в том вспоможения. Ибо в самое то время, когда только что хотел он начинать сию атаку при помощи нашего Чернышовского корпуса, получает граф *Чернышов* вдруг курьера с известием о вступлении императрицы *Екатерины* на престол и с повелением, чтоб ему того часа иттить от прусской армии прочь и возвратиться к прочей нашей армии, находившейся тогда еще в Пруссии.

Короля сразило сие неожиданное и все его замыслы и дела разстроившее известие. Однако он хотя бы и мог тогда остановить и совсем обезоружить наш корпус, но сего никак не сделал, а отпустил его с честью и так, как бы дружественное войско. А воспользовался он при сем случае только тем, что упросил графа Чернышова, чтоб он до того времени, куда сделаны будут по дороге, для обратнаго шествия его, все нужная приуготовления и не более, как дня два или три, не объявлял бы о сем повелении никому, а сокрыв бы оно втайне, постоял с корпусом своим на одном, ему назначенном месте, хотя без всякого дела. И как граф Чернышов ему сие одолжение и сделал, то и поставил он корпус его в таком месте, что не знающим еще ничего о том цесарцам принуждено было отделить знатную часть своей армии и поставить против сего мнимаго неприятельскаго корпуса и чрез то ослабить оставшую и ту часть своей армии, которую король атаковать замышлял. А чрез самое то и удалось ему хотя с великим трудом, но получить над ними великий выигрыш, и не только овладеть их горскими укреплениями, но вытеснить их из гор и принудить отойти в Богемию. Итак, корпус наш хотя и не был в действии, но стоял спокойно, но одним присутствием своим помог получить ему великую выгоду.

Сия была последняя короля прусского хитрость, употребленная некоторым образом против нас и своих неприятелей. После того не стал он ни минуты более держать наш корпус, но, одарив графа Чернышова прямо по-королевски, отпустил его с честью от своей армии.

Сим образом разстались тогда наши с пруссаками, и хотя не проливали за него кровь свою, но сделали побочным образом ему великое вспоможение. И он во все время пребывания нашего корпуса у него воспользовался только вышеупомянутым действием наших казаков, доезжавших при набегах своих в Богемии почти до самого столичного богемского города *Праги* и причинивших цесарским землям великие опустошения и подавших королю прусскому первый повод к украшению всей конницы своей султанами на шляпах и шапках, которое обыкновение сделалось потом, как известно, и всеобщим. Случай к тому был тот, что хотя различие между прусскою и цесарскою конницею было во многих вещах и довольно приметно, но дураки наши казаки не могли никак того примечать и различать; но часто самую прусскую кавалерию почитали цесарскою. А дабы сделать первую для них приметною, то и вздумал король отличить всю конницу свою для казаков сими султанами.

Весь свет тогда не сомневался, что у нас возобновится опять война с королем прусским; да и нельзя было инако и думать, ибо императрица наша, почитавшая до того короля прусского личным себе недругом, не только в первом уже манифесте своем назвала короля злейшим неприятелем России, но и тотчас по вступлении на престол отправила повеления как к помянутому Чернышову, так и ко всей тогда еще в Пруссии находившейся нашей армии, чтоб почитать пруссаков опять своими неприятелями и всех прусских жителей привести опять в верности к себе к присяге. Однако в мнении своем все обманулись, и произошло совсем тому противное и не ожидаемое всеми возобновление войны, а подтверждение и с стороны ее заключенного уже до того императором мужем ее с пруссаками вечного мира.

Все историки тогдашняго времени приписывали неожиданному явлению сему следующую и в особенности достопамятную причину. Говорят, что как начали по кончине императора Петра III, при присутствии самой императрицы, разбирать все письменныя дела в его кабинете, то нашлись тут многия своеручныя письма короля прусского к императору, из которых оказалось, что он далеко не такой был враг императрице, каковым она

его себе почитала, но, напротив того, он многожды его наиубедительнейшим образом увещевал быть во всем воздержнее и благоразумнее, и не посягать нимало и ни в чем против императрицы, своей супруги; и что сии письма, якобы до слез и так разстрогали императрицу, что она в тот же час оставила намерение свое с ним воевать, а решилась подтвердить заключенный с ним мир и отправила в тот же день противныя прежним повеления свои в армию, находившуюся в Пруссии, и приказала выттить ей совсем из прусских пределов и оставить все наши завоевания.

Все сии перемены последовали столь скоропостижно друг за другом, что и неудивительно, что в прусском городе Кёнигсберге произошло то в особенности историками замеченное странное явление, что 26-го июня находились еще утвержденные на воротах и в других местах сего города российские двуглавые орлы; 27-го числа были они все, по случаю заключенного императором Петром III с Пруссиею мира, сняты и вместо их поставлены прежния прусские, одноглавые орлы; а 4-го июля явились, по повелению императрицы, на них опять российские орлы, а 9-го числа июля, наконец, поставлены опять и навсегда уже прусские орлы.

Но как бы то ни было, но сим кончилась тогда с нами вся бывшая до того кровопролитная война, пожравшая у нас более 300 тысяч нашего российского народа, извлекавшая из недр России несметные миллионы денег и не принесшая нам никакой иной пользы, кроме того, что войска наши и генералы научились лучше воевать, и все лучшее служившее тогда в армии российское дворянство, препроводив столько лет в землях немецких, насмотрелось всей тамошней экономии и порядкам. И получив потом в силу благодетельнаго Манифеста о вольности дворянства от военной службы увольнение, в состоянии было переменить и всю свою прежнюю и весьма недостаточную деревенскую экономию; приведя ее несравненно в лучшее состояние, чрез самое то придать и всему государству иной и пред прежним несравненно лучший вид и образ, – хотя заплатило за сие и очень дорого!

После сего недолго уже продолжалась и в других местах сия кровопролитная и навеки достопамятная война. Однако во все течение 1762-го года все еще она продолжалась и в разных местах пролито еще много крови человеческой. Но из всех бывших в сие время и последних военных происшествий ни которое так не достопамятно, как осада пруссаками помянутого шлезского города Швейдница, которую король прусский тотчас

предпринял, как скоро удалось ему вышеупомянутым образом вытеснить цесарскую армию из гор и прервать чрез то ей сообщение с помянутою крепостью.

Все историки сего времени утверждают, что из всех бывших во всю сию Семилетнюю войну многочисленных осад, ни которая не была так достопамятна, как сия. И, во-первых, потому, что производима была по всей форме военного искусства; во-вторых, что производима была целою прусскою армиею при глазах и при распоряжениях самого короля прусского и, что того более, в виду и всей цесарской армии под командою славнаго их генерала графа Дауна, старавшагося освободить крепость сию от осады и вскоре после начатия оной к ней подоспевшаго, но всею хитростию своею не могшаго никак ее освободить от осады; в-третьих, что крепость сия защищаема была сильным и более, нежели в 9000 человек состоящим гарнизоном под командою искуснаго в военном ремесле коменданта генерала Гаска; в-четвертых, что как осаждаема, так и защищаема была по предписаниям и распоряжениям двух славнейших в тогдашнее время в свете инженеров, доведших инженерное искусство до высочайшей степени совершенства и старающихся друг пред другом всему свету доказать великое свое в сей науке знание.

А всего страннее, удивительнее и достопамятнее было то, что оба сии великие инженеры были родом французы, оба старинные между собою друзья и в прежния времена сослуживцы и военные камерады: один назывался *Грибоваль*, и защищал крепость, а другой – *Лефевр* и распоряжал всеми действиями осаждающих. Первый находился еще и тогда во французской службе и был за отличную свою способность прислан от короля французскаго к австрийской армии, а последний служил тогда королю Фридриху. Оба они были писатели, оба имели особья и собственные свои системы, которыя каждый из них в сочинениях своих защищать старался. И тогда оказался редкий случай доказать обоим им доброту своих теорий действительною практикою пред глазами всего света. Материалы к сим испытаниям, яко то: человеческая кровь, железо и порох, предоставлены были им на волю. Лефевр хотел взять крепость преимущественно подкопами и взять в короткое время; но он хотя и исполнил свое обещание, но только весьма несовершенно и принужден был почти поступать на большую часть по старым правилам.

Нельзя изобразить, сколь многие употребляли они друг против друга хитрости, и какое множество делано было с обеих сторон мин и контрминов! Славные и так называемые глобы де-компресии, или гнетущие шары, сделались наиболее в сем случае известными и были многим сотням людей смертоносными. Но и, кроме того, производима была при сей осаде не только сверх земли, но и в недрах оной настоящая война и с разными с обеих сторон успехами. Но осажденным удавалось как-то всегда брать над пруссаками преимущество, и бедный Лефевр, нажив презрение от всей прусской армии, доходил даже до такого отчаяния, что сам себе искал смерти, вдаваясь в величайшие опасности, и что король принужден был уже его сам утешать и ободрять при его неудачах.

Теперь было бы слишком пространно, если б описывать все бывшие при сей осаде происшествия; а довольно когда сказать, что было их множество разных, редких и достопамятных, и что продлилась осада сия до самого октября месяца и целые 63 дня от открытия траншей, и что помогла пруссакам овладеть сею крепостью одна их гаубичная граната, попавшая случайным образом в такое место, где лежало у цесарцев много пороху, и которая, зажегши оной, взорвала целой бастион с двумя гренадерскими ротами и многими австрийскими офицерами на воздух. Сие только происшествие, разстроившее все распоряжения осажденных, принудило, наконец, цесарского коменданта, не допуская до приступа, сдать крепость сию королю прусскому и отдаться ему со всем своим гарнизоном в плен.

С обеих сторон погибло при осаде сей тысячи по четыре людей и выстрелено до 300 тысяч пушечных, гаубичных и мортирных зарядов. И королю, как ни жаль было потерянных толь многих людей при сей осаде, но он так почтил храбрость защищавшего толь долго крепость коменданта, что посадил его с собою за стол обедать.

Что касается до цесарского фельдмаршала Дауна, то неудача его при освобождении сей крепости от осады нанесла ему великое безчестие и приписывалась наиболее вражде его против Лаудона. И в Вене так были недовольны поступками его в сем случае, что народ публично было обругал жену его на улице. И как сие было последнее знаменитейшее действие у цесарцев с пруссаками, то, к сожалению, и кончил сей славный полководец войну сию не с славою для себя, а с порицанием и хулою.

После взятия Швейдница, не произошло уже ничего в особливости достопамятного у короля пруссакаго с австрийцами. Но у имперской ар-

мии, бывшей под командою принца Штольбергского и действовавшей против принца Гейнриха, были еще многие происшествия.

Сей удалось одержать над пруссаками некоторыя поверхности; но победа, одержанная принцем Гейнрихом 29-го октября при Фрауенштейне, затмила все оныя и доставила с сей стороны пруссакам поверхность над германцами, так что они войска свои посылали даже внутрь Германии и сии, достигая до самого Нюренберга, нанесли германцам много вреда и чрез все то побудили наиболее их к заключению вскоре потом перемирия.

А таким же образом происходило много разных военных действий и у французов с ганноверанцами в окрестностях Рейна и Вестфалии; и победа, одержанная французами при Иоганисбурге, неподалеку от Фридберга, над наследным принцем Брауншвейгским 30-го августа, было последним в сей стране военным действием в сей войне, разорившей более шести лет не только всю Европу, но обе Индии и Америку.

Величайшим поводом ко всеобщему примирению и окончанию сей разорительной войны подала собою Франция. Сия претерпела в сию войну всех прочих государств более: и англичане на море были против оной так счастливы, что отняли у ней почти все ея американския и азиатския земли и колонии, и Франция как людьми, так в особливости деньгами так истощилась, что предвидела явную себе пагубу. Все сие и понудило ее домогаться скорейшего мира и, по особливому для ей счастью, и удалось ей заключить оной в начале сего 1763-го года в Фонтенебло с англичанами и получить, кроме одной бездельной и ничего не значущей и пустой северной американской провинции Канады, все свои потерянные американские и азиатские острова и поселения обратно.

С Англиею произошло при сем случае то же, что и с нами: она лишилась всех своих завоеваний, купленных реками крови, с приумножением многими миллионами национального своего и так много ее отягощающего долга. Но сего бы никогда не случилось, если б, по особливому для ее несчастью, не произошло в министерстве ее перемены, и когда бы кормило правления по особливому случаю, по исторжении из рук мудрого *Питта*, не попало в руки глупому и почти бессмысленному английскому лорду *Бутту*.

Не успели французы отстать от австрийцев или цесарцев, как и сим не оставалось уже другого средства, как также поспешить заключением

мира с королем прусским и пожертвовать также всеми своими о завоевании Шлезии надеждами. Последний мир сей заключен был наконец при глазах самого короля прусскаго, в саксонском замке *Губертсбурге*, 15-го февраля сего 1763-го года, и по силе онаго, к удивлению всего света, из всей сей кровопролитной войны не вышло ничего, и все державы остались при прежних своих владениях и при тех границах, в каких они были при начатии войны. И война сия сделала лишь только то, что многия сотни тысяч человек во всех частях света пролили свою кровь, и миллионы фамилий и семейств впали в бедность и разорились.

Одной Саксонии стоила война сия деньгами и продуктами всякаго рода более 70-ти миллионов талеров, и одна Европа потеряла более миллиона людей. Все державы, выключая одну Пруссию, нажили на себя превеликие и такая долги, коих тягость будут ощущать и самые еще поздние потомки их. А сколько городов, сел и деревень разорено и опустошено было, о том и упоминать почти нечего. Вся задняя Померания и часть Бранденбургии сделались совершенными пустынями; а и многия другия области и земли находились не в лучшем состоянии, и во многих местах не было людей, а в других мужчин одних – и женщины пахали землю. А были области, в которых и сих не было, и видны были превеликия полосы земли, где и следов прежняго земледелия было неприметно. Один офицер писал, что он, путешествуя чрез Гессенския земли, семь деревень проехал и во всех их нашел одного только человека, и тот был пастор, варивший в пищу себе бобы одни.

Вот какова была сия война наша и какия последствия были оной! Она будет долго памятна не только нам, но и всей Европе.

Сим оканчиваю я все мои военные известия, а вкупе и все сие десятое собрание писем моих, сказав, что я есмь ваш и прочая.

Конец

десятой части

**Сочинена в генваре 1801, переписана в ноябре 1805 года
в Дворянинове.**



ОГЛАВЛЕНИЕ ПЕРВАГО ТОМА ЗАПИСОК А. Т. БОЛОТОВА

Из предисловия от редакции «Русской Старины»	5
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	
XVI ст. –1750 г.	
Предисловие. Предупреждение.	11
История моих предков и первых лет моей жизни I. Происхождение фамилии Болотовых – Родословие их. – Пожалование предков именьями (XVI–XVII стол.) . . .	12
II. История Еремея Гавриловича Болотова. – Битва с татарами. – Плен у татар. – Бегство. – Возврат на родину (XVII ст.)	16
III. История ближних предков. – Воспитание детей в рижской немецкой школе. – Гвардии капитан Тимофей Болотов, любимец Бирона. – Письмо Петра Великого к подпоручику Болотову об отвозе немецких жнецов в русския степи. 1700–1738 гг. . .	27
IV. История моего младенчества. – Мир России с Турциею. – Жизнь при полку. 1738–1744 гг.	32
V. При ревизии во Пскове. – Обучение грамоте. – Детския шалости. – Викториальные дни. 1744–1746 г.	37
VI. Дом Удрих и Лай Мыза. – Внутреннее расположение домов у псковских помещиков. – Полковая жизнь. – Приданое невест. – Обучение письму и рисованию. – Крещение татарина в проруби. – Пушечная пальба на праздниках. – Учителя-иноземцы. – Русские немцы в военной службе. 1747 г.	43
VII. В лагере и во Пскове. – Фельдмаршал Лессий. – Охота за зайцами. – Петербург. – Наводнение. – Лейб-компания. – Дворец. – Педагогические приемы немца-учителя. 1747 г.	52
VIII. В Курляндии. – Поход русского вспомогательного корпуса в Австрию. – Вокабулы и розги. – Курляндское гостеприимство. – Поступление в военную службу солдатом на 10-м году от роду. – Воинския потехи. – Производство в подпрапорщики и каптенармусы. 1748 г.	64
IX. В мызе Пац. – Воспитание в семействе курляндскаго помещика. – Учитель Лейпцигскаго университета. – Дядька Артамон. – Производство в сержанты. 1748 г. . .	71
X. Поход в Петербург. – Поединок. – Первый день в строю. – Нарвский комендант Штейн. – Пансион Ферре при Сухопутном Шляхетном кадетском корпусе. 1749 г. . .	86
XI. Жизнь в пансионе. – Товарищи. – Учебныя занятия. – Чтение книг. – Уроки рисования. 1750 г.	90
XII. В Выборге. – Чтение. – Стрельба. – Город и крепость. – Смерть отца. – Характеристика покойнаго. 1750 г.	96

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

История моего малолетства

1750–1755

- XIII. Отъезд из полка.** – Прибытие в Петербург. – Обер-гофмаршал Шепелев. – Хлопоты об отпуске в деревню. 1750 г. 110
- XIV. Езда.** – Поездка из Петербурга в деревню. 1750 г. 117
- XV. В деревне Дворянинове.** – Соседи. – Попы. – Суеверия. – Самообучение. – Обстановка помещичьяго дома. – Храмовые праздники. – Провинциальное дворянство. – Посылка дядьки Артамона в столицу. 1750 г. 123
- XVI. Увольнение от службы, для окончания наук.** – Исковая челобитная. – Шалости. – Отправка в учење в Петербург. 1751 г. 133
- XVII. Приезд в Петербург.** – Е. А. Маслов. – Отдача в учење к французу. – Выработка крепостным человеком платы за воспитание барчука. – Жизнь в светлицах конной гвардии. – Смерть матери. 1752 г. 146
- XVIII. Замыслы о поездке в деревню.** – Празднование дня именин императрицы Елисаветы Петровны – Иллюминация. – Бал в летнем дворце. – Полиция. – Результаты обучения наукам. 1752 г. 154
- XIX. Езда во Псков и прибытие в деревню Опанкино.** – Суеверие. – Псковские помещики и помещицы. – Пиршества. – Охота на зверей с тенетами. 1752 г. 164
- XX. В Опанкине.** – Рыбная ловля зимой. – Обучение ремеслам и художествам. – Игра на гусях. – Лен и его обработка. – Надворный увеселения и забавы. 1753 г. 171
- XXI. Приезд в Дворяниново.** – Матвей Петрович Болотов и его семья. – Водворение в родительском доме. – Воспоминание о Минихе. – Чтение книг: «Камень Веры» и «Четии-Минеи». – Изучение геометрии и фортификации. – Страсть к письму. 1753 г. 182
- XXII. Самообучение.** – Постройка крепостцы. – Народная игра «килка». – Игра в мяч. – Святочныя игрища. – Новый товарищ. – Шалости. 1754 г. 191
- XXIII. В деревне.** – Лунатизм. – Таинственный голос. – Соседи. – Ловля перепелов ястребами. – Немцы-заводчики. – Дворянский учитель. 1754 г. 201
- XXIV. Сборы к возвращению в полк.** – Достопамятности Москвы. – Путь во Псков. – Пребывание у сестры в Опанкине. – Прибытие в полк. 1755 г. 210

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

История моей военной службы

1755–1757

- XXV. Полковое начальство и штаб.** – Мартыновна. – Военный постой в Лифляндии. – Уроки немецкаго языка. – Офицеры-иноземцы. – Сверстники и товарищи. 1755 г. 220
- XXVI. Поход в Ревель.** – Лов рыбы кокулями. – Первая командировка. – Ночь в лесу. – Покупка лошади. 1755 г. 228

XXVII. Ревель и Рогервик. – Неприятные последствия покупки лошади. – Русский генерал из немцев, барон Ливен. – Первые напасти. – Обход чином. 1755 г.	235
XXVIII. Поездка в Петербург. – хлопоты об отпуске для ходатайства о производстве в офицеры. – Дорога по берегу моря. – Яковлев, фаворит графа П.И. Шувалова. 1755 г.	243
XXIX. Пребывание в Петербурге. Приемная сильного человека. – Уроки набожности. – Покупка книг. – Посещение родственника. – Производство в подпоручики. – «Аргенида» и «Жилблаз». 1755 г.	251
XXX. Рогервик. – Жизнь с ротой на квартирах в деревнях. – Быт эстляндских крестьян. – Болезнь и выздоровление. 1755 г.	262
XXXI. В Рогервике. – Караульная служба. – Предположение Петра Великого об устройстве порта. – Постройка мули (мола). – Каторжные. – «Христос» – Андреюшка. – Товарищеские шутки. – Запой до чортиков. 1755 г.	269
XXXII. Экзерцирование. – Командировка в Ревель. – Перевод «Хиромантии». – Изучение гокус-покусов. – Трагедия «Хорев». – Приготовления к войне с Пруссией. – Успехи в обучении солдат новой экзерциции. – Опасная переправа. 1756 г.	278
XXXIII. Лагерь при Риге. – Поход из Ревеля в Ригу. – Лагерные стоянки. – Опасения перевода в гренадерский полк. 1756 г.	288
XXXIV. На кантонир-квартирах. – Немецкие книги. – Первое командование ротой. – Женское общество. 1756 г.	297
XXXV. В мызе Кальтебрун. – Перевод немецкого романа. – Фейерверочные потехи. 1756 г.	307
XXXVI. Приготовление к походу. – Болезнь. – Голод, как лекарство от лихорадки. – Выступление в поход. – Масляная мельница. – Приказ по армии об уничтожении лишних вещей в обозе офицеров. 1757 г.	315

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Продолжение истории моей военной службы и прусские походы

1757

XXXVII. Начало похода. – Причины войны с Пруссией. – Русская армия под Ригу. – Смотр армии генерал-фельдмаршалом С.Ф. Апраксиным. – выезд его из Риги. – Шуваловские гаубицы	324
XXXVIII. Поход Литвою. – Распоряжения Фридриха II к отпору неприятелей. – Разгром австрийцев под Прагою. – Смерть фельдмаршала графа Шверина. – Поход русской армии через Курляндию и Литву. – Назначение полковым квартирмейстером.	332
XXXIX Стояние в Ковнах. – Разбивка лагеря. – Арест. – Польский мед. – Фридрих II под Прагою. – Бой прусского короля с армией фельдмаршала Дауна. – Разбитие пруссаков. – Учреждение ордена Марии-Терезии. – Пир русской армии в Ковне. . . .	341

XI. О походе к Пруссии. – Смерть и похороны товарищей. – Генеральный смотр армии. – Взятие Мемеля. – Торжество по сему случаю. – Предосторожности против неприятеля. – Поимка шпиона	353
XLI. Вступление в Пруссию и тревога. – Распоряжения фельдмаршала Левальда к отпору русской армии. – Оплошность де-ла-Рюи, майора русской службы. – Тревога. – Привод пруссаков к присяге на верность русской императрице. – Первая стычка	360
XLII. Поход Пруссию. – Действия казаков и калмыков. – Одежда, пища и богослужение калмыков. – Наказание прусских поселян. – Успехи казаков. – Соединение с армией корпуса генерал-аншефа Фермора. – Списочное и наличное состояние русской армии	371
XLIII. Поход Пруссию к Прегелю. – Фуражировки. – Картофель. – Немецкия известия о варварстве русских фуражиров. – Русская армия за рекою Прегелем	380
XLIV. Первая тревога. – Расположение русской армии на Эгерсдорфском поле. – Двукратная тревога	388
XLV. Вторая тревога. – Выезд генерал-фельдмаршала пред армию. – Ожидание неприятеля. – Канун генеральной баталии	395
XLVI. Тревога. – Распоряжения к битве русских военачальников. – Атака пруссаков. – Чувства при начале битвы. – Начало Грос-Эгерсдорфского боя 19 августа 1757 года.	401
XLVII. Баталия. – Ход сражения. – Атака донских казаков. – Действия прусской кавалерии на фланге. – Бой в центре. – Геройская смерть генерала Лопухина. – Разбитие первой линии русской армии. – Удачное вступление в бой двух полков из задней линии. – Бегство неприятеля	413
XLVIII. Поход к Велаве. – Общий вид места побоища. – Ограбление трупов. – Урон обеих армий. – Торжество победителей. – Погребение мертвых. – Реляция Апраксина и прусския известия о сражении 19 августа 1757 года. – Положение Фридриха II после грос-эгерсдорфского поражения	421

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

Продолжение истории моей военной службы и прусской войны 1757–1758

XLIX. Поход к Велаве. – Ропот в армии на медленность и трусость военачальников. – Сожжение артиллериею деревни при реке Ааль. – Тревога от коров. – Удаливость калмыков. – Препятствие к переправе.	432
L. При Аленбурге. – Удача военной хитрости пруссаков. – Подозрение на генерала Ливена. – Ловля карпиев. – Решение русских военачальников уйти с армиею из Пруссии. – Генерал-аншеф Сибильский. – Промак французского маршала Ришелье. – Поворот счастья в пользу прусского короля. 1757 г.	441

LI. Обратный поход. – Лишения русской армии. – Погоня пруссаков за русской армией. – В Тильзите и переход через реку Мемель	447
LII. При Тильзите. – Занятие Тильзита пруссаками и стрельба по русскому лагерю. – Прекращение прусской погони. – Бедствие русской армии при отступлении к пределам отечества. – С.Ф. Апраксин. – Расположение полков по зимним квартирам 1757 г.	457
LIII. Жизнь в Курляндии. – Чтение и письмо. – Знакомство с латышским языком. – Перевод в гренадерскую роту. – Действия на театре войны: победы Фридриха II над союзниками в конце 1757 г.	471
LIV. Занятие Кёнигсберга. – Отозвание Апраксина. – Назначение графа Фермора начальником армии. – Быстрота его действий. – Зимний поход в Пруссию. – Занятие Тильзита и Кёнигсберга. – Выступление в поход полков, зимовавших в Курляндии. 1758 г.	480
LV. Вторичный поход в Пруссию. – Легкость похода. – Католические часовни в Литве – Синагоги. – Виселицы с казненными ворами. – Польская уха. – Игра в карты. – Зальцбургские эмигранты. – Город Гумбины. – Мелкий католический государь-епископ. – Самобичевание фанатиков-католиков. – Трудность конца похода 1758 г.	489
LVI. Стояние при Торуне. – Жулавы – образцово-благоустроенные селения на Висле. – Город Торунь. – Немецкий журнал. – Панорама. – Нелюбовь офицеров к чтению. – Политическая обстоятельства и интриги. – Тайное соглашение короля прусского с наследником российского престола. – Падение Бестужева. – Приготовление союзников и короля прусского к продолжению войны и новые успехи пруссаков	500
LVII. Поход в Кёнигсберг.	511
LVIII. Вход в Кёнигсберг. – Квартира. – Покупка и разрисовка картин. – Приключение в карауле	521
LVIХ. В Кёнигсберге. – Новая квартира. – Панорама. – Знакомство с оптиком и приобретение камер-обскуры. – Увлечение офицеров распутством. – Назначение Болотова к письменным делам. – Неприязнь немцев к русским. 1758 г.	530
LX. Описание Кёнигсберга. – Река Прегель. – Крепость. – Замок. – Портреты Лютера и его жены. – Публичная библиотека. – Улицы, площади, церкви и гробницы. – Сад купца Сатургуса. – Водяная колокольная игра. – Устройство домов. – Нравы, обычаи, образ жизни кёнигсбергцев. 1758 г.	543

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

Продолжение истории моей военной службы и пребывания моего в Кёнигсберге 1758–1759

LXI. Пребывание в Кёнигсберге. – Ярмонка. – Польские жидаы. – Даровой площадной театр для сбыта народу шарлатанских лекарств. – Волокитства офицеров. 1758 г.	555
--	-----

LXII. Приезд Корфа. – Обстоятельства возвышения Н.А. Корфа. – Назначение его губернатором, управляющим Пруссией. – Определение Болотова переводчиком в канцелярию губернатора. 1758 г.	563
LXIII. При Корфе. – Причина назначения Болотова переводчиком. – Характеристика лиц, служащих при губернаторе и в его канцелярии	572
LXIV. Характер Корфа. – Образ его жизни в Кёнигсберге. – Балы. – Дворец в Кёнигсберге. – Книга графа Оксенштирна. 1758 г.	580
LXV. История войны. – Победы пруссаков над французами. – Взятие прусским королем крепости Швейдница. – Безуспешная осада крепости Ольмица. – Действия принца Брауншвейгского. – Движения и действия русских войск. – Сожжение города Кюстрина. 1758 г.	590
LXVI. Битва Цорндорфская. – Лживость немецких известий. – Быстрота действий короля прусского. – Боевое построение русской армии. – Действия прусского генерала Зейдлица. – Пьянство солдат во время сражения. – Потери обеих сторон. – Нерешительность генерала Фермора. – Жестокость прусского короля с пленными русскими генералами. – Действия австрийцев и французов против пруссаков	603
LXVII. Известия военные. – Чрезвычайная убыль офицеров в русской армии. – Полковник князь Долгоруков. – Призыв в полк. – Выступление полка из Кёнигсберга	615
LXVIII. Покупка книг. – Библиотека для чтения	626
LXIX. Забавы и развлечения. – Романы. Танцы. – Еврейская свадьба. – Бал для званых и незваных. – Первые танцы в обществе	635
LXX. Губернаторские балы. – Любовь Корфа к графине Кейзерлинг. – Флигель-адъютант короля прусского граф Шверин. – Григорий Григорьевич Орлов. – Театр. – Маскарады. – Ярмонка	645
LXXI. Политические известия. – Фролов-Багреев. – Опасения за армию. – Свидетельствование артиллерии. – Единороги. – Безуспешные старания Англии и прусского короля о склонении России к нейтралитету. – Прусские и французские интриги и подкупы в Турции. – Политика Англии. – Союз России с Швецией в Даниею. – Приготовления прусского короля к продолжению войны. – Требование Болотова в полк и оставление в губернаторской канцелярии. 1759 г.	654
LXXII. Увеселительные сады. – Гулянья. – Квига Зульцера о природе. – Стихотворство. – Художества. – Устройство фонтана. – Шалости	662

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

Продолжение истории моей военной службы и пребывания моего в Кёнигсберге 1759–1760

LXXIII. В Кёнигсберге. – Новый главнокомандующий П.С. Салтыков. – Старичок полковник – любитель наук. – Поручик Пассек. – Капитан Писарев. – Приготовления к открытию русских любительских спектаклей. – Еврейская синагога. 1759 г.	672
---	-----

LXXIV. Новая квартира. – Хозяева. – Книга Гофмана. – Лекарственное свойство куренья табаку при питье чая. – Книжные аукционы. – Архимандрит Ефрем. – Чеканка русской монеты в Кёнигсберге. 1759 г.	685
LXXV. История войны. – Разбитие пруссаков французами. – Насильственная вербовка поляков в прусскую армию. – Генерал Фермор, по передаче командования армиею графу Салтыкову, поступает под его начальство. – Письмо пруссакаго короля к графу Дона о передаче командования армиею генералу Веделю. – Победа русских над пруссаками при Одере. – Присоединение австрийцев к русской армии. – Расположение русских и австрийских войск пред Кунерсдорфской битвой. 1759 г.	694
LXXVI. Кунерсдорфская баталия. – Атака короля пруссакаго. – Критическое положение русской армии. – Отчаяние главнокомандующаго. – Увлечение пруссакаго короля и последование совету генерала Веделя. – Действия австрийскаго генерала Лаудона. – Гибель пруссакой армии. – Опасность для жизни и свободы Фридриха II и спасение его ротмистром Притвицом. – Потери обеих сражавшихся сторон. 1759 г.	703
LXXVII. Всеобщая уверенность в возможности взятия у пруссаков Берлина. – Бездействие и взаимныя неудовольствия русских и австрийцев. – Награды за Кунерсдорфскую победу. – Недоставка австрийцами провианта для русских войск. – Деятельность пруссакаго короля. – Положение воюющих. 1759 г.	712
LXXVIII. Жизнь в Кёнигсберге. – Маскарады в театре. – Балансёр. – Бранчивость Корфа. – Студенты из Московскаго университета в Кёнигсберге. – Любовная пашня секретаря Чонжина. – Братья Олины. – Пожар на монетном дворе. – Пожар в канцелярии Корфа. – Ссора Корфа с графом Петром Ивановичем Паниным. – Женския нагревательницы. – Фальшивая тревога в кирке о пожаре. 1759 г.	719
LXXIX. Кёнигсберг. – Иллюминация в день новаго 1760 года. – Гишпанский посол. – Попытка нейтральных дворов к возстановлению мира. – Новыя приготовления воюющих сторон. – Прусския вербовки. – Науки, чтение книг, знакомство со студентами. – Увеселения. – Катанье в шлюпке. 1760 г.	732
LXXX. Отделка новых покоев в замке для губернатора. – Празднества. – Пресыщение танцами. – Свадьба советника Баумана. – Фейерверк. – Проезд графа П. Г. Чернышова в Испанию в качестве посла. – Предложение Болотову звания адъютанта при Корфе. – Получение доходов из деревни. – Изготовление новых знамен для армии. – Выработка характера. 1760 г.	744
LXXXI. Продолжение самообучения по книгам. – Памятная книжка. – Познание превосходства крузианской философии пред вольфианскою. – Лекции магистра крузианской философии Веймана. – Пансион Ковалевскаго. – Производство в поручики. 1760 г.	755
LXXXII. Дружба с лейтенантом Тулубьевым. – Переписка. – Опасность от свечи. – Освящение кирки в православную церковь. – Смерть и погребение генерала Языкова. 1760 г.	765

ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ

Продолжение истории моей военной сужбы и пребывания моего в Кёнигсберге 1760–1761

- LXXXIII. История войны** – Приготовления к новой кампании. – Критическое положение пруссакаго короля. – Распределение военных сил. – Успехи австрийцев. – Увлечение австрийскаго предводителя Лаудона. – Замедление русской армии. – Осада Дрездена. – Военная хитрость Фридриха II. – Осада Кольберга. – Победы пруссаков и французов. 771
- LXXXIV. Берлинская экспедиция.** – Поход к Берлину. – Граф Тотлебен. – Положение Берлина. – Осада. – Сдача Берлина. – Капитуляция. – Купец Гоцковский. – Контрибуция. – Размолвка Тотлебена с Ласси. – Разорения и грабежи. – Шарлотенбург. – Ошибки русских. – Оставление ими Берлина. – Сражение при Торгау. 779
- LXXXV. Перемена армейскаго командира.** – Радость при известии о взятии Берлина. – Досада. – Отозвание Салтыкова. – Фельдмаршал гр. А.Б. Бутурлин. – Увеселения. – Казенная лотерея. – Назначение Корфа полицмейстером в Петербург. – Приятельская вечеринка. – Новый губернатор – В.И. Суворов. – Рекомендация обо мне Суворову. – Водосвятие. – Перемены во многом. – Хозяйский стол. – Прощание с Корфом. – Требование меня в армию. – Нерешимость Суворова. – Спускание меня. – Сборы к отъезду 788
- LXXXVI. Образочек св. Анны.** – Нечаянность. – Скупость Суворова. – Рисование мною образка на финифти. – Обед у Суворова. – Разговор о науках. – Изучение философии. – Приверженность смолоду к Закону. – Сумнительство мое в вере. – Предица. – Утверждение себя в Законе 801
- LXXXVII. Книги.** – Сочинение Зульцера о природе. – Первое мое сочинение. – Моя библиотека. – Судовщик. – Отправление книг в Россию. – Правление В.И. Суворова. – Его семья. – Секретная комиссия. – История гр. Гревена. 815
- LXXXVIII. История войны 1761 года.** – Предположения о мире. – Приготовления к новой кампании. – Планы Марии-Терезии. – Действия пруссакаго короля. – Открытие кампании. – Действия французов. – Поход русской армии. – Арест Тотлебена. – Пьянство Бутурлина. – Выступление русских из Познани. – Соединение их с австрийцами. – Критическое положение Фридриха II. – Находчивость его. – Медленность русских. – Нерешительность ея предводителей. – Недостаток в съестных припасах. – Отступление русской армии. – Торжество пруссаков. – Взятие Швейдница австрийцами. – Гнев Марии-Терезии на Лаудона. – Заговор барона Варкотча против пруссакаго короля. 837
- LXXXIX. Кольбергская экспедиция.** – Поход Румянцева к Кольбергу. – Замедление русскаго флота. – Укрепление пруссаками Кольберга. – Взятие Румянцевым Белгарда и Кеслина. – Осада Кольберга. – Битва при Пуетмине. – Разбитие пруссаков. – Смерть Долгорукова. – Отбитие у пруссаков обоза. – Взятие Кольберга. – Пленные пруссаки. – Чтение книг духовнаго содержания 850

ХС. Последнее время моей жизни в Кёнигсберге. – Кончина императрицы Елисаветы. – Горесть подданных. – Перемена губернатора в Кёнигсберге. – Прощание с Суворовым – Рекомендация обо мне гр. Панину. – Опять требование в полк. – Неожиданность. – Переписка с Балабиным. – Назначение меня адъютантом к Корфу. – Увольнение меня от прежней должности. – Приготовления к отъезду в Петербург. – Поступок квартирных хозяев. – Прощание с друзьями. – Отъезд. – Размышления по поводу оставления Кёнигсберга. – Опасность на гафе. – Город Митава. – Въезд в Россию. – Встреча с приятелем. – Въезд в Петербург. 859

ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ

История моей петербургской службы

1762

ХСІ. В Петербурге. – Генеральские штаты. – Разсуждения. – Расположение на квартире. – Свидание с Балабиным. – Прием от генерала. – Первая комиссия. – Обеду Корфа. – Новые товарищи. – Слухи в народе о кончине императрицы Елисаветы. – Характер императрицы. 877

ХСІІ. Император Петр III. – Избрание его наследником шведского престола. – Назначение наследников престола российского. – Воспитание. – Характер. – Вступление в масонскую ложу. – Приверженность к прусскому королю. – Образ жизни. – Причина ссылки Бестужева. – Вступление на престол. – Отношения к Екатерине II. – Связь с гр. Е.Р. Воронцовой. – Первые деяния по вступлении на престол. – Поклонение Фридриху Великому. – Ропот подданных. – Перемирие с Пруссией. 887

ХСІІІ. Петербургская служба. – Новые мундиры. – Приятельское одолжение. – Князь Н.Ю. Трубецкой. – Езда с Корфом. – Дворец. – Обеденный стол. – Гр. М.И. Воронцов. – Разъезды по Петербургу. – Утомление. – Отдых. 896

ХСІV. Празднование Пасхи. – Приготовления к празднику. – Отделка Зимняго дворца. – Расчистка луга. – Переезд государя в новый дворец. – Съезд при дворе. – Графиня Е.Р. Воронцова. – Обед во дворце. – Послеобеденные отдыхи. – Придворные куртаги. – Разъезды с генералом. – Частыя комиссии. – Поступки государя. – Курение им табаку. – Забавы. – Трудности моей адъютантской службы . . . 908

ХСV. Заговор. – Поездки Корфа к Волчковой. – Ропот против Петра III. – Тайныя собеседования у императрицы. – Опасения. – Свидания с гр. Г. Г. Орловым. – Старания его привлечь меня в число заговорщиков. – Уклонение мое от этого 922

ХСVІ. Окончание войны с Пруссией. – Первые советники Петра III. – Положение пруссакого короля. – Радость его при известии о вступлении на престол Петра III. – Перемирие. – Знаменитейшия деяния Петра III. – Мир с Пруссией. – Торжество по этому случаю. – Фейерверк 932

ХСVII. Народный ропот. – Условия мира с Пруссией. – Приготовления к войне с Данией. – Волнения в народе. – Опасения. – Требование Корфа к государю. – Лишение его штата. – Просьба моя об отставке. – Отказ. – Совет.	941
ХСVIII. Надежда на Бога. – Молитва. – Напоминания об Яковлеве. – Свидание и разговор с Яковлевым. – Совет и обещание помощи. – Просьба к Корфу. – Ответ генерала. – Военная коллегия. – Повытчик. – Требование меня на смотр в Военную коллегию. – Получение отставки. – Радость моя. – Прощание с Яковлевым. – Прощание с Корфом и друзьями. – Выезд из Петербурга	951
ХСIX. Революция 1762 г. – Размышления при оставлении Петербурга. – Приезд к сестре. – Описание революции. – Причины революции. – Намерение Петра III заключить императрицу в монастырь. – Уведомление о том государыни. – Бегство ее в Петербург. – Провозглашение императрицей. – Недоумение народа. – Слухи о смерти Петра III. – Присяга Екатерине. – Издание манифеста. – Судьба дяди государя. – Неведение Петра о случившемся. – Цидулка. – Поездка государя в Кронштадт. – Встреча его в Кронштадте. – Арест коменданта. – Критическое положение Петра. – Переписка его с Екатериной. – Отречение от престола. – Заключение. – Смерть и погребение	964
С. В гостях у сестры. – Родственная ласка. – Мысль о женитьбе. – Смотрение невесты. – Результаты сватовства. – Новоселье. – Путешествие в Москву. – Конский падеж. – Новгород. – Встреча с бывшим сослуживцем. – Москва. – Покупка книг. – Отъезд в деревню	977

ЧАСТЬ ДЕСЯТАЯ

В Дворянинове

История моей первой деревенской жизни по отставке вообще и в особенности периода оной до женитьбы

1762–1763

СИ. Вступление. Первый день в деревне. – Чувства мои при приближении к родному дому. – Вступление в дом. – Встреча от дворовых. – Первые впечатления. – Дядька. – Непрошенная гостья. – Первое посещение. – Родственники и соседи. – Осмотр усадьбы	990
СII. Состояние моего дома и деревни. – Устройство дома. – Господския здания. – Дворы, пруды и сады. – План усадьбы. – Перечисление деревень.	1002
СIII. Свидание с родными и езда в Москву. – Доходы с моих деревень. – Свидание с генералом. – Странная женитьба. – Прием от генерала. – Езда в Москву. – Свидание с дядей. – Возвращение в деревню. – Насажение сада. – Погрешности. – Покупка яблонок	1013
СIV. Соседи и именины. – Тульские помещики. – Немцы-заводчики. – Первый прием гостей. – Разговоры о женитьбе. – Г. Писарев. – Поездка к нему. – Свадьбы дворовых. – Сборы в Москву. – Болезнь. – Приезд в Москву	1026

CV. Московская первая жизнь. – Первое мое знакомство с светским обращением. – Московские знакомые. – В.Н. Бакеев и его семья. – Дом княгини Долгоруковой. – Сватовство. – Смотр невест. – Сновидение. – Смешное происшествие с попом	1037
CVI. Езда в Кашин и маскарад. – Выезд из Москвы. – Впечатление, произведенное на меня девицею Бакеевой. – Свидание с сестрой. – Болезнь сестры. – Кашинские помещики и помещицы. – Возвращение в Москву. – Уличный маскарад в Москве. – Воспоминание об Орлове – Философствование. – Выезд из Москвы . .	1053
CVII. Деревенская жизнь и упражнения. – Рубка леса. – Приезд дяди в деревню. – Половодь. – Наслаждение природой. – Изучение сельской экономии. – Первая переделка хором. – Устройство сада. – Дядя Серега-Косой. – Образ жизни в деревне. – Упражнения в рисовании	1061
CVIII. Происшествия критическия. – Мое одиночество. – Следствия одиночества. – Приезд кн. Долгоруких и Бакеевых в деревню. – Сердечная волнения. – Частые поездки к Бакеевым. – Любовь. – Препятствия к женитьбе. – Равнодушие ко мне г-жи Бакеевой. – Моя нерешимость. – Принятие у себя Долгоруких и Бакеевых. – Разговор с прикащиком. – Разрушенные надежды. – Отъезд Бакеевых. – Философия Крузия.	1074
CIX. Начальное сватовство. – Смотрение невесты. – Следствие смотрин. – Сваха Ивановна. – Другая невеста. – Деревенские занятия. – Приезд брата Михаила. – Рисование красками. – Чтение. – Сочинение «Детской философии». – Свидание с Писаревым	1088
CX. Конец прусской войны. – Мир Пруссии с Россией. – Намерение Фридриха II овладеть Швейдницом. – Стойкость австрийцев. – Известие о вступлении на престол Екатерины II. – Победы пруссаков над австрийцами. – Причина заключения мира Екатериною II с Фридрихом Великим. – Польза и вред Семилетней войны для русских. – Ход войны после мира с Россией. – Осада Швейдница. – Французские инженеры. – Австрийский фельдмаршал Даун. – Действия французов. – Поводы к общему примирению. – Заключение Губертсбургскаго мира. – Последствия Семилетней войны	1100

Институт русской цивилизации создан в октябре 2003 г. для осуществления идей и в память великого подвижника православной России митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева). Предшественником Института был Научно-исследовательский и издательский центр «Энциклопедия русской цивилизации» (1997—2003).

Целью Института является творческое объединение ученых и специалистов, занимающихся изучением истории и идеологии русского народа, проведение научных исследований, конференций, семинаров и систематизация знаний по всем вопросам русской цивилизации, истории, философии, этнографии, культуры, искусства и других научных отраслей, связанных с жизнедеятельностью русского народа с древнейших времен до начала XXI века. Приоритетным направлением деятельности института является создание 30-томной «Энциклопедии русского народа» (вышло 14 томов), а также научная подготовка и публикация самых великих книг русских мыслителей, отражающих главные вехи в развитии русского национального мировоззрения и противостояния силам мирового зла, русофобии и расизма (вышло более 160 томов).

ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ АНДРЕЯ БОЛТОВА 1 том

Ответственный секретарь М. В. Кузнецова
Редактор В. С. Долгов
Корректор О. А. Рогачева
Компьютерная верстка А. Е. Успенский

Институт русской цивилизации
Тел.: 8-495-605-25-35
e-mail: info@rusinst.ru
для писем: Москва, 121170 а/я 18

Подписано в печать 31.07.2013. Печать офсетная.
Формат 70 х 90 1/16. Объем 70 п. л. Тираж 1000 экз.
Отпечатано в ОАО «Тверской полиграфический комбинат»